

ЛЕВ ТОЛСТОЙ



ВОЙНА  
И МИР

Первый вариант романа

Твердый переплет, 800 стр. Тираж: 5000 экз. //Захаров, Москва, 2007  
ISBN: 978-5-8159-0748-5  
FB2: "rvvg ", 04.10.2012, version 1.0  
UUID: BD-C5E13C-5070-BA4F-E1A0-CD1F-9231-DE9FCE  
PDF: fb2pdf-j.20180924, 29.02.2024

Лев Николаевич Толстой

# Война и мир. Первый вариант романа

Те, кто никогда не читал "Войну и мир", смогут насладиться первым вариантом этого великого романа; тех же, кто читал, ждет увлекательная возможность сравнить его с "каноническим" текстом. (Николай Толстой)

# Содержание

От издателя . . . . .	0011
От автора . . . . .	0016
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ . . . . .	0020
I . . . . .	0020
II . . . . .	0035
III . . . . .	0042
IV . . . . .	0055
V . . . . .	0061
VI . . . . .	0066
VII . . . . .	0071
VIII . . . . .	0084
IX . . . . .	0089
X . . . . .	0096
XI . . . . .	0103
XII . . . . .	0109
XIII . . . . .	0125
XIV . . . . .	0135
XV . . . . .	0142
XVI . . . . .	0149
XVII . . . . .	0155
XVIII . . . . .	0159
XIX . . . . .	0163
XX . . . . .	0172
XXI . . . . .	0183
XXII . . . . .	0187

XXIII	0193
XXIV	0203
XXV	0211
XXVI	0216
XXVII	0222
XXVIII	0231
XXIX	0246
XXX	0255
XXXI	0265
XXXII	0274
XXXIII	0281
XXXIV	0295
XXXV	0302
XXXVI	0311
XXXVII	0315
ЧАСТЬ ВТОРАЯ	0334
I	0334
II	0345
III	0353
IV	0362
V	0383
VI	0410
VII	0415
VIII	0424
IX	0430
X	0443
XI	0454
XII	0468

XIII	0475
XIV	0488
XV	0502
XVI	0508
XVII	0522
XVIII	0528
XIX	0538
XX	0547
XXI	0559
XXII	0565
XXIII	0573
XXIV	0589
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ	0593
I	0593
II	0629
III	0674
IV	0686
V	0716
VI	0722
VII	0729
VIII	0736
IX	0739
X	0750
XI	0759
XII	0767
XIII	0790
XIV	0819
XV	0823

XVI	0840
XVII	0854
XIX	0869
XX	0884
XXI	0888
XXII	0896
XXIII	0904
XXIV	0914
XXV	0922
XXVI	0950
XXVII	0969
XXVIII	0990
XXIX	0997
XXX	1020
XXXI	1038
XXXII	1057
XXXIII	1068
XXXIV	1079
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ	1100
I	1100
II	1105
III	1110
IV	1117
V	1127
VI	1132
VII	1139
VIII	1159
IX	1167

X	1187
XI	1219
XII	1239
XIII	1248
XIV	1263
XV	1279
ЧАСТЬ ПЯТАЯ	1298
I	1298
II	1311
III	1349
IV	1364
V	1372
VI	1388
VII	1399
VIII	1410
IX	1417
X	1431
XI	1435
XII	1443
XIII	1460
XIV	1475
XV	1487
ЧАСТЬ ШЕСТАЯ	1498
I	1498
II	1505
III	1522
IV	1530
V	1535

VI	1540
VII	1546
VIII	1550
IX	1570
X	1586
XI	1599
XII	1616
XIII	1639
XIV	1648
XV	1658
ЧАСТЬ СЕДЬМАЯ	1681
I	1681
II	1700
III	1742
IV	1750
V	1757
VI	1772
VII	1797
VIII	1812
IX	1820
X	1825
XI	1851
XII	1872
XIII	1879
XIV	1888
XV	1896
XVI	1905
XVII	1913



XVIII	1921
XIX	1940
XX	1953
XXI	1959
XXII	1966
XXIII	1973

**Толстой Лев Николаевич  
Война и мир. Первый вариант  
романа[1]**

# От издателя

1. В два раза короче и в пять раз интереснее.
2. Почти нет философических отступлений.
3. В сто раз легче читать: весь французский текст заменен русским в переводе самого Толстого.
4. Гораздо больше мира и меньше войны.
5. Хеппи-энд...».

*Эти слова я поместил семь лет назад на обложку предыдущего издания, указав в аннотации: «Первая полная редакция великого романа, созданная к концу 1866 года, до того как Толстой переделал его в 1867–1869 годах», — и что я использовал такие-то публикации.*

*Думая, что все всё знают, я не объяснил, откуда взялась эта «первая редакция».*

*Я оказался неправ, и в результате оголтелые и невежественные критики, выдающие себя за знатоков русской литературы, публично стали обвинять меня и в фальсификации*

(«это Захаров сам всё сляпал»), и в надругательстве над Толстым («ведь вот же Лев Николаевич не напечатал этот первый вариант, а вы...»).

Я по-прежнему не считаю необходимым подробно излагать в предисловиях всё то, что можно найти в специальной литературе, но в нескольких строках объясню.

Итак, Л.Н.Толстой писал этот роман с 1863 года и к концу 1866 года, поставив на 726-й странице слово «конец», повез его в Москву печатать. К этому времени он уже опубликовал две первые части романа («1805» и «Война») в журнале «Русский Вестник» и отдельной книгой, и заказал художнику М.С.Башилову иллюстрации для полного книжного издания.

Но издать книгу Толстой не смог. Катков уговаривал его продолжать печатать кусками в своем «Русском Вестнике», другие издатели, смущаясь объемом и «неактуальностью произведения», в лучшем случае предлагали автору печатать роман за свой счет. Художник Башилов работал очень неспешно, а переделывал — в соответствии с письменны-

ми указаниями Толстого, — еще медленнее.

Оставшаяся в Ясной Поляне жена Софья Андреевна настоятельно требовала, чтобы муж скорее возвращался: и дети плачут, и зима на носу, и с делами по хозяйству ей одной трудно справиться.

Ну и, наконец, в только что открывшейся тогда для публичного пользования Чертковской библиотеке Бартенев (будущий редактор «Войны и мира») показал Толстому много материалов, которые писатель захотел использовать в своей книге.

В результате Толстой, заявив, что «всё к лучшему» (это он обыграл первоначальное название своего романа — «Всё хорошо, что хорошо кончается»), уехал с рукописью домой в Ясную Поляну и работал над текстом еще два года; «Война и мир» была впервые издана целиком в шести томах в 1868–1869 годах. Причём без иллюстраций Башилова, который так и не завершил свою работу, неизлечимо заболел и умер в 1870 году в Тироле.

Вот, собственно, и вся история. Теперь два слова о происхождении самого текста. Вернувшись в конце 1866 года в Ясную Поляну,

Толстой, естественно, не убирал на полку свою 726-страничную рукопись, чтоб начать всё с начала, с первой страницы. Он работал с той же рукописью — дописывал, вычёркивал, переставлял страницы, писал на обороте, добавлял новые листы...

Спустя пятьдесят лет в музее Толстого на Остоженке в Москве, где хранились все рукописи писателя, начала работать — и проработала там несколько десятилетий — Эвелина Ефимовна Зайденшнур: она расшифровывала и распечатывала эти рукописи для полного собрания сочинений Толстого. Ей-то мы и обязаны возможностью прочитать первый вариант «Войны и мира», — она реконструировала первоначальную рукопись романа, сличая почерк Толстого, цвет чернил, бумагу и т. д., и в 1983 году он был опубликован в 94-м томе «Литературного наследства» издательства «Наука» АН СССР. Опубликован для специалистов в точном соответствии с рукописью, которая оставалась неотредактированной. Так что мне, дипломированному филологу и редактору с 30-летним стажем, досталась только самая лёгкая и приятная ра-

бота — «причесать» этот текст, то есть сделать его приемлемым для широкого читателя: вычитать, исправить грамматические ошибки, уточнить нумерацию глав и т. п. При этом я правил только то, что нельзя было не править (например, Пьер у меня пьёт в клубе «Шато Марго», а не «Алито Марго», как в «Лит. наследстве»), а всё, что можно было не править, — я и не правил. В конце концов, это Толстой, а не Захаров.

И самое последнее. Для второго издания (1873 год) Толстой сам перевёл на русский весь французский текст романа. Его я и использовал в этой книге.

# От автора

**Я** пишу до сих пор только о князьях, графах, министрах, сенаторах и их детях и боюсь, что и вперед не будет других лиц в моей истории.

Может быть, это нехорошо и не нравится публике; может быть, для нее интереснее и поучительнее история мужиков, купцов, семинаристов, но, со всем моим желанием иметь как можно больше читателей, я не могу угодить такому вкусу, по многим причинам.

Во-первых, потому, что памятники истории того времени, о котором я пишу, остались только в переписке и записках людей высшего круга грамотных; даже интересные и умные рассказы, которые мне удалось слышать, слышал я только от людей того же круга.

Во-вторых, потому, что жизнь купцов, кучеров, семинаристов, каторжников и мужиков для меня представляется однообразною и скучною, и все действия этих людей мне представляются вытекающими, большей ча-



стью, из одних и тех же пружин: зависти к более счастливым сословиям, корыстолюбия и материальных страстей. Ежели и не все действия этих людей вытекают из этих пружин, то действия их так застилаются этими побуждениями, что трудно их понимать и потому описывать.

В-третьих, потому, что жизнь этих людей (низших сословий) менее носит на себе отпечаток времени.

В-четвертых, потому, что жизнь этих людей некрасива.

В-пятых, потому, что я никогда не мог понять, что думает будочник, стоя у будки, что думает и чувствует лавочник, зазывая купить помочи и галстуки, что думает семинарист, когда его ведут в сотый раз сечь розгами, и т. п. Я так же не могу понять этого, как и не могу понять того, что думает корова, когда ее доят, и что думает лошадь, когда везет бочку.

В-шестых, потому, наконец (и это, я знаю, самая лучшая причина), что я сам принадлежу к высшему сословию, обществу и люблю его.

Я не мещанин, как с гордостью говорил

Пушкин, и смело говорю, что я аристократ, и по рождению, и по привычкам, и по положению. Я аристократ потому, что вспоминать предков — отцов, дедов, прадедов моих, мне не только не совестно, но особенно радостно. Я аристократ потому, что воспитан с детства в любви и уважении к изящному, выражающемуся не только в Гомере, Бахе и Рафаэле, но и всех мелочах жизни: в любви к чистым рукам, к красивому платью, изящному столу и экипажу. Я аристократ потому, что был так счастлив, что ни я, ни отец мой, ни дед мой не знали нужды и борьбы между совестью и нуждой, не имели необходимости никому никогда ни завидовать, ни кланяться, не знали потребности образовываться для денег и для положения в свете и тому подобных испытаний, которым подвергаются люди в нужде. Я вижу, что это большое счастье и благодарю за него Бога, но ежели счастье это не принадлежит всем, то из этого я не вижу причины отrekаться от него и не пользоваться им.

Я аристократ потому, что не могу верить в высокий ум, тонкий вкус и великую честность человека, который ковыряет в носу

пальцем и у которого душа с Богом беседует.

Все это очень глупо, может быть, преступно, дерзко, но это так. И я вперед объявляю читателю, какой я человек и чего он может ждать от меня. Еще время закрыть книгу и обличить меня как идиота, ретрограда и Ас-коченского, которому я, пользуясь этим случаем, спешу заявить давно чувствуемое мною искреннее и глубокое нешуточное уважение\*.

# ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

## I

— Ну что, князь, Генуя и Лукка стали не больше как поместья, поместья фамилии Буонапарте. Нет, я вам вперед говорю, если вы мне не скажете, что у нас война, если вы позволите себе защищать все гадости, все ужасы этого антихриста (право, я верю, что он антихрист), — я вас больше не знаю, вы уже не друг мой, вы уже не мой верный раб, как вы говорите. Ну, здравствуйте, здравствуйте. Я вижу, что я вас пугаю, садитесь и рассказывайте.

Так говорила в июле 1805 года известная Анна Павловна Шерер, фрейлина и приближенная императрицы Марии Федоровны, встречая важного и чиновного князя Василия, первым приехавшего на ее вечер. Анна Павловна кашляла несколько дней, у нее был грипп, как она говорила (грипп был тогда новое слово, употреблявшееся только редкими), а потому она не дежурила и не выходила из

дому. В записочках, разосланных утром с красным лакеем, было написано без различия во всех:

*«Если у вас, граф (или князь), нет в виду ничего лучшего и если перспектива вечера у бедной больной не слишком вас пугает, то я буду очень рада видеть вас нынче у себя между 7 и 10 часами.*

*Анна Шерер».*

— О, какое жестокое нападение! — отвечал, нисколько не смутясь такой встречей и слабо улыбаясь, вошедший князь с светлым выражением хитрого лица, в придворном шитом мундире, чулках, башмаках и звездах.

Он говорил на том изысканном французском языке, на котором не только говорили, но и думали наши деды, и с теми тихими покровительственными интонациями, которые свойственны состарившемуся в свете и при дворе значительному человеку. Он подошел к Анне Павловне, поцеловал ее руку, подставив ей свою надушенную и сияющую белизной даже между седыми волосами лысину, и покойно уселся на диване.

— Прежде всего скажите, как ваше здоровье, милый друг? Успокойте друга, — сказал он, не изменяя голоса, и тоном, в котором из-за приличия и участия просвечивало равнодушие и даже насмешка.

— Как вы хотите, чтоб я была здорова, когда нравственно страдаешь? Разве можно оставаться спокойной в наше время, когда есть у человека чувство, — сказала Анна Павловна. — Вы весь вечер у меня, надеюсь?

— А праздник английского посланника? Ныне среда. Мне надо показаться там, — сказал князь. — Дочь заедет за мной и повезет меня.

— Я думала, что нынешний праздник отменен. Признаюсь, все эти праздники и фейерверки становятся несносны.

— Ежели бы знали, что вы этого хотите, праздник бы отменили, — сказал князь, по привычке, как заведенные часы, говоря вещи, которым он и не хотел, чтобы верили.

— Не мучьте меня. Ну, что же решили по случаю депеши Новосильцева? Вы все знаете.

— Как вам сказать? — сказал князь холодным, скучающим тоном. — Что решили? Ре-

шили, что Буонапарте сжег свои корабли, и мы тоже, кажется, готовы сжечь наши.

Князь Василий, говорил ли он умные или глупые, одушевленные или равнодушные слова, говорил их таким тоном, как будто он повторял их в тысячный раз, как актер роль старой пьесы, как будто слова выходили не из его соображения и как будто говорил он их не умом, не сердцем, а по памяти, одними губами.

Анна Павловна Шерер, напротив, несмотря на свои сорок лет, была преисполнена оживления и порывов, которые она долгим опытом едва приучила себя сдерживать в рамках придворной обдуманности, приличия и сдержанности. Каждую минуту она, видимо, готова была сказать что-нибудь лишнее, но, хотя она и на волосок была от того, это лишнее не прорывалось. Она была нехороша, но, видимо, сознаваемые ею самую восторженность ее взгляда и оживление улыбки, выражавших увлечение идеальными интересами, придавали ей то, что называлось интересностью. По словам и выражению князя Василия видно было, что в том кругу, где они

оба обращались, давно установилось всеми признанное мнение об Анне Павловне как о милой и доброй энтузиастке и патриотке, которая берется немножко не за свое дело и часто вдается в крайность, но мила искренностью и пылкостью своих чувств. Быть энтузиасткой сделалось ее общественным положением, и иногда, когда ей даже того не хотелось, она, чтобы не обмануть ожиданий людей, знавших ее, делалась энтузиасткой. Сдержанная улыбка, игравшая постоянно на лице Анны Павловны, хотя и не шла к ее отжившим чертам, выражала, как у избалованных детей, постоянное сознание своего милого недостатка, от которого она не хочет, не может и не находит нужным исправляться.

Содержание депеши от Новосильцева, поехавшего в Париж для переговоров о мире, было следующее.

Приехав в Берлин, Новосильцев узнал, что Буонапарте издал декрет о присоединении Генуэзской республики к Французской империи в то самое время, как он изъявлял желание мириться с Англией при посредничестве России. Новосильцев, остановившись в Берлине



и предполагая, что такое насилие Буонапарте может изменить намерение императора Александра, спрашивал разрешения его величества, ехать ли в Париж или возвратиться. Ответ Новосильцеву был уже составлен и должен быть отослан завтра. Завладение Генуей был желанный предлог для объявления войны, к которой мнение придворного общества было еще более готово, чем войско. В ответе было сказано: «Мы не хотим вести переговоров с человеком, который, изъявляя желание мириться, продолжает свои вторжения».

Это все было самою свежелою новостью дня. Князь, видимо, знал все эти подробности из верных источников и шутливо передал их фрейлине.

— Ну, к чему повели нас эти переговоры? — сказала Анна Павловна по-французски, как происходил и весь разговор. — Ну, к чему все эти переговоры? Не переговоры, а смерть за смерть мученика нужна злодею, — сказала она, раздувая ноздри, поворачиваясь на диване и вслед за тем улыбаясь.

— Как вы кровожадны, дорогая! В полити-

ке не все делается как в гостиной. Существуют предосторожности, — сказал князь Василий с своею грустной улыбкой, которая была неестественна, но, повторяясь уж тридцать лет, так обжилась на старом лице князя, что казалась вместе и неестественною и привычною. — Есть письма от ваших? — прибавил он, видимо, считая фрейлину недостойною серьезного политического разговора и стараясь перевести его на другой предмет.

— Но к чему повели нас эти предосторожности, — продолжала спрашивать Анна Павловна, не поддаваясь ему.

— А хоть бы к тому, чтоб узнать мнение Австрии, которую вы так любите, — сказал князь Василий, видимо поддразнивая Анну Павловну и не желая выпускать разговор из шуточного тона.

Но Анна Павловна разгорячилась.

— Ах, не говорите мне про Австрию! Я ничего не понимаю, может быть, но Австрия никогда не хотела и не хочет войны. Она предаст нас. Россия одна должна быть спасительницею Европы. Наш благодетель знает свое высокое призвание и будет верен ему. Вот од-

но, во что я верю. Нашему доброму и чудному государю предстоит величайшая роль в мире, и он так добродетелен и хорош, что Бог не оставит его, и он исполнит свое призвание задавить гидру революции, которая теперь еще ужаснее в лице этого убийцы и злодея. Мы одни должны искупить кровь праведника. На кого нам надеяться, я вас спрашиваю? Англия с своим коммерческим духом не поймет и не может понять всю высоту души императора Александра. Она отказалась очистить Мальту. Она хочет видеть, ищет заднюю мысль наших действий. Что они сказали Новосильцеву? Ничего. Они не поняли, они не могут понять самоотвержения нашего императора, который ничего не хочет для себя и все хочет для блага мира. И что они обещали? Ничего. И что обещали, и того не будет. Пруссия уже объявила, что Буонапарте непобедим и что вся Европа ничего не может против него... И я не верю ни в одном слове ни Гарденбергу, ни Гаугвицу. Этот пресловутый нейтралитет Пруссии — только западня. Я верю в одного Бога и в высокую судьбу нашего милого императора. Он спасет Европу!..

Она вдруг остановилась с улыбкой насмешки над своею горячностью.

— Я думаю, — сказал князь, улыбаясь, — что, ежели бы вас послали вместо нашего милого Винценгероде, вы бы взяли приступом согласие прусского короля. Вы так красноречивы. Вы дадите мне чаю?

— Сейчас. Кстати, — прибавила она, опять успокаиваясь, — нынче у меня будет очень интересный человек, виконт де Мортемар. Он в родстве с Монморанси через Роганов, одна из лучших фамилий Франции. Это один из хороших эмигрантов, из настоящих. Он очень хорошо вел себя и все потерял. Он был при герцоге Энгиенском, при несчастном святом мученике во время его пребывания в Этенгейме. Говорят, он очень мил. Ваш обворожительный сын Ипполит обещал мне привезти его. Все наши дамы без ума от него, — прибавила она с улыбкой презрения, как будто жалела о бедных дамах, не умевших выдумать ничего лучше, как влюбляться в виконта де Мортемара.

— Кроме вас, разумеется, — сказал князь все своим тоном посмеивания. — Я его видал,

этого виконта, в свете, — прибавил он, видимо, мало заинтересованный надеждой видеть Мортемара. — Скажите, — сказал он, как будто только что вспомнив что-то, и особенно небрежно, тогда как то, о чем он спрашивал, было главною целью его посещения, — правда, что императрица-мать желает назначения барона Функе первым секретарем в Вену? Этот барон, кажется, ничтожная личность.

Князь Василий желал определить сына на это место, которое через императрицу Марию Федоровну старались доставить барону.

Анна Павловна почти закрыла глаза в знак того, что ни она, ни кто другой не могут судить про то, что угодно или нравится императрице.

— Барон Функе был рекомендован императрице-матери ее сестрою, — только сказала она совсем особенным грустным сухим тоном. В то время как Анна Павловна назвала императрицу, лицо ее вдруг представило глубокое и искреннее выражение преданности и уважения, соединенное с грустью, что с ней бывало каждый раз, как она в разговоре упоминала о своей высокой покровительнице.

Она сказала, что ее величество изволила оказать барону Функе много уважения, и опять взгляд ее подернулся грустью.

Князь равнодушно замолк. Анна Павловна, с свойственной ей придворной и женской ловкостью и быстротою такта, захотела и щелкнуть князя за то, что он дерзнул так отозваться о лице, рекомендованном императрице, и в то же время утешить его.

— Кстати, о вашей семье, — сказала она, — знаете ли вы, что ваша дочь составляет наслаждение всего общества. Ее находят прекрасною, как день. Государыня очень часто спрашивает про нее: «Что делает прекрасная Елена?»

Князь наклонился в знак уважения и признательности.

— Я часто думаю, — продолжала Анна Павловна после минутного молчания, придвигаясь к князю и ласково улыбаясь ему, как будто выказывая этим, что политические и светские разговоры кончены и теперь начинается задушевный, — я часто думаю, как иногда несправедливо распределяется счастье жизни. За что вам дала судьба таких двух слав-

ных детей (исключая Анатоля, вашего меньшого, я его не люблю, — вставила она безапелляционно, приподняв брови), таких прелестных детей? А вы, право, менее всех цените их и потому их не ст\ите.

И она улыбнулась своей восторженной улыбкой.

— Чего вы хотите? Лафатер сказал бы, что у меня нет шишки родительской любви, — сказал князь вяло.

— Перестаньте шутить. Я хотела серьезно поговорить с вами. Знаете, я недовольна вашим меньшим сыном. Я его совсем не знаю, но, кажется, он поставил задачей сделать себе скандальную репутацию. Между нами будь сказано (лицо ее приняло грустное выражение), о нем говорили у ее величества, и жалеют вас...

Князь не отвечал, но она, молча, значительно глядя на него, ждала ответа. Князь Василий поморщился.

— Что вы хотите, чтоб я делал? — сказал он наконец. — Вы знаете, я сделал для их воспитания все, что может отец, и оба вышли дураки. Ипполит, по крайней мере, покойный

дурак, а Анатолий — беспокойный. Вот одно различие, — сказал он, улыбаясь более неестественно и одушевленно, чем обыкновенно, и при этом особенно резко выказывая в сложившихся около его рта морщинах что-то такое грубое и неприятное, что Анне Павловне пришло на мысль: не очень, должно быть, приятно быть сыном или дочерью такого отца.

— И зачем родятся дети у таких людей, как вы? Ежели бы вы не были отец, я бы ни в чем не могла упрекнуть вас, — сказала Анна Павловна, задумчиво поднимая глаза.

— Я ваш верный раб, и вам одной могу признаться. Мои дети — обуза моего существования. Это мой крест. Я так себе объясняю. Чего вы хотите? — Он помолчал, выражая жестом свою покорность жестокой судьбе. — Да, ежели бы можно было по произволу иметь и не иметь их... Я уверен, что в наш век будет сделано это изобретение.

Анне Павловне не понравилась мысль о таком изобретении.

— Вы никогда не думали о том, чтобы женить вашего блудного сына Анатолия? Гово-



рят, что старые девицы имеют манию женить.

Я еще не чувствую за собой этой слабости, но у меня есть одна маленькая особа, которая очень несчастлива с отцом, наша родственница, княжна Болконская.

Князь Василий не отвечал, хотя со свойственной светским людям быстротой соображенья и памятью движением головы показал, что он принял к соображенью это сведение.

— Нет, вы знаете ли, что этот Анатолий мне стоит 40 000 в год, — сказал он, видимо, не в силах удерживать печальный ход своих мыслей. Он помолчал. — Что будет через пять лет, ежели это пойдет так? Вот выгода быть отцом. Она богата, ваша княжна?

— Отец очень богат и скуп. Он живет в деревне. Знаете, этот известный князь Болконский, отставленный еще при покойном императоре и прозванный Прусским королем. Он очень умный человек, но со странностями и тяжелый. Бедняжка несчастлива. У нее брат, вот что недавно женился на Лизе Мейнен, адъютант Кутузова, живет здесь и будет нын-

че у меня. Она единственная дочь.

— Послушайте, милая Анет, — сказал князь, взяв вдруг свою собеседницу за руку и пригибая ее почему-то книзу. — Устройте мне это дело, и я ваш вернейший раб навсегда. Она хорошей фамилии и богата. Все, что мне нужно.

И он с теми свободными и фамильярными, грациозными движениями, которые его отличали, взял за руку фрейлину, поцеловал ее и, поцеловав, помахал фрейлинскою рукой, развалившись на креслах и глядя в сторону.

— Подождите, — сказала Анна Павловна, соображая. — Я нынче же поговорю с Лизой, женой молодого Болконского. И, может быть, это уладится. Я в вашем семействе начну обучаться ремеслу старой девы.

Гостиная Анны Павловны начала понемногу наполняться. Приехала высшая знать Петербурга, люди самые разнородные по возрастам и характерам, но одинаковые по обществу, в каком все жили; приехал дипломат граф З. в звездах и орденах всех иностранных дворов, княгиня Л., отцветающая красавица, жена посланника; вошел дряхлый генерал, стуча саблей и кряхтя; вошла дочь князя Василия, красавица Элен, заехавшая за отцом, чтобы с ним вместе ехать на праздник посланника. Она была в шифре и бальном платье. Приехала и известная как самая обворожительная женщина Петербурга молодая, маленькая княгиня Болконская, прошлую зиму вышедшая замуж и теперь не выезжавшая в большой свет по причине своей беременности, но ездившая еще на небольшие вечера.

— Вы не видали еще, или — вы не знакомы с моей тетушкой, — говорила Анна Павловна приезжавшим гостям и весьма серьезно подводила их к маленькой старушке в высоких бантах, выплывшей из другой комнаты, как

скоро стали приезжать гости; называла их по имени, медленно переводя глаза с гостя на тетюшку, и потом отходила. Все гости совершали обряд приветствия никому не известной, никому не интересной и не нужной тетюшки. Анна Павловна с грустным торжественным участием следила за их приветствиями, молчаливо одобряя их. Тетюшка каждому говорила в одних и тех же выражениях о его здоровье, о своем здоровье и о здоровье ее величества, которое нынче было, слава богу, лучше. Все подходившие, из приличия не выказывая поспешности, с чувством облегчения исполненной тяжелой обязанности, отходили от старушки, чтоб уж весь вечер ни разу не подойти к ней. Человек десять присутствующих мужчин и дам разместились кто у чайного стола, кто в уголку за трельяжем, кто у окна; все разговаривали и свободно переходили от одной группы к другой.

Молодая княгиня Болконская приехала с работой в шитом золотом бархатном мешке. Ее хорошенькая, с чуть черневшимися усиками верхняя губка была коротка по зубам, но тем милее она открывалась и тем еще милее

вытягивалась иногда и опускалась на нижнюю. Как это всегда бывает у вполне привлекательных женщин, недостаток ее — короткость губы и полуоткрытый рот — казались ее особенною, собственно ее красотой. Всем было весело смотреть на эту полную здоровья и живости хорошенькую будущую мать, так легко переносившую свое положение. Старикам и скучающим мрачным молодым людям, смотревшим на нее, казалось, что они сами делаются похожи на нее, побыв и поговорив несколько времени с нею. Кто говорил с ней и видел при каждом ее слове светлую улыбочку и блестящие белые зубы, которые виднелись беспрестанно, думал, что он особенно нынче любезен. И это думал каждый. Маленькая княгиня, переваливаясь, маленькими быстрыми шажками обошла стол с рабочею сумочкой на руке и весело, оправляя платье, села на диван, около серебряного самовара, как будто все, что она ни делала, было развлечением для нее и для всех ее окружавших.

— Я захватила работу, — сказала она, развертывая свой ридикюль и обращаясь ко всем вместе.

— Смотрите, Анна, не сыграйте со мной дурной шутки, — обратилась она к хозяйке. — Вы мне писали, что у вас совсем маленький вечер, видите, как я одета дурно.

И она развела руками, чтобы показать свое, в кружевах, серенькое изящное платье, немного ниже груди опоясанное широкою лентой.

— Будьте спокойны, Лиз, вы всё будете лучше всех, — отвечала Анна Павловна.

— Вы знаете, мой муж покидает меня, он идет на смерть, — продолжала она тем же тоном, обращаясь к генералу. — Скажите, зачем эта гадкая война? — обратилась она к князю Василию и, не дожидаясь ответа, обратилась к дочери князя Василия, к красивой Элен: — Знаете, Элен, вы становитесь слишком хороши, слишком хороши.

— Что за прелестная особа эта маленькая княгиня! — сказал князь Василий тихо Анне Павловне.

— Ваш обворожительный сын Ипполит до безумия влюблен в нее.

— У этого дурака есть вкус.

Вскоре после маленькой княгини вошел

толстый молодой человек с стриженою головой, в очках, светлых панталонах по тогдашней моде, с высоким жабо и в коричневом фраке. Этот толстый молодой человек, несмотря на модный покрой платья, был неповоротлив, неуклюж, как бывают неловки и неуклюжи здоровые мужицкие парни. Но он был незастенчив и решителен в движениях. На минуту остановился он посередине гостиной, не находя хозяйки и кланяясь всем, кроме нее, несмотря на знаки, которые она ему делала. Приняв старую тетушку за самую Анну Павловну, он сел подле нее и стал говорить с ней, но узнав, наконец, по удивленному лицу тетушки, что этого не следует делать, встал и сказал:

— Извините, мадемуазель, я думал, что это не вы.

Даже бесстрастная тетушка покраснела при этих бессмысленных словах и с отчаянным видом замахала своей племяннице, приглашая ее себе на помощь. Занятая до сих пор другим гостем, Анна Павловна подошла к ней.

— Очень любезно с вашей стороны, мсье

Пьер, что вы пришли навестить бедную больную, — сказала она ему, улыбаясь и переглядываясь с тетушкой.

Пьер сделал еще хуже. Он сел подле Анны Павловны с видом человека, который не скоро встанет, и тотчас же начал с нею разговор о Руссо, о котором они говорили в предпоследнее свидание. Анне Павловне было некогда. Она прислушивалась, приглядывалась, помещала и перемещала гостей.

— Я не могу понять, — говорил молодой человек, значительно глядя через очки на свою собеседницу, — почему не любят «Исповедь», тогда как «Новая Элоиза» гораздо ничтожнее.

Толстый молодой человек неловко выражал свою мысль и вызывал на спор Анну Павловну, совершенно не замечая, что фрейлине и вообще никакого дела не было до того, какое сочинение хорошо или дурно, а особенно теперь, когда ей столько надо было сообразить и вспомнить.

— «Пусть прозвучит труба последнего суда, я предстану со своею книгой в руках», — говорил он, с улыбкой цитируя первую страницу



«Исповеди». — Прочтя эту книгу, полюбишь человека.

— Да, конечно, — отвечала Анна Павловна, несмотря на то, что она была совершенно противоположного мнения, и оглядывала гостей, желая встать. Но Пьер продолжал:

— Это не только книга, это поступок. Тут полная исповедь. Не правда ли?

— Но я не хочу быть его духовником, мсье Пьер, у него слишком гадкие грехи, — сказала она, вставая и улыбаясь. — Пойдемте, я вас представлю кухне.

И, отделавшись от молодого человека, не умеющего жить, она возвратилась к своим занятиям хозяйки дома и продолжала прислушиваться и приглядываться, готовая подать помощь на тот пункт, где ослабевал разговор, как хозяин прядильной мастерской, посадив работников по местам, прохаживается по заведению и примечает, все ли вертятся веретена. Как хозяин прядильной, замечая неподвижность или непривычный, скрипящий, слишком громкий звук веретена, торопливо идет, сдерживает или пускает его в надлежащий ход, так и Анна Павловна подходила к

замолкнувшему или слишком много говорившему кружку и одним словом или перемещением опять заводила равномерную, приличную разговорную машину.

### III

Вечер Анны Павловны был пущен. Веретена с разных сторон равномерно и не умолкая шумели. Кроме тетушки, около которой сидела только одна пожилая дама с исплаканным худым лицом, несколько чужая в этом блестящем обществе, и еще кроме толстого мсье Пьера, который после своих бестактных разговоров с тетушкой и Анной Павловной молчал весь вечер, видимо, не знакомый почти ни с кем, и только оживленно оглядывался на тех, кто ходил и говорил громче других, — общество разбилось на три кружка. В одном центром была красавица княжна Элен, дочь князя Василия, в другом — сама Анна Павловна, в третьем — хорошенькая, румяная и слишком полная по своей молодости маленькая княгиня Болконская.

Вошел сын князя Василия Ипполит, «ваш обворожительный сын Ипполит», как неиз-

менно называла его Анна Павловна, и ожидаемый виконт, от которого сходили с ума, по словам Анны Павловны, «все наши дамы». Ипполит вошел, глядя в лорнет, и, не опуская лорнета, громко, но неясно пробурлил: «Виконт де Мортемар», — и тотчас же, не обращая внимания на отца, подсел к маленькой княгине и, наклоня к ней голову так близко, что между ее и его лицом оставалось расстояние меньше четверти, что-то часто и неясно стал говорить ей и смеяться.

Виконт был миловидный, с мягкими чертами и приемами молодой человек, очевидно, считавший себя знаменитостью, но, по благовоспитанности, скромно предоставлявший пользоваться собой тому обществу, в котором он находился. Анна Павловна очевидно угощала им своих гостей. Как хороший метрдотель подает как нечто сверхъестественно прекрасное тот кусок говядины, который есть не захочется, если увидеть его в грязной кухне, так в нынешний вечер Анна Павловна сервировала своим гостям виконта как что-то сверхъестественно утонченное, тогда как господа, стоявшие с ним в одной го-

стинице и игравшие с ним каждый день на биллиарде, видели в нем только большого мастера карамболировать и вовсе не находили себя счастливыми от того, что виделись и говорили с виконтом.

Заговорили тотчас об убийстве герцога Энгиенского. Виконт сказал, что герцог Энгиенский погиб от своего великодушия и что были особенные причины озлобления Буонапарте.

— Ах! Расскажите нам это, виконт, — сказала Анна Павловна.

Виконт наклонился в знак покорности и учтиво улыбнулся. Анна Павловна сделала круг около виконта и пригласила всех слушать его рассказ.

— Виконт был лично знаком с герцогом, — шепнула Анна Павловна одному.

— Виконт удивительный мастер рассказывать, — проговорила она другому.

— Как сейчас, виден человек хорошего общества, — сказала она третьему, и виконт был подан обществу в самом изящном и выгодном для него свете, как ростбиф на горячем блюде и посыпанный зеленью.

Виконт хотел уже начать свой рассказ и тонко улыбнулся.

— Переходите сюда, дорогая Элен, — сказала Анна Павловна красавице княжне, которая сидела поодаль, составляя центр другого кружка.

Княжна Элен улыбалась; она поднялась с тою же неизменною улыбкой вполне красивой женщины, с которой она вошла в гостиную. Слегка шумя своею белою бальной робой, убранной плюшем и мехом, и блестя белизной плеч, глянцем волос и бриллиантов, она прошла между расступившимися мужчинами и прямо, не глядя ни на кого, но всем улыбаясь и как бы любезно предоставляя каждому право любоваться красотой своего стана, полных плеч, очень открытой по тогдашней моде груди и спины и как будто внося с собою блеск бала, подошла к Анне Павловне. Элен была так хороша, что не только не было в ней заметно тени кокетства, но, напротив, ей как будто совестно было за свою несомненную и слишком сильно и победительно действующую красоту. Она как будто желала и не могла умалить своей красоты.

«Какая красавица!» — говорил каждый, кто ее видел.

Как будто пораженный чем-то необычайным, виконт пожал плечами и опустил глаза, в то время как она усаживалась перед ним и освещала и его все тою же неизменною улыбкой.

— Мадам, я, право, опасаясь за свои способности перед такой публикой, — сказал он, наклоняя с улыбкой голову.

Княжна облокотила свою открытую полную руку на столик и не нашла нужным что-либо сказать. Она улыбаясь ждала. Во все время рассказа она сидела прямо, посматривая изредка то на свою полную красивую руку, которая от давления на стол изменила свою форму, то на еще более красивую грудь, на которой она поправляла бриллиантовое ожерелье, поправляла несколько раз складки своего платья и, когда рассказ производил впечатление, оглядывалась на Анну Павловну и тотчас же принимала то самое выражение, которое было на лице фрейлины, и потом опять успокаивалась в сияющей улыбке. Вслед за Элен перешла и маленькая княгиня от чайно-

го стола.

— Подождите, я возьму мою работу, — проговорила она.

— О чем вы думаете? — обратилась она к князю Ипполиту. — Принесите мне мой риди-кюль.

Княгиня, улыбаясь и говоря со всеми, вдруг произвела перестановку, и, усевшись, весело оправилась.

— Теперь мне хорошо, — приговаривала она и, попросив начинать, принялась за работу. Князь Ипполит перенес ей риди-кюль, перешел за нею и, близко придвинув к ней кресло, сел подле нее.

Очаровательный Ипполит поражал своим необыкновенным сходством с сестрою-красавицей и еще более тем, что, несмотря на сходство, он был поразительно дурен собой. Черты его лица были те же, как и у сестры, но у той все освещалось жизнерадостной, самоодовольной, молодой, неизменной улыбкой жизни и необычайной античной красотой тела; у брата, напротив, то же лицо было отуманено идиотизмом и неизменно выражало самоуверенную брюзгливость, а тело было худощаво

и слабо. Глаза, нос, рот — все сжималось как будто в одну неопределенную и скучную гримасу, а руки и ноги всегда принимали неестественные положения.

— Это не история о привидениях? — сказал он, усевшись подле княгини и торопливо пристроив к глазам свой лорнет, как будто без этого инструмента он не мог начать говорить.

— Вовсе нет, — пожимая плечами, сказал удивленный рассказчик.

— Дело в том, что я терпеть не могу историй о привидениях, — сказал он таким тоном, что видно было, — он сказал эти слова, а потом уже понял, что они значили.

Из-за самоуверенности, с которою он говорил, никто не мог понять, очень ли умно или очень глупо то, что он сказал. Он был в темно-зеленом фраке, в панталонах цвета бедра испуганной нимфы, как он сам говорил, в чулках и башмаках. Он сел в самую глубину кресла против рассказчика, положил одну руку с кольцом и гербовой печатью перед собой на стол в таком вытянутом положении, что ему стоило, видимо, большого труда удержи-



вать ее в этом положении, однако во все время рассказа он держал так руку. Другую рукой он держал лорнет в ладони и этою же рукой опраивлял свою прическу кверху, придававшую еще более странное выражение его вытянутому лицу, и, как будто вспомнив что-то, начинал смотреть на свою выставленную руку с перстнями, потом на ноги виконта, потом весь оборачивался быстро и развинченно, как он и все делал, и долго пристально смотрел на княгиню.

— Когда я имел счастье видеть в последний раз блаженной и печальной памяти герцога Энгиенского, — начал виконт с изящной грустью в голосе, оглядывая слушателей, — он в самых лестных выражениях говорил о красоте и гениальности великой Жорж. Кто не знает этой гениальной и прелестной женщины? Я выразил свое удивление, каким образом герцог мог узнать ее, не быв в Париже эти последние годы. Герцог улыбнулся и сказал мне, что Париж не так далек от Мангейма, как это кажется. Я ужаснулся и высказал его высочеству свой страх при мысли о посещении им Парижа. «Сударь, — сказал я, — бог

знает, не окружены ли мы здесь изменниками и предателями и не будет ли ваше присутствие в Париже, как бы тайно оно ни было, известно Буонапарте?» Но герцог только улыбнулся на мои слова с рыцарством и отважностью, составляющими отличительную черту его фамилии.

— Дом Конде — ветка лавра, привитая к дереву Бурбонов, как говорил недавно Питт, — сказал монотонно князь Василий, как будто он диктовал какому-то невидимому писцу.

— Господин Питт очень хорошо выразился, — лаконически прибавил его сын Ипполит, решительно поворачиваясь на кресле туловищем в одну, а ногами в противоположную сторону, торопливо поймав лорнетку и устремив сквозь нее свой взгляд на родителя.

— Одним словом, — продолжал виконт, обращаясь преимущественно к красавице княжне, которая не спускала с него глаз, — я должен был оставить Этенгейм и узнал уже потом, что герцог, увлеченный своею отвагой, ездил в Париж, делал честь мадемуазель Жорж не только восхищаться ею, но и посе-

щать ее.

— Но у него была сердечная привязанность к принцессе Шарлотте де Роган Рошфор, — горячо перебила Анна Павловна. — Говорили, что он тайно был женат на ней, — сказала она, видимо, испуганная будущим содержанием рассказа, который ей казался слишком вольным в присутствии молодой девушки.

— Одна привязанность не мешает другой, — продолжал виконт, тонко улыбаясь и не замечая опасений Анны Павловны. — Но дело в том, что мадемуазель Жорж прежде своего сближения с герцогом пользовалась сближением с другим человеком.

Он помолчал.

— Человека этого звали Буонапарте, — произнес он, с улыбкой оглянув слушателей.

Анна Павловна, в свою очередь, оглянулась беспокойно, видя, что рассказ делается опаснее и опаснее.

— Так вот, — продолжал виконт, — новый султан из «Тысячи и одной ночи» не пренебрегал частенько проводить свои вечера у самой красивой, самой приятной женщины во

Франции. И мадемуазель Жорж, — он помолчал, пожав выразительно плечами, — должна была превратить необходимость в добродетель. Счастливец Буонапарте приезжал обыкновенно по вечерам, не назначая своих дней.

— Ах! Я предвижу, и мне становится жутко, — пожимая полными и гибкими плечиками, сказала маленькая хорошенькая княгиня.

Пожилая дама, сидевшая весь вечер подле тетушки, перешла к кружку рассказчика, покачав головою и улыбнувшись значительно и грустно.

— Это ужасно, не правда ли? — сказала она, хотя, очевидно, и не слыхала начала истории. На неуместность ее замечания и на нее саму никто не обратил внимания.

Князь Ипполит объявил быстро и громко:

— Жорж в роли Клитемнестры удивительна!

Анна Павловна молчала и находилась в беспокойстве, не решив еще окончательно в своем уме, прилично или неприлично было то, что рассказывал виконт. С одной стороны — вечерние посещения актрис, с другой

стороны — ежели уж виконт де Мортемар, родственник Монморанси через Роганов, лучший представитель Сен-Жерменского предместья, в гостиной будет говорить неприлично, то кто же, наконец, знает, что прилично и неприлично?

— В один вечер, — продолжал виконт, оглядывая слушателей и оживляясь, — Клитемнестра эта, прельстив весь театр своею удивительною передачей Расина, возвратилась домой и думала отдохнуть от усталости и волнения. Она не ждала султана.

Анна Павловна вздрогнула при слове «султан». Княжна опустила глаза и перестала улыбаться.

— Как вдруг служанка доложила, что бывший виконт Рокрой желает видеть великую актрису. Рокрой — так называл себя герцог. Он был принят, — прибавил виконт и, помолчав несколько секунд, чтобы дать понять, что он не все рассказывает, что знает, продолжал: — Стол блестел хрусталем, эмалью, серебром и фарфором. Стояли два прибора, время летело незаметно, и наслаждение...

Неожиданно в этом месте рассказа князь

Исполнит произвел странный громкий звук, который одни приняли за кашель, другие за сморканье, мычанье или смех, и стал торопливо ловить упущенный лорнет. Рассказчик удивленно остановился. Анна Павловна испуганно перебила описание наслаждений, которые с таким вкусом описывал виконт.

— Не томите нас, виконт, — сказала она.

Виконт улыбнулся.

— Наслаждение превращало часы в минуты, как вдруг послышался звонок, и испуганная горничная, дрожа, прибежала объявить, что звонит страшный бонапартовский мамелюк и что ужасный господин его уже стоит у подъезда...

— Прелестно, — прошептала маленькая княгиня, втыкая иголку в работу, как будто в знак того, что интерес и прелесть истории мешают ей продолжать работу.

Виконт оценил эту молчаливую похвалу и, благодарно улыбнувшись, хотел продолжать, когда в гостиную вошло новое лицо и произвело необходимую остановку.

## IV

Новое лицо это был молодой князь Андрей Болконский, муж маленькой княгини. Не столько по тому, что молодой князь приехал так поздно, но все-таки был принят хозяйкой самым любезным образом, сколько по тому, как он вошел в комнату, было видно, что он один из тех светских молодых людей, которые так избалованы светом, что даже презирают его. Молодой князь был небольшого роста, весьма красивый, сухощавый брюнет, с несколько истощенным видом, коричневым цветом лица, в чрезвычайно изящной одежде и с крошечными руками и ногами. Все в его фигуре, начиная от усталого, скучающего взгляда до ленивой и слабой походки, представляло самую резкую противоположность с его маленькою, оживленною женой. Ему, видимо, все бывшие в гостиной не только были знакомы, но уж надоели ему так, что и смотреть на них и слушать их ему было очень скучно, потому что он вперед знал все, что будет. Из всех же прискучивших ему лиц лицо его хорошенькой жены, казалось, больше

всех ему надоело. С кислую, слабою гримасой, портившей его красивое лицо, он отвернулся от нее, как будто подумал: «Тебя только недо- ставало, чтобы вся эта компания совсем мне опротивела». Он поцеловал руку Анны Павловны с таким видом, как будто готов был бог знает что дать, чтоб избавиться от этой тяжелой обязанности, и щурясь, почти закрывая глаза и морщась, оглядывал все общество.

— У вас съезд, — сказал он тоненьким го- лоском и кивнул головой кое-кому, кое-кому подставил свою руку, предоставляя ее пожа- тию.

— Вы собираетесь на войну, князь? — ска- зала Анна Павловна.

— Генерал Кутузов, — сказал он, ударяя на последнем слоге зов как француз, снимая пер- чатку с белейшей, крошечной руки и потирая ею глаза, — генерал-аншеф Кутузов зовет ме- ня к себе в адъютанты.

— А Лиза, ваша жена?

— Она поедет в деревню.

— Как вам не грех лишать нас вашей пре- лестной жены?

Молодой адъютант сделал выпяченными



губами презрительный звук, какой делают только французы, и ничего не отвечал.

— Андрей, — сказала его жена, обращаясь к мужу тем же кокетливым тоном, каким она обращалась и к посторонним, — подите сюда, садитесь, послушайте, какую историю рассказывает виконт о мадемуазель Жорж и Буонапарте.

Андрей зажмурился и сел совсем в другую сторону, как будто не слышал жены.

— Продолжайте, виконт, — сказала Анна Павловна. — Виконт рассказывал, как герцог Энгиенский бывал у мадемуазель Жорж, — прибавила она, обращаясь к вошедшему, чтобы он мог следить за продолжением рассказа.

— Мнимое соперничество Буонапарте и герцога из-за Жорж, — сказал князь Андрей таким тоном, как будто смешно было кому-нибудь не знать про это, и повалился на ручку кресла. В это время молодой человек в очках, называемый мсье Пьер, со времени входа князя Андрея в гостиную не спускавший с него радостных, дружелюбных глаз, подошел к нему и взял его за руку. Князь Андрей так мало был любопытен, что, не огля-

дываясь, сморщил наперед лицо в гримасу, выразившую досаду на того, кто трогает его, но, увидав улыбающееся лицо Пьера, улыбнулся тоже, и вдруг все лицо его преобразилось. Доброе и умное выражение вдруг явилось на нем.

— Как? Ты здесь, кавалергард мой милый? — спросил князь радостно, но с покровительственным и надменным оттенком.

— Я знал, что вы будете, — отвечал Пьер. — Я приеду к вам ужинать, — прибавил он тихо, чтобы не мешать виконту, который продолжал свой рассказ. — Можно?

— Нет, нельзя, — сказал князь Андрей, смеясь и отворачиваясь, но пожатием руки давая знать Пьеру, что этого не нужно было спрашивать.

Виконт рассказал, как мадемуазель Жорж умоляла герцога спрятаться, как герцог сказал, что он никогда ни перед кем не прятался, как мадемуазель Жорж сказала ему: «Ваше высочество, ваша шпага принадлежит королю и Франции», — и как герцог все-таки спрятался под белье в другой комнате, и как Наполеону сделалось дурно, и герцог вышел из-

под белья и увидел перед собой Буонапарте.

— Прелестно, восхитительно! — слышалось между слушателями.

Даже Анна Павловна, заметив, что самое затруднительное место истории пройдено благополучно, и успокоившись, вполне могла наслаждаться рассказом. Виконт разгорелся и, грассируя, говорил с одушевлением актера...

— Враг его дома, похититель трона, тот, кто возглавлял его нацию, был здесь, перед ним, неподвижно распростертый на земле и, может быть, при последнем издыхании. Как говорил великий Корнель: «Злобная радость поднималась в его сердце, и только оскорбленное величие помогло ему не поддаться ей».

Виконт остановился и, собираясь повести еще сильнее свой рассказ, улыбнулся, как будто успокаивая дам, которые уже слишком были взволнованы. Совершенно неожиданно во время этой паузы красавица княжна Элен посмотрела на часы, переглянулась с отцом и вместе с ним встала, и этим движением разрушила кружок и прервала рассказ.

— Мы опоздаем, пап

— Вы меня извините, мой милый виконт, — обратился князь Василий к французу, ласково притягивая его за рукав вниз к стулу, чтобы он не вставал. — Этот несчастный праздник у посланника лишает меня удовольствия и прерывает вас.

— Очень мне грустно покидать ваш восхитительный вечер, — сказал он Анне Павловне.

Дочь его, княжна Элен, слегка придерживая складки платья, пошла между стульев, и улыбка просияла еще светлее на ее прекрасном лице.

Анна Павловна попросила виконта подождать ее и пошла проводить князя Василия с дочерью до другой комнаты. Пожилая дама, сидевшая прежде с тетушкой и потом изъяснившая такой bestолковый интерес к истории виконта, торопливо встала и догнала князя Василия в передней.

С лица ее исчезла вся прежняя притворность интереса. Доброе, исплаканное лицо ее выражало только беспокойство и страх.

— Что же вы мне скажете, князь, о моем Борисе? — сказала она, догоняя его в передней (она выговаривала имя Борис с особенным ударением на о). — Я не могу оставаться дольше в Петербурге. Скажите, какие известия я могу привезти моему бедному мальчику?

Несмотря на то, что князь Василий неохотно и почти неучтиво слушал пожилую даму и даже выказывал нетерпение, она ласково и трогательно улыбалась ему и, чтоб он не ушел, взяла его за руку.

— Что вам стоит сказать слово государю, и

он прямо будет переведен в гвардию, — просила она.

— Поверьте, что я сделаю все, что могу, княгиня, — отвечал князь Василий, — но мне трудно просить государя; я бы советовал вам обратиться к Разумовскому, через князя Голицына, это было бы умнее.

Пожилая дама носила имя княгини Друбецкой, одной из лучших фамилий России, но она была бедна, давно вышла из света и утратила прежние связи. Она приехала теперь, чтобы выхлопотать определение в гвардию своему единственному сыну. Только затем, чтоб увидеть князя Василия, она назвалась и приехала на вечер к Анне Павловне, только затем она слушала историю виконта. Она испугалась слов князя Василия; когда-то красивое лицо ее выразило почти презрение, но это продолжалось только минуту. Она опять улыбнулась и крепче схватилась за руку князя Василия.

— Послушайте, князь, — сказала она, — я никогда не просила вас, никогда не буду просить, никогда не напоминала вам о дружбе моего отца к вам. Но теперь я Богом заклинаю

вас, сделайте это для моего сына, и я буду считать вас благодетелем, — торопливо прибавила она. — Нет, вы не сердитесь, а вы обещайте мне. Я просила Голицына, он отказал. Будьте добрым человеком, каким вы всегда были, — говорила она, стараясь улыбаться, тогда как в ее глазах были слезы.

— Пап

Но влияние в свете есть капитал, который надо беречь, чтоб он не исчез. Князь Василий знал это, и раз рассудив, что ежели бы он стал просить за всех, кто его просит, то вскоре ему нельзя было бы просить ни за кого, он редко употреблял свое влияние. В деле княгини Друбецкой он почувствовал, однако, после ее нового призыва, что-то вроде укора совести. Она напомнила ему правду: первыми шагами своими в службе он был обязан ее отцу. Кроме того, он видел по ее приемам, что она одна из тех женщин, особенно матерей, которые, однажды взяв себе что-нибудь в голову, не останут до тех пор, пока не исполнят их желаний, а в противном случае готовы на ежедневные, ежеминутные приставания и даже на сцены. Это последнее соображение поколе-

бало его.

— Дорогая Анна Михайловна, — сказал он с своею всегдашней фамильярностью и скукой в голосе, — для меня почти невозможно сделать то, что вы хотите, но, чтобы доказать вам, как я люблю вас и чту память покойного графа, отца вашего, я сделаю невозможное. Сын ваш будет переведен в гвардию, вот вам моя рука. Довольны вы?

И он пожал ее руку, дергая ее вниз.

— Милый мой, вы благодетель! Я иного и не ждала от вас, — так лгала и унижалась мать, — я знала, как вы добры.

Он хотел уйти.

— Пойдите, два слова. Раз он перейдет в гвардию... — она замялась. — Вы хороши с Михаилом Илларионовичем Кутузовым, рекоменруйте ему Бориса в адъютанты. Тогда бы я была покойна, и тогда бы уж...

Анна Михайловна, будто цыганка, выпрашивала для сына тем больше, чем больше ей давали. Князь Василий улыбнулся.

— Этого не обещаю. Вы не знаете, как осаждают Кутузова с тех пор, как он назначен главнокомандующим. Он мне сам говорил,



что все московские барыни сговорились отдать ему всех своих детей в адъютанты.

— Нет, обещайте, я не пущу вас, милый, благодетель мой...

— Пап

— Ну, прощайте. Видите?

— Так завтра вы доложите государю?

— Непременно, а Кутузову не обещаю.

— Нет, обещайте, обещайте, Василий, — сказала вслед ему Анна Михайловна, с улыбкой молодой кокетки, которая когда-то, должно быть, была ей свойственна, а теперь так не шла к ее истощенному, доброму лицу. Она, видимо, забыла свои годы и пускала в ход, по привычке, все старинные женские средства. Но как только он вышел, лицо ее опять приняло то же холодное, притворное выражение, которое было на нем прежде. Она вернулась к кружку, в котором виконт продолжал рассказывать, и опять сделала вид, что слушает, дожидаясь времени уехать, так как дело ее было сделано.

Конец истории виконта был следующий:

«Герцог Энгиенский достал из кармана флакон горного хрусталя, обделанный в золото, в котором были жизненные капли, подаренные его отцу графом Сен-Жерменом. Капли эти, как известно, имели свойство оживлять мертвого или почти мертвого, но их не надо было давать никому, кроме членов дома Конде. Посторонние лица, отведавшие капель, исцелялись так же, как и Конде, но делались непримиримыми врагами герцогского дома. Доказательством тому служит то, что отец герцога, желая исцелить умирающего коня, дал ему этих капель. Конь ожил, но покушался потом несколько раз погубить седока и раз понес его во время битвы в лагерь республиканцев. Отец герцога убил любимую лошадь. Несмотря на то, молодой и рыцарский герцог Энгиенский влил несколько капель в рот своего врага Буонапарте, и изверг ожил. — Кто вы? — спросил Буонапарте.

— Родственник служанки, — отвечал герцог.

— Ложь! — закричал Буонапарте.

— Генерал, я без оружия, — отвечал герцог.

— Ваше имя?

— Я спас вам жизнь, — отвечал герцог.

Герцог уехал, а капли подействовали, и Буонапарте почувствовал ненависть к герцогу и с того дня поклялся уничтожить несчастного и великодушного юношу. Через своих клеветников, узнав по забытому герцогом платку, на котором был вышит герб дома Конде, кто был его соперник, Буонапарте велел изобрести предлог заговора Пишегрю и Жоржа Кадудалья, схватил в Баденском герцогстве мученика-героя и убил его.

— Ангел и демон. И вот каким образом было совершено самое ужасное преступление в истории».

Этим заключил виконт свою историю и от избытка волнения перевернулся на стуле. Все молчали.

— Убийство герцога было более чем преступление, виконт, — сказал князь Андрей, слегка улыбаясь, как будто он подсмеивался

над виконтом, — это была ошибка.

Виконт приподнял брови и развел руками. Жест его мог означать многое.

— Но как вы находите всю эту последнюю комедию Миланского помазания? — сказала Анна Павловна. — И вот новая комедия: народы Генуи и Лукки изъявляют свои желания господину Буонапарте. И господин Буонапарте сидит на троне и исполняет желания народов. О, это восхитительно! Нет, от этого можно с ума сойти. Подумаешь, что весь свет потерял голову.

Князь Андрей отвернулся от Анны Павловны, как будто в той мысли, что эти разговоры ни к чему не ведут.

— «Бог мне дал корону. Беда тому, кто ее тронет», — произнес князь Андрей с гордостью, как будто то были его слова (слова Наполеона, сказанные при возложении короны). — Говорят, он был очень хорош, произнесся эти слова, — прибавил он.

Анна Павловна строго взглянула на князя Андрея.

— Надеюсь, — продолжала она, — что это была, наконец, та капля, которая переполнит

стакан. Государи не могут долее терпеть этого человека, который угрожает всему.

— Государи? Я не говорю о России, — сказал виконт учтиво и безнадежно: — государи! Но что они сделали для Людовика XVI, для королевы, для Елизаветы? Ничего! — продолжал он, одушевляясь. — И поверьте мне, они несут наказание за свою измену делу Бурбонов. Государи? Они шлют послов приветствовать похитителя престола.

И он, презрительно вздохнув, опять переменил положение. Князь Ипполит, долго смотревший в лорнет на виконта, вдруг при этих словах повернулся всем телом к маленькой княгине и, попросив у нее иголку, стал показывать ей, рисуя иголкой на столе, герб Конде. Он растолковывал ей этот герб с таким значительным видом, как будто княгиня просила его об этом.

— Герб Конде представляет щит с красными и синими узкими зазубренными полосками, — говорил он. Княгиня, улыбаясь, слушала.

— Ежели еще год Буонапарте останется на престоле Франции, — продолжал виконт на-

чатый разговор с видом человека, не слушающего других, но в деле, лучше всех ему известном, следящего только за ходом своих мыслей, — то дела пойдут слишком далеко интригой, насилием, изгнаниями, казнями. Общество, я разумею хорошее общество, французское, навсегда будет уничтожено, и тогда?

Он пожал плечами и развел руками.

— Император Александр, — сказала Анна Павловна с грустью, сопутствовавшей всегда ее речам об императорской фамилии, — объявил, что он предоставит самим французам выбрать образ правления. И я думаю, нет сомнения, что вся нация, освободившись от узурпатора, бросится в руки законного короля, — сказала Анна Павловна, стараясь быть любезнее с эмигрантом и роялистом.

— О, если бы эта счастливая минута могла прийти! — сказал виконт, с благодарностью за внимание наклоняя голову.

— А вы как думаете, мсье Пьер? — ласково спросила Анна Павловна у толстого молодого человека, которого неловкое молчание тяготило ее как любезную хозяйку. — Как вы ду-

маете? Вы недавно из Парижа.

Анна Павловна, ожидая ответа, улыбнулась виконту и другим, как будто говоря: я и с ним должна быть любезна; видите, я обращаюсь и к нему, хотя и знаю, что он ничего не может сказать.

## VII

— **В**ся нация умрет за своего императора, за величайшего человека в мире! — вдруг безо всяких приготовлений, громко и запальчиво заговорил молодой человек, похожий на мужицкого парня, с таким видом, как будто он боялся, что его перебьют и что он не найдет после случая высказаться вполне. Он оглянулся на князя Андрея. Князь Андрей улыбнулся.

— Величайшего гения нашего века, — продолжал Пьер.

— Как? Это ваше мнение? Вы шутите! — вскрикнула Анна Павловна с испугом, происшедшим не столько от слов, произнесенных молодым человеком, сколько от того одушевления, не гостинного и совершенно неприличного, которое выражалось в крупных и

мясистых чертах молодого человека и преимущественно в звуке его голоса, который был слишком громок и, главное, естествен. Он не делал жестов, говорил прерывисто, изредка поправляя очки и оглядываясь, но по всей фигуре видно было, что теперь его никто не остановит и что он выскажет всю свою мысль, не думая о приличиях. Молодой человек был похож на дикую невыезженную лошадь, которая до тех пор, пока она не в седле и не в хомуте, смирна, даже робка и ничем не отличается от других лошадей, но которая, как только на нее надета сбруя, вдруг начинает без всякой понятной причины подгибать голову, взвиваться и самым смешным образом козелкать, чему и сама не рада. Молодой человек, видимо, почуял сбрую и начал свои смешные козлы.

— О Бурбонах никто и не думает теперь во Франции, — продолжал он, торопясь, чтоб его не перебили, и постоянно оглядываясь на князя Андрея, как будто в нем одном он ждал поддержки. — Не забудьте, что только три месяца, как я приехал из Парижа.

Он говорил на отличном французском языке.



ке.

— Господин виконт совершенно справедливо полагает, что будет поздно для Бурбонов через год. И теперь уже поздно. Роялистов нет больше. Одни бросили свое отечество, другие сделались бонапартистами. Все Сен-Жерменское предместье преклоняется перед императором.

— Есть исключения, — сказал виконт снисходительно.

Светская, привычная Анна Павловна беспокойно смотрела то на виконта, то на неприличного молодого человека и не могла себе простить того, что неосторожно пригласила этого юношу, не узнавши его прежде.

Неприличный юноша был незаконный сын знаменитого богача и вельможи. Анна Павловна пригласила его из уважения к отцу и принимая в соображение то, что этот мсье Пьер только что приехал из-за границы, где он воспитывался.

«Если б я знала, что он так дурно воспитан и бонапартист», — думала она, глядя на его большую стриженую голову и мясистые крупные черты. «Вот воспитание, какое дают те-

перь молодым людям, — думала она. — Сразу виден человек хорошего общества», — говорила она про себя, любуясь спокойствием виконта.

— Почти все дворянство, — продолжал Пьер, — перешло к Бонапарту.

— Это говорят бонапартисты, — сказал виконт. — Теперь трудно узнать общественное мнение Франции.

— По словам Бонапарта, — сказал князь Андрей, и невольно все обратились на его тихий, ленивый, но слышный всегда по своей самоуверенности голос, ожидая услышать, что же сказал Бонапарт.

— «Я показал им путь славы, они не хотели, — продолжал князь Андрей после недолгого молчания, опять повторяя слова Наполеона: — я открыл им мои передние, они бросились толпой». Не знаю, до какой степени имел он право так говорить, но это зло, очень зло, — заключил он с кислою улыбкой и отвернулся.

— Он имел право это сказать против роялистской аристократии; ее теперь нет во Франции, — подхватил Пьер, — а если есть, то

она не имеет веса. А народ? Народ обожает великого человека, и народ избрал его. Народ не имеет предубеждения; он видел гения и героя величайшего в мире.

— Если для некоторых и был героем, — сказал виконт, не отвечая молодому человеку и даже не глядя на него, но обращаясь к Анне Павловне и князю Андрею, — то после убийства герцога одним мучеником стало больше на небе, одним героем меньше на земле.

Не успели еще Анна Павловна и другие оценить этих слов виконта, как невыезженная лошадь уже продолжала свои забавные и непривычные козелки.

— Казнь герцога Энгийенского, — продолжал Пьер, — была государственная необходимость, и я именно вижу величие души в том, что Наполеон не побоялся принять на себя одного ответственность в этом поступке.

— Вы одобряете убийство, — страшным шепотом проговорила Анна Павловна.

— Как, мсье Пьер, вы видите в убийстве величие души, — сказала маленькая княгиня, улыбаясь и придвигая к себе работу.

— А! О! — сказали разные голоса.

— Превосходно, — вдруг по-английски сказал князь Ипполит и принялся бить себя ладонью по коленке. Виконт только пожал плечами.

— Хороший или дурной поступок убийство герцога? — сказал он, удивляя всех своим высокого тона хладнокровием. — Одно из двух...

Пьер чувствовал, что дилемма эта была предложена ему так, что ответ он отрицательно, его заставят отречься от его восхищения к герою, ответ он положительно, что поступок хорош, бог знает что с ним случится. Он отвечал положительно, не боясь, что случится.

— Поступок этот велик, как и все, что делает этот великий человек, — сказал он отчаянно, и не обращал внимания на ужас, выразившийся на всех лицах, кроме лица князя Андрея, и на презрительные пожатия плеч; он продолжал говорить один против очевидного нежелания хозяйки. Все, кроме князя Андрея, слушали его, удивленно переглядываясь. Князь же Андрей слушал с участием и тихою улыбкой.

— Разве он не знал, — продолжал Пьер, —

всей бури, которая поднимется против него за смерть герцога? Он знал, что ему придется за эту одну голову опять воевать со всею Европой, и он будет воевать, и опять будет победителем, потому что...

— Вы русский? — спросила Анна Павловна.

— Русский. Но победит, потому что он великий человек. Смерть герцога была необходима. Он гений, а гений тем и отличается от простых людей, что действует не для себя, но для человечества. Роялисты хотели опять зажечь внутреннюю войну и революцию, которую он подавил. Ему нужно было внутреннее спокойствие, и он казнию герцога показал такой пример, что Бурбоны перестали интриговать.

— Но, милый мсье Пьер, — сказала Анна Павловна, пытаясь взять кротостью, — как вы называете интригами средства к возвращению законного престола?

— Законна только народная воля, — отвечал он, — а она изгнала Бурбонов и передала власть великому Наполеону.

И он торжественно посмотрел сверх очков

на слушателей.

— А! «Общественный договор», — тихо сказал виконт, видимо, успокаиваясь и узнав источник, из которого черпались доводы противника.

— А после этого?! — воскликнула Анна Павловна.

Но и после этого Пьер так же неучтиво продолжал свою речь.

— Нет, — говорил он, все более и более одушевляясь, — Бурбоны и роялисты бежали от революции, они не могли понять ее. А этот человек стал выше ее, подавил ее злоупотребления, удержав все хорошее — и равенство граждан, и свободу слова и печати, и только потому приобрел власть.

— Да, ежели бы он, взяв власть, отдал ее законному королю, — сказал виконт иронически, — тогда бы я назвал его великим человеком.

— Он бы не мог этого сделать. Народ отдал ему власть только затем, чтоб он избавил его от Бурбонов, и потому что народ видел в нем великого человека. Революция сама была великое дело, — продолжал мсье Пьер, выказы-

вая этим отчаянным и вызывающим вводным предложением свою великую молодость и желание все поскорее высказать.

— Революция и цареубийство великое дело?!.. После этого...

— Я не говорю про цареубийство. Когда явился Наполеон, революция уже сделала свое время, и нация сама отдалась ему в руки. Но он понял идеи революции и сделался ее представителем.

— Да, идеи грабежа, убийства и цареубийства, — опять перебил иронический голос.

— Это были крайности, разумеется, но не в них все значение, а значение в правах человека, в эмансипации от предрассудков, в равенстве граждан; и все эти идеи Наполеон удержал во всей их силе.

— Свобода и равенство, — презрительно сказал виконт, как будто решившийся наконец серьезно доказать этому юноше всю глупость его речей, — все громкие слова, которые уже давно компрометировались. Кто же не любит свободы и равенства? Еще Спаситель наш проповедовал свободу и равенство. Разве после революции люди стали счастли-

вее? Напротив. Мы хотели свободы, а Буонапарте уничтожает ее.

Князь Андрей с веселою улыбкой посматривал то на мсье Пьера, то на виконта, то на хозяйку и, видимо, утешался этим неожиданным и неприличным эпизодом. В первую минуту выходки Пьера Анна Павловна ужаснулась, несмотря на свою привычку к свету, но, когда она увидела, что, несмотря на произнесенные Пьером святотатственные речи, виконт не выходил из себя, и когда она убедилась, что замять этих речей уже нельзя, она собралась с силами и, присоединившись к виконту, напала на оратора.

— Но, милый мсье Пьер, — сказала Анна Павловна, — как же вы объясняете великого человека, который мог казнить герцога, наконец, просто человека, без суда и без вины?

— Я бы спросил, — сказал виконт, — как мсье Пьер объясняет 18 брюмера. Разве это не обман? Это шулерство, вовсе не похожее на образ действий великого человека.

— А пленные в Африке, которых он убил? — туда же сказала маленькая княгиня. — Это ужасно. — И она пожалала плечика-



ми.

— Это проходимец, что бы вы ни говорили, — сказал князь Ипполит.

Мсье Пьер не знал кому отвечать, оглянул всех, улыбнулся и улыбкой открыл неправильные черные зубы. Улыбка у него была не такая, какая у других людей, сливающаяся с неулыбкой. У него, напротив, когда приходила улыбка, то вдруг мгновенно исчезало серьезное и даже несколько угрюмое лицо, а являлось другое, детское, доброе, даже глуповатое и как бы просящее прощения.

Виконту, который видел его в первый раз, стало ясно, что этот якобинец совсем не так страшен, как его слова. Все замолчали.

— Как вы хотите, чтоб он всем отвечал вдруг? — отозвался голос князя Андрея. — Притом надо в поступках государственного человека различать поступки частного лица и полководца или императора. Мне так кажется.

— Да, да, разумеется, — подхватил Пьер, обрадованный выступившею ему подмогой. — Как человек, он велик на Аркольском мосту, в госпитале в Яффе, где он чумным по-

дает руку, но...

Князь Андрей, видимо, желавший смягчить неловкость речи Пьера, приподнялся, собираясь ехать и подавая знак жене.

— Трудно судить, — сказал он, — современных людей, потомки наши оценят.

Вдруг князь Ипполит поднялся и, знаками рук останавливая всех и прося присесть, заговорил:

— Сегодня мне рассказали прелестный московский анекдот: надо вас им попотчевать. Извините, виконт, я буду рассказывать по-русски, иначе пропадет вся соль анекдота.

И князь Ипполит начал говорить по-русски таким выговором, каким говорят французы, пробывшие год в России. Все приостановились: так оживленно, настоятельно требовал князь Ипполит внимания к своей истории.

— В Moscow есть одна барыня. И она очень скупой. Ей нужно было иметь два лакея за карета. И очень большой ростом. Это было ее вкусу. И она имела горничную еще большой росту. Она сказала...

Тут князь Ипполит задумался, видимо, с

трудом соображая.

— Она сказала... да, она сказала: «Девушка, надень ливрей и поедем за мной, за карета, делать визиты».

Тут князь Ипполит фыркнул и захохотал гораздо прежде своих слушателей, что произвело невыгодное для рассказчика впечатление. Однако многие, и в том числе пожилая дама и Анна Павловна, улыбнулись.

— Она поехала. Незапно сделалась сильный ветер. Девушка потеряла шляпа, и длинные волоса расчесались...

Тут он не мог уже более держаться и стал отрывисто смеяться и сквозь этот смех проговорил:

— И весь свет узнал...

Тем анекдот и кончился. Хотя и непонятно было, для чего он его рассказывает и для чего его надо было рассказать непременно по-русски, однако Анна Павловна и другие оценили светскую любезность князя Ипполита, так приятно закончившего неприятную и нелюбезную выходку мсье Пьера. Разговор после анекдота рассыпался на мелкие незначительные толки о будущем и прошедшем бале,

спектакле, о том, когда и где кто увидится.

## VIII

Поблагодарив Анну Павловну за ее прелестный вечер, гости стали расходиться.

Пьер был неуклюж. Толстый, широкий, с огромными руками, которые, казалось, были сотворены для того, чтобы ворочать пудовниками, он, как говорится, не умел войти в салон и еще менее умел из него выйти, то есть перед выходом поклониться, сказать что-нибудь особенно приятное. Кроме того, он был рассеян. Вставая, он вместо своей шляпы захватил треугольную шляпу с генеральским плюмажем и держал ее, дергая султан, до тех пор, пока генерал, как показалось Пьеру, озлобленно не попросил возвратить ее. Но вся его рассеянность и неумение войти в салон и говорить в нем выкупались таким выражением благодушия и простоты, что, несмотря на все его недостатки, он невольно был симпатичен даже тем, кого приводил в неловкое положение. Анна Павловна повернулась к нему и, с христианской кротостью выражая прощение за его выходку, кивнула

ему и сказала:

— Надеюсь увидеть вас еще, но надеюсь тоже, что вы перемените свои мнения, мой милый мсье Пьер.

Когда она сказала ему это, он ничего не ответил, только наклонился и показал всем еще раз свою улыбку, которая ничего не говорила, разве только вот что: «Мнения мнениями, а вы видите, какой я добрый и славный малый». И все, и Анна Павловна невольно почувствовали это.

— Знаешь, мой милый, от твоих рассуждений могут полопаться стекла, — сказал князь Андрей, пристегивая саблю.

— Не могут, — сказал Пьер, опустив голову и глядя через очки и останавливаясь. — Как же не видеть ни в революции, ни в Наполеоне ничего, кроме личных интересов Бурбонов. Мы сами не чувствуем, как много мы обязаны именно революции...

Князь Андрей не стал слушать продолжения этой речи. Он вышел в переднюю и, подставив плечи лакею, накидывавшему ему плащ, равнодушно прислушивался к болтовне своей жены с князем Ипполитом, вышед-

шим тоже в переднюю. Князь Ипполит стоял возле хорошенькой беременной княгини и упорно смотрел прямо на нее в лорнет.

— Идите, Анет, вы простудитесь, — говорила маленькая княгиня, прощаясь с Анной Павловной. — Это решено, — прибавила она тихо.

Анна Павловна уже успела переговорить с Лизой о предполагаемом браке Анатоля с ее невесткой и просила княгиню действовать на мужа.

— Я надеюсь на вас, милый друг, — сказала Анна Павловна тоже тихо, — вы напишете к ней и скажете мне, как отец посмотрит на дело. До свидания, — и она ушла из передней.

Князь Ипполит подошел вплоть к маленькой княгине и, близко наклоня к ней свое лицо, стал полусшепотом что-то говорить ей.

Два лакея, один княгинин, другой его, дожидаясь, когда они кончат говорить, стояли с шалью и рединготом и слушали их, непонятный им, французский говор с такими лицами, как будто они понимали, что говорится, но не хотели показывать этого. Княгиня, как всегда, говорила, улыбаясь, и слушала, сме-

ясь.

— Я очень рад, что не поехал к посланнику, — говорил князь Ипполит, — скука... Прекрасный вечер. Не правда ли, прекрасный?

— Говорят, что бал будет очень хорош, — отвечала княгиня, вздергивая губку с усиками. — Все красивые женщины общества будут там.

— Не все, потому что вас там не будет, не все, — сказал князь Ипполит, радостно смеясь и, схватив шаль у лакея, даже толкнул его и стал надевать ее на княгиню. От неловкости или умышленно, никто бы не мог разобрать этого, он долго не опускал рук, когда шаль уже была надета, и как будто обнимал молодую женщину.

Она грациозно, но все улыбаясь, отстранилась, повернулась и взглянула на мужа. У князя Андрея глаза были закрыты, так он казался усталым и сонным.

— Вы готовы? — спросил он жену, обводя ее взглядом. Князь Ипполит торопливо надел свой редингот, который у него по-новому был длиннее пяток, и, путаясь в нем, побежал на крыльцо за княгиней, которую лакей подса-

живал в карету.

— Княгиня, до свиданья, — кричал он, пугаясь языком так же как и ногами.

Княгиня, подбирая платье, садилась в темноте кареты, муж ее управлял саблю; князь Ипполит, под предлогом подслуживания, мешал всем.

— Па-азвольте, сударь, — обратился князь Андрей по-русски к князю Ипполиту, мешавшему ему пройти.

Эта «па-азвольте, сударь» прозвучало таким холодным презрением, что князь Ипполит чрезвычайно торопливо посторонился, стал извиняться и нервически перекачиваться с ноги на ногу, как будто от свежей, не остывшей, жгучей боли.

— Я тебя жду, Пьер, — слышался голос князя Андрея.

Форейтор тронул, и карета загремела колесами. Князь Ипполит смеялся отрывисто, стоя на крыльце и дожидаясь виконта, которого он обещал довести до дому...

— Ну, мой дорогой, ваша маленькая княгиня очень мила, очень мила, — сказал виконт, усевшись в карету с Ипполитом. Он поцело-



вал кончики своих пальцев. — И совершенная француженка.

Ипполит, фыркнув, засмеялся.

— А знаете ли, вы ужасны с вашим невинным видом, — продолжал виконт. — Я жалею бедного мужа, бедного этого офицера, который корчит из себя владетельную особу.

Ипполит фыркнул еще и сквозь смех проговорил:

— А вы говорили, что русские дамы хуже французских. Надо уметь взяться.

## IX

**П**ьер, приехав вперед, как домашний человек, прошел в кабинет князя Андрея и тотчас же, по привычке, лег на диван, взял первую попавшуюся с полки книгу (это были Записки Цезаря) и принялся, облокотившись, читать их из середины с таким интересом, как будто он уже часа два вчитывался в них. Князь Андрей, приехав, прошел прямо в уборную и через пять минут вышел в кабинет.

— Что ты сделал с госпожой Шерер? Она теперь совсем заболела, — сказал он по-русски, входя к Пьеру в бархатной комнатной

шубке и покровительственно, весело и дружески улыбаясь и потирая маленькие белые ручки, которые он, видимо, сейчас еще раз вымыл.

Пьер поворотился всем телом так, что диван заскрипел, и обернул оживленное лицо к князю Андрею, покачивая головой.

Пьер виновато кивнул.

— Я только в три проснулся. Можете себе представить, что мы выпили впятером одиннадцать бутылок. (Пьер говорил вы князю Андрею, а тот говорил ему ты. Это так установилось между ними в детстве и не переменялось). — Отличные люди! Какой там англичанин — чудо!

— Вот я никогда не понимал этого удовольствия, — сказал князь Андрей.

— Да что вы! Вы совсем другой и удивительный человек во всем, — искренно сказал Пьер.

— Опять у милого Анатоля Курагина?

— Да.

— Охота тебе с этой дрянью водиться.

— Нет, право, он славный мальчик.

— Дрянь! — коротко сказал князь Андрей

и нахмурился. — Ипполит очень умный мальчик, не правда ли? — прибавил он.

Пьер рассмеялся, затрясшись всем своим тяжелым телом так, что опять диван закрипел. — «В Moscou была одна барыня», — повторил он сквозь смех.

— А знаешь, он, право, добрый мальй, — заступнически сказал князь. — Ну, что ж, ты решился, наконец, на что-нибудь? Кавалергард ты будешь или дипломат?

Пьер сел на диван, поджав под себя ноги.

— Можете себе представить, я все еще не знаю. Ни то, ни другое мне не нравится.

— Но ведь надо на что-нибудь решиться? Отец твой ждет.

Пьер с десятилетнего возраста был послан с гувернером-аббатом за границу, где он пробыл до двадцатилетнего возраста. Когда он вернулся в Москву, отец отпустил аббата и сказал молодому человеку: «Теперь ты поезжай в Петербург, осмотришь, заведи знакомства и подумай о выборе дороги. Я на все согласен. Вот тебе письмо к князю Василию, и вот тебе деньги. Пиши обо всем, я тебе во всем помогу». Пьер уже три месяца выбирал

карьеру и ничего не делал. Про этот выбор и говорил ему князь Андрей. Пьер потер себе лоб.

— Я понимаю военную службу; но вот что объясните мне, — сказал он. — Зачем вы — вы понимаете все — зачем вы идете на эту войну, против кого же? Против Наполеона и Франции. Ежели б это была война за свободу, я бы понял, я бы первый поступил в военную службу, но помогать Англии и Австрии против величайшего человека в мире... Я не понимаю, как вы идете?

— Видишь ли, мой милый, — начал князь Андрей, может быть, невольно желая скрыть для самого себя неясность мысли и вдруг начиная по-французски и переменяя прежний искренний тон на гостинный и холодный, — на дело можно посмотреть совсем с другой точки зрения.

И он, с таким видом, как будто все то, про что они говорили, было делом его собственным или близких ему людей, изложил Пьеру ходившее тогда в высших кружках петербургского общества воззрение на политическое назначение России в Европе в то время.

Европа со времени революции страдает от войн. Причина войн, кроме честолюбия Наполеона, заключалась в неправильности европейского равновесия. Нужно было, чтоб одна великая держава искренно и беспристрастно взялась за дело и, составив союз, обозначила бы новые границы государствам и установила бы новое европейское равновесие и новое народное право, в силу которого война оказывалась бы невозможною и все недоразумения между государствами решались бы посредничеством. Эту бескорыстную роль брала на себя Россия в предстоявшей войне. Россия будет стремиться только к тому, чтобы возвратить Францию в границы 1796 года, предоставляя самим французам выбор образа правления, также к возобновлению независимости Италии, Цизальпийского королевства, нового государства двух Бельгий, нового Германского Союза и даже к восстановлению Польши.

Пьер внимательно слушал, несколько раз порываясь вступить в спор, но удерживаясь из уважения к своему другу.

— Видишь ли ты, что мы на этот раз не так глупы, как это кажется? — заключил князь

Андрей.

— Да, да, но почему ж этот план не предложат самому Наполеону? — прервал Пьер. — Он первый принял бы его, ежели этот план чистосердечен; он поймет и полюбит всякую великую мысль.

Князь Андрей помолчал и потер своею маленькою ручкой лоб.

— Кроме того, я иду... — Он остановился. — Я иду потому, что та жизнь, которую я веду здесь, эта жизнь — не по мне!

— Отчего? — удивленно спросил Пьер.

— Оттого, моя душа, — вставая и улыбаясь, сказал князь Андрей, — что виконту и Ипполиту таскаться по гостиным и перебирать вздор и рассказывать сказочки про мадемуазель Жорж и про «девушка» — это прилично, а мне роль эта не годится. Довольно с меня ее, — прибавил он.

Пьер взглядом выразил свое согласие.

— Но вот еще что. Что такое Кутузов? И что такое быть адъютантом? — спросил Пьер с тою редкою наивностью, которая бывает у молодых людей, не боящихся обличить вопросом свое незнание.

— Это ты только можешь не знать, — улыбаясь и качая головою, отвечал князь Андрей. — Кутузов — правая рука Суворова, лучший русский генерал.

— Но ведь как же быть адъютантом? Вас, стало быть, и посылать могут?

— Разумеется, влияние адъютанта — самое незначительное, — отвечал князь Андрей, — но надобно начинать. Притом отец мой хотел этого. Я буду просить Кутузова дать мне отряд. А там увидим...

— Странно будет, должно быть, вам сражаться с Наполеоном, — сказал Пьер, как будто предполагая, что князю Андрею, как только он приедет на войну, придется вступить если не в единоборство, то в самое близкое состязание с Наполеоном.

Князь Андрей задумчиво улыбался своим мыслям, повертывая грациозным, женственным жестом обручальное кольцо на безымянном пальце.

## Х

**В** соседней комнате зашумело женское платье. Как будто очнувшись, князь Андрей встряхнулся, и лицо его приняло то же выражение, какое оно имело в гостиной Анны Павловны. Пьер спустил ноги с дивана. Вошла княгиня. Она была уже в другом, домашнем, но столь же элегантном и свежем платье. Князь Андрей встал, учтиво подвигая ей кресло, но в лице его, в то время как он это делал, выражалась такая скука, что княгиня должна была бы оскорбиться, если бы в состоянии была наблюдать.

— Отчего, я часто думаю, — заговорила она, как всегда, по-французски, — отчего Анет не вышла замуж? Как вы все глупы, господа, что на ней не женились. Вы меня извините, но вы ничего не понимаете в женщинах толку.

Пьер с князем Андреем невольно переглянулись и молчали. Но ни взгляд, ни молчание их нисколько не стеснили княгиню. Она продолжала все так же болтать.

— Какой вы спорщик, мсье Пьер, — обра-



тилась она к молодому человеку. — Какой вы спорщик, мсье Пьер, — повторила она, усаживаясь поспешно и хлопотливо, как всегда, на большом кресле у камина.

Сложив над возвышением талии свои маленькие ручки, она замолкла, видимо, собираясь слушать. Ее лицо приняло то особенное серьезное выражение, при котором глаза как будто смотрят внутрь себя, — выражение, бывающее только у беременных женщин.

— Я и с мужем вашим все спору: не понимаю, зачем он хочет идти на войну, — сказал Пьер, без всякого стеснения, столь обыкновенного в отношениях молодого мужчины к молодой женщине, обращаясь к княгине.

Княгиня восторженно встрепенулась. Видимо, слова Пьера затронули ее за живое.

— Ах, вот я то же говорю! — сказала она с своею светскою улыбкой. — Я не понимаю, решительно не понимаю, отчего мужчины не могут жить без войны? Отчего мы, женщины, ничего не хотим, ничего нам не нужно? Ну, вот вы, будьте судьей. Я ему все говорю: здесь он адъютант у дяди, самое блестящее положение... Все его так знают, так ценят. На днях у

Апраксиных я слышала, как одна дама спрашивает: «Это знаменитый князь Андрей?» Честное слово.

Она засмеялась.

— Он так везде принят. Он очень легко может быть и флигель-адъютантом... Вы знаете, государь третьего дня очень милостиво говорил с ним. Мы с Анет говорили: это очень легко было бы устроить. Как вы думаете?

Пьер посмотрел на князя Андрея и, заметив, что разговор этот не нравился его приятелю, ничего не отвечал.

— Когда вы едете? — спросил он.

— Ах, не говорите мне про этот отъезд! Я не хочу про это слышать, — заговорила княгиня таким капризно-игривым тоном, каким она говорила с Ипполитом в гостиной и который так очевидно не шел к семейному кружку, где Пьер был как бы членом.

— Сегодня, когда я подумала, что надо прервать все эти дорогие отношения... И потом, ты знаешь, Андрей...

Она значительно мигнула мужу.

— Я боюсь, я боюсь! — прошептала она, содрогаясь спиною.

Муж посмотрел на нее с таким видом, как будто он был удивлен, заметив, что кто-то еще, кроме него и Пьера, находился в комнате; однако с холодной учтивостью вопросительно обратился к княгине:

— Чего ты боишься, Лиза? Я не могу понять, — сказал он.

— Вот как все мужчины эгоисты, все, все эгоисты! Сам из-за своих прихотей бог знает зачем бросает меня, запирает в деревню одну.

— С отцом и сестрой, не забудь, — тихо сказал князь Андрей.

— Все равно одна, без моих друзей... И хочет, чтоб я не боялась. — Тон ее уже был ворчливый, губка поднималась, придавая лицу не радостное, а зверское, беличье выражение. Она замолчала, как будто находя неприличным говорить при Пьере про свои будущие роды, тогда как в этом и состояла сущность дела.

— Все-таки я не понял, чего ты боишься, — медленно проговорил князь Андрей, не спуская глаз с жены.

Княгиня покраснела и отчаянно взмахнула руками.

— Нет, Андрей, я говорю: ты так, так пере-менился...

— Твой доктор велит тебе раньше ложиться, — сказал князь Андрей. — Ты бы шла спать.

Княгиня ничего не сказала, и вдруг короткая с усиками губка задрожала; князь Андрей встал и, пожав плечами, прошелся по комнате.

Пьер удивленно и наивно смотрел через очки то на того, то на другого и зашевелился, как будто он то хотел встать, то опять раздумывал.

— Что мне за дело, что тут мсье Пьер, — вдруг сказала маленькая княгиня, и хорошенькое лицо ее вдруг распустилось в слезливую некрасивую гримасу. — Я тебе давно хотела сказать, Андрей: за что ты ко мне так переменялся? Что я тебе сделала? Ты едешь в армию, ты меня не жалеешь. За что?

— Лиза! — только сказал князь Андрей, но в этом слове были и просьба и угроза и, главное, уверение в том, что она сама раскается в своих словах; но она торопливо продолжала:

— Ты обращаешься со мной как с больною

или с ребенком. Я все вижу. Разве ты такой был полгода назад?

— Лиза, я прошу вас перестать, — сказал князь Андрей еще выразительнее.

Пьер, все более и более приходивший в волнение во время этого разговора, встал и подошел к княгине. Он, казалось, не мог переносить вида слез и сам готов был заплакать.

— Успокойтесь, княгиня. Вам это так кажется, потому что, я вас уверяю, я сам испытал... отчего... потому что... Нет, извините, чужой тут лишний... Нет, успокойтесь... Прощайте... извините меня...

И он, раскланиваясь, собирался уходить. Князь Андрей остановил его за руку.

— Нет, постой, Пьер. Княгиня так добра, что не захочет лишиться меня удовольствия провести с тобою вечер.

— Нет, он только о себе думает, — проговорила княгиня, не удерживая сердитых слез.

— Лиза, — сказал сухо князь Андрей, поднимая тон на ту степень, которая показывает, что терпение истощено.

Вдруг сердитое беличье выражение красивого личика княгини заменилось привлека-

тельным и возбуждающим сострадание выражением страха; она исподлобья взглянула своими прекрасными глазками на мужа, и на лице ее показалось то робкое и признающееся выражение, какое бывает у собаки, быстро, но слабо помахивающей опущенным хвостом.

— Боже мой, боже мой! — проговорила княгиня и, подобрав одною рукой складку платья, подошла к мужу и поцеловала его в коричневый лоб.

— Доброй ночи, Лиза, — сказал князь Андрей, вставая и учтиво, как у посторонней, целуя ей руку.

Друзья молчали. Ни тот, ни другой не начали говорить. Пьер поглядывал на князя Андрея, князь Андрей потирал себе лоб своей маленькою ручкой.

— Пойдем ужинать, — сказал он со вздохом, вставая и направляясь к двери.

Они вошли в изящно, заново, богато отделанную столовую. Все, от салфеток до серебра, фаянса и хрусталя, носило на себе тот особенный отпечаток новизны и изящества, которые бывают в хозяйстве молодых супругов. В середине ужина князь Андрей облокотился и, как человек, давно имеющий что-нибудь в сердце и вдруг решающийся высказаться, с выражением нервного раздражения, в каком Пьер никогда еще не видал своего приятеля, начал говорить:

— Никогда, никогда не женись, мой друг, вот тебе мой совет, не женись до тех пор, пока ты не скажешь себе, что ты сделал все, что мог, и до тех пор, пока ты не перестанешь любить ту женщину, какую ты выбрал, пока ты не увидишь ее ясно, а то ты ошибешься же-

стоко и непоправимо. Женись стариком никуда негодным... А то пропадет все, что в тебе есть хорошего и высокого. Все истратится по мелочам. Да, да, да! Не смотри на меня с таким удивлением. Ежели ты ждешь от себя чего-нибудь впереди, то на каждом шагу ты будешь чувствовать, что для тебя все кончено, все закрыто, кроме гостиной, где ты будешь стоять на одной доске с придворным лакеем и идиотом... Да что!..

Он энергически махнул рукой.

Пьер снял очки, отчего лицо его изменилось, еще более выказывая доброту, и удивленно глядел на друга.

— Моя жена, — продолжал князь Андрей, — прекрасная женщина. Это одна из тех редких женщин, с которою можно быть покойным за свою честь; но, боже мой, чего бы я не дал теперь, чтобы не быть женатым! Это я тебе одному и первому говорю, потому что я люблю тебя.

Князь Андрей, говоря это, был еще менее похож, чем прежде, на того господина, который лежал, развалившись, в креслах Анны Павловны, и сквозь зубы, щурясь, говорил



французские фразы. Его сухое коричневатое лицо все дрожало нервическим оживлением каждого мускула; глаза, в которых прежде казался потушенным огонь жизни, теперь блеснули лучистым, ярким блеском. Видно было, что, чем безжизненнее казался он в обыкновенное время, тем энергичнее был он в эти минуты почти болезненного раздражения.

— Ты не понимаешь, отчего я это говорю, — продолжал он. — Ведь это целая история жизни. Ты говоришь: Буонапарте и его карьера, — сказал он, хотя Пьер и не говорил про Буонапарте. — Ты говоришь: Буонапарте, но Буонапарте кончил курс в артиллерийском училище и вышел в свет, когда была война и дорога к славе была открыта каждому.

Пьер смотрел на друга, видимо, вперед готовый согласиться со всем, что бы тот ни сказал.

— Буонапарте вышел и сейчас же нашел то место, которое он должен был занять. И кто были у него друзья? Кто была Жозефина Богарне? Мои пять лет жизни по выходе из пажеского корпуса — гостиные, балы, любов-

ные связи, праздность. Я теперь отправляюсь на войну, на величайшую войну, какая только бывала, а я ничего не знаю и никуда не могу. Я любезен и язвителен, и у Анны Павловны меня слушают, а я забыл, что знал. Я теперь только начал читать, но все это без связи. А без знания военной истории, математики, фортификации не может быть военного человека. И это глупое общество, без которого не может жить моя жена, и эти женщины... Я имел успех в свете. Самые изысканные женщины бросались мне на шею. И ежели бы ты мог знать, что такое все эти изысканные женщины, и вообще женщины! Отец мой прав. Он говорит, что природа не премудра, потому что она не могла выдумать средства к распространению рода человеческого помимо женщины. Эгоизм, тщеславие, тупоумие, ничтожество во всем — вот женщины, когда они показываются все так, как они есть. Посмотришь на них в свете, кажется, что-то есть, а ничего, ничего, ничего! Да, не женись, душа моя, не женись, — кончил князь Андрей, и так значительно покачал головой, как будто все то, что он сказал, была такая истина, в ко-

торой никто не мог сомневаться.

— Мне смешно, — сказал Пьер, — что вы себя, вы себя считаете неспособным, свою жизнь испорченной жизнью. У вас все, все впереди. И вы...

Он не сказал что вы, но уже тон его показывал, как высоко ценит он друга и как многого ждет от него в будущем.

В самых лучших, дружеских и простых отношениях лесть или похвала необходимы, как подмазка необходима для колес, чтоб они ехали.

— Я человек конченный, — сказал князь Андрей, но по высоко и гордо поднятой красивой голове и яркому блеску взгляда видно было, как мало он верил в то, что говорил. — Что обо мне говорить? Давай говорить о тебе, — сказал он, помолчав и улыбнувшись своим утешительным мыслям. Улыбка эта в то же мгновение отразилась на лице Пьера.

— А обо мне что говорить? — сказал Пьер, распуская свой рот в беззаботную, веселую улыбку. — Что я такое? Я незаконный сын.

И он вдруг, впервые во весь вечер, багрово покраснел. Видно было, что он сделал

большое усилие, чтобы сказать это.

— Без имени, без состоянияю. И что ж, право...

Но он не сказал, что право.

— Я свободен пока, и мне хорошо. Я только никак не знаю, что мне начать. Я хотел серьезно посоветоваться с вами.

Князь Андрей добрыми глазами смотрел на него. Но во взгляде его, дружеском, ласковом, все-таки выразалось сознание своего превосходства.

— Ты мне дорог, особенно потому, что ты один живой человек. Среди всего нашего света. Тебе хорошо. Выбери, что хочешь, это все равно. Ты везде будешь хорош, но одно: перестань ты ездить к этим Курагиным, вести эту жизнь. Так это не идет тебе: все эти кутежи и гусарство, и все.

— Знаете что, — сказал Пьер, как будто ему пришла неожиданно счастливая мысль, — серьезно, я давно это думал. С этою жизнью я ничего не могу ни решить, ни обдумать. Голова болит, денег нет. Нынче он меня звал, я не поеду.

— Дай мне слово, честное слово, что ты не

будешь ездить?

— Честное слово.

— Смотри.

— Конечно.

## XII

Уже был второй час ночи, когда Пьер вышел от своего друга. Ночь была июньская, петербургская, бессумрачная ночь. Пьер сел в извозчичью коляску с намерением ехать домой. Но чем ближе он подъезжал, тем более он чувствовал невозможность заснуть в эту ночь, походившую более на вечер или на утро. Далеко было видно по пустым улицам. Ему представлялось оживленное прекрасное лицо князя Андрея, ему слышались его слова — не об отношениях его к жене (это не занимало Пьера) — но его слова о войне и о той будущности, которая могла ожидать его друга. Пьер так безусловно любил и преклонялся перед своим другом, что не мог допустить, чтобы князя Андрея, как скоро он сам того захочет, все не признали замечательным и великим человеком, которому свойственно повелевать, а не подчиняться. Пьер никак не

мог представить себе, чтоб у кого бы то ни было, у Кутузова, например, достало духа отдавать приказания такому человеку, очевидно рожденному для первой роли во всем, каким представлялся ему князь Андрей. Он вообразил себе своего друга перед войсками, на белом коне, с краткою и сильною речью в устах, вообразил себе его храбрость, его успехи, геройство и все, что воображает большинство молодых людей для самих себя. Пьер вспомнил, что он обещался нынче отдать небольшой карточный долг Анатолю, у которого нынче вечером должно было собраться обычное игорное общество.

— Пошел к Курагину, — сказал он кучеру, думая только о том, где бы провести остаток ночи и совершенно забыв данное князю Андрею слово не бывать у Курагина.

Подъехав к крыльцу большого дома у конногвардейских казарм, в котором жил князь Анатолий Курагин, он вспоминал свое обещание, но тут же, как это бывает с людьми, называемыми бесхарактерными, ему так страстно захотелось войти взглянуть еще раз на эту столь знакомую и надоевшую ему бес-

путную жизнь, и невольно пришла в голову мысль, что данное слово ничего не значит, к тому же, еще прежде, чем князю Андрею, он дал также Анатолю слово привезти долг; наконец, он подумал, что все эти честные слова такие условные вещи, не имеющие никакого определенного смысла, особенно ежели сообразить, что, может быть, завтра же или он умрет, или случится с ним что-нибудь такое необыкновенное, что не будет уже ни честно-го, ни бесчестного.

Он поднялся на освещенное крыльцо, на лестницу, и вошел в отворенную дверь. В роскошной передней никого не было, валялись пустые бутылки, в углу гора изогнутых карт, плащи, калоши; пахло вином; слышался дальний говор и крик.

Видимо, игра и ужин уже кончились, но гости еще не разъезжались. Пьер скинул плащ и вошел в первую комнату, где посередине стояла статуя скаковой лошади во весь рост. Из третьей комнаты слышались яснее возня и знакомые хохот и крики человек шести или восьми. Он вошел в третью комнату, в которой стояли еще остатки ужина. Чело-

век восемь молодых людей, все без сюртуков и большею частью в военных рейтузах, толпились около открытого окна и все вместе по-русски и по-французски кричали непонятные слова.

— Держу за Чаплина сто! — кричал один.

— Смотри, не поддерживать! — кричал другой.

— Я за Долохова! — кричал третий. — Разными, Курагин.

— Одним духом, иначе проиграно! — кричал четвертый.

— Яков, давай бутылку, Яков! — кричал сам хозяин, высокий, статный красавец, стоявший среди толпы. — Стойте, господа. Вот он, Пьер!

— А! Петр! Петруша! Петр Великий!

— Петр толстый! — закричали со всех сторон, обступая его.

На всех, красных и с красными пятнами, молодых лицах выразилась радость при виде Пьера, который, сняв очки и протирая их, смотрел на всю эту толпу.

— Ничего не понимаю. В чем дело? — сказал он, благодушно улыбаясь.



— Стойте, он не пьян. Дай бутылку, — сказал Анатоль и, взяв со стола стакан, подошел к Пьеру.

— Прежде всего пей.

Пьер молча стал пить стакан за стаканом, исподлобья оглядывая пьяных гостей, которые опять столпились у окна, толкуя о чем-то, ему непонятном. Он выпил один стакан залпом; Анатоль с значительным видом налил ему другой. Пьер покорно выпил, хотя и медленнее первого. Анатоль налил третий. Пьер выпил и этот, хотя остановился два раза, чтобы перевести дух. Анатоль стоял подле, серьезно глядя своими прекрасными большими глазами попеременно на стакан, на бутылку и на Пьера. Анатоль был красавец: высокий, полный, белый, румяный; грудь у него была так высока, что голова откидывалась назад, что придавало ему гордый вид. У него был прекрасный свежий рот, густые русые волосы, навывкате черные глаза и общее выражение силы, здоровья и добродушия свежей молодости. Но прекрасные глаза его с чудесными, правильными, черными бровями как будто были сделаны не столько для того, чтобы

смотреть, сколько для того, чтобы на них смотрели. Они казались неспособными изменить выражение. Что он был пьян, это видно было только по его красному лицу, но еще более по неестественно выпученной груди и поразинутости глаз. Несмотря на то, что он был пьян и что верхняя часть его могущественного тела покрывалась только рубашкой, раскрытой на груди, — по легкому запаху духов и мыла, который сливался вокруг него с запахом выпитого вина, по тщательно напояженной утром прическе его волос, по изящной чистоте пухлых рук и тончайшего белья, по этой белизне и гладкой нежности кожи, — и в теперешнем состоянии его был виден аристократ, в смысле вошедшего с детства в привычку тщательного и роскошного ухода за своею особой.

— Ну, пей же всю! А? — сказал он серьезно, подавая последний стакан Пьеру.

— Нет, не хочу, — сказал Пьер, запинаясь на половине стакана. — Ну, в чем дело? — прибавил он с видом человека, исполнившего приговорительную обязанность и теперь считающего себя вправе принять участие в

общем деле.

— Пей же всю. А? — повторил Анатоль, шире разевая глаза, и поднял своею белою, голою до локтя рукой недопитый стакан. Он имел вид человека, делающего важное дело, потому что всю энергию свою в эту минуту он употреблял на то, чтобы держать стакан прямо, и сказать именно то, что он хотел сказать.

— Говорю — не хочу, — отвечал Пьер, надевая очки и отходя прочь. — О чем вы кричите? — спросил он у толпы, собравшейся у окна.

Анатоль постоял, подумал, отдал стакан слуге и, слегка улыбнувшись своим красивым ртом, подошел тоже к окну.

По пятницам Анатоль Курагин принимал всех у себя, у него играли, ужинали и потом проводили ночь большею частью вне дома. В этот день игра в фараон завязалась продолжительная и большая. Анатоль проиграл немного, и так как он не имел страсти к игре, а играл по привычке, то скоро отстал. Один богач, лейб-гусар, проиграл много, а один семеновский офицер, Долохов, выиграл у всех. После игры, сели очень поздно ужинать. Весь-

ма серьезный англичанин, выдававший себя за путешественника, сказал, что он полагал, по дошедшим до него сведениям, что русские гораздо сильнее пьют, чем он это нашел на деле. Он говорил, что в России пьют только шампанское, а что ежели пить ром, то он предлагает пари, что выпьет больше всех присутствовавших. Долохов, тот офицер, который больше всех выиграл в тот вечер, сказал, что просто о бутылке рома не стоит держать пари, а что он вызывается выпить ее, не отводя ее ото рта и сидя на окне третьего этажа со спущенными наружу ногами. Англичанин предложил пари. Анатолий принял пари за Долохова, то есть, что Долохов выпьет бутылку рома на окне. В ту минуту, когда вошел Пьер, лакеи выставляли раму, чтобы можно было сесть на наружный подоконник. Окно в третьем этаже было достаточно высоко для того, чтоб упавший с него мог убится до смерти. С разных сторон пьяные и дружелюбные лица рассказывали Пьеру, в чем дело, как будто полагая в том, что Пьер будет знать это дело, какую-то особенную важность.

Долохов был гвардейского пехотного пол-

ка офицер, среднего роста, мускулистый, как бы сбитый весь, с широкою и полною грудью, чрезвычайно курчавый и с светлыми голубыми глазами. Ему было лет двадцать пять. Он не носил усов, как и все пехотные офицеры, и рот его, самая поразительная черта его лица, был весь виден. Рот этот был чрезвычайно приятен, несмотря на то, что почти никогда не улыбался. Линии этого рта были замечательно тонко изогнуты. В середине верхняя губа энергически опускалась на крепкую нижнюю; острым клином в углах образовывалось постоянно что-то в роде двух улыбок, по одной с каждой стороны, и всё вместе в соединении с прямым, несколько наглым, но огненным и умным взглядом, составляло впечатление такое, что, проходя мимо этого лица, нельзя было не заметить его и не спросить, кто этот обладатель такого красивого и странного лица. Женщинам Долохов нравился, и он искренно был убежден, что безупречных женщин не бывает. Долохов был молодой человек хорошей фамилии, но не богатый; однако он жил роскошно и постоянно играл. Он почти всегда выигрывал; но никто,

даже и в отсутствие его, не смел приписывать его постоянный успех чему-нибудь другому, кроме счастья, светлой головы и непоколебимой силы воли. В душе каждый, игравший с ним, предполагал в нем шулера, хотя и не смел сказать этого. Теперь, когда он затеял свое странное пари, пьяное общество приняло особенно живое участие в его намерении. И именно потому, что знавшие его знали, что сказанное им будет сделано. Пьер знал это также и потому только поздоровался с Долоховым и не пытался возражать против его намерения.

Остальное общество состояло из трех офицеров, англичанина, которого видали в Петербурге в самых разнообразных обществах, одного москвича-игрока, женатого толстяка, который был гораздо старше всех, но был однако на ты со всею этою молодежью.

Бутылка рому была принесена; раму, не пускавшую сесть на наружный откос окна, выламывали два лакея в штиблетах и кафтанах, видимо, торопившиеся и робевшие от советов и криков окружавших господ.

Анатоль с выпученной грудью, не переме-

няя выражения, не обходя и не прося посторо- ниться, продавил своим сильным телом тол- пу у окна, подошел к раме и, обернув обе бе- лые руки сюртуком, валявшимся на диване, ударил в стекла и пробил их.

— Ну вот, ваше сиятельство, — сказал ла- кей, — только мешаете и ручки порежете.

— Пошел, дурак, а?... — проговорил Ана- толь, взялся за перекладины рамы и стал тя- нуть. Несколько рук взялись также за дело; потянули, и рама с треском выскочила из ок- на, так что тянувшие чуть не упали.

— Всю вон, а то подумают, что я дер- жусь, — сказал Долохов.

— Послушай, — сказал Анатолий Пьеру. — Понимаешь? Англичанин хвастает... а?... на- циональность... а?... хорошо?...

— Хорошо, — сказал Пьер, с замиранием сердца глядя на Долохова, который, взяв в ру- ки бутылку рома, подходил к окну, из которо- го виднелся свет неба и сливавшихся на нем утренней и вечерней зари. Долохов, засучив для чего-то рукава рубашки, с бутылкою рома в руке, ловко вскочил на окно.

— Слушать! — крикнул он, стоя на под-

оконнике и обращаясь в комнату.

Все замолчали.

— Я держу пари (он говорил по-французски, чтобы его понял англичанин, и говорил не слишком хорошо на этом языке) — держу пари на пятьдесят империалов... Хотите на сто? — прибавил он, обращаясь к англичанину.

— Нет, пятьдесят, — сказал англичанин.

— Хорошо, на пятьдесят империалов, — что я выпью бутылку рома всю, не отнимая ото рта, выпью, сидя за окном, вот на этом месте (он нагнулся и показал покатым выступом стены за окном), — и не держась ни за что... Так?...

— Очень хорошо, — сказал англичанин.

Анатоль повернулся к англичанину и, взяв его за пуговицу фрака и сверху глядя на него (англичанин был мал ростом), начал по-английски толковать ему то, что уже было всем понятно.

— Постой! — закричал Долохов, стуча бутылкой по окну, чтоб обратить на себя внимание. — Постой, Курагин, слушайте. Если кто сделает то же, то я плачу сто империалов. По-



нимаєте?

Англичанин кивнул головой, не давая никак разуместь, намерен ли он или нет принять это новое пари. Анатоль не отпускал англичанина, и, несмотря на то, что тот, кивая, давал знать, что он все понял, Анатоль переводил ему слова Долохова по-английски. Молодой худощавый мальчик, лейб-гусар, проигравшийся в этот вечер, взлез на окно, высунулся и посмотрел вниз.

— Ууу... — проговорил он, глядя за окно на камень тротуара.

— Смирно! — закричал Долохов и сдернул с окна офицера, который, запутавшись шпорами, неловко спрыгнул в комнату.

Поставив бутылку на подоконник, чтобы было удобно достать ее, Долохов, осторожно и тихо, полез в окно. Спустив ноги и расперевшись обеими руками в края окна, он примерился, уселся, отпустил руки, подвинулся направо, налево и достал бутылку. Анатоль принес две свечки и поставил их на подоконник, хотя было уже совсем светло. Спина Долохова в белой рубашке и курчавая голова его были освещены с обеих сторон. Все столпились у

окна. Англичанин стоял впереди. Пьер улыбался и ничего не говорил. Старый москвич с испуганным и сердитым лицом вдруг продвинулся вперед и хотел схватить Долохова за рубашку.

— Господа, это глупости, он убьется до смерти, — сказал он.

Анатоль остановил его.

— Не трогай, ты его испугаешь, он убьется. А?... Что тогда?... А?...

Долохов обернулся, поправляясь и опять расперевшись руками. Лицо его было ни бледно, ни красно, но холодно и зло.

— Ежели кто ко мне еще будет соваться, — сказал он, редко пропуская слова сквозь стиснутые и тонкие губы, — я того сейчас спущу вот сюда. И так скользко, катишь вниз, а тут со вздорами суется... Ну!..

Сказав «ну», он повернулся опять, отпустил руки, взял бутылку и поднес ко рту, закинул назад голову и вскинул кверху свободную руку для перевеса. Один из лакеев, начавший подбирать стекла, остановился в согнутом положении, не спуская глаз с окна и спины Долохова. Анатоль стоял прямо, рази-

нув глаза. Англичанин, выпятив вперед губы, смотрел сбоку. Старый москвич убежал в угол комнаты и лег на диван лицом к стене. Кто стоял с разинутым ртом, кто с поднятыми руками. Пьер закрыл лицо, и слабая улыбка, забывшись, осталась на его лице, хоть оно теперь выражало ужас и страх. Все молчали. Пьер отнял от глаз руки; Долохов сидел все в том же положении, только голова загнулась назад так, что курчавые волосы затылка прикасались к воротнику рубахи и рука с бутылкой поднималась все выше и выше, содрогаясь и делая усилие. Бутылка, видимо, опорожнялась и с тем вместе поднималась, загибая голову. «Что же это так долго?» — подумал Пьер. Ему казалось, что прошло больше получаса. Вдруг Долохов сделал движение назад спиной, и рука его нервно задрожала; этого содрогания было достаточно, чтобы сдвинуть все тело, сидевшее на покатом откосе. Он сдвинулся весь, еще сильнее задрожали, делая усилие, руки и голова его. Одна рука поднялась, чтобы схватиться за подоконник, но опять опустилась. Пьер опять закрыл глаза и сказал себе, что никогда уже не откроет их.

Вдруг он почувствовал, что все вокруг зашевелилось. Он взглянул: Долохов стоял на подоконнике, лицо его было бледно и весело.

— Пуста!

Он кинул бутылку англичанину, который ловко поймал ее. Затем Долохов спрыгнул с окна. От него сильно пахло ромом.

— А? Каково? А?... — спрашивал у всех Анатолий. — Штука славная!

— Черт вас возьми совсем! — говорил старый москвич. Англичанин, достав кошелек, отсчитывал деньги. Долохов хмурился и молчал. Пьер, в растерянном виде, ходил по комнате, улыбаясь и тяжело дыша.

— Господа, кто хочет со мною пари? Я тоже сделаю, — вдруг заговорил он. — И пари не нужно, вот что. Вели дать бутылку.

Я сделаю... вели дать.

— Что ты? С ума сошел? Кто тебя пустит? У тебя и на лестнице голова кружится, — заговорили с разных сторон.

— Это подло, что мы оставили одного Долохова жертвовать жизнью. Я выпью, давай бутылку рому! — закричал Пьер, решительным и пьяным жестом ударяя по столу, и полез в

окно. Его схватили за руки и отвели в другую комнату. Но Долохов не мог идти; его отнесли на диван и облили ему голову холодной водой.

Кто-то хотел ехать домой, кто-то предложил ехать не домой, а всем вместе куда-то еще: Пьер более всех настаивал на том, чтоб ехать. Надели плащи и поехали. Англичанин уехал домой, а Долохов полумертвым, бесчувственным сном заснул на диване у Анатоля.

### XIII

Князь Василий исполнил обещание, данное им на вечере у Анны Павловны пожилой даме, просившей его о своем единственном сыне Борисе. О нем было доложено государю, и, не в пример другим, он был переведен в гвардии Семеновский полк прапорщиком. Но адъютантом или состоящим при Кутузове Борис так и не был назначен, несмотря на все хлопоты и происки Анны Михайловны. Вскоре после вечера Анны Павловны Анна Михайловна вернулась в Москву, прямо к своим богатым родственникам Ростовым, у которых она стояла в Москве и у которых с детства

воспитывался и годами живал ее обожаемый Боренька, только что произведенный в армейские и тотчас переведенный в гвардейские прапорщики. Гвардия уже вышла из Петербурга 10 августа, и сын, оставшийся для обмундирования в Москве, должен был догнать ее по дороге в Радзивилов.

У Ростовых были именинницы Натальи — мать и меньшая дочь. С утра, не переставая, подъезжали и отъезжали цуги, подвозившие поздравителей к большому, всей Москве известному дому графини Ростовой на Поварской. Графиня с старшей дочерью и гостями, не перестававшими сменять один другого, сидели в гостиной. Графиня была женщина с восточным типом худого лица, лет сорока пяти, видимо, изнуренная детьми, которых у ней было двенадцать человек. Медлительность ее движений и говора, происходившая от слабости сил, придавала ей значительный вид, внушавший уважение. Княгиня Анна Михайловна Друбецкая, как домашний человек, сидела тут же, помогая в деле принимания и занимания разговором гостей. Молодежь была в задних комнатах, не находя нужным участ-

зовать в приеме визитов. Граф — встречал и провожал гостей, приглашая всех к обеду.

— Очень, очень вам благодарен, моя милая или мой милый (*ma chère* или *mon cher* он говорил всем без исключения, без малейших отступков, как выше, так и ниже его стоявшим людям) за себя и за дорогих именинниц. Смотрите же, приезжайте обедать. Вы меня обидите, мой милый. Душевно прошу вас от всего семейства, моя милая.

Эти слова, с одинаковым выражением на полном, веселом и чисто выбритом лице и с одинаково крепким пожатием руки и повторяемыми короткими поклонами, говорил он всем без исключения и изменения. Проводив одного гостя, граф возвращался в гостиную к тому или той, которые еще были в гостиной; придвинув кресла и с видом человека, любящего и умеющего пожить, молодецки расставив ноги и положив на колени руки, значительно покачивался, предлагал догадки о погоде, советовался о здоровье, иногда на русском, иногда на очень дурном, но самоуверенном французском языке, и снова с видом усталого, но твердого в исполнении обязанности

человека шел проводить, оправляя редкие седые волосы на лысине, и опять звал обедать. Иногда, возвращаясь из передней, он заходил через цветочную и официантскую в большую мраморную залу, где накрывали стол на восемьдесят кувертов, и, глядя на официантов, носивших серебро и фарфор, раздвигавших столы и развертывавших камчатные скатерти, подзывал к себе Дмитрия Васильевича, дворянина, занимавшегося всеми его делами, и говорил:

— Ну, ну, Митенька, смотри, чтоб все было хорошо. Так, так, — говорил он, с удовольствием оглядывая огромный раздвинутый стол. — Да порядок в винах не забудь; главное — сервировка. То-то... — И он уходил, самодовольно вздыхая, опять в гостиную.

— Марья Львовна Карагина с дочерью! — басом доложил огромный графинин выездной лакей, входя в двери гостиной.

Графиня подумала и понюхала из золотой табакерки с портретом мужа.

— Замучили меня эти визиты, — сказала она. — Ну, уж ее последнюю приму. Чопорна очень. Проси, — сказала она лакею грустным



голосом, как будто говорила: «Ну уж, добивай-те».

Высокая, полная, с гордым видом дама, с милοвидною дочкой, шумя платьями, вошли в гостиную.

— Дорогая графиня, как давно... она должна была пролежать в постели, бедное дитя... на балу у Разумовских... и графиня Апраксина... я была так счастлива.

Послышались оживленные женские голоса, перебивая один другого и сливаясь с шумом платьев и придвиганием стульев. Начался тот разговор, который затевают ровно настолько, чтобы при первой паузе встать, зашуметь платьями, проговорить: «Я в восхищении!» — и, опять зашумев платьями, пройти в переднюю, надеть шубу или плащ и уехать.

Разговор зашел о главной городской новости того времени, о болезни известного богача и красавца Екатерининского времени, старого графа Безухова, и о его незаконном сыне Пьере, который так неприлично вел себя на вечере у Анны Павловны Шерер.

— Я очень жалею бедного графа, — прого-

ворила гостья, — здоровье его и так было плохо, а теперь это огорчение от сына. Это его убьет!

— Что такое? — спросила графиня, как будто не зная, о чем говорит гостья, хотя она раз пятнадцать уже слышала причину огорчения графа Безухова.

— Вот нынешнее воспитанье! Еще за границей, — продолжала гостья, — этот молодой человек предоставлен был самому себе, и теперь в Петербурге, говорят, он такие ужасы наделал, что его с полицией выслали оттуда.

— Скажите! — сказала графиня.

— Он дурно выбирал свои знакомства, — вмешалась княгиня Анна Михайловна. — Сын князя Василия, он и один Долохов, они, говорят, бог знает что делали. И оба пострадали. Долохов разжалован в солдаты, а сын Безухова выслан в Москву. Анатоля Курагина — того отец как-то замял. Он все остался в кавалергардском полку.

— Да что бишь они сделали? — спросила графиня.

— Это совершенные разбойники, особенно Долохов, — говорила гостья. — Он сын Марьи

Ивановны Долоховой, такой почтенной дамы, и что же? Можете себе представить, они втроем достали где-то медведя, посадили с собой в карету и повезли к актрисам. Прибежала полиция их унимать. Они поймали квартального и привязали его спина с спиной к медведю, и пустили медведя в Мойку; медведь плавает, а квартальный на нем.

— Хороша, моя милая, фигура квартального, — закричал граф, помирая со смеху, с таким одобрительным видом, что он, несмотря на свои лета, не отказался бы принять участие в таком увеселении.

— Ах, ужас какой! Чему тут смеяться, граф? Но дамы невольно смеялись и сами.

— Насилу спасли этого несчастного, — продолжала гостя. -

И это сын князя Кирилла Владимировича Безухова так умно забавляется! — прибавила она. — А говорили, что так хорошо воспитан и умен. Вот все воспитание заграничное куда довело. Надеюсь, что здесь его никто не примет, несмотря на его богатство. Мне хотели его представить. Я решительно отказалась: у меня дочери.

— Однако это штука отличная, моя милая. Молодцы! — говорил граф, не удерживаясь от смеха.

Гостья чопорно и сердито посмотрела на него.

— Ах, моя милая Марья Львовна, — сказал он своим дурным французским выговором и языком, — юность должна перебеситься. Право! — прибавил он. — И мы с вашим мужем не святые были. Тоже бывали грешки.

И он подмигнул ей; гостья не отвечала.

— Отчего вы говорите, что этот молодой человек так богат? — спросила графиня, нагибаясь от девиц, которые тотчас же сделали вид, что не слушают. — Ведь у него только незаконные дети. Кажется... и Пьер незаконный.

Гостья махнула рукой.

— У него их двадцать незаконных, я думаю.

Княгиня Анна Михайловна вмешалась в разговор, видимо, желая выказать свои связи и свое знание всех светских обстоятельств.

— Вот в чем дело, — сказала она значительно и тоже полупшепотом. — Репутация

графа Кирилла Владимировича известна... Детям своим он счет потерял, но этот Пьер любимый был.

— Как он был хорош, — сказала графиня, — еще прошлого года! Красивее мужчины я не видывала.

— Теперь очень переменялся, — сказала княгиня Анна Михайловна. — Так я хотела сказать, — продолжала она, — по жене прямой наследник всего имения князь Василий, но Пьера отец очень любил, занимался его воспитанием и писал государю... Так что никто не знает, ежели он умрет (он так плох, что этого ждут каждую минуту, и Лоррен приехал из Петербурга), кому достанется это огромное состояние, Пьеру или князю Василию. Сорок тысяч душ и миллионы. Я это очень хорошо знаю, потому что мне сам князь Василий это говорил. Да и Кирилл Владимирович мне приходится троюродным дядей по матери, и он крестил Борю, — прибавила она, как будто не приписывая этому обстоятельству никакого значения.

— Князь Василий приехал в Москву вчера. Он едет на ревизию, мне говорили, — сказала

ГОСТЬЯ.

— Да, но между нами, — сказала княгиня, — это предлог; он приехал собственно к князю Кирилле Владимировичу, узнав, что он так плох.

— Однако, моя милая, это славная штука, — сказал граф и, заметив, что старшая гостья его не слушала, обратился уже к барышням. — Хороша фигура была у квартального, я воображаю.

И он, представив, как махал руками квартальный, опять захохотал тем звонким и багистым смехом, колебавшим все его полное тело, как смеются люди, всегда хорошо евшие и особенно пившие.

## XIV

Наступило молчанье. Графиня глядела на гостью, приятно улыбаясь, впрочем, не скрывая того, что не огорчится теперь ни-сколько, если гостья поднимется и уедет. Дочь гостьи уже оправляла платье, вопросительно глядя на мать, как вдруг из соседней комнаты послышался бег к двери нескольких мужских и женских ног, грохот зацепленного и поваленного стула, и в комнату вбежала тринадцатилетняя девочка, запахнув что-то короткою кисейною юбкой, и остановилась посредине комнаты. Казалось, она нечаянно, с нерассчитанного разбегу, заскочила так далеко. В дверях в ту же минуту показались четыре существа: два молодые человека, один студент с малиновым воротником, другой гвардейский офицер, пятнадцатилетняя девочка и толстый румяный мальчик в детской блузе.

Граф вскочил и, раскачиваясь, широко расставил руки вокруг вбежавшей девочки.

— А, вот она! — смеясь закричал он. — Именинница! Моя милая именинница!

— Милая, на все есть время, — сказала графиня дочери, очевидно, только для того, чтобы сказать что-нибудь, потому что сразу было видно, что дочь нисколько не боялась ее. — Ты ее все балуешь, — прибавила она мужу.

— Здравствуйте, милая, поздравляю вас, — сказала гостя. — Какое прелестное дитя! — прибавила она, льстиво обращаясь к матери.

Черноглазая, с большим ртом, некрасивая, но живая девочка, с своими детскими, открытыми плечиками, которые, сжимаясь, двигались в своем корсаже от быстрого бега, с своими сбившимися назад черными кудрями, тоненькими оголенными руками и маленькими быстрыми ножками в кружевных панталончиках и открытых башмачках, была в том милом возрасте, когда девочка уже не ребенок, а ребенок еще не девушка. Вывернувшись от отца, она, быстрая, грациозная и, видимо, не привыкшая к гостиней, подбежала к матери и, не обращая никакого внимания на ее строгое замечание, спрятала свое раскрасневшееся личико в кружевах материной мантильи и засмеялась.

— Мама! Мы Бориса... ха ха!.. женили на



кукле... ха ха! да... ах... Мими... — проговорила она сквозь смех, — и... ах... он убежал.

И она вынула из-под юбки и показала большую куклу с черным, стертым носом, треснутою картонною головой и лайковым задом, ногами и руками, мотавшимися в коленках и локтях, но еще с свежеею карминою, изысканною улыбкой и дугообразными чернейшими бровями.

Графиня уже пятый год знала эту Мими, неизменного друга Наташи, подаренную крестным отцом.

— Видите?... — И Наташа не могла больше говорить (ей все смешно казалось). Она упала на мать и расхохоталась так громко и звонко, что все, даже чопорная гостья, против воли засмеялись. И в лакейской был слышен этот смех. Улыбаясь, переглянулись лакеи графини с приезжим ливрейным лакеем, до сего мрачно сидевшим на стуле.

— Ну, поди, поди с своим уродом! — сказала мать, притворно-сердито отталкивая дочь. — Это моя меньшая, избалованная девочка, как видите, — обратилась она к гостье.

Наташа, оторвав на минуту лицо от кру-

жевной косынки матери и взглянув на нее снизу, тихо, сквозь слезы смеха, проговорила:

— Мне стыдно, мам Гостья, принужденная любоваться семейной сценой, сочла нужным принять в ней какое-нибудь участие.

— Скажите, моя милая, — сказала она, обращаясь к Наташе, — как же вам приходится эта Мими? Дочь, верно?

Наташе не понравилась гостья и тон, с которым она снисходила до детского разговора.

— Нет, мадам, это не моя дочь, это кукла, — сказала она, смело улыбаясь, встала от матери и присела подле старшей сестры, показывая тем, что и она может вести себя как большая.

Между тем, все это молодое поколение: Борис — офицер, сын княгини Анны Михайловны, Николай — студент, старший сын графа, Соня — пятнадцатилетняя племянница графа и маленький Петруша — меньшей сын, все, как вдруг опущенные в холодную воду, разместились в гостиной и, видимо, старались удержать в границах приличия оживление и веселость, которыми еще дышала каждая их черта. Видно было, что там, в задних комна-

тах, откуда они все так стремительно прибежали, у них были разговоры веселее, чем здесь о городских сплетнях, погоде и графине Апраксиной.

Два молодые человека, студент и офицер, друзья с детства, были одних лет и оба красивы, но не похожи друг на друга. Борис был высокий белокурый юноша, с правильными тонкими чертами длинноватого лица. Спокойный и внимательный ум выражался в приятных серых глазах его, в углах же еще не обросших губ заметна была всегда насмешливая и немного хитрая улыбка, не только не вредившая, но придававшая как бы соль выражению его свежего, очевидно еще не тронутого ни пороком, ни горем красивого лица. Николай был невелик ростом, широкогруд и очень тонко и хорошо сложен. Открытое лицо, с русыми, мягкими вьющимися волосами вокруг выпуклого, широкого лба, с восторженным взглядом полузакрытых карих выпуклых глаз, выражало всегда впечатление минуты. На верхней губе его уже показались черные волосики, и во всем лице выражались стремительность и восторженность. Оба

молодые человека, поклонившись, сели в гостиной. Борис сделал это легко и свободно; Николай, напротив, почти детски-озлобленно. Николай поглядывал то на гостей, то на дверь, видимо, не желая скрывать, что ему тут скучно, и почти не отвечая на вопросы, которые ему делали гости. Борис, напротив, тотчас же нашелся и рассказал степенно, шутливо, как эту Мими куклу он знал еще молодой девицей, с неиспорченным еще носом, как она в пять лет на его памяти состарилась и как у ней по всему черепу треснула голова. Потом он спросил даму о ее здоровье. Все, что он говорил, было просто и прилично — ни умно, ни глупо, — но улыбка, игравшая на его губах, показывала, что он, говоря, не приписывает никакой цены своим словам, а говорит только из приличия.

— Мама, зачем он говорит как большой, я не хочу, — проговорила Наташа, подходя к матери и, как капризный ребенок, указывая на Бориса. Борис улыбнулся на нее.

— Тебе бы все с ним в куклы играть, — отвечала ей княгиня Анна Михайловна, трепля ее по голому плечу, которое нервно ежилось

и пряталось в корсаж при прикосновении руки Анны Михайловны.

— Мне скучно, — прошептала Наташа. — Мама, няня просится в гости, можно ей? Можно ей? — повторила она, возвышая голос, с свойственной женщинам способностью быстрого соображения для невинного обмана. — Можно, мама! — прокричала она, чуть удерживаясь от смеха и взглядывая на Бориса, присела гостям и вышла до двери, а за дверью побежала так скоро, как только могли нести ее быстрые ножки. Борис задумался.

— Вы, кажется, тоже хотели ехать, татам? Карета нужна? — сказал он, краснея и обращаясь к матери.

— Да, поди, поди, вели приготовить, — сказала она, улыбаясь. Борис вышел тихо в двери и пошел за Наташей; толстый мальчик в блузе сердито побежал за ними, как будто досадуя на какое-нибудь расстройство, происшедшее в его занятиях.

## XV

Из молодежи, не считая старшей дочери графини, которая была четыремья годами старше сестры и держала себя уже как большая, и гости-барышни, в гостиной остались Николай и Соня-племянница, которая сидела с тою несколько притворною праздничною улыбкой, с какою и многие взрослые люди считают нужным присутствовать при чужих разговорах, и беспрестанно нежно взглядывала на своего кузена. Соня была тоненькая, миниатюрненькая брюнетка, с мягким, оттененным длинными ресницами взглядом, густою черною косой, два раза обвивавшею ее голову, и желтоватым оттенком кожи на лице и в особенности на обнаженных, худощавых, но грациозных, мускулистых руках и шее. Плавностью движений, мягкостью и гибкостью маленьких членов и несколько хитрою и сдержанною манерой она невольно напоминала красивого, но еще не сформировавшегося котенка, который будет прелестною кошечкой. Она, видимо, считала приличным своею праздничною улыбкой выказывать

участие к общему разговору, но, против воли, ее глаза из-под длинных густых ресниц смотрели на уезжающего в армию кузена с таким девическим страстным обожанием, что улыбка ее не могла ни на мгновение обмануть никого, и видно было, что кошечка присела только для того, чтоб еще энергичнее прыгнуть и заиграть с своим кузеном, как только они выберутся из этой гостиной.

— Да, моя милая, — сказал старый граф, обращаясь к гостье и указывая на своего Николая. — Вот его друг Борис произведен в офицеры, и он из дружбы не хочет отставать от него, бросает и университет и меня старика, идет в военную службу. А уж ему место в архиве было готово и всё. Вот дружба-то?! — сказал граф вопросительно.

— Да, ведь война, говорят, объявлена, — сказала гостья.

— Давно говорят, — сказал граф все еще неопределенно. — Опять поговорят, поговорят, да так и оставят. Вот дружба-то! — повторил он. — Он идет в гусары.

Гостья, не зная, что сказать, покачала головой.

— Совсем не из дружбы, — отвечал Николай, весь вспыхнув и отговариваясь, как будто от постыдного на него поклепа. — Совсем не дружба, а просто чувствую призвание к военной службе.

Он оглянулся на гостью-барышню: барышня смотрела на него с улыбкой, одобряя поступок молодого человека.

— Нынче обедает у нас Шуберт, полковник Павлоградского гусарского полка. Он был в отпуску здесь и берет его с собой. Что делать? — сказал граф, пожимая плечами и говоря шуточно о деле, которое, видимо, стоило ему много горя.

Николай вдруг почему-то разгорячился.

— Я уж вам говорил, папенька, что ежели вам не хочется меня отпустить, я останусь. Я знаю, что я никуда не гожусь, кроме как в военную службу, я не дипломат, не умею скрывать того, что чувствую, — говорил он, слишком восторженно жестикулируя для своих слов и все поглядывая с кокетством красивой молодости на Сою и гостью-барышню.

Кошечка, впиваясь в него глазами, казалась каждую секунду готовою заиграть и вы-



казать всю свою кошачью натуру. Барышня улыбкой продолжала одобрять.

— А может быть, из меня что-нибудь и выйдет, — прибавил он, — а здесь я не го- жусь...

— Ну, ну, хорошо! — сказал старый граф. — Все горячится. Все Буонапарте всем голову вскружил; все думают, как это он из поручи- ков попал в императоры. Что ж, дай Бог, — прибавил он, не замечая насмешливой улыбки гостя.

— Ну ступай, ступай, Николай, уж я вижу, ты в лес глядишь, — сказала графиня.

— Совсем нет, — отвечал сын; однако через минуту встал, поклонился и вышел из комна- ты.

Соня посидела еще немного, улыбаясь всё притворнее и притворнее, и с той же улыб- кой встала и вышла.

— Как секреты-то этой всей молодежи ши- ты белыми нитками! — сказала княгиня Анна Михайловна, указывая на Соню и смеясь. Го- стья засмеялась.

— Да, — сказала графиня после того как луч солнца, проникнувший в гостиную вме-

сте с этим молодым поколением, исчез, и как будто отвечая на вопрос, которого никто ей не делал, но который постоянно занимал ее. — Сколько страданий, сколько беспокойств, — продолжала она, — перенесено за то, чтобы теперь на них радоваться. А и теперь, право, больше страха, чем радости. Все боишься, все боишься! Именно тот возраст, в котором так много опасностей и для девочек, и для мальчиков.

— Все от воспитания зависит, — сказала гостья.

— Да, ваша правда, — продолжала графиня. — До сих пор я была, слава Богу, другом своих детей и пользуюсь полным их доверием, — говорила графиня, повторяя заблуждение многих родителей, полагающих, что у детей их нет тайн от них. — Я знаю, что я всегда буду первою поверенной моих дочерей и что Николенька, по своему пылкому характеру, ежели будет шалить (мальчику нельзя без этого), то все не так, как эти петербургские господа.

— Да, славные, славные ребята, — подтвердил граф, всегда разрешавший запутанные

для него вопросы тем, что все находил славным. — Вот подите! Захотел в гусары! Что вы хотите, моя милая!

— Какое милое существо ваша меньшая, — сказала гостья, оглядываясь с укором на дочь, как будто внушая этим взглядом своей дочери, что вот-де какую надо быть, чтобы нравиться, а не такую куклой, как ты. — Порох!

— Да, порох, — сказал граф.

— В меня пошла! И какой голос, талант! Хоть и моя дочь, а я правду скажу, певица будет, Саломони другая. Мы взяли итальянца ее учить.

— Не рано ли? Говорят, вредно для голоса учиться в эту пору.

— О нет, какой рано! — сказал граф.

— А как же наши матери выходили в двенадцать, тринадцать лет замуж? — добавила княгиня Анна Михайловна.

— Уж она и теперь влюблена в Бориса, какова? — сказала графиня, тихо улыбаясь, глядя на мать Бориса и, видимо, отвечая на мысль, всегда ее занимавшую, продолжала: — Ну, вот видите, держи я ее строго, запрещай я ей... Бог знает, что бы они делали потихоньку

(графиня разумела, они целовались бы), а теперь я знаю каждое ее слово. Она сама вечером прибежит и все мне расскажет. Может быть, я балую ее, но, право, это, кажется, лучше. Я старшую держала строго.

— Да, меня совсем иначе воспитывали, — сказала старшая красивая графиня Вера, улыбаясь. Но улыбка не украсила лица Веры, как это обыкновенно бывает, напротив, лицо ее стало неестественно и оттого неприятно. Старшая Вера была хороша, была умна, была хорошо воспитана. Голос у нее был приятный. То, что она сказала, было справедливо и уместно, но, странное дело, все, и гостья и графиня, оглянулись на нее, как будто удивились, зачем она это сказала, и почувствовали неловкость.

— Всегда со старшими детьми мудрят, хотят сделать что-нибудь необыкновенное, — сказала гостья.

— Что греха таить, моя милая! Графинюшка мудрила с Верой, — сказал граф. — Ну да что ж! Все-таки славная вышла.

И он с тем чутьем, которое проницательнее ума, подошел к Вере, заметив, что ей

неловко, и рукой приласкал ее.

— Виноват, мне надо распорядиться кое-чем. Вы посидите еще, — добавил он, кланяясь и собираясь выйти.

Гости встали и уехали, обещавшись приехать к обеду.

— Что за манера! Ух, сидели, сидели! — сказала графиня, проводя гостей.

## XVI

Когда Наташа вышла из гостиной и побежала, она добежала только до цветочной. В этой комнате она остановилась, прислушиваясь к говору в гостиной и ожидая выхода Бориса. Она уже начинала приходить в нетерпение и, топнув ножкой, сбиралась было заплакать оттого, что он не сейчас шел. Когда зазвучали не тихие, но быстрые, приличные шаги молодого человека, тринадцатилетняя девочка быстро бросилась между кадок цветов и спряталась.

— Борис Николаич! — проговорила она басом, пугая его, и тотчас же засмеялась. Борис увидал ее, покачал головой и улыбнулся.

— Борис, подите сюда, — сказала она с зна-

чительным и хитрым видом. Он подошел к ней, пробираясь между кадками.

— Борис! Поцелуйте Мими, — сказала она, плутовски улыбаясь и выставляя куклу.

— Отчего же не поцеловать? — сказал он, подвигаясь ближе и не спуская глаз с Наташи.

— Нет, скажите: не хочу.

Она отстранилась от него.

— Ну, можно сказать и не хочу. Что веселого целовать куклу?

— Не хотите? Ну, так подите сюда, — сказала она и потом глубже ушла в цветы и бросила куклу на кадку цветов. — Ближе, ближе! — шептала она. Она поймала руками офицера за обшлага, и в покрасневшем лице ее видны были торжественность и страх.

— А меня хотите поцеловать? — прошептала она чуть слышно, исподлобья глядя на него, улыбаясь и чуть не плача от волнения.

Борис покраснел.

— Какая вы смешная! — проговорил он, нагибаясь к ней, еще более краснея, но ничего не предпринимая и выжидая. Чуть заметная насмешливость порхала еще на его губах, готовая исчезнуть.

Она вдруг вскочила на кадку, так что стала выше его, обняла его обеими руками, так что тонкие голые ручки согнулись выше его шеи и, откинув движением головы волосы назад, поцеловала его в самые губы.

— Ах, что я наделала! — закричала она, смеясь проскользнула между горшками на другую сторону цветов, резвые ножки быстро заскрипели по направлению к детской. Борис побежал за ней и остановил ее.

— Наташа, — сказал он, — а тебе можно говорить ты?

Она кивнула головой.

— Я тебя люблю, — сказал он медленно. — Ты не ребенок. Наташа, сделай то, о чем я тебя попрошу.

— О чем ты меня попросишь?

— Пожалуйста, не будем делать того, что сейчас, еще четыре года.

Наташа остановилась, подумала.

— Тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать... — сказала она, считая по тоненьким пальчикам. — Хорошо! Так конечно? — И серьезная улыбка радости осветила ее оживленное, хотя и некрасивое лицо.

— Кончено! — сказал Борис.

— Навсегда? — говорила девочка. — До самой смерти?

И она, взяв его под руку, тихо пошла с ним рядом в детскую. Красивое, тонкое лицо Бориса покраснело, и в губах совершенно исчезло выражение насмешки. Он выпрямил грудь и счастливо, самодовольно вздохнул. Глаза его смотрели, казалось, далеко в будущность, за четыре года, в счастливый 1809 год.

Молодежь собралась опять в детскую, где больше всего она любила сидеть.

— Нет, не уйдешь! — закричал Николай, все делавший и говоривший страстно и порывисто, одною рукой хватая Бориса за рукав мундира, другою отнимая руку у сестры. — Ты обязан обвенчаться.

— Обязан, обязан! — закричали обе девочки.

— Я буду дьячок, Николаенька, — кричал Петруша. — Пожалуйста, я буду дьячок «Господи, помилуй!»

Казалось бы непонятным, что могли находить веселого молодые люди и девушки в венчании куклы с Борисом, но стоило только



посмотреть на торжество и радость, изображенные на всех лицах, в то время, как кукла, убранная померанцевыми цветами и в белом платье, была поставлена на колышек лайковым задом, и Борис, на все соглашавшийся, подведен к ней, и как маленький Петруша, надев на себя юбку, воображал себя дьячком, — стоило только посмотреть на все это, чтоб, и не понимая этой радости, разделить ее.

Во время одевания невесты Николай и Борис были выгнаны для приличия из комнаты. Николай в волнении ходил по комнате и про себя ахал и пожимал плечами.

— Что с тобой? — спросил Борис.

Тот поглядел на своего друга и отчаянно махнул рукой.

— Ах, ты не знаешь, что со мной сейчас случилось! — сказал он, хватая себя за голову.

— Что? — спросил Борис насмешливо и спокойно.

— Ну, я уезжаю, а она... Нет, я не могу сказать!

— Да что же? — повторил Борис. — С Соной?

— Да. Знаешь что?

— Что?

— Ах, удивительно! Как ты думаешь? Обязан я после этого все сказать отцу?

— Да что?

— Знаешь, я сам не знаю, как это случилось, я поцеловал нынче Соню; я скверно поступил. Но что же мне делать? Я до безумия влюблен. А дурно это с моей стороны? Я знаю, что дурно... Как ты скажешь?

Борис улыбнулся.

— Что ты говоришь? Неужели? — спросил он с хитрым и насмешливым удивлением. — Так и поцеловал в губы? Когда?

— Да сейчас. Ты бы не сделал этого? А? Не сделал бы? Я дурно поступил?

— Ну, не знаю. Все зависит от того, какие ты имеешь намерения.

— Ну! Еще бы. Это верно. Я ей сказал. Как меня произведут в офицеры, так я женюсь на ней.

— Это удивительно, — повторил Борис. — Как ты, однако, решителен!

Николай, успокоившись, засмеялся.

— Я удивляюсь, отчего ты никогда не был

влюблен и в тебя не влюблялись.

— Такой мой характер, — сказал Борис, краснея.

— Ну, да ты хитрый! Правду Вера говорит. — Николай вдруг принялся щекотать своего друга.

— А ты отчаянный. Правду же Вера говорит. — И Борис, боявшийся щекотки, отталкивал руки своего друга. — Ты уж что-нибудь сделаешь необыкновенное.

Оба, смеясь, вернулись к девочкам для совершения обряда венчания.

## XVII

Графиня так устала от визитов, что не велела принимать больше никого, и швейцару приказано было только звать непременно кушать всех, кто будет еще приезжать с поздравлениями. Кроме того, ей хотелось с глазу на глаз поговорить с другом своего детства, княгиней Анной Михайловной, которую она не видала хорошенько с ее приезда из Петербурга. Анна Михайловна, с своим исплаканным и приятным лицом, подвинулась ближе к креслу графини.

— С тобой я буду совершенно откровенна, — сказала Анна Михайловна. — Уж мало нас осталось старых друзей. От этого я так и дорожу твоею дружбой.

Княгиня посмотрела на Веру и остановилась. Графиня пожала руку своему другу.

— Вера, — сказала графиня, обращаясь к старшей дочери, очевидно нелюбимой. — Как у вас ни на что такта нет. Разве ты не чувствуешь, что ты здесь лишняя? Поди к сестрам или...

Красивая Вера улыбнулась, видимо, не чувствуя ни малейшего оскорбления, и прошла в свою комнату. Но, проходя мимо детской, она заметила, что в ней у двух окошек симметрично сидели две пары. Соня сидела близко подле Николая, который с разгоряченным лицом читал ей стихи, в первый раз сочиненные им. Борис с Наташей сидели у другого окна и молчали. Борис держал ее руку и выпустил при появлении Веры. Наташа взяла стоявший подле нее ящичек с перчатками и стала перебирать их. Вера улыбнулась. Николай с Соней посмотрели на нее, встали и вышли из комнаты.

— Наташа, — сказала Вера меньшей сестре, внимательно перебиравшей душистые перчатки. — Что это Николай с Соней от меня бегают? Что у них за секреты?

— Ну, что тебе за дело, Вера? — тоненьким голоском, заступнически проговорила Наташа, продолжая свою работу. Она, видимо, была ко всем еще более, чем всегда, добра и ласкова от счастья.

— Очень глупо с их стороны, — сказала Вера тоном, который показался обиден Наташе.

— У каждого свои секреты. Мы тебя с Бергом не трогаем, — сказала она, разгорячаясь.

— Как глупо! А вот я маменьке скажу, как ты с Борисом обходишься. Это нехорошо.

Борис поднялся и вежливо поклонился Вере.

— Наталья Ильинишна очень хорошо со мной обходится. Я не могу жаловаться, — сказал он насмешливо.

Наташа не засмеялась и подняла голову.

— Оставьте, Борис, вы такой дипломат (слово дипломат было в большом ходу у детей в том особом значении, какое они придавали этому слову), даже скучно, — сказала она. —

За что она ко мне пристаёт?

И она обратилась к Вере.

— Ты это никогда не поймешь, — сказала она, — потому что ты никогда никого не любила, у тебя сердца нет, ты только мадам де Жанлис (это прозвище, считавшееся очень обидным, было дано Вере Николаем), и твое первое удовольствие делать неприятности другим. Ты кокетничай с Бергом сколько хочешь.

Это она проговорила скоро и вышла из детской.

Красивая Вера, производившая на всех такое раздражающее, неприятное действие, опять улыбнулась тою же улыбкой, ничего не значащею, и, видимо, не затронутая тем, что ей было сказано, подошла к зеркалу и оправила шарф и прическу. Глядя на свое красивое лицо, она стала, по-видимому, еще холоднее и спокойнее.

## XVIII

В гостинной продолжался разговор.

— Ах, милая, — говорила графиня, — и в моей жизни не все розы. Разве я не вижу, что при таком образе жизни нашего состояния нам не надолго? И все это клуб, и его доброта. В деревне мы живем, разве мы отдыхаем? Театры, охоты и бог знает что. Да что обо мне говорить! Ну, как же ты это все устроила? Я часто на тебя удивляюсь, Анет, как это ты, в твои годы, скачешь в повозке одна, в Москву, в Петербург, ко всем министрам, ко всей знати, со всеми умеешь обойтись, удивляюсь! Ну, как же это устроилось? Вот я ничего этого не умею.

— Ах, душа моя! — отвечала княгиня Анна Михайловна. — Не дай бог тебе узнать, как тяжело остаться вдовой без опоры и с сыном, которого любишь до обожания. Всему научишься, — продолжала она с некоторою гордостью. — Процесс мой меня научил. Ежели мне нужно видеть кого-нибудь из этих тузов, я пишу записку: «Княгиня такая-то желает видеть такого-то», — и еду сама на извозчике

хоть два, хоть три раза, хоть четыре, до тех пор, пока не добьюсь того, что мне надо. Мне все равно, что бы обо мне ни думали.

— Ну, как же ты просила о Бореньке? — спросила графиня. — Ведь твой уж офицер гвардии, а Николай идет юнкером. Некому похлопотать. Ты кого просила?

— Князя Василия. Он был очень мил. Сейчас на все согласился, доложил государю, — говорила княгиня Анна Михайловна с восторгом, совершенно забыв всё унижение, через которое она прошла для достижения своей цели.

— Что, он постарел, князь Василий? — спросила графиня. — Я его не видала с наших театров у Румянцевых. Я думаю, забыл про меня. Он за мною волочился, — вспоминала графиня с улыбкой.

— Все такой же, — отвечала Анна Михайловна. — Князь любезен, рассыпается. Высокое положение нисколько не вскружило ему голову. «Я жалею, что слишком мало могу вам сделать, милая княгиня, — он мне говорит, — приказывайте». Нет, он славный человек и родной прекрасный. Но ты знаешь, Натали,



мою любовь к сыну. Я не знаю, чего я не сделала бы для его счастья. А обстоятельства мои до того дурны, — продолжала Анна Михайловна, с грустью и понижая голос, — до того дурны, что я теперь в самом ужасном положении. Мой несчастный процесс съедает все, что я имею, и не подвигается. У меня нет, можешь себе представить, буквально нет гривенника денег, и я не знаю, на что обмундировать Бориса. — Она вынула платок и заплакала. — Мне нужно пятьсот рублей, а у меня одна двадцатипятирублевая бумажка. Я в таком положении. Одна моя надежда теперь на князя Кирилла Владимировича Безухова. Ежели он не захочет поддержать своего крестника — ведь он крестил Борю — и назначить ему что-нибудь на содержание, то все мои хлопоты пропадут, мне не на что будет обмундировать его.

Графиня прослезилась и молча соображала что-то.

— Часто думаю, может это и грех, — сказала княгиня, — а часто думаю: вот князь Кирилл Владимирович Безухов живет один... это огромное состояние... и для чего живет?

Ему жизнь в тягость, а Боре только начинать жить.

— Он, верно, оставит что-нибудь Борису, — сказала графиня.

— Бог знает. Эти богачи и вельможи такие эгоисты. Но я все-таки поеду сейчас к нему, и с Борисом, и прямо скажу, в чем дело. Пускай обо мне думают, что хотят, мне, право, все равно, когда судьба сына зависит от этого. — Княгиня поднялась. — Теперь два часа. А в четыре часа вы обедаете. Я успею съездить.

И с приемами петербургской деловой барыни, умеющей пользоваться временем, Анна Михайловна послала за сыном и вместе с ним вышла в переднюю.

— Прощай, душа моя, — сказала она графине, которая провожала ее до двери. — Пожелай мне успеха, — прибавила она шепотом от сына.

— Вы к князю Кириллу Владимировичу, моя милая, — сказал граф из столовой, выходя тоже в переднюю. — Коли ему лучше, зовите Пьера ко мне обедать. Ведь он у меня бывал, с детьми танцевал. Зовите непременно... Ну, посмотрим, как-то отличится нынче Тарас.

Говорят, что у графа Орлова такого обеда не бывало, какой у нас будет.

## XIX

— Мой милый Борис, — сказала княгиня Анна Михайловна сыну, когда карета графини Ростовой, в которой они сидели, проехала по устланной соломой улице и въехала на широкий, усыпанный красным песком двор известного, с колоннами, дома графа Кирилла Владимировича Безухова. — Мой милый Борис — сказала мать, выпрастывая руку из-под старого салопа и робким и ласковым движением кладя ее на руку сына, — оставь, пожалуйста, свою гордость. Граф Кирилл Владимирович все-таки тебе крестный отец, и от него зависит твоя будущая судьба. Помни это, будь мил, как ты умеешь быть.

— Ежели бы я знал, что из этого выйдет что-нибудь, кроме унижения, — отвечал сын холодно. — Но я обещал вам и делаю это для вас. Только это в последний раз, маменька. Помните.

Несмотря на то, что чья-то карета стояла у подъезда, швейцар, оглядев мать с сыном, ко-

торые, не приказывая докладывать о себе, прямо вошли в стеклянные сени между двумя рядами статуй в нишах, значительно посмотрев на старенький салоп, спросил, кого им угодно, княжон или графа, и узнав, что графа, сказал, что их сиятельству нынче хуже и их сиятельство никого не принимают.

— Мы можем уехать, — сказал сын по-французски, видимо, обрадованный этим известием.

— Друг мой! — сказала мать умоляющим голосом, опять дотрагиваясь до руки сына, как будто это прикосновение могло успокаивать или возбуждать его.

Борис, опасаясь сцены при швейцаре, замолчал с видом человека, решившегося испить чашу до дна. Он, не снимая шинели, вопросительно смотрел на мать.

— Голубчик, — нежным голоском сказала Анна Михайловна, обращаясь к швейцару, — я знаю, что граф Кирилл Владимирович очень болен... я за тем и приехала... я родственница... Я не буду беспокоить, голубчик... А мне бы только надо увидеть князя Василия Сергеевича, ведь он здесь стоит. Доложи, по-

жалуйста.

Швейцар утрюмо дернул шнурок наверх и отвернулся.

— Княгиня Друбецкая к князю Василию Сергеевичу, — крикнул он сбежавшему сверху и из-под выступа лестницы выглядывавшему официанту в чулках, башмаках и фраке.

Мать расправила складки своего крашеного шелкового платья, посмотрелась в цельное венецианское зеркало в стене и бодро, в своих стоптанных башмаках, пошла вверх, по ковру лестницы.

— Милый, ты мне обещал, — обратилась она опять к сыну, прикосновением руки возбуждая его. Сын, опустив глаза, шел не весело.

Они вошли в залу, из которой одна дверь вела в покои, отведенные князю Василию.

В то время как мать с сыном, выйдя на середину комнаты, намеревались спросить дорогу у вскочившего при их входе старого официанта, у одной из дверей повернулась бронзовая ручка, и князь Василий в бархатной шубке, с одною звездой, по-домашнему, вышел, провожая красивого черноволосого муж-

чину. Мужчина этот был знаменитый петербургский доктор Лоррен.

— Итак, это верно, — говорил князь.

— Князь, человеку свойственно ошибаться, но... — отвечал доктор, грассируя и произнося латинские слова французским выговором.

— Хорошо, хорошо...

Заметив Анну Михайловну с сыном, князь Василий поклоном отпустил доктора и, молча, но с вопросительным видом подошел к ним. Сын с удивлением заметил, как вдруг глубокая горесть выразилась в глазах княгини Анны Михайловны.

— Да, в каких грустных обстоятельствах пришлось нам свидеться, князь... Ну, что наш дорогой больной? — сказала она, не замечая холодного, оскорбительного, устремленного на нее взгляда и обращаясь к князю как к лучшему другу, с которым можно разделить горе. Князь Василий вопросительно, до недоумения, посмотрел на нее, потом на Бориса. Борис учтиво поклонился. Князь Василий, не отвечая на поклон, отвернулся к Анне Михайловне и на ее вопрос отвечал движением го-

ловы и губ, которое означало самую плохую надежду для больного.

— Неужели? — воскликнула Анна Михайловна. — Ах, это ужасно! Страшно подумать... Это мой сын, — прибавила она, указывая на Бориса. — Он сам хотел благодарить вас.

Борис еще раз учтиво поклонился.

— Верьте, князь, что сердце матери никогда не забудет того, что вы сделали для нас.

— Я рад, что мог сделать вам приятное, любезная моя Анна Михайловна, — сказал князь Василий, оправляя жабо и в жесте и голосе проявляя здесь, в Москве, перед покровительствуемой Анною Михайловной, еще гораздо большую важность, чем в Петербурге, на вечере Анны Шерер.

— Старайтесь служить хорошо и быть достойным, — прибавил он, строго обращаясь к Борису. — Я рад... Вы здесь в отпуску? — продиктовал он своим бесстрастным тоном.

— Жду приказа, ваше сиятельство, чтоб отправиться по новому назначению, — отвечал Борис, не выказывая ни досады за резкий тон князя, ни желания вступить в разговор, но так спокойно и холодно, что князь присталь-

но поглядел на него.

— Вы живете с матушкой?

— Я живу у графини Ростовой, — сказал Борис, опять холодно прибавив: — ваше сиятельство.

Он говорил «ваше сиятельство», видимо, не столько для того, чтобы польстить своему собеседнику, сколько для того, чтобы воздержать его от фамильярности.

— Это тот Илья Ростов, который женился на Натали З., — сказала Анна Михайловна.

— Знаю, знаю, — сказал князь Василий своим монотонным голосом и с свойственным петербуржцу презрением ко всему московскому.

— Я никогда не мог понять, как Натали решилась выйти замуж за этого грязного медведя. Совершенно глупая и смешная особа. К тому же, игрок, говорят, — сказал он, выказывая тем, что, при всем своем презрении к графу Ростову и ему подобным и при своих важных государственных делах, он не чуждался городских сплетен.

— Но очень добрый человек, князь, — заметила Анна Михайловна, трогательно улы-



баясь, как будто и она знала, что граф Ростов заслуживал такого мнения, но просила пожалеть бедного старика.

— Что говорят доктора? — спросила княгиня, помолчав немного и опять выражая большую печаль на своем заплаканном лице.

— Мало надежды, — сказал князь

— А мне так хотелось еще раз поблагодарить дядю за все его благодеяния мне и Боре. Это его крестник, — прибавила она таким тоном, как будто это известие должно было крайне обрадовать князя Василия.

Князь Василий задумался и поморщился. Анна Михайловна поняла, что он боялся найти в ней соперницу по завещанию графа Безухова. Она поспешила успокоить его.

— Ежели бы не моя истинная любовь и преданность дяде, — сказала она, с особенною уверенностью и небрежностью выговаривая это слово, — я знаю его характер, благородный, прямой, но, ведь одни княжны при нем... Они еще молоды... — Она наклонила голову и прибавила шепотом: — Исполнил ли он последний долг, князь? Как драгоценны эти последние минуты! Ведь хуже быть не мо-

жет, его необходимо приготовить, ежели он так плох. Мы, женщины, князь, — она мило улыбнулась, — всегда знаем, как говорить эти вещи. Необходимо видеть его. Как бы тяжело это ни было для меня, но я привыкла уже страдать.

Князь, видимо, понял, и понял, как и на вчерашней Анны Шерер, что от Анны Михайловны трудно отделаться.

— Не было бы тяжело ему это свидание, милая Анна Михайловна, — сказал он. — Подождем до вечера, доктора обещали кризис.

— Но нельзя ждать, князь, в эти минуты. Подумайте, дело идет о спасении его души. Ах! Это ужасно, долг христианина. — Из внутренних комнат отворилась дверь, и вышла одна из княжон, племянниц графа, с красивым, угрюмым и холодным лицом и поразительно несоразмерною по ногам длинною талией.

Князь Василий обернулся к ней.

— Ну что он?

— Все то же. И как вы хотите, этот шум... — сказала княжна, оглядывая Анну Михайловну как незнакомую.

— Ах, милая, я не узнала вас, — со счастливою улыбкой сказала Анна Михайловна, легкою иноходью подходя к племяннице графа. — Я приехала помогать вам ходить за дядюшкой. Воображаю, как вы настрадались, — прибавила она с участием, закатывая глаза.

Княжна даже не улыбнулась, попросила извинения и тотчас же вышла. Анна Михайловна сняла перчатки и в завоеванной позиции расположилась на кресле, пригласив князя Василия сесть подле себя.

— Борис! — сказала она сыну и улыбнулась. — Я пройду к графу... к дяде, а ты поди покамест к Пьеру, мой друг, да не забудь передать ему приглашение от Ростовых. Они зовут его обедать. Я думаю, он не поедет? — обратилась она к князю.

— Напротив, — сказал князь, видимо, сделавшийся не в духе. — Я был бы рад, если бы вы меня избавили от этого молодого человека. Сидит тут. Граф ни разу не спросил про него.

Он пожал плечами. Официант повел молодого человека вниз и вверх по другой лестнице к Петру Владимировичу.

Борис, благодаря спокойствию и сдержанности своего характера, всегда умел находиться в трудных обстоятельствах. Теперь же это спокойствие и сдержанность усиливались еще тем облаком счастья, которое окружало его в нынешнее утро, в котором представлялись ему разные лица, и сквозь которое легче действовали на него невольные наблюдения его над приемами и характером его матери. Ему было тяжело положение просителя, в которое ставила его мать, но он чувствовал, что не виноват в том.

Пьер так и не успел выбрать себе карьеры в Петербурге и действительно был выслан в Москву за буйство. История, которую рассказывали у графа Ростова, была справедлива. Пьер присутствием своим участвовал в связывании квартального с медведем. Он приехал несколько дней тому назад и остановился, как всегда, в доме своего отца. Хотя он и предполагал, что история его уже известна в Москве и что дамы, окружающие его отца, всегда недоброжелательные к нему, восполь-

зуются этим случаем, чтобы раздражить графа, он все-таки в день приезда пошел на половину отца. Войдя в гостиную, обычное место пребывания княжон, он поздоровался с дамами, сидевшими за пядьцами, с книгой, которую вслух читала одна из них. Их было три. Старшая, чистоплотная, с длинною талией, строгая девица, та самая, которая выходила к Анне Михайловне, читала; младшие, обе румяные и хорошенькие, отличавшиеся друг от друга только тем, что у одной была родинка над губой, очень красившая ее, шили в пядьцах. Пьер был встречен как мертвец или зачумленный. Старшая княжна прервала чтение и молча смотрела на него испуганными глазами; младшая, без родинки, веселого и смешливого характера, нагнулась к пядьцам, чтобы скрыть улыбку, вызванную, вероятно, предстоявшею сценой, забавность которой она предвидела. Она притянула вниз шерстинку и нагнулась, будто разбирая узоры и едва удерживаясь от смеха.

— Здравствуйте, кузина, — сказал Пьер. — Вы меня не узнаете?

— Я слишком хорошо вас узнаю, слишком

хорошо.

— Как здоровье графа? Могу я видеть его? — спросил Пьер неловко, как всегда, но не смущаясь.

— Граф страдает и физически и нравственно, и, кажется, вы позаботились о том, чтобы причинить ему побольше нравственных страданий.

— Могу я видеть графа? — повторил Пьер.

— Гм!.. Ежели вы хотите убить его, совсем убить, то можете видеть. Ольга, поди посмотри, готов ли бульон для дяденьки, скоро время, — прибавила она, показывая этим Пьеру, что они заняты, и заняты успокаиваньем его отца, тогда как он, очевидно, занят только его расстраиванием.

Ольга вышла. Пьер постоял, посмотрел на сестер и, поклонившись, сказал:

— Так я пойду к себе. Когда можно будет, вы мне скажете. — Он вышел, и звонкий, но не громкий смех сестры с родинкой слышался за ним.

На другой день приехал князь Василий и поместился в доме графа. Он призвал к себе Пьера и сказал ему:

— Мой милый, если вы будете вести себя здесь, как в Петербурге, вы кончите очень дурно; больше мне нечего вам сказать. Граф очень, очень болен, тебе совсем не надо его видеть.

С тех пор Пьера не тревожили, и он целый день провел один наверху, в своей комнате.

В то время как Борис вошел к нему, Пьер, которому везде было хорошо с своими мыслями, ходил по своей комнате, изредка останавливаясь в углах, делая угрожающие жесты к стене, как будто пронзая невидимого врага шпагой, и строго взглядывая сверх очков, и затем вновь начиная свою прогулку, приговаривая неясные слова, пожимая плечами и разводя руками.

— Англии конец! — проговорил он, нахмуриваясь и указывая на кого-то пальцем. — Питт, как изменник нации и народному праву, приговаривается к... — Он не успел договорить приговора Питту, воображая себя в эту минуту самим Наполеоном и вместе с своим любимым героем уже совершив опасный переезд через Па-де-Кале и завоевав Лондон, как увидал входившего к нему молодого, строй-

ного и красивого офицера. Он остановился. Пьер, редко видав Бориса, оставил его четырнадцатилетним мальчиком и решительно не помнил его; но, несмотря на то, с свойственною ему быстрою и радушною манерой взял его за руку и дружелюбно улыбнулся, выставив свои испорченные зубы.

— Вы меня помните? — сказал Борис. — Я с маман приехал к графу, но он, кажется, не совсем здоров.

— Да, кажется, нездоров. Его все тревожат, — отвечал Пьер, совсем не замечая того, что он этим как будто упрекал Бориса и его мать.

Он старался вспомнить, кто этот молодой человек; Борису же показался намек в словах Пьера.

Он вспыхнул и смело и насмешливо посмотрел на Пьера, как будто говоря: «мне стыдиться нечего». Пьер не находил, что бы сказать.

— Граф Ростов просил вас нынче приехать к нему обедать, — продолжал Борис после довольно долгого и неловкого для Пьера молчания.



— А! Граф Ростов! — радостно заговорил Пьер. — Так вы его сын, Илья. Я, можете себе представить, в первую минуту не узнал вас. Помните, как мы на Воробьевы горы ездили с мадам Жако.

— Вы ошибаетесь, — неторопливо, с смелю и несколько насмешливою улыбкой проговорил Борис. — Я Борис, сын княгини Анны Михайловны Друбецкой. Ростова отца зовут Ильей, а сына Николаем. И я мадам Жако никакой не знал.

Пьер замахал руками и головой, как будто комар или пчелы напали на него.

— Ах, ну что это! Я все спутал. В Москве столько родных! Вы Борис... да. Вот мы с вами и договорились. Ну, что вы думаете о булонской экспедиции? Ведь англичанам плохо придется, ежели только Наполеон переправится через канал. Я думаю, что экспедиция очень возможна. Только Вилльнёв бы не оплошал.

Борис ничего не знал о булонской экспедиции, он не читал газет и о Вилльнёве в первый раз слышал.

— Мы здесь в Москве больше заняты обе-

дами и сплетнями, чем политикой, — сказал он своим спокойным насмешливым тоном. — Я ничего про это не знаю и не думаю. Москва занята сплетнями больше всего, — продолжал он. — Теперь говорят про вас и про графа.

Пьер улыбнулся своею доброю улыбкой, как будто боясь за своего собеседника, как бы он не сказал чего-нибудь такого, в чем стал бы раскаиваться. Но Борис говорил отчетливо, ясно и сухо, прямо глядя в глаза Пьера.

— Москве больше делать нечего, как сплетничать, — продолжал он. — Все заняты тем, кому оставит граф свое состояние, хотя, может быть, он переживет всех нас, чего я от души желаю.

— Да, это очень тяжело, — подхватил Пьер, — очень тяжело.

Пьер все боялся, что этот мальчик, офицер, нечаянно вдастся в неловкий для самого себя разговор.

— А вам должно казаться, — говорил Борис, краснея, но не изменяя голоса и позы, — как должно казаться, что все заняты только тем, чтобы получить что-нибудь от богача.

«Так и есть», — подумал Пьер.

— А я именно хочу сказать вам, чтоб избежать недоразумений, что вы очень ошибетесь, ежели причтете меня и мою мать к числу этих людей. Мы очень бедны, но я, по крайней мере, за себя говорю, именно потому, что отец ваш богат, я не считаю себя его родственником и никогда ничего не буду просить и не приму от него, — кончил он, разгораясь все более и более.

Пьер долго не мог понять, но когда понял, вскочил с дивана, ухватил Бориса за руку снизу с свойственной ему быстротой и неловкостью и, покрасневшись гораздо более, чем Борис, начал говорить с смешанным чувством стыда и досады.

— Послушайте... Вот это странно! Я разве... да и кто ж мог думать... Я очень знаю...

Но Борис опять перебил его.

— Я рад, что высказал все. Может быть, вам неприятно, вы меня извините, — сказал он, успокаивая Пьера вместо того, чтобы успокаиваться им, — но я надеюсь, что не оскорбил вас. Я имею правило говорить все прямо. Как же мне передать? Вы приедете обедать к Ростовым?

И Борис, видимо, свалив с себя тяжелую обязанность, сам выйдя из неловкого положения и поставив в него другого, сделался весел и свободен.

— Нет, послушайте, — сказал Пьер, успокаиваясь. — Вы удивительный человек. То, что вы сейчас сказали, очень хорошо, очень хорошо. Разумеется, вы меня не знаете, мы так давно не видались... детьми еще... Вы можете предполагать во мне... Я вас понимаю, очень понимаю. Я бы этого не сделал, у меня не достало бы духу, но это прекрасно. Я очень рад, что познакомился с вами. Странно, — прибавил он, помолчав и улыбаясь, — что вы во мне предполагали! — Он засмеялся. — Ну да что ж! Мы познакомимся с вами лучше. Пожалуйста. — Он пожал руку Борису.

— Вы знаете ли, я ни разу не был у графа. Он меня не звал. Мне его жалко, как человека... Но что же делать? — Борис улыбался весело и добродушно. — И вы думаете, что Наполеон успеет переправить армию? — спросил он.

Пьер понял, что Борис хотел переменить разговор и, соглашаясь с ним, начал излагать

выгоды и невыгоды булонского предприятия.

Лакей пришел вызвать Бориса к княгине. Княгиня уезжала. Пьер обещался приехать обедать, затем, чтобы ближе сойтись с Борисом, крепко жал его руку, ласково глядя ему в глаза через очки... По уходе его Пьер долго еще ходил по комнате, уже не пронзая невидимого врага шпагой, а улыбаясь при воспоминании об этом милом, умном и твердом молодом человеке.

Как это бывает в первой молодости и особенно в одиноком положении, он почувствовал беспричинную нежность к этому молодому человеку и обещал себе непременно познакомиться с ним.

Князь Василий провожал княгиню. Княгиня держала платок, и лицо ее было в слезах.

— Это ужасно! ужасно! — говорила она. — Но чего бы мне ни стоило, я исполню свой долг. Я приеду ночевать. Его нельзя так оставить. Каждая минута дорога. Я не понимаю, чего мешкают княжны. Может, Бог поможет мне найти средство его приготовить!.. Прощайте, князь, да поддержит вас Бог...

— Прощайте, моя милая, — отвечал князь

Василий, повертываясь от нее.

— Ах, он в ужасном положении, — сказала мать сыну, когда они опять садились в карету. — Он почти никого не узнает. Может быть, будет лучше.

— Я не понимаю, маменька, какие его отношения к Пьеру, — спросил сын.

— Все скажет завещание, мой друг, от него и наша судьба зависит...

— Но почему вы думаете, что он оставит чего-нибудь нам?

— Ах, мой друг! Он так богат, а мы так бедны!

— Ну, это еще недостаточная причина, маменька.

— Ах, Боже мой! Боже мой! Как он жалок! — восклицала мать.

## XXI

Когда Анна Михайловна уехала с сыном к князю Кириллу Владимировичу Безухову, графиня долго сидела одна, прикладывая платок к глазам. Наконец она позвонила.

— Что вы, милая, — сказала она сердито девушке, которая заставила себя ждать несколько минут. — Не хотите служить, что ли? Так я вам найду место.

Графиня была расстроена горем и унижительною бедностью своей подруги и поэтому была не в духе, что выразалось у нее всегда наименованием служанки «милая» и «вы».

— Виновата-с, — сказала горничная.

— Попросите ко мне графа.

Граф, переваливаясь, подошел к жене, с несколько виноватым видом, как и всегда.

— Ну, графинюшка! Какое сотэ на мадере из рябчиков будет.

Я попробовал; недаром я за Тараску тысячу рублей дал. Стоит!

Он сел подле жены, облокотив молодецки руки на колена... и взъерошивая седые волосы.

— Что прикажете, графинюшка?

— Вот что, мой друг, что это у тебя запачкано здесь? — сказала она, указывая на жилет. — Это сотэ, верно, — прибавила она, улыбаясь. — Вот что, граф, мне денег нужно.

Лицо ее стало печально.

— Ах, графинюшка!.. — И граф засуетился, доставая бумажник.

— Мне много надо, граф, мне пятьсот рублей надо. — И она, достав батистовый платок, терла им жилет мужа.

— Сейчас, сейчас. Эй, кто там? — крикнул он таким голосом, каким кричат только люди, уверенные, что те, кого они кличут, стремятся бросаться на их зов. — Послать ко мне Митеньку!

Митенька, тот дворянский сын, воспитанный у графа, который теперь заведовал всеми его делами, тихими шагами вошел в комнату.

— Вот что, мой милый, — сказал граф вошедшему почтительному молодому человеку. — Принеси ты мне... — Он задумался. — Да, 700 рублей, да. Да смотри, таких рваных и грязных, как тот раз, не приноси, а хороших, для графини.



— Да, Митенька, пожалуйста, чтоб чистенькие, — сказала графиня, грустно вздыхая.

— Ваше сиятельство, когда прикажете доставить? — сказал Митенька. — Извольте знать, что... Впрочем, не извольте беспокоиться, — прибавил он, заметив, как граф уже начал тяжело и часто дышать, что всегда было признаком начинавшегося гнева. — Я было и запамятовал... Сию минуту прикажете доставить?

— Да, да, то-то, принеси. Вот графине отдай.

— Экое золото у меня этот Митенька, — прибавил граф, улыбаясь, когда молодой человек вышел. — Нет того, чтобы нельзя. Я же этого терпеть не могу. Все можно.

— Ах, деньги, граф, деньги, сколько от них горя на свете! — сказала графиня. — А эти деньги мне очень нужны.

— Вы, графинюшка, мотовка известная, — проговорил граф и, поцеловав у жены руку, ушел опять в кабинет.

Когда Анна Михайловна вернулась опять от Безухова, у графини лежали уже деньги,

все новенькими бумажками, под платком на столике, и Анна Михайловна заметила, что графиня чем-то растревожена и имела печальный вид.

— Ну что, мой друг? — спросила графиня.

— Ах, в каком он ужасном положении! Его узнать нельзя, он так плох, так плох; я минутку побыла и двух слов не сказала...

— Анет, ради бога, не откажи мне, — сказала вдруг графиня, краснея, что так странно было при ее немолодом, худом и важном лице, доставая из-под платка деньги.

Анна Михайловна мгновенно поняла, в чем дело, и уж нагнулась, чтобы в должную минуту ловко обнять графиню.

— Вот Борису от меня на шитье мундира...

Анна Михайловна уж обнимала ее и плакала. Графиня плакала тоже. Плакали они о том, что они дружны, и о том, что они добры, и о том, что они, подруги молодости, заняты таким низким предметом, деньгами, и о том, что молодость их прошла... Но слезы обеих были приятны...

Графиня Ростова с дочерью и уже с большим числом гостей сидела в гостиной. Граф провел гостей-мужчин в кабинет, предлагая им свою охотничью коллекцию турецких трубок. Изредка он выходил и спрашивал, не приехала ли? Ждали Марью Дмитриевну Ахросимову, прозванную в обществе ужасным драгуном, даму знаменитую не богатством, не почестями, но прямою ума и откровенною простотою обращения. Марью Дмитриевну знала царская фамилия, знала вся Москва и весь Петербург, и оба города, удивляясь ей, втихомолку посмеивались над ее грубостью, рассказывали про нее анекдоты; тем не менее все без исключения уважали и боялись ее.

В кабинете, полном дыма, шел разговор о войне, которая была объявлена манифестом, и о наборе. Манифеста еще никто не читал, но все знали о его появлении. Граф сидел на оттоманке, между двумя курившими и разговаривавшими соседями. Граф сам не курил и не говорил, а, наклоня голову то на один бок,

то на другой, с видимым удовольствием смотрел на куривших и слушал разговор двух соседей своих, которых он сравил между собой.

Один из говоривших был штатский, с морщинистым, желчным и бритым худым лицом человек, уже приближавшийся к старости, хотя и одетый как самый модный молодой человек; он сидел с ногами на оттоманке, с видом домашнего человека, и, с боку запустив себе далеко в рот янтарь, порывисто втягивал дым и жмурился. Это был известный московский остряк, старый холостяк Шиншин, двоюродный брат графини, изболтавшийся франт, как про него говорили в московских гостиных. Он, казалось, снисходил до своего собеседника. Другой, свежий, розовый, гвардейский офицер, безупречно вымытый, застегнутый и причесанный, держал янтарь у середины рта и розовыми губками слегка вытягивал дымок, выпуская его колечками из красивого рта, казалось, преимущественно для выпускания колец предназначенного. Этот был тот поручик Берг, офицер Семеновского полка, с которым Борис ехал вместе в полк и которым

Наташа дразнила Веру, старшую графиню, называя Берга ее женихом. Берг от разговора про войну перешел к своим делам, развивая свои будущие служебные планы и, видимо, был очень горд тем, что разговаривал с таким знаменитым человеком как Шиншин. Граф сидел между ними и внимательно слушал. Самое приятное для графа занятие, за исключением игры в бостон, которую он очень любил, было положение слушающего, особенно когда ему удавалось сравить двух бойких и говорливых собеседников. Хотя Берг и не был говорливый собеседник, граф подметил на губах Шиншина насмешливую улыбку, как будто говорившую: «Посмотрите, как я обрабатываю этого офицера». И граф, без всякого дурного чувства к Бергу, утешался отыскиванием остроумия в каждом слове Шиншина.

— Ну, как же, батюшка, почтеннейший Альфонс Карлович, — говорил Шиншин, поспеиваясь и соединяя, в чем и состояла особенность его речи, самые тривиальные русские выражения с изысканными французскими фразами. — Вы рассчитываете иметь доход с казны, с роты доходец получать хотите?

— Нет-с, Петр Николаевич, а только желаю доказать, что в кавалерии выгод гораздо меньше против пехоты. Вот теперь сообразите, Петр Николаевич, мое положение.

Берг говорил всегда очень точно, спокойно и учтиво. Разговор его всегда касался только его одного, он всегда спокойно молчал, пока говорили о чем-нибудь, не имеющем прямого к нему отношения. И молчать таким образом он мог несколько часов, не испытывая и не производя в других ни малейшего замешательства. Но как скоро разговор касался его лично, он начинал говорить пространно и с видимым удовольствием.

— Сообразите мое положение, Петр Николаевич, будь я в кавалерии, я бы получал не более двухсот рублей в треть, даже и в чине поручика, а теперь я получаю двести тридцать, — говорил он с радостною, приятною, эгоистичною улыбкой, оглядывая Шиншина и графа, как будто для него было очевидно, что его успех всегда будет составлять главную цель желаний всех остальных людей.

Граф оглянулся на Шиншина, ожидая, скоро ли начнется остроумие, но Шиншин мол-

чал, только посмеиваясь. Граф тоже посмеивался.

— Кроме того, Петр Николаевич, перейдя в гвардию, я на виду, — продолжал Берг, — и вакансия в гвардейской пехоте гораздо чаще. Потом сами сообразите, как я мог устроиться из двухсот тридцати рублей.

Он помолчал и, торжествуя, продолжал:

— А я откладываю и еще отцу посылаю. — И он пустил колечко.

— Баланс установлен. Немец на обухе молотит хлебец, как говорит пословица, — пере-  
кладывая янтарь в другую сторону рта, сказал Шиншин и подмигнул графу.

Граф расхохотался. Другие гости, видя, что Шиншин ведет разговор, подошли послушать. Берг, не замечая ни насмешки, ни равнодушия, рассказал длинно, подробно и отчетливо, как переводом в гвардию он уже выиграл чин перед своими товарищами по корпусу, как в военное время ротного командира могут убить, и он, оставшись старшим в роте, может очень легко быть ротным, и как в полку все любят его, и как его папенька им доволен. Слушатели все ждали вместе с графом,

скоро ли будет смешное, но смешное не приходило. Берг, видимо, наслаждался, рассказывая все это, и, казалось, не подозревал того, что у других людей могли быть тоже свои интересы. Но все, что он рассказывал, было так мило, степенно, наивность молодого эгоизма его была так очевидна, что он обезоруживал своих слушателей, и даже Шиншин перестал смеяться над ним. Он показался ему не стоящим разговора.

— Ну, батюшка, вы и в пехоте, и в кавалерии, везде пойдете в ход, это я вам предрекаю. Обещаю вам блестящую карьеру, — сказал он, трепля его по плечу и спуская ноги с оттоманки. Берг радостно улыбнулся. Граф, а за ним и гости вышли в гостиную.



Было то время перед званым обедом, когда собравшиеся парадные гости не начинают длинного разговора в ожидании призыва к закуске, а вместе с тем считают необходимым шевелиться и не молчать, чтобы показать, что они нисколько не нетерпеливы сесть за стол. Хозяева поглядывают на дверь и изредка переглядываются между собой. Гости по этим взглядам стараются догадаться, кого или чего еще ждут: важного опоздавшего родственника или кушанья, которое, по дошедшим из кухни сведениям, еще не поспело. В лакейской в это время лакеи еще не успели завести разговор о господах, потому что им приходится беспрестанно вставать для приезжающих.

В кухне повара в это время ожесточаются и с мрачными лицами, в белых колпаках и фартуках, переходят от плиты к вертелу и шкафу и покрикивают на поварят, которые в эти минуты становятся особенно робки. Кучера у подъезда устанавливают цуги и, усевшись покойно на козлах, переговариваются

или забегают покурить трубочки в кучерскую.

Пьер приехал и неловко сидел посредине гостиной, на первом попавшемся кресле, загородив всем дорогу. Графиня хотела заставить его говорить, но он наивно смотрел в очки вокруг себя, как бы отыскивая кого-то и односложно отвечая на все вопросы графини. Он был стеснителен, и один не замечал этого. Большая часть гостей, знавшая его историю с медведем, любопытно смотрели на этого большого, толстого и смиренного человека, недоумевая, как мог такой увалень и скромник сделать такую штуку с квартальным.

— Вы недавно приехали? — спрашивала у него графиня.

— Да, мадам, — отвечал он, оглядываясь.

— Вы не видели моего мужа?

— Нет, мадам, — он улыбнулся совсем некстати.

— Вы, кажется, недавно были в Париже? Я думаю, очень интересно.

— Очень интересно, — отвечал он, рассуждая сам с собою, где до сих пор может быть этот Борис, который ему так понравился.

Графиня переглянулась с княгиней Анной Михайловной. Анна Михайловна поняла, что ее просят занять этого молодого человека, и, подсев к нему, начала говорить об отце; но, так же как и графине, он отвечал ей только односложными словами. Гости были все заняты между собой. Со всех сторон слышался шум платьев. Разумовские... Это было восхитительно... Вы очень добры... Графиня Апраксина... Апраксина...

Графиня встала, чтоб выйти в залу.

— Марья Дмитриевна? — слышался ее голос из залы.

— Она самая, — отвечал грубый женский голос, и вслед за тем вошла в комнату Марья Дмитриевна, приехавшая с дочерью.

Все барышни и даже дамы, исключая самых старых, встали. Марья Дмитриевна остановилась в дверях и с высоты своего тучного тела, высоко держа красивую, с седыми буклями, пятидесятилетнюю голову, оглядела гостей. Марья Дмитриевна всегда говорила по-русски.

— Имениннице дорогой с детками, — сказала она своим громким, густым, подавляю-

щим все другие звуки голосом. — Сама бы приехала утром с визитом, да не люблю по утрам шляться. Ты что, старый греховодник, — обратилась она к графу, целовавшему ее руку, — чай, скучаешь в Москве? Собак гонять негде? Да что, батюшка, делать, вот как эти пташки подрастут... — Она указывала на дочь, совсем не похожую на мать, недурную барышню, которая казалась на вид столь же нежною и сладкою, сколько мать казалась грубою. — Хочешь не хочешь, надо им женихов искать. Вон они, твои-то, уж и все на возраст, — она указала на вошедших в гостиную Наташу и Соню.

Когда приехала Марья Дмитриевна, все собрались в гостиную, ожидая выхода к столу. Вошел Борис, и Пьер тотчас же присоединился к нему.

— Ну что, казак мой? (Марья Дмитриевна казаком называла Наташу.) Какой козырь девка стала! — говорила она, лаская рукой Наташу, подходившую к ее руке без страха и весело. — Знаю, что повеса девка, сечь бы ее надо, а люблю.

Она достала из огромного ридикюля (риди-

кюль Марьи Дмитриевны был всем известен обилием и разнообразием содержания) яхонтовые сережки грушками и, отдав их именованно сиявшей и разругмянившейся Наташе, тотчас отвернулася от нее и, заметив Пьера, обратилась к нему:

— Э, э! любезный! поди-ка сюда, — сказала она притворно тихим и тонким голосом, как говорят собаке, которую хотят пробрать. — Поди-ка, любезный...

Пьер подошел испуганно, но школьнически наивно и весело глядя на нее через очки, как будто он сам собирался не менее других позабавиться в предстоящей потехе.

— Подойди, подойди, любезный! Я и отцу-то твоему правду одна говорила, когда он в случае был, а тебе-то и Бог велит.

Она помолчала. Все молчали, ожидая того, что будет, и чувствуя, что было только предисловие.

— Хорош, нечего сказать! Хорош мальчик!.. Отец на одре лежит, а он забавляется, квартального на медведя верхом сажает. Стыдно, батюшка, стыдно! Лучше бы на войну шел.

Она отвернулась и подала руку графу, который едва удерживался от смеха. Пьер только подмигнул Борису.

— Ну что ж, к столу, я чай, пора, — сказала Марья Дмитриевна.

Впереди пошел граф с Марьей Дмитриевной, потом графиня, которую повел гусарский полковник, нужный человек, с которым Николай должен был догонять полк; Анна Михайловна с Шиншиным. Берг подал руку Вере. Жюли, вечно улыбающаяся и закатывающая глаза, дочь Марьи Дмитриевны, с самого приезда своего не отпускавшая от себя Николая, пошла с ним к столу. За ними шли еще другие пары, протянувшиеся по всей зале, и сзади всех по одиночке дети, гувернеры и гувернантки. Официанты зашевелились, стулья загремели, на хорах заиграла музыка, и гости разместились. Звуки домашней музыки графа заменились звуками ножей и вилок, голоса гостей, тихих шагов седых, почтенных официантов.

На одном конце стола во главе сидела графиня. Справа Марья Дмитриевна, слева княгиня Анна Михайловна и другие гости. На

другом конце сидел граф, слева гусарский полковник, справа Шиншин и другие гости мужского пола. С одной стороны длинного стола молодежь постарше: Вера рядом с Бергом, Пьер рядом с Борисом; с другой стороны — дети, гувернеры и гувернантки. Граф из-за хрусталя, бутылок и ваз с фруктами поглядывал на жену, хотя, собственно, ему виднелся только высокий чепец ее с голубыми лентами, и усердно подливал вина своим соседям, не забывая и себя. Графиня также, из-за ананасов, не забывая обязанности хозяйки, кидала значительные взгляды на мужа, которого лысина и лицо, казалось ей, своей краснотой резче отличались от седых волос. На дамском конце шло равномерное лепетанье; на мужском все громче и громче слышались голоса, особенно гусарского полковника, который так много ел и пил все далее и далее краснея, что граф уже ставил его в пример другим гостям. Берг тихо рассказывал неприятно улыбавшейся Вере о преимуществах военного времени в финансовом отношении; Борис называл новому своему приятелю Пьеру бывших за столом гостей и переглядывал-

ся с Наташей, сидевшей против него.

Пьер, невольно усвоивший себе петербургское презрение к москвичам, поверял собственными наблюдениями все слышанное им о нравах московского общества. Все было так: чопорность (блюда подавались по чинам и возрасту), ограниченность интересов (политикой никто не был занят) и хлебосольство, которому он, однако, отдавал должную справедливость. Начиная от двух супов, из которых он выбрал черепаховый, и кулебяки, и до сотэ из рябчиков, столь понравившегося графу, он не пропускал ни одного блюда, ни одного вина, которое дворецкий в завернутой салфеткою бутылке таинственно высовывал из-за плеча соседа и тихо приговаривал: «дрей-мадера, венгерское, рейнвейн» и т. д. Он подставлял первую попавшуюся из четырех хрустальных, с вензелем графа, рюмок, стоявших перед каждым прибором, и пил с удовольствием, все с более и более приятным видом поглядывая на гостей. Наташа, сидевшая против него, глядела на Бориса, как глядят девочки тринадцати лет на мальчика, с которым они утром в первый раз поцелова-



лись и в которого они влюблены, и изредка улыбалась. Пьер беспрестанно взглядывал на нее и поддадал под взгляд и улыбку, назначенные Борису.

— Странно, — говорил он шепотом Борису, — она нехороша, меньшая Ростова, вот эта маленькая, черненькая, а какое милое лицо! Не правда ли?

— Старшая лучше, — отвечал Борис, чуть заметно улыбаясь.

— Нет, можете себе вообразить? Все черты неправильные, а чудо как мила.

И Пьер все смотрел на нее. Борис выражал удивление такому странному вкусу Пьера. Николай сидел далеко от Сони подле Жюли Ахросимовой, отвечая на ее ласковые восторженные речи, а между тем взглядом постоянно успокаивал кузину, давая ей чувствовать, что, где бы ни был, на другом конце стола или на другом конце света, мысли его будут всегда принадлежать ей одной. Соня улыбалась парадно, но, видимо, уже мучилась ревностью, то бледнела, то краснела и всеми силами прислушивалась к тому, что говорили между собою Николай и Жюли. Наташа сиде-

ла, к своему огорчению, с детьми, между маленьким братом и толстою гувернанткой. Гувернантка беспокойно оглядывалась и что-то беспрестанно шептала своей питомице и тотчас взглядывала на гостей, ожидая одобрения. Гувернер-немец старался запомнить все роды кушаний, десертов и вин с тем, чтобы описать все подробно в письме к домашним в Германию, и весьма обижался тем, что дворецкий с завернутою в салфетку бутылкой обносил его. Немец хмурился, старался показать вид, что он и не желал получить этого вина, но обижался потому, что никто не хотел понять, что вино нужно было ему не для того, чтоб утолить жажду, не из жадности, а из добросовестной любознательности...

Наташе, видимо, не сиделось на месте, она ущипнула брата, подмигнула на гувернантку, отчего толстый Петруша лопнул было со смеха, и вдруг перегнулась всем телом через стол к Борису и разлила, к ужасу гувернантки, на чистейшую скатерть квас из стакана, и, не обращая внимания на замечания, требовала внимания к себе. Борис нагнулся, Пьер тоже прислушивался, ожидая, что скажет эта маленькая, черненькая, которая, несмотря на свои неправильные черты, как ему казалось, по странной, ему одному свойственной фантазии, нравилась ему больше всех, кого он видел за этим столом.

— Борис, что, пирожное будет? — спросила Наташа, с значительным видом поднимая брови.

— Не знаю, право.

— Нет, очень мила! — улыбаясь, прошептал Пьер, как будто кто с ним об этом упорно спорил.

Наташа заметила тотчас впечатление, произведенное ею на Пьера, и весело улыбнулась

ему, и даже кивнула ему слегка головой и потрянула кудрями, глядя на него. Он мог принять это как хотел. Пьер слова еще не сказал с Наташей, но одною этою взаимною улыбкой они уже сказали себе, что нравятся друг другу.

На мужском конце стола, между тем, разговор все более и более оживлялся. Полковник рассказал, что манифест об объявлении войны уже вышел в Петербурге и что экземпляр, который он сам видел, доставлен ныне курьером главнокомандующему.

— И зачем нас нелегкая несет воевать с Бонапартом, — сказал Шиншин. — Он уже сбил спесь с Австрии. Боюсь, не пришел бы теперь наш черед.

Полковник был плотный, высокий и сангвинический немец, очевидно, служака и патриот. Он обиделся словами Шиншина.

— А затэм, милостивый государь, — сказал он, хотя и правильно говоря по-русски, но выговаривая э вместо е и ъ вместо ь, — затэм, что импэратор это знает. Он в манифеста сказал, что не можэт смотрэйтъ равнодушно на опасности, угрожающие России, и что без-

опасность империи, достоинство ее и святость союзов... — сказал он, почему-то особенно налегая на слово «союзов», как будто в этом была вся сущность дела. И с свойственной ему непогрешимой официальной памятью, он повторил вступительные слова манифеста: — «...и желание, единственную и непрременную цель государя составляющие: водворить в Европе на прочных основаниях мир — решение его двинуть ныне часть войска за границу и сделать к достижению намерения сего новые усилия». Вот зачѣм, мылостывый государь, — заключил он, назидательно выпивая стакан лафита и оглядываясь на графа за поощрением.

— Знаете пословицу: «Ерема, Ерема, сидел бы ты дома, точил бы свои веретена», — сказал Шиншин, разваливаясь и гримасничая. — Это к нам, кстати, удивительно идет. Уж на что Суворов, и того расколотили вдребезги, а где у нас Суворовы теперь? Я вас спрашиваю, — беспрестанно перескакивая с русского на французский язык и ломаясь, говорил остряк.

— Мы должны и драться до послѣднѣ кап-

ли кровь, — сказал полковник, с жестом не совсем хорошего тона ударяя по столу, — и умэррэт за своэго императора, и тогда всэй будэт хорошо. А рассуждать как мо-о-о-жно, — особенно вытянул голос на слове «можно», — как мо-о-о-о-жно мен-ше, — закончил он, опять обращаясь к графу. — Так мы, старые гусары, судим, вот и все. А вы как судитэ, молодой чэловэк и молодой гусар, — прибавил он, обращаясь к Николаю, который, услышав, что дело шло о войне, оставил свою собеседницу и во все глаза смотрел и всеми ушами слушал полковника.

— Совершенно с вами согласен, — отвечал Николай, весь вспыхнув, вертя тарелку и переставляя стаканы с таким решительным и отчаянным видом, как будто в настоящую минуту он подвергался великой опасности, — я убежден, что русские должны умирать или побеждать, — сказал он, сам чувствуя, так же как и другие, после того, как слово уж было сказано, что оно было слишком восторженно и напыщенно для настоящего случая и потому неловко, но красивая и впечатлительная молодость его открытого лица делала выход-

ку его и для других скорее милою, чем смешною.

— Прекрасно, прекрасно, то что вы сказали, — сказала Жюли, вздыхая и пряча глаза под веки от глубины чувства. Соня задрожала вся и покраснела до ушей, за ушами и до шеи и плеч, в то время как Николай говорил. Пьер прислушался к речам полковника и одобрительно закивал головой, хотя он и считал, по своим рассуждениям, патриотизм глупостью. Он невольно сочувствовал всякому искреннему слову.

— Вот это славно. Очень хорошо, очень хорошо, — сказал он.

— Настоящий гусар, молодой человек, — крикнул полковник, ударив опять по столу.

— О чем вы там шумите? — вдруг услышался через стол басистый голос Марьи Дмитриевны. — Что ты по столу стучишь? — обратилась она к гусару, всегда высказывая то, что другие только думали, — на кого ты горячишься? Верно, думаешь, что тут французы перед тобой?

— Я правду говару, — улыбаясь, сказал гусар.

— Всё о войне, — через стол прокричал граф. — Ведь у меня сын идет, Марья Дмитриевна, сын идет.

— А у меня четыре сына в армии, а я не тужу. На все воля Божья, и на печи лежа умрешь, и в сражении Бог помилует, — прозвучал без всякого усилия, с того конца стола, густой голос Марьи Дмитриевны.

— Это так.

И разговор опять сосредоточился — дамский на своем конце стола, мужской на своем.

— А вот не спросишь, — говорил маленький брат Наташи, — а вот не спросишь!

— Спрошу, — отвечала Наташа.

Лицо ее вдруг разгорелось, выражая отчаянную и веселую решимость, ту решимость, которая бывает у прапорщика, бросающегося на приступ. Она привстала и с блестящими глазками и сдержанною улыбкой обратилась к матери:

— Мам — Что тебе? — спросила графиня испуганно, но, по лицу дочери увидев, что это была шалость, строго замахала ей рукою, делая угрожающий и отрицательный жест голо-



вой.

Разговор притих.

— Мам Графиня хотела хмуриться, но невольно улыбка любви к своему любимому детищу уже ожила на ее губах. Марья Дмитриевна погрозила толстым пальцем.

— Казак! — проговорила она с угрозой.

Большинство гостей смотрели на старших, не зная, как следует принять эту выходку.

— Вот я тебя! — сказала графиня.

— Мам Соня и толстый Петя прятались от смеха.

— Вот и спросила, — прошептала Наташа маленькому брату, не сводя глаз с матери и не изменяя наивного выражения лица.

— Мороженое! только тебе не дадут, — сказала Марья Дмитриевна.

Наташа видела, что бояться нечего, и потому не побоялась и Марьи Дмитриевны.

— Марья Дмитриевна, какое мороженое? Я сливочное не люблю.

— Морковное.

— Нет, какое? Марья Дмитриевна, какое? — почти кричала она. — Я хочу знать.

Марья Дмитриевна и графиня засмеялись,

за ними все гости. Все смеялись не ответу Марья Дмитриевны, но непостижимой смелости и ловкости этой девочки, умевшей и смевшей так обращаться с Марьей Дмитриевной.

— Ваша сестра прелестна, — сказала Жюли.

Наташа отстала только тогда, когда ей сказали, что будет ананасное. Перед мороженым подали шампанское. Опять заиграла музыка, граф поцеловался с графинюшкою, и гости, вставая, поздравляли графиню, через стол чокались с графом, детьми и друг с другом. Жюли чокалась с Николаем, давая ему взглядами понять, что это чоканье имело какое-то еще другое важное значение. Опять забежали официанты, загремели стулья, и в том же порядке, но с более красными лицами гости вернулись в гостиную и в кабинет графа.

Раздвинули бостонные столы, разбрелись партиями, и гости графа разместились в двух гостиных, диванной и библиотеке. Марья Дмитриевна бранила Шиншина, с которым играла.

— Вот ругать всех умеешь, а догадаться не мог, что тебе с дамы кёровой червей идти надо.

Граф, распустив карты веером, с трудом удерживался от привычки послеобеденного сна и всему смеялся. Молодежь, подстрекаемая графиней, собралась около клавикорд и арфы. Жюли первая, по просьбе всех, сыграла на арфе пьеску с вариациями и вместе с другими девицами стала просить Наташу и Николая, известных своею музыкальностью, спеть что-нибудь. Наташа, к которой обратились прежде других, не соглашалась и не отказывалась.

— Постойте, я попробую, — сказала она, отойдя к другой стороне клавикорд и пробуя свой голос, взяла вполголоса несколько чистых грудных нот, которые неожиданно по-

действовали на всех. Все замолкли, пока звуки замирали вверху высокой просторной комнаты.

— Можно, можно, — сказала она, весело встряхивая кудрями, которые валились ей на глаза.

Пьер, очень раскрасневшийся после обеда, подошел к ней. Ему хотелось видеть ее поближе и посмотреть, как она будет говорить с ним.

— Отчего же нельзя? — спросил он так просто, как будто они были сто лет знакомы.

— Иногда бывают дни, что голос нехорош, — сказала она и отошла к клавикордам.

— А нынче?

— Отличный, — сказала она, обращаясь к нему с таким восторгом, как будто хвалила чей-нибудь чужой голос.

Пьер, довольный тем, что видел, как она говорит, подошел к Борису, который почти так же нравился ему в этот день, как и Наташа.

— Что за милый ребенок маленькая, черненькая, — сказал он. — Даром, что нехороша.

Пьер находился, после скуки уединения в

большом доме отца, в том счастливом состоянии молодого человека, когда всех любишь и видишь во всех людях одно хорошее. Еще за обедом он невольно с петербургской высоты презирал московскую публику. А теперь уже казалось, что здесь только, в Москве, и умеют жить люди, и ему уж думалось, как бы хорошо было, ежели бы он мог каждый день бывать в этом доме, слушать, как поет и как говорит эта маленькая, черненькая, и смотреть на нее.

— Николай, — сказала Наташа, подходя к клавикордам, — что будем петь?

— Хоть «Ключ», — отвечал Николай. Ему, видимо, становилось несносно от пристававшей к нему Жюли, которая думала, что он должен быть слишком счастлив ее вниманием.

— Ну, давайте, давайте. Борис, идите сюда, — закричала Наташа. — А где же Соня? — Она оглянулась и, увидав, что ее друга нет в комнате, побежала за ней.

«Ключ», как называли его у Ростовых, был старинный квартуор, которому научил их музыкальный учитель Димлер. Этот «Ключ» пе-

ли обыкновенно Наташа, Соня, Николай и Борис, который, хотя и не имел собственного таланта и голоса, но обладал верным слухом и с свойственной ему во всем точностью и спокойствием мог выучить партию и твердо держал ее. Пока Наташа ушла, стали просить Николая, чтоб он спел что-нибудь один. Он отказывался почти неучтиво и мрачно. Жюли Ахросимова, улыбаясь, подошла к нему.

— Зачем вы напускаете на себя мрачность? — спросила она. — Хотя, я понимаю, для музыки и особенно для пения нужно расположение. У меня то же самое. Бывают минуты...

Николай поморщился и пошел к клавикордам. Прежде чем сесть, он заметил, что Сони нет в комнате, и хотел уйти.

— Николай, не заставляй себя просить, это смешно, — сказала графиня.

— Я не заставляю себя просить, маман, — отвечал Николай и порывистым движением стукнул крышкой, открывая клавикорды, и сел.

Он подумал на минутку и начал песенку Кавелина:

*На что, с любезной расставаясь,  
На что «прости» ей говорить,  
Как будто с жизнью разлучаясь,  
Счастливым больше уж не быть?  
Не лучше ль просто «до свида-  
нья»,  
«До новых радостей» сказать,  
И в сих мечтах очарованья  
Себя и время забывать?*

Голос его был ни хорош, ни дурен, и пел он лениво, как бы исполняя скучную обязанность, но, несмотря на то, в комнате все замолкло, барышни покачивали головами и вздыхали, а Пьер, покрыв свои зубы нежною и слабою улыбкой, которая была особенно смешна на его толстом, полнокровном лице, так и остался до конца песни.

Жюли, закрыв глаза, вздохнула на всю комнату.

Николай пел с тем чувством меры, которого у него так недоставало в жизни и которое в искусстве не приобретается никаким изучением. Он пел с тою легкостью и свободой, которая показывала, что он не трудился, а пел, как говорил. Только когда он запел, он высказался не ребенком, каким он казался в жизни,

а человеком, в котором уже шевелились страсти.

## XXVI

Между тем, Наташа, вбежав в Сонину комнату, не нашла там свою подругу, пробежала в детскую, — и там ее не было. Наташа поняла, что Соня была в коридоре на сундуке. Сундук в коридоре был место печалей женского молодого поколения дома Ростовых. Действительно, Соня в своем воздушном розовом платье, приминая его, лежала ничком на грязной, полосатой няниной перине на сундуке, закрыв лицо пальчиками, навзрыд плакала, подрагивая своими оголенными коричневатыми плечиками. Лицо Наташи, именнинное, оживленное целый день и еще более сиявшее теперь при приготовлении к пению, которое всегда производило на нее возбуждающее действие, вдруг померкло. Глаза ее остановились, потом содрогнулась ее широкая, для пенья рожденная шея, углы губ опустились, глаза в одно мгновение увлажнились.

— Соня! что ты?... Что, что с тобой? У-у-



у!.. — И Наташа, распустив свой крупный рот и сделавшись совершенно дурною, заревела, как ребенок, не зная причины и только оттого, что Соня плакала. Соня хотела поднять голову, хотела отвечать, но не могла и еще больше спряталась. Наташа плакала, присев на синей перине и обнимая друга. Собравшись с силами, Соня приподнялась, начала утирать слезы и рассказывать.

— Николай... едет через неделю, его... бумага... вышла... он сам мне сказал... Да я бы все не плакала... (она показала бумажку, которую держала в руке: то были стихи, написанные Николаем), я бы все не плакала, но ты не можешь... никто не может понять... какая у него душа...

И она опять принялась плакать о том, что душа его была так хороша. Соня чувствовала, что никто, кроме нее, не мог понять всей прелести и высоты, благородства и нежности, — всех лучших добродетелей этой души. И она действительно видела все эти несравненные добродетели, во-первых, потому, что Николай, сам того не зная, показывался ей только одною, самую лучшую, стороною, во-вторых,

потому, что она всеми силами души желала видеть в нем одно прекрасное.

— Тебе хорошо... я не завидую... я тебя люблю, и Бориса тоже, — говорила она, собравшись немного с силами, — он милый... для вас нет препятствий. А Николай мне кузен... надобно... сам митрополит... и то нельзя. И потом, ежели маменька (Соня графиню и считала и называла матерью)... она скажет, что я порчу карьеру Николая, у меня нет сердца, что я неблагодарная, а право... вот ей-богу (она перекрестилась)... я так люблю и ее, и всех вас, только Вера одна... За что? Что я ей сделала? Я так благодарна вам, что рада бы всем пожертвовать, да мне нечем...

Соня не могла больше говорить и опять спрятала голову в руках и перине. Наташа начинала успокаиваться, но по лицу ее видно было, что она понимала всю важность горя своего друга.

— Соня! — сказала она вдруг, как будто догадавшись о настоящей причине огорчения кузины. — Верно, Вера с тобой говорила после обеда? Да?

— Да, эти стихи сам Николай написал, а я

списала еще другие; она и нашла их у меня на столе и сказала, что покажет их маменьке, и еще говорила, что я неблагодарная, что маменька никогда не позволит ему жениться на мне. А он женится на Жюли. Ты видишь, как она на него смотрит, Наташа? За что?

И опять заплакала она горче прежнего. Наташа приподняла ее, обняла и, улыбаясь сквозь слезы, стала ее успокаивать.

— Соня, ты не верь ей, душенька, не верь. Помнишь, как мы все втроем говорили с Николаем в диванной, помнишь, после ужина? Ведь мы все решили, как будет. Я уже не помню как, но помнишь, как было все хорошо и все можно. Вот дяденьки Шиншина брат женат же на двоюродной сестре, а мы ведь троюродные. И Борис говорил, что это очень можно. Ты знаешь, я ему все сказала. А он такой умный и такой хороший, — говорила Наташа, так же как и Соня в отношении к Николаю, и по тем же причинам чувствуя, что никто в мире, кроме нее, не мог знать всех сокровищ, заключающихся в Борисе... — Ты, Соня, не плачь, голубчик милый, душенька Соня. — И она целовала ее, смеясь. — Вера злая, Бог с

ней. А все будет хорошо, и маменьке она не скажет, Николай сам скажет.

И она целовала ее в голову. Соня приподнялась, и котенок оживился, глазки заблестали, и он готов был, казалось, вот-вот взмахнуть хвостом, вспрыгнуть на мягкие лапки и опять заиграть с клубком, как ему и было прилично.

— Ты думаешь? Право? Ей-богу? — сказала она, быстро оправляя платье и прическу.

— Право, ей-богу! — отвечала Наташа, оправляя своему другу под косой выбившуюся прядь жестких волос, и они обе засмеялись. — Ну, пойдём петь «Ключ».

— Пойдем.

Соня, отряхнув пух и спрятав стихи за пазуху к шейке с выступавшими костями груди, легкими, веселыми шагами, с раскрасневшимся лицом побежала вместе с Наташей по коридору в гостиную. Николай допевал еще последний куплет песни. Он увидел Соню, глаза его оживились, на открытом для звуков рте готова была улыбка, голос стал сильнее и выразительнее, и он спел последний куплет еще лучше прежних.

*В приятну ночь, при лунном свете,*

— пел он, глядя на Соню, и они понимали, как много все это значило — и слова, и улыбка, и песня, хотя, собственно, все это ничего не значило.

*В приятну ночь, при лунном свете,*

*Представить счастливо себе,  
Что некто есть еще на свете,  
Кто думает и о тебе!*

*Что и она, рукой прекрасной  
По арфе золотой бродя,  
Своей гармониею страстной  
Зовет к себе, зовет тебя!  
Еще день-два, и рай настанет...  
Но, ах! твой друг не доживет!*

Он пел для одной Сони, но всем стало весело и добро на сердце, когда он кончил и с увлажненными глазами встал от клавикорд.

— Прелестно! Обворожительно! — слышалось со всех сторон.

— Этот романс, — сказала Жюли со вздохом, подходя к нему, — восторг. Я все поняла.

Во время пения Марья Дмитриевна встала

из-за стола и остановилась в дверях, чтобы слушать.

— Ай да Николай, — сказала она. — В душу лезет. Поди, поцелуй меня.

## XXVII

Наташа шепнула Николаю, что Вера уже расстроила Соню, украв у нее стихи и наговорив ей неприятностей. Николай покраснел и тотчас решительным шагом подошел к Вере и шепотом стал говорить ей, что ежели она посмеет сделать что-нибудь неприятное Соне, то он будет ее врагом на всю жизнь. Вера отговаривалась, извинялась и замечала так же шепотом, что неприлично говорить об этом, указывая на гостей, которые, заметив, что между братом и сестрой была какая-то неприятность, удалились от них.

— Мне все равно, я при всех скажу, — говорил почти громко Николай, — что у тебя дурное сердце и что ты находишь удовольствие вредить людям.

Окончив это дело, Николай, еще дрожа от волнения, отошел в дальний угол комнаты, где стояли Борис с Пьером. Он сел подле них с

решительным и мрачным видом человека, который теперь на все готов и к которому лучше не обращаться ни с каким вопросом. Пьер, однако, со всегдашнею рассеянностью не замечая его состояния души и находясь в самом благодушном состоянии, которое было усилено еще приятным впечатлением музыки, которая всегда сильно действовала на него, несмотря на то, что он никогда не мог взять не фальшивя ни одной нотки, Пьер обратился к нему:

— Как вы славно спели! — сказал он.

Николай не отвечал.

— Вы каким чином поступаете в полк? — спросил он, чтобы спросить еще что-нибудь.

Николай, не соображая, что Пьер был несколько не виноват в неприятности, сделанной ему Верой, и в надоевшем ему приставании Жюли, зло посмотрел на него.

— Мне предлагали хлопотать о зачислении меня камер-юнкером, и я отказался, потому что хочу быть обязанным только своему достоинству положением своим в войске, а не сесть на голову людям, достойнее меня. Я иду юнкером, — прибавил он, очень довольный

тем, что сразу умел показать новому знакомому свое благородство и употребить военное выражение: «сесть на голову», — которое он только что подслушал у полковника.

— Да, мы всегда спорим с ним, — сказал Борис. — Я не нахожу ничего несправедливого поступить прямо майором. Ежели ты не достоин этого чина, — тебя выключат, а достоин, то ты скорее можешь быть полезен.

— Ну, да ты дипломат, — сказал Николай. — Я считаю это злоупотреблением для себя и не хочу начинать злоупотреблением.

— Вы совершенно, совершенно правы, — сказал Пьер. — Что это, музыканты? Танцевать будут? — робко спросил он, услышав звуки настраивания. — Я ни одному танцу никогда не мог выучиться.

— Да, кажется, маменька велела, — отвечал Николай, весело оглядывая комнату и мысленно выбирая свою между дамами. Но в это время он увидал кружок, собравшийся около Берга, и вернувшееся к нему хорошее расположение духа опять заменилось мрачным ожесточением.

— Ах, прочтите, господин Берг, вы так хо-



рошо читаете, это, должно быть, очень поэтично, — говорила Жюли Бергу, который держал в руке бумажку. Николай увидал, что это были его стихи, которые Вера, из мщенья, показала всему обществу. Стихи были следующие:

## **Прощание гусара**

*Не растравляй меня разлукой,  
Не мучь гусара своего;  
Гусару сабля будь порукой  
Желанья счастья твоего.  
Мне нужно мужество для боя,  
Еще нужней для слез твоих,  
Хочу стяжать венец героя,  
Чтобы сложить у ног твоих.*

Написав стихи и передав их предмету своей страсти, Николай думал, что они прекрасны, теперь же он вдруг находил, что они чрезвычайно дурны и, главное, смешны. Увидав Берга со своими стихами в руках, Николай остановился, ноздри его раздулись, лицо побагровело, и он, сжав губы, быстрыми шагами и с решимостью размахивая руками, направился к кружку. Борис, вовремя увидав намерение, перерезал ему дорогу и взял за руку.

— Послушай, это будет глупо.

— Оставь меня, я его проучу, — порываясь вперед, говорил Николай.

— Он не виноват, пусти меня.

Борис подошел к Бергу.

— Эти стихи написаны не для всех, — сказал он, протягивая руку. — Позвольте!

— Ах, это не для всех! Мне Вера Ильинична дала.

— Это так прекрасно, тут есть что-то очень мелодичное, — сказала Жюли Ахросимова.

— «Прощанье гусара», — сказал Берг и имел несчастье улыбнуться.

Николай уже стоял перед ним, держа близко к нему свое лицо и глядя на него разгоряченными глазами, которые, казалось, насквозь пронзали несчастного Берга.

— Вам смешно? Что вам смешно?

— Нет, я ничего не знал, что это вы...

— Какое вам дело, я или не я? Читать чужие письма не благородно.

— Извините, — сказал Берг, краснея и испуганно.

— Николай, — сказал Борис, — мсье Берг не читал чужих писем... Ты теперь надела-

ешь глупостей. Послушай, — сказал он, кладя в карман стихи, — поди сюда, мне нужно с тобой поговорить.

Берг тотчас же отошел к дамам, а Борис с Николаем вышли в диванную. Соня выбежала за ними.

Через полчаса вся молодежь уже танцевала экосез, и Николай, переговорив в диванной с Соней, был такой же веселый и ловкий танцор, как и всегда, сам удивлялся своей вспыльчивости и досадовал на свою неприличную выходку.

Всем было очень весело. И Пьеру, путавшему фигуры и танцевавшему под руководством Бориса экосез, и Наташе, почему-то помиравшей со смеху каждый раз, как она взглядывала на него, чем он был очень доволен.

— Какой он смешной и какой славный, — сказала она сначала Борису, а потом прямо в глаза заговорила самому Пьеру, наивно снизу глядя на него.

В середине третьего экосеза зашевелились стулья в гостиной, где играли граф и Марья Дмитриевна, и большая часть почетных го-

стей и старички, потягиваясь после долгого сиденья и укладывая в карманы бумажники и кошельки, выходили в двери залы. Впереди шла Марья Дмитриевна с графом, оба с веселыми лицами. Граф с шутливою вежливостью, как-то по-балетному, подал округленную руку Марье Дмитриевне. Он выпрямился, и лицо его озарилось особенною молодецко-хитрою улыбкой, и как только дотанцевали последнюю фигуру экосеза, он ударил в ладони музыкантам и закричал на хоры, обращаясь к первой скрипке.

— Семен! Данилу Купора знаешь?

Это был любимый танец графа, танцованный им еще в молодости (Данила Купор была собственно одна фигура англеза.)

— Смотрите на папу, — закричала на всю залу Наташа, пригибая к коленам свою кудрявую головку и заливаясь своим звонким смехом по всей зале.

Действительно, все, что только было в зале, с улыбкою радости смотрело на веселого старичка, который рядом с своею сановитой дамой, Марьей Дмитриевной, бывшей выше его ростом, округлял руки, в такт потряхивал

ими, расправлял плечи, вывертывал ноги, слегка притопывая, и все более и более распускаясь улыбкой на своем круглом лице приготавливал зрителей к тому, что будет. Как только слышались веселые, вызывающие звуки Данилы Купора, похожие на развеселого трепачка, все двери залы вдруг застывились с одной стороны мужскими, с другой — женскими улыбающимися лицами дворовых, вышедших посмотреть на веселящегося барина.

— Батюшка-то наш! Орел! — проговорила няня из одной двери.

Граф танцевал хорошо и знал это, но его дама вовсе не умела и не хотела хорошо танцевать. Ее огромное тело стояло прямо с опущенными вниз мощными руками (она передала ридикюль графине), только одно строгое, но красивое лицо ее танцевало. Что выражалось во всей круглой фигуре графа, у Марьи Дмитриевны выражалось лишь в более и более улыбающемся лице и вздрагивающем носе. Но зато, ежели граф, все более и более расходясь, пленял зрителей неожиданностью ловких вывертов и легких прыжков своих

мягких ног, Марья Дмитриевна, малейшим усердием при движении плеч или округлении рук, в поворотах и притоптываньях, производила не меньшее впечатление по заслуге, которую ценил всякий при ее тучности и всегдашней суровости. Пляска оживлялась все более и более. Визави не могли ни на минуту обратить на себя внимания и даже не старались о том. Все было занято графом и Марьей Дмитриевной. Наташа дергала за рукава и платье всех присутствовавших, которые и без того не спускали глаз с танцующих, и требовала, чтобы смотрели на папеньку. Граф в промежутках танца тяжело переводил дух, махал и кричал музыкантам, чтоб они играли скорей. Скорее, скорее и скорее, лише, лише и лише разворачивался граф, то на цыпочках, то на каблуках носясь вокруг Марьи Дмитриевны, и, наконец, повернув свою даму к ее месту, сделал последнее па, подняв сзади кверху свою мягкую ногу, склонив вспотевшую голову с улыбающимся лицом и округло размахнув правой рукой среди грохота рукоплесканий и хохота, особенно Наташи. Оба танцующие остановились, тяжело переводя

дыхание и утираясь батистовыми платками.

— Вот как в наше время танцевали, моя милая, — сказал граф.

— Ай да Данила Купор! — тяжело и продолжительно выпуская дух, сказала Марья Дмитриевна.

## XXVIII

**В** то время как у Ростовых танцевали в зале шестой англез под звуки от усталости фальшививших музыкантов и усталые официанты и повара готовили ужин, рассуждая между собой, как могут господа так беспрестанно кушать, — только что откушали чай, опять ужинать, — в это время с графом Безуховым сделался шестой уже удар, доктора объявили, что надежды к выздоровлению нет, больному дана была глухая исповедь и причастие, делали приготовления для соборования, и в доме была суетня и тревога ожидания, обыкновенные в такие минуты. Вне дома, за воротами, толпились, скрываясь от подъезжавших экипажей, гробовщики, ожидая богатого заказа на похороны графа. Главнокомандующий Москвы, который беспре-

станно присылал адъютантов узнавать о положении графа, в этот вечер сам приезжал проститься с одним из представителей века Екатерины. Говорили, что больной кого-то искал глазами и требовал. И за Пьером, и за Анной Михайловной был послан лакей верхом.

Великолепная приемная комната была полна. Все почтительно встали, когда главнокомандующий, пробыв около получаса наедине с больным, вышел оттуда, слегка отвечая на поклоны и стараясь как можно скорее пройти мимо устремленных на него взглядов докторов, духовных лиц и родственников. Князь Василий, похудевший и побледневший за эти дни, шел с ним рядом, и все видели, как главнокомандующий пожал ему руку и что-то несколько раз тихо повторил ему.

Проводив главнокомандующего, князь Василий сел в зале один на стул, закинул высоко ногу на ногу, на коленку упирая локоть и рукою закрыв глаза. Все видели, что ему тяжело, и никто не подходил к нему. Посидев так несколько времени, он встал и непривычно поспешными шагами, оглядываясь кругом не то сердитыми, не то испуганными глаза-



ми, пошел через длинный коридор на заднюю половину дома к старшей княжне.

Находившиеся в слабо освещенной комнате неровным шепотом говорили между собой и замолкали каждый раз, и полными вопроса и ожидания глазами оглядывались на дверь, которая вела в покои умирающего и издавала слабый звук, когда кто-нибудь выходил из нее или входил в нее.

— Предел человеческий, — говорил старичок, духовное лицо, даме, подсевшей к нему и наивно слушавшей его. — И предел положен, его же не преjdeши.

— Я думаю, не поздно ли соборовать? — прибавляя духовный титул, спрашивала дама, как будто не имея на этот счет никакого своего мнения.

— Таинство, матушка, великое, — отвечало духовное лицо, проводя руками по лысине, по которой пролегалo несколько прядей зачесанных полуседых волос.

— Это кто же? Сам главнокомандующий был? — спрашивали в другом конце комнаты. — Какой молодежавый...

— А седьмой десяток! Что, говорят, граф-то

не узнает уж? Хотели соборовать.

— Я одного знал, семь раз соборовался.

Вторая княжна только вышла из комнаты больного с заплаканными глазами и села подле Лоррена, молодого, знаменитого доктора, француза, который в грациозной позе сидел подле портрета Екатерины, облокотившись на стол.

— Прекрасная, — говорил доктор, отвечая на вопрос о погоде, — погода, княжна, и потом, Москва так похожа на деревню.

— Не правда ли? — сказала княжна, вздыхая. — Так можно ему пить?

Лоррен задумался.

— Он принял лекарство?

— Да.

Доктор посмотрел на брегет.

— Возьмите стакан отварной воды и положите щепотку (он своими тонкими пальцами показал, что значит щепотку) кремортартари.

— Не пило слушай, — говорил немец-доктор адъютанту, — чтопи с третий ударом живь остался.

— А какой свежий был мужчина! — говорил адъютант. — И кому пойдет это богат-

ство? — прибавил он шепотом.

— Охотники найдутся, — улыбаясь, отвечал немец.

Все опять оглянулись на дверь: она скрипнула, и вторая княжна, сделав питье, показанное Лорреном, понесла больному. Немец-доктор подошел к Лоррену.

— Еще, может, дотянется до завтрашнего утра? — спросил немец, дурно выговаривая по-французски.

Лоррен, поджав губы, строго и отрицательно помахал пальцем перед своим носом.

— Сегодня ночью, не позже, — сказал он тихо, с приличною улыбкой самодовольства в том, что он ясно умеет понимать и выражать положение больного, и отошел.

Между тем князь Василий отворил дверь в комнату княжны. В комнате было полутемно, только две лампы горели перед образами и хорошо пахло куреньем и цветами. Вся комната была уставлена мелкою мебелью шифоньерок, шкапчиков, столиков. Из-за ширм виднелись белые покрывала высокой пуховой кровати. Собачка залаяла.

— Ах, это вы, кузен.

Она встала и оправила волосы, которые у нее всегда, даже теперь, были так необыкновенно гладки, как будто они были сделаны из одного куска с головой и покрыты лаком.

— Что, случилось что-нибудь? — спросила она. — Я уже так напугалась.

— Ничего, все то же, я только пришел договорить с тобой, Катишь, о деле, — проговорил князь, устало садясь на кресло, с которого она встала. — Как ты нагрела, однако, — сказал он, — ну, садись сюда, поговорим.

— Я думала, не случилось ли что? — сказала княжна и с своим неизменным, спокойным и строгим каменным приличием села против князя, готовясь слушать.

— Ну что, моя милая? — сказал князь Василий, взяв руку княжны и пригибая ее по своей привычке книзу.

Видно было, что это «ну что» относилось ко многому такому, что, не называя, они понимали оба.

Княжна, с своею несообразно длинною по ногам, сухою и прямою талией, прямо и бесстрастно смотрела на князя выпуклыми серы-

ми глазами.

Она покачала головой и, вздохнув, посмотрела на образа. Жест ее можно было объяснить и как выражение печали и преданности, и как выражение усталости и надежды на скорый отдых. Князь Василий объяснил этот жест как выражение усталости.

— А мне-то, — сказал он, — ты думаешь, легче? Я заморен, как почтовая лошадь, а все-таки мне надо с тобой поговорить, Катишь, и очень серьезно.

Князь Василий замолчал, и щеки его начали нервно дергиваться то на одну, то на другую сторону, придавая его лицу неприятное выражение, какое никогда не показывалось на лице князя Василия, когда он бывал в гостиных. Глаза его тоже были не такие, как всегда: то они смотрели нагло-шутливо, то испуганно оглядывались.

Княжна, своими сухими, худыми руками придерживая на коленях собачку, внимательно смотрела в глаза князю Василию; но видно было, что она не прервет молчание вопросом, хотя бы ей пришлось молчать до утра. У княжны было одно из тех лиц, которых выра-

жение остается не изменяемо и не зависимо от движений, выражающихся на лице собеседника.

— Вот видите ли, моя милая княжна и кузина Екатерина Семеновна, — продолжал князь Василий, видимо, не без внутренней борьбы приступая к продолжению своей речи, — в такие минуты, как теперь, обо всем надо подумать. Надо подумать о будущем, о вас... я вас всех люблю как своих детей, ты это знаешь.

Княжна так же тускло и неподвижно смотрела на него.

— Наконец, надо подумать и о моем семействе, — сердито отталкивая от себя столик и не глядя на нее, продолжал князь Василий, — ты знаешь, Катишь, что вы, три сестры Мамонтовы, да еще моя жена, мы одни прямые наследники графа. Знаю, знаю, как тебе тяжело говорить и думать о таких вещах. И мне не легче, но, друг мой, мне шестой десяток, надо быть ко всему готовым. Ты знаешь ли, что я послал за Пьером и что граф, прямо указывая на его портрет, требовал его к себе?

Князь Василий вопросительно посмотрел

на княжну, но не мог понять, соображала ли она то, что он ей сказал, или просто смотрела на него.

— Я об одном не перестаю молить Бога, — отвечала она, — чтоб он помиловал его и дал бы его прекрасной душе спокойно покинуть эту...

— Да, это так, — нетерпеливо продолжал князь Василий, потирая лысину и опять с злобой придвигая к себе отодвинутый столик, — но, наконец... наконец, дело в том, ты сама знаешь, что прошлою зимой граф написал завещание, по которому он все имение, помимо прямых наследников и нас, отдавал Пьеру.

— Мало ли он писал завещаний! — спокойно сказала княжна. — Но Пьеру он не мог завещать. Пьер незаконный.

— Милая моя, — сказал вдруг князь Василий, прижав к себе столик, оживившись и начав говорить скорее, — но что ежели письмо написано государю, и граф просит усыновить Пьера? Понимаешь, по заслугам графа его просьба будет уважена...

Княжна улыбнулась, как улыбаются люди, которые думают, что знают дело больше, чем

те, с кем они разговаривают.

— Я тебе скажу больше, — продолжал князь Василий, хватая ее за руку, — письмо было написано, хотя и не отослано, и государь знал о нем. Вопрос только в том, уничтожено ли оно или нет. Ежели нет, то как скоро все кончится, — князь Василий вздохнул, давая этим понять, что он разумел под словами «все кончится», — и вскроют бумаги графа, завещание с письмом будет передано государю, и просьба его наверно будет уважена. Пьер, как законный сын, получит все.

— А наша часть? — спросила княжна, иронически улыбаясь так, как будто все, но только не это могло случиться.

— Но, моя дорогая Катишь, это ясно, как день. Он один тогда законный наследник всего, а вы не получите ни вот этого. Ты должна знать, моя милая, были ли написаны завещание и письмо и уничтожены ли они. И ежели почему-нибудь они забыты, то ты должна знать, где они, и найти их, потому что...

— Этого только недоставало! — перебила его княжна, сардонически улыбаясь и не изменяя выражения глаз. — Я женщина, по-ва-



шему, мы все глупы, но я настолько знаю, что незаконный сын не может наследовать... Un b>tard, — прибавила она, полагая этим переводом окончательно показать князю его неосновательность.

— Как ты не понимаешь, наконец, Катись! Ты так умна: как ты не понимаешь, ежели граф написал письмо государю, в котором просит его признать сына законным, стало быть, Пьер уже будет не Пьер, а граф Безухов, и тогда он по завещанию получит все? И ежели завещание с письмом не уничтожены, то тебе, кроме утешения, что ты была добродетельна, и всего, что отсюда вытекает, ничего не останется. Это верно.

— Я знаю, что завещание написано, но знаю тоже, что оно недействительно, и вы меня, кажется, считаете за совершенную дуру, — сказала княжна с тем выражением, с которым говорят женщины, полагающие, что они сказали нечто остроумное и оскорбительное.

— Милая ты моя княжна, Екатерина Семеновна, — нетерпеливо заговорил князь Василий. — Я пришел к тебе не за тем, чтобы пи-

кироваться с тобой, а за тем, чтобы как с родной, хорошою, доброю, истинною родной, поговорить о твоих же интересах. Я тебе говорю десятый раз, что ежели письмо к государю и завещание в пользу Пьера есть в бумагах графа, то ты, моя голубушка, и с сестрами, не наследница. Ежели ты мне не веришь, то поверь людям знающим: я сейчас говорил с Дмитрием Онуфриевичем (это был адвокат дома), он то же сказал.

Видимо, что-то вдруг изменилось в мыслях княжны: тонкие губы побледнели (глаза остались те же), и голос, в то время как она заговорила, прорывался такими раскатами, каких она, видимо, сама не ожидала.

— Это было бы хорошо, — сказала она. — Я ничего не хотела и не хочу. — Она сбросила свою собачку с колен и оправила складки платья. — Вот благодарность, вот признательность людям, которые всем пожертвовали для него, — сказала она. — Прекрасно! Очень хорошо! Мне ничего не нужно, князь.

— Да, но ты не одна, у тебя сестры, — ответил князь Василий.

Но княжна не слушала его.

— Да, я это давно знала, но забыла, что, кроме низости, обмана, зависти, интриг, кроме неблагодарности, самой черной неблагодарности, я ничего не могла ожидать в этом доме...

— Знаешь ли ты или не знаешь, где это завещание? — спрашивал князь Василий, еще с большим, чем прежде, передергиванием щек.

— Да, я была глупа, я еще верила в людей, и любила их, и жертвовала собой. А успевают только те, которые подлы и гадки.

Я знаю, чьи это интриги.

Княжна хотела встать, но князь удержал ее за руку. Княжна имела вид человека, вдруг разочаровавшегося во всем человеческом роде; она злобно смотрела на своего собеседника.

— Еще есть время, мой друг. Ты помни, Катись, что все это сделалось нечаянно, в минуту гнева, болезни, и потом забыто. Наша обязанность, моя милая, исправить его ошибку, облегчить его последние минуты тем, чтобы не допустить его сделать этой несправедливости, не дать ему умереть в мыслях, что он сделал несчастными тех людей...

— Тех людей, которые всем пожертвовали для него, — подхватила княжна, порываясь опять встать, но князь не пустил ее, — чего он никогда не умел ценить. Нет, кузен, — прибавила она со вздохом, — я буду помнить, что на этом свете нельзя ждать награды, что на этом свете нет ни чести, ни справедливости. На этом свете надо быть хитрою и злою.

— Ну, послушай, успокойся; я знаю твое прекрасное сердце.

— Нет, у меня злое сердце.

— Я знаю твое сердце, — повторил князь, — ценю твою дружбу, и желал бы, чтобы ты была обо мне того же мнения. Успокойся и поговорим толком, пока есть время — может, сутки, может, час; расскажи мне все, что ты знаешь о завещании, и, главное, где оно, ты должна знать. Мы теперь же возьмем его и покажем графу. Он, верно, забыл уже про него и захочет его уничтожить. Ты понимаешь, что мое одно желание — свято исполнить его волю; я за тем только и приехал сюда. Я здесь только за тем, чтобы помогать ему и вам.

— Теперь я все поняла. Я знаю, чьи это ин-

триги. Я знаю, — говорила княжна.

— Не в том дело, моя душа.

— Это ваша протезе, ваша милая княгиня Друбецкая, Анна Михайловна, которую я не желала бы иметь горничной, эту мерзкую, гадкую женщину.

— Не будем терять время.

— Ах, не говорите! Прошлую зиму она втерлась сюда и такие гадости, такие скверности наговорила графу на всех нас, особенно на Софью, я повторять не могу, — что граф сделался болен и две недели не хотел нас видеть. В это время, я знаю, что он написал эту гадкую, мерзкую бумагу, но я думала, что эта бумага ничего не значит.

— В этом-то и дело, — отчего же ты прежде ничего не сказала мне?

— В мозаиковом портфеле, который он держит под подушкой! Теперь я знаю, — сказала княжна, не отвечая. — Да, ежели есть за мной грех, большой грех, то это ненависть к этой мерзавке, — почти прокричала княжна, совершенно изменившись. — И зачем она втирается сюда? Но я ей выскажу все, все. Придет время.

— Ради бога, не забудьте в вашем оправданном гневе, — сказал князь Василий, улыбаясь слегка, — что тысячеглазая зависть следит за нами. Мы должны действовать, но...

## XXIX

В то время как такие разговоры происходили в приемной и княжьиной комнатах, карета с Пьером (за которым было послано) и с Анной Михайловной (которая нашла нужным ехать с ним) въезжала во двор графа Безухова. Когда колеса кареты мягко зазвучали по соломе, настланной под окнами, Анна Михайловна, обратившись к своему спутнику с утешительными словами, убедилась в том, что он спит в углу кареты, и разбудила его. Очнувшись, Пьер за Анною Михайловной вышел из кареты и тут только подумал о том свидании с умирающим отцом, которое его ожидало. Он заметил, что они подъехали не к парадному, а к заднему подъезду. В то время как он сходил с подножки, два человека в мещанской одежде торопливо отбежали от подъезда в тень стены. Приостановившись, Пьер разглядел в тени дома с обеих сторон

еще несколько таких же людей. Но ни Анна Михайловна, ни лакей, ни кучер, которые не могли не видеть этих людей, не обратили на них внимания. «Стало быть, это так нужно», — решил сам с собой Пьер и прошел за Анной Михайловной. Анна Михайловна поспешными шагами шла вверх по слабо освещенной, узкой, каменной лестнице, подзывая отстававшего за ней Пьера, который, хотя и не понимал, для чего ему надо было вообще идти к графу, и еще меньше, зачем ему надо было идти по задней лестнице, судя по уверенности и поспешности Анны Михайловны решил про себя, что это было необходимо нужно. На половине лестницы чуть не сбили их с ног какие-то люди с ведрами, которые, стуча сапогами, сбегали им навстречу. Люди эти прижались к стене, чтобы пропустить Пьера с Анной Михайловной, и не показали ни малейшего удивления при виде их.

— Здесь на половину княжон? — спросила Анна Михайловна одного из них.

— Здесь, — отвечал лакей смелым, громким голосом, как будто теперь все уже было можно, — дверь налево, матушка.

— Может быть, граф не звал меня, — сказал Пьер, в то время как он вышел на площадку, — я пошел бы к себе.

Анна Михайловна остановилась, чтобы поравняться с Пьером.

— Ах, мой друг, — сказала она с тем же жестом, как утром с сыном, дотрагиваясь до его руки, — поверьте, я страдаю не меньше вас, но будьте мужчиной,

— Право, я пойду, — спросил Пьер, ласково через очки глядя на Анну Михайловну.

— Забудьте, друг мой, в чем были против вас не правы. Вспомните, что это ваш отец... может быть, в агонии. — Она вздохнула. — Я тотчас полюбила вас как сына. Доверьтесь мне, Пьер. Я не забуду ваших интересов.

Пьер ничего не понимал; опять ему еще сильнее показалось, что все это так должно быть, и он покорно последовал за Анной Михайловной, уже отворявшей дверь.

Дверь выходила в переднюю заднего хода. В углу сидел старик-слуга княжон и вязал чулок. Пьер никогда не был на этой половине, даже не предполагал существования таких покоев. Анна Михайловна спросила у обго-



нявшей их, с графином на подносе, девушки, назвав ее милой и голубушкой, о здоровье княжон и повлекла Пьера дальше по каменному коридору. Из коридора первая дверь налево вела в жилые комнаты княжон. Горничная с графином второпях (как и все делалось второпях в эту минуту в этом доме) не затворила двери, и Пьер с Анною Михайловной, проходя мимо, невольно заглянули в ту комнату, где, разговаривая, сидели близко друг от друга старшая княжна с князем Василием. Увидав проходящих, князь Василий сделал нетерпеливое движение и откинулся назад, княжна вскочила и отчаянным жестом изо всей силы хлопнула дверью, затворяя ее.

Жест этот был так непохож на всегдашнее спокойствие княжны, страх, выразившийся на лице князя Василия, был так несвойствен его важности, что Пьер, остановившись, вопросительно через очки посмотрел на свою руководительницу. Анна Михайловна не выразила удивления, она только слегка улыбнулась и вздохнула, как будто показывая, что всего этого она ожидала.

— Будьте мужчиной, друг мой, я же стану

блюсти ваши интересы, — сказала она в ответ на его взгляд и еще скорее пошла по коридору.

Пьер не понимал, в чем дело, и еще меньше, что значило блюсти интересы, но он понимал, что все это так должно было быть. Коридором они вышли в полуосвещенную залу, примыкавшую к приемной графа. Это была одна из тех холодных и роскошных комнат, которые знал Пьер с парадного крыльца. Но и в этой комнате, посередине, стояла пустая ванна и была пролита вода по ковру. Навстречу им вышел на цыпочках, не обращая на них внимания, слуга и причетник с кадилом. Они вошли в знакомую Пьеру приемную с двумя итальянскими окнами, выходом в зимний сад, с большим бюстом и во весь рост портретом Екатерины. Все те же люди, почти в тех же положениях, сидели, перешептываясь, в приемной. Все, смолкнув, оглянулись на вошедшую Анну Михайловну, с ее исплаканным, бледным лицом, и на толстого, большого Пьера, который, опустив голову, покорно следовал за нею.

На лице Анны Михайловны выразилось

сознание того, что решительная минута наступила, и она, с приемами деловой петербургской дамы, вошла в комнату, не отпуская от себя Пьера, еще смелее, чем утром. Она, видимо, чувствовала, что, ведя за собою того, кого желал видеть умирающий, прием ее был обеспечен. Быстрым взглядом оглядев всех бывших в комнате и заметив графов духовника, она, не то что согнувшись, но сделавшись вдруг меньше ростом, мелкою иноходью подплыла к духовнику и почтительно приняла благословение одного, потом другого духовного лица.

— Славу Богу, что успела, — сказала она духовному лицу, — мы все, родные, так боялись. Вот этот молодой человек — сын графа, — прибавила она тише. — Ужасная минута!

Проговорив эти слова, она подошла к доктору.

— Милый доктор, — сказала она ему, — этот молодой человек — сын графа... Есть ли надежда?

Доктор молча, быстрым движением, возвел кверху глаза и плечи. Анна Михайловна точно таким же движением возвела плечи и

глаза, почти закрыв их, вздохнула и отошла от доктора к Пьеру. Она особенно почтительно и нежно-грустно обратилась к Пьеру:

— Доверьтесь Его милосердию, — сказала она ему и, указав ему диванчик, чтобы сесть подождать ее, сама неслышно направилась к двери, на которую все смотрели, и вслед за чуть слышным звуком этой двери скрылась за нею.

Пьер, решившись во всем повиноваться своей руководительнице, направился к диванчику, который она ему указала. Как только Анна Михайловна скрылась, он заметил, что взгляды всех, бывших в комнате, больше чем с любопытством и с участием устремились на него. Он заметил, что все перешептывались, указывая на него глазами как будто с страхом и даже с подобострастием. Ему оказывали уважение, какого прежде никогда не оказывали: неизвестная ему дама, которая говорила с духовными лицами, встала с своего места и предложила ему сесть; адъютант поднял уроненную Пьером перчатку и подал ему. Доктора почтительно замолкли, когда он проходил мимо их, и посторонились, чтобы дать

ему место. Пьер хотел сначала сесть на другое место, чтобы не стеснять даму, хотел сам поднять перчатку и обойти докторов, которые все и не стояли на его дороге; но он вдруг почувствовал, что это было бы неприлично, он почувствовал, что он в нынешнюю ночь есть лицо, которое обязано совершить какой-то страшный и ожидаемый всеми обряд, и что поэтому он должен был принимать от всех услуги. Он принял молча перчатку от адъютанта, сел на место дамы, положив свои большие руки на симметрично выставленные колени, в наивной позе египетской статуи, и решив про себя, что все это так именно должно быть и что ему в нынешний вечер, для того чтобы не потеряться и не наделать глупостей, не следует действовать по своим соображениям, а надобно предоставить себя вполне на волю тех, которые руководили им.

Не прошло и двух минут, как князь Василий, в своем кафтане с тремя звездами, величественно, высоко неся голову, вошел в комнату. Он казался похудевшим с утра; глаза его были больше обыкновенного, когда он оглянул комнату и увидел Пьера. Он подошел к

нему, взял руку (чего он прежде никогда не делал) и потянул ее книзу, как будто он хотел испытать, крепко ли она держится.

— Мужайтесь, мужайтесь, мой друг. Он пожелал вас видеть. Это хорошо... — и он хотел идти. Но Пьер почел нужным спросить:

— Как здоровье... — Он замялся, не зная, прилично ли назвать умирающего графом, назвать же отцом ему было совестно.

— У него был еще удар, полчаса назад. Мужайтесь, мой друг...

Пьер был в таком состоянии неясности мысли, что при слове «удар» ему представился удар какого-нибудь тела. Он, недоумевая, посмотрел на князя Василия. И уже потом сообразил, что ударом называется болезнь. Князь Василий на ходу сказал несколько слов Лоррену и прошел в дверь на цыпочках. Он не умел ходить на цыпочках и неловко подпрыгивал всем телом. Вслед за ним прошла старшая княжна, потом прошли духовные лица и причетники, прислуга тоже прошла в дверь. За эту дверь послышалось передвижение, и, наконец, все с тем же бледным, но твердым в исполнении долга лицом выбежа-

ла Анна Михайловна и, дотронувшись до руки Пьера, сказала:

— Милосердие Божие неисчерпаемо. Соборование сейчас начнется. Пойдемте.

Пьер прошел в дверь, ступая по мягкому ковру, и заметил, что и адъютант, и незнакомая дама, и еще кто-то из прислуги, все прошли за ним, как будто теперь уж не надо было спрашивать разрешения входить в эту комнату.

### XXX

Пьер хорошо знал эту большую, разделенную колоннами и аркой комнату, всю обитую персидскими коврами. Часть комнаты за колоннами, где с одной стороны стояла высокая красного дерева кровать под шелковыми занавесами, а с другой — огромный киот с образами, была красно и ярко освещена, как бывают освещены церкви во время вечерней службы. Под освещенными ризами киота стояло длинное вольтеровское кресло, и на кресле, обложенном вверху снежно-белыми, немятыми, видимо, только что перемененными подушками, укрытая до пояса ярко зеле-

ным одеялом лежала знакомая Пьеру величественная фигура его отца графа Безухова с тою же седою гривой волос, напоминавших льва, над широким лбом, и с теми же характерно-благородными, крупными морщинами на красивом красно-желтом лице. Он лежал прямо под образами; обе толстые большие руки его были выпростаны из-под одеяла и лежали на нем. В правую руку, лежавшую ладонью книзу, между большим и указательным пальцами вставлена была восковая свеча, которую, нагибаясь из-за кресла, придерживал в ней старый слуга. Над креслом стояли духовные лица в своих величественных, блестящих одеждах, с выпростанными на них длинными волосами, с зажженными свечами в руках и медленно-торжественно служили. Немного позади их стояли две младшие княжны, с платком в руках и у глаз, и впереди их старшая, Катишь, со злобным и решительным видом, ни на мгновение не спуская глаз с икон, как будто говорила всем, что не отвечает за себя, если оглянется. Анна Михайловна, с кроткою печалью и всепрощением на лице, и неизвестная дама стояли у двери.



Князь Василий стоял с другой стороны двери, близко к креслу, за резным бархатным стулом, который он поворотил к себе спинкой, и, облокотив на нее левую руку со свечой, крестился правой, каждый раз поднимая глаза кверху, когда приставлял персты ко лбу. Лицо его выражало спокойную набожность и преданность воле Божией. «Ежели вы не понимаете этих чувств, то тем хуже для вас», — казалось, говорило его лицо.

Сзади его стоял адъютант, доктора и мужская прислуга; как бы в церкви, мужчины и женщины разделились. Все молчало, крестилось, только слышны были церковное чтение, сдержанное, густое, басовое пение и в минуты молчания перестановка ног и вздохи. Анна Михайловна, с тем значительным видом, который показывал, что она знает, что делает, перешла через всю комнату к Пьеру и подала ему свечу. Он зажег ее и, развлеченный наблюдением над окружающими, стал креститься тою же рукой, в которой была свеча.

Младшая, румяная и смешливая княжна Софи, с родинкою, смотрела на него. Она

улыбнулась, спрятала свое лицо в платок и долго не открывала его, но, посмотрев на Пьера, опять засмеялась. Она, видимо, чувствовала себя не в силах глядеть на него без смеха, но не могла удержаться, чтобы не смотреть на него, и во избежание искушений тихо перешла за колонну. В середине службы голоса духовенства вдруг замолкли, духовные лица шепотом сказали что-то друг другу; старый слуга, державший руку графа, поднялся и обратился к дамам. Анна Михайловна выступила вперед и, нагнувшись над больным из-за спины, пальцем поманила к себе Лоррена. Француз-доктор, стоявший без зажженной свечи, прислонившись к колонне, в той почтительной позе иностранца, которая показывает, что, несмотря на различие веры, он понимает всю важность совершающегося обряда и даже одобряет его, неслышными шагами человека во всей силе возраста подошел к больному, взял своими белыми тонкими пальцами его свободную руку с зеленого одеяла и, отвернувшись, стал щупать пульс и задумался. Больному дали чего-то выпить, зашевелились около него, потом опять рассту-

пились по местам, и богослужение возобновилось. Во время этого перерыва Пьер заметил, что князь Василий вышел из-за своей спинки стула и с тем же видом, который показывал, что он знает, что делает, и что тем хуже для других, ежели они не понимают его, не подошел к больному, а, пройдя мимо его, присоединился к старшей княжне и с ней вместе направился в глубь спальни, к высокой кровати под шелковыми занавесами. От кровати и князь и княжна оба скрылись в заднюю дверь; но перед концом службы один за другим возвратились на свои места. Пьер обратил на это обстоятельство не более внимания, как и на все другие, раз навсегда решив в своем уме, что все, что совершалось перед ним нынешний вечер, было так необходимо нужно.

Звуки церковного пения прекратились, и слышался голос духовного лица, которое почтительно поздравляло больного с принятием таинства. Больной лежал все так же безжизненно и неподвижно. Вокруг него все зашевелилось, слышались шаги и шепоты, из которых шепот Анны Михайловны выдавался

резче всех.

Пьер слышал, как она сказала:

— Непременнно надо перенести на кровать, здесь никак нельзя будет...

Больного так обступили доктора, княжны и слуги, что Пьер уже не видал той красно-желтой головы, с седою гривой, которая, несмотря на то, что он видел и другие лица, ни на мгновение не выходила у него из вида во все время службы. Пьер догадался по осторожному движению людей, обступивших кресло, что умирающего поднимали и переносили.

— За мою руку держись, уронишь так, — слышался ему испуганный шепот одного из слуг, — снизу... еще один, — говорили голоса, и тяжелые дыхания и переступания ногами людей стали торопливее, как будто тяжесть, которую они несли, была сверх сил их.

Несущие, в числе которых была и Анна Михайловна, поравнялись с молодым человеком, и ему на мгновение, из-за спин и затылков людей, показалась высокая, жирная, открытая грудь, тучные плечи больного, приподнятые кверху людьми, державшими его

под мышки, и седая курчавая львиная голова. Голова эта с необычайно широким лбом и скулами, красивым чувственным ртом и величественным холодным взглядом была не обезображена близостью смерти. Она была такая же, какую знал ее Пьер назад тому три месяца, когда граф отпускал его в Петербург. Но голова эта беспомощно покачивалась от неровных шагов несущих, и холодный, безучастный взгляд не знал, на чем остановиться.

Прошло несколько минут суетни около высокой кровати; люди, несшие больного, разошлись; Анна Михайловна дотронулась до руки Пьера и сказала ему: «Пойдемте». Пьер вместе с нею подошел к кровати, на которой в праздничной позе, видимо, имевшей отношение к только что совершенному таинству, был положен больной. Он лежал, высоко опираясь головой на подушки. Руки его были симметрично выложены на зеленом шелковом одеяле ладонями вниз. Когда Пьер подошел, граф глядел прямо на него, но глядел тем взглядом, которого смысл и значение нельзя понять человеку. Или этот взгляд ровно ниче-

го не говорил, как только то, что покуда есть глаза, надо же глядеть куда-нибудь, или он говорил слишком многое. Пьер остановился, не зная, что ему делать, и вопросительно оглянулся на свою руководительницу, Анну Михайловну. Анна Михайловна сделала ему торпливый жест глазами, указывая на руку больного и губами посылая ей воздушный поцелуй. Пьер, старательно вытягивая шею, чтоб не зацепить за одеяло, исполнил ее совет и приложился к ширококостной и мясистой руке. Ни рука, ни один мускул лица графа не дрогнули. Пьер опять вопросительно посмотрел на Анну Михайловну, спрашивая, теперь что ему делать. Анна Михайловна глазами указала ему на кресло, стоявшее подле кровати. Пьер покорно стал садиться на кресло, глазами продолжая спрашивать, то ли он сделал, что нужно. Анна Михайловна одобрительно кивнула головой. Пьер принял опять симметрично-наивное положение египетской статуи, видимо, соболезнуя о том, что неуклюжее и толстое тело его занимало такое большое пространство, и употребляя все душевные силы, чтобы казаться как можно

меньше. Он смотрел на графа. Граф смотрел на то место, где находилось лицо Пьера в то время, как он стоял. Анна Михайловна являла в своем выражении сознание трогательной важности этой последней минуты свидания отца с сыном. Это продолжалось две минуты, которые показались Пьеру часом. Вдруг в крупных мускулах и морщинах лица графа появилось содрогание. Содрогание усиливалось, красивый рот покривился (тут только Пьер понял, до какой степени отец его был близок к смерти), из перекривленного рта слышался неясный хриплый звук. Анна Михайловна старательно смотрела в глаза больному и, стараясь угадать, чего было нужно ему, указывала то на Пьера, то на питье, то шепотом вопросительно называла князя Василия, то указывала на одеяло. Глаза и лицо больного выказывали нетерпение. Он сделал усилие, чтобы взглянуть на слугу, который безотходно стоял у изголовья постели.

— На другой бочок перевернуться хотят, — прошептал слуга и поднялся, чтобы перевернуть лицом к стене тяжелое тело графа.

Пьер встал, чтобы помочь слуге.

В то время как графа переворачивали, одна рука его беспомощно завалилась назад, и он сделал напрасное усилие, чтобы перетянуть ее. Заметил ли граф тот взгляд ужаса, с которым Пьер смотрел на эту безжизненную руку, или какая другая мысль промелькнула в его умирающей голове в эту минуту, но он посмотрел на непослушную руку, на выражение ужаса в лице Пьера, опять на руку, и на лице его явилась так не шедшая к его чертам слабая, страдальческая улыбка, выражавшая как бы насмешку над своим собственным бессилием. Неожиданно, при виде этой улыбки, Пьер почувствовал содрогание в груди, щипание в носу, и слезы затуманили его зрение. Больного перевернули на бок к стене. Он вздохнул.

— Он задремал, — сказала Анна Михайловна, заметив приходившую на смену княжну. — Пойдем.

Пьер вышел.



В приемной никого уже не было, кроме князя Василия и старшей княжны, которые, сидя под портретом Екатерины, о чем-то оживленно говорили. Как только они увидели Пьера с его руководительницей, они замолчали. Княжна что-то спрятала, как показалось Пьеру, и прошептала:

— Не могу видеть эту женщину.

— Катишь велела подать чаю в маленькой гостиной, — сказал князь Василий Анне Михайловне, — вы бы пошли, моя бедная Анна Михайловна, подкрепиться, а то вас не хватит.

Пьеру он ничего не сказал, только пожал с чувством его руку пониже плеча. Пьер с Анной Михайловной прошли в маленькую гостиную.

— Ничто так не восстанавливает после бессонной ночи, как чашка этого превосходного русского чая, — говорил Лоррен с выражением сдержанной оживленности, отхлебывая из тонкой, без ручки, китайской чашки, стоя в маленькой круглой гостиной перед столом,

на котором стоял чайный прибор и холодный ужин.

Около стола собрались, чтобы подкрепить свои силы, все бывшие в эту ночь в доме графа Безухова. Пьер хорошо помнил эту маленькую круглую гостиную, с зеркалами и маленькими столиками. Во время балов в доме графа Пьер, не умевший танцевать, любил сидеть в этой маленькой зеркальной и наблюдать, как дамы в бальных туалетах, бриллиантах и жемчугах на голых плечах, проходя через эту комнату, оглядывали себя в ярко освещенные зеркала, несколько раз повторявшие их отражения. Теперь та же комната была едва освещена двумя свечами, и среди ночи на одном маленьком столике беспорядочно стояли чайный прибор и блюда, и разнообразные, непраздничные люди, шепотом переговариваясь, сидели в ней, каждым движением, каждым словом показывая, что никто не забывает того, что делается теперь и имеет еще совершиться в спальне. Пьер не стал есть, хотя ему и очень хотелось. Он оглянулся вопросительно на свою руководительницу и увидел, что она на цыпочках выходила опять

в приемную, где остался князь Василий с старшею княжной. Пьер полагал, что и это было так нужно, и, помедлив немного, пошел за ней. Анна Михайловна стояла подле княжны, и обе они в одно время говорили взволнованным шепотом:

— Позвольте мне, княгиня, знать, что нужно и что не нужно, — говорила княжна, видимо, находясь в том же взволнованном состоянии, в каком она была в то время, как захлопывала дверь своей комнаты.

— Но, милая княжна, — кротко и убедительно говорила Анна Михайловна, заступая дорогу от спальни и не пуская княжну, — не будет ли это слишком тяжело для бедного дядюшки в такие минуты, когда ему нужен отдых? В такие минуты разговор о мирском, когда его душа уже приготовлена...

Князь Василий сидел на кресле в своей фамильярной позе, высоко заложив ногу на ногу. Щеки его сильно перепрыгивали и, опустившись, казались толще внизу, но он имел вид человека, мало занятого разговором двух дам.

— Послушайте, моя милая Анна Михайлов-

на, оставьте Катишь делать, что она знает. Вы знаете, как граф ее любит.

— Я и не знаю, что в этой бумаге, — говорила княжна, обращаясь к князю Василию и указывая на мозаиковый портфель, который она держала в руках. — Я знаю только, что настоящее завещание у него в бюро, а это забытая бумага... — Она хотела обойти Анну Михайловну, но Анна Михайловна, подпрыгнув, опять загородила ей дорогу.

— Я знаю, милая, добрая княжна, — сказала Анна Михайловна, хватаясь рукой за портфель и так крепко, что видно было — она не скоро его пустит. — Милая княжна, я вас прошу, я вас умоляю, пожалейте его. Я вас умоляю.

Княжна молчала. Слышны были только звуки усилий борьбы за портфель. Видно было, что ежели она заговорит, то заговорит не лестно для Анны Михайловны. Анна Михайловна держала крепко, но, несмотря на то, голос ее удерживал всю свою сладкую тягучесть и мягкость.

— Пьер, подойдите сюда, мой друг. Я думаю, что он не лишний в родственном совете,

не правда ли, князь?

— Что же вы молчите, кузен, — вдруг вскрикнула княжна так громко, что в гостиной услышали и испугались ее голоса. — Что вы молчите, когда здесь бог знает кто позволяет себе вмешиваться и делать сцены на пороге комнаты умирающего. Интриганка! — прошептала она злобно и дернула портфель изо всей силы, но Анна Михайловна сделала несколько шагов, чтобы не отстать от портфеля, и перехватила руку.

— Ох! — сказал князь Василий, укоризненно и удивленно. Он встал. — Это смешно. Ну же, пустите. Я вам говорю.

Княжна пустила.

— И вы.

Анна Михайловна не послушалась его.

— Пустите, я вам говорю. Я беру все на себя. Я пойду и спрошу его. Я... довольно вам этого.

— Но, князь... — говорила Анна Михайловна, — после такого великого таинства, дайте ему минуту покоя. Вот, Пьер, скажите ваше мнение, — обратилась она к молодому человеку, который, вплотную подойдя к ним,

удивленно смотрел на озлобленное, потерявшее все приличие лицо княжны и на прыгающие щеки князя Василия.

— Помните, что вы будете отвечать за все последствия, — строго сказал князь Василий, — вы не знаете, что вы делаете.

— Мерзкая женщина! — вскрикнула княжна, неожиданно бросаясь на Анну Михайловну и вырывая портфель.

Князь Василий опустил голову и развел руками.

В эту минуту дверь, та страшная дверь, на которую так долго смотрел Пьер и которая так тихо отворялась, быстро, с шумом откинулась, стукнув об стену, и средняя княжна выбежала оттуда и всплеснула руками.

— Что вы делаете! — отчаянно проговорила она. — Он умирает, а вы меня оставляете одну.

Старшая княжна выронила портфель. Анна Михайловна быстро нагнулась и, подхватив спорную вещь, побежала в спальню. Старшая княжна и князь Василий, опомнившись, пошли за ней. Через несколько минут первой вышла оттуда старшая княжна, с бледным и

сухим лицом и прикушенной нижней губой. При виде Пьера лицо ее выразило неудержимую злобу. — Да, радуйтесь теперь, — сказала она, — вы этого ждали. — И, зарыдав, закрыла лицо платком и выбежала из комнаты.

За княжной вышел князь Василий. Он, шатаясь, дошел до дивана, на котором сидел Пьер, и упал на него, закрыв глаза рукой. Пьер заметил, что он был бледен и что нижняя челюсть его прыгала и тряслась, как в лихорадочной дрожи.

— Ах, мой друг! — сказал он, взяв Пьера за локоть, и в голосе его была искренность и слабость, которые Пьер никогда прежде не замечал в нем. — Сколько мы грешим, сколько мы обманываем, и все для чего? Мне шестой десяток, мой друг... ведь мне... Все кончится смертью, все. Смерть ужасна. — Он заплакал.

Анна Михайловна вышла последняя. Она подошла к Пьеру тихими медленными шагами.

— Пьер!.. — сказала она.

Пьер вопросительно смотрел на нее. Она поцеловала в лоб молодого человека, увлажая его слезами. Она помолчала.

— Его не стало...

Пьер смотрел на нее через очки.

— Пойдемте, я вас провожу. Старайтесь плакать; ничто так не облегчает, как слезы.

Она провела его в темную гостиную, и Пьер рад был, что никто там не видел его лица. Анна Михайловна ушла от него, и когда она вернулась, он, подложив под голову руку, спал крепким сном.

Разбудив его, Анна Михайловна говорила Пьеру:

— Да, мой друг, это великая потеря для всех нас, не говоря о вас. Но Бог вас поддержит, вы молоды, и теперь, надеюсь, обладатель огромного богатства. Завещание еще не вскрыто. Я довольно вас знаю и уверена, что это не вскружит вам голову, но это налагает на вас обязанности, и надо быть мужчиной.

Пьер молчал.

— После я, может быть, расскажу вам, что если бы я не была там, то бог знает что бы случилось. Вы знаете, что дядюшка третьего дня обещал мне не забыть Бориса, но не успел. Надеюсь, мой друг, вы исполните желание отца.



Пьер ничего не понимал и молча, застенчиво краснея, что с ним редко бывало, смотрел на княгиню Анну Михайловну. Переговорив с Пьером, Анна Михайловна уехала к Ростовым и легла спать. Проснувшись утром, она рассказывала Ростовым и всем знакомым подробности смерти графа Безухова. Она говорила, что граф умер так, как и она желала бы умереть, что конец его был не только трогателен, но и назидателен, последнее же свидание отца с сыном было до того трогательно, что она не могла вспомнить его без слез и что она не знает, кто лучше вел себя в эти страшные и торжественные минуты: отец ли, который так все и всех вспомнил в последние минуты и такие трогательные слова сказал сыну, или Пьер, на которого жалко было смотреть, как он был убит и как, несмотря на это, старался скрыть свою печаль, чтобы не огорчить умирающего отца.

— Это тяжело, но это спасительно; душа возвышается, когда видишь таких людей, как старый граф и его достойный сын, — говорила она. О поступках княжны и князя Василья она, не одобряя их, тоже рассказывала, но под

большим секретом и шепотом.

## XXXII

**В** Лысых Горах, имении князя Николая Андреевича Болконского, ожидали с каждым днем приезда молодого князя Андрея с княгиней, но ожидание не нарушало стройного порядка, по которому шла жизнь в доме старого князя. Генерал-аншеф князь Николай Андреевич, прозванный в обществе Прусский король, с того времени, как при Павле был послан в деревню, жил безвыездно в своих Лысых Горах с дочерью, княжной Марьей, и при ней компаньонкой мадемуазель Бурьен. И в нынешнее царствование, хотя ему и был разрешен въезд в столицы, он также продолжал безвыездно жить в деревне, говоря, что ежели кому его нужно, то тот и от Москвы полтораста верст доедет до Лысых Гор, а что ему ничего и ничего не нужно. Он говорил, что есть только два источника людских пороков: праздность и суеверие, и что есть только две добродетели: деятельность и ум. Он сам занимался воспитанием своей дочери и, чтобы развивать в ней обе главные добродетели, до

двадцати лет давал ей уроки алгебры и геометрии и распределял всю ее жизнь в беспре-  
рывных занятиях. Сам он постоянно был за-  
нят то писанием своих мемуаров, то выклад-  
ками из высшей математики, то точением та-  
бакерок на станке, то работой в саду и наблю-  
дением над постройками, которые не прекра-  
щались в его имении, то чтением любимых  
авторов.

Так как главное условие для деятельности  
есть порядок, то и порядок в его образе жизни  
был доведен до последней степени точности.  
Его выходы к столу совершались при одних и  
тех же неизменных условиях, и не только в  
один и тот же час, но и минуту. С людьми,  
окружавшими его, от дочери до слуг, князь  
был резок и неизменно требователен и пото-  
му, не быв жестоким, он возбуждал к себе  
страх и почтительность, каких не легко мог  
бы добиться самый жестокий человек. Не-  
смотря на то, что он был в отставке и не  
имел теперь никакого значения в государ-  
ственных делах, каждый начальник той гу-  
бернии, где было имение князя, считал своим  
долгом являться к нему и, точно так же как

архитектор, садовник или княжна Марья, дожидался назначенного часа выхода князя в высокой официантской. И каждый в этой официантской испытывал то же чувство почтительности и даже страха, в то время как отворялась громадная, высокая дверь кабинета и показывалась в напудренном парике невысокая фигурка старика, с маленькими, сухими ручками и серыми висячими бровями, иногда, когда он насупливался, застилывшими блеск умных и, точно молодых, блестящих глаз.

В день приезда молодых, утром, по обыкновению, княжна Марья в урочный час входила для утреннего приветствия в официантскую и со страхом крестилась и читала внутренне молитву. Каждый день она входила и каждый день молилась о том, чтоб это ежедневное свидание сошло благополучно.

Сидевший в официантской пудренный старик слуга тихим движением встал и шепотом доложил: «Пожалуйте».

Из-за двери слышались равномерные звуки станка. Княжна робко потянула за легко и плавно отворяющуюся дверь и остановилась

у входа. Князь работал за станком и, оглянувшись, продолжал свое дело.

Огромный кабинет был наполнен вещами, очевидно, беспрестанно употребляемыми. Большой стол, на котором лежали книги и планы, высокие стеклянные шкафы библиотеки с ключами в дверцах, мраморный стол для писания в стоячем положении, на котором лежала открытая тетрадь, токарный станок с разложенными инструментами и с рассыпанными кругом стружками, — все выказывало постоянную, разнообразную и порядочную деятельность. По движениям небольшой ноги, обутой в татарский, шитый серебром, сапожок, по твердому налеганию жилистой сухощавой руки видна была в князе еще упорная и много выдерживающая сила свежей старости. Сделав несколько кругов, он снял ногу с педали станка, обтер стамеску, кинул ее в кожаный карман, приделанный к станку, и, подойдя к столу, подозвал дочь. Он никогда не благословлял своих детей и только, подставив ей щетинистую, еще не бритую нынче щеку, сказал, строго и вместе с тем внимательно-нежно оглядев ее: «Здорова?...»

ну так садись!» (Говорил он как всегда коротко и отрывисто, раскрывая тетрадь геометрии, писанную его рукой, и подвигая ногой свое кресло.)

— На завтра! — сказал он, быстро отыскивая страницу и от параграфа до другого отмечая жестким ногтем. Княжна пригнулась к столу над тетрадью. — Постой, письмо тебе, — вдруг сказал старик, доставая из приделанного над столом кармана конверт, надписанный женскою рукой, и кидая его на стол.

Лицо княжны покрылось красными пятнами при виде письма. Она торопливо взяла его и пригнулась к нему.

— От Элоизы? — спросил князь, холодною улыбкой выказывая еще крепкие, но редкие и желтоватые зубы.

— Да, от Жюли Ахросимовой, — сказала княжна, робко взглядывая и робко улыбаясь.

— Еще два письма пропущу, а третье прочту, — строго сказал князь, — боюсь, много вздору пишете. Третье прочту.

— Прочтите хоть это, отец, — отвечала княжна, краснея еще более и подавая ему письмо.

— Третье, я сказал, третье, — коротко крикнул князь, отталкивая письмо, и, облокотившись на стол, пододвинул тетрадь с чертежами геометрии.

— Ну, сударыня, — начал старик, пригнувшись близко к дочери и над тетрадью и положив одну руку на спинку кресла, на котором сидела княжна, так что княжна чувствовала себя со всех сторон окруженною тем табачным и старчески-едким запахом отца, который она так давно знала.

— Ну, сударыня, треугольники эти подобны; изволишь видеть, угол  $abc$ ...

Княжна испуганно взглядывала на близко от нее блестящие глаза отца; красные пятна переливались по ее лицу, и видно было, что она ничего не понимает и так боится, что страх помешает ей понять все дальнейшие толкования отца, как бы ясны они ни были. Виноват ли был учитель, или виновата была ученица, но каждый день повторялось одно и то же: у княжны мутилось в глазах, она ничего не видела, не слышала, только чувствовала подле себя сухое лицо строгого отца, чувствовала его дыханье и запах и только думала о

том, как бы ей уйти поскорее из кабинета и у себя на просторе понять задачу. Старик выходил из себя: с грохотом отодвигал и придвигал кресло, на котором сам сидел, делая усилия над собой, чтобы не разгорячиться, и почти всякий раз горячился, бранился, а иногда швырял тетрадь.

Княжна ошиблась ответом.

— Ну, как же не дура! — крикнул князь, оттолкнув тетрадь и быстро отвернувшись; но тотчас же встал, прошелся, дотронулся руками до волос княжны и снова сел. Он придвинулся и усиленно успокоенным голосом продолжал толкование.

— Нельзя, княжна, нельзя, — сказал он, когда княжна, взяв и закрыв тетрадь с заданными уроками, уже готовилась уходить. — Математика великое дело, моя сударыня. А чтобы ты была похожа на наших глупых барынь, я не хочу. Стерпится — слюбится. — Он потрепал ее рукой по щеке. — Дурь из головы выскочит. — Она хотела выйти, он остановил ее жестом и достал с высокого стола новую неразрезанную книгу.

— Вот еще какой-то Ключ тайнства, кото-



рый тебе твоя Элоиза посылает. Религиозная. А я ни в чью веру не вмешиваюсь. Просмотрел. Возьми. Ну, ступай, ступай!

Он потрепал ее по плечу и сам запер за нею дверь.

### XXXIII

Княжна Марья возвратилась в свою комнату с грустным, испуганным выражением, которое редко покидало ее и делало ее некрасивое, болезненное лицо еще более некрасивым, села за свой письменный стол, уставленный миниатюрными портретами и заваленный тетрадями и книгами. Княжна была столь же беспорядочна, как отец ее порядочен. Она положила тетрадь геометрии и нетерпеливо распечатала письмо. Когда, не читая еще, но только как будто взвешивая предстоящее удовольствие, она перевернула листики письма, лицо ее переменилось; она, видимо, успокоилась, села в свое любимое кресло в углу комнаты, подле огромного трюмо, и начала читать. Письмо было от ближайшего с детства друга княжны; друг этот была та самая Жюли Ахросимова, которая была на

именинах у Ростовых. Марья Дмитриевна Ахросимова была соседка по имению с князем и два летних месяца проводила в деревне. Князь уважал Марью Дмитриевну, хотя и подтрунивал над нею. Марья Дмитриевна одному только князю Николаю говорила «вы» и ставила его в пример всем нынешним людям.

Жюли писала:

*«Милый и бесценный друг, какая страшная и ужасная вещь разлука! Сколько ни твержу себе, что половина моего существования и моего счастья в вас, что, несмотря на расстояние, которое нас разлучает, сердца наши соединены неразрывными узами, мое сердце возмущается против судьбы, и, несмотря на удовольствия и рассеяния, которые меня окружают, я не могу подавить некоторую скрытую грусть, которую испытываю в глубине сердца со времени нашей разлуки. Отчего мы не вместе, как в прошлое лето, в нашем большом кабинете, на голубом диване, на диване „признаний“? Отчего я не могу, как три месяца тому назад, почерпнуть новые нравственные силы в вашем взгляде, крот-*

*ком, спокойном и пронизательном, который я так любила и который вижу перед собой в ту минуту, как пишу вам?»*

Прочтя до этого места, княжна Марья вздохнула и оглянулась в трюмо, которое стояло направо от нее. Зеркало отразило некрасивое, слабое тело и худое лицо. Глаза, всегда грустные, теперь особенно безнадежно смотрели на себя в зеркало. «Она мне льстит», — подумала княжна, отвернулась и продолжала читать. Жюли, однако, не льстила своему другу: действительно, глаза княжны, большие, глубокие и лучистые (как будто лучи теплого света иногда снопами выходили из них), были так хороши, что очень часто, несмотря на некрасивость всего лица, глаза эти делались привлекательнее красоты. Но княжна никогда не видала хорошего выражения своих глаз, того выражения, которое они принимали в те минуты, когда она не думала о себе. Как и у всех людей, лицо ее принимало натянуто-неестественное, дурное выражение, как скоро она смотрелась в зеркало. Она продолжала читать:

«Вся Москва только и говорит о войне. Один из моих двух братьев уже за границей, другой с гвардией, которая выступает в поход к границе. Наш милый государь оставляет Петербург и, как предполагают, намерен сам подвергнуть свое драгоценное существование случайностям войны. Дай Бог, чтобы корсиканское чудовище, которое возмущает спокойствие Европы, было низвергнуто ангелом, которого Всемогущий в своей благости поставил над нами повелителем. Не говоря уже о моих братьях, эта война лишила меня одного из отношений, самых близких моему сердцу. Я говорю о молодом Николае Ростове, который при своем энтузиазме не мог переносить бездействия и оставил университет, чтобы поступить в армию. Признаюсь вам, милая Мария, что, несмотря на его чрезвычайную молодость, отъезд его в армию был для меня большим горем. В молодом человеке, о котором я вам говорила прошлым летом, столько благородства, истинной молодости, которую встречаешь так редко в наш век между двадцатилетними стари-

ками. У него особенно так много откровенности и сердца. Он так чист и полон поэзии, что мои отношения к нему, при всей мимолетности своей, были одною из самых сладостных отрад моего бедного сердца, которое уже так много страдало. Я вам расскажу когда-нибудь наше прощанье и все, что говорилось при прощании. Все это еще слишком свежо... Ах! милый друг, вы счастливы, что не знаете этих жгучих наслаждений, этих жгучих горестей. Вы счастливы, потому что последние обыкновенно сильнее первых. Я очень хорошо знаю, что граф Николай слишком молод для того, чтобы сделаться для меня чем-нибудь, кроме как другом. Но эта сладкая дружба, эти столь поэтические и столь чистые отношения были потребностью моего сердца. Но довольно об этом. Главная новость, занимающая всю Москву, — смерть старого графа Безухова и его наследство. Представьте себе, три княжны получили какую-то малость, князь Василий ничего, а Пьер — наследник всего и сверх того признан законным сыном и потому

графом Безуховым и владельцем самого огромного состояния в России. Говорят, что князь Василий играл очень гадкую роль во всей этой истории и что он уехал в Петербург очень сконфуженный. Признаюсь вам, что я очень плохо понимаю все эти дела по духовным завещаниям; знаю только, что с тех пор, как молодой человек, которого мы все знали под именем просто Пьера, сделался графом Безуховым и владельцем одного из лучших состояний России, — я забавляюсь наблюдениями над переменой тона маменек, у которых есть дочери-невесты, и самих барышень в отношении к этому господину, который, в скобках будь сказано, всегда казался мне очень ничтожным. Только одна маменька продолжает трактовать его с своею обычною резкостью. Так как уже два года все забавляются тем, чтобы приискивать мне женихов, которых я большею частью не знаю, то брачная хроника Москвы делает меня графиней Безуховой. Но вы понимаете, что я нисколько этого не желаю. Кстати о браках. Знаете ли вы, что недавно все-

общая тетушка Анна Михайловна доверила мне под величайшим секретом замысел устроить ваше супружество. Это ни более ни менее как сын князя Василия, Анатоль, которого хотят пристроить, женив его на богатой и знатной девице, и на вас пал выбор родителей. Я не знаю, как вы посмотрите на это дело, но я сочла своим долгом предуведомить вас. Он, говорят, очень хорош и большой повеса. Вот все, что я могла узнать о нем.

Но будет болтать. Кончаю мой второй листок, а маменька прислала за мной, чтобы ехать обедать к Апраксиным.

Прочитайте мистическую книгу, которую я вам посылаю; она имеет у нас огромный успех. Хотя в ней есть вещи, которые трудно понять слабому уму человеческому, но это превосходная книга; чтение ее успокаивает и возвышает душу. Прощайте. Мое почтение вашему батюшке и мои приветствия мадемуазель Бурьен. Обнимаю вас от всего сердца.

Жюли.

P.S. Известите меня о вашем брате и о

его прелестной жене».

Княжна подумала, задумчиво улыбаясь, причем лицо ее, освещенное лучистыми глазами, совершенно преобразилось, и вдруг поднявшись, тяжело ступая, перешла к столу. Она достала бумагу, и рука ее быстро начала ходить по ней. Так писала она в ответ:

*«Милый и бесценный друг. Ваше письмо от 13-го доставило мне большую радость. Вы все еще меня любите, моя поэтическая Жюли. Разлука, о которой вы говорите так много дурного, видно, не имела на вас своего обычного влияния. Вы жалуетесь на разлуку, что же я должна была бы сказать, если бы смела, — я, лишенная всех тех, кто мне дорог? Ах, ежели бы не было у нас религии для утешения, жизнь была бы очень печальна. Почему приписываете вы мне строгий взгляд, когда говорите о вашей склонности к молодому человеку? В этом отношении я строга только к себе. Я знаю себя достаточно и очень хорошо понимаю, что, не сделавшись смешною, я не могу испытывать тех чувств любви, которые вам кажутся так сладки. Я понимаю эти*



чувства у других и, если не могу одобрять их, никогда не испытываю, то и не осуждаю их. Мне кажется только, что христианская любовь, любовь к ближнему, любовь к врагам, — достойнее, слаще и лучше, чем те чувства, которые могут внушить прекрасные глаза молодого человека молодой девушке, поэтической и любящей, как вы.

Известие о смерти графа Безухова дошло до нас прежде вашего письма, и мой отец был очень тронут им. Он говорит, что это был предпоследний представитель великого века, что теперь черед за ним, но что он сделает все, зависящее от него, чтобы черед этот пришел как можно позже. Избави нас Боже от этого несчастья.

Я не могу разделять вашего мнения о Пьере, которого знала еще ребенком. Мне казалось, что у него было всегда прекрасное сердце, а это то качество, которое я более всего ценю в людях. Что касается до его наследства и до роли, которую играл в этом князь Василий, то это очень печально для обоих. Ах, милый друг, слова нашего Боже-

ственного Спасителя, что легче верблюду пройти в игольное ушко, чем богатому войти в Царствие Божие, — эти слова страшно справедливы. Я жалею князя Василия и еще более Пьера. Такому молодому быть отягощенным таким огромным состоянием, — через сколько искушений надо будет пройти ему! Если бы у меня спросили, чего я желаю более всего на свете, — я желаю быть беднее самого бедного из нищих.

Благодарю вас тысячу раз, милый друг, за книгу, которую вы мне посылаете и которая делает столько шума у вас. Впрочем, так как вы мне говорите, что в ней между многими хорошими вещами есть такие, которых не может постигнуть слабый ум человеческий, то мне кажется излишним заниматься непонятным чтением, которое по этому самому не могло бы принести никакой пользы. Я никогда не могла понять страсть, которую имеют некоторые особы, путать себе мысли, пристращаясь к мистическим книгам, которые возбуждают только сомнения в их умах, раздражают их

воображение и дают им характер преувеличения, совершенно противный простоте христианской. Будем читать лучше Апостолов и Евангелие. Не будем пытаться проникнуть то, что в этих книгах есть таинственного, ибо, как можем мы, жалкие грешники, познать страшные и священные тайны Провидения, до тех пор, пока носим на себе ту плотскую оболочку, которая воздвигает между нами и Вечным непроницаемую завесу? Ограничимся лучше изучением великих правил, которые наш Божественный Спаситель оставил нам для нашего руководства здесь, на земле, будем стараться следовать им и постараемся убедиться в том, что, чем меньше мы будем давать разгула нашему уму, тем мы будем приятнее Богу, который отвергает всякое знание, исходящее не от Него, и что, чем меньше мы углубляемся в то, что Ему угодно было скрыть от нас, тем скорее Он даст нам это открытие своим божественным разумом.

Отец мне ничего не говорил о женихе, но сказал только, что получил письмо

и ждет посещения князя Василия; что касается до плана супружества относительно меня, я вам скажу, милый и бесценный друг, что брак, по-моему, есть божественное установление, которому нужно подчиняться. Как бы то ни было тяжело для меня, но если Всемогущему угодно будет наложить на меня обязанности супруги и матери, я буду стараться исполнять их так верно, как могу, не заботясь об изучении своих чувств в отношении того, кого Он мне даст супругом.

Я получила письмо от брата, который мне объявляет о своем приезде с женой в Лысье Горы. Радость эта будет непродолжительна, так как он оставляет нас для того, чтобы принять участие в этой войне, в которую мы втянуты бог знает как и зачем. Не только у вас, в центре дел и света, но и здесь, среди этих полевых работ и этой тишины, какую горожане обыкновенно представляют себе в деревне, отголоски войны слышны и дают себя тяжело чувствовать. Отец мой только и говорит что о походах и переходах, в чем я ничего не понимаю, и тре-

тьего дня, делая мою обычную прогулку по улице деревни, я видела раздирающую душу сцену. Это была партия рекрут, набранных у нас и посылаемых в армию. Надо было видеть состояние, в котором находились матери, жены и дети тех, которые уходили, и слышать рыдания тех и других. Подумаешь, что человечество забыло законы своего Божественного Спасителя, учившего нас любви и прощению, и что оно полагает главное достоинство свое в искусстве убивать друг друга. Прощайте, милый и добрый друг. Да сохранит вас наш Божественный Спаситель и Его Пресвятая Матерь под своим святым и могущественным покровом.  
Мария».

— А, вы отправляете письмо, княжна, а я уже отправила свое. Я писала моей бедной матери, — заговорила быстро-приятным голоском вечно улыбающаяся мадемуазель Бурьен, картавя на р и внося с собой в сосредоточенную, грустную и пасмурную атмосферу княжны Марьи совсем другой, легкомысленно-веселый и самодовольный мир. — Надо

предупредить вас, княжна, — прибавила она, понижая голос, — что князь разбранился с Михаилом Ивановичем, — сказала она, особенно грассируя и с удовольствием слушая себя, — он очень не в духе, такой угрюмый. Предупреждаю вас, знаете...

— Ах нет же, — отвечала княжна Марья. — Я просила вас никогда не говорить мне, в каком расположении духа батюшка. Я не позволяю себе судить его и не желала бы, чтобы и другие судили.

Княжна взглянула на часы и, заметив, что она уже пять минут пропустила то время, которое должна была употреблять для игры на клавикордах, с испуганным видом пошла в диванную. Между

12 и 2 часами, сообразно с заведенным порядком дня, князь отдыхал, а княжна играла на клавикордах.

## XXXIV

Седой камердинер сидел, дремля, и прислушивался к храпению князя в огромном кабинете. Из дальней стороны дома, из-за затворенных дверей, слышались по двадцати раз повторяемые трудные пассажи Дюссековой сонаты.

В это время подъехала к крыльцу карета и бричка, и из кареты вышел князь Андрей, который учтиво, но холодно, как и всегда, высадил свою маленькую жену и пропустил ее вперед. Седой Тихон, в парике, высунувшись из двери официантской, шепотом доложил, что князь почивают, и торопливо затворил дверь. Тихон знал, что ни приезд сына и никакие необыкновенные события не должны были нарушать порядка дня. Князь Андрей, видимо, знал это так же хорошо, как и Тихон; он посмотрел на часы, как будто для того, чтобы поверить, не изменились ли привычки отца за то время, в которое он не видал его, и, убедившись, что они не изменились, обратился к жене:

— Через двадцать минут он встанет. Прой-

дем к княжне Марье, — сказал он.

Маленькая княгиня изменилась за это время. Возвышение ее талии сделалось значительно больше, она больше перегибалась назад и чрезвычайно потолстела, но глаза и короткая губка с усиками и улыбкой поднималась так же весело и мило, когда она заговорила.

— Да это дворец! — сказала она мужу, оглядываясь кругом с тем выражением, с каким говорят похвалы хозяину бала.

— Пойдемте скорее, скорее.

Она, оглядываясь, улыбалась и Тихону, и мужу, и официанту, провожавшему их.

— Это Мари играет? Тише, застанем ее врасплох.

Князь Андрей шел за ней с учтивым и грустным выражением.

— Ты постарел, Тихон, — сказал он, проходя, старику, целовавшему его руку, и обтер ее батистовым платком.

Перед комнатой, в которой слышны были клавикорды, из боковой двери выскочила хорошенькая белокурая француженка. Мадемуазель Бурьен казалась обезумевшею от вос-



торга.

— Ах, какая радость для княжны, — заговорила она. — Наконец! Надо ее предупредить.

— Нет, нет, пожалуйста... Вы мадемуазель Бурьен; я уже знакома с вами по той дружбе, какую имеет к вам моя невестка, — говорила княгиня, целуясь с француженкой. — Она не ожидает нас.

Они подошли к двери диванной, из которой слышался опять и опять повторяемый пассаж. Князь Андрей остановился и поморщился, как будто ожидая чего-то неприятного.

Княгиня вошла. Пассаж оборвался на середине; послышался крик, тяжелые ступни княжны Марьи и звуки поцелуев и мычания. Когда князь Андрей вошел, княжна и княгиня, только раз на короткое время видевшиеся во время свадьбы князя Андрея, обхватившись крепко руками, крепко прижимались губами к тем местам, на которые попали в первую минуту. Мадемуазель Бурьен стояла около них, прижав руки к сердцу и набожно улыбаясь, очевидно, столько же готовая заплакать, сколько и засмеяться. Князь Андрей

пожал плечами и поморщился, как морщатся любители музыки, услышав фальшивую ноту. Обе женщины отпустили друг друга; потом опять, как будто боясь опоздать, схватили друг друга за руки, стали целовать и отрывать руки и потом опять стали целовать друг друга в лицо, и совершенно неожиданно для князя Андрея обе заплакали и опять стали целоваться. Мадемуазель Бурьен тоже заплакала. Князю Андрею было очевидно неловко и совестно, но для двух женщин казалось так естественно, что они плакали; казалось, они и не предполагали, чтобы могло иначе совершиться это свидание.

— Ах, милая!.. Ах, Мари, — вдруг заговорили обе женщины и засмеялись. — А я видела во сне... — Так вы нас не ожидали?... Ах, Мари, вы так похудели... — А вы так пополнели...

— Я тотчас узнала княгиню, — вставила мадемуазель Бурьен.

— А я и не подозревала, — восклицала княжна Марья. — Ах, Андрей, я и не видала тебя.

Князь Андрей поцеловался с сестрою рука

в руку и сказал ей, что она такая же плакса, как всегда была. Княжна Марья повернулась к брату, и сквозь слезы любовный, теплый и кроткий взгляд ее прекрасных в ту минуту, больших лучистых глаз остановился на лице князя Андрея, так что, всегда дурная, сестра его показалась ему хороша в эту минуту. Но она в ту же минуту обратилась опять к золовке и молча стала пожимать ее руку.

Княгиня говорила без умолку. Короткая верхняя губка с усиками то и дело на мгновение слетала вниз, притрагивалась, где нужно было, к румяной нижней губке, и вновь открывалась блестящая зубами и глазами улыбка. Княгиня рассказывала случай, который был с ними на Мценской горе, грозивший опасностью в ее положении, и сейчас же после этого сообщила, что она все платья свои оставила в Петербурге и здесь будет ходить бог знает в чем, и что Андрей совсем переменялся, и что Китти Одынцова вышла замуж за старика, и что есть жених для княжны Марьи вполне серьезный, но что об этом поговорим после. Княжна Марья все еще молча смотрела на жену брата, и в прекрасных гла-

зах ее была и любовь и грусть, как будто она жалела эту молодую женщину и не могла ей высказать причину своего сожаления. Видно было, что в ней установился теперь свой ход мысли, независимый от речей невестки. Она, в середине ее рассказа о последнем празднике в Петербурге, обратилась к брату:

— И ты решительно едешь на войну, Андрей? — сказала она, вздохнув.

Лиза вздохнула тоже.

— Даже завтра, — отвечал брат.

— Он покидает меня здесь, и бог знает зачем, тогда как он мог бы получить повышение...

Княжна Марья не дослушала и, продолжая нить своих мыслей, обратилась к невестке, ласковыми глазами указывая на ее живот:

— И скоро? — сказала она.

Лицо княгини изменилось. Она вздохнула.

— Два месяца, — сказала она.

— И ты не боишься? — спросила княжна Марья, опять целуя ее. Князь Андрей поморщился при этом вопросе. Губка Лизы опустилась. Она приблизила свое лицо к лицу золовки и опять неожиданно заплакала.

— Ей надо отдохнуть, — сказал князь Андрей. — Не правда ли, Лиза? Сведи ее к себе, а я пойду к батюшке. Что он, все то же?

— То же, то же самое, не знаю, как на твои глаза, — отвечала радостно княжна.

— И те же часы, и по аллеям прогулки? Станок? — спрашивал князь Андрей с чуть заметною улыбкой, показывавшею, что, несмотря на всю свою любовь и уважение к отцу, он понимал его слабости.

— Те же часы, и станок, еще математика и мои уроки геометрии, — радостно отвечала княжна Марья, как будто ее уроки из геометрии были одним из самых радостных воспоминаний ее жизни.

Когда прошли те двадцать минут, которые нужны были для срока вставанья старого князя, Тихон пришел звать молодого князя к отцу. Старик сделал исключение в своем образе жизни в честь приезда сына; он велел впустить его в свою половину во время одеванья перед обедом. Князь ходил по-старинному, в кафтане и пудре. И в то время как князь Андрей, — не с тем брюзгливым выражением лица и манерами, которые он напускал на себя в гостиных, а с тем оживленным лицом, которое у него было, когда он разговаривал с Пьером, входил к отцу, — старик сидел в уборной, на широком, сафьяном обитом кресле, в пудроманте, предоставляя свою голову рукам Тихона.

— А! Воин! Бонапарта завоевать хочешь?

Так встретил старик сына. Он потрянул напудренной головой, сколько позволяла это заплетаемая коса, находившаяся в руках Тихона.

— Примись хоть ты за него хорошенько, а то он эдак скоро и нас своими подданными

запишет... Здорово, — и он выставил свою щеку.

Старик находился в хорошем расположении духа после дообеденного сна. (Он говорил, что после обеда серебряный сон, а до обеда золотой.) Он радостно, из-под своих густых нависших бровей, косился на сына. Князь Андрей подошел и поцеловал отца в указанное им место. Он не отвечал на любимую тему разговора отца — подтруниванье над теперешними военными людьми, а особенно над Бонапартом.

— Да, приехал к вам, батюшка, и с беременною женой, — сказал князь Андрей, следя оживленными и почтительными глазами за движением каждой черты отцовского лица. — Как здоровье ваше?

— Нездоровы, брат, бывают только дураки да развратники, а ты меня знаешь, с утра до вечера занят, воздержан, ну и здоров.

— Слава Богу, — сказал сын, улыбаясь.

— Бог тут ни при чем. Ну, рассказывай, — продолжал он, возвращаясь к своему любимому коньку, — как вас немцы с Бонапартом сражаются по вашей новой науке, стратегией

называемой, научили.

Князь Андрей улыбнулся.

— Дайте опомниться, батюшка, — сказал он с улыбкою, показывавшею, что слабости отца не мешают ему уважать и любить его. — Ведь я еще и не разместился.

— Врешь, врешь, — закричал старик, встряхивая косичкою, чтобы попробовать, крепко ли она была заплетена, и хватая сына за руку. — Дом для твоей жены готов. Княжна Марья сведет ее и покажет, и с три короба наболтает. Это их бабье дело. Я ей рад. Сиди, рассказывай. Михельсона армию я понимаю. Толстого тоже... высадка единовременная... Южная армия что будет делать? Пруссия, нейтралитет... это я знаю. Австрия что? — так он говорил, встав с кресла и ходя по комнате с бегавшим и подававшим части одежды Тихоном. — Швеция что? Как Померанию перейдут?

Князь Андрей, видя настоятельность требования отца, сначала неохотно, но потом все более и более оживляясь и невольно посреди рассказа по привычке перейдя с русского на французский язык, начал излагать операци-



онный план предполагаемой кампании. Он рассказал, как девяностотысячная армия должна была угрожать Пруссии, чтобы вывести ее из нейтралитета и втянуть в войну, как часть этих войск должна была в Штральзунде соединиться с шведскими войсками, как две-сти двадцать тысяч австрийцев в соединении со ста тысячами русских должны были действовать в Италии и на Рейне, и как пятьдесят тысяч русских и пятьдесят тысяч англичан высадятся в Неаполе, и как в итоге пятисоттысячная армия должна была с разных сторон сделать нападение на французов. Старый князь не выказал ни малейшего интереса при рассказе, как будто не слушал, и, продолжая на ходу одеваться, три раза неожиданно прервал его. Один раз он остановил его и закричал:

— Белый, белый!

Это значило, что Тихон подавал ему не тот жилет, который он хотел. Другой раз он остановился, спросив:

— И скоро она родит? — И получив ответ, что скоро, с упреком покачал головой и сказал: — Нехорошо! Продолжай, продолжай.

В третий раз, когда князь Андрей оканчивал описание, старик запел фальшивым и старческим голосом: «Мальбрук в поход собрался. Бог знает, вернется когда». Сын только улыбнулся.

— Я не говорю, чтоб это был план, который я одобряю, — сказал сын, — я вам только рассказал, что есть. Наполеон уже составил свой план не хуже этого.

— Ну, новенького ты мне ничего не сказал. — И он задумчиво проговорил про себя скороговоркой: — «Бог знает, вернется когда». Иди в столовую.

Князь Андрей вышел. О своих делах отец с сыном ничего не говорили.

В назначенный час, напудренный, свежий, выбритый, князь вышел в столовую, где ожидали его невестка, княжна Марья, Бурьен и архитектор князя, по странной прихоти его допускаявшийся к столу, хотя по своему положению незначительный человек этот никак не мог рассчитывать на такую честь. Князь, твердо державшийся в жизни различия состояний и редко допускаявший к столу даже важных губернских чиновников, вдруг на ар-

хитекторе Михаиле Ивановиче, сморкавшемся в углу в клетчатый платок, доказывал, что все люди равны, и не раз внушал своей дочери, что Михайла Иванович ничем не хуже нас с тобой. За столом, когда он излагал свои, иногда странные, идеи, он чаще всего обращался к бессловесному Михайле Ивановичу.

В столовой, громадно-высокой, как и все комнаты в доме, ожидали выхода князя домашние и официанты, стоявшие за каждым стулом; дворецкий, с салфеткой на руке, оглядывал сервировку, мигая лакеям, и постоянно перебегал беспокойным взглядом от стенных часов к двери, из которой должен был появиться князь. Князь Андрей глядел на огромную, новую для него, золотую раму с изображением генеалогического дерева князей Болконских, висевшую напротив такой же громадной рамы с дурно сделанным (видимо, рукою домашнего живописца) изображением владетельного князя в короне, который должен был происходить от Рюрика и быть родоначальником рода Болконских. Князь Андрей смотрел на это генеалогическое дерево, покачивая головой, и посмеивался с тем видом,

с каким смотрят на похожий до смешного портрет.

— Как я узнаю его всего тут, — сказал он княжне Марье, подошедшей к нему.

Княжна Марья с удивлением посмотрела на брата. Она не понимала, чему он улыбался. Все, сделанное ее отцом, возбуждало в ней благоговение, которое не подлежало обсуждению.

— У каждого своя Ахиллесова пятка, — продолжал князь Андрей. — С его огромным умом поддаваться этой мелочности...

Княжна Марья не могла понять смелости суждения своего брата и готовилась возражать ему, как слышались из кабинета ожидаемые шаги: князь входил быстро, беспорядочно, весело, как он и всегда ходил, как будто умышленно своими торопливыми манерами представляя противоположность строгому порядку дома. В то же мгновение большие часы пробили два, и тонким голоском отозвались в гостиной другие; князь остановился, из-под висячих густых бровей оживленные, блестящие, строгие глаза оглядели всех и остановились на молодой княгине. Молодая

княгиня испытывала в то время то чувство, какое испытывают придворные на царском выходе, то чувство страха и почтения, которое возбуждал этот старик во всех своих приближенных. Он погладил княгиню по голове и потом потрепал ее по затылку неловким движением, но таким, которому она чувствовала себя обязана подчиниться.

— Я рад, я рад, — проговорил он и, пристально еще взглянув ей в глаза, быстро отошел и сел на свое место.

— Садитесь, садитесь! Михаил Иванович, садитесь.

Он указал невестке место подле себя, официант отодвинул для нее стул. Ей было тесно от беременности.

— Го, го! — сказал старик, оглядывая ее округленную талию. — Поторопилась, нехорошо.

Он засмеялся сухо, холодно, неприятно, как он всегда смеялся, одним ртом, а не глазами.

— Ходить надо, ходить как можно больше, как можно больше, — сказал он.

Маленькая княгиня не слыхала или не хо-

тела слышать его слов. Она молчала и казалась смущенною. Князь спросил ее об отце, и княгиня заговорила и улыбнулась. Он спросил ее об общих знакомых, княгиня еще более оживилась и стала рассказывать, передавая князю поклоны и городские сплетни. Как только разговор касался того, что было, княгине, видимо, становилось легко и ловко.

— Княгиня Апраксина, бедняжка, потеряла своего мужа и выплакала все глаза, — говорила она, все более и более оживляясь.

По мере того как она оживлялась, князь все строже и строже смотрел на нее и вдруг, как будто достаточно изучив ее и составив себе ясное о ней понятие, отвернулся от нее и обратился к Михайлу Ивановичу.

— Ну что, Михайла Иваныч, Бонапарту-то нашему плохо приходится. Как мне князь Андрей (он всегда так называл сына в третьем лице) порассказал, какие на него силы собираются! А мы с вами все его пустым человеком считали.

Михаил Иванович, решительно не знавший, когда это мы с вами говорили такие слова о Бонапарте, но понимавший, что он был нужен для вступления в любимый разговор, удивленно взглянул на молодого князя, сам не зная, что из этого выйдет.

— Он у меня тактик великий! — сказал князь сыну, указывая на архитектора, и разговор зашел опять о войне, о Бонапарте и нынешних генералах и государственных людях. Старый князь, казалось, был убежден не только в том, что все теперешние деятели были мальчишки, не смыслившие и азбуки военного и государственного дела, и что Бонапарт был ничтожный французишка, имевший успех только потому, что уже не было Потемкиных и Суворовых противопоставить ему;

но он был убежден даже, что никаких политических затруднений не было в Европе, не было и войны, а была какая-то кукольная комедия, в которую играли нынешние люди, притворяясь, что делают дело. Князь Андрей весело выдерживал насмешки отца над новыми людьми и с видимою радостью вызывал отца на разговор и слушал его.

— Все кажется хорошим, что было прежде, — сказал он, — а разве тот же Суворов не попался в ловушку, которую ему поставил Моро, и не умел из нее выпутаться?

— Это кто тебе сказал? Кто сказал? — крикнул князь. — Суворов! — И он отбросил тарелку, которую живо подхватил Тихон. — Суворов!.. Два, Фридрих и Суворов... Моро! Моро был бы в плену, коли у Суворова руки свободны были, а у него на руках сидели хофс-кригс-вурст-шнапс-рат. Ему черт не рад. Вот пойдите, эти хофс-кригс-вурст-раты узнаете. Суворов с ними не сладил, так уж где ж Михайле Кутузову сладить? Нет, дружок, — продолжал он, — вам с своими генералами против Бонапарта не обойтись, надо французов взять, чтобы своя своих не познаша, и своя своих поби-



ваша. Немца Палена в Новый Йорк, в Америку, за французом Моро послали, — сказал он, намекая на приглашение, которое в этом году было сделано Моро вступить в русскую службу. — Чудеса!.. Что, Потемкины, Суворовы, Орловы разве немцы были? Нет, брат, либо вы все там с ума сошли, либо я из ума выжил. Дай вам Бог, а мы посмотрим. Бонапарт у них стал полководец великий! Гм!

— Я ничего не говорю, чтобы все распоряжения были хороши, — сказал князь Андрей, — только я не могу понять, как вы можете так судить о Бонапарте. Смейтесь, как хотите, а Бонапарт величайший полководец!

— Михайла Иваныч! — закричал старый князь архитектору, который, занявшись жарким, надеялся, что про него забыли. — Я вам говорил, что Бонапарт великий тактик? Вот и он говорит.

— Как же, ваше сиятельство, — отвечал архитектор.

Князь опять засмеялся своим холодным смехом.

— Бонапарт в рубашке родился. Солдаты у него прекрасные. Это так.

И князь начал разбирать все ошибки, которые, по его понятиям, делал Бонапарт во всех своих войнах и даже в государственных делах. Сын не возражал, но видно было, что какие бы доводы ему ни представляли, он так же мало способен был изменить свое мнение, как и старый князь. Князь Андрей слушал, удерживаясь от возражений и невольно удивляясь, как мог этот старый человек, сидя столько лет один безвыездно в деревне, в таких подробностях и с такою тонкостью знать и обсудить все военные и политические обстоятельства Европы последних годов.

— Ты думаешь, я, старик, не понимаю настоящего положения дел? — заключил он. — А мне оно вот где. Я ночей не сплю. Ну, где же этот великий полководец твой-то, где он показал себя?

— Это длинно было бы, — отвечал сын.

— Ступай же ты к Бонапарту своему! Мадемуазель Бурьен, вот еще поклонник вашего холопского императора, — закричал он отличным французским языком.

— Вы знаете, князь, что я не бонапартистка.

— «Бог знает, вернется когда...» — пропел князь фальшиво, еще фальшивее засмеялся и вышел из-за стола.

Маленькая княгиня во все время спора и остального обеда молчала и испуганно поглядывала то на княжну Марью, то на свекра. Когда они вышли из-за стола, она взяла за руку золовку и отозвала ее в другую комнату.

— Какой умный человек ваш батюшка, — сказала она. — Может быть, от этого-то я и боюсь его.

— Ах, он так добр! — сказала княжна.

## XXXVII

Князь Андрей уезжал на другой день вечером. Старый князь, не отступая от своего порядка, после обеда ушел к себе. Маленькая княгиня была у золовки. Князь Андрей, одевшись в дорожный сюртук без эполет, в отведенных ему покоях укладывался с своим камердинером. Сам осмотрев коляску и укладку чемоданов, он велел закладывать. В комнате оставались только те вещи, которые князь Андрей всегда брал с собой: шкатулка, большой серебряный погребец, два турецких пи-

столе́та и ша́шка, подаро́к отца, привезе́нная из-под Оча́кова. Все эти доро́жные принадле́жности были в большо́м поряд́ке у кня́зя Андре́я: все было́ ново́, чисто́, в суконных чехлах, старате́льно завязано́ тесемочка́ми.

В мину́ты отъез́да и пере́мены жи́зни на люде́й, спосо́бных обду́мывать свои́ поступи́ки, обы́кновенно́ находит́ серье́зное настро́ение мы́слей. В эти́ мину́ты обы́кновенно́ поверя́ется проше́дшее и дела́ются пла́ны буду́щего. Ли́цо кня́зя Андре́я было́ очень́ задумчи́во и нежно́. Он, заложив́ ру́ки назад и поворачива́ясь с несвое́йственны́м ему́ искренни́м жестом, бы́стро ходил по ко́мнате из угла́ в уго́л; глядя́ вперед се́бя, он задумчи́во пока́чивал голо́вой. Стра́шно ли ему́ было́ и́дти на войну́, гру́стно ли бро́сить же́ну, — мо́жет быть, и то́ и друго́е. То́лько, видимо́, не жела́я, что́б его́ видели́ в тако́м поло́жении, он остано́вился, ко́гда услы́шал ша́ги в сеньях, торо́пливо вы́свободил ру́ки, остано́вился у сто́ла, как будто́ увязыва́я чехол шкату́лки, и приня́л свое́ всегда́шнее спо́койное и непроница́емое выра́жение. Это́ были́ тяжеле́е ша́ги кня́жны Ма́рьи.

— Мне сказали, что ты велел закладывать, — сказала она, запыхавшись (она, видно, бежала), — а мне так хотелось еще поговорить с тобой наедине. Бог знает, на сколько времени опять расстаемся. Ты не сердись, что я пришла? Ты очень переменился, Андрюша, — прибавила она, как бы в объяснение такого вопроса.

Она улыбнулась, произнося слово «Андрюша». Видно, ей самой было странно подумать, что этот строгий, красивый мужчина был тот самый Андрюша, курчавый, шаловливый мальчик, товарищ детства.

— А где Лиза? — спросил он.

— Она так устала, что заснула у меня в комнате на софе. Андрей! Какое сокровище твоя жена, — сказала она, усаживаясь на диване против брата. — Она совершенный ребенок, такой милый, веселый ребенок. Я так ее любила.

Князь Андрей молчал, но княжна заметила ироническое и презрительное выражение, появившееся на его лице.

— Но надо быть снисходительным к маленьким слабостям; у кого их нет, Андрей! Ты

не забудь, что она воспитана и выросла в большом свете. А потом ее положение теперь не розовое. Надобно входить в положение каждого. Все понять — все простить. Ты подумай, каково ей, бедняжке, после жизни, к которой она привыкла, расстаться с мужем и остаться одной в деревне и в ее положении? Это очень тяжело.

Князь Андрей улыбался, глядя на сестру, как мы улыбаемся, слушая людей, которых, нам кажется, что мы насквозь видим.

— Ты живешь в деревне и не находишь эту жизнь ужасною, — сказал он.

— Я другое дело. Что обо мне говорить? Я не желаю другой жизни, да и не могу желать, потому что не знаю никакой другой жизни. А ты подумай, Андрей, для молодой и светской женщины похорониться в лучшие годы жизни в деревне, одной, потому что папенька всегда занят, а я... ты меня знаешь... как я бедна интересами для женщины, привыкшей к лучшему обществу. Мадемуазель Бурьен одна...

— Она мне очень не нравится, ваша Бурьен, — сказал князь Андрей.

— О нет, она очень милая и добрая и, главное, жалкая девушка. У нее никого, никого нет. По правде сказать, мне она не только не нужна, но стеснительна. Я, ты знаешь, и всегда была дикарка, а теперь еще больше. Я люблю быть одна... Отец ее очень любит. Она и Михаил Иваныч, два лица, к которым он всегда ласков и добр, потому что они оба благодетельствованы им; как говорит Стерн: «Мы не столько любим людей за то добро, которое они нам сделали, сколько за то добро, которое мы им сделали». Отец взял ее сиротой на мостовой, и она очень добрая. И отец любит ее манеру чтения. Она по вечерам читает ему вслух. Она прекрасно читает.

— Ну, а по правде, Марья, тебе, я думаю, тяжело иногда бывает от характера отца? — вдруг спросил князь Андрей.

Княжна Марья сначала удивилась, потом испугалась этого вопроса.

— Мне?... Мне?... Чего мне желать? — сказала она, видимо, от всей души.

— Он и всегда был крут, а теперь тяжел становится, я думаю, — сказал князь Андрей, видимо, нарочно, чтобы озадачить или испы-

тать сестру, так легко отзываясь об отце.

— Ты всем хорош, Андрей, но у тебя есть какая-то гордость мысли, — сказала княжна, как всегда больше следуя за своим ходом мыслей, чем за ходом разговора, — и это большой грех. Разве можно судить об отце? Да ежели бы и возможно было, какое другое чувство, кроме глубокого уважения, может возбудить такой человек, как наш отец? И я так довольна и счастлива с ним. Я только желала бы, чтобы вы все были счастливы, как я.

Брат недоверчиво покачал головой.

— Одно, что тяжело для меня, — я тебе по правде скажу, Андрей, — это образ мыслей отца в религиозном отношении. Я не понимаю, как человек с таким огромным умом не может видеть того, что ясно как день, и может так заблуждаться? Вот это составляет одно мое несчастье. Но и тут в последнее время я вижу тень улучшения. В последнее время его насмешки не так язвительны, и есть один монах, которого он принимал и долго говорил с ним.

— Ну, я боюсь, что вы с монахом даром растрачиваете свой порошок, Маша, — насмешливо,



но ласково сказал князь Андрей.

— Ах, мой друг! Я только молюсь Богу и надеюсь, что он услышит меня. Андрей! — сказала она робко после минуты молчания. -

У меня к тебе есть большая просьба.

— Что, милая?

— Нет, обещай мне, что ты не откажешь. Это тебе не будет стоить никакого труда, и ничего недостойного тебя в этом не будет. Только ты меня утетишь. Обещай, Андрюша, — сказала она, всунув руку в ридикюль и в нем держа что-то, но еще не показывая, как будто то, что она держала, и составляло предмет просьбы, и что прежде получения обещания в исполнении просьбы она не могла вынуть из ридикюля это что-то. Она робко, умоляющим взглядом смотрела на брата.

— Ежели бы это и стоило мне большого труда... — как будто догадываясь, в чем было дело, отвечал князь Андрей.

— Ты что хочешь думай. Я знаю, ты такой же, как и отец. Что хочешь думай, но для меня это сделай. Сделай, пожалуйста! Его еще отец моего отца, наш дедушка, носил во всех войнах. — Она все еще не доставала того, что

держала, из ридикюля. — Так ты обещаешь мне?

— Конечно, в чем дело?

— Андрей, я тебя благословлю образом, и ты обещаешь мне, что никогда его не будешь снимать. Обещаешь?

— Ежели он не в два пуда и шеи не оттянет. Чтобы тебе сделать удовольствие, — сказал князь Андрей, но в ту же секунду, заметив огорченное выражение, которое приняло лицо сестры при этой шутке, он раскаялся. — Очень рад, право, очень рад, мой друг, — прибавил он.

— Против твоей воли Он спасет и помирует тебя и обратит тебя к себе, потому что в Нем одном и истина и успокоение, — сказала она дрожащим от волнения голосом, с торжественным жестом держа в обеих руках перед братом овальный старинный образок Спасителя с черным ликом, в серебряной ризе, на серебряной цепочке мелкой работы. Она перекрестилась, поцеловала образок и подала его Андрею.

— Пожалуйста, для меня...

Из больших глаз ее светились лучи добро-

го и робкого света. Глаза эти освещали все болезненное, худое лицо и делали его прекрасным. Брат хотел взять образок, но она остановила его. Андрей понял, перекрестился и поцеловал образок. Лицо его в одно и то же время было нежно (он был тронут), любовно, ласково и насмешливо.

— Спасибо, мой друг, — она поцеловала его в чистый коричневатый лоб и опять села на диван.

Они помолчали.

— Так я тебе говорила, Андрей, будь добр и великодушен, каким ты всегда был. Не суди строго Лизу, — начала она. — Она так мила, так добра, и положение ее очень тяжело теперь.

— Кажется, я ничего не говорил тебе, Маша, чтоб я упрекал в чем-нибудь свою жену или был недоволен ею. К чему ты все это говоришь мне?

Княжна Марья покраснела пятнами и замолчала, как будто она чувствовала себя виноватою.

— Я ничего не говорил тебе, а тебе уж говорили. И мне это грустно.

Красные пятна еще сильнее выступили на лбу, шее и щеках княжны Марьи. Она хотела сказать что-то и не могла выговорить. Брат угадал. Маленькая княгиня после обеда плакала, говорила, что предчувствует несчастные роды, боится их, и жаловалась на свою судьбу, на свекра и на мужа. После слез она заснула. Князю Андрею жалко стало сестру.

— Знай одно, Маша, я ни в чем не могу упрекнуть, не упрекал и никогда не упрекну мою жену, и сам ни в чем себя не могу упрекнуть в отношении к ней, и это всегда так будет, в каких бы я ни был обстоятельствах. Но ежели ты хочешь знать правду... хочешь знать, счастлив ли я? Нет. Счастлива ли она? Нет. Отчего это? Не знаю...

Говоря это, он встал, подошел к сестре, и нагнувшись, поцеловал ее в лоб. Прекрасные глаза его светились умным и добрым непривычным блеском, но он смотрел не на сестру, а в темноту отворенной двери, через ее голову.

— Пойдем к ней, надо проститься. Или иди одна, разбуди ее, а я сейчас приду. Петрушка! — крикнул он камердинеру. — Поди сюда,

убирай. Это в сиденье, это на правую сторону.

Княжна Марья встала и направилась к двери. Она остановилась.

— Если бы ты имел веру, то обратился бы к Богу с молитвою, чтобы он даровал тебе любовь, которую ты не чувствуешь, и молитва твоя была бы услышана.

— Да, разве это? — сказал князь Андрей. — Иди, Маша, я сейчас приду.

По дороге к комнате сестры, в галерее, соединявшей один дом с другим, князь Андрей встретил мило улыбающуюся мадемуазель Бурьен, в третий раз в этот день с восторженной и наивною улыбкой попадавшуюся ему в уединенных переходах.

— Ах, я думала, вы у себя, — сказала она, почему-то краснея и опуская глазки. Князь Андрей строго посмотрел на нее. — А я люблю эту галерею, здесь так таинственно.

На лице князя Андрея вдруг выразилось озлобление, как будто она и ей подобные были виною какого-нибудь несчастья в его жизни. Он ничего не сказал ей, но посмотрел на ее лоб и волосы, не глядя в глаза, так презрительно, что француженка покраснела и ушла,

ничего не сказав.

Когда он подошел к комнате сестры, княгиня уже проснулась, и ее веселый голосок, торопивший одно слово за другим, послышался из отворенной двери. Она говорила, как будто после долгого воздержания ей хотелось вознаградить потерянное время.

— Нет, представьте себе, старая графиня Зубова с фальшивыми локонами, с фальшивыми зубами, как будто издеваясь над годами... Ха-ха-ха.

Точно ту же фразу о графине Зубовой и тот же смех уже раз пять слышал при посторонних князь Андрей от своей жены. Он тихо вошел в комнату. Княгиня, толстененькая, румяная, с работой в руках, сидела на кресле и без умолку говорила, перебирая петербургские воспоминания и даже фразы. Князь Андрей подошел, погладил ее по голове и спросил, отдохнула ли она от дороги. Она ответила и продолжала тот же разговор.

Коляска шестериком стояла у подъезда. На дворе была теплая осенняя ночь. Кучер не видал дышла коляски. На крыльце суетились люди с фонарями. Красивый огромный дом

горел огнями сквозь свои большие окна. В передней толпились дворовые, желавшие проститься с молодым князем; в зале стояли все домашние: Михаил Иванович, мадемуазель Бурьен, княжна Марья и княгиня. Князь Андрей был позван в кабинет к отцу, который с глазу на глаз хотел проститься с ним. Все ждали их выхода.

Когда князь Андрей вошел в кабинет, старый князь в стариковских очках и в своем белом халате, в котором он никого не принимал, кроме сына, сидел за столом и писал. Он оглянулся.

— Едешь? — и опять стал писать.

— Пришел проститься.

— Целуй сюда, — показал щеку, — спасибо, спасибо.

— За что вы меня благодарите?

— За то, что не просрочиваешь, за бабью юбку не держишься. Служба прежде всего. Спасибо, спасибо! — И он продолжал писать, так что брызги летели с трещавшего пера. — Ежели нужно сказать что, говори. Эти два дела могу делать вместе, — прибавил он.

— О жене... Мне и так совестно, что я вам

на руки оставляю беременную...

— Что врешь? Говори, что нужно.

— Когда жене будет время родить, в последних числах ноября, пошлите в Москву за акушером... Чтоб он тут был.

Старый князь остановился и, как бы не понимая, уставился строгими глазами на сына.

— Я знаю, что никто помочь не может, коли натура не поможет, — говорил князь Андрей, видимо смущенный. — Я согласен, что из миллиона случаев один бывает несчастный, но это ее и моя фантазия. Ей наговорили, она во сне видала, и она боится.

— Гм... гм... — проговорил про себя старый князь, продолжая дописывать. — Сделаю. — Он расчеркнул подпись, вдруг быстро повернулся к сыну и засмеялся. — Плохо дело, а?

— Что плохо, батюшка?

— Жена! — коротко и значительно сказал старый князь.

— Я не понимаю, — сказал князь Андрей.

— Да нечего делать, дружок, — сказал князь, — они все такие, не разженишься. Ты не бойся, никому не скажу, а ты сам знаешь.

Он схватил его за руку своею костлявою



маленькою кистью, потряс ее, взглянул прямо в лицо сына своими быстрыми глазами, которые, как казалось, насквозь видели человека, и опять засмеялся своим холодным смехом.

Сын вздохнул, признаваясь этим вздохом в том, что отец понял его. Старик, продолжая складывать и печатать письма, с своею привычною быстротой схватывал и бросал сургуч, печать и бумагу.

— Что делать? Красива! Я все сделаю. Ты будь покоен, — говорил он отрывисто во время печатания.

Андрей молчал; ему приятно было, что отец понял его. Старик встал и подал письмо сыну.

— Слушай, — сказал он, — о жене не заботься: что возможно сделать, будет сделано. Теперь слушай: письмо Михаилу Илларионовичу отдай. Я пишу, чтобы он тебя в хорошие места употреблял и долго адъютантом не держал. Скверная должность. Скажи ты ему, что я его помню и люблю. Да напиши, как он тебя примет. Коли хорош будет, служи. Николая Андреича Болконского сын из милости слу-

жить ни у кого не будет. Ну, теперь поди сю-  
да.

Он говорил такую скороговоркою, что не доканчивал половины слов, но сын привык понимать его. Он подвел сына к бюро, откинул крышку, выдвинул ящик и вынул испи-  
санную его крупным, длинным и сжатым по-  
черком тетрадь.

— Должно быть, мне прежде тебя умереть. Знай, тут мои записки, их государю передать после моей смерти. Теперь здесь вот ломбард-  
ный билет и письмо. Это премия тому, кто на-  
пишет историю суворовских войн. Переслать в академию. Здесь мои ремарки, после меня читай для себя, найдешь пользу.

Андрей не сказал отцу, что верно он про-  
живет еще долго. Он понимал, что этого гово-  
рить не нужно.

— Все исполню, батюшка, — сказал он.

— Ну, теперь прощай. — Он дал поцело-  
вать сыну свою руку и обнял его. — Помни од-  
но, князь Андрей, — коли тебя убьют, мне ста-  
рику больно будет... — Он неожиданно замол-  
чал и вдруг крикливым голосом продол-  
жал: — А коли узнаю, что ты повел себя не

как сын Николая Болконского, мне будет стыдно.

— Этого вы могли бы не говорить мне, батюшка, — улыбаясь, сказал сын.

Старик замолчал.

— Еще я хотел просить вас, — продолжал князь Андрей, — ежели меня убьют и ежели у меня будет сын, не отпускайте его от себя, как я вам вчера говорил, чтоб он вырос у вас, пожалуйста.

— Жене не отдавать? — сказал старик и радостно засмеялся.

Они молча стояли друг против друга. Быстрые глаза старика прямо были устремлены в глаза сына. Что-то дрогнуло в нижней части лица старого князя.

— Простись ступай, — вдруг заговорил он. — Ступай! — закричал он сердитым и громким голосом, отворяя дверь кабинета.

— Что такое, что? — спрашивали княгиня и княжна, увидев князя Андрея и на минуту высунувшуюся фигуру кричавшего сердитым голосом старика в белом халате, без парика и в стариковских очках.

Князь Андрей вздохнул во всю грудь и ни-

чего не отвечал.

— Ну, — сказал он, обратившись к жене, и это «ну» звучало холодной насмешкою, как будто он говорил: теперь проделывайте ваши штуки.

— Андрей, уже? — сказала маленькая княгиня, оледенев и со страхом глядя на мужа. Он обнял ее. Она вскрикнула и без чувств упала на его плечо.

Он осторожно отвел плечо, на котором она лежала, заглянул в ее лицо и бережно посадил ее на кресло.

— Прощай, Мари, — сказал он тихо сестре, поцеловался с нею рука в руку и скорыми шагами вышел из комнаты.

Княгиня лежала в кресле, мадемуазель Бурьен терла ей виски. Княжна Марья, поддерживая невестку, с заплаканными прекрасными глазами, все еще смотрела в дверь, в которую вышел князь Андрей, и крестила его.

Из кабинета слышны были, как выстрелы, часто повторяемые, сердитые звуки стариковского сморкания. Только что князь Андрей вышел, дверь кабинета быстро отворилась, и выглянула строгая фигура старика в белом ха-

лате.

— Уехал? Ну и хорошо, — сказал он, сердито посмотрев на бесчувственную маленькую княгиню, укоризненно покачал головою и захлопнул дверь.

# ЧАСТЬ ВТОРАЯ

## I

В октябре 1805 года русские войска занима-  
ли села и города эрцгерцогства Австрий-  
ского, и еще новые полки приходили из Рос-  
сии и, отягощая постоем жителей, распола-  
гались у крепости Браунау. В Браунау была  
главная квартира Кутузова.

8 октября 1805 года один из только что  
пришедших в Браунау пехотных полков, ожи-  
дая смотра главнокомандующего, стоял в по-  
лумиле от города. Несмотря на нерусскую  
местность и обстановку — фруктовые сады,  
каменные ограды, черепичные крыши, горы,  
видневшиеся вдаль, — на нерусский народ, с  
любопытством смотревший на солдат, полк  
имел точно такой же вид, какой имел всякий  
русский полк, готовившийся к смотру где-ни-  
будь в середине России. Тяжелые солдаты в  
мундирах с высоко поднятыми ранцами и пе-  
рекинутыми через плечо шинелями, и легкие  
офицеры в мундирах с бившими по ногам

шпажками, оглядывая вокруг себя свои знакомые ряды, сзади свои знакомые обозы, спереди еще более знакомые, приглядевшиеся фигуры начальства и еще дальше впереди — коновязи уланского полка и парк батареи, шедшие весь поход вместе с ними, чувствовали себя здесь так же дома, как и в каком бы то ни было уезде России.

С вечера, на последнем переходе, был получен приказ, что главнокомандующий будет смотреть полк на походе. Хотя слова приказа и показались не ясны полковому командиру и возник вопрос, как разуместь слова приказа: в походной форме или нет, — в совете батальонных командиров было решение представить полк в парадной форме на том основании, что всегда лучше перекланяться, чем недокланяться, и солдаты, после тридцативерстного перехода, не смыкали глаз, всю ночь чинились, чистились, адъютанты и ротные рассчитывали, отчисляли, и к утру полк, вместо растянутой грязной толпы, какою он был накануне на последнем переходе, представлял стройную массу 3000 людей, из которых каждый знал свое место, свое дело и из

которых на каждом каждая пуговка и ремешок были на своем месте и блестели чистой. Не только наружное было исправно, но ежели бы угодно было главнокомандующему заглянуть под мундиры, то на каждом он увидел бы одинаково чистую рубашу и в каждом ранце нашел бы узаконенное число вещей, «шилльце и мыльце», как говорят солдаты. Было только одно обстоятельство, насчет которого никто не мог быть спокоен. Это была обувь. Больше чем у половины людей сапоги были разбиты, и, как ни подшивались эти недостатки, они кололи привычные к порядку военные глаза. Но недостаток этот происходил не от вины полкового командира, так как, несмотря на неоднократные требования, ему не был отпущен товар от австрийского ведомства, а полк прошел 3000 верст.

Полковой командир был пожилой, сангвинический, с седеющими бровями и бакенбардами генерал, плотный и широкий больше от груди к спине, чем от одного плеча к другому. На нем был новый, с иголочки, со слежавшимися складками мундир и густые золотые эполеты, которые как будто не книзу направ-



лялись, а поднимали кверху его тучные плечи. Полковой командир имел вид человека, счастливо совершающего одно из самых торжественных дел жизни. Он похаживал перед фронтом и, похаживая, подрагивал на каждом шагу, слегка изгибаясь спиною. Видно было, что полковой командир любит свой полк, счастлив им и что все его силы душевные заняты только полком; но, несмотря на то, его подрагивающая походка как будто говорила, что, кроме военных интересов, в душе его немалое место занимают и интересы общественного быта и женский пол.

— Ну, батюшка, Миколай Митрич, — обратился он с притворною небрежностью к одному батальонному командиру (батальонный командир, улыбаясь, подался вперед. Видно было, что они были счастливы). — Ну, батюшка, Миколай Митрич, досталось на орехи нынче ночью (он подмигнул). Однако, кажется, ничего (он оглянул полк), кажется, полк не из дурных. А? — Он, видимо, иронически говорил это.

Батальонный командир понял веселую иронию и засмеялся.

— И на Царицыном лугу с поля бы не прогнали. Что? — смеясь, сказал полковой командир.

В это время по дороге из города, по которой были расставлены махальные, показались два верховые. Это были адъютант и казак, ехавший сзади. Полковой командир взгляделся в адъютанта и отвернулся, под видом равнодушия скрывая тревогу, которую вызвало в нем это появление. Он оглянулся только тогда, как адъютант был уже в трех шагах от него, и с тем особенным оттенком учтивости и вместе фамильярности, с каким обращаются полковые командиры с молодыми по годам и чину офицерами, состоящими при главнокомандующих, приготовился выслушать адъютанта.

Адъютант был прислан из главного штаба подтвердить полковому командиру то, что было сказано неясно во вчерашнем приказе, а именно то, что главнокомандующий желал видеть полк совершенно в том положении, в котором он шел, в шинелях, в чехлах и безо всяких приготовлений.

К Кутузову накануне прибыл член гоф-

кригсрата из Вены с предложениями и требованиями идти как можно скорее на соединение с армией эрцгерцога Фердинанда и Макка, и Кутузов, не считавший выгодным это соединение, в числе прочих доказательств, в пользу своего мнения, намеревался показать австрийскому генералу то печальное положение, в котором приходили войска из России.

С этой целью он и хотел выехать навстречу полку, так что, чем хуже было бы положение полка, тем приятнее было бы это главнокомандующему. Хотя адъютант и не знал этих подробностей, однако он передал полковому командиру непременно требование главнокомандующего, чтобы люди были в шинелях и чехлах, а что в противном случае главнокомандующий будет недоволен. Выслушав эти слова, полковой командир опустил голову, молча вздернул плечами и сангвиническим жестом развел руки.

— Наделали дела, — проговорил он, не поднимая головы. — Вот я вам говорил же, Миколай Митрич, я говорил, что на походе, так в шинелях, — обратился он с упреком к батальонному командиру. — Ах, мой Бог! — при-

бавил он, но в словах и жесте его не выражалось ни тени досады, а одно усердие к начальству и страх не угодить ему. Он решительно выступил вперед. — Господа ротные командиры! — крикнул он голосом, привычным к команде. — Фельдфебелей!.. Скоро ли пожалуют? — обратился он к приехавшему адъютанту с выражением почтительной учтивости, видимо, относившейся к лицу, про которое он говорил.

— Через час, я думаю.

— Успеем переодеть?

— Не знаю, генерал...

Полковой командир, сам подойдя к рядам, распорядился переодеваньем опять в шинели. Ротные командиры разбежались по ротам, фельдфебели засуетились (шинели были не совсем исправны), и в то же мгновение заколыхались, растянулись и говором загудели прежде правильные молчаливые четырехугольники. Со всех сторон отбегали и подбегали солдаты, подкидывали сзади плечом, через голову перетаскивали ранцы, снимали шинели и, высоко поднимая руки, натягивали их в рукава.

Через полчаса все опять пришло в прежний порядок, только четырехугольники сделались серыми из черных. Полковой командир, опять подрагивающею походкой, вышел вперед полка и издалека оглядел его.

— Это что еще? Это что! — прокричал он, останавливаясь и загнутою внутрь рукой хватаясь за темляк. — Командира третьей роты к генералу! Командира к генералу! Третьей роты к командиру!.. — слышались голоса по рядам, и адъютант побежал отыскивать замешкавшегося офицера. Когда звуки усердных голосов, перевирая, крича уже: «генерал в третью роту», дошли по назначению, требуемый офицер показался из-за роты, и хотя человек уже пожилой и не имевший привычки бегать, неловко цепляясь носками, рысью направился к генералу. Лицо капитана выражало беспокойство школьника, которому велят сказать не выученный им урок. На красном, очевидно, от невоздержания носу выступили пятна, и рот не находил положения. Полковой командир с ног до головы осматривал капитана, в то время как он, запыхавшись, подходил, по мере приближения сдерживая шаг.

— Вы скоро людей в сарафаны нарядите? Это что? — крикнул полковой командир, выдвигая нижнюю челюсть и указывая в рядах третьей роты на солдата в шинели цвета фабричного сукна, отличавшегося от других шинелей. — Сами вы где находились? Когда ожидается главнокомандующий, вы отходите от своего места? А?... Я вас научу, как на смотр людей в казакины одевать!.. А?...

Ротный командир, не спуская глаз с начальника, все больше и больше прижимал свои два пальца к козырьку, как будто в одном этом прижимании он видел теперь свое спасенье. Батальонные командиры и адъютанты стояли несколько сзади и не знали, куда смотреть.

— Ну, что ж вы молчите? Кто у вас там в венгерца наряжен, — строго шутил полковой командир.

— Ваше превосходительство...

— Ну, что «ваше превосходительство»? Ваше превосходительство, ваше превосходительство! А чт\ ваше превосходительство, никому не известно.

— Ваше превосходительство, это Долохов,

разжалованный... — сказал тихо капитан и с таким выражением, как будто для разжалованного могло быть допущено исключение.

— Что, он в фельдмаршалы разжалован, что ли, или в солдаты? А солдат, так должен быть одет, как все, по форме.

— Ваше превосходительство, вы сами разрешили ему походом.

— Разрешил? Разрешил? Вот вы всегда так, молодые люди, — сказал полковой командир, остывая несколько. — Разрешил? Вам что-нибудь скажешь, а вы и... Что? — сказал он, снова раздражаясь. — Извольте одеть людей прилично.

И полковой командир, оглянувшись на адъютанта, своею подрагивающею походкой, выразившею все-таки не безучастие к прежнему полку, направился к полку. Видно было, что его раздражение ему самому понравилось и что он, пройдясь по полку, хотел найти еще предлог своему гневу. Оборвав одного офицера за невычищенный знак, другого за неправильность ряда, он подошел к третьей роте.

— К-а-а-ак стоишь? Где нога? Нога где? —

закричал полковой командир с выражением страдания в голосе, еще человек за пять не доходя до солдата, одетого в синеватую шинель.

Солдат этот, отличавшийся от других свежестью лица и в особенности шеи, медленно выпрямил согнутую ногу и прямо своим светлым и наглым взглядом посмотрел в лицо генерала.

— Зачем синяя шинель? Долой!.. Фельдфебель! Переодеть его... дря... — он не успел договорить.

— Генерал, я обязан исполнять приказания, но не обязан переносить... — горячо и поспешно сказал солдат.

— Во фронте не разговаривать!.. Не разговаривать, не разговаривать!..

— Не обязан переносить оскорбления, — громко, звучно сказал Долохов с выражением неестественной торжественности, которая неприятно поразила всех слышавших. Глаза генерала и солдата встретились. Генерал замолчал, сердито оттягивая книзу тугой шарф.

— Извольте переодеться, прошу вас, — сказал он, отходя.



— Едет! — закричал в это время махаль-  
ный.

Полковой командир, покраснев, подбежал к лошади, дрожащими руками взялся за стремя, перекинул тело, оправился, вынул шпагу и с счастливым решительным лицом, набок раскрыв рот, приготовился крикнуть. Полк встрепенулся, как оправляющаяся птица, и замер.

— Смир-р-р-на! — закричал полковой командир потрясающим душу голосом, радостным для себя, строгим в отношении к полку и приветливым в отношении к подъезжающему начальнику.

По широкой, обсаженной деревьями, большой бесшоссейной дороге, слегка погромыхивая рессорами, шибкою рысью ехала высокая голубая венская коляска цугом, за коляской скакали свита и конвой кроатов. Подле Кутузова сидел австрийский генерал в странном, среди черных русских, белом мундире. Коляска остановилась у полка. Кутузов и австрийский генерал о чем-то тихо говорили, и Куту-

зов слегка улыбнулся, в то время как, тяжело ступая, опускал ногу с подножки. Точно как будто и не было этих трех тысяч людей, которые не дыша смотрели на него и на полкового командира.

Раздался крик команды, опять полк, звеня, дрогнул, сделав на караул. В мертвой тишине раздался слабый голос главнокомандующего. Полк рывкнул: «Здравья желаем, ваше го-го-го-го-ство!» И опять все замерло. Сначала Кутузов стоял на одном месте, пока полк двигался, потом Кутузов рядом с белым генералом пешком, сопровождаемый свитою, стал ходить по рядам.

По тому, как полковой командир салютовал главнокомандующему, впиваясь в него глазами, вытягиваясь и подбираясь, как наклоненный вперед ходил за генералами по рядам, едва удерживая подрагивающее движение, как подскакивал при каждом слове и движении главнокомандующего, — видно было, что он исполнял свои обязанности подчиненного еще с большим наслаждением, чем обязанности начальника. Полк, благодаря строгости и старательности полкового коман-

дира, был в прекрасном состоянии сравнительно с другими, приходившими в то же время в Браунау. Отсталых и больных было только 217 человек. На вопрос начальника штаба о нуждах полка полковой командир, нагибаясь, осмелился шепотом и с глубоким вздохом доложить, что обувь очень, очень пострадала.

— Ну, это одна песня везде, — небрежно сказал начальник штаба, улыбаясь наивности генерала и показывая тем, что то, что казалось особенным несчастьем полковому командиру, было общею и предвиденною долей всех приходивших войск. — Здесь оправитесь, коли простои́те.

Кутузов прошел по рядам, изредка останавливаясь и говоря по несколько ласковых слов офицерам, которых он знал по турецкой войне, а иногда и солдатам. Поглядывая на обувь, он несколько раз грустно покачивал головой и указывал на нее австрийскому генералу с таким выражением, что как бы не упрекал в этом никого, но не мог не видеть, как это плохо. Полковой командир каждый раз при этом забегал вперед, боясь упустить

слово главнокомандующего касательно полка. Сзади Кутузова в таком расстоянии, что всякое слабо произнесенное слово могло быть услышано, шло человек двадцать свиты. Господа в свите, видимо, вовсе не испытывали к Кутузову того нечеловеческого страха и уважения, которое выказывал полковой командир. Они разговаривали между собой и иногда смеялись. Ближе всех за главнокомандующим шел красивый адъютант. Это был князь Болконский. Рядом с ним шел кавалерийский высокий штаб-офицер, чрезвычайно толстый, с добрым, улыбающимся, красивым лицом и влажными глазами. Громадный офицер этот едва удерживался от смеха, возбуждаемого черноватым гусарским офицером, шедшим подле него. Гусарский офицер, не улыбаясь, не изменяя выражения остановившихся глаз, с серьезным лицом смотрел на спину полкового командира и передразнивал каждое его движение. Каждый раз, как полковой командир вздрагивал и нагибался вперед, точно так же, точь-в-точь так же, вздрагивал и нагибался вперед гусарский офицер. Толстый адъютант смеялся и толкал других, чтоб они

смотрели на забавника.

— Ну, смотри же, — говорил толстый офицер, толкая князя Андрея.

Кутузов шел медленно и вяло мимо тысяч глаз, которые выкатывались из своих орбит, следя за начальником. Поравнявшись с 3-й ротой, он вдруг остановился. Свита, не предвидя этой остановки, невольно надвинулась на него.

— А, Тимохин! — сказал главнокомандующий, узнавая капитана с красным носом, пострадавшего за синюю шинель.

Казалось, нельзя было вытягиваться больше того, как вытягивался Тимохин, в то время как полковой командир делал ему замечание. Но он в минуту обращения к нему главнокомандующего вытянулся так, что казалось, посмотри на него главнокомандующий еще несколько времени, капитан не выдержал бы, и потому Кутузов, видимо, поняв его положение и желая, напротив, всякого добра капитану, поспешно отвернулся. По пухлому лицу Кутузова пробежала чуть заметная улыбка.

— Еще измайльский товарищ, — сказал он. — Храбрый офицер. Ты доволен им? —

спросил Кутузов у полкового командира.

И полковой командир, отражаясь, как в зеркале, невидимо для себя, в корнете, вздрогнул, подошел вперед и отвечал:

— Очень доволен, ваше высокопревосходительство.

— У него была слабость, — сказал Кутузов, улыбаясь и отходя от него. — Пил.

Полковой командир испугался, не виноват ли он в этом, и ничего не ответил. Кутузов по-французски стал рассказывать что-то австрийскому генералу. Корнет в эту минуту заметил лицо капитана с красным носом и подтянутым животом и так похоже передразнил его лицо и позу, что толстый офицер не мог удержать смеха. Кутузов обернулся. Видно было, что корнет мог управлять своим лицом, как хотел; в ту минуту, как Кутузов обернулся, корнет успел сделать гримасу, а вслед за тем принять самое серьезное, почтительное и невинное выражение. Но что-то было искачительно неблагородное в его птичьем лице и вертлявой фигуре с высоко поднятыми плечами и длинными худыми ногами. Князь Андрей, поморщившись, отвернулся от него.

Третья рота была последняя, и Кутузов задумался, видимо, припоминая что-то. Князь Андрей выступил из свиты и по-французски тихо сказал:

— Вы приказали мне напомнить о разжалованном Долохове в этом полку.

— Где тут Долохов? — сказал Кутузов.

Долохов, уже переодетый в солдатскую серую шинель, не дожидаясь, чтоб его вызвали. Красивая, стройная фигура белокурого с ясными голубыми глазами солдата выступила из фронта. Он отбивал шаг в таком совершенстве, что искусство его бросалось в глаза и поражало неприятно именно своею чрезмерною отчетливостью. Он подошел к главнокомандующему и сделал на караул.

— Претензия? — нахмурившись слегка, спросил Кутузов. Долохов не отвечал. Он играл своим положением, не испытывая ни малейшего стеснения, и с видимою радостью заметил, как при вопросе «претензия» вздрогнул и побледнел полковой командир.

— Это Долохов, — сказал князь Андрей.

— А! — сказал Кутузов. — Надеюсь, что этот урок тебя исправит, служи хорошенько.

Государь милостив. И я не забуду тебя, ежели ты заслужишь.

Голубые открытые глаза смотрели на главнокомандующего так же дерзко, как и на полкового командира, как будто своим выражением разрывая завесу условности, отделявшую так далеко главнокомандующего от солдата.

— Об одном прошу, ваше высокопревосходительство, — сказал он своим звучным, твердым, не спешащим голосом и с выражением сухого напыщенного восторга. — Прошу дать мне случай заглядить свою вину и доказать мою преданность государю императору и России.

Долохов оживленно сказал эту театральную речь (он весь вспыхнул, говоря это). Но Кутузов отвернулся. На лице его промелькнула та же улыбка глаз, как и в то время, когда он отвернулся от капитана Тимохина. Он и тут отвернулся и поморщился, как будто хотел выразить этим, что все, что ему сказал Долохов, и все, что он мог сказать ему, он давно, давно знает, что все это прискучило ему и что все это совсем не то, что нужно. Он отвернул-



ся и направился к коляске.

### III

Полк разобрался ротами и тронулся по назначенным квартирам недалеко от Браунау, где надеялся обуться, обшиться и отдохнуть после трудных переходов.

— Вы на меня не претендуйте, Прохор Игнатыч, — сказал полковой командир, объезжая двигавшуюся к месту 3-ю роту и подъезжая к шедшему впереди ее капитану Тимохину. Лицо полкового командира после счастливого отбытия смотра выражало неудержимую радость. — Служба царская... нельзя... другой раз во фронте оборвешь... (он с радостным волнением хватал за руку Тимохина). Сам извинюсь первый, вы меня знаете... ну... надеюсь... Очень благодарен. — И он опять протянул руку ротному.

— Помилуйте, генерал, да смею ли я, — отвечал капитан, краснея носом, улыбаясь и раскрывая улыбкой недостаток двух передних зубов, выбитых прикладом под Измаилом.

— Да, господину Долохову передайте, что я

его не забуду, чтоб он был спокоен. Да скажите, пожалуйста, я все хотел спросить, что, как себя ведет? И все...

— По службе очень исправен, ваше превосходительство... ну, характер... — сказал Тимохин.

— А что, что характер? — спросил полковой командир.

— Находит, ваше превосходительство, днями, — говорил капитан, — то и умен, и учен, и добр. Как солдаты все любят, ваше превосходительство. А то зверь. В Польше убил было жида, извольте знать...

— Ну да, ну да, — сказал полковой командир, — все надо пожалеть молодого человека в несчастьи. Ведь большие связи... связи... Так вы того...

— Слушаю, ваше превосходительство, — сказал Тимохин, улыбкой давая чувствовать, что он понимает желания начальника.

— Ну да, ну да.

Полковой командир отыскал в рядах Долохова и придержал лошадь.

— До первого дела, эполеты, — обратился он к Долохову.

Долохов оглянулся, ничего не сказал и не изменил выражения своего насмешливо улыбающегося рта.

— Ну, вот и хорошо, — продолжал полковой командир. — Людям по чарке водки от меня, — прибавил он громко, чтоб солдаты слышали. — Благодарю всех! Слава Богу! — И он, обогнав роту, подъехал к другой.

— Что ж, он, право, хороший человек, с ним служить можно, — сказал Тимохин субалтерн-офицеру, шедшему подле него.

— Одно слово, червонный... (полкового командира прозвали червонным королем). Что, про добавочное жалованье не говорили? — спросил субалтерн-офицер.

— Нет.

— Плохо.

Счастливое расположение духа полкового командира перешло и к Тимохину. Поговорив с субалтерн-офицером, он подошел к Долохову.

— Что, батюшка, — сказал он Долохову, — как с главнокомандующим поговорили, так и наш генерал теперь с вами ласков стал.

— Свинья наш генерал, — сказал Долохов.

— А вот и не годится так говорить.

— Что же, коли так.

— А не годится, вы нас этим обижаете.

— Вас я не хочу обижать, потому что вы хороший человек, а он...

— Ну, ну, не годится, — опять перебил серьезно Тимохин.

— Ну, не буду.

Счастливое расположение духа начальства после смотра перешло и к солдатам. Рота шла весело. Со всех сторон переговаривались солдатские голоса.

— Как же сказывали, Кутузов кривой, об одном глазу?

— А то нет! Вовсе кривой.

— Не... брат, глазастей тебя, и сапоги и подвертки, все оглядел.

— Как он, братец ты мой, глянет на ноги мне... ну, думаю...

— А другой-то австрияк с ним был, словно мелом вымазан. Как мука белый. Я чай, как амуницию чистит?

— А что Федешов, сказывал он, что ли, когда отражение начнется, ты ближе стоял? Говорили все, в Брунове сам Буонапарте стоит.

— Буонапарте стоит! Ишь врет дура! Чего не знает! Теперь пруссак бунтует. Австрияк его, значит, усмиряет. Как он замирится, тогда и с Буонапартом война откроется. А то, говорит, в Брунове Буонапарте стоит! То-то и видно, что дурак. Ты слушай больше.

— Вишь, черти, квартирьеры! Пятая рота, гляди, уже в деревню заворачивает, они кашу сварят, а мы еще до места не дойдем.

— Дай сухарика-то, черт.

— А табаку-то вчера дал? То-то, брат. Ну, на, Бог с тобой.

— Хоть бы привал сделали, а то еще верст пять пропрем не емши.

— То-то любо было, как под Ольмюцем немцы нам коляски подавали. Едешь, знай; важно!

— А здесь, дружок, народ вовсе оголтелый пошел. Там все как будто поляк был, все русской короны, а нынче, брат, сплошной немец пошел.

— Песенники вперед! — слышался крик капитана.

И перед ротой с разных рядов выбежало человек двадцать. Барабанщик-запевала

обернулся лицом к песенникам и, махнув рукой, затянул протяжную солдатскую песню, начинавшуюся «Не заря ли, солнышко занималось...» и кончавшуюся словами «То-то, братцы, будет слава нам с Каменским отцом...» Песня эта была сложена в Турции и пелась теперь в Австрии. Только с тем изменением, что на место «Каменским отцом» вставляли слова «Кутузовым отцом».

Оторвав по-солдатски эти последние слова и махнув руками, как будто он бросал что-то на землю, барабанщик, сухой и красивый солдат лет сорока, строго оглянул солдат-песенников и зажмурился. Потом, убедившись, что все глаза устремлены на него, он, как будто осторожно, приподнял обеими руками какую-то невидимую драгоценную вещь над головой, подержал ее так несколько секунд и вдруг отчаянно бросил ее:

— Ах, вы сени, мои сени...

«Сени новые мои»... — подхватило двадцать голосов, и ложечник, несмотря на тяжесть амуниции, резво выскочил вперед и пошел задом перед ротой, пошевеливая плечами и угрожая кому-то ложками. Солдаты, в

такт песни размахивая руками, шли просторным шагом, невольно попадая в ногу. Сзади роты слышались звуки колес, похрускивание рессор и топот лошадей. Кутузов со свитой возвращался в город. Главнокомандующий дал знак, чтобы люди продолжали идти вольно, и на его лице и на всех лицах его свиты выразилось удовольствие при звуках песни, при виде пляшущего солдата и весело и бойко идущих солдат роты. Во втором ряду, с правого фланга, с которого коляска обгоняла роты, невольно бросался в глаза красавец, голубоглазый, сбитый, широкий солдат, который особенно бойко и грациозно шел в такт песни и весело взглянул на лица проезжающих с таким выражением, как будто он жалел всех, кто не шел в это время с ротой. Гусарский корнет с высоко поднятыми плечами отстал от коляски и подъехал к Долохову.

Гусарский корнет Жерков одно время в Петербурге принадлежал к тому буйному обществу, которым руководил Долохов. За границей Жерков встретил Долохова солдатом, но не счел нужным узнать его. Теперь он с радостью старого друга обратился к нему.

— Друг сердечный, ты как? — сказал он при звуках песни, равняя шаг своей лошади с шагом роты.

— Здорово, брат, — отвечал холодно Долохов, — как видишь.

Бойкая песня придавала особенное значение тону развязной веселости, с которой говорил Жерков, и умышленной холодности ответов Долохова.

— Ну, как ты ладишь с своими, с начальством? — спросил Жерков.

— Ничего, хорошие люди. Ты как в штаб затесался?

— Прикомандирован, дежурю.

Они помолчали. «Выпускала сокола, да из правого рукава», — говорила песня, невольно возбуждая бодрое, веселое чувство. Разговор их, вероятно, был бы другой, ежели бы они говорили не при звуках песни.

— Что, правда, австрийцев побили? — спросил Долохов.

— А черт их знает, говорят.

— Я рад, — отвечал Долохов коротко и ясно, как того требовала песня.

— Что ж, приходи к нам когда вечерком,



Фараон заложись, — сказал Жерков.

— Или у вас денег много завелось?

— Приходи.

— Нельзя. Зарок дал. Не пью и не играю, пока не произведут.

— Да что ж, до первого дела...

— Там видно будет...

Опять они помолчали.

— Ты заходи, коли что нужно, все в штабе помогут, — сказал Жерков.

Долохов усмехнулся.

— Ты лучше не беспокойся. Мне что нужно, я просить не стану, сам возьму, — и Долохов злобно посмотрел в лицо Жеркову.

— Да что ж, я так...

— Ну и я так.

— Прощай.

— Будь здоров.

*...И высоко, и далеко,  
На родиму сторону...*

Жерков тронул шпорами лошадь, которая раза три, горячась, перебила ногами, не зная, с какой начать, справилась и поскакала, обгоняя роту и догоняя коляску, тоже в такт пес-

ни.

## IV

Возвратившись со смотра, Кутузов с австрийским генералом прошел в свой кабинет и, кликнув адъютанта, приказал подать себе некоторые бумаги, относившиеся до состояния приходивших войск, и письма, полученные до сих пор от эрцгерцога Фердинанда. Князь Андрей Болконский с требуемыми бумагами вошел в кабинет главнокомандующего. Перед разложенным на столе планом сидели Кутузов и австрийский член гофкригсрата.

— А... — сказал Кутузов, оглядываясь на Болконского, как будто этим словом приглашая адъютанта подождать, и продолжал по-французски начатый разговор.

— Я только говорю одно, генерал, — говорил Кутузов с приятным изяществом выражений и интонаций, заставлявшим вслушиваться в каждое неторопливо сказанное слово. Видно было, что Кутузов и сам с удовольствием слушал себя. — Я только одно говорю, генерал, что ежели бы дело зависело от моего личного желания, то воля его величества, им-

ператора Франца, давно была бы исполнена. Я давно уже присоединился бы к эрцгерцогу. И верьте моей чести, что для меня лично передать высшее начальство армией более меня сведущему и искусному генералу, какими так обильна Австрия, и сложить с себя всю эту тяжкую ответственность, для меня лично было бы отрадой. Но обстоятельства бывают сильнее нас, генерал. — И Кутузов улыбнулся с таким выражением, как будто он говорил: «Вы имеете полное право не верить мне, и даже мне совершенно все равно, верите ли вы мне или нет, но вы не имеете повода сказать мне это. И в этом-то все дело».

Австрийский генерал имел недовольный вид, но не мог не в том же тоне отвечать Кутузову.

— Напротив, — сказал он ворчливым и сердитым тоном, так противоречившим лестному значению произносимых слов, — напротив, участие вашего превосходительства в общем деле высоко ценится его величеством, но мы полагаем, что настоящее замедление лишает славные русские войска и их главнокомандующих тех лавров, которые они привык-

ли пожинать в битвах, — закончил он, видимо, приготовленную фразу.

Кутузов поклонился, не изменяя улыбки.

— А я так убежден и, основываясь на последнем письме, которым почтил меня его высочество эрцгерцог Фердинанд, предполагаю, что австрийские войска, под начальством столь искусного помощника, каков генерал Макк, теперь уже одержали решительную победу и не нуждаются более в нашей помощи, — сказал Кутузов.

Генерал вздрогнул и нахмурился. Хотя и не было положительных известий о поражении австрийцев, но было слишком много обстоятельств, подтверждавших общие невыгодные слухи, и потому предположение Кутузова о победе австрийцев было весьма похоже на насмешку. Но Кутузов кротко улыбался, все с тем же выражением, которое говорило, что он имеет право предполагать это. Действительно, последнее письмо, полученное им из армии Макка, извещало его о победе и о самом выгодном стратегическом положении армии.

— Дай-ка сюда это письмо, — сказал Куту-

зов, обращаясь к князю Андрею. — Вот, извольте видеть, — и Кутузов с насмешливою улыбкой на концах губ прочел по-немецки австрийскому генералу следующее место из письма эрцгерцога Фердинанда:

«Мы имеем вполне сосредоточенные силы, около 70 000 человек, так что мы можем атаковать и разбить неприятеля в случае переправы его через Лех. Так как мы уже владеем Ульмом, то мы можем удерживать за собою выгоду командования обоими берегами Дуная, стало быть, ежеминутно, в случае если неприятель не перейдет через Лех, переправиться через Дунай, броситься на его коммуникационную линию, ниже перейти обратно Дунай, и неприятелю, если он вздумает обратить всю свою силу на наших верных союзников, не дать исполнить его намерение. Таким образом, мы будем бодро ожидать времени, когда императорская российская армия совсем изготовится, и затем вместе легко найдем возможность уготовить неприятелю участь, коей он заслуживает».

Кутузов тяжело вздохнул, окончив этот период, и внимательно и ласково посмотрел на

члена гофкригсрата.

— Но вы знаете, ваше превосходительство, мудрое правило, предписывающее предполагать худшее, — сказал австрийский генерал, видимо, желая покончить с шутками и приступить к делу. Он недовольно оглянулся на адъютанта.

— Извините, генерал, — перебил его Кутузов и тоже повернулся к князю Андрею. — Вот что, мой любезный, возьми ты все донесения от наших лазутчиков у Козловского. Вот два письма от графа Ностица, вот письмо от его высочества эрцгерцога Фердинанда, вот еще, — сказал он, подавая ему несколько бумаг. — И из всего этого чистенько на французском языке составь меморандум, записочку, для видимости всех тех известий, которые мы о действиях австрийской армии имели. Ну, так-то, и представь его превосходительству.

Князь Андрей почтительно наклонил голову в знак того, что понял с первых слов не только то, что было сказано, но и то, что желал бы сказать ему Кутузов. Он собрал бумаги и, отдав общий поклон, тихо шагая по ковру, вышел в приемную.

Несмотря на то, что еще не было трех месяцев, как князь Андрей оставил Россию, он много изменился за это время. В выражении его лица, в движениях, в походке почти не было заметно прежнего притворства, усталости и лени; он имел вид человека, не имеющего времени думать о впечатлении, какое он производил на других, и занятого делом приятным и интересным. Лицо его выражало больше довольства собой и окружающими; улыбка и взгляд его были веселее и привлекательнее.

Кутузов, которого он догнал еще в Польше, принял его очень ласково, обещал ему не забывать его, отличал от других адъютантов, брал с собою в Вену и давал более серьезные поручения. В штабе Кутузова, между товарищами-сослуживцами, и вообще в армии князь Андрей, так же как и в петербургском обществе, имел две совершенно противоположные репутации. Одни, меньшая часть, признавали князя Андрея чем-то особенным от себя и от всех других людей, ожидали от него больших успехов, слушали его, восхищались им и подражали ему. И с этими людьми

князь Андрей бывал прост и приятен. Другие, большинство, не любили князя Андрея, считали его надутым, холодным и неприятным человеком. Но с этими людьми князь Андрей умел поставить себя так, что его уважали и даже боялись. Он ближе всех был с двумя людьми: один из них был петербургский товарищ, добродушный, толстый князь Несвицкий. Князь Несвицкий, огромно богатый, беспечный и веселый, кормил и поил весь штаб, постоянно смеялся всему, что похоже было на смешное, и не понимал и не верил в возможность подлости или ненависти к человеку. Другой был человек без имени, из пехотного полка капитан Козловский, не имевший никакого светского образования, даже дурно говоривший по-французски, но который трудом, усердием и умом прокладывал себе дорогу, и в эту кампанию был рекомендован и взят по особым поручениям к главнокомандующему. С ним охотно, хотя и покровительственно, сблизился Болконский.

Выйдя в приемную из кабинета Кутузова, князь Андрей с бумагами подошел к Козловскому, который был дежурный и с книгой



фортификации сидел у окна. Несколько человек военных в полной форме и с робкими лицами терпеливо ожидали в другой стороне.

— Ну что, князь? — спросил Козловский.

— Приказано составить записку, почему нейдем вперед.

— А почему?

Князь Андрей пожал плечами.

— Пожалуй, ваша правда, — сказал он

— Нет известия от Макка? — спросил Козловский.

— Нет.

— Ежели бы правда, что он разбит, так пришло бы известие.

— Непонятно, — сказал князь Андрей.

— Я вам говорил, князь, завладели нами австрийцы, добра не будет.

Князь Андрей улыбнулся и направился к выходной двери, но в то же время навстречу ему, хлопнув дверью, быстро вошел в приемную высокий, очевидно приезжий, австрийский генерал с повязанною черным платком головой и с орденом Марии-Терезии на шее. Князь Андрей остановился. Высокая фигура австрийского генерала, морщинистое, реши-

тельное лицо его и быстрые движения были так поразительны своею важностью и тревожностью, что все бывшие в комнате невольно встали.

— Генерал-аншеф Кутузов? — быстро проговорил приезжий генерал с резким немецким выговором, оглядываясь на обе стороны и без остановки подходя к двери кабинета.

— Генерал-аншеф занят, — сказал Козловский торопливо и мрачно, как он всегда исполнял свои обязанности, подходя к неизвестному генералу и загораживая ему дорогу от двери. — Как прикажете доложить?

Неизвестный генерал презрительно оглянулся сверху вниз на невысокого ростом Козловского, как будто удивляясь, что его могут не знать.

— Генерал-аншеф занят, — спокойно повторил Козловский.

Лицо генерала нахмурилось, губы его дернулись и задрожали. Он вынул записную книжку, быстро начертил что-то карандашом, вырвал листок, отдал, быстрыми шагами подошел к окну, бросил свое тело на стул и оглянул всех бывших в комнате, как будто

спрашивая, зачем они на него смотрят? Генерал поднял голову, вытянул шею и обратился было к ближе всех от него стоявшему князю Андрею, как будто намереваясь что-то сказать, но тотчас же отвернулся и, как будто небрежно начиная напевать про себя, произвел странный звук, который, однако, тотчас же пресекся. Дверь кабинета отворилась, и на пороге ее показался Кутузов. В то же мгновение генерал с повязанною головой, как будто убегая от опасности, нагнувшись, большими, быстрыми шагами худых ног подвинулся к самому лицу Кутузова. Немолодое, морщинистое лицо его побледнело, и он не мог удержать от нервного дрожания нижнюю губу, в то время как он сорвавшимся, слишком громким голосом произнес дурным выговором по-французски следующие слова:

— Вы видите несчастного Макка.

Широкое, изуродованное ранами лицо Кутузова, стоявшего в дверях кабинета, несколько мгновений оставалось совершенно неподвижно. Потом, как волна, пробежала по его лицу морщина, лоб разгладился; он почтиительно наклонил голову, закрыл глаза, молча

пропустил мимо себя Макка и сам за собой затворил дверь.

Слух, уже распространенный прежде, о разбитии австрийцев и о сдаче всей армии под Ульмом, оказывался справедливым. Штабные сообщали друг другу подробности разговора Макка с главнокомандующим, которого никто не мог слышать. Через полчаса уже по разным направлениям были разосланы адъютанты с приказаниями, доказывавшими, что скоро и русские войска, до сих пор бывшие в бездействии, должны будут встретиться с неприятелем.

«Полусумасшедший старый фанатик Макк хотел бороться с величайшим военным гением после Кесаря! — думал князь Андрей, возвращаясь в свою комнату. — Что я говорил Козловскому? Что я писал отцу? — думал он. — Так и случилось». И невольно он испытывал волнуящее радостное чувство при мысли о посрамлении самонадеянной Австрии и о том, что через неделю, может быть, придется ему увидеть и принять участие в столкновении русских с французами, впервые после Суворова.

Вернувшись сверху в свою комнату, занимаемую им вместе с Несвицким, князь Андрей положил ненужные уже теперь бумаги на стол и, заложив руки назад, заходил взад и вперед по комнате, улыбаясь своим мыслям. Он боялся гения Бонапарта, который мог оказаться сильнее всей храбрости русских войск, и вместе с тем не мог допустить позора для своего героя. Единственно возможное разрешение этого противоречия состояло в том, чтоб он сам командовал русскою армией против Бонапарта. Но когда это могло быть? Через десять лет, — десять лет, которые кажутся вечностью, когда они составляют больше одной трети прожитой жизни. «Ах! Делай, что должно, пусть будет, что будет», — проговорил он себе выбранный им девиз.

Он крикнул слугу, снял мундир, надел шубку и сел за стол. Несмотря на походную жизнь и общую тесную комнату, занимаемую им вместе с Несвицким, князь Андрей был, так же как и в России, щепетилен, точно женщина, занят собой и аккуратен. Несвицкий знал, что ничем нельзя было больше рассердить своего товарища по комнате, как рас-

стройством его вещей, и два стола Болконского, один письменный, уставленный, как в Петербурге, бронзовыми письменными принадлежностями, другой — щеточками, мыльницами, зеркалом, всегда были симметрично убраны и без малейшей пылинки. Со времени своего выезда из Петербурга и, главное, со времени разлуки с женой, князь Андрей вступил в новую эпоху деятельности и как будто вновь переживал молодость. Он много читал и учился. Походная жизнь давала ему немало досуга, и книги, приобретенные им за границей, раскрыли для него новые интересы. В числе этих книг были большею частью философские сочинения. Философия, кроме своего внутреннего интереса, была для него одним из тех пьедесталов гордости, на которые он любил становиться пред другими людьми. Хотя у него и было много различных пьедесталов, с которых он мог сверху вниз смотреть на людей: рождение, связи, богатство, — философия представляла для него такой пьедестал, с которого он мог чувствовать себя выше и таких людей, как сам Кутузов, а чувствовать это было необходимо для душевного спо-

койствия князя Андрея. Он взял последнее, лежавшее у него на столе до половины разрезанное, сочинение Канта и принялся читать. Но мысль его была далеко, беспрестанно представлялась ему его любимая мечта — знамя Аркольского моста.

— Ну, брат, за мной бутылка, — сказал, входя в комнату огромный, толстый Несвицкий, как и всегда сопровождаемый Жерковым. — Какова штука с Макком?

— Да, неприятные четверть часа провел он теперь наверху, — сказал князь Андрей.

(Между ними было пари. Князь Андрей утверждал, что Макк будет разбит. Он выиграл.)

— Я говорил. Макк в зубах завязнет, — сказал Жерков, но шутка его не понравилась. Князь Андрей холодно оглянулся на него и обратился к Несвицкому.

— Что слышал, когда выступают? — сказал он.

— Вторую дивизию послали передвинуть, — сказал Жерков со своею заискивающей манерой.

— А! — сказал князь Андрей, отвернулся и

стал читать.

— Ну, будет тебе философствовать, — крикнул Несвицкий, бросаясь на кровать и отдуваясь, — потолкуем-ка. Как я хохотал сейчас! Можешь себе представить, только мы вышли, Штраух идет. Надо было видеть, что Жерков перед ним выделывал.

— Ничего, я отдавал честь союзнику, — проговорил Жерков, и Несвицкий захохотал так, что кровать под ним затрещала.

Штраух, австрийский генерал, присланный из Вены для наблюдения за продовольствиями русской армии, почему-то полюбился Жеркову. Он и передразнивал его весьма похоже, и каждый раз, как встречался с ним, вытягивался, представляя, что он его боится, и каждый раз, как мог найти случай, заговаривал с ним на ломаном немецком языке, представляя из себя наивного дурачка, к большому удовольствию Несвицкого.

— Ах да! — сказал Несвицкий, обращаясь к князю Андрею, — кстати о Штраухе. Тут тебя давно ждет офицер пехотный.

— Какой офицер?

— Помнишь, тебя посылали следствие про-



изводить, корову что ли он утащил у немцев.

— Что ж ему нужно? — морщась, сказал князь Андрей, поворачивая кольцо на своей маленькой белой руке.

— Жалкий такой, просить тебя пришел. Жерков, как он? Ну, как он говорил?

Жерков сделал гримасу и начал представлять офицера.

— Я... совсем не то... солдаты... купили скотину, потому что хозяева... Скотина... хозяева... скотина...

Князь Андрей встал и надел мундир.

— Нет, ты замни как-нибудь, — сказал Несвицкий. — Ей-богу, такой жалкий.

— Я ни заминать, ни подводить никого и ничего не хочу. Меня послали, я сказал, что было. И мерзавцев я никогда не жалею и не смеюсь над ними, — прибавил он, глядя на Жеркова.

Поговорив с офицером, он высокомерно объяснил ему, что он никакого с ним личного дела не имеет и не желает иметь.

— Ведь вы сами знаете, ваш... князь, — говорил офицер, который, видимо, находился в недоумении, как ему обращаться с этим адъ-

ютантом: он боялся одинаково и унижаться, и не быть достаточно вежливым, — ведь вы сами знаете, князь, что походом бывали дни, что солдаты не евши, ну, как запретить... вы сами посудите...

— Ежели вы требуете моего личного убеждения, — сказал князь Андрей, — то я вам скажу, что, по моему мнению, мародерство всегда есть важный проступок, а в земле союзников нет за него достаточно строгого наказания. Но, главное, вы поймите, что я ничего не могу сделать; мое дело доложить главнокомандующему, что я нашел. Не могу же я для вас лгать. — И, улыбнувшись этой странной мысли, он поклонился офицеру и пошел назад. Возвращаясь к себе, он увидел идущих по коридору генерала Штрауха и члена гофкригсрата. Навстречу им шли Несвицкий и Жерков.

По широкому коридору было достаточно места, чтобы генералы могли и обойти двух офицеров, но Жерков, отталкивая рукою Несвицкого, запыхавшимся голосом проговорил:

— Идут!.. идут!.. посторонитесь, дорогу! по-

жалуйста, дорогу!

Генералы проходили с видом желанья избавиться от утруждающих почестей. На лице Жеркова выразилась вдруг глупая улыбка радости, которой он как будто не мог удержать.

— Ваше превосходительство, — сказал он по-немецки, выдвигаясь вперед и обращаясь к австрийскому генералу. — Имею честь поздравить. — Он наклонил голову и неловко, как дети, которые учатся танцевать, стал шаркиваться то одной, то другой ногой.

Генерал, член гофкригсрата, строго оглянулся на него, но, заметив серьезность глупой улыбки, не мог отказать в минутном внимании. Он прищурился, показывая, что слушает.

— Имею честь поздравить, генерал Макк приехал совсем здоров, только немного тут зашибся, — прибавил он, сияя улыбкой и указывая на свою голову.

Генерал нахмурился, отвернулся и пошел дальше.

— Боже мой, как наивен, — сказал он сердито, отойдя несколько шагов.

Несвицкий с хохотом обнял князя Андрея и повлек его в свою комнату. Вслед за Несвиц-

ким в комнату вошел князь Андрей и, не обращая внимания на его хохот, подошел к своему столу и сбросил с него на пол лежавшую фуражку Жеркова.

— Нет, что за рожа! — сквозь смех говорил Несвицкий. — Это чудесно! Только немного тут зашибся... ха, ха, ха!

— Ничего смешного нет, — сказал князь Андрей.

— Как не смешно? Одна рожа чего стоит...

— Ничего смешного. Я не большой друг австрийцев, но есть приличия, которых может не знать этот негодяй, но которые мне и тебе должно соблюдать.

— Полно, он сейчас войдет, — испуганно перебил Несвицкий.

— Мне все равно. Как это хорошо нас выкалывает перед союзниками, как тут много такта!.. Офицер этот, который украл корову для роты, право, не хуже твоего Жеркова. Тот, по крайней мере, нуждался в этой корове.

— Да как ты хочешь, братец, это все очень жалко, а все-таки смешно. Ежели бы ты...

— Ничего смешного. Сорок тысяч человек погибло, и союзная нам армия уничтожена, а

вы можете при этом шутить, — сказал он, как будто этою французскою фразой закрепляя свое мнение. — Это простительно ничтожному мальчишке, как вот этот господин, которого вы сделали себе другом, но не вам, не вам, — сказал князь Андрей по-русски, выговаривал это слово с французским акцентом, заметив, что Жерков вошел в комнату. Он подождал, не ответит ли что-нибудь корнет. Но корнет ничего не отвечал, взял свою фуражку и, подмигнув Несвицкому, вышел.

— Приходи же обедать, — крикнул Несвицкий. Князь Андрей пристально посмотрел на корнета, и когда он скрылся, сел за стол.

— Я тебе давно хотел сказать, — обратился он к Несвицкому, который с улыбкой в глазах смотрел теперь на князя Андрея. Казалось, для него всякое развлечение было приятно, и он теперь не без удовольствия слушал звук голоса и речь князя Андрея.

— Я тебе давно хотел сказать, твоя страсть со всеми быть фамильярным, и кормить, и поить без разбора всех на свете. Все это прекрасно, и хоть я с тобой живу, для меня это не стеснительно, потому что я этим господам

умею дать почувствовать их место. И я говорю не для себя, а для тебя. Со мною ты можешь шутить. Мы понимаем друг друга и знаем границы шуток, а с этим Жерковым нельзя быть фамильярным. Его цель только в том, чтобы как-нибудь выскочить, получить крестик, да чтобы ты его даром кормил и поил; дальше он ничего не видит и готов тебя забавлять чем угодно, не соображая значения своих шуток, а тебе этого нельзя.

— Ну, что ж, он добрый малый, — заступаюсь, сказал Несвицкий, — добрый малый.

— Этих Жерковых можно после обеда подпоить и заставить представлять комедии, это я понимаю, но не дальше.

— Ну, полно, брат, ну, неловко... Да что же, ну не буду, да только замолчи! — закричал, смеясь, Несвицкий и, вскочив с дивана, обнял и поцеловал князя Андрея. Князь Андрей улыбнулся, как учитель ласкающемуся школьнику.

— У меня внутренность переворачивается, когда эти Жерковы лезут к тебе в интимность. Ему хочется подняться и очиститься в сближении с тобой, и он не очистится, а толь-

ко тебя запачкает.

## V

Гусарский Павлоградский полк стоял в двух милях от Браунау. Эскадрон, в котором юнкером служил Николай Ростов, расположен был в немецкой деревне Зальценек. Эскадронному командиру, ротмистру Денисову, известному всей кавалерийской дивизии под именем Васьки Денисова, была отведена лучшая квартира в деревне. Юнкер Ростов, с тех самых пор, как он догнал полк в Польше, жил вместе с эскадронным командиром.

8-го октября, в тот самый день, когда в главной квартире все было поднято на ноги известием о поражении Макка, в штабе эскадрона походная жизнь спокойно шла по-старому. Денисов, проигравший всю ночь в карты, еще спал, когда Ростов, рано утром, верхом, вернулся домой в рейтузах и гусарской куртке. Ростов подъехал к крыльцу, толкнув лошадь, гибким молодым жестом скинул ногу, постоял на стремях, как будто не желая расстаться с лошадью, наконец, прыгнул и, обернув свое разряженное, загорелое, с про-

бивавшимися усиками лицо, крикнул востового.

— А, Бондаренко, друг сердечный, — проговорил он бросившемуся стремглав к его лошади гусару. — Выводи, дружок, — сказал он с тою братскою веселою нежностью, с которой обращаются со всеми хорошие молодые люди, когда они счастливы.

— Слушаю, ваше сиятельство, — отвечал хохол, встряхивая весело головой.

— Смотри же, выводи хорошенько!

Другой гусар бросился тоже к лошади, но Бондаренко уже перекинул поводья трензеля. Видно было, что юнкер давал хорошо на водку и что услужить ему было выгодно. Ростов погладил лошадь по шее, потом по крупу и остановился на крыльце.

«Славно» — сказал он сам себе, улыбаясь и придерживая саблю, вбежал на крыльцо и пристукнул каблуками и шпорами, как делают в мазурке. Хозяин-немец, в фуфайке и колпаке, с вилами, которыми он вычищал навоз, выглянул из коровника. Лицо немца вдруг просветлело, как только он увидал Ростова. Он весело улыбнулся и подмигнул: «Прекрас-



но, доброго утра!» — повторял он, видимо, находя удовольствие в приветствии молодого человека.

— Уже за работой, — сказал Николай все с тою же радостною братскою улыбкой, какая не сходила с его оживленного лица. — Ура австрийцы! Ура русские! Император Александр ура! — обратился он к немцу, повторяя слова, говоренные часто немцем-хозяином. Немец засмеялся, вышел совсем из двери коровника, сдернул колпак и, взмахнув им над головой, закричал:

— И весь свет ура!

Ростов сам, так же как немец, взмахнул фуражкой над головой и, смеясь, закричал: «И весь свет ура!» Хотя не было никакой причины к особенной радости ни для немца, вычищавшего свой коровник, ни для Николая, ездившего со взводом за сеном; оба человека эти с счастливым восторгом и братскою любовью посмотрели друг на друга, потрясли головами в знак взаимной любви и, улыбаясь, разошлись, немец — в коровник, а Николай — в избу, которую занимал с Денисовым.

Накануне офицеры этого эскадрона соби-

рались у ротмистра

4-го эскадрона в другой деревне и провели у него ночь за картами. Ростов там был, но уехал рано. Несмотря на все его желание быть вполне гусаром и товарищем, он не мог пить больше стакана вина, не делаясь большим, и засыпал за картами. Денег у него было слишком достаточно, так что он не знал, куда девать их, и не понимал удовольствия выигрывать. Каждый же раз, как он, по совету офицеров, ставил карту, он выигрывал деньги, которые ему были не нужны, и замечал, как это было неприятно тому, чьи были деньги, но помочь этому не мог. Ростов, несмотря на то, что эскадронный командир никогда не делал ему замечаний по службе, решил сам про себя, что в военной службе важнее всего добросовестность в исполнении обязанности, и объявил всем офицерам, что он счел бы себя дрянью, ежели бы он позволил себе когда-нибудь пропустить очередь дежурства или командировки. Впоследствии дежурства и унтер-офицерская служба, к которой никто не принуждал его, становились тяжелы для него, но он помнил сказанное неосторожно

слово и не изменил ему. По унтер-офицерской службе, получив с вечера повестку от вахмистра, он велел себя разбудить до зари и вместе со взводом ходил за сеном. Денисов еще спал, а он уже успел наговориться с гусарами, насмотреться на немку, дочь школьного учителя в Зальценеке, проголодаться и прийти в то счастливое состояние духа, в котором все люди добры, милы и приятны. Он, слегка побрякивая солдатскими шпорами, ходил взад и вперед по скрипучему полу, поглядывая на спящего, с головой укутанного Денисова. Ему хотелось поговорить. Денисов кашлянул и повернулся. Он подошел к нему и дернул за одеяло.

— Пора, Денисов! Пора! — крикнул он.

Из-под одеяла быстро выскочила черная, обросшая волосами мохнатая голова с красными щеками и блестящими чернейшими глазами.

«Пог'а! — закричал Денисов, не выговаривая р. — Что пог'а? Пог'а уйти к чег'ту из этого... колбасного цаг'ства! Такого несчастья! такого несчастья! Как ты уехал, так и пошло. Пг'одулся я, бг'ат, вчег'а, как сукин сын!.. Эй,

чаю!

Денисов вскочил своими карими голыми ногами, обросшими как у обезьяны, черными волосами, и, сморщившись, как бы улыбаясь и выказывая свои короткие крепкие зубы, начал обеими руками лохматить как лес взбитые черные густые волосы и усы.

С первых слов Денисова видно было, что ему невесело на душе, и что он телом слаб от вина и бессонных ночей, и что приемы веселости были не потребностью его, а привычкой.

— Черт меня дернул пойти к этой крысе (прозвище офицера), — растирая себе обеими руками лоб и лицо, говорил Денисов. — Можешь себе представить, вчера, как ты ушел, ни одной карты, ни одной, ни одной карты не дал, — говорил Денисов, возвышая голос до крика и весь багровея от волнения.

Денисов был один из тех людей, которые постоянно два раза в год пускали себе кровь и назывались горячими.

— Ну, полно, дело прошлое, — сказал Ростов, замечая, что Денисов начинает горячиться при одном воспоминании о своем

несчастью. — Давай лучше чай пить.

Видно было, что Ростов еще не свыкся с своим положением и ему приятно было говорить ты такому старому человеку. Но Денисов уже расхотелся, глаза его налились кровью, он взял подаваемую ему закуренную трубку, сжал в кулак, рассыпая огонь, бил ею по полу, продолжая кричать.

— Нет, это надо мной чертовское несчастье — семпель даст, пароль бьет, семпель даст, пароль бьет.

Он рассыпал огонь, разбил трубку, бросил ее и замахнулся на денщика. Но через минуту, когда Ростов обратился к нему, горячка уже прошла.

— А я как проехался славно. Мы мимо того парка прошли, где учителя дочка, помнишь?... — сказал Ростов, краснея и улыбаясь.

— Это кровь молодая-то, — уже тихо сказал Денисов, хватая юнкера за руку и потрясая ее. — Краснеет юноша, даже противно...

— Опять видел...

— Ну, брат, и я, видно, теперь за прекрасный пол примусь — денег нет, играть баста. Никита, дай-ка, дружок, мне кошелек, — ска-

зал он денщику, которого чуть не прибил. — Вот так. Эка дубина, черт! Где роешься? Под подушкой. Ну, спасибо, голубчик, — сказала он, принимая кошелек и высыпая на стол несколько золотых. — Эскадронные, фуражные, все тут, — сказал он. — Должно быть, фуражных одних сорок пять. Да нет, что считать! Не поднимешься.

Он отодвинул золотые.

— Что ж, возьми у меня, — сказал Ростов.

— Коли в воскресенье не привезут жалованье, скверно! — проговорил Денисов, не отвечая Ростову.

— Да возьми у меня, — проговорил Ростов, краснея, это всегда бывает с очень молодыми людьми, когда дело касается денег. У него неясно мелькнула мысль о том, что Денисов уже должен ему, и мысль, что Денисов оскорбляет его, не принимая его предложения.

Лицо Денисова опустилось и стало грустно.

— Вот что! Возьми у меня Бедуина, — сказал он серьезно, подумав несколько. — Я сам за него в России полторы тысячи дал, за ту же

цену тебе отдам. Заветного ничего, кроме сабли. Бери! По рукам...

— Ни за что не возьму. Лучшая лошадь в полку, — сказал Ростов, опять вспыхивая.

Бедуин была действительно прекрасная лошадь, и Ростов очень бы хотел иметь ее, но и совестно было перед Денисовым. Он чувствовал себя как будто виноватым за то, что у него есть деньги. Денисов замолчал и стал опять задумчиво лохматить волосы.

— Эй, кто там? — обратился он к двери, слышав остановившиеся шаги толстых сапог с бряцанием шпор, и почтительное покашливание.

— Вахмистр! — сказал Никита. Денисов сморщился еще больше.

— Скверно, — проговорил он. — Ростов, сочти, голубчик, сколько там осталось, да брось кошелек под подушку, — сказал он, выходя к вахмистру.

Ростов, уже воображая себя корнетом на купленном Бедуине в замке эскадрона, начал считать деньги, машинально откладывая и равняя кучками старые и новые золотые (старых было семь, а новых шестнадцать).

— А! Телянин! Здорово! Вздули меня вчера, — слышался грустный голос Денисова в другой комнате.

— У кого? У Быкова, у крысы?... Я знал, — сказал другой тоненький голос, и вслед за тем в комнату вошел поручик Телянин, щеголеватый, маленький офицер того же эскадрона.

Ростов кинул под подушку кошелек и пожал протянутую ему влажную маленькую руку. Телянин был перед походом за что-то переведен из гвардии. Его не любили в эскадроне за его чопорность. Ростов купил у него свою лошадь.

— Ну что, молодой кавалерист, как вам мой Грачик служит? — спросил он. Поручик никогда не смотрел в глаза человеку, с кем говорил; глаза его постоянно перебегали с одного предмета на другой. — Я видел, вы нынче проехали...

— Да ничего, конь добрый, — отвечал Ростов серьезным тоном опытного кавалериста, несмотря на то, что лошадь, купленная им за семьсот рублей, была испорчена ногами и не стоила половины этой цены. — Припадать стала на левую переднюю... — прибавил он.



— Треснуло копыто? Это ничего. Я вас научу, покажу, заклепку какую положить.

Глаза Телянина не успокаивались, несмотря на то, что вся его небольшая фигурка принимала лениво-небрежную позу и тон его речи был слегка насмешливо-покровительственный.

— Не хотите ли чаю? И покажите, пожалуйста, как это заклепка-то, — сказал Ростов.

— Покажу, покажу, это не секрет. А за лошадь благодарить будете.

— Так я велю привести лошадь. — И Ростов вышел, чтобы привести.

В сенях Денисов в архалуке, с трубкой, скорчившись на пороге, сидел перед вахмистром, который что-то докладывал.

Увидав Ростова, Денисов сморщился и, указывая через плечо большим пальцем в комнату, в которую прошел Телянин, поморщился и с отвращением тряхнулся.

— Ох, не люблю молодца, — сказал он, не стесняясь присутствием вахмистра.

Ростов пожал плечами, как будто говоря: „И я тоже, да что ж делать“, — и, распорядившись, вернулся к Телянину.

Телянин сидел все в той же ленивой позе, в которой его оставил Ростов, потирая маленькие белые руки.

— Вот стояночка-то — ни одного дома, ни одной женщины не видал, с тех пор как из Польши, — сказал Телянин, вставая и небрежно оглядываясь вокруг себя. — Что же, велели привести лошадь? — прибавил он.

— Велел.

— Да пойдете сами.

— А что ж чаю?

— Нет, не хочу. Я ведь зашел только спросить Денисова о вчерашнем приказе. Получили, Денисов?

— Нет еще. А вы куда?

— Вот хочу молодого человека научить, как ковать лошадь, — сказал Телянин.

Они вышли на крыльцо и в конюшню. Поручик показал, как делать заклепку, и ушел к себе.

Когда Ростов вернулся, на столе стояла водка и ветчина, и Денисов, одетый, быстрыми шагами ходил взад и вперед по комнате. Он мрачно посмотрел в лицо Ростову.

— Редко кого не люблю, — сказал Дени-

сов, — а этот мне Телянин противен, как молоко с сахаром. Надул он тебя с Грачиком своим, это верно. Пойдем в конюшню. Возьми Бедуина, все равно, сейчас из полы в полу, и две бутылки шампанского.

Ростов опять разгорелся, как девушка.

— Нет, пожалуйста, Денисов... Я ни за что не возьму лошадь.

А ежели ты у меня не возьмешь деньги потоварищески, ты меня обидишь. Право, у меня есть.

Денисов поморщился, отвернулся и стал лохматить волосы. Ему, видно, неприятно было.

— Ну, быть по-твоему!

Ростов хотел достать деньги.

— После, после, еще есть. Чучела, пошли вахмистра, — крикнул Денисов Никите, — надо ему деньги отдать.

И он пошел к постели, чтобы достать из-под подушки кошелек.

— Ты куда положил?

— Под нижнюю подушку.

— Я под нижней и смотрю.

Денисов скинул обе подушки на пол. Ко-

шелька не было.

— Вот чудо-то!

— Постой, ты не уронил ли, — сказал Ростов, по одной поднимая подушки и вытрясая их. Он скинул и отряхнул одеяло. Кошелька не было.

— Уж не забыл ли я. Нет, я еще подумал, что ты точно клад под голову кладешь, — сказал Ростов. — Я тут положил кошелек. Где он? — обратился он к слуге.

— Я не входил. Где положили, там и должен быть.

— Да нет...

— Вы все так, бросите куда, да и забудете. В карманах посмотрите.

— Нет, коли бы я не подумал про клад, — сказал Ростов, — а то я помню, что положил.

Никита перерыл всю постель, заглянул под нее, под стол, перерыл всю комнату, кошелька не было. Денисов, перерыв карманы, молча следил за движениями Никиты и, когда Никита удивленно развел руками, говоря, что в кармане нет, он оглянулся на Ростова.

— Ростов, ты школьнич...

Он не договорил. Ростов, с обеими руками

в карманах, стоял, опустив голову. Почувствовав на себе взгляд Денисова, он поднял глаза и в то же мгновение опустил их. В то же мгновение вся кровь его, бывшая запертою где то ниже горла, хлынула ему в лицо и глаза. Молодой человек, видимо, не мог перевести дыхание. Денисов поспешно отвернулся, сморщился и стал лохматить себе волосы.

— И в комнате-то никого не было, кроме поручика, да вас самих. Тут где-нибудь.

— Ну, ты, чертова кукла, поворачивайся, ищи, — вдруг закричал Денисов, побагровев и с угрожающим жестом бросаясь на денщика. — Чтоб был кошелек, а то запорю!

Ростов, задыхаясь и обходя взглядом Денисова, стал застегивать куртку, подстегнул саблю и надел фуражку

— Ну, чертов сын. Я тебе говорю, чтоб был кошелек, — кричал Денисов, бессмысленно тряся за плечи денщика и толкая его об стену.

— Денисов, оставь его. Я сейчас приду, — сказал Ростов, подходя к двери и не поднимая глаз.

— Ростов! Ростов! — закричал Денисов, так что жилы, как веревки, вздулись у него на

шее и лбу. — Я тебе говорю, ты с ума сошел, я этого не позволю. — И Денисов схватил за руку Ростова. — Кошелек здесь, спущу шкуру со всех денщиков, и будет здесь.

— А я знаю, где кошелек, — отвечал Ростов дрожащим голосом. Они взглянули друг другу в глаза.

— А я тебе говорю, не делай этого, — закричал, надрываясь Денисов и бросаясь к юнкеру, чтобы удержать его, — я тебе говорю, черт их подери эти деньги! Это не может быть, я не допущу этого. Ну, пропали, черт с ними... — Но, несмотря на решительный смысл слов, мохнатое лицо ротмистра выражало теперь уже нерешительность и страх. Ростов вырвал свою руку и с такою злобой, как будто Денисов был величайший враг его, прямо и твердо устремил на него глаза.

— Ты понимаешь ли, что говоришь? — сказал он дрожащим голосом. — Кроме меня никого не было в комнате. Стало быть, ежели не то, так...

Он не мог договорить и выбежал из комнаты.

— Ах, черт с тобой и со всеми, — были по-

следние слова, которые слышал Ростов.

Он пришел на квартиру Телянина.

— Барина дома нет, в штаб уехали, — сказал ему денщик Телянина. — Или что случилось? — прибавил денщик, удивляясь на расстроенное лицо юнкера.

— Нет, ничего.

— Немного не застали, — сказал денщик.

Штаб находился в трех верстах от Зальценека. Ростов, не заходя домой, взял лошадь и поехал в штаб.

В деревне, занимаемой штабом, был трактир, посещаемый офицерами.

Ростов приехал в трактир, у крыльца он увидел лошадь Телянина.

Во второй комнате трактира сидел поручик за блюдом сосисок с бутылкой.

— А, и вы заехали, юноша, — сказал он, улыбаясь и высоко поднимая брови.

— Да, — сказал Ростов, как будто выговорить это слово стоило ему большого труда, и сел за соседний стол.

Оба молчали, в комнате никого не было, и слышались только звуки ножа о тарелку и чавканье поручика. Когда Телянин кончил

завтрак, он вынул из кармана двойной кошелек, изогнутыми кверху маленькими белыми пальцами раздвинул кольца, достал золотой и, приподняв брови, отдал деньги слуге.

— Пожалуйста, поскорее, — сказал он.

Золотой был новый. Ростов встал и подошел к Телянину.

— Позвольте посмотреть мне кошелек, — сказал он тихим, чуть слышным голосом.

С бегающими глазами, но все с поднятыми бровями, Телянин подал кошелек.

— Это сувенир панночки одной... да... — сказал он и вдруг побледнел. — Посмотрите, юноша, — прибавил он.

Ростов взял в руки кошелек и посмотрел на него и на деньги, которые были в нем, и на Телянина. Поручик оглядывался кругом по своей привычке и, казалось, вдруг стал очень весел.

— Коли будем в Вене, все там оставлю, а теперь и девать некуда в этих дрянных городишках, — сказал он. — Ну, давайте, юноша, я пойду.

Ростов молчал.

— Что, вы покупаете лошадь у Денисова?



Хорош конь, — продолжал Телянин. — Давайте же. — Он протянул руку и взялся за кошелек. Ростов выпустил его. Телянин взял кошелек и стал опускать его в карман рейтуз, и брови его небрежно поднялись, а рот слегка раскрылся, как будто он говорил: „Да, кладу в карман свой кошелек, и это очень просто, и никому до этого дела нет“.

— Ну что, юноша? — сказал он, вздохнув, и из-под приподнятых бровей взглянул в глаза Ростова. Какой-то свет глаз с быстротою электрической искры перебежал из глаз Телянина в глаза Ростова и обратно, обратно и обратно, все в одно мгновение.

— Подите сюда, — проговорил Ростов, хватая Телянина за руку. Он почти притащил его к окну. — Вы вор! — прошептал он ему над ухом.

— Что?... Что?... Как вы смеете? Что?... — Но эти слова звучали жалобным, отчаянным криком и мольбой о прощении. Как только Ростов услышал этот звук голоса, с души его свалился огромный камень сомнения. Он почувствовал радость, и в то же мгновение ему стало так жалко несчастного, стоявшего пе-

ред ним человека, что слезы выступили ему на глаза.

— Здесь люди, Бог знает что могут подумать, — бормотал Телянин, схватывая фуражку и направляясь в небольшую пустую комнату. — Объясните, что с вами?

Когда они вошли в эту комнату, Телянин был бледен, сер, мал ростом и как будто после тяжелой болезни похудел.

— Вы нынче украли кошелек из-под подушки Денисова, — сказал Ростов с расстановкой. Телянин хотел что-то сказать. — Я это знаю, и я это докажу.

— Я...

Серое лицо, потерявшее всю миловидность, начало дрожать всеми мускулами, глаза бегали не по-старому, а уже где-то внизу, не поднимаясь до лица Ростова, и слышались всхлипыванья.

— Граф!.. не губите... молодого человека... вот эти несчастные... деньги, возьмите их... — Он бросил их на стол. — У меня отец старик, мать!..

Ростов взял деньги, избегая взгляда Телянина, и, не говоря ни слова, пошел из комна-

ты. Но у двери он остановился и вернулся назад.

— Боже мой, — сказал он со слезами на глазах, — как вы могли это сделать?

— Граф, — умилительно сказал Телянин, приближаясь к юнкеру.

— Не трогайте меня, — проговорил Ростов, отстраняясь. — Ежели вам нужда, возьмите эти деньги. — Он швырнул ему кошелек. — Не дотрагивайтесь до меня, не дотрагивайтесь! — И Ростов выбежал из трактира, едва скрывая слезы.

Вечером того же дня на квартире Денисова шел оживленный разговор офицеров эскадрона.

— А я говорю вам, Ростов, что вам надо извиниться перед полковым командиром, — говорил, обращаясь к пунцово-красному, взволнованному Ростову, высокий штаб-ротмистр с сидящими волосами, огромными усами и крупными чертами морщинистого лица. Штаб-ротмистр Кирстен был два раза разжалован в солдаты за дела чести и два раза выслуживался. Человек, не верящий в Бога, был бы менее странен в полку, чем человек, не

уважающий штаб-ротмистра Кирстена.

— Я никому не позволю себе говорить, что я лгу! — вскрикнул Ростов. — Он сказал мне, что я лгу, а я сказал ему, что он лжет. Так с тем и останется. На дежурство может меня назначать хоть каждый день, и под арест сажать, а извиняться меня никто не заставит, потому что ежели он как полковой командир считает недостойным себя дать мне удовлетворение, так...

— Да вы постойте, батюшка, вы послушайте меня, — перебил штаб-ротмистр своим басистым голосом, спокойно разглаживая свои длинные усы. — Вы при других офицерах говорите полковому командиру, что офицер украл.

— Не могу и не умею быть дипломатом, я не виноват, что разговор зашел при других офицерах. Я затем в гусары и пошел, думал, что здесь не нужно тонкостей, а он мне говорит, что я лгу... так пусть даст мне удовлетворение...

— Это все хорошо, никто не думает, что вы трус, да не в том дело. Спросите у Денисова, похоже это на что-нибудь, чтобы юнкер тре-

бывал удовлетворения у полкового командира?

Денисов, закусив ус, с мрачным видом слушал разговор, видимо, не желая вступать в него. На вопрос штаб-ротмистра он отрицательно покачал головой.

— Я тебе сказал, — обратился он к штаб-ротмистру, — суди ты, как знаешь. Я знаю только, что, кабы я вас не слушал и размочалил бы давно голову этому воришке (с самого начала мне его дух противен был), так ничего бы не было, и не было бы всей этой истории, сраму.

— Ну, да дело сделано, — продолжал штаб-ротмистр. — Вы при офицерах говорите полковому командиру про эту пакость. Богданыч (Богданычем называли полкового командира) вас осадил, вы наговорили ему глупостей, и надо вам извиниться.

— Ни за что! — крикнул Ростов.

— Не думал я этого от вас, — серьезно и строго сказал штаб-ротмистр. — Вы не хотите извиниться, а вы, батюшка, не только перед ним, а перед всем полком, перед всеми нами, вы кругом виноваты. А вот как: кабы вы поду-

мали да посоветовались, как обойтись с этим делом, а то вы прямо, да при офицерах и бухнули. Что теперь делать полковому командиру? Надо отдать под суд офицера и замарать весь полк? Из-за одного негодяя весь полк осрамить? Так, что ли, по-вашему? А по-нашему — не так. И Богданыч молодец, он вам сказал, что вы неправду говорите. Неприятно, да что делать, батюшка, сами наскочили. А теперь, как дело хотят замять, так вы из-за фанаберии какой-то не хотите извиниться, а хотите все рассказать. Вам обидно, что вы подозреваете, да что вам извиниться перед старым и честным офицером? Какой бы там ни был Богданыч, а все честный и храбрый старый полковник, так вам обидно, а замарать полк вам ничего? — Голос штаб-ротмистра начал дрожать. — Вы, батюшка, в полку без году неделя, нынче здесь, завтра перешли куда в адъютантики, вам наплевать, что говорить будут: «Между павлоградскими офицерами воры!» А нам не все равно. Так, что ли, Денисов? Не все равно?

— Да, брат, руку бы дал свою отрубить, чтобы не было этого дела, — сказал Денисов,

стукнув кулаком по столу.

— Вам своя фанаберия дорога, извиниться не хочется, — продолжал штаб-ротмистр, — а нам старикам, как мы выросли, да и умереть, Бог даст, придется в полку, так нам честь полка дорога, и Богданыч это знает. Ох, как дорога, батюшка! А это нехорошо, нехорошо. Там обижайтесь или нет, а я всегда правду-матку скажу. Нехорошо.

И штаб-ротмистр встал и отвернулся от Ростова.

— Правда, черт возьми! — закричал Денисов, начиная горячиться и поглядывая на Ростова. — Ну, Ростов! ну, Ростов! ну к черту ложный стыд, ну!

Ростов, краснея и бледнея, смотрел то на одного, то на другого офицера.

— Нет, господа, нет... вы не думайте... я очень понимаю, вы напрасно обо мне думаете так... я... для меня... я за честь полка... да что? это на деле я покажу, и для меня честь знамени... ну, все равно, правда, я виноват!.. — Слезы стояли у него в глазах. — Я виноват, кругом виноват!.. Ну, что вам еще?..

— Вот это так, граф, — поворачиваясь,

крикнул штаб-ротмистр, ударяя его большою рукой по плечу.

— Я тебе говорю, — закричал Денисов, — он, черт возьми, малый славный.

— Так-то лучше, граф, — повторил штаб-ротмистр, как будто за его признание начиная величать его титулом. — Подите и извинитесь, ваше сиятельство, да-с.

— Господа, все сделаю, никто от меня слова не услышит, — умоляющим голосом проговорил Ростов, — но извиниться не могу, ей-богу не могу, как хотите! Как я буду извиняться, точно маленький, прощения просить?

Денисов засмеялся.

— Вам же хуже. Богданых злопамятен, заплатите за упрямство.

— Ей-богу, не упрямство! Я не могу вам описать, какое чувство, не могу...

— Ну, ваша воля, — сказал штаб-ротмистр. — Что ж, мерзавец-то этот куда делся? — спросил он у Денисова.

— Сказался больным, завтра велено приказом исключить. Ох, попадись он мне, — проговорил Денисов, — как муху раздавлю.

— Это болезнь, иначе нельзя объяснить, —



сказал штаб-ротмистр.

— Уж там болезнь, не болезнь, а пристрелил бы с радостью, — кровожадно прокричал Денисов.

В комнату вошел Жерков.

— Ты как? — обратились вдруг офицеры к вошедшему.

— Поход, господа, Макк в плен сдался и с армией, со всем.

— Врешь!

— Сам видел.

— Как? Макка живого видел? С руками, с ногами?

— Поход! Поход! Дать ему бутылку за такую новость. Ты как же сюда попал?

— Опять в полк выслали, за черта, за Макка. Австрийский генерал пожаловался. Я его поздравил с приездом Макка.

— Ты что, Ростов, точно из бани?

— Тут, брат, у нас такая каша второй день.

Вошел полковой адъютант и подтвердил известие, привезенное Жерковым. Назавтра велено было выступать.

— Поход, господа.

— Ну, и славу Богу, засиделись.

## VI

Кутузов отступил к Вене, уничтожая за собой мосты на реках Инне (в Браунау) и Трауне (в Линце). 23-го октября русские войска переходили реку Энс. Русские обозы, артиллерия и колонны войск в середине дня тянулись через город Энс, по сю и по ту сторону моста. День был теплый, осенний и дождливый. Пространная перспектива, раскрывавшаяся с возвышения, где стояли русские батареи, защищавшие мост, то вдруг затягивалась кисейным занавесом косого дождя, то вдруг расширялась, и при свете солнца далеко и ясно становились видны предметы, точно покрытые лаком. Виднелся городок под ногами с своими белыми домами и красными крышами, собором и мостом, по обеим сторонам которого, толпясь, лились массы русских войск. Виднелись на повороте Дуная суда и остров, и замок с парком, окруженный водами впадения Энса в Дунай, виднелся левый скалистый и покрытый сосновым лесом берег Дуная с таинственной далью зеленых вершин и голубеющими ущельями. Виднелись башни мона-

стыря, выдававшегося из-за соснового, казавшегося нетронутым, дикого леса, и далеко впереди, на горе, по ту сторону Энса, виднелись разъезды неприятеля.

Между орудиями, на высоте, стояли впереди начальник арьергарда, генерал с свитским офицером, рассматривая в трубу местность. Несколько позади сидел на хоботе орудия князь Несвицкий, посланный от главнокомандующего к арьергарду. Казак, сопутствовавший Несвицкому, подал сумочку и фляжку, и Несвицкий угощал офицеров пирожками и настоящим допелькюмелем. Офицеры радостно окружали его, кто на коленях, кто сидя по-турецки на мокрой траве.

— Да, не дурак был этот австрийский князь, что тут замок выстроил. Славное место. Что же вы не едите, господа, — говорил Несвицкий.

— Покорно благодарю, князь, — отвечал один из офицеров, с удовольствием разговаривая с таким важным штабным чиновником. — Прекрасное место. Мы мимо самого парка проходили, двух оленей видели, и дом какой чудесный!

— Посмотрите, князь, — сказал другой, которому очень хотелось взять еще пирожка, но совестно было, и который поэтому притворился, что он оглядывает местность, — посмотрите-ка, уж забрались туда наши пехотные. Вон там, на лужку, за деревней, трое тянут что-то. Они проберут этот дворец, — сказал он с видимым одобрением.

— И то, и то, — сказал Несвицкий. — Нет, а чего бы я желал, — прибавил он, прожевывая пирожок в своем красивом влажном рте, — так это вон туда забраться. — Он указывал на монастырь с башнями, видневшийся на горе. Он улыбнулся, глаза его сузились и засветились. — А ведь хорошо бы, господа!

Офицеры засмеялись.

— Хоть бы попугать этих монашенок. Итальянки, говорят, есть молоденькие. Право, пять лет жизни отдал бы.

— Им ведь и скучно, князь, — смеясь сказал офицер, который был посмелее.

Между тем свитский офицер, стоявший впереди, указывал что-то генералу; генерал смотрел в зрительную трубку.

— Ну, так и есть, так и есть, — сердито ска-

зал генерал, опуская трубку от глаз и пожирая плечами, — так и есть, станут бить по переправе. И что они там мешкают?

На той стороне простым глазом виден был неприятель и его батарея, на которой показался молочно-белый дымок. Вслед за дымком раздался дальний выстрел, и видно было, как наши войска заспешили на переправе.

Несвицкий, отдуваясь, поднялся и, улыбаясь, подошел к генералу.

— Не угодно ли закусить вашему превосходительству, — сказал он.

— Нехорошо дело, — сказал генерал, не отвечая ему, — замешкались наши.

— Не съездить ли, ваше превосходительство? — сказал Несвицкий.

— Да, съездите, пожалуйста, — сказал генерал, повторяя то, что уже раз подробно было приказано, — и скажите гусарам, чтоб они последние перешли и зажгли мост, как я приказывал, да чтобы горючие материалы на мосту еще осмотреть.

— Очень хорошо, — отвечал Несвицкий.

Он кликнул казака с лошастью, велел убраться сумочку и фляжку и легко перекинул

свое тяжелое тело на седло.

— Право, заеду к монашенкам, — сказал он офицерам, с хитрою улыбкой глядевшим на него, и поехал по вьющейся тропинке под гору.

— Ну-тка, куда донесет, капитан, хватите-ка, — сказал генерал, обращаясь к артиллеристу. — Позабавьтесь от скуки.

— Прислуга к орудиям! — скомандовал офицер, и через минуту весело выбежали от костров артиллеристы и зарядили.

— Первое! — послышалась команда.

Бойко отскочил первый номер. Металлически оглушая, зазвенело орудие, и через головы всех наших под горой, свистя, перелетела граната и, далеко не долетев до неприятеля, дымком показала место своего падения и лопнула.

Лица солдат и офицеров повеселели при этом звуке; все поднялись и занялись наблюдениями над видными, как на ладони, движениями внизу наших войск и впереди — движениями приближавшегося неприятеля. Солнце в ту же минуту совсем вышло из-за туч, и этот красивый звук одинокого выстре-

ла и блеск яркого солнца слились в одно бодрое и веселое впечатление.

## VII

Над мостом уже пролетели два неприятельских ядра, и на мосту была давка. В середине моста, слезши с лошади, прижатый своим толстым телом к перилам, стоял князь Несвицкий. Он, смеясь, оглядывался назад на своего казака, который с двумя лошадьми в поводу стоял несколько шагов позади его. Только что князь Несвицкий хотел двинуться вперед, как опять солдаты и повозки напирали на него и опять прижимали его к перилам, и ему ничего не оставалось, как улыбаться.

— Экой ты, братец мой! — говорил казак фурштатскому солдату с повозкой, напиравшему на толпившуюся у самых колес и лошадей пехоту, — экой ты! Нет, чтобы подождать, видишь, генералу проехать. — Но фурштат, не обращая внимания на наименование генерала, кричал на солдат, запружавших ему дорогу. — Эй! землячки! держись влево, стой! — Но землячки, теснясь плечо с плечом, цепляясь штыками и не прерываясь, двига-

лись по мосту одною сплошною массой. Поглядев за перила вниз, князь Несвицкий видел быстрые, мутные, невысокие волны Энса, которые, сливаясь, рябея и загибаясь около свай моста, перегоняли одна другую. Поглядев на мост, он видел столь же однообразные, живые волны солдат, кутасы, кивера с чехлами, ранцы, штыки, длинные ружья и из-под киверов лица, с широкими скулами, ввалившимися щеками и беззаботно усталыми выражениями, и движущиеся ноги по натасканной на доски моста липкой грязи. Иногда между однообразными волнами солдат, как взбрызг белой пены в волнах Энса, протискивался между солдатами офицер в плаще с своею отличною от солдат физиономией, иногда как щепка, вьющаяся по реке, уносился по мосту волнами пехоты пеший гусар, денщик или житель, иногда, как бревно, плывущее по реке, окруженная со всех сторон проплывала по мосту ротная или офицерская, наложенная доверху и прикрытая кожами, повозка.

— Вишь их, как плотину прорвало, — безнадежно останавливаясь, говорил казак. — Много ль вас еще там?



— Мелион без одного! — подмигивая, говорил близко проходивший в прорванной шинели веселый солдат и скрывался; за ним проходил другой, старый солдат.

— Как он (он — неприятель) таперича по мосту примется чесать, — говорил мрачно старый солдат, обращаясь к товарищу, — забудешь чесаться, — и солдат проходил. За ним другой солдат ехал на повозке.

— Куда, черт, подвертки запихал? — говорил денщик, бегом следуя за повозкой и шаря в задке. И этот проходил с повозкой. За этим шли веселые и, видимо, выпившие солдаты.

— Как он его, милый человек, полыхнет прикладом-то в самые зубы... — радостно говорил один солдат в высоко подоткнутой шинели, широко размахивая рукой.

— То-то оно, сладкая ветчина-то, — отвечал другой с хохотом.

И они прошли, так что Несвицкий не узнал, кого ударили в зубы и к чему относилась ветчина.

— Эк торопятся, что он холодную пустил. Так и думаешь, всех перебьют, — говорил унтер-офицер сердито и укоризненно.

— Как оно пролетит мимо меня, дяденька, ядро-то, — говорил едва удерживаясь от смеха с огромным ртом молодой солдат, — я так и обмер. Право, ей-богу, так испужался, беда! — говорил этот солдат, как будто хвастаясь тем, что он испугался.

И этот проходил; за ним следовала повозка, непохожая на все проезжавшие до сих пор. Это был немецкий форшпан на паре, нагруженный, казалось, целым домом; за форшпаном, который вез немец, привязана была красивая, пестрая, с огромным выменем, корова. На перинах сидела женщина с грудным ребенком, старуха и молодая, багрово-румяная, здоровая девушка, немка. Видно, по особому разрешению были пропущены эти выселявшиеся жители. Глаза всех солдат обратились на женщин, и, пока проезжала повозка, двигаясь шаг за шагом, все замечания солдат относились только к двум женщинам. На всех лицах была почти одна и та же улыбка непристойных мыслей об этой женщине.

— Ишь колбаса-то, тоже убирается.

— Продай матушку, — ударяя на последнее слово, говорил другой солдат, обращаясь к

немцу, который, опустив глаза, сердито и испуганно шел широким шагом.

— Эх убралась как! То-то черти!

— Вот бы тебе к ним стоять, Федотов!

— Видали, брат!

— Куда вы? — спрашивал пехотный офицер, евший яблоко, тоже полуулыбаясь и глядя на красивую девушку. Немец, закрывая глаза, показывал, что не понимает.

— Хочешь, возьми себе, — говорил офицер, подавая девушке яблоко. Девушка улыбнулась и взяла. Несвицкий, как и все бывшие на мосту, не спускал глаз с женщин, пока они не проехали. Когда они проехали, опять шли такие же солдаты, с такими же разговорами, и, наконец, все остановились. Как это часто бывает, на выезде моста замялись лошади в ротной повозке, и вся толпа должна была ждать.

— И что становятся? Порядку-то нет! — говорили солдаты. — Куда прешь? Черт! Нет того, чтобы подождать. Хуже того будет, как он мост подожжет. Вишь, и офицера-то притерли, — говорили с разных сторон остановившиеся толпы, оглядывая друг друга, и все жались вперед к выходу.

Оглянувшись под мост на воды Энса, Несвицкий вдруг услышал еще новый для него звук быстро приближающегося, чего-то большого и чего-то шлепнувшегося в воду.

— Ишь ты, куда фатает! — строго сказал близко стоявший солдат, оглядываясь на звук.

— Подбадривает, чтобы скорей проходили, — сказал другой беспокойно. Толпа опять тронулась. Несвицкий понял, что это было ядро.

— Эй, казак, подавай лошадь! — сказал он. — Ну, вы! сторонись! посторонись! дорогу!

Он с большим усилием добрался до лошади. Не переставая кричать, он тронулся вперед. Солдаты пожались, чтобы дать ему дорогу, но снова опять нажали на него так, что отдавили ему ногу, и ближайšie не были виноваты, потому что их давили еще сильнее.

— Несвицкий! Несвицкий! Ты рожа! — слышался в это время сзади хриплый голос.

Несвицкий оглянулся и увидал в пятнадцати шагах отделенного от него живую массой выдвигающейся пехоты красного, черного, лохматого, в фуражке на затылке и в моло-

децки накинутом на плече ментике Ваську Денисова.

— Вели ты им, чертям, дьяволам, дать дорогу, — кричал Васька, видимо, находясь в припадке горячности, блестя и поводя своими черными, как уголь, глазами в воспаленных белках и махая невынутой из ножен саблей, которую он держал такую же красной, как и лицо, голою маленькою рукой.

— Э! Вася, — отвечал радостно Несвицкий. — Да ты что?

— Эскадрону пройти нельзя, — кричал Васька Денисов, злобно открывая белые зубы, шпоря своего красивого вороного кровного Бедуина, который, мигая ушами от штыков, на которые он натыкался, фыркал, брызгая вокруг себя пеной с мундштука, звеня, бил копытами по доскам моста и, казалось, готов был перепрыгнуть через перила моста, ежели бы ему позволил седок. — Что это? как бараны! точь-в-точь бараны! Точь... дай дорогу!.. Стой там! ты, повозка, черт! саблей изрублю... — кричал он, действительно вынимая наголо саблю и начиная махать ею.

Солдаты с испуганными лицами нажались

друг на друга, и Денисов присоединился к Несвицкому.

— Что же ты не пьян нынче? — сказал Несвицкий Денисову, когда он подъехал к нему.

— И напиться-то времени не дадут! — отвечал Денисов. — Целый день то туда, то сюда таскают полк. Драться так драться. А то черт знает, что такое!

— Каким ты щеголем нынче! — оглядывая его новый ментик и вальтрап, сказал Несвицкий.

Денисов улыбнулся, достал из ташки платок, распространявший запах духов, и сунул в нос Несвицкому.

— Нельзя, в дело иду! Выбрился, зубы вычистил и надушился.

Осанистая фигура Несвицкого, сопровождаемая казаком, и решительность Денисова, махавшего саблей и отчаянно кричавшего, подействовали так, что они протискались на ту сторону моста и остановили пехоту. Несвицкий нашел у выезда полковника, которому ему надо было передать приказание и, исполнив свое поручение, поехал назад.

Расчистив дорогу, Денисов остановился у входа на мост. Небрежно сдерживая рвавшегося к своим и бившего ногой жеребца, он смотрел на двигавшийся ему навстречу эскадрон. По доскам моста раздались прозрачные звуки копыт, как будто скакало несколько лошадей, и эскадрон с офицерами впереди, по четыре человека в ряд, растянулся по мосту и стал выходить на ту сторону.

Молодой красавец Перонский, лучший ездок полка и богач, на трехтысячном жеребце, каракулируя, ехал в замке. Остановленные пехотные солдаты, толпясь в растоптанной у моста грязи, с тем особенным недоброжелательным чувством отчужденности и насмешки, с каким встречаются обыкновенно различные роды войск, смотрели на чистых щеголеватых гусар, стройно проходивших мимо них.

— Нарядные ребята! Только бы на Подновинское!

— Что от них проку! Только на показ и водят! — говорил другой.

— Пехота, не пыли! — шутил гусар, под которым лошадь, заиграв, брызнула грязью в

пехотинца.

— Прогонял бы тебя с ранцем перехода два, шнурки-то бы повытерлись, — обтирая рукавом грязь с лица, говорил пехотинец, — а то не человек, а птица сидит!

— То-то бы тебя, Зикин, на коня посадить, ловок бы ты был, — шутил ефрейтор над худым, скрюченным от тяжести ранца солдатиком.

— Дубинку промеж ног возьми, вот тебе и конь будет, — отозвался гусар.

## VIII

Остальная пехота поспешно проходила по мосту, спираясь воронкой у входа. Наконец повозки все прошли, давка стала меньше, и последний батальон вступил на мост. Одни гусары эскадрона Денисова оставались по ту сторону моста против неприятеля. Неприятель, вдалеке видный с противоположной горы, снизу от моста не был еще виден, так как из лоцины, по которой текла река, горизонт оканчивался противоположным возвышением не дальше полуверсты. Впереди была пустыня, по которой кое-где шевелились кучки



наших разъездных казаков. Вдруг на противоположном возвышении дороги показались войска в синих капотах и артиллерия. Это были французы. Разъезд казаков рысью отошел под гору. Все офицеры и люди эскадрона Денисова, хотя и старались говорить о постороннем и смотреть по сторонам, не переставали думать только о том, что было там, на горе, и беспрестанно все вглядывались в выходившие на горизонт пятна, которые они признавали за неприятельские войска. Погода после полудня опять прояснилась, солнце ярко спускалось над Дунаем и окружающими его темными горами. Было тихо, и с той горы изредка долетали звуки рожков и криков неприятеля. Между эскадроном и неприятелями уже никого не было, кроме мелких разъездов. Пустое пространство, сажений в триста, отделяло их от него. Неприятель перестал стрелять, и тем яснее чувствовалась та строгая, грозная, неприступная и неуловимая черта, которая разделяет два неприятельских войска.

Один шаг за эту черту, напоминающую черту, отделяющую живых от мертвых, и

неизвестность страдания и смерть. И что там? кто там? там, за этим полем, и деревом, и крышей, освещенной солнцем? Никто не знает, и хочется знать, и страшно перейти эту черту, и хочется перейти ее, и знаешь, что рано или поздно придется перейти ее и узнать, что там, по той стороне черты, как и неизбежно узнать, что там, по ту сторону смерти. А сам силен, здоров, весел и раздражен и окружен такими здоровыми и раздраженно-оживленными людьми. Хотя и не думает, но чувствует все это всякий человек, находящийся в виду неприятеля, и чувство это придает особенный блеск и радостную резкость впечатлений всего происходящего в эти минуты.

На бугре у неприятеля показался дымок выстрела, и ядро, свистя, пролетело над головами гусарского эскадрона. Офицеры, стоявшие вместе, разъехались по местам, гусары старательно стали выравнивать лошадей. В эскадроне все замолкло. Все поглядывали вперед на неприятеля и на эскадронного командира, ожидая команды. Пролетело другое, третье ядро. Очевидно, что стреляли по гусарам; но ядро, равномерно быстро свистя, про-

летало над головами гусар и ударялось где-то сзади. Гусары не оглядывались, но при каждом звуке пролетающего ядра, будто по команде, весь эскадрон с своими однообразно-разнообразными лицами и подстриженными усами сдерживал дыхание, пока летело ядро, и, напрягая мышцы ног в натянутых синих рейтузах, приподнимался на стременах и снова опускался. Солдаты, не поворачивая головы, косились друг на друга, с любопытством высматривая впечатление товарища. На каждом лице, от Денисова до горниста, показалась около губ и подбородка одна общая черта борьбы раздраженности и волнения. Вахмистр хмурился, оглядывая солдат, как будто угрожая наказанием. Юнкер Миронов нагибался при каждом пролете ядра. Ростов, стоя на левом фланге на своем тронуте ногами, но видном Грачике, имел счастливый вид ученика, вызванного перед большою публикой к экзамену, в котором он уверен, что отличится. Он ясно и светло оглядывался на всех, как бы прося обратить внимание на то, как он спокойно стоит под ядрами. Но и в его лице та же черта чего-то нового и строгого,

против его воли, показывалась около рта.

— Кто там кланяется? Юнкер Миронов! Нехорошо, на меня смотрите! — закричал Денисов, которому не стоялось на месте и который вертелся на лошади перед эскадроном.

Курносое и черноволосатое лицо Васьки Денисова и вся его маленькая сбитая фигурка с жилистою, с короткими пальцами, покрытыми волосами, кистью руки, в которой он держал эфес вынутой наголо сабли, было точно такое же, как и всегда, особенно к вечеру, после выпитых двух бутылок. Он был только более обыкновенного красен и, задрав свою мохнатую голову кверху, как птицы, когда они поют, безжалостно вдавив своими маленькими ногами шпоры в бока доброго Бедуина, он, будто падая назад, поскакал к другому флангу эскадрона и хриплым голосом закричал, чтоб осмотрели пистолеты. Проездом взглянул он на замкового красавца-офицера Перонского и поспешно отвернулся.

Перонский в гусарской полуформе, на своем тысячном коне, был очень красив. Но красивое лицо его было бледно как снег. Кровный его жеребец, чуя страшные над головой

звуки, приходил в то рьяное бешенство породистой и выездженной лошади, которое так любят дети и гусары. То он фыркал, звеня цепочкой и кольцами мундштука, и бил мускулистою тонкою ногой землю, иногда не доставая ее, махал по воздуху, то, направо и налево поворачивая, насколько пускал мундштук, свою сухую голову, косился выпуклым и налитым кровью черным глазом на седока. Денисов, сердито отвернувшись от него, направился к Кирстену. Штаб-ротмистр на широкой и степенной кобыле шагом ехал навстречу Денисову. Штаб-ротмистр со своими длинными усами был серьезен, как и всегда, только глаза его блестели больше обыкновенного.

— Да что? — сказал он Денисову. — Не дойдет дело до атаки. Вот увидишь, назад уйдем.

— Черт их знает, что делают! — прокричал Денисов. — А! Ростов! — крикнул он юнкеру, заметив его. — Ну, дождался. — И он улыбнулся одобрительно, видимо радуясь на юнкера.

Ростов почувствовал себя совершенно счастливым. В это время начальник показался на мосту. Денисов поскакал к нему.

— Ваше превосходительство! Позвольте атаковать! Я их опрокину!

— Какие тут атаки, — сказал начальник скучливым голосом, морщась, как от докучливой мухи. — И зачем вы тут стоите? Видите, фланкеры отступают? Ведите назад эскадрон.

Эскадрон перешел мост и вышел из-под выстрелов, не потеряв ни одного человека. Вслед за ним перешел и второй эскадрон, бывший в цепи, и последние казаки очистили ту сторону.

## IX

Два эскадрона павлоградцев, перейдя мост, один за другим пошли назад в гору. Полковой командир, Карл Богданович Шуберт, подъехал к эскадрону Денисова и ехал шагом недалеко от Ростова, не обращая на него никакого внимания, несмотря на то, что после бывшего столкновения за Телянина они виделись теперь в первый раз. Ростов, чувствуя себя во фронте во власти человека, перед которым он теперь считал себя виноватым, не спускал глаз с атлетической спины, белокуро-

го затылка и красной шеи полкового командира. Ростову то казалось, что Богданых только притворяется невнимательным и что вся цель его теперь состоит в том, чтобы испытать храбрость юнкера, и он выпрямлялся и весело оглядывался; то ему казалось, что Богданых нарочно едет близко, чтобы показать Ростову свою храбрость. То ему думалось, что враг его теперь нарочно пошлет эскадрон в отчаянную атаку, чтобы наказать его, Николая. То думалось, что после атаки от подойдет к нему и великодушно протянет ему, раненому, руку примирения.

Знакомая павлоградцам, с высоко поднятыми плечами, фигура Жеркова подъехала к полковому командиру. Жерков, после своего изгнания из главного штаба, не остался в полку, говоря, что он не дурак во фронте ляжку тянуть, когда он при штабе, ничего не делая, получит наград больше, и умел пристроиться ординарцем к князю Багратиону. Он приехал к своему бывшему начальнику с приказанием от начальника аррьергарда.

— Полковник, — сказал он с своею мрачною серьезностью, обращаясь к врагу Нико-

лая Ростова и оглядывая товарищей, — велено остановиться, мост зажечь.

— Кто велено? — угрюмо спросил полковник.

— Уж я и не знаю, полковник, кто велено, — наивно и серьезно отвечал корнет, — но только мне князь приказал: «Поезжай и скажи полковнику, чтобы гусары вернулись скорей и зажгли бы мост».

Вслед за Жерковым к гусарскому полковнику подъехал свитский офицер с тем же приказанием. Вслед за свитским офицером на казачьей лошади, которая насилу несла его галопом, подъехал толстый Несвицкий.

— Как же, полковник, — кричал он еще на езде, — я вам говорил мост зажечь; а теперь кто-то переврал, там все с ума сходят, ничего не разберешь.

Полковник неторопливо остановил полк и обратился к Несвицкому:

— Вы мне говорили про горючие вещества, — сказал он, — а про то, чтобы зажигать, вы мне ничего не говорили.

— Да как же, батюшка, — заговорил, остановившись, Несвицкий, снимая фуражку и



расправляя пухлую рукой мокрые от пота волосы, — как же не говорил, что мост зажечь, когда горючие вещества положили.

— Я вам не «батюшка», господин штаб-офицер, а вы мне не говорили, чтобы мост зажигайт! Я служба зная, и мне в привычка приказания строго исполняют. Вы сказали, мост зажгут, я святым духом не могу знайт...

— Ну вот, всегда так, — махнув рукой, сказал Несвицкий.

— Ты как здесь? — обратился он к Жеркову.

— Да затем же. Однако ты отсырел, дай я тебя выжму.

— Вы сказали, господин штаб-офицер... — продолжал полковник обиженным тоном.

— Полковник, — перебил свитский офицер, — надо торопиться, а то неприятель подвинет орудия на картечный выстрел.

Полковник молча посмотрел на свитского офицера, на толстого штаб-офицера, на Жеркова и нахмурился.

— Я буду мост зажигайт, — сказал он торжественным тоном, как будто, несмотря на все делаемые ему неприятности, он выражал

этим свое великодушие.

Ударив своими длинными, мускулистыми ногами лошадь, как будто она была во всем виновата, полковник выдвинулся вперед и второму эскадрону, тому самому, в котором служил Ростов под командою Денисова, командовал вернуться назад к мосту.

«Ну, так и есть, — подумал Ростов, — он хочет испытать меня! — Сердце его сжалось, и кровь бросилась к лицу. — Пускай посмотрит, трус ли я?» — подумал он.

Опять на всех веселых лицах людей эскадрона появилась та серьезная черта, которая была на них в то время, как они стояли под ядрами.

Николай, не спуская глаз, смотрел на своего врага, полкового командира, желая найти на его лице подтверждение своих догадок; но полковник ни разу не взглянул на Николая, а смотрел, как всегда во фронте, строго и торжественно. Послышалась команда.

— Живо! Живо! — проговорило около него несколько голосов. Цепляясь саблями за поводья, гремя шпорами и торопясь, слезали гусары, сами не зная, что они будут делать. Гуса-

ры крестились. Ростов уже не смотрел на полкового командира, ему некогда было. Он боялся, с замиранием сердца боялся, как бы ему не отстать от гусар. Рука его дрожала, когда он передавал лошадь коноводу, и он чувствовал, как со стуком приливает кровь к его сердцу. Денисов, заваливаясь назад и крича что-то, проехал мимо него. Николай ничего не видел, кроме бежавших вокруг него гусар, цеплявшихся шпорами и брэнчавших саблями.

— Носилки! — крикнул чей-то голос сзади. Ростов не подумал о том, что значит требование носилок, он бежал, стараясь только быть впереди всех, но у самого моста он, не смотря под ноги, попал в вязкую, растоптанную грязь и, споткнувшись, упал на руки. Его обожали другие.

— По обоней сторона, ротмистр, — слышался ему голос полкового командира, который, заехав вперед, стал верхом недалеко от моста с торжествующим и веселым лицом.

Ростов, обтирая испачканные руки о рейтузы, оглянулся на своего врага и хотел бежать дальше, полагая, что, чем он дальше уйдет вперед, тем будет лучше. Но Богданых, хо-

тя и не глядел, и не узнал Ростова, крикнул на него:

— Кто посредине моста бежит? На права сторона! Юнкер, назад! — сердито закричал он.

Но и тут Карл Богданович не обратил на него внимания; зато он обратился к Денисову, который, щеголяя храбростью, въехал верхом на доски моста.

— Зачем рисковайте, ротмистр! Вы бы слезли, — сказал полковник.

— Э! виноватого найдет, — отвечал Васька Денисов, поворачиваясь на седле.

Между тем Несвицкий, Жерков и свитский офицер стояли вместе, вне выстрелов, и смотрели то на ту, то на эту небольшую кучку людей в желтых киверах, темно-зеленых куртках, расшитых снурками, и синих рейтузах, копошившихся у моста, то на ту сторону, на приближавшиеся вдалеке синие капоты и группы с лошадьми, которые легко можно было принять за орудие.

«Зажгут или не зажгут мост? Кто прежде? Они добегут и зажгут мост или французы подъедут на картечный выстрел и перебьют

их?» Эти вопросы с замиранием сердца невольно задавал себе каждый из того большого количества войск, которые стояли над мостом, и при ярком вечернем свете смотрели на мост и гусаров, и на ту сторону, на подвигавшиеся синие капоты со штыками и орудиями.

— Ох! достанется гусарам! — говорил Несвицкий. — Не дальше картечного выстрела теперь.

— Напрасно он так много людей повел, — сказал свитский офицер.

— И на самом деле, — сказал Несвицкий. — Тут бы двух молодцов послать, все равно бы.

— Ах, ваше сиятельство, — вмешался Жерков, не спуская глаз с гусар, но все с своею наивной манерой, из-за которой нельзя было догадаться, серьезно ли то, что он говорит, или нет. — Ах, ваше сиятельство! Как вы судите! Двух человек послать, а нам-то кто же Владимира с бантом даст? А так-то, хоть и поколотят, да можно эскадрон представить, и самому бантик получить. Наш Богданыч порядки знает.

— Ну, — сказал свитский офицер, — это

картечь. — Он показал на французские орудия, которые снимались с передков и поспешно отъезжали.

— Да врет он, — продолжал Жерков, — и меня представят, и мы под огнем были.

В это время на французской стороне, в тех группах, где были орудия, опять показался дымок, другой, третий, почти в одно время, и в ту минуту, как долетел звук первого выстрела, показался четвертый. Два звука один за другим, и третий.

— О-ох! — охнул Несвицкий, как будто от жгучей боли, хватая за руку свитского офицера. — Посмотрите, упал один, упал, упал.

— Два, кажется

— Был бы я царь, никогда бы не воевал. И что они так долго!

Французские орудия поспешно заряжали. Пехота бегом двинулась к мосту. Опять, но в равных промежутках, показались дымки, и защелкала и затрещала картечь по мосту. Но в этот раз Несвицкий не мог видеть, что делалось на мосту. С моста поднялся густой дым. Гусары успели зажечь мост, и французские батареи стреляли по ним уже не для того, что-

бы помешать, а для того, что орудия были наведены и было по ком стрелять. Французы успели сделать три картечные выстрела, прежде чем гусары вернулись к коноводам. Два залпа были сделаны неверно, и картечь всю перенесло, но зато последний выстрел попал в середину кучки гусар и повалил троих.

Николай Ростов, озабоченный своими отношениями к Богданычу, остановился на мосту, не зная, что ему делать. Рубить (как он всегда воображал себе сражение) было некогда, помогать в зажжении моста он тоже не мог, потому что не взял с собою, как другие солдаты, жгута соломы. Он стоял и оглядывался, как вдруг затрещало по мосту, будто рассыпанные орехи, и один из гусар, ближе всех бывший от него, со стоном упал на перила. Николай подбежал к нему вместе с другими. Опять закричал кто-то: «Носилки!» Гусара подхватили четыре человека и стали поднимать.

— Оооо! Бросьте, ради Христа, — закричал раненый, но его все-таки подняли и положили. Фуражка упала с него. Ее подняли и броси-

ли в носилки. Николай Ростов отвернулся и, как будто отыскивая чего-то, стал смотреть вдаль, на воду Дуная, на небо, на солнце. Как хорошо показалось небо, как голубо, спокойно и глубоко! как ярко и торжественно опускающееся солнце! как ласково-глянцевито блестела вода в далеком Дунае! И еще лучше были далекие голубеющие за Дунаем горы, монастырь, таинственные ущелья, залитые до макушек туманом сосновые леса... там тихо, счастливо... «Ничего, ничего бы я не желал, ничего бы не желал, ежели бы я только был там, — думал Николай. — Во мне одном и в этом солнце так много счастья, а тут... стоны, страдания, страх и эта неясность, эта поспешность... Вот опять кричат что-то и опять все побежали куда-то назад, и я бегу с ними, и вот она, вот она смерть надо мной, вокруг меня... мгновенье, и я никогда уже не увижу этого солнца, этой воды, этого ущелья...» В эту минуту солнце стало скрываться за тучами; впереди Николая показались другие носилки. И страх смерти и носилок, и любовь к солнцу и жизни, все слилось в одно болезненно-тревожное впечатление.



— Господи, Боже! Тот, кто там в этом небе, спаси, прости и защити меня! — прошептал про себя Николай.

Гусары подбежали к коноводам, голоса стали громче и спокойнее, носилки скрылись из глаз.

— Что, брат, понюхал пороху?... — прокричал ему над ухом голос Васьки Денисова.

— «Все кончилось, но я трус, да, я трус», — подумал Николай, и тяжело вздыхая, взял из рук коновода своего отставившего ногу Грачика и стал садиться.

— Что это было — картечь? — спросил он у Денисова.

— Да еще какая! — прокричал Денисов. — Молодцами работали! А работа скверная! Атака любезное дело, там весь горишь, себя не помнишь, а тут черт знает что, бьют, как в мишень.

И Денисов отъехал к остановившейся недалеко от Ростова группе полкового командира, Несвицкого, Жеркова и свитского офицера.

«Однако, кажется, никто не заметил», — думал про себя Ростов. И действительно, ни-

кто ничего не заметил, потому что каждому было знакомо то чувство, которое испытал в первый раз необстрелянный юнкер.

— Вот вам реляция и будет, — сказал Жерков, — глядишь, и меня в подпоручики произведут.

— Доложите князю, что я мост зажигал, — сказал полковник торжественно и весело.

— А коли про потерю спросят?

— Пустячок! — пробасил полковник. — Два гусара ранено, и один наповал, — сказал он с видимою радостью, не в силах удержаться от счастливой улыбки, звучно отрубая красивое слово наповал.

## Х

Преследуемая стотысячною французскою Армиею под начальством Бонапарта, встречаемая враждебно расположенными жителями, не доверяя более своим союзникам, испытывая недостаток продовольствия и принужденная действовать вне всех предвиденных условий войны, русская тридцатипятитысячная армия, под начальством Кутузова, поспешно отступала вниз по Дунаю, оставаясь там, где она бывала настигнута неприятелем, и отбиваясь арьергардными делами, лишь насколько это было нужно для того, чтобы отступить, не теряя тяжестей. Были дела при Ламбахе, Амштеттене и Мельке, но, несмотря на храбрость и стойкость, признаваемую самими французами, с которою дрались русские, последствием этих дел было только еще быстрее отступление. Австрийские войска, избежавшие плена под Ульмом и присоединившиеся к Кутузову у Браунау, отделились теперь от русской армии, и Кутузов был предоставлен только своим слабым, истощенным силам. Защищать

более Вену нельзя было и думать. Вместо наступательной, глубоко обдуманной по законам новой науки стратегии войны, план которой был передан Кутузову в его бытность в Вене австрийским гофкригсратом, единственная, почти недостижимая цель, представлявшаяся теперь Кутузову, состояла в том, чтобы, не погубив армии, подобно Макку под Ульмом, соединиться с войсками, шедшими из России.

28-го октября Кутузов с армией перешел на левый берег Дуная и в первый раз остановился, положив Дунай между собой и главными силами французов. 30-го он атаковал находившуюся на левом берегу Дуная дивизию Мортье и разбил ее. В этом деле в первый раз были взяты трофеи: знамя, орудия и два неприятельские генерала.

В первый раз после двухнедельного отступления русские войска остановились и после борьбы не только удержали поле сражения, но прогнали французов. Несмотря на то, что войска были раздеты, изнурены, на одну треть ослаблены отсталыми, ранеными, убитыми и больными; несмотря на то, что на той

стороне Дуная были оставлены больные и раненые с письмом Кутузова, поручавшим их человеколюбию неприятеля; несмотря на то, что большие госпитали и дома в Кремсе, обращенные в лазареты, не могли уже вмещать в себе всех больных и раненых, несмотря на все это, остановка при Кремсе и победа над Мортье значительно подняли дух войска. Во всей армии и в главной квартире ходили самые радостные, хотя и несправедливые слухи о мнимом приближении колонн из России, о какой-то победе, одержанной австрийцами, и об отступлении испуганного Бонапарта.

Князь Андрей находился во время сражения при убитом в этом деле австрийском генерале Шмидте. Под ним была ранена лошадь, и сам он был слегка оцарапан в руку пулей. В знак особой милости главнокомандующего он был послан с известием об этой победе к австрийскому двору, находившемуся уже не в Вене, которой угрожали французские войска, а в Брюнне. В ночь сражения взволнованный, но не усталый (несмотря на свою слабую наружность, князь Андрей мог переносить физическую усталость гораздо

лучше самых сильных людей), верхом приехав с донесением от Дохтурова в Кремс к Кутузову, князь Андрей был в ту же ночь отправлен курьером в Брюнн. Отправление курьером, кроме наград, означало важный шаг к повышению. Получив депешу, письма и поручения товарищей, князь Андрей ночью, при свете фонаря, вышел на крыльцо и сел в бричку.

— Ну, брат, — говорил Несвицкий, провожая его и обнимая, — вперед поздравляю с Марией-Терезией.

— Как честный человек говорю тебе, — отвечал князь Андрей, — ежели бы мне ничего не дали, мне все равно. Я так счастлив, так счастлив... что везу такие известия... что я сам видел... ты понимаешь меня.

То возбуждающее чувство опасности и сознания храбрости, которое испытал князь Андрей во время сражения, было только усилено бессонною ночью и поручением к австрийскому двору. Он был другим человеком, оживленным и ласковым.

— Ну, Христос с тобой...

— Прощай, душа моя. Прощайте, Козлов-

ский.

— Поцелуй же от меня хорошенькую ручку баронессы Зайфер.

И Cordial бутылочку хоть привези, коли место будет, — говорил Несвицкий.

— Привезу и поцелую.

— Прощай.

Бич хлопнул, и почтовая бричка поскакала по темно-грязной дороге мимо огней войск. Ночь была темная, звездная, дорога чернелась между белевшим снегом, выпавшим накануне, в день сражения. То перебирая впечатления прошедшего сражения, то радостно воображая впечатление, которое он произведет известием о победе, вспоминая проводы главнокомандующего и товарищей, князь Андрей испытывал чувство человека, долго ждавшего и, наконец, достигшего начала желаемого счастья. Как скоро он закрывал глаза, в ушах его раздавалась пальба ружей и орудий, которая сливалась со стуком колес и впечатлением победы. То ему начинало представляться, что русские бегут, что он сам убит; но он поспешно просыпался, со счастьем, как будто вновь узнавал, что ничего

этого не было и что, напротив, французы бежали. Он снова вспоминал все подробности победы, своего спокойного мужества во время сражения и, успокоившись, задремывал... После темной звездной ночи наступило яркое веселое утро. Снег таял на солнце, лошади быстро скакали, и безразлично вправо и влево проходили новые разнообразные леса, поля, деревни.

На одной из станций он обогнал обоз русских раненых. Русский офицер, ведущий транспорт, развалясь на передней телеге, что-то кричал, ругая грубыми словами солдата. В длинных немецких форшпанах тряслось по каменистой дороге по шести и более бледных, перевязанных и грязных раненых. Некоторые из них говорили (он слышал русский говор), другие ели хлеб, самые тяжелые, молча, с кротким и болезненным детским участием, смотрели на скачущего мимо их курьера.

«Несчастные! — подумал князь Андрей, — а и они нужны...» Он велел остановиться и спросил у солдата, в каком деле ранены.

— Позавчера на Дунаю, — отвечал солдат. Князь Андрей достал кошелек и дал солдату



три золотых.

— На всех, — прибавил он, обращаясь к подошедшему офицеру. — Поправляйтесь, ребята, — обратился он к солдатам, — еще дела много.

— Что, господин адъютант, какие новости? — спросил офицер, видимо, желая разговориться.

— Хорошие. Вперед! — крикнул он ямщику и поскакал далее. Уже было совсем темно, когда князь Андрей въехал в Брюнн и увидел себя окруженным высокими домами, огнями лавок, окон, домов и фонарей, шумящими по мостовой красивыми экипажами и всею тою атмосферой большого оживленного города, которая всегда так привлекательна для военного человека после лагеря. Князь Андрей, несмотря на быструю езду и бессонную ночь, подъезжая ко дворцу, чувствовал себя еще более оживленным, чем накануне. Только глаза блестели лихорадочным блеском, и мысли изменялись с чрезвычайною быстротой и ясностью. Живо представились ему опять все подробности сражения, уже не смутно, но определенно, в сжатом изложении, которое он в

воображении делал императору Францу. Живо представлялось ему лицо императора и все случайные вопросы, которые могли быть ему сделаны, и те ответы, которые он сделает на них. Он полагал, что его сейчас же представят императору. Но у большого подъезда дворца к нему выбежал чиновник и, узнав в нем курьера, проводил его на другой подъезд.

— Из коридора направо; там, ваше высококородие, найдете дежурного флигель-адъютанта. Он проводит к военному министру.

Дежурный флигель-адъютант, встретивший князя Андрея, попросил его подождать и пошел к военному министру. Через пять минут флигель-адъютант вернулся и, особенно учтиво наклоняясь и пропуская князя Андрея вперед себя, провел его через коридор в кабинет, где занимался военный министр. Флигель-адъютант своею изысканною учтивостью, казалось, хотел оградить себя от попыток фамильярности русского адъютанта. Радостное чувство князя Андрея значительно ослабело, когда он подходил к двери кабинета военного министра. Он почувствовал себя оскорбленным, и, как это всегда бывало в его

гордой душе, чувство оскорбления перешло в то же мгновение незаметно для него самого в чувство презрения, ни на чем не основанного. Находчивый же ум в то же мгновение подсказал ему ту точку зрения, с которой он имел право презирать и адъютанта, и военного министра. «Им, должно быть, очень легко покажется одерживать победы, не нюхая пороха», — подумал он. Глаза его презрительно прищурились, члены безжизненно опустились, и он, как бы с трудом волоча ноги, вошел в кабинет военного министра. Чувство это еще более усилилось, когда он увидел военного министра, сидящего над большим столом и первые две минуты не обращавшего внимания на вошедшего. Военный министр опустил свою лысую, с седыми висками голову между двух восковых свечей и читал, отмечая карандашом, бумаги. Он дочитывал, не поднимая головы, в то время как отворилась дверь и слышались шаги.

— Возьмите это и передайте, — сказал военный министр своему адъютанту, подавая бумаги и не обращая еще внимания на курьера.

Князь Андрей почувствовал, что либо из всех дел, занимавших военного министра, действия кутузовской армии менее всего могли его интересовать, либо нужно было это дать почувствовать русскому курьеру. «Но мне это все равно», — подумал он. Военный министр сдвинул остальные бумаги, сравнял их, края с краями, и поднял голову. У него была умная и характерная голова. Но в то же мгновение, как он обратился к князю Андрею, умное и твердое выражение лица военного министра, видимо, привычно и сознательно изменилось, на лице его остановилась глупая, притворная, не скрывающая своего притворства улыбка человека, принимающего одного за другим много просителей.

— От генерал-фельдмаршала Кутузова? — спросил он. — Надеюсь, хорошие вести? Было столкновение с Мортье? Победа? Пора!

Он взял депешу, которая была на его имя, и стал читать ее с грустным выражением.

— Ах, боже мой! боже мой! Шмидт! — сказал он по-немецки. — Какое несчастье, какое несчастье! — Пробежав депешу, он положил ее на стол и взглянул на князя Андрея, види-

мо, что-то соображая. — Ах, какое несчастье! Дело, вы говорите, решительное? Мортье не взят, однако. — Он подумал. — Очень рад, что вы привезли хорошие вести, хотя смерть Шмидта есть дорогая плата за победу. Его величество, верно, пожелает вас видеть, но не нынче. Благодарю вас, отдохните. Завтра будьте на выходе после парада. Впрочем, я вам дам знать.

Исчезнувшая во время разговора глупая улыбка опять явилась на лице военного министра.

— До свидания, очень благодарю вас. Государь император, вероятно, пожелает вас видеть, — повторил он и наклонил голову.

Князь Андрей вышел в приемную. Там были два адъютанта, которые говорили между собою, видимо, о чем-то совершенно не относящемся до приезда князя Андрея. Один из них с неохотой встал, и все с тою же оскорбительною учтивостью попросил князя Андрея записать свой чин, звание и адрес в поданную ему адъютантом книгу. Князь Андрей молча исполнил его желание и, не взглянув на него, вышел из приемной.

Когда он вышел из дворца, он почувствовал, что весь интерес и счастье, доставленные ему победой, оставлены им теперь и переданы в равнодушные руки военного министра и учтивого адъютанта. Весь склад мыслей его мгновенно изменился, сражение представилось ему давнишним, далеким воспоминанием; ближайшими и интереснейшими предметами стали для него прием военного министра, учтливость адъютанта и предстоящее представление императору.

## XI

Князь Андрей поехал к русскому дипломату Билибину. Немец, слуга дипломата, узнал князя Андрея, который останавливался у Билибина во время своего приезда в Вену, и, встречая его, словоохотливо говорил.

— Герр фон Билибин должны были оставить свою квартиру в Вене. Проклятый Бонапарт! — говорил дипломатический слуга. — Сколько несчастий, сколько убытку, беспорядков произвел!

— Здоров господин Билибин? — спросил князь Андрей.

— Не совсем здоровы, не выезжают еще, а очень рады будут вас видеть. Сюда пожалуйста. Вещи ваши выберут. Казак здесь останется? Вот и они услышали.

— А, милый князь, нет приятнее гостя, — сказал Билибин, выходя навстречу. — Франц, в мою спальню вещи князя. Что, вестником победы? Прекрасно. А я сижу больной, как видите.

— Да, вестником победы, — отвечал князь Андрей, — но, как кажется, не очень желанный.

— Ну, коли вы не устали, расскажите же мне за ужином ваши высокие подвиги, — сказал Билибин, усаживаясь с ногами на кушетке в углу камина, когда князь Андрей, умывшись и одевшись, вышел в роскошный кабинет дипломата и сел за приготовленный обед. — Франц, поправь экран, а то князю будет жарко.

Князь Андрей не только после своего путешествия, но и после всего похода, во время которого он был лишен всех удобств чистоты и изящества жизни, испытывал приятное чувство отдыха среди тех роскошных условий

жизни, к которым он привык с детства. Кроме того, ему было приятно после австрийского приема поговорить хоть не по-русски (они говорили по-французски), но с русским человеком, который, он знал, разделял его отвращение (теперь особенно живо испытываемое) к австрийцам. Неприятно действовало на него только то, что Билибин слушал его рассказ почти с таким же недоверием и равнодушием, с каким слушал его и австрийский министр военный.

Билибин был человек лет тридцати пяти, холостой, одного общества с князем Андреем. Они были знакомы еще в Петербурге, но сблизились особенно в последний приезд князя Андрея в Вену вместе с Кутузовым. Билибин просил его, в случае приезда в Вену, непременно остановиться у него. Как князь Андрей был молодой человек, обещающий пойти далеко на военном поприще, так и еще более обещал Билибин на дипломатическом. Он был еще молодой человек, но уже немолодой дипломат, так как он начал служить с шестнадцати лет, был в Париже, в Копенгагене и теперь в Вене и занимал довольно зна-



чительное место. И канцлер, и наш посланник в Вене знали его и дорожили им. Он был не из того большого количества дипломатов, которые обязаны иметь только отрицательные достоинства, не делать известных вещей и говорить по-французски, для того чтобы быть очень хорошими дипломатами. Он был один из тех дипломатов, которые любят и умеют работать, и, несмотря на свою лень, он иногда проводил ночи за письменным столом. Он работал одинаково хорошо, в чем бы ни состояла сущность работы. Его интересовал не вопрос «зачем?», а вопрос «как?». В чем состояло дипломатическое дело, ему было все равно, но составить искусно, метко и изящно циркуляр, меморандум или донесение — в этом он находил большое удовольствие. Заслуги Билибина ценились, кроме письменных работ, еще и по его искусству обращаться и говорить в высших сферах.

Билибин любил разговор так же, как он любил работу, только тогда, когда разговор мог быть изящно остроумен. В обществе он постоянно выжидал случая сказать что-нибудь замечательное и вступал в разговор не

иначе как при этих условиях. Разговор Билибина постоянно пересыпался оригинально-остроумными, законченными фразами, имеющими общий интерес. Эти фразы изготовлялись во внутренней лаборатории Билибина как будто нарочно портативного свойства для того, чтобы ничтожные светские люди удобно могли запоминать их и переносить из гостиных в гостиные. И действительно, отзывы Билибина расходились по всем гостиным Вены, часто повторялись и часто имели влияние на так называемые важные дела.

Худое, истощенное, необыкновенной белизны лицо его было все покрыто крупными, молодыми морщинами, которые всегда казались так чисто плотно и старательно промыты, как кончики пальцев после бани. Движения этих морщин составляли главную игру его физиономии. То у него морщился лоб широкими складками, брови поднимались кверху, то брови опускались книзу, и у щек образовывались крупные морщины. Глубоко поставленные небольшие глаза всегда смотрели прямо и весело.

Во всем лице, фигуре его и звуке голоса,

несмотря на утонченность одежды, утонченность приемов и французского, изящного языка, которым он говорил, резко выражались черты русского человека.

Болконский самым скромным образом, ни разу не упоминая о себе, рассказал дело и прием военного министра.

— Они приняли меня с этой вестью, как принимают собаку при игре в кегли, — заключил он.

Билибин усмехнулся и распустил складки кожи.

— Однако, мой милый, — сказал он, рассматривая издалека свой ноготь и опять подбирая кожу над левым глазом, — при всем моем уважении к православному воинству, я полагаю, что победа ваша не из самых блестящих.

Он продолжал все так же на французском языке, произнося по-русски только те слова, которые он презрительно хотел подчеркнуть.

— Как же? Вы со всею массой своею обрушились на несчастного Мортье при одной дивизии, и этот Мортье уходит у вас между рук? Где же победа?

— Однако, серьезно говоря, — отвечал князь Андрей, отодвигая тарелку, — все-таки мы можем сказать без хвастовства, что это немного получше Ульма.

— Отчего вы не взяли нам одного, хоть одного маршала?

— Оттого, что не все делается, как предполагается, и не так регулярно, как на параде. Мы полагали, как я вам говорил, зайти в тыл к семи часам утра, а не пришли и к пяти вечера.

— Отчего же вы не пришли к семи часам утра? Вам надо было прийти в семь часов утра, — улыбаясь, сказал Билибин, — вот и надо было прийти в семь часов утра.

— Отчего вы не внушили Бонапарту дипломатическим путем, что ему лучше оставить Геную? — тем же тоном спросил князь Андрей.

— Я знаю, — перебил Билибин, — вы думаете, что очень легко брать маршалов, сидя на диване перед камином. Это правда, а все-таки зачем вы его не взяли? И не удивляйтесь, что не только военный министр, но и августейший император и король Франц не будут

очень осчастливлены вашей победой, да и я, несчастный секретарь русского посольства, не чувствую никакой потребности в знак радости дать моему Францу талер и отпустить его со своей подружкой на Пратер... Правда, здесь нет Пратера.

Он посмотрел прямо на князя Андрея и вдруг спустил собранную кожу со лба.

— Теперь мой черед спросить вас «отчего», мой милый, — сказал Болконский. — Я вам признаюсь, что не понимаю, может быть, тут есть дипломатические тонкости выше моего слабого ума, но я не понимаю. Макк теряет целую армию, эрцгерцог Фердинанд и эрцгерцог Карл не дают никаких признаков жизни и делают ошибки за ошибками, наконец, один Кутузов одерживает действительную победу, уничтожает очарование французов, и военный министр не интересуется даже знать подробности.

— Именно от этого, мой милый. Возьмите же еще кусок жаркого, больше ничего не будет.

— Спасибо.

— Видите ли, мой милый, ура! за царя, за

Русь, за веру! — все это прекрасно и хорошо, но что нам, я говорю, австрийскому двору, за дело до ваших побед? Привезите вы нам сюда хорошенькое известие о победе эрцгерцога Карла или Фердинанда, один эрцгерцог стоит другого, как вам известно, — хоть над ротой пожарной команды Бонапарта, это другое дело, мы прогремим в пушки. А то это, как нарочно, может только дразнить нас. Эрцгерцог Карл ничего не делает, эрцгерцог Фердинанд покрывается позором, Вену вы бросаете, не защищаете больше, как если бы нам сказали: с нами Бог, а бог с вами, с вашей столицей; один генерал, которого мы все любили, Шмидт, вы его подводите под пулю и поздравляете нас с победой!.. Вы взяли в плен каких-то двух дебардеров, наряженных в бонапартовских генералов. Согласитесь, что раздражительнее того известия, которое вы привозите, нельзя придумать. Это как нарочно, как нарочно. Кроме того, ну, одержи вы точно блестящую победу, одержи победу даже эрцгерцог Карл, что же бы это переменяло в общем ходе дел? Теперь уж поздно, когда Вена занята французскими войсками.

— Как занята? Вена занята?

— Не только занята, но Бонапарт в Шенбрунне, а граф, ваш милый граф Врбна, отправляется к нему за приказаниями.

Болконский, после усталости и впечатлений путешествия, приема и в особенности после обеда, чувствовал, что он не понимает всего значения слов, которые он слышал.

— Это совсем другое дело, — сказал он и, достав зубочистку, придвинулся к камину.

— Нынче утром был здесь граф Лихтенфельс, — продолжал Билибин, — и показывал мне письмо, в котором подробно описан парад французов в Вене. Принц Мюрат, и все такое... Вы видите, что ваша победа не очень-то радостна и что вы не можете быть приняты как спаситель...

— Право, для меня все равно, совершенно все равно, — сказал князь Андрей, начиная понимать, что известие его о сражении под Кремсом действительно имело мало важности ввиду таких событий, как занятие столицы Австрии. — Как же Вена взята? А мост и знаменитое мостовое укрепление, и князь Ауэрсперг? У нас были слухи, что князь Ауэр-

сперг защищает Вену, — сказал он.

— Князь Ауэрсперг стоит на этой, на нашей, стороне и защищает нас, я думаю, очень плохо защищает, но все-таки защищает. А Вена на той стороне. Нет, мост еще не взят, и надеюсь не будет взят, потому что он минирован и его велено взорвать. В противном случае мы были бы давно в горах Богемии, и вы с вашей армией провели бы дурную четверть часа между двух огней.

— Ежели так, то кампания кончена, — сказал князь Андрей.

— Вот это и я тоже думаю. И так думают большие колпаки здесь, но не смеют сказать этого. Будет то, что я говорил в начале кампании, что не ваша дюренштейнская стачка, вообще не порох решит дело, а те, кто его выдумали, — сказал Билибин, повторяя одно из своих словечек, распуская кожу на лбу и приостанавливаясь. — Вопрос только в том, что скажет берлинское свидание императора Александра с прусским королем. Ежели Пруссия вступит в союз, принудят Австрию, и будет война. Ежели же нет, то дело только в том (возьмите же эту грушу, она очень хороша),



чтоб условиться, где составлять первоначальные статьи нового Кампо Формио.

— Но что за необычайная гениальность! — вдруг вскрикнул князь Андрей, сжимая свою маленькую руку и ударяя ею по столу. — И что за счастье этому человеку!

— Буонапарт? — вопросительно сказал Библибин, морща лоб и этим давая чувствовать, что сейчас будет шутка. — Буонапарт? — сказал он, ударяя особенно на у. — Я думаю, однако, что теперь, когда он предписывает законы Австрии из Шенбрунна, надо его избавить от у. Я решительно делаю нововведение, и называю его просто Бонапарт. Хотите еще или нет кофею? Франц!

— Нет, без шуток, — сказал князь Андрей, — вы в состоянии знать. Как вы думаете, чем кончится все это?

— А я вот что думаю. Австрия осталась в дурах, а она к этому не привыкла, и она оплатит. А в дурах она осталась оттого, что, во-первых, провинции разорены (говорят, что православное ужасно по части грабежа), армия разбита, столица взята, и все это ради прекрасных глаз сардинское величество.

— Ждут государя? — спросил князь Андрей.

— Каждый день. Нас обманут; уже теперь я чутьем слышу сношения с Францией и проекты мира, тайного мира, отдельно заключенного.

— Это будет мило! — сказал князь Андрей.

— Поживем — увидим.

Они помолчали.

Билибин распустил опять кожу в знак окончания разговора.

— А знаете, вы в последний приезд одержали здесь совершенную победу над баронессой Зайфер?

— Что, она все такая же восторженная? — спросил князь Андрей, вспоминая одну из приятных женщин, между которыми он имел большой успех в свой приезд в Вену с Кутузовым.

— Одна она женщина, а не дама, — сказал свою шутку Билибин. — Завтра поедем к ней. Для вас и для нее я не повинуюсь моему доктору. Надо, чтобы хорошо провести эти дни здесь. Каков бы ни был австрийский кабинет, люди, особенно женщины, необыкновенно

милы, и я ничего не желал бы, как провести всю свою жизнь в Вене. Ах, знаете, кто постоянный посетитель ее гостиной? Наш Ипполит Курагин. Это самый откровенный дурак, какого я видел. Завтра вы его увидите у меня. Наши собираются у меня по четвергам, и вы всех их увидите. Ну, однако, идите спать; я вижу, что вы падаете.

Когда князь Андрей пришел в приготовленную для него комнату и в чистом белье лег на пуховики и душистые гретые подушки, он почувствовал, что то сражение, о котором он привез известие, было далеко, далеко от него. Прусский союз, Ипполит Курагин, баронесса Зайфер, измена Австрии, новое торжество Бонапарта, выход, и парад, и прием императора Франца на завтра занимали его. Он закрыл глаза, но в то же мгновение в ушах его затрещала канонада, пальба, стук колес экипажа, и вот опять спускаются с горы растянутые ниткой мушкетеры, и французы стреляют, и он чувствует, как содрогается его сердце, и он выезжает вперед рядом с Шмидтом, и пули весело свистят вокруг него, и он испытывает то чувство удесытеренной радо-

сти жизни, какого он не испытывал с самого детства. Он пробудился...

— Да, все это было!.. — сказал он, счастливо, по-детски улыбаясь сам себе, и заснул крепким молодым сном.

## XII

На другой день он проснулся поздно. Возобновляя впечатление прошедшего, он вспомнил прежде всего то, что нынче надо представляться императору Францу, вспомнил военного министра, учтивого австрийского флигель-адъютанта, Билибина и разговор вчерашнего вечера. Воспоминание о сражении представлялось ему чем-то давно, давно прошедшим и незначащим. Одевшись в полную парадную форму, которой он уже давно не надевал, для поездки во дворец, он, свежий, оживленный и красивый, с подвязанной рукой, более в великосветском и придворном, чем в военном настроении духа, вошел в кабинет Билибина. В кабинете уже сидели, лежали и стояли несколько господ дипломатического корпуса, посещавших Билибина, которых он называл — наши. Большин-

ство были русские, но был один англичанин и один швед. Со многими из них, как с князем Ипполитом, Болконский был знаком; с другими его познакомил Билибин, называя Болконского вестником победы, о которой уже было известно всему городу.

— Перья... — сказал Билибин, указывая на своих, — шпага, — сказал он, указывая на Болконского. — Господа, рекомендую вам одного из тех людей, которые имеют искусство быть всегда счастливы. Он всегда был любим самыми милыми женщинами, владеет самою милою женой, прекрасною наружностью и никогда не был и не будет ранен в нос, в живот или еще хуже, как мой знакомый капитан Гнилопупов. Славная фамилия! К несчастью, вы, господа иностранцы, — обратился он к англичанину и шведу, — не можете оценить всей прелести и благозвучности этого имени. Нет, господа, объясните мне, пожалуйста, отчего капитана Гнилопупова ранят непременно в нос или просто убьют, а такого человека, как Болконский, в руку, чтобы придать ему еще более привлекательности в глазах женщин.

Гости, бывавшие у Билибина, светские, молодые, богатые и веселые люди, составляли и в Вене, и здесь отдельный кружок, который Билибин, бывший главой этого кружка, называл наши, — les n<sup>^</sup>tres. В кружке этом, состоявшем почти исключительно из дипломатов, видимо, были свои, не имеющие ничего общего с войной и политикой, интересы высшего света, отношений к некоторым женщинам и канцелярской стороны службы. Эти господа, по-видимому, охотно, как своего (честь, которую они делали немногим), приняли в свой кружок князя Андрея. Из учтивости и как предмет для вступления в разговор ему сделали несколько вопросов об армии и сражении, и разговор опять рассыпался на непоследовательные веселые шутки и пересуды. Все они говорили по-французски. И, несмотря на привычку их к этому языку и их оживление, разговор имел характер притворства или подражания какому-то чужому веселью.

— Но особенно хорошо, — говорил один, рассказывая неудачу товарища-дипломата, — особенно хорошо то, что канцлер прямо ска-

зал ему, что назначение его в Лондон есть повышение и чтоб он так и смотрел на это. Видели бы вы его фигуру при этом!.. Но что всего хуже, господа, я вам выдаю Курагина: человек в несчастьи, и этим-то пользуется этот донжуан, этот ужасный человек.

Князь Ипполит лежал в вольтеровском кресле, положив ноги через ручку; он дико засмеялся.

— Ну-ка, ну-ка, — сказал он.

— О, донжуан! О, змея, — слышались голоса.

— Вы не знаете, Болконский, — обратился Билибин к князю Андрею, — что все ужасы французской армии (я чуть было не сказал русской армии) ничто в сравнении с тем, что наделал между женщинами этот человек.

— Женщина — подруга мужчины, — сентенциозно произнес князь Ипполит и стал смотреть в лорнет на свои поднятые ноги.

Билибин и наши бесцеремонно расхохотались, глядя в глаза Ипполиту. Князь Андрей видел, что этот Ипполит, которого он (должно было признаться) почти ревновал к своей жене, был просто шутком этой веселой компа-

нии.

— Нет, я должен вас угостить Курагиным, — сказал Билибин тихо Болконскому. — Он прелестен, когда рассуждает о политике; надо видеть эту важность.

Он подсел к Ипполиту и, собрав на лбу свои складки, завел с ним разговор о политике. Князь Андрей и другие обступили обоих.

— Берлинский кабинет не может выразить свое мнение о союзе, — начал Ипполит, значительно оглядывая всех, — не выражая... как в своей последней ноте... вы понимаете... вы понимаете... впрочем, если его величество император не изменит сущности нашего союза...

Князь Андрей, несмотря на то, что наши с радостными лицами слушали Ипполита, с отращением отошел; но Ипполит схватил его за руку.

— Подождите, я не кончил... — продолжал он, желая, очевидно, внушить новому лицу уважение к своим политическим соображениям. — Я думаю, что вмешательство будет прочнее, чем невмешательство. И... — он помолчал, — невозможно считать дело окон-



ченным неприятием нашей депеши от 28 ноября. Вот чем все это кончится.

И он отпустил руку Болконского, показывая тем, что теперь он совсем кончил.

— Демосфен! Я узнаю тебя по камешку, который ты скрываешь в своих золотых устах, — сказал Билибин, у которого шапка волос подвинулась на голове от удовольствия.

И все засмеялись дружным и оживленным хохотом, особенно возбуждаемым от хохота самого Ипполита, который, видимо, страдал, задыхался, но не мог удержаться от дикого смеха, причем растягивалось его всегда неподвижное лицо.

— Ну, вот что, господа, — сказал Билибин, — Болконский мой гость, в доме и здесь. И я хочу его угостить, сколько могу, всеми радостями здешней жизни. Если бы мы были в Вене, это было бы легко; но здесь, в этой скверной моравской дыре, это трудно, и я прошу у всех вас помощи. Надо показать ему Брюнн. Вы возьмите на себя театр, я общество; вы, Ипполит, разумеется, женщин.

— Надо ему показать Амели, прелесть! —

сказал одни из наших, целуя кончики пальцев. — Поедемте со мной.

— А оттуда едем к баронессе Зайфер. Я для вас выезжаю нынче первый раз, а ночь ваша, коли вы желаете ею воспользоваться. Кто-нибудь из господ может вас руководить.

— Вообще этого кровожадного солдата Болконского, — сказал кто-то, — надо обратить к более человеколюбивым взглядам.

— И чтоб он полюбил наш Брюнн и нашу Вену милую!

— Однако мне пора ехать, — взглядывая на часы, сказал Болконский, который, несмотря на суету разговора, ни на минуту не забывал предстоящего представления императору.

— Куда вы?

— К императору.

— О! О! О!

— Ну, до свидания, Болконский! До свидания, князь, приезжайте же обедать раньше, — слышались голоса. — Мы беремся за вас.

— Старайтесь как можно более расхвалить порядок в доставлении провианта и маршрутов, когда будете говорить с императором, — сказал Билибин, провожая до перед-

ней Болконского.

— И желал бы хвалить, но не могу, сколько знаю, — улыбаясь отвечал Болконский.

— Ну, вообще как можно больше говорите. Его страсть — аудиенции, а говорить сам он не любит и не умеет, как увидите.

### XIII

**И**мператор Франц подошел к князю Андрею, стоявшему в назначенном месте между австрийскими офицерами на выходе, и сказал ему скоро несколько невнятных, но, очевидно, ласковых слов и прошел дальше. После выхода вчерашний флигель-адъютант, сделавшийся нынче совсем другим, учтивым и деликатным человеком, передал Болконскому желание императора видеть его еще раз. Прежде чем вступить в кабинет, князь Андрей, при виде шептавшихся придворных, при виде того уважения, которое ему оказывали теперь, когда узнали, что он будет принят императором, почувствовал, что и его волновало предстоящее свидание. Но опять это чувство волнения в одно мгновение превратилось в его душе в чувство презрения к

условному величию и к этой толпе шепчущих придворных, готовых изменить себе и правде в угоду императору. «Нет, — сказал себе князь Андрей, — в какое бы трудное положение ни был я поставлен предстоящим свиданием, я откину все соображения и скажу одну полную и прямую правду». Но разговор, который произошел между им и императором, не подал ему случая говорить ни правды, ни неправды. Император Франц принял его, стоя посредине комнаты. Перед тем, как начинать разговор, князя Андрея поразило то, что император как будто смешался, не зная, что сказать, и покраснел.

— Скажите, когда началось сражение? — спросил он поспешно. Князь Андрей ответил. После этого вопроса следовали другие, столь же простые вопросы: «здоров ли Кутузов», «как давно выехал он из Кремса?» и т. п. Император говорил с таким выражением, как будто вся цель его состояла только в том, чтобы сделать известное количество вопросов. Ответы же на эти вопросы, как было слишком очевидно, не могли интересовать его.

— В котором часу началось сражение? —

спросил император.

— Не могу донести вашему величеству, в котором часу началось сражение с фронта, но в Дюренштейне, где я находился, войско начало атаку в шестом часу вечера, — сказал Болконский, оживляясь и при этом случае предполагая, что ему удастся представить уже готовое в его голове, правдивое описание всего того, что он знал и видел. Но император улыбнулся и перебил его.

— Сколько миль?

— Откуда и докуда, ваше величество?

— От Дюренштейна до Кремса?

— Три с половиною мили, ваше величество.

— Французы оставили левый берег?

— Как доносили, лазутчики в ночь на полях переправились последние.

— Достаточно ли фуража в Кремсе?

— Фураж не был доставлен в том количестве...

Император перебил его.

— В котором часу убит генерал Шмидт?...

Сделав этот последний вопрос, требовавший краткого ответа, император сказал, что

он благодарит, и поклонился. Князь Андрей вышел, и, сам не зная отчего, в первую минуту, несмотря на поразительную простоту фигуры и приемов императора, несмотря на свою философию, князь Андрей почувствовал себя не совсем трезвым. Его окружили, когда он вышел из двери кабинета, со всех сторон глядели на него ласковые глаза, улыбки и слышались ласковые слова. Вчерашний учтивый флигель-адъютант делал ему ласковые упреки, зачем он не остановился во дворце в отделении для иностранных курьеров. Военный министр подошел, поздравляя его с орденом Марии-Терезии 3-й степени, которым жаловал его император. Он не знал, кому отвечать, и несколько секунд собирался с мыслями. Русский посланник взял его за плечо, отвел к окну и стал говорить с ним. Противно ожиданиям его и Билибина представление имело полный успех. Назначено было благодарственное молебствие. Кутузов был награжден Марией-Терезией большого креста, и вся армия получила награды. Императрица желала видеть князя Болконского, и приглашения на обеды и вечера сыпались на него со

всех сторон.

По возвращении из дворца князь Андрей, сидя в коляске, мысленно сочинял письмо к отцу обо всех обстоятельствах сражения, поездки в Брюнн и разговора с императором. О чем он ни думал, разговор с императором, этот пустой, этот просто глупый разговор, возникал снова в его воображении со всеми малейшими подробностями выражения лица и интонации императора Франца.

«В котором часу убили генерала Шмидта? — повторял он сам себе. — Очень нужно было ему знать, в котором именно часу убит генерал Шмидт. Отчего он не спросил, во сколько минут и секунд? Какие важные для государства соображения он выведет из этого знания? Но хуже и глупее вопроса — то волнение, с которым я приступал к этому разговору. И волнение всех этих стариков при мысли о том, что он говорил со мной. Два дня тому назад, стоя под пулями, из которых каждая могла принести смерть, я не испытывал и сотой доли того волнения, которое я почему-то ощущал, разговаривая с этим простым, добрым и вполне ничтожным человеком. Да, на-

до быть философом», — заключил он и, вместо того чтобы ехать прямо к Билибину, поехал в книжную лавку записаться на поход книгами. Он засиделся, перебирая неизвестные ему философские сочинения, более часа. Когда он подъехал к крыльцу Билибина, его удивил вид стоявшей тут до половины уложенной брички, и Франц, слуга Билибина, который с расстроенным видом выбежал ему навстречу.

— Ах! Ваше сиятельство! — говорил Франц. — Несчастье!

— Что такое? — спросил Болконский.

— Мы отправляемся еще далее, бог знает куда. Злодей уже опять за нами по пятам.

Билибин вышел навстречу Болконскому. На всегда спокойном лице Билибина было волнение.

— Нет, нет, признайтесь, что это прелесть, — говорил он, — эта история с Таборским мостом в Вене. Они перешли его без сопротивления.

Князь Андрей ничего не понимал.

— Да откуда же вы, что вы не знаете того, что уже знают все кучера в городе? Разве вы



не из дворца?

— Из дворца. Я видел и императора. Кутузов получил большой крест Марии-Терезии.

— Теперь не до крестов дело. Неужели там ничего не знают?

— Ничего, может быть, после меня; я оттуда заехал в лавки... Да в чем дело?

— Ну, теперь я понимаю. В чем дело? Это прекрасно!.. Французы перешли мост, который защищает Ауэрсберг, и мост не взорвали, так что Мюрат бежит теперь по дороге к Брюнну и нынче-завтра они будут здесь.

— Как здесь? Да как же не взорвали мост, когда он минирован?

— А это я у вас спрашиваю. Этого никто, и сам Бонапарт, не знает.

Болконский пожал плечами.

— Но ежели мост перейден, значит, и армия погибла, она будет отрезана, — сказал он.

— Я думаю.

— Но как же это случилось?

— В этом-то и штука, и прелесть. Слушайте. Вступают французы в Вену, как я вам говорил. Все очень хорошо. На другой день, то есть вчера, господа маршалы, Мюрат, Ланн и

Бельяр, садятся верхом и отправляются на мост. (Заметьте, все трое гасконцы.) «Господа, — говорит один, — вы знаете, что Таборский мост минирован и контраминирован и что перед нами грозное мостовое укрепление и пятнадцать тысяч войска, которому велено взорвать мост и нас не пускать. Но нашему государю императору Наполеону будет приятно, ежели мы возьмем этот мост. Поедемте втроем и возьмем этот мост». «Поедемте», — говорят другие, и они отправляются и берут мост, переходят его, и теперь со всею армией по эту сторону Дуная направляются на нас, на вас и на ваши сообщения.

— Полноте шутить.

— Нисколько не шучу, — продолжал Билибин, отвечая на нетерпеливое и недоверчивое движение Болконского, — ничего нет справедливее и печальнее. Господа эти приезжают на мост одни и поднимают белые платки, уверяют, что перемирие и что они, маршалы, едут для переговоров с князем Ауэрспергом. Дежурный офицер пускает их в мостовое укрепление. Они рассказывают ему тысячу гасконских глупостей, говорят, что

война кончена, что император Франц назначил свидание Бонапарту, что они желают видеть князя Ауэрсперга, и тысячу гасконцев и проч. Офицер посылает за Ауэрспергом, господа эти обнимают офицеров, шутят, садятся на пушки, а между тем французский батальон, незамеченный, входит на мост, сбрасывает мешки с горючими веществами в воду и подходит к мостовым укреплениям. Наконец, является сам генерал-лейтенант, наш милый князь Ауэрсперг фон Маутерн. «Милый неприятель! Цвет австрийского воинства, герой турецких войн! Вражда кончена, мы можем подать друг другу руку... Император Наполеон сторает желанием узнать князя Ауэрсперга». Одним словом, эти господа недаром гасконцы, так забрасывают этого индейского петуха Ауэрсперга прекрасными словами, он так прельщен своею столь быстро установившеюся интимностью с французскими маршалами, так ослеплен видом мантии и страусовых перьев Мюрата, что он видит только их огонь и забывает о своем, о том, который он обязан был открыть против неприятеля.

(Несмотря на живость своей речи, Били-

бин не забыл приостановиться после этого, чтобы дать время оценить его.)

Французский батальон вбегает на мостовое укрепление, заколачивают пушки, и мост взят. Нет, но, что лучше всего, — продолжал он, успокаиваясь в своем волнении прелестью собственного рассказа, — это то, что сержант, приставленный к той пушке, по сигналу которой должно было зажигать мины и взрывать мост, сержант этот, увидав, что французские войска бегут на мост, хотел уже стрелять, но Ланн отвел его руку. Сержант, который, видно, был умнее своего генерала, подходит к Ауэрспергу и говорит: «Князь, вас обманывают, вот французы!» Мюрат видит, что дело проиграно, ежели дать говорить сержанту. Он с притворным удивлением (настоящий гасконец) обращается к Ауэрспергу: «Я не узнаю столь хваленную в мире австрийскую дисциплину, — говорит он, — и вы позволяете так говорить с вами низшему чину». Это гениально. Князь Ауэрсперг оскорбляется и приказывает арестовать сержанта. Нет, признайтесь, что это прелесть — вся эта история с мостом. Это не то что глупость, не то что

подлость.

— Быть может, измена, — сказал князь Андрей, видимо, не могший разделить удовольствия, которое находил Билибин в глупости рассказанного факта. Рассказ этот мгновенно изменил его вынесенное из дворца городское, великосветское расположение духа. Он думал о том положении, в которое поставлена теперь армия Кутузова, думал о том, как ему, вместо покойных дней в Брюнне, предстоит тотчас скакать к армии и участвовать там или в отчаянной борьбе, или в позоре. И серые шинели, раны, пороховой дым и звуки пальбы мгновенно возникли живо в его воображении. И опять в эту минуту, как и всегда, когда он думал об общем ходе дел, в его душе странно соединилось сильное, гордое патристическое чувство страха за поражение русских с торжеством о торжестве своего героя. Кампания кончена. Все силы всей Европы, все расчеты, все усилия уничтожены в два месяца гением и счастьем этого непостижимого рокового человека...

— Также нет. Это ставит двор в самое нелепое положение, — продолжал Билибин — Это

ни измена, ни подлость, ни глупость, это как при Ульме... — Он как будто задумался, отыскивая выражение, — это маковщина. Мы обмакнулись, — заключил он, чувствуя, что он сказал un mot и свежее mot, такую шутку, которую будет повторять. Собранные до тех пор складки на лбу быстро распустились в знак удовольствия, и он, слегка улыбаясь, стал рассматривать свои ногти.

— Куда вы? — сказал он вдруг, обращаясь к князю Андрею, который ни слова не сказал, встал и направился в свою комнату.

— Я еду.

— Куда?

— В армию.

— Да вы хотели остаться еще два дня.

— А теперь я еду сейчас.

И князь Андрей, сделав распоряжение об отъезде, ушел в свою комнату.

— Знаете что, мой милый, — сказал Билибин, входя к нему в комнату. — Я подумал об вас. Зачем вы поедете? — И в доказательство неопровержимости этого довода складки все сбежали с лица.

Князь Андрей вопросительно посмотрел

на своего собеседника и ничего не ответил.

— Зачем вы поедете? Я знаю, вы думаете, что ваш долг скакать в армию теперь, когда армия в опасности. Я это понимаю, мой милый, это героизм.

— Нисколько, — сказал князь Андрей.

— Но вы философ; будьте же им вполне, посмотрите на вещи с другой стороны, и вы увидите, что ваш долг, напротив, беречь себя. Предоставьте это другим, которые ни на что более не годны. Вам не велено приезжать назад, и отсюда вас не отпустили, стало быть, вы можете остаться и ехать с нами, куда нас повлечет наша несчастная судьба. Говорят, едут в Ольмюц. А Ольмюц очень милый город. И мы с вами вместе спокойно поедем в моей коляске.

— Вы шутите, Билибин, — сказал Болконский.

— Я говорю вам искренно и дружески. Рассудите. Куда и для чего вы поедете теперь, когда вы можете оставаться здесь? Вас ожидает одно из двух (он собрал кожу над левым виском): или не доедете до армии, и мир будет заключен, или поражение и срам со всею ку-

тузовскою армией.

И Билибин распустил кожу, чувствуя, что дилемма его неопровержима.

— Этого я не могу рассудить, — холодно отвечал князь Андрей. — Больше, чем философ, я человек, и потому я еду.

— Милый мой, вы герой, — сказал Билибин.

— Вовсе нет, я простой офицер, исполняющий свой долг, вот и все, — не без гордости сказал князь Андрей.

## XIV

В ту же ночь, откланявшись военному министру, Болконский ехал к армии, сам не зная, где он найдет ее, и опасаясь по дороге к Кремсу быть перехваченным французами.

В Брюнне все придворное население укладывалось, и уже отправлялись тяжести в Ольмюц. Для чего Болконский поехал в армию, а не остался в Брюнне, какими рассуждениями он дошел до этого, он не мог бы сказать. Как только он услышал страшное известие от Билибина, мгновенно медаль жизни, на которую он смотрел с веселой стороны, перевер-



нулась. Он увидел одно дурное во всем и инстинктивно почувствовал необходимость принять участие во всем этом дурном. «Ничего не может выйти, кроме сраму и гибели для наших войск, при условиях, в которых мы боремся с этим роковым гением», — думал он с мрачными мыслями, усталый, голодный и сердитый, миновав французов и подъезжая на другой день к тому месту, где, по слухам, должен был находиться Кутузов. Около Эцельсдорфа князь Андрей выехал на дорогу, по которой с величайшею поспешностью и в величайшем беспорядке двигалась русская армия. Дорога была так запружена повозками, что невозможно было ехать в экипаже. Взяв у казачьего начальника лошадь и казака, князь Андрей, обгоняя обозы, ехал отыскивать главнокомандующего и свою повозку. Самые зловещие слухи о положении армии доходили до него дорогой; вид же беспорядочно бегущей армии еще более утвердил его в убеждении, что дело кампании окончательно проиграно. Он смотрел на все совершившееся вокруг него презрительно и грустно, как человек, уже не принадлежащий к этому миру.

«Эта русская армия, которую английское золото принесло сюда с конца света, отведа-ет ту же участь, участь ульмской армии», — вспомнил он слова приказа Бонапарта своей армии перед началом кампании, и слова эти одинаково возбуждали в нем удивление к гениальному герою и чувство оскорбленной гордости. «Ничего не остается, кроме как умереть, — думал он. — Что же, коли нужно!

Я сделаю это не хуже других».

Беспорядок и поспешность движения армии, увеличиваемые беспрестанно повторяемыми приказаниями главного штаба идти сколь возможно скорее, достигли высшей степени. Шутники-казаки, хотевшие посмеяться над спавшими в повозках денщиками, крикнули: «Французы», — и проскакали мимо. Крик: «Французы!» — как нарастающий ком снега прокатился по всей колонне: всё бросилось, давя и обгоняя друг друга, и слышались даже выстрелы и батальный огонь пехоты, стрелявшей сама не зная в кого. Едва через четверть часа могли начальники движения остановить эту суматоху, стоившую жизни нескольким человекам, которые были за-

давлены, и одному, который был застрелен.

Князь Андрей с равнодушным презрением смотрел на эти бесконечные, мешавшие команды, повозки, парки, артиллерию, и опять повозки, повозки и повозки всех возможных видов, обгонявшие одна другую и в три, в четыре ряда запружавшие грязную дорогу. Со всех сторон, назади и впереди, покуда хватал слух, слышались звуки колес, громыхание кузовов телег и лафетов, лошадиный топот, удары кнутом, крики понуканий, ругательства солдат, денщиков и офицеров. По краям дороги видны были беспрестанно то павшие обдранные и необдранные лошади, то сломанные повозки, у которых, дожидаясь чего-то, сидели одинокие солдаты, то отделившиеся от команд солдаты, которые толпами направлялись в соседние деревни или тащили из деревень кур, баранов, сено или мешки, чем-то наполненные. На спусках и подъемах толпы делались гуще, и стоял непрерывный стон криков. Солдаты, утопая по колено в грязи, на руках подхватывали орудия и фуры; бились кнуты, скользили копыта, лопались построжки и надрывались криками груди. Офицеры,

заведовавшие движением, то вперед, то назад проезжали между обозами. Голоса их были слабо слышны среди общего гула, и по лицам их видно было, что они отчаивались в возможности остановить этот беспорядок.

«Вот оно, уважаемое православное воинство», — подумал Болконский, вспоминая слова Билибина.

Желая спросить у кого-нибудь из этих людей, где главнокомандующий, он подъехал к обозу. Прямо против него ехал странный, в одну лошадь экипаж, видимо, устроенный домашними солдатскими средствами, представлявший середину между телегой, кабриолетом и коляской. В экипаже правил солдат и сидела под кожаным верхом за фартуком женщина, вся обвязанная платками. Князь Андрей подъехал и уже обратился с вопросом к солдату, когда его внимание обратили отчаянные крики женщины, сидевшей в кибиточке. Офицер, заведовавший обозом, бил солдата, сидевшего кучером в этой колясочке, за то, что он хотел объехать других, и плеть попадала по фартуку экипажа. Женщина пронзительно кричала. Увидав князя Андрея, она

высунулась из-за фартука и, махая худыми руками, выскочившими из-под коврового платка, кричала:

— Адъютант! Господин адъютант!.. Ради бога... защитите! Что ж это будет?... Я лекарская жена 7-го егерского... не пускают, мы отстали, своих потеряли...

— В лепешку расшибу, заворачивай! — кричал озлобленный офицер на солдата. — Заворачивай назад со шлюхой своею.

— Господин адъютант, защитите. Что ж это? — кричала лекарша.

— Извольте пропустить эту повозку. Разве вы не видите, что это женщина? — сказал князь Андрей, подъезжая к офицеру.

Офицер взглянул на него и, не отвечая, повернулся опять к солдату.

— Я-те объеду... Назад!..

— Пропустите, я вам говорю, — опять повторил, поджимая губы, князь Андрей.

— А ты кто такой? — вдруг с пьяным бешенством обратился к нему офицер. — Ты кто такой? Ты (он особенно упирал на ты) начальник, что ль? Здесь я начальник, а не ты. Ты, назад, — повторил он, — в лепешку расшибу.

Это выражение, видимо, понравилось офицеру.

— Важно отбрил адъютантика, — слышался голос сзади.

Князь Андрей видел, что офицер находился в том пьяном припадке беспричинного бешенства, в котором люди не помнят, что говорят. Он видел, что его заступничество за лекарскую жену в кибиточке исполнено того, чего он боялся больше всего в мире, того, что называется глупо-смешным, но инстинкт его говорил другое. Не успел офицер договорить последних слов, как князь Андрей, со страшно изуродованным бешенством лицом, подъехал к нему и поднял нагайку.

— Из-воль-те про-пус-тить!

Офицер махнул рукой и торопливо отъехал прочь.

— Все от этих штабных беспорядок весь, — проворчал он. — Делайте ж как знаете.

Князь Андрей торопливо, не поднимая глаз, отъехал от лекарской жены, называвшей его спасителем, и, с отвращением вспоминая мельчайшие подробности этой унижительной сцены, поскакал дальше к той дерев-

не, где, как ему сказали, находился главнокомандующий.

Въехав в деревню, он слез с лошади и пошел к первому дому с намерением отдохнуть хоть на минуту, съесть что-нибудь и привести в ясность все эти оскорбительные, мучившие его мысли.

«Это толпа мерзавцев, а не войско», — думал он, подходя к окну первого дома, когда знакомый ему голос назвал его по имени.

Он оглянулся. Из маленького окна высовывалось красивое лицо Несвицкого. Несвицкий, махая руками, звал его к себе.

— Болконский! Болконский! Не слышишь, что ли? Иди скорее, — кричал он.

Войдя в дом, князь Андрей увидал Несвицкого и еще другого адъютанта. Они поспешно обратились к Болконскому с вопросом, не знает ли он чего нового? На их столь знакомых ему лицах князь Андрей прочел выражение тревоги и беспокойства. Выражение это особенно заметно было на всегда смеющемся лице Несвицкого.

— Где главнокомандующий? — спросил Болконский.

— Здесь, в этом доме, — отвечал адъютант.

— Ну, что ж? Правда, что мир и капитуляция? — спрашивал Несвицкий.

— Я у вас спрашиваю. Я ничего не знаю, кроме того, что я насилу добрался до вас.

— А у нас, брат, что! Ужас! Винюсь, брат, над Макком смеялись, а самим еще хуже приходится, — сказал Несвицкий. — Да садись же, поешь чего-нибудь.

— Теперь, князь, ни повозок, ничего не найдете, и ваш Петр бог его знает где, — сказал другой адъютант.

— Где ж главная квартира? В Цнайме ночуем?

— А я так перевьючил себе все, что мне нужно, на двух лошадей, — сказал Несвицкий, — и вьюки отличные мне сделали. Хоть через Богемские горы удирать. Плохо, брат. Да что ты, верно, нездоров, что так вздрагиваешь? — спросил Несвицкий, заметив, как князя Андрея дернуло, будто от прикосновения к лейденской банке.

— Ничего, — ответил князь Андрей.

Он вспомнил в эту минуту о недавнем столкновении с лекарскою женой и фурштат-



ским офицером.

— Что главнокомандующий здесь делает? — спросил он.

— Ничего не понимаю, — сказал Несвицкий.

— Я одно понимаю, что все мерзко, мерзко и мерзко, — сказал князь Андрей и пошел в дом, где стоял главнокомандующий.

Пройдя мимо экипажа Кутузова, верховых замученных лошадей свиты и казаков, громко говоривших между собою, князь Андрей вошел в сени. Сам Кутузов, как сказали князю Андрею, находился в избе с князем Багратионом и Вейротером. Это был австрийский генерал, заменивший убитого Шмидта. В сенях же маленький Козловский сидел на корточках перед писарем. Писарь на перевернутой кадушке, заворотив обшлага мундира, поспешно писал. Лицо Козловского было измученное — он, видно, тоже не спал ночь — и мрачное, озабоченное, больше чем когда-нибудь. Он взглянул на князя Андрея и даже не кивнул ему головой.

— Вторая линия... Написал? — продолжал он, диктуя писарю. — Киевский гренадер-

ский, Подольский...

— Не поспеешь, ваше высокоблагородие, — отвечал писарь, непочтительно и сердито оглядываясь на Козловского.

Из-за двери слышен был в это время оживленно-недовольный голос Кутузова, перебиваемый другим, незнакомым голосом. В звуке этих голосов, в невнимании, с которым взглянул на него Козловский, в непочтительности измученного писаря, в самом том факте, что писарь и Козловский сидели так близко от главнокомандующего на полу около кадушки, что казаки, державшие лошадей, смеялись громко под окном дома, князь Андрей чувствовал, что должно было случиться что-нибудь важное и несчастливое. Князь Андрей, однако, настоятельно обратился к Козловскому с вопросами.

— Сейчас, князь, — сказал Козловский. — Диспозиция Багратиону.

— А капитуляция?

— Никакой нет, сделаны все распоряжения к сражению.

Князь Андрей направился к двери, из-за которой слышны были голоса.

Но в то время как он хотел отворить дверь, голоса в комнате замолкли, дверь сама отворилась, и Кутузов показался на пороге. Князь Андрей стоял прямо против Кутузова, но по выражению единственного зрячего глаза главнокомандующего видно было, что мысль и забота так сильно занимали его, что как будто застилали ему зрение. Он прямо смотрел на лицо своего адъютанта и не узнавал его.

— Ну что, кончили? — обратился он к Козловскому.

— Сию секунду, ваше высокопревосходительство.

Багратион, невысокий, с восточным типом твердого и неподвижного лица, сухой, еще не старый человек, вышел за главнокомандующим.

— Честь имею явиться, — повторил довольно громко князь Андрей, подавая конверт.

— А, из Вены? Хорошо. После, после.

Кутузов вышел с Багратионом на крыльцо.

— Ну, князь, прощай! Христос с тобой. Благословляю тебя на великий подвиг.

Лицо Кутузова неожиданно смягчилось, и слезы показались в его глазах. Он притянул к себе левою рукою Багратиона, а правой, на которой было кольцо, видимо, привычным жестом перекрестил его и подставил ему пухлую щеку, вместо которой Багратион поцеловал его в шею.

— Христос с тобой! — повторил Кутузов и подошел к коляске.

— Садись со мной, — сказал он Болконскому.

— Ваше высокопревосходительство, я желал бы быть полезен здесь. Позвольте мне остаться в отряде князя Багратиона.

— Садись, — сказал Кутузов, заметив, что Болконский медлит, — мне хорошие офицеры самому нужны, самому нужны.

Они сели в коляску и молча проехали несколько минут.

— Еще впереди много, много будет всего, — сказал он со старческим выражением пронизательности, как будто поняв, что делалось в душе Болконского. — Ежели из отряда его придет завтра одна десятая часть, я буду благодарить Бога, — прибавил Кутузов, как

бы говоря сам с собой.

Князь Андрей взглянул на Кутузова, и ему невольно бросились в глаза, в полуаршине от него, чисто промытые сборки шрама на виске Кутузова, где измаильская пуля пронизала ему голову. «Да, он имеет право так спокойно говорить о гибели этих людей», — подумал Болконский.

— От этого я и прошу отправить меня в этот отряд, — сказал он.

Кутузов не ответил. Он, казалось, уж забыл о том, что было сказано им, и сидел задумавшись. Через пять минут, плавно раскачиваясь на мягких рессорах коляски, Кутузов обратился к князю Андрею. На лице его не было и следа волнения. Он с тонкою насмешливостью расспрашивал князя Андрея о подробностях его свидания с императором и отзывах, слышанных при дворе о кремском деле. Видно было, что он предвидел все, что рассказывал его адъютант.

Кутузов через своего лазутчика получил 1-го ноября известие, ставившее командуемую им армию почти в безвыходное положение. Лазутчик доносил, что французы в огромных силах, перейдя Венский мост, направились на путь сообщения Кутузова с войсками, шедшими из России. Ежели бы Кутузов решился оставаться в Кремсе, то полтора-растатысячная армия Наполеона отрезала бы его от всех сообщений, окружила бы его сорокатысячную изнуренную армию, и он находился бы в положении Макка под Ульмом. Ежели бы Кутузов решился оставить дорогу, ведущую на сообщения с войсками из России, то он должен был вступить без дороги в неизвестные края Богемских гор, защищаясь от превосходящего силами неприятеля, и оставить всякую надежду на сообщения с Буксгевденом. Ежели бы Кутузов решился отступать по дороге из Кремса в Ольмюц на соединение с войсками из России, то он рисковал быть предупрежденным на этой дороге французами, перешедшими мост в Вене, и таким обра-

зом быть принужденным принять сражение на походе, со всеми тяжестями и обозами, и имея дело с неприятелем, втрое превосходившим его и окружавшим его с двух сторон. Кутузов избрал этот последний выход.

Французы, как доносил лазутчик, перейдя мост в Вене, усиленными маршами шли на Цнайм, лежавший на пути отступления Кутузова, впереди его более чем на сто верст. Достигнуть Цнайма прежде французов значило получить большую надежду на спасение армии; дать французам предупредить себя в Цнайме значило наверное подвергнуть всю армию позору, подобному Ульмскому, или общей гибели. Но предупредить французов со всею армией было невозможно. Дорога французов от Вены до Цнайма была короче и лучше, чем дорога русских от Кремса до Цнайма.

В ночь получения известия Кутузов послал шеститысячный авангард Багратиона направо горами с кремско-цнаймской дороги на венско-цнаймскую. Багратион должен был пройти без отдыха этот переход, остановиться лицом к Вене и задом к Цнайму, и ежели бы ему удалось предупредить французов, то

он должен был задерживать их, сколько мог. Сам же Кутузов со всеми тяжестями тронулся к Цнайму.

Пройдя с голодными, разутыми солдатами, без дороги, по горам, в бурную ночь, сорок пять верст, растеряв третью часть отсталыми, Багратион вышел в Голлабрун, на венско-цнаймскую дорогу, несколькими часами прежде французов, подходивших к Голлабруну из Вены. Кутузову надо было идти еще целые сутки с своими обозами, чтобы достигнуть Цнайма, и потому, чтобы спасти армию, Багратион должен был, с четырьмя тысячами голодных, измученных солдат, удерживать в продолжение суток всю неприятельскую армию, встретившуюся с ним в Голлабруне, что было, очевидно, невозможно. Но странная судьба сделала невозможное возможным. Успех этого обмана, который без боя отдал Венский мост в руки французов, побудил Мюрата попытаться обмануть так же и Кутузова. Мюрат, встретив слабый отряд Багратиона на цнаймской дороге, подумал, что это была вся армия Кутузова. Чтобы несомненно раздавить эту армию, он поджидал отставшие по



дороге из Вены войска и с этой целью предложил перемирие на три дня, с условием, чтобы те и другие войска не изменяли своих положений и не трогались с места. Мюрат уверял, что уже идут переговоры о мире и что потому, избегая бесполезного пролития крови, он предлагает перемирие. Австрийский генерал граф Ностиц, стоявший на аванпостах, поверил словам парламентаря Мюрата и отступил, открыв отряд Багратиона. Другой парламентар поехал в русскую цепь объявить то же известие о мирных переговорах и предложить перемирие русским войскам на три дня. Багратион отвечал, что он не может принять или не принимать перемирия и с донесением о сделанном ему предложении послал к Кутузову своего адъютанта.

Перемирие для Кутузова было единственным средством выиграть время, дать отдохнуть измученному отряду Багратиона и пройти обозам и тяжестям, движение которых было скрыто от французов, хотя бы один лишний переход до Цнайма. Предложение перемирия давало единственную и неожиданную возможность спасти армию. Получив это из-

вестие, Кутузов немедленно послал состоявшего при нем генерал-адъютанта Винценгероде в неприятельский лагерь. Винценгероде должен был не только принять перемирие, но и предложить условия капитуляции, а между тем Кутузов послал своих адъютантов назад торопить сколь возможно движение обозов всей армии по кремско-цнаймской дороге. Измученный, голодный отряд Багратиона один должен был, прикрывая собой движение обозов и всей армии, неподвижно оставаться перед неприятелем, в восемь раз сильнейшим.

Ожидания Кутузова сбылись как относительно того, что предложения капитуляции, ни к чему не обязывающие, могли дать время пройти некоторой части обозов, так и относительно того, что ошибка Мюрата должна была открыться очень скоро. Как только Бонапарт, находившийся в Шенбрунне, в 25 верстах от Голлабруна, получил донесение Мюрата и проект перемирия и капитуляции, он увидел обман и написал следующее письмо Мюрату:

*Принцу Мюрату.*

Шенбрунн, 25 брюмера 1805 г. в восемь часов утра.

Я не могу найти слов, чтобы выразить вам мое неудовольствие. Вы командуете только моим авангардом и не имеете права делать перемирие без моего приказанья. Вы заставляете меня потерять плоды целой кампании. Немедленно разорвите перемирие и идите против неприятеля. Вы объявите ему, что генерал, подписавший эту капитуляцию, не имел на это права, и никто не имеет, исключая лишь российского императора.

Впрочем, если российский император согласится на упомянутое условие, я тоже соглашусь, но это не что иное, как хитрость. Идите, уничтожьте русскую армию. Вы можете взять ее обозы и ее артиллерию.

Генерал — адъютант российского императора... Офицеры ничего не значат, когда не имеют официальных полномочий, он также их не имеет. Австрийцы дали себя обмануть при переходе Венского моста, а вы даёте себя обмануть этому генералу — адъютанту императора.

## *Наполеон.*

Адъютант Бонапарта во всю прыть лошади скакал с этим грозным письмом к Мюрату. Сам Бонапарт, не доверяя своим генералам, со всею гвардией двигался к полю сражения, боясь упустить готовую жертву, а четырехтысячный отряд Багратиона, весело раскладывая костры, сушился, обогревался, варил, в первый раз после трех дней, кашу, и никто из людей отряда не знал и не думал о том, что предстояло ему.

## XVI

**В** четвертом часу вечера князь Андрей, настояв на своей просьбе у Кутузова, приехал в Грунт и явился к Багратиону. Адъютант Бонапарта еще не приехал в отряд Мюрата, и сражение еще не начиналось. В отряде Багратиона ничего не знали об общем ходе дел, говорили о мире, но не верили в его возможность. Говорили о сражении и тоже не верили и в близость сражения. Багратион, зная Болконского за любимого и доверенного адъютанта, принял его с особенным начальниче-

ским отличием и снисхождением, объяснил ему, что, вероятно, нынче или завтра будет сражение, и предоставил ему полную свободу находиться при нем во время сражения или в арьергарде наблюдать за порядком отступления, «что тоже было очень важно».

— Впрочем, нынче, вероятно, дела не будет, — сказал Багратион, как бы успокаивая князя Андрея.

«Ежели это один из обыкновенных штабных франтиков, посылаемых для получения крестика, то он и в арьергарде получит награду, а ежели хочет со мной быть, пускай... пригодится, коли храбрый офицер», — подумал Багратион.

Князь Андрей, ничего не ответив, попросил позволения князя объехать позицию и узнать расположение войск с тем, чтобы в случае поручения знать, куда ехать. Дежурный офицер отряда, мужчина красивый, щеголевато одетый и с алмазным перстнем на указательном пальце, дурно, но охотно говоривший по-французски, вызвался проводить князя Андрея.

Дежурный штаб-офицер занимал один из

разоренных домов деревни Грунт, и князь Андрей зашел к нему, в то время как им седлали лошадей. За разломанной перегородкой топилась печь, и перед печью морщились и светлели сушившиеся мокрые сапоги и дымилась насквозь промокшая шинель. В горнице на полу спали три офицера, атмосфера была тяжелой.

— Присядьте, князь, хоть тут, — сказал штаб-офицер по-французски. — Сейчас мне лошадь подадут. Это наши господа, князь. Ведь две ночи под дождем, негде и посушиться было.

Жалкий и грустный вид представляли эти офицеры. Такой же печальный и беспорядочный вид представляла вся деревня, когда они, сев на лошадей, проезжали ее. Со всех сторон виднелись мокрые, с грустными лицами офицеры, чего-то как будто искавшие, и солдаты, тащившие из деревни двери, лавки и заборы.

— Вот не можем, князь, избавиться от этого народа, — сказал штаб-офицер, указывая на этих людей. — Распускают командиры.

А вот здесь, — он указал на раскинутую палатку маркитанта, — собьются и сидят. Нын-

че утром всех выгнал, посмотрите, опять полна. Надо подъехать, князь, пугнуть их. Одна минута.

— Заедемте, и я возьму у него сыру и булку, — сказал князь Андрей, который не успел еще поест.

— Что ж вы не сказали, князь?

Они сошли с лошадей и вошли в палатку маркитанта. Несколько человек офицеров с раскрасневшимися и истомленными лицами сидели за столами, пили и ели.

— Ну что ж это, господа, — сказал штаб-офицер тоном упрека, как человек, уже несколько раз повторявший одно и то же. — Ведь нельзя же отлучаться так. Князь приказал, чтобы никого не было. Ну, вот вы, господин штабс-капитан, — обратился он к маленькому, грязному, худому артиллерийскому офицеру, который без сапог (он отдал их сушить маркитанту), в одних чулках встал перед вошедшими, улыбаясь не совсем естественно.

— Ну, как вам, капитан Тушин, не стыдно? — продолжал штаб-офицер. — Вам бы, кажется, как артиллеристу, надо пример пока-

зывать, а вы без сапог. Забьют тревогу, а вы без сапог очень хороши будете. (Штаб-офицер улыбнулся.) Извольте отправляться к своим местам, господа, все, все, — прибавил он начальнически.

Князь Андрей невольно улыбнулся, взглянув тоже на штабс-капитана Тушина. Молча и улыбаясь, Тушин переступал с босой ноги на ногу, вопросительно глядел большими умными и добрыми глазами то на князя Андрея, то на штаб-офицера.

— Солдаты говорят: разумши ловчее, — сказал капитан Тушин, улыбаясь и робея, видимо, желая из своего неловкого положения перейти в шуточный тон; но еще он не договорил, как почувствовал, что шутка его не принята и не вышла. Он смутился.

— Извольте отправляться, — сказал штаб-офицер, стараясь удержать серьезность.

Князь Андрей еще раз взглянул на фигурку артиллериста. В ней было что-то особенное, совершенно не военное, несколько комическое, но чрезвычайно привлекательное.

Штаб-офицер и князь Андрей сели на лошадей и поехали дальше.



Выехав за деревню, беспрестанно обгоняя и встречая идущих солдат, офицеров разных команд, они увидали налево краснеющие свежую глиной вновь вскопанные, строящиеся укрепления. Несколько батальонов солдат в одних рубахах, несмотря на холодный ветер, как белые муравьи, копошились на этих укреплениях; из-за вала невидимо кем беспрестанно выкидывались лопаты красной глины. Они подъехали к укреплению, осмотрели его и поехали дальше. За самым укреплением наткнулись они на несколько десятков солдат, беспрестанно переменяющихся, сбегающих с укрепления. Они должны были зажать нос и тронуть лошадей рысью, чтобы выехать из этой отравленной атмосферы.

— Вот удовольствие лагеря, князь, — сказал дежурный штаб-офицер.

Они выехали на противоположную гору. С этой горы уже видны были французы. Князь Андрей остановился и начал рассматривать.

— Нет, после посмотрим, князь, — сказал штаб-офицер, для которого зрелище это уже было обыкновенно. Он указал на самый высокий пункт горы. — Вот тут наша батарея сто-

ит, — сказал он, — того самого чудака, что без сапог сидел; оттуда все видно; после заедем.

— Впрочем, я теперь один проеду, — сказал князь Андрей, желая избавиться от ломаного французского языка штаб-офицера, — не беспокойтесь, пожалуйста.

Но штаб-офицер сказал, что ему нужно проехать к драгунам, и они вместе поехали направо.

Чем далее подвигались они вперед, ближе к неприятелю, тем порядочнее и веселее становился вид войск. Самый сильный беспорядок и уныние были в том обозе перед Цнаймом, который объезжал утром князь Андрей и который был в десяти верстах от французов. В Грунте тоже чувствовалась некоторая тревога и страх чего-то. Но чем ближе подъезжал князь Андрей к цепи французов, тем самоувереннее становился вид наших войск. Выстроенные в ряд, стояли в шинелях солдаты, и фельдфебель и ротный рассчитывали людей, тыкая пальцем в грудь крайнему по отделению солдату и приказывая ему поднимать руку; рассыпанные по всему пространству солдаты тащили дрова и хворост и стро-

или балаганчики, весело смеясь и переговариваясь; у костров сидели одетые и голые, суша рубахи, подвертки или починивая сапоги и шинели; толпились около котлов и кашеваров. В одной роте обед был готов, и солдаты с жадными лицами смотрели на дымившиеся котлы и ждали пробы, которую в деревянной чашке подносил каптенармус офицеру, сидевшему на бревне против своего балагана.

В другой, более счастливой роте, так как не у всех была водка, солдаты, толпясь, стояли около рябого широкоплечего фельдфебеля, который, нагибая бочонок, лил в подставляемые поочередно крышки манерок. Солдаты с набожными лицами подносили ко рту манерки, опрокидывали их и, полоща рот и утираясь рукавами шинели, с повеселевшими лицами отходили от фельдфебеля. Все лица были такие спокойные, как будто все происходило не в виду неприятеля, перед делом, где должна была остаться на месте, по крайней мере, половина отряда, а как будто где-нибудь на родине в ожидании спокойной стоянки. Проехав егерский полк, в рядах киевских гренадеров, молодцеватых людей, занятых теми

же мирными делами, князь Андрей и штаб-офицер недалеко от высокого, отличавшегося от других балагана полкового командира наехали на фронт взвода гренадер, перед которыми лежал обнаженный человек. Двое солдат держали его, а двое взмахивали гибкие прутья и мерно ударяли по обнаженной спине. Наказываемый неестественно кричал, толстый майор ходил перед фронтом и, не переставая и не обращая внимания на крик, говорил:

— Солдату позорно красть, солдат должен быть честен, благороден и храбр, а коли у своего брата украл, так в нем чести нет, это мерзавец. Еще, еще!

И все слышались гибкие удары и отчаянный, но притворный крик.

— Еще, еще, — приговаривал майор.

Молодой офицер, с выражением недоумения и страдания в лице, отошел от наказываемого, оглядываясь вопросительно на проезжавших адъютантов. Но адъютанты ничего не сказали, отвернулись и поехали дальше.

Неестественно отчаянный, притворный крик наказываемого нескладно сливался с

звуками плясовой песни, которую пели в соседней роте. Солдаты стояли кружком, и в середине их плясал молодой рекрут, выделявая ногами и ртом уродливо быстрые и усиленные движения.

— Пройдись, ну, Макатюк! Ну же! — говорили старому солдату с медалью и крестом, пихая его в круг.

— Да я так не могу, как он.

— Да ну!

Солдат вошел в круг в шинели внакидку смотавшимися на ней орденами, держа руки в карманах, и прошелся по кругу шагом, чуть встряхивая плечами и щуря глаз. Он оглянулся и попал глазами на проезжавших адъютантов. Ему, видно, было все равно, на кого бы он ни смотрел, хотя выражение взгляда его, казалось, имело в виду какого-то одного приятеля, с кем он этим взглядом вспоминал штуку. Он остановился посередине и вдруг повернулся, вспрыгнул на корточки, сделал два раза ногами, поднялся, перевернулся и, не останавливаясь и отталкивая останавливающих, вышел вон из круга.

— Ну вас совсем! Пуцай молодые ребята

пляшут. Пойти ружье почистить, — сказал он.

Все, что он видел, врезывалось в память князя Андрея.

У драгун штаб-офицер зашел к полковому командиру, и князь Андрей один поехал по фронту. Цепь наша и неприятельская стояли на левом и правом фланге далеко друг от друга, но в середине, в том месте, где утром проезжали парламентареры, цепи сошлись так близко, что могли видеть лица друг друга и переговариваться между собою. Кроме солдат, занимавших цепь в этом месте, с той и с другой стороны стояло много любопытных, которые, посмеиваясь, разглядывали странных и чуждых для них неприятелей.

С раннего утра, несмотря на запрещение подходить к цепи, начальники не могли отбиться от любопытных. Солдаты, стоявшие в цепи, как люди, показывающие что-нибудь редкое, уж не смотрели на французов, а делали свои наблюдения над проходящими и, скучая, дожидались смены. Князь Андрей остановился рассматривать французов.

— Глянь-ка, глянь, — говорил один солдат товарищу, указывая на русского мушкетера.

ра-солдата, который с офицером подошел к цепи и что-то часто и горячо говорил с французским гренадером. — Вишь, лопочет как ловко! Аж хрэнцуз-то за ним не поспеваает. Ну-ка, ты, Сидоров!..

— Погоди, послухай. Ишь, ловко! — отвечал Сидоров, считавшийся мастером говорить по-французски.

Солдат, на кого указывали смеявшиеся, был Долохов. Князь Андрей узнал его и прислушался к его разговору. Долохов вместе с своим ротным пришел в цепь с левого фланга, на котором стоял их полк.

— Ну, еще, еще! — с наивно радостным и степенным лицом подстрекал Брыков, нагибаясь вперед и стараясь не проронить ни одного непонятого для него слова. — Пожалуйста, почаще. Что он?

Долохов не отвечал ротному, он был вовлечен в горячий спор с французским гренадером. Они говорили, как и должно было быть, о кампании. Француз доказывал, смешивая австрийцев с русскими, что русские сдались и бежали от самого Ульма; Долохов, как и всегда, говорил с излишним и несколько напы-

ценным жаром. Он доказывал, что русские не сдались, а отступали. А где захотели стоять, там разбили французов, как под Кремсом.

— Здесь велят прогнать вас, и прогоним, — говорил Долохов.

— Только старайтесь, чтобы вас не забрали со всеми вашими казаками, — сказал гренадер-француз.

Зрители и слушатели французы засмеялись.

— Вас заставят плясать, как при Суворове вы плясали.

— Что он там поет? — спросил один француз.

— Древняя история, — сказал другой, догадавшись, что дело шло о прежних войнах. — Император покажет этому вашему Сувару да и другим.

— Бонапарте... — начал было Долохов, но француз перебил его.

— Нет Бонапарте, есть император! — сердито крикнул он.

— Черт его дери!..

И Долохов по-русски, грубо, по-солдатски, обругался и, вскинув ружье, отошел прочь.



— Пойдемте, Иван Лукич, — сказал он ротному.

— Вот так по-хранцузски, — заговорили солдаты в цепи. — Ну-ка ты, Сидоров!

Сидоров подмигнул и, обращаясь к французам, начал часто, часто лопотать непонятные слова:

— Кари, мала, мусю, поскавили, мутер, каска, мущить, — лопотал он, стараясь придавать выразительные интонации своему говору.

— Го-го-го! ха-ха-ха-ха! Ух! Ух! — раздался между солдатами грохот такого здорового и веселого хохота, невольно через цепь сообщившегося и французам, что после этого, казалось, нужно было поскорее разрядить ружья, взорвать заряды и разойтись поскорее всем по домам. Но ружья остались заряжены, бойницы в домах и укреплениях так же грозно смотрели вперед, и так же, как прежде, остались друг против друга обращенные, снятые с передков пушки.

## XVII

«Ну что же, — сказал сам себе князь Андрей, — православное воинство не так уж плохо. Оно выглядит совсем недурно... Во-все нет, во-все нет».

Объехав всю линию войск от правого до левого фланга, он поднялся на ту батарею, с которой, по словам штаб-офицера, сопровождавшего его, все поле было видно. Здесь он слез с лошади и остановился у крайнего из четырех снятых с передков орудий. Впереди орудий ходил часовой артиллерист, вытянувшийся было перед офицером, но по сделанному ему знаку возобновивший свое равномерное, скучливое хождение. Сзади орудий стояли передки, еще сзади коновязь и костры артиллеристов. Налево, недалеко от крайнего орудия, был новый плетеный шалашик, из которого слышались оживленные офицерские голоса.

Действительно, с батареи открывался вид почти всего расположения русских войск и большей части неприятеля. Прямо против батареи, на горизонте противоположного бугра,

виднелась деревня Шенграбен; левее и правее можно было различить в трех местах, среди дыма их костров, массы французских войск, которых, очевидно, большая часть находилась в самой деревне и за горою. Левее деревни, в дыму, казалось что-то похожее на батарею, но простым глазом нельзя было рассмотреть хорошенько. Правый фланг наш располагался на довольно крутом возвышении, которое господствовало над позицией французов. По нем расположена была наша пехота, и на самом краю видны были драгуны. В центре, где и находилась та батарея Тушина, с которой рассматривал позицию князь Андрей, был самый отлогий и прямой спуск и подъем к ручью, отделявшему нас от Шенграбена. Налево войска наши примыкали к лесу, где дымились костры нашей рубившей дрова пехоты. Линия французов была шире нашей, и ясно было, что французы могли обойти нас с обеих сторон и атаковать; в центре, сзади нашей позиции, был крутой и глубокий овраг, по которому трудно было отступить артиллерии и коннице. Князь Андрей, облокотясь на пушку и достав бумаж-

ник, начертил для себя план расположения войск. В двух местах он карандашом поставил заметки, намереваясь при случае сообщить самому князю Багратиону или хоть свитскому офицеру, находившемуся при нем, свои сомнения в правильности расположения войск. Он предполагал, во-первых, сосредоточить всю артиллерию в центре и, во-вторых, кавалерию перевести назад, на ту сторону оврага.

Князь Андрей, постоянно находясь при главнокомандующем, следя за движениями масс и общими распоряжениями и постоянно занимаясь историческими описаниями сражений, и в этом предстоящем деле невольно соображал будущий ход военных действий только в общих чертах. Ему представлялись лишь следующего рода крупные случайности: «Ежели неприятель поведет атаку на правый фланг, — говорил он сам себе, — Киевский гренадерский и Подольский егерский должны будут удерживать свою позицию до тех пор, пока резервы центра не подойдут к ним. В этом случае драгуны могут ударить во фланг и опрокинуть. В случае же атаки на

центр мы выставляем на этом возвышении центральную батарею и под ее прикрытием стягиваем левый фланг и отступаем до оврага эшелонами...» Все время, что он был на батарее у орудия, он, как это часто бывает, не переставая слышал звуки голосов офицеров, говоривших в балагане; но не понимал ни одного слова из того, что они говорили. Вспоминая маршала Лаудона, Суворова, Фридриха, Бонапарта и их сражения и рассматривая известные ему и перед ним расположенные части войск как мертвые орудия, он предполагал в своем воображении различные сочетания и случайности, французскими словами закрепляя свои мысли. Вдруг звук голосов из балагана поразил его таким задушевым и простым тоном, что он невольно стал понимать смысл их разговора и стал прислушиваться. Офицеры, видимо, находились в самой задушевной беседе и философствовали.

— Нет, голубчик, — говорил приятный и как будто знакомый князю Андрею голос, — я говорю, что коли бы возможно было знать, что будет после смерти, тогда бы и смерти из нас никто не боялся. Так-то, голубчик.

Другой, более молодой голос перебил его:

— Да бойся, не бойся, все равно не минует.  
ешь.

— А все боишься! Эх вы, ученые люди, — сказал третий, мужественный голос, перебивая обоих. — То-то вы артиллеристы и ученые очень, оттого что все с собой свезти можно, и водочки, и закусочки.

И владелец мужественного голоса, видимо, пехотный офицер, засмеялся. Артиллеристы продолжали спорить.

— А все боишься, — продолжал первый. — Боишься неизвестности, вот чего. Как там ни говори, что душа на небо пойдет... ведь это мы знаем, что неба нет, а есть атмосфера одна.

Опять мужественный голос перебил артиллериста.

— Ну, угостите же травником вашим, Тущин, — сказал он.

«А, это тот самый капитан, который без сапог стоял у маркитанта», — подумал князь Андрей, с удовольствием признавая приятный философствовавший голос.

— Ей, ты! — крикнул пехотный офицер. —

Алешка! Тащи, брат, сюда из зарядного ящика закуски.

— Давай, давай, — подтвердил голос артиллериста, — да трубочку мне за это.

Либо совестно было одному, что попросил водки и закуски, либо другому стало страшно, чтобы не подумали, что он жалеет, — они помолчали.

— Вишь ты, и книжечки с собой возят, — сказал смеющийся мужественный голос.

— О черкешенках пишет какой-то.

Он стал читать, едва удерживаясь от смеха, которого он, видимо, сам стыдился, но не мог удержать.

*«Черкешенки славятся красотой и заслуживают свою славу от удивительной белизны...»*

В это время в воздухе послышался свист; ближе, ближе, быстрее и слышнее, слышнее и быстрее, и ядро, как будто не договорив всего, что нужно было, с нечеловеческой силой взрывая брызги, шлепнулось в землю недалеко от балагана. Земля как будто ахнула от страшного удара. В то же мгновение из бала-

гана выскочил прежде всех маленький Тушин с закушенной набок трубочкой; доброе, умное лицо его было несколько бледно. За ним вышел владетель мужественного голоса, пехотный офицер, и побежал к своей роте, на бегу застегиваясь.

## XVIII

Князь Андрей верхом остановился на батарее, глядя на французские войска. Глаза его разбегались по обширному пространству. Он видел только, что прежде неподвижные массы французов заколыхались и что налево действительно была батарея. На ней еще не разошелся дымок. Французские два конные, вероятно, адъютанта проскакали по горе. Под гору, вероятно, для усиления цепи, двигалась явственно видневшаяся небольшая колонна неприятеля. Еще дым первого выстрела не рассеялся, как показался другой дымок и выстрел. Сражение началось. Князь Андрей повернул лошадь и поскакал назад в Грунт отыскивать князя Багратиона. Сзади себя он слышал, как канонада становилась чаще и громче. Видно, наши начинали отвечать.



Внизу, в том месте, где проезжали парламентареры, послышались ружейные выстрелы.

Лемарруа с грозным письмом Бонапарта только что прискакал к Мюрату, и пристыженный Мюрат, желая загладить свою ошибку, тотчас же двинул свои войска на центр и в обход обоих флангов, надеясь еще до вечера и до прибытия императора раздавить ничтожный, стоявший перед ним отряд.

«Началось! Вот оно!» — думал князь Андрей, чувствуя, как кровь чаще начинала приливать к его сердцу. Проезжая между тех же рот, которые ели кашу и пили водку четверть часа тому назад, он везде видел одни и те же быстрые движения строившихся и разбиравших ружья солдат, и на всех лицах узнавал он то чувство оживления, которое было в его сердце. «Началось. Вот оно! Страшно и весело!» — говорило лицо каждого солдата и офицера, которые встречались ему.

Не доехав еще до строившегося укрепления, он увидел в вечернем свете пасмурного осеннего дня подвигавшихся ему навстречу верховых. Передовой, в генеральском сюртуке, бурке и картузе со смушками, ехал на бе-

лой лошади. Это был князь Багратион со свитой. Князь Андрей остановился, ожидая его. Князь Багратион приостановил свою лошадь и, узнав князя Андрея, кивнул ему головой. Он продолжал смотреть вперед, в то время как князь Андрей говорил ему то, что он видел.

Выражение «началось! вот оно!» было даже и на крепком, карем лице князя Багратиона, с полузакрытыми, мутными, как будто не выспавшимися глазами. Князь Андрей с беспокойным любопытством вглядывался в это неподвижное лицо, и ему хотелось знать: думает ли и чувствует, и что думает, что чувствует этот человек в эту минуту. «Есть ли вообще что-нибудь там, за этим неподвижным лицом?» — спрашивал себя князь Андрей, глядя на него. Князь Багратион наклонил голову в знак согласия на слова князя Андрея и сказал «хорошо» с таким выражением, как будто все то, что происходило и что ему сообщали, было именно то, что он уже предвидел. Князь Андрей, запыхавшись от быстрой езды, говорил быстро. Князь Багратион произносил слова с своим восточным акцентом особенно

медленно, как бы внушая, что торопиться некуда. Он тронул, однако, рысью свою лошадь по направлению к батарее Тушина. Князь Андрей вместе с свитой поехал за ним. За князем Багратионом ехал свитский офицер, личный адъютант князя Жерков, ординарец, дежурный штаб-офицер на англазированной красивой лошади, статский чиновник, аудитор, который из любопытства попросился ехать в сражение, и еще нижние чины, казаки и гусары. Аудитор, полный мужчина, с полным лицом, с наивною улыбкой радости, оглядывался вокруг, трясясь на своей лошади, представляя странный вид в своей камлотовой шинели на фурштатском седле среди гусар, казаков и адъютантов.

— Вот, князь, хочет сраженье посмотреть, — сказал Жерков Болконскому, указывая на аудитора, — да под ложечкой уж заболело.

— Ну, полно вам, — проговорил аудитор с сияющею наивною и вместе хитрою улыбкой, как будто ему лестно было, что он составлял предмет шуток Жеркова, и как будто нарочно старался казаться глупее, чем он был на са-

мом деле.

— Очень забавно, мой господин князь, — сказал дежурный штаб-офицер. (Он помнил, что по-французски как-то особенно говорится титул князь, и никак не мог наладить.)

В это время они все уже подъезжали к батарее Тушина, и впереди их ударилось ядро.

— Что ж это упало? — наивно улыбаясь, спросил аудитор.

— Лепешки французские, — сказал Жерков.

— Этим-то бьют, значит? — спросил аудитор. — Страсть-то какая!

И он, казалось, распускался весь от удовольствия. Едва он договорил, как опять раздался неожиданно страшный свист, вдруг прекратившийся ударом во что-то жидкое, и ш-ш-ш-шлеп — казак, ехавший несколько правее и сзади аудитора, с лошастью рухнул на землю. Жерков и дежурный штаб-офицер пригнулись к седлам и прочь повертели лошадей. Аудитор остановился против казака, со внимательным любопытством рассматривая его. Казак был мертв, лошадь еще билась.

— Что ж? поднять бы надо, — сказал он с

улыбкой. Князь Багратион, прищурившись, оглянулся и, увидав причину происшедшего замешательства, равнодушно отвернулся, как будто говоря: стоит ли глупостями заниматься. Он остановил лошадь с приемом хорошего ездока, несколько перегнулся и выправил зацепившуюся за бурку шпагу. Шпага была старинная, не такая, какие носились теперь. Князь Андрей вспомнил рассказ о том, как Суворов в Италии подарил свою шпагу Багратиону, и ему в эту минуту особенно приятно было это воспоминание. Они подъехали к той самой батарее, у которой стоял Болконский, рассматривая поле сражения.

— Чья рота? — спросил князь Багратион у фейерверкера, стоявшего у ящиков.

Он спрашивал: «Чья рота?» — а в сущности он спрашивал: «Уж не робеете вы тут?» И фейерверкер понял это.

— Капитана Тушина, ваше превосходительство, — вытягиваясь, закричал страшным и веселым голосом рыжий, с покрытым веснушками лицом фейерверкер.

— Так, так, — проговорил Багратион, что-то соображая, и мимо передков подъехал к

крайнему орудию. В то время как он подъезжал, из орудия этого, оглушая его и свиту, зазвенел выстрел, и в дыму, вдруг окружившем орудие, видны были артиллеристы, подхватившие пушку и, торопливо напрягаясь, накатывавшие ее на прежнее место. Широкоплечий, огромный солдат, первый с банником, широко расставив ноги, отскочил к колесу. Второй трясущеюся рукой клал заряд в дуло. Небольшой сутуловатый человек, офицер Тушин, спотыкнувшись на хобот, убежал вперед, не замечая генерала и выглядывая из-под маленькой ручки.

— Еще две линии прибавь, как раз так будет, — закричал он тоненьким голоском, которому он старался придать молодцеватость, не шедшую к его фигуре. — Второе! — пропихнул он. — Круши, Медведев!

Багратион окликнул офицера, и Тушин робким и неловким движением, совсем не так, как салютуют военные, а так, как благословляют священники, приложив два пальца к козырьку, подошел к генералу. Хотя орудия Тушина были назначены для того, чтобы обстреливать лощину, он стрелял брандскутеля-

ми по видневшейся впереди деревне Шенграбен, перед которой выдвигались большие массы французов.

Никто не приказывал Тушину, куда и чем стрелять, и он, посоветовавшись с своим фельдфебелем Захарченком, к которому имел большое уважение, решил, что хорошо было бы зажечь деревню. «Хорошо!» — сказал Багратион на доклад офицера и стал оглядывать все открывавшееся перед ним поле сражения, как бы что-то соображая. С правой стороны ближе всего подошли французы. Пониже высоты, на которой стоял Киевский полк, в лождине речки, слышалась хватающая за душу перекатная трескотня ружей, и гораздо правее за драгунами свитский офицер указывал князю на обходившую наш фланг колонну французов. Налево горизонт ограничивался близким лесом.

Князь Багратион приказал двум батальонам из центра идти на подкрепление направо. Свитский офицер осмелился заметить князю, что по уходе этих батальонов орудия останутся без прикрытия. Князь Багратион обернулся к свитскому офицеру и тусклыми

глазами смотрел на него молча. Князю Андрею казалось, что замечание свитского офицера было справедливо и что действительно сказать было нечего. Но в это время прискакал адъютант от полкового командира, бывшего в лощине, с известием, что огромные массы французов шли низом, что полк расстроен и отступает к киевским гренадерам. Князь Багратион наклонил голову в знак согласия и одобрения. Шагом поехал он направо и послал адъютанта к драгунам с приказанием атаковать французов. Но посланный туда адъютант приехал через полчаса с известием, что драгунский полковой командир отступил за овраг, ибо против него был направлен сильный огонь и он понапрасну терял людей и потому спустил стрелков в лес.

— Хорошо, — сказал Багратион. В то время как он отъезжал от батареи, налево тоже слышались выстрелы в лесу, и так как было слишком далеко до левого фланга, чтоб успеть самому приехать вовремя, князь Багратион послал туда Жеркова сказать старшему генералу, тому самому, который представлял полк Кутузову в Браунау, чтоб он отсту-



пил сколь можно поспешнее за овраг, потому что правый фланг, вероятно, не в силах будет долго удерживать неприятеля. Про Тушина же и батальон, прикрывавший его, было забыто.

Князь Андрей тщательно прислушивался к разговорам князя Багратиона с начальниками и к отдаваемым им приказаниям, и к удивлению замечал, что приказаний никаких отдаваемо не было, а что князь Багратион только старался делать вид, что все, что делалось по необходимости, случайности и воле частных начальников, что все это делалось хоть не по его приказанию, но согласно с его намерениями. Благодаря такту, который выказывал князь Багратион, князь Андрей замечал, что, несмотря на эту случайность событий и независимость их от воли начальника, присутствие его сделало чрезвычайно много. Начальники, с расстроенными лицами подъезжавшие к князю Багратиону, становились спокойны, солдаты и офицеры весело приветствовали его и становились оживленнее в его присутствии и, видимо, щеголяли перед ним своею храбростью.

## XIX

Князь Багратион, выехав на самый высокий пункт нашего правого фланга, стал спускаться книзу, где слышалась перекатная стрельба и ничего не видно было от порохового дыма. Чем ближе они спускались к ложине, тем менее им становилось видно, но тем чувствительнее становилась близость самого настоящего поля сражения. Им стали встречаться раненые. Одного, с окровавленной головой, без шапки, тащили двое солдат под руки. Он хрипел и плевал. Пуля попала, видно, в рот или в горло. Другой, встретившийся им, бодро шел один, без ружья, громко охая в махая от свежей боли рукою, из которой кровь лилась, как из склянки, на его шинель. Лицо его казалось больше испуганным, чем страдающим. Он минуту тому назад был ранен. Переехав дорогу, они стали круто спускаться и на спуске увидели несколько человек, которые лежали; им встретилась толпа раненых, в числе которых были и нераненые. Солдаты шли в гору, тяжело дыша и, несмотря на вид генерала, громко разговаривали и

махали руками. Впереди, в дыму, уже были видны ряды серых шинелей, и офицер, увидав Багратиона, с криком побежал за солдатами, шедшими толпой, требуя, чтоб они воротились. Багратион подъехал к рядам, по которым то там, то здесь быстро щелкали выстрелы, заглушая говор и командные крики. Весь воздух пропитан был пороховым дымом. Лица солдат все были закопчены порохом и оживлены. Иные забивали шомполами, другие подсыпали на полки, доставали заряды из сумок, третьи стреляли под самым ухом. Но в кого они стреляли, этого не было видно от порохового дыма, не уносимого ветром. И слышались довольно часто приятные звуки жужжания и свистения.

«Что это такое? — думал князь Андрей, подъезжая к этой толпе солдат. — Это не может быть цепь, потому что они в кучке! Не может быть атака, потому что они не двигаются, не может быть каре, они не так стоят».

Худощавый, слабый на вид старичок, полковой командир, с приятною улыбкой, с веками, которые больше чем наполовину закрывали его старческие глаза, придавая ему крот-

кий вид, подъехал к князю Багратиону и принял его как хозяин дорогого гостя. Он доложил князю Багратиону, что против его полка была конная атака французов. Но что, хотя атака эта отбита, полк потерял больше половины людей. Полковой командир сказал, что атака была отбита, придумав это военное название тому, что происходило в его полку, но он действительно сам не знал, что происходило в эти полчаса во вверенных ему войсках, и не мог с достоверностью сказать, была ли отбита атака или полк его был разбит атакой. В начале действий он знал только то, что по всему его полку стали летать ядра и гранаты и бить людей, что потом кто-то закричал: «конница», и наши стали стрелять. И стреляли до сих пор уже не в конницу, которая скрылась, а в пеших французов, которые показались в лощине и стреляли по нашим.

Князь Багратион наклонил голову в знак того, что все это было совершенно так, как он желал и предполагал. Обратившись к адъютанту, он приказал ему привести с горы два батальона 6-го егерского, мимо которых они сейчас проехали. Князя Андрея поразила в эту

минуту перемена, происшедшая в лице князя Багратиона. А лицо его выражало ту сосредоточенную и счастливую решимость, которая бывает у человека, готового в жаркий день броситься в воду и берущего последний разбег. Не было ни невыспавшихся тусклых глаз, ни притворно глубокомысленного вида: круглые, твердые, ястребиные глаза восторженно и несколько презрительно смотрели вперед, очевидно, ни на чем не останавливаясь, хотя в его движениях оставалась прежняя медленность и размеренность.

Полковой командир обратился к князю Багратиону, упрашивая его отъехать назад, так как здесь было слишком опасно.

— Помилуйте, ваше сиятельство, ради бога, — говорил он, за подтверждением взглядывая на свитского офицера, который отвертывался от него. — Вот извольте видеть.

Он давал заметить пули, которые беспрестанно визжали, пели и свистели около них. Он говорил таким тоном просьбы и упрека, с каким плотник говорит взявшемуся за топор барину: «Наше дело привычное, а вы ручки намозолите». Он говорил так, как будто его

самого не могли убить эти пули. И его полузакрытые глаза придавали его словам еще более убедительное выражение. Штаб-офицер присоединился к увещаниям полкового командира, но князь Багратион не отвечал им и только приказал перестать стрелять и построиться так, чтобы дать место подходившим двум батальонам. В то время как он говорил, будто невидимую рукой потянулся справа налево от поднявшегося ветра полог дыма, скрывавший лощину, и противоположная гора сдвигающимися по ней французами открылась перед ними. Все глаза были невольно устремлены на эту французскую колонну, подвигавшуюся к нам и извивавшуюся по уступам местности. Уже видны были мохнатые шапки солдат, уже можно было отличить офицеров от рядовых, видно было, как трепалось знамя.

— Славно идут, — сказал кто-то в свите Багратиона.

Голова колонны спустилась уже в лощину. Столкновение должно было произойти на этой стороне.

Остатки нашего полка, бывшего в деле, по-

спешно строясь, отходили вправо; из-за них, разгоняя отставших, подходили стройно два батальона 6-го егерского. Они еще не поравнялись с Багратионом, а уже слышен был тяжелый, грузный шаг, отбиваемый в ногу всею этою массой людей. С левого фланга шел ближе всех к Багратиону ротный командир, круглолицый статный мужчина, с глупым, счастливым выражением лица. Он, видимо, ни о чем не думал в эту минуту, кроме того, что он молодцом пройдет мимо начальства. С фрунтовым самодовольством он шел легко на мускулистых ногах, точно плыл, без малейшего усилия вытягиваясь и отличаясь этою легкостью от тяжелого шага солдат, шедших по его шагу. Он нес у ноги вынутую тоненькую узенькую шпагу (гнутую шпажку, не похожую на оружие) и, оглядываясь то на начальство, то назад, не теряя шагу, гибко поворачивался всем своим сильным станом. Казалось, все силы души его были направлены на то, чтобы наилучшим образом пройти мимо начальства, и, чувствуя, что он исполняет это дело хорошо, он был счастлив. «Левой... левой... левой», — казалось, внутренне пригова-

ривал он через каждый шаг, и по этому такту с разнообразно строгими лицами двигалась стена солдатских фигур, отягченных ранцами и ружьями, как будто каждый из этих сотен солдат мысленно через шаг приговаривал: «левой... левой... левой...»

Толстый майор, пыхтя и разрознивая шаг, обходил куст по дороге; отставший солдат, запыхавшись, с испуганным лицом за свою неисправность, рысью догонял роту; ядро, нажимая воздух, пролетело над головой князя Багратиона и свиты и ударилось в колонну.

— Сомкнись! — послышался щеголяющий голос ротного командира.

Солдаты дугой обходили что-то в том месте, куда упало ядро, и старый кавалер, фланговый унтер-офицер, отстав около убитых, догнал свой ряд, подпрыгнув, переменял ногу, попал в шаг и сердито оглянулся. «Левой... левой... левой...» — казалось, слышалось из-за угрожающего молчания и однообразного звука единовременно ударяющих о землю ног.

— Молодцами, ребята! — сказал Багратион.

— Ради... ого-го-го-го-го-го!.. — раздалось по рядам.



Угрюмый солдат, шедший слева, крича, оглянулся глазами на Багратиона с таким выражением, как будто говорил «сами знаем», другой, не оглядываясь и как будто боясь развлечься, разинув рот, кричал и проходил. Велено было остановиться и снять ранцы.

Багратион объехал прошедшие мимо его ряды и слез с лошади. Он отдал казаку поводья, затем снял и отдал бурку, расправил ноги и поправил на голове картуз. Голова французской колонны, с офицерами впереди, показалась из-под горы. Но никто не видал их, все смотрели только на этого невысокого человека, в прямо надетом бараньем картузе, с просто опущенными руками и блестящими теперь глазами.

— С Богом! — проговорил он твердым слышным голосом, на мгновение обернулся к фронту и, слегка размахивая руками, неловким шагом кавалериста, как бы трудясь, пошел вперед по неровному полю. Князь Андрей чувствовал, что какая-то непреодолимая сила влечет его вперед, и испытывал счастье, заставившее его забыть все в эту минуту...

Тут произошла та атака, про которую гос-

подин Тьер говорит: «Русские вели себя доблестно, и — вещь редкая на войне — две массы пехоты шли решительно одна против другой, и ни одна из двух не уступила до самого столкновения»; а Наполеон на острове Святой Елены сказал: «Несколько русских батальонов проявили бесстрашие».

Уже близко становились французы, уже князь Андрей, шедший рядом с Багратионом, ясно различал перевязи, красные эполеты, даже лица французов, ясно видел одного старого французского офицера, который вывернутыми ногами, в штиблетах, с трудом шел в гору. Князь Багратион не давал нового приказа, и все так же молча шел перед рядами. Вдруг между французами треснул один выстрел, другой, третий... и по всем расстроившимся неприятельским рядам разнесся дым и затрещала пальба. Несколько человек наших упало, в том числе и круглолицый офицер, шедший так весело и старательно. Но в то же мгновение как раздался первый выстрел, Багратион оглянулся и закричал:

— Ура!

— Ура-а-а-а! — протяжным криком разнес-

лось по нашей линии, и, обгоняя князя Багратиона и друг друга, нестройною, но веселою и оживленною толпой побежали наши под гору за расстроенными французами.

## XX

**А** така 6-го егерского обеспечила отступление правого фланга.

В центре действие забытой батареи Тушина, успевшего зажечь Шенграбен, останавливало движение французов. Французы тушили пожар, разносимый ветром, и давали время отступать. Хотя отступление через овраг совершилось и поспешно, и шумно, однако войска отступали, не путаясь командами. Но левый фланг, который единовременно был атакован и обходим превосходящими силами французов под начальством Ланна и который состоял из Азовского и Подольского пехотных и Павлоградского гусарского полков, был расстроен. Багратион послал Жеркова к генералу левого фланга с приказанием немедленно отступать.

Жерков бойко, не отнимая руки от фуражки, тронул лошадь и поскакал. При Багратио-

не он вел себя прекрасно, то есть совершенно храбро, но едва отъехал, как силы изменили ему. Он боялся, непреодолимо боялся быть убитым, и не мог ехать опять туда, где было опасно.

Подъехав к войскам левого фланга, он поехал вперед, где была стрельба и стал отыскивать генерала и начальников там, где их не могло и быть, и потому не передал приказа.

Командование левым флангом принадлежало по старшинству полковому командиру того самого полка, который представлялся под Браунау Кутузову и в котором служил солдатом Долохов. Командование же крайнего левого фланга было предназначено командиру Павлоградского полка, где служил Ростов, вследствие чего произошло недоразумение. Оба начальника были сильно раздражены друг против друга, и в то самое время, как на правом фланге давно уже шло дело и французы уже начали наступление, оба начальника были погружены в переговоры через адъютантов между собой, переговоры, которые имели целью оскорбить один другого.

Полки же, как кавалерийский, так и пехотный, были весьма мало приготовлены к предстоящему делу. По странной случайности люди полков, от солдата до генерала, не ждали сраженья и спокойно занимались мирными делами: кормлением лошадей в коннице, собиранием дров в пехоте.

— Если он, однако, старше моего чином, — говорил немец, гусарский полковник, краснея и обращаясь к подъехавшему адъютанту, — то оставляй его делать, как он хочет. Я своих гусар не могу жертвовать. Трубач! Играй отступление!

Но дело становилось к спеху. Канонада и стрельба, сливаясь, гремели справа и в центре, и французские капоты стрелков Ланна проходили уже плотину мельницы и выстраивались на этой стороне в двух ружейных выстрелах. Пехотный полковник вздрагивающе походкой подошел к лошади и, влезши на нее и сделавшись очень прямым и высоким, поехал к павлоградскому командиру. Полковые командиры съехались с учтивыми поклонами и со скрываемою злобой в сердце.

— Опять-таки, полковник, — говорил гене-

рал, — не могу я, однако, оставить половину людей в лесу. Я вас прошу, я вас прошу, — повторил он, — занять позицию и приготовиться к атаке.

— А вас прошу не мешивайтесь не свое дело, — отвечал, горячась, полковник. — Коли бы вы был кавалерист...

— Я не кавалерист, полковник, но я русский генерал, и ежели вам это неизвестно...

— Очень известно, ваше превосходительство, — вдруг вскрикнул, трогая лошадь и делаясь красно-багровым, полковник. — Не угодно ли пожаловать в цепи, и вы будете посмотреть, что этот позиция никуда негодный. Я не хочу истребляйтъ своя полка для ваше удовольствие.

— Вы забываетесь, полковник. Я не удовольствие свое соблюдаю и говорить себе этого не позволю.

Генерал, принимая приглашение полковника на турнир храбрости, выпрямив грудь и нахмурившись, поехал с ним вместе по направлению к цепи, как будто все их разногласие должно было решиться там, в цепи, под пулями. Они поехали в цепь, несколько пуль

пролетело над ними, и они молча остановились. Смотреть в цепи нечего было, так как и с того места, на котором они прежде стояли, ясно было, что по кустам и оврагам кавалерии действовать невозможно и что французы обходят левое крыло. Генерал и полковник строго и значительно смотрели, как два петуха, готовящиеся к бою, друг на друга, напрасно выжидая признаков трусости. Оба выдержали экзамен. Так как говорить было нечего, и ни тому, ни другому не хотелось подать повод другому сказать, что он первый выехал из-под пуль, они долго простояли бы там, взаимно испытывая храбрость, ежели бы в это время в лесу, почти сзади их, не слышались трескотня ружей и глухой сливающийся крик. Французы напали на солдат, находившихся в лесу с дровами. Гусарам уже нельзя было отступить вместе с пехотой. Они были отрезаны от пути отступления налево французской цепью. Теперь, как ни неудобна была местность, необходимо было атаковать, чтобы проложить себе дорогу.

Эскадрон, где служил Ростов, только что успевший сесть на лошадей, был остановлен

лицом к неприятелю. Опять, как и на Энском мосту, между эскадронам и неприятелем никого не было, и между ними, разделяя их, лежала та же странная черта неизвестности и страха, как бы черта, отделяющая живых от мертвых. Все люди чувствовали эту черту, и вопрос о том, перейдут ли или нет и как перейдут они эту черту, волновал их.

Ко фронту подъехал полковник, сердито ответил что-то на вопросы офицеров и, как человек, отчаянно настаивающий на своем, отдал какое-то приказание. Никто ничего определенного не говорил, но по эскадрону пронеслась молва об атаке. Раздалась команда построения, потом визгнули сабли, вынутые из ножен. Но все еще никто не двигался. Войска левого фланга, и пехота, и гусары, чувствовали, что начальство само не знает, что делать. И нерешимость начальников сообщалась войскам. Все нетерпеливо взглядывали друг на друга и на начальство впереди.

— Что поводи́я-то распустил? — крикнул унтер-офицер на солдата, недалеко от Ростова.

— Вон ротмистр скачет, — сказал другой



солдат, — должно, дело будет.

«Поскорее, поскорее бы», — думал Николай, поглядывая на висевший на шнурке его куртки Георгиевский крест, полученный третьего дня за зажжение Энского моста. Николай находился в этот день еще больше, чем когда-либо, в своем обычном счастливом расположении духа. Третьего дня был получен крест; с Богданычем он уже совершенно примирился и — верх счастья! — наконец-то наступило время изведать наслаждение атаки, про которое он так много слышал от товарищей гусар и с таким нетерпением ожидал изведать его. Про атаку Николай слышал как про что-то сверхъестественно увлекательное. Ему говорили: как в это каре врубашься, так забываешь совсем себя, на гусарской сабле остаются благородные следы вражеской крови, и т. д.

— Добра не будет, — сказал старый солдат. Николай с упреком посмотрел на него.

— Ну, с Богом, ребята, — прозвучал голос Денисова, — рысью, марш!

В переднем ряду заколыхались крупы лошадей. Грачик потянул поводья и сам тронул-

ся.

«Врубиться в каре», — подумал Николай, сжимая эфес сабли. Впереди он видел первый ряд своих гусар, а еще дальше впереди виднелась ему темная полоса, которую он не мог рассмотреть, но считал неприятелем. Ни одного выстрела не было, как перед ударом грома.

— Прибавь рыси! — послышалась команда, и Николай чувствовал, как поддает задом, перебивая в галоп, его Грачик. Он вперед угадывал его движения, и ему становилось все веселее и веселее. Он заметил одинокое дерево, мимо которого должен был проехать эскадрон. Это дерево сначала было впереди, на середине той черты, которая казалась столь страшною. А вот и перешли эту черту, и не только ничего страшного не было, но все веселее и оживленнее становилось. «Скорее бы, скорее дать сабле поесть вражьего мяса!» — думал Николай. Он не видел ничего ни под ногами, и впереди себя, кроме крупов лошадей и спин гусаров переднего ряда. Лошади начали скакать, невольно перегоняя одна другую. «Коли бы они там, в Москве, могли

видеть меня в эту минуту!» — думал он.

— У р-р-а-а-а!! — загудели голоса.

«Ну, попадись теперь кто бы ни был», — думал Николай, вдавливая шпоры Грачику, и, перегоняя других, выпустил его во весь карьер. Вдруг, как широким веником, стегнуло что-то по эскадрону. Николай поднял саблю, готовясь рубить, но в это время впереди скакавший солдат Никитенко отделился от него, и Николай почувствовал, как во сне, что продолжает нестись с неестественною быстротой вперед и вместе с тем остается на месте. Сзади знакомый гусар Бондарчук наскочил на него и сердито посмотрел. Лошадь Бондарчука шарахнулась, и он обскакал мимо. Еще проскакал один, другой и третий.

«Что же это? я не подвигаюсь? Я упал, я убит...» — в одно мгновение спросил и ответил Николай. Он был уже один посреди поля. Вместо двигавшихся лошадей и гусарских спин он видел вокруг себя неподвижную землю и жнивье. Теплая кровь была под ним. «Нет, я ранен, а лошадь убита». Грачик поднялся было на передние ноги, но упал, придавил седоку ногу. Из головы лошади текла

кровь. Лошадь билась, не могла встать. Николай хотел подняться и упал тоже. Шашка зацепилась за седло. Где были наши, где были французы, он не знал. Никого не было кругом.

Высвободив ногу, он поднялся. «Где, с какой стороны была теперь та черта, которая так резко отделяла два войска?» Он спрашивал себя и не мог ответить. «Уже не дурное ли что-нибудь случилось со мной? Бывают ли такие случаи, и что надо делать в таких случаях?» — спросил он сам себя, вставая. И в это время почувствовал, что что-то лишнее висит на его левой онемевшей руке. Кисть ее была как чужая. Он оглядывал руку, тщетно отыскивая на ней кровь. «Ну, вот и люди, — подумал он радостно, увидав несколько человек, бежавших к нему. — Они мне помогут». Впереди этих людей бежал один в странном кивере и в синей шинели, черный, загорелый, с горбатым носом. Еще два и еще много бежало сзади. Один из них проговорил что-то странное, нерусское. Между задними такими же людьми, и в таких же киверах, стоял один русский гусар. Его держали за руки; позади его держали его лошадь.

«Верно, наш пленный... Да. Неужели и меня возьмут? Что это за люди? — все думал Николай, не веря себе. — Неужели французы?» Он смотрел на приближавшихся французов и, несмотря на то, что за секунду скакал только за тем, чтобы настигнуть этих французов и изрубить их, близость их казалась ему теперь так ужасна, что он не верил своим глазам. «Кто они? Зачем они бегут? Неужели ко мне? Неужели ко мне они бегут? И зачем? Убить меня? Меня, кого так любят все?» Ему вспомнилась любовь к нему его матери, семьи, друзей, и намерение неприятелей убить его показалось невозможно: «А может, и убить». Он более 10 секунд стоял, не двигаясь с места и не понимая своего положения. Передний француз с горбатым носом подбежал так близко, что уже видно было выражение его лица. И разгоряченная, чужая физиономии этого человека, который со штыком наперевес, сдерживая дыхание, легко подбегал к нему, испугала Ростова. Он схватил пистолет и, вместо того чтобы стрелять из него, бросил им в француза и побежал к кустам что было силы. Не с тем чувством сомнения и борьбы, с

каким он ходил на Энский мост, бежал он, а с чувством зайца, убегающего от собак. Одно нераздельное чувство страха за свою молодую, счастливую жизнь владело всем его существом. Быстро перепрыгивая через межи, с тою стремительностью, с которою он бежал, играя в горелки, он летел по полю, изредка оборачивая свое бледное, доброе, молодое лицо, и холод ужаса пробежал по его спине. «Нет, лучше не смотреть», — подумал он, но, подбежав к кустам, оглянулся еще раз. Французы отстали, и даже, в ту минуту как он оглянулся, передний только что переменил рысь на шаг и, обернувшись, что-то сильно кричал заднему товарищу. Николай остановился. «Что-нибудь не так, — подумал он, — не может быть, чтоб они хотели убить меня». А между тем левая рука его была так тяжела, как будто двухпудовая гиря была привешена к ней. Он не мог бежать дальше. Француз остановился тоже и прицелился. Николай зажмурился и нагнулся. Одна, другая пуля пролетела, жужжа, мимо него. Он собрал последние силы, взял левую руку в правую и побежал до кустов. В кустах были русские стрел-

## XXI

Пехотные полки, застигнутые врасплох в лесу, выбегали из леса, и роты, смешиваясь с другими ротами, неслись беспорядочными толпами. Один солдат в испуге проговорил страшное на войне и бессмысленное слово «отрезали!» — и слово, вместе с чувством страха, сообщилось всей массе.

— Обошли! Отрезали! Пропали! — кричали запыхавшиеся голоса бегущих.

Французы, не атакуя с фронта, обошли наш левый фланг справа и ударили (как пишут в реляциях) на Подольский полк, стоявший перед лесом, и большая часть которого находилась в лесу за дровами. «Ударили» значило то, что французы, подойдя к лесу, выстрелили в опушку, на которой виднелись дроворубы, трое русских солдат. Подольские два батальона смешались и побежали в лес. Дроворубы присоединились к бежавшим, увеличивая беспорядок. Пробежав неглубокий лес, выбежав в поле с другой стороны, они продолжали бежать в совершенном беспоряд-

ке. Лес, находившийся в середине расположения нашего левого фланга, был занят французами, так что павлоградцы были разделены ими и, чтобы соединиться с отрядом, должны были взять совсем влево и прогнать неприятельскую цепь, которая отрезывала их. Но две роты, стоявшие в нашей передовой цепи, часть солдат, находившихся в лесу, и сам полковой командир были отрезаны французами. Им нужно было либо выходить на противоположную высоту и на виду, под огнем французов, обходить лес, либо пробиваться через них. Полковой командир, в ту самую минуту как он услышал стрельбу и крик сзади, понял, что случилось что-нибудь ужасное с его полком, и мысль, что он, примерный, двадцать два года служивший, ни в чем не виноватый офицер, мог быть виновен перед начальством в оплошности или нераспорядительности, так поразила его, что в ту же минуту, забыв и непокорного кавалериста-полковника, и свою генеральскую важность, а главное — совершенно забыв про опасность и чувство самосохранения, он, ухватившись за луку седла и шпора лошадь, поскакал к полку под градом



обсыпавших, но счастливо миновавших его пулю. Он желал одного: узнать, в чем дело и помочь и исправить во что бы то ни стало ошибку, ежели она была с его стороны, и не быть виновным ему, ни в чем не замеченному, заслуженному, примерному офицеру.

Счастливо проскакав между французами, он подскакал к полю за лесом, через который бежали наши и, не слушаясь команды, спустились под гору. Наступила та минута нравственного колебания, которая решает участь сражений: послушают эти расстроенные толпы солдат голоса своего командира или, оглянувшись на него, побегут дальше.

Несмотря на отчаянный крик прежде столь грозного для солдата голоса полкового командира, несмотря на разъяренное, багровое, на себя не похожее лицо полкового командира и маханье шпагой, солдаты все бежали, разговаривали, стреляли в воздух и не слушали команды.

Нравственное колебание, решающее участь сражений, очевидно, разрешалось в пользу страха.

— Капитан Маслов! Поручик Плетнев! Ре-

бятя, вперед! Умрем за царя! — кричал полковой командир. — Ура!

Небольшая кучка солдат тронулась вперед за генералом, но вдруг опять остановилась и стала стрелять. Генерал закашлялся от крика и порохового дыма и остановился посередине солдат. Все казалось потеряно; но в эту минуту французы, наступавшие на наших, вдруг побежали, скрылись из опушки леса, и в лесу показались русские стрелки. Это была рота Тимохина, которая одна в лесу удержалась в порядке и, засев в канаву у леса, неожиданно атаковала французов. Тимохин с таким отчаянным криком бросился на французов и с такою безумною и пьяною решительностью, с одною шпажкой, набежал на неприятеля, что французы, не успев опомниться, побросали оружие и побежали. Долохов, бежавший почти рядом с Тимохиным, в упор убил одного француза, и первый взял за воротник сдававшегося офицера. Бегущие возвратились, батальоны собрались, и французы, разделившиеся было на две части войска левого фланга, на мгновение были оттеснены. Резервные части успели соединиться, и беглецы направлялись

назад.

Полковой командир стоял с майором Экономовым у моста, пропуская мимо себя отступающие роты, когда к нему подошел солдат и бесцеремонно, чтоб обратить на себя внимание, взял его за стремя и почти прислонился к нему. На солдате была синеватая, фабричного сукна шинель, ранца и кивера не было, голова была повязана, и через плечо была надетта французская зарядная сумка. Он в руках держал офицерскую шпагу. Солдат был кра-сен, голубые глаза его нагло смотрели в лицо полковому командиру, а рот улыбался. Несмотря на то, что полковой командир был занят отданием приказа майору Экономову, он не мог не обратить внимания на этого солдата.

— Ваше превосходительство, вот два трофея, — сказал Долохов, указывая на французскую шпагу и сумку. — Мною взят в плен офицер. Я остановил роту, — Долохов тяжело дышал от усталости; он говорил с остановками. — Офицера закололи после наши. Вся рота может свидетельствовать. Прошу запомнить, ваше превосходительство.

— Хорошо, хорошо, — сказал полковой командир и обратился к майору Экономову. Но Долохов не отошел; он развязал платок, дернул его, и кровь полилась по его открытому, красивому лбу на волосы, которые вlepлены были кровью в одном месте.

— Рана штыком; я остался во фронте.

Генерал отъехал, не слушая Долохова. Новые колонны французов подвигались к мельнице.

— Не забудьте же, ваше превосходительство, — прокричал Долохов и, перевязав себе голову платком, пошел за отступавшими солдатами.

Про батарею Тушина было забыто, и только в самом конце дела, продолжая слышать канонаду в центре, князь Багратион послал туда дежурного штаб-офицера и потом князя Андрея, чтобы велеть батарее отступать как можно скорее. Прикрытие, стоявшее подле пушек Тушина, ушло по чьему-то приказанию в середине дела, но батарея продолжала стрелять и не была взята французами только потому, что неприятель в дыму не мог разобрать, есть или нет чем прикрыться, и не мог предполагать дерзости стрельбы четырех никем не защищенных пушек. Напротив, по энергичному действию этой батареи он предполагал, что здесь в центре сосредоточены главные силы русских, и два раза пытался атаковать этот пункт, и оба раза был прогоняем картечными выстрелами

Скоро после отъезда князя Багратиона Тушину удалось зажечь Шенграбен.

— Вишь, засумятились! Горит! Вишь дым-то! Ловко! Важно! Дым-то, дым-то! — заговорила прислуга, оживляясь.

Все орудия без приказа били в направлении к пожару. Как будто подгоняя, подкрикивали солдаты к каждому выстрелу: «Ловко! Вот так, так! Ишь ты... Важно!» Пожар, разносимый ветром, быстро распространялся. Французские колонны, выступившие за деревню, ушли назад, но, как бы в наказание за эту неудачу, неприятель выставил правее деревни, на том самом бугре, у мельницы, где вчера утром стояла палатка Тушина, десять орудий и стал бить из них по Тушину.

Из-за детской радости, возбужденной пожаром, и азарта удачной стрельбы по французам наши артиллеристы заметили эту батарею только тогда, когда два ядра и вслед за ними еще четыре ударили между орудиями и одно повалило двух лошадей, а другое оторвало ногу ящичному вожатому. Оживление, раз установившееся, однако, не ослабело, а только переменяло настроение. Лошади были заменены другими из запасного лафета, раненые убраны, и четыре орудия повернуты против десятипушечной батареи. Офицер, товарищ Тушина, был убит в начале дела, и в продолжение часа из сорока человек прислуги

выбыли семнадцать, и одно орудие уже не могло стрелять; но артиллеристы все так же были веселы и оживлены. Два раза они замечали, что внизу, близко от них, показывались французы, и тогда они били по ним картечью.

Маленький человечек, с слабыми, неловкими движениями, требовал себе беспрестанно у денщика еще трубочку за это, как он говорил, и, рассыпая из нее огонь, выбегал вперед и из-под маленькой ручки смотрел на французов.

— Круши, ребята! — приговаривал он, и сам подхватывал орудия за колеса и вывинчивал винты. В дыму, оглушаемый беспре-рывными выстрелами, заставлявшими каждый раз вздрагивать его слабые нервы, Тушин, не выпуская своей носогрелки, ковылял от одного орудия к другому и к ящикам, то прицеливаясь, то считая заряды, то распоряжаясь переменой и перепряжкой убитых и раненых лошадей, покрикивал своим слабым, тоненьким, нерешительным голоском. Лицо его все более и более оживлялось. Только когда убивали или ранили людей, он хмурился и хрипел, как будто от боли, и, отвора-

чиваясь от убитого, сердито кричал на людей, как всегда мешкавших поднять раненого или тело. Солдаты, большею частью красивые молодцы (как и всегда в батареейной роте, на две головы выше своего офицера и вдвое шире его), все, как дети в затруднительном положении, смотрели на своего командира, и то выражение, которое было на его лице, неизменно отражалось на их лицах.

Вследствие этого страшного гула, шума, потребности внимания и деятельности, Тушин не испытывал ни малейшего неприятного чувства страха; и мысль, что его могут убить или больно ранить, не приходила ему в голову. Напротив, ему становилось все веселее и веселее, и он больше и больше уверялся, что его не могут убить. Ему казалось, что уже очень давно, едва ли не вчера, была та минута, когда он увидел неприятеля и сделал первый выстрел, и что клочок поля, на котором он стоял, был ему давно знакомым, родственным местом. Несмотря на то, что он все помнил, все соображал, все делал, что мог делать самый лучший офицер в его положении, он находился в состоянии, похожем на лихора-



дочный бред или на состояние пьяного человека.

Из-за оглушающих со всех сторон звуков своих орудий, из-за свиста и ударов снарядов неприятелей, из-за вида вспотевшей, раскрасневшейся, торопящейся около орудий прислуги, из-за вида крови, людей и лошадей, из-за вида дымок неприятеля на той стороне, откуда после каждого выстрела прилетало ядро и било в землю, в человека, в орудие или в лошадь, из-за вида этих предметов у него в голове установился свой фантастический мир, который составлял его наслаждение в эту минуту. Неприятельские пушки в его воображении были не пушки, а трубки, из которых редкими клубами выпускал дым невидимый курильщик.

— Вишь, пыхнул опять, — проговорил Тушин шепотом про себя, в то время как с горы выскакивал клуб дыма и влево полосой относился ветром, — теперь мячик жди, отсылать назад.

— Что прикажите, ваше благородие? — спросил фейерверкер, близко стоявший около него и слышавший, что он бормотал что-то.

— Ничего, гранату... — отвечал он.

«Ну-ка, наша Матвевна», — говорил он про себя. Матвевной представлялась в его воображении большая, крайняя, старинного литья пушка. Муравьями представлялись ему французы около своих орудий. Красавец и пьяница, первый второго орудия, в его мире был дядя; Тушин чаще других смотрел на него и радовался на каждое его движение. Звук то замиравшей, то опять усиливавшейся ружейной перестрелки под горою представлялся ему чьим-то дыханием. Он прислушивался к затиханию и разгоранию этих звуков.

«Ишь задышала опять, задышала», — говорил он про себя.

Сам он представлялся себе огромного роста, мощным мужчиной, который обеими руками швыряет французам ядра.

— Ну, Матвевна, матушка, не выдавай! — говорил он, отходя от орудия, как над его головой раздался чуждый, незнакомый голос.

— Капитан Тушин! Капитан!

Тушин испуганно оглянулся. Это был тот штаб-офицер, который выгнал его из Грунта. Он запыхавшимся голосом кричал ему:

— Что вы — с ума сошли, милостивый государь?! Вам два раза приказано отступить, а вы...

«Ну за что они меня?...» — думал про себя Тушин, со страхом глядя на начальника.

— Я... ничего... — проговорил он, приставляя два пальца к козырьку. — Я...

Но полковник не договорил всего, что хотел. Близко пролетевшее ядро заставило его, нырнув, согнуться на лошади. Он замолк и только что хотел сказать еще что-то, как еще ядро остановило его. Он поворотил лошадь и поскакал прочь.

— Отступить! Все отступить! — прокричал он издалека.

— Не любишь! — проговорил Тушин.

Через минуту приехал адъютант с тем же приказанием. Это был князь Андрей. Первое, что он увидел, выезжая на то пространство, которое занимали пушки Тушина, была отпряженная лошадь с перебитою ногой, которая ржала около запряженных лошадей. Из ноги ее, как из ключа, лилась кровь. Между передками лежало несколько странных предметов. Это были убитые. На одного из них на-

ехала лошадь князя Андрея, и он невольно увидел, что головы совсем не было, а кисть руки с полусогнутыми пальцами казалась живою. Одно ядро за другим пролетало над ним, в то время как он подъезжал. И он почувствовал, как нервическая дрожь пробежала по его спине. Он был нравственно и физически измучен. Но одна мысль о том, что он боится, снова подняла его. «Я не могу бояться». Он передал приказание и не уезжал с батареи. Он решил, что при себе снимет орудия с позиции и отведет их. Князь Андрей слез с лошади и вместе с Тушиным, шагая через тела, и под страшным огнем французов, занялся уборкой орудий.

— А то приезжало сейчас начальство, так скоро драло, — сказал фейерверкер князю Андрею, — не так, как ваше благородие

Князь Андрей ничего не говорил с Тушиным. Они оба были так заняты, что, казалось, и не видали друг друга. Когда, надев уцелевшие из четырех два орудия на передки, они двинулись под гору (одна разбитая пушка и единорог были оставлены), князь Андрей подъехал к Тушину.

— Ну, до свидания, — сказал князь Андрей, протягивая руку Тушину.

— Прощайте, голубчик, — сказал Тушин со слезами на глазах.

Князь Андрей пожал плечами и поехал прочь.

— Ну-ка, трубочку за это, — сказал Тушин.

## XXIII

**В**етер стих, черные тучи низко нависли над местом сражения, сливаясь на горизонте с пороховым дымом. Становилось темно, и тем яснее обозначалось в двух местах зарево пожаров. Канонада стала слабее, но трескотня ружей сзади и справа слышалась еще чаще и ближе. Как только Тушин с своими орудиями, объезжая и наезжая на раненых, вышел из-под огня и спустился в овраг, его встретило начальство и адъютанты, в числе которых были и штаб-офицер, и Жерков, два раза посланный и ни разу не доехавший до батареи Тушина. Все они, перебивая один другого, отдавали и передавали приказания, как и куда идти, и делали ему упреки и замечания, зачем он так необдуманно действовал, долго не

отступая. Тушин ничем не распорядился и, молча, боясь говорить, потому что при каждом слове он готов был, сам не зная отчего, заплакать, ехал сзади на своей артиллерийской кляче. Хотя раненых велено было бросать, много из них тащилось за войсками и просилось на орудия. Тот самый пехотный офицер, который перед сражением читал о черкешенках, был с пулей в животе положен на лафет. Под горой бледный гусарский юнкер, одною рукой поддерживая другую, подошел к Тушину и попросился сесть.

— Капитан, ради бога, я контужен в руку, — сказал он робко. — Ради бога, я не могу идти. Ради бога. — Видно было, что юнкер этот уже не раз просился где-нибудь сесть и везде получал отказы. Он просил нерешительным и жалким голосом. — Прикажете посадить, ради бога...

— Посадите, посадите, — сказал Тушин. — Подложи шинель, ты, дядя. А где офицер раненый?

— Сложили, кончился, — ответил кто-то.

— Посадите. Садитесь, милый, садитесь. Подстели шинель, Антонов.

Юнкер был Ростов. Он держал одну рукой другую, был бледен, и нижняя челюсть тряслась от лихорадочной дрожи. Его посадили на то самое орудие, с которого сложили мертвого офицера. На подложенной шинели были кровь, в которой запачкались рейтузы и руки Ростова.

— Что, вы ранены, голубчик? — сказал Тушин, подходя к орудию, на котором сидел Ростов.

— Нет, контужен.

— Отчего же кровь-то на станине? — спросил Тушин.

— Это офицер, ваше благородие, окровавили, — отвечал солдат-артиллерист, обтирая кровь рукавом шинели и как будто извиняясь за нечистоту, в которой находилось орудие.

Насилу с помощью пехоты вывезли орудия в гору и, достигши деревни Гунтерсдорф, остановились. Стало уже так темно, что в десяти шагах нельзя было различить мундир солдата, и перестрелка стала стихать. Вдруг близко с правой стороны послышались опять крики и пальба. От выстрелов уже блестело в темноте. Это была последняя атака французов, на

которую отвечали солдаты, засевшие в дома деревни. Опять все бросилось из деревни, но орудия Тушина не могли двинуться, и артиллеристы, Тушин и юнкер молча переглядывались, ожидая своей участи. Перестрелка стала стихать, и из боковой улицы высыпали оживленные говором солдаты.

— Цел, Петров? — спрашивал один.

— Задали, брат, жару. Теперь не сунутся, — говорил другой.

— Ничего не видать. Как они в своих-то зажарили! Не видать, темь, братцы. Нет ли напиться?

Французы последний раз были отбиты. И опять в совершенном мраке орудия Тушина, как рамой окруженные гудевшей пехотой, двинулись куда-то вперед.

В темноте как будто текла невидимая, мрачная река все в одном направлении, гудя шепотом, говором и звуками копыт и колес. В общем гуле из-за всех других звуков яснее всех были стоны и голоса раненых во мраке ночи. Их стоны, казалось, наполняли собой весь этот мрак, окружавший войска. Через несколько времени в движущейся толпе про-



изошло волнение. Кто-то проехал со свитой на белой лошади и что-то сказал, проезжая.

— Что сказал? Куда теперь? Стоять, что ль? Благодарил, что ли? — слышались жадные расспросы со всех сторон, и вся движущаяся масса стала напирать сама на себя (видно, передние остановились), и пронесся слух, что велено остановиться. Все остановились, как шли, на середине грязной дороги.

Засветились огни, и слышнее стал говор. Капитан Тушин, распорядившись по роте, послал одного из солдат отыскивать перевязочный пункт или лекаря для юнкера, и сел у огня, разложенного на дороге солдатами. Ростов перетащился тоже к огню. Лихорадочная дрожь от боли, холода и сырости трясла все его тело. Сон непреодолимо клонил его, но он не мог заснуть от мучительной боли в нывшей и не находившей положения руке. Он то закрывал глаза, то взглядывал на огонь, казавшийся ему горячо-красным, то на сутуловатую, слабую фигурку Тушина, по-турецки сидевшего подле него. Большие, добрые и умные глаза Тушина устремлялись на него с таким сочувствием и состраданием, что ему

жалко становилось Тушина. Он видел, что Тушин всюю душой хотел и ничем не мог помочь ему.

Со всех сторон слышны были шаги и говор проходивших, проезжавших и кругом размещавшейся пехоты, звуки голосов, шагов и переставляемых в грязи лошадиных копыт, ближний и дальний треск дров сливались в один колеблющийся гул.

Теперь уже не текла, как прежде, во мраке невидимая река, а будто после бури укладывалось и трепетало мрачное море. Ростов бессмысленно смотрел и слушал, что происходило перед ним и вокруг него. Пехотный солдат подошел к костру, присел на корточки, всунул руки в огонь и отвернул лицо.

— Ничего, ваше благородие? — сказал он, вопросительно обращаясь к Тушину. — Вот отбился от роты, ваше благородие; сам не знаю где — беда!

Вместе с солдатом подошел к костру пехотный офицер с подвязанною щекой и, обращаясь к Тушину, просил приказать продвинуть крошечку орудия, чтобы провезти повозку. За ротным командиром набежали на костер два

солдата. Они отчаянно ругались и дрались, выдергивая друг у друга какой-то сапог.

— Как же, ты поднял! Ишь ловок! — кричал один хриплым голосом.

Потом подошел худой, бледный солдат с шеей, обвязанной окровавленной подвороткой, и сердитым голосом требовал воды у артиллеристов.

— Что ж, умирать что ли, как собаке? — говорил он. Тушин велел дать ему воды. Потом подбежал веселый солдат, прося огоньку в пехоту.

— Огоньку горяченького в пехоту! Счастливо оставаться, землячки, благодарим за огонек, мы назад с процентой отдадим, — говорил он, унося куда то в темноту краснеющую головешку.

За этим солдатом четыре солдата, неся что-то тяжелое на шинели, прошли мимо костра. Один из них споткнулся.

— Ишь, черти, на дороге дрова положили, — проворчал один.

— Кончился, что ж его носить? — сказал еще один из них.

— Ну вас!

И они скрылись во мраке с своею ношей.

С другой стороны в это же время подошли два пехотные офицера и солдат без шапки, с повязанною головой.

— Огонек, господа. Своих не найдем, хоть здесь присядем.

Артиллеристы дали им место.

— Не видали ли, господа, где третий батальон, Подольский? — спросил один.

Никто не знал. Солдат с повязанною головой сел к костру и, нахмурившись, оглядел сидевших вокруг.

— Ребята, — сказал он, обращаясь к артиллеристам, — нет ли водки? Золотой за две крышки водки.

Он достал кошелек. По мундиру он был солдат, но шинель на нем была синяя с разорванным рукавом. Через плечо висели сумка и шпага французские. Лоб и бровь были в крови. Неестественная складка на переносице между бровями давала ему усталое и жестокое выражение, но лицо его было поразительно красиво, в углах губ его была улыбка. Офицеры продолжали, видимо, начатый разговор.

— Как я ударил на них! Как крикнул! — говорил один офицер. — Нет, брат, плохи твои французы.

— Ну, будет хвастать, — сказал другой.

Солдат между тем выпил обе крышки водки, которые нашлись у артиллеристов, и отдал золотой.

— Да, теперь рассказов много будет, — сказал он, обращаясь презрительно к офицеру, — а там что-то не видать было.

— Ну, да ведь такого Долохова другого нет, — сказал офицер, робко смеясь и обращаясь к товарищу. — Ему мало французов колоть, он своего из пятой роты застрелил.

Долохов быстро оглянулся на Тушина и Ростова, не спускавших с него глаз.

— А не беги, за то и застрелил, — проговорил он. — И офицера бы заколол, коли трус.

Долохов стал шевелить костер и подкладывать дрова.

— Что ж орудия-то оставили французам? — обратился он к Тушину. Тушин поморщился, отвернулся и сделал вид, что не слышал.

— Что? Болит? — спросил он шепотом у Ро-

стова.

— Болит.

— И из чего бьются? — сказал Тушин, вздохнув.

В это время около самого костра прозвучали шаги двух лошадей, показались тени верховых, и послышался голос начальника, который что-то строго выговаривал.

— Вам приказано в хвосте колонны идти, в хвосте и стать, — говорил гневный голос, — а не рассуждать.

— Там не слышать голосу было, а здесь опять важничают, — сказал Долохов так, чтобы проезжавшие могли слышать, встал, оправил шинель, повязку головы и отошел от костра.

— Ваше благородие, к генералу. Здесь в избе стоят, — сказал фейерверкер, подходя к Тушину.

— Сейчас, голубчик.

Тушин встал и, застегивая шинель и оправляясь, отошел от костра.

Недалеко от костра артиллеристов, в приготовленной для него избе сидел князь Багратион за обедом, разговаривая с некоторыми

начальниками частей, собравшимися у него. Тут был старичок с полузакрытыми глазами, жадно обгладывавший баранью кость, и двадцать два года безупречно прослуживший генерал, раскрасневшийся от рюмки водки и обеда, и штаб-офицер с именованным перстнем, и Жерков, беспокойно оглядывавший всех, и князь Андрей, лениво и презрительно щурившийся.

В избе стояло прислоненное к углу взятое французское знамя, и аудитор с наивным лицом щупал ткань знамени и, недоумевая, покачивал головой, может быть, оттого, что его и в самом деле интересовал вид знамени, а может быть, и оттого, что ему тяжело было голодному смотреть на обед, за которым ему недоставало прибора. В соседней избе находился взятый в плен драгунами французский полковник. Около толпились, рассматривая его, наши офицеры. Князь Багратион благодарил отдельных начальников и расспрашивал о подробностях дела и о потерях. Полковой командир, представлявшийся под Браунау, докладывал князю, что, как только началось дело, он отступил из леса, собрал дроворубов

и, пропустив их мимо себя, с двумя батальонами ударил в штыки и опрокинул французов.

— Как я увидал, ваше сиятельство, что первый батальон расстроен, я стал на дороге и думаю: «Пропущу этих и встречу батальным огнем», — так и сделал.

Полковому командиру так хотелось сделать это, так он жалел, что не успел этого сделать, что ему казалось, что все это точно было. Да, может быть, и в самом деле было? Разве можно было разобрать в этой путанице, что было и чего не было?

— Причем должен заметить, ваше сиятельство, — продолжал он, вспоминая о разговоре Долохова с Кутузовым и о последнем свидании своем с разжалованным, — что рядовой, разжалованный Долохов на моих глазах взял в плен французского офицера и особенно отличился.

— Здесь-то я видел, ваше сиятельство, атаку павлоградцев, — вмешался почтительно и смело Жерков, который вовсе не видал в этот день своих гусар, а только слышал о них от пехотного офицера. — Смяли два каре, ваше



сиятельство.

На слова Жеркова некоторые улыбнулись, как и всегда ожидая от него шутки; но, заметив, что то, что он говорил, клонилось тоже к славе нашего оружия и нынешнего дня, приняли серьезное выражение, хотя многие очень хорошо знали, что то, что говорил Жерков, была ложь, ни на чем не основанная. Князь Багратион поморщился и обратился к старичку полковнику.

— Благодарю всех, господа, все части действовали геройски: пехота, кавалерия и артиллерия. Каким образом в центре оставлены два орудия? — спросил он, ища кого-то глазами. (Князь Багратион не спрашивал про орудия левого фланга, он знал уже, что там в самом начале дела были брошены все пушки.) — Я вас, кажется, просил, — обратился он к дежурному штаб-офицеру.

— Одно было подбито, — с твердостью и определенностью отвечал дежурный штаб-офицер, — а другое, я не могу понять, я сам там все время был и распоряжался, и только что отъехал... Жарко было, правда, — прибавил он скромно.

Кто-то сказал, что капитан Тушин стоит здесь, у самой деревни, и что за ним уже послано.

— Да вот вы были, князь Болконский, — сказал князь Багратион, обращаясь к князю Андрею.

— Как же мы вместе немного не съехались, — сказал дежурный штаб-офицер, приятно улыбаясь Болконскому.

— Я не имел удовольствия вас видеть, — холодно сказал князь Андрей, вставая.

В это время на пороге показался Тушин, робко пробиравшийся из-за спин генералов. Обходя генералов в тесной избе, сконфуженный, как и всегда, при виде начальства, Тушин не рассмотрел древка знамени и спотыкнулся на него. Несколько голосов засмеялось.

— Каким образом оружие оставлено? — спросил Багратион, нахмурившись не столько против капитана, сколько против смеявшихся голосов, в числе которых громче всех был голос Жеркова.

Тушину теперь только, при виде грозного начальства, во всем ужасе представилась его вина и позор в том, что он, оставшись жив,

потерял два орудия. Он так был взволнован, что до сей минуты не успел подумать об этом. Смех офицеров еще больше сбил его с толку. Он стоял перед Багратионом с дрожащею нижнею челюстью, как у лихорадочного или у ребенка, собирающегося плакать, и едва проговорил:

— Не знаю... ваше сиятельство... людей не было, ваше сиятельство.

— Вы бы могли из прикрытия взять?

Что прикрытия не было, этого не сказал Тушин, хотя это была суцая правда. Он боялся подвести этим другого начальника и молча, остановившимися глазами смотрел прямо в лицо Багратиону с таким видом, как сбившийся ученик стоит перед экзаменатором.

Молчание было довольно продолжительное. Князь Багратион, видимо, не желая быть строгим, не находил, что сказать; остальные не смели вмешаться в разговор. Князь Андрей, щурясь, смотрел на Тушина.

— Ваше сиятельство, — прервал князь Андрей молчание своим резким голосом, — вы меня изволили послать к батарее капитана Тушина. Я был там и нашел две трети людей

и лошадей перебитыми, два орудия исковерканными. И прикрытия никакого.

Князь Багратион и Тушин одинаково упорно смотрели теперь на медленно cedившего свои слова Болконского.

— И ежели, ваше сиятельство, позволите мне высказать свое мнение, — продолжал он, — то успехом дня мы обязаны более всего действию этой батареи и геройской стойкости капитана Тушина с его ротой, — сказал князь Андрей, небрежным и презрительным жестом указывая на удивленного капитана.

Князь Багратион посмотрел на Тушина и, видимо, не желая выказать недоверия к странному суждению Болконского и вместе с тем чувствуя себя не в состоянии вполне верить ему, наклонил голову и сказал Тушину, что он может идти.

«Кто они? Зачем они? Что им нужно? И когда все это кончится?» — думал Ростов, глядя на переменявшиеся перед ним тени, когда Тушин отошел от него. Боль в руке становилась все мучительнее. Сон клонил непреодолимо, в глазах прыгали красные круги, и впечатление этих голосов, и этих лиц, и чувство одиночества сливались с чувством боли. Это они, эти солдаты, раненые и нераненые; это они, эти офицеры, и особенно этот странный беспокойный солдат с повязанною головой, — это они-то и давили, и тяготили, и выворачивали жилы, и жгли мясо в его разломанной руке и плече. Чтобы избавиться от них, особенно от него, от тревожного солдата с этою остановившеюся улыбкой, он закрыл глаза.

Он забылся на одну минуту, но в этот короткий промежуток забвения он видел во сне бесчисленное количество предметов: он видел свою мать и ее большую белую руку, видел худенькие плечи Сони, глаза и смех Наташи, и Денисова с его голосом и усами, и Теля-

нина, и всю свою историю с Теляниным и Богданычем. Вся эта история была одно и то же, что этот солдат с резким голосом, и эта-то вся история, и этот-то солдат так мучительно, неотступно держали, давили и все в одну сторону тянули его руку. Он пытался устраниться от них, но они не отпускали ни на волос, ни на секунду его плечо. Оно бы не болело, оно было бы здорово, ежели б они не тянули его; но нельзя было избавиться от них.

Он приподнялся. Сырость, проникавшая из земли, и боль заставляли его дрожать, как в лихорадке. Он открыл глаза, поглядел вверх. Черный полог ночи на аршин висел над светом углей. В этом свете летали порошинки падавшего снега. Тушин не возвращался, лекарь не приходил. Он был один, только какой-то солдатик сидел теперь голый по другую сторону огня и грел свое худое желтое тело.

«Никому не нужен я! — думал Ростов. — Некому ни помочь, ни пожалеть. А был же и я когда-то дома, сильный, веселый, любимый». Он вздохнул и со вздохом невольно застонал.

— Ай болит что? — спросил солдатик,

встряхивая свою рубаху над огнем, и, не дожидаясь ответа, крикнув, прибавил: — Мало ли за день народу попортили — страсть!

Николай не слушал солдата. Он смотрел на порхавшие над огнем снежинки и вспоминал русскую зиму с теплым светлым домом, пушистой шубой, быстрыми санями, здоровым телом и со всею любовью и заботою семьи. «И зачем я пошел сюда? Теперь все кончено! Один и умираю», — думал он.

На другой день французы не возобновляли нападения, и остаток Багратионова отряда присоединился к армии Кутузова. На третий день князь Анатолий Курагин, адъютант Буксгевдена, прискакал к Кутузову с известием, что армия, шедшая из России, находится в одном переходе. Армии соединились.

Отступление Кутузова, несмотря на потерю Венского моста, в особенности это последнее сражение под Шенграбенем, составляли удивление не только русских, французов, но и самих австрийцев. Отряд Багратиона называли «войско героев», и Багратион и его отряд получили большие награды от австрийцев и вскоре прибывшего в Ольмюц русского импе-

ратора.



# ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

## I

Князь Василий не обдумывал своих планов, еще менее думал сделать людям зло для того, чтобы приобрести выгоду. Он был только светский человек, успевший в свете и сделавший привычку из этого успеха. У него постоянно, смотря по обстоятельствам, по сближениям с людьми, составлялись различные планы и соображения, в которых он сам не отдавал себе хорошенько отчета, но которые составляли весь интерес его жизни. Не один и не два таких плана и соображения бывало у него в ходу, а десятки, из которых одни только начинали представляться ему, другие достигались, третьи уничтожались. Он не говорил, например: «Вот этот человек теперь в силе, я должен получить его доверие и дружбу и просить через него о выдаче мне единовременного пособия», — или он не говорил себе: «Вот я должен заманить его, женить на дочери и воспользоваться хоть косвенным путем

его состоянием». Но человек в силе встречался ему, и в ту же минуту инстинкт подсказывал ему, что этот человек может быть полезен, и князь Василий сближался и при первой возможности без предготовления, естественно, по инстинкту, льстил, делался фамильярен и говорил о том, о чем нужно было просить. В этой игре интриги он находил не счастье, а весь смысл жизни. Без этого жизнь была бы для него не жизнью. Пьер был у него под рукой в Москве, он настоял на том, чтобы молодой человек приехал в Петербург, занял у него 30 тысяч и устроил для молодого человека назначение камер-юнкером, равнявшееся тогда чину и статского советника, как будто рассеянно и вместе с тем с несомненной уверенностью, что это должно быть, делал все то, что нужно было для того, чтобы женить Пьера на своей дочери. Ежели бы князь Василий приготавливал свои планы, он никогда бы не мог быть так естественен в обращении и так просто со всеми фамильярен. У него был инстинкт, влекущий его всегда к людям сильнее и богаче его, и инстинкт тоже, который указывал ему минуту, когда надо было

пользоваться этими людьми.

После смерти своего отца Пьер тотчас, вслед за своим одиночеством и праздностью, почувствовал себя до такой степени окруженным и занятым, что ему только в постели удавалось оставаться одному с самим собою. Ему нужно было подписывать бумаги, ведаться с присутственными местами, о значении которых он не имел ясного понятия, спрашивать о чем-то главного управляющего, ехать в имения и принимать то огромное число лиц, которые прежде не хотели знать о его существовании и которые теперь были бы обижены и огорчены, ежели бы он не захотел их видеть. Все эти разнообразные люди — деловые, родственники, знакомые, — все были одинаково хорошо, ласково расположены к молодому наследнику — все они, очевидно, несомненно были убеждены в высоких достоинствах Пьера. Беспреданно он слышал слова: «с вашей необыкновенной добротой», или «при вашем прекрасном сердце» или «вы так сами чисты, граф», или «при вашем уме», или «ежели бы он был так умен, как вы» и т. п., что он под конец верил своей доброте и своему уму, тем бо-

лее что и всегда в глубине души ему казалось, что он добрее и умнее почти всех людей, которых он встречал. Даже люди, прежде бывшие злыми и очевидно враждебными, делались нежными и любящими. Столь сердитая старшая из княжон после похорон пришла в комнату Пьера и, опуская глаза и беспрестанно вспыхивая, сказала Пьеру, что она очень жалеет о бывших между ними недоразумениях и что теперь она не чувствует себя в праве ничего просить больше, как только того, чтобы ей позволено было, после постигшего ее удара, остаться на несколько недель в доме, который она так любила, в котором стольким пожертвовала. Она не могла удержаться и заплакала при этих словах. Пьер взял ее за руку, просил успокоиться и не покидать никогда этого дома. И с этой поры княжна стала вязать ему шарф, заботиться о его здоровье и говорить ему, что она только боялась его и рада теперь, что он позволил ей любить себя.

— Сделай это для нее, мой милый, все-таки она много пострадала от покойника, — сказал ему князь Василий, давая подписать какую-то бумагу в пользу княжны, и с тех пор старшая

княжна стала еще добрее. Младшие сестры стали также добрее; в особенности самая младшая, хорошенькая, с родинкой, часто смущала Пьера своим смущением при виде Пьера. Вскоре после смерти отца он писал князю Андрею. В коротком ответе своем из Брюнна князь Андрей писал ему между прочим: «Трудно тебе будет теперь, мой милый, ясно смотреть, даже и поверх очков, на свет Божий. Помни, что теперь все, что есть низкого и грязного, будет окружать тебя, а все благородное будет отстраняться». «Он бы этого не сказал, ежели бы он видел их доброту и искренность», — подумал Пьер. Пьеру так естественно казалось, что все его любят, так казалось бы неестественно, ежели бы кто-нибудь не полюбил его, что он не мог не верить в искренность людей, окружавших его. Редко, редко он находил время почитать и подумать о любимых своих предметах: о идеях революции, и о Бонапарте, и о стратегии, которая теперь, следя за военными событиями, начинала страстно занимать его. В окружающих себя людях он не находил сочувствия к этим интересам.

Ему постоянно было некогда. Он постоянно чувствовал себя в состоянии кроткого и веселого опьянения. Он чувствовал себя центром какого-то важного общего движения. Чувствовал, что от него что-то постоянно ожидается, чувствовал, что, не сделай он того-то, он огорчит многих и лишит их ожидаемого, а что, сделай он это, все будет хорошо и очень хорошо. Он делал то, что требовали от него, но это что-то очень хорошее все оставалось впереди.

Более всех других в это первое время как делами Пьера, так и им самим овладел князь Василий. Со времени смерти князя Безухова он не выпускал из рук Пьера. Он имел вид человека, отягченного делами, усталого, измученного, но из сострадания не могущего, наконец, бросить на произвол судьбы и плутов этого беспомощного юношу, сына его друга, и с таким огромным состоянием. В те несколько дней, которые он пробыл в Москве после смерти графа Безухова, он призывал к себе Пьера или сам приходил к нему и предписывал ему, что нужно было делать, таким тоном усталости и уверенности, как будто он всякий

раз приговаривал: «Ты знаешь, я завален делами; но было бы безжалостно покинуть тебя так, но это должно кончиться; и ты знаешь, что то, что я тебе предлагаю, есть единственно возможное».

— Ну, мой друг, завтра мы едем, наконец, — сказал он ему раз, закрывая глаза и перебирая пальцами его локоть, и таким тоном, как будто то, что он говорил, было давным давно решено между ними и не могло быть решено иначе, несмотря на то, что Пьер в первый раз слышал это. — Завтра мы едем, я тебе дам место в своей коляске. Я очень рад. Здесь у нас все важное покончено. А мне уж давно бы надо. Вот я получил от князя. Я его просил об тебе, и ты зачислен в дипломатический корпус и сделан камер-юнкером.

Несмотря на всю силу тона усталой уверенности, что это не могло быть иначе, Пьер, так долго думавший о своей карьере, хотел было возражать, но князь Василий перебил его.

— Но, мой милый, я это сделал для себя, для своей совести, и меня благодарить нечего. Никогда никто не жаловался, что его слыш-

ком любили, а потом ты свободен, хоть завтра брось, вот ты все сам в Петербурге увидишь. И тебе давно пора удалиться от этих ужасных воспоминаний. — Князь Василий вздохнул. — Так, так, моя душа. А мой камердинер пускай в твоей коляске едет. Ах да, я было и забыл, — прибавил еще князь Василий. — Ты знаешь, что у нас были счета с покойным, так с рязанских я получил и оставлю. Тебе не нужно. Мы с тобой сочтемся.

То, что князь Василий называл «с рязанских», было несколько тысяч оброка, которые князь Василий оставил у себя...

В Петербурге, так же как и в Москве, атмосфера нежных, любящих людей окружала Пьера. Он не мог отказаться от места (скорее, звания, потому что он ничего не делал), которое доставил ему князь Василий, и знакомств, зовов и общественных занятий было столько, что Пьер еще больше, чем в Москве, испытывал это чувство отуманенности, торопливости и все наступающего, но не совершающегося блага. Из прежнего холостого общества Пьера многих не было в Петербурге. Гвардия была в походе. Долохов разжалован, и Ана-



толь в армии, в провинции, и потому Пьеру не удавалось проводить ночи, как он любил проводить их прежде. Все время его проходило на обедах, балах и преимущественно у князя Василия, в обществе старой, толстой княгини и красавицы Элен, в отношении которой он невольно был поставлен в свете в обязанность исполнять столь непривычную ему роль кузена или брата, так как они виделись каждый день и жили вместе. Но хотелось ли Элен танцевать с кем-нибудь, она прямо говорила Пьеру, чтоб он был ее кавалером. Она посылала его сказать матери, что пора ехать, и узнать, приехала ли карета, и поутру, гуляя, взять ее перчатки.

Анна Павловна Шерер более всех выказала Пьеру перемену, происшедшую в общественном взгляде на него. Прежде, как и в неуместном разговоре, который завел у нее в гостиной Пьер о французской революции, он постоянно чувствовал, что говорит неловкости, что он неприлично, бестактно ведет себя, что Ипполит скажет глупое слово, и оно кстати, а его речи, кажущиеся ему умными, пока он готовит их в своем воображении, делаются глупыми.

пыми, как скоро он громко говорит, и эта роковая неловкость, испытываемая им в обществе Анны Павловны, вызывала его на отпор, особенно резкий разговор. «Все равно, — думал он, — коли уж все выходит неловко, так буду говорить все». И так он доходил до таких разговоров, как про виконта. Это было прежде. Но теперь напротив. Все, что ни говорил он, все выходило очаровательно. Ежели даже Анна Павловна не говорила этого, то он видел, что ей хотелось это сказать, и она, менажируя скромность, воздерживалась от этого.

В начале зимы 1805 на 1806 год Пьер получил от Анны Павловны обычную розовую записку с приглашением, в которой было прибавлено: «Вы застанете у меня прекрасную Элен, на которую никогда не устанешь любоваться». Читая это место, Пьер в первый раз почувствовал, что между ним и Элен есть какая-то связь, признаваемая другими людьми, и мысль эта в одно и то же время и испугала его, как будто на него накладывались обязательства, которые он не мог сдержать, и вместе понравилась ему, как забавное предполо-

жение.

Вечер Анны Павловны был такой же, как и первый, только новинкой, которою угощала Анна Павловна своих гостей, был теперь не Мортемар, а дипломат, приехавший из Берлина и привезший свежайшие подробности о пребывании государя Александра в Потсдаме и о военных действиях. Пьер был принят Анной Павловной с оттенком грусти, относившейся, очевидно, к свежей потере молодого человека, и грусти точно такой же, как и та высочайшая грусть, которая выражалась при упоминаниях о августейшей императрице Марии Федоровне. Пьер, сам не зная почему, почувствовал себя польщенным. Анна Павловна с своим обычным искусством составила кружки своей гостиной. Большой кружок, где был князь Василий и генералы, пользовался дипломатом. Другой кружок был у чайного столика. Пьер хотел присоединиться к первому, но Анна Павловна, находившаяся в раздраженном состоянии полководца на поле битвы, когда приходят тысячи новых блестящих мыслей, которые едва успеваешь приводить в исполнение, Анна Павловна, увидав

Пьера, тронула его пальцем:

— Погодите, у меня есть на вас виды на этот вечер.

Она взглянула на Элен, улыбнулась ей.

— Моя милая Элен, надо, чтобы вы были сострадательны к моей бедной тетке, которая питает к вам обожание. Побудьте с ней минут десять. А чтоб вам не очень скучно было, вот вам рыцарь, который не откажется за вами следовать.

Красавица направилась к тетушке, но Пьера Анна Павловна уже удержала подле себя с видом необходимости сделать еще последнее необходимое распоряжение.

— Не правда ли, она восхитительна, — сказала она Пьеру, указывая на отплывающую величавую красавицу. — И как держит себя! Для такой молодой девушки и такой такт, такое мастерское умение держать себя! Это происходит от сердца! Счастлив будет тот, чьей она будет. С нею самый несветский муж будет невольно и без труда занимать блестящее место в свете. Не правда ли? Я только хотела знать ваше мнение. — И Анна Павловна отпустила Пьера.

Пьер искренно отвечал утвердительно на вопрос Анны Павловны о искусстве Элен держать себя. Ежели он когда-нибудь думал об Элен, то он думал именно о том необыкновенном ее спокойном умении быть приятной в свете.

Тетушка приняла в свой уголок двух молодых людей, но, казалось, желала скрыть свое обожание к Элен и желала более выразить свой страх перед Анной Павловной. Она взглядывала на племянницу, как бы спрашивая, что ей делать с этими людьми. Отходя от них, Анна Павловна опять тронула пальчиком рукав Пьера и проговорила:

— Я надеюсь, вы не скажете другой раз, что у мадемуазель Шерер скучно.

Элен улыбнулась с таким видом, который говорил, что она не допускала возможности при виде себя испытывать что-нибудь, кроме восхищения. Тетушка прокашлялась, проглотила слюну и по-французски сказала, что она очень рада видеть Элен. Потом обратилась к Пьеру с тем же приветствием и с тою же миной.

В середине скучливого и спотыкающегося

разговора Элен оглянулась на Пьера и улыбнулась ему той улыбкой, ясной, красивой, которой она улыбалась всем. Пьер так привык к этой улыбке, так мало она выражала для него, что он улыбнулся тоже, из слабости, и отвернулся.

Тетушка говорила в это время о коллекции табакерок, которая была у покойного отца Пьера, графа Безухова. Она открыла свою табакерку. Княжна Элен попросила посмотреть этот портрет мужа тетушки, который был сделан на этой табакерке.

— Это, верно, сделано Винесом, — сказал Пьер, называя известного миниатюриста и нагибаясь к столу, чтоб взять в руку табакерку, и прислушиваясь к разговору за другим столом. Он привстал, желая обойти, но тетушка подала табакерку прямо через Элен, позади ее. Элен нагнулась вперед, чтобы дать место, и, улыбаясь, оглянулась. Она была, как и всегда на вечерах, в весьма открытом, по тогдашней моде, спереди и сзади платье. Ее бюст, казавшийся всегда мраморным Пьеру, находился в таком близком расстоянии от его глаз, что он своими близорукими глазами

невольно различал живую прелесть ее плеч и шеи, и в таком близком расстоянии от его рта, что ему стоило немного нагнуться, чтобы прикоснуться к ней. Пьер невольно нагнулся, испуганно отстранился и вдруг почувствовал себя в душистой и теплой атмосфере тела красавицы. Он слышал тепло ее тела, он слышал запах духов и слышал шелест ее корсета при дыхании. Он видел не ее, мраморную красавицу, составлявшую одно целое с платьем, как он видел и чувствовал прежде, но он вдруг увидал и почувствовал ее тело, которое было закрыто только одеждой. И раз увидав это, он не мог видеть иначе, как мы не можем возвратиться к прежнему обману зрения.

Она оглянулась, взглянула прямо на него, блестя черными глазами, и улыбнулась. «Так вы до сих пор не замечали, как я прекрасна? — как будто сказала она. — Вы не замечали, что я женщина. Да, я женщина. Да еще такая женщина, которая может принадлежать всякому, и вам даже».

Пьер, вспыхнув, опустил глаза и снова хотел увидеть ее такою дальнею, чужою красавицей, для себя красавицею, какою он пред-

ставлял себе ее прежде. Но он не мог уж этого сделать. Не мог, как не может человек, прежде смотревший в тумане на былинку бурьяна и видевший в ней дерево, увидав былинку, вновь увидеть в ней дерево. Он смотрел и видел женщину, дрожавшую в платье, прикрывавшем ее. Мало того, он в ту же минуту почувствовал, что Элен не только могла быть, но должна быть или была его женой, что это не может быть иначе. Он знал это так же верно, как бы он знал это, стоя под венцом с нею.

Как это будет и когда, он не знал, не знал даже, хорошо ли это будет. Ему даже чувствовалось, что это нехорошо почему-то, но он знал, что это будет.

— Хорошо, я вас оставляю в вашем уголке, я вижу, вам там хорошо, — сказал голос Анны Павловны.

И Пьер, в страхе вспоминая, не сделал ли он чего-нибудь предосудительного, краснея, оглядывался вокруг себя, чувствуя, что все знают, так же как и он, про то, что с ним случилось.

Через несколько времени, когда он пере-



шел к большому кружку, Анна Павловна сказала ему:

— Говорят, вы отделяете свой петербургский дом. — (Это была правда. Архитектор показал, что это нужно ему, и Пьер, сам не зная зачем, отделял дом в Петербурге.) — Это хорошо, но не переезжайте от князя, — сказала она, улыбаясь князю Василию. — Хорошо иметь такого друга, как князь. Я кое-что знаю, не правда ли? А вы? Вам нужен совет. — Она помолчала. — Ежели вы женитесь, ну, другое дело. — И она соединила их в один взгляд. Пьер не смотрел на Элен, и она уже не отдалялась от него, она была все так же странно близка, близкой ему вся, с своим прекрасным телом, запахом, кожей и румянцем женской страсти. Он промычал что-то и покраснел.

Вернувшись домой, Пьер долго не мог заснуть, думая о том, что с ним случилось. Что же случилось с ним? Ничего. Он только понял, что женщина, которую он знал ребенком, которую он презирал, про которую он рассеянно говорил: «Да, хороша», — когда ему говорили, что Элен красавица, — он понял, что эта женщина может и ему дать целый

мир наслаждений, о котором он не думал. «Но она глупа, я сам говорил, что она глупа», — думал он. Ведь это не любовь, напротив. Но что-то гадкое есть в том чувстве, которое она возбудила во мне, что-то запрещенное. Отчего же мне достанется она? Мне говорили, что ее брат Анатолий был влюблен в нее, и она влюблена в него, и что для этого и удален Анатолий. Брат ее Ипполит, отец ее князь Василий. Я не должен любить ее, — рассуждал он, и в то же время, как он рассуждал так, — еще рассуждения эти оставались неоконченными — как он заставлял себя улыбающимся и сознавал, что другой ряд рассуждений всплывал из-за первых, что он в то же время, как думал о ее ничтожестве, в то же время мечтал о том, как она будет его женою, как она может полюбить его, как она может быть совсем другою, и как все то, что он об ней думал и слышал, может быть неправдою, и он опять видел не ее прежнюю, а ее шею, плечи, грудь. «Но нет, отчего ж прежде мне не приходила эта мысль...»

И опять он говорил себе, что это невозможно, что что-то гадкое, противоестественное

было бы в этом браке. Он вспоминал ее прежние слова, взгляды, и слова и взгляды тех, кто их видал вместе. Он с ужасом вспомнил слова и взгляд Анны Павловны, когда она говорила ему о доме, вспомнил сотни таких же намеков со стороны князя Василия и других, и на него нашел ужас: не связал ли он себя уже чем-нибудь в исполнении такого дела, которое погубило бы всю его жизнь, и он твердо решил отдаться от нее, наблюдать за собой и уехать. Но в то время, как он сам себе выражал это решение, с другой стороны души всплывал ее образ, и он говорил: «Отдаться ей, все забыть, все бросить — вот это счастье, и как я слеп, что не видел прежде возможности этого великого счастья».

В ноябре месяце 1805 года князь Василий должен был ехать на ревизию в Москву и другие четыре губернии. Он устроил для себя это назначение с тем, чтобы побывать заодно в своих расстроенных имениях, в имениях будущего зятя, молодого графа Безухова, и, захватив с собой в месте расположения его полка сына Анатоля, с ним вместе заехать к князю Николаю Андреевичу Болконскому с тем,

чтобы женить сына на дочери этого богатого старика. Но прежде отъезда и этих новых дел, князю Василию нужно было решить дело с Пьером, который, правда, ездил каждый день и последнее время проводил целые дни у князя Василия, был смешон, взволнован и глуп, как должен быть влюбленный, в присутствии Элен, но все еще не делал предложения.

«Все это прекрасно», — сказал себе раз утром князь Василий со вздохом грусти, сознавая, что Пьер, стольким обязанный ему (ну, да Христос с ним), не совсем хорошо поступает в отношении его. «Молодость, легкомыслие, ну, да Бог с ним, — подумал князь Василий, с удовольствием чувствуя свою доброту, — но всему должен быть конец. Послезавтра Лелины именины, я позову кое-кого. И ежели он не поймет, что он должен сделать, то уж это будет мое дело. Я отец».

Пьер полтора месяца после вечера Анны Павловны и последовавшей за ним бессонной, взволнованной ночи, в которой он решил, что женитьба на Элен было бы загубление своей жизни, что ему нужно избегать ее и уехать, Пьер после этого решения каждый

день ездил к князю Василию и с ужасом чувствовал, что каждый день он больше и больше в глазах людей связывается с нею, что он не может никак возвратиться к своему прежнему взгляду на нее, что он не может и оторваться от нее, что это будет ужасно, но что он должен будет связать с нею свою судьбу. Может быть, он и мог бы воздержаться, но не проходило дня, чтобы он не получал записки от княгини или самой Элен по поручению матери, в которой ему писали, что его ждут и что, ежели он не приедет, он расстроит их общее удовольствие и обманет их надежды... Князь Василий в те редкие минуты, когда бывал дома, проходя мимо Пьера, дергал его за руку вниз, рассеянно подставлял ему щеку и говорил или «до завтра», или «к обеду, а то я тебя не увижу», или «я для тебя остаюсь» и т. п. Но, несмотря на то, что, когда князь Василий оставался для Пьера (как он это говорил), он не говорил с ним двух слов, Пьер не чувствовал себя в силах обмануть их ожидания.

Он ездил и каждый раз говорил себе все одно и одно: «Надо же, наконец, понять ее и дать себе отчет, кто она? Ошибался ли я

прежде или теперь ошибаюсь. Нет, она не глупа, нет, она прекрасная женщина, — говорил он сам себе. — Никогда ни в чем она не ошибается, никогда она ничего не скажет глупого. Она мало говорит, но то, что она скажет, всегда просто и ясно. Так она не глупа. Никогда она не смущалась и не смущается. Так она не дурная женщина».

Часто ему случалось с нею начинать рассуждать, думать вслух, и всякий раз она отвечала ему на это либо короткими, но кстати сказанными замечаниями, показывавшими, что ее это не интересует, либо молчаливой улыбкой и взглядом, которые ощутительнее всего показывали Пьеру ее превосходство. Она была права, признавая все рассуждения вздором в сравнении с этой улыбкой. Она встречала его всегда радостной, доверчивой, к нему одному относившейся улыбкой, в которой было что-то значительнее того, что было в общей улыбке, украшавшей всегда ее лицо. Все было хорошо. Пьер знал, что все ждут только того, чтобы он, наконец, сказал одно слово, переступил через известную черту, и он знал, что он рано или поздно переступит

через нее, но какой-то непонятный ужас обхватывал его при одной мысли об этом неизбежном шаге.

Тысячи раз в продолжение этого полутора месяца, во время которого он чувствовал себя все дальше и дальше втягиваемым в ту пропасть, которая страшила его, Пьер говорил себе: «Да что же это? Нужна энергия. Разве нет у меня ее?» И он нравственно хотел приподняться, но он с ужасом чувствовал, что не было у него в этом случае той энергии, которую он знал в себе и которая действительно была в нем. Пьер принадлежал к числу тех людей, которые сильны только тогда, когда они чувствуют себя вполне чистыми. А с того дня, как его страстной натурой овладело то чувство желания, которое он испытал над табакеркой у Анны Павловны, неосознанное чувство виновности этого стремления парализовало его энергию. Помочь ему было некому, и он все дальше и дальше шел к тому шагу, к которому он стремился.

В день именин Элен у князя Василия ужинало маленькое общество людей самых близких, как говорила княгиня, — родные и дру-

зья. Всем этим родным, друзьям дано было чувствовать, что в этот день должна решиться участь именинницы. Гости сидели за ужином. Княгиня Курагина, массивная, когда-то красивая, представительная женщина, сидела на хозяйском месте. По обеим сторонам ее сидели почетнейшие гости, старый генерал, его жена, Анна Павловна Шерер. В конце стола сидели менее пожилые и почетные гости, и там же сидели как домашние Пьер и Элен — рядом. Князь Василий не ужинал: он похаживал вокруг стола в самом веселом расположении духа, подсаживаясь то к тому, то к другому из гостей, каждому он говорил небрежно приятное слово, исключая Пьера и Элен, присутствия которых он и не замечал, казалось.

Князь Василий оживил всех. Ярко горели восковые свечи, блестели серебро и хрусталь посуды, наряды дам и золото и серебро эполет, сновали вокруг стола слуги в красных кафтанах; слышались звуки ножей, стаканов, тарелок и звуки оживленного говора нескольких разговоров, ведомых вокруг этого стола. Слышно было, как старый камергер в одном



конце уверял старушку баронессу в своей пламенной любви к ней, и ее смех; с другой — рассказ о неуспехе Марьи Викторовны, с третьей — приглашение на завтра.

У середины стола князь Василий сосредоточил вокруг себя слушателей, и его один голос слышался. Он рассказывал дамам, с шутовой улыбкой на губах, последнее — в среду — заседание Государственного Совета, на котором был получен и читался Сергеем Кузьмичом Вязьмитиновым, новым петербургским военным генерал-губернатором, знаменитый тогда рескрипт государя Александра Павловича из армии, в котором государь, обращаясь к Сергею Кузьмичу, говорил, что со всех сторон получает он заявления о преданности народа и что он благодарит петербургских жителей за выражения их преданности, которые доходят до него, и что он гордится честью быть главою этой нации и постарается быть ее достойным.

— Так, так и не пошло дальше, чем «Сергей Кузьмич?» — спрашивала, смеясь, одна дама.

— Ни на волос, — отвечал князь Василий. — Бедный Вязьмитинов никак не мог

пойти далее. Несколько раз он принимался сначала за письмо, но только что скажет Сергей... — и слезы, и уж Ку...зьмич заглушались рыданиями, и дальше он не мог, и опять платок, и опять «Кузьмич» и слезы... так что уже мы попросили прочесть другого.

— Кузьмич... и слезы... — повторил другой.

— Не будьте злы, — погрозив пальцем, с другого конца стола проговорила Анна Павловна, — он такой славный человек, наш добрый Вязьмитинов...

Все вступили в разговор, завязавшийся на верхнем, почетном, конце стола, все были, казалось, веселы и под влиянием самых различных оживленных настроений; только Пьер и Элен молча сидели рядом почти на нижнем конце стола; на лицах обоих сдерживалась сияющая улыбка стыдливости перед своим счастьем, и что бы ни говорили, как бы ни смеялись и шутили другие, как бы аппетитно ни кушали рейнвейн и сотэ, и мороженое, как бы ни избегали взглядом эту чету, как ни казались равнодушны, невнимательны к ней, чувствовалось почему-то, по изредка бросаемым на них взглядам, что и анекдот о Сергее

Кузьмиче, и страх, и кушанье — все было притворно, все силы внимания всего этого общества были обращены только на Пьера и Элен. Князь Василий представлял всхлипывающаго Сергея Кузьмича и в это время обегал взглядом дочь: и в то время, как он смеялся, выражение его лица говорило: «Так, все идет хорошо, нынче все решится». Анна Павловна грозила ему за нашего доброго Вязьмитинова, а в глазах ее, которые мельком блеснули в этот момент на Пьера, он читал поздравление с будущим зятем и счастьем дочери. Старая княгиня, предлагая с грустным вздохом вина своей соседке и сердито взглянув на дочь, этим вздохом как будто говорила: «Да, теперь нам с вами ничего больше не осталось, как пить сладкое вино, моя милая; теперь время этой молодежи быть так дерзко и вызывающе счастливой». Старый генерал мрачно и презрительно повторил слова своей жены, указывая тем на их глупость. «Нет того, чтобы быть такой же красавицей и милой, как эта красавица, — подумал он, — а только врать». «И что за глупость все то, что я рассказываю о Венском кабинете, как будто это меня интере-

сует, — думал дипломат, взглядывая на счастливые лица любовников, — вот это счастье!»

Среди тех ничтожно мелких, искусственных интересов, которые связывали это общество, попало простое чувство стремления красивых и здоровых молодых мужчины и женщины друг к другу. И это серьезное человеческое чувство подавило все и парило над всеми искусственным лепетом. Шутки были не веселы, новости не интересны, оживление — очевидно поддельно. Не только они, но лакеи, служившие за столом, казалось, чувствовали то же и забывали порядок службы, заглядываясь на стройную, мраморную, прямую фигуру Элен с ее сияющим лицом, получившим вдруг для всех новое значение, и на это красное, толстое лицо Пьера, изнывавшего от сдержанной страсти. Казалось, и огни свечей сосредоточены были только на эти два счастливые лица.

Пьер чувствовал, что он был центром всего, и это положение и радовало и стесняло его. Он ничего не видит, не помнит, не слышит. Он находится в состоянии человека, углубленного в какое-нибудь занятие. Только

изредка, неожиданно, мелькают в его душе отрывочные мысли и впечатления из действительности.

«Так уж все кончено! — думает он. — И как это все сделалось? Так быстро? Теперь я знаю, что не для нее одной, не для себя одного, но и для всех это должно неизбежно свершиться. Они все так ждут этого, так уверены, что это будет, что я не могу, не могу обмануть их. Но как это будет? Не знаю», — и он опять погружается в свое сосредоточивающее все его душевные способности занятие. Опять он видит подле самых глаз своих это лицо, эти глаза, этот нос и начало бровей, и шею и начало волос и груди. То вдруг ему становится стыдно чего-то. Ему неловко, что он один занимает внимание всех, что он счастливеец в глазах других, что он сибарит Парис, обладающий Еленой. Но, верно, это всегда так бывает, и так надо. И опять он слышит, видит, чувствует только ее, ее близость, ее дыхание, ее движения, ее красоту. И ему кажется, что это не она, а он сам так необыкновенно красив, что оттого-то и смотрят так на него, и он, счастливый общим удивлением, выпрямляет грудь,

поднимает голову и радуется своему счастью. Вдруг какой-то голос, чей-то знакомый голос, слышится ему из той жалкой мелочной жизни, в которой и он жил прежде, в которой нет красоты и самозабвения, он слышит голос, который говорит ему что-то другой раз.

— Я спрашиваю у тебя, когда ты получил письмо от Болконского? — говорит голос князя Василия. — Как ты рассеян, мой милый.

Князь Василий улыбается, и Пьер видит, что все, все улыбаются на него и на Элен. «Ну, что ж, коли вы все знаете, — говорит сам себе Пьер. — Ну что ж? это правда». И он сам улыбается, открывая свои дурные зубы, и Элен улыбается.

— Когда же ты получил? Из Ольмюца? — повторяет князь Василий, которому будто нужно это знать для решения спора.

«И можно ли говорить и думать о таких пустяках?» — думает Пьер.

— Да, из Ольмюца, — отвечает он с вздохом соболезнования ко всем тем, кто не он в эту минуту.

От ужина Пьер повел свою даму за другими в гостиную. Гости стали разъезжаться и

некоторые уезжали, не простившись с Элен, как будто не желая отрывать ее от ее серьезного занятия; некоторые подходили на минуту и скорее отходили, запрещая ей проводить. Дипломат грустно молчал, выходя из гостиной. Ему представлялась вся тщета его дипломатической карьеры в сравнении со счастьем Пьера. Старый генерал сердито проворчал на свою жену, когда она его спросила о его ноге. «Эка, старая карга, — подумал он. — Вот Елена Васильевна, так та и в 50 лет красавица будет».

— Кажется, что я могу вас поздравить, — прошептала Анна Павловна княгине и крепко пожалала ее руку. — Ежели бы не мигрень, я бы осталась.

Княгиня ничего не отвечала; ее мучила зависть к счастью своей дочери.

Пьер во время проводов гостей долго оставался с Элен в маленькой гостиной, где они сели. Он часто и прежде в последние полтора месяца оставался один с Элен и никогда не говорил ей о любви, но теперь он чувствовал, что это было необходимо, и не мог решиться на этот последний шаг. Ему, больше чем

прежде, все казалось стыдно, что он тут один с этой красавицей, которая так привлекает его. Как будто тут, подле Элен, он занимал чье-нибудь чужое место. «Не для тебя это счастье, — говорил ему какой-то внутренний голос. — Это счастье для тех, у кого нет того, что есть у тебя». Но надо было сказать что-нибудь, и он заговорил. Он спросил у нее, довольна ли она нынешним вечером? Она как и всегда с простотой своей отвечала, что нынешние именины были для нее одними из самых приятных. И она заговорила о тех, кто были у них, и она про всех говорила хорошо.

Кое-кто из ближайших родных еще оставались. Они сидели в большой гостиной. Князь Василий ленивыми шагами подошел к Пьеру. Пьер встал и сказал, что уже поздно. Князь Василий строго-вопросительно посмотрел на него, как будто то, что он сказал, было так странно, что нельзя было и расслышать. Но вслед за тем выражение строгости изменилось, и князь Василий дернул за руку вниз Пьера, посадил его и ласково улыбнулся.

— Ну что, Леля? — обратился он тотчас же к дочери с тем небрежным тоном привычной



нежности, который усваивается родителями, с детства ласкающими своих детей, но который князем Василием был усвоен посредством подражания.

И он опять обратился к Пьеру:

— Сергей Кузьмич! Не правда ли, это прелестно?

Пьер улыбнулся, но по его улыбке видно было, что он понимал, — не анекдот о Сергее Кузьмиче интересовал в это время князя Василия; и князь Василий понял, что Пьер понимал это. Он вдруг смутился, пробурчал что-то и вышел. Вид смущения этого старого светского человека тронул Пьера, он оглянулся на Элен, — и она, казалось, была смущена и взглядом говорила: «Что ж, вы сами виноваты».

«Надо неизбежно перешагнуть, но не могу, я не могу», — думал Пьер и заговорил опять о постороннем, о Сергее Кузьмиче, спрашивал, в чем состоял этот анекдот, так как он его не расслышал. Элен с улыбкой отвечала, что она тоже не знает.

Когда князь Василий вошел в гостиную, княгиня тихо говорила с пожилой дамой о

Пьере.

— Конечно, это партия блестящая, но счастье, моя милая...

— Браки совершаются на небесах, — отвечала пожилая дама.

Князь Василий, как бы не слушая дам, прошел в дальний угол и сел на диван. Он закрыл глаза и как будто дремал. Голова его было упала, и он очнулся.

— Алина, — сказал он жене, — пойди, посмотри, что они делают.

Княгиня подошла к двери, прошлась мимо нее с значительным равнодушным видом и заглянула в гостиную. Пьер и Элен так же чинно сидели и разговаривали.

— Все то же, — отвечала она мужу.

Князь Василий нахмурился, сморщил рот на сторону, что придавало ему злое выражение, и вдруг, встряхнувшись, встал, закинул назад голову и, приняв еще в большой гостиной торжественное счастливое выражение, решительными шагами, мимо дам, прошел в маленькую гостиную. Он скорыми шагами радостно подходил к Пьеру. Лицо князя было так необыкновенно торжественно, что Пьер

испуганно встал, увидав его.

— А я-то? Я-то? — заговорил князь Василий. — Жена мне только сказала. Поди сюда и ты, Леля. — Он обнял одной рукой Пьера, другой — дочь. — Я очень, очень рад. — Голос его задрожал. -

Я любил твоего отца, и она будет тебе хорошая жена. Бог да благословит вас.

Он обнял дочь, потом опять Пьера и поцеловал его дурно пахучим ртом. Слезы лились по его щекам.

— Княгиня, иди же сюда, — прокричал он.

Трудный шаг был перешагнут, и Пьер чувствовал себя облегченным и счастливым. Княгиня плакала, и пожилая дама тоже. Пьера целовали. И он целовал руки прекрасной Элен. После благословений их опять оставили одних. Пьер молча держал ее руку и смотрел на ее поднимающуюся и опускающуюся грудь.

— Элен! Я страстно люблю тебя, — сказал он, и ему стыдно стало. Он взглянул в ее лицо. Она придвинулась к нему ближе. Лицо ее было красно.

— Ах, снимите эти, как их... — она указы-

вала на очки.

Пьер снял очки, и глаза его сверх той общей странности глаз людей, снявших очки, глаза его смотрели испуганно-вопросительно. Он хотел нагнуться над ее рукой и поцеловать ее, но она вдруг быстрым движением головы перехватила его губы и свела их с своими. Лицо ее в эту минуту поразило Пьера своим вдруг изменившимся неприятно-растерянным выражением. «Теперь уже поздно, все кончено, да и я люблю ее», — подумал Пьер.

Через полтора месяца он был обвенчан и поселился с женой в большом петербургском доме графов Безуховых.

После обручения Пьера с Элен старый князь Николай Андреевич Болконский получил письмо от князя Василия, извещавшего его о своем приезде вместе с сыном. («Я еду на ревизию, и, разумеется, мне сто верст не крюк, чтобы посетить вас, многоуважаемый благодетель, — писал он. — И Анатолий мой провожает меня и едет в армию, и я надеюсь, что позволите ему лично выразить вам то глубокое уважение, которое он, подражая отцу, питает к вам».)

— Вот и вывозить не нужно, женихи сами к нам едут, — неосторожно сказала маленькая княгиня, услышав про это. Князь Николай Андреевич поморщился и ничего не сказал.

Через две недели после получения письма, вечером, приехали вперед люди князя Василия, а на другой день приехал и он сам с сыном. Старый Болконский всегда был невысокого мнения о характере князя Василия, но в последнее время, когда князь Василий далеко пошел в чинах и почестях, и особенно, судя по намекам письма и маленькой княгини, по-

няв намерение сватовства князя Василия, невысокое мнение перешло в чувство недоброжелательного презрения. Он постоянно фыркал, говоря про него. В тот день, как приехать князю Василию, князь Николай Андреевич был особенно недоволен и не в духе. Оттого ли он был не в духе, что приезжал князь Василий, или оттого он был недоволен приездом князя Василия, что был не в духе, но люди, имеющие с ним дело, уже по одному лицу его и походке знали, что в этом состоянии он сердит, лучше избегать его. Как обыкновенно, он вышел гулять в своей бархатной шубке с собольим воротником и такой же шапке. Накануне выпал глубокий снег. Князь пошел в сад, как предполагал управляющий, с тем чтобы придраться к чему-нибудь, но дорожка, по которой хаживал князь Николай Андреевич в оранжерее, была уже расчищена, следы метлы виднелись на разметанном снегу, и лопата была воткнута в рыхлую насыпь снега, шедшую с обеих сторон дорожки. Князь прошел по оранжереям. Все было хорошо. Но на постройках он рассердился на архитектора за то, что крыша нового флигеля не была кон-

чена, и несмотря на то, что это было известно ему вчера, разбранил Михаила Ивановича. Он уже подходил к дому, сопровождаемый управляющим.

— А проехать в санях можно? — спросил он. — Княгине прокатиться.

— Глубок снег, ваше сиятельство, я уж по прешпекту разметать велел.

Князь одобрительно наклонил голову и входил на крыльцо

— Проехать трудно было, — прибавил управляющий. — Как слышно было, ваше сиятельство, что министр пожалуют к вашему сиятельству.

Князь вдруг повернулся всем телом к управляющему.

— Что? Какой министр? Кто велел? — крикнул князь своим пронзительно-жестким голосом. — Для княгини, моей дочери, не расчистил, а для министра... У меня нет министров.

— Помилуйте, ваше сиятельство, я полагал...

— Ты полагал, — закричал князь все более и более разгораясь, но и тут он еще не ударил

бы Алпатыча, ежели бы он не успел своими словами раздражить себя до последней степени. — И кто тебя выучил тому, чтобы за меня делать почести людям, которых я знать не хочу? Для дочери моей нельзя, а для кого-нибудь можно. — Этой мысли уж не мог вынести князь.

Перед обедом княжна и мадемуазель Бурьен, зная, что князь не в духе, стояли, ожидая его. Мадемуазель Бурьен с сияющим лицом, которое говорило: «Я ничего не знаю, я такая же, как всегда», — и княжна Марья — бледная, испуганная, с опущенными глазами. Тяжелее всего для княжны Марьи было то, что она знала, что в этих случаях надо поступать, как мадемуазель Бурьен, но не могла. Ей казалось: «Сделаю я так, как будто не замечаю (кроме того, что я не могу лгать), он подумает, что у меня нет сочувствия, сделаю я так, что я сама скучна и не в духе (что и правда), он скажет, как это и бывает, что я нос повесила, дуюсь и т. п.».

Князь взглянул на испуганное лицо дочери, фыркнул.

— Дура, — проговорил он и обратился к ма-



демуазель Бурьен.

«И той нет, уж насплетничали», — подумал он про маленькую княгиню, которой не было в столовой.

— А княгиня где? — спросил он. — Прячется?

— Она не совсем здорова, — весело улыбаясь, отвечала мадемуазель Бурьен. — Она не выйдет. Это так понятно в ее положении.

— Воображаю, — проговорил князь и сел за стол.

Тарелка ему показалась не чиста; он указал на пятно и бросил ее. Тихон подхватил. Маленькая княгиня была не нездорова; но она до такой степени непреодолимо боялась князя, что, услышав о том, как он не в духе, она решила не выходить.

— Я боюсь за ребенка, — говорила она мадемуазель Бурьен. — Бог знает, что может сделаться от испуга.

— Несомненно, несомненно.

Вообще маленькая княгиня жила в Лысых Горах постоянно под чувством страха и антипатии; антипатии она не сознавала в себе к старому князю, потому что страх так преобла-

дал, что она не могла чувствовать ее. Со стороны князя была та же антипатия, но заглушалась презрением. Княгиня полюбила особенно мадемуазель Бурьен, проводила с нею дни, просила ее ночевать с собой и с нею часто говорила о свекре, судила его.

— К нам приезжают гости, князь, — сказала мадемуазель Бурьен, своими розовенькими руками развертывая белую салфетку. — Его сиятельство князь с сыном, сколько я слышала? — вопросительно сказала она.

— Гм! Этот excellence — мальчишка, которого я тогда отвез и определил в Коллегию, — оскорбленно сказал князь так, как будто мадемуазель Бурьен хотела унижить его. — А сына для чего он везет, я не могу понять. Княгиня Лизавета Карловна и княжна Марья, может, знают; я не знаю, к чему он везет сюда этого франта. Мне это не нужно. — И он посмотрел на покрасневшую дочь. — Что с тобой? Ты нездорова, что ли? От страха министра, как нынче мне этот болван Алпатыч сказал.

— Нет, отец.

— Послать ко мне Алпатыча.

Как ни неудачно попала мадемуазель Бурьен на предмет разговора, она не остановилась и болтала о оранжерее, о красоте новой постройки, и князь после супа смягчился, как она думала, от ее речей, в сущности же от того, что он поел супу и желудок начал варить.

После обеда он прошел к невестке. Маленькая княгиня сидела за маленьким столиком и болтала с Машей, горничной. Она побледнела, увидав свекра.

— Не нужно ли чего?

— Нет, спасибо.

— Ну, хорошо, хорошо.

Он вышел и дошел до официантской. Алпатыч, в положении приговоренного к смерти, стоял в официантской.

— Закидана дорога?

— Закидана, ваше сиятельство, простите ради бога, по одной глупости...

Князь перебил его и засмеялся своим неестественным смехом.

— Ну, хорошо, хорошо. — Он протянул руку, которую поцеловал Алпатыч, и прошел в кабинет.

Вечером приехал князь Василий. Его

встретили на прешпекте кучера и официанты, с криком провезли его возки и сани к флигелю по засыпанной снегом дороге.

Князю Василию и Анатолю были отведены отдельные комнаты. Анатолю был совершенно спокоен и весел, каким он и бывал всегда. Как на всю жизнь свою он смотрел как на веселую прогулку, которую кто-то такой почему-то взялся и обязан доставлять ему, так он и смотрел на свою поездку к злому старику и к богатой уродливой наследнице. Все это могло выйти, по его предположениям, очень хорошо и забавно, ежели обеда будут хороши и вино будет, да и женщины могут подвернуться красивые. «А отчего ж не жениться, коли она очень богата? Это никогда не мешает», — так думал Анатолю. Он ущипнул забежавшую хорошенькую горничную княгини и, громко смеясь, принялся за свой туалет.

Он выбрился, надушился с тщательностью и щегольством, сделавшимися его привычкою, и с прирожденным торжествующе-победительным выражением, выпячивая вперед грудь и высоко неся красивую голову, вошел в комнату к отцу. Около князя Василия хлопот-

тали его два камердинера, одевая его; он сам оживленно оглядывался вокруг себя и весело кивнул входившему сыну, как будто он говорил: «Так, таким мне тебя и надо!»

— Нет, без шуток, батюшка, она очень уродлива? А? — спросил он, как бы продолжая разговор, не раз веденный во время путешествия.

— Полно, глупости! Главное дело — старайся быть почтителен и благоразумен с старым князем.

— Ежели он будет браниться, я уйду, — сказал он. — Я этих стариков терпеть не могу. А?

— Милый мой, я не хочу выслушивать твои шуточки по этому поводу. Помни, что для тебя от этого зависит все.

В это время в девичьей не только был известен приезд министра с сыном, но внешний вид их обоих был уже подробно описан. Княжна Марья сидела одна в своей комнате и тщетно пыталась преодолеть свое внутреннее волнение.

«Зачем они писали, зачем Лиза говорила мне про это, ведь этого не может быть, — го-

ворила она себе, взглядывая в зеркало. — Как я выйду в гостиную? Ежели бы он даже мне понравился, я бы не могла быть теперь с ним сама собою». И одна мысль о взгляде насмешки ее отца приводила ее в ужас.

Маленькая княгиня и мадемуазель Бурьен, получив все нужные сведения от горничной Маши, подвернувшейся Анатолю, о том, какой чернобровый красавец был министерский сын, и о том, как папенька их насилу ноги проволок на лестницу, а он, как орел, по три ступеньки за ним пробежал. Получив сведения, маленькая княгиня с мадемуазель Бурьен, еще из коридора слышные своими приятными, оживленно переговаривавшимися голосами, вошли в комнату.

— Они приехали, Мари, вы знаете? — сказала маленькая княгиня, переваливаясь своим животом, подходя и падая в кресло. Она уже не была в той блузе, в которой сидела за обедом, а на ней было одно из лучших ее зеленое шелковое платье; голова ее была тщательно убрана, и на лице было оживленье, не скрывавшее, однако, опустившихся и помертвевших очертаний лица. В том наряде, в кото-

ром она бывала обыкновенно в обществах в Петербурге, еще заметнее было, как много она подурнела. На мадемуазель Бурьен тоже появилось уже незаметно какое-то усовершенствование наряда, которое придавало ее хорошенькому, свеженькому лицу еще более привлекательности.

— Ну, а вы остаетесь в чем были, княжна, — заговорила она. — Сейчас придут сказать, что они вышли. Надо будет идти вниз, а вы хоть бы чуть-чуть принарядились.

Маленькая княгиня подняла свою короткую верхнюю губку над белыми зубами, сама поднялась с кресла, позвонила горничную и поспешно и весело принялась придумывать наряд для княжны Марьи и приводить его в исполнение. Княжна Марья чувствовала себя оскорбленной в чувстве собственного достоинства тем, что приезд обещанного ей жениха волновал ее в тайне ее души, она стыдилась этого и старалась перед собою даже скрыть это чувство. Они же (ее золовка уже нарядилась) прямо говорили ей, что она должна сделать то же, предполагая это в порядке вещей. Сказать им, как ей совестно бы-

ло за себя и за них, это значило выдать свое волнение; кроме того, отказаться от этого наряжения повело бы к продолжительным шуткам и настаиваниям. Она вспыхнула, прекрасные глаза ее потухли, некрасивое лицо покрылось пятнами, и с тем некрасивым выражением жертвы, чаще всего останавливающимся на ее лице, она отдалась во власть мадемуазель Бурьен и Лизы. Обе женщины заботились совершенно искренно о том, чтобы сделать ее красивою. Она была так дурна, что ни одной из них не могла прийти мысль о соперничестве с нею; поэтому они совершенно искренно, с тем наивным и твердым убеждением женщин, что наряд может сделать лицо красивым, принялись за ее одеванье.

— Нет, право, мой дружок, это платье нехорошо, — говорила Лиза, — вели подать, у тебя там есть масака. Право. А это нехорошо, слишком светло, нехорошо, нет, нехорошо.

Нехорошо было не платье, но лицо и вся фигура княжны. Этого не чувствовали мадемуазель Бурьен и маленькая княгиня; им все казалось, что, ежели приложить голубую ленту к волосам, зачесанным кверху, и спустить



голубой шарф с коричневого платья и т. п., то все будет хорошо. Но они забывали, что испуганное лицо и фигуру нельзя было изменить, и потому, как они ни видоизменяли раму и украшение этого лица, само лицо портило все. После двух или трех перемен, которым покорно подчинялась княжна Марья, в ту минуту, как она была зачесана кверху (прическа, совершенно изменившая и портившая ее лицо), в голубом шарфе и масака нарядном платье, маленькая княгиня раза два обошла кругом ее, маленькою ручкой оправила тут складку платья, там подернула шарф и посмотрела, склонив голову, то с той, то с другой стороны.

— Нет, это нельзя, — сказала она решительно, всплеснув руками. — Нет, Мари, решительно это нейдет к вам. Я вас лучше люблю в вашем сереньком ежедневном платьице, пожалуйста, сделайте это для меня, — сказала она горничной, — принеси княжне серенькое платье, и посмотрите, мадемуазель Бурьен, как я это устрою, — сказала она с улыбкой предвкушения артистической радости.

Но, когда Катя принесла требуемое платье, княжна Марья неподвижно все сидела перед зеркалом, глядя на свое лицо, и в зеркале увидела, что в глазах ее стоят слезы и что рот ее дрожит, приготовляясь к рыданиям.

— Ну, княжна, — сказала мадемуазель Бурьен, — еще маленькое усилие.

Маленькая княгиня, взяв платье из рук горничной, подходила к княжне Марье.

— Нет, теперь мы это сделаем просто, мило, — говорила она.

Голоса ее, мадемуазель Бурьен и Кати, которая о чем-то засмеялась, сливались в веселое лепетанье, похожее на пенье птиц.

— Нет, оставьте меня, — сказала княжна.

И голос ее звучал такой серьезностью и страданием, что лепетанье птиц тотчас же замолкло. Они посмотрели на большие, прекрасные глаза, полные слез и мысли, ясно и умоляюще смотревшие на них, и они поняли, что настаивать бесполезно и даже жестоко.

— По крайней мере, перемените прическу, — сказала маленькая княгиня. — Я вам говорила, — с упреком сказала она, обращаясь к мадемуазель Бурьен, — что у Мари одно из

тех лиц, которым этот род прически совсем нейдет. Перемените, пожалуйста.

— Нет, оставьте меня, оставьте меня, все это мне совершенно безразлично, — отвечал голос едва удерживающей слезы княжны Марьи.

Они пожали плечами, сделали жест удивления, признаваясь теперь, что княжна Марья в этом виде была очень дурна, хуже, чем всегда; но было уже поздно. Она смотрела на них с тем выражением, которое они знали, выражением мысли и грусти. Выражение это не внушало им страха к княжне Марье, — этого чувства она никому не внушала. Но они знали, что, когда на ее лице появлялось это выражение, она была молчалива, и скучна, и упорна в своих решениях.

— Вы перемените, не правда ли? — сказала Лиза и, когда княжна Марья обещала это сделать, вышла из комнаты.

Когда княжна Марья осталась одна в комнате, она не исполнила обещания Лизе и не взглянула даже на себя в зеркало, а бессильно опустив глаза и руки, молча сидела и думала. Ей представлялся муж — сильное, ясное и

непонятно-привлекательное существо, принадлежавшее ей одной. Ребенок, свой маленький ребенок, такой, какого она видела вчера у дочери кормилицы, представлялся ей у груди, и опять тот же муж представлялся ей обнимающим ее.

А она стыдливо и радостно взглядывала на него.

— Пожалуйте к чаю. Князь сейчас выйдут, — сказал из-за двери голос горничной. И этот голос разбудил ее.

Она очнулась и ужаснулась тому, о чем она думала. «Это слишком невозможно, — подумала она. — Это счастье, которое не дается на земле». И прежде чем идти вниз, она встала, вошла в образную и, устремив на освещенный лампадкой черный лик большого образа Спасителя, простояла перед ним со сложенными руками несколько минут и, вздохнув и перекрестившись, вышла.

В душе княжны Марьи было мучительное сомненье. Возможна ли для нее радость любви, земной любви к мужчине? В мысли о браке княжна Марья мечтала и о семейном счастье, о детях, но главною, сильнейшею и зата-

енною ее мечтой была любовь земная. Чувство было тем сильнее, чем более она старалась скрывать его и выказывать другим и даже самой себе как совершенно победившей это чувство. «Боже мой, — говорила она, — как мне подавить в сердце своем эти мысли дьявола? Как мне отказаться так, навсегда, от злых помыслов, чтобы спокойно исполнять Твою волю?» И едва она сделала этот вопрос, как Бог уже отвечал ей в ее собственном сердце: «Не желай ничего для себя, не ищи, не волнуйся, не завидуй. Будущее людей и твоя судьба должна быть неизвестна тебе; но живи так, чтобы быть готовой ко всему. Ежели Богу угодно будет испытать тебя в обязанностях брака, будь готова исполнить его волю». С этою успокоительной и радостной мыслью (и с надеждой на исполнение своей запрещенной земной мечты) княжна Марья, вздохнув, перекрестилась и сошла вниз, не думая ни о своем платье, ни о прическе, ни о том, как она войдет и что скажет. Что могло все это значить в сравнении с намерениями Бога, без воли которого не падет ни один волос с головы человека.

Когда она вошла в комнату, князь Василий с сыном уже были в гостиной с маленькой княгиней и мадемуазель Бурьен. Когда она вошла своей тяжелою походкой, ступая на пятки, мужчины и мадемуазель Бурьен приподнялись; и маленькая княгиня, указывая на нее мужчинам, сказала: «Вот Мари!»

Княжна Марья видела всех, и подробно видела. Она видела лицо князя Василия, на мгновенье серьезно остановившееся при виде княжны и тотчас же улыбнувшееся, и лицо маленькой княгини, читавшей с любопытством и страхом на лице старого князя впечатление, которое произведет на него Мари. Она видела и мадемуазель Бурьен с ее лентой и красивым лицом и оживленный как никогда взгляд мадемуазель Бурьен, устремленный на него; но она не могла видеть его, — не могла решиться взглянуть, и ежели и взглянула, то ничего не разобрала, кроме чего-то очень большого, яркого и прекрасного.

Сначала она поцеловала плешивую голову князя Василия, наклонившуюся над ее рукой, и отвечала на его слова, что она, напротив, очень хорошо помнит его. «Это я знаю, — по-

думала она, чувствуя запах табаку и старости, — это вроде отца». Потом к ней подошел и Анатоль. Она почувствовала нежную руку, твердо взявшую ее, почувствовала запах духов и чуть дотронулась до белого лба, над которым были припомажены прекрасные русые волосы. Она взглянула на него и была поражена его красотой. Анатоль, заложив большой палец правой руки за застегнутую пуговицу мундира, с выгнутой вперед грудью, а назад — спиною, отставив и покачивая одной ногой и слегка склонив голову, молча весело поглядел на княжну, видимо, совершенно о ней не думая.

Анатоль был один из самых несветских людей в мире. Он не умел никогда ни начать, ни поддержать разговора, ни сказать даже тех нескольких слов, которые необходимо сказать при каждом начале знакомства; но, несмотря на то, он в свете был приличен, благодаря своей ничем не изменяемой уверенности и спокойствию, которые дороже всего ценятся в свете. Замолчи при первом знакомстве несамоуверенный человек и выкажи сознание неприличности этого молчания и же-

ление найти что-нибудь, и он упадет во мнении светских людей. Но Анатолий молчал, покачивая ногой, весело наблюдая прическу княжны, и видно, что он так спокойно мог молчать сколько хотите. «Ежели кому неловко от молчания, так разговаривайте, а мне не хочется», — как будто говорил его вид. Кроме того, в обращении с женщинами у Анатолия была та манера, которая более всего внушает в женщинах любопытство, страх и любовь, манера презрительного сознания своего превосходства. Как будто он говорил им своим видом: «Знаю вас, знаю, да что с вами возиться, только обабиться. А уж вы бы рады!» Может быть, и даже вероятно, что он этого не думал, встречаясь с женщинами (и даже вероятно, что нет, потому что он вообще мало думал), но такой у него был вид и такая манера. Княжна почувствовала это и, как будто желая ему показать, что она и не смеет думать о том, чтобы занять его, обратилась к старому князю.

Разговор шел общий и оживленный благодаря голоску и губке маленькой княгини. Она оживилась совершенно. Она встретила князя



Василия с тем приемом шуточки, который часто употребляется болтливо-веселыми людьми и который состоит в том, что между человеком, с которым так обращаются, и собой предполагают какие-то давно установившиеся шуточки и веселые, и отчасти не всем известные забавные воспоминания, тогда как никаких таких воспоминаний нет, как их и не было между маленькой княгиней и князем Василием. Князь Василий охотно поддался этому тону. Маленькая княгиня вовлекла в это воспоминание никогда не бывших смешных происшествий и Анатоля, которого она почти не знала. Мадемуазель Бурьен тоже разделила эти общие воспоминания, и даже княжна Марья с удовольствием почувствовала и себя втянутою в это веселое воспоминание.

— Вот, по крайней мере, мы вами теперь вполне воспользуемся, милый князь, — говорила маленькая княгиня, разумеется, по-французски, князю Василию, — это не так, как на наших вечерах у Анет, где вы всегда убежите. Помните эту милую Анет?!

— А, да вы мне не подите говорить про по-

литику, как Анет!

— А наш чайный столик?

— О да!

— Отчего вы никогда не бывали у Анет? — спросила маленькая княгиня у Анатоля. — О! Я знаю, знаю, — сказала она, подмигнув, — ваш браг Ипполит мне рассказывал про ваши дела. О! — Она погрозила ему пальцем. — Еще в Елисейских полях ваши проказы знаю!

— А он, Ипполит, тебе не говорил? — сказал князь Василий, обращаясь к сыну и хватая за руку княгиню, как будто она хотела убежать, а он едва успел удержать ее, — а он тебе не говорил, как он иссыхал по милой княгине и как она выгоняла его из дома?

— Ах! Это перл женщин, княжна! — обратился он к княжне.

И они стали вспоминать князя Андрея, и когда еще он был ребенком у Курагиных.

Со своей стороны мадемуазель Бурьен не упустила случая при слове «Елисейские поля» вступить в общий разговор воспоминаний.

— Ах, Елисейские поля, — сказала она. — А ограда в Тюильри, князь, — обратилась она с грустью воспоминаний к Анатолю.

Увидав хорошенькую Бурьен, он успокоился насчет того, что будет весело. «А, и тебе хочется? — подумал он, оглядывая ее. — Что же, недурна. Пускай она ее с собой возьмет, когда выйдет замуж, — подумал он про княжну. — Девочка недурна».

Старый князь неторопливо одевался в кабинете, хмуро обдумывая то, что ему делать. Приезд этих гостей сердил его. «Что мне князь Василий и его сынишка? Князь Василий болтунишка пустой, ну, а сынок теперешний франтик должен быть». Это все ничего; но сердило его то, что приезд поднимал в его душе нерешенный, постоянно заглушаемый вопрос, и вопрос, насчет которого старый князь всегда сам себя обманывал. Вопрос в том, решится ли он когда-либо для того, чтобы княжна Марья могла испытать счастье семейной жизни, расстаться с нею и отдать ее мужу. Этот вопрос лежал в самой глубине сознания старого князя, и он никогда его себе прямо не решался ставить, зная вперед, что он ответил бы, как всегда, по справедливости, а справедливость противоречила не чувству, а всей возможности жизни. Жизнь без княж-

ны Марьи князю Николаю Андреичу, несмотря на то, что, живя с ней, он ее мучил всеми зависящими от него средствами, жизнь без нее была немыслима для старого князя. Он не ставил себе главного вопроса, но бездна рассуждений, относившихся к нему, не выходили у него из головы. «И к чему ей выходить замуж? Наверно, быть несчастной. Вон Лиза за Андреем, лучше теперь, кажется, трудно найти, а разве она довольна своей судьбой? И кто ее возьмет за нее? Дурна, неловка. Возьмут за связи, за богатство, так не на радость, и разве не живут так...» Но князь Василий привез прямо сына, прямо высказал свое желание. Имя, положение в свете было приличное, и вопрос должен был быть поставлен. «Что ж, я непрочь, — говорил сам себе князь (но сердце падало у него в груди при одной мысли о разлуке с дочерью), — но пусть он будет стоять ее. Вот это-то мы и посмотрим».

— Это-то мы и посмотрим, — проговорил он вслух, и с этими словами, повертывая крышку табакерки, вышел в гостиную. — Это-то мы и посмотрим.

И он, как всегда, бодрыми шагами вошел в

гостиную, быстро окинул глазами всех, заметил и перемену платья маленькой княгини, и ленточку Бурьен, и уродливую прическу княжны Марьи, и улыбки Бурьен и Анатоля, и одиночество своей княжны с этой прической. «Убралась как дура! — подумал он, злобно взглянув на дочь. — Стыда нет! А он ее и знать не хочет!»

Он подошел к князю Василию.

— Ну, здравствуй, мой друг, очень рад тебя видеть.

— Для мила дружка семь верст не околица, — говорил князь Василий, как всегда, фамильярный и с князем Николаем Андреевичем. — Вот мой второй, прошу любить и жаловать.

Князь Николай Андреич оглядел Анатоля.

— Толст, толст! — сказал он. — А то молодец бы был, ну, поди поцелуй меня, — и он подставил ему щеку.

Анатоль поцеловал старика и любопытно и совершенно спокойно смотрел на него, ожидая, скоро ли произойдет от него обещанное отцом смешное. Когда он сказал «толст, толст», Анатоль засмеялся.

Князь Николай Андрееич сел на свое обычное место в угол дивана, подвинул к себе кресло для князя Василия и стал расспрашивать о политических делах, новостях. Он слушал с вниманием, с удовольствием рассказ князя Василия, но беспрестанно взглядывал на княжну Марью.

— Так уж из Потсдама пишут? — повторил он последние слова князя Василия и вдруг, встав, подошел к дочери.

— Это ты для гостей так причесалась? А? — сказал он. — Хороша, очень хороша. Ты при гостях причесана по-новому, а я при гостях тебе говорю, что вперед не смей ты переодеться без моего спроса.

— Это я, отец, виновата, — сказала маленькая княгиня.

— Вам полная воля-с, — сказал князь Николай Андреевич, расшаркиваясь перед невесткой, — а ей уродовать себя нечего, — и так дурна.

И опять сел на место, как будто не обращая более внимания на до слез доведенную дочь.

— Напротив, эта прическа очень идет княжне, — сказал Анатолий, у которого были

правило и привычка пользоваться всяким случаем, чтоб говорить приятное женщинам. Княжна радостно покраснела. Она была благодарна отцу за вызванное им слово от Анатоля.

— Ну, батюшка, молодой князь, как его зовут? — отец обратился к Анатолю. — Поди сюда, поговорим, познакомимся. — В голосе Николая Андреича была ласковость, но княжна Марья и мадемуазель Бурьен знали, что ласковость эта заключала что-нибудь нехорошее. Действительно, князю нужно было проэкзаменовать Анатоля и постараться выказать его перед дочерью в самом невыгодном свете.

«Вот когда начинается потеха», — подумал Анатоль и с насмешливо-веселой улыбкой подсел к старому князю.

— Ну, вот что, вы много путешествовали, мой милый, за границей воспитывались не так, как нас с твоим отцом дьячок грамоте учил, скажите мне, вы теперь служите?

— В конной гвардии. — Анатоль едва удерживался от смеху.

— Что ж, вы во фронте?

— Да, я до сих пор во фронте.

— Что же вы за границу с полком не пошли?

— Так, не пришлось, князь.

— А моему сыну пришлось. Все, небось, о Париже сожалеешь? Ведь ты их там воспитывал, князь Василий? А?

— Как не сожалеть, князь, — Анатолий фыркнул от смеха.

— Ну, в мое время я из Парижа в Лысые Горы просился. Да нынче все другое. Ну, пойдём ко мне. — Он взял князя Василия под руку и повел в кабинет.

В кабинете князь Василий с своей небрежностью сумел завести разговор о деле.

— Что ж ты думаешь, — сердито сказал старый князь, — что я ее держу, не могу расстаться? Вообразят себе! — проговорил он сердито, хотя никто не воображал ничего. — Мне хоть завтра! Только скажу тебе, что я своего зятя знать хочу лучше. Я завтра при тебе спрошу у нее, хочет она, тогда пусть он поживет. Пускай поживет, я посмотрю. — Князь фыркнул. — Пускай выходит, мне все равно, — закричал он тем пронзительным голо-



сом, которым он кричал при прощанье с сыном.

— Я вам прямо скажу, — сказал князь Василий тоном хитрого человека, убедившегося в ненужности хитрости перед проницательностью собеседника. — Вы ведь насквозь людей видите. Анатоль не гений, но честный, добрый малый, прекрасный сын и родной. Это так.

— Ну, ну, хорошо, увидим.

Как это всегда бывает для одиноких женщин, долго проживших без мужчин, при появлении Анатоля, красивого, молодого, самоуверенного, спокойного и не стесняющегося доброго малого, все три женщины дома князя Николая Андреича одинаково почувствовали, что жизнь их была не жизнь до появления этого молодого человека. Они почувствовали, как сила мыслить, чувствовать, наблюдать мгновенно удесятерилась во всех них, как будто до сих пор происходившая во мраке их жизнь вдруг осветилась солнечным, полным торжественного значения светом.

Княжна Марья не думала и не помнила о

своим лице и прическе. Вид этого красивого, открытого лица человека, который, может быть, должен будет быть ее мужем, поглощал все ее внимание. Он ей казался добр, храбр, решителен, мужествен и великодушен. Она была убеждена в этом. Тысячи мечтаний о будущей семейной жизни беспрестанно возникали в ее воображении. Она отгоняла их, старалась, чтобы никто ничего не заметил, и думала о том, как бы ей не быть слишком холодной с ним. «Ежели я думаю о том, как я обниму его и буду просить любить и понять моего отца так, как я его понимаю, ежели думаю о том и воображаю себя с ним уже столь близкой, я невольно опускаю глаза и стараюсь иметь в отношении его равнодушный вид, ведь он не знает, почему это, и может думать, что я совершенно холодна к нему, что он мне совсем не симпатичен, тогда как это неправда и даже совсем напротив». Так думала княжна Марья и старалась быть приятной и просто ласковой и доверчивой.

«Добрая девка», — думал про нее Анатолий.

Мадемуазель Бурьен, взведенная тоже на высокую степень возбуждения, думала в дру-

гом роде. Конечно, красивая, молодая девушка без определенного положения в свете, без родных и друзей и даже родины не думала посвятить свою жизнь услугам князю Николаю Андреичу, чтению ему книг и дружбе к княжне Марье. Мадемуазель Бурьен давно ждала того русского князя, который сразу сумеет оценить ее превосходство над русскими дурно одетыми, неловкими княжнами, влюбится в нее и увезет ее; сначала увезет, и потом все можно сделать с человеком, который влюблен. У мадемуазель Бурьен была история, слышанная ею от тетки, дополненная ею самою, которую она любила повторять в своем воображении. Это была история о том, как ей представлялась ее бедная мать, «та раувге mPre», и упрекала ее за то, что она без брака отдалась мужчине. Мадемуазель Бурьен часто трогалась до слез, в воображении своем рассказывая ему эту историю. Теперь этот он, настоящий русский князь, явился. И не расчеты руководили мадемуазель Бурьен, она даже ни минуты не обдумывала того, что ей делать. Она чувствовала себя взволнованной и тревожной. Она ловила каждый взгляд, каж-

дое движение Анатоля и чувствовала себя счастливою.

Маленькая княгиня, как старая полковая лошадь, услышав звук трубы, бессознательно и забывая несвоевременность, готовилась к привычному галопу кокетства, без всякой задней мысли или борьбы, а с наивным легкомысленным весельем.

Несмотря на то, что Анатолий в отношении женщин ставил себя обыкновенно в положение человека, которому надоела беготня за ним женщин, он был чувствителен к тщеславному удовольствию чувствовать, что женщины влюблены в него. Кроме того, он начинал испытывать к хорошенькой и вызывающей мадемуазель Бурьен то страстное, зверское чувство, которое на него находило с чрезвычайною быстротой и побуждало его к самым грубым и смелым поступкам.

Общество после чая перешло в диванную, и княжну попросили поиграть на клавикордах. Анатолий облокотился перед ней на клавикорды подле мадемуазель Бурьен, и глаза его, смеясь и радуясь, смотрели на княжну Марью. Княжна Марья не могла выдерживать

этого взгляда, который волновал и мучил ее. Она опустила глаза и все чувствовала этот взгляд. Любимая соната переносила ее в самый задушевно-поэтический мир, а чувствуемый на себе взгляд придавал этому миру еще большую поэтичность. Взгляд же Анатоля, хотя и был устремлен на нее, относился не к ней, а ко всем изменениям очертаний ножки мадемуазель Бурьен, которую он топтал и трогал своею ногой под фортепьяно. Мадемуазель Бурьен смотрела тоже на княжну, и в ее прекрасных глазах было новое для княжны Марьи выражение испуганной радости и надежды.

«Как она меня любит! — думала княжна Марья. — Как я счастлива теперь и как могу быть счастлива с таким другом и мужем! Неужели?» И она оглядывала его грудь, руки, стан, но не смела взглянуть на лицо, чувствуя все тот же взгляд, устремленный на нее.

Вечеру, когда после ужина стали расходиться, Анатолий поцеловал руку княжны. Она сама не знала, как у ней достало смелости, но она прямо взглянула на приблизившееся к ее близоруким глазам большое, прекрасное ли-

цо. После княжны он подошел к руке мадемуазель Бурьен (это было неприлично, но он делал все так уверенно и просто), и мадемуазель Бурьен вспыхнула и взглянула испуганно на княжну.

«О милая! — подумала княжна. — Она боится, чтобы я не подумала, что она хочет нравиться ему». Она подошла к мадемуазель Бурьен и крепко ее поцеловала.

Когда Анатолий подошел к руке маленькой княгини, она встала и отбежала от него.

— Нет, нет, нет! Когда отец ваш напишет мне, что вы себя ведете хорошо, тогда я дам вам поцеловать руку. Не прежде. — И подняв пальчики и улыбаясь, она вышла из комнаты.

Все разошлись, и кроме Анатолия, виновника всего происшедшего, который заснул тотчас же, как лег на постель, никто долго не спал эту ночь.

«Неужели он мой муж, именно этот чужой, красивый мужчина?» — думала княжна Марья, и страх, который никогда почти не приходил к ней, нашел на нее: она боялась оглянуться, ей чудилось, что кто-то стоит тут за

ширмами и в темном углу. И этот кто-то был он — дьявол, и он — этот мужчина с белым лбом и черными бровями и румяным ртом. Она позвонила горничную и попросила ее лечь в ее комнате.

Мадемуазель Бурьен в этот вечер долго, улыбаясь своим мыслям, ходила по зимнему саду, тщетно ожидая кого-то.

Маленькая княгиня ворчала на горничную за то, что постель была нехороша. Нельзя было ей лечь ни на бок, ни на грудь. Все было тяжело, неловко. И живот ее ей мешал, ей заметно было, что он мешал больше, чем когда-нибудь, именно нынче, потому что присутствие Анатоля перенесло ее живее в другое время, когда этого не было и ей было весело. Теперь она досадовала и потому сердилась на горничную. Она сидела в кофточке и чепце на кресле. Катя, сонная, стояла перед ней молча, переступая с ноги на ногу.

— Как вам не совестно, ведь вы бы хоть пожалели? — говорила маленькая княгиня.

Старый князь тоже не спал. Тихон, клюя носом, слышал, как он сердито шагал и фыркал носом. Старый князь был оскорблен за

свою дочь. Оскорбление самое больное, самое неисправимое, потому что оно относится не к себе, а к другому, и к другому, которого он любит больше себя. Он ходил с тем, чтобы успокоиться. Он сказал себе с своей привычной страстью обладать собой, что он не передумает все это дело и найдет то, что справедливо и должно сделать, но вместо того он только больше раздражал себя.

«Первый встречный показался — и все, и отец, и все забыто, и бежит, кверху чешется и хвостом винтит, и сама на себя не похожа. Для нее радость бросить отца. И она ведь знала, что я это замечу... Фр... фр... фр... — сморкает он злобно. — И разве я не вижу, что этот дурень смотрит только на Бурьенку. Надо ее прогнать. И как гордости настолько нет, чтоб понять это. Хоть не для себя, коли нет гордости, так для меня, по крайней мере. Надо ей показать, что этот болван об ней и не подумает, а только смотрит на Бурьен. Коли нет у ней гордости, мое дело показать ей это...» — сказал он сам себе.

Сказав дочери, что она заблуждается, что Анатолий намерен ухаживать за Бурьен, ста-



рый князь знал, что он раздразнит самолюбие княжны Марьи, и его дело (желание не разлучаться с дочерью) будет выиграно, и потому успокоился на этом. Он кликнул Тихона и стал раздеваться.

«И черт их принес!» — думал он, в то время как Тихон накрывал его сухое старческое тело ночной рубашкой.

— Я их не звал. Приехали расстраивать мою жизнь. И немного ее осталось. Погнать их в шею. К черту, — проговорил он из-под рубашки.

Тихон знал привычку князя иногда вслух выражать свои мысли и потому с неизменным лицом стоял перед ним.

— Легли там? — спросил князь.

Тихон, как и все лакеи, чутьем знал направление мыслей барина. Он угадал, что спрашивали о князе Василье с сыном.

— Давно потушили огонь.

— Не за чем, не за чем... — быстро проговорил князь и, всунув ноги в туфли и руки в халат, пошел в спальную.

Несмотря на то, что между Анатодем и мадемуазель Бурьен ничего не было сказано,

они совершенно поняли друг друга, поняли, что им нужно много сказать друг другу тайно, и потому с утра оба искали случая увидаться наедине, и в то время как княжна прошла в обычный час к отцу, мадемуазель Бурьен сошла с Анатолом в зимнем саду.

Княжна Марья подходила в этот день с необычным трепетом к двери кабинета. Ей казалось, что все знают, что нынче совершается решение ее судьбы, но знают и то, что она об этом думает. Она читала это выражение и в лице Тихона, и в лице камердинера князя Василия, который с горячей водой встретился и низко поклонился ей. «Все знают, как я счастлива», — думала она.

Старый князь был чрезвычайно ласков и старателен. Это выражение старательности хорошо знала у отца княжна Марья. Это было то выражение, которое бывало на его лице в те минуты, когда руки его сжимались в кулак от досады, что княжна Марья не понимала задачи, когда он, вставая, отходил от нее и тихим голосом повторял слова. Он начал с дочерью разговор по-французски, что он редко делывал.

— Это к вам не относится, — сказал он, неестественно улыбаясь. — Я перевожу. Вы, я думаю, догадались. — продолжал он, — что князь Василий приехал сюда и привез с собой своего воспитанника (почему-то князь Николай Андреич называл Анатоля воспитанником) не для моих прекрасных глаз. Мне вчера сделали предложение насчет вас. А как вы знаете мои правила, я отнесся к вам.

— Как мне вас понимать, отец? — проговорила княжна, бледнея и краснея и чувствуя, что наступила та торжественная минута, в которую с нею совершается то, что должно решить участь ее жизни.

— Чего понимать! — сердито крикнул отец по-русски. — Князь Василий находит тебя по своему вкусу для невестки и делает тебе предложение за своего воспитанника. Ну? Ну?

— Я не знаю, как вы, отец, — проговорила шепотом княжна.

— Я? Я? Что ж я-то? Меня-то оставьте в стороне. Кажется, не я выхожу замуж. Что вы? Вот это желательно знать.

Княжна видела, что отец недоброжелательно смотрел на это дело, но ей в ту же ми-

нугу пришла мысль, что теперь или никогда решается вся судьба ее жизни. Она опустила глаза, чтобы не видеть взгляда, под влиянием которого она чувствовала, что не могла думать, а могла по привычке только повиноваться, и сказала:

— Я желаю только одного — исполнить вашу волю, — сказала она, — но ежели бы мое желание нужно было выразить...

Она не успела договорить. Князь перебил ее.

— И прекрасно! — закричал он. — Он тебя возьмет с приданым, да кстати захватит мадемуазель Бурьен. Мадемуазель Бурьен будет женой, а ты будешь компаньонкой.

Но князь опомнился и остановил свое раздражение, невольно выразившееся, заметив впечатление, произведенное этими грубыми словами на дочь: она пошатнулась, взялась за ручку кресла и заплакала.

— Ну, ну. Я шучу, шучу, — сказал он. — Помни одно, княжна: я держусь тех правил, что дочь имеет полное право выбирать. И даю тебе полную свободу. Помни одно. От твоего решения зависит счастье жизни твоей.

Обо мне нечего говорить.

— Да я не знаю...

— Нечего говорить! Ему велят, он не только на тебе, на ком хочешь женится; а ты свободна выбирать... Поди к себе, обдумай и через час приди ко мне и при нем, князе Василии, скажи: да или нет. Я знаю, ты станешь молиться. Ну, пожалуй, молись. Только лучше подумай. Ступай.

— Да или нет, да или нет, да или нет! — кричал он.

Княжна, как в тумане, шатаясь, вышла из комнаты.

Судьба ее решилась, и решилась счастливо. Но что он сказал о мадемуазель Бурьен, — этот намек был ужасен. Неправда, положим, но все-таки это было ужасно, она не могла не думать об этом. Она шла прямо перед собой через зимний сад, ничего не видя и не слыша, как вдруг знакомый шепот мадемуазель Бурьен разбудил ее. Она подняла глаза и в двух шагах от себя увидела Анатоля, который обнимал француженку и что-то шептал ей. Анатолий с зверским выражением волнения на красивом лице оглянулся на княжну Марью и

не выпустил в первую минуту мадемуазель Бурьен, испуганно сжавшуюся и закрывшую лицо руками.

«Кто тут? Зачем? Подождите!» — как будто говорило лицо Анатоля. Княжна Марья молча глядела на них. Она не могла понять этого. Мадемуазель Бурьен вскрикнула, вырвалась и убежала. Анатолий спокойно, как всегда, поглядел на княжну Марью, и наконец узнав ее, поклонился и улыбнулся, как будто приглашая ее посмеяться над этим странным случаем. Княжна Марья не понимала. Она все стояла на месте, и ни одна черта лица ее не дрогнула. Анатолий ушел прежде ее.

Через час Тихон пришел звать княжну Марью. Он звал ее к князю и прибавил, что и князь Василий Сергеич там.

— Так папинька приказали доложить.

Княжна, в то время как пришел Тихон, сидела в своей комнате с мадемуазель Бурьен. Мадемуазель Бурьен рыдала у нее в объятиях. Княжна Марья тихо гладила ее по голове. Прекрасные глаза, со всем своим прежним спокойствием и лучистостью, смотрели с чувством беспредельной любви и сожаления на

хорошенькое личико мадемуазель Бурьен.

— Нет, княжна, я навсегда утратила ваше расположение, — говорила мадемуазель Бурьен.

— Я вас люблю больше, чем когда-либо, — говорила княжна Марья, — и постараюсь сделать для вашего счастья все, что в моей власти.

— Но вы презираете меня, вы, столь чистая, должны презирать меня, вы никогда не поймете этого увлечения страсти.

— Я все понимаю, — сказала княжна Марья, грустно улыбаясь. — Я пойду к отцу, — сказала она и вышла.

Князь Василий сидел, загнув высоко ногу, с табакеркой в руках и как бы расчувствованный донельзя, как бы сам сожалея и смеясь на свою чувствительность, сидел с выражением умильной улыбки на лице. Когда вошла княжна Марья, он поспешно поднес щепоть табаку к носу.

— Ах, милая, милая, — сказал он, встав и взяв ее за обе руки. Он вздохнул и прибавил: — Судьба моего сына в ваших руках. Решите, моя милая, моя дорогая, моя нежная

Мари, которую я всегда любил как дочь.

Он отошел. Действительная слеза показалась на его глазу.

— Фр... фр... — фыркал князь. — Говори, да или нет, хочешь ты или нет быть женою князя Анатоля Курагина. Ты говори: да или нет, — закричал он, — а потом я удерживаю за собой право сказать и свое мнение. Да, мое мнение и мою волю, — прибавил князь Николай Андреич, обращаясь к князю Василию и отвечая на его умоляющее выражение. Старый князь хотел оставить за собой возможность спасенья. — Да или нет? Ну?

— Отец, ваша воля прежде всего.

— Да или нет.

— Моя воля, отец, никогда не покидать вас, никогда не разделять своей жизни с вашей. Я не хочу выходить замуж, — сказала она, решительно взглянув своими прекрасными глазами на князя Василия и на отца.

— Вздор! Глупости! Вздор, вздор, вздор, — нахмурившись, закричал князь Николай Андреич, взял дочь за руку, притянул к себе и не поцеловал, но сделал ей больно руке. Она заплакала.



Князь Василий встал.

— Моя милая, я вам скажу, что этой минуты я никогда, никогда не забуду, но, моя добрейшая, дайте нам хоть малую надежду тронуть это сердце, столь доброе и великодушное. Скажите: может быть. Будущее так велико. Скажите: может быть.

— Князь, что я сказала — есть все, что в моем сердце. Я благодарю за честь, но никогда не буду женой вашего сына.

— Ну, и кончено, мой милый. Очень рад тебя видеть, очень рад тебя видеть. Поди к себе, княжна, поди, — говорил старый князь.

«Мое призвание другое, — думала про себя княжна Марья, — мое призвание быть одиноко несчастной, мое призвание быть счастливой другим счастьем, счастьем жертвовать собой для других.

И что бы мне это ни стоило, я сделаю счастье бедной Каролины. Она так страстно его любит. Она так страстно раскаивается. Я все сделаю, чтобы устроить ее брак с ним. Ежели он не богат, я дам ей средства, я попрошу отца, я попрошу Андрея. Я так буду счастлива, когда она будет его женою. Она так несчаст-

лива, чужая, одна, без помощи, и так страстно любит».

Через день князь Василий с сыном уехали, и жизнь в Лысых Горах пошла по-старому.

### III

Долго Ростовы не имели известий о Николае. Только в начале зимы графу было передано письмо, на котором он узнал руку сына. Получив письмо, граф испуганно и поспешно, стараясь не быть замеченным, на цыпочках пробежал в свой кабинет, заперся и стал читать. Когда Анна Михайловна, узнав (как она все знала, что делалось в доме) о получении письма, тихими шагами вошла к графу, она застала его с письмом в руках рыдающим и вместе смеющимся.

— Дорогой мой, — вопросительно-грустно и с готовностью всякого участия произнесла Анна Михайловна.

Граф зарыдал еще больше.

— Николай... письмо... голубчик ранен... был... ранен... голубчик мой... слава Богу... Графинюшке как сказать?...

Анна Михайловна подсела к нему, отерла

своим платком слезы с его глаз, с письма, за-  
капанного ими, и свои слезы, и прочла пись-  
мо, успокоила графа и решила, что за обедом,  
до чая, она приготовит графиню, а после чая  
объявит все, коли Бог ей поможет. Все время  
обеда Анна Михайловна говорила о слухах  
войны, о Николае спросила два раза, когда по-  
лучено было последнее письмо Николая, хотя  
она знала это и прежде, и заметила, что очень  
легко, может быть, и нынче получится пись-  
мо. Всякий раз, как графиня начинала беспо-  
коиться и тревожно взглядывать то на графа,  
то на Анну Михайловну, Анна Михайловна  
самым незаметным образом сводила разговор  
на незначительные предметы. Наташа, из  
всего семейства более всех одаренная способ-  
ностью чувствовать оттенки интонаций,  
взглядов и выражений лица, с начала обеда  
насторожила уши и знала, что что-нибудь  
есть между ее отцом и Анной Михайловной и  
что-то касающееся Николая. Но, несмотря на  
всю свою смелость (она знала, как чувстви-  
тельна была ее мать ко всему, что касалось  
известий о Николае), она все-таки не реша-  
лась за обедом сделать вопрос, но от беспо-

койства за обедом ничего не ела и вертелась на стуле, не слушая замечаний своей гувернантки. После обеда она стремглав бросилась догонять Анну Михайловну в диванной и с разбега бросилась ей на шею.

— Тетенька, голубушка, ангел, скажите, что вы знаете?

— Ничего, мой друг.

— Нет, душенька, голубчик, милая, персик, я Борю не буду любить, коли не скажете, я не отстану, я знаю, что вы знаете.

Анна Михайловна покачала головой.

— Ах, плутовка, дитя мое, — сказала она. — Но, ради бога, будь осторожна: ты знаешь, как это может поразить твою маму, — и она в коротких словах рассказала Наташе содержание письма, с обещанием не говорить никому.

Наташа не последовала примеру Анны Михайловны, а с испуганным лицом вбежала к Соне, схватила ее за руку и, прошептав «важный секрет», потащила ее в детскую.

— Николай! Ранен! Письмо! — проговорила она, торжествуя и радуясь силе впечатления, которое она произведет. Соня вдруг по-

бледнела, как платок, задрожала и упала бы, коли бы ее не схватила Наташа. Впечатление, произведенное известием, было сильнее, чем того ожидала Наташа. Она сама расплакалась, унимая и успокаивая своего друга.

— Вот видно, что все вы, женщины, плаксы, — сказал пузан Петя, однако сам испугавшийся больше всех при виде падающей Сони. — Я так очень рад и право очень рад, что Николай так отличился. Все вы нюни.

Девочки засмеялись.

— А ведь у тебя была истерика настоящая, — сказала Наташа, видимо, весьма этим гордая. — Я думала, что только у старых могут быть истерики.

— Ты не читала письма? — спрашивала Соня.

— Не читала, но она сказала, что все прошло и что он уже офицер.

Петя, тоже молча, стал ходить по комнате.

— Кабы я был на месте Николая, я бы еще больше этих французов убил, — сказал он вдруг, — такие они мерзкие!

Соне, видимо, не хотелось говорить, она даже не улыбнулась на слова Пети и молча

продолжала задумчиво смотреть в темное окно.

— Я бы их побил столько, что кучу из них, — продолжал Петя.

— Молчи, Петя, какой ты дурак.

Петя обиделся, и все помолчали.

— Ты его помнишь? — вдруг спросила Наташа.

Соня улыбнулась.

— Николая?

— Нет, Соня, ты помнишь ли его так, чтоб хорошо помнить, чтобы все помнить? — с старательными жестами сказала Наташа, видимо, желая придать своим словам самое серьезное значение. -

И я помню. Николая я помню, — сказала она, — а Бориса не помню. Совсем не помню.

— Как? Не помнишь Бориса? — спросила Соня с удивлением.

— Не то что не помню, — я знаю какой он, но не так помню, как Николая. Николая я закрою глаза и помню, а Бориса — нет (она закрыла глаза), так нет ничего.

— Нет, я очень помню, — сказала Соня.

— А ты напишешь ему? — спросила Ната-

ша.

Соня задумалась. Вопрос о том, как писать Николаю, и нужно ли писать, и как писать, был вопрос, мучивший ее. Теперь, когда он был уже офицер и раненый герой, хорошо ли было с ее стороны напоминать ему о себе и как будто о том обязательстве, которое он взял на себя в отношении ее? «Пускай он делает, как хочет, — думала она. — Мне довольно только любить его. А он может подумать, получив мое письмо, что я напоминаю ему что-нибудь».

— Не знаю, я думаю, коли он пишет, и я напишу, — радостно улыбаясь, сказала Соня.

— И тебе не стыдно будет писать ему?

— Нет, отчего? — сказала Соня, смеясь сама не зная чему.

— А мне стыдно будет писать Борису. Я не буду писать.

— Да отчего же стыдно?

— Да так, я не знаю. Неловко, стыдно.

— А я знаю, отчего ей стыдно будет, — сказал Петя, обиженный первым замечанием Наташи, — оттого, что она была влюблена в этого толстого с очками (так называл Петя

Пьера), а теперь влюблена в певца этого (Петя говорил об итальянце, Наташином учителе пения), — вот ей и стыдно.

— Ах, Петя, полно, как тебе не стыдно, мы все так рады, а ты ссоришься. Поговорим лучше про Николая.

— Петя, ты глуп, — сказала Наташа. — А нынче, как он был мил, прелесть, — обратилась она к Соне (говоря про учителя пения). — Он мне сказал, что лучше моего голоса он не слышал, и когда он поет, так у него на горле шишка делается — такая прелесть.

— Ах, Наташа, как ты можешь про кого-нибудь думать теперь? — сказала Соня.

— А я не знаю. Я сейчас думала, я, верно, не люблю Бориса. Так он милый, я его люблю, но не так, как ты. Я бы не сделала истерику, как ты. Как же я его не помню? — Наташа закрыла глаза. — Не могу, не помню.

— Так неужели ты в Фецони влюблена? Ах, Наташа, какая ты смешная, — с упреком сказала Соня.

— Теперь в Фецони, а прежде в Пьера, а еще прежде в Бориса, — сердито сказала Наташа. — А теперь в Фецони, и люблю его, и люб-



лю, и выйду за него замуж, и сама буду певицей.

Графиня действительно была приготовлена намеками Анны Михайловны во время обеда. Уйдя к себе, она, сидя на кресле, не спускала глаз с миниатюрного портрета сына, вделанного в табакерке, и поплакала. Анна Михайловна с письмом на цыпочках подошла к комнате графини и остановилась.

— Не входите, — сказала она старому графу, шедшему за ней, — после, — и затворила за собой дверь.

Граф приложил ухо к замку и стал слушать.

Сначала он слышал звуки равнодушных речей, потом один звук голоса Анны Михайловны, говорившей длинную речь, потом вскрик, потом молчание, потом опять оба голоса вместе говорили с радостными интонациями, и потом шаги, и Анна Михайловна отворила ему дверь. На лице Анны Михайловны было гордое, счастливое и успокоенное выражение оператора, окончившего трудную ампутацию и вводящего публику для того, чтоб она могла оценить его искусство.

— Готово, — сказала она графу, торжественным жестом указывая на графиню, которая держала в одной руке табакерку с портретом, в другой — письмо и прижимала губы то к тому, то к другому.

Увидав графа, она протянула к нему руки, обняла его лысую голову и через лысую голову опять посмотрела на письмо и портрет и опять для того, чтобы прижать их к губам, слегка оттолкнула лысую голову. В письме было кратко описан поход и два сражения и сказано, что целует руки мам*и* пап

Письмо это было прочитано сотни раз, но те, кто считались достойными его слышать, должны были приходить к графине. Так приходили гувернеры, няни, шут, Митенька, некоторые знакомые, и графиня перечитывала его с новым наслаждением сотый раз и всякий раз открывала по этому письму новые добродетели в своем Николае. Как странно, необычайно радостно ей было, что сын ее — тот сын, что трепетал в ней в самой двадцать лет тому назад, тот сын, за которого она ссорилась с баловником-графом, тот сын, который выучился говорить «chPre maman» так

недавно, что этот сын теперь там, в чужой земле, в чужой среде, мужественный мужчина, не боящийся смерти и пишущий письма. Весь всемирный вековой опыт, указывающий на то, что дети незаметным путем от колыбели делаются мужчинами, не существовал, возмужание ее сына было для нее так же необычайно радостно, как будто и не было никогда миллионов миллионов людей, точно так же возмужавших. Как она не ждала никогда, чтобы возможно было, чтобы то существо, которое трепетало в ее чреве, закричало бы, и стало сосать грудь, и стало бы говорить, понимать, учиться и теперь быть мужем, слугою отечества и образцом сыновей и граждан, так и теперь не верилось ей, что это же существо могло быть тем сильным, храбрым мужчиной, образцом сыновей и людей, которым он был теперь, судя по этому письму.

— Что за стиль! Как он описывает мило! — говорила она, читая описательную часть письма. — И что за душа! Об себе ничего, ничего! О каком-то Денисове, а сам, верно, храбрее их всех. Ничего не пишет о своих страданиях. Что за сердце! Как его узнаю! И как

вспомнил всех! Никого не забыл!

Более недели готовились, писались бр-льоны (черновики), представлялись на рассмотрение графини, переписывались набело письма к Николаю от всего дома. Анна Михайловна, практическая женщина, сумела устроить себе и своему сыну протекцию в армии даже и для переписки. Она имела случай посылать свои письма с курьером к великому князю Константину Павловичу, который командовал гвардией. По слухам, гвардия должна была уже присоединиться к армии Кутузова в то время, как дойдет письмо, и потому решено было отослать письма и деньги через курьера великого князя к Борису, и Борис уже должен был доставить их к Николаю. Письма были от старого графа, от графини, от Пети, от Веры, от Наташи, от Сони и, наконец, деньги, которых граф послал шесть тысяч, что было огромно по тогдашнему времени.

Дела графа уже доходили до той степени запутанности, что он сильно морщился, когда Митенька предлагал ему проверить счета, и Митенька уже дошел до той степени уверен-

ности в трусости к счетам своего доверителя, что он предлагал уже ему посмотреть счета, которых не было, и выдавал графу его же деньги, называя их занятыми, и высчитывал за них в свою пользу по 15 процентов. Граф знал вперед, что когда он потребует для обмундирования Николеньки шесть тысяч, то Митенька прямо скажет ему, что их нет, и потому граф, употребив хитрость, сказал, что ему необходимо десять тысяч. Митенька сказал, что по дурному состоянию доходов нельзя и думать получить этих денег, ежели не заложить имения, и предложил счета. Граф вдруг отвернулся от Митеньки и, избегая его взгляда, начал кричать, что это, наконец, ни на что не похоже, чтоб от восьми тысяч душ не иметь десяти тысяч, чтобы обмундировать сына, что он всем приказчикам лбы забреет, что он должен иметь эти деньги, что рассуждать нечего, и чтоб были, ну, хоть не десять, а шесть тысяч, а чтоб были. И деньги действительно были, хотя граф и подписал для того вексель с огромными процентами.

## IV

12-го ноября кутузовская боевая армия, стоявшая лагерем около Ольмюца, готовилась к следующему дню на смотр двух императоров — русского и австрийского. Гвардия, только что подошедшая из России, ночевала в 15 верстах от Ольмюца и на другой день прямо на смотр к десяти часам утром вступала на ольмюцкое поле.

Николай Ростов, получив от Бориса записку, извещавшую его, что Измайловский полк только пришел, ночует в 15 верстах от Ольмюца, и просившую приехать повидаться и получить пакет писем и деньги — те самые письма, которые писались с такою тревожностью и любовью, и те самые деньги, которые приобретены были с такой неприятностью и гневом.

Сказавшись Денисову, Ростов после обеда сел на подведенную ему, вновь купленную после смерти Грачика лошадь и в сопровождении гусара поехал к гвардии. На Ростове была солдатская куртка, но на куртке были надеты эполеты и офицерская с темляком

сабля. Рука его, уже начинавшая заживать, была на черной повязке, загорелое возмужалое лицо было беззаботно весело. То он версты две рысил, приподнимаясь на стременах, и поглядывал на галопом скакавшего за собой гусара, то, спустившись на бок седла, небрежно ехал шагом, напевая своим звучным голосом недавно выученную и особенно любимую ему немецкую песенку, и в звуках его голоса была новая возмужалость: два дня тому назад с ним случилось одно из важнейших событий в жизни юноши.

Два дня назад, когда они пришли под Ольмюц, Денисов, ездивший накануне в город, сказал ему:

— Ну, брат, я сделал рекогносцировку, нынче едем вместе, какие женщины в Ольмюце: одна венгерка, две польки и одна гречанка — вот что такое...

Ростов не отказался и не согласился прямо ехать, а сделал вид, что это ему очень обыкновенно и что на это смотрит совершенно так же, как и Денисов; а между тем он почувствовал, что наступает та решительная минута, о которой он думал, колеблясь тысячу тысяч

раз, и едва мог выговорить что-нибудь в ответ Денисову. Он не знал еще женщин, что-то возмутительное и оскорбительное представлялось ему в сближении с чужой, продажной, общей с Денисовым и со всеми женщиной, но и непреодолимое любопытство тянуло его к познанию этого чувства. Ведь не было человека, не знавшего этого и не смотревшего на это как на необходимое и приятное условие чувствования. У всех, говоривших про это, было выражение невинного удовольствия, усиливаемого только тем, что удовольствие это было кем-то запрещено.

Они поехали с Денисовым на парочке в его настычанке. Денисов, дорогой и подъезжая к Ольмюцу, разговаривал о посторонних предметах, делал свои наблюдения над войсками, мимо которых проезжал, и вспоминал о прошедшем так же непринужденно, спокойно и весело, как будто они просто ехали кататься, как будто они не ехали на совершение одного из самых страшных, преступных и безвозвратных поступков. Они приехали в Ольмюц, солдат-кучер по указанию Денисова завернул в одну улицу, в один, в другой переулок и



остановился у маленького домика. Они вошли, пожилая женщина встретила Денисова как знакомого и ввела их в гостиную. Две женщины, весело улыбаясь, приветствовали Денисова.

Сначала Ростов думал, что они так приветствовали его, потому что они его знали, но они точно так же, как будто к старому знакомому, ласково обратились и к Ростову. Они пересмеивались, глядя на него. Ему показалось, что они над ним смеются, он покраснел и, заметив, что делал Денисов, старался сделать то же. Но он не мог сделать этого, не в силах был. Денисов взял одну из них, — это была полная, с открытой шеей блондинка, красивая, но что-то старое, усталое, грустное, преступное, несмотря на ее молодость и веселость, казалось в ней. Денисов обнял ее и поцеловал. Ростов не мог этого сделать. Он стоял против толстой черной гречанки, которая радостно, прекрасными глазами смотрела на него и, открывая улыбкой прекрасные зубы, казалось, ждала и радовалась на его нерешимость. Ростов смотрел на нее во все глаза, дрожал от страха, сердился на себя, чувствовал,

что он делает безвозвратный шаг в жизни, что преступное, ужасное совершается в эту минуту, и — странно — именно прелесть преступности тянула его к ней. То она ему казалась прелестною, особенно прелестною своею чуждостью, то что-то подлое, гадкое отталкивало его. Но глаза, окруженные черной тенью, впивались больше и больше в его взгляд, сливались с ним, он чувствовал себя, как в глубину, непреодолимо втянутым, и голова у него шла кругом. Сознание преступности потонуло в этом опьянении.

— Ты выбрал славно, — закричал Денисов, — твоя гречанка, мы с ней вчера познакомились. Поцелуй же молодого человека, — закричал Денисов.

Ростов вздрогнул, оторвался от нее и выбежал на двор с тем, чтобы уйти, но через пять минут страсть любопытства и желания преодолеть страх преступности и отвращения опять притянула его. Он вошел опять. Вино стояло на столе. Гречанка уже получила урок от Денисова, как поступать с новичком. Она взяла его за руку, притянула к столу, посадила и села на его колени, наливая вино себе и

ему. Ростов выпил, обнял ее слегка, крепче, крепче; отвращение, и страсть, и желание скорее, скорее доказать себя, dokonать в себе это все борющееся чувство чистоты, слились в одно, и он с радостью чувствовал, что забывал себя.

На другой день утром, провожаемый гречанкой, он вышел на крыльцо (Денисов, не дождавшись, уехал с вечера), и пешком дошел до извозчика, и приехал в лагерь, и провел день как и всегда, с товарищами, не показывая ничего и давая всем чувствовать, что то, что с ним было вчера, было очень обыкновенно. Вечером, когда он лег, ему только представлялась гречанка и хотелось поскорее увидеться с нею. Он крепко заснул. Во сне он видел сражение, толпу народа, которая бежала за ним, потому что он был победителем.

Он во сне стоял на колеблющемся возвышении и говорил людям все то, что было в его душе и чего он не знал прежде. Мысли его были новы, ясны и невольно облекались вдохновенным, размеренным словом. Он удивился тому, что говорил, и радовался, слушая звуки

своего голоса. Он ничего не видал, но чувствовал, что вокруг него толпились незнакомые ему братья. Вблизи он различал их тяжелые вздохи, вдали, как море, бурлила бесконечная толпа. Когда он говорил, по толпе, как ветер по листьям, пробегал трепет восторга; когда он замолкал, толпа, как один человек, переводила дыханье. Глаза его не видели, но он чувствовал на себе взгляды всех людей, и взгляды эти давили его и радовали. Они двигали им, так же как и он двигал ими. Болезненный восторг, горевший в нем, давал ему власть, и власть его не имела пределов. Чуть слышный внутренний голос говорил ему: «страшно», но быстрота движения опьяняла его и влекла дальше. Подавленный страх усиливал очарование, и возвышение, на котором он стоял, колеблясь, поднимало его выше и выше.

Вдруг сзади его он почувствовал чей-то один свободный взгляд, мгновенно разрушавший все прежнее очарование. Взгляд неотступно притягивал к себе, и он должен был оглянуться. Он увидал женщину и почувствовал чужую жизнь. Ему стало стыдно, он остановился. Толпа не исчезала и не расступалась, но ка-

ким-то чудом простая женщина спокойно двигалась посередине толпы, не соединяясь с нею. Кто была эта женщина? Это была Соня, но в ней было все, что любят, и к ней сладко и больно тянула непреодолимая сила. Встретив его глаза, она равнодушно отвернулась, и он только смутно видел очертания ее полуоборотившегося лица. Только спокойный взгляд ее остался в его воображении. В нем были кроткая насмешка и любовное сожаленье. Она не понимала того, что он говорил, и не жалела о том, а жалела об нем. Она не презирала ни его, ни толпу, она была полна счастья. Ей никого не нужно было, и поэтому-то он чувствовал, что не может жить без нее. Дрожащий мрак безжалостно закрыл от него ее образ, и он заплакал во сне о невозможности быть с нею. Он плакал о прошедшем невозвратимом счастье и о невозможности будущего счастья, но в слезах этих уже было счастье настоящего.

Он проснулся и все плакал и плакал слезами стыда и раскаяния о своем падении, навеки отделившим его от Сони. Но суета дня рас-

сеяла это впечатление, и он даже, ежели вспоминал об этом сне, старался отгонять его, но оно возникало само. И теперь возникало еще чаще и сильнее, когда он, узнав о письмах из дому, ехал к Борису.

Совсем уже смерклось, было морозно, мясочно и дымно в деревне, где стоял Измайловский полк, когда Николай подъехал к нему. Ему сказали, где стоит 3-й батальон, но в темноте его не хотели пропускать часовые, так что он должен был назваться адъютантом, присланным к великому князю. Но когда и пропустили его, он ошибся и вместо 3-го батальона попал в деревню, где стоял сам великий князь, и со страхом выбрался назад. Уже поздно, усталый и нетерпеливый, он добился у кашеваров солдат, где стоял Борис.

— Где стоит князь Друбецкой, прапорщик? — спросил он.

Солдат с любопытством осмотрел гусара и подошел к нему.

— Такого нет в нашем батальоне. В 4-м батальоне спросите, там князей много, а у нас нет.

— Князь Друбецкой! Верно, есть.

— Да нет, ваше благородие, уж как мне не знать...

— А в 4-й роте с капитаном стоят, не князь ли? — отозвался другой солдат.

— Где князь, с капитаном Бергом-то?

— Берг, Берг, так и есть, веди! — закричал Ростов. — Целковый на чай.

Гвардия весь поход прошла, как на гулянье, щеголяя своей красотой и дисциплиной. Переходы были малые, ранцы людей везли на подводах, офицерам австрийское начальство готовило на всех переходах прекрасные обеды. Полки вступали и выступали из городов с музыкой; и весь поход (чем гордились гвардейцы) люди шли в ногу, и офицеры пешком на своих местах. Борис все время похода шел и стоял с Бергом, своим ротным командиром. Весь поход был для него веселое торжество.

Берг и Борис, уже отдохнув после похода, сидели в чистой квартире, отведенной им, перед круглым столом, пили чай и играли в шахматы. Борис своим тонким и внимательным лицом несколько загорел, но был так же хорош и изящен в одежде, как и в России. Берг, дома на походе еще более, чем в Москве,

был щепетильно аккуратен, видимо, сам беспрестанно любуясь на чистоту и аккуратность своего халата, своей шкатулки и приглашая и других оценить его аккуратность и похвалить его за нее. Он, так же как и в Москве, пускал аккуратные колечки дыма, представлявшие как бы эмблему и девиз его жизни, и, переставляя аккуратно, за головку, взявши чистыми руками, шахматы, значительно приговаривал, как приговаривают в подобных случаях ограниченные люди, одни и те же слова.

— Ну, так-то, Борис Сергеевич, ну, так-то, Борис Сергеевич.

Но, не договорив последних слов, он услышал гром и звон на крыльце и увидал вбегающего в дверь гусарского офицера, которого он было не узнал сначала.

— Ах ты, черт вас возьми! — закричал гусарский офицер, непостижимо производя в комнате такой шум и гам, как будто целый эскадрон ворвался в комнату. — И Берг тут!

Борис, гремя, вскочил со стула и выбежал навстречу Ростову.

С тем особенным, гордым чувством моло-



дости, которое боится битых дорог, хочет, не подражая другим, по-своему, по-новому выражать свои чувства, только бы не так, как выражают это, часто притворно, старшие, оба друга, нежно любившие друг друга, сбежались, потряслись за плечи, толкнулись, щипнулись, сказали «ах, черт тебя возьми», — они не обнялись, не поцеловались, не сказали друг другу нежного слова. Но, несмотря на это отсутствие внешней нежности, в их лицах, особенно в лице Ростова, выразалось такое счастье, оживленность и любовь, что даже Берг, казалось, на минуту забыл любоваться своим благоустройством. Он умиленно улыбался, хотя и чувствовал себя чужим между этими двумя друзьями.

— Ах вы, полотеры проклятые, чистенькие, свеженькие, точно с гулянья, не то что мы грешные, армейщина, — кричал Ростов, с гордостью указывая на свою забрызганную грязью шинель, так громко, что хозяйка-немка высунулась из двери посмотреть на этого страшного крикуна. Вопросы без ответов сыпались с обеих сторон.

— Ну, рассказывай же, когда видел моих,

здоровы ли все? — спрашивал Ростов.

— Что, ты офицер? Что, ты ранен? — говорил Борис, указывая на его шинель и подвязанную руку.

— Ах, и вы тут, — не отвечая и обращаясь к Бергу, говорил Ростов. — Здравствуйте, мой милый.

Ростов, который прежде, бывало, совсем изменялся при новом, тем более несимпатическом лице, каким, очень хорошо знал Борис, был для него Берг, Ростов теперь при этом несимпатическом лице не только не сжимался, но, напротив, как бы нарочно, казался еще беспечнее и развязнее. Ростов подвинул себе стул, сел верхом на него и рукавом сшвырнул все шахматы на диван.

— Ну, садись, рассказывай, — сказал он, притягивая за руку Бориса, — знают они про наши дела? Знают про то, что я произведен? Да ведь мы два месяца из России.

— Ну, а ты был в деле? — спросил Борис.

Ростов, не отвечая, небрежным движением потрянул по солдатскому Георгиевскому кресту, висевшему на снурках мундира, и, указав на свою подвязанную руку, улыбаясь,

взглянул на Берга.

— Нет, не был, — сказал он.

— Ого, — сказал Борис, все удивляясь и тихо улыбаясь, глядя на происшедшую перемену его друга. В сущности же, теперь только в первый раз сам Ростов, примеряя себя к старым отношениям в жизни, чувствовал всю ту перемену, которая произошла в нем. Все, что прежде показалось бы ему трудным, было легко ему. Он, заставляя Бориса удивляться своей развязности, сам еще больше его удивлялся ей. Попав, желая пощеголять перед гвардейцами, в тон ухарского гусарства, он почувствовал неожиданную свободу и прелесть в этом тоне. Он с удовольствием чувствовал, что в противность тому, что прежде бывало между им и Борисом, не Борис уже, а он давал характер и направление разговору. Он, видимо, забавлялся тем, что по произволу переменил разговор; только что Борис стал его спрашивать о войне и его производстве, как Ростов, вспомнив о старом слуге Бориса, опять переменил разговор.

— Ну, а твой старый пес, Гаврило, с тобой? — спросил он.

— Как же, — отвечал Борис, — он тут у хозяев по-немецки учится.

— Эй, ты, старый черт, — крикнул Ростов, — иди сюда. — И на его зов явился почтенный и представительный старый слуга Анны Михайловны.

— Иди сюда, целуй меня, старый кобель, — радостно улыбаясь, сказал Ростов и обнял его.

— Имею честь поздравить, ваше сиятельство, — сказал добродушно и почтительно старый Гаврило, любуясь на крест и на эполеты Ростова.

— Ну, давай полтинник на извозчика, — смеясь, закричал Ростов, напоминая тем старому слуге, как он во времена студенчества занимал у него по гривенничку. Приятный и добродушный старик слуга тотчас же нашелся:

— Офицеру и кавалеру как не поверить, ваше сиятельство, — сказал он шутя, как будто доставая деньги из кармана.

— Подите-ка, гвардейская штука, — проговорил Ростов, трепля по спине старика, — как я ему рад, как я ему рад, а вот что, — вдруг сказал он, — пошли-ка его за вином.

Борис, хотя не пил, но охотно достал из-под чистых подушек тощий кошелек и велел принести вина.

— Кстати и тебе отдать твои деньги и письмо.

— Давай, свинья этакая, — закричал Ростов, хлопая его по заднице, в то время как Борис, нагнувшись над шкапулкой, щелкал в ней звенящим английским замком, доставая письма и деньги.

— Ты потолстел, право, — сказал Ростов и, вырвав у него письма и бросив на диван деньги, облокотился обеими руками на стол и стал читать. Он прочел несколько строк, глаза его потускнели, и все лицо, изменившись, приняло более благородные, недетские очертания. Он прочел еще, и еще страннее стал его взгляд, и выражение нежности и раскаяния показалось на его содрогнувшихся губах. Он злобно взглянул на Бориса и, встретив его взгляд, закрыл лицо письмами.

— Однако денег вам порядочно прислали, — сказал Берг, глядя на тяжелый, вдавившийся в диван кошелек.

— Вот что, Берг, голубчик, — сказал Ро-

стов. — Когда вы получите из дома письмо и встретитесь с своим человеком, у которого вам захочется расспросить про все, и я буду тут, — я сейчас уйду, чтобы не мешать вам. Послушайте, уйдите, пожалуйста, куда-нибудь, куда-нибудь... к черту! — крикнул он и тотчас же, схватив его за плечо и ласково глядя в его лицо, видимо, стараясь смягчить грубость своих слов, прибавил: — Вы знаете, я от души говорю, как нашему старому хорошему знакомому.

— Ах, помилуйте, граф, я очень понимаю, — сказал Берг, вставая и говоря в себя, горловым голосом.

— Вы к хозяевам пойдите: они вас звали, — прибавил Борис.

Берг надел чистейший, без пятнышка и соринки, сюртучок, взбил перед зеркалом височки кверху, как носил Александр Павлович, и, убедившись по взгляду Ростова, что его сюртучок был замечен, с приятною улыбкой вышел из комнаты.

— Я свинья, — сказал Ростов, глядя в письмо. Он читал в это время французскую приписочку Сони. Он видел как бы перед глазами ее

черную косу, худые плечики, а главное, он видел и знал, что происходило в ее душе, когда она писала это письмо, как будто все это происходило в его собственной. Он чувствовал, как она колебалась написать слишком мало или слишком много, и чувствовал, как сильно и прочно она его любила.

— Ах, какая я свинья! Посмотри, что они пишут, — повторил он, покраснев при воспоминании о вчерашнем сновидении и не показав нагнувшемуся Борису тех строк, которые так сильно волновали его.

Он прочел ему следующее место из письма матери: «Думать, что ты, мой бесценный, обожаемый, несравненный Коко, находишься среди всех ужасов войны, и быть спокойной и думать о чем-нибудь другом, выше моих сил. Да простит меня Бог за мой грех, но ты один, неоцененный мой Коко, дороже мне всех моих детей». Расположенный к чувствительности вообще всем происшедшим с ним в последние дни и теперь приписочкой Сони, он не мог без слез дочесть это письмо матери. Он заплакал, рассердился на себя и притворно засмеялся.

В письмах родных было вложено еще рекомендательное письмо к князю Багратиону, которое, по совету Анны Михайловны, через знакомых достала старая графиня и посылала сыну, прося его снести по назначению и им воспользоваться.

— Нет, Бог с ним, — сказал Ростов, бросая письмо, — мне и в полку хорошо.

— Что ж ты, неужели бросишь письмо? — спросил с удивлением Борис.

— Разумеется.

— Напрасно, — сказал Борис, — это тебя ни к чему не обязывает, а может улучшить твое положение.

— Да я не желаю лучшего.

— Нет, ты все такой же, — покачивая головой и улыбаясь, сказал Борис. — Как же ты можешь судить, лучше или хуже то положение, когда ты еще не испытал его. Вот я, например, тоже вполне доволен своим положением в полку и в роте, но мне матушка дала письмо к одному адъютанту Кутузова, Болконскому. Он, говорят, очень влиятельный человек. Что ж, я был у него, и он обещал устроить мне положение при главной квар-



тире. Я не вижу, что же тут дурного: уж раз пойдя по карьере военной службы, стараться сделать, коль возможно, блестящую карьеру. Что, ты не знаешь, не встречал этого Болконского? — спросил Борис.

— Нет, я этой дряни штабных не знаю, — мрачно отвечал Ростов.

— А он нынче вечером хотел зайти ко мне, — сказал Борис. — Он тут теперь у цесаревича, прислан от вашего главнокомандующего.

— А, — сказал Ростов, впадая в раздумье. Помолчав несколько секунд, он весело и нежно взглянул в глаза Бориса. — Ну, что про глупости говорить, — сказал он, — расскажи же мне хорошенько про наших. Что папенька, что Жанлис? Что Наташа моя милая? Петька? — Он спрашивал про всех, но не мог взять на себя спросить про Соню. Он не говорил с Борисом и о его отношениях с Наташей, как будто теперь он признавал, что это были детские глупости, которые забыть надо.

Старик Гаврило принес вино, и так как все задушевное было переговорено или, скорее, ничего задушевного не было сказано, и оче-

видно было, что и не будет сказано, Борис предложил послать за изгнанным Бергом для того, чтоб и он мог принять участие в принесенной бутылке.

— Ну, что эта немчура, — сказал Ростов с презрительной миной, пока Берг еще не возвращался, — все такая же дрянь, весь на расчетцах?

— Нет, — заступнически сказал Борис, — он славный человек, честный и смирный.

Опять Ростова поразило не случайное, а существенное различие во взглядах с своим другом.

— Нет, для меня лучше пускай будет не такой уж честный и аккуратный, но чтоб был живой человек, а не такая тряпка, как этот немчик.

— Это очень, очень хороший, честный и приятный человек, — сказал Борис.

Ростов пристально посмотрел в глаза Борису и вздохнул, как бы навсегда прощаясь с прежней дружбой и простотой отношений с своим товарищем детства. «Мы совсем, совсем чужие», — подумал Ростов.

Берг вернулся, и за бутылкой вина разго-

вор между тремя офицерами оживился. Гвардейцы рассказывали Ростову о своем походе, о том, как их чествовали в России, Польше и за границей, рассказывали о словах и поступках великого князя, анекдоты о его доброте и вспыльчивости. Берг, как и обыкновенно, молчал, когда дело касалось не лично его, но по случаю анекдотов о вспыльчивости великого князя он с наслаждением рассказал, как в Галиции ему удалось говорить с великим князем, объезжавшим полки и прогневавшимся за неправильность движения. Захлебываясь от удовольствия и едва удерживая круглую улыбку, он рассказал, как великий князь в бешенстве подъехал к нему, закричал: «Арнауты!» («арнауты» — была любимая поговорка цесаревича, когда он был в гневе) — и Берг, повторяя эту поговорку, видимо, захлебывался от счастья.

— «Арнауты, арнауты, — крикнул великий князь и потребовал к себе ротного командира. — „Где эта bestия, ротный командир?“ — с удовольствием повторял Берг слова великого князя. — Я и вышел ни жив ни мертв, — говорил Берг, — только он меня уж пушил, пу-

шил, пушил, и „арнауты“, и „черт“, и „в Сибирь“, — говорил Берг, тонко, проницательно улыбаясь. — Я все молчу. „Да что ты, немой что ли?“ Как крикнет вдруг: „Арнауты“. Я все молчу, что мне? На другой день и в приказе не было; вот что значит не потеряться! Так-то, граф, — говорил Берг, пуская свои добродетельные колечки.

Борис заметил, что Ростову не вполне нравились эти рассказы. Он обратил разговор об военных действиях и о том, как он и где получил рану. Ростов, понемногу, в присутствии несимпатичного ему Берга, входя опять в прежний тон гусарского ухарства и одушевляясь, рассказал им свое шенграбенское дело совершенно так, как рассказывают про сражения обыкновенно участвовавшие в них, то есть так, как им хотелось бы, чтоб оно было, так, как они слышали от других рассказчиков, так, как красивее было рассказывать, но совершенно не так, как оно было. Ростов был правдивый молодой человек, он ни за что умышленно не сказал бы неправды, он, с намерением рассказать все, как оно точно было, начал рассказывать, но незаметно, невольюно

и неизбежно для себя перешел в фантазию, в ложь и даже в хвастовство. Как же в самом деле ему было рассказывать? Неужели ему надобно было сказать этим слушателям, которые, как и он сам (он очень хорошо знал), слышали уже множество раз рассказы об атаках и составившие себе определенное понятие о том, что была атака, и ждавшие точно такого же рассказа, как же ему было, разрушая их готовое понятие, рассказывать им совсем другое вправду. Или бы они не поверили ему, или, что еще хуже, они подумали бы, что Ростов был сам виноват в том, что с ним не случилось того, что случается обыкновенно с рассказчиками кавалерийских атак. Не мог он им рассказать так просто, что поехали все рысью, он упал с лошадью, свихнул руку и изо всех сил побежал в лес от француза.

Они ждали его рассказа о том, как горел он весь в огне, сам себя не помня, как буря налетал на каре, врубался в него, рубил направо и налево, и падал в изнеможении, и тому подобное. В таком роде он и рассказал им, и они остались довольны, и он не заметил, что все, что он говорил, было далеко от правды.

В середине его рассказа в комнату вошел ожидаемый Борисом князь Андрей. Накануне, когда Борис передавал ему письмо от Пьера, которое уговорила Анна Михайловна Пьера написать своему другу и в котором молодой граф Безухов говорил Болконскому, что податель этого письма есть замечательно милый молодой человек, Болконский, польщенный уже тем, что к нему обращались за протекцией, обратил внимание на молодого Бориса, и этот юноша чрезвычайно понравился ему. Кроме того, для князя Андрея самый приятный род отношений с людьми были отношения покровительственные к молодому и симпатическому человеку, который бы преклонялся перед ним. Таковы были его отношения к самому Пьеру и такие же устанавливались теперь с Борисом. Борис же с своим прирожденным тактом в первое свидание с князем Андреем успел дать почувствовать ему, что он вполне был готов преклоняться перед ним. Он зашел теперь к Борису отдохнуть перед отъездом в штаб и переговорить, как он обещал, о том, что предпринять для исполнения желания Бориса, перевода в глав-

ную квартиру. Войдя в комнату и увидав армейского гусара, который, сидя верхом на стуле, с жаром рассказывал свои военные похождения новичкам гвардейцам („Наверное вранье“, — подумал князь Андрей, слышавший уже сотни таких рассказов), князь Андрей поморщился, прищурился и, слегка поклонившись, устало и лениво сел на диван. Ему неприятно было, что он попал в дурное общество. Несмотря на то, что Борис назвал ему графа Ростова, он не изменил ни своего мнения, ни презрительной мины.

— Что ж, продолжайте, — сказал он таким тоном, после которого невозможно было продолжать. Несмотря на неприятный, насмешливый тон князя Андрея, несмотря на общее презрение, которое с своей армейской боевой точки зрения имел Ростов ко всем этим штабным адъютантикам, к которым, очевидно, причислялся и вошедший, Ростов почувствовал себя сконфуженным и не мог продолжать. Он покраснел, отвернулся и замолчал, но не мог не следить со вниманием за всеми движениями и выражениями лица этого маленького человека, усталого, слабого и лени-

вого, который сквозь зубы пропускал слова, как будто бы делал милость тому, с кем он говорил. Этот человек интересовал, волновал его и внушал ему невольное уважение. Ростов краснел и молча думал, глядя на вошедшего. Берг униженно до неприличности прислуживал ему. Борис, как умная хозяйка дома, старался втянуть обоих в общий разговор. Он спрашивал, какие новости и что, без нескромности, слышно о наших предположениях?

— Вероятно, пойдут вперед, — видимо, не желая при посторонних говорить более, отвечал Болконский.

Берг воспользовался случаем спросить с особенною учтивостью, будут ли выдавать теперь, как слышно было, удвоенное фуражное армейским ротным командирам? На это князь Андрей с улыбкой отвечал, что он не может судить о столь важных государственных распоряжениях, и Берг радостно рассмеялся.

— Об вашем деле, — обратился князь Андрей к Борису, — мы поговорим как-нибудь после, — и он оглянулся на Ростова, как бы этим показывая ему, что он был лишний. Ро-



стов вспыхнул, ничего не сказав. Болконский продолжал: — Вы приходите ко мне после смотра, мы все сделаем, что можно будет.

И чтобы сказать, наконец, что-нибудь прежде, чем уйти, он обратился к Ростову, которого положение детского непреодолимого конфуза, переходящего в озлобление, он и не удостоивал заметить, и сказал:

— Вы, кажется, про шенграбенское дело рассказывали? Вы были там?

— Я был там, — с озлоблением сказал Ростов, как будто бы этим желая оскорбить адъютанта.

Болконский заметил состояние гусара, и оно ему показалось забавно. Он слегка презрительно улыбнулся.

— Да! Много теперь рассказов про это дело.

— Да, рассказов! — громко заговорил Ростов, в упор глядя на Болконского вдруг сделавшимися бешеными глазами. — Да, рассказов много, но наши рассказы — рассказы тех, которые были в самом огне неприятеля, наши рассказы имеют вес, а не рассказы тех штабных молодчиков, которые получают награды, ничего не делая.

— К которым, вы предполагаете, что я принадлежу? — спокойно и весело улыбаясь, проговорил князь Андрей.

Странное чувство озлобления и вместе с тем уважения к спокойствию этой фигуры соединилось в это время в душе Ростова.

— Я говорю не про вас, — сказал он, — я вас не знаю и, признаюсь, не желаю знать. Я говорю вообще про штабных.

— А я вам вот что скажу, — со спокойною властью в голосе перебил его князь Андрей. — Вы, может быть, хотите оскорбить меня, так я готов согласиться с вами, что это очень легко сделать, ежели вы не будете иметь достаточного уважения к самому себе; но согласитесь, что и время и место весьма дурно для этого выбраны. На днях всем нам придется быть на большой, более серьезной дуэли, а кроме того, Друбецкой, который говорит, что он ваш старый приятель, несколько не виноват в том, что моя физиономия имела несчастье вам не понравиться. Впрочем, — сказал он, вставая, — вы знаете мою фамилию и знаете, где найти меня; но не забудьте, — прибавил он, — что я не считаю ни-

сколько ни себя, ни вас оскорбленным, и мой совет, как человека старше вас, оставить это дело без последствий. Так в пятницу, после смотра, я жду вас, Борис, до свидания, — и он вышел.

Ростов вспомнил, что ему надо было ответить, только тогда, когда он уже вышел. Борис знал, что, чем больше бы он просил Ростова оставить это дело, тем бы он был упорнее, и потому он ни слова не сказал про прошедшее. Ростов тоже молчал и через полчаса велел подать лошадь и уехал. Он уехал с сомнением о том, оставался ли Борис его другом или он должен был признаться, что уже навсегда они стали далеки друг от друга. Другое его сомнение состояло в том, ехать ли ему завтра в главную квартиру и вызвать этого ломающегося адъютанта или в самом деле оставить это дело так. То он с злобой думал о том, с каким бы удовольствием вызвал бы на барьер этого маленького, слабого и гордого человечка, то он с удивлением чувствовал, что из всех людей, которых он знал, никого бы с такой радостью он не сделал бы своим другом.

На другой день свидания Бориса с Ростовым был смотр австрийских и русских войск, как свежих, пришедших из России, так и тех, которые вернулись из похода с Кутузовым. Оба императора, русский с наследником цесаревичем и австрийский с эрцгерцогом, делали этот смотр союзной восьмидесятитысячной армии.

С раннего утра начали двигаться щегольски вычищенные и убранные войска, выстраиваясь на укрепленном месте. То двигались тысячи ног и штыков с развевавшимися знаменами и по команде офицеров останавливались, заворачивались и строились в интервалах, обходя другие такие же массы пехоты в других мундирах. То мерным топотом и бряцаньем сабель звучала нарядная кавалерия в синих, красных, зеленых шитых мундирах, с расшитыми музыкантами впереди, на вороных, рыжих, серых лошадях. То, растягиваясь с своим медным звуком подрагивающих на лафетах, вычищенных, блестящих пушек и с своим запахом пальников, ползла между пе-

хотой и кавалерией артиллерия, расставляясь на назначенных местах. Не только генералы в полной парадной форме, с перетянутыми донельзя толстыми и тонкими талиями и покрасневшими, подпертыми воротниками, шеями в шарфах и всех орденах, не только припомаженные, расфранченные офицеры, но каждый солдат — со свежесвыбритым и вымытым лицом и до последней возможности блеска вычищенной амуницией, каждая лошадь, выхоленная так, что как атлас светилась на ней шерсть и волосок к волоску лежала примоченная гривка, — все чувствовали, что совершается что-то нешуточное, торжественное и значительное. Каждый генерал и солдат чувствовал себя песчинкой в этом море людей, чувствовал свое ничтожество как личность, и вместе испытывал гордое сознание своей силы и величия, относящихся ко всей массе, с которой он сознавал себя нераздельно связанным.

С раннего утра и до десяти часов продолжались напряженные хлопоты и усилия, и наконец все пришло в требуемый порядок.

На огромном поле ряды стали, и видны бы-

ли только стройно выровненные, вычищенные, блестящие белыми перевязями линии пехоты, артиллерии, конницы, гвардейской, армейской кутузовской, отличающейся своей воинственной неформенностью, и австрийская с своими белыми генералами.

Как ветер по листьям, пронесся взволнованный шепот, и с разных сторон раздались звуки генерал-марша. Как будто сама армия, веселясь и встречая государя, издавала эти торжественные звуки, как будто не ветер слегка колебал распущенные знамена, виднеющиеся в середине батальонов, а сама армия этим легким движением выражала свою радость при приближении государей. Послышался один голос, потом, как петухи на заре, повторились голоса в разных концах. Армия сделала на караул, и все затихло. В мертвой тишине слышался топот сотни лошадей свиты императоров. Потом один ласковый молодой голос государя Александра. И армия издала такой страшный, оглушающий и продолжительный радостный крик, что сами люди армии ужаснулись той силе и громаде, которой они составляли части.

Ростов в кутузовской армии стоял на своем месте и испытывал то же чувство, какое испытывал каждый человек этой армии, чувство самозабвения, сильного, нечеловеческого, гордого сознания могущества и страстного влечения к тому, кто был причиной этого торжества.

Он чувствовал, что от одного слова этого человека зависело то, чтобы вся громада эта (и он, связанный с ней, ничтожная песчинка) пошла бы в огонь или в воду, на преступление или на смерть, и потому он трепетал и замирал при виде этого приближающегося слова.

— Урра! Урра! Урра! — гремело со всех сторон, и при стройном оглушительном звуке этих голосов посреди неподвижных, как бы окаменевших в своих четвероугольных массах войска, небрежно, несимметрично и, главное, свободно двигались сотни всадников свиты и впереди них два человека — императоры. На них-то безраздельно было сосредоточено внимание всей этой массы людей.

Красивый, молодой император Александр, в конногвардейском мундире, в треугольной

шляпе, надетой с поля, со своим приятным лицом и звучным негромким голосом привлекал все внимание.

Ростов в первый раз видел государя. Он был обворожен простою прелестью его наружности в соединении с величием обстановки.

Остановившись против Павлоградского полка, государь сказал что-то по-французски австрийскому императору и улыбнулся.

Увидав эту улыбку, Ростов почувствовал, что он любит государя в эту минуту больше всего на свете. За что, не знал, но это так было. Государь вызвал полкового командира немца Усача и сказал ему несколько слов. Ростов завидовал ему всей душой.

Государь обратился и к офицерам:

— Всех, господа, — каждое слово слышалось Ростову, как звук с неба, — благодарю от всей души. — (Как бы счастлив был Ростов, ежели бы мог теперь умереть за своего царя!) — Вы заслужили георгиевские знамена и будете их достойны.

Государь еще сказал что-то, чего не слышал Ростов, и солдаты, надсаживая свои



гусарские груди, закричали «урра!»

Ростов закричал тоже, пригнувшись к седлу, что было его сил, желая повредить себе этим криком, но только чтобы выразить вполне свой восторг государю.

Государь постоял несколько секунд как будто в нерешимости.

«Как мог быть в нерешимости государь?» — подумал Ростов, и эта нерешимость показалась Ростову еще более величественною. Но нерешительность продолжалась мгновение. Нога государя с узким острым носком дотронулась до паха англазированной гнедой красавицы лошади, на которой он ехал; рука государя в белой перчатке перебрала поводья, и все тронулось прочь и скрылось за беспорядочно, но грациозно заколыхавшимся морем адъютантов.

Когда смотр кончился, заиграли песенники, офицеры съехались группами и начались разговоры о наградах, о австрийцах, их мундирах, посыпались насмешки, встречи приятелей гвардейцев с кутузовскими войсками, разговоры о Бонапарте и о том, как ему плохо придется теперь, особенно когда подойдет

еще корпус Эссена и Пруссия примет нашу сторону.

Но, главное, говорили о государе Александре, передавали каждое его слово, движение и восторгались им. Все только желали под предводительством государя поскорее идти против французов. Все после смотра были уверены в победе больше, чем бы могли быть после двух выигранных сражений.

## VI

На другой день после смотра Борис, одевшись в лучший мундир и напутствуемый пожеланиями успеха от своего товарища Берга, поехал в Ольмюц к Болконскому, желая воспользоваться его лаской и устроить себе наилучшее положение при важном лице, казавшееся ему особенно заманчивым в армии. Внутренний голос говорил ему против его намерений, и ему иногда казалось стыдно идти кланяться кому бы то ни было.

«А впрочем, нет, — говорил он сам себе, — это все детские и рыцарские фантазии Ростова, которые отзываются во мне. Это пора оставить. Это хорошо ему, которому отец присы-

дает по десять тысяч. (Я не завидую ему и люблю его.) Но мне, ничего не имеющему, кроме своей головы, надо делать свою карьеру».

Он подавил в себе это чувство ложного стыда, как ему казалось, и с решимостью отправился в Ольмюц. Он не застал в этот день князя Андрея в штабе, но тот блеск, те признаки власти и праздничного, торжественного обихода жизни, которые он видел теперь в Ольмюце, где стояла главная квартира, дипломатический корпус и оба императора с своими свитами придворных, приближенных, только больше усилили его желание принадлежать к этому верховному миру.

Он никого не знал, несмотря на его щегольской гвардейский мундир, все эти сновавшие по улицам в щегольских экипажах, плюмажах, лентах и орденах придворные и военные, казалось, стояли так высоко от него, что не хотели и не могли даже признавать его существование. В главной квартире Кутузова, где он спросил Болконского, все эти адъютанты и даже денщики смотрели на него так, как будто желали внушить, что таких,

как он, офицеров много и много сюда шлеются и что они все уже очень надоели. Несмотря на это, или скорее вследствие этого, на другой день, 15-го числа, он после обеда опять вошел в большой ольмюцкий дом, занимаемый Кутузовым, и спросил Болконского. Они были дома, и Бориса провели в большую залу, в которой, вероятно, прежде танцевали, а теперь стояли пять кроватей и разнородная мебель: столы, стулья и клавикорды. Один адъютант, ближе к двери, в персидском халате, сидел за столом и писал. Другой, красный, толстый, лежал на постели, подложив руки под голову, и смеялся с присевшим к нему офицером. Третий играл на клавикордах веселый вальс, четвертый лежал на этих клавикордах и подпевал ему. Болконского не было. Никто из этих господ, заметив Бориса, не изменил своего положения. Тот, который писал и к которому обратился Борис, досадливо обернулся, сказав ему, что Болконский дежурный и чтобы он шел налево в дверь, в приемную, коли ему нужно видеть его. В приемной, кроме дежурного адъютанта, из входящих, проходящих и выходящих постоянно было человек

пять, то генерал-квартирмейстер, то начальник артиллерии, то старший адъютант, то начальник отряда, то оберпровиантмейстер, то начальник собственной канцелярии, то адъютант-ординарец, флигель-адъютант и т. п., и т. п. Все они почти без исключения говорили по-французски.

В то время как взошел Борис, князь Андрей, презрительно прищурившись, с тем особенным видом крайне учтливой усталости, которая ясно говорит, что, коли бы не моя обязанность, я бы минуты с вами не стал разговаривать, князь Андрей выслушивал старого русского генерала в орденах, который почти на цыпочках, навтыяжке, с солдатским подобострастным выражением затянутого воротником багрового лица что-то докладывал князю Андрею.

— Очень хорошо, извольте подождать, — сказал он генералу и, заметив Бориса, не обращаясь более к генералу, который с мольбою бегал за ним, прося еще что-то выслушать, князь Андрей с веселой улыбкой, кивая, обратился к Борису. Лицо его приняло то детски-нежное выражение, которое бывало так

обворожительно для тех, к кому оно обращалось.

Борис в эту минуту окончательно, больше чем когда-нибудь, понял, что, кроме той субординации и дисциплины, которая была написана в уставе и которую знали в полку и он знал, была другая, более существенная субординация, та, которая заставляла этого затянутого, с багровым лицом генерала почтительно дожидаться, в то время как капитан князь Андрей для своего удовольствия находил более удобным разговаривать теперь с прапорщиком Друбецким, и, больше чем когда-нибудь, Борис решился служить впредь не по той писаной в уставе, а по этой неписаной субординации. Он теперь чувствовал, что только вследствие того, что он был рекомендован князю Андрею, он уже стал сразу выше генерала, который в других случаях, во фронте, мог уничтожить его, гвардейского прапорщика. Князь Андрей подошел к нему и взял за руку.

— Очень жаль, что вчера вы не застали меня. Я целый день провозился с немцами. Ездили с Вейротером поверять диспозицию. Как

немцы возьмутся за аккуратность — конца нет!

Борис улыбнулся, как будто он понимал то, о чем, как обо всем известном, намекал князь Андрей. Но он в первый раз слышал и фамилию Вейротера, и даже слово «диспозиция».

— Ну что, мой милый, все в адъютанты хотите? Я об вас подумал за это время.

— Да, я думал, — невольно отчего-то краснея, сказал Борис, — просить главнокомандующего. Ему было письмо обо мне от князя Курагина; я хотел просить только потому, — прибавил он, как бы извиняясь и все чувствуя невольный стыд, — оттого что, боюсь, гвардия не будет в деле.

— Хорошо! Хорошо! Мы обо всем переговорим, — сказал князь Андрей, — только дайте доложить про этого господина, — и я принадлежу вам.

В то время как князь Андрей ходил докладывать про багрового генерала, генерал этот, видимо, не разделявший понятий Бориса о выгодах неписаной субординации, до такой степени страшно и кровожадно уперся глазами в дерзкого прапорщика, помешавшего ему

договорить с адъютантом, что Борису стало неловко. Он отвернулся и с нетерпением ожидал, когда возвратится князь Андрей из кабинета главнокомандующего.

— Вот что, мой милый, я думал о вас, — сказал князь Андрей, когда они прошли в большую залу с клавикордами. (Адъютант, прежде так холодно принявший Бориса, теперь был с ним предупредительным и ласковым.) — К Кутузову вам ходить нечего, — говорил князь Андрей, — он наговорит вам кучу любезностей, скажет, чтобы приходили к нему обедать («Это было бы еще не так плохо для службы по той субординации», — подумал Борис), но из этого дальше ничего не выйдет; нас, адъютантов и ординарцев, скоро будет батальон. Но вот что мы сделаем: у меня есть хороший приятель, генерал-адъютант императора Александра и прекрасный человек, князь Долгорукий; и хотя вы этого можете не знать, но дело в том, что теперь Кутузов с его штабом и мы все равно ничего не значим: все теперь сосредоточивается у государя; так вот мы пойдемте-ка к Долгорукому, мне и надо сходить к нему, я уж ему говорил про



вас; так мы и посмотрим, не найдет ли он возможным пристроить вас при себе или где-нибудь там, поближе к солнцу.

Это было уже поздно вечером, когда они взошли в Ольмюцкий дворец, занимаемый императорами и их приближенными.

## VII

**В** этот самый день был военный совет, на котором участвовали все члены гофкригсрата и оба императора и на котором, в противность мнению стариков, Кутузова и князя Шварценберга, было решено немедленно наступать и дать генеральное сражение Бонапарту. Военный совет только что кончился, когда князь Андрей, сопровождаемый Борисом, пришел во дворец отыскивать князя Долгорукого. Еще все лица главной квартиры находились под обаянием Ольмюцкого смотра, и в нынешний вечер еще усиленным впечатлением военного совета. Голоса медлителей, советовавших ожидать еще чего-то, не наступая, так единодушно были заглушены и доводы их опровергнуты несомненными доказательствами выгод наступления, что то, о чем

толковалось в совете, будущее сражение и, без сомнения, победа казались уже не будущим, а прошедшим. Все выгоды были на нашей стороне. Огромные силы, без сомнения, превосходившие силы Наполеона, были стянуты в одно место. Бонапарт, видимо, ослабленный, ничего не предпринимал. Войска были одушевлены присутствием императоров и рвались в дело; стратегический пункт, на котором приходилось действовать, был до мельчайших подробностей известен австрийскому генералу Вейротеру, руководившему войсками (как бы счастливая случайность сделала то, что австрийские войска в прошлом году были на маневрах именно на тех полях, на которых теперь предстояло сразиться с французом); до малейших подробностей была известна и передана на картах предлежащая местность.

Долгорукий, один из самых горячих сторонников наступления, только что вернулся смотра усталый, измученный, но оживленный и гордый одержанною в совете победой. Когда князь Андрей с Борисом взошли к нему, князь Андрей представил покровительствуе-

мого им офицера, но князь Долгорукий, учтиво и крепко пожав ему руку, ничего не сказал ему и, очевидно, не в силах удержаться от высказывания тех мыслей, которые сильнее всего занимали его в эту минуту, по-французски обратился к князю Андрею.

— Ну, мой милый, какое мы выдержали сражение! Дай Бог только, чтобы то, которое будет следствием его, было бы столь же победоносно. Но, — говорил он отрывочно и оживленно, — я должен признать свою вину перед австрийцами и в особенности Вейротером. Что за точность, что за подробность, что за знание местности и предвидение всех предстоявших условий! Нет, мой милый, выгоднее тех условий, в которых мы находимся, нельзя ничего нарочно выдумать. Соединение австрийской отчетливости с русской храбростью — чего же вы хотите еще?

— Так наступление окончательно решено? — сказал Болконский.

— И знаете ли, мой милый, мне кажется, что решительно Буонапарте растерялся и, как говорится, потерял свою латынь. Вы знаете, что нынче получено от него письмо к импе-

ратору.

— Вот как! Что ж он пишет? — спросил Болконский.

— Что он может писать? Традиридира и тому подобное, все только с целью выиграть время. Я вам говорю, что он у нас в руках: это верно! Но что забавнее всего, — сказал, вдруг добродушно смеясь, Долгорукий, — это то, что никак не могли придумать, как адресовать ответ ему? Ежели не консулу и, само собой разумеется, не императору, то генералу Буонапарту, как мне казалось.

— Ну, как же решили, наконец? — улыбаясь, сказал Болконский.

— Вы знаете Билибина, он очень умный мальчик, он предлагал адресовать: «узурпатору и врагу человеческого рода». — Долгорукий весело захохотал. — Но все-таки этот Билибин умная голова, он нашел титул адресата.

— Как же? — спросил Болконский.

— Главе французского правительства, — серьезно и с удовольствием сказал князь Долгорукий. — Это ему не понравится. Брат его знает, он обедал у него в Париже, и говорит, что ловчее этого человека на дипломатиче-

ской тонкости нельзя придумать. Граф Марков только умел с ним обращаться. Вы знаете историю платка? Это прелесть.

И словоохотливый Долгорукий, обращаясь то к Борису, то к князю Андрею, рассказал одобрительно, как Бонапарт, желая испытать Маркова, нашего посланника, нарочно уронил перед ним платок и остановился, глядя на него, ожидая, вероятно, услуги от Маркова, и как Марков тотчас же уронил рядом свой платок и поднял его, не поднимая платка Буонапарта.

— Да, это прекрасно, — все так же улыбаясь, сказал Болконский. — Но вот что, князь, я пришел к вам просителем вот с этим молодым человеком. Видите ли...

Но князь Андрей не успел докончить, как в комнату вошел адъютант, который звал князя Долгорукого к императору.

— Ах, какая досада! — сказал Долгорукий, поспешно вставая и пожимая руку князю Андрею и Борису. — Вы знаете, я очень рад сделать все, что от меня зависит, и для вас и для этого милого молодого человека. — И он еще раз пожал руку Бориса с выражением добро-

душного, искреннего и оживленного легкомыслия.

Бориса невольно волновала мысль о той близости к высшей власти, в которой он чувствовал себя. Он сознавал себя здесь в соприкосновении с теми пружинами, которые руководили всеми теми громадными движениями масс, которых он в своем полку чувствовал себя маленькою, покорною и ничтожною частью. Они вышли в коридор за князем Долгоруким и встретили выходящего из той двери комнаты государя, в которую вошел князь, молодого человека в штатском платье с замечательно красивым и гордым лицом и резкою чертой выставленной вперед челюстью, которая, не портя его, придавала ему особенную живость и изворотливость выражения. Этот невысокий человек кивнул, как своему, Долгорукому и пристально-холодным взглядом стал вглядываться в князя Андрея, идя прямо на него и, видимо, ожидая, чтобы князь Андрей поклонился ему или дал дорогу. Князь Андрей не сделал ни того, ни другого; в лице его выразилась отчаянная злоба, и молодой человек, отвернувшись, прошел стороной

В коридор.

— Кто это? — спросил Борис.

— Это один из самых замечательных, но неприятнейших мне людей. Это поляк, князь Чарторижский. Вот эти люди, — сказал Болконский со вздохом, который он не мог подавить, в то время как они выходили из дворца, — вот эти-то люди решают судьбы народа.

Борис с недоумением посмотрел на него, недоумевая, презрительно, уважительно или завистливо было сказано это. Но на черноватом желтом лице маленького человека, шедшего подле него, он не прочел ничего. Это было просто сказано, потому что это так было.

На другой день войска выступили, и Борис не успел до Аустерлицкого сражения побывать ни у Болконского, ни у Долгорукого и остался во фронте.

## VIII

**15** ноября союзная армия в пяти колоннах выступила из Ольмюца под командой генералов, из которых ни один не носил русского имени. Имена эти были: 1-е — Вимпфен, 2-е — граф Ланжерон,

3-е — Пржебышевский, 4-е — князь Лихтенштейн и 5-е — князь Гогенлоу. Погода стояла морозная и ясная, и люди шли весело. Хотя никто, кроме высших начальников, не знал, куда и зачем направлялась армия, все были рады выступлению после бездействия Ольмюцкого лагеря. Колонны двинулись по команде с музыкой и с развевавшимися знаменами. Весь переход они должны были идти стройно, как на смотре, и непременно в ногу. В девятом часу утра государь верхом, со свитой, обогнал гвардию и присоединился к колонне Пржебышевского. Солдаты весело прокричали «ура», и на протяжении десяти верст, которые занимали восемьдесят тысяч движущегося войска, раздались, фальшиво сливаясь в ближайших частях, звуки воинственных маршей и солдатских песен. Адъ-



ютанты и колонновожатые, сновавшие между полками, имели веселое самодовольное выражение лиц. Генерал Вейротер, исключительно заведовавший движением войск, к вечеру, пропуская мимо себя войска, стоял в стороне от дороги с некоторыми свитскими офицерами и с подъехавшим к нему князем Долгоруким, имел довольный вид человека, благополучно исполнившего свое упражнение. Он спрашивал у проходивших начальников частей, где назначен был их ночлег, и показания начальников частей совпадали с предсказаниями, которые он делал стоявшему подле него Долгорукому.

— Вот видите, князь, — говорил он, — новгородцы становятся в Раузнице, так я и говорил, за ними идут мушкетеры, эти в Клаузевиц, — он справился по записной книжке, — потом павлоградцы, потом гвардия идет по большой дороге. Отлично. Прекрасно. Я не вижу, — сказал он, вспоминая сделанное ему старыми русскими генералами возражение, — я не вижу, почему предполагают, что русские войска не могут так же хорошо маневрировать, как и австрийские. Вы видите, князь,

как все строго и отчетливо исполняется по диспозиции, ежели диспозиция основательна...

Князь Долгорукий невнимательно слушал австрийского генерала; он занят был вопросом, возможно ли или невозможно, и как атаковать французский отряд, на который наткнулись русские войска нынешний вечер перед небольшим городком Вишау.

Он предложил этот вопрос генералу Вейротеру. Вейротер сказал:

— Это дело может быть решено только волею их величества. Впрочем, дело очень возможное.

— Не можем же мы оставить пред своим носом этот французский отряд, — сказал Долгорукий и с этими словами поехал в квартиру императоров. В штабе императоров уже находился лазутчик из авангарда, присланный князем Багратионом, доносивший, что французский отряд в Вишау не силен и не имеет подкрепления.

Через полчаса после приезда князя Долгорукого было решено на рассвете другого дня атаковать французов и тем игнорировать

прибытие императора Александра к армии и его первый поход.

Князь Долгорукий должен был командовать кавалерией, участвуя в этом деле.

Император Александр со вздохом покорился представлениям своих приближенных и решил оставаться при 3-й колонне.

## IX

На другой день до зари эскадрон Денисова, в котором служил Николай Ростов и который был в отряде князя Багратиона, двинулся с ночлега и, пройдя около версты позади колонн, был остановлен на большой дороге.

Ростов видел, как мимо него прошли вперед казаки, 1-й и 2-й эскадрон гусар, пехотные батальоны с артиллерией и проехали генералы со свитой. Весь страх, который он, как и прежде, испытывал перед делом, вся внутренняя борьба, посредством которой он преодолевал этот страх, все его мечтания о том, как он по-гусарски отличится в этом деле, — пропали даром. Эскадрон их был остановлен в резерве, и Николай Ростов скучно и тоскливо провел этот день. В девятом часу утра он

услыхал пальбу впереди себя, крики «ура», видел проводимых назад раненых (их было немного) и, наконец, видел, как в середине сотни казаков провели целый отряд французских кавалеристов. Очевидно, дело было кончено, и дело было, очевидно, счастливое. Проходившие назад рассказывали о блестящей победе, о занятии города и взятии в плен целого эскадрона.

День был ясный, солнечный, после сильного ночного заморозка, и веселый блеск осеннего дня совпадал с известием о победе, которое передавали не только рассказы, но и радостное выражение лиц солдат, офицеров, генералов и адъютантов, ехавших туда и оттуда мимо эскадрона Ростова. Тем больше щемило сердце Николаю Ростову, напрасно переживавшему весь страх, предшествующий сражению, пробывшему этот веселый день в одиноком бездействии.

Денисов по тем же причинам был мрачен и молчалив. Он видел в оставлении своего эскадрона в резерве умышленность и интригу мерзавца адъютанта и собирался его «проучить».

— Ростов, иди сюда, выпьем с горя, — крикнул Денисов, усевшись на краю дороги перед фляжкой и закуской. Ростов выпил молча, стараясь не глядеть на Денисова и опасаясь повторения ругательств на адъютанта, которые уже надоели ему.

— Вот еще одного ведут, — сказал один из офицеров, указывая на французского пленного драгуна, которого вели пешком два казака.

Один из них вел в поводу взятую у пленного рослую и красивую французскую лошадь.

— Продай лошадь! — крикнул Денисов казаку.

— Извольте, ваше благородие.

Офицеры встали и окружили казаков и пленного француза. Французский драгун был молодой малый, эльзасец, говоривший по-французски с немецким акцентом. Он задышался от волнения, лицо его было красно, и, услышав французский язык, он быстро заговорил с офицерами, обращаясь то к тому, то к другому. Он говорил, что его бы не взяли, что он не виноват в том, что его взяли, а виноват капрал, который послал его захватить попоны, что он ему говорил, что уже русские там.

И ко всякому слову он прибавлял: «Но не делай дурного моей маленькой лошадке», — и ласкал свою лошадь. Видно было, что он не понимал хорошенько, где он находится. Он то извинялся, что его взяли, то, предполагая перед собой свое начальство, выказывал солдатскую исправность и заботливость о службе. Он с собой донес в наш арьергард во всей свежести атмосферу французского войска, которое так чуждо было для нас.

Казаки отдали лошадь за два червонца, и Ростов, самый богатый из офицеров, купил ее.

— Но не делай дурного моей маленькой лошадке, — добродушно сказал эльзасец Ростову, когда лошадь передана была гусару.

Ростов, улыбаясь, успокоил драгуна и дал ему денег.

— Але, але! — сказал казак, трогаясь. И в то же время кто-то прокричал: «Государь!»

Все побежало, заторопилось, послышалось с трепетом повторяемое одно и то же слово «Государь! Государь!», и Ростов увидал сзади по дороге подъезжающих несколько всадников с белыми панашеями на шляпах. В одну минуту все были на местах и ждали.

Николай Ростов не помнил и не чувствовал, как он добежал и сел на лошадь. Мгновенно прошло его сожаление о неучастии в деле, его привычно скучливое состояние в кругу приглядевшихся лиц, мгновенно исчезла всякая мысль о себе, он весь поглощен был чувством счастья и близости императора. Он чувствовал себя одною этою близостью вознагражденным за потерю нынешнего дня. Он был счастлив, как любовник, дождавшийся ожидаемого свидания. Не смея оглядываться во фронте и не оглядываясь, он чувствовал восторженным чутьем его приближение. И он чувствовал это не по одному звуку копыт лошадей приближавшейся кавалькады, но он чувствовал это, потому что по мере приближения все светлее, радостнее и значительнее делалось вокруг него.

Все ближе и ближе подвигалось это солнце для Ростова, распространяя вокруг себя лучи кроткого и величественного света, и вот он уже чувствует себя захваченным этими лучами, он слышит его голос — этот ласковый, спокойный, величественный и вместе с тем столь простой голос.

Как и должно было быть по чувству Ростова, наступила мертвая тишина, и в этой тишине раздались звуки его голоса:

— Павлоградские гусары? — сказал вопросительно голос.

— Резерв, государь, — отвечал чей-то другой, грубый, плотский, столь человеческий, после того нечеловеческого голоса, который сказал: «Les hussards de Pavlograd».

Государь поравнялся с Ростовым и остановился. Лицо его было еще прекраснее, чем на смотру три дня тому назад. Оно сияло такою веселостью и молодостью, такою невинною молодостью, что напоминало ребяческую четырнадцатилетнюю резвость, и вместе с тем это было все-таки лицо величественного императора. Случайно, оглядывая эскадрон, глаза государя встретились с глазами Ростова и не более как на две секунды остановились на них. Понял ли государь все, что делалось в душе Ростова (Ростову казалось, что он все понял), но он посмотрел секунды две своими голубыми глазами в лицо Ростова (мягко, и кротко, и светло лился из них свет), потом вдруг он приподнял брови, резким движением



ем ударил левою ногою лошадь и галопом поехал вперед. Ростов едва переводил дыхание от радости.

Услыхав пальбу в авангарде, молодой император не мог воздержаться от желания присутствовать при сражении и, несмотря на все представления придворных, в двенадцать часов, отделившись от третьей колонны, поскакал к авангарду. Еще не доезжая до гусар, несколько адъютантов встретили его с известиями о счастливом исходе дела. Сражение было представлено как блестящая победа над французами, и потому государь и вся армия, особенно после того, как не разошелся еще пороховой дым на поле сражения, верили, что французы побеждены и отступили против своей воли. Несколько минут после того, как проехал государь, дивизион павлоградцев потребовали вперед. В самом Вишау Ростов еще раз увидал государя. На площади города, на которой была довольно сильная перестрелка, лежало несколько человек убитых и раненых, которых не успели подобрать. Окруженный своею свитою военных и невоенных, из которых особенно бросалась в глаза изящ-

ная фигура Адама Чарторижского, государь стоял на англезированной кобыле и, склонившись набок, грациозным жестом держа золотой лорнет у глаз, смотрел в него на лежащего ничком, без кивера, с окровавленной головою солдата. Солдат раненый был так груб, гадок, нечист, что Ростова оскорбляла близость его к государю. Ростов видел, как содрогнулись, как бы от пробежавшего мороза, сутулые плечи государя, как левая нога его судорожно стала бить шпорой бок лошади, которая равнодушно оглядывалась и не трогалась с места. Слезшие с лошадей адъютанты взяли под руки солдата и стали класть на явившиеся носилки. Солдат застонал.

— Тише, тише, разве нельзя тише, — видимо, более страдая, чем умирающий солдат, проговорил государь и отъехал прочь. Ростов видел слезы, наполнившие глаза государя и слышал, как он, отъезжая, по-французски сказал Чарторижскому: — Какая ужасная вещь война, какая ужасная вещь.

Ростов, забывшись, тронул лошадь и поехал за государем и опомнился только тогда, когда Денисов окликнул его.

Войска авангарда расположились впереди Вишау в виду цепи неприятельской, почти-тельно уступавшей нам место при малейшей перестрелке в продолжение всего дня. Авангарду объявлена благодарность государем, обещаны награды, и людям роздана двойная порция водки. Еще веселее, чем в прошлую ночь, трещали бивачные костры и раздавались солдатские песни. Денисов в эту ночь праздновал производство свое в майоры, и Ростов предлагал тост за здоровье государя, но не государя императора, как говорят на официальных обедах, а за здоровье государя, доброго, и обворожительного, и великого человека.

— Пьем за его здоровье и за верную победу над французом. Я не знаю, — говорил он, — коли мы прежде дрались, — говорил он, — и не давали спуску французам, как под Шенграбеном, что ж теперь будет, когда сам он впереди, мы все умрем, с наслаждением умрем за него. Так, господа? Может быть, я не так говорю, я много выпил, да, я так чувствую и вы тоже. За здоровье Александра Первого. Ура!

— Ура! — загудели воодушевленные голоса

офицеров. Старик Кирстен кричал воодушевленно и не менее искренно, чем влюбленный мальчик Ростов. Когда Ростов провозгласил тост, Кирстен в одной рубашке и рейтузах, с стаканом в руке подошел к солдатским кострам и в величественной позе, взмахнув кверху рукой, с своими длинными седыми усами и седеющей бородой на груди, видневшейся из-за распахнувшейся рубашки, остановился в свете костра.

— Ребята, за здоровье государя императора! За победу над врагами? Ура! — крикнул он своим молодецким старогусарским баритоном.

Гусары столпились и дружно ответили громким криком.

Поздно ночью, когда уже все разошлись, Денисов потрепал короткой рукой по плечу своего любимца Ростова:

— Вот на походе не в кого влюбиться, так он в царя влюбился, — сказал он.

— Денисов, ты этим не шути, — сердито крикнул Ростов. — Это такое высокое, такое прекрасное чувство.

— Верю, верю, дружок, и разделяю и пони-

маю.

— Нет, не понимаешь, — и Ростов встал и пошел бродить между костров, мечтая о том, какое было бы счастье уже не умереть, спасая жизнь (об этом он и не смел мечтать), а просто умереть на глазах государя. Он действительно был влюблен в царя, и в славу русского оружия, и в надежду будущего торжества, и не он один испытывал это чувство в те памятные дни, предшествовавшие Аустерлицкому сражению. Девять десятых русской армии людей в то время были влюблены, хотя и менее восторженно, в своего царя и в славу русского оружия.

## Х

На следующий день государь остановился в Вишау. Лейб-медик Вилье несколько раз был призываем к нему. В главной квартире и в ближайших войсках распространилось известие, что государь был нездоров. Он ничего не ел и дурно спал эту ночь. Как говорили приближенные, причина этого нездоровья заключалась в сильном впечатлении, произведенном на чувствительную душу государя видом раненых и убитых.

На заре 17-го числа в Вишау был препровожден с аванпостов французский офицер, приехавший под парламентерским флагом, требуя свидания с русским императором. Офицер этот был Савари. Государь только что заснул, и потому Савари должен был дожидаться.

В полдень он был допущен к государю и через час поехал вместе с князем Долгоруким на аванпосты французской армии.

Как слышно было, цель присылки Савари состояла в предложении мира и в предложении свидания императора Александра с На-

полеоном. В последнем было отказано, и вместо государя князь Долгорукий, победитель при Вишау, был отправлен вместе с Савари для переговоров с Наполеоном, ежели переговоры эти, против чаяния, имели целью действительное желание мира.

Ввечеру вернулся Долгорукий, и лицам, знавшим его, заметна была происшедшая с ним значительная перемена. После своей беседы с Бонапартом он держал себя как принц крови и ни с кем не говорил из приближенных к государю лиц о том, что происходило на этом свидании. Вернувшись, он прошел прямо к государю и долго пробыл у него наедине.

Несмотря на то, однако, в штабе распространились слухи о том, как Долгорукий достойно держал себя с Бонапартом, как он, чтобы не называть его Величеством, умышленно не называл его ничем, и как он вообще, отклонив предложение мира со стороны Бонапарта, отделал его. Австрийскому же генералу Вейротеру в присутствии посторонних Долгорукий сказал следующее:

— Или я ничего не понимаю, или он боит-

ся более всего в настоящую минуту генерального сражения. В противном случае для чего бы ему было требовать этого свидания, вести переговоры и, главное, отступить без малейшего замедления, тогда как отступление так противно всей его методе ведения войны. Верьте мне, его час настанет и очень скоро. А хороши бы мы были, слушая так называемых опытных стариков, князя Шварценберга и т. д. Несмотря на мое полное уважение к их заслугам, хороши бы мы были, все ожидая чего-то и тем давая ему случай уйти от нас или тем или другим способом обмануть нас, тогда как теперь он верно в наших руках. Нет, не надобно забывать Суворова и его правила: не ставить себя в положение атакованного, а атаковать самому. Поверьте, на войне энергия молодых людей часто вернее указывает путь, чем вся опытность старых пунктаторов.

17-го, 18-го и 19-го числа войска подвигались, и неприятельские авангарды после коротких перестрелок быстро отступали.

В высших сферах армии с полдня 19-го числа началось сильное, хлопотливое, возбужденное движение, продолжавшееся до утра



следующего дня, 20-го числа ноября, в который дано было столь памятное Аустерлицкое сражение. Сначала движение (оживленные разговоры, беготня, посылка адъютантов) сосредоточивалось в главной квартире императоров, потом, к вечеру, движение это передавалось в главную квартиру Кутузова и оттуда разносилось по всем концам и частям армии, и во мраке ноябрьской ночи поднялись с ночлегов, загудели говором, слышались командные слова, и в темноте заколыхалась, общая и передавая движение, громадным десятиверстным холстом восьмидесятитысячная масса войска. И двигались и действовали эти массы войска в продолжение всего памятного 20-го числа под влиянием толчка, данного в четвертом часу ввечеру, накануне, сосредоточенным движением главной квартиры императоров. Сосредоточенное движение это, давшее толчок всему дальнейшему, было похоже на первое движение срединного колеса больших башенных часов. Медленно двинулось одно колесо, повернулось другое, третье, и все быстрее и быстрее задвигались большие и большие колеса, блоки, шестерни,

барабаны, колокола и колокольчики, начали играть куранты, выскакивать фигуры, часы идут, бьют, и медленно, мерно подвигаются стрелки, показывая результат движения. Так же как и в часах, так же неудержимо и роковое движение, и так же независимо от первой причины движения среднего колеса, когда дан первый толчок. Так же безучастно молчаливы и неподвижны ближайšie колеса к движущимся за момент до передачи движения и так же в тот самый момент покорно следуют движению, как скоро оно доходит до них, свистят на осях колеса, цепляя зубьями, шипят от быстроты вертящиеся блоки, а соседнее колесо так же спокойно и неподвижно, как будто оно сотни лет готово простоять этою неподвижностью; но пришел момент, зацепило рычаг, и, покоряясь движению, трещит, поворачиваясь, колесо и сливается в одно действие.

Так же как и в часах результатом сложного бесчисленного движения орудий есть медленное, но равномерное движение стрелки, указывающей время, так и результатом всех сложных человеческих движений этих 160

000 русских и французов, всех страстей, желаний, раскаяний, унижений, гордости, страданий, страхов и восторгов этих людей есть проигрыш Аустерлицкого сражения, так называемого сражения трех императоров, то есть медленное передвижение всемирно-исторической стрелки на циферблате истории человечества.

Императоры и приближенные волновались надеждою и опасениями за исход завтрашнего дня и боялись преимущественно того, чтобы Бонапарт не обманул их, не отступил быстрым маршем в Богемию и лишил их верного успеха, который, казалось, все обещало. Люди, думавшие собственно о завтрашнем сражении (их было немного), были: сам государь, князь Долгорукий, Адам Чарторижский. Главной пружиной всего движения был Вейротер, его помощник был отягчен подробностями дела.

Он ездил на аванпост осмотреть неприятеля, диктовал по-немецки диспозицию, ездил к Кутузову и к государю и указывал ему на плане предполагаемое расположение и движение войск. Вейротер, как человек слишком

занятой, даже забывал быть почтительным с коронованными особами. Он говорил быстро, неясно, не глядя на лицо собеседника, не отвечал вдруг на делаемые ему вопросы, был испачкан грязью и имел вид самонадеянно гордый и вместе с тем растерянный. Он чувствовал себя во главе начатого движения, которое стало уже неудержимо. Он был, как запряженная лошадь, разбежавшаяся под крутую гору. Он ли вез, или его гнало, он не знал, но он несся во всю возможную быстроту, не имея времени думать о том, к чему поведет это движение. Большинство же людей в квартире императоров были заняты совсем другими интересами. В одном месте говорилось о том, что хотя и желательно было назначить генерала NN командиром кавалерии, это неудобно было потому, что австрийский генерал NN мог оскорбиться этим, а его надо было менажировать, так как он был в милости у императора Франца, и потому предполагалось дать NN звание начальника кавалерии крайнего левого фланга. В другом месте конфиденциально рассказывалось и шутилось о том, как граф Аракчеев отказался от назначе-

ния командующим одной из колонн армии.

— Что ж, по крайней мере, это откровенно, — говорили про него, — он прямо сказал, что его нервы не могут этого выдержать.

— Откровенно и наивно, — говорил другой.

Еще в другом месте старый, обиженный генерал доказывал свои права на командование отдельною частию.

— Я ничего не желаю, но, прослужив двадцать лет, мне обидно остаться без назначения и поступить под команду генерала моложе меня. — Старый генерал со слезами в голове уверял, что он желает одного — иметь возможность показать свое усердие государю императору, и действительно, старика нельзя было обидеть, и, попросив через того и того, для старика устраивали совершенно новое, совсем ненужное назначение.

Между австрийскими генералами шли соображения и переговоры о том, каким бы образом устроить так, чтобы австрийские начальники не были под командою русских и чтобы слава завтрашней победы не могла быть отнята самонадеянными русскими вар-

варами. Старались устроить так, чтобы в тяжелые, невидные места, в которых не предполагалось блестящих действий, посылать русских, а австрийцев приберегать для тех мест, где должна была решаться участь сражения. Еще в другом месте говорилось о том, как необходимо удержать императора Александра от высказанного им намерения и, сообразного его рыцарскому характеру, желания лично участвовать в деле и подвергать себя опасности. Сотни штабных хлопотали о том, как бы им завтрашний день находиться в свите императоров; некоторые только потому, что там, где будет император, менее всего опасности, некоторые из того соображения, что при императоре более всего будет награды. Делались предположения уже о том, куда отправятся войска после победы.

В восьмом часу ввечеру приезжал сам старик Кутузов в главную квартиру императоров, и в известном кружку одобрительно повторяли его разговор с графом Толстым, обергофмаршалом. «Император вас выслушает, скажите ему, что сражение будет проиграно», — сказал будто бы Кутузов с целью впе-

ред обеспечить себя от упреков и взвалить в случае неудачи всю вину на чужие плечи. Но неудачи нельзя было и не нужно было предвидеть, и потому весьма одобряли ответ графа Толстого: «Ах, любезный генерал, я занят рисом и пуляряками, а вы занимайтесь военными делами».

## XI

**В** десятом часу вечера Вейротер с своими планами переехал на квартиру Кутузова, где был назначен не столько военный совет, сколько окончательная отдача приказаний для завтрашнего дня. Все начальники колонн были вытребованы к главнокомандующему и все явились за исключением князя Багратиона, который был не в духе и отказался приехать под предлогом отдаленности расположения своего отряда. Он ворчал, что колбасники все перепутали, и говорил, что сражение будет проиграно.

Кутузов занимал небольшой дворянский замок около Остралиц.

В большой гостиной, сделавшейся кабинетом главнокомандующего, собрались члены

военного совета и пили чай, когда приехал ординарец Багратиона Ростов с известием, что князь быть не может.

— Так как князь Багратион не будет, то мы можем начинать, — сказал Вейротер, поспешно вставая с своего места и приближаясь к столу, на котором была разложена огромная карта окрестностей Брюнна и Аустерлица.

Кутузов, в расстегнутом мундире, из которого, как бы освободившись, выплыла из воротника его жирная шея, сидел в вольтеровском кресле, положив симметрично пухлые старческие руки на ручки, и почти спал, когда вошел князь Андрей. Он с усилием открыл единственный глаз и сквозь слюни проговорил:

— Да, да, пожалуйста, а то поздно. — Он кивнул головою, опустил ее и опять закрыл глаза.

Ежели первое время члены совета думали, что Кутузов притворялся спящим, то звуки, которые он издавал носом во время последующего чтения, доказывали, что в эту минуту для главнокомандующего дело шло о гораздо важнейшем вопросе, чем о желании выка-



зять свое презрение к диспозиции или к чему бы то ни было: дело шло для него о неудержимом удовлетворении человеческой потребности — сна. Он действительно спал. Вейротер с движением человека, слишком занятого для того, чтобы терять хоть одну минуту времени, начал резко, громким и однообразным тоном читать диспозицию будущего сражения под заглавием, которое он тоже прочел: «Диспозиция к атаке неприятельской позиции позади Кобельница и Сокольница, 20 ноября 1805 года».

Диспозиция была очень сложная и трудная. В оригинальной диспозиции значилось: «Так как неприятель опирается левым крылом своим на покрытые лесом горы, а правым крылом тянется вдоль Кобельница и Сокольница, позади находящихся там прудов, а мы, напротив, превосходим нашим левым крылом его правое, то выгодно нам атаковать сие последнее неприятельское крыло, особливо если мы займем деревни Сокольников и Кобельниц, будучи поставлены в возможность нападения на фланг неприятеля, и преследовать его в равнине между Шлапаницем и ле-

сом Тюрасским, избегая дефилеи между Шлапаницем и Беловицем, которою прикрыт неприятельский фронт. Для этой цели необходимо... Первая колонна марширует... вторая колонна марширует... третья колонна марширует...» — и т. д., пересыпаемое бесчисленным количеством собственных имен, которые, иногда останавливаясь, генерал Вейротер называл только тогда, когда он считал нужным указывать места на карте, находящейся тут.

Генералы, казалось, весьма неохотно и нелюбознательно слушали трудную диспозицию. Белокурый высокий генерал Буксгевден стоял, прислонившись спиною к стене, и, бессмысленно остановивши свои глаза на горевшей свече, казалось, не слушал и даже не хотел, чтобы думали, что он слушает. Прямо против Вейротера, устремив на него свои блестящие открытые глаза, в воинственной позе, оперев руки с выгнутыми локтями на колени, сидел румяный Милорадович, с приподнятыми усами и плечами. Он упорно молчал, глядя в лицо Вейротера, и спускал с него глаза только в то время, когда австрийский началь-

ник штаба замолкал. В это время Милорадович значительно оглядывался на других генералов. Но значения этого значительного взгляда нельзя было понять. Был ли он согласен или не согласен, доволен или недоволен диспозицией, нельзя было понять. Ближе всех рядом с Вейротером сидел граф Ланжерон и с тонкою улыбкой южного французского лица, не покидавшей его во все время чтения, глядел на свои нежные пальцы, быстро перевертывавшие за углы золотую табакерку с портретом. В середине одного из длиннейших периодов он остановил вращательное движение табакерки, поднял голову и с неприятной учтивостью на самых концах тонких губ перебил Вейротера и хотел возражать, но австрийский генерал, не прерывая чтения, сердито замахал руками, как бы говоря: потом, потом вы мне скажете свои мысли, теперь извольте смотреть на карту и слушать. Ланжерон поднял глаза кверху с выражением недоумения, оглянулся на Милорадовича, как бы ища объяснения, но встретив значительный, ничего не значащий взгляд Милорадовича, грустно опустил глаза и опять

принялся вертеть табакерку.

— Урок из географии, — проговорил он как бы про себя, но довольно громко, чтобы его слышали.

Пржебышевский с почтительной, но достойной учтивостью пригнув к Вейротеру ухо, имел вид человека, поглощенного вниманием. Маленький ростом Дохтуров сидел прямо против Вейротера со старательным и добросовестным скромным видом, очевидно пренебрегая неловкостью положения, добросовестно изучал диспозицию и неизвестную ему местность по разложенной карте. Он несколько раз просил Вейротера повторять нехорошо расслышанные им слова, и Вейротер исполнял его желание.

Когда чтение, продолжавшееся более часу, было кончено, Ланжерон, опять остановив табакерку и не глядя на Вейротера, сделал ему несколько возражений, но видно было, что цель этих возражений состояла единственно в желании дать почувствовать генералу Вейротеру, столь самоуверенно, как школьникам-ученикам, читавшему свою диспозицию, что он имел дело не с одними дураками, а с

людьми, которые могли и его поучить в военном деле. Когда замолк однообразный звук голоса Вейротера, Кутузов открыл глаза, как мельник, который просыпается при перерыве усыпительного звука мельничных колес, прислушался к тому, что говорил Ланжерон, и снова поспешно еще ниже опустил голову, как будто говоря: «А, вы все еще про эти глупости...»

Стараясь как можно язвительнее оскорбить Вейротера в его авторском военном самолюбии, Ланжерон доказывал, что Бонапарт легко может атаковать, вместо того чтобы быть атакованным, и вследствие того сделает всю эту диспозицию совершенно бесполезною.

— Ежели он мог атаковать нас, то он сделал бы это нынче.

— Вы, стало быть, думаете, что он бессилён? — сказал Ланжерон.

— Много, если у него сорок тысяч войска, — отвечал Вейротер с улыбкой доктора, которому лекарка хочет указать средства лечения.

— В таком случае он идет на свою поги-

бель, ожидая нашей атаки, — с тонкою иронической улыбкой сказал Ланжерон, за подтверждением оглядываясь опять на ближайшего Милорадовича.

Но Милорадович, очевидно, в эту минуту думал менее всего о том, о чем спорили генералы.

— Ей-богу, — сказал он, — завтра все увидим на поле сражения.

Вейротер усмехнулся опять тою улыбкой, которая говорила, что ему смешно и странно встречать возражения и доказывать то, в чем не только он сам слишком хорошо был уверен, но в чем уверены были им государи императоры.

— Неприятель потушил огни, и слышен непрерывный шум в его лагере, — сказал он. — Что это значит? Или он удаляется, чего одного мы должны бояться, или он переменяет позицию. — Он усмехнулся. — Но даже ежели бы он и занял позицию в Тюрасе, он только избавляет нас от больших хлопот, и распоряжения все, до малейших подробностей, остаются те же.

Кутузов проснулся, хрипло прокашлялся и

оглянул генералов.

— Господа! Диспозиция на завтра, даже на нынче, потому что уже первый час, не может быть изменена, — сказал он. — Вы ее слышали, и все мы исполним наш долг. А перед сражением нет ничего важнее, — он помолчал, — как выспаться хорошенько.

Он сделал вид, что привстает. Генералы откланялись и удалились.

## XII

**Б**ыл второй час ночи, когда Ростов, присланный к главнокомандующему от Багратиона, получил, наконец, переведенную и переписанную диспозицию для доставления князю Багратиону и на рысях, сопровождаемый гусарами, отправился к Позоржицу, нашему правому флангу.

Накануне Ростов не спал, находясь в фланкерской цепи авангарда, нынче он с вечера был назначен ординарцем Багратиона, и опять ему не удалось заснуть. Он дремал все время, пока писалась диспозиция, и огорчился, когда его разбудили, сказав, что готова и он может ехать. В первое время, сидя на ло-

шади, он очнулся.

Ночь была темная и облачная, почти полный месяц то скрывался, то опять показывался, открывая ему со всех сторон кавалерию и пехоту, в которых, очевидно, происходили приготовления. Несколько раз встречались ему скачущие адъютанты и верховые начальники, принимавшие его за другого и спрашивавшие его о том, какие он везет известия или приказания. Он отвечал, что знал, и спрашивал о том, что другие знали, и в особенности о государе, которого он всякую минуту думал встретить.

Проехав несколько верст и желая выгадать крюк, он сбился с дороги и заехал в середину костров пехоты. Он подъехал к одному, чтобы спросить дорогу.

Солдаты не спали, и большая толпа сидела и стояла около ярко пылавшего костра.

— Вали, брат, все равно, что ж, австрияку моему имуществу доставаться, — говорил один солдат, с размаху кидая крашеный стул на пламя костра.

— Нет, брат, постой, дай я на нем покуражусь, — сказал другой солдат, выхватывая



стул из огня и в значительной позе, подпираясь под бока, садясь на него. — Нут-ка, брат, как ты теперь обо мне судишь?

— Ребята, как на третью дивизию проехать? — спросил Ростов. (Он руководствовался не названием мест, а названием войск, так как войска покрывали всю его дорогу.)

Солдаты рассказали ему, что знали. Один молодой солдат, видимо, после борьбы нерешительности обратился к нему:

— Правда, ваше благородие, на завтра сражению быть?

— Правда, правда. А что, хочется? Сам государь командовать будет, — радостно сказал Ростов, но известие его не произвело большой радости. Солдаты помолчали. Ростов, отъехав несколько шагов, остановился послушать, что они будут говорить.

— Что ж, али у него генералов не хватило? — сказал солдат.

— В охотку, известно.

— Так-то, братец ты мой, как мы при Суворове по горам ходили, — начал говорить старый хриплый голос, — так мы, веришь ли, братец ты мой, подошли к пропасти, а внизу

кишмя кишит этот самый француз, так мы ружья похватали, на жопу сядешь, так и съедешь по снегу прямо до него, и ну лущить. Тот побили его тогда. Все тот же Бонапарт был.

— Тот еще злей был, говорят, — сказал другой голос. — Куды его денут, как поймают?

— Али в России места мало? — заметил другой.

— Ишь ты, и повозки запрягают, должно, скоро выступать.

Солдат, сидевший на стуле, встал и швырнул его в пылавший костер.

— И то, пускай никому не достается. Дай, поручик выйдет, и его балаган весь разберу.

Ростов тронул лошадь и поехал дальше. Проехав версты две между сплошной массой где собирающихся, где ужедвигающихся войск, в середине пехотного полка, в которую он заехал, немецкий офицер, колонновожатый, подъехав к нему, учтиво спросил, не знает ли он по-немецки и, получив утвердительный ответ, попросил его быть переводчиком перед батальонным командиром, к которому он имел дело. Батальонный командир засмеялся, когда Ростов с австрийцем подъехали к

нему, и тотчас же, не слушая Ростова, обращаясь к австрийцу, стал что есть силы кричать ему слова, которые, очевидно, ему очень нравились и которые он повторял уже много раз: «Нихт ферштейн, немец, не понимаю колбасного языка, немец». Ростов перевел ему слова австрийского офицера, но батальонный командир, смеясь, повторил еще несколько раз немцу свою любимую фразу и под конец сказал Ростову, что приказание, передаваемое австрийским колонновожатым, ему давно известно и уже исполнено. Батальонный командир тоже спросил о новостях, и Ростов рассказал слышанное им известие о личном командовании государя.

— Вот как, — сказал батальонный командир.

Ростов поехал далее. Вместо того, чтобы ехать по рядам войск, уже подъезжая к авангарду, он выехал вперед и поехал по цепи. Это было ближе. Проскакав с версту, он дал отдохнуть лошади и думал о своем любимом предмете мысли — о государе и о возможности ближе узнать его. «Вдруг еду в темноте, и он тут и скажет: „Поезжай узнай, что там!“ — По-

всюду поеду, поеду узнаю, привезу сведения. Он скажет...»

— Кто идет, говори, не то убью, — слышался ему вдруг крик часового.

Ростов вздрогнул и испугался.

— Георгий, Ольмюц, дышло, — отвечал он машинально лозунг нынешнего дня. «Экие скучные, подумать, как они не перепутаются». Он оглянулся вокруг себя и особенно вперил глаза в ту левую сторону, где был неприятель и куда он хотел идти, но ничего нельзя было видеть и тем страшнее было.

Месяц зашел за тучи.

«Где я? Уж не заехал ли я за цепь? — подумал Ростов. Ему стало страшно, хотелось спросить у гусара и совестно было. — Убьют ни за грош. А не нынче убьют, завтра убьют. Ох, скверно. Однако спать хочется, ужасно хочется». — Он с усилием открыл глаза.

Месяц вышел из-за туч. В левой стороне виднелся пологий освещенный скат и противоположный черный бугор, казавшийся крутым, как стена. На бугре этом было белое пятно, которого никак не мог понять Ростов: поляна ли это в лесу, освещенная месяцем, или

оставшийся снег, или белые дома? Ему показалось даже, что по этому белому пятну зашевелилось что-то. Но месяц опять зашел. «Выстрелит оттуда кто-нибудь и убьет. Напрасно я поехал, — думал Ростов. — Убьют, черт возьми, не нынче, так завтра, все равно. Только бы заснуть, да государя увидеть. Должно быть, снег — это пятно — une tache, tache, — думал Ростов. — Вот тебе и не таш. Наташа, сестра, черные глаза. На... ташка... Вот удивится, когда я ей скажу, как увидал я государя! Наташка... ташку возьми. Нихт ферштейн, немец, да». И он, опустившись головой до гривы лошади, поднялся. «Да, бишь, что я думал? — не забыть. Убьют завтра, нет, не то, это после. Да. На ташку наступить, наступить. Тупить нас — кого? Гусаров. А убьют все равно. А гусары и усы. По Тверской ехал этот гусар с усами, еще я подумал об нем, против самого Гурьева дома... Старик Гурьев. Неужели я буду старик, — гадко, гадко, старик, старик, старичок... А тут и молодого убьют все равно. Только бы государь за это не разлюбил. Да все это пустяки. Главное теперь — государь тут. Как он на меня смотрел, и хотелось ему что-

то сказать, да он не смел... Нет, это я не смел. Жалко, что убьют.

Я бы ему все рассказал. Солдаты-то ничего не сказали, только стул сожгли. И правда, все равно убьют. Да это пустяки, и главное — не забывать, что я нужное-то думал. Да. На ташку наступить. Да, да, да. Это хорошо». И он совсем было упал головой на шею лошади. Вдруг ему показалось, что стреляют в него и режут.

— Что? Что? Что, напали? Руби? Что? — заговорил, очнувшись, Ростов, в то же мгновение, как он открыл глаза, увидав перед собой яркий красный свет, и услышал протяжные крики тысячи голосов, как ему показалось в первую минуту, в десяти шагах от него со стороны неприятеля.

— Должно, он куражится, — проговорили солдаты, указывая влево. Далеко, гораздо дальше, чем показалось Ростову в первую минуту, он увидел на том самом месте, где ему казалось прежде что-то белое, он увидел распространяющиеся огни все по одной линии и услышал протяжные далекие крики, вероятно, несколько тысяч голосов французов.

— Ты думаешь, что это такое? — проговорил Ростов, стараясь успокоиться и обращаясь к гусару.

— Да так, радуются, ваше благородие.

Огни и крики продолжались с четверть часа.

«Что такое это может быть? — подумал Ростов. — Нападают они, пугают, или уверены, что победили уже кого-нибудь? Странно! Ну, да Бог с ними. Да что, бишь, государь мне говорил? Да, да.

На — ташку нас — тупить».

— Ваше благородие, вот генерал, — сказал гусар.

Ростов очнулся и увидел перед собой Багратиона. Багратион с князем Долгоруким, адъютантами, которые тоже выехали посмотреть на странное явление огней и криков неприятельской армии, и Ростов встретил их на аванпостах и передал бумагу начальнику.

— Поверьте, князь, — говорил Долгорукий, — что это больше ничего как хитрость, он отступил и в арьергарде велел зажечь огни и шуметь, чтобы обмануть нас.

«И что им за дело, — думал Ростов, падая

от сна, — все равно».

— Что ж, это может быть, — сказал князь Багратион, — да вот мы сейчас узнаем. — И князь Багратион распорядился послать казачью сотню в объезд, гораздо правее горевших огней. — Ежели шум и огни только в оставленном арьергарде, то это место направо, куда я посылаю казаков, должно быть уже не занято.

Через десять минут ожидания, во время которых все продолжались крики и огни на неприятельской стороне, в тишине ночи из того места направо, куда спустились казаки, послышалось несколько ружейных выстрелов, и казачья сотня, которой велено сейчас же отступить, если она встретит неприятеля, на рысях вышла из-под горы.

— Ого, вот как, — сказал князь Багратион, услыша выстрел, — нет, видно, еще не все ушли, князь. До завтрашнего утра. Завтра все узнаем, — сказал князь Багратион и поехал назад к дому, который он занимал.

«До завтра, завтра, — думал Ростов, следуя за генералами. — Завтра увидим, убьют нас или нет, а нынче спать». — И едва слезши с



лошади, он тут же, на крыльце князя Багратиона заснул, не сняв даже фуражки, облокотившись головой на перила.

Ежели бы взгляду Николая Ростова возможно было сквозь мрак осенней ночи проникнуть на ту сторону, где светились огни неприятеля, в то время, как он ехал по передовой линии, то в одном месте французских аванпостов, не более как на тысячу шагов отделенных от него, он бы увидел следующее: без бивуачных огней, в темноте, стояли козлы ружей пехоты, около них ходили часовые, и позади козел, на голой земле и на соломе, закутанные в плащи лежали французские солдаты, за кучкою солдат стояла палатка. У палатки стояла верховая лошадь и кавалерист. Молодой французский офицер вышел из палатки и кликнул сержанта. За ним вышел другой француз в адъютантской форме. Капралы крикнули сбор, и спавшие солдаты, потягиваясь, встали и через пять минут столпились около двух офицеров.

— Солдаты! Приказ императора! — провозгласил офицер, входя в круг толпящейся роты.

Пехотный солдат держал, прикрывая рукою, сальную свечку, чтобы осветить бумагу. Огонь заметался, задрожал и потух. Офицер прокашлялся, ожидая свечи. Солдат связал пук соломы, укрепив его на палке, зажег у костра, поднял над головою офицера, освещая его. Едва только догорал один пук, как зажегся другой, и офицер мог читать, не прерываясь, весь знаменитый приказ императора. В то время, как солдат увязывал пук соломы, адъютант сказал офицеру, державшему приказ:

— Ведь вот они, а нет возможности узнать, что там происходит, — сказал он, указывая на русских.

— Император все узнает, — ответил пехотный офицер. — Внимание!

И он стал читать приказ с некоторой напыщенностью, как на театре.

Во время чтения три верховые подъехали и остановились позади рядов солдат, слушавших приказ. По окончании чтения офицер взмахнул бумагой над головой и крикнул: «Да здравствует император!» — и солдаты дружно подхватили торжественный крик. В это вре-

мя всадник, в треугольной шляпе и серой шинели, выдвинулся вперед, в круг освещения горевшего пучка соломы. Это был император. Большинство солдат видали его лицо. И, несмотря на черную тень, падавшую на верхнюю часть его лица от треугольной шляпы, тотчас узнали и, расстраивая ряды, окружили его.

Крики усилились, так что непонятно было, как так мало солдат могли кричать так громко. Один из солдат вздумал зажечь еще два пучка соломы, чтобы более осветить лицо императора, другие последовали примеру первого солдата, по всей линии загорелись пучки соломы. Солдаты соседних рот и полков бежали к тому месту, где стоял император, и все более, более распространялся по линии свет зажженных пучков соломы, дружнее сливались и распространялись крики.

И это-то были те крики, огни, которые поразили в эту ночь не одного Ростова, Багратиона и Долгорукого, но все передовые полки русской армии, стоявшие уже на Аустерлицком поле.

Мы искали Наполеона и полагали застать

его в полном отступлении, мы боялись даже, что не успеем догнать его. Армия наша двигалась поспешно и беспорядочно (то, что было так подробно обдумано по планам и карте, далеко не могло быть так исполнено в действительности); и потому, в начале дня встретив французов и не успев занять ту позицию, которую предполагалось, мы не имели никакой позиции, исключая той, в которой застал нас рассвет. Наполеон же, получив ли изменническое сведение о нашем намерении или угадав его, выбрал перед Брюнном лучшую позицию и вместо того, чтобы отступить, как мы предполагали, выдвинулся вперед всеми массами своих войск к самой линии своих аванпостов.

Те огни и крики, которые поразили наших накануне, были крики приветствия императору и пуки зажженной соломы, с которыми бежали за ним солдаты, когда он объезжал аванпосты, приготавливая свои полки к сражению.

Накануне сражения, которым мы думали врасплох застать его, по французским войскам был прочтен следующий приказ Напо-

леона:

«Солдаты! Русская армия выходит против вас, чтобы отомстить за австрийскую, ульмскую армию. Это те же батальоны, которые вы разбили при Голлабрунне и которые вы с тех пор преследовали постоянно до этого места. Позиции, которые мы занимаем, — могущественны, и, пока они будут идти, чтоб обойти меня справа, они выставят мне фланг! Солдаты! Я сам буду руководить вашими батальонами. Я буду держаться далеко от огня, если вы, с вашею обычною храбростью, внесете в неприятельские ряды беспорядки и смятение; но ежели победа будет хоть одну минуту сомнительна, вы увидите вашего императора, подвергающегося первым ударам неприятеля, потому что не может быть колебания в победе, особенно в тот день, в который идет речь о чести французской пехоты, которая так необходима для чести своей нации.

Под предлогом увода раненых не растраивать ряды. Каждый да будет вполне проникнут мыслию, что надо

*победить этих наемников Англии, которые воодушевлены такою ненавистью против нашей нации. Эта победа окончит наш поход, и мы сможем возвратиться на зимние квартиры, где застанут нас новые французские войска, которые формируются во Франции; и тогда мир, который я заключу, будет достоин моего народа, вас и меня.*

*Наполеон».*

Итак, выгода в неожиданности вдвойне была на его стороне. Мы ждали выгоды своей позиции и своего неожиданного нападения и встретили его неожиданное нападение без всякой позиции. Все это не мешало тому, чтобы план атаки, составленный австрийцами, не был очень хорош, и чтобы мы не могли, в точности исполнив его, разбить правое крыло Наполеона, удержав центр, отбросить его в Богемские горы, отрезав от Венской дороги. Все это могло быть, ежели бы на нашей стороне было не количество войска, не новейшее смертельнейшее боевое орудие, не большой порядок в продовольствии войска, даже не искусство военачальников, но ежели бы на

нашей стороне было то, что нельзя взвесить, счесть и определить, но то, что всегда и везде при всех возможных условиях неравенства решало, решает и будет решать участь сражения, — ежели бы на нашей стороне была высшая степень настроенности духа войска.

Ночь была темная, облачная, изредка проглядывал месяц, костры пылали всю ночь в обоих лагерях, на расстоянии пяти верст друг от друга. В пять часов утра еще было совсем темно, войска центра, резервов и левого фланга стояли еще неподвижно, как на правом фланге зашевелились колонны пехоты, кавалерии и артиллерии, которые должны были первые опуститься с высот, атаковать французский левый фланг и отбросить его в Богемские горы. Дым от костров, в который бросали все лишнее, ел глаза. Было холодно и темно. Офицеры торопливо пили чай и завтракали. Солдаты пережевывали сухари, отбивали ногами дробь, согреваясь, и стекались против огней, в которые бросалось все деревянное, греться и закуривать.

Австрийцы колонновожатые, вызывая по-чему-то насмешки, сновали между русскими

войсками и служили предшественниками выступления: как только показывался австриец около полкового командира, все начинало шевелиться. Солдаты сбегались от костров в ряды, прятали в голенища трубочки и строились, офицеры обходили ряды, обозные и денщики запрягали, укладывали и увязывали повозки, по команде трогались и крестились, звучал топот тысяч ног, и колонны двигались, не зная куда и не видя от окружающих людей и от усиливающегося тумана новой местности, в которую они вступали.

Солдат двигается в полку, как моряк на корабле. Как бы далеко он ни прошел, в какие бы странные и опасные широты ни вступил он, вокруг него, как для моряка, все те же свои знакомые палубы, мачты, канаты, и так для солдата те же товарищи, ряды, штыки, начальство. Солдат редко интересуется знать те широты, в которых находится весь корабль его. Но в день сражения, бог знает как и откуда, в нравственном мире войска слышится одна для всех строгая нота, которая звучит приближением чего-то решительного и значительного. Солдаты возбужденно стараются



выйти из интересов своего полка, прислушиваются, приглядываются и жадно расспрашивают о том, что делается вокруг них. Туман стал так силен, что, несмотря на то, что рассветало, не видно было в десяти шагах перед собою. Кусты казались громадными деревьями, ровные места обрывами и скатами. Везде, со всех сторон, можно было столкнуться с невидимым в десяти шагах неприятелем. Но долго шли колонны все в том же тумане, спускаясь и поднимаясь на горы, минуя сады и ограды, по новой непонятной местности, нигде не сталкиваясь с неприятелем. Напротив, то впереди, то сзади, со всех сторон, узнавали, что идут по тому же направлению наши русские колонны. Каждому солдату приятно становилось на душе знать, что туда же, куда он идет, то есть неизвестно куда, идет еще много, много наших.

— Ишь ты, и курские прошли, — говорили в рядах.

— Страсть, братец ты мой, что войска нашего собралось! Вечор посмотрел, как огни разложили, конца краю не видать. Москва — одно слово!

Хотя никто из колонных начальников не подъезжал к рядам и не поговорил с солдатами (колонные начальники, как мы видели на военном совете, были не в духе и недовольны предпринимаемым делом и потому только исполняли приказания и не заботились повеселить солдат), несмотря на то, солдаты шли весело, как и всегда, идя в дело, в особенности в наступательное. Но, пройдя около часу все в густом тумане, большая часть войска должна была остановиться, и по рядам пронеслось неприятное чувство сознания совершающегося беспорядка и бестолковщины. Каким образом передается это сознание, весьма трудно определить; но несомненно то, что оно передается необыкновенно верно и быстро разливается, незаметно и неудержимо, как вода по лощине. Ежели бы русское войско было одно, без союзников, то, может быть, еще прошло бы много времени, пока это сознание беспорядка сделалось бы общею уверенностью; но теперь, с особенным удовольствием и естественностью относить причину беспорядков к бестолковым немцам, все убедились в том, что идет величайшая путаница, которую на-

делали колбасники.

— Что стали-то? Али загородили? Или уж наткнулись на француза?

— Нет, не слышать. А то палить бы стал.

— То-то торопили выступать, а выступили — стали бестолку посередине поля, — все немцы проклятые путают. Эки черти бестолковые.

— То-то я бы их и пустил наперед. А то небось позади жмутся. Вот и стой теперь не емши.

— Да что, скоро ли там. Кавалерия, говорят, дорогу загородила, — говорил офицер.

— Эх, немцы проклятые, своей земли не знают! — говорил другой.

— Вы какой дивизии? — кричал, подъезжая, адъютант.

— Восемнадцатой.

— Так зачем же вы здесь? Вам давно бы впереди должно быть, теперь до вечера не пройдете.

— Вот распоряжения-то дурацкие; сами не знают, что делают.

Потом проезжал генерал и сердито не по-русски кричал что-то.

— Тафа-лафа, — а что бормочет, ничего не разберешь, — говорил солдат, когда проехал генерал. — Расстрелял бы я их, подлецов!

— В девятом часу велено на месте быть, а мы и половины не прошли. Вот так распоряжения!

Причина путаницы заключалась в том, что во время движения австрийской кавалерии, шедшей на левом фланге, ведено было перейти на правую сторону. Несколько тысяч кавалерии продвигалось в голове пехоты, и пехота должна была ждать.

Впереди произошло столкновение между австрийским колонновожатым и русским генералом. Русский генерал раскричался до бешенства, требуя, чтобы остановлена была конница. Австриец доказывал, что виноват был не он, а высшее начальство. Войска между тем стояли, скучая и падая духом. Наконец, после часовой задержки, войска двинулись вперед и стали спускаться под гору. Туман, расходившийся на горе, только гуще растянулся в низах, куда спустились войска. Впереди, в тумане, раздался один, другой выстрел, и в лощине над речкою Гольдбахом началось

дело.

Не рассчитывая встретить внизу над речкою неприятеля и нечаянно в тумане наткнувшись на него, не слыша слова одушевления от высших начальников, с распространившимся по войскам сознанием, что было опоздано, и, главное, в густом тумане не видя ничего впереди и кругом себя, русские, лениво и медленно перестреливаясь с неприятелем, продвигались вперед и опять останавливались, не получая вовремя приказаний от начальников и адъютантов, которые блуждали по туману и незнакомой местности, не находя своих частей войск.

Так началось дело для 1-й, 2-й и 3-й колонны, которые спустились вниз. 4-я колонна, при которой находился сам Кутузов, стояла на Праценских высотах. В низах, где началось дело, был все еще густой туман, наверху прояснилось, но все не видно было ничего из того, что происходило впереди. Были ли все силы неприятеля, как мы предполагали, за десять верст от нас, или он был тут, в этой черте тумана, никто не знал до девятого часа.

### XIII

Было девять часов утра. Туман сплошным морем расстилался понизу, но на высоте, при деревне Шлапанице, на которой стоял верхом Наполеон, окруженный своими маршалами, было совершенно светло. Над ним было ясное голубое небо, и огромный шар солнца, как багровый пустотелый шар, плавал на поверхности молочного моря тумана. Не только все французские войска, но и сам Наполеон с штабом находился уже не по ту сторону деревень Сокольниц и Шлапаниц, за которыми мы намеревались занять позицию и начать дело, но по сю сторону, так близко от наших войск, что Наполеон простым глазом мог в нашем войске отличать конного от пешего. Наполеон стоял несколько впереди своих маршалов на той же серой лошади, в той же шинели и шляпе, в которых он был вчера на аванпостах. То же неподвижное, безучастное и величественное лицо озарялось теперь ярким светом утра. Он долго вглядывался в холмы, которые как бы выступали из моря тумана и по которым вдалеке двигались

русские войска, и прислушивался к звукам стрельбы в лощине. Его предположения оказывались верными.

Русские войска частью уже спустились в лощину к прудам и озерам, частью очищали те Праценские высоты, которые он намерен был атаковать и считал ключом позиции. Он видел на том острове, среди тумана, который составлял две горы, в углублении между которыми лежала деревня Працен, он видел, как в этом ущелье впереди и по обеим сторонам деревни, блестя, двигались русские штыки, и все по одному направлению к лощинам, и скрывались в море тумана. По сведениям, полученным ночью, по звукам колес и шагов, слышанным ночью на аванпостах, по беспорядочности движения русских колонн, по всем предположениям он ясно видел, что союзники считали его далеко впереди себя, что колонны, двигавшиеся близ Працена, составляли центр русской армии, что центр уже достаточно ослаблен, чтобы успешно атаковать его. Но он все еще не начинал дела.

Нынче был для него торжественный день годовщины его коронования. Перед утром он

задремал на несколько часов и, здоровый, веселый, свежий, в том счастливом расположении духа, в котором все кажется возможным и все удается, сел на лошадь и выехал в поле. Он стоял неподвижно, глядя на виднеющиеся из-за тумана высоты, и на прекрасном 36-летнем лице его был тот особый оттенок самоуверенного, заслуженного счастья, который бывает на лице 16-летнего влюбленного и счастливого мальчика. Маршалы стояли позади его и не смели отвлекать его внимание. Он смотрел то на Праценские высоты, то на выплывавшее из тумана солнце. Когда солнце совершенно вышло из тумана и ослепляющим блеском брызнуло по полям и туману (как будто он ждал только этого для начала дела), он, сняв перчатку, красивой белой рукой сделал знак маршалам. Они подвинулись к нему, и он отдал приказание начинать дело. Маршалы, сопровождаемые адъютантами, поскакали в разные стороны, и через несколько минут быстро двинулись главные силы французской армии к тем Праценским высотам, которые все более и более очищались русскими войсками, спускавшимися на-



лево в лощину, где сильнее и сильнее разгоралась бесполезная перестрелка.

Кутузов выехал верхом к Працену впереди четвертой колонны, той самой, которая должна была занять место колонны Пржебышевского и Ланжерона, спустившихся уже вниз. Он поздоровался с людьми переднего полка и отдал приказание к движению, показывая тем, что он сам намерен был вести эту колонну. Выехав к деревне Працен, он остановился, рассматривая будущее поле сражения.

Князь Андрей, в числе огромного количества лиц, составлявших свиту главнокомандующего, стоял позади его. Князь Андрей так много передумал и пережил в эту ночь, что, несмотря на то, что он не сомкнул в эту ночь глаза, он сам удивлялся своему спокойствию. В это утро он чувствовал, что его душевные способности не могли выходить за пределы наблюдения и физической деятельности (он все мог видеть, заметить, запомнить, не делая никаких соображений, и все мог сделать, но не более), и потому он чувствовал себя особенно готовым на все, что только может сде-

лать человек. Он стоял позади Кутузова и наблюдал вперед и вокруг себя.

Был девятый час утра, воздух был холодный, но сухой и резкий, хотя ветра не было. Туман, стоявший ночью, оставил на высотах только иней, переходивший в росу, в лощинах же он расстилался еще молочно-белым морем. Ничего не было видно в той лощине налево, куда спустились наши войска и откуда доносились звуки стрельбы. Над высотами было темное ясное небо и направо назади огромный шар солнца всплывал над туманом. Солнце казалось багровым пустотелым шаровидным поплавком, который колыхался, плавая на море тумана. Впереди, далеко, на том берегу туманного моря, виднелись выступающие лесистые холмы, на которых должна была быть неприятельская армия. Вправо виднелась вступающая в область тумана гвардия, гремевшая топотом и колесами и блестящая штыками; налево такие же массы кавалерии, пехоты и артиллерии подходили и скрывались в море тумана. Вблизи около себя князь Андрей видел все те же знакомые и неинтересные фигуры Козловского, Несвит-

ского и других. Впереди на невысокой лошади виднелась согнутая, сутуловатая спина Кутузова.

Кутузов в этот день казался князю Андрею совсем не тем человеком, каким он знал его в его хорошие минуты. Не было в нем этой скрытой беспечностью и старческим спокойствием тихой силы презрения к людям и веры в себя, которые любил в нем князь Андрей. Главнокомандующий казался ныне изнурен, скучен и раздражителен.

— Да скажите же, наконец, чтобы строились в батальонные колонны и шли в обход деревни, — сердито сказал он подначальственному генералу. — Как же вы не поймете, милостивый государь, что растянуться по этому дефилею улицы деревни нельзя, когда мы идем против неприятеля.

— Я предполагал развернуть фронт за деревней, ваше высокопревосходительство, — отвечал генерал.

Кутузов желчно засмеялся.

— Хороши вы будете, развертывая фронт в виду неприятеля, очень хороши!

— Ваше сиятельство, по диспозиции мы

должны еще пройти три версты до неприятельской линии.

— Диспозиция... — желчно вскрикнул Кутузов. — А это вам кто сказал?... Извольте делать, что вам приказывают.

— Слушаю-с!

— Ну, любезный, — сказал шепотом князю Андрею Несвицкий, тут же стоявший с своим всегда беспечным и плотским симпатичным видом, — старик сильно не в духе.

К Кутузову подскакал австрийский офицер с зеленым плюмажем в белом мундире и спросил от имени императора, выступила ли в дело четвертая колонна.

Кутузов, не отвечая ему, сморщившись, отвернулся, и взгляд его нечаянно попал на князя Андрея, стоявшего подле него. Кутузов, заметив Болконского, смягчил злое и едкое выражение взгляда, как бы сознавая, что этот адъютант не был виноват в том, что делалось. И, не отвечая австрийскому адъютанту, он обратился к Болконскому:

— Ступайте, мой милый, узнайте, поставлены ли стрелки, — сказал он. — Что делают, что делают! — проговорил он про себя, все не

отвечая австрийцу.

Стрелков действительно забыли рассыпать впереди колонны, и князь Андрей приказал ближайшему начальнику от имени главнокомандующего исполнить упущенное.

Туман уже совсем разошелся. Был десятый час утра, уже прошло более четверти часа после того, как Наполеон, которого мы считали за десять верст от себя, а который был со всей своей армией тут, в этом море тумана, расстилавшегося вокруг нас, дал приказание маршалам к атаке. Уже стрельба в лощинах на левом фланге становилась сильнее, чаще и слышнее, и лошади под Кутузовым и его свиты настораживали уши, прислушиваясь. А главнокомандующий, старчески и бессильно опустившись на седле своим тучным телом и распустив свои одутловатые щеки, сидел молча, опустив голову, и все не отдавал приказа двигаться 4-й колонне, при которой он находился.

В это-то время, в десятом часу, позади Кутузова слышались вдали звуки здоровающихся полков и стали быстро приближаться по всему протяжению растянувшейся линии

наступавших русских колонн. Видно было, что тот, с кем здоровались, ехал скоро. Когда закричали солдаты того полка, перед которым стоял Кутузов, он отъехал и оглянулся. По дороге из Працена скакал как бы эскадрон разноцветных всадников. Два из них скакали рядом впереди остальных. Один в черном мундире с белым султаном, на рыжей лошади, другой в белом мундире, на вороной лошади. Это были два императора со свитой. Кутузов, с аффектацией служаки, находящегося во фронте, скомандовал парад и салютовал императору. Вся его фигура и манера вдруг изменились. Он принял вид подначальственного, нерассуждающего человека. Он с аффектацией привычного изящества и почтительности, которая, очевидно, неприятно поразила императора Александра, подъехал, и салютовал, и рапортовал.

Неприятное впечатление, только как остатки тумана на ясном небе, пробежало по молодому и счастливому лицу императора. Он был, после нездоровья, несколько хуже в этот день, чем на Ольмюцком поле, где его в первый раз за границей видел Болконский;

но то же обворожительное соединение величавости и кротости было в его прекрасных серых глазах, и на тонких губах та же возможность разнообразных выражений и преобладающее выражение благодушной, невинной молодости.

На ольмюцком смотре он был величавее, здесь он был веселее и энергичнее. Он несколько раздумянулся, прогалопировав эти три версты, и, остановив лошадь, отдохновенно вздохнул и оглянулся на такие же молодые, такие же оживленные лица своей свиты. Тут был и красивая обезьяна Чарторижский, и оригинальная фигура Новосильцева, и князь Волконский, и Строганов, — все красивые, изящные, богато одетые молодые люди на прекрасных, выхоленных, свежих, только что слегка вспотевших лошадях. Император Франц, румяный круглолицый молодой человек, прямо державший голову, тело и ноги, на необычайно красивом вороном жеребце, имел спокойный и красивый вид. Он молча, высоко держа голову, оглядывался вокруг себя. Он спросил что-то с значительным видом у одного из своих белых адъютантов. «Верно,

в котором часу они выехали», — подумал с улыбкой, которой он не мог удержать, князь Андрей, с любопытством наблюдая своего старого знакомого. В свите императоров были отобранные молодцы-ординарцы, русские и австрийские, гвардейских и армейских полков. Между ними велись берейторами в расшитых пополах необычайной красоты запасные царские лошади.

Как будто через растворенное окно вдруг пахнуло свежим полевым воздухом в душную комнату, так пахнуло молодостью и энергией и уверенностью в успехе от этой прискакавшей блестящей молодежи. Так показалось князю Андрею, глядя на них. Такая сила порыва была в этой блестящей плеяде, что ничто, казалось бы, не могло устоять против нее. Отвернувшись от Кутузова, император Александр оглянул поле сражения, остановившись особенно на том месте, с которого слышались ружейные выстрелы, и по-французски, с улыбкой и сожалением, сказал что-то одному из своих приближенных. Князь Андрей был уверен, хотя он и не расслышал слов, что император выразил сожаление, что



по своему положению он лишен возможности быть там, в пылу огня, где решалась участь сражения, куда тянуло его внутреннее чувство.

— Что ж вы не начинаете, Михаил Ларионович? — с ласковой улыбкой обратился император Александр к Кутузову, в то же время учтиво взглянув на императора Франца.

— Я поджидаю, ваше величество, — отвечал Кутузов, почтительно наклоняясь вперед.

— Ведь мы не на Царицыном Лугу, Михаил Ларионович, где не начинают парада, пока не придут все полки, — сказал с мягким упреком государь, снова учтиво взглянув в глаза императору Францу, как бы приглашая его ежели не принять участие, то прислушаться к тому, что он говорит; но император Франц, продолжая оглядываться, кивнул головой.

— Потому и не начинаю, государь, — сказал Кутузов, по лицу которого волною пробежала морщина досады, — потому и не начинаю, государь, — сказал он резким и звучным голосом, — что мы не на параде и не на Царицыном Лугу.

В свите государя на всех лицах, мгновенно

переглянувшихся друг с другом, выразился ропот и упрек. «Как он ни стар, он не должен был бы, никак не должен бы говорить этак», — говорили эти лица.

Государь пристально, ласково и внимательно смотрел в глаза Кутузову, ожидая, не скажет ли он еще чего.

— Впрочем, если прикажете, ваше величество, — сказал Кутузов, снова изменяя тон на прежний тон тупого, нерассуждающего, но повинующегося генерала.

Он тронул лошадь и отдал приказание к наступлению.

Войско начало строиться, и два батальона Новгородского полка и батальон Апшеронский тронулись вперед мимо государя.

В то время как проходил Апшеронский батальон, странная, невольно поражающая своею подвижностью и напыщенностью фигура маленького генерала, без шинели, в мундире и орденах и с шляпой с огромным султаном, надетой набекрень и с поля, марш-марш выскакала вперед и, молодецки салютуя, осадил лошадь перед государем. Болконский не мог сразу в этом воинственном генерале, с

блестящими глазами и поднятым кверху лицом, узнать того Милорадовича, который так добросовестно старался не заснуть накануне вечером в военном совете.

— С Богом, генерал, — сказал ему государь.

— Ваше величество, мы сделаем все, что будет возможно сделать, — отвечал он весело, смело и торжественно, тем не менее вызывая весьма насмешливую улыбку у господ свиты государя своим дурным французским языком. Милорадович круто повернул свою лошадь и стал несколько позади государя.

Апшеронцы, возбуждаемые звуками стрельбы и присутствием государя, молодецким бойким шагом проходили мимо начальника.

— Ребята! — крикнул громким, самоуверенным и веселым голосом Милорадович, видимо, до такой степени возбужденный звуками стрельбы, ожиданием сражения и видом молодцов-апшеронцев, еще своих суворовских товарищей по итальянскому походу, что забыл о присутствии государя. — Ребята! Вам не первую деревню брать, — крикнул он и, толкнув лошадь, стремглав, опять салютуя

императору, поскакал вперед.

Лошадь государя шарахнулась от неожиданности. (Лошадь эта, носившая государя еще на смотрах в России, здесь на Аустерлицком поле несла своего седока, выдерживала его рассеянные удары левой ногой, настораживала уши от звуков выстрелов точно так же, как она делала это на Марсовом поле, не понимая значения ни этих слышавшихся выстрелов, ни соседства вороного жеребца императора Франца, ни всего того, что говорил, думал, чувствовал в этот день тот, кто ехал на ней.)

Государь улыбнулся одобрительно и тому воинственному неприличному поступку Милорадовича, и тому, что сделал один из апшеронских солдат, шедших на фланге. Солдат этот, услышав крик генерала, вздрогнув, хотел сам крикнуть: «Рады стараться», — но потом, видимо, раздумал, махнул рукой и молодецки подмигнул на скачущего Милорадовича. С этой улыбкой на лице в последний раз видел Болконский императора.

Кутузов, сопровождаемый своими адъютантами, поехал шагом за карабинерами.

Кутузов, с полверсты проехав в хвосте колонны, остановился впереди Працена, у одинокого заброшенного дома (вероятно, бывшего трактира), у разветвления двух дорог. Обе дороги спускались под гору. Хотя туман уже клоками носился над лощиной и солнце ярким косым светом обливало поля, леса и горы, неприятеля еще не было видно, и войска и начальство двигались нескоро, еще ожидая столкновения. Кутузов направил часть Новгородского полка по дороге налево, меньшую же часть Апшеронского батальона направо. Он разговаривал с австрийским генералом.

Князь Андрей, стоя несколько позади, наблюдал окружающих его генералов, русских и австрийских, и адъютантов. Ни один из них, а он всех их знал, не имел естественного вида, все одинаково старались принимать кто проницательный, кто воинственный, кто небрежный вид, но не натуральный. Один из адъютантов имел зрительную трубу и смотрел в нее.

— Посмотрите, посмотрите, — сказал он. — Это французы.

Два или три генерала и адъютанты стали

хвататься за трубу, вырывая ее один у другого, и все лица вдруг изменились и все стали естественны. На всех выразился испуг и недоумение. Князь Андрей, как по отражению в зеркале, видел на их лицах то, что происходило впереди.

— Это неприятель... нет. Да, смотрите. Они. Наверно. Что ж это? — слышались голоса.

Кутузов глядел в трубу и подошел к австрийскому генералу.

Князь Андрей поглядел вперед и простым глазом увидал внизу направо поднимавшуюся навстречу апшеронцам колонну французов не дальше 800 шагов от себя. Впереди шедшая батарея снялась с передков, открыла огонь, частая ружейная стрельба слышалась впереди, и на мгновение все закрылось дымом.

Воспоминание шенграбенской блестящей атаки живо возникло в воображении князя Андрея. Так же тогда шли французские войска в синих капотах и щиблетах, и так же навстречу им двинулись тогда киевские гренадеры, как теперь сходились с французами только что прошедшие мимо государя новго-

родцы и молодцеватые апшеронцы. Князю Андрею не могло прийти в голову, чтобы исход этой атаки мог быть другой, чем тот, при котором присутствовал он при Шенграбене, и он с уверенностью ждал сначала залпа французов, потом «ура» и бегства французов и нашего преследования. Но все было застлано дымом, и стрельба сливалась в один звук, и ничего нельзя было разобрать. Мимо корчмы бежали вперед пехотные русские солдаты. Это продолжалось не больше двух минут. Но вот впереди стрельба стала приближаться, вместо того чтобы удаляться, и, к крайнему удивлению своему, князь Андрей почувствовал, что Кутузов сделал жест отчаяния. Один раненый солдат пробежал с криком боли мимо корчмы, другой, третий, и толпы солдат с офицером пробежали за ним, сбивая с дороги Кутузова и его свиту. Смешанные русские и австрийские все увеличивающиеся толпы бежали назад к тому месту, где пять минут тому назад войска проходили мимо императора. Болконский оглядывался, недоумевая и не в силах понять того, что делалось перед ним.

Он искал глазами лицо Кутузова, чтобы

получить объяснение того, что делалось перед ним. Но Кутузов что-то быстро, с жестами, задом стоя к Болконскому, говорил близ стоявшему генералу. Несвицкий, который был послан вперед, с озлобленным лицом, красный и на себя не похожий, кричал, что войска бегут, и умолял Кутузова ехать назад, утверждая, что ежели он его не послушает, то через пять минут будет взят в плен французами, которые находятся уже в двухстах шагах под горой. Кутузов не ответил ему, и Несвицкий с таким видом озлобленности, которой не только никогда не видал, но и не мог в нем предполагать князь Андрей, обратился к нему.

— Я не понимаю, — кричал он, — все бежит, надо уезжать или нас всех перебьют или передерут, как баранов.

Князь Андрей, едва удерживая дрожание нижней челюсти, подъехал ближе к Кутузову.

— Остановите их, — кричал главнокомандующий, указывая на офицера апшеронского полка, который, подобрав плащ, рысью бежал мимо него с все более и более увеличивающейся толпой. — Что это? Что это?



Князь Андрей поскакал за офицером и, нагнав его, закричал:

— Разве вы не слышите, милостивый государь, что главнокомандующий приказывает вам вернуться.

— Да, вишь, ловок больно, поди-ка сам сунься, — грубо проговорил офицер, видимо, под влиянием панического страха потерявший всякое сознание о высшем и низшем и о всякой субординации. В это же время на князя Андрея побежал, в числе других, солдат и, прикладом ударив его лошадь в брюхо, положил себе дорогу, и толпа, увеличиваясь, продолжала бежать прямо на Працен, на то место, где стояли императоры и их свита.

Войска бежали такой густой толпой, что раз попавши в середину толпы, трудно было из нее выбраться. Кто кричал: «Пошел! Что замешался», — кто, тут же оборачиваясь, стрелял в воздух, кто бил лошадь, на которой ехал князь Андрей. Болконский скоро понял, что нечего и думать остановить этих бегущих и что одно, что он мог сделать, это ему самому выбраться из этой давки, где всякую минуту он рисковал быть сбитым с лошади, задавлен-

ным, застреленным, и присоединиться к главнокомандующему, с которым он мог надеяться погибнуть достойно. С величайшими усилиями выбравшись из потока толпы влево, он обскакал по кустам, примыкавшим к дороге, увидел впереди в середине батальона пехоты плюмажи свиты Кутузова и присоединился к ним.

В свите Кутузова за эти пять минут отсутствия все переменялось. Кутузов, слезши с лошади, стоял, опустив голову, подле еще не расстроенного Новгородского батальона, несколько правее дороги, и отдавал приказание генералу, стоявшему перед ним верхом, с рукой у козырька.

— Все, что застанете, все сюда. Ступайте! Генералу Милорадовичу скажите! — крикнул Кутузов. Адъютант поскакал догонять генерала, не слыхавшего этих последних слов.

Вокруг Кутузова стояли господа его свиты, которых число уменьшилось более чем вдвое. Некоторые были пешими, некоторые верхом. Все были бледны, перешептывались, глядели вперед и обращались беспрестанно к главнокомандующему, умоляя его отъехать. Глаза

всех были преимущественно устремлены на русскую батарею, которая стояла впереди влево и одна без прикрытия стреляла по французам, подходившим к ней уже не далее 150 шагов. В то время как князь Андрей подъехал, Кутузов с трудом, подсаживаемый казаком, сел на лошадь. Севши на лошадь, наружность Кутузова изменилась, он, казалось, проснулся, тонкие губы сложились в выражении, единственный глаз его блестел сосредоточенным ясным блеском.

— Ведите в штыки. Ребята!!! — крикнул Кутузов полковнику, стоявшему возле него, и сам вперед тронул лошадь. Ядра беспрестанно с странным свистом перелетали через головы Кутузова и его свиты, и, в то время как он тронулся вперед, как рой птичек, со свистом пролетели пули по батальону и свите, задев несколько человек. Кутузов взглянул на князя Андрея. И этот взгляд польстил Болконскому. В коротком взгляде, который Кутузов бросил на своего любимого и предпочитаемого адъютанта, Болконский прочел и радость его видеть в эту решительную минуту, и совет мужаться и быть готовым на все, как буд-

то сожаление о его молодости. «Мне, старику, это легко и весело, но тебя мне жалко», — будто говорил взгляд Кутузова. Все это, без сомнения, представлялось только воображению князя Андрея, ему думалось с чрезвычайною ясностью тысячи тонких оттенков мыслей и чувств, он только наблюдал, но не думал в эту минуту о том, о чем он так долго и мучительно думал: о том, что теперь-то и наступает минута сделать великое или умереть молодым и неизвестным.

Батальон тронулся, и Кутузов, выждав несколько минут, галопом поехал за ним. Но, не доехав еще до батальона, князь Андрей увидел, как Кутузов рукою схватился за щеку и из-под пальцев его потекла кровь.

— Ваше сиятельство! Вы ранены, — сказал Козловский, с своим мрачным и непредставительным видом, все время ехавший подле Кутузова.

— Рана не здесь, — сказал Кутузов, останавливая лошадь и доставая платок, — а вот где, — он указал вперед на все подвигавшиеся колонны французов и на батальон, который остановился.

Тем же залпом, которым ранен был Кутузов, ранен был батальонный командир, стоявший впереди, убито несколько солдат и подпрапорщик, несший знамя. Батальонный командир упал с лошади. Знамя зашаталось и, падая, задержалось на ружьях соседних солдат. Передние ряды стали, и несколько выстрелов без команды послышались в рядах его. Кутузов прижал красневший от крови платок к раненой щеке.

— Ааа! — промычал как бы от боли Кутузов, ударил шпорами лошади и вскакал в середину батальона.

За ним оставались в это время только князь Андрей и Козловский.

— Стыдно, ребята, стыдно, — закричал Кутузов с невольным выражением страдания в голосе, бросая платок на землю.

Но солдаты с недоумением оглядывались.

— Вперед, ребята!

Солдаты, не двигаясь, стреляли и не шли на батарею, которая уже переставала стрелять и от которой в равном расстоянии не более 100 шагов были спереди французы и сзади наши. Но французы шли, а наши стояли,

стреляя. Очевидно было, что участь сражения зависела оттого, кто решительнее бросится к этим пушкам.

— Оох, — с выражением отчаяния промычал еще раз Кутузов, и, взглянув машинально на окровавленный платок, он, как бы вспомнив свое молодое время, свой Измайловский штурм, вдруг выпрямился, блеснул единственным глазом и поскакал вперед. — Ура! — закричал он голосом, который очевидно, по слабости и старческой хриплости своей, не отвечал всей энергии его настроения. Услыхав свой голос и почувствовав свое физическое бессилие, он, как бы отыскивая помощи, с сверкающим опущенным зрачком целого глаза и с зверским совершенно изменившимся выражением лица оглянулся на адъютантов.

Козловский первый попался ему. Он обжег его взглядом и остановился на князе Андрее.

— Болконский, — прошептал он дрожащим от сознания своего старческого бессилия голосом. — Болконский, — прошептал он, указывая на расстроенный батальон и на непри-

ателя. — Что же это?

Но прежде, чем он договорил это слово, князь Андрей, чувствуя также слезы стыда, злобы и восторга, подступавшие ему к горлу, уже двинулся вперед, чтобы исполнить то, чего от него ждал Кутузов и к чему он так давно готовился. Он толкнул лошадь, обскакал Кутузова, и, подъехав к упавшему знамени, спрыгнул, сам не помня как, с лошади и поднял знамя.

— Ребята, вперед! — крикнул он детски-пронзительно. Лошадь, почувствовав себя на свободе, фыркающая и задрала хвост, маленькой и гордой рысцой побежала из рядов батальона. Только что князь Андрей схватил древно знамя, как в то же мгновение десять пуль прожужжали мимо его, но он был цел, хотя несколько солдат упало около него.

— Ура! — закричал князь Андрей и побежал вперед с несомненной уверенностью, что весь батальон побежит за ним. И действительно, он пробежал один только несколько шагов. Тронулся один, другой солдат и весь батальон с криком «ура» побежал вперед.

Никто из знавших князя Андрея не пове-

рил бы теперь, глядя на его бодрый решительный бег и счастливое лицо, что это был тот самый князь Болконский, который с такою усталостью волочил свои ноги и речи по петербургским гостиным, а это был именно он, настоящий он, испытавший в эту минуту высшее наслаждение, испытанное им в жизни. Унтер-офицер батальона, подбежав, взял колебавшееся в руках князя знамя, но тотчас же был убит. Князь Андрей опять подхватил знамя и, положив его через плечо, бежал вперед, не давая перегонять себя солдатам. Князь Андрей уже был в двадцати шагах от орудия, он бежал вперед с своим батальоном под сильнейшим огнем французов, обегая падавших вокруг него, но и тут, в эту минуту, он не думал о том, что ему предстояло, а невольно яркими красками отпечатывались только в его воображении все окружающие впечатления. Он до мельчайшей подробности видел и помнил фигуру и лицо рыжего артиллериста, тянущего с одной стороны банник, тогда как французский солдат тянул его к себе за другую сторону. Немного подалее солдата, посередине четырех орудий, он видел стоявшие-



го с виноватым и сконфуженным видом того самого Тушина, который так поразил его под Шенграбенем. Тушин, видимо, не понимал значения минуты а, как бы забавляясь комизмом своего положения, улыбался глупою, жалкою улыбкой, точно такую же, какою он улыбался, стоя без сапог в деревне Грунте у маркитанта перед дежурным штаб-офицером, и глядел на подходивших к нему французов с угрожающе перевешенными ружьями. «Неужели убьют его, — подумал князь Андрей, — прежде, чем мы успеем подбежать?» Но это было последнее, что видел и думал князь Андрей. Вдруг, как бы со всего размаха крепкой палкой, кто-то из ближайших солдат ударил его в левый бок. Немного это больно было, а главное, неприятно, потому что боль эта отвлекла его от столь интересных в это время наблюдений. Но вот странное дело: ноги его попадают в какую-то яму, подкашиваются, и он падает. И вдруг ничего нет, кроме неба — высокого неба с ползущими по нем серыми облаками — ничего, кроме высокого неба. «Как же я не видал прежде этого высокого неба? — подумал князь Андрей. — Я бы

иначе думал тогда. Ничего нет, кроме высоко-го неба, но того даже нету, ничего нет, кроме тишины, молчания и успокоения».

Когда упал князь Андрей, батальон опять смешался и побежал назад, увеличивая смятение задних. Толпа набежала на императоров и их свиту, увлекая их за собой на ту сторону высот Працена. Никто не мог не только остановить этого бегства, но даже и узнать от бегущих причину его. В свите императоров этот панический страх, усиленный еще более передачею и неизвестностью, дошел до такой степени, что в пять минут от всей этой блестящей свиты императоров при Александре не осталось никого, кроме его лейб-медика Вилье и берейтора Эне.

## XIV

План сражения под Аустерлицом был следующий: русские войска, центр которых составляла 4-я колонна, та, при которой находились императоры, левое крыло, войска Буксгевдена, и правое, отряд Багратиона. Русские войска должны были, зайдя левым плечом вперед, стать в оборот направо, составив прямой угол, одну сторону которого составляли бы первая, вторая, третья и четвертая колонны, а другую сторону — отряд Багратиона. В этом прямом угле, по предположению союзников, должны были быть заключены и атакованы неприятельские войска. Но вместо того, чтобы ожидать наступления союзников в одной массе, Бонапарт, предупредив их, выступил вперед, атаковав самый тот угол, который составлял две линии союзников, в пункте Праценских высот, и, пробив этот угол, разорвал армию на две части, из которых одна, и большая часть, наше левое крыло, находилось в низах между прудами и ручьями. Атака нашего левого фланга была слаба, не единовременна и недостаточно энергична,

потому что, по непредвиденным обстоятельствам, колонны были задержаны на марше и приходили по несколько часов позже своего назначения. (Непредвиденных обстоятельств случается обыкновенно тем более, чем постыднее бывает проиграно сражение.) Все эти правильно повторившиеся непредвиденные обстоятельства сделали то, что эти двадцать пять тысяч русских в продолжение двух часов были удерживаемы одною шеститысячною дивизией Фриана, и Наполеон имел возможность обратить все свои силы на тот пункт, который ему казался важнее других, именно на Праценские высоты.

В центре, где находилась вся гвардия, правее должна была стоять австрийская кавалерия и резерв гвардии, но по непредвиденным обстоятельствам австрийская кавалерия не стояла на своем месте, и гвардия очутилась в первой линии. Гвардия выступила в назначенное ей время с распущенными знаменами, музыкой и необыкновенной исправностью одежды и в идеальном, мечтательном порядке. Громадные тамбурмажоры, махая и подбрасывая свои палки, шли перед музыкой,

кавалерийские офицеры гарцевали на тысячных лошадях, пехотные скромно, так же, как и все солдаты, шли на своих местах и отбивали шаг на всем протяжении полка в ногу и по одному темпу. Великий князь Константин Павлович в белом кавалергардском колете и блестящей золотой каске ехал впереди конной гвардии.

Гвардия переправилась через ручей у Вальк-Мюлле и остановилась, пройдя с версту по направлению к Блазовицу, где уже должен был находиться князь Лихтенштейн. Впереди гвардии виднелись войска, принятые у нас сначала за колонну князя Лихтенштейна. Цесаревич построил гвардейскую пехоту в две линии развернутым фронтом: в первой стали полки Преображенский и Семеновский, имея перед серединою артиллерийскую роту имени великого князя Михаила Павловича, во второй — Измайловский полк и гвардейский егерский батальон. На правом фланге батальонов было по два орудия. Позади пехоты расположились лейб-гусары и конная гвардия. Впереди гвардии по диспозиции должна была находиться австрийская кавалерия. Как

вдруг из войск, видневшихся впереди и принимаемых за австрийцев, пролетело ядро и смутило не только их, но и весь гвардейский отряд и его начальника великого князя. Войска, видневшиеся впереди, были не наши, а неприятель, который не только стрелял, но и наступал прямо на нравственно не подготовленную к делу гвардию. Здесь, в центре, точно те же неизбежные, но непредвиденные обстоятельства сделали то, что австрийская кавалерия, долженствовавшая стоять перед гвардией, должна была отойти, так как место, на котором она была поставлена, перерытое ямами и оврагами, было невозможно для кавалерийских действий; вследствие этого-то гвардия неожиданно и непредвиденно попала в дело и, несмотря на блестящие атаки преображенцев и кавалергардов, как говорят военные историки, должна была весьма скоро отступить по тому же направлению, по которому из Працена отступали другие колонны.

Багратион по диспозиции должен был последний, со своим правым флангом, ударить на неприятеля и довершать его поражение,

но весьма скоро было замечено, что не только неприятель не был разбит во всех других пунктах, но наступал, и потому князь Долгорукий ограничился защитою и отступлением. Как при Шенграбене, князь Багратион медленно ездил на своей белой кавказской лошади перед рядами войск, точно так же как и там, очень мало командовал и распоряжался, и, так же как и там, действия его правого крыла спасли всю армию, и он отступил в совершенном порядке.

## XV

В начале сражения, не желая согласиться на требование Долгорукого начинать дело, князь Багратион предложил послать с вопросом этим своего дежурного ординарца Ростова к главнокомандующему. Багратион знал, что по расстоянию почти десять верст, отделявших один фланг от другого, ежели Ростова не убьют, что было очень вероятно, и ежели он даже найдет главнокомандующего, что было весьма трудно, он не успеет вернуться ранее вечера.

— А ежели я встречу императора прежде,

чем главнокомандующего, ваше сиятельство? — сказал Ростов, держа руку у козырька.

— Можете передать его величеству, — поспешно перебивая Багратиона, сказал Долгорукий.

Ростов скакал, не думая об опасности и не помня себя от счастья. Успев соснуть несколько часов перед утром, Ростов чувствовал себя веселым, смелым, решительным, с тою упругостью движения, уверенностью в своем счастье, в том расположении духа, в котором все кажется возможно и легко. Он не вспоминал о своих вчерашних мечтаниях близости к императору, но эти мечтания были так живы, что они оставили в его воображении следы действительного прошедшего. Он не думал теперь ни об опасности своей, ни о неудаче в сближении с императором, ни еще менее о возможности общей неудачи нашего оружия. Государь был с своими войсками, день был ясный, веселый, на душе было радостно и счастливо. «Однако разобрались же, не перепутались», — думал он, обскакивая стройно выравнивавшиеся эскадроны кавалерии Ува-



рова, которая еще не вступала в дело. Впереди себя он слышал дальнюю стрельбу, которая в свежем утреннем воздухе, раздаваясь с неравными промежутками по два, по три выстрела, была похожа на неладившуюся молотьбу цепами и не вызывала никакого неприятного или страшного чувства. Это были веселые звуки. Впереди ему виднелись двигавшиеся массы пехоты. И как вчера ему ночью все казалось путаницей, так нынче он твердо верил в то, что все это обдуманно-передумано, что каждый знает свое место и дело и что, как бы там это ни было, а все будет очень хорошо. Чем дальше он ехал, тем слышнее становилась стрельба и менее видно было ему впереди. Подъезжая к гвардии, он заметил нескольких отделившихся всадников, которые скакали как будто к нему. «Тут недалеко должен быть и государь и Кутузов», — подумал он и тронул лошадь по направлению к всадникам. Это были наши лейб-улань, которые расстроенными рядами возвращались из атаки и что-то везли на лошади, что-то мертвое и кровавое.

Ростов поворотил лошадь влево и поска-

кал что было мочи.

— «Мне до этого дела нет, — подумал он. — Надо скорей, скорей найти главнокомандующего». Не успел он проехать несколько сот шагов, как влево от него, наперерез ему, показалась на всем протяжении поля огромная масса кавалеристов на серых и вороных лошадях в белых мундирах, латах, кирасах и касках, которые на больших рысях шли прямо на него. Это была атака двух эскадронов кавалергардов против французской конницы. Ростов пустил лошадь во весь скок для того, чтобы уехать с дороги этих эскадронов, которые все прибавляли рыси, и на всем скаку могли задавить его. Уже слышен был гул, страшный гул с брянчанием, этот похожий на ураган звук приближающейся конницы, уже кавалергарды более половины скакали, едва удерживая рьяных лошадей. Ростов видел их красные разгоревшиеся лица, уже послышалась команда «марш, марш», когда Ростов едва-едва успел миновать их. Крайний фланговый кавалергард, огромный ростом мужчина, с широкоскулым лицом, мрачный, с остервенением приподнял палаш, как будто бы он

хотел рубить и его. Этот кавалергард непременно сбил бы с ног Ростова с его Бедуином (Ростов сам себе казался таким маленьким и слабеньким в сравнении с этими громадными людьми и лошадьми), ежели бы он не догадался взмахнуть нагайкой в глаза его лошади. Серая яблоками тяжелая пятивершковая лошадь, казавшаяся столько же растерянною и взволнованною, как ее седок, шарахнулась, приложив уши, но рябой кавалергард всадил ей с размаху в бока огромные шпоры, и лошадь, взмахнув хвостом и вытянув шею, понеслась еще быстрее. Едва кавалергарды миновали Ростова, он услышал их крик «ура!» и, оглянувшись, увидел, что передние ряды их уже смешивались с чужими, вероятно, французскими кавалеристами в красных эполетах.

Это была та блестящая атака кавалергардов, которой удивлялись сами французы, и Ростову страшно было слышать потом, что из всей этой массы огромных красавцев людей, из всех этих блестящих, на тысячных лошадях, богачей юношей, офицеров и юнкеров, столь полных красоты, силы и жизни, из всего эскадрона после атаки осталось только во-

семнадцать человек.

Но в ту минуту, как Ростов счастливо миновал опасность быть задавленным, он позавидовал кавалергардам. Позавидовал, но в ту же минуту мысль о том, сколько еще опасностей предстоит ему, какое счастье может быть и даже наверное будет (он был уверен в этом) говорить с самим государем, он, не оглядываясь, поскакал по направлению к левому флангу, где, по слухам, надеялся найти высшее начальство. Проезжая мимо гвардейской пехоты, он и не думал о своем друге Борисе, когда услышал голос, называвший его по имени и спрашивавший, что делалось в их отряде.

— Я уже давно оттуда, кажется, хорошо, — крикнул Ростов, приостанавливая лошадь.

— А мы, брат, в первую линию попали, — с неопределенной улыбкой сказал покрасневшийся Борис.

— Что же, хорошо? — спросил Ростов.

— Отбили, — крикнул кто-то.

Ростов, веселый, поскакал дальше.

Проехав гвардию, он впереди себя по дороге услышал стрельбу в том месте, где был наш

арьергард и где не мог быть неприятель. «Что это может быть? — подумал Ростов. — Не неприятель же это. Не может быть. Они, — подумал он вообще о начальстве, — знают, что делать». Однако он должен был преодолеть себя, чтобы въехать в те войска, в которых была слышна и видна стрельба и крики, еще теперь продолжавшиеся.

— Что такое? Что такое? — спрашивал Ростов, равняясь с толпами русских и австрийских солдат, бежавшими перемешанными толпами наперерез его дороги.

Что такое? Что такое? — отвечали ему по-русски, по-немецки и по-болгарски толпы бегущих, не понимавших, точно так же как и он, того, что тут делалось.

— По австрийцам стреляли, — кричал один. — А черт их дери, изменников.

— Сам сунься. Сбиты? Ну, к черту.

Ругательства, крики заглушали друг друга. Ростову велено было отыскивать Кутузова у деревни Працен, и еще с правого фланга ему показывали Праценскую гору и немецкие церкви. Теперь он стоял против нее и, не веря своим глазам, смотрел на французские ору-

дия и войска, стоявшие вокруг этой деревни.

Узнав от одного офицера, что Праценские высоты взяты французами, батареею которых он видел простым глазом, Ростов постарался обскákat бегущих и выехать на путь отступления. Выехав на главный путь отступления или бегства центра русской армии, он увидел картину еще большего смятения и беспорядка. Коляски, экипажи всех сортов, солдаты, русские и австрийские, всех родов войск, раненые и убитые, — все это смешанно копошилось под мрачный звук летавших среди ясно-го солнечного полдня ядер с французских батарей, поставленных на Праценских высотах.

— Где государь? Где Кутузов? — спрашивал Ростов у всех, и ни от кого не мог получить ответа.

— Э, брат! Уж давно все там впереди, удрали, — сказал Ростову один солдат, смеясь чему-то.

Другой, очевидно денщик или берейтор важного лица, объявил Ростову, что государя с час тому назад провезли во весь дух в карете по этой дороге, и что государь опасно ранен.

— Не может быть, — сказал Ростов, — верно, другой кто.

— Я сам видел, ваше благородие, — сказал денщик с самоуверенной усмешкой. — Уж мне-то пора знать государя, кажется, сколько раз в Петербурге вот так-то видал. Бледный-пребледный, в карете сидит, а Илья Иваныч на козлах сидит. Четверню вороных как припустит, батюшки мои, мимо нас прогремел. Пора, кажется, и царских лошадей, и Илью Иваныча знать, кажется, с другим, как с царем, Илья-кучер не ездит.

В отчаянии, убитый утверждением значительного денщика, Ростов поехал дальше, надеясь отыскать кого-нибудь из начальников и через него Кутузова. Известие, переданное денщиком, имело некоторое основание. Действительно, видели, как царский кучер Илья на четверке промчал кого-то бледного в карете, но это был не государь, а гофмаршал граф Толстой, выехавший, тоже как и другие, полюбоваться победою над Бонапартом.

— Главнокомандующий убит, — сказал один солдат на вопрос Ростова. — Нет, это тот, как бишь его, а Кутузов вон туда в деревню. —

Солдат указывал на деревню Гостиерадек, и Ростов поскакал по тому направлению, по которому виднелись вдалеке башня и церковь. Куда ему было торопиться? Что ему было теперь говорить государю или Кутузову?

— Этой деревней, ваше благородие, не ездите, — закричал ему солдат. — Тут убьют.

— О! Что говоришь? — сказал другой. — Куда он поедет? Тут ближе.

Ростов задумался и поскакал именно по тому направлению, где было ближе и опаснее. «Э, теперь все равно», — думал он. Он въехал в то пространство, на котором более всего погибло людей, бегущих с Працена. Французы еще не занимали этого места, а русские, те, которые были живы или ранены, давно оставили его. На поле, как копны на хорошей пашне, лежало человек десять-пятнадцать убитых, раненых на каждой десятине места. Раненые сползались по два, по три вместе, и неприятные, иногда притворные, как казалось Ростову, крики и стоны увеличивались, когда он подъезжал к ним, как будто они хотели его разжалобить. Иные умоляли его помочь им, просили воды, иные кричали и ру-



гались, иные стонали и хрипели. Несколько солдатиков, нераненых, заметил Ростов, слышали сапоги с убитых (сапоги — драгоценность солдат), и рысью бежали прочь от страшного поля. Ростов не останавливался, не только не помогал, но и не глядел на всех страдающих людей, которые, косясь, обходила его лошадь. Он слишком боялся за себя, не за свою жизнь, а за то мужество, которое ему нужно было и которое, он знал, не выдержит вида этих несчастных. Он не боялся, но внутренний инстинкт, как и у всех людей на войне, заставлял его быть не только невнимательным и равнодушным к этим страданиям, но инстинкт этот застилал от него все окружающее так, что к смерти и страданиям всей этой тысячи людей он испытывал меньше участия, чем к зубной боли товарища в спокойную минуту.

Французы, переставшие стрелять по этому усеянному мертвыми и ранеными полю, потому что уже никого на нем живого не было, увидав едущего по нем адъютанта, вероятно, для шутки или для препровождения времени навели на него орудие и бросили несколько

ядер. Чувство этих свистящих страшных звуков и окружающие мертвецы слились для Ростова в одно впечатление ужаса и сожаления к себе. Ему вспомнилось последнее письмо матери. «Что бы она почувствовала, — подумал он, — коли бы она видела меня теперь здесь, на этом поле, и с направленными на меня орудиями». Ни одно ядро не попало в него, и он благополучно доскакал до Гостирадека. Там были, хотя и спутанные, но в большом порядке русские войска, уже не долетали французские ядра и звуки стрельбы казались вдали. Здесь все уже ясно видели и говорили, что сражение проиграно.

«Сражение проиграно, но, по крайней мере, я цел и жив, — подумал Ростов. — Славу Богу. Однако надо исполнить поручение». К кому он ни обращался, никто не мог сказать ему, ни где был государь, ни где был Кутузов, но посоветовали ехать влево за деревню, там видали кого-то из высшего начальства. Проехав еще версты три и миновав последние русские войска, налево около огорода, окопанного канавой, Ростов увидел двух стоящих против канавы всадников. Один с белым

султаном на шляпе казался генералом и показался почему-то знакомым Ростову, другой, незнакомый всадник, на прекрасной рыжей лошади, подъехал к канаве, толкнул лошадь шпорами и, выпустив поводья, легко перепрыгнул через канаву огорода. Только земля осыпалась с насыпи от задних копыт лошади. Круто повернув лошадь, он опять назад перепрыгнул и почтительно обратился к всаднику с белым султаном, очевидно, предлагая ему сделать то же. Всадник, которого фигура, показавшись знакомою Ростову, почему-то невольно приковала его к себе внимание, сделал отрицательный жест головой и рукой, и по этому жесту Ростов мгновенно узнал своего идола — обожаемого государя. Но это не мог быть он, один, среди этого пустого поля. Но в это время Александр повернул голову, и Ростов узнал так живо врезавшиеся его памяти любимые черты. Государь был бледен, щеки его впали и глаза ввалились, но тем больше прелести, кротости, казалось Ростову, было в его чертах. Ростов был счастлив, убедившись в том, что слух о ране государя был несправедлив. Он был счастлив, что видел его

и что мог, даже должен был прямо обратиться к нему и говорить с ним, что составляло высшую цель его желаний. Но как влюбленный юноша дрожит и млеет, не смея сказать того, о чем он мечтает ночи, и испуганно оглядывается, ища помощи или возможности отсрочки и бегства, когда наступила желанная минута и он стоит наедине перед нею, так и Ростов теперь, достигнув того, чего он желал больше всего на свете, не знал и не смел, как подступить к государю, и ему представлялись тысячи соображений, почему это было неудобно, неприлично и невозможно.

«Как! Я как будто рад случаю воспользоваться тем, что он один и в унынии. Ему неприятно и тяжело, может быть, показаться неизвестному лицу в эту минуту печали, и потом, что я могу сказать ему теперь, когда при одном виде его у меня замирает сердце и пересыхает во рту». Ростов забывал все те бесчисленные речи, которые он, с тех пор как получил страсть к государю, мысленно говорил ему в уединении ночей своей лагерной жизни. Но те речи большею частью держались совсем при других условиях, те говорились

большею частью в минуты побед и торжеств и преимущественно на смертном одре от полученных ран, в то время как государь благодарил его за геройские поступки, и он, умирая, подтвержденную на деле, высказывал ему любовь свою. «Потом, что же я буду спрашивать государя об его приказаниях на правый фланг, тогда как я так далеко заехал, что до ночи не успею вернуться. Нет, решительно, я не должен подъезжать к нему. Это может показаться предлогом назойливости. Лучше умереть тысячу раз, чем получить от него дурной взгляд, дурное мнение». И с грустью и с отчаянием почти в сердце Ростов поехал шагом, и беспрестанно оглядываясь. Ростов не расчел того, что важнее всех его соображений было одно, которого он не сделал. Государь был измучен, болен, опечален и один. Ему просто нужна была помощь, хоть для того, чтобы перейти канаву, которую он не решался заставить перепрыгнуть свою лошадь, для того, чтобы просто послать отыскать свою коляску и своих адъютантов.

В то время как Ростов делал эти соображения и печально отъезжал от государя, лиф-

ляндский немец граф Толь, тот самый, который переводил диспозицию накануне сражения, случайно наехал на то же место и, не делая никаких соображений, прямо подъехал к государю, предложил ему свои услуги, помог перейти пешком через канаву, перевел его лошадь, и когда государь устал и сел под яблочное дерево, остановился подле него. Ростов издалека с завистью и раскаянием видел, как Толь что-то долго и с жаром говорил государю, как государь, видимо, заплакав, закрыл глаза рукою и пожал руку Толю. «И это я мог бы быть на его месте», — подумал про себя Ростов и поскакал дальше в совершенном отчаянии, сам не зная куда и зачем он ехал. Его отчаяние было тем больше, что он чувствовал: его собственная слабость была причиной его горя. Он мог бы, не только мог бы, но он должен был подъехать к государю. И это был единственный случай показать государю свою преданность. И он этим не воспользовался... «Что я наделал!» — подумал он. И, повернув лошадь, поскакал назад к тому месту, где видал императора. Но никого уже тут не было. Только ехали повозки и экипа-

жи...

От одного форейтора он узнал, что кутузовский штаб находится неподалеку в деревне, куда шли обозы. Ростов поехал за ними. Впереди его шел берейтор, ведя лошадей. За берейтором ехала повозка, и за повозкой шел старик, вероятно, повар, с кривыми ногами.

— Тит, а Тит, — говорил берейтор.

— Что? — рассеянно отвечал повар.

— Ступай молотить.

— Э, дурак. Тьфу!

Проходило еще несколько времени молчаливого движения, и повторялась опять та же шутка.

## XVI

В пятом часу вечера сражение было проиграно на всех пунктах. Пржебышевский со своим корпусом уже положил оружие. Пермский полк, окруженный со всех сторон неприятелем, потеряв убитыми, ранеными и пленными 5 штаб- и 39 обер-офицеров, 1684 нижних чинов и лишась шести орудий, был совершенно уничтожен. Остатки войска Ланжерона и Дохтурова, смешавшись, теснились около прудов на плотинах и берегах у Аугеста. В шестом часу, однако, на этом пункте только еще слышалась жаркая канонада, почти одних французов, выстроивших многочисленные батареи на спуске Праценских высот и с одной целью нанесения большего вреда бивших без промахов по сплошной массе столпившихся у прудов русских — больше чем на пространстве четырех квадратных верст. Русские отвечали мало: большая часть их орудий спешила вперед, увязая на плотинах и проваливаясь на слабом льду. В арьергарде Дохтуров, собирая батальон, отстреливался и выдерживал атаки французской кавалерии.



лерии настолько твердо и успешно, что атаки эти скоро прекратились, тем более что день клонился к вечеру, начинало смеркаться и что больше и полнее нельзя было выиграть сражения.

Весь ужас дня был не на Праценских высотах, усеянных недобранными ранеными и убитыми, не в колонне Пржебышевского, где со слезами злобы на глазах, окруженные своими мертвыми и ранеными, складывали оружие по приказанию француза, не в сердцах людей, которые не насчитывали более половины своих товарищей, даже не в душе государя, который униженный, мучимый раскаянием и состраданием, физически больной, один с своим берейтором, остановившись без помощи, с внутренним жаром в теле и с непокидающим его впечатлением смерти и страдания не в силах ехать далее останавливался в селении Уржиц и ложился в крестьянской избе на соломе, тщетно ожидая физической помощи своим страданиям, хоть капли вина, которой не могли достать для него и в которой было отказано ему от придворных императора Франца, находившегося в таком же по-

ложении. Не тут был весь ужас дня. Весь ужас дня выказался на узкой плотине Аугеста, на которой столько лет мирно сиживал в колпаке старичок немец, удя рыбу с своим внуком, который, засучив рукава рубашки, перебирал в лейке серебряную трепещущую рыбку, — на той плотине, по которой столько лет мирно подъезжали на своих парных возах, нагруженных пшеницей, в мохнатых шапках и синих куртках моравы и, запыленные мукой, с белыми возами уезжали по той же плотине, до такой степени загороженной теперь пушками и солдатами, что не было места у колеса, под стянутой под брюхом лошади, где бы ни пролезал солдат, и не было ни одного лица, на котором не отпечатывалось бы унижительное забвение всех человеческих чувств и законов и сознание одного чувства эгоистического самосохранения. На этой плотине происходило ужасное. Позади, у въезда на плотину, слышался голос офицера, так решительно и повелительно кричавшего, что все ближайшие невольно обратили на него внимание. Офицер стоял на льду озера и кричал, чтобы орудия и солдаты шли на лед, что лед

держит. Лед действительно держал его.

В эту же минуту тот самый генерал, который представил под Браунау, стоявший верхом у въезда, поднял руку и раскрыл рот, как вдруг одно из ядер так низко засвистело над толпой, что все нагнулись, что-то шлепнулось, и генерал охнул и упал в лужу крови. Никто не взглянул на генерала, не только не подумал поднять его.

— Пошел на лед! Пошел по льду! Пошел! Вороти! Аль не слышишь? Пошел!

Вдруг, после ядра, попавшего в генерала, послышались бесчисленные голоса, как это всегда бывает в толпе, сами не зная что и зачем кричавшие. Одно из задних орудий, вступавшее на плотину, своротило на лед, толпы солдат мгновенно с плотины рассыпались по льду. Под одним из передних солдат треснул лед, и одна нога ушла в воду, он хотел оправиться и провалился по пояс, ближайшие солдаты замялись, орудийный ездовой остановил свою лошадь, но сзади все еще слышались крики: «Пошел на лед, что стал, пошел!» Солдаты, окружавшие орудие, махали на лошадей и били их, чтобы они подвигались. Ло-

пади тронулись. Лед рухнулся огромным куском, и все бросились вперед и назад, потопляя один другого с отчаянными криками, которых никто не мог слышать.

— Братцы! Голубчики! Отцы родные! — кричал, отплеываясь, пехотный старичок офицер с повязанной щекой, провалившийся с головой и вынырнувший на поверхность, он ухватился за край льда, опираясь на него локтями и подбородком, вот-вот надеясь выбраться, но тут на офицера набежал солдат, наступил ему на плечи, потом его волочил и сам провалился. И потом набежали другие солдаты, проваливались и, стараясь выбраться, безжалостно топили один другого. А сзади все слышались выстрелы, слышанные целый день, и по озеру и над озером пролетали ядра, увеличивая смятение и ужас.

На Праценской горе, на том самом месте, где он упал с знаменем в руках, лежал князь Андрей Болконский, истекая кровью, и, сам не зная того, стонал тихим, жалостным и детским стоном. Мимо самого его прозвучало что-то. Он открыл глаза, сам не ожидая в себе этой силы, услышал свой стон и прекратил

его. Перед его глазами были ноги серой лошади. Он с усилием взглянул выше и увидел над собою человека в треугольной шляпе и сером сюртуке с счастливым, но вместе с тем безучастным лицом. Человек этот внимательно смотрел вперед. Князь Андрей стал смотреть туда же и увидел Аугестские пруды и дальше картину движения русских по плотинам и льду, которая представлялась с горы красивой движущейся панорамой. Человек этот был Бонапарт. Он отдал приказание артиллеристам и поглядел вниз направо. Князь Андрей следил за направлением его взгляда. Бонапарт смотрел на убитого русского солдата, он смотрел внимательно, просто на это тело, с тем же безучастным выражением, с которым он смотрел на живых, ему как будто бы нужно было что-то спросить у этого мертвеца, но он ничего не сказал, но внимательно осмотрел его и даже подвинулся к нему. У русского солдата не было головы, только красные волокна мяса тянулись из шеи, и засохшая трава была вся улима кровью, рука этого солдата странным спокойным жестом, согнутыми пальцами, держалась за пуговицу

шинели. Наполеон отвернулся опять к полю сражения.

— Прекрасная смерть, красивый мужчина, — сказал он, глядя на плотину Аугеста и опять поворотившись к трупам. — Скажите, чтобы двадцатая батарея стреляла одними ядрами. — Один из адъютантов поскакал исполнять приказание. Наполеон обернулся налево и заметил лежавшего с брошенным подле него древком знамени князя Андрея. Знамя уже поднял и снес как трофей какой-то французский солдат.

— Вот молодой человек, который хорошо умер, — сказал Наполеон, и, ничего не забывая вместе с тем, он тут же отдал приказание передать Ланну, чтобы он подвинул к ручью дивизию Фриана.

Болконский слышал все, что говорил Наполеон, стоя над ним, он слышал похвалу, отданную ему Наполеоном, но он был так же мало взволнован ею, как ежели бы муха прожужжала над ним; ему жгло грудь, он чувствовал, что исходит кровью, и он видел над собою далекое, высокое и вечное небо. (Он думал в эту минуту с такою ясностью и правдой

о всей своей жизни, с которой он не думал со времени своей женитьбы.) Он знал, что это был Наполеон — его герой, но в эту минуту Наполеон казался ему столь ничтожным человеком, в сравнении с тем, что происходило теперь между ним, его душой и этим высоким бесконечным небом с быстро бегущими по нем облаками. Ему было совершенно все равно в эту минуту, кто бы ни стоял над ним, что бы ни говорили об нем, — он рад был тому, что остановились над ним, и желал только одного, чтобы эти люди помогли ему и возвратили бы его к жизни, которую он так иначе понимал теперь, которую он так сильно любил теперь и так иначе намерен был употребить, ежели ему будет дана судьбой эта возможность; он собрал последние силы, чтобы пошевелиться, и сделал слабое движение ногой, которое невольно вырвало у него стон от боли.

— Поднять этого молодого человека и свести на перевязочный пункт. — И Наполеон отъехал дальше навстречу к маршалу Ланну, который, поздравляя с победой, подъезжал к Бонапарту.

Князь Андрей не помнил ничего дальше, он потерял сознание от страшной боли, которую причинило ему укладывание на носилки, толчки во время движения и обработка раны на перевязочном пункте. Он очнулся уже потом, в конце дня, когда его, соединив с другими русскими ранеными и пленными офицерами, понесли в госпиталь. Первые слова, которые он услышал, когда очнулся, были слова французского конвойного офицера, который поспешно говорил:

— Надо здесь остановиться, он сейчас проедет, ему доставит удовольствие видеть этих пленных господ.

— Нынче так много пленных, чуть не вся русская армия, что ему, вероятно, это наскучило, — сказал другой офицер.

— Ну, однако! Этот, говорят, командир всей гвардии императора Александра, — сказал первый, указывая на русского офицера в белом кавалергардском мундире, которого Болконский тотчас же узнал за князя Репнина. Он его встречал в петербургском свете. Рядом с ним стоял другой юноша, кавалергардский офицер. Оба были ранены и оба, видимо, ста-



рались иметь достойный и печальный вид. «Точно не все равно», — подумал князь Андрей, взглянув на них. В это время подъехал верхом Бонапарт. Он, улыбаясь, говорил что-то ехавшему подле него генералу.

— А, — сказал он, увидав пленных, — Кто старший?

Назвали полковника — князя Репнина.

— Вы командир кавалергардского полка императора Александра? — спросил у него Наполеон.

— Я командовал эскадроном, — отвечал князь Репнин.

— Ваш полк честно исполнил долг свой, — сказал Наполеон.

— Похвала великого полководца есть лучшая награда солдату, — было ему отвечено.

— С удовольствием отдаю ее вам, — возразил Наполеон и спросил: — Кто этот молодой человек подле вас?

Князь Репнин назвал поручика Сухтелена, едва выходявшего из юношеских лет.

Посмотрев на него, Наполеон сказал, улыбаясь:

— Он слишком молодым вздумал поме-

риться с нами.

— Молодость не мешает быть храбрым, — смело и выразительно отвечал Сухтелен.

— Прекрасный ответ, — сказал Наполеон. — Молодой человек, вы далеко пойдете.

Князь Андрей, для полноты трофея пленников выставленный также вперед на глаза императору, не мог не обратить его внимания. Наполеон, видимо, узнал его.

— Ну, а вы, молодой человек, — обратился он к нему, — как вы себя чувствуете?

Несмотря на то что за пять минут перед этим князь Андрей, хотя и через силу, мог сказать несколько слов, он теперь, прямо устремив свои глаза на Наполеона, молчал. Он думал опять о том высоком небе, которое он видел, когда упал. Ему так ничтожно казалось все настоящее в эту минуту. Так глупы казались все эти напыщенные, неестественные разговоры Репнина и Сухтелена, так мелок и ничтожен казался ему сам герой его, теперь видимый вблизи и потерявший эту ореолу таинственности, неизвестности, так ничтожен казался он ему с этим мелким тщеславием в сравнении с тем высоким небом.

Да и все казалось бесполезно и ничтожно в сравнении с тем строгим и величественным строем мысли, который вызывали в нем ослабление сил от истекшей крови, пережитое страдание и близкое ожидание смерти. Он думал о ничтожности величия, о ничтожности жизни, которой никто не мог понять значения, и о еще большем ничтожестве смерти, смысл которой никто не мог понять и объяснить из живущих. Об этом думал князь Андрей, молча глядя в глаза Наполеона. Император, не дождавшись ответа, отвернулся и, отъезжая, обратился к одному из начальников.

— Пусть позаботятся об этих господах и сведут их в мой бивак, пускай мой доктор Ларрей осмотрит их раны. До свидания, князь Репнин, — и он, тронув лошадь, галопом поехал дальше. На лице его было счастье и радость влюбленного 13-летнего мальчика.

Солдаты, принесшие князя Андрея и снявшие с него попавшийся им золотой образок, навешенный на брата княжною Марьею, увидав ласковость, с которой обращался император с пленными, поспешили возвратить обра-

зок. Князь Андрей не видал, кто и как надел на него, но на груди его вдруг очутился образок на той же мелкой золотой цепочке.

«Хорошо бы это было, — подумал князь Андрей, взглянув на этот образ, который с таким чувством и благоговением навесила на него сестра, — хорошо бы это было, ежели бы все было так ясно и просто, как оно кажется милой бедной и доброй княжне Марье. Как хорошо было бы знать, где искать помощи в этой жизни, и знать, что нам верно объяснено ее значение, и находить помощь даже в смерти, твердо зная, что будет там, за гробом. Но для меня и теперь, когда я умираю, нет в этом ничего верного, кроме ничтожества всего мне понятного и величия чего-то, чего-то непонятного, но важнейшего».

Носилки тронулись. При каждом толчке он опять чувствовал невыносимую боль, лихорадочное состояние усиливалось, и он начинал бредить. Те мечтания о тихой семейной жизни, об отце, жене, сестре и будущем сыне, то раскаяние в отношении жены и нежность, которую он испытывал в ночь накануне сражения, составляли главное основание

его горячечных представлений. Тихая жизнь и спокойное семейное счастье в Лысых Горах манили его к себе, он уже достигал этого успокоения, когда вдруг являлся маленький Наполеон с своим холодным, покровительственным и счастливым несчастьем других взглядом, жег в груди, мучая, тянул и лишал его, Болконского, всего того, что было успокоение и счастье.

Скоро все мечтания смешались и слились в массу, мраке беспамятства и забвения, которые гораздо вероятнее, по мнению самого Ларрея, должны были разрешиться смертью, чем выздоровлением.

— Это человек нервный и желчный, — сказал Ларрей, — он не выздоровеет.

## XVII

В начале 1806 года Николай Ростов вернулся в отпуск. Ночью он подъезжал на перекладных санях к освещенному еще дому на Поварской. Денисов ехал тоже в отпуск, и Николай уговорил его ехать с собой и остановиться в доме отца. Денисов спал в санях после перепоя в последней ночи.

«Скоро ли? Скоро ли? О эти несносные улицы, лавки, калачи, фонари, извозчики», — думал Николай, на санях подаваясь вперед, как бы помогая этим лошадям. — Денисов, приехали! — «Спит. Вот он, угол, перекресток, где Захар-извозчик стоит, вот он и Захар, и все та же лошадь. Вот и лавочка, где пряники покупали. Скоро ли? Ну!»

— К какому дому? — спросил ямщик.

— К этому дому, к большому. Как ты не видишь? Это наш дом. Денисов!

— Что?

— Приехали.

— Ну, хорошо.

— Дмитрий, — обратился он к лакею на козлах. — Это у нас огонь?

— У папеньки в кабинете. Еще не ложились.

— Смотри же не забудь, достань мне новую венгерку. Может, кто есть. — И Ростов пощупал усы. Они были целы. — Ну, все хорошо. Ну же, пошел. И не думают, что мы приехали.

— То-то, ваше сиятельство, заплачут, — сказал Дмитрий.

— Да, ну три целковых на чай. Пошел. Ну же, пошел! — кричал он ямщику. — Да проснись же, Вася, — обращался он к Денисову, который опять завалился. — Да ну же, пошел, три целковых на чай, пошел!

Николай выскочил из саней, уже входил в грязные барские сени, а дом так же стоял неподвижно, нерадушно. Никто не знал, не встретил. Старик Михайла вот, в очках, сидит и вяжет из покровок лапти.

«Боже мой! Все ли благополучно! Батюшки, не могу, задохнулся», — подумал Николай, останавливаясь, чтобы перевести дух.

— Михайла! Что ж ты!

— Батюшки-светы! — вскрикнул Михайла, узнав молодого барина. — Господи Иисусе Христе, что ж это? — И Михайла задрожал от

волнения, бросился в дверь, опять назад и припал к плечу Николая.

— Здоровы?

— Слава Богу. Сейчас только поужинали.

— Поди проводи.

На цыпочках побежал Николай в темную большую залу. Все то же, те же ломберные столы, те же трещины на стенах, та же люстра грязная. Девка одна уже видела Николая, и не успел он добежать до гостиной, как что-то стремительно, как буря, вылетело из боковой двери и обняло его. Еще другое, третье. Еще поцелуи, еще слезы, еще крики.

— А я-то не знал... Коко! Друг мой Коля! Вот он... Наш-то... Как переменялся! Свечи, чаю!

— Со мной Денисов.

— Прекрасно.

— Да меня-то поцелуй.

— Душенька. Мама. Графинюшку приготовить.

Соня, Наташа, Петя, Анна Михайловна, Вера, старый граф обнимали его, люди и горничные кричали и ахали. Петя повис на его ногах.

— А меня-то.



Наташа, отскочив от него, после того как она, пригнув его к себе, расцеловала все его лицо, держась за полу его венгерки, прыгала, как коза, на одном месте и визжала. Со всех сторон были блестящие слезами радости любящие глаза, со всех сторон были губы, искавшие поцелуя. Соня, красная, как кумач, тоже держалась за его руку и вся сияла в блаженном взгляде, устремленном в его глаза. Но он через них все еще ждал и искал кого-то. И вот слышались шаги в дверях. Шаги такие быстрые, что это не могли быть шаги его матери. Но это была она, в своем новом незнакомом, сшитом, верно, без него платье.

Она побежала, падая, и упала на грудь сына. Она не могла поднять лица и только прижимала его к холодным шнуркам его венгерки.

Денисов, который незамеченный стоял тут же, стал потирать себе глаза, которые, должно быть, отпотели от холода.

— Папенька, друг мой Денисов.

— Милости прошу. Знаю, знаю.

Те же счастливые, восторженные лица обратились на мохнатую, черноусую фигурку

Денисова и окружили его.

— Голубчик Денисов! — взвизгнула Наташа, не перестававшая бесноваться. — Славу Богу! — И как только обратили на него внимание, подскочила к Денисову, обняла и поцеловала его. Все, даже сам Денисов, сконфузились поступку Наташи. Но Наташа была в таком восторге, что она только гораздо позже поняла неприличность своего поступка.

Денисова отвели в приготовленную для него комнату, а Ростовы долго не спали. Они сидели, столпившись вокруг него, не спуская с него восторженно-влюбленных глаз, ловили каждое его слово, движение, взгляд. Старая графиня не выпускала его руку и всякую минуту целовала ее. Остальные спорили и перехватывали места друг у друга поближе к нему и дрались за то, кому принести ему чай, платок, трубку и...

На другое утро приезжие спали до десятого часа. В комнате их было душно, нечисто, в предшествующей комнате валялись сабли, сумки, тапки, раскрытые чемоданы, грязные сапоги. Вычищенные две пары с шпорами только что поставлены у стенки. Слуги при-

носили умывальники, горячую воду и вычищенные платья. Пахло табаком и мужчинами.

— Эй, Гришка, трубку! — крикнул хриплый голос Денисова. — Ростов, вставай!

Николай, протирая слипавшиеся глаза, поднял спутанную голову с жаркой подушки.

— А что, поздно? — И в то же время он услышал в соседней комнате шуршанье свежих платьев, шепот девичьих свежих голосов, и в чуть растворенную дверь ему мелькнуло что-то розовое, ленты, черные волосы, белые лица и плечи. Это были Наташа с Соней, которые пришли навеститься, не встал ли Ростов.

— Вставай, Коко! — слышался голос Наташи.

— Полно, что ты, — шептала Соня.

— Это твоя сабля? — кричал Петя. — Я взойду, — и он отворил дверь.

Девочки отскочили. Денисов с испуганными глазами спрятал свои мохнатые ноги в одеяло, за помощью оглядываясь на товарища. Дверь опять затворилась, и опять у нее слышались шаги и лепетанье.

— Коко, иди, выходи в халате сюда, — кричала Наташа.

Ростов вышел.

— А вы свеженькие, умытые, нарядные какие, — сказал он.

— Моя, моя, — отвечал он Пете, пристававшему с вопросом о сабле.

Когда Николай вышел, Соня убежала, а Наташа, схватив его за руку, повела в соседнюю комнату.

— Это Соня убежала? — спросил Николай.

— Да, она такая смешная. Ты ей рад?

— Да, разумеется.

— Нет, очень рад?

— Очень рад.

— Нет, ты мне скажи. Ну поди сюда, садись.

Она усадила его и села подле него, разглядывая его со всех сторон, и смеялась при всяком слове, видимо, не в силах спокойно удерживать своей радости.

— Ах, как хорошо, — говорила она, — Отлично. Послушай!

— Отчего ты меня спрашиваешь, рад ли я Соне, — спросил Николай, чувствуя, как под

влиянием этих жарких лучей любви в первый раз через полгода в душе его и на лице распушталась та детская и чистая улыбка, которой он ни разу не улыбался, с тех пор как выехал из дома. Наташа не отвечала на его вопрос.

— Нет, послушай, — сказала она. — ты теперь ведь совсем мужчина? — сказала она. — Я ужасно рада, что ты мой брат. И все вы такие. — Она тронула его усы. — Мне хочется знать, какие вы. Такие ли, как мы?

— Отчего ты спрашивала...

— Да это целая история! Как ты будешь говорить с Соней? — «ты» или «вы»?

— Как случится, — сказал Николай.

— Говори ей вы, пожалуйста, я тебе после скажу.

— Да что же?

— Ну, я теперь скажу. Ты знаешь, что Соня мой друг. Такой друг, что я руку сожгу за нее. Вот посмотри. — Она засучила свой кисейный рукав и показала на своей длинной, костлявой и нежной ручке под плечом, гораздо выше локтя (в том месте, которое закрыто бывает и бальным платьем), она показала крас-

ную метину. — Это я сожгла, чтоб показать ей любовь. Просто линейку разожгла на огне да и прижала.

Сидя в своей прежней бывшей классной комнате, на диване с подушечками на ручках, и глядя в эти отчаянно-оживленные глаза Наташи, Николай опять вошел в тот свой семейный, детский мирок, и сожжение руки линейкой для показания любви показалось ему не бессмыслицей, он понимал и не удивился этому.

— Так что же? — только спросил он.

— Мы так дружны, так дружны! Это что, глупости — линейкой; но мы навсегда друзья, и я знаю, ежели она будет несчастлива, и я тоже, и я несчастлива. Она кого полюбит, так навсегда; а я этого не понимаю. Я забуду сейчас.

— Ну, так что же?

— Да, так она любит меня и тебя. — Наташа улыбнулась своей нежной, ласковой, освещающей улыбкой. — Ну, ты помнишь, перед отъездом... Так она говорит, что ты это все забудь. Она сказала: «Я буду любить его всегда, а он пускай будет свободен». Ведь правда, что

это, это отлично, отлично, благородно, — закричала Наташа.

— Я не беру назад своего слова, — сказал Николай.

— Нет, нет, — закричала Наташа. — Мы про это уже с ней говорили. Мы знали, что ты это скажешь. Но это нельзя, потому что, понимаешь, ежели ты не отказываешься, то выходит, что она как будто нарочно это сказала. Выходит, что ты все-таки насильно на ней женишься, и выходит совсем не то.

Николай находился в нерешительности, что отвечать своей маленькой сестре.

— Я все-таки не могу отказаться от своего слова, — сказал он, но тон, которым он сказал эти слова, показывал, что он давно уже отказался от него. — Ах, как я тебе рад, — сказал он. — Ну, а что же ты Борису не изменила? — спросил Николай.

Разногласие двух друзей детства, так очевидно выразившееся в свидании во время похода, покровительственный, поучающий тон, который принимал Борис с своим приятелем, и немного, может быть, то, что Борис, только один раз бывши в деле, получил наград боль-

ше, чем Ростов, и обогнал его по службе, делали то, что Ростов, не признаваясь в том, не любил Бориса тем с большей силой, чем больше прежде он с ним был дружен. Кроме того, ежели Наташа разойдется с Борисом, это будет для него как бы оправданием в изменении его в отношениях с Соней, которые тяготили его тем, что это было обещание и стеснение свободы. Он, улыбаясь, как бы шутя, но внимательно следил за выражением лица сестры в то время, как сделал ей этот вопрос. Но Наташе в жизни ничего не казалось запутанным и трудным, особенно из того, что казалось ее лично.

Она, не замешавшись, весело отвечала:

— Борис другое дело, — сказала она, — он твердый, но все-таки про него я скажу, что это было детское. И он может еще влюбиться, и я, — она помолчала, — и я могу еще по-настоящему влюбиться. Да и влюблена.

— Да ты в Феџцони была влюблена?

— Нет, вот глупости. Мне пятнадцатый год, уж бабушка в мою пору замуж вышла. А что, Денисов хороший? — сказала она вдруг.

— Хороший.



— Ну, и прощай, одевайся. А какой страшный твой друг!

— Васька? — спросил Николай, желая показать свою интимность с Денисовым.

— Да. Что, он хорош?

— Очень хорош.

— Ну приходи поскорее чай пить. Все вместе.

Встретившись в гостиной с Соней, Николай покраснел. Он не знал, как обойтись с ней. Вчера они поцеловались, но нынче они чувствовали, что нельзя было этого сделать, и он чувствовал, что все, и мать, и сестры, смотрели на него вопросительно и от него ожидали, как он поведет себя с нею. Он поцеловал ее руку и сказал ей «вы». Но глаза их любовно и без тревоги и с счастьем и благодарностью высказались друг другу. Она просила своим взглядом у него прощенья за то, что в посольстве Наташи она смела напомнить ему о его обещании, и благодарила его за его любовь. Он своим взглядом благодарил ее за предложение свободы и говорил, что так или иначе он не перестанет любить ее, потому что нельзя не любить ее.

Денисов, к удивлению Ростова, в дамском обществе был оживлен, весел и любезен, каким он никак не ожидал его. Старый гусар обворожил всех в доме, а особенно Наташу, которой он восхищался при всех, звал ее волшебницей и говорил, что его гусарское сердце ранено ею сильнее, чем под Аустерлицом. Наташа прыгала, задирала его и пела ему удивительные романсы, до которых он был большой охотник. Он писал ей стихи и забавлял весь дом и особенно Наташу своими шуточно-влюбленными отношениями, которые в душе его, может быть, не были совсем шуточными, к веселой 14-летней девочке. Наташа сияла счастьем, и видно было, как осязательно похвала и лесть возбуждали ее и делали ее более и более привлекательной.

Вернувшись в Москву из армии, Николай Ростов был принят домашними — как лучший сын, герой и ненаглядный Коко; родными — как милый, и приятный, и почтительный молодой человек; знакомыми — как красивый гусарский поручик, милый певец, прекрасный танцор и один из лучших женихов Москвы. Знакомство у Ростовых была вся

Москва, денег в нынешний год у старого графа было достаточно, потому что продан лес и перезаложено имение, и потому Николай, заведя своего собственного рысака и самые модные рейтузы, сапоги и серебром обшитый новый ментик, который более всего занимал его, вернувшись домой, испытал приятное чувство, после некоторого промежутка времени примеривания себя к старым условиям жизни. Ему казалось, что он очень возмужал и вырос. Он с презрением вспоминал о венчании куклы с Борисом, о тайных поцелуях с Соней. Теперь он готовил рысака на бег. Носки у его сапог острые, такие, какие только у трех военных были в Москве. У него была знакомая дама на бульваре, куда он ездил поздно вечером. Он дирижировал мазурку на бале Архаровых, разговаривал о войне с фельдмаршалом Каменским, был на «ты» с старыми московскими кутилами. Он занят был большую часть времени своим рысаком и модной попоной, сапогами и перчатками по новой моде и новыми, все новыми знакомствами с людьми, которые все были рады с ним знакомиться. Страсть его к государю теперь ослабе-

ла, так как он не видал и не имел случая видеть государя. Но воспоминание об этой страсти и о впечатлении Вишау и Аустерлица было одно из самых сильных, и он часто рассказывал о государе, о своей любви к нему, давая чувствовать, что он еще не все рассказывает, что что-то еще есть в его чувстве к государю, которое не может быть всем понятно. Впрочем, в то время столь многие разделяли чувство Ростова, что он не мог забыть его, и наименование, данное в Москве Александру I, — «Ангел во плоти», — часто повторялось им.

Обыкновенное впечатление его за это время пребывания в Москве было ощущение узкости лаковых новеньких гусарских сапог на ногах, новых замшевых перчаток на вымытых руках, запаха от фиксажуара на выроставших усах или впечатление поспешности и впечатление ожидания чего-то очень веселого, и неосуществленного этого ожидания, и новые ожидания. Часто, когда он оставался дома, ему думалось, что грешно ему со всеми его прелестями так терять время, не давая никому ими пользоваться, и он все торопился куда-нибудь ехать. Когда же он пропускал

обед, вечер или холостую пирушку, ему казалось, что там-то, где он должен был быть, и случится то особенно счастливое событие, которого он как будто бы ожидал. Он много танцевал, много пил, много писал стишков в альбомах дамам и каждый вечер спрашивал себя, не влюблен ли он в ту или в эту, но нет, он не был влюблен ни в кого, еще меньше в Соню, которую он просто любил. И оттого не был влюблен, что был влюблен в самого себя.

## XIX

**Н**а другой день, 3-го марта, во втором часу пополудни 250 человек, членов Аглицкого клуба, и 50 человек гостей ожидали к обеду дорогого гостя и героя австрийского похода, князя Багратиона. В первое время получения известия об Аустерлице Москва приуныла, но в то время русские так привыкли к победам, что не могли верить тем страшным известиям, которые приходили из армии, и искали объяснений в каких-нибудь необыкновенных условиях, произведших это странное событие. В Аглицком клубе, где собиралось все, что было знатного, имеющего верные сведения и

вес, в декабре месяце, в первое время получения известий, ничего не слышно было. Люди, дававшие мнения, как то: граф Ростопчин, князь Юрий Владимирович Долгорукий, Валуев, Марков, Вяземский, не показывались в клубе, а собирались по домам, в своих кружках, очевидно, обсуживая полученные известия, и москвичи, говорившие с чужих голосов, к которым принадлежал и граф Илья Андреич Ростов, оставались на короткое время без определенного суждения о деле войны. Они друг перед другом отмалчивались, отшучивались или робко высказывали слухи. Но через несколько времени, как присяжные выходят из совещательной комнаты, появились опять тузы, дававшие мнение в клубе, и опять все заговорило ясно и определенно. Были найдены причины тому невероятному, неслыханному и невозможному событию, что русские были побиты, и причины эти разбирались, придумывались и дополнялись во всех углах Москвы. Причины эти были: измена австрийцев, дурное продовольствие, измена поляка Пржебышевского и француза Ланжерона, неспособность Кутузова и, потихонь-

ку говорили, молодость и неопытность государя, вверившегося дурным и ничтожным людям; но войска были необыкновенны и делали чудеса храбрости. Солдаты, офицеры и генералы — были герои. Но героем из героев был князь Багратион, прославившийся своим Шенграбенским делом и отступлением от Аустерлица, где он один не был разбит. Тому, что Багратион был выбран героем в Москве, содействовало и то, что он не имел связей в Москве, был чужой. В лице его отдавалась должная честь боевому, простому, без связей и интриг, русскому солдату, еще связанному воспоминаниями итальянского похода с именем Суворова, и в воздаянии ему таких почестей лучше всего показывалось нерасположение и неодобрение Кутузову.

— Ежели бы не было Багратиона, надо было бы выдумать его. — Про Кутузова никто не говорил, и некоторые шепотом бранили его старым придворным вертушкой и сатиром. По всей Москве повторялись слова Долгорукого «лепя, лепя, и облепишься», утешавшегося в нашем поражении воспоминанием прежних побед, и слова Ростопчина, что француз-

ских солдат надо возбуждать к сражению высокопарными фразами, что с немцами надо логически рассуждать, убеждая их, что опаснее бежать, но что русских солдат надо только удерживать и просить: потише. Со всех сторон слышны были новые и новые рассказы об отдельных примерах мужества наших солдат и офицеров, — тот спас знамя, тот убил пять французов, тот один заряжал пять пушек. Говорили и про Берга те, которые не знали его, что он, раненый в правую руку, взял шпагу в левую и пошел вперед. Про Болконского ничего не говорили, и только близко знавшие его жалели, что он рано умер, оставив беременную жену и чудака-отца.

3-го марта во втором часу во всех комнатах клуба стоял стон разговаривавших голосов и, как пчелы на весеннем пролете, сновали взад-вперед, сидели, стояли, сходились и расходились в мундирах, фраках и еще кое-кто в пудре и кафтанах члены и гости клуба. Пудренные, в чулках и башмаках, ливрейные лакеи стояли у каждой двери и напряженно старались уловить каждое движение особенно важнейших членов. Большинство были ста-



рые почтенные люди с широкими самоуверенными лицами и твердыми движениями. По уголкам особо виднелась и молодежь, офицеры — красивый тонкий гусар Ростов с Денисовым. Они разговаривали с новым знакомцем Долоховым, которому были возвращены семеновские эполеты. На лицах молодежи, особенно военной, было выражение того чувства презрительной почительности к старикам, которое говорило, что все-таки за ними будущность. Несвицкий был тут же, как старый член клуба, и Пьер был тут же, потолстевший в теле и осунувшийся в лице, и с усталым, почти несчастным, равнодушным взглядом стоял прямо посереде комнаты и, видимо, забыв отойти куда-нибудь к стороне. Около него, как и везде, окружала его атмосфера людей, преклонявшихся перед ним и его богатством, и он с привычкой царствования презрительно обращался с ними. По годам он должен бы был быть молодым, но по богатству, вероятно, он более обращался в кругу старых. Старики из самых значительных составляли центр кружков, к которым почитательно приближались даже незнако-

мые, чтобы послушать. Большие кружки составились около графа Ростопчина и Нарышкина. Ростопчин рассказывал про то, как русские были смяты бежавшими австрийцами и должны были штыками прокладывать себе дорогу сквозь беглецов.

— Да вот он, — он обратился к Долохову и подманил его к себе. Долохов подтвердил слова Ростопчина.

В другом месте конфиденциально рассказывалось, что Уваров был прислан из Петербурга для того, чтобы узнать мнение москвичей об Аустерлице. В третьем Нарышкин рассказывал про заседание австрийского военного совета, в котором Суворов закричал петухом в ответ на глупости австрийских генералов. Шиншин, стоявший тут же, хотел пошутить, сказав, что Кутузов, видно, и этому нетрудному искусству — кричать по-петушиному — не мог выучиться у Суворова, но старички строго поглядели на шутника, давая ему тем чувствовать, что здесь — и в нынешний день, и так — неприлично было говорить про Кутузова.

Граф Илья Андреич Ростов иноходью оза-

боченно, торопливо похаживал в своих мягких сапожках из столовой в гостиную, поспешно и совершенно одинаково здороваясь с важными и неважными, которых он всех знал, но все не забывал радостно взглянуть на своего стройного молодца сына. Он подошел к Долохову, пожал ему руку и, вспомнив о медведе, расхохотался.

— К себе милости прошу, вот ты с моим молодцом знаком... вместе, там вместе геройствовали... А! Василий Игнатьич...

В это время лакей с испуганным лицом бросился к графу.

— Пожаловали!

Раздались звонки; старшины бросились вперед; разбросанные в разных комнатах гости, как встряхнутая рожь на лопате, столпились в одну кучу в большой гостиной к дверям залы.

Впереди всех шел Багратион без шляпы и шпаги, по клубному обычаю, и не в смушковом картузе, с нагайкой через плечо, как привык его видеть Николай Ростов, а в новом узком мундире с георгиевской звездой, подстриженный на висках (видимо, недавно, что из-

меняло невыгодно его физиономию), припомаженный и неловкий, как будто ему привычнее было ходить по вспаханному полю (как он шел перед Курским полком в Шенграбене), чем по паркету. На лице его было что-то наивно-праздничное, дававшее в соединении с его твердой мужественной физиономией даже несколько комическое выражение его лицу. Беклешов и граф Алексей Уваров шли сзади его и, как гостя, учтиво пропускали его вперед. Багратион смешался, не желая воспользоваться их учтивостью, и наконец прошел. Старшины встретили его, сказав несколько слов о радушии московском, о дорогом госте и т. п. и как бы завладев им, успокоившись, повернулись и повели в гостиную. Но в дверях не было возможности пройти от столпившихся, давивших друг друга и через плечи рассматривавших героя как редкого зверя. Граф Илья Андреич, энергичнее всех смеясь и приговаривая «мой дорогой», протолкал толпу и провел гостей. Их посадили, обступили тузы. Граф Илья Андреич протолкался, обегая опять через толпу, и с другим старшиной через минуту явился, неся боль-

шое серебряное блюдо, которое он поднес князю Багратиону. На блюде лежали стихи. Багратион, увидав блюдо, как бы прося спасенья и помощи, испуганно оглянулся, но, увидав, что его нет, взял блюдо решительно обеими руками и сердито, зло посмотрел на графа, как бы говоря: «Еще чего от меня хотите? Мучитель!» Кто-то услужливо вынул из рук Багратиона блюдо (а то он, казалось, намерен был держать его до вечера и так идти к столу) и обратил его внимание на стихи. «Ну и прочту», — как будто сказал Багратион и стал читать с тем сосредоточенным и серьезным видом, с которым он читал полковые рапорты. Сам сочинитель Николев взял стихи и стал читать. Князь Багратион склонил голову и слушал, как слушают «Господи, помилуй» в церкви.

*Славь тако Александра век  
И охраняй нам Тита на престоле,  
Будь купно страшный вождь и  
добрый человек,  
Рифей в отечестве, а Цесарь в  
бранном поле.  
Да, счастливый Наполеон,*

*Познав чрез опыты, каков Багратион,  
Не смеет утруждать Алкидов  
русских боле...*

Но Николев не закончил стихи, как громогласный дворецкий провозгласил: «Кушанье готово!» Дверь отворилась, загремел из столовой «Гром победы раздавайся, веселися, грозный росс», и граф Илья Андреич сердито посмотрел на Николева, продолжавшего читать. Все встали, доказывая, что обед важнее стихов, и опять Багратион впереди всех пошел к столу. На первом месте, между двух Александров — Беклешова и Нарышкина, что тоже имело значение по отношению к имени государя, посадили Багратиона: 300 человек разместились в столовой так же естественно, как вода разливается там больше, где глубже. Кто поважнее, поближе к чествуемому гостю.

Перед обедом граф Илья Андреич представил князю своего сына, который, он твердо был уверен, был более герой, чем князь Багратион, и Багратион, узнав его, сказал несколько неловких слов, как и все, которые он говорил в этот день. Граф Илья Андреич, сияя,

оглядывался, уверенный, что все так же рады, как и он, этому важнейшему, по его мнению, событию дня.

Николай Ростов познакомился в этот день с Долоховым. И этот странный человек поразили и привлек его, как и всех. Николай не отходил от него, и с ним вместе, благодаря представлению Багратиону, они сели ближе к центру. Напротив них сидел Пьер с своей свитой и князь Несвицкий. Граф Илья Андреич сидел напротив Багратиона с другими старшинами и угощал князя Багратиона, олицетворяя в себе московское радушие. Труды его не пропали даром. Обеды, постный и скоромный, были великолепны, но совершенно спокоен он все не мог быть до конца обеда. На втором блюде уже стали лакеи хлопать пробками и наливать шампанское. Граф Илья Андреич переглянулся с другими старшинами. «Много тостов будет, пора начинать!» — шепнул он и, взяв бокал в руки, встал.

— Здоровье государя императора! — провозгласил он, и в ту же минуту добрые глаза его увлажнились слезами, значение которых он не знал. Все встали, опять заиграли «Гром

победы», и «ура» — закричало все, и Багратион закричал «ура» тем же голосом, каким он кричал на Шенграбенском поле. Восторженный голос Николая был слышен из-за всех трехсот голосов. Он чуть не плакал. Выпив залпом свой бокал, он бросил его на землю. Многие последовали его примеру. Только что замолкли голоса гостей, и лакеи подобрали разбитую посуду, и все стали усаживаться и, улыбаясь своему крику, переговариваться на дальних концах стола, как опять поднялся граф Илья Андреич и провозгласил тост за здоровье героя князя Багратиона, и еще больше увлажились его глаза. Опять закричали «ура» и вместо музыки слышались певчие, певшие кантату Павла Ивановича Кутузова:

*Тщетны россам все преграды,  
Храбрость есть побед залог,  
Есть у нас Багратионы,  
Будут все враги у ног...*

Только что кончили певчие, как последовали новые и новые тосты, при которых все больше и больше проливал слезы граф Илья Андреич, и больше билось посуды, кричалось. Пили за здоровье Беклешова, Нарышкина,



Уварова, Долгорукого, Апраксина, Валуева, за здоровье старшин, за здоровье распорядителя, за здоровье всех членов клуба.

Пьер сидел против Долохова и Николая Ростова, и Николай не мог в душе не смеяться на ту странную фигуру, которую представлял этот молодой богач. Пьер, когда не ел, сидел, щурясь и морщась, глядя на первое попавшееся ему лицо, и с видом совершенной рассеянности ковырял себе в носу. Он и прежде не имел вид ловкого молодого человека, но тогда, по крайней мере, он был добродушно весел, теперь же лицо его выражало апатию и усталость. Он был похож, на глаза Ростова, на идиота.

В ту минуту, как Николай, удивляясь на тупую фигуру, смотрел на него, Пьер рассуждал о том, что Аустерлицкое сражение было ведено неправильно, а что надо было атаковать правый фланг. Ростов, говоря с соседом, сказал в это время: «Уж никто лучше меня не видал во всех концах Аустерлицкое сражение».

— Скажите, — вдруг обратился к нему Пьер, — отчего же, когда центр наш был прорван, мы не могли поставить его меж двух ог-

ней?

— Оттого, что некому было приказывать, — отвечал за Ростова Долохов. — Ты бы хорош был на войне, — прибавил он.

Ростов и Долохов засмеялись. Пьер поспешно отвернулся от них.

Когда пили здоровье государя, он так задумался, что не встал, и его сосед толкнул его. Он выпил бокал и встал, оглядываясь. Дождавшись, когда все сели, он сел, взглянул на Долохова и покраснел. После официальных тостов Долохов предложил Ростову тост за красивых женщин и с серьезным лицом, но с улыбающимся в углах рта обратился к Пьеру. Пьер рассеянно выпил, не глядя на Долохова. Лакей, раздававший кантату Кутузова, положил листок Пьеру, как более почетному гостю. Он хотел взять его, но Долохов выхватил из его руки и стал читать. Пьер нагнулся всем тучным телом через стол.

— Дайте мне. Это неучтиво, — крикнул он.

— Полноте, граф, — шепнул Безухову сосед, знавший Долохова за бретера.

Долохов удивленно посмотрел на Пьера со всем другими, светлыми, веселыми, жестоки-

ми, глазами с той же улыбкой, как будто он говорил: «А вот это я люблю».

— Не дам, — проговорил он отчетливо.

Пьер вдруг засопел, как будто рыдания подступили ему к горлу.

— Вы... вы... негодяй!.. я вас вызываю, — проговорил он, и ни сосед его, ни Несвицкий не могли удержать его. Он встал и вышел из-за стола. Тут же в клубе Ростов, который согласился быть секундантом, переговорил с Несвицким, секундантом Безухова, о условиях дуэли. Пьер уехал домой, а Николай с Долоховым до позднего вечера просидели в клубе, слушая песенников-цыган.

— Ему невыгодно, — сказал Долохов Ростову. — У него триста тысяч дохода и скандал во всяком случае, а мне славная вдовушка. Прощай, до завтра в Сокольниках. А мне чутье говорит, что я его убью.

На другой день в Сокольниках Пьер, такой же рассеянный, недовольный, морщась, смотрел вокруг себя на таящий снег и круги около голых деревьев и на секундентов, которые озабоченно размеряли шаги. Он имел вид человека, занятого какими-то соображениями, вовсе не касающимися до предстоящего дела. И действительно, с утра еще он раскрыл свои карты и сделал распоряжения нового Аустерлицкого сражения, по которому Наполеон был разбит. Он не только не прощался с женою или с кем-нибудь, он по привычке увлекся умственной работой, стараясь забыть про настоящее, только редко вспоминал, что он нынче стреляется с известным стрелком из пистолета, с бретером, а сам не умеет стрелять. Приехавший Несвицкий живо напомнил ему предстоящее и стал, повторяя вчерашнее, доказывать ему, что он был неправ и, главное, нерасчетлив, вызывая такого стрелка, как Долохов, и давая ему первый выстрел.

— Я не хочу вмешиваться, но вообще это

глупо, — сказал Несвицкий.

— Да, ужасно, ужасно глупо, — морщась и почесываясь, сказал Пьер.

— Только позволь мне, я так это устрою, — радостно вскакивая, сказал некровожадный Несвицкий.

— Что устрою? — спросил Пьер. — Ах да, дуэль. Нет, что ж, все равно, — прибавил он, — они уже приготовились.

Когда на месте секунданты делали последнюю классическую попытку примирения, Пьер молчал, думал о другом.

— Вы мне скажите только, как, куда ходить, стрелять куда.

Когда сказали, он, добродушно и рассеянно улыбаясь, произнес: «Я ведь этого никогда не делал», — и он стал расспрашивать о способе спуска и любовался остроумной выдумкой Шнеллера. Он никогда до сих пор не держал в руках пистолета.

Долохов, весело улыбаясь ртом, и светло, и строго смотрел наглыми, прекрасными голубыми глазами.

— Не хочу первого выстрела, — сказал он, — что его, как цыпленка, застрелить. И

так все на моей стороне.

Ростов, как неопытный секундант, согласился, радуясь на великодушие своего нового друга.

Им подали пистолеты и велели сходитьсь на пятнадцать шагов до двадцати, стреляя кто когда хочет.

— Так и сейчас можно выстрелить? — спросил Пьер.

— Да, как дойдешь до барьера.

Пьер взял своей большой пухлой рукой пистолет осторожно и робко, видимо, боясь не убить себя и, поправив очки, пошел к дереву. Только что он подошел, он, не целясь, поднял пистолет, выстрелил и весь вздрогнул. Он даже пошатнулся от звука своего выстрела, потом улыбнулся сам своему впечатлению. Долохов упал, уронив пистолет.

— Вот дурацкая, — крикнул он сквозь зубы и, схватившись одной рукой за бок, из которого шла кровь.

Пьер подбежал к нему.

— Ах, боже мой, — проговорил он, становясь перед ним на колени. Долохов оглянулся на него, нахмурясь и указывая на пистолет:

«Поддай». Ростов подал ему. Долохов сел на задницу. Левая рука была вся в крови, он обер ее об сюртук и оперся ею.

— Пожалуйте, — проговорил он Пьеру. — Пожалуйте к бар...

Пьер поспешно, с учтивым желанием не заставить его ждать, подошел и стал прямо против Долохова в десяти шагах от него.

— Боком, закрой пистолетом грудь, грудь, — кричал Несвицкий.

Пьер стоял, с неопределенной улыбкой сожаления глядя через очки на Долохова. Долохов поднял пистолет, углы губ его все улыбались, глаза блестели усилием и злобой последних собранных сил. Несвицкий и Пьер зажмурились. В одно и то же время они услышали выстрел и отчаянный злой крик Долохова.

— Черт ее возьми, дрогнула! Несите! Несите!

Пьер повернулся, хотел подойти, но потом раздумал и, сморщенный, пошел к своей карете. Всю дорогу он что-то бурчал, но ничего не отвечал на вопросы Несвицкого.

Пьер виделся последнее время с женой лишь по ночам, либо при гостях, которых у них бывал полон дом и в Петербурге и в Москве. В ночь с 4-го на 5 марта он не пошел спать к жене и остался в своем огромном, отцовском, том самом, в котором умирал старый граф, кабинете. Он лег, но не спал целую ночь и взад и вперед ходил по кабинету. Лицо Долохова, страдающее, умирающее, злое и все с притворностью какого-то молодчества, не выходило у него из воображения и требовало, неумолимо требовало, чтобы он остановился и обдумал значение этого лица, значение и участие этого лица в жизни, и всю эту прошедшую жизнь. Памятное прошедшее его начиналось в его воспоминании со времени женитьбы, а женитьба следовала так скоро после смерти отца (так мало он успел опомниться в своем новом положении тогда), что ему казалось, что и то и другое случилось вместе.

«Что же было? — спрашивал он сам себя. — В чем же я виноват? Да, все это ужасное воспоминание, когда я после ужина у князя



Василия сказал эти глупые слова: „Я вас люблю“, — я тогда чувствовал. Я чувствовал тогда, что не то. Так и вышло». Он вспоминал медовый месяц, и ему стыдно стало, как было стыдно тогда и все первое время. Особенно живо, и оскорбительно, и постыдно было для него воспоминание, как однажды, вскоре после своей женитьбы, он в двенадцатом часу дня, в шелковом халате, пришел из спальни в кабинет и в кабинете застал главного управляющего, который почтительно встал и поглядел на лицо Пьера, на его халат и слегка улыбнулся, как бы выражая этой улыбкой почтительное сочувствие к счастью своего принцепала. Пьер краснел всякий раз, как живо вспоминал этот взгляд. Теперь он вспомнил это и охнул. Он вспоминал, как он видел ее еще прекрасною, как она поражала его своей гордостью, спокойствием, умением безыскусственно и изящно обращаться в высших сферах. Как его поражало ее искусство управлять домом и самой быть важной дамой, и поставить дом на аристократическую ногу. Потом он вспоминал, как он, привыкши уже к тем формам изящества, в которые она

так умела облекать себя и свой дом, как он стал искать содержания и не находил его. За блестящими формами не было ничего. Они были ее целью. И холодность ее все увеличивалась. Он вспоминал, как он нравственно суживал глаза, чтобы найти ту точку зрения, с которой бы он увидал что-нибудь хорошее, какое-нибудь содержание, но ничего и никакого не было. И не было в ней недовольства этим отсутствием. Она была довольна и спокойна в своей штофной гостиной, с жемчугами на прелестных плечах. Анатолий ездил к ней занимать у ней деньги и целовал ее голые плечи. Она отгоняла его от себя, как любовника. Отец, шутя, возбуждал ее ревность; она с спокойной улыбкой сказала, что она не так глупа, чтоб быть ревнивой, пусть делает, что хочет.

Пьер спросил раз, не чувствует ли она признаков беременности. Она засмеялась презрительно и сказала, что не дура, чтобы желать иметь детей, и что от него детей у нее не будет.

Потом он вспомнил ясность и грубость мыслей и вульгарность ее выражений: «Я не

дура, поди сам, убирайся», — свойственных ей, несмотря на ее воспитание в высшем, аристократическом кругу. Часто, глядя на ее успех в глазах старых и молодых мужчин и женщин, Пьер недоумевал и не мог понять, отчего он не любит ее. Вспоминая себя за все это время, Пьер помнил в себе только чувство ошалелости, зажмуренности, с которыми он шел и не позволял руководить собой, чувство удивления, равнодушия и нелюбви к ней, и постоянно чувство стыдливости за не свое место, за глупое положение счастливца, обладателя красавицы, когда он встречался даже с своим камердинером, выходя из спальни жены в шелковом шитом ярком халате, который она подарила ему. Потом он вспоминал, как незаметно, независимо от его воли, видоизменялись условия его жизни, как он втягивался в ту жизнь барича, праздного аристократа, которую он, напитанный идеями французской революции, так строго судил прежде. Деньги у него брали все, со всех сторон, и у него требовали денег, и обвиняли в чем-то его. Время его все было занято. От него требовали самых пустых вещей, визита, выезда,

обеда, но эти требования без перерыва следовали одно за другим. И требования эти делались так просто, с таким сознанием, что это так должно быть, что ему не могло прийти в голову отказать. Но вот в Петербурге перед отъездом он получил анонимное письмо, что Долохов любовник его жены, что очки плохо видели. Он бросил письмо, сжег его, но, не переставая, думал о нем. Долохов действительно был ближе всех с его женой. Когда он приехал в Москву, на другой же день он увидал за обедом в клубе Долохова, и теперь Долохов — вот он сидел на снегу перед ним и насильно улыбался и умирал с проклятиями.

Пьер был один из тех людей, которые, несмотря на свою внешнюю слабость характера, не ищут доверенного для своего горя. Он перерабатывал один в себе свое горе. «Она, во всем, во всем она, без темперамента, без сердца, без ума, она была во всем виновата, — говорил он сам себе. — Но что ж из этого? Зачем я себя связал с нею, зачем я ей сказал это „я вас люблю“, которое было ложь и еще хуже что-то? — сказал он сам себе. — Я виноват и должен нести... но что? Позор имени, несча-

стие жизни? Э, все вздор, — подумал он. — Людовика XVI казнили за то, что он был бесчестен и преступник. Потом Робеспьера казнили. Кто прав, кто виноват? Никто. А жив, и живи. Завтра умрешь, как мог я умереть частому назад, как умрет этот Долохов. И стоит ли того мучиться, когда жить остается одну секунду в сравнении с вечностью? Мне ничего не нужно. Мне довольно себя. Что делать? — опять предстал ему вопрос. — Зачем я связался с нею? Но какого черта понесло его на эту галеру?» — вспомнил он и улыбнулся.

Утром, когда камердинер, с удивлением заметив, что граф не ложился, вошел в кабинет, Пьер, уже успокоенный, лежал на оттоманке и читал.

— Графиня приказали спросить, дома ли вы? — спросил камердинер. Но не успел он этого сказать, как сама графиня в белом атласном халате, шитом серебром, и в простых волосах (две огромные косы диадемою огибали два раза ее прелестную голову) вошла в комнату спокойно, величественно, но на прелестном, мраморном лбе ее была морщинка гнева. Она, с своим все выдерживающим так-

том, не стала говорить при камердинере. Она знала о дуэли и пришла говорить о ней. Она дождалась, пока камердинер устави́л кофе, и величественным жестом указала ему дверь. Пьер, как пойманный школьник, робко, через очки смотрел на нее. Для того, чтобы дать себе известное положение, он начал есть, хотя ему этого не хотелось. Она не села.

— Как вы смели это сделать? — сказала она.

— Я?... Что я... — сказал Пьер.

— Что сделать? Компрометировать жену. Кто тебе сказал, что он мой любовник? — заговорила она по-французски с своей грубостью речи, выговаривая выворачивающее всю внутренность Пьера слово «любовник» как и всякое другое слово. — Он не любовник, а ты дурак. Теперь я посмешище всей Москвы из-за того, что ты, пьяный, не помня себя, вызвал на дуэль человека, который тебе ничего не сделал.

— Я знаю... но...

— Ничего ты не знаешь. Ежели бы ты был умнее и приятнее, то я бы с тобой сидела, а не с ним, а, разумеется, мне приятнее быть с ум-

ным человеком, чем с тобой. Лучше ничего не выдумал, как взял и убил человека, который лучше тебя в тысячу раз.

— Не говорите, — сказал Пьер, краснея и отходя от нее. — Довольно. Что вам надо?

— Да, лучше вас. И редкая та жена, которая с таким мужем не взяла бы себе любовников

— Ради бога, замолчите, сударыня, нам лучше расстаться, — умоляющим голосом проговорил Пьер.

— Да, расстаться, чтобы мне остаться без ничего и с срамом, что меня бросил муж? Никто не знает, какой это муж.

Элен была красна и с таким выражением злобы в глазах, какого никогда не видал в ней Пьер.

— Расстаться? Извольте, только ежели вы отдадите мне все состояние. Я беременна. И не от вас.

— А-ах! Уйди, или я тебя убью! — закричал Пьер. И все лицо отца отразилось в нем, и, схватив со стола мраморную доску, с не известной еще ему силой, он сделал шаг и замахнулся на нее. Элен вдруг зарыдала. Лицо ее исказилось, и она бросилась бежать. Пьер

бросил доску и, схватив себя за волосы, стал ходить по комнате. Через неделю Пьер выдал жене доверенность на управление всеми великорусскими имениями, что составляло больше половины всего состояния, и один уехал в Петербург.

## XXII

Прошло два месяца после получения известий в Лысых Горах о Аустерлицком сражении и о гибели князя Андрея. Несмотря на все розыски, тело его не было найдено и, несмотря на все письма через посольства, его не было в числе пленных. Что хуже всего, оставалась все-таки надежда, что он был поднят жителями на поле сражения и, может, лежал выздоравливающий или умирающий один среди чужих и не в силах дать о себе вести. В газетах, из которых впервые узнал старый князь об Аустерлицком поражении, было написано весьма кратко и неопределенно, что русские должны были отступить, но отступили в порядке. Но старый князь понял и из этого официального известия, в чем было дело. И хотя ничего еще не знал о сыне, он



был убит этим известием. Он три дня не выходил из кабинета и целые дни, как видел Тихон, писал письма и отправлял кучи конвертов на почту ко всем значительным лицам. Спать он ложился в обыкновенный час, но усердный Тихон ночью вставал с своего войлока в официантской и, подкрадываясь к двери кабинета, слышал, как в темноте старый князь шарил и ходил в своей комнате, побрякивая и бурля что-то про себя.

Через неделю после газеты, принесшей известие об Аустерлицкой битве, пришло письмо Кутузова, который, не дожидаясь вопроса, сам извещал князя о участи, постигшей его сына.

«Ваш сын в моих глазах, — писал Кутузов, — с знаменем в руках, впереди полка, пал героем, достойным своего отца и своего отечества. Жив ли он или нет, я до сих пор, несмотря на все меры, предпринятые мною, не мог узнать. Себя и вас надеждой я льщу, что он жив, ибо в противном случае в числе найденных на поле сражения офицеров, о коих список мне подан через парламентаров, и он бы находился».

Получив это известие поздно вечером, когда он был один в своем кабинете, старый князь никому ничего не сказал. Как и обыкновенно, на другой день он пошел на свою прогулку, был молчалив с приказчиком, садовником и архитектором и, хотя и был гневен на вид, ничего никому не сказал. Когда в обычное время княжна Марья вошла к нему, он стоял за станком и точил, но, как обыкновенно, не оглянулся на нее. Он сделал движение головой к ней, но потом как будто не решился.

— А! Княжна Марья! — вдруг сказал он неестественно и бросил стамеску. Колесо еще вертелось от размаха. Княжна Марья долго помнила этот замирающий скрип колеса, который слился для нее с тем, что последовало. Княжна Марья подвинулась к нему, увидела его лицо, и что-то вдруг опустилось во всей ней (это было счастье, интерес, любовь к жизни. Мгновенно этого ничего не стало), глаза ее задернулись. Она по лицу отца, по лицу не грустному, не убитому, но злому и неестественно над собой работающему, увидела, что вот, вот над ней повисло и задавит ее страш-

ное несчастье, худшее в жизни несчастье, еще не испытанное ею, несчастье непоправимое, непостижимое, — смерть того, кого любишь.

— Батюшка! Андрей! — сказала она, неграциозная, неловкая княжна, с такой невыразимой грацией и прелестью печали и самозабвения, что отец не выдержал ее взгляда, отвернулся.

— Его нет больше, — крикнул он пронзительно, как будто желая прогнать княжну этим криком.

Княжна не упала, с ней не сделалось дурноты. Она была уже бледна, но, когда она услышала эти слова, лицо ее изменилось, и изменилось, не выражая худшее — страдание, но, напротив, — что-то просияло в ее лучистых, прекрасных глазах, как будто радость, высокая радость разлилась сверх той сильной печали, которая была в ней. Она забыла весь страх к отцу, самое сильное чувство в ее душе. Она подошла к нему, взяла его за руку и потянула к себе. Она поднимала уже другую руку, чтобы обнять его за сухую, жилистую шею.

— Не отворачивайтесь от меня, будемте плакать вместе. — Слезы стояли в ее глазах.

Старик сердито дернулся от нее.

— Мерзавцы! Подлецы! — закричал он. — Губить армию, губить людей! За что? Поди, поди, скажи Лизе.

— Да, я скажу ей.

Княжна, не в силах стоять, села в кресло и плакала, не утирая слез. Она видела теперь его в ту минуту, как он прощался с ней и с Лизой с своим презрительным видом. Она видела его в ту минуту, как он нежно и насмешливо надевал образок на себя. «Верил ли он? Раскаялся ли он в своем неверии? Там ли он теперь?» — думала она.

— Отец, скажите мне, как это было? — спросила она сквозь слезы.

— Иди, иди; убит в сражении, в котором повели убивать русских лучших людей и русскую славу. Идите, княжна Марья.

Она встала и пошла. Но, вспоминая положение невестки, она мучилась, пыталась начать, пыталась скрыть и не могла ни то, ни другое. Перед обедом князь прислал Тихона с записочкой к княжне спросить, объявлено

ли? Получив отрицательный ответ, он сам пошел к ней.

— Ради бога, батюшка, — закричала княжна, бросившись к нему, — не забудьте, что она в себе носит теперь!

Князь посмотрел на нее, на невестку и вышел. Но он не пошел к себе, а, затворив дверь в маленькую диванную, где сидели женщины, стал ходить взад и вперед по гостиной.

Княжна Марья не решилась объявить Лизе в это утро именно оттого, что никогда она не видала ее такой тихой, доброй и грустной.

Когда княжна Марья вернулась от отца, маленькая княгиня сидела за работой и с тем особенным выражением внутреннего и счастливо-спокойного взгляда беременных женщин посмотрела на княжну Марью.

— Мария, — сказала она, отстраняясь от пялец и переваливаясь назад, — дай сюда твою руку. — Она взяла руку княжны и положила ее себе на живот. Глаза ее улыбались, ожидая, губка с усиками поднялась и так детски-счастливо осталась. — Перестал, надо подождать... вот он... слышишь? Как он там? маленький, маленький. Коли бы только не так

страшно, Мари. Но я все-таки буду любить его. Очень, очень даже буду любить. Что ты? Что с тобой?

Мари упала на колени и рыдала. Она сказала, что так ей сделалось грустно об Андрее, но не могла решиться сказать. Несколько раз в продолжение утра она начинала плакать. Слезы эти, которых причину она не говорила, встревожили Лизу, как ни мало она была наблюдательна. Она ничего не говорила, но беспокойно оглядывалась, отыскивая. И когда вошел старый князь, которого она и всегда так боялась, теперь, с этим беспокойным злым лицом, она все поняла. Она бросилась к Мари, не спрашивая ее уже о том, что такое, но спрашивая и умоляя ее сказать ей, что Андрей жив, что это неправда. Княжна Марья не могла сказать этого. Лиза вскрикнула и упала в обморок. Старый князь отворил дверь, взглянул на нее и, как бы убедившись, что операция кончена, ушел в свой кабинет и с тех пор выходил только утром на свою прогулку, но не ходил в гостиную и в столовую. Уроки математики продолжались. Он не спал, как слышал Тихон, и силы его вдруг из-

менили ему. Он похудел, пожелтел и стал пухнуть как будто, и по утрам чаще стали находить на него минуты злобы, в которые он не помнил, что делал, и убегал к себе в присутствие одного Тихона, которого он бил чаще прежнего, но с которым по вечерам он говорил с одним только, приказывал ему садиться и рассказывать про то, что делалось на дворе и в деревне. Старый князь не хотел надеяться, он объявил всем, что князь Андрей убит, заказал памятник своему сыну, для которого он назначил место в саду, но он все еще надеялся, он послал в Австрию чиновника разыскивать следы князя Андрея. Он ждал и надеялся, и поэтому ему было тяжелее всех. Княжна Марья и Лиза переносили каждая горе по-своему. Лиза, хотя физически и перенесла горе безвредно, опустила и говорила, что она знает, что умрет родами.

Княжна Марья молилась Богу, ходила за Лизой и пыталась обратить отца на путь религии и слез, но все было тщетно.

Прошло два месяца со дня получения известия. Старый князь заметно таял, несмотря на все усилия вступить в старую жизнь. Малень-

кой княгине подходило время. Княжна Марья напомнила отцу о просьбе князя Андрея об акушере, и послано было в Москву с требованием привезти лучшего акушера.

## XXIII

— **М**илый друг, — сказала маленькая княгиня утром 19 марта после завтрака, губка ее с усиками поднялась по старой привычке; но, как и во всех не только улыбках, но звуках речей, даже походках в этом доме со дня получения страшного известия была печаль, так и теперь улыбка маленькой княгини была такая, что она еще больше напоминала об общей печали.

— Дружочек, боюсь, что от нынешнего фриштика, как называет его Фока, мне бы не было дурно.

— А что с тобой, моя душа? Ты бледна. Ах, ты очень бледна, — испуганно сказала княжна Марья, тяжелыми мягкими шагами подбегая к невестке.

— Ваше сиятельство, не послать ли за Марьей Богдановной? — сказала одна из бывших тут горничных (Марья Богдановна была



акушерка из соседнего города, жившая тут вторую неделю).

— И в самом деле, — подхватила княжна Марья, — может быть, точно. Я пойду. Не бойся, мой ангел! — Она поцеловала ее.

— Ах нет, нет! — И, кроме бледности и физического страдания, на лице маленькой княгини выразился страх неотвратимого отчаяния. — Нет, это желудок... скажи, Мари, что это желудок...

Но Мария, увидав, как маленькая княгиня начала себе ломать руки и плакать, поспешно вышла из комнаты.

— Боже мой! Боже мой! Ох! — слышала она сзади себя и все-таки не вернулась и бежала за Марьей Богдановной.

Потирая полные небольшие белые руки, ей навстречу, с значительно-спокойным лицом, уже шла Марья Богдановна.

— Ничего, княжна, не беспокойтесь, — сказала она.

Через пять минут княжна из своей комнаты услышала, что несут что-то тяжелое. Она высунулась, — официанты несли кожаный диван для чего-то в спальню. На всех лицах

было что-то торжественное и тихое. Долго сидела княжна одна в своей комнате, отворяла дверь, то садилась в свое кресло, то бралась за молитвенник, то становилась на колена перед киотом. Но, к несчастью и удивлению своему, она чувствовала, что молитва не утишала ее волнения. Ее мучила мысль, как умер, перестал быть князь Андрей и как, когда начнет быть новый князь Николай Андреевич. (Она и все в доме были уверены, что будет сын.) Она опять села в кресло, раскрыла Псалтырь и стала читать 104-й псалом.

Во всех концах дома было разлито и владело всеми то же чувство, которое испытывала княжна Марья, сидя в своей комнате. По поверию, что, чем меньше людей знает о страданиях родильницы, тем меньше она страдает, все старались притворяться незнающими, никто не говорил об этом, но во всех людях, кроме обычной степенности и почтительности хороших манер, царствовавших в доме князя, видна была одна общая забота, смягченность сердца и сознание чего-то великого, непостижимого, совершающегося в эту минуту. Старая нянька, столетняя старуха, еще ста-

рого князя мамка, сердито крикнула на босую девчонку, прислуживавшую ей, за то, что та быстро вбежала в комнату, и, достав еще князеву венчальную свечу, велела ей зажечь ее перед иконами и, закрыв глаза, что-то все шептала. Няня другая вошла к княжне.

— Ничего, ангел мой, не убивайся. Бог милостив, — сказала она, поцеловав в плечико. — Молись. Я с тобой посижу. — И она села у княжны.

В большой девичьей не слышно было смеха. В официантской все люди сидели и молчали наготове чего-то. Старый князь, услышав суетню, послал Тихона к Марье Богдановне спросить: что? Марья Богдановна вышла из комнаты, из которой слышались крики, и сказала, посмотрев значительно на посланного:

— Доложи князю, что роды начались.

Тихон пришел и доложил князю.

— Хорошо, — сказал князь, и Тихон не слышал более ни малейшего звука в кабинете, как он ни прислушивался. Хотя свеча горела, Тихон вошел в кабинет, как будто для того, чтобы поправить свечи, и увидал, что князь ле-

жал на диване. Тихон, забыв свой страх, посмотрел на князя, на его расстроенное лицо, покачал головой, молча приблизился к нему и, поцеловав его в плечо, вышел, не поправив свечи и не сказав, зачем он приходил. На дворне до поздней ночи жгли лучины и свечи и не спали. Таинство, торжественнейшее в мире, продолжало совершаться. Прошел вечер, наступила ночь. И чувство ожидания и смягчения сердечного перед непостижимым не падало, а возвышалось.

Никто не спал. Князь вышел из кабинета, прошел через официантскую мимо всех с опущенной головой в гостиную, диванную и остановился в темноте. Он услышал из-за отворенных в ту минуту одних дверей далекие стоны. Он повернул, быстрыми шагами вернулся к себе и велел позвать приказчика. В этот самый день ждали акушера. Он ходил по кабинету и останавливался, чтобы прислушаться, нет ли звука колокольчика. Но ничего не слышно, кроме гула ветра и дрожания рам. Была одна из тех мартовских ночей, когда зима как будто хочет взять свое и высыплет с отчаянной злобой свои последние снега и

бураны. Князь послал верховых людей с фонарями встречать акушера и продолжал ходить. Княжна Марья сидела молча, устремив лучистые глаза на огонь лампадки, когда вдруг отчаянный порыв ветра налег на одну из рам ее окон (княжна выставляла по одной раме везде с жаворонками) и отбил плохо задвинутую задвижку, затрепал гардиной и пахнул холодом, белым выпавшим снегом, и задул свечу. Княжна очнулась. «Нет, еще нужен был весь ужас смерти», — подумала она. Она встала испуганно. Няня бросилась запира- рать окно.

— Княжна, матушка, едут по прешпекту кто-то, — сказала няня, высунувшись, чтобы поймать откинутую раму, — с фонарями, должно, дохтур...

Княжна Марья накинула шаль и побежала навстречу ехавшим. Когда она вышла на крыльцо, карета с фонарями стояла у подъезда. Толпа официантов на нижней площадке отделяла ее от приехавшего. Что-то говорил рыдающий голос Тихона:

— Батюшка, Андрей Николаич, а вас похоронили.

И вдруг голос, оплаканный, и, что было ужаснее всего, веселый голос князя Андрея отвечал:

— Нет, еще поживем, Тихон. Батюшка здоров, сестра, княгиня? — сказал голос, дрогнув слегка.

Получив ответ Тихона на ухо, что княгиня в муках, Андрей крикнул своему ямщику отъезжать. Его карета была карета акушера, которого он встретил на последней станции, и ехал с ним. Официанты засуетились, увидав сзади себя княжну Марью, и дали ей дорогу. Она испуганно смотрела на брата. Он подошел, обнял ее. Она должна была верить, что это был он. Да, это был он, но бледный, худой и с измененным, странно смягченным и счастливым выражением лица.

— Вы не получали моего письма? — спросил он и, не дожидаясь ответа, которого бы он и не получил, потому что княжна не могла говорить, он вернулся и вместе с акушером быстрыми шагами вбежал на лестницу и пошел к жене. Он не заметил даже: в то время как он проходил по коридору, голова старика в белом халате с страшно остановившимися

глазами высунулась из двери официантской и молча, неподвижно смотрела на него до тех пор, пока он не прошел. Князь Андрей, не слушая никого, прошел прямо к жене.

— Ну? Что? — спрашивал он беспокойно.

Она лежала на подушках в белом чепчике (страдания только что отпустили ее, черные волосы прядями вились у воспаленных, вспотевших щек, румяный прелестный ротик с губкой с усиками был раскрыт) и радостно, детски улыбалась. Блестящие глаза смотрели детски и говорили: «Я вас всех люблю, но за что я страдаю, помогите мне!»

Князь Андрей поцеловал ее и заплакал.

— Душенька моя, — сказал он слово, которое никогда не говорил ей. Она вопросительно, детски-укоризненно посмотрела на него. «Я от тебя ждала помощи — и ничего, ничего, и ты тоже». Она не удивилась, что он приехал. Муки вновь начались, и его вывели из комнаты. Акушер остался с ней. Князь Андрей пошел к отцу, но княжна Марья остановила его, сказав, что отец велел сказать, чтобы он не ходил к нему, чтобы он оставался с женой. Они поговорили с сестрой, но всякую минуту

разговор замолкал. Они ждали и прислушивались.

— Иди, мой друг! — сказала княжна Марья и сама убежала.

Князь Андрей остался один и слышал шум ветра в окна, и ему стало страшно. Вдруг страшный крик — не ее крик, она не могла так кричать, — раздался в соседней комнате. Он подбежал к ее двери, крик замолк, но слышался другой крик, крик ребенка. «Зачем принесли туда ребенка?» — подумал князь Андрей с удивлением. Дверь отворилась, с засученными рукавами вышел акушер без сюртука, бледный и с трясущейся челюстью. Князь Андрей обратился к нему, но акушер злобно взглянул и, ни слова не сказав, ушел. Испуганная женщина выбежала и, увидав князя Андрея, замялась на пороге. Он вбежал в комнату жены. Она мертвая лежала в том же положении, в котором он видел ее пять минут тому назад, и то же выражение, несмотря на остановившиеся глаза и на бледность щек, было на этом прелестном, детском, робком личике с губкой, покрытой черными волосиками. «Я вас всех любила и ни-



кому дурного не делала, и что вы со мной сделали! Ах, что вы со мной сделали!»

В углу комнаты хрюкнуло, как поросенок, что-то маленькое, красное в белых руках Марьи Богдановны.

Через два часа все так же было темно и так же гудел ветер. Князь Андрей тихими шагами вошел в кабинет к отцу. Старик все уже знал. Он лежал на диване. Князь Андрей подошел к нему ближе. Старик спал или притворился спящим. Князь Андрей сел к нему на диван. Старик дрогнул глазами.

— Батюшка...

Старик молча и старческими, жесткими руками, как тисками, обхватил шею сына и зарыдал, как ребенок.

Через три дня отпевали маленькую княгиню. Князь Андрей взошел на ступенью гроба и увидел опять то же лицо, хотя и с закрытыми глазами. «Ах, что вы со мной сделали?» — И он почувствовал, что в душе его оторвалось что-то, что он виноват в вине, которую ему не поправить и не забыть. Он не мог плакать. Старик тоже вошел и поцеловал ее руку, и ему она сказала: «Ах, что и за что вы это со

мною сделали?» И старик второй раз в жизни зарыдал и заплакал.

Еще через пять дней крестили молодого князя Николая Андреича.

## XXIV

Еще не успело пройти впечатление первой войны с Наполеоном, как наступила вторая, кончившаяся Тильзитским миром. В начале 1806-го и в 1807 году чувство вражды к Буонапартию, как его называли, уже глубже, чем в 1805 году, проникало до сердца русского народа. Полмиллиона ратников, два набора в один год, проклятия врагу рода человеческого и антихристу Буонапартию, слышавшиеся во всех церквях, и слух о приближении его к русской границе, не шутя, заставлял ощетиниваться против него все сословия.

Ростов после несчастной дуэли, в которой он участвовал, повез раненого Долохова на его квартиру. Ростов знал Долохова по холостой жизни у цыган, на попойках, но никогда не бывал у него и даже никогда не думал о том, какой может быть дом у Долохова. Если был дом у Долохова, то, вероятно, это была,

по предположениям Ростова, какая-нибудь закуренная, загрязненная комнатка, с бутылками, трубками и собакой, в которой он держал свои чемоданы и ночевал изредка. Но Долохов сказал ему, что он живет в собственном доме у Николы Явленного со старушкой матерью и двумя незамужними сестрами.

Во время переезда Долохов молчал, видимо, делая над собой усилия, чтобы не стонать, но перед домом, узнав Арбат, он приподнялся и взял за руку Ростова, и на лице его выразилось страстное, восторженное отчаяние, какого никак не ожидал от него Николай.

— Ради бога, не к матери, она не перенесет... Ростов, брось меня, беги к ней, приготовить ее. Этот ангел не перенесет.

Домик был хорошенький, чистенький, с цветами и половиками. Марья Ивановна Долохова была почтенная на вид старушка. Она испуганно выбежала в переднюю навстречу Ростову.

— Федя! Что с Федей? — вскрикнула она, как только Ростов сказал, что Долохов прислал его и что он не совсем здоров. — Он умер? Где он? — И она упала без чувств.

Сестры, некрасивые девушки, выбежали и окружили мать. Одна из них шепотом спросила у Ростова, что с Федей, и он сказал ей, что Долохов легко ранен. Ростов не мог перенести раздирающего душу вида отчаяния матери и сестер, когда вынес Долохова и вышел под предлогом поездки за доктором, освободив себя от вида свидания матери с сыном.

Когда Ростов возвратился с доктором, Долохов уже был уложен в своем коврами и дорогим оружием увешанном кабинете на полу, на медвежьей шкуре, и мать на низенькой скамеечке, более бледная, чем ее сын, сидела у его изголовья. Сестры хлопотали по задним комнатам, в коридоре, но не смея войти в комнату. Долохов перенес боль зондирования раны и вынимания пули так же, как и самую рану. Он даже не морщился и улыбался, как только в комнату входила его мать. Все усилия его, видно, были устремлены на то, чтобы успокоить старушку. Чем ближе узнавал Ростов Долохова, тем более он чувствовал себя к нему привязанным. Все в нем было, начиная от его привычки лежать на полу и до его тщеславия своими дурными на-

клонностями и скрытностями в хороших, — все было необыкновенно, не так, как у других людей, и все было решительно и ясно. Первое время Марья Ивановна враждебно смотрела на Ростова, связывала его с несчастьем сына, но, когда Долохов, заметив это, прямо сказал ей: «Ростов мой друг и прошу вас, обожаемая матушка, любить его», — Марья Ивановна действительно полюбила Николая, и Николай ежедневно стал бывать в домике у Николая Явленного. Несмотря на шутки домашних, на упреки светских знакомых, он целые дни проводил у выздоравливающего, то разговаривая с ним, слушая его рассказы, ловя каждое его слово, движение и улыбку, и безусловно во всем соглашался с ним, то с Марьей Ивановной Долоховой, разговаривая с ней о ее сыне. От нее он узнал, что Федя содержал ее и сестер, что это был лучший сын и брат в мире. Марья Ивановна была убеждена, что ее Федя был образец всех совершенств мира. (Мнение это разделял Ростов, особенно, когда ее слушал или видел самого Долохова.) Она даже не допускала, чтобы возможно было иметь сколько-нибудь другое мнение о ее сы-

не.

— Да он слишком благороден, высок и чист душою, — говаривала она, — для нашего нынешнего развращенного света. Добродетель никто не любит, она всем глаза колет. Ну, скажите, граф, справедливо это, честно это со стороны этого Безухова, а Федя по своему благородству любил его, и теперь никогда ничего дурного про него не скажет. В Петербурге эти шалости — с квартальным там что-то пошутили — ведь они вместе делали. Что же, Безухову ничего, а Федя все на своих плечах перенес. Ведь что он перенес! Положим, возвратили, да ведь как же не возратить. Я думаю, таких, как он, храбрецов и сынов отечества немного там было. Что ж теперь эта дуэль?! Есть ли чувства, честь у этих людей? Зная, что он единственный сын, — вызвать на дуэль и убить. Хорошо, что Бог помиловал нас. И за что же? Ну, кто же в наше время не имеет интриги. Что ж, коли он так ревнив, я понимаю, ведь он прежде мог дать почувствовать, а то ведь год продолжалось. И что ж, вызвал на дуэль, полагал, что Федя не будет драться, потому что он ему должен. Какая ни-

зость! Какая гадость! Я знаю, вы Федю поняли, мой милый граф, оттого-то я вас душой люблю. Верите мне, его редкие понимают, это такая высокая, небесная душа...

Долохов сам во время своего выздоровления и в своем доме был часто особенно кроток и восторжен. Ростов бывал почти влюблен в него, когда этот мужественный, железный человек, обессиленный теперь раной, обращал к нему свои яркие голубые глаза и прекрасное лицо, слегка улыбался и говорил, выказывая ему свою дружбу.

— Верь мне, мой друг, — говорил он, — на свете есть четыре сорта людей: одни никого не любят, никого не ненавидят — эти самые счастливые. Другие, которые всех ненавидят, — это Картуши, злодеи. Третьи, которые любят того, кто на глаза попадается, а к другим равнодушны, этих до Москвы не перевешишь, это все дураки; и есть такие, как я. Я люблю кого, того люблю так, что жизнь отдаю, а остальных передавлю всех, коли мне на дороге или на дороге любимых людей. У меня есть обожаемая, неоцененная мать, сестры, два-три друга, ты в том числе, а

остальных я всех ненавижу, изо всех окрошку сделаю для того, чтобы моим избранным было хорошо. — И он, улыбаясь, пожал руку Ростову. — Да, душа моя, — продолжал он, — мужчин я встречал любящих, честных, благородных, возвышенных, — он опять приласкал взглядом Ростова, — но женщин, кроме продажных тварей, — графинь или кухарок, все равно — нет женщин. Нет этой чистой души, которая любила бы одной душой, как бедная Лиза любила Эраста. Ежели бы я нашел такую женщину, я бы жизнь отдал за нее. А эти... — Он сделал презрительный жест. — Ты знаешь ли, зачем я вызывал, то есть заставил Безухова вызвать меня? Она мне надоела. Это — рыба. Она не любила меня, она боялась. А мне любопытно было. Любовь есть высшее блаженство, и оно еще не далось мне.

Большей частью он был кроток, но один Ростов видел его в том припадке бешенства, в котором он делывал свои страшные поступки. Это было уже при конце его болезни. Он снял повязку, велел слуге подать чистую, чистой не было, и слуга побежал к прачке, которая взялась гладить бинты. Минут с пять До-



Долохов пробыл в ожидании. Он, стиснув зубы и хмурясь, сидел на постели, потом привстал, достал стул и придвинул его к себе. «Егорка!» — начал кричать он, равномерно останавливаясь и дожидаясь. Ростов хотел развлечь его, но Долохов не отвечал ему. Ростов пошел за Егоркой и привел его с бинтами. Но только что Егорка вошел, как Долохов бросился на него, смял его под ноги и начал бить стулом. Кровь хлынула из раны. Несмотря на усилия Ростова и прибежавших матери и сестер, Егора не могли отнять до тех пор, пока Долохов сам не упал от изнеможения и потери крови.

Еще Долохов был слаб и едва ходил, когда его новый друг Николай ввел его в дом родителей. Всех принимали в доме Ростовых с распростертыми объятиями. Но Долохова приняли еще радушнее, во-первых, за дружбу его к Николаю, во-вторых, за его страшную и блестящую репутацию. Приезда его тщетно ждали несколько дней. Графиня несколько робела, барышни волновались, несмотря на то, что Соня была вся поглощена своей любовью к Николаю, Вера к Бергу, который приезжал в отпуск и опять уехал, и Наташа вполне довольна своим обожателем Денисовым. Ни одна из них не захотела бы, чтоб Долохов влюбился в нее, но все подробно расспрашивали у Николая и, между собой говоря о нем, посмеивались таким смехом, который, очевидно, должен был скрыть их волнение и страх.

На третий день ожидания подъехала карета, барышни подбежали и отбежали от окон, узнав Долохова, и Николай ввел своего друга. Долохов был учтив. Он говорил мало (что го-

ворил, то было оригинально) и внимательно вглядывался в женские лица. Все ждали от него чего-нибудь необыкновенного, но он ничего необыкновенного не сказал и не сделал. Одно, что было в нем не совсем обыкновенного, это то, что в его манере нельзя было найти и тени того стеснения и замешательства, которое, как бы оно ни было скрывается, всегда заметно в молодом холостом мужчине в присутствии молодых барышень. Долохов, напротив, пользуясь преимуществом, которое давала ему его рана и предполагаемая от нее слабость, свободно развалясь, сидел в вольтеровских креслах, которые ему предложили, и принимал те мелкие услуги, которые ему оказывали. Он понравился всем домашним Ростовых, Соня видела в нем друга, и, считая то за большую важность, с самоотвержением старалась сделать для него приятным дом его друга. Она спрашивала, какой он любит чай, играла ему на клавикордах пьесу, которая ему нравилась и показывала ему картины в зале. Вера рассуждала, что он не такой человек, как все, и потому хороший. Наташа первые два часа его присутствия не спускала с

него любопытных вопросительных глаз (так, что старая графиня несколько раз потихоньку заметила, что это ей неучтиво). После обеда она стала петь, очевидно, для него, и Васька Денисов уже говорил, что волшебница забыла своего карлика (так он себя называл) и хочет очаровать нового принца. Она смеялась, но, спев свою песенку в зале, она, беспокойно поглядывая на Долохова, вернулась в гостиную, где он сидел, и присела у стола недалеко от него, высматривая на его лице впечатление, произведенное ею, не спуская с него глаз и ожидала похвалы. Долохов не обращал на нее ни малейшего внимания и рассказывал что-то Вере и Соне, обращаясь преимущественно к последней. Беспокойство Наташи и желание, чтоб ее похвалили, было так заметно, что старая графиня, улыбаясь, переглянулась с Николаем, указывая глазами на Наташу и Долохова. Они поняли, чего ей нужно было.

— Вы любите музыку? — спросила графиня у Долохова.

— Да, очень, но я признаюсь, что ничего подобного не слышал песням цыган и что ни

одна итальянская певица, по мне, не может сравниться с Акулькой.

— Вы слышали, как я пою? — спросила вдруг Наташа, краснея. — Хорошо? Лучше Акульки-цыганки?

— Ах да, очень хорошо, — холодно, учтиво и ласково, как с ребенком, сказал Долохов, улыбаясь своей светлой улыбкой.

Наташа быстро повернулась и ушла. С этой минуты Долохов существовал для нее как мужчина менее, чем лакей, подававший кушанье.

Вечером, как это часто бывало, графиня к себе в спальню зазвала свою любимицу и смеялась с ней тем заливающимся смехом, которым редко, но зато неудержимо смеются добрые старушки.

— Чему вы, мама? — спросила Соня из-за ширмы.

— Соня, он (Долохов) не в ее вкусе, — и графиня закатывалась сильнее прежнего.

— Вы смеетесь, а не в моем вкусе, — повторяла Наташа, стараясь обидеться и не в силах удержаться от смеха.

— Что за божественное существо твоя ку-

зина Софи, — сказал Долохов Николаю, когда они увидались на другой день. — Да, счастлив тот, кто назовет другом такое неземное создание. Но не будем говорить про это.

Больше они не говорили о Соне, но Долохов стал ездить каждый день, и Марья Ивановна Долохова со вздохом и тайно от сына иногда спрашивала у Николая о его кузине Соне.

На вопрос, который задают себе семейные люди при сближении с молодым человеком, было весьма скоро отвечено всеми домашними, что Долохов ездил для Сони и был влюблен в нее. Николай с гордым чувством самодовольства и уверенности представлял Долохову случаи видеться с Соней и твердо был уверен, что Соня и вообще женщина, любившая его, не может изменить ему. Раз он сказал Соне, что это была бы хорошая партия. Соня заплакала.

— Вы злой человек, — только сказала она ему.

Старый граф и графиня шутили с Соней и серьезно поговаривали: «Что ж, это партия недурная, женится — переменится». Соня с

удивлением и упреком только смотрела на них, на Николая и самого Долохова и, как бы находясь в нерешительности, хотя и польщенная вниманием Долохова, с страстным любопытством ожидала, что будет.

Месяц после знакомства с Долоховым горничная барышень, расчесывая огромную косу Сони, выждала время, когда Наташа вышла из комнаты, и шепотом сказала:

— Софья Александровна, вы не рассердитесь, меня один человек просил, — и стала доставать что-то рукой из-за пазухи.

Это было любовное письмо от Долохова. Испуганная и обрадованная Соня кошачьим движением вырвала письмо и, еще более красная, чем горничная, пошла в спальню, там задумалась, следовало ли ей или не следовало читать это письмо. Она знала, что это было объяснение. «Да, ежели бы я была дочь татап (она так называла графиню), мне бы следовало показать ей письмо, но, бог знает, что ожидает меня. Я люблю и буду его женой или ничьей, но я не дочь, и мне, одинокой сироте, нельзя отвергать любви или дружбы этого Долохова».

Она распечатала и прочла: «Обожаемая Софи, я вас люблю, как никогда ни один мужчина не любил женщину. Моя судьба в ваших руках. Я не смею просить руки вашей. Я знаю, что вас, чистого ангела, не отдадут мне, человеку с репутацией, которая заслужена мною. Но с того мгновения, как я узнал тебя, я другой, я увидел небо. Ежели ты любишь меня, хоть в одну сотую столько, как я, то ты поняла меня, Софи, отдайся мне, и я буду твой раб. Ежели ты любишь, напиши „да“, и я найду минуту свиданья».

Наташа застала Сою за чтением письма и узнала, в чем дело.

— Ах, какая ты счастливая, — закричала она. — Что ж ты ответишь ему?

— Нет, я не знаю, что мне делать, я не могу теперь видеть его.

Через неделю после этого письма, на которое Долохов не получил ответа и во время которой Соня упорно избегала оставаться с ним наедине, Долохов приехал рано утром к Ростовым. Он попросил видеть графиню и сказал, что он просит руки Софьи Александровны. Графиня изъявила условное согласие и



послала Соню. Соня, красная и трепещущая, обнявшись с Наташей, вошла мимо любопытных глаз дворни, уже знавшей, в чем дело, и радостно ожидавшей свадьбы барышни, в комнату, где ожидал ее Долохов, а к затворившимся за ней дверям тотчас же прильнули любопытные головы. Долохов покраснел, как только вошла еще более покрасневшая и испуганная Соня, быстро подошел к ней и взял ее за руку, которую она не могла отнять от страха, охватившего ее. «Как это может быть, чтобы он любил меня», — думала она.

— Софья Александровна, я обожаю вас, вам нечего говорить. Вы поняли уже, что вы сделали с моим сердцем. Я был порочен, я был во мраке, пока я не знал тебя, обожаемая, несравненная Софи. Ты ангел, осветивший мою жизнь. Будь моей звездой, будь моим ангелом хранителем. — Его прекрасно-звучный голос задрожал, когда он говорил это, и он обнял ее и хотел прижать к себе.

Соня дрожала от страха и казалась потерянною, капли пота выступали у нее на лбу, но, как скоро он дотронулся до нее, кошечка проснулась и вдруг выпустила когти. Она от-

скочила от него. Все, что она приготовила сказать ему, не сказалось. Она почувствовала его привлекательность, его власть над собою и ужаснулась. Она не могла быть ничьей женою, кроме Николая.

— Месье Долохов, я не могу... я благодарю вас... ах, уйдите, пожалуйста.

— Софи, помните, что моя жизнь, будущая жизнь, в руках ваших.

Но она с ужасом оттолкнула его.

— Софи, скажи, ты любишь уже? Кого? Я убью его.

— Своего кузена, — сказала Соня.

Долохов нахмурился и вышел быстрыми, твердыми шагами, с тем особенным выражением злобной решительности, которое иногда принимало его лицо.

В зале старый граф встретил Долохова и протянул к нему обе руки.

— Ну что, поздравить... — начал он, но не договорил — его ужаснуло злое лицо Долохова.

— Софья Александровна отказала мне, — сказал Долохов дрогнувшим голосом. — Прощайте, граф.

— Не думал я, не думал, я бы за честь счел племянником назвать тебя. Ну, мы поговорим еще, мой дорогой, с ней. Я знаю, что мой Коко... с детства кузен и кузина... постойте...

— Да, — сказал Долохов, — вы Софью Александровну не считаете достойной своего сына, и он тоже. Она же считает меня недостойным себя. Да, это в порядке. Прощайте, я вас поблагодарю за это, — и он вышел. Встретившемуся Николаю он не сказал ни слова и отвернулся от него.

Через два дня Николай получил от Долохова записку следующего содержания: «Я у вас в доме больше не буду, и ты знаешь почему.

Я еду послезавтра, и ты скоро, как я слышал. Приезжай нынче вечером, помянем Москву гусарской пирушкой. Я кучу у Яра».

Ростов из театра в одиннадцатом часу приехал к Долохову и нашел у него переднюю, полную плащами и шубами, и из отворенных дверей услышал гул мужских голосов и звуки перекидываемого золота. Три небольшие комнаты, занимаемые Долоховым, были красиво убраны и ярко освещены. Гости чинно сидели вокруг столов и играли. Долохов хо-

дил между ними и радостно встретил Ростова. О предложении и вообще о семействе ни слова не было сказано. Он был ясен и спокоен, больше чем обыкновенно, но в глазах его Ростов заметил ту черту холодного блеска и наглого упорства, которая была в нем в ту минуту, как он на клубном обеде вызывал Безухова. Ростов не играл во все время пребывания своего в Москве. Отец просил его несколько раз не брать карты в руки, и Долохов несколько раз, смеясь, говаривал ему: «Играть в карты на счастье можно только дураку, коли играть, то играть на верное».

— Разве ты станешь играть на верное? — говорил ему Ростов.

Долохов странно улыбнулся на эти слова и сказал:

— Может быть.

Теперь после ужина Ростову вспомнился этот разговор, когда Долохов, сев на диван между двух свечей и выкинув из стола мешок с червонцами, ширококостными, мускулистыми руками распечатал колоду и вызывающими приятными глазами оглянул присутствующих. Глаза его встретились с взглядом

Ростова. Ростов боялся, чтобы он не подумал, что он вспоминает в это время о бывшем между ними разговоре об игре наверное, и искал и не находил в уме своей шутки, которая бы доказала ему противное, но, прежде чем успел он это сделать, Долохов, уставив свой стальной взгляд прямо в лицо Ростова, медленно и с расстановкой, так, что все могли слышать, сказал ему:

— А помнишь, мы говорили: дурак, кто на счастье хочет играть, а играть надо наверное, и я хочу попробовать.

«Попробовать на счастье играть или наверное?» — подумал Ростов.

— Или ты боишься меня? Да и лучше не играй, — прибавил он и, треснув разорванной колодой, сказал: — Банк, господа! — И, подвинув вперед деньги, приготовился метать.

Ростов сел подле него и сначала не играл. Долохов презрительно взглядывал на него.

— Что ж не играешь? — сказал он.

И странно, Николай почувствовал необходимость взять карту и, поставив на нее значительный куш, начать игру.

Долохов не обращал ни малейшего внима-

ния на игру своего друга и просил его самого записывать. Но ни одна карта Ростову не давалась.

— Господа, — сказал Долохов, прометав несколько времени, — прошу класть деньги на карты, а то я могу спутаться в счетах.

Один из игроков сказал, что он надеется, что ему можно поверить.

— О, конечно, — отвечал Долохов и, не глядя на Ростова, прибавил: — Ты не стесняйся, мы с тобой сочтемся.

Игра продолжалась... Лакей не переставая разносил шампанское. Ростов отказался от налитого ему в третий раз стакана, тем более, что он был занят в это время поставкой большой карты. Все карты его бились, и на него было написано до 800 рублей. Он надписал было над одной картой 800 рублей, но в то время, как подавали ему шампанское, он раздумал и написал опять обыкновенный куш, 20 рублей. Долохов, не смотревший на него, видел, однако, его нерешительность.

— Оставь, — сказал он, — скорей отыграешься. Другим даю, а тебе бью. Или ты меня боишься? — прибавил он.

Ростов поспешно оставил написанные восемьсот и поставил семерку червей с заломанным углом. Он хорошо ее после помнил. Он поставил семерку червей, написав над ней отломанным мелком восемьсот круглыми, прямыми цифрами; выпил поданный стакан согревшегося шампанского, улыбнулся на слова Долохова и в первый раз с замиранием сердца в игре, ожидая семерки, с нетерпением стал смотреть на руки Долохова, державшие колоду.

В воскресенье на прошлой неделе граф Илья Андреич дал своему сыну 2000 рублей, и он, никогда не любивший говорить о денежных затруднениях, сказал ему, что деньги эти были последние до мая и что потому он просил сына быть на этот раз поэкономнее. Николая засмеялся и сказал, что он дает честное слово не брать больше денег до осени.

Теперь из этих денег оставалось 1200 рублей. Стало быть, семерка червей означала не только проигрыш 1600 рублей, но и необходимость изменения данному слову. Он с замиранием сердца смотрел на руки Долохова и думал: «Ну, скорей, дай мне эту карту, и я беру»

фуражку, уезжаю и отправляюсь домой петь с Денисовым и Наташей, и уж верно никогда в руках моих не будет карта». И в эту минуту прелесть песни, дома — Денисов, Наташа, Соня, и беседы, и даже спокойной постели в Поварском доме с такою силой и ясностью представлялась ему, что он не мог допустить, чтобы глупая случайность, заставившая семерку лечь прежде направо, чем налево, могла бы лишить его всего этого счастья и повергнуть в такую пучину еще не испытанного и неопределенного несчастья. Это не могло быть, но он все-таки ожидал с замиранием движения рук Долохова. Руки эти спокойно положили колоду карт и взялись за подаваемый стакан и трубку.

— Так ты не боишься со мной играть, — повторил Долохов и как будто для того, чтоб ему рассказать веселую историю, он положил карты, опрокинулся на спинку стула и медлительно, с улыбкой стал рассказывать: — Да, господа, мне говорили, что в Москве распущен слух, будто я шулер, поэтому советую вам быть со мною осторожным.

— Ну, мечи же! — говорил Ростов.



Долохов с улыбкой взялся за карты. Семерка, которая была нужна ему, уже лежала сверху, первой картой в колоде.

— Однако ты не зарывайся, — прибавил он Ростову и продолжал метать.

Через полтора часа времени большинство игроков уже шутя смотрели на свою собственную игру. Вся игра сосредоточилась на одном Ростове. Вместо 1600 рублей за ним была записана длинная колонна цифр, которую он считал еще до десятой тысячи и которая, как он предполагал, возвышалась до пятнадцати тысяч, в сущности же превышала двадцать тысяч. Запись эту Долохов, несмотря на свою выказываемую рассеянность, помнил до последнего рубля. Он решил продолжать играть до тех пор, пока запись эта возрастет до сорока двух тысяч. Число это было выбрано им потому, что сорок два составляло сумму сложенных его годов с годами Софьи Александровны.

Ростов, опершись головою на обе руки, ничего не видел, не слышал. «Шестьсот рублей, туз, угол, девятка... отыгратья невозможно, а как бы весело было у Елены... валет на пе, это не может быть... И зачем же это он делает со

мной?» Иногда он ставил большую карту, но Долохов отказывался бить ее и сам назначал куш. Николай покорялся ему и то молился Богу, как он молился на поле сражения на Энском мосту; то загадывал, что та карта, которая первая попадетс я ему под столом в руку, та спасет его; то рассчитывал, сколько было шнурков на его куртке, и с столькими же очками карту пытался ставить на весь проигрыш; то за помощью оглядывался на других играющих; то вглядывался в холодное теперь лицо Долохова и старался проникнуть, что в нем делалось. «Ведь он знает, — говорил он сам себе, — что значит этот для меня проигрыш. Не может он желать моей гибели. Но и он не виноват: что ж ему делать, когда ему везет счастье, и я не виноват, — говорил он сам себе. — Я ничего не сделал дурного. За что же такое ужасное несчастье! И когда оно началось? Еще так недавно, когда я подходил к этому столу с мыслью выиграть сто рублей и ехать к Елене, я так был счастлив, хотя и не умел ценить того счастья. Когда же это кончилось и когда началось это новое, ужасное состояние? Чем ознаменовалась эта переме-

на? Я все так же сидел на этом месте, у этого стола, и так же выбирал и выдвигал карты; когда же это совершилось, и что такое совершилось? Когда я здоров, силен и все тот же, и все на том же месте. Нет, этого не может быть, и, верно, все это ничем не кончится». Он был красен, весь в поту, несмотря на то, что в комнате не было жарко. И лицо его было страшно и жалко, особенно по бессильной борьбе казаться спокойным.

Запись дошла до рокового числа. Ростов приготовил карту, которая должна была идти углом от 3000 рублей, только что данных ему, когда Долохов стукнул колодой, отложил ее и, взяв мел, начал быстро подводить итог записи Ростова. Николай понял в то же мгновение, что все было кончено; но он равнодушным голосом сказал:

— Что же, не будешь еще? А у меня славная карточка приготовлена. — Как будто более всего его интересовало веселье процесса самой игры.

«Все кончено, я пропал, — думал он. — Теперь пуля в лоб — одно остается», — и вместе с тем веселым голосом говорил:

— Ну, еще одну карточку.

— Хорошо, — отвечал Долохов, окончив итог, — хорошо! Двадцать один рубль идет, — сказал он, указывая на цифру 21, разрознившуюся ровный счет тысяч, и, взяв колоду, приготовился кидать. Ростов, в покорность, отогнул угол и вместо приготовленных 6000 старательно написал 21.

— Это мне все равно, — сказал он, — мне только интересно знать, убьешь ты или дашь мне эту десятку.

Долохов, не улыбаясь, удовлетворил его интерес. Десятка была дана.

— За вами сорок две тысячи, граф, — сказал он и, потягиваясь, встал из-за стола. — А устаешь, однако, так долго сидеть, — сказал он.

— Да, и я тоже устал, — сказал Ростов.

Долохов, как будто напоминая ему, что ему неприлично было шутить, теперь перебил его.

— Когда прикажете получить деньги, граф?

Ростов вопросительно взглянул на него.

— Завтра, господин Долохов, — сказал он

и, побыв несколько времени с другими гостями, вышел в переднюю, чтобы ехать домой. Долохов остановил его и отозвал в маленькую комнатку, в которую выходила другая дверь из передней.

— Послушай, Ростов, — сказал Долохов, схватив за руку Николая и глядя на него страшно нахмуренным лицом. Ростов чувствовал, что Долохов не столько озлоблен, сколько хочет казаться страшным в настоящую минуту. — Послушай, ты знаешь, что я люблю Софи и люблю так, что я весь мир отдаю за нее. Она влюблена в тебя, ты ее держишь, уступи ее мне, и мы квиты в 42 тысячи, которые ты не можешь заплатить мне.

— Ты с ума сошел, — сказал Николай, не успев оскорбиться, так неожиданно было это сказано.

— Помоги мне увезти ее и овладеть ею, и мы квиты.

Ростов почувствовал в эту минуту весь ужас своего положения. Понял удар, который он должен был нанести отцу, прося у него эти деньги, весь свой стыд, и понял, какое бы было счастье избавиться от всего этого и быть

квитым, как говорил Долохов, но только что он понял это, как вся кровь поднялась в нем.

— Вы подлец, коли вы могли сказать это! — крикнул он, с бешенством бросаясь на Долохова. Но Долохов схватил его за обе руки.

— Идите, смирно.

— Все равно, я дам вам пощечину и вызываю вас.

— Я не буду с вами драться, она вас любит.

— Завтра вы получите деньги и вызов.

— Я не приму последнего.

Сказать «завтра» и выдержать тон приличия было нетрудно, но приехать одному домой с страшным воспоминанием случившегося, проснуться на другой день и вспомнить, и идти к щедрому, кроткому, но запутанному делами отцу, признаваться и просить о невозможном — было ужасно. О дуэли он не думал. Надо было прежде заплатить, а драться — нетрудно.

Дома еще не спали. Входя в залу, он услышал громкий хриплый голос Денисова, его хохот и хохот женских голосов.

— Коли этого требует моя богиня, я не могу отказаться... — кричал Денисов.

— И прекрасно, отлично, — кричали женские голоса.

Все они стояли в гостиной около рояля.

Две сальные свечи горели в комнате, но при тысяче восковых свечей нельзя было быть блестяще Наташи. Нельзя было блестяще рассыпаться серебряным смехом.

— А вот и Николай! — закричали голоса. Наташа подбежала к нему.

— Какой ты умник, что рано приехал! Нам так весело! Месье Денисов остался для меня, и мы его забавляем.

— Ну, хорошо, хорошо, — закричал Денисов, подмигивая Николаю и не замечая его расстроенность. — Наталья Ильинична, за вами баркаролла. Николай, садись, аккомпанируй, а потом он сделает все, что я велю.

Николай сел за рояль, никто не заметил, что он расстроен. Да и трудно было заметить что-нибудь, потому что он сам еще ясно не отдавал себе отчета в том, что он сделал и что предстоит ему. Он сел и сыграл прелюдию любимой баркароллы. Баркаролла эта, привезенная недавно из Италии графиней Перовской, только что была понята и разучена в до-

ме Ростовых. Это была одна из тех музыкальных вещей, которые напрашиваются в ухо и чувство, неотразимо привлекая к себе первое время и исключая всякое другое музыкальное воспоминание. Спать ложишься, просыпаться, — все в ушах повторяются музыкальные фразы, кажется, все пустяки, вяло, скучно в сравнении с этими фразами. Запоет ли хороший голос эту мелодию, слезы навертываются на глаза, и все кажется легким и ничтожным, и счастье таким близким и возможным. Правда, такие мелодии, как эта баркаролла, скоро надоедают, делаются столь же невыносимыми, сколько они были неотразимыми первое время.

Николай взял первый аккорд прелюдии и хотел встать.

«Боже мой, что я делаю?! — подумал он. — Я бесчестный, я погибший человек. Пулю в лоб — одно, что остается. И что делать? Как выйти из этого? Нет выхода. А я хочу петь с ними».

«Николай, что с вами?» — спросил взгляд Сони, устремленный на него. Она одна видела, что что-то нехорошо с ним. Он сердито от-



вернулся. Ему оскорбительно было за нее, ее участие. Он считал себя столь низко упавшим человеком, что он срамил всех людей, которые любили его.

Наташа с своей чуткостью тоже мгновенно заметила состояние своего брата. Она заметила его, но ей самой было так весело в эту минуту, так далека она была от горя, грусти, упреков, что она, как это часто бывает с молодыми людьми, нарочно обманула себя. «Я слишком счастлива в эту минуту и слишком большое удовольствие предстоит мне, чтобы его портить сочувствием горю», — почувствовала она и сказала себе: «Нет, я, верно, ошибаюсь, он должен быть весел так же, как я».

— Ну, Николай, — сказала она и вышла на самую середину зала, где, по ее мнению, лучше всего был резонанс. Она сначала, гордо приподняв голову, грациозно опустив руки и энергическим движением переступая с каблучка на цыпочки, прошлась по середине комнаты и остановилась.

«Вот она я! — как будто говорила она. — Ну-ка, кто останется равнодушным ко мне. Посмотрим». Ей все равно было: два, три че-

ловека смотрели на нее. Она вызывала весь мир этим взглядом. Добрый, восхищенный взгляд Денисова встретился с ее взглядом. «Однако, какая вы злодейская кокетка будете», — сказал его взгляд. «Да еще какая, — отвечали ее взгляд и улыбка. — А что же, разве это дурно? Ну-с».

Николай машинально ударил первый аккорд. «И что они делают глупости — поют, — думал он, — когда тут человек, я, погибаю. Не об этом думать надо, а о том, как спасти себя. А это все глупо, детство, и старый Денисов любезничает, противно».

Наташа взяла первую ноту, горло ее расширилось, грудь выпрямилась, глаза приняли серьезное выражение. Уже она не думала ни о ком, ни о чем в эту минуту, и из улыбки сложенного рта полились звуки, те звуки, которые может производить в те же промежутки времени и в те же интервалы всякий, но которые тысячу раз оставляют вас холодным, а в тысячу первый раз заставляют вас содрогаться и плакать. Весь мир для Николая мгновенно сосредоточился в ожидании следующей фразы, все сделалось разделенным на

три темпа, в котором была написана ария, которую она пела. Раз, два, три, раз, два, три, раз... «Эх, жизнь наша дурацкая, — подумал Николай. — Все это несчастье, и Долохов, и злоба, и деньги, и долг, и честь, — все это вздор... а вот оно — настоящее... Ну, Наташа, как она это si возьмет... Отлично». — И он невольно взял полной грудью втору и терцию высокой ноты — раз, два, три, раз...

Давно уже не испытывал Николай такого наслаждения от музыки, как в этот день. Но прошло время, и он опять вспомнил и ужаснулся. Старый граф, веселый и довольный, приехал из клуба. Николай не имел духа сказать ему в тот же вечер.

На другой день он не выезжал из дому и не решался объявить отцу о своем проигрыше. Несколько раз подходил к двери кабинета и с ужасом отбегал назад. Но не было выхода из этого положения. Изменял ли он своему слову в отношении Долохова, лишал ли он себя жизни, как он думал об этом неоднократно, или объявлял обо всем, без тяжелого удара своим старикам дело это не могло обойтись. Он пришел перед обедом к отцу; вместо того

чтобы сказать, что было нужно, с веселым видом начал говорить, сам не зная почему, о последнем бале. Наконец, когда отец взял его под руку и повел пить чай, он вдруг самым небрежным тоном, как будто он просил экипажа съездить в город, сказал ему:

— Папа, а я к вам за делом приходил. Я было и забыл. Мне денег нужно.

— Вот как, — сказал отец, находившийся в особенно веселом духе. — Я тебе говорил, что не достанет. Много ли?

— Очень много, — краснея, и с глупой, небрежной улыбкой, которую долго потом не мог себе простить Николай. — Я немного проиграл, — сказал он, — то есть много, даже очень много, сорок две тысячи.

— Что? Полно, не может быть...

Когда сын рассказал все как было, и главное то, что он обещал заплатить нынче же вечером, старик схватил себя за голову, и, не думая упрекать сына и жаловаться, бросился из комнаты, только приговаривая: «Как же ты мне не сказал прежде», — и поехал к своим знатым знакомым отыскивать нужную сумму. Когда он вернулся в двенадцатом часу с

камердинером, несшим за ним деньги, он в кабинете у себя нашел сына, лежавшего на диване и плакавшего навзрыд, как ребенок.

Денисов на другой день отвез деньги и вызов Долохову, но получил отказ.

Через две недели Николай Ростов уехал в свой полк — тихий, задумчивый и печальный, не простившись ни с кем из своих блестящих знакомых и прошедший последнее время в комнате барышень, исписав их альбомы стихами и музыкой. Старый граф, набрав учителей и гувернанток, после отъезда сына вскоре переехал в деревню, где его присутствие, как он думал, становилось необходимо вследствие совершенного расстройства дел, произведенного преимущественно последним неожиданным долгом — сорок две тысячи.

Два дня после объяснения своего с женою Пьер уехал в Петербург с намерением получить паспорт и ехать за границу, но война была уже объявлена, и паспорта не выдавались. Остановившись не в своем доме, не у тестя, князя Василия, ни у кого из многочисленных знакомых, он жил в Аглицкой гостинице, не выходя из комнаты и никому не дав знать о своем приезде. Целые дни и ночи он проводил, лежа на диване и задржав ноги и читая, или расхаживая по своей комнате, или слушая разговоры г-на Благовещенского, — единственное лицо, которое он видел в Петербурге. Благовещенский был хитрый, подобострастный и глупый делец, который ходатайствовал по делам еще покойного графа Безухова. Пьер послал за ним, чтобы поручить ему взять паспорт, и с тех пор он приходил каждый день и сидел молча целые дни перед Пьером, считая это сиденье в комнате графа весьма хитрым с своей стороны маневром, долженствовавшим принести ему большие выгоды. Пьер же привык к этому глупому и

подобострастному лицу, не обращал на него никакого внимания, но любил, когда он сидит тут.

— Приходите же, — говорил он ему, прощаясь.

— Слушаю-с. Все изволите читать, — говорил Благовещенский, входя.

— Да. Садитесь, чаю, — говорил Пьер.

Пьер жил так более двух недель. Он не знал, когда какое число, какой день, и каждый раз, просыпаясь, спрашивал себя, вечер это или утро. Ел он то в середине дня, то в середине ночи. Прочел он в это время и все романы мадам Сюза и Рэдклиф, «Дух законов» Монтескье и скучные волюмы переписки Руссо, которые он не читал до сих пор, и все ему казалось одинаково хорошо. Как только он оставался без книги или без Благовещенского, рассказывающего о выгоде службы в Сенате, он начинал думать о своем положении, и всякий раз как повторялся в его голове весь, все тот же самый, путь тысячу раз повторенных скверных мыслей и приводил его все к тому же безвыходному положению отчаяния и презрения к жизни, он говорил себе всякий

раз вслух и по-французски: «Э, разве не все равно. Стоит ли думать об этом, когда вся жизнь такая короткая глупость».

Только когда он читал или слушал Благовещенского, ему урывками приходили прежние мысли то о том, как глуп Благовещенский, полагая, что быть сенатором — верх славы, когда слава египетского героя, и та — нечистая слава; то, читая про любовь какой-нибудь Амелии, — о том, как бы он сам полюбил и отдал бы себя любви женщине; то, читая Монтескье, — о том, как односторонне судит писатель этот о причинах духа законов и как, ежели бы он дал себе труд подумать, он, Пьер, написал бы об этом предмете другую, лучшую книгу, и т. д.

Но как только он останавливался на этой мысли, ему приходило в голову то, что с ним было, и он говорил себе, что все это вздор и все равно, и не стоит того вся глупая жизнь, чтобы чем-нибудь заниматься. Как будто свернулся тот винт, на котором стояла вся его жизнь.

«Что я, для чего я живу, что творится вокруг меня, что надобно любить и что надобно



презирать, что я люблю и что я презираю, что дурно, что хорошо?» — были вопросы, которые, не получая ответа, представлялись ему. И отыскивая ответы, он лично, одиноко, несмотря на свое малое изучение философии, проходил по тем путям мысли и приходил к тем же сомнениям, по которым проходила и старая философия всего человечества. «Что есть я, что жизнь, что смерть, какая сила управляет всем?» — спрашивал он себя. И единственный, нелогический ответ на все эти вопросы удовлетворял его. Ответ этот: «Только в смерти возможно спокойствие». Все в нем самом и вокруг его во всем мире представлялось ему столь запутанным, бессмысленным и безобразным, что он боялся одного, как бы люди не втянули его опять в жизнь, как бы не вывели его из этого презрения ко всему, в котором одном находил он временное успокоение.

В одно утро он лежал, положив ноги на стол, с раскрытым романом, но погруженный в этот тяжелый, безвыходный ход мыслей, все поворачивая и поворачивая этот свинтившийся винт мысли, все так же поворачивав-

шийся и ничего не захватывающий. Благовещенский сидел в уголке, и Пьер смотрел на его чистенькую фигуру, как смотрят на угол печи. «Ничего не найдешь, ничего не придумаешь, — говорил себе Пьер. — Все гадко, все глупо, все наыворот. Все, из чего бьются люди, гроша не стоит. А знать мы можем только то, что ничего не знаем. И это высшая степень человеческой премудрости. Не глупа эта аллегория о невозможности вкушения плода с древа познания добра и зла», — думал он.

— Захар Никодимыч! — обратился он к Благовещенскому. — Когда вас учили в семинарии, как вам объясняли значение древа познания добра и зла?

— Уж это я забыл, ваше сиятельство, но профессор был высокого ума...

— Ну, расскажите... — Но в это время в передней послышался голос камердинера Пьера, не впускающего кого-то, и тихий, но твердый голос посетителя, говоривший: «Ничего, мой друг, граф меня не выгонит и будет тебе благодарен за то, что ты впустил меня».

«Затворите, затворите дверь!» — закричал Пьер, но дверь отворилась, и в комнату во-

шел невысокого роста, худой, старый человек в парике и пудре, чулках и башмаках, с белыми, седыми бровями, особенно резко выделявшимися на его чистом старческом лице. В приемах человека этого была приятная уверенность, учтивость человека высшего света. Пьер растерянно вскочил с дивана и с неловкой улыбкой вопросительно обратился к старику. Старик, печально улыбнувшись Пьеру, оглянул беспорядочную комнату и тихим ровным голосом назвал свою нерусскую, известную Пьеру фамилию, объяснив, что он имеет переговорить с ним с глазу на глаз. При этом он взглянул на Благовещенского так, как глядят только люди, имеющие власть. Когда Благовещенский вышел, старик сел подле Пьера и долго, пристально, ласкающим взглядом, молча посмотрел ему в глаза.

Вокруг Пьера были разбросаны по полу и стульям бумаги, книги и платья. На столе валялись остатки завтрака и чая. Сам Пьер был неумытый, небритый и взлохмаченный, в грязном халате. Старик был так чисто выбрит, так облегал высокий жабо его шею, так обрамлял пудренный парик его лицо и чул-

ки — его сухие ноги, что он, казалось, не мог быть иным.

— Господин граф, — сказал он удивленно глядящему на него и испуганно запахивающему свой халат Пьеру. — Несмотря на ваше совершенно законное удивление видеть меня, незнакомца, у вас, я должен был утрудить вас. И ежели вам угодно будет дать мне короткую аудиенцию, вы узнаете, в чем дело.

Пьер почему-то с невольным уважением вопросительно смотрел чрез очки на старика и молчал.

— Слышали ли вы, граф, про братство свободных каменщиков? — сказал старичок. — Я имею счастье принадлежать, и братья мои предписали мне прийти к вам. Вы меня не знаете, но мы знаем вас. Вы любите Бога, то есть истину, и любите добро, то есть ближнего, братьев своих, и вы в несчастии, унынии и горе. Вы в заблуждении, и мы пришли помочь вам, открыть вам глаза и вывести на путь, который ведет к воротам обновленного Эдема.

— Ах да, — с виновной улыбкой сказал Пьер. — Очень вам благодарен... я... — Пьер

не знал, что ему сказать, но лицо и речи старичка успокоительно-приятно действовали на него.

Лицо старичка, оживившееся и принявшее оживленное выражение в то время, как он начал говорить о каменщичестве, опять стало холодно и сдержанно учтиво.

— Очень благодарен... но оставьте меня в покое, — сказал старичок, по-своему доканчивая фразу Пьера. Он улыбнулся и вздохнул, своим твердым, полным жизни взглядом упорно глядя в растерянные глаза Пьера, и, странно, Пьер в этом взгляде почувствовал надежду на успокоение. Он чувствовал, что для этого старичка мир не был безобразною толпою, не освещенной светом истины, но, напротив, стройным величественным целым.

— Ах нет, совсем нет, — сказал Пьер. — Напротив, я только боюсь, насколько я слышал и читал о масонстве, что я очень далек от понимания его.

— Не бойтесь, брат мой. Бойтесь одного всемогущего Творца. Говорите прямо все свои мысли и сомнения, — сказал старичок спокойно и строго, опять покидая тон учтивости

и входя в тон одушевления. — Никто один не может достигнуть до истины, только камень за камнем, с участием всех, миллионами поколений от праотца Адама и до нашего времени воздвигается храм Соломона, который должен быть достойным жилищем великого Бога. Ежели я знаю что-нибудь, ежели я держу, сам ничтожный раб, приходить на помощь ближнему, то только оттого, что я есть составная часть великого целого, что я есмь звено невидимой цепи, начало которой пропадает в небесах.

— Да... я... да отчего же?... — сказал Пьер. — Я бы желал знать, в чем состоит истинное франкмасонство. Какая цель его? — спросил Пьер.

— Цель? Воздвижение храма Соломона — познание природы. Любовь к Богу и любовь к ближнему. — Старичок замолчал с таким видом, что надо долго обдумывать сказанные слова. Они помолчали минуты две.

— Но это цель христианства, — сказал Пьер. Старичок не отвечал. — И какое же познание природы? И какими путями вы дошли до того, чтобы достигать в мире осуществле-

ние вашей троякой цели — любви к Богу, к ближнему и к истине? Мне кажется, это невозможно.

Старичок кивал головой, как бы одобряя каждое слово Пьера. На последних словах он остановил Пьера, входившего в умственное, раздраженное одушевление.

— Разве ты не видишь в природе, что силы эти не пожирают одна другую, а сталкиваясь, производят гармонию и благодать.

— Да, но... — начал Пьер.

— Да, но в мире нравственном, — перебил его старичок, — ты не видишь этой гармонии. Ты видишь, что элементы сходятся, чтобы произвести произрастание, произрастание служит для того, чтобы напитать животное, а животные без цели и следа пожирают одно другое. И человек, кажется тебе, губит вокруг себя все для удовлетворения своей похоти и под конец все не знает своей цели, к чему и зачем он живет.

Пьер все более и более чувствовал уважение к этому старичку, угадывавшему и высказывавшему его мысли.

— Живет, чтобы понять Бога, своего твор-

ца, — сказал старичок, опять молчанием подчеркивая свои слова.

— Я... вы не думайте, что это так из моды... я не верю... не то что не верю, а я не знаю Бога, — с сожалением и с усилием сказал Пьер, чувствуя необходимость сказать всю правду и пугаясь, что он говорит.

Старичок улыбнулся, как улыбнулся бы богач, держащий в руке тысячи, бедняку, который бы сказал ему, что нет у него, у бедняка, пять рублей и он чувствует, что невозможно достать их.

— Да, вы не знаете его, граф, — сказал старичок, переменяя тон и покойно усаживаясь и доставая табакерку. — Вы не знаете его, оттого вы и несчастны, оттого мир для вас есть груда развалин, валящихся и разрушающихся одни на другие.

— Да, да, — сказал Пьер тоном нищего, который подтверждает заявление богача о его бедности.

— Вы не знаете его, граф, вы очень несчастны, а мы знаем его и служим ему и в этом служении обретаем высочайшее блаженство не только в загробной жизни (кото-



рой вы тоже не знаете), но и в этом мире. Многие говорят, что знают его, но они еще не вступили на первую ступень этого знания. Ты не знаешь его. А он здесь, он во мне, он в моих словах, он в тебе и даже в тех кощунствующих речах, которые ты произнес сейчас, — дрожащим голосом сказал старичок. Он помолчал. — Но познать его трудно. Мы работаем для этого познания и в работе этой находим высшее счастье на земле.

— Но в чем же состоит она, эта работа?

— Ты сказал сейчас, что цель наша есть та же, что и цель христианства. Отчасти это справедливо, но цель наша определена еще до воплощения Сына Божия. Мастера нашего ордена были у египтян, халдеев и древних евреев.

Как ни странно было то, что говорил старичок, как в душе своей ни смеялся прежде Пьер над этим родом масонских суждений, которые ему прежде доводилось слышать с упоминанием халдеев и таинств природы, но теперь он с замиранием сердца слушал старичка и уже не спрашивал его, а верил тому, что он говорил. Он верил не тем разумным

доводам, которые были в речи старичка, а верил, как верят дети, интонациям убежденности и сердечности, которые были в его речи. Он верил тому дрожанию голоса, с которым старичок выразил сожаление о незнании Пьером Бога, он верил этим блестящим старческим глазам, состарившимся на том же убеждении, он верил тому спокойствию и жизнерадостности, которые светились из всего существа старичка, которые особенно сильно поражали его в сравнении с своей опущенностью и безнадежностью. Он верил той силе огромного общества людей, связанных веками одной мыслью, которой старичок был многолетним представителем.

— Открыть профану таинство нашего ордена невозможно. Невозможно потому, что знание этой цели достигается только работами, медленно подвигающими истинного каменщика от одной ступени знания к другой, более высокой. Постигнуть все — значит постигнуть всю мудрость, кою обладает орден. Но мы давно следили за тобой, несмотря на жалкое твое невежество и мрак, застилающий свет души твоей. Мы решили избрать те-

бя и спасти от самого себя. Ты говоришь, что мир состоит из падающих и давящих одна другую развалин. И это справедливо. Ты один есть сия развалина. Что ты? — И старичок начал излагать Пьеру всю его жизнь, его обстановку и его свойства ничего не скрашивающими прямыми и сильными словами. — Ты богат, десять тысяч человек зависят от твоей воли. Видел ли ты их, узнал ли ты об их нуждах, позаботился ли, подумал ли о том, в каком положении находятся их тело и душа, помог ли ты им, в чем состояла твоя прямая и священная обязанность найти пути для достижения Царства Божия? Осушил ли ты слезы вдов и сирот; любил ли ты сердцем их хоть одну минуту? Нет. Пользуясь плодами их трудов, ты предоставил их воле своекорыстных и невежественных людей, и ты говоришь, что мир есть падающая развалина. Ты женился и взял на себя ответственность в руководстве молодого и неопытного существа, и что же ты сделал, думая только об удовлетворении своих радостей?...

Как только старичок упомянул о жене, Пьер багрово покраснел и начал сопеть но-

сом, желая перебить его речь, но старичок не допустил.

— Ты не помог ей найти пути истины, а ввергнул ее в пучину лжи и разврата. Человек оскорбил тебя, и ты убил его или хотел убить его. Общество, отечество твое дало тебе счастливейшее и высшее положение в государстве. Чем ты отплатил ему за эти блага? Старался ли ты в судах держать сторону правосудия или достигать близости к престолу царя для того, чтобы защищать правду и помогать ближнему? Нет, ты ничего этого не сделал, ты отдался самым ничтожным страстям человеческим, окружил себя презреннейшими льстецами, и когда несчастье показало тебе всю ничтожность твоей жизни, ты обвиняешь не себя, а премудрого Творца, которого ты не признаешь, для того, чтобы не бояться Его.

Пьер молчал. Описав мрачными красками его прошедшую жизнь, старичок перешел к описанию той жизни, которую должен бы был вести и устроить Пьер, ежели бы он хотел следовать правилам масонов. Огромные имения его должны были быть все объезже-

ны, во всех должны были быть сделаны материальные благодеяния крестьянам, везде должны были быть учреждены богадельни, больницы, школы. Огромные средства должны были быть употреблены на распространение просвещения в России, издание книг, воспитание духовных лиц, собрание библиотек и т. п. Сам он должен был занимать видное служебное место и помогать благодетельному Александру искоренять в судах лихоимство и неправду. Дом его должен был быть местом сближения всех единомыслящих людей, стремящихся к той же цели. Так как он имеет склонность к занятиям философским, то свободное от службы и управления имением время должно было употребляться на приобретение знаний таинств природы, в котором высшие мастера ордена ему не отказали бы в своем пособии.

— Тогда бы, — заключил он, — знание Того, Который бы руководил тобою в ведении таковой жизни, Которого помощь и благословение ты чувствовал бы всякое мгновение, тогда бы знание это пришло само собою.

Пьер молча сидел перед ним, и слезы стоя-

ли в его больших, умных, внимательных глазах. Он чувствовал себя вновь обновленным.

— Да, все, что вы говорите мне, было моими единственными желаниями, моими мечтами, — сказал Пьер, — но я в жизни не видел ни одного человека, который бы не посмеялся над такими мыслями. Я думал, что это невозможно, ежели бы...

Старичок перебил его.

— Почему же мечтания эти не осуществились? — сказал старичок, видимо увлекаясь спором, на который Пьер не вызывал его, но который в других случаях часто представлялся ему. — Я тебе скажу это, отвечая на тот вопрос, который ты мне сделал прежде. Ты сказал, что масонство учит тому же самому, чему учит и христианство. Христианство есть учение, масонство есть сила. Христианство не поддержало бы тебя, оно отвернулось бы от тебя с презрением, как скоро бы ты произнес те кощунственные слова, которые ты произнес сейчас при мне. Мы же не признаем различия вероисповеданий, как и не признаем различия наций, сословий; мы считаем всех равно своими братьями, всех тех, которые

любят человечество и истину. Христианство не пришло и не могло прийти к тебе на помощь, а мы спасали и спасаем не таких преступников, как ты. Тебя мучает мысль о Долохове. Так знай же, что наш брат и мастер нашего ордена, глубоко познавший тайны врачевания человеческого тела, послан был нами к тому, кого ты считаешь своей жертвой, и вот что он пишет нам.

Старичок достал французское письмо и прочел его. В письме описывалось, что положение Долохова, которое было почти безнадежно, теперь не представляет более никакой опасности. Корреспондент прибавлял, что, к несчастью, попытки его нравственного врачевания, этой закоренелой во мраке души, были совершенно тщетны.

— Вот разница между христианством и нами.

Старичок замолчал, подвинул к себе лист бумаги и карандашом начертил квадрат, перекрестив его двумя диагоналями, и на каждой стороне квадрата поставил номера от первого до четвертого.

Против первого он написал — Бог, против

второго — человек, против третьего — плоть, против четвертого — смешанное и, подумав над этим, подвинул бумагу к Пьеру.

— Я вам открываю многое, чего мы не знаем и не можем открыть неофитам. Вот оно, масонство. Человек должен стремиться быть центром. Стороны этого квадрата заключают все...

Старичок просидел от двенадцати часов утра до позднего вечера у Пьера. Они переговорили обо всем. Пьер замечал, что старичок не признавал его безверие, как бы говоря, что он уверен, что эта минутная ошибка мысли скоро пройдет.

Через неделю был назначен прием Безухова в Петербургскую ложу.



## XXVII

Дело Пьера с Долоховым было замято, и, несмотря на строгость государя в то время в отношении дуэли, ни оба противника, ни их секунданты не пострадали. Но история дуэли, подтвержденная разрывом Пьера с своей женой, разглашалась в обществе и дошла до слуха самого государя. Пьер, на которого смотрели снисходительно, покровительственно, когда он был незаконным сыном, которого ласкали и прославляли, когда он был лучшим женихом в Российской империи, после своей женитьбы, когда невестам и матерям нечего было ожидать от него, сильно потерял во мнении общества, тем более, что он не умел и не желал заискивать общего благоволения. Теперь его одного обвиняли в происшедшем, говорили, что он бестолковый ревнивец, подверженный таким же кровожадным бешенствам, как и его отец. Князь Василий уже по письмам дочери из Москвы узнал, что его зять в Петербурге, отыскал его и написал записку, призывая к себе. Пьер ничего не ответил и не поехал. Князь Василий сам при-

ехал к нему вскоре после посещения масона. Пьер все это время никого не видел, кроме новых друзей своих масонов, и целые дни проводил за чтением их книг, перейдя от состояния апатии к страстному любопытству узнать, что же такое было это масонство. Он был принят в члены Общества, он прошел испытание, он давал пожертвования, он слышал речи, и хотя и не мог ясно понять, чего они хотели, он чувствовал душевное успокоение, надежду совершенствования, главное, подчинение чему-то и кому-то неизвестному и освобождение от своей необузданной воли. Он ждал только последствий четвергового собрания ложи для того, чтобы прочесть свои предположения о работах в деревне, и собирался ехать приводить их в исполнение. Он был занят переписыванием набело своей речи, когда вошел князь Василий.

— Мой друг, ты в заблуждении, — это были первые слова, которые он сказал ему, входя в комнату. — Я все узнал и могу тебе сказать верно, что Элен невинна перед тобой, как Христос перед жидами. — Пьер хотел отвечать, но он перебил его. — Я все понимаю, я

все понимаю, — сказал он, — ты вел себя как прилично человеку, дорожающему своею честью; может быть, слишком поспешно, но об этом мы не будем судить. Одно ты пойми, в какое ты ставишь положение ее и меня в глазах всего общества и даже двора, — прибавил он, понижая голос. — Полно, мой милый, — он потянул его вниз за руку, — всякому греху прощение; будь добрым малым, каким я тебя знал. Напиши сейчас со мною письмо, и она приедет сюда, и все эти толки кончатся, а то я тебе скажу, ты очень легко можешь пострадать, мой милый. Мне из хороших источников известно, что вдовствующая императрица принимает живой интерес во всем этом деле. Ты знаешь, она очень любила Элен еще в девушках.

Несколько раз Пьер собирался говорить, но, с одной стороны, князь Василий не допускал его до этого, поспешно перебивая разговор, с другой стороны, сам Пьер боялся начать говорить не в том тоне решительного отказа и несогласия, в котором он твердо решил отвечать своему тестю. Он морщился, краснел, вставал и опускался, работая над собою в

самом трудном для него в жизни деле — сказать неприятное в глаза человеку, сказать не то, что ожидал этот человек, кто бы он ни был. Он чувствовал, что от первого слова его зависела теперь его судьба. Он так привык повиноваться этому тону небрежной самоуверенности князя Василия, что и теперь чувствовал, что не в силах будет противостоять ей. Он чувствовал, однако, что от того, что он скажет сейчас, будет зависеть вся дальнейшая судьба его: пойдет ли он по старой, прежней дороге, или по той новой, которая так привлекательно была указана ему и на которой, он твердо верил, что найдет возрождение к новой жизни.

— Ну, мой милый, — шутливо-весело и самоуверенно сказал князь Василий, — скажи же мне «да», и я от себя напишу ей, и мы убьем жирного тельца.

Но князь Василий не успел договорить своей шутки, как Пьер с бешенством в лице, которое действительно напоминало его отца, не глядя в глаза собеседнику, проговорил тихим шепотом:

— Князь, я вас не звал к себе, идите, иди-

те! — Он вскочил и отворил для него дверь. — Идите же! — повторил он, сам себе не веря и радуясь выражению смущенности и страха, показавшемуся на лице князя Василия.

— Что с тобой? Ты болен.

— Идите! — еще раз проговорил угрожающий голос. И князь Василий должен был уехать, не получив никакого объяснения.

На другой день Пьер получил записку от Анны Павловны Шерер, приглашавшую его непременно побывать у нее нынче вечером между семью и восемью часами для очень важных переговоров и сообщения ему радостного известия о князе Андрее Болконском. Пьер и все в Петербурге считали князя Андрея убитым.

В записке приписывалось, что, кроме него, у Анны Павловны никого не будет. Пьер догадался вследствие этой приписки, что Анне Павловне уже было известно его вчерашнее свидание с тестем, что нынешнее свидание имело целью только продолжение вчерашнего и что известие о князе Андрее была только приманка; но, убедив себя тем, что при новой его жизни ему не нужно бояться людей, что,

вероятно, что-нибудь и правда о известии, касавшемся князя Андрея, он в первый раз после своей дуэли надел фрак и поехал в общество. Он был весел и сдержан. Как бы подтрунивая над всем миром, зная истину.

С того первого вечера, как Пьер так неуместно защищал Наполеона в гостиной Анны Павловны, прошло много времени. Первая коалиция была уничтожена, сотни тысяч людей погибли под Ульмом и Аустерлицем. Буонапарте, столь возмущавший Анну Павловну своей дерзостью присоединения Генуи и надевания себе на голову сардинской короны, Буонапарте этот с тех пор посадил своих двух братьев королями в Европе, предписывал законы всей Германии, был признан императором всеми европейскими дворами, кроме России и Англии, уничтожил в две недели прусскую армию под Иеной, вступив в Берлин, взял понравившуюся ему шпагу Фридриха Великого и отослал ее в Париж (это последнее обстоятельство более всех других раздражало Анну Павловну) и, объявив войну России, обещался уничтожить ее новые войска так же, как и под Аустерлицем. Анна Пав-

ловна же давала в свободные дни у себя такие же вечера и точно так же, как и прежде, подшучивая над Наполеоном, и недоумевающе гневалась на него и на всех европейских государей и полководцев, которые, как ей казалось, нарочно согласились потворствовать Наполеону, чтобы сделать ей и вдовствующей императрице эту нравственную неприятность и огорчение. Но Анна Павловна и ее высокая покровительница считали себя выше такого поддразнивания. «Тем хуже для них», — говорили они и все-таки высказывали приближенным свой на этот счет неприговорный образ мыслей.

В тот вечер, когда Пьер взошел на крыльцо Анны Павловны, его встретил тот же придворный лакей, с тем же значительным и торжественным видом отворил дверь и провозгласил его имя, когда он входил по ковру в ту же бархатную гостиную, в которой на том же кресле, с тем же безучастным видом сидела безмолвная тетушка, во всех своих чертах и позе олицетворяя тихую и преданную печаль о безбожных успехах Буонапарте.

Анна Павловна, столь же твердая и несо-

мненная в своих приемах, вышла к Пьеру и особенно ласково подала ему свою желтую, сухую руку.

— О! как вы переменялись, — сказала она ему, — и к лучшему, значительно к лучшему. Очень благодарна, что вы приехали. Вы не будете раскаиваться в том, но прежде, чем я скажу вам ту новость, которою должна обрадовать вас, я еще должна прочитать вам проповедь.

— Жив он? — нетерпеливо спросил Пьер, и на лице его отразилось то выражение молодой любви и счастья, которого не было на нем со времени его женитьбы.

— После! После! — шутливо проговорила Анна Павловна. — Если вы будете послушны к моим проповедям, то я вам скажу эту новость.

Пьер нахмурился.

— Я не могу этим шутить, — сказал он. — Вы не знаете, что для меня этот человек. Жив ли он?

— Пилад ваш жив, — с легким презрением сказала Анна Павловна, — но помните, с каким условием я говорю вам это и скажу еще



все подробности о нем. Вы должны меня слушать как духовника и исполнить мои советы, но надеюсь, что вы не такой страшный спорщик, как бывали прежде. Женитьба, по моим наблюдениям, весьма формирует характер людей, надеюсь, что и на вас она подействовала так же, особенно зная характер нашей милой Элен.

Пьер, к удивлению своему, почувствовал себя необыкновенно твердым и спокойным ввиду предстоящих увещеваний. Сознание того, что у него есть цель и надежды в жизни, давало ему эту твердость. Он в первый раз после принятия своего в братство примеривал себя к обыденным условиям жизни и чувствовал себя необыкновенно выросшим. Он не боялся на себя влияния Анны Павловны, притом он был радостно возбужден неожиданным известием о возвращении к жизни своего друга.

Пьера занимала вместе с тем мысль, каким образом придворная Анна Павловна коснется запрещенной и строго осуждаемой при дворе дуэли. Он удивился, как Анна Павловна могла с ним говорить так кротко и дружелюб-

но после его столь не придворного поступка. Он не понимал еще того, что, хотя Анна Павловна знала все малейшие подробности его дуэли, она игнорировала их, то есть признавала эту дуэль не существовавшей. Она говорила только об отношении Пьера к жене. Когда Пьер неосторожно заметил ей, что он готов подвергнуться всем последствиям своего поступка, но что он не изменит своему решению расстаться с женой, она с вопросительным недоумением посмотрела на него, как бы спрашивая его, о каком он говорит поступке, и поспешно прибавила:

— Мы, женщины, не можем и не хотим знать ни о каких других поступках, как о тех, которые делаются в отношении нас.

Несмотря на трогательные увещания и доводы Анны Павловны, как убит старик отец князь Василий, как предана своей судьбе и наклонностям молодая женщина, оставленная мужем, какой вред репутации его делает эта разлука, которая не может быть вечна, потому что Элен заставит его воротиться к себе, на все эти доводы Пьер, краснея и нерешительно улыбаясь, решительно отвечал одно,

что он не в силах и не может переменить своего решения.

Пьер, удерживаемый своим прирожденным уважением к женщине, соединившимся у него с некоторым презрением к ней, не мог рассердиться, но ему становилось тяжело.

— Оставим этот разговор, он ни к чему не приведет нас.

Анна Павловна задумалась.

— Ах, мой друг, — сказала она, подняв глаза к небу. — Подумайте, как страдают и переносят свои страдания лица, особенно женщины, и очень высокопоставленные, — сказала она, принимая то грустное выражение, которое сопутствовало ее речам о высочайших особах. — Ежели бы вы, так же как и я, могли видеть целую жизнь некоторых женщин или, скорее, ангелов неба, страдающих, но не ропщущих от несчастья брака, — и слезы выступили на ее восторженные глаза. — Ах, мой милый граф, вы имеете дар увлекать меня, — сказала она слова, которые она говорила всем, кого хотела обласкать, и протянула ему руку. — Я бог знает что говорю, — сказала она, как бы смеясь над своею восторженностью и

опоминаясь.

Пьер обещался ей подумать, не разглашать своего разрыва, но умолял сообщить все то, что она знала о его друге. Родные Лизы Болконской получили известие, что он был ранен, лечился от своей раны в немецкой деревне и, совершенно выздоровев, ехал в деревню. Известие это обрадовало Пьера тем более теперь, когда он, воскреснув к новой жизни, не раз грустил о потере лучшего друга, с которым он так желал разделить новые мысли и взгляды на жизнь. «Это и не могло быть иначе, — подумал он. — Такой человек, как Андрей, не мог погибнуть. Ему еще столь многое предстояло».

Пьер хотел откланяться, но Анна Павловна не отпустила его и из уединенного уголка, в котором происходил их разговор, заставила вместе с ней присоединиться к гостям, собранным тремя кружками, из которых два, очевидно, были составлены кое из кого, а один, у чайного стола, составлял центр, в котором сгруппировано было все высшее и значительнейшее. Там были звезды, эполеты и посланник. В первом кружке Пьер нашел

больше пожилых людей, между которыми один незнакомый ему мужчина заставлял себя слушать больше других. Пьер был знаком со всеми, и все его встретили так, как будто они его видели вчера. С незнакомым Анна Павловна познакомила Пьера, назвав иностранную фамилию и шепнув: «Человек большого и очень глубокого ума».

Речь шла о только что полученной в Петербурге просьбе Каменского главнокомандующему об отставке.

— Каменский совершенно сошел с ума, — говорилось тут, — Бенигсен и Буксгевден на ножах, ссорятся, армией управляет один Бог. Чего же вам лучше. Вот что он пишет к государю: «Стар я для армии, ничего не вижу, ездить верхом почти не могу, но не от лени, как другие, мест на ландкартах отыскивать совсем не могу, а земли не знаю. Дерзаю поднести на рассмотрение малейшую часть переписки, в шести бумагах состоящую, которую должен был иметь одним днем, чего долго выдержать не могу, для чего дерзаю испрашивать себе перемены». И это главнокомандующий.

— Но кого же было назначить? — перебила Анна Павловна, как бы защищаясь от нападок, которые на нее делали. — Где же у нас люди? — Как будто отсутствие людей было тоже одно из поддразниваний, направленных против Марии Федоровны. — Кутузова? — сказала она, и улыбка ее навсегда уничтожила Кутузова. — Он хорошо показал себя. Прозоровский? У нас нет людей. Кто виноват в этом?

— Кого Бог хочет погубить — лишает разума, — сказал человек глубокого ума. — У нас много причин, чтобы не иметь людей, — сказал он. — Одни молоды чином, другие низки званием, третьи не успели получить милость государя, а там наружу вызваны лучшие силы революции.

— Так вы говорите, — подхватила Анна Павловна, — что силы революции должны восторжествовать над нами, защитниками старого порядка.

— Избави меня Бог это думать, — отвечал мудрец, — но очень может быть, что значение Буонапарте, еще темное для нас, будет яснее для потомства. Он призван для того, мо-

жет быть, чтобы уничтожить те царства, которые не угодны были Богу, и показать нам ясно, как тщетно величие мира сего. — И человек глубокого ума стал говорить о предсказаниях Юнга Штиллинга о значении апокалипсического числа четыре тысячи четыреста сорок четыре и о том, что в Апокалипсисе именно предсказано явление Наполеона и что он есть антихрист.

— Я не по книгам дошла до этого, — возразила Анна Павловна, — но сначала поняла чувством, что он не человек, и я в вольнодумстве своем часто сомневалась в том, не противоречит ли христианскому учению обряд проклятия его, но теперь чувствую, что мои мольбы и проклятия от всей души сливаются с проклятиями, которые предписаны теперь читать в церквах; да, это антихрист, я верю этому, и когда подумаю, что это страшное существо имело дерзость предлагать нашему императору вступить с ним в союз и переписываться как любезный брат... Об одном молю Бога, что ежели не дано Александру, как Георгию, подавить главу этого змия, чтобы никогда, по крайней мере, не унизились мы

до признания его равным себе. Я знаю, по крайней мере, что я не перенесу этого.

И с этими словами, кивнув, Анна Павловна перешла к другому кружку, преимущественно дипломатическому, в котором Пьер узнал Мортемара, теперь уже в русском гвардейском мундире, Ипполита, недавно прибывшего из Вены, и Бориса, того самого, который так понравился ему своим откровенным объяснением в Москве. Борис за время своей службы, благодаря заботам Анны Михайловны и свойствам своего приятного умеренного характера, успел поставить себя в самое выгодное положение по службе. Он находился при князе Волконском, и теперь был послан в армию и только что возвратился оттуда курьером. Он имел несколько возмужавший, но еще более приятный, спокойный вид. Он, видимо, вполне усвоил себе эту понравившуюся ему неписаную субординацию, по которой прапорщик мог стоять без сравнения выше генерала. И теперь он в гостиной Анны Павловны посреди чиновных и важных лиц, несмотря на свой малый чин и молодые года, держал себя необыкновенно просто и достой-



но. Пьер радостно поздоровался с ним и прислушался к общему разговору. Речь шла о последних известиях, полученных из Вены, и на Венский кабинет, отказывавший нам в содействии, сыпались укоризны.

— Вена находит основания предлагаемого договора до такой степени невозможными, что достигнуть их нельзя даже рядом самых блестящих успехов, и она сомневается в средствах, которыми эти успехи могут быть достигнуты. Таково подлинное мнение Венского кабинета, — говорил первоприсутствующий в дипломатическом кружке шведский поверенный в делах. — Это сомнение лестно, — сказал он с тонкой улыбкой.

— Необходимо различать венский кабинет и австрийского императора, — сказал Мортенмар. — Император никогда не мог этого думать, это говорит только кабинет.

— Ах, мой милый виконт, — нашла нужным вмешаться Анна Павловна. — Европа никогда не будет нашею искреннею союзницею. Прусский король лишь временно наш союзник. Он протягивает России одну руку, а другой пишет свое знаменитое письмо Буонапар-

те, в котором спрашивает, был ли он доволен приемом, оказанным ему в Потсдамском дворце. Нет, разум отказывается в этом разобраться, это невероятно.

«Все то же, как и два года тому назад», — подумал Пьер в то время, как ему захотелось высказать Анне Павловне свое мнение на этот счет, но то обстоятельство, что тон и смысл разговоров был все тот же, удержало его. Он, внутренне смеясь, обратился к Борису, желая переулыбнуться с кем-нибудь, но Борис как бы не понял его взгляда и не ответил ему улыбкой. Он внимательно, по-ученически вслушивался в разговор старших.

Как только произнесено было слово «пруссский король», Ипполит начал морщиться и волноваться, собираясь что-то сказать, но оставаясь.

— Однако это союзник, — сказал кто-то.

— Пруссский король? — спросил Ипполит и засмеялся.

— Вот молодой человек, который видел собственными глазами остатки прусской армии, он может вам сказать, что от нее ничего не осталось, — сказала Анна Павловна, указы-

вая на Бориса.

Борис, на которого обратились глаза, спокойно подтвердил слова Анны Павловны и даже на минуту завладел общим вниманием, рассказав то, что он видел в крепости Глогау, куда он был послан.

Разговор замялся на мгновение. Анна Павловна уже начала что-то говорить, когда Ипполит перебил ее и извинился. Она уступила ему слово, но он опять извинился и, смеясь, замолчал.

— Это шпага Фридриха Великого, — начала было Анна Павловна, но Ипполит опять перебил ее словами «король Пруссии» и опять извинился. Анна Павловна решительно обратилась к нему, прося его высказать. Ипполит засмеялся.

— Нет, ничего, я только хотел сказать... — он засмеялся, повторяя шутку, которую он слышал в Вене и которую он целый вечер собирался поместить, — я хотел сказать, что мы воюем напрасно.

Пьер сморщился: глупое лицо Ипполита так болезненно напоминало ему Элен. Кто-то засмеялся. Борис осторожно улыбнулся

так, что его улыбка могла быть отнесена к насмешке или к одобрению шутки, смотря по тому, как будет принята она.

— О, какой злой этот князь Ипполит! — грозя желтым пальчиком, сказала Анна Павловна и отошла к главнейшему кружку, уведя за собой Пьера, которого она не отпускала от себя. Борис последовал за ними. Пьер давно не был в свете, и ему интересно было узнать то, что делалось теперь. Ежели он узнал много интересного из разговоров этих двух кружков, то, подходя к третьему, центральному, и замечая то оживление, с которым шел в нем разговор, он надеялся тут услышать все самое важное и интересное.

— Говорят, что Гарденберг получил табакерку, украшенную брильянтами, а граф Н. — Анненскую ленту 1-й степени, — говорил один.

— Извините, табакерка с портретом императора есть награда, а не отличие, — говорил другой.

— Император иначе на это смотрит, — строго перебил другой. — Были примеры и в прошлом, назову вам графа Шварценберга в

Вене.

— Но, граф, это невозможно, — возразил ему другой.

— Да это факт, — грустно вмешалась Анна Павловна, присаживаясь, и все горячо заговорили вдруг. На Пьера нашло в это время одно из тех заблуждений чувств, что кажется, что спишь, что все совершающееся есть сновидение, что стоит открыть глаза, и их не будет, и что можно попробовать, сон ли это или действительность, тем, чтобы сделать что-нибудь необыкновенное — ударить кого-нибудь или закричать диким голосом. Он попробовал закричать, и крик его, начавшийся громко, заставил его очнуться. Он переделал крик в кашель и, не обратив на себя особенного внимания, встал и, желая передать кому-нибудь свое весело-насмешливое состояние, оглянул оживленное собрание. «Они ли все уроды, или я урод, но мы чужие», — думал он. Молодой Друбецкой достойно и почтительно сидел несколько позади посланника и чуть заметно, осторожно улыбался его шуткам. Пьер вспомнил живо свой спор в этой гостиной два года тому назад, и он сам себе понра-

вился в прошедшем. Он вспомнил тоже тут бывшего Андрея, их дружбу, их вечер за ужином. «Слава Богу, что он жив. Пойду домой и напишу ему».

И, незамеченный, он тихо вышел из комнаты. И в карете все время тихо улыбался своей радостной и полной интересов жизни.

## XXVIII

**П**ьер в 1807 году собрался наконец в свое путешествие по деревням с целью весьма ясно определенной: облагодетельствования своих двадцати тысяч душ крестьян. Цель эта подразделялась на три отдела: 1) освобождения, 2) улучшения физического благосостояния: богадельни, больницы и 3) нравственного благосостояния: школы, улучшение духовенства. Но как только он приехал в деревню, увидал дело на месте, переговорил с управляющим, он увидал, что это дело невозможно. И невозможно преимущественно от недостатка средств.

Несмотря на богатство графа Безухова, все имения были заложены, и потому невозможно было отпустить на волю всех крестьян, как

он это намерен был сделать. Заплатить же долг было невозможно, так как его 600 000 ассигнациями валового дохода не только все расходились, но каждый год он чувствовал необходимость еще занимать. Он чувствовал себя теперь гораздо менее богатым, чем когда он получал свои 10 тысяч от покойного графа. В общих чертах он смутно чувствовал следующий бюджет:

В совет платилось 80 тысяч по всем именьям. Жалованья управляющим по всем именьям 32 тысячи. Князю Василию было дано 200 тысяч. Мелких долгов бездна. Содержание московского дома и княжон 30 тысяч. Подмосковной — 17 тысяч. Пенсий — 16 тысяч. На богоугодные заведения и просьбы — 10 тысяч. Графине за границу — 160 тысяч. Проценты за долги — 73 тысячи. На постройку начатой церкви — 115. Другая половина, громадная половина,

300 тысяч, расходилась он сам не знал как. Как в московском доме, так и во всех именьях он нашел людей старых, с большим семейством, по двадцать лет живших на счет его отца и ставящих в заслугу продолжитель-

ность срока жизни. Невозможно было изменить это положение. Хотел ли он уменьшить конюшни в Москве, он видел старого, заслуженного кучера, еще в Туретчине бывшего с покойным графом.

— Мне много лошадей, к чему мне? — говорил Пьер, полагая, что кучер войдет в его планы простоты. Но кучер почтительно говорил: «Как прикажете» и «Мне идти?» И на лице его выражалось огорчение и ядовитый упрек недорослю, незаконному, не умевшему соблюдать свое достоинство, ценить людей и поддерживать честь дома графа Безухова. То же было с садовником, с княжнами, с дворецким. Пьер морщился, кусал ногти и говорил: «Ну, хорошо, я подумаю». Все: и конюшня, и сад, и оранжереи, и княжны — оставалось старому, и все, независимо от воли графа, жило своей старой жизнью, стоя Пьеру половину его доходов. Прежде еще боялись, как бы он не переменял чего, но потом узнали его и старались только выказать огорчение и готовность к несчастью, в которое он безвинно свергал их, и знали, что он все оставит старому.



Приехав в главные свои орловские имения, с готовым и одобренным в ложе и Благодетелем (так называли великого мастера ложи) проектом освобождения крестьян и улучшения их физического и нравственного мира, Пьер вызвал к себе, кроме главного управляющего, и всех управляющих имениями и прочел им свой проект и развил в длинной и умной речи свои мысли. Он говорил им, что немедленно будут приняты меры для совершенного освобождения крестьян от крепостной зависимости, что до тех пор крестьяне не должны быть отягчаемы работами, что женщины с детьми не должны посылаться на работы, что крестьянам должна быть оказываемая помощь, что наказания должны быть употребляемы увещательные, а не телесные, что в каждом имении должны быть учреждены больницы, приюты и школы и т. д. Некоторые из управляющих (тут были и мужики-бурмистры) слушали испуганно, предполагая смысл речи в том, что молодой граф недоволен их замолотом и утайкой хлеба, другие после первого страха находили забавным шепелявание Пьера и новые неслыханные ими слова, тре-

тъи находили просто удовольствие послушать, как говорит барин, четвертые, самые умные, в том числе и главноуправляющий, поняли из этой речи, что с бариним обойтись можно.

После общей речи Пьер с главноуправляющим каждый день занимался. Но, к удивлению своему, он чувствовал, что занятия его ни на шаг вперед не подвигают дела. Он чувствовал, что его занятия происходят независимо от дела, что они не цепляют за дело и не заставляют его двигаться. С одной стороны, управляющий, выставляя дела в самом дурном свете, показывал Пьеру необходимость уплачивать долги и предпринимать новые работы силами крепостных мужиков, на что Пьер не соглашался. С другой стороны, Пьер требовал приступить к делу освобождения, на что управляющий выставлял необходимость прежде уплатить долг Опекунскому совету и потому невозможность быстрого исполнения. Управляющий не говорил, что это совершенно невозможно, он предлагал для достижения этой цели продажу лесов Костромской губернии, продажу земель низо-

вых и крымского именья; но все эти операции в речах управляющего связывались с такою сложностью процессов снятий запрещений, истребования разрешений и т. п., что Пьер терялся и только говорил ему: «Да, да, так и сделайте».

Прошло две недели, и дело освобождения ни на шаг не подвинулось вперед. Пьер бился, хлопотал, но смутно чувствовал, что он не имеет той практической цепкости, которая бы дала ему возможность непосредственно взяться за дело и вертеть колеса. Он стал сердиться, угрожать управляющему и требовать. Управляющий, считавший все эти затеи молодого графа почти безумством, невыгодными для себя, для него, для крестьян, сделал уступку. Продолжая дело освобождения представлять невозможным, он распорядился постройкой во всех имениях больших зданий школ, больниц и приютов — и научил крестьян прийти к барину с благодарностью за его милости. Пьер разговаривал раза два с крестьянами и, спрашивая их о их нуждах, убедился еще больше в необходимости для них затеваемых им преобразований. Он на-

шел в их речах подтверждение всех своих планов, точно так же как управляющий в их речах находил оуждение и доказательство бесполезности всех планов графа. Но Пьер не знал, что в неопределенности речи народа можно найти подтверждение всему, как в словах оракула, и был очень счастлив, когда ему говорили мужики, как они век за него будут Бога молить, за его больницы и школы. Пьер, объехав все орловские деревни, видел своими глазами поднимающиеся кирпичные стены новых зданий больниц и школ.

«Вот она куда проникла и закипела жизнь, вдохнутая мне нашим священным братством», — думал он радостно, глядя на копошащихся каменщиков и плотников около новых строений. Видел Пьер отчеты управляющих о барщинских работах, уменьшенных на бумаге (в сущности работы прибавились, так как в барщинах везде прибавилась постройка своими силами больниц и школ). Управляющий сказал Пьеру, что народ благословляет его и что теперь оброчные, которым был убавлен оброк, строят придел во имя его ангела. Управляющий увещевал графа оставить

свои планы освобождения, так как и теперь уже крестьяне вдвое облагодетельствованы против прежнего, и на решительные требования Пьера продавать леса и крымское имение с тем, чтобы приступить к выкупу, обещал ему употребить все силы для исполнения воли графа.

## XXIX

После трехнедельного пребывания в деревнях, о котором он послал отчет в ложу, Пьер, счастливый и довольный, уехал назад в Петербург, но, не доезжая Москвы, сделал в 150 верст крюк, чтобы заехать к князю Андрею, которого он не видал до сих пор. Узнав, что князь Андрей живет в Богучарове, вновь отведенном ему отцом в 40 верстах от Лысых Гор, Пьер поехал прямо к нему. Это было весной 1807 года.

Усадьба, дом, сад, двор, надворные строения — все было такое же новенькое, как и первая трава, и первые березовые листья весны. Дом еще не был оштукатурен, плотники работали ограду, мужики, грязные, оборванные, в одноколках привезли песок, босоногие

бабы рассыпали его под руководством немца-садовника, представляя резкий контраст своей грязи с чистотою и изяществом двора, фасада дома и цветников. Мужики, поспешно сдергивая шапки, посторонились перед въезжавшим дормезом Пьера. Навстречу ему вышла не дворня в казакиных средних бар, не в пудре и чулках, как у него было по старине, а лакей во фраке на новый английский манер.

— Князь дома?

— Кушают кофе на террасе. Как прикажете доложить? — почтительно сказал лакей. В Пьере было что-то, несмотря на его неловкость или скорее вследствие этого, что-то очень внушающее уважение.

Пьера поразила противоположность изящества всего окружающего (которое надо было обдумать) с представлением об убитости и горе своего друга. Он поспешно вошел в чистый, с иголки новый, пахнущий еще сосной, неоштукатуренный, но до малейших подробностей изящно и необыкновенно отделанный дом и, пройдя кабинет, подходил к двери террасы, на которой за окном виднелись белая скатерть, прибор и спина в бархат-

ной шубке.

День был один из тех ранних, жарких апрельских дней, когда все так быстро растет, что боишься, слишком рано пройдет эта радость весны.

Резкий, неприятный голос послышался с террасы:

— Кто там, Захар? Проси в угольную. — Захар остановился, но Пьер обогнал его и, отдуваясь, быстрыми шагами вошел на террасу и ухватил за руку снизу Андрея так скоро, что на лице князя Андрея еще не успело пройти выражение досады, а Пьер уже, подняв очки, целовал его и близко смотрел на него.

— Это ты, голубчик, — сказал князь Андрей. И при этих словах Пьера поразила происшедшая перемена в князе Андрее. Слова были ласковы, улыбка была на губах, лице князя Андрея, но взгляд был потухший, мертвый, которому, несмотря на видимое желание, князь Андрей не мог придать радостного и веселого блеска. Пьер, спрашивая и рассказывая, не переставал наблюдать и удивляться происшедшей перемене. Не то что он похудел, побледнел, возмужал, но взгляд этот

и морщинка на лбу выражали сосредоточение на чем-то одном, долго поражали, пока он не привык.

При свидании после долгой разлуки, как это всегда бывает, разговор долго не мог установиться; они спрашивали и отвечали коротко о таких вещах, о которых они сами знали, что надо было говорить долго. Наконец разговор стал понемногу останавливаться на прежде отрывочно сказанном, на вопросах о прошедшей кампании, о ране, о болезни, о планах на будущее (о смерти жены Андрей не говорил), на вопросах князя Андрея о женитьбе, разрыве, дуэли и масонстве. (Они не писали друг другу, не умели. Как князю Андрею наполнить пол-листика? Один только раз Пьер писал рекомендательное письмо Долохову.)

Та сосредоточенность и убитость, которую заметил Пьер во взгляде князя Андрея, теперь выражалась еще сильнее в суждениях князя Андрея, к которым часто примешивалась грустная насмешка над всем, что прежде составляло его жизнь, — желания, надежды счастья и славы. И Пьер начинал чувство-



вать, что перед князем Андреем восторженность, мечты, надежды на счастье и на добро неприличны. Ему совестно было высказывать все свои новые масонские мысли и поступки, и он сдерживал себя.

— Служить я больше не буду никогда, — сказал князь Андрей. — Я ли не гожусь для нашей службы или служба не годится для меня, я не знаю, но мы не пара. Я даже думаю, что не гожусь я. — Он улыбнулся. — Да, мой дружок, много, много мы изменились с тех пор. Гордости ты во мне не найдешь теперь. Я смирился. Не перед людьми, потому что они большей частью хуже меня, но перед жизнью смирился. Сажать деревья, воспитывать ребенка, для забавы упражняться в умственной игре, коли это забавляет кое-как меня. (Вот видишь, читая Монтеस्कье, делаю выписки. Зачем? Так, время убиваю.) Вот они, — он указал на мужиков, — с песком то же делают и хорошо.

— Нет, вы не изменились, — сказал Пьер, подумав. — Ежели у вас нет гордости честолюбия, у вас та же гордость ума. Она-то и есть гордость, и порок и добродетель.

— Какая же гордость, мой друг, чувствовать себя виноватым и бесполезным, а это я чувствую и не только не ропщу, но доволен.

— Отчего виноватым? — Они были уже в кабинете в это время. Андрей указал на чудесный портрет маленькой княгини, которая как живая смотрела на него.

— Вот отчего, — сказал он, размягченный присутствием милого ему человека: губа его задрожала, он отвернулся.

Пьер понял, что Андрей раскаивался в том, что он мало любил свою жену, и понял, как в душе князя Андрея это чувство могло дорасти до страшной силы, но он и не понимал, как можно было любить женщину. Он замолчал.

— Ну, вот что, моя душа, — сказал князь Андрей, чтоб переменить разговор. — Я здесь на биваках. Я приехал только посмотреть.

Я нынче еду опять к старику и к моему мальчишке. Он там у сестры. Я тебя познакомлю с ними. Мы поедем после обеда.

За обедом зашел разговор о женитьбе Пьера и о всей истории разрыва. Андрей спросил его, как это случилось. Пьер покраснел багрово, опять так же, как он краснел всегда

при этом, и торопливо заговорил:

— После, после, я вам расскажу когда-нибудь. — Он задыхался, говоря это.

Андрей вздохнул и сказал, что то, что случилось, должно было ждать, что счастливо, что так кончилось и что удержал еще какую-нибудь веру в людей.

— Мне очень, очень жаль тебя.

— Да, все это кончено, — сказал Пьер, — и какое счастье, что я не убил этого человека. Этого бы я век не простил себе.

Князь Андрей смеялся.

— Э, на войне бьют таких же людей, — сказал он. — И все находят это очень справедливым. А убить злую собаку даже очень хорошо. Что справедливо и несправедливо — не дано судить людям. Люди вечно заблуждались и будут заблуждаться, и ни в чем больше, как в том, что они считают справедливым и несправедливым. Надо только жить так, чтоб не было раскаяния. Правду Жозеф Местр сказал: «В жизни только два действительные несчастья: угрызение совести и болезнь. И счастье есть только отсутствие этих двух зол». Жить для себя, избегая только для себя

этих двух зол, вот вся моя мудрость теперь. — Князь Андрей замолчал.

— Нет, я жил только для себя, — начал Пьер, — и этим я только погубил свою жизнь. Нет, я с вами не могу согласиться. Нет, лишь теперь я начинаю понимать все значение христианского учения любви и самопожертвования.

Андрей молча глядел своими потухшими глазами на Пьера и кротко, насмешливо улыбался.

— Поедем скорее к сестре, к княжне Марье, с ней вы сойдетесь. Вот, душа моя, какая разница между нами: ты жил для себя, — сказал он, — и чуть не погубил свою жизнь, и узнал счастье, только когда стал жить для других, а я испытал диаметрально противоположное. Я жил для славы (ведь что ж слава? та же любовь к другим, желание сделать для них что-нибудь, желание их похвалы). Так я жил для других и не почти, а совсем погубил свою жизнь, и с тех пор стал спокоен, как живу для одного себя.

— Как для одного себя, а сын, сестра, отец? — сказал Пьер.

— Да это все тот же я, это не другие, — продолжал Андрей. -

А другие, ближние, le prochain, как вы с княжной Марьей называете этот источник заблуждения и зла, le prochain — это те твои орловские мужики, от которых ты сейчас приехал и которым ты хочешь делать добро. — И он посмотрел на Пьера насмешливо-вызывающим взглядом. Он, видимо, как человек, не вполне еще убедившийся в своих новых взглядах и не имевший еще случая их высказать, вызывал Пьера.

— Вы шутите, — можно ли это говорить? — сказал Пьер, оживляясь. — Какое же может быть заблуждение и зло в том, что несчастные люди — наши мужики, люди такие же, как мы, вырастающие и умирающие без другого понятия о Боге и правде, как образ и бессмысленная молитва, будут поучаться в утешительных истинах, верованиях будущей жизни, возмездия, награды, утешения? Мы можем думать иначе, но им это другое дело. Какое же зло и заблуждение, что люди умирают от болезни, от родов без помощи, когда так легко материально помочь им, и я им дам ле-

каря, и больницу, и приют старику? И разве не ощутительное, несомненное благо то, что он не имеет дня, ночи покоя, и что я дам отдых и досуг?... — говорил Пьер, оживляясь и шепелявя. — И я это сделал. И вы не только меня не разуверите, что это не благо, но не разуверите, чтоб вы сами этого не думали.

Андрей все молчал и улыбался.

— А главное, — продолжал Пьер, — наслаждение делать это добро есть естественное счастье жизни.

— Да, это другое дело, — начал князь Андрей. — Я строю беседку в саду, а ты больницы. И то, и другое может служить препровождением времени. Но что справедливо, что добро, предоставь судить тому, кто все знает, а не нам. Ты говоришь: школы, — продолжал он, загибая палец, — поучения и так далее, то есть ты хочешь вывести его из его животного состояния и дать ему нравственные потребности. А мне кажется, что единственно возможное счастье есть счастье животное, а ты его-то хочешь лишить его.

Я завидую ему, а ты хочешь его сделать мною, но не дав ему ни моего ума, ни моих

чувств, ни моих средств. Другое ты говоришь: облегчить его работу. А по-моему, труд физический для него есть такая же необходимость, такое же условие его существования, как для тебя и для меня труд умственный. Ты не можешь не думать.

Я ложусь спать в третьем часу, мне приходят мысли, и я не могу заснуть, ворочаюсь, не сплю до утра от того, что я думаю и не могу не думать; так он не может не пахать, не косить; иначе он пойдет в кабак. Как я не перенесу его страшного физического труда, я умру через неделю, так он не перенесет моей физической праздности, он растолстеет и умрет. Третье... что, бишь, еще ты сказал?

Князь Андрей загнул третий палец.

— Ах да. Больницы, лекарства. У него удар, он умирает, а ты пустил кровь, вылечил, и он калекой будет ходить десять лет всем в тягость. Гораздо покойнее и проще ему умереть. Другие родятся, и так их много. Ежели бы ты жалел, что у тебя лишний работник пропал, а то ты из любви к нему его хочешь лечить. А ему этого не нужно. Да и потом, что за воображение, что медицина кого-нибудь и когда-ни-

будь вылечивала...

Князь Андрей высказывал с особенным увлечением свои мысли разочарования, как человек, долго не говоривший. И взгляд его оживлялся тем больше, чем безнадежнее были его суждения. Он во всем противоречил Пьеру, но, противореча, казалось, сам колебался в том, что он говорил, и рад был, когда Пьер сильно оспаривал его.

— Я не понимаю только — как можно жить с такими мыслями, — говорил Пьер. — На меня находили такие же минуты, это недавно было, в Петербурге, но тогда я опускаюсь до такой степени, что я не живу, все мне гадко, главное — я сам, я не умываюсь, не ем... ну как же вы...

— Да, такие же мысли, но не совсем такие, — отвечал князь Андрей. — Я вижу, что это так, что все бессмысленно, гадко, но я живу — и в этом не виноват; стало быть, надо как-нибудь получше, никому не мешая, дожить до смерти.

— Ну что же вас побуждает жить? С такими мыслями будешь сидеть не двигаясь, не предпринимая...



— То-то и скучно, что жизнь не оставляет в покое. Я бы рад ничего не делать, и вот, с одной стороны, дворянство здешнее удостоило меня чести избрания в предводители; я насилу отделался. Они не могли понять, что во мне нет того, что нужно, нет этой известной добродушной пошлости, которая нужна для этого. Потом вот этот дом, который надо было построить, чтоб иметь свой угол, где можно быть покойным. Теперь ополчение, в котором меня тоже не хотят оставить в покое.

— Отчего вы не служите?

— После Аустерлица?! — мрачно сказал князь Андрей. — Нет, я дал себе слово, что служить в действующей русской армии я не буду. И не буду. Ежели бы Бонапарт стоял тут, у Смоленска, угрожая Лысым Горам, и тогда бы я не стал служить в русской армии. Ну, так я тебе говорил, — успокаиваясь, продолжал князь Андрей, — теперь ополчение, отец назначен главнокомандующим третьего округа, и единственное средство мне избавиться от службы — это пойти к нему в помощники.

— И вы поступаете?

— Да, я уже утверждён. — Он помолчал

немного. — Вот как все делается, душа моя, — продолжал он, улыбаясь. — Я бы мог отделаться, но знаешь, отчего я пошел? Ты скажешь, что я подтверждаю твои теории о делах добра. Я пошел оттого, что, с тобою я буду откровенен, отец мой один из замечательнейших людей своего века. Но он становится стар, и он не то что жесток, но он слишком цельного характера. Он страшен своей привычкой к неограниченной власти и теперь этой властью, данной государем ополченным главнокомандующим. Ежели бы я два часа опоздал две недели тому, он бы повесил протолиста в Юхнове. Ну, так я пошел потому, что, кроме меня, никто не имеет влияния на отца, и я кое-где спасу его от поступка, в котором бы он после мучался.

— А, ну так вот видите...

— Да, но не так, как ты думаешь, — продолжал князь Андрей. — Я ни малейшего добра не желал и не желаю этому мерзавцу протолисту, который украл какие-то сапоги у ополченцев; я даже очень был бы доволен видеть его повешенным, но мне жалко отца — то есть опять себя же.

Князь Андрей в первый раз со времени приезда Пьера теперь, после обеда, оживился. Глаза его весело блестели, в то время как он старался доказать Пьеру, что никогда в его поступке не было участия, желания добра ближнему.

— Ну вот, ты хочешь освободить крестьян, — продолжал он. — Это очень хорошо. Но не для тебя, не для меня и еще меньше для крестьян. Ты, я думаю, никого не засекал и не посылал в Сибирь. Ежели их бьют, секут и посылают в Сибирь, то им от этого нисколько не хуже. В Сибири ведет он ту же свою скотскую жизнь, а рубцы на теле заживут, и он так же счастлив, как был прежде; а нужно это для тех людей, которые гибнут нравственно, наживают себе раскаяние, подавляют это раскаяние, грубеют от того, что у них есть возможность казнить право и неправо. Вот кого мне жалко и для кого я бы желал освободить крестьян. Ты, может быть, не видал, а я видел, как хорошие люди, воспитанные в этих преданиях неограниченной власти, с годами, когда они делаются раздражительнее, делаются жестоки, грубы, знают это, не могут удержаться.

жаться и все делаются несчастнее и несчастнее.

Андрей говорил это с таким увлечением, что Пьер невольно подумал о том, что мысли эти наведены были Андрею его отцом. Он ничего не отвечал ему.

— Так вот кого и чего жалко: человеческого достоинства, спокойствия совести, чистоты, а не их задниц и лбов, которых сколько ни секи, сколько ни брей, все останутся такими же задницами и лбами.

— Правильно, правильно, — закричал Пьер, которому понравилось это новое воззрение на занимавшее его дело.

Вечером князь Андрей и Пьер сели в коляску и поехали в Лысые Горы. Князь Андрей, поглядывая на Пьера, прерывал изредка молчание речами, доказывавшими, что находился в очень хорошем расположении духа.

— Как я тебе рад! Как рад! — говорил он.

Пьер мрачно молчал, отвечая односложно, и казался погружен в свои мысли.

— А ты любишь детей? — спросил он потом после молчания. — Смотри же, скажи мне правду, как он тебе понравится.

Пьер коротко обещался.

— А как ты странно переменялся, — сказал князь Андрей. — И к лучшему, к лучшему.

— А вы знаете, отчего я переменялся? — сказал Пьер. — Лучше я не найду времени говорить с вами. — Вдруг он повернулся всем телом в коляске. — Дайте руку, — и Пьер сделал ему масонский знак, на который Андрей не ответил ему рукою.

— Неужели ты масон? — сказал он. — Если вы верите в нечто выше этого...

— Не говорите этого, не говорите этого, я сам то же думал.

Я знаю, что такое масонство в глазах ваших.

Пьер все не говорил. Он думал о том, что надо ему открыть Андрею учение масонства; но как только он придумывал, как и что он станет говорить, он предчувствовал, что князь Андрей одним словом, одним аргументом уронит все его учение, и он боялся начать и выставить на возможность осмеяния свою любимую святыню.

— Нет, отчего же вы думаете, — вдруг начал Пьер, опуская голову и принимая вид бо-

дающего быка, — отчего вы так думаете? Вы не должны так думать.

— Да ты про что?

— Про жизнь, про назначение человека, про царство зла и беспорядка. Это не может быть. Я так же думал, и меня спасло вы знаете что? Масоны. Нет, вы не улыбайтесь, масонство это не религиозная, не обрядная секта, как и я думал, а масонство есть лучшее, единственное выражение лучших, вечных сторон человечества. — И он начал излагать Андрею масонство, как он понимал его и в чем едва ли согласились бы с ним его братья каменщики. Он говорил, что масонство есть учение мудрости, учение христианства, освободившегося от государственных и религиозных оков, учение, признающее в человеке первенствующими его способность совершенствования себя, помощь ближнему, искоренение всякого зла и распространение этого учения равенства, любви и знания.

— Да, это было бы хорошо, но это иллюминатство, которое преследуется правительством, которое известно и потому бессильно.

— Я не знаю, что иллюминатство, что ма-

сонство, — заговорил Пьер, входя в состояние речистого восторга, в котором он забывался, — и знать не хочу. Я знаю, что это мои убеждения и что в этих убеждениях я нахожу сочувствие единомышленников, которым нет числа в настоящем, нет числа в прошедшем и которым принадлежит будущее. Только наше святое братство имеет действительный смысл в жизни; все остальное есть сон, — говорил он. — Вы поймите, мой друг, что вне этого союза все исполнено лжи и неправды, и я согласен с вами, что умному и доброму человеку ничего не остается, как только, как вы, доживать свою жизнь, стараясь только не мешать другим. Но усвойте себе наши основные убеждения, вступите в наше братство, дайте нам руку, позвольте руководить собой, и вы сейчас почувствуете себя, как и я почувствовал, частью этой огромной, невидимой цепи, которой начало скрывается в небесах.

Князь Андрей, молча глядя перед собой, слушал речь Пьера. Несколько раз он, не слышав от шума коляски, переспрашивал у Пьера нерасслышанные слова. По особенному блеску, загоревшемуся в глазах Андрея, и по

его молчанию Пьер видел, что слова его не напрасны, что Андрей не перебьет его. Он уже перестал бояться насмешливого или холодного возражения и желал только знать, как принимаются его слова.

Они подъехали к разлившейся реке, которую им надо было переезжать на пароме. Пока устанавливали коляску и лошадей, они молча прошли на паром и, облокотившись, стояли у перил. Князь Андрей молча смотрел вдоль по разливу, блестящему от заходящего солнца.

— Ну, что же вы думаете об этом? Что же вы молчите?

— Что я думаю? Я слушаю тебя. Все это так. Но ты говоришь: вступи в наше братство, и мы тебе укажем цель жизни и назначение человека и законы, управляющие миром. Да кто же мы — люди. Отчего же вы все знаете, а я не знаю, и ты, один человек, не знаешь, что ты такое?

— Как не знаю? — с жаром заговорил Пьер. — Нет, я знаю. Разве я не чувствую в своей душе, что я составляю часть этого огромного гармонического целого. Разве я не



чувствую, что я в этом бесчисленном количестве существ, в котором проявляется божество, — высшая сила, как хотите, что я составляю одно звено, одну ступень от низших существ к высшим? Ежели я вижу, ясно вижу эту лестницу, которая ведет от растения к человеку, то отчего же я предположу, что эта лестница, которой я не вижу конца внизу, она теряется в растениях, полипах. Отчего же я предположу, что эта лестница прерывается со мною, а не ведет дальше и дальше до высших существ. Вы читали Гердера. Это величайший философ и мудрец. Он говорит... — и Пьер начал излагать все учение Гердера, тогда бывшее еще совершенно новым учением, которое было до глубины понято и прочувствовано Пьером.

Коляска и лошади уже давно были выведены на другой берег и заложены, и уж солнце скрылось до половины, и вечерний мороз покрывал звездами лужи у перевоза, а Пьер, к удивлению лакеев, кучеров и перевозчиков, все стоял, махая руками, и говорил своим шепелявым голосом. Князь Андрей все в той же неподвижной позе слушал его и, не опуская

глаз, смотрел на красный отблеск солнца по синеющему разливу.

— Нет, мой друг, — кончил Пьер, — есть Бог на небе и добро на земле.

Князь Андрей вздохнул детски и лучистым, детским нежным взглядом взглянул в покрасневшее, восторженное, но все робкое перед первенствующим другом лицо Пьера.

— Да, коли бы это так было! — сказал он. — Однако пойдем садиться.

И, выходя с парома, князь Андрей взглянул на высокое, чистое небо, и в первый раз после Аустерлица увидал то высокое, вечное небо, которое он видел, лежа на Аустерлицком поле, исходя кровью и умирая. Увидав это небо, он вспомнил и весь тогдашний склад мыслей и удивился, как мог он потом, войдя в старую колею мелких забот жизни, забыть все это. Пьер не убедил его. Все разумные доводы Пьера поражали его только своей холодностью, но любовное оживление Пьера, державшегося за свои убеждения, как за спасительную доску, его видимое желание передать испытываемое им счастье от этих убеждений сво-

ему другу, более всего эта застенчивость Пьера, в первый раз принявшего тон поучения с человеком, с которым он прежде всегда и во всем соглашался, — все это в соединении с чудным апрельским вечером и тишиною воды сделали то, что князь Андрей почувствовал опять высокое вечное небо, почувствовал себя размягченным и с теми силами молодой жизни, бившимися в нем, которые он считал уже прожитыми.

— Отчего же? — сказал князь Андрей на настоятельное требование ввести его в ма-сонскую ложу. — Отчего же? Мне это нетрудно, а вам доставит большое удовольствие.

В 1807 году жизнь в Лысых Горах мало изменилась. Только на половине покойной княгини была детская, и вместо нее жил там маленький князек с Бурьен и нянькой-англичанкой. Княжна кончила свои математические уроки и ходила только здороваться по утрам в кабинет отца, когда он бывал дома. Старый князь был назначен одним из восьми главнокомандующих по ополчению, определенных тогда по всей России. Старый князь настолько оправился после возвращения сына, что не считал себя вправе отказаться от должности, в которую был определен самим государем. Он был все такой же, но только чаще в последнее время по утрам, натошак, и перед обедом находили на него минуты бешенства, в которых он был ужасен для подчиненных и невыносимо тяжел для домашних.

На церковном кладбище возвышался над могилой княгини новый памятник, часовня с мраморной статуей плачущего ангела. Старик князь однажды зашел в эту часовню и, сердито засморкавшись, вышел оттуда. Князь

Андрей тоже не любил смотреть на этот памятник, ему казалось, вероятно, так же как и отцу, что лицо плачущего ангела было похоже на лицо княгини, и лицо это говорило тоже: «Ах, что вы со мной сделали! Я все отдала вам, что могла, а вы что же со мною сделали?» Только княжна Марья охотно и часто ходила в часовню, стараясь передавать свои чувства ребенку, водила с собою маленького племянника и пугала его своими слезами.

Старый князь только что приехал из губернского города по делам службы, и, как это обыкновенно с ним бывало, деятельность оживила его. Он приехал весел и был особенно рад приезду сына с гостем, которого он не знал еще лично, но знал по отцу, с которым он бывал дружен. Князь Андрей ввел Пьера в кабинет к отцу и тотчас же пошел на половину княжны Марьи и к сыну. Когда он вернулся, старик с Пьером спорили, и по оживленным старым глазам отца и его крику Андрей заметил с удовольствием, что Пьер пришелся по сердцу старику. Они спорили, как и надо было ожидать, о Бонапарте, о котором всякого нового приезжего как будто экзаменовал

князь Николай Андреевич. Старик все не мог переварить славы Бонапарта и доказывал, что он плохой тактик. Пьер, хотя и много изменивший взгляд на своего прежнего героя, все еще считал его гениальным человеком, хотя и обвинял его за измену идеям революции. Этому взгляда старый князь вовсе не понимал. Он судил Бонапарта только как полководца.

— Что ж, по-твоему, он умно стал теперь задом к морю? — говорил старик. — Как бы не Кустевены (так он называл Буксгевдена), ему бы жутко стало.

— В этом-то и сила его, — возражал Пьер, — что он презирает предания военные, а во всем действует по-своему.

— Да, по-своему и под Аустерлицем стал между двух огней...

Но в это время вошел князь Андрей, и князь замолк.

Он никогда при сыне не говорил об Аустерлице.

— Все об Бонапарте, — сказал князь Андрей с улыбкой.

— Да, — отвечал Пьер, — помните, как мы

два года тому назад смотрели на него.

— А теперь, — сказал князь Андрей, — теперь для меня ясно, что вся сила этого человека в презрении к идеям и в лжи. Надо всех только уверить, что мы всегда побеждаем, и будем побеждать.

— Расскажи, князь Андрей, про аркольскую лужу, — сказал старик и вперед захохотал.

Этот рассказ старик слышал сто раз и все заставлял повторять его. Рассказ этот состоял в подробности о взятии Аркольского моста в 1804 году, который князь Андрей, бывши в плену, узнал от одного бывшего очевидца, французского офицера. В то время еще более, чем теперь, был прославляем и всем известен мнимый подвиг Бонапарта, бывшего еще главнокомандующим, на Аркольском мосту. Рассказывалось, и печаталось, и рисовалось, что французские войска замешкались на мосту, обстреливаемые картечью. Бонапарт схватил знамя, бросился вперед на мост, и, увлеченные его примером, войска последовали за ним и взяли мост. Очевидец передал Андрею, что ничего этого не было. Правда,

что на мосту замялись войска и, несколько раз посылаемые вперед, бежали, правда, что сам Бонапарт подъехал и слез с лошади, чтоб осмотреть мост.

В то время, как он слез позади, а не впереди войск, войска, бывшие впереди, побежали назад в это время и сбили с ног маленького Бонапарта, и он, желая спастись от давки, попал в наполненную водой канаву, где испачкался и промок и из которой его с трудом вынули, посадили на чужую лошадь и повезли обсушивать. А мост так и не взяли в тот день, а взяли на другой, поставив батареи, сбившие австрийские...

— Вот как слава приобретается французами, — хохоча своим неприятным смехом, говорил старик, — а он в бюллетенях велел написать, что он с знаменем шел на мост.

— Да ему не нужно этой славы, — сказал Пьер, — его лучшая слава — усмирение террора.

— Ха-ха-ха — террора... Ну, да будет. — Старик встал. — Ну, брат, — обратился он к Андрею, — молодец твой приятель. Я его любил. Разжигает меня. Другой и умные речи го-



ворит, а слушать не хочется, а он все врет, а так и подмывает с ним спорить. С ним и старину вспомнил, как с его отцом в Крыму были. Ну, идите, — сказал он. — Может быть, приду ужинать. Опять поспорю. Ступай, дружок. Мою дуру, княжну Марью, люби.

Князь Андрей повел Пьера к княжне Марье, но княжна Марья не ожидала их так рано и была в своей комнате с своими любимыми гостями.

— Пойдем, пойдем к ней, — сказал князь Андрей, — она теперь прячется и сидит с своими божьими людьми, поделом ей, она сконфузится, а ты увидишь божьих людей. Это курьезно, право.

— Что это такое — божьи люди? — спросил Пьер.

— А вот увидишь.

Княжна Марья действительно сконфузилась и покраснела пятнами, когда вошли к ней. В ее уютной комнате с лампадками перед киотами на диване, за самоваром сидел рядом с ней молодой мальчик с длинным носом и длинными волосами и в монашеской рясе. На кресле, подле, сидела старушка в чер-

ном платке на голове и плечах.

— Андрей, почему ты не предупредил меня? — сказала она с кротким упреком, становясь перед своими странниками, как наседка против коршуна. — Рада вас видеть. Очень рада, — сказала она Пьеру, в то время как он целовал ее руку. Она знала его ребенком, и теперь дружба его с Андреем, его несчастье с женой и, главное, его доброе, несмелое лицо расположили ее к нему. Она смотрела на него своими прекрасными лучистыми глазами и, казалось, говорила: «Я вас очень люблю, но, пожалуйста, не смейтесь над моими».

— А, и Иванушка опять тут, — сказал Андрей, указывая улыбкой на молодого странника, в то время как сестра его говорила с Пьером.

— Андрей! — умоляюще сказала княжна Марья.

— Ты знаешь, это женщина, — сказал Андрей Пьеру.

— Андрей, ради бога, — повторила княжна Марья. Видно было, что насмешливое отношение князя Андрея к странникам и бесполезное заступничество за них княжны Марьи

было привычное, установившееся между ними отношение.

— Но, мой добрый друг, — сказал князь Андрей, — ты бы должна была бы быть мне благодарна за то, что я объясняю твою интимность с этим молодым человеком.

— Право? — сказал Пьер, любопытно и серьезно (за что особенно благодарна ему была княжна Марья) вглядываясь через очки в лицо Иванушки, который, поняв, что речь шла о нем, хитрыми глазами оглядывал всех.

Княжна Марья совершенно напрасно смущалась за своих. Они нисколько не робели. Старушка тем мерным голосом, в себя, особенно, когда она говорила о святости, разговаривалась с князем Андреем. Иванушка-женщина, стараясь говорить басом, попивал чай, тоже не смущаясь, отвечал князю Андрею.

— Так в Киеве была? — спрашивал старуху князь Андрей.

— Была, отец, отец Амфилохий благословил. Очень ослабел, матушка, — обратилась она к княжне Марье. — Кажется, в миру спасется. Худой-прехудой, а к благословенью пойдешь, ручка ладаном пахнет. В пещеры

ходила. Нынче в пещерах вольно стало. Монахи знают меня. Дадут ключ, я и хожу, угодникам прикладываюсь, всем помолюсь, слава тебе, Господи.

Все молчали, одна странница говорила мерным, спокойным голосом.

— А еще где была? — спросил князь Андрей. — У матушки была?

— Полно, Андрей, — сказала княжна Марья. — Не рассказывай, Пелагеюшка.

— И, что ты, матушка, отчего ж не рассказывать. Ты думаешь, он смеется. Нет, он добрый, богобоязненный, он мне, благодетель, десять рублей дал, я помню. В Калязине была. В Калязине, матушка, Пресвятая Богородица открылась, уподобилась видеть, чудотворная икона. Вот чудеса, отец, у ней миро из щечки течет.

— Ну, хорошо, хорошо, после расскажешь, — краснея, сказала княжна Марья.

— Позвольте у нее спросить, — сказал Пьер. — Как же миро?

— Так и течет, голубчик, из щечки-то матушки, благовоние такое, отец.

— И вы верите этому? — сказал Пьер.

— Как же не верить-то? — испуганно сказала странница.

— Да ведь это обман.

— Ах, отец, что говоришь! — с ужасом оказала Пелагеюшка, обращаясь за защитой к княжне Марье.

— Что ж, он правду говорит, — сказал князь Андрей.

— Господи Иисусе Христе, — крестясь, сказала странница, — и ты тоже. Ох, не говори, отец. Так-то один анарал не верил, сказал: «Монахи обманывают», — да как сказал, так и ослеп. И приснилось ему, что приходит к нему матушка Пресвятая Богородица и говорит: «Уверуй мне, я тебя исцелю». Вот и стал проситься: повези да повези меня к ней. Это я тебе истинную правду говорю, сама видела. Привезли его, слепого, прямо к ней; подошел, упал, говорит: «Исцели! Отдаю, — говорит, — тебе все, что царь жаловал». Сама видела, звезда в ней так и вделана. Что ж, прозрел! — обратилась она к княжне Марье.

Княжна Марья краснела. Иванушка лукавыми глазами глядел на всех исподлобья.

Князь Андрей не мог удержаться, чтобы не

посмеяться, — так он привык, любя, дразнить сестру.

— Значит, в генералы и матушку произвели.

— Отец, отец, грех тебе, у тебя дети, — вдруг злобно и испуганно заговорила странница, вся красная, все оглядываясь на княжну Марью. — Грех, что ты сказал такое. Бог тебя прости. — Она перекрестилась. — Господи, прости его. Матушка, что ж это? — Она встала и, чуть не плача, стала собирать свою сумочку. Ей, видно, было и страшно и жалко того, кто это сказал, и стыдно, что она пользовалась благодеяниями в доме, где могли говорить это. Теперь княжне Марье не нужно было просить Андрея. Он сам и особенно Пьер старались успокоить странницу и убедить ее, что никто не думал этого, что это с языка сорвалось. Странница успокоилась, и она долго потом рассказывала про счастье ходить одной по пещерам, про благословение отца Амфилохия и т. д. Потом она запела кант.

И княжна Марья, отпустив их ночевать, повела брата и гостя к чаю.

— Вот, граф, — говорила княжна Марья, —

Андрей не хочет согласиться со мной, что странствие есть великое дело. Бросить все, все связи, радости жизни, и идти, рассчитывая на одну милостыню, по миру, молиться за всех, за благодетелей и за врагов.

— Да, — говорил князь Андрей, — ежели бы это сделала ты, для тебя бы это было жертва, а для них карьера.

— Нет, ты не так понимаешь. Ты послушай, что они говорят.

— Я слушал, я слышу только невежество, заблуждения и страсть бродяжничать, а ты слышишь все то, что тебе хочется слышать и что есть в твоей душе.

— Нет, я согласен с княжной, — говорил Пьер. — Только мне жалки эти заблуждения суеверий.

— О, ты во всем будешь согласен с княжной Марьей, вы одинаковы.

— И я очень горд этим.

Когда Пьер уехал и сошлись вместе все члены семьи, кроме Бурьенн, его стали судить, как это всегда бывает, и, как это редко бывает, все говорили про него одно хорошее. Даже Михаил Иванович хвалил его часто,

зная, что этим доставит удовольствие старому князю. Княжна Марья часто расспрашивала про него и просила Андрея писать ему чаще. Андрей редко говорил про него, но приезд его для него был эпохой. Все те мечтания Пьера, над которыми он почти смеялся и которые он оспаривал в разговоре с ним, все эти предположения он, никому не говоря, начал приветствовать у себя в имении. В Богучарове был отведен флигель для больницы, священнику внушено и дано денег, чтобы он учил детей, барщина уменьшена, и было послано прошение об отпуске богучаровских крестьян на волю.

Это было 26-го февраля. Кучера, возившие старого князя, вернулись из города и привезли бумаги и письма князю Андрею. Камердинер, не застав его в кабинете, пошел на половину княжны Марьи, но и там его не было, ему сказали, что он пошел в детскую.

— Пожалуйте, ваше сиятельство, Петруша с бумагами пришел, — сказала одна из девушек, помощниц няньки, обращаясь к князю Андрею, который сидел на маленьком дет-



ском стуле и дрожащими руками, хмурясь, капал из склянки лекарство в до половины налитую рюмку, капал, сердито выливал на пол, потому что накапывал лишнее и требовал еще воды.

— Мой друг, — говорила княжна Марья от кровати, у которой она стояла, — лучше подождать, после...

— Ах, сделай милость, ты все говоришь глупости, ты и так все дожидалась — вот и дождалась, — сказал он ворчливо, видимо, желая уколоть сестру.

— Мой друг, право лучше не будить, он заснул.

Князь Андрей нерешительно на цыпочках подошел с рюмкой.

— Или точно ты думаешь не будить, — сказал он.

Княжна Марья указала ему на девушку, вызывавшую его. Князь Андрей вышел, проворчав: «Черт их принес», — и, вырвав из рук подаваемые конверты и письма отца, вернулся в детскую.

Старый князь на синей бумаге своим крупным, продолговатым почерком, употребляя

кое-где титлы, писал следующее: «Весьма радостное в сей момент известие получил через курьера, если не вранье. Бенигсен под Пултуском над Бонапартом якобы полную викторию одержал. В Петербурге все ликует, и награда послана в армию без конца. Хоть и немец — поздравляю. Корчевский предводитель, некий Ростов граф, не постигну, что делает: до сих пор не доставлены добавочные люди и провиант. Сейчас скачи туды и скажи, что я с него голову сниму, чтоб через неделю все было.

О Пултуске сейчас получил письмо от Петеньки — все правда. Как не мешают, кому мешаться не следует, то и немец побил Бонапарта. Сказывают, бежит весьма расстроен».

Получив это письмо, которое в другое время было бы из самых тяжелых ударов для князя Андрея, и только пробежав его, и понявши сущность его, состоявшую в том, что, первое, судьба продолжала подшучивать над ним, устроив так, что Наполеон побежден тогда, когда он сидит дома, напрасно стыдясь аустерлицкого позора, и, второе, что отец требует его немедленного отъезда в Корчеву к

какому-то Ростову, он остался совершенно равнодушен к обоим пунктам.

«Черт их возьми со всеми Пултусками, и Бонапартами, и наградами, — подумал он о первом. — Нет уж, извините, теперь не поеду, куда Николенька будет находиться в этом положении», — подумал он о втором, и он с открытым письмом в руке на цыпочках вернулся в детскую и глазами отыскивал сестру.

Была вторая ночь, что они оба не спали, ухаживая за горевшим в жару мальчиком. Все сутки эти, не доверяя своему домашнему доктору и ожидая того, за которым было послано в город, они предпринимали то то, то другое средство. Измученные бессонницей и тревожные, упрекали один другого и ссорились. В ту минуту, как опять входил князь Андрей с письмом в руке, он увидел, что нянька с испуганным видом спрятала что-то от него и что княжны Марьи не было у кровати.

— Мой друг, — слышался ему сзади себя отчаянный, как ему показалось, шепот княжны Марьи. Как это часто бывает в минуты страшного ожидания, на него нашел беспричинный испуг. Все, что он видел и слышал,

показалось ему, подтверждало его страх.

«Все кончено, он умер», — подумал он, сердце его оборвалось, и холодный пот выступил на лбу. Он с потерянными мыслями подошел к кровати, уверенный, что он найдет ее пустою, но хорошенький, румяный ребенок, раскидавшись, лежал в ней. Князь Андрей нагнулся и, как учила его сестра, губами попробовал, есть ли жар у ребенка. Нежный лоб был влажен, он дотронулся рукою — даже волосы были мокры. Какая-то тень виднелась ему подле него под пологом кровати. Он не оглядывался, не помня себя от счастья глядя на лицо ребенка и слушая его ровное дыхание. Темная тень была княжна Марья, которая неслышными шагами подошла к кровати, подняла полог и опустила его за собою. Под кисейным пологом был матовый полусвет, и они втроем были уединены, казалось, от всего мира.

— Он вспотел, — сказал князь Андрей.

— Я шла к тебе, чтобы сказать это.

Князь Андрей смотрел на сестру своими добрыми глазами и виновато улыбался. Лучистые глаза княжны Марьи блестели больше

обыкновенного от счастливых слез, которые стояли в них. Они потихоньку, чтобы не разбудить ребенка, пожали друг другу руку, и неловкая княжна Марья этим жестом слегка зацепила за полотно кровати. Они погрозили друг другу, еще постояли в матовом свете полога, как бы жалея расстаться с этим миром, отдельным, чистым и полным такой любви, и, наконец, путая волосы, вздохнув, вышли и закрыли за собою занавески.

На другой день мальчик был совершенно здоров, и князь Андрей поехал в Корчеву исполнять поручения своего отца.

Последний долг в сорок две тысячи, сделанный для уплаты проигрыша Николая, хотя и составлял незначительную сумму относительно всего имения графа Ростова, был тою фунтовою маленькою гирькой, которая окончательно перевешивает пудами наложенные весы. Этот последний заем, сделанный графом на честное слово, и уплата по нему окончательно расстроила дела Ростовых. К осени должны были поступить ко взысканию векселя и требования Опекунского совета, по которым платить нечем было, не продавая имений. Но старый граф с чувством заигравшегося игрока не считался с банкометом и верил; Митенька, ловя рыбу в мутной воде, не старался уяснить дел. Под предлогом уменьшения доходов граф поехал с семейством в деревню и намеревался провести в ней и зиму. Но жизнь в деревне несколько не вела графа к поправлению своих дел. Он жил в своем Отрадном — пятисотдушennem имении, не приносящем никакого дохода, но с богатым садом и парком и оранжереей, огромной псовой

охотой, хором музыки, конными заводами.

На беду, в этот же год были два набора и ополчение, разорившие многих помещиков в России; они и положили конец его разорению. В его имениях забирался третий работник в ополчение, так что в пахотных губерниях запашка должна была быть уменьшена, а в оброчных, которые составляли главные его доходы, мужики не платили и не могли платить оброка. Сверх того, на обмундирование и провиант он должен был удерживать десятки тысяч. Но граф нисколько не изменил ни своей радушной веселости, ни гостеприимства, принявшего еще большие размеры в деревне и с тех пор, как он единодушно был избран предводителем дворянства. Кроме огромного приема и увеселений, которыми он угощал дворян своего уезда, он за некоторых, беднейших, платил свои деньги и всеми средствами отстаивал их перед главнокомандующим, несмотря на славу страшной строгости, которую имел главнокомандующий князь Болконский. Поэтому-то и были упущения по его уезду, за которые гневался князь Николай Андреевич и исправить которые он послал своего

сына.

Митенька жил с семьей в большом флигеле села Отрадного и все, имевшие дела до графа, знали, что тут-то, у него, решались все дела. У крыльца его толпились в новых кафтанах чисто обутые начальники из мужиков, и мужики растерзанные, и бабы-просительницы. Митенька вышел к ним в шубке, румяный, гордый, рассеянный.

— Ну, ты что?

Староста села объяснил, что опять приехал ополченный начальник, требовал людей завтра на учение, а пар еще не пахан.

— Что прикажете?

Митенька поморщился.

— И черт их знает, что делают. Так все хозяйство бросить. Я ему говорил, чтобы написал, — проговорил он про себя. — Это еще что?

Это была бумага от станового с требованием, по приказанию главнокомандующего, денег. Митенька прочел.

— Скажи, что его нет, сейчас едут в город. Потом доложу. Ну, вы что?

Старый мужик повалился в ноги.



— Отец!.. Ваньку взяли, хоть бы Матюшку оставили! Прикажи отменить.

— Да тебе говорили, что это только на время.

— Как, батюшка, на время. Сказывают, всех заберут.

Баба, просившая о муже, бросилась в ноги.

— Ну, ну, твоего-то давно пора за грубиянство.

Из-за угла вышло еще человек десять оборванцев, видимо, тоже просители.

— Ну, вас всех не переслушаешь. Царь велел...

— Батюшка... отец...

— Да вы подите к барину...

— Отец, защити.

В это время мимо крыльца приказчикова флигеля прогремела огромная карета цугом на сытой шестерке серых. Два лакея в галунах стояли — гладкие — сзади. Кучер толстый, красный, с помаженной бородой крикнул на народ, подручный жеребец заиграл.

— Держи короче, Васька. — И карета пока-тила к подъезду с колоннами между выставленных кадок огромного отрадненского дома.

Граф ехал в город для свидания с князем Андреем, но знали, что он вернется на другой день, так как на третий день были его именины, день торжественный, и прием. К этому дню в большой зале уже давно готовился домашний театр сюрпризом, о котором, несмотря на стуки топоров, делавших подмости, граф не должен был знать. Уже много и гостей было съехавшихся к этому дню из Москвы и губернского города.

Митенька отпустил народ, сказав, что графу некогда и что изменить ничего нельзя, так как все было решено его именем.

Князь Андрей второй день жил в уездном городе, сделал все нужные распоряжения властью, данной ему от отца, и ждал только свидания с предводителем, назначенного вечером, чтобы уехать. Само собою разумеется, что, несмотря на перемену, которая, он льстил себя надеждой, произошла в нем, он не мог никого, ни городничего, ни судьи, знать из бывших в городе. Он ходил, гулял, как в пустыне. Однажды утром он пошел на торг и, пленившись красотой одной булочницы, подарил ей пять рублей на расторжку; на

другой день мужик пришел к нему, жалуясь на позор его дочери. Ее шуняют, что она любовница главнокомандующего сына. Князь Андрей разменял деньги, пошел на другой день на базар и раздарил по пять рублей всем девкам. Когда граф Илья Андреевич приехал в город и переоделся у судьи, он узнал об этом поступке молодого Болконского и очень был обрадован им. Он поспешно, как и всегда, с веселым и более чем всегда веселым духом, вошел к князю Андрею.

Старый граф пользовался тою великою выгодою добродушных людей, что ему ни с кем, ни с важным, ни с неважным, не нужно было изменять своего обращения; он не мог быть более ласков, чем он был со всеми.

— Ну, здравствуйте, милый князь! Очень рад познакомиться с вами. Батюшку вашего встречал, да он, чай, меня не помнит. Как же это вам не совестно здесь оставаться? Прямо бы ко мне, рукою подать, мои ямщики живо бы вас докатили, и вам, и людям спокой был, и об деле бы переговорили, а то вам, чай, и есть-то нечего было; и графинюшка моя, и дети мои, все бы вам душой рады были. Сейчас

едем со мной, у меня переночуете, погостите, сколько вздумается, после же завтра день ангела моего, не побрезгайте, князь, моего хлеба-соли откусать. Вы об деле погодите, вот сейчас я моего секретаря позову, мы в одну минуту все обделаем. Деньги у меня готовы; я сам, батюшка, знаю, что служба прежде всего.

Вследствие того ли, что действительно граф с своим секретарем представил достаточные причины несвоевременности исполнения некоторых требований и удовлетворил тем, которым было возможно удовлетворить, или от того, что князь Андрей был подкуплен этой простодушно-доброй манерой старого графа, за которой ничего не скрывалось, кроме общего благоволения, благодушия ко всем людям без исключения, но князь Андрей почувствовал, что все служебные дела кончены и что ежели они не окончены, то мешает тому никак не нежелание старого графа сделать удобное правительству, его отцу и всем людям на свете.

— Ну, князь, хорошо вы штуку с торговками сделали! Это я люблю, это по-барски. — И он добродушно потрепал его по плечу. — Так

пожалуйста же, князь, дружок, не откажите погостить у меня, ну, неделку, — сказал он, как бы не сомневаясь в том, чтобы князь Андрей мог не поехать к нему.

Князь Андрей, действительно, находясь в особенно хорошем расположении духа вследствие счастливого окончания болезни сына, веселого расположения духа, произведенного историей с торговками, и в особенности вследствие того, что старый граф принадлежал к тому разряду людей, столь отличных от него самого, что он к ним не примерял себя и они ему бывали особенно симпатичны, он и не подумал, что можно было отказать ему.

— Ну, не неделку, — сказал он, улыбаясь.

— Там увидим, — подхватил старый граф, сияя радостной улыбкой. — Вы посмотрите, послезавтра у меня театр будет, мои девчата затеяли. Только это секрет, сюрприз, смотрите не проговоритесь!

Усадив нового гостя в свою карету и велел коляске князя ехать за собой, старый граф привез его к вечернему чаю в Отрадное. Дор\гой старик много и весело болтал и болтовней этой еще более понравился молодому

Болконскому. Он с такою любовью и уважением говорил про своего сына, которого князь Андрей вспомнил, что видел раз за границей, он с такою осторожностью и усилием не хвалить говорил про своих девчат (князь Андрей понимал, что это была та врожденная деликатность отца невест, который говорит о них перед выгодным женихом), он с такою простотой смотрел на все отношения людские, так был непохож на всех тех гордых, беспокойных и честолюбивых людей, к которым принадлежал он сам и которых он так не любил, что старик ему особенно понравился.

— Вот и моя хата, — сказал он с некоторою гордостью, вводя его на отлогую широкую каменную лестницу, уставленную цветами, и в большую переднюю, в которой вскочило десятка полтора грязных, но веселых лакеев. Старик провел его прямо к дамам в гостиную и на балкон, где все сидели за чайным столом. Князь Андрей нашел в семействе Ростова то самое, что он и ожидал найти: московскую барыню-старушку с бессмысленным и ленивым французским разговором, чопорную барышню Лизу, под видом небрежности до

малейших подробностей высматривающую жениха, скромную, краснеющую воспитанницу Соню и немца-гувернера с мальчиком, беспрестанно надоедающего этому мальчику своими замечаниями только с тем, чтобы показать родителям и в особенности гостю, что он — хороший немец, помнит свое дело, что его можете и вы, господин гость, взять к себе, ежели вам нужно хорошего немца, а я охотно пойду к вам, потому что здесь не умеют все-таки вполне ценить меня. Все это было, как и следует быть. Ничего не было неожиданного, но почему-то все это, со всею своею ничтожностью и пошлостью, до глубины души трогало князя Андрея. Было ли причиной тому его настроение, окрашивающее в эту минуту все поэтическим и нежным светом, или все, что окружало его, произвело в нем это настроение, он не знал, но все его трогало и все, что он видел, слышал, ярко отпечатывалось в его памяти, как бывает в торжественные и важные минуты в жизни.

Старичок в мягких сапожках поспешно подошел к жене, целуясь с нею рука в руку и взглядом указывая на гостя, говоря друг другу

то, что понимает только муж с женою. Лиза, сразу не показавшаяся ему несимпатичной, присевшая к гостю (ему жалко было, что она не такая добрая, как отец), Соня, вся вспыхнувшая избытком крови и с своими верными, собачьими глазами и черными густыми косами, зачесанными у щек, как уши у легавой собаки, и старый лакей, с улыбкой смотревший на представление нового лица, и огромная старая береза с неподвижно висевшими ветвями в теплом вечернем свете, и звук охотничьих рогов, и вой гончих, слышных из-под горы от псарни, и наездник на кровном, взмыленном жеребце и золоченых дрожках, остановившийся перед балконом, чтоб показать графу любимого жеребца, и спускавшееся солнце, и мелкая трава по краю дорожки, и прислоненная к ней садовническая лейка — все это, как атрибуты счастья, врезалось ему в памяти. Новое место, новые люди, тишина летнего вечера, спокойное воспоминание и какое-то новое, благодушное воззрение на мир, отразившееся с старого графа на него во время поездки, давали ему сознание возможности новой, счастливой жизни. Он мельком



взглянул на небо, в то время как графиня говорила ему пошлую фразу о приятности летней жизни (что ж ей было и говорить с новым лицом, он не осуждал ее, она славная). Он взглянул на небо и опять увидел его, увидел высокое, бесконечное небо, и оно было не с ползущими по нем облаками, а голубое, ясное и уходящее. Какой-то шум, похожий на звук влетевшей в комнату и бившейся об окно птицы, послышался на окне, выходящем на балкон, и отчаянный и веселый голос кричал:

— Отворите, я зацепилась, мама! Я зацепилась, — кричал, смеясь и плача, как показалось князю Андрею, какой-то мальчик, стоявший на окне. Увидав его, мальчик, и прелестный мальчик, встряхнув черными кудрями, покраснел, закрыл лицо руками и соскочил с окна.

Это была Наташа. Она в мужском костюме после репетиции пьесы, зная о возвращении отца и с гостем, пришла похрабриться и показаться, но зацепилась за задвижку, выдумала слово «зацепилась» и, желая и посмеяться над этим словом, и отворить окно, которое не

подавалось, и показаться в мужском костюме, который, она знала, очень идет к ней, новому лицу, и желая скрыться от отца, — она, как птичка, затрепыхалась в окне, сама не зная, что она делает, так как, как и всегда это с ней бывало, все эти мысли вдруг пришли ей в голову и она все их хотела сразу привести в исполнение.

— Ну, я пойду Полкана посмотреть, — сказал старый граф, подмигивая и улыбаясь жене, показывая, что он ничего не видал и не знает сюрприза, и спустился вниз с балкона к Полкану, который нетерпеливо бил ногой, отмахивался от мух и одними этими движениями откатывал и накатывал летние дрожки.

— Это моя меньшая, они готовят спектакль к именинам моего мужа, — сказала старая графиня.

Князь Андрей с улыбкой сказал, что он все знает.

— От кого же? — закричал голос из окошка и оригинальная головка (Наташе минуло пятнадцать лет, и она очень сложилась, похорошевшая в это лето). — От пап

— Нет, я узнал это здесь, — сказал он, улы-

баясь.

— А! — сказал голосок, успокаиваясь, —  
Мам

Старый граф разговаривал с наездником о том, сколько минут едет Полкан. С одной стороны слышалась балалайка около кухни, а из-за пруда долетали звуки разбираемого стада. Князь Андрей слышал все, но все эти звуки были только аккомпанемент звука голоса мальчика-девочки, которая говорила, что она уже не хочет показаться гостю. Старая графиня уговаривала ее. Вдруг быстро отворилась дверь, и на балкон выбежала Наташа. На ней были лосиные панталоны, гусарские сапожки и открытая на груди, серебром шитая бархатная курточка. Тонкая, грациозная, с длинными, до плеч, завитыми локонами, румяная, испуганная и самодовольная, она хотела сделать несколько шагов вперед, но вдруг застыдилась, закрыла лицо руками и, чуть не столкнув с ног мать, проскользнула в дверь, и только слышен был по паркету быстрый удаляющийся скрип ее гусарских сапожек.

Вечеру Наташа, обыкновенно малозастенчивая, не входила к ужину.

— Отчего ты не идешь? — говорили ей.

— Не пойду, мне стыдно.

Сама графиня должна была прийти за ней. Но Наташа, услышав шаги графини, вдруг заплакала.

— Об чем ты? Что с тобой? — лаская, говорила графиня.

— Ах, ничего, мне досадно, что вы историю делаете из пустяков. Идите, идите, честное слово, я приду.

И она пришла перед самым ужином в женском платье, которое на ней было уже длинное, как у больших, но в той же прическе. Она, покраснев, присела князю Андрею.

Хотя видно было, что она еще много вырастет, она была стройна и уже роста взрослой невысокой женщины. Она была и хороша и не-хороша. Верхняя часть лица — лоб, брови, глаза — были тонки, сухи и необыкновенно красивы, но губы были слишком толсты, и слишком длинен, неправилен подбородок, почти сливавшийся с мощной и слишком сильной — по нежности плеч и груди — шейей. Но недостатки ее лица можно бы было разобрать только на ее портрете или бюсте, в

живой же Наташе нельзя было разобрать этого, потому что, как скоро лицо ее оживлялось, строгая красота верхней части сливалась в одно с несколько чувственным и животным выражением нижней части в одну блестящую, вечно изменяющуюся прелесть. А она всегда была оживлена. Даже когда она молчала и слушала, или думала. За ужином, не вступая в разговор больших, она внимательно, любопытно-строгими глазами вглядывалась в новое лицо. Старый граф заметил, что она молчалива, весело подмигнув князю Андрею, покосился на любимицу дочь и сказал:

— За одно, князь, жалею Москву: театров нету, что бы дал театр посмотреть. А! Наташа, — обратился он к ней.

Князь Андрей, следя за взглядом старого графа, тоже смотрел на нее.

— Ведь она у меня певица, — сказал старый граф.

— А вы поете? — сказал князь Андрей. Он сказал эти простые слова, прямо глядя в прекрасные глаза этой пятнадцатилетней девочки. Она тоже смотрела на него, и вдруг без всякой причины князь Андрей, не веря сам

себе, почувствовал, что кровь приливает к его лицу, что его губам и глазам неловко, что он просто покраснел и сконфузился, как мальчик. Ему показалось, что Наташа заметила его состояние и другие также.

Вечером старая графиня в кофте опять пустила к себе Наташу, которая была особенно оживлена после своего припадка застенчивости и, одевшись в старушечью кофту и чепец, сидела на горе из подушек и ораторствовала.

— Да, этот в моем вкусе, — говорила.

— У тебя губа не дура, — говорила графиня.

Князь Андрей не остался гостить, а уехал на другой день утром. Он ехал один в своей коляске и думал, не переставая, о своей покойной жене. Он видел, как живое, перед собой ее лицо. «Что вы со мной сделали?» — все говорило это лицо, и ему тяжело и грустно было на душе.

— Да, есть надежда и молодость, — говорил он сам себе, — а я отжил, я кончил, я старик, — говорил он себе, но в это время, как он говорил себе это, он подъезжал к дому и проезжал лысогорскую березовую рощу, примыкавшую к самому дому. Когда он ехал еще в

Корчеву, в этой роще, уже распустившейся, стоял один дуб, еще голый, и он задумался над этим дубом. Была весна, ручьи уже сошли, все было в зелени, береза уже была облита клейкой, сочной и пушистой зеленью, в лесу пахло теплой свежестью. Около самой дороги, вытянув одну корявую нескладную руку над дорогой, стоял старый двойчатка дуб с обломленной корой на одной стороне двойчатки. Весь старый дуб, с своими нескладными голыми руками и пальцами, с своей столетней корой, обросшей мхом, с своими болячками, голо торчащими ветвями, казалось, говорил про старость и смерть. «И опять вы те же глупости, — казалось, говорил он соловьям и березам, — опять вы притворяетесь в какой-то радости весны, лепечете свои старые, прискучившие, все одни и те же басни про весну, про надежды, про любовь. Все вздор, все глупости. Вот смотрите на меня: я угловатый и корявый, таким меня сделали, таким я и стою, но я силен, я не притворяюсь, не пускаю из себя сока и молодые листья (они спадут), не играю с ветерками, а стою и буду стоять таким голым и корявым, покуда стоит-

ся».

Теперь, возвращаясь, князь Андрей вспомнил о дубе, совпадающем с его мыслями о самом себе, и он взглянул вперед по дороге, отыскивая старика с его голой избитой рукой, укоризненно протянутой над смеющейся и влюбленной весной. Старика уже не было: пригрело тепло, пригрело весеннее солнце, размягчилась земля, и не выдержал старик, забыл свои укоризны, свою гордость, — все прежде голые, страшные руки уж были одеты молодой, сочной листвой, трепетавшей на легком ветре, из ствола, из бугров жесткой коры вылезли молодые листки, и упорный старик полнее, величественнее и размягченнее всех праздновал и весну, и любовь, и надежды.



Государь жил в Бартенштейне. Армия стояла у Фридланда.

Павлоградский полк, находившийся в той части армии, которая была в походе 1805 года и, укомплектовываясь в России, опоздала к первым действиям, стоял теперь в разоренной польской деревне. Денисов был не из тех офицеров, которые, несмотря на свою известную храбрость, успевают по службе; он по-прежнему командовал тем же эскадроном гусар, которые, хотя и переменялись больше чем наполовину, так же, как и прежние, не боялись его, но чувствовали к нему детскую нежность.

Николай был тем же субалтер-офицером, хотя и поручиком, в эскадроне Денисова.

Когда Николай вернулся на перекладной из России и застал Денисова в его походном архалуке, с походной трубкой, в избе с раскиданными вещами и по-старому грязного, мохнатого и веселого, совсем не такого припомаженного, каким он его видал в Москве, и они оба обнялись, они поняли, как не на шутку

они друг друга любят. Денисов расспрашивал о домашних и особенно о Наташе. Он не скрывал перед братом, как нравилась ему его сестра. Он прямо говорил, что влюблен в нее, но тут же (как ничего неясного не было с Денисовым) прибавлял:

— Только не про меня, не мне, старой, вонючей собаке, такую прелесть назвать своею. Мое дело рубиться и пить. А люблю, люблю, и все тут, и вернее рыцаря не будет у нее, куда меня не убили. За нее готов изрубить всякого и за нее в огонь и в воду.

Николай, улыбаясь, говорил:

— Отчего же. Коли она тебя полюбит...

— Вздор, не с моим рылом. Стой, брат, слушай. Я тут один жил — скука! Вот ей стихи сочинил.

И он прочел:

*Волшебница, скажи, какая сила  
Влечет меня к покинутым струнам,  
Какой огонь ты в сердце заронила,  
Какой восторг разлился по перстам?  
Давно ли я, убитый, безотрадный,*

В жестокой грусти тайно изны-  
вал,  
Давно ль, к тебе бесчувственный  
и хладный,  
Твой чистый дар с презреньем от-  
вергал.  
Вдруг весь волшебный мир вообра-  
женья  
Открыла мне в прелестнейших  
мечтах,  
И пробудилась жажда песнопенья,  
И вспыхнул огонь на радостных  
струнах.  
В горящих нервах вымыслы ро-  
дятся,  
И думы роем вьются надо мной,  
Мелькнут... исчезнут... снова  
вдруг толпятся  
Забыто все... сон, пища и покой.  
Пылает кровь в порывах вдохнове-  
нья.  
Я в исступленьи день и ночь пою!  
Нет сил снести восторгов упое-  
нья,  
Они сожгут всю внутренность  
мою!  
Спаси меня, склонися к сожален-  
ью,

*Смири волненья страстных  
чувств моих,  
Нет, нет, волшебница, не верь мо-  
ленью!  
Дай умереть у ног твоих!*

Николай, пристыженный своим последним поступком, приехал с крыльями, с намерением служить, драться, не брать ни копейки из дома и загладить свою вину. Он в этом расположении духа особенно живо почувствовал дружбу Денисова и всю прелесть этой уединенной, философской и монастырской жизни эскадрона, с ее обязательной праздностью, несмотря на водку и карты, и с наслаждением в нее погрузился.

Был апрель месяц, ростепель, грязь, холод, реки взломало, дороги провалились, по несколько дней не давали провианта. Люди посылались по жителям отыскивать картофель, но ни картофеля, ни жителей не было. Все было съедено, и все разбежалось. Те же жители, которые не убежали, были хуже нищих, и отнимать у них или нечего уж было или даже маложалостливые солдаты не имели на это духа. Павлоградский полк почти не

был в делах, но от одного голоду убавился наполовину. В госпиталях умирали так верно, что солдаты, больные лихорадкой и опухолью, происходившей от дурной пищи, предпочитали нести службу, через силу волоча ноги во фронте. С открытием весны солдаты, хитрые на выдумки, нашли показывавшийся из земли корень, который они называли почему-то Машкин сладкий корень, и рассыпались по лугам и полям, отыскивая сладкий корень (который был очень горек), саблями выкапывали его и ели, несмотря на приказы не есть этой травы, — солдаты начинали пухнуть в руках, ногах и лице, и полагали, что от этого корня. Но, несмотря на запрещенье, солдаты ели корень, потому что уже вторую неделю им обещали провиант, а выдавали только по одному фунту сухарей на человека. Лошади тоже питались вторую неделю крышами с домов и доедали последнюю привезенную за три мили солому. Лошади были кости и кожа и покрыты еще зимнею шерстью клоками. Денисов, бывший в выигрыше, выдал больше тысячи рублей своих денег на корм и занял все, что было у Ростова, но ку-

пить негде было.

Но, несмотря на такое страшное бедствие, солдаты и офицеры жили точно так же, как и всегда: так же строились к расчетам, шли на уборку, чистили амуницию, даже делали ученья, рассказывали по вечерам сказки и играли в бабки. Только поодергались щеголи-гусары, и лица все были, более чем обыкновенно, желты и скуласты. Офицеры так же собирались, пили иногда, играли очень много и большую игру, так как денег, выдаваемых на провиант, который купить нельзя было, было очень много. Они все были в ходу — в игре.

— Ну, брат, седлай, — закричал раз вечером после приезда Ростова Денисов, возвращаясь от полкового командира, куда он ездил за приказаниями. — Сейчас берем два взвода и идем отбивать транспорт. Черта с дьяволом, не издыхать же людям, как собакам! — Он отдал приказанье вахмистру седлать и сошел с лошади.

— Какой? Неприятельский транспорт? — спросил Ростов, вставая с постели, на которой он один, скучая, лежал в комнате.

— Свой! — прокричал Денисов, горячась,

видно, еще тою горячностью, с которой он говорил с полковым командиром.

— Еду, встречаю транспорт, думаю, что нам, приезжаю спрашивать сухарей. Опять говорит — нету. Это в пехоту везут. Подождите день; требовал, писал. Я семь раз писал, говорит, дрог нет. Ну, так я отобью, который встретим. Не издыхать же людям, — рассказывал Денисов. — Суди меня там, кто хочет.

Не выходя из этого состояния раздражения, Денисов сел на лошадь и поехал. Солдаты знали, куда едут, и в высшей степени одобряли распоряжение начальника, они были веселы и подшучивали друг над другом, над лошадьми, которые спотыкались и падали. Денисов взглянул на людей и отвернулся.

— Мерзко взглянуть, — сказал он и на рысях поехал по дороге, по которой должен был идти транспорт. На рысях не могли идти все лошади; некоторые падали на колени, но, видимо, из последних сил бились, чтобы не отставать от своих. Они догнали транспорт. Солдаты транспорта стали было противиться, но Денисов исколотил старшего унтер-офицера плетью и завернул транспорт. Через полчаса

два пехотных офицера, адъютант и квартирмейстер полка прискакали верхами требовать объяснений. Денисов ни слова не ответил им на их представления и только крикнул на своих:

— Пошел!

— Вы будете отвечать, ротмистр; это буйство, мародерство, у своих, наши люди два дня не ели. Это разбой. Ответите, милостивый государь, — и он, трясаясь на лошади, как трясутся верхом пехотные офицеры, отъехал.

— Собака на заборе, живая собака на заборе! — прокричал ему вслед Денисов высшую насмешку кавалериста над верховым пехотным и рассмешил весь эскадрон.

Солдатам роздали сухарей вволю, поделились даже с другими эскадронами, и полковой командир, узнав все дело, повторил, закрывая глаза открытыми пальцами:

— Я на это смотрю вот этак, но не отвечаю и не знаю.

Однако через день по поступившим жалобам от пехотного командира он позвал к себе Денисова и посоветовал съездить в штаб и там, по крайней мере, в провиантском ведом-



стве расписаться, что он получил столько-то провианту, а то требование записано на пешотный полк. Денисов поехал и возвратился к Ростову взбешенный, красный и с таким приливом крови, что ему необходимо было в тот же день пустить кровь; глубокая тарелка черной крови вышла из его мохнатой руки, и тогда только он стал в состоянии рассказать, что с ним было. Но и тут, дойдя до трагического места, он так разгорелся, что кровь пошла из руки и надо было перебинтовать ее.

— Приезжаю. Ты думаешь, они там бедствуют, как мы? Как же! Смотрю, жида провиантские, все чистенькие, гладенькие, веселенькие. Ну, где у вас тут начальник? Показали. Ждал долго. Уж это меня взбесило. Обругал всех, велел доложить. У меня служба, я за тридцать верст приехал. Хорошо, выходит этот обер-вор: вы пожалуйста к чиновнику по комиссии, там распишетесь, а поступок ваш представится высшему начальству.

— «Вы меня, батюшка, не учите, а лучше бы не заставляли ждать по три часа». — «Извольте идти». — Прихожу, один чиновник к другому, к третьему, один одного погоняет,

все франты, я тебе говорю, уж меня стало бесить. Прихожу к тому-то комиссионеру. Хорошо, кушают, сейчас. Смотрю: портер несут, индейку. Ну, думаю, уж этого ждать не буду. Вхожу, изволят кушать... Кто же! Нет, ты подумай! (Тут развязалась повязка и брызнула кровь.) Телянин! — «А, так ты нас с голоду моришь!» — Раз, раз, по морде!.. А...! (Он произнес грубое ругательство.) Кабы они не бросились на меня, я бы убил его до смерти... Хороши, а? Хороши, а?...

— Да что же ты кричишь, успокойся, — говорил Ростов. — Ведь этак еще кровь пускать.

В Фридландском сражении два эскадрона павлоградцев, над которыми старшим был Денисов, поставлены были на левом фланге в прикрытие артиллерии, как ему сказал с вечера полковой командир. С начала дела открылся страшный огонь по гусарам. Ряды вырывало за рядами, и никто не приказывал им ни отступать, ни переменить положение. Денисов, хотя, как и всегда для сражения, надушенный и на помаженный, был грустен и сердито отдавал приказания для уборки тел и ра-

ненных. Увидав недалеко проезжавшего генерала, он поскакал к нему и объяснил, что дивизион перебьют весь без всякой пользы для кого бы то ни было. Лошади так слабы, что в атаку идти не могут, ежели бы даже и можно было, то место изрыто рывтинами, и, наконец, нет надобности стоять под ядрами, когда можно перейти дальше. Генерал, не дослушав его, отвернулся и поехал прочь.

— Обратитесь к генералу Дохтурову, я не начальник.

Денисов отыскал Дохтурова. Тот сказал ему, что начальник третий генерал, третий генерал — что начальник первый генерал.

«Черт вас дери совсем», — подумал Денисов и поскакал назад. Кирстен был уже убит, и Ростов был старшим. Так много было перебитых, что люди мешались и отходили от мест. Денисов поставил своим долгом собрать их. Но тут набежала на него пехота и смешала его.

— Стоило погубить пол-эскадрона. Дьявол! — проговорил он, но тут картечь попала ему в спину и замертво повалила его с лошади. Ростов, уже привыкший переносить все-

гда повторявшееся в деле чувство страха, как умел старался в бегстве собрать эскадрон.

### XXXIII

Борис пристроился к императорскому штабу в конце прошлой кампании, и служба его шла весьма успешно. Он числился в Преображенском собственном его величества батальоне и получал вследствие этого гораздо больше жалованья и был на виду у императора. Князь Долгорукий не забыл его и представил князю Волконскому. Князь Волконский рекомендовал его другому очень важному лицу, при котором (продолжая получать оклад по Преображенскому собственному его величества батальону) и числился в качестве адъютанта молодой Друбецкой. Всем, особенно важным лицам, Борис очень нравился своей, как говорили, открытой и изящной наружностью, скромностью, умением держать себя и добросовестностью исполнения поручений и точностью и элегантностью способа выражения.

Гвардия, как и в первую войну, шла с праздника на праздник; в продолжение всего

похода ранцы и часть людей везли на подводах. Офицеры ехали в экипажах со всеми удобствами жизни. Вся гвардия шла так, собственный батальон его величества шел еще роскошнее. Берг уже был старшим ротным командиром в батальоне и владимирским кавалером, на прекрасном счету у начальства. В Бартенштейне именно Борис явился к важному лицу, к которому у него была записочка от князя Волконского, и был взят в адъютанты, и отделился от Берга, предвидя лучшую будущность. Надежды эти оправдались. То величие всего императорского двора, которое он видел только в коридоре Ольмюцкого дворца, он видел здесь в одной с собой зале.

Он был приглашен на один из балов, которые давались прусским министром Гарденбергом и который удостоили своим присутствием император Александр и король. На этом бале Борис, красивый танцор, был даже замечен. И ему случилось танцевать с графиней Безуховой в то время, как государь подошел к ней и сказал ей несколько слов. Он танцевал с ней, а государь поговорил с нею и отошел, ласково улыбнувшись на ее кавалера в

то время, как им надо было начинать фигуру экосеза. Борис еще раньше, узнав, кто была эта красавица, которую замечал император, попросил одного знакомого флигель-адъютанта представить его ей, воспользовался знакомством с князем Василием для того, чтобы вступить с нею в разговор, и с своим природным тактом обошел разговор о ее муже. (Он чувствовал, не зная никаких подробностей, каким-то инстинктом, что этого не должно было делать.) Элен осветила его всего своей улыбкой, той же улыбкой, которой она осветила и царя, и подала ему руку, и тотчас после того, как царь говорил с нею. Во время разговора царя с его дамой Борис отступил и не слышал разговора, хотя и никто не учил его так поступить. Он знал, что это нужно было сделать.

Борис был все время при государе, то есть в тех же городах и местечках, где был государь, и все, что делалось в этом дворе, было его главным интересом и жизнью. Он был и в Юнсбурге, когда получено страшное известие фридляндского поражения, послан в Петербург и потом на нашем берегу Немана в Тиль-

зите при свидании двух императоров. Так как то лицо, при котором он состоял, не было при государе в самом Тильзите во время пребывания в нем императоров, а Преображенский батальон был в нем, то Борис откровенно признался, что он желал бы видеть это, и просил своего начальника отпустить его опять хоть на время во фронт, на что и получил согласие.

В июле он приехал в свой батальон и был хорошо принят товарищами, с которыми он, как и с начальниками, умел ладить. Никто страстно не любил его, но все считали его приятным молодым человеком. Он приехал ночью, — отзыв был дан: «Наполеон, Франция, храбрость» — в ответ на накануне данный отзыв Наполеона: «Александр, Россия, величие». И это была первая новость, которую ему восторженно рассказал Берг. Берг показал ему дом, в котором был Наполеон, и так странно и радостно было испытывать близость того человека, которого близость была так страшна прежде. Борис видел все торжества и надеялся видеть Наполеона еще ближе, когда приехал к ним Ростов.

На другое утро к Бергу собрались офицеры, и Борис, бывший два дня тому назад свидетелем свидания, рассказывал подробности его. Борис говорил с своей всегдашной улыбкой, которая означала или легкую насмешку, или умиление перед тем, что он видел, или радость, что он может это рассказать. Он рассказывал, как редко умеют рассказывать, — с такою властью в голосе, что чувствовалось невольно, что все, что он говорил, была только правда и то, что он видел, и с такою умеренностью красот и с таким отсутствием личных суждений, что его слушали молча. Чувствовалось, что он заявляет факты, отрешаясь от своих суждений.

— Я был при Наполеоне, — начал он. — Мы выехали рано утром. Государь изволил ехать верхом рядом с королем прусским. Государь был в преображенском мундире, в шарфе и андреевской ленте. Вы знаете эту деревню Обер-Маменшек Крук, тут корчма еще есть недалеко от берега. Государь вошел в корчму, сел подле окна и положил на стол шляпу и перчатки. Генералитет тоже вошел в корчму, и все, как будто ожидая чего-то, молча стояли



около двери. Государь был, как всегда, спокоен, только несколько задумчив. Я стоял у окна, и мне все видно было. Около четверти часа пробыли здесь, и никто, ни король, ни государь, никто из генералов не сказал ни одного слова. Я пошел к берегу, и, так как река не широка, как вы знаете, я не только рассмотрел павильоны на плотях с огромными вензелями «А», «Н», но и весь тот берег, который был закрыт сплошною толпою зрителей. Справа виднелась гвардия императора Наполеона (Борис называл так прежнего Буонапарте, еще и не зная о том, что по армии строго было запрещено с третьего дни называть Наполеона — Бонапартом, он природным чутьем узнал, что так должно было поступать), и на том берегу видны были такие же приготовления. Вы понимаете, — с тонкой улыбкой сказал Борис, — что надобно было подумать и подумать, чтобы так устроить дело, чтобы ни один не приехал раньше другого, чтобы наш император не дожидался императора Наполеона и наоборот.

И надо отдать справедливость, все было устроено превосходно, превосходно, — повто-

рил он. — Положительно, это было из самых величественных зрелищ мира. Только что мы услышали на том берегу по наполеоновской гвардии крики «Vive l'Empereur!»...

— Как их крик гораздо лучше нашего глупого «ура», — сказал один из офицеров.

— Да и вообще какое необыкновенное устройство их гвардии! Нынче обещались к нам обедать два офицера французской императорской гвардии. Однако продолжайте, Друбецкой.

— Ну-с, только что мы слышали на другой стороне крики и увидели скачущего на белой лошади императора Наполеона, как наш флигель-адъютант стремглав бросился к корчме: «Едет, ваше величество!» Государь вышел, очень спокойно надел шляпу и перчатки и подошел к лодке. Отчалили они почти в одно и то же время. Но император Наполеон подплыл к плоту раньше. Он ехал стоя, с сложенными на груди руками. Надо признаться, он очень величественен, несмотря на свой малый рост. Но вид нашего государя поразил всех. Это необыкновенно, — с умилением проговорил Борис, — и вообще эта ми-

нута была столь величественна и трогательна, что кто видел все это, никогда не забудет. Император Наполеон взошел раньше на плот, поспешно перешел на его другую сторону и, когда наш государь только выходил из лодки, подал ему руку. — На этом месте Борис остановился с тонкой улыбкой, как бы желая дать время слушателям оценить всю глубину значения этого обстоятельства.

— Но правда ли это, — спросил один из слушателей, — что, в то время как императоры взошли в павильон, французская лодка с вооруженными солдатами выехала от них и стала между нашим берегом и плотом?

Борис поморщился, как бы давая чувствовать, что об этом обстоятельстве, действительно бывшем и виденном им, не следовало упоминать.

Он своим чутьем понял, что это было что-то нехорошо. Хотел ли Наполеон в самом деле в случае неблагоприятного окончания переговоров поугубить императора Александра, что он находится в его власти, или просто это была часть церемониала, хотя с нашей стороны и не было лодки, выехавшей на ту сторону

плота, во всяком случае упоминать об этом не следовало, и, хотя он очень хорошо видел лодку и даже задумался над ней, он сказал:

— Нет, не заметил, — и продолжал свой рассказ. — Были они в павильоне, — сказал он, — ровно час и пятьдесят две минуты. Я смотрел на часы. Потом мы видели с берега, как они позвали господ своей свиты и представляли их друг другу. Потом государь изволил тем же путем вернуться, сел в коляску и с прусским королем поехал назад в Амт Баублен. Тут-то, господа, видишь, — продолжал Борис, — все истинное величие, когда мы невольно сравнивали нашего государя с прусским королем, — только сказал Борис.

Но другие офицеры подхватили:

— Говорят, король прусский решительно не мог преодолеть себя во время свидания; он был как сумасшедший: ездил по берегу без всякой цели, то направо, то налево, все как будто прислушивался к тому, что там говорится, и под конец совсем, как помешанный, поехал прямо в воду, утопиться, верно, хотел. Он по брюхо лошади, говорят, въехал в воду и остановился. Ты видел, Друбецкой?

— Нет, не заметил.

— Но, однако, его положение ужасно, — сказал еще другой офицер, — говорят, его жена, королева Амалия, приехала.

— Как хороша! Я ее видел вчера, — сказал Берг. — Она обедала у императора Наполеона.

— Ежели бы я был Наполеоном, я бы ни в чем не отказал ей.

— Да, ежели бы и она ни в чем не отказала ему, — сказал другой офицер.

— Ну, это само собою разумеется.

Офицеры, исключая Бориса, засмеялись.

— Да это и я бы на месте прусского короля с горя бы в реку заехал. Плохо его дело.

Борис, слегка нахмурившись, своим выражением показал, что он считает неприличным даже между товарищами такой разговор о союзнике и коронованной особе, и поспешил переменить разговор.

— Да, господа, — сказал он, — величие души не дается с короною. Для государя Александра удар, нанесенный фридландским несчастьем, я думаю, был не легче, чем удар, нанесенный прусскому королю, но надо было видеть, с каким мужеством, с какою твердо-

стью он перенес это.

И Борис рассказал своим внимательным слушателям впечатление, произведенное в Юнсбурге известием о Фридланде, и в его рассказе видно было, что весь интерес этого события сосредоточивался в одном впечатлении, произведенном сражением на императора Александра, императора, принесшего столько жертв, перенесшего столько трудов, рассчитывающего на то, что армия его находится в блестящем положении, ожидающего известия о победах, пожертвовавшего своей личной славой, устранившегося от командования только для успеха дела, и вдруг, вместо известия о победе, получающего известие о совершенном поражении, в котором виноваты и главнокомандующие, и генералы, и офицеры, и солдаты, и которое, лишая государя всех плодов его деятельности, изменяет все его планы и до глубины души огорчает его. Что же сделал государь? Он своей ангельской кротостью и величием души не велел казнить всех преступников. Он только огорчился и, обдумав свое положение, принял новые меры.

Борис с таким истинным убеждением говорил все это, что вполне заставил своих слушателей разделить свое убеждение. В это время приехал Николай Ростов к Борису. Появление армейского гусара в штатском платье, очевидно, тайно приехавшего в Тильзит, его дружеское приветствие Бориса неприятно подействовали на офицеров. Но Борис радушно приветствовал старого товарища. Он воздерживался от излишних чувств, но спрашивал, не хочет ли он чаю, обедать или спать. Офицеры разошлись.

### XXXIV

После фридландского несчастья Николай Ростов оставался старшим офицером в эскадроне, эскадроне только по имени, так как конных солдат у него было всего шестьдесят человек. Они стояли недалеко от Немана, весть о мире уже дошла до них. Провианту стало достаточно, и офицеры уже поговаривали об отступлении в Россию.

Первое время Ростов был увлечен своим новым званием и хозяйственными делами по эскадрону. Он вел их с таким старанием, что

получал одобрение от бывшего своего врага, теперешнего своего начальника, полкового командира. Ему весело было принимать кассу эскадрона, здороваться с людьми, отдавать приказания вахмистру и говорить «в моем эскадроне».

Ему весело было тоже думать, что война кончилась, что не предстоит более опасностей, скоро удастся, вернувшись в Россию, увидеть своих. О том, как бесславно кончилась эта кампания, он, как и все фронтовые офицеры, весьма мало думал.

Немецкая пословица говорит: от деревьев лесу не видно. Так и военные люди, участвующие в войне, никогда не видят и не понимают значения самой войны. Кончилась кампания, провиант есть, в Россию идешь или отступил в Польшу к панночкам стоять, говорят — перемирие. Ну и слава Богу. А как кончилась и какой результат этой войны — это рассудят те, которые не участвовали в ней. Только тогда живо чувствуется для военного человека общий результат войны, когда он встречается после мира с прежними врагами и видит их торжество и радость.



Это-то случилось с Николаем Ростовым 7 июня, когда он ездил в главную квартиру Бенигсена за приказаниями и в этот самый день встретил там французского капитана Перигора, приехавшего от Наполеона для начала Тильзитских переговоров. В главной квартире Бенигсена Ростов остановился у бывшего своего товарища Жеркова, бывшего чем-то теперь при штабе главнокомандующего. Они зашли с ним вместе к маркизанту, когда на улице произошло движение. Все бежали смотреть что-то, и Ростов с Жерковым, следуя общему движению, увидели ехавшего по улице, сопровождаемого трубачом, красивого офицера французской гвардии в медвежьей шапке. Это был парламентар Перигор. Вид этого офицера был настолько презрительный и высокомерный, что Ростов вдруг почувствовал стыд побежденного и, поспешно отвернувшись, ушел назад.

Перигор, попавший к главнокомандующему во время обеда, был приглашен к столу. Не говоря уже об разнородных толках о том, как надменно вел себя этот Перигор, как и что оскорбительного для русских он говорил за

обедом, очевидцы рассказывали, как он вошел, сел за стол и все время у главнокомандующего провел, не снимая медвежьей шапки. Ростов, принужденный дожидаться бумаг до вечера, слышал эти толки и молчал. Он не мог говорить, так сильно кипели в нем негодование, стыд и злоба. Невольно спрашивал он сам себя, имели ли право эти французы так презирать русских, не был ли он и его товарищи и его солдаты виноваты в том презрении, которое оказывал этот француз. Но нет, сколько ни вспоминал он Кирстена, Денисова, своих гусар, нет, это была наглость француза и подлость тех русских, которые переносили это.

Он стоял вместе с Жерковым и другими офицерами на крыльце одного из домов, занимаемого штабными. Жерков шутил, как и всегда.

— То-то вспотел под шапкою, я думаю, — сказал он и обратился к Ростову. — Все люди как люди, один черт в колпаке! Не правда ли, а, Ростов? — Это обращение вывело Ростова из его состояния скрытой злобы, он разгорячился.

— Я не понимаю, господа, — заговорил он, возвышая голос все более и более, — как вы можете шутить и смеяться над такими вещами? У меня вся внутренность переворачивается: какая-нибудь дрянь, французский сапожник (Ростов ошибался: Перигор был член старой французской аристократии) смеет в шапке сидеть против нашего главнокомандующего, что же мы после этого? Чего же после этого не позволит себе какой-нибудь французишка со мною, с русским офицером? Только я, гусарский поручик, ему бы фухтелями сбил шапку с головы, потому что я не курляндский немец, мне честь русского дорога.

— Ну, ну! — испуганно, стараясь обратить в шутку, заговорили офицеры, оглядываясь. Невдалеке стояла группа генералов, но Ростов, возбужденный этим страхом, еще более разгорячился.

— Разве мы пруссаки какие-нибудь, — говорил он, — чтобы они имели право так обходиться с нами. Кажется, Пултуск и Прейсиш-Эйлау показали им, а что у нас главнокомандующие бог знает кто...

— Полно, полно, — заговорили офицеры.

— Бог знает кто, немцы, колбасники, сумасшедшие да порченые.

Большинство офицеров отошли от Ростова, но в то же время один из генералов, стоявший невдалеке, высокий, плотный, седой человек, отделился от своей группы и подошел к молодому гусару.

— Как ваша фамилия? — спросил он.

— Граф Ростов, Павлоградского гусарского полка, к вашим услугам, — проговорил Николай, — и готов повторить, что сейчас сказал, хоть перед самым государем императором, тем более пред вашим превосходительством, которого не имею чести знать.

Нахмуренный генерал, строго продолжая смотреть на Ростова, взял его за руку.

— Совершенно разделяю ваше мнение, молодой человек, — сказал он, — совершенно, и очень рад с вами познакомиться, очень.

В это время мохнатая шапка, возбуждая такое злобное чувство в душе Ростова, показалась на подъезде к главнокомандующему. Он уезжал. Ростов отвернулся, чтобы не видеть его. Несмотря на удовольствие командовать эскадрой и скоро вернуться в Россию, чув-

ство стыда побежденного, возбужденное этим случаем, не оставляющее его чувство раскаяния в своем московском проигрыше и сильнее всего печаль о потере Денисова, которого он так сильно полюбил в последнее время и который, по слухам, между жизнью и смертью лежал в госпитале, делали его жизнь за это время тильзитских торжеств весьма грустною. В половине июня, как ни трудно это ему было, он отпросился у полкового командира поехать за сорок верст к Денисову в госпиталь.

Маленькое прусское местечко, в котором был госпиталь, два раза разоренное русскими и французскими войсками, именно потому, что это было летом, когда в поле было так хорошо, с своими разломанными крышами и заборами и загаженными улицами, оборванными жителями и пьяными или больными солдатами, представляло мрачное зрелище. В одном каменном доме, на дворе с остатками разобранного забора, выбитыми частью рамами и стеклами, помещался госпиталь. Несколько перевязанных бледных солдат ходили и сидели на дворе на солнышке. В то

время как Николай входил в двери, его обхватил запах гниющего тела и больницы. По коридору проносили в это время за руки и за ноги труп или живого человека, он не рассмотрел. Навстречу ему вышел военный русский доктор, с сигарою во рту и сопровождаемый фельдшером, который что-то докладывал ему.

— Не могу ж я разорваться, — говорил доктор, — приходи вечером к бургомистру, я там буду. — Фельдшер что-то спросил у него. — Э! Делай, как знаешь, разве не все равно? — И он пошел дальше и тут с удивлением заметил Ростова. — Вы зачем, ваше благородие? — сказал он с докторской, особенной, шуточной манерой и, видимо, нисколько не смущаясь тем, что Ростов слышал его слова, сказанные фельдшеру. — Вы зачем, али пуля вас не брала, так вы тифу набратся хотите? Тут, батюшка, дом прокаженных, кто ни взойдет — смерть. Только мы двое с Макеевым (он указал на фельдшера) еще тут трепемся. Тут уж нашего брата докторов человек пять перемерло: как поступит — через недельку готов. Прусских докторов вызывали, так не любят союзники-то наши, — и словоохотливый док-

тор засмеялся таким смехом, который показывал, что ему не только теперь, но и никогда не хотелось смеяться.

Ростов объяснил ему, что он желал видеть здесь лежащего гусарского майора.

— Тут, батюшка, раненых нету, у нас, хоть и раненый, сейчас тифозным делается, да и не знаешь всех. Ведь вы подумайте, у меня на одного три госпиталя, четыреста больных с лишним. Еще хорошо, прусские дамы нам кофе и корпию присылают по два фунта, а то бы пропали. Я отчисляю в умершие, за этим дело у нас не стоит, тиф помогает, а мне все новеньких присылают. Ведь четыреста есть, а? — обратился он к фельдшеру.

— Так точно, — отвечал фельдшер. Фельдшеру, видимо, давно уже хотелось обедать, и он с досадой дожидался, скоро ли уйдет заболтавшийся доктор, столь обрадовавшийся появлению нового лица.

— Майор Денисов, — повторил Ростов, — он под Молитеном ранен был.

— Кажется, умер? — равнодушно спросил доктор у фельдшера.

Фельдшер не знал.

— Что он — такой длинный, рыжеватый? — спросил доктор.

Ростов описал наружность Денисова.

— Да, да, — как бы радостно проговорил доктор, — этот, должно быть, умер, а впрочем, я справлюсь, у меня списки были. Есть у тебя, Макеев?

Как ни уговаривал доктор Ростова не ходить по палатам, как он все-таки называл разваленные сараи, в которых на полу лежали больные, как ни угрожал ему, что непременно заразится тифом, Ростов, простившись с доктором, пошел с фельдшером наверх и обошел всех больных. Увидав положение, в котором были больные (большей частью солдаты), Ростов тотчас убедился, что Денисова тут не может быть. Но он все-таки обошел всех. Какое-то чувство говорило ему: а, тебе гадко, страшно это видеть, нет, посмотри, ты должен, должен это видеть. И Ростов обошел все палаты. Он никогда не видал подобного ужаса, какой он увидал в этом доме.

Бельэтаж только был занят. Дом был построен как и все барские дома: передняя, зала, проходные гостиные, диванная, спальня, де-



вичья и опять передняя. Мебели никакой не было. С первой комнаты всего этого круга и до последней, в два ряда головами к стене, и оставляя проход посредине, лежали солдаты, где на прорванных тюфяках, где на соломе, где на голом полу, на своих шинелях. Запах, нечистоты были ужасные, мухи облепляли так больных, что они уже не отмахивались. Одни умирали, только хрипением показывая признаки жизни, другие металась в жару, толкая друг друга, третьи слабыми горячими глазами смотрели на проходящего мимо их здорового, свежего и чистого человека. Человек пять здоровых солдат были тут для прислуги и ковшами разносили воду, которую тут больше всего требовали больные. Денисова не было между ними, и по спискам от фельдшера Макеева значилось, что Денисов был записан в эту госпиталь, но переехал в бывший помещичий дом и лечился там, у прусского доктора.

После многих трудов Николай наконец нашел его. Денисов поправлялся от раны, но он нравственно страдал больше от последствий завязавшейся переписки и дела по случаю от-

битого им транспорта и нанесения побоев провиантскому чиновнику Телянину. Едва увидав Ростова и не принимая ни малейшего участия в его рассказах о Перигоре, о Тильзите, о ужасах в госпитале, он был занят только одним — своей перепиской и ответами на запросы провиантского ведомства, в которых он честил всех провиантских ворами и, сам любуясь своим произведением и красноречием, стал с восторгом, смеясь и стуча кулаком по столу, перечислять подпускаемые им шпильки провиантскому ведомству, включая последнюю, весьма тонкую, ироническую и убийственную, по его мнению, бумагу, кончавшуюся словами: «Ежели бы господа комиссариатские так же хорошо действовали для заготовок по нуждам армии, как они для себя действуют, то армия не знала бы, что такое есть голод». Эту бумагу он передал Ростову, прося его непременно самому свезти в Тильзит и отдать в собственную канцелярию его величества.

С желанием исполнить это поручение и приехал 27-го числа Николай на квартиру Бориса.

— Ну, я очень рад, что ты приехал в это время. Ты увидишь много интересного. Ты знаешь, нынче император Наполеон обедал у государя.

— Бонапарт?

— Ах ты, деревенщина, император Наполеон, а не Бонапарт, — с улыбкой сказал Борис. — Разве ты не знаешь, что мир, что было свидание?

— Ничего не знаю. А ты видел?

— Как же, я тут был.

Ростову было неловко с своим прежним другом. Он пообедал и лег спать. На другое утро оба приятеля пошли на смотр.

Ростов попал в Тильзит в день, менее всего удобный для беседы с другом Борисом и для подачи бумаги Денисова. Самому ему нельзя было, так как он был во фраке и без разрешения начальства приехал в Тильзит, но и Борис, которого он просил об этом, не мог сделать этого в тот день, 27 июня. С утра разнеслось известие, что мир заключен, что императоры поменялись орденами, Андреевским и Почетного легиона, и что будет обед Преображенскому батальону; его угощает батальон

французской гвардии. Борис выехал с раннего утра к своему батальону.

Ростов пошел бродить по городу. В одиннадцатом часу он вышел на площадь, разделявшую две улицы, в которой жили императоры. На площади стояли преображенцы и французская гвардия. Из соседней улицы выбежал махальный. Батальон стал строиться, и Ростов увидал скачущую ему навстречу столь знакомую, страстно любимую фигуру императора Александра, счастливую, веселую. Император Александр был в звезде Почетного легиона, он смотрел вперед и улыбался. В первую минуту заблуждения Николаю показалось, что это ему он улыбается, и он испытал минуту счастья, но Александр смотрел дальше. Ростов оглянулся по направлению его взгляда и увидал также скачущего человека в шляпе без пера, в мундире полковничьем и Андреевской ленте. Он догадался, что это был Наполеон. Это не мог быть никто другой, — впереди свиты, маленький, горбоносый, подъезжавший к Александру, взявшись рукой за шляпу; он не верил, что это был Наполеон Бонапарт, Аустерлицкий победитель. Так близко он его

видел, так человек он был, так плохо даже он ездил и сидел на лошади (что бросилось в глаза кавалеристу)! Где же величие? Человек, как мы все грешные... Но в этих рассуждениях Ростова чуть не сбили с ног жандармы, отгонявшие толпу. Он едва успел пробиться к Преображенскому батальону, где стояла толпа, и, ежели бы Борис не покровительствовал ему, его бы отогнали. Борис вывел его из толпы и поставил подле первой шеренги еще с двумя штатскими господами, стоявшими тут. Один был дипломат, другой англичанин.

Все время, как его толкали и устанавливали, он все смотрел на своего героя и следил с удивлением и волнением за их отношениями с Бонапартом. Для Николая это был все Бонапарт, еще больше Бонапарт после Перигора.

Ростов видел, как, поговорив, пожав с улыбкой друг другу руки (его оскорбляло, что Наполеон, — ему все казалось, что Наполеон и всякий француз — учитель или актер, — жмет руку нашего государя). Улыбка Наполеона была неприятно притворна, Александра — ласкова и светла. Они поехали к Преображенскому батальону, прямо на них, на штатских.

Те отступили, но очутились неожиданно так близко, что невольно смутились, особенно Ростов, дрожавший, что его узнают и отдадут под суд. Глаза его опять встретились с глазами государя, и Николай поспешно отвернулся: ему показалось, что он недостойн светлого блеска глаз государя. (Ему показалось это, может быть, оттого, что сам он был раздражен всем, и своим неловким положением, и молодостью.) Он отвернулся, и глаза его невольно упали и остановились на ближней к нему фигуре флангового солдата-преображенца. Это был рослый мужчина, рыжеватый, с красным глупым лицом и оловянными глазами. Не только все его тело, но черты лица, глаза, мысли души даже, видимо, делали в эту минуту стойку, т. е. погружены были в усилие, как стоять вытянувшись и глядеть в глаза государю.

В трех шагах от себя он услышал голос, резкий, точный и приятный, говоривший по-французски:

— Государь, я прошу вашего позволения дать орден Почетного легиона храбрейшему из ваших солдат.

Ростов оглянулся, — это говорил Бонапарт. Александр, наклонив голову, чуть улыбнулся.

— Тому, кто храбрее всех вел себя в эту войну, — прибавил Наполеон, оглядывая ряды.

— Позвольте мне, ваше величество, спросить мнение полковника, — сказал Александр и, тронув лошадь, выдвинулся вперед к полковнику Козловскому.

Бонапарт между тем слез с лошади и бросил поводья. Торопливо бросился вперед адъютант, учитель-француз. «Тоже важничает», — озлобленно подумал Николай.

— Кому дать? — негромко по-русски спросил император Александр у Козловского.

— Кому прикажете, ваше величество.

Государь невольно поморщился и, оглянувшись, сказал:

— Да ведь надобно же отвечать ему.

Козловский с решительным видом оглянулся на ряды и в этом взгляде захватил и Ростова.

«Уж не меня ли?» — подумал Ростов.

— Лазарев! — сказал полковник ровным, твердым голосом, вызывая первого по ранжи-

ру солдата, того самого, на глупое лицо которого смотрел Ростов.

Лазарев бойко вышел, красиво, но лицо его дрогнуло, как это бывает с солдатами, вызываемыми перед фронтом для наказания.

Бонапарт снял перчатку и показал маленькую пухлую руку (парикмахер, думал Ростов), и только чуть поворотил голову назад, как лица его свиты, догадавшись в ту же секунду, в чем дело, засуетились и, передавая один другому орден с ленточкой, выскочили вперед и подали ему, не заставив дожидаться ни одной секунды его назад протянутую маленькую ручку. Он, видно, знал, что это не может быть иначе. Он протянул руку и, не глядя, сжал два пальца: в них был орден. Он подошел к Лазареву и, глядя вверх на это неподвижное лицо, — не нахмурившись, не просветляясь, лицо его не могло измениться, — оглянулся на императора Александра, показывая этим, что это ему, и рука с орденом дотронулась до пуговицы солдата Лазарева, вероятно, желая и предполагая, что орден сам собою прилипнет к пуговице солдата Лазарева. Он знал, что дело только в том, что его, На-



полеонова рука удостоила дотронуться до груди русского солдата, и солдат этот теперь есть уже святыня. Крест действительно прилип, потому что и русские, и французские услужливые руки, мешая одна другой, бросились прицеплять его. Лазарев, между тем как около него увивались все силы мира, неподвижно держал на караул, прямо глядя в глаза Александру и изредка вниз, косясь на Бонапарта и оглядываясь на Александра, как будто он спрашивал Александра, — все ли еще ему стоять, или не прикажут ли ему еще что-нибудь сделать, или убить этого Бонапарта, или не надо, или так оставаться. Но ему ничего не приказали, и он так и оставался.

Государи сели верхами и уехали. Преображенцы приступили к столу и сели кругом — русские и французы — за столы, за серебряные приборы, и стали обедать.

Лазарев сидел на почетном месте. Не только люди, но офицеры имели такие счастливые лица, как будто они все только что женились. Солдаты переменялись киверами, шапками, мундирами, трепали по плечам и животу друг друга. «Бонжур» все больше слыша-

лось. Офицеры, русские и французские, похаживали кругом, иногда служили переводчиками солдатам и тоже обнимались и объяснялись в любви и воздавали похвалы храбрости друг друга. Ростов ходил по улицам, издалека глядя на эту сцену, и ушел к Борису дожидаться его.

Борис с Бергом, тоже счастливые и румяные, вернулись вечером.

— Вот счастливец-то Лазарев — тысяча двести рублей пенсия пожизненно, — говорил Берг, входя.

— Да, — отвечал Борис. — Что ж ты не пришел к нам? — обратился он к Ростову. — Превосходно все было. Слышали, что наш государь послал Георгия тоже самому храброму из французских гвардейцев, — сказал он.

— Ну, ты счастливо попал, видел все это торжество.

— По-моему, это не торжество, а кукольная комедия, — мрачно сказал Ростов.

— Как ты любишь противоречить.

— Чистая кукольная комедия, больше ничего... — опять начал Ростов, но Борис не дал договорить ему.

— Однако мне надо идти к Сосюру, он звал.

— Ну и иди.

Борис ушел, а Ростов, не простившись, уехал к себе, оставив следующую записку к Борису: «Я уехал оттого, что мне больше делать нечего; а с тобой не видался потому, что я думаю, мы столь различны стали во взглядах, что нам гораздо проще разойтись, а не притворяться. Иди по своей дороге, и желаю тебе успеха. Бумагу Денисова прошу передать».

# ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

## I

Никто уже не поминал о Буонапарте — корсиканском выходце и антихристе: не Буонапарте был, а был великий человек Наполеон. Два года мы были в союзе с этим гением и великим человеком — императором Наполеоном. Два года его посланник Коленкур был чествуем в Петербурге и Москве, как ни один из посланников.

В 1809 году император Александр ездил в Эрфурт для нового свидания с своим новым другом, и только и было речи в высшем обществе, в обществе Анны Павловны, что о величии этого торжественного свидания двух властелинов мира и о гениальности императора Наполеона, бывшего корсиканца Буонапарте, антихриста, которого год тому назад по высочайшему манифесту, как врага рода человеческого, по всем русским церквам предавали анафеме. В 1809 году дружба двух властелинов мира, как называли Наполеона и Алек-

сандра, дошла даже до того, что поговаривали о браке Наполеона с одной из сестер императора Александра, и когда Наполеон объявил войну Австрии, то русский корпус выступил за границу для содействия своему прежнему врагу Буонапарту и для воевания с прежним союзником, австрийским императором.

Но в обществе чувствовалось, что мы не примем серьезного участия в этой войне, и общество не было занято ею. Главное внимание русского общества занимали внутренние преобразования, которые были производимы в это время императором во всех частях государственного управления. Был тот молодой период царствования, следующий после продолжительного царствования Екатерины, в который все бывшее, прежнее кажется устарелым, негодным, в который, кроме побуждения изменить надоевшее, дать разгуляться молодым силам, кроме той причины, что недостатки старого порядка видны и выгоды его незаметны, представляются еще бесчисленные причины, почему нужно уничтожить старое и ввести новое. Все переделывалось, как новый жилец непременно переделывает

квартиру, в которой долго до него жил его предшественник. Был тот молодой период царствования, который всякий народ переживает раз пять в столетие, — период революционный, отличающийся только тем от того, что мы называем революцией, что власть при этих революциях находится в руках прежнего правительства, а не нового. В этих революциях, как и во всех других, говорится о духе нового времени, о потребностях этого времени, о правах человека, о справедливости вообще, о необходимости разумности в устройстве государства, а под предлогом этих идей и выступают на поприще самые неразумные страсти человека. Пройдет время и охота, и прежние нововводители точно так же упорно держатся за свое бывшее новое, а теперь старое, и отстаивают свое убранство квартиры против подросшей молодежи, которой опять хочется и нужно удовлетворить свою потребность попробовать свои силы. И точно так же обе стороны говорят друг другу аргументы, которые они считают истиной: одни о новом духе времени, правах человека и т. п., а другие — о освященном времени

праве, о выгодах известного, привычного и т. п., и обе стороны только стремятся удовлетворить потребностям возрастов человека.

Как и всегда, нововводители в 1809 году имели пример, к подражанию которому они стремились. И пример этот была отчасти Англия, отчасти наполеоновская Франция.

Давно уже вышел указ о уничтожении коллегий и учреждений Государственного совета и министерств, вышел указ о экзаменах для получения чинов и указ о уничтожении преимуществ придворных чинов, и готовились другие, еще важнейшие, еще разумнейшие преобразования, которые пугали стариков, которые знали, что им не дожить до плодов этих семян, и радовали молодежь, потому что молодежь любит новое. Как и всегда, и те и другие, полагая, что они приводят аргументы, и думая, что действуют вследствие мысли, на основаниях разума, — и те и другие удовлетворяли только своей инстинктивной потребности. И так же как и всегда, и те и другие, вследствие спора, забывали даже и свои мнимые доводы и действовали только вследствие одной страсти.

— А, так вы говорите, что дворянство было опорой трона, так вот, не угодно ли пятидесятилетним надворным советникам держать экзамен? — говорил Сперанский.

— А, вы говорите, что новый дух времени лучше, так я вам докажу, что при Иоанне Грозном русские были счастливее, чем теперь, — говорили Карамзин и противники.

И те и другие думали, что судьба человечества и наверное России и всех русских зависит от решения их спора и о введении или невведении в действие указа о министерствах или экзаменах. И в этом-то, как и всегда, они более всего заблуждались. Никому, кроме тех, которые в споре о том находили счастье жизни, не было никакого дела ни до министерств, ни до экзаменов, ни до освобождения крестьян, ни до введения судов и т. п. Жизнь с своими существенными интересами здоровья, болезни, богатства, бедности, любви брата, сестры, сына, отца, жены, любовницы, с своими интересами труда, отдыха, охоты, страсти, мысли, науки, музыки, поэзии, шла вне указов о министерствах и о коллегиях, как и всегда идет вне всех возможных пра-



вительственных распоряжений.

## II

Князь Андрей, за исключением короткой поездки в Петербург, где он был принят в масоны, еще два года после Тильзита безвыездно прожил в деревне. Все те предприятия по имениям, которые затеял было у себя Пьер и бросил, не в силах будучи преодолеть молчаливое противодействие управляющих и свою нерешительность и неаккуратность, все эти предприятия без заметного труда были исполнены князем Андреем. Он имел в высшей степени ту недостававшую Пьеру практическую цепкость, которая без размахов и усилий, при весьма малом движении с его стороны, заставляла покорно и правильно двигаться прикасающиеся ему колеса. Одно имение его в 1000 душ крестьян было отпущено на волю, в других была барщина заменена оброком. В Богучарове были оспопрививатель и ученая акушерка. Это было главное для князя Андрея. Он много читал, много учился, много переписывался с братьями масонами. Он следил за преобразованиями Сперанского

и начинал все более и более тяготиться своей тихой, ровной и плодотворной деятельностью, которая казалась ему бездействием в сравнении с борьбой и ломкой всего старого, которая, по его понятиям, должна была происходить теперь в Петербурге, центре правительственной власти.

Два года каждую весну он наблюдал корявый дуб в березовой роще, всякую весну распускавшийся и подавлявший своей красотой и счастьем березовые деревья, над весенним счастьем которых он прежде так мрачно смеялся. Мысли неясные, неопределенные, невыразимые словом даже для самого себя и тайные, как преступление (князь Андрей один на один краснел, как дитя, когда он только думал о том, что кто-нибудь может узнать эти мысли), эти-то неясные мысли о дубе составляли сущность вопроса, вырабатывающегося в душе князя Андрея, и весь интерес его жизни. Все его практические и умственные работы были только наполнение пустого от жизни времени, а вопрос о дубе и связанных с ним мыслей были — жизнь.

«Да, крепился, — улыбаясь, думал князь

Андрей про дуб, — долго крепился, не выдержал, как пригрело, — пригрело тепло любви, не выдержал, размяк и послужил, чему смеялся, и сам дрожит и млеет в темной сочной зелени. Да, да», — говорил он, улыбаясь и слыша, как бы он тут пел, грудной шаловливый и страстный голос Наташи и видя ее свет перед своими глазами. Он вставал, подходил к зеркалу и долго смотрел на свое красивое, сухое, задумчивое, умное лицо. Потом он отворачивался и смотрел на портрет покойницы Лизы, которая с на греческий манер взбитыми буклями нежно и весело смотрела на него из золотой рамки. Она смотрела весело, а все-таки она говорила: «Что я вам сделала? Я всех так любила!»

И князь Андрей, заложив назад руки, долго ходил по комнате, то хмурясь, то улыбаясь, передумывал мысли о дубе в связи с Сперанским, с славой, с масонством, с будущей жизнью. И в эти-то минуты, ежели кто входил к нему, он бывал особенно сух, строг, решителен и в особенности неприятно логичен.

— Мой дорогой, — бывало, скажет, входя в такую минуту, княжна Марья, — Коко нель-

зя нынче гулять — очень холодно.

Князь Андрей сухо в эти минуты смотрел на сестру и говорил:

— Ежели бы было тепло, то он бы пошел в одной блузе, а так как холодно, надо надеть на него теплую одежду, которая для этого и выдумана, вот все, что следует из того, что холодно, а не следует, чтобы оставаться дома, когда ребенку нужен воздух, — говорил с особенной логичностью, как бы наказывая кого-то за всю эту тайную нелогичную внутреннюю работу о дубе. Княжна Марья думала в этих случаях, что князь Андрей занят умственной работой, и как сушит мужчин эта умственная работа.

Зимой 1809 года Ростовы, у которых после своего посещения в 1807 году князь Андрей изредка бывал, уехали в Петербург, — дела старого графа так расстроились, что он поехал искать места на службе. Весной того же года князь Андрей стал кашлять. Княжна Марья уговорила его показаться доктору, и доктор значительно покачал головой и посоветовал молодому князю быть осторожней и не запускать этой болезни. Князь Андрей посме-

ялся сестре о ее заботливости о медицине и уехал в Богучарово. Неделю он пробыл один и продолжал кашлять. Через неделю он поехал к отцу с твердым убеждением, что ему остается недолго жить, и тут, проезжая мимо распутившегося дуба, он окончательно и несомненно решил тот тайный вопрос, который давно занимал его. Да, он не был прав.

И счастье, и любовь, и надежда — все это есть, все это должно быть, и мне надо употребить на это остаток моей жизни. Может быть, оттого так ясно решил этот вопрос князь Андрей, что он был уверен в близости своей смерти, как это часто бывает с людьми около тридцати лет. Князь Андрей, чувствуя, что кончается его юность, подумал, что кончается его жизнь, и твердо верил в близость смерти. Само собой разумеется, князь Андрей никому не сказал о своем предчувствии смерти, служившем продолжением его тайных мыслей, но он стал еще озабоченнее, деятельнее, добрее, нежнее со всеми и вскоре уехал в Петербург.

Приехав в Петербург в 1809 году, князь Андрей велел себя везти прямо в дом Безухова, полагая, что, ежели, как и надо предполагать, Пьер не занимает один этот известный всему Петербургу огромный дом на Мойке, то по крайней мере там он узнает, где живет Пьер. Въехав в ворота, он заметил, что дом обитаем, спросил — дома ли, — уверенный, что вопрос этот мог относиться только к Пьеру, так как графиня, Андрей знал, жила отдельно и последнее время со всем двором в Эрфурте.

— Графиня выехали, — отвечал дворник.

— Так, стало быть, граф Петр Григорьевич не живет тут? — спросил князь Андрей.

— Они дома, пожалуйста.

Князь Андрей был так удивлен этим известием, что он едва удержался от выражения недоумения перед дворником и вслед за слугой пошел в комнаты Пьера. Дом был большой, половина была наверху в низеньких комнатках. Пьер в выпущенной рубашке, с голыми толстыми ногами в туфлях сидел за сто-

лом и писал. Низкая комната была завалена книгами и бумагами и накурена так, что днем было темно.

Пьер, видимо, так был увлечен своим делом, что он долго не слышал шума входивших. На голос князя Андрея он оглянулся и прямо глядел в лицо Болконского, но все еще, видимо, не узнавал его. Лицо Пьера было нездорово, опухше и желто-бледно, и в глазах и губах было выражение досадливо-озабоченное. «И опять несчастлив, — подумал князь Андрей, — и не могло быть иначе, как скоро он опять сошелся с этой женщиной».

— Ах, это вы! — воскликнул Пьер. — Славу богу, наконец. — Но в тоне Пьера не было заметно той прежней детски-восторженной радости. Он обнял князя Андрея и тотчас же повернулся к своим тетрадам, стал складывать их. — Ах, я и не умывался, я так занялся... Разумеется, у меня остановитесь, больше нигде... Славу богу, — говорил Пьер. И в то время как он это говорил, князь Андрей еще очевиднее, чем прежде, заметил на одутловатом лице его новые морщины и в особенности общее выражение мелкой озабоченности,

скрывающей обыкновенно неясность существенных условий жизни.

— Так ты не получил моего последнего письма, — спросил князь Андрей, — где я тебе пишу про свою болезнь и поездку...

— Нет... ах да, получил. Что с вами, неужели вы точно больны? Нет, вы хорошо выглядите.

— Нет, плохи мы с тобой, дружок. Стары становимся, — сказал князь Андрей.

— Стары? — подхватил испуганно Пьер. — О нет. — Он смущенно засмеялся. — Напротив, я никогда так вполне не жил, как теперь, — сказал он. Но тон его подтверждал как будто слова князя Андрея. Пьер повернулся опять к своему столу как будто по привычке отыскивать на этом столе в своих бумагах спасение от жизни.

— Вы знаете, за чем застали меня? Я пишу проект преобразования судов...

Пьер не договорил, заметив, что князь Андрей, усталый с дороги, снимал дорожное платье и отдавал приказание слуге.

— Впрочем, что ж я вам говорю, еще успеет. Ах, как я рад вам! Ну, что княжна Марья



Николаевна, ваш отец? Вы знаете, что это пребывание в Лысых Горах осталось мне лучшим воспоминанием.

Князь Андрей молча улыбнулся.

— Нет, не думайте, — отвечал Пьер на эту улыбку так же определенно, как будто князь Андрей словами выразил ту мысль, которую означала эта улыбка. — Нет, не думайте, чтобы у нас преобладала формальность и внешность. Нет, у нас есть замечательные люди. Теперь Великий мастер здесь. Он замечательный человек. Я говорил ему о вас... Ну, как я счастлив, как я рад, — говорил Пьер, начиная понемногу входить в прежнее естественное и искреннее оживление. В это время с легким скрипом сапог в комнату вошел щегольской, блестящий новизной ливреи, румяный лакей и почтительно и достойно поклонился.

Пьер поднял кверху голову, прищурился, сморщился и прежде даже, чем лакей начал говорить, стал, подтверждая каждое будущее слово лакея, слегка одобрительно кивать головой.

— Ее сиятельство графиня Алена Васильевна приказали доложить вашему сиятельству

ству, — отчетливо и приятно выговаривал лакей, — что, как они изволили узнать о прибытии князя Андрея Николаевича, то не прикажете ли отвести для них внизу княжескую половину.

— Да, хорошо, хорошо, да, да, да, да, — скороговоркой повторял Пьер. Несмотря на все свое участие в судьбе друга, князь Андрей не мог не улыбнуться.

Князь Андрей чувствовал, что спрашивать о том, как опять Пьер сошелся с женой, было бы неприятно для Безухова, но и обойти молчанием эту новость было бы также неприятно.

— Давно возвратилась графиня? — спросил он по уходе лакея. Пьер слабо улыбнулся и этой улыбкой сказал князю Андрею все, что хотел узнать Болконский. Он сказал этой улыбкой то, что, во-первых, его заговорили, запутали, обошли и против воли свели его с женой; во-вторых, сказал то, что было все-таки основным верованием Пьера, — сказал то, что жизнь так коротка, так глупа, что не стоит того — не сделать того, чего другим так хочется, не стоит верить, так же как и не верить

чему бы то ни было. На словах же он сказал по-французски:

— Вам нужен ключ к разгадке? Итак, милый мой, сознаюсь вам, что я был слишком упорен, и я был неправ. Затем, в сущности, она сама по себе неплохая женщина... У нее есть недостатки, да у кого их нет. И потом, хотя любви к ней у меня нет (это между нами), она — моя жена и затем... ну и вот...

Пьер совсем смутился этим объяснением и тотчас же опять подошел к столу, взял свою тетрадь и начал говорить про предмет своего сочинения.

Теперь уже совершенно очевидно было князю Андрею, от каких преимущественно мыслей спасался Пьер своей работой над запиской о старой и новой России, и ясно стало, отчего так одутловато стало лицо Пьера и так скоро показались на нем складки, не столько старости, сколько опущенности.

— Вот видите ли, я вам начал говорить о моей записке. Я полагаю, что одних конституционных форм, ответственности министров мало, необходима полнота преобразований, а что же может быть...

Князь Андрей знал до малейших подробностей о том, что делалось Сперанским, и имел об этом свое особенное понятие. Он считал все существующее устройство таким безобразным, так презирал и ненавидел все правительственные лица, что революционная, ломающая все деятельность Сперанского была ему по сердцу. Сперанский, которого он никогда не видал, представлялся ему чем-то вроде гражданского Наполеона. Он радовался его возвышению, унижению прежних государственных лиц и из-за тех преобразований, которые делались, видел всю общую основную мысль этих преобразований. Он видел освобождение крестьян, палаты депутатов, гласность судов и ограничение монархической власти. Сперанский интересен ему был как выражение новых идей и протест против старых. Он вполне был согласен с мыслью Пьера, но в эту минуту это мало занимало его.

— Так вы очень интересуетесь Сперанским? — говорил Пьер. — Вы знаете, что он масон? Я через жену могу вас свести с ним.

— Да, это замечательный человек — говорил князь Андрей.

## IV

Князь Андрей был новинкою в Петербурге. Заслуга его на известность теперь была в том, что он, интересный вдовец, бросил все и посвятил себя сыну и исправился, обратился на путь истинный, делает много добра в деревне и, главное, отпустил крестьян.

Графиня Алена Васильевна Безухова, и прежде имевшая один из первых салонов Петербурга, теперь, после приезда своего из Эрфурта, где, как слышно было, она была удостоена предпочтением одного очень и очень значительного лица, и в особенности после соединения своего с мужем (муж, именно такой муж, как Пьер, был необходимым условием для вполне модной женщины), теперь графиня Безухова и ее салон были несомненно первыми в Петербурге. Князь Андрей по своей прежней репутации модного петербургского молодого человека и вообще по своему положению, в особенности потому, что это был молодой мужчина (Элен предпочитала общество мужчин), был сочтен ею не недостойным некоторых стараний. На другой

день после приезда он был приглашен вниз, на половину графини, обедать и на вечер.

Князю Андрею нельзя было отказаться, и Пьер, не любивший вообще обедать у жены (он обедал обыкновенно в клубе), собрался вниз вместе с своим другом.

— Нужно вам сказать, милый мой, что самый важный петербургский салон — это салон моей жены. У нее бывают все выдающиеся дипломаты, особливо из французского посольства. Коленкур ездит к ней.

Князь Андрей только щурился, слегка улыбаясь, слушая.

В шестом часу вечера (по новейшей моде) графиня в простом (оно стоило 800 рублей) бархатном черном платье с такими же кружевами приняла князя Андрея в своей тоже простой (стоившей отделкой 16 000) гостиной. Разнообразный званиями и мундирами мужской двор приближенных графини, в числе которых преобладали французы, уже окружал графиню. Из знакомых князю Андрею был здесь один Борис, который сразу болезненно поразил князя Андрея по незаметным для других, но для него ясных как день отно-

шениям его к жене и мужу Безуховым. Главной чертой Бориса, теперь уже ротмистра гвардии и адъютанта N.N., были все те же приятная представительность и спокойствие, но такое спокойствие, за которым по тонкой улыбке, живущей в глазах и губах, видно было, что скрывалось многое. Правда, князь Андрей, уже входя в гостиную, был готов во всем отыскивать признаки несчастья бедного Пьера, но его особенно поразил тон особенной и несколько грустной, почтительной учтивости, с которой Борис встал перед Пьером, и, наклонив молча голову, приветствовал его. Само собою разумеется, что это была фантазия Андрея, но часто фантазии открывают истину вернее, чем очевидные доказательства. Князю Андрею показалось, что выражение лица Бориса, в то время как он здоровался с мужем Элен, было кротко стыдливое и фаталистическое, как будто он говорил: я вас уважаю и не желал вам зла; но страсти наши и страсти женщин не во власти нашей. Ежели я по страсти сделал вам зло, и вы считаете это злом, то я во власти вашей и готов нести всю ответственность своего положе-

ния. А ежели, впрочем, вы ничего не знаете и не думаете, — говорил вместе с тем насмешливый свет в его глазах, — то тем лучше для тебя, мой милый.

Это представилось князю Андрею, но странно: все последующее наблюдение над Борисом и Элен, от которых он не мог воздержаться, подтверждали первое впечатление. Борис сидел не в числе окружавших графиню; он держался в стороне, занимая гостей, как домашний человек и как человек, который доволен тем, что ему принадлежит в действительности, и потому не желающий выказывать больше того, что у него есть. Потом князь Андрей заметил, что графиня попросила Бориса передать что-то с особенно холодным взглядом. Потом он заметил их мгновенные взгляды, в то время как они не говорили друг с другом, и, наконец, когда в разговоре Борис обратился к графине и сказал ей: графиня, по тону, которым это было сказано, князь Андрей до очевидности понял, что Борис наедине не говорил ей графиня, а говорил ей ты, и что Борис наверное был, есть или будет ее любовник по сердцу, вместе с тем как



то очень и очень высокое лицо, о связи которого с Элен было известно всему миру, был признанный любовник.

Пьер в свете, в гостиной жены, был как всегда оживленно говорлив и возбуждительно спорлив. Он со всеми был одинаков и во всех, казалось, искал только мысли. Видно было, что в свете он забывался так же, как и за своей работой. Дам было мало: две или три неизвестные князю Андрею и Анна Павловна, которую, как друга покойной жены Болконского, с своим необыкновенным светским тактом для князя Андрея пригласила Элен и за обедом посадила с ним рядом.

Графиня Безухова принимала гостей и приняла князя Андрея с тою особенной непринужденностью и уверенностью в своей безупречности, которой никогда не бывает у добродетельных женщин. Она еще похорошела за то время, что не видал ее князь Андрей. Она была очень полна, но не толста, необыкновенно бела, и ни одной морщинки не было на ее прекрасном лице. Волосы были свои, необыкновенной длины и густоты. Собольи брови, как написанные, оттеняли гладкий,

мраморный, выпуклый лоб. И все та же, всегда та же улыбка румяных губ, или очень много или ничего не говоря, сияла на ее лице. Она была признанная красавица не только в Петербурге, но и за границей, весь партер поворачивался задом к сцене, когда она входила в ложу. Наполеон сказал про нее: это великолепное животное.

Она знала это и еще более была хороша от этого сознания. Князю Андрею она никогда особенно не нравилась, он никогда бы не выбрал ее своей женой, но и он теперь невольно подчинился этому влиянию красоты, элегантности и всего этого круговорота светской жизни. Не она ему нравилась, но он видел в ней цель, которую все признают желанною, к которой все стремятся, и ему захотелось занять место в этом турнире и попытаться победить всех. Кроме того, он после своего воскресенья так оживленно чувствовал давно не испытанное им удовольствие быть в изящно обставленном светском кругу, что он сам не заметил, как, подсев к графине, он сказал ей несколько более чем обыкновенных светских комплиментов и более, чем нужно, смотрел

на нее. Он уже забывал свою жену, и Пьера, и все. Графине это было приятно. Андрей был теперь особенно хорош собою и держал себя в гостинной так свободно и презрительно, что женщине приятно было бы смутить его; в середине разговора она вдруг обратилась к нему и замолчала, ее прекрасные глаза сузились, и из-за длинных ресниц вдруг засветились такие наглые, страстные и грязные глаза (те самые, которые смотрели на Пьера, когда она в день обручения поцеловала его), что князь Андрей опомнился, и она опять ему не понравилась; он, отвернувшись, холодным тоном отвечал на ее вопрос.

Анна Павловна приняла князя Андрея в свое соседство за столом радушно, но с некоторым оттенком укоризны за его адъютантство у Кутузова, так огорчившего государя под Аустерлицем.

Разговор общий шел преимущественно о Эрфуртском свидании, бывшем новостью дня. Четыре года после последнего своего светского вечера с Анной Павловной князь Андрей слушал теперь восторженные речи о Наполеоне, том самом, который прежде предавал-

ся проклятиям. Не было достаточно восторга и почтительности, чтобы говорить об этом гении.

Графиня рассказывала про торжество Эрфурта, в разговоре называя как своих близких знакомых замечательнейшие лица в Европе: «Нас было много, герцог такой-то... граф такой-то...»; или: «Герцог Люин меня насмешил».

«Как могут они ее слушать и как она может так искусно притворяться, что она все это понимает и что она не дура?» — думал Пьер, слушая свою жену. Графиня рассказывала про знаменитый торжественный спектакль, в котором Тальма играл Расина, и оба императора сидели перед сценой на эстраде на двух приготовленных им креслах, и как, когда Тальма сказал: «Дружба великого человека — дар Бога...»

— Богов, графиня, если позволите восстановить Расина, — поправил один из французского посольства.

— О, я не исповедую единобожия, — сказала графиня.

«И от кого она выучилась и запомнила это

слово, — подумал, наливая себе вино, Пьер, — и догадалась сказать? Не понимаю. А я ведь знаю, что она дура и не понимает ничего того, что говорит». Пьер много пил, как заметил князь Андрей. Графиня продолжала рассказ, состоявший в том, что когда Тальма произнес эти слова, «император Александр — мы все видели — взял руку императора Наполеона и пожал ее. Вы не можете себе представить впечатление на нас. Все затаили дыхание».

Князь Василий доканчивал фразы дочери и значительно мычал, как бы говоря этим: «Ну, что же, великий человек, гений. Ну что же, я этого никогда не отрицал».

Анна Павловна принимала участие в этих разговорах и не отказывала в легком восторге и глубоком уважении к его величеству императору французов, как она его теперь называла, но в ее восторге был оттенок некоторой грусти, долженствовавший относиться к особенности взгляда ее высокой покровительницы на новый союз России. Она признавала Наполеона гением, оказавшим большие услуги революции и понявшим свои выгоды в союзе с Александром, но она все соболезнавала

о разрушенном старом порядке вещей и была все-таки по убеждениям за строгие принципы. Одно, в чем она вполне сходилась с графиней, это был ее страстный восторг вообще к французам.

— Это глава всех наций. Быть французом и принадлежать к дворянству, — говорила она.

Князь Андрей, как всегда в гостинной, вступал и даже держал разговор, весело и колко противореча. Он, который всегда так охотно бранил русских, не мог удержаться от некоторых не понравившихся Анне Павловне замечаний о том, что поэтому лучше бы перейти в подданство Наполеона и никогда бы не воевать с французами.

— Да, это было бы гораздо лучше, — сказала значительно Анна Павловна.

Пьер шутил и изредка блеском своей французской болтовни, несмотря на невыгодное положение мужа в гостинной жены, обращал на себя внимание. «Да это ничего, не обращайтесь внимания, это мой муж», — при этом говорило выражение лица графини.

С вечера, разойдясь из гостиной графини, Пьер поехал в клуб, и, когда вернулся, Андрей уже спал. На другой день Андрей рано выехал по делам, обедал у тестя, вечером был в том доме, где его обещали познакомить с Сперанским, и только вечером вернулся домой и вошел в низенькие, накуренные комнаты Пьера, с которыми они целые сутки не видались.

— Как я рад, что я тебя застал дома, — сказал князь Андрей, расстегнувшись, ложась на оттоманку и потирая лицо руками.

Пьер знал это выражение в лице Андрея, знал и любил его. Он положил свои тетради и, закурив трубку, попокойнее уселся против друга.

— Знаешь, милый мой, я остаюсь в Петербурге — я получил предложения, от которых не могу отказаться. И в самом деле, такое время, такие перевероты, так кипит все, так трещит гнилое, старое, что нельзя удержаться не приложить руки.

— Вот как? Как я рад, — сказал Пьер. — Где

же?

— Кочубей просит меня заняться в комиссии составления законов, потом мне предлагают место в Крым.

— Нет, оставайтесь здесь, — сказал Пьер. — Мы не видались с вами еще со вчерашнего вечера, — продолжал он. — Я думаю, странно на вас это все подействовало, все эти восхваления Наполеону. Как иначе заговорило все. Мне кажется, ежели бы я даже продолжал думать о Наполеоне то же, что думал прежде, я бы изменил своим мыслям, только чтобы не быть заодно с этой толпой.

— Да, — сказал князь Андрей, улыбаясь, — то, что мы с тобой думали и чувствовали четыре года тому назад, то они поняли теперь. Но для них Египет, итальянский поход, освобождение Италии, первый консул — было непонятно; чтобы пробить доступ к их разуму, нужна была помпа Тильзита и Эрфурта, вызывающая насмешку и отвращение. Они, как говорит Гете, как эхо, а голосов нет. И как эхо, они, опаздывая, все перевирают. Они никогда не поют в такт. Когда подступает новое, они все верят в старое, когда новое сделается



старым, отсталой пошлостью, и передовые умы уже видят новое, они только начинают разжевывать старое, то, против чего они спорили. Вот и теперь с Наполеоном. Ежели бы я еще мог допускать великих людей, как четыре года тому назад, я бы давно разочаровался в Бонапарте и без Аустерлица.

— А, — подхватил Пьер, — так вы того же мнения о Бонапарте. По-моему, это ничтожество, пустота, близкая к своей гибели. Это человек, не выдержавший своего положения и измельчавшийся.

— Еще бы, еще бы, — говорил князь Андрей, кивая головой, как будто то, что говорил Пьер, было избитой истиной, хотя едва ли в Петербурге не одни они двое были этих мыслей.

Они помолчали и переглянулись. Им приятно было чувствовать, что они, хотя и живя врозь, так равномерно шли вперед в своих мыслях, что после долгого промежутка времени, далеко впереди по дороге жизни, они находили себя опять вместе. Князь Андрей по естественной связи мыслей от этого сближения перешел к воспоминаниям о Борисе, в

1805-м очень понравившемся ему. С ним, он чувствовал, они очень разошлись за это время.

— А помнишь, я тебе говорил о Борисе Друбецком, которого ты рекомендовал мне. Он мне очень нравился. И я очень ошибся. Я его опять встретил нынче. Он мне не нравится.

Опять они сошлись. Пьер точно так же был им прежде прельщен и потом разочарован в этом молодом человеке, но он по причине тех подозрений, которые он имел о Борисе, не откровенно выразил о нем свою мысль.

— Нет, он очень хороший молодой человек. И он имеет большой успех в свете и службе.

— Да, да, он уйдет очень, очень далеко. И этим-то он не нравится мне. Он придает серьезное значение успеху в свете и карьере. Это-то и жалко в нем. Он умнее их всех. И это не трудно. Но он имеет такт скрывать свое превосходство, чтобы не оскорбить их, и притворяется равным им. Это главный рецепт успеха, но то-то и жалко, что он не настолько умен, чтобы видеть, что это не стоит того. Ему кажется, что все это очень важно, — он стара-

тельно и бережно раздувает этот мыльный пузырь, и тем хуже ему будет, когда пузырь лопнет.

Пьер переменял разговор.

— Да вы мне не говорите, видели вы Сперанского? Ну что?

Князь Андрей вздохнул.

— Еще одним заблуждением меньше, — сказал он. — Не то чтобы я с тобой был согласен. Многое можно и должно сделать, но не такими нечистыми, кутейницкими руками.

— Ах мой милый, кастовый дух...

— Кастовый дух или нет, — только не могу я переносить этого кутейницкого тона с тою же догматичностью и с каким-то лоском якобинизма придворного. Кутейницкий особенный род.

— Нет, я не согласен. Замысел его хорош, но меры не те.

— Но подумайте, что это единственный человек, могущий...

— Да и потом, — перебил князь Андрей. — Эти люди не могут понять свободы, потому что они привыкли смотреть снизу вверх.

## VI

Денежные дела Ростовых не поправились в продолжение двух лет, которые они пробыли в деревне. Несмотря на то, что Николай, твердо держась своего намерения, продолжал служить в глубокой армии, расходуя сравнительно мало денег, ход жизни в Отрадном был таков, и в особенности Митенька так вел дела, что долги неудержимо росли с каждым годом. Единственная помощь, которая, очевидно, представлялась старому графу, — это была служба, и он приехал в Петербург искать места. Искать места и вместе с тем — как он говорил — в последний раз потешить девчат. А может, кого и замуж отдать, думал он, как думают все отцы невест. И действительно, Берг, командовавший теперь уже батальоном гвардии, украшенный Владимиром и золотой саблей за храбрость, молодой человек нравственный, скромный, красивый и стоявший на самой блестящей дороге, сделал предложение Вере, на что он четыре года тому назад твердо решил и твердо исполнил.

— Вот видите ли, — говорил он, пуская доб-

родетельно колечки дыма, своему товарищу, которого он называл другом только потому, что он знал, что у всех людей бывают друзья. — Вот видите ли, я все это сообразил, и я бы не женился, ежели бы не обдумал всего и это почему-нибудь бы было неудобно. А теперь — напротив. Папенька и маменька мои теперь обеспечены, я им устроил эту аренду в Остзейском крае, а мне пожить можно с женою в Петербурге при моем жалованье и при ее состоянии. Я не из-за денег женюсь, я считаю это неблагородно, но надо, чтобы жена принесла свое, а муж свое. У меня служба, у ней маленькие средства и связи. Это в наше время что-нибудь такое значит, не так ли? А главное — она прекрасная, почтенная девушка и любит меня... — Берг покраснел, улыбнулся. — Вот будете приходите к нам... — он хотел сказать: обедать, но раздумал, сказал: — чай пить, — и, проткнув его быстро языком, выпустил круглое маленькое колечко, олицетворявшее вполне его мечты о счастье.

Предложение Берга было принято сначала с нелестным для него недоумением. Сперва представилось странно, что сын темного лиф-

ляндского дворянина делает предложение, но главное свойство всего характера Берга состояло в таком наивном и добродушном эгоизме, что невольно Ростовы подумали, что это будет хорошо, ежели он сам так твердо убежден, что это даже очень и очень хорошо. При том Вера весьма обстоятельно объяснила, что Берг барон, на хорошей дороге, что нет ни малейшего мезальянса выйти за него замуж и что таким бракам в их обществе есть много примеров, которые она привела. Согласие было дано. После недоумения чувство родных перешло в радость, но радость не искреннюю, а внешнюю. В чувствах родных, говоривших об этой женитьбе, были заметны замешательство и стыдливость, как будто им совестно было за то, что они не любили Веру и теперь так сбывали ее с рук. Больше всех смущен был старый граф. Он, вероятно, не умел бы назвать то, что было причиной его смущения, а причина это была — его же денежные дела, в последнее время присоединившиеся ко всем его домашним и семейным делам. Он решительно не знал, что у него есть, сколько у него долгов и что он в состоянии будет дать в

приданое Вере. Когда родились дочери, каждой было назначено по триста душ в приданое, но одна из этих деревень была уже продана, а другая заложена и так просрочена, что должна была продаваться. Берг уже более месяца был женихом, и только неделя оставалась до свадьбы, а граф еще не решил с собой вопроса, что он даст Вере, и не говорил об этом с графиней, которая, жалея мужа, дала себе слово никогда не говорить с ним о денежных делах. За неделю до свадьбы это все было не решено, и стыдливость и мучения совести графа доходили до такой степени, что он бы заболел, ежели бы Берг не вывел его из этого положения. Берг попросил разговора наедине с графом и с добродетельной улыбкой почтительно попросил тестя объявить ему, что будет дано за Верой. Граф чувствовал себя столь виноватым и так смутился при этом давно предчувствованном вопросе, что он сказал необдуманно первое, что пришло ему в голову.

— Люблю, что позаботился, люблю, останешься доволен, — и он, похлопав по плечу, встал, желая прекратить разговор. Но Берг,

приятно улыбаясь, объяснил, что, ежели он не будет знать верно, что за Верой, и не получит вперед, то он, несмотря на всю свою любовь, не женится на ней.

— Потому что вы рассудите, граф, ежели бы я теперь позволил себе жениться, не имея определенных средств для поддержания своей жены, я поступил бы подло...

Разговор кончился тем, что граф, желая быть великолепным и не подвергаться новым просьбам, сказал, что он выдаст вексель в восемьдесят тысяч, но Берг, подумавши, сказал, что он не может взять один вексель, а просит сорок тысяч деньгами, а на сорок вексель.

— Да, да, хорошо, — скороговоркой заговорил граф, — только уж извини, дружок, сорок тысяч я достану и дам, а вексель, кроме того, дам на восемьдесят тысяч. Так-то, поцелуй меня.

Через несколько времени граф за жидовские проценты достал деньги и отдал Бергу. Разговор графа с Бергом был тайной для всех в доме. Замечали только, что граф и жених особенно веселы.



Николай продолжал служить в своем полку, стоявшем в Польше. И, получив известие о замужестве сестры, прислал холодное поздравительное письмо и сам не приехал под предлогом дел службы.

Вскоре после Тильзитского мира он приезжал в отпуск и на своих домашних произвел впечатление большой происшедшей в нем перемены. Отец нашел его очень возмужавшим и остепенившимся. Денег он брал немного, в карты не играл и обещал еще года через два выйти в отставку, жениться и приехать в деревню хозяйничать.

— Теперь еще рано, дайте хоть до ротмистров дослужиться.

— Славный он, славный малый, — говорил отец.

Графиня тоже была довольна сыном, но на ее материнские глаза ей заметно было, что Николай загрубел, и ей хотелось бы женить его. Но, намекнув раз о богатой невесте, именно о Жюли Корнаковой, она увидела, что сын этого не сделает. Она видела, что что-то хуже стало в сыне, но не могла понять этого. Она испытывала в первый раз то материнское

чувство, что радостно веришь в каждый шаг вперед своего детища, а не веришь в его такой же переход книзу, какой и сам испытываешь. Вера была вполне довольна братом, она одобряла его умеренность в расходах и сдержанность. Соня в этот приезд больше чем когда надеялась быть женой Николая. Он ничего не говорил ей о любви и женитьбе, но был кроток, ласков и дружен с нею. Соня все так же верно любила его и обещала любить его, женился ли бы он на ней или на другой. Сонина любовь была так верна и так тверда, что Наташа говорила:

— Я даже не понимаю, как можно так любить: точно ты себе велела и уж не можешь изменить этого.

Наташа одна была недовольна братом. Она охала на его приемы совершенно большого, на его бурую шею, на его манеру держать трубку между пальцев, все дергала, тормошила его, вскакивала на него верхом и заставляла возить по комнатам и все чего-то как будто искала и не находила в нем.

— Что с тобой? — говорила она. — Ну! Ну! Где ты? — все приставала она к нему, как бы

докапываясь в нем того самого брильянта оживления, которого другие не замечали и который она одна и любила в нем, и который заметно потускнел в последнее время.

## VII

Наташа, проживши в одиночестве последний год в деревне, составила себе обо всем свое очень определенное и часто противоречащее мнениям своих родных понятие. В этот последний год в деревне было скучно, оттого, что все, кроме ее и Сони, говорили только о том, что мало денег, что нельзя ехать в Москву, жалели о барышнях и каждый день слышали толки Веры о том, что в деревне очень трудно выйти замуж, что умрешь с тоски, что можно найти место в Петербурге и т. д. Наташа редко вступала в эти разговоры и, ежели вступала, то озлобленно нападала на Веру и утверждала, что в деревне гораздо веселее, чем в Москве. Летом, действительно, Наташа устроила себе такую жизнь, что она, не притворяясь, говорила, что она чрезвычайно счастлива. Она вставала рано утром и с дворовыми девушками, и гувернанткой, и Соней

отправлялась за грибами, ягодами или орехами. Когда становилось жарко, они подходили к реке и там купались в устроенной купальне. Наташа с радостью и гордостью выучилась плавать. Потом она пела, обедала и отправлялась одна, в сопровождении Митьки-охотника, верхом в любимые места, поля и луга. С каждым днем она чувствовала, как она крепнет, полнеет, хорошеет, лучше и лучше плавает, ездит верхом и лучше поет. Она постоянно бывала счастлива в поле и вне дома. И когда за обедом или вечерним чаем она опять слышала те же толки о скуке в деревне и о бедности, она еще более чувствовала себя счастливой в поле, в лесу, верхом, в воде или в лунную ночь на своем окне. Она не была влюблена ни в кого и не чувствовала в этом никакой надобности. Соня участвовала в ее жизни, но в самые лучшие свои минуты Наташа чувствовала, что Соня, со всем ее желанием, не могла поспеть за ней, как не могла поспеть в лесу, в воде, на лошади. Один раз в жаркий июльский день, когда они с Соней, гувернанткой и семью девушками пришли к реке, к купальне, Наташа разделась, завязала

голову белым платком и в одной рубашке села на передней лавочке на корточках и обхватила тонкими руками свои гибкие ноги, и глаза ее остановились на воде. Все уже давно были в воде, плескались, боялись, кричали. Девушки зывали ко всем, забывая в воде различие господ от дворовых.

— Ну, девки, ну, на ту сторону! — кричали они с тем гуртовым, девичьим ухарством, с которым купаются русские девушки. Наташа все сидела и смотрела на воду и на противоположную березу. Она думала, серьезно думала в первый раз в своей жизни: «Зачем же ехать в Москву? Отчего же не жить всегда здесь? Разве здесь не хорошо? Ах, как хорошо. И как я довольна и счастлива! И потом, они все говорят, что мы бедны. Как же мы бедны, когда у нас столько земли, людей, домов. Вон Настя, у ней ничего нет, кроме этого розового платья, а она как мила, и как весела, и какая коса чудесная. Как же мы бедны? Зачем же нам столько учителей, и музыкантов, и два шута? Все это не нужно. Папаша всем доволен, и мама тоже, и я тоже. Продать все лишнее и жить с двумя девушками в одном фли-

геле, и как будет весело! Непременно пойду и скажу это папа», — решила она сама с собой.

В это время вихрь, поднимая пыль на пашне, пробежал по полю, по дороге к реке и понесся по реке, рябя воду, и прямо набежал на лицо плывущей Насти. Настя испугалась, задохнулась, потом засмеялась, и Наташа, смеясь, убежала в купальню и бросилась в воду. Вернувшись с купанья, Наташа, повязанная платком, загорелая, веселая, вбежала к отцу и серьезно и внушительно рассказала ему свою философию, как она назвала ее. Отец, смеясь, поцеловал ее и презрительно-ласково сказал, что хорошо бы было, коли бы все так легко делалось. Но Наташа не скоро сдалась, она чувствовала, что, несмотря на то, что она девочка, а он старик, она говорит правду.

— Да отчего же нельзя? — говорила она. — Ну, долги. Ну, так давай жить так, чтоб проживать вдвое меньше.

Наташа не поверила презрительно-ласковой улыбке отца и шуткам матери, она знала, что она говорит правду, и с этих пор стала думать, верить своим мыслям и обо всем иметь свое суждение. В Петербурге она не одобряла

искательство места отца и говорила, что все это глупости, что они и так богаты. Женитьбу Берга она очень одобряла, потому что Вера нам не пара. Она была рада, однако, случаю веселиться в Петербурге. Но несмотря на то, что она готова была всегда жить в деревне, она в Петербурге недовольна была тем образом жизни, который вели ее родные. Все ей казалось не так, не достаточно *comme il faut*, провинциально. Почему она знала, как надо было жить в высшем обществе? — но чутье ее указывало ей верно, и ее чувство изящества и тщеславия оскорблялось тем, что комнаты были убраны не так, лакеи грязны, карета старинная, стол не так накрывается. Она одевалась не только сама, но и одевала старую графиню, отдавшуюся совершенно в ее власть, и одевала прекрасно. Все те мелкие приемы манер и туалета, которые составляют оттенок высшего общества, она угадала сейчас же, и в несколько смешном в Петербурге, провинциально-московском доме Ростовых Наташа поражала своей безупречностью манер самого высшего и элегантного общества.

Ей было 16 лет; одни говорили, что она

очень хороша, другие говорили, что она только мила, говорили, что она пустая, что она кокетка, что она избалована, но все говорили, что она очень мила.

В месяц после приезда Ростовых в Петербург богатыми женихами Наташе было сделано два предложения, из которых одно было очень выгодно, но она отказала обоим. Наташа так смеялась, так весело кокетничала, что людям наблюдательным никогда бы и в голову не пришло сделать ей самой предложение. Она казалась не от мира сего. Странно было подумать, чтобы она вдруг захотела выбрать себе одного мужа, который в халате ходил при ней, из всех этих сотен людей, которые все были ее мужьями, когда она того хотела. Все готовы были за ней ухаживать, поднимать ей платок, танцевать с одной ею и писать ей стихи в альбом. Она другого назначения не допускала в мужчинах. И чем больше было таких, тем было лучше.

Пьер сразу был оценен Наташей, и не столько потому, что она воображала себе когда-то, что она влюблена в него, и не столько потому, что она сразу причислила его к лю-



дям самого высшего общества, сколько потому, что он был умнее и проще всех других людей. Узнав, что он масон, она расспрашивала его о том, что это такое, и когда он сказал ей в общих чертах цель масонства, она большими глазами долго смотрела на него и сказала, что это прекрасно.

Когда он уехал, старая графиня спросила ее, о чем они так горячо говорили.

— Нельзя сказать, мама.

— Знаю, знаю, что он фармазон, — сказала графиня.

— Франкмасон, мама, — поправила Наташа.

В отношении мужчин у ней было чувство, похожее на чувство распорядителя охоты, оглядывающего ружья — заряжены ли они? Заряжено, курок действует, есть порох на полках — хорошо. Так ждите, когда я захочу сделать залп из всех ружей или выберу одно. А надо, чтобы все, все были заряжены.

Наташе было шестнадцать лет, и был 1809 год, тот самый, до которого она четыре года тому назад по пальцам считала с Борисом, после того как она с ним поцеловалась. С тех

пор она ни разу не видела Бориса.

Перед Соней и с матерью она, когда разговор заходил о Борисе, совершенно свободно говорила, как о деле решенном, что все, что было прежде, было ребячество, про которое не стоило и говорить и которое давно было забыто; но эта девочка имела в высшей степени женский дар хитрости придавать, какой она хотела, тон своим словам, скрывать и обманывать, и в самой тайной глубине ее души вопрос о том, было ли обязательство к Борису шуткой, забытым ребячеством, или важным, связующим обещанием, болезненно мучил ее. С одной стороны, ей бы весело было выйти теперь замуж и именно за Бориса, который был так мил, хорош и комильфо (особенно весело потому, что она показала бы Вере, что нечего так гордиться, что она уже большая и выходит замуж, как будто она одна может это сделать, и показать ей, как надобно выходить замуж не за немчика Берга, а за князя Друбецкого), с другой стороны, мысль об обязательстве, связывающем ее и лишаящем ее главного удовольствия — думать о том, что каждый встречающийся мужчина может быть ее

мужем, тяготила ее.

В 1809 году, когда Ростовы приехали в Петербург, Борис приехал к ним, тотчас же был принят, как все, т. е. с приглашением обедать и ужинать каждый день. Наташа, узнав о приезде Бориса, вспыхнула и дрожащим голосом сказала Соне:

— Знаешь, он приехал.

— Кто, Безухов? — спросила Соня.

— Нет, прежний он, — сказала Наташа, — Борис. — И, посмотревшись в зеркало и оправившись, пошла в гостиную.

Борис ждал встретить Наташу изменившеюся, но все в его воображении был тот милый ему образ чернушки с блестящими из-под локон глазами, с красными губками и детски отчаянным смехом. Он ехал к ним не без волнения. Воспоминание о Наташе было самым сильным поэтическим воспоминанием Бориса. Но его светская, блестящая карьера, которой одним из главных условий была свобода, и известия, полученные от матери, о расстройстве дел Ростовых, заставили его принять окончательное решение уничтожить, забыть эти детские воспоминания и обеща-

ния. Но он знал, что Ростовы в Петербурге, и потому нельзя было ему не приехать к ним. Ежели бы он не приехал, он бы этим тем хуже показал, что помнит о прежнем. Он решился ехать как старый, добрый знакомый, относясь к своему прошедшему с Наташей с той забывчивостью, которой так много постыдных и сердечных воспоминаний покрываются в свете. Но он смутился, когда вошла Наташа, сияя более чем ласковой улыбкой, во всей прелести своей только что развившейся шестнадцатилетней красоты. Он никак не ждал ее такою. Он покраснел и замялся.

— Что, узнаешь свою старую приятельницу-шалунью?

Борис поцеловал руку Наташи и сказал, что он удивлен происшедшей в ней переменной.

— Как вы похорошели!

«Еще бы!» — отвечали сияющие глаза Наташи.

— А папа постарел? — спросила она.

Наташа села и молча слушала разговор Бориса с графиней, которая обращалась с ним как с большим. Она молча рассматривала его

до малейших подробностей, и он чувствовал на себе радостную тяжесть этого упорного, неучтливового взгляда. Наташа наблюдала и заметила в Борисе снисходительную учтивость, говорившую как будто, что он помнит свою прежнюю дружбу с Ростовыми и потому, только потому и теперь, хотя он и не принадлежит к обществу Ростовых, он не будет гордиться. Во время этого первого визита с тактом, но не нечаянно, как это чувствовала Наташа, Борис упомянул о дворцовом бале, на котором он был, о приглашениях к NN и к SS, называя высшую аристократию. Он сидел, поправляя белой, нежной рукой чистейшую, облитую перчатку на левой; мундир, шпоры, галстук, прическа, — все это было самое модное и *somme il faut*'ное. Наташа сидела молча, исподлобья разгоревшимися, оскорбленными глазами глядя на него.

Он не мог оставаться обедать, но приехал через несколько дней; он приехал опять и пробыл от обеда и до ужина. Он не хотел и приехать, не хотел и пробыть так долго, но он не мог поступить иначе. Несмотря на свое решение отказаться от Наташи, несмотря на то,

что он говорил себе: «Это было бы неблагоприятно», — он не мог не поехать. Ему представлялось, что необходимо было объясниться с Наташей, сказать ей, что все старое должно быть забыто, что несмотря на все... она не может быть его женой, что у него нет состояния и ее никогда не отдадут за него. Он приехал, и в этот день Наташа, по замечанию матери и Сони, казалась по-старому влюбленной в Бориса. Она пела ему его любимые песни, показывала ему свой альбом, заставляя писать в него, не позволяла поминать ему о старом, давая понимать, как прекрасно было новое; и поздно вечером он уехал в тумане, сам не зная, что он делал и для чего он приезжал, и ничего не сказав из того, что он был намерен сказать. На другой день Борис опять приехал, на третий, на четвертый.

Он получал записки от графини Безуховой и целые дни проводил у Ростовых.

На четвертый день вечером, когда старая графиня, вздыхая и кряхтя, в ночном чепце и кофточке, без накладных буклей, а с одним седым пучком волос, выступавшим из-под колленкорového чепчика, клала на коврике зем-

ные поклоны вечерней молитвы, ее дверь скрипнула и в туфлях на босу ногу, тоже в кофточке, в папильотках вбежала Наташа. Графиня оглянулась, нахмурилась и дочитывала свою последнюю молитву «Неужели одр сей мне гроб будет». Наташа, красная, оживленная, увидав мать на молитве, вдруг остановилась на своем бегу, присела и невольно высунула язык, грозясь самой себе. Заметив, что мать продолжала молитвы, она на цыпочках подбежала к кровати, быстро скользнув одной маленькой ножкой о другую, скинула туфли и прыгнула на тот одр, за который графиня боялась, как бы он не был ее гробом. Одр этот был высокий, перинный, с пятью уменьшающимися подушками. Наташа вскочила, утонула в перине, перевалилась к стенке и начала прыгать, возиться под одеялом, укладываясь, брыкала ногами, и чуть слышно смеясь, то закрываясь с головой, то выглядывая на мать. Графиня с строгим лицом подошла к постели и улыбнулась своей доброй слабой улыбкой, когда Наташа, закрытая с головой, не могла видеть ее.

— Ну, ну, ну, — сказала она.

— Мама! Конференция, да? — сказала Наташа. — Ну, в душку один раз, ну, еще, и будет. — И она обхватила шею матери и поцеловала ее под подбородок. В обращении своем с матерью Наташа выказывала внешнюю грубость манеры, но она так была чутка и ловка, что как бы она ни обхватила руками мать, она всегда умела это сделать так, чтобы матери не было ни больно, ни неприятно, ни неловко.

— Ну, об чем же нынче, — сказала мать, устроившись на подушках и подождав, пока Наташа, еще побрыкавши ногами и перекатившись раза два через себя, не легла с ней рядом под одним одеялом и, выпростав руки, не приняла серьезного выражения. (Эти ночные посещения Наташи, совершавшиеся до возвращения графа из клуба, были одни из любимейших и неоценимых наслаждений матери и дочери.) — Об чем же нынче. А мне нужно тебе сказать...

Наташа закрыла рукой рот матери.

— О Борисе... я знаю, — сказала она серьезно. — Я за тем и пришла. Не говорите — я знаю. Нет, скажите. — Она отпустила руку. —



Скажите, мама. Он мил?...

— Наташа, тебе шестнадцать лет, в твои годы я была замужем. Ты говоришь, что Боря мил. Он очень мил, и я его люблю как сына. Но что же ты хочешь... что ты думаешь, ты ему совсем вскружила голову, я это вижу...

Говоря это, графиня оглянулась на дочь. Наташа лежала прямо и неподвижно, глядя вперед себя на одного из сфинксов красного дерева, вырезанных на углах кровати, так что графиня видела только профиль лица дочери. И лицо это поразило графиню своей способностью серьезного и сосредоточенного выражения. Наташа слушала и соображала.

— Ты ему вскружила совсем голову, зачем? Что ты хочешь от него? Ты знаешь, что тебя нельзя выдать за него замуж?

— Отчего? — не переменяя положения, сказала Наташа.

— Оттого, что он молод, оттого, что он беден, оттого, что он родня... да ты и сама этого не захочешь.

— А почему вы знаете?

— Я знаю, мой дружок, и я хотела спросить тебя, любишь ли ты его или...

— Вы знаете, кого я люблю, зачем вы говорите глупости...

— Нет, не знаю. Безухова, или Денисова, или еще кого, или... — сказала графиня и не договорила от смеха.

Наташа притянула к себе большую руку графини и поцеловала ее сверху, потом в ладонь, потом опять перевернула и стала целовать в косточку верхнего сустава пальца, потом в промежуток, потом опять в косточку, шепотом приговаривая: «Январь, февраль, март, апрель» и т. д.

— Говорите, мама, что же вы молчите? Говорите, — сказала она, оглядываясь на мать, которая восторженно-нежным взглядом смотрела на дочь и из-за этого созерцания, казалось, забыла все, что она хотела сказать.

— Так я тебе и говорю, что это нехорошо. Во-первых, оттого, что не все поймут вашу детскую связь, а видеть его таким близким с тобой может повредить тебе в глазах других молодых людей, которые к нам ездят, а главное, отвлекает, мучает его. Он, может быть, нашел бы партию по себе — богатую, а теперь он с ума сходит.

— Сходит? — повторила Наташа.

— Я тебе про себя скажу, у меня был один кузен...

— Знаю. Кирила Матвеич, да ведь он старик.

— Не всегда был старик. Но вот что, Наташа, я поговорю с Борей. Ему не надо так часто ездить...

— Отчего же не надо, коли ему хочется.

— Оттого, что ты сама говоришь, что не выйдешь за него замуж.

— Так что ж, что не выйду замуж, точно за всех надо выходить замуж. Нет, мама, вы не говорите ему, не смейте говорить ему. Что за глупости, — говорила Наташа тоном человека, у которого хотят отнять его собственность. — Ну, не выйду замуж, так пускай ездит, коли ему весело и мне весело. — Наташа, улыбаясь, глядела на мать. — Не замуж, — а так, — повторила она.

— Как же это, мой друг?

— Да так. Ну, очень нужно, что замуж не выйду, — так.

— Так, так, — повторила графиня и, трясясь всем телом, засмеялась своим добрым,

неожиданным, старушечьим смехом.

— Полноте смеяться, перестаньте, — закричала Наташа. — Всю кровать трясете. Ужасно вы на меня похожи, такие же хохотушки... Пойдите, — она схватила обе руки графини, поцеловала на одной косточку мизинца, — июнь, — и продолжала целовать, — июль, август на другой руке. — Мама, а он очень влюблен? Как на ваши глаза? В вас были так влюблены? Он очень мил, очень, очень мил. Только не совсем в моем вкусе, — он узкий такой, как часы столовые — вы не понимаете?... Узкий — знаете, серый, светлый... Безухов, тот синий, темно-синий с красным, и он четырехугольной. А видели, как он сопел и ревновал нынче вечером. Он славный. Вот я бы вышла за него, ежели бы я никого не любила и ежели бы он не был женат.

— Графинюшка, — послышался голос графа из-за двери, — ты не спишь?

Наташа вскочила босиком, захватила в руки туфли и убежала в свою комнату, где она еще долго не заснула, все думая о том, что никто никак не может понять всего, что она понимает и что в ней есть. «Соня, — подумала

на спящую, свернувшуюся кошечкой с ее огромной косой. — Нет, куда ей! Мама и та не понимает. Это удивительно, как я умна и как... она мила», — продолжала она, говоря про себя в третьем лице и воображая, что это говорит про нее какой-то очень умный, самый умный и самый хороший мужчина... «Все, все в ней есть, — продолжал этот мужчина, — умна — необыкновенно мила — и потом хороша, необыкновенно хороша, ловка, а голос!» — Она пропела свою любимую музыкальную фразу из керубиновской оперы, бросилась на постель, засмеялась от радостной мысли, что она сейчас заснет. Крикнула Дуняшу потушить свечку, и еще Дуняша не успела выйти из комнаты, как она уже перешла в другой, еще более счастливый мир сновидений, где все было так же легко и прекрасно, как и в действительности, но только было веселее, потому что было по-другому...

На другой день Борис опять приехал вечером к Ростовым, и графиня, подозревая его к себе, взяла его за руку, притянула к себе и поцеловала.

— Борис, вы знаете, что я люблю вас как

сына.

Графиня покраснела, и Борис еще больше.

— Вы знаете, мой друг, что у материнской любви есть свои глаза, которые видят то, чего другие не видят. Мой милый друг, вы юноша взрослый, добрый и рассудительный. Ты знаешь, что девушка — огонь, что молодой человек не может ездить в дом... — Графиня смешалась. — Вы честный юноша, и я вас всегда считала сыном...

— Тетушка, — отвечал Борис, поняв значение таинственных слов графини так же хорошо, как ежели бы они были изложены по всем законам логики, — тетушка, ежели я был виноват, то не перед вами. Я никогда не забуду, чем я вам обязан, и, ежели вы мне скажете, что я не должен бывать у вас, как ни тяжело это мне будет, моя нога не будет у вас.

— Нет, зачем, но помни, моя душа.

Борис поцеловал ручку графини и с этого дня ездил к Ростовым только на балы, на обеды и не оставался наедине с Наташей.

## VIII

Князь Андрей приехал в Петербург в августе 1809 года. Это было время апогея молодой силы Сперанского и энергии совершаемых им переворотов. В этом самом августе государь, ехав в коляске, был вывален, повредил себе ногу и оставался в Петергофе три недели, видясь ежедневно и исключительно с Сперанским. В это время готовились не только два столь знаменитые и встревожившие общество указа — о уничтожении придворных чинов и о экзаменах на чины коллежских асессоров и статских советников, но и целая государственная конституция, долженствовавшая изменить действующий судебный, и административный, и финансовый порядок управления России от Государственного совета до волостного правления. Осуществлялись, воплощались теперь те неясные и неопределенные либеральные мечтания, с которыми вступил на престол император Александр и которые он первое время стремился осуществить с помощью своих помощников: Чарторижского, Новосильцева, Кочу-

бея и Сперанского, которых он сам шутя называл комитетом общественного спасения.

Теперь всех вместе заменил Сперанский по гражданской части и Аракчеев по военной. Князь Андрей вскоре после приезда своего, как камергер, явился ко двору и на выход.

Государь спросил его о его ране. Князю Андрею всегда еще прежде казалось, что он антипатичен государю, что государю неприятно его лицо и все существо его. В нескольких словах, сказанных ему на выходе, в этом сухом, отдаляющем взгляде князь Андрей еще более, чем прежде, нашел подтверждение этому предположению. Хотя он мог бы по своей службе и связям рассчитывать на более ласковый прием, настоящий прием был именно такой, какой он ожидал. Придворные объясняли сухость государя упреком Болконскому за то, что он не служил, и так объяснили ему.

«Я сам знаю, как мы не властны в своих симпатиях и антипатиях, — думал князь Андрей, — и потому нечего думать о том, чтобы представить лично проект государю и ожидать от него награды. Но дело будет говорить само за себя». Он тут же на выходе передал



свой проект старому фельдмаршалу и другу отца. Фельдмаршал назначил ему час, ласково принял его и обещал доложить государю. Через несколько дней князю Андрею было объявлено, что он имеет явиться к военному министру, графу Аракчееву.

В девять часов утра в назначенный день князь Андрей явился в приемную к графу Аракчееву. Князь Андрей знал графа Аракчеева и по рассказам артиллеристов гвардейских, по анекдоту о собственноручном вырывании бакенбард солдатам и по кануну Аустерлицкого сражения, на котором всему главному штабу было известно, что под предлогом слабости нервов Аракчеев отказался от начальствования над колонной в деле. Репутация эта подтвердилась и в кампании 1807-го года в финляндской войне, в которой граф Аракчеев командовал, находясь за сто верст от армии. Лично князь Андрей не знал его и никогда не имел с ним дела, но все, что он знал о нем, мало внушало ему уважения к этому человеку. «Но он был военный министр, доверенное лицо государя императора, никому не должно было быть дела до его лич-

ных свойств, а ему поручено, следовательно, он один и может дать ход моему проекту», — так думал князь Андрей, в числе многих важных и неважных лиц дожидаясь в передней графа Аракчеева. Князь Андрей во время своей большей части адъютантской службы много видел приемных и приемов, и различные характеры приемных были для него очень ясны. У графа Аракчеева был совершенно особенный характер приемной.

На неважных лицах выражалось одно общее всем чувство неловкости, скрытое под личиной развязности и насмешки над собою, над своим положением и над ожидаемым лицом. Иные задумчиво ходили взад и вперед, иные, шепчась, смеялись, и князь Андрей слышал прозвище «Сила Андреича» и слова: «дядя задаст». Один, важное лицо, видимо оскорбленный тем, что должен был так долго ждать, сидел, перекладывая ноги и презрительно сам с собой улыбаясь. Но как только растворялась дверь, на всех лицах выражалось мгновенно только одно — страх. Князь Андрей удивил дежурного чиновника, попросив его другой раз доложить о себе, но все-та-

ки довольно долго подождал и услышал из-за двери раскаты дерзкого и неприятного голоса и увидел офицера, который бледный, с трясущимися губами, вышел оттуда и, схватив себя за голову, прошел через приемную.

Когда пришел его черед, он был подведен к двери, и чиновник шепотом сказал: «Направо, к окну».

Князь Андрей увидел перед собой сухого, сорокалетнего, черноватого человека с нахмуренными бровями над ничтожными глазами, который ворчливо обратил к нему голову, не глядя на него.

— Вы чего просите? — спросил Аракчеев.

— Я ни-че-го не прошу, — тихо, медленно проговорил князь Андрей. Глаза обратились на него и замигали, и губы слегка дернулись.

— Садитесь, — сказал Аракчеев, — князь Болконский?

— Я ничего не прошу, а государь император изволил переслать к вашему сиятельству поданную мною записку...

— Извольте видеть, мой любезнейший, записку я вашу читал, — перебил Аракчеев, только первые слова сказав ласково, и опять

не глядя ему в лицо и впадая все более и более в свой ворчливо-презрительный тон. — Новые законы военные предлагаете? Законов много, исполнять некому старых. Нынче все законы пишут, писать легче, чем делать.

— Я приехал по приказанию государя узнать у вашего сиятельства, какой ход вы полагаете дать поданной записке? — сказал князь Андрей.

— На записку вашу мной положена резолюция и переслана в комитет, а если вам угодно знать, то я не одобряю, — сказал Аракчеев, вставая и доставая с письменного стола бумагу. — Вот, — он подал князю Андрею.

На бумаге было написано: «Неосновательно составлено, понеже как подражание списано с французского военного устава и от воинского артикула без нужды отступающего».

— В какой же комитет передана записка? — спросил князь

Андрей.

— В комитет о воинском уставе, и мною представлено о зачислении вашего благородия в члены. Только без жалованья.

Князь Андрей улыбнулся.

— Я и не желаю.

— Без жалованья, — повторил Аракчеев. — Имею честь. Эй, зови! — крикнул он, кланяясь князю Андрею.

Прием графа Аракчеева не охладил князя Андрея к делу своего проекта. Ожидая уведомления о зачислении его в члены комитета, он возобновил старые знакомства, сделал несколько визитов, особенно тем лицам, которые, он знал, были в силе и могли поддержать его, к тем лицам, которые, как он чувствовал общественным чутьем, находились теперь во главе управления и которые озабоченно готовили что-то. Он испытывал теперь в Петербурге чувство, подобное тому, какое он испытывал накануне сражения, когда его томило беспокойное любопытство и непреодолимо тянуло в высшие сферы, туда, где готовилось будущее, от которого зависели судьбы миллионов. Он чувствовал по озлоблению стариков, любопытству непосвященных, по сдержанности посвященных, по торопливости, озабоченности всех, по бесчисленному количеству комитетов, комиссий, которые он новые узнавал каждый день, что теперь, в

1809 году, готовилось здесь, в Петербурге, какое-то огромное гражданское сражение, которого главнокомандующим было неизвестное ему, таинственное и представлявшееся ему гениальным лицо — Сперанский. И это смутно известное ему дело преобразования, и Сперанский — главный деятель, так страстно интересовали его, что самое его дело воинского устава очень скоро стало переходить в сознании его на второстепенное место.

Князь Андрей находился в одном из самых выгодных положений для того, чтобы быть радостно принятым во все самые разнообразные и высшие круги тогдашнего петербургского общества. Партия преобразователей радушно принимала и заманивала его, во-первых, потому, что он имел репутацию ума и большой начитанности, во-вторых, потому, что он своим отпущением крестьян на волю уже сделал себе репутацию либерала. Партия стариков, недовольных, прямо, как к сыну своего отца, обращалась к нему за сочувствием, осуждая преобразования. Женское общество, свет радушно принимали его, потому что он был жених, богатый и знатный, и по-

чти новое лицо с ореолом романической истории о его мнимой смерти и трагической кончине жены. Кроме того, общий голос о нем всех, которые знали его прежде, был тот, что он много переменялся к лучшему за эти пять лет, смягчился и возмужал, что не было в нем прежней гордости и насмешливости и было то спокойствие, которое приобретает годами. О нем говорили, им интересовались, и все желали его видеть.

## IX

**Н**а другой день после посещения графа Аракчеева князь Андрей был вечером у графа Кочубея. Он рассказал графу свое свидание с Силой Андреичем, как и Кочубей называл его с той же неопределенной над чем-то насмешкой, которую заметил князь Андрей в приемной военного министра.

— Мой милый, — сказал Кочубей, — даже и в этом деле вы не минуете Михаила Михайловича. Это великий делец. Я скажу ему. Он обещался приехать вечером...

— Какое же дело Сперанскому до военных уставов? — спросил князь Андрей.

Кочубей, улыбнувшись, покачал головой, как бы удивляясь наивности Болконского.

— Мы с ним говорили про вас на днях, — продолжал Кочубей, — о ваших вольных хлебопашцах...

— Да, это вы, князь, отпустили своих мужиков, — сказал екатерининский старик, презрительно оглянувшись на Болконского.

— Маленькое именье ничего не приносило дохода, — отвечал Болконский.

— Боитесь опоздать, — сказал старик, обращаясь к Кочубею. — Я одного не понимаю, — продолжал старик, — кто будет землю пахать, коли им волю дать? Легко законы писать, а управлять трудно. Все равно как теперь, я вас спрашиваю, граф, кто будет начальником палат, когда всем экзамены держать?

— Те, кто выдержит экзамены, — отвечал Кочубей, закидывая ногу на ногу и оглядываясь.

— Вот у меня служит Пряничников, славный человек, золото, а ему шестьдесят лет, разве он пойдет на экзамены...

— Да, это затруднительно, понеже образо-



вание весьма мало распространено, но... — граф Кочубей не договорил, он поднялся и, взяв за руку князя Андрея, пошел навстречу входящему высокому, лысому, белокурому человеку, лет сорока, в синем фраке с крестом на шее и звездой, с большим открытым лбом и необычайной, странной белизной продолговатого лица. Это был Сперанский. Князь Андрей тотчас узнал его по ни на кого не похожей, совершенно особенного типа фигуре. Ни у кого из того общества, в котором жил князь Андрей, он не видал этого спокойствия и самоуверенности неловких и тупых движений, такого твердого и вместе мягкого взгляда полузакрытых и несколько влажных глаз, такой твердости ничего не значащей улыбки, такого тонкого, ровного, тихого голоса и, главное, этой нежной белизны лица и особенно рук, несколько широких, но необыкновенно пухлых, нежных и белых. Таковую белизну и нежность лица князь Андрей видал только у солдат, долго пробывших в госпитале.

Сперанский не перебегал глазами с одного лица на другое, как это невольно делается при входе в большое общество, и не торопил-

ся говорить. Он говорил тихо, с уверенностью, что будут слушать его, и смотрел только на то лицо, с которым говорил.

Князь Андрей особенно внимательно следил за каждым словом и движением Сперанского. Как это часто бывает с людьми, особенно с теми, которые строго судят своих ближних, князь Андрей, встречаясь с новым лицом, особенно таким, как Сперанский, как он знал его по репутации, он ждал найти в нем полное совершенство человеческих достоинств.

Сперанский сказал Кочубею, что жалеет о том, что не мог приехать раньше, потому что его задержали во дворце. Он не сказал, что его задержал государь. И эту аффектацию заметил князь Андрей. Когда Кочубей назвал ему князя Андрея, Сперанский медленно перевел свои глаза на Болконского с той же улыбкой и молча стал смотреть на него.

— Я очень рад с вами познакомиться, я столько слышал о вас, как и все, — сказал он.

Кочубей сказал о проекте Болконского и о приеме Аракчеева. Сперанский больше улыбнулся.

— Директором комиссии мой хороший приятель Магницкий, — сказал Сперанский, — и ежели вы захотите, я вас сведу с ним и уверен, что вы найдете в нем полное сочувствие всему разумному.

Около Сперанского скоро составился кружок, и тот старик, который говорил о своем чиновнике, Пряничникове, с тем же вопросом обратился к Сперанскому.

Князь Андрей невольно наблюдал все движения этого человека. Его поражало необычайное презрительное спокойствие, с которым Сперанский выдерживал нападки, он изредка улыбался, говоря, что он не может судить о выгоде или невыгоде того, что угодно было государю. Поговорив несколько времени, Сперанский встал и подошел к князю Андрею. Видно было, что он считал нужным заняться Болконским.

— Я не успел поговорить с вами, князь, среди этого одушевленного разговора, — сказал он, презрительно улыбаясь и этой улыбкой признавая как бы то, что они вместе понимают ничтожность этих разговоров. Невольно это обращение польстило князю

Андрею. — Я вас знаю давно, князь, во-первых, по делу вашему о ваших крестьянах, это наш первый пример, которому так желательно бы было больше последователей, а во-вторых, потому, что вы одни — из тех камергеров, которые не сочли себя обиженными новым указом.

— Да, — сказал князь Андрей. — Отец не хотел, чтобы я пользовался этим правом; я начал службу с нижних чинов.

— А между тем так осуждается эта мера.

— Я думаю, однако, что есть основание и в этих осуждениях.

— Основание для личного честолюбия...

— Отчасти и для государства.

— Как вы разумеете?...

— Я почитатель Монтескье, — сказал князь Андрей. — И его мысль, что основание монархии есть честь, мне кажется несомненною. Некоторые права и преимущества дворянства мне представляются средствами для поддержания этого чувства чести.

Улыбка исчезла на белом лице Сперанского, и лицо его много выиграло от этого. Вероятно, мысль князя Андрея показалась ему за-

нимательна.

— Ежели вы смотрите на дело в этом отношении... — начал он по-французски с дурным выговором и еще медленнее, чем по-русски, но совершенно спокойно. Он говорил, что честь не может поддерживаться преимуществами, вредными для хода службы, что честь есть или отрицательное понятие неделания предосудительных поступков, или известный источник соревнования для получения одобрения и наград, выражающих его. Доводы его были сжаты, просты и ясны. Институт, поддерживающий эту честь, есть институт, подобный Почетному легиону Наполеона, не вредящий, а содействующий успеху службы, а не сословное или придворное преимущество.

— Оно, однако, достигает той же цели, — сказал князь Андрей.

— Но вы не хотели воспользоваться, князь, — сказал Сперанский, опять с своей улыбкой. — Ежели вы мне сделаете честь пожаловать ко мне в среду, — сказал Сперанский, — то я, переговорив с Магницким, сообщу вам то, что может вас интересовать, и, кроме того, буду иметь удовольствие подроб-

нее побеседовать с вами. — Он закрыл глаза, поклонился и на французский манер, не прощаясь, стараясь быть незамеченным, вышел из залы.

Первое время своего пребывания в Петербурге князь Андрей почувствовал весь свой склад мыслей совершенно измененным. Может быть, склад его мыслей, его взгляд на жизнь, которые выработались в нем во время его уединенной жизни, и не был изменен, но он был заглушен, затемнен теми мелкими заботами, которые охватили его в Петербурге. С вечера, возвращаясь домой, он в памятной книжке записывал четыре или пять необходимых визитов или встречу в назначенные часы. Механизм жизни, распоряжение дня такое, чтобы везде успеть вовремя, отнимали большую долю самой энергии жизни. Справедливо было, что он это первое время ничего не делал, ни о чем даже не думал и не успевал думать, а только говорил, и с успехом говорил то, что он успел прежде обдумать в деревне, хотя через несколько дней он заметил с неудовольствием, что ему случилось в один

и тот же день, в разных обществах, повторять одно и то же. Но он был так занят целые дни, что не успевал подумать о том, что он ничего не делал. Из прежних интересов жизни только одни смутные мысли о распустившемся дубе, о своем лице и о женщине приходили ему в Петербурге точно так же часто в голову.

Сперанский, как в первое свидание с ним у Кочубея, так и потом в среду дома, где Сперанский один на один принял Болконского и долго доверчиво говорил с ним, Сперанский понравился князю Андрею так, как нравятся новые люди только очень гордым людям. Князь Андрей такое огромное количество людей считал презренными и ничтожными существами, так ему хотелось найти в другом живой идеал того совершенства, к которому он стремился, что в Сперанском, он думал, что нашел этот успокаивающий идеал того человека, который способен был вполне понять его и которого он готов был уважать, любить всей той силой любви и уважения, в которой он отказывал остальным людям. Если бы Сперанский был из того же общества, из которого был князь Андрей, того же воспи-

тания и нравственных привычек, то Болконский скоро бы нашел его слабые, человеческие, не геройские стороны, но теперь этот странный для него, чуждый склад ума тем более внушал ему уважения. Кроме того, Сперанский, потому ли, что он оценил способности князя Андрея, или потому, что нашел нужным приобрести его себе, Сперанский кокетничал перед князем Андреем своим беспристрастным, спокойным разумом, который он выставлял единственным мотивом своих поступков, и льстил князю Андрею той тонкой лестью, соединенной с самонадеянностью, которая состоит в молчаливом признании своего собеседника единственным человеком, способным понимать всю глупость всех остальных и все значение своих мыслей.

Во время длинного их разговора в среду вечером Сперанский не раз говорил: «У нас смотрят на все, что выходит из общего уровня закоренелой привычки...», или с улыбкой: «Но мы хотим, чтобы и волки были сыты и овцы целы...», или: «Они этого не могут понять...» — и все с таким выражением, которое говорило: «Мы, вы да я, мы понимаем, что



они и кто мы». Этот первый длинный разговор с Сперанским только усилил в князе Андрее то чувство уважения и даже восхищения, с которым он в первый раз увидал Сперанского. Он видел в нем добродетельного, разумного, строго мыслящего, огромного ума человека, энергией и упрямством достигшего власти и употребляющего ее только для блага России. Сперанский в глазах князя Андрея был именно тот человек, каким он сам желал быть, человек, разумно объясняющий все явления жизни, признающий действительным только то, что разумно, и ко всему умеющий прилагать мерилу разумности. Все представлялось так просто, ясно и, главное, разумно в изложении Сперанского, что князь Андрей невольно соглашался с ним во всем. Ежели он возражал и спорил, то только потому, что хотел нарочно быть самостоятельным и что вид руки Сперанского, берущей табакерку или платок, раздражали его. Все было так, все было хорошо, но одно, что смущало князя Андрея, это была пухлая, белая, нежная рука Сперанского, на которую невольно смотрел князь Андрей, как смотрят обыкновенно на

руки людей, имеющих власть, и рука эта почему-то раздражала князя Андрея.

Неприятно поражало князя Андрея еще слишком большое презрение к людям, которое он замечал в Сперанском, и разнообразность приемов в доказательствах, которые он приводил в подтверждение своего мнения. Он употреблял все возможные орудия мысли, исключая сравнения, и слишком смело, как казалось князю Андрею, переходил от одного к другому. То он становился на почву практического деятеля и осуждал мечтателей, то на почву сатирика, иронически подсмеивался над противником, то становился строго логичным, то вдруг поднимался в область метафизики. (Это последнее орудие доказательств он употреблял, как только князь Андрей выказывал несогласие с его мнением.) Он переносил вопрос на метафизические высоты, переходил к определениям пространства, времени, мысли и, вынося оттуда опровержения, опять спускался на почву спора.

Вообще главная черта ума Сперанского, поразившая князя Андрея, была общая всем выскочкам покорность уму и несомненная вера

в него. Видно было, что никогда Сперанскому не могла прийти в голову та обыкновенная для князя Андрея мысль, что нельзя выразить всего и что не вздор ли все то, что я говорю и во что верю. Это были смутно подмеченные черты или скорее впечатления, испытываемые князем Андреем во время разговора, но, выходя от него, князь Андрей испытывал к Сперанскому то странное чувство восхищения, похожее на то, которое он когда-то испытывал к Бонапарту. То обстоятельство, что Сперанский был сын священника, которого можно было глупым людям, как это и делали многие, презирать только как кутейника и поповича, заставляло князя Андрея особенно бережно обходиться с своим чувством к Сперанскому и бессознательно усиливать его в самом себе.

Разговор их начался с крестьян князя Андрея, которых он перевел в свободные хлебопашцы. Сперанский с доверием, особенно польстившим князю Андрею, передал ему мысли государя об этом предмете уничтожения рабства. С этого предмета разговор естественно перешел на необходимость единовремен-

ности преобразований и т. д., и т. д.

О проекте нового военного устава Сперанский сказал только, что Магницкий обещал рассмотреть устав с помощью Болконского, но еще не успел этого сделать.

В конце разговора Сперанский предложил князю Болконскому вопрос, отчего он не служит, и предлагал ему место в комиссии составления законов. По этому случаю Сперанский с иронией рассказал о том, что комиссия законов существует 150 лет, стоит миллионы и ничего не сделала, что Розенкампф наклеил ярлычки на все статьи сравнительного законодательства.

— И вот и все. Мы хотим дать новую судебную власть Сенату, а у нас нет законов. Поэтому-то таким людям, как вы, князь, грех не служить теперь.

Князь Андрей сказал, что для этого нужно юридическое образование, которого он не имеет.

— Да его никто не имеет, так что же вы хотите. Это заколдованный круг, из которого надо выйти усилием.

Через неделю князь Андрей был членом комиссии составления и воинского устава, и, чего он никак не ожидал, начальником отделения комиссии составления законов. И по просьбе Сперанского он взял первую часть составляемого гражданского уложения и, с помощью Кодекса Наполеона и Кодекса Юстиниана, работал над составлением отдела прав лиц.

Так жил Андрей до нового 1810 года, того самого, в первый день которого должна была быть введена в действие вся новая конституция и быть первое заседание Государственного совета. Часть своей сделанной работы, занимавшей все его время, он передал Сперанскому. Но через несколько дней узнал, что его работа передана была опять Розенкампу для переделки. Князя Андрея оскорбило то, что Сперанский ничего не сказал ему об этом и передал для переделки его работу тому самому лицу, к которому сам Сперанский выражал не раз полное презрение. Обстоятельство это оскорбило князя Андрея, но нисколько не поколебало того высокого мнения любви и уважения, которые он имел к Сперанскому.

С упорством человека, многое презирающего, князь Андрей крепко держался за свое чувство к Сперанскому. Он раз шесть за это время был у Сперанского, всегда видел его одного и всякий раз много говорил с ним и подтверждался в высоком, совершенно особенном и необыкновенном уме Сперанского. Магницкий, с которым он имел дело по комиссии военного устава, напротив, не нравился ему. Он узнавал в нем тот неприятный тип французского ума с отсутствием французского добродушного легкомыслия, которое производило на него всегда неприятное впечатление. Магницкий говорил прекрасно, говорил часто очень умно, помнил страшно много, но на тот тайный вопрос, который мы всегда делаем себе, слушая умные речи: зачем человек говорит это, — в речах Магницкого не было ответа.

Однажды перед новым годом Сперанский пригласил князя Андрея обедать в дружеском кружке. В паркетной столовой домика у Таврического сада, отличавшегося чистотой, напоминающей монашескую чистоту, князь Андрей нашел в пять часов уже собравшееся все

общество этого дружеского кружка. Дам не было, кроме маленькой дочери с длинным лицом, неприятно похожей на отца, и гувернантки. Тут был Жерве, Магницкий и Столыпин. Еще из передней князь Андрей услышал громкие голоса и громкий звонкий отчетливый и невеселый хохот. Хохот, похожий на тот, каким смеются на театре. Отчетливо отбивал — ха-ха-ха — голос Жерве и самого Сперанского. Магницкий быстро говорил. Магницкий рассказывал анекдоты про глупость одного из сановников, с которым он имел дело, и рассказывал очень остроумно, но смех, который слышался вокруг, показался князю Андрею не смешным. Сперанский подал князю Андрею свою белую, нежную руку, пережевывая кусок и продолжая смеяться. Сели за стол, разговор ни на мгновение не умолкал. Не умолкал и смех, который своей фальшивой нотой резал какую-то чуткую струну в душе князя Андрея. Толстый, огромный Столыпин, заикаясь, говорил о своей ненависти к известному человеку, и в голосе Столыпина была искренность, но тот же смех вторил ему. Сперанский же был здесь, как всегда, сдер-

жан. Видно было, что тут он после трудов хотел отдохнуть и повеселиться в приятельском кружку. Что он слышал, что веселятся веселыми разговорами за обедом, и хотел то же делать; но это было неловко. Тонкий звук его голоса неприятно поражал князя Андрея. Темы разговоров — большей частью насмешки над людьми, давно осмеянными, и, главное, смех был тяжелый. Князь Андрей не смеялся и боялся, что он будет тяжел для этого общества. Но никто не замечал его несоответствие к общему настроению.

После обеда дочь с гувернанткой встали, и Сперанский, приласкав дочь своей белой рукой, поцеловал ее. И это было фальшиво, как показалось князю Андрею.

Мужчины по-английски остались за столом и за вином, портвейном. О серьезном ни о чем не говорилось, и было шутливо запрещено затрагивать такие вопросы. Надо было шутить, и все шутили. Князь Андрей несколько раз, желая выйти из неловкого положения, вступал в их разговор, но всякий раз его слово выбрасывалось вон, как пробка из воды, и он не мог шутить с ними вместе. Ему представ-



лялось, точно они глухие, взявшие квартетные инструменты и научившиеся играть на них только по виду, и вот играют на них. Ничего не было дурного или неуместного в том, что они говорили, напротив, все было умно и могло бы быть смешно, но чего-то того самого, что составляет соль веселья, не только не было, но они и не знали, что оно бывает.

Магницкий сказал стихи, сочиненные им на князя Василия. Жерве тотчас же импровизировал ответ, и они вдвоем представили сцену князя Василия с женою. Князь Андрей хотел уехать, но Сперанский удержал его. Магницкий нарядился в женское платье и продекламировал монолог Федры. Все смеялись. Князь Андрей рано раскланялся с гостями и вышел.

Враги Сперанского — старая партия — говорили, что он вор, взяточник, говорили, что он безумный иллиуминат или легкомысленный мальчишка. И говорили это не с тем, чтобы оскорбить или очернить Сперанского, но потому, что были в этом искренно убеждены. В кругу Сперанского, как теперь услышал князь Андрей, говорили, что люди старой

партии — воры, бесчестные, глупые, и смеялись над ними. И тоже не потому, что хотели очернить их, но искренно так думали. Это оскорбило князя Андрея. Зачем было осуждать, зачем личности, мелкая злоба у Сперанского, делающего такое великое дело. И потом этот аккуратный, невеселый смех, который не переставал звучать в ушах князя Андрея. Князь Андрей разочаровался в Сперанском, но еще более, ежели это было возможно, увлекся своим делом, участием в общем преобразовании. Окончив свою работу по гражданскому своду, он писал теперь проект освобождения крестьян и с волнением ждал открытия нового Государственного совета, в котором должны были быть положены первые основания конституции. У князя Андрея было уже свое прошедшее в этом деле, связывавшее его, были свои связи и свои ненависти, и он, ни на мгновение не сомневаясь в важности дела, отдавался ему всей душою.

## Х

Было много причин, которые привели Пьера к этому соединению с женой, но одна из главных и почти единственная была та, что Элен, ее родные и друзья считали для себя делом большой важности соединение супругов, а Пьер ничто в жизни не считал делом большой важности и не считал таким свою свободу и свое упорство в наказании жены. Аргумент, который победил его, хотя никто и он сам не приводил его себе, был тот, что мне это ничего не стоит, а им доставит большое удовольствие.

Для графини Елены Васильевны, для ее положения в обществе, было необходимо жить домом с мужем и именно с таким мужем, как Пьер, и потому с ее стороны и со стороны князя Василия были употреблены с свойственной глупым людям настойчивостью все возможные хитрые и упорные средства для убеждения Пьера. Главным средством было действие через Великого мастера ложи Иосифа Алексеича Поздеева, который имел большое влияние на Пьера. Пьер же, как человек, ничему

житейскому не приписывающий важности, скоро согласился, особенно потому, что после двух лет болезненная рана, нанесенная его гордости, уже зажила и загрубела. Великий мастер ложи, которого масоны звали не иначе, как Благодетелем, жил в Москве. Масоны во всех затруднительных случаях жизни обращались к нему, и он, как духовник, давал советы, принимающиеся как приказания. В настоящем случае он сказал Пьеру, нарочно для свидания с ним приехавшему в Москву: 1) что, женившись, он взял на себя обязанность руководить женщиной и потому не имеет права предоставить ее себе, 2) что преступление жены его не доказано, что ежели бы оно было доказано, то и то он не имеет права отвергнуть ее, 3) что человеку нехорошо одному быть, и так как ему нужна жена, то он не может брать другой, кроме той, какая есть. Пьер согласился. Элен приехала из-за границы, где она жила все это время, и у князя Василия произошло примирение. Он поцеловал руку своей улыбающейся жены и через месяц поселился с ней в большом петербургском доме.

Два года изменили Элен. Она была еще красивее и спокойнее. До свидания с нею Пьер думал, что он в состоянии будет искренно соединиться с нею, но, когда он увидел ее, он понял, что это было невозможно. Он отклонился от ее объяснений, галантно поцеловал ее руку и устроил в общезанимаемом ими доме свою отдельную половину в низеньких комнатках третьего этажа. Иногда, особенно когда бывали гости, он сходил обедать и часто присутствовал на вечерах и балах жены, на которые собиралась вся весьма замечательная часть самого высшего петербургского общества. Как и всегда, и тогда высшее общество, несмотря на то, что все соединялось вместе при дворе и на больших балах, подразделялось на несколько кружков, имеющих каждый свой оттенок. Был, хотя и небольшой, но ясно определенный кружок недовольных союзом с Наполеоном, кружок легитимистов, Жозефа Местра и Марьи Федоровны (к кружку этому, само собой, принадлежала Анна Павловна). Был кружок М.А.Нарышкиной, кружок, которого характером было светское изящество без всякого политического оттен-

ка. Был кружок деловых людей, более мужской, либералов: Сперанского, Кочубея, князя Андрея, был кружок польской аристократии, А.Чарторижского и других, и был кружок французский, наполеоновского союза, — графа Румянцева, Коленкура, и в этом кружке один из самых видных центров заняла Элен. У нее бывали господа французского посольства, и сам Коленкур, и большое количество людей, известных своим умом и любезностью, принадлежащих к этому направлению.

Элен была в Эрфурте во время знаменитого свидания императоров и оттуда привезла эти связи со всеми наполеоновскими достопримечательностями Европы. В Эрфурте она имела блестящий успех. Она был элегантна и хороша больше, чем прежде, и это не удивляло Пьера, но удивляло его то, что за эти два года жена его успела приобрести себе репутацию прелестной женщины, столь же умной, сколь и прекрасной. Секретари посольства и даже посланник доверяли ей дипломатические тайны, она была сила в некотором смысле. Известный герцог де Линь писал ей письма на восьми страницах. Билибин приберегал

свои острооты, чтобы в первый раз сказать их перед графиней Безуховой. Быть принятым в салоне графини Безуховой считалось дипломом ума, и молодые люди прочитывали книги перед вечером Элен, чтобы было о чем говорить в ее салоне. Пьер, который знал, что она была очень глупа, с странным чувством недоумения и страха, что вот-вот откроется обман, присутствовал на ее вечерах, где говорилось о политике, поэзии и философии. На этих вечерах он испытывал чувство, подобное тому, которое должен испытывать фокусник, ожидая всякий раз, что обман его будет открыт. Но оттого ли, что для производства такого салона именно нужна только глупость, или потому, что сами обманываемые находили удовольствие в своем обмане, обман не открывался, и репутация женщины прелестной и умной непоколебимо утвердилась за Аленой Васильевной.

Пьер был именно тем самым мужем, который нужен был для этой блестящей светской женщины. Он был тот рассеянный чудаков, важный господин по приемам, никому не мешающий и не только не портящий общего

впечатления, но своей противоположностью изяществу и такту жены служащий выгодным для нее фоном. Пьер, возмужавший, как и всегда люди мужают после женитьбы, за эти два года, вследствие своего постоянного сосредоточенного занятия высшими масонскими интересами, теперь еще более возмужал и невольно приобрел тот тон равнодушия и небрежности в неинтересовавшем его обществе, который не приобретается искусственно и внушает невольное уважение. Он входил в гостиную своей жены как в буфет. Со всеми был знаком и старался как можно менее скучно провести то время, которое он проводил дома. Иногда он вступал в разговор, заинтересовавший его, и тогда, шамкая, говорил свои мнения, иногда очень бестактно. Но мнение о чудаке муже самой замечательной женщины Петербурга уже так установилось, что никто не принимал серьезно его выходок. Он так больно страдал два года тому назад, узнав о оскорблении, нанесенном ему женой, что теперь он спасал себя от возможности подобного оскорбления, во-первых, тем, что он не был ее мужем, во-вторых, тем, что он бес-



сознательно отвертывался от всего того, что могло ему дать мысль о подобном оскорблении, и был твердо уверен, что жена его сделалась синим чулком и потому не может увлекаться еще другим.

Борис Друбецкой, уже весьма успевший на службе и бывший в Эрфурте, после возвращения оттуда двора был домашним человеком в доме Безуховых. Элен называла его «мой паж» и обращалась с ним как с ребенком. Улыбка ее в отношении его была та же, как и ко всем, но иногда она, не улыбаясь, смотрела на него. В редкие минуты Пьеру приходила мысль, что эта покровительственная дружба к мнимому ребенку, которому было двадцать три года, имела что-то неестественное, но потом он упрекал себя в этом недоверии. И притом так естественно и смело Элен обращалась с своим пажом.

Самое обращение Бориса в первую минуту неприятно поразило Пьера. Борис, со времени своего приезда в Петербург и интимности в его доме, обращался с особенной достойной и грустной почтительностью с Пьером. «Этот оттенок почтительности относится, вероятно,

к моему новому положению», — подумал Пьер и старался не обращать на него внимания, но странно, — присутствие Бориса в гостиной жены (а оно было почти постоянно) физически действовало на Пьера. Оно оковывало все его члены, уничтожало бессознательность и свободу движений. «Такая странная антипатия», — подумал Пьер и реже стал бывать дома.

В глазах света Пьер был большой барин, муж знаменитой жены, добрый малый, умный чудака, хотя и ничего не делающий, но никому не вредящий. В душе же Пьера происходила за все это время сложная и трудная работа внутреннего развития, открывшая ему многое, приведшая его ко многим духовным радостям и сомнениям.

Свидание с Благодетелем, во время которого Пьер был убежден соединиться с своей женой, имело большое влияние на Пьера и открыло ему многие стороны масонства. С этого посещения Пьер за правило поставил себе регулярно писать свой дневник, и вот что он писал в нем:

**«Москва, 17 ноября.**

Сейчас только приехал от Благодетеля и спешу записать все, что я испытал при этом. Зная Иосифа Алексеевича по письмам и речам, читанным у нас, по великому занимаемому им у нас званию и всеобщему благоговению к нему, я ехал, готовясь увидеть величественного старца, образец добродетели, и то, что я увидал, было выше того, что я ожидал. Иосиф Алексеевич невысокий, худой, но с чрезвычайно широкой костью старец, с сморщенным, хмурым лицом и большими, седыми бровями, из-под которых глядят огненные глаза. Он живет бедно и грязно. Страдает несколько лет мучительною болезнью пузыря, и никто никогда не слышал от него стона или слова ропота. С утра и до поздней ночи, за исключением часов, когда он кушает самую простую грубую пищу, он работает, составляя послания, акты и работая над наукой самопознания. Он принял меня милостиво, изволил сказать, что знает меня, посадил подле себя на кровать, на которой он лежал. По случаю разговора нашего о мо-

их семейных делах он сказал мне:  
„Главная обязанность истинного ма-  
сона состоит в совершенствовании са-  
мого себя. И часто мы думаем, что,  
удалив от себя все трудности нашей  
жизни, мы скорее достигнем этой це-  
ли. Напротив, государь мой, — сказал  
он мне, — только в среде светских вол-  
нений можем мы достигнуть трех  
главных целей: 1) самопознания, ибо  
человек может познавать себя толь-  
ко через сравнение; 2) совершенствова-  
ния, так как только борьбой достига-  
ется оно, и 3) главное — любовь к смер-  
ти. Только превратности жизни мо-  
гут показать нам тщету ее и могут  
содействовать нашей врожденной  
любви к смерти или возрождению к  
новой жизни“. Слова эти тем более за-  
мечательны, что Иосиф Алексеевич,  
несмотря на свои тяжкие физические  
страдания, никогда не тяготится  
жизнью, а любит смерть, к которой  
не чувствует себя еще достаточно го-  
товым. Разговор зашел потом о дей-  
ствиях нашей ложи, и Иосиф Алексее-  
вич не одобрил последние действия. Он  
сказал, что настоящее направление

новейших лож увлекается общественной деятельностью, тогда как главная цель должна быть достижение мудрости и воздвижение в себе самом храма Соломона. Он объяснил мне вполне значение Великого квадрата мироздания и указал на то, что тройственное и седьмое число суть основание всего. Он советовал мне заняться переее всего своим совершенствованием и с этою целью дал мне тетрадь, ту самую, в которой я пишу и буду вписывать впредь все свои поступки, отступающие от семи добродетелей».

**«Петербург, 23 ноября.**

Я опять живу с женою. Вчера мы переехали в наш дом, я вновь устроился в верхних комнатах и испытал счастливое чувство обновления. Жене я сказал, что старое забыто, что я никогда не помяну о нем, прошу ее делать то же и что мне прощать нечего. Мне радостно было сказать ей это. Пусть она не знает, как тяжело мне было простить ее. По составленному для себя расписанию встал в восемь, читал Священное писание, потом пошел

к должности (Пьер служил в одном из комитетов), возвратился к обеду, ел и пил умеренно и после обеда списывал пьесы для братьев. Вечеру рассказал смешную историю о Б. и только тогда вспомнил, что этого не должно было делать, когда все уже громко смеялись. Ложусь спать с счастливым и спокойным духом. Господи великий, помоги мне ходить по стезям твоим: 1) побеждать гнев — тихостью, медлением, 2) похоть — воздержанием и отвращением, 3) удаляться от суеты, но не отучать себя от: а) государственных дел — службы, б) от забот семейных, с) от дружеских отношений и д) экономических занятий».

Следующие числа дневника Пьера показывают, что за малыми отступлениями около недели он исполнял свои обеты и испытывал за это время состояние счастья и даже восторга, которое заставляло его думать по ночам и видеть сновидения в том же порядке мыслей, из которых некоторые он записывал. Так, 28 ноября было записано следующее:

*«Видел сон, будто Иосиф Алексеевич в*

моем доме сидит, и я рад очень и желаю его угостить. Будто я с посторонними неумолчно болтаю и вдруг вспомнил, что это ему не может нравиться, и желаю к нему приблизиться и его обнять. Но только что приблизился, вижу, что лицо его преобразилось, стало молодым, и он мне тихо-тихо что-то говорит из учения, так тихо, что я не могу расслышать. Потом, потом будто вышли мы все вон из комнаты, и что-то тут случилось мудреное. Мы сидели или лежали на полу. Он мне что-то говорил. А мне будто захотелось показать ему свою чувствительность, и я, не вслушиваясь в его речи, стал себе воображать состояние своего внутреннего человека и осенившую меня милость Божию, и появились у меня слезы на глазах, и я был доволен, что он это заметил. Но он, взглянув на меня с досадой, вскочил, пресекиши свой разговор. Я оробел и спросил, не ко мне ли сказанное относилось, но он, ничего не отвечая, показал мне ласковый вид. И после вдруг очутились мы в спальне моей, где стоит двойная кровать. Он лег на нее на

край, а я, будто пылая к нему желанием ласкаться, прилег тут же. И он будто у меня спрашивает: скажите по правде, какое вы имеете главное пристрастие? Узнали ли вы его? Я думаю, что вы его узнали? Я, смутившись сим вопросом, отвечал, что лень — мое главное пристрастие. Он недоверчиво покачал головою. И я, еще более смутившись, отвечал, что я, хотя и живу с женою по его совету, но не как муж жены своей. На это он возразил, что не должно жену лишать своей ласки, давая чувствовать, что в этом была моя обязанность. Но я отвечал, что я стыжусь этого, и вдруг все сокрылось. И я проснулся и нашел в мыслях своих текст священного писания: Живот бе свет человеком, и свет во тьме светит, и тьме его не объять. Лицо у Иосифа Алексеевича было молоджавое и светлое. В этот день получил письмо от Благодетеля, в котором он пишет о обязанности супружества.

Другой сон. Вижу я, что иду в темноте и вдруг окружен собаками (которые кусают меня за ноги), но иду без страха, вдруг одна небольшая схвати-



ла меня за левое стегно зубами и не выпускает.

Я стал давить ее руками. И только что я оторвал ее, как другая, еще большая, схватила меня за грудь, я оторвал эту, но третья, еще большая, стала грызть меня. Я стал поднимать ее, и чем больше поднимал, тем она — больше и тяжелее. И вдруг идет брат А.И. и, взяв меня под руку, повел с собою и привел к зданию, для входа в которое надо было пройти по узкой доске. Я ступил на нее, и доска отогнулась и упала, и я стал лезть на забор, до которого едва достигал руками. После большого усилия я перетащил свое тело, так что ноги висели на одной, а туловище на другой стороне. Я оглянулся и увидел, что брат А.И. стоит на заборе и указывает мне на большую аллею и сад, и в саду большое и прекрасное здание. Я проснулся. Господи, Великий Архитектор природы, помоги мне оторвать от себя собак — страстей моих, и последнюю из них, совокупляющую в себе силы всех прежних, и помоги мне вступить в тот храм добродетели, какого я во сне до-

стигнул лицезрения».

**«30 ноября.** Встал поздно и, проснувшись, долго лежал на постели, предаваясь лени. Боже мой! Помоги мне и укрепи меня, дабы я мог ходить по путям Твоим. Читал Священное писание без надлежащего чувства. Потом пришел брат Урусов, беседовали о суетах мира. Рассказывал о новых предначертаниях государя. Я начал было осуждать, но вспомнил о своих правилах и слова Благодетеля нашего о том, что истинный масон должен быть усердным деятелем в государстве, когда требуется его участие, и спокойным созерцателем того, к чему он не призван. Язык мой — враг мой. Посетили меня братья Г.В. и О., была приуготовительная беседа для принятия нового брата. Они возлагают на меня обязанности ритора. Чувствую себя слабым и недостойным. Потом зашла речь о объяснении семи столбов и ступеней храма: семи наук, семи добродетелей, семи пороков, семи даров Святого духа. Брат О. был очень красноречив. Вечером совершилось принятие. Новое

устройство помещения много содействовало великолепию зрелища. Принят был Борис Друбецкой. Я предлагал его, я и был оратором. Странное чувство волновало меня во все время моего пребывания с ним одним в темной храмине. Я застал в себе к нему чувство ненависти, которое я тщетно стремлюсь преодолеть. И потому-то я желал бы истинно спасти его от злого и ввести его на путь истины, но дурные мысли о нем не оставляли меня. Мне думалось, что цель вступления в братство состояла только в желании сблизиться с важными людьми, которые находятся в нашей ложе. Кроме тех оснований, что он несколько раз спрашивал, не находится ли в нашей ложе NN. и SS. (на что я не мог ему ответить), кроме того, что он, по моим наблюдениям, не способен чувствовать уважения к нашему святому ордену и слишком занят и доволен своим внешним человеком, чтобы желать улучшения духовного, я не имел оснований сомневаться в нем; но он мне казался неискренним, и все время, когда я стоял с ним один на один в

темной храмине, мне казалось, что он презрительно улыбается на мои слова, и хотелось действительно уколоть его обнаженную грудь шпагой, которую я держал, приставленную к ней. Я не мог быть красноречив и не мог искренно сообщить своего сомнения братьям и Великому Мастеру. Великий Архитектор природы, помоги мне находить истинные пути, выводящие из лабиринта лжи.

За обедом был воздержан, от одного блюда отказался, но опился. Так что встал из-за стола тяжелый и сонный».

После было пропущено три дня и написано следующее:

*«Имел продолжительный и поучительный разговор наедине с братом И. Много, хотя и недостойному, мне было открыто. Адоиаи есть имя сотворившего мир. Элоим есть имя правящего всем. Третье имя — имя неизречаемое, имеющее значение ВСЕГО. Беседы с А. подкрепляют, освежают и утверждают меня на пути добродетели. При нем нет места сомнению.*

Мне ясно различие бедного учения наук общественных с нашим святым, все обнимающим учением. Науки человеческие все подразделяют, чтобы понять, все убивают, чтобы рассмотреть. В святой науке ордена все едино, все познается в своей совокупности и жизни. Троица — три начала вещей — сера, меркурий и соль. Сера елейного и огненного свойства; она в соединении с солью огненностью своею возбуждает в ней алкание, посредством которого притягивает меркурий, схватывает его, удерживает и совокупно производит отдельные тела. Меркурий есть жидкая и летучая духовная сущность — Христос, Дух Святой, Он. Все так же ленив и чревоугодлив. Вспомнил о правиле воздержания в конце обеда, но было поздно. Смотрел на Марью Михайловну с похотливыми мыслями. Господи, помоги мне».

**«4 декабря.** Была мастерская товарищеская ложка. И описание страданий отца нашего Адонирама. Я слушал и, как и в первый раз, когда познал это, на меня нашло сомнение. Был ли Адо-

нирам, не есть ли это аллегория, имеющая свое значение. Объяснил брату О. свои сомнения. Он сказал мне, что должно терпеливо ждать открытия дальнейших таинств, которые объяснят многое. Нынче вечер провел у графини (у жены). Не могу преодолеть внутреннего отвращения к ней. Увлёкся беседой с NN о суетном и ничтожном и злобно трунил над сенаторами. Ужинал неумеренно, так что всю ночь спал с дурными грезами».

«7 декабря. Мне было поручено устройство и председательство в столовой ложе. Бог помог мне устроить все удовлетворительно. Я уговорил князя Андрея быть с нами. Я мало вижу его и не могу следить за ним. Он увлечен мирской борьбой, и я каюсь, что часто завидую ему, хотя участь моя должна бы была казаться мне предпочтительнее. Он заехал ко мне и с гордостью говорил о своем успехе. Он горд и в своем успехе рад столько же водворению добра, сколько и победой над теми, кого он считает своими врагами. Я старался пригото-

вить его к торжественности нынешнего заседания, но он слушает меня с кротостью и вниманием, и я чувствую, что не проникаю в его душу, как Благодетель в мою, когда он говорит со мною. Князь Андрей принадлежит к холодным, но честным масонам. Все масоны подразделяются, по моим наблюдениям, на четыре разряда. К первому принадлежат те редкие светила, как Благодетель, которые вполне усвоили себе святыи истины, в которых длинный пройденный путь утверждает в предприятии пройти остальной путь, для которых таинств меньше, чем знания, которые жизнь свою слили с святым учением и которые служат образцами человечества. Таких мало. Ко второму разряду принадлежим мы, ищущие, колеблющиеся, отступающие и раскаивающиеся, но ищущие истинного света самопознания и воздвижения внутреннего храма.

К третьему принадлежат люди, как и милый друг мой Болконский, и О., и Б., и их много. Эти масоны равнодушно смотрят на наши работы, не ожида-

ют от них успеха, хотя и не сомневаются. Это люди, которые отдают нашему делу только малую часть своей души. Они поступают, как князь Андрей, потому что их приглашают и потому что они, хотя и не видят всего света Сиона, не видят ничего, кроме хорошего в масонстве. Это верные, но ленивые братья. К четвертому разряду, наконец, принадлежат те, которые, увы, вступают в святое братство только потому, что на это мода и что в ложе они делают нужные им для светских целей связи с богатыми и знатными людьми. Таких много, и молодой Друбецкой принадлежит к ним. Ложа прошла благополучно и торжественно. Много ел и пил. После обеда в ответной речи не мог иметь всей нужной ясности, что многие и заметили».

**«12 декабря.** Проснулся поздно. Читал Священное писание, но был бесчувствен. После вышел и ходил по залу. Хотел размышлять, но вместо того воображение представило одно происшествие, бывшее четыре года тому



назад. Французский виконт после моей дуэли имел дерзость проститься со мной и сказать, что он желает мне здоровья и душевного спокойствия. Я тогда ничего не отвечал. Теперь я припомнил все подробности этого свидания и в душе своей говорил ему самые злобные слова и колкие ответы. Опомнился только тогда и бросил сию мысль, когда увидел себя в распадении гнева, но недостаточно раскаялся в этом. После пришел Борис и стал рассказывать разные приключения, я же с самого его прихода сделался недоволен его посещением и сказал ему что-то противное. Он возразил. Я вспыхнул и наговорил ему множество неприятного и даже грубого. Он замолчал, а я спохватился только тогда, когда уже было поздно. Боже мой, я совсем не умею с ним находиться. Этому причиной мое самолюбие. Я ставлю себя выше его, а потому делаюсь гораздо его хуже, ибо он снисходителен к моим грубостям, а я, напротив того, питаю к нему презрение. Боже мой, даруй мне в присутствии его видеть больше мою мерзость и поступать так, чтобы и

ему это было полезно.

После обеда заснул, и в то время как засыпал, услышал явственно голос, сказавший мне в левое ухо: „Твой день“. Видел сон, после которого проснулся с просветленной душой и трепещущим сердцем. Видел, будто я в Москве в своем доме в большой диванной и из гостиной входит Иосиф Алексеевич. Будто я тотчас узнал, что с ним уже совершился процесс возрождения, и бросился ему навстречу. Я будто его целую и руки его, а он говорит: „Приметил ли ты, что у меня теперь лицо другое?“ Я посмотрел на него, продолжая держать его в своих объятиях, и будто вижу, что лицо его молодое, но волос на голове нет и черты совершенно другие. И будто я ему и говорю: „Я бы вас узнал, ежели бы случайно с вами встретился“, — и думаю вместе с тем: „Правду ли я сказал?“ И вдруг вижу, что он лежит как труп мертвый, потом понемногу пришел в себя и вошел со мной в большой кабинет, держа большую книгу, писанную его рукой. Он положил книгу и стал читать. И будто я говорю: „Это я написал“. И

он ответил мне наклонением головы. И многое я прочел в этой книге. И все, что я прочел, было определение цели. Из этих мыслей, представившихся мне во сне, я и составил следующую речь, которую имею прочесть в ложе».

**«26 декабря.** Я долго не заглядывал в эту тетрадь и в свою душу. Я предался вполне суете и всем порокам своим, которые я льстил себе уничтожить. Вчера я постигнул, к какой пучине зла вела меня эта беспечность, ужаснулся и решился опомниться. В Петербург приехали мои давнишние московские знакомые Ростовы. Старый граф весьма добрый человек, встретив меня у Н., пригласил к себе, и я две недели каждый день у них бываю, только вчера поняв, для чего я это делал. Меньшая дочь, Наталья, имеет прекрасный голос и обворожительную наружность. Я возил ей ноты, слушал ее пение, смешил ее и говорил с нею даже о высоких предметах. Эта девушка все понимает. Но вчера вечером старшая сестра ее, шутя, сказала, что когда я пять лет тому назад был у них на

именинах в Москве, меньшая дочь Наталья сделалась влюблена в меня. Услыхав эти слова, я так смутился, покраснел и почувствовал даже слезы на глазах, что ничего не нашел сказать, и встал, заметив, однако, что и она также покраснела. Это обстоятельство заставило меня вникнуть в свои чувства и ужаснуться того, чему я подвергал себя. В прошедшую ночь я видел сон. Вижу, будто кто-то показывает мне большую книгу в александрийский лист. И в книге этой на всех страницах прекрасно нарисовано. И я будто знаю, что эти картины представляют любовные похождения души с ее возлюбленным. И на страницах будто я вижу прекрасное изображение девицы в прозрачной одежде и с прозрачным телом, возлетающей к облакам. И будто я знаю, что эта девица есть не кто другая, как меньшая графиня Ростова, и вместе с тем знаю, что это есть изображение Песни Песней. И будто я, глядя на эти рисунки, чувствую, что я делаю дурно, и не могу оторваться от них.

Господи, помоги мне. Боже мой, ежели

*это оставление меня Тобою есть действие Твое, то да будет воля Твоя, но ежели же я сам причинил сие, то научи меня, что мне делать. Я погибну от своей развратности, буде Ты меня вовсе оставишь».*

В последних числах декабря Пьер в торжественном заседании ложи 2-го градуса прочел свою речь о средствах распространения чистой истины и торжества добродетели. И речь эта произвела не только сильное впечатление, но и волнение в ложе. Безухов находился в таком волнении при чтении своей речи, с таким чувством и жаром говорил, почти с слезами на глазах, что чувство его сообщилось многим из искренних братьев и испугало многих, которые видели в этой речи опасные замыслы. Давно не было столь бурного заседания. Составились партии. Многие спорили, обвиняли Пьера, осуждали его в иллюминатизме, многие поддерживали его. Великий Мастер, председательствующий в ложе, кончил прения тем, чтобы послать речь на обсуждение высших степеней и до тех пор прекратить о ней дело и заняться обычными

работами. Пьер никак не думал сам, чтобы он с такой силой был убежден в том, что он говорил, до тех пор, пока он не прочел своей речи и не встретил с нею несогласия. Братья с удивлением в первый раз заметили в Безухове страстность и энергию, которой не ожидали в нем. Он забывал условные обряды, перебивал всех, раскрасневшись, кричал, находился в состоянии энтузиазма, которое самому ему доставляло огромное наслаждение. Великий Мастер сделал Безухову замечание о его горячности и о том, что не одна любовь к добродетелям, но и увлечение борьбы руководило им в споре, в чем Пьер не мог не сознаться.

Вместо того чтобы ехать домой, Пьер прямо из ложи поехал к князю Андрею, которого он давно не видал. Пьера в первый раз поразило на этом собрании то бесконечное разнообразие умов человеческих, которое делает то, что никакая истина одинаково не представляется двум людям. Несмотря на всю силу своего убеждения, Пьер не мог ни одного человека убедить вполне в своих мыслях: каждый понимал по-своему, с ограничениями, из-

менениями; а между тем главная потребность мысли состоит в том, чтобы передать ее другому точно так, как ее сам понимаешь. Князь Андрей был дома за работой. Он внимательно выслушал рассказ Пьера о заседании ложи, сделал несколько замечаний и, когда Безухов кончил, встал и стал ходить по комнате.

— Все это прекрасно, мой друг, все это истина, и я бы был ревностный брат, ежели бы я верил в возможность всего этого, — заговорил он, с блестящими глазами глядя на Пьера, — но ничего этого не будет: чтобы сделать такое преобразование, нужна власть, и власть в руках правительства! И, чем нам парализовать его, нужно помогать ему, особенно такому правительству, как наше.

— Да, но это случайно, — сказал Пьер, — а силы и действия ордена вечны. Случайно теперь человек, как Сперанский.

— Не Сперанский, — сказал князь Андрей, — государь, а главное, время, образование.

— Что вы так презрительно говорите о Сперанском? — спросил Пьер.

— Сперанский. Одним заблуждением меньше, мой милый, — сказал князь Андрей. — Сперанский это выслужившийся ку-тейник, немножко, на волосок, умней толпы.

— Милый мой! — с упреком сказал Пьер. — Кастовый дух...

— Нет, не кастовый дух. А я узнал его. Я никому не говорил и не буду говорить этого. Все лучше он, чем Аракчеев, но Сперанский не мой герой. Сперанский. Нет, что говорить. Но не Сперанский может что-нибудь сделать, а учреждения, которые вынуждаются временем и делаются людьми, всеми нами. Мы не понимаем того времени, которое мы переживаем теперь. Это одно из величайших событий истории. Государь сам ограничивает свою власть и дает права народу. Ведь это хорошо не понимать старикам. Но нам как же не чувствовать того, что делается теперь? Это лучше и выше всех военных подвигов. На днях открывают Государственный совет как сословие государства. Министры отдают отчеты публично. Финансовые дела объявляются народу. Нынче, завтра пройдет проект освобождения рабов. Чего желать, чего еще нуж-



но?

— Да, это прекрасно, — говорил Пьер, — но согласитесь, что есть другая сторона души, которая не удовлетворяется этим, которую только наше святое братство поддерживает и просвещает. Я не понимаю, как вы можете быть холодным братом.

— Да я не холодный брат, особенно теперь. Ваш орден, я знаю, одно из лучших учреждений в мире, но этого мало для жизни.

Пьер помолчал.

— Отчего вы не женитесь? — сказал он. — Я думал о вас, вам надо жениться.

Князь Андрей молча улыбнулся.

— Ну, что ж я, — отвечал Пьер, — какой я пример? Я женился мальчишкой, впрочем... в сущности, Элен не дурная женщина, в сущности...

Князь Андрей радостно, кротко улыбнулся и, подойдя к Пьеру, потрепал его рукой.

— Мне ужасно жалко, что мы мало виделись с тобою, — сказал он. — Я не знаю, отчего ты так всегда возбуждительно на меня действуешь. Посмотрю на твою рожу, и весело и молодо делается.

— Женитесь, — повторил Пьер с сияющей улыбкой, глядя на Андрея. И в эту же минуту ему пришла мысль, на ком надо жениться князю Андрею. Одна девушка, лучше которой он не знал, была достойна его лучшего друга. Это была Ростова. Пьеру показалось, что он и прежде об этом думал, и только для этого так полюбил ее. — Вам надо жениться, и я знаю на ком, — сказал он.

Князь Андрей странно покраснел при этом слове. Его воспоминания о дубе и связанных с ним мыслях вдруг представились ему.

— Мария и то женит меня, — сказал он. — Тут есть ее друг, Жюли Корнакова. Знаешь ее.

— Знаю, это не то, — сказал Пьер. — Я для вас не хочу брака по рассудку, я хочу, чтобы вы ожили, и я знаю...

— Нет, мой друг, мне не должно об этом думать, и я не думаю. Какой я муж, больной и слабый. Моя рана на днях опять открылась, и меня Вилье посылает за границу.

— Вы будете на бале Льва Кирилловича послезавтра? — спросил Пьер.

— Да, буду.

**31** декабря, накануне нового 1810 года, в со-  
чельник, был бал у Льва Кирилловича  
Нарышкина, екатерининского вельможи. На  
бале должен был быть дипломатический кор-  
пус, Коленкур и государь.

На Английской набережной светился бес-  
численными огнями иллюминации извест-  
ный дом вельможи. У освещенного подъезда  
с красным сукном стояла полиция, и не одни  
жандармы, но полицеймейстер на подъезде и  
десятки офицеров полиции. Экипажи отъез-  
жали, и все подъезжали новые с лакеями в  
перьях на шляпах. Из карет выходили мужчи-  
ны в мундирах, звездах и лентах; дамы в ат-  
ласе и горностаях легко соскакивали с под-  
ножки, и на мгновение виднелись толпе лег-  
кие и грациозные очертания и движения.

Почти всякий раз, как подъезжал новый  
экипаж с блестящим лакеем, в толпе пробе-  
гал ропот и снимались шапки.

— Государь?... Нет, министр, князь, послан-  
ник. Разве не видишь перья?... — говорилось  
из толпы. Один из толпы, в шляпе, казалось,

знал всех и называл по имени знатнейших вельмож того времени.

Наконец, что-то очень зашевелились, полицеймейстер приложил руку к шляпе, и из кареты легко лаковым сапогом с шпорой ступил на освещенное красное сукно государь. Шапки снялись, и знакомая народу молодая и красивая фигура государя, с зачесанным затылком и взлизами, с высокими эполетами из-под шинели, быстро прошла в подъезд и скрылась. Государь держал в руке шляпу с плюмажем и что-то мельком сказал полицеймейстеру, вытянутому и наклоненному.

Из-за окон неслись стройные звуки большого и прекрасного оркестра, и по освещенным окнам зашевелились перед глазами толпы тени мужчин и женщин. Залы бала были уже полны народу. Тут был Сперанский, и князь Кочубей, и Салтыков, и Вязьмитиновы, и их жены и дочери, и весь Петербург, и все придворные чины, и дипломатический корпус, и приезжие сановники Москвы, и неизвестные гвардейские офицеры, танцоры, и все и вся. Тут был и князь Василий. Тут были и князь Андрей, и Пьер, и Борис, и Берг с же-

ной, и старичок Ростов, и графиня с током по вкусу Наташи, и Соня и Наташа в белых платьях и с розанами в волосах.

Наташа ехала на первый большой бал в своей жизни. Много было толков и приготовлений для этого бала, много страхов, что приглашение не будет получено, платье не будет готово и не устроится все так, как было нужно. Вместе с Ростовыми ехала на бал Марья Игнатьевна Перонская, приятельница и родственница графини, фрейлина старого двора, худая старая девушка. Она все устроила для Ростовых, и в 10 часов вечера Ростовы должны были за ней заехать к Таврическому саду. Ежели дело шло о купанье, то Наташа все силы устремляла на то, чтобы скорее всех переплыть на ту сторону, ежели о грибах, то она больше и лучше всех набирала грибов, а все, что не касалось грибов и купанья, казалось ей ничтожным. Теперь же, когда дело шло о бале, ей казалось, что все остальное вздор, а что все счастье жизни ее зависит от того, чтобы они все: мама, Соня, она были одеты как нельзя лучше. Соня и графиня поручились вполне ей. На графине должно было быть ма-

сака бархатное платье, на них двух белые кисейные с розанами в корсаже и в волосах, причесанных по-гречески.

Думать о том, что будет на бале, что ожидает их, было некогда. Только было чувство ожидания торжественного и великого, а что и как — думать некогда. Наташа хлопотала за всех и потому позднее всех была готова. Она еще сидела перед зеркалом в накинutom на худенькие плечи пеньюаре, а Соня была уже готова и надевала ленту.

— Не так, не так, Соня, — кричала Наташа, поворачивая голову от прически и хватаясь руками за волосы, которыми она сделала больно. — Не надо такой бант. Поди сюда. — Соня присела. Наташа завязывала ей.

— Позвольте, барышня, нельзя так.

— Да что ж делать...

— Скоро ли вы? — слышался голос графини. — Три четверти десятого.

— Маман, а вы готовы?

— Только ток приколоть.

— Не делайте без меня, — кричала Наташа, — вы не сумеете!

Как всегда, разумеется, опоздали. Юбка На-

таши была длинна; ее подшивали две девушки, обкусывая торопливо нитки. Другая с булавками в губах и зубах бегала от графини к Соне и Наташе. Существенное все было уже сделано: ноги, руки, шеи, уши, — хотя все это было чисто, — особенно старательно было вымыто, надушено и напудрено; но еще многое оставалось. Наташа в прическе и в бальных башмачках, но в материной кофточке бегала от одной к другой и к девушкам. Наконец в десять уже граф вошел в комнату в синем фраке, в чулках, башмаках, припомаженный и надушенный.

— Скоро ли, наконец? Вот вам духи. Перонская уж заждалась.

— Папа, ты как хорош, прелесть! — кричала Наташа, на которой уже было надето платье, но две девушки на коленях еще подшивали рубец (платье все было длинно).

— Папа, мы будем Данилу Купора... — говорила Наташа.

Графиня вышла особенно тихим шагом и застенчиво.

— У, моя красавица! — сказал граф. — Лучше вас всех...

— Мама, больше набок ток. Я переколю, — Наташа бросилась вперед, а девушка, подшивавшая, не успевшая за ней броситься, оторвала кусочек кисеи.

— Ничего, застегая, не видно будет.

Няня пришла смотреть барышень и ахать.

— Красавицы, крали-то мои, — говорила она.

Еще перчатку разорвали и, наконец, сели и поехали. Перонская не была еще готова. Несмотря на свою старость и некрасивость, у нее происходило точно то же, что у Ростовых, хотя не с такой торопливостью (это было привычно), но так же было надушено, вымыто, напудрено старое некрасивое тело, так же старательно промыто за ушами и даже так же, как у Ростовых, старая горничная восторженно любовалась нарядом своей госпожи, когда она в желтом платье с шифром вышла в гостиную. Перонская похвалила туалеты Ростовых: «Прелестно, восхитительно!»

Ростовы похвалили ее и, оберегая прически, сели по каретам и поехали. Для Наташи сборы и приготовления начались еще накануне, но с утра этого дня она не имела мину-



ты свободы и ни разу не успела подумать о том, что предстоит ей. В сыром, холодном воздухе и неполной темноте и тесноте колыхающейся кареты Наташа в первый раз представила себе то, что ожидает ее там, на бале, в освещенных залах, между сотнями прелестных женщин, — музыка, цветы, танцы, государь; но она не поверила даже тому, что это будет. Так это было несообразно с впечатлением холода, тесноты и темноты кареты. Она поняла все то, что ее ожидает, только тогда, когда, пройдя по красному сукну подъезда, она вошла в сени, сняла шубу и пошла впереди матери между цветами по освещенной лестнице. Только тогда она вспомнила, как ей надо было себя держать на бале, и постаралась принять ту величественную манеру, которую она считала необходимой для девушки на бале. Но, к счастью ее, она почувствовала, что в эту же минуту пульс ее забил сто раз в минуту, и она не могла принять той манеры, которая бы сделала ее смешной, а шла, замирая от радостного волнения и стараясь всеми силами только скрыть его. И это-то была та самая манера, которая более всего шла к ней.

Впереди, сзади их, так же тихо переговариваясь и так же в бальных платьях, входили гости. Зеркала по лестнице отражали дам в белых, голубых платьях, с бриллиантами, жемчугами и открытыми шеями и руками. Наташа не могла в отражении узнать себя между ними. Вступив в первую залу, равномерный гул голосов, шагов, платьев оглушил, свет и блеск еще более ослепил ее. Хозяин и хозяйка, уже полчаса стоявшие у входной двери и говорившие одни и те же слова входившим, именно: «Очень рады вас видеть», — так же встретили и Ростовых с Перонской.

Две девочки в белых платьях, с одинаковыми розами в черных волосах, одинаково присели; но невольно хозяйка остановила свой взгляд на тоненькой Наташе, посмотрела на нее и особенно ей одной улыбнулась в придачу к своей хозяйской улыбке. Глядя на нее, хозяйка вспомнила, может быть, и свой первый бал и свое золотое, невозвратимое девичье время. Хозяин тоже проводил ее глазами и спросил у графа, которая его дочь.

— Прелесть! — сказал он.

В зале стояли, теснясь перед входной две-

рью, ожидая государя. Графине дали место, и она поместилась в первых рядах этой толпы.

Наташа слышала и чувствовала, что несколько голосов спросили про нее и смотрели на нее. Она ничего не видела, не понимала в эту минуту, но на лице ее не видно было ни малейшего замешательства. Она первая сказала несколько слов матери только для того, чтобы не стоять молча. Она неспешно оглядывалась вокруг, не выказывая любопытства. Недалеко от нее стоял старичок-посланник с серебряной сединой курчавых, обильных волос и, держа табакерку, смеялся и заставлял смеяться дам, окружавших его. Высокая, полная, необыкновенной красоты дама, спокойно улыбаясь, говорила с несколькими мужчинами. Это была Элен. Наташа восторженно любовалась ею и с грустью думала о своем ничтожестве в сравнении с этой красотой. Пьер шел, переваливаясь, через толпу, лениво опустив руки и с таким видом, как будто он шел по торгу, — и пожимал всем руки направо и налево. Не доходя до Наташи, на которую он издали взглянул своими близорукими глазами, он схватил како-

го-то молодого офицера за руку и сказал: «Ступайте ухаживать за моей женой», — указывая на Элен. Какой-то старый генерал подошел к Перонской, но скоро отошел, потом молодой человек тихо заговорил с ней. Наташа чувствовала, что спрашивают про нее. Борис подошел к ним и говорил с графиней. Приехали две молодые девушки-блондинки с матерью, на которой были огромные бриллианты. Вошел князь Андрей Болконский в полковничьем мундире и поразил Наташу своей уверенностью и элегантностью. Она вспомнила, что где-то видела его. Мало двигались и говорили, ожидая приезда государя, и Наташа имела время делать наблюдения. Она все наблюдала: и прически, и мундиры, и отношения людей. По отношениям, взглядам она определяла для себя, кто принадлежал к самому высшему, высшему и среднему обществу, и мысль о том, какое они займут место, занимала ее. Из мужчин, входивших в это время и стоявших близко, она причислила к высшему свету четырех: Пьера, князя Андрея, секретаря французского посольства и еще кавалергарда необыкновенной красоты, вошедшего

после других и с презрительным видом, заложивши руку за пуговицы мундира, ставшего почти в середине залы. Пьер, увидав Наташу, оставил офицера и стал проходить к Ростовым, но в это время все надвинулось, опять раздвинулось, заговорило и, между двух расступившихся рядов, при звуках заигравшей музыки, вошел государь, за которым шли хозяин и хозяйка. Государь шел быстро, кланяясь направо и налево, как бы стараясь поскорее избавиться от этой первой минуты встречи.

Тут заиграли польский, все зашевелилось, какой-то молодой человек с растерянным видом попросил Наташу посторониться. Некоторые дамы, с лицами, выражавшими совершенную забывчивость всех условий света, бросились вперед. Мужчины стали подходить к дамам и строиться в пары польского. Все расступилось, и государь, улыбаясь, не в такт ведя за руку хозяйку дома, вышел опять из другой залы, за ним хозяин с Марьей Антоновной Нарышкиной, потом посланник, министры, генералы, которых называла Перонская. Наташа чувствовала, что она оставалась

с матерью и Соней в числе меньшей части дам, не взятых в танец, и что положение это было оскорбительно, и что, ежели так она останется весь бал, только занимая место, и даром пропадет ее туалет, которым так восхищалась няня, то она будет несчастлива. Она стояла, опустив свои тоненькие руки с веером, и с мерно поднимающейся, чуть определенной грудью, сдерживая дыхание и блестящими, испуганными агатовыми глазками глядя перед собой, как подстреленная птичка, с выражением готовности на величайшую радость и на величайшее горе. Ее не занимали ни все важные лица, ни государь, на которых указывала Перонская, у ней была одна мысль: «Неужели так никто не подойдет ко мне, неужели я не буду танцевать между первых, неужели меня не заметят все эти мужчины, которые теперь, кажется, и не видят меня, и ежели смотрят на меня, то с таким выражением, которое говорит: „А, это не она, так и нечего смотреть“? Нет, это не может быть, — думала она. — Они должны же знать, как мне хочется танцевать, как я отлично танцую и как им весело будет танцевать со мною».

Звуки польского, продолжавшегося долго, уже начинали звучать грустно, каким-то воспоминанием в ушах Наташи. Ей хотелось плакать. Пьер с какой-то важной дамой прошел, что-то шамкая и не видя ее, мимо. Князь Андрей, которого она заметила, прошел с красавицей Элен, лениво улыбаясь и что-то говоря ей. Еще два, три молодых человека, которых она заметила и которых считала высшими и потому теми, с которыми бы она хотела танцевать, но никто не посмотрел даже на нее. Красавец Анатолий не пошел в польский и, презрительно улыбаясь, что-то говорил молодым людям, окружившим его. (Наташа заметила, что он был тоже известностью в своем роде.) Наташа чувствовала, что он говорил про нее и смотрел на нее, и это тревожило ее. Перонская, указывая на него, сказала графине:

— Вы знаете, это известный повеса Курагин. Как хорош!

Борис два раза прошел, видел Наташу и не сделал ей никакого знака. Наташа совсем разлюбила его. Берг с женой, не танцевавшие, подошли. Это было еще хуже. Наташе показа-

лось оскорбительным это семейное сближение здесь, на бале.

Наконец государь остановился подле своей последней дамы (он танцевал с тремя). Музыка замолкла, озабоченный адъютант набежал на Ростовых, прося посторониться, раздать круг. И с хор раздались отчетливые, осторожные и увлекательные мерные звуки вальса. Государь с улыбкой взглянул на залу. Прошла минута, никто еще не начинал. Адъютант-распорядитель подошел к Марье Антоновне и пригласил на тур вальса. Она подняла руку, чтобы положить ему на плечо. Она была необыкновенно хороша. Адъютант танцевал прекрасно. И в большом круге залы, под глазами сотен, они пошли сначала глиссадом, не кружась, потом мерно повертываясь, и из-за все убыстряющихся звуков музыки слышны были мерные щелчки шпор быстрых и ловких ног адъютанта, повертывающего Марью Антоновну. Наташа смотрела на них и готова была плакать, что это не она танцует этот первый тур вальса. Она не видела, как в это время подходили к ней, и глядя на нее, Безухов и Болконский.



Князь Андрей любил бал с его толпою, цветами, музыкой и танцами. Он был одним из лучших танцоров в свое время, до войны. В этот же приезд в первый раз был на бале. Он всех знал, почти все его знали, и все желали его. Но за те пять лет, которые он не был в обществе, молодое, светское, танцующее, веселящееся общество переменилось. Те, кто в его время были выезжавшими девушками, были дамы, блестящие дамы того времени были затменены другими. Его встречали с вопросом о последнем указе, о политической новости. Старички и старушки с ним вместе хотели вспоминать прошлое, но ему не этого надо было. Он любил бал с его движеньем-вальсом, любил быть действителем, а не зрителем на бале. Как только он вошел на бал, его обдало этой поэзией блестящего, изящного веселья, и он, отделяваясь от дам и мужчин, желавших акапарировать его, вышел вперед, испытывая такое оживление, которого он не ждал в себе. Он чувствовал по-старому, что он хорош, что он обращает на себя внимание, и ему стало беспричинно весело. Пьер остановил его, ухватив за руку.

— Как мила Ростова, помните, я говорил вам.

— Никогда ты мне не говорил, и я не знаю, но кто эта? — Он указывал тоже на Наташу Ростову. — Пари держу, что на первом бале.

— Это она. Пойдемте, я вас познакомлю.

— Ах, я знаю: отец — глупый предводитель рязанский, пойдем.

Так подошли с другой стороны, в которую не смотрела Наташа, Болконский с Пьером. И князь Андрей предложил тур вальса. То замирающее выражение, готовое на отчаяние и на восторг, вдруг осветилось счастливой, благодарной, детской улыбкой. «Давно я ждала тебя», — как будто сказала эта девочка своей просиявшей из слез улыбкой, с оголенными, тоненькими плечиками, испуганная, счастливая и сдержанная, поднимая свою руку на плечо князя Андрея. Они были третья пара, вошедшая в круг. И Наташа тотчас же была замечена. И нельзя было не заметить ее теперь. Такое восторженное сияние лилось из ее глаз, такая детская, невинная грация была в ее оголенных руках и шее. Ее оголенное тело было некрасиво, в сравнении с плечами

Элен, ее плечи были худы, грудь неопределенна, руки тонки, но на Элен был уже как будто лак всех тысяч взглядов, скользивших по ее телу, а Наташа казалась девочкой, которую в первый раз оголили и которой бы очень стыдно это было, ежели бы она не знала, что это всегда так надо.

Князь Андрей пошел танцевать, потому что ему хотелось выбрать ее, потому что из всех начинающих, которых он любил пускать в ход, она первая ему представилась, но едва он обнял этот тонкий, подвижный, трепещущий стан и эта оголенная девочка зашевелилась так близко от него и улыбнулась так близко от него, вино ее прелести вдруг ударило ему в голову. Во время вальса он сказал ей, как она прекрасно танцует. Она улыбнулась. Потом он сказал ей, что он видел ее где-то. Она не улыбнулась и покраснела. И вдруг Пьер на пароме, дуб, поэзия, весна, счастье — все вдруг воскресло в душе князя Андрея.

Пьер стоял подле графини и на вопрос ее, кто эта дама в бриллиантах, отвечал: «Шведский посланник». Он ничего не видал, не слышал, он жадно следил за каждым движением

этой пары, за быстрым, мерным движением ног Андрея и за башмачками Наташи и ее преданным, благодарным, счастливым лицом, так близко наклоненным к лицу князя Андрея. Ему было больно и радостно. Он отошел и увидел в другой стороне жену свою во всем величии ее красоты, встающую перед высокой особой, удостоившей ее своего разговора.

— Боже мой, помоги мне, — проговорил он, и лицо его сделалось мрачно. Он ходил по зале как потерявший что-то и в этот вечер особенно удивлял знакомых своей бестолковой рассеянностью.

Он вернулся к Наташе и стал говорить ей про князя Андрея, про которого он так часто говорил ей. После князя Андрея к Наташе подошел Борис, приглашая к танцам, еще и еще молодые люди, и Наташа, счастливая, покрасневшая, не переставала танцевать целый вечер. В середине котильона Наташу беспрестанно выбирали, и она с улыбкой соглашалась, несмотря на то, что еще тяжело дышала. Князю Андрею, танцевавшему недалеко от нее, вдруг пришла мысль, что эта де-

вушка не протанцует половины зимы и выйдет замуж, и ему стало страшно чего-то. В конце бала, когда Наташа шла через залу, князь Андрей застал себя на странной и совершенно неожиданной мысли: «Ежели она подойдет прежде к своей кухне, а потом к матери, то эта девушка будет моей женой», — сказал он сам себе. Она прежде подошла к кухне. «Что я говорю? Я с ума сошел», — подумал Андрей.

Последний танец, мазурку, князь Андрей танцевал с Наташей и повел ее к ужину. Старый граф подошел к ним в своем синем фраке и, вспомнив Андрею Отрадное и пригласив его к себе, спросил у дочери, весело ли ей?

Наташа не ответила и только улыбнулась такой улыбкой, которая с упреком говорила: «Как можно было об этом спрашивать?»

— Так весело, как никогда в жизни, — сказала она, снимая с сухой, белой руки душистую перчатку. Наташа была так счастлива, как никогда еще в жизни. Она была на той высшей ступени счастья, когда человек делается вполне добр и хорош, и всех одинаково любит, и всех считает равными. Государь

Александр Павлович казался ей прелесть, и, ежели бы ей это нужно было, она бы подошла к нему и сказала бы ему, что он прелесть, так же просто, как она сказала это Перонской. Ей хотелось, чтобы все были веселы и счастливы. Соня танцевала, но, когда она оставалась без кавалера, Наташа говорила незнакомым:

— Подите позовите мою кузину, — и это было так просто, что никого не удивляло.

Перонская не танцевала и сидела одна. Наташе приходило в голову, что напрасно она так пудрила шею, но она утешалась, что Перонской этого не нужно. Все-таки она пошла и поцеловала ее. Князь Андрей, Пьер, другие танцевавшие — они все были ей равны, все были прелесть.

На другой день князь Андрей проснулся и улыбнулся, сам не зная чему. Вся прошедшая жизнь его в Петербурге представилась ему в новом свете. Он вспомнил вчерашний бал, но ненадолго остановился на нем мыслью: «Да, очень блестящий был бал. И я еще могу находить большое удовольствие в этих удовольствиях. И еще — да — Ростова очень мила. Что-то в ней есть свежее, особенное, непетербургское, отличающее ее». Вот все, что он подумал о вчерашнем бале. Но он стал вспоминать гораздо дальше назад, он стал вспоминать всю свою петербургскую жизнь. И все эти четыре месяца представились ему в совершенно новом свете, как будто он никогда не думал о них до сих пор. Он вспомнил свои хлопоты, искательства, историю своего проекта военного устава, который был принят Комитетом к сведению и о котором старались умолчать единственно потому, что другая работа, хотя и не выдерживающая критики, была уже сделана и представлена государю. Вспомнил о истории своей записки об

освобождении крестьян, от обсуждения которой Сперанский постоянно уклонялся не потому, что неразумно была составлена записка или не нужно это делать, но потому, что не время было этим занимать теперь внимание государя. Вспомнил о своей законодательной работе, об обиде своей, что работа его отдана была опять Розенкампу, и ему стало смешно и совестно чего-то. Он живо представил себе Богучарово, знакомых своих мужиков, Дрона-старосту и дворовых и, приложив к ним статьи о правах лиц, которые он распределял по параграфам, ему смешно стало, как мог он заниматься такой праздной работой.

В таких мыслях застал его знакомый молодой человек, Бицкий, служивший в различных комиссиях, бывавший во всех обществах Петербурга, страстный поклонник новых идей и Сперанского и озабоченный вестовщик Петербурга. Один из тех людей, которые выбирают направление, как платье по моде, но которые поэтому-то кажутся самыми горячими партизанами направлений. Он озабоченно, едва успев снять шляпу, вбежал к князю Андрею, которого он считал одним из



столпов либеральной партии, и тотчас же начал говорить. Он только что узнал подробности знаменитого заседания Государственного совета, открытого государем, и с восторгом рассказывал о них. Речь государя была необычайна, это была одна из тех речей, которые произносятся только конституционными английскими королями. Государь прямо сказал, что Совет и Сенат суть государственные сословия, он сказал, что правление должно иметь основанием не произвол, а твердые начала, говорил Бицкий, ударяя на эти слова и значительно раскрывая глаза, сказал, что финансы должны быть преобразованы и отчеты быть публичны.

— Да, нынешнее событие есть эра, величайшая эра в нашей истории, — заключил он.

Князь Андрей слушал его рассказ о этом открытии Государственного совета, которого он сам ожидал с таким нетерпением и приписывал ему такую важность, и удивлялся, что событие это не только не трогало его, но представлялось ему более чем ничтожным. Он с тихой, скрываемой, доброй насмешкой слушал восторженный рассказ Бицкого. Самая

простая мысль приходила ему в голову: «Какое мне дело и Бицкому какое дело до того, что государю угодно было сказать в Совете?» Разговор Бицкого стал скучен князю Андрею. Он попросил его извинения и сказал, что ему надо сделать несколько визитов. Они вышли вместе. И когда князь Андрей остался один, он спросил себя, куда ему нужно было? Да, надо было сделать визит Ростовым. Этого требовала учтивость.

Наташа была в другом, чем вчера, синем платье, в котором она была еще лучше, чем вчера. Все семейство, которое строго судил прежде князь Андрей, теперь, по его мнению, было составлено из прекрасных, простых и добрых людей. Гостеприимство и добродушие старого графа, особенно мило поразительное в Петербурге, было таково, что князь Андрей не мог отказаться от обеда. Все это были добрые, славные люди, разумеется, не понимающие ни на волос того сокровища, которое они имели в Наташе. Но добрые люди, которые составляли наилучший фон для того, чтобы на нем отделялась эта особенно поэтическая, переполненная жизни, прелестная девушка.

Князь Андрей чувствовал в Наташе присутствие совершенно чуждого для него особенно-го мира, преисполненного каких-то неизвестных ему радостей, — того чуждого мира, который еще тогда, в отрадненской аллее, натолкнувшись на него, порази́л его. Эта неизвестность больше всего занимала его в Ростовой. После обеда она пела. Князь Андрей сначала, разговаривая с матерью, слушал ее, потом оба замолкли, потом князь Андрей почувствовал неожиданно, что к его горлу подступают слезы, возможность которых он не знал за собой. Он был счастлив, и ему вместе с тем было очень грустно.

Ему решительно не об чем было плакать, но он готов был плакать. О чем? О прежней любви? О маленькой княгине? О своих разочарованиях? Да и нет. Какая-то страшная противоположность между чем-то бесконечно великим и неопределимым, что было в нем, и чем-то узким и телесным, что был он сам. Вот что томило и радовало его во время ее пенья. Только что она кончила петь, она подбежала к нему и спросила, как ему нравится? Он улыбнулся, глядя на нее. Она улыбнулась то-

же.

Он уехал поздно вечером, лег спать по привычке ложиться, но увидел скоро, что теперь спать не нужно. Он то, зажжа свечу, сидел в постели, то вставал, то опять ложился, несколько не тяготясь бессонницею. Так радостно и ново ему было на душе. Перед утром он заснул часа два, но, когда проснулся, был свежее, чем когда-нибудь. Утром получил он письмо от Мари. Она описывала болезненное состояние отца, невольно высказывала недовольство на Бурьен; потом пришел сотрудник его по комитету и жаловался на порчу их работы. Князь Андрей старался успокоить его. «Как они не понимают, что все это ничего, все это будет хорошо», — думал он.

Он опять поехал к Ростовым, опять не спал ночь и опять поехал к Ростовым. В то время, как он в третий день сидел вечером в гостинной Ростовых и рассказывал, смеясь и заставляя смеяться, о рассеянности Пьера, он почувствовал на себе взгляд чей-то, упорный и серьезный. Он оглянулся. Это был грустный, строгий и вместе сочувственный взгляд графини, которым она соединяла их обоих, как

будто она этим взглядом и благословляла их, и боялась обмана с его стороны, и жалела о разлуке с любимой дочерью. Графиня тотчас же переменяла выражение и сказала, что она удивляется, что так давно не видит графа Безухова, но князь Андрей из ее слов понял другое. Он понял, что она напоминала ему об ответственности, которую он берет на себя теперь этим сближением, и с этой мыслью он опять посмотрел на Наташу, как будто спрашивая себя, стоит ли она всей этой ответственности. «Дома, — подумал князь Андрей, — дома и это обдумаю».

Ночью он опять не спал и уж думал и спрашивал себя, что ж он будет делать?

Он старался забыть, выкинуть из своего воображения воспоминание о лице, о руке, о походке, о звуке голоса, последнем слове Наташи и без этого воспоминания решить вопрос, женится ли он на ней и когда? Он начал рассуждать: «Невыгоды — родство, наверно, недовольство отца, отступление от памяти жены, ее молодость, мачеха Коко... Мачеха, мачеха. Да, но главное, что же я с собой сделаю?» Ему представлялась она уже его женой.

«Не могу, не могу иначе, я не могу быть без нее. Но я не могу сказать ей, что я люблю ее, не могу, рано!» — говорил он сам себе.

Но страшная мысль, в том состоянии возбуждения, в котором он находился, ошибиться, увлечь ее и не сдержать как-нибудь хоть и не выговоренного обещания, поступить нечестно, так испугала его, что он решился на четвертый день не видеть ее и стараться все обдумать и решить с самим собою. Он не поехал к Ростовым, но говорить с людьми и слушать толки о их пустых заботах, иметь дело с людьми, которые не знали того, что он знал, было для него невыносимо.

В эту же ночь Наташа, то взволнованная, то испуганная, с останавливающимися глазами, долго лежала в постели у матери и спрашивала у нее — что это значит? — то рассказывала матери, как он хвалил ее, как он спрашивал, где они будут и когда поедут в деревню.

— Я только не знаю, что он нашел во мне. А вот вы говорили, что я глупая. Ежели мне всегда страшно при нем, что это значит? Зна-

чит, что я влюблена? Да? Мама, вы спите.

— Нет, душа моя, мне самой страшно, — ответила мать. — Иди.

— Все равно я не буду спать. Что за глупости спать. И могли ли мы думать... — И она опять начинала то, что говорила уже раз десять: что я его люблю и что он меня любит. — И надо было ему нарочно теперь в Петербург приехать, и нам приехать.

Она говорила все это, как игрок, который не может прийти в себя от того, что ему дана первая огромная карта, которую он поставил. Ей казалось теперь, что, еще когда она в первый раз увидела его в Отрадном, она влюбилась в него. Ее пугало как будто это странное, неожиданное счастье, что тот, кого она выбрала (она теперь была уверена в этом), что тот самый полюбил ее. Ее радовало необыкновенное счастье и льстило ее огромному самолюбию, что она была выбрана им, и из-за этого чувства она не знала, есть ли у ней любовь к нему. Прежде она больше была уверена, что любила его, теперь она бы не знала, что ответить, ежели бы имела силы спросить себя об этом.

— Мама, что же он, когда сделает предложение? Сделает?

— Полно, Наташа, молись Богу. Браки совершаются на небесах.

— Голубушка, мамаша, как я вас люблю! — крикнула Наташа, со слезами счастья обнимая мать.

### XIII

Князь Андрей четыре дня не ездил к Ростовым и никуда, где бы он мог встретить их. Но на четвертый день он не выдержал, и, обманывая самого себя, в смутной надежде увидеть Наташу, он вечером поехал к молодым Бергам, которые два раза были у него и звали его к себе вечером.

Несмотря на то, что Берг всякий раз, как он где бы то ни было встречал князя Андрея, настоятельно упрашивал Болконского приехать к нему вечером, когда ему доложили в его аккуратной, чистой до возмутительности квартире на Владимирской, что приехал Болконский, Берг взволновался, как от неожиданности. Он, в то время как приехал Болконский, сидел в своем новом кабинете, чистом, свет-



лом, убранном бюстиками и картинками и новой мебелью так аккуратно, что трудно было жить в этом кабинете, что невольно цель этого кабинета представлялась в том, чтобы он всегда был в порядке и что малейшее житейское употребление этой комнаты представлялось нарушением порядка. Он сидел в новеньком расстегнутом мундире в кабинете и внушал Вере, сидевшей подле него, что всегда можно и должно иметь знакомых людей, которые выше себя, потому что тогда только есть приятность от знакомств. «Переймешь что-нибудь, можешь попросить о чем-нибудь. Вот посмотри, как я жил с первых чинов (Берг жизнь свою считал не годами, а высочайшими наградами). Мои товарищи теперь еще ничто, а я на вакансии полкового командира, я имею счастье быть вашим мужем (он встал, поцеловал ее руку, но по пути к ней отогнул угол заворотившегося ковра). И все, чем я приобрел это? Главное, уметь выбирать свои знакомства. Само собою разумеется, надо быть добродетельным и аккуратным...»

Берг улыбнулся с сознанием своего превосходства над слабой женщиной и замолчал,

подумав, что все-таки эта милая жена его есть слабая женщина, которая не может постигнуть всего того, что составляет достоинство мужчины. Быть мужчиной. Вера в то же время также улыбнулась с сознанием своего превосходства над добродетельным, хорошим мужем, но который все-таки ошибочно, как и все мужчины (по понятиям Веры), понимал жизнь. Он не понимал, по ее мнению, что главное все-таки в жизни было искусство (которым Вера думала, что она владела в высшей степени), искусство тонкого дипломатического обращения с людьми и упрямство в своих желаниях. «Коли б я не имела этого искусства, я бы теперь еще была стареющая дева в доме разоряющихся родителей, а не женою хорошего, честного мужа, делающего блестящую карьеру, в дальнейшем успехе которой, главное, я буду содействовать». Берг думал, что все женщины только выгодны для женитьбы и ограничены, как его жена. Вера думала, судя по одному своему мужу, и распространяла это мнение на всех, как всегда это делают ограниченные люди, что все мужчины горды и приписывают себе только ра-

зум, а вместе с тем ничего не понимают. И оба были очень довольны своей судьбой.

Берг встал и, осторожно обняв свою жену, чтобы не смять кружевную пелеринку, которую он, дорого заплатив, купил ей, поцеловал ее в середину губ.

— Одно только, чтоб у нас не было так скоро детей, — сказал он по бессознательной для себя филиации идей.

— Да, — отвечала Вера, — я совсем этого не желаю. Однако, — сказала она, улыбаясь над осторожностью, с которой Берг снял с нее дорогую пелеринку (она любила в лице своего мужа становиться выше всего рода мужчин), — однако, я надеюсь, что кто-нибудь нынче будет у нас, — сказала она, отстраняясь от мужа, опять по бессознательной для себя филиации идей. — Свечи зажжены в гостиной?

— Да. Точно такая была на княгине Юсуповой, — сказал Берг с счастливой и доброй улыбкой, указывая на пелеринку.

В это время доложили о приезде почетного, давно желаемого гостя, князя Андрея, и оба супруга переглянулись самодовольной

улыбкой, — каждый себе приписал честь этого посещения. «Вот что значит уметь делать знакомства!» — подумал Берг. «Вот что значит уметь держать себя!» — подумала Вера.

Князь Андрей, приехав к Бергам, сделал компромисс с своим решением два дня не видеть Наташи. Он смутно надеялся увидеть ее у сестры. Он был принят в новенькой гостиной, в которой нигде сесть нельзя было, не нарушив симметрию, чистоту и порядок, и потому весьма понятно было и не странно, что Берг великодушно предлагал разрушить симметрию кресла или дивана для дорогого гостя и, видимо, находясь сам в этом отношении в болезненной нерешительности, предлагал решение этого вопроса выбору гостя.

Князю Андрею вообще не неприятен был Берг с его наивным эгоизмом тупоумия (вероятно, потому, что Берг представлял самую резкую противоположность его собственного характера), а теперь в особенности Берг был для него наилучшим собеседником. Он долго слушал его рассказы о служебных повышениях, о его планах, о благоустройстве, с удовольствием под звук его голоса мечтая все об одном же

своём. Вера, которая сидела, изредка вставляя слово и в душе не одобряя мужа не за то, что он говорил все про себя и только про себя (это, по ее, не могло быть иначе), но за то, что он говорил недостаточно небрежно. Вера была тоже приятна князю Андрею по невольной связи, существовавшей в его воспоминании между ею и Наташей. Вера была одно из тех так часто повторяющихся в свете приличных, незаметных лиц, что о них никогда серьезно не думаешь, и князь Андрей всегда считал ее добрым, ничтожным существом, теперь особенно близким ему по близости ее к Наташе.

Берг, прося извинения оставить князя Андрея наедине с Верой (Вера взглядом показала Бергу неприличность этого извинения), вышел, чтобы послать поскорее денщика купить к чаю тех именно печений, которые он ел у Потемкиных и которые, по его понятию, были верхом светскости, и которые должны были поразить удивлением князя Андрея, когда они будут поданы в серебряной, присланной ему отцом к свадьбе, корзинке.

Князь Андрей остался наедине с Верой, и ему стало вдруг неприятно. Вера так же много

и одна говорила, как и ее муж, но при ее гово-  
ре нельзя было независимо думать, потому  
что она имела привычку, не бывшую у ее му-  
жа, в середине своего разговора обращаться с  
вопросами к своему собеседнику, как бы экза-  
менуя его: «Вы поняли?» Князь Андрей дол-  
жен был поэтому следить за ее разговором, да  
и кроме того, как только вышел ее муж, она  
заговорила о Наташе.

Вера, как и все в доме и бывавшие у Росто-  
вых, заметила чувство князя Андрея к Ната-  
ше и на основании его делала свои предполо-  
жения. Теперь она не то чтобы сочла нужным  
сообщить князю Андрею свои соображения о  
характере Наташи и о ее прошедших склон-  
ностях и увлечениях — хотя она это и сдела-  
ла, — не то чтобы она нашла нужным это сде-  
лать, но для нее была необходимость в разго-  
воре с таким дорогим и светским гостем при-  
ложить к делу свое мнимое дипломатическое  
искусство обращения, такта намеков и бес-  
цельной хитрости. Ей нужно было быть про-  
ницательно-тонкой, и ближайшим и лучшим  
для того предлогом была Наташа, и на нее-то  
она и обратила все свое искусство. Наведя во-

прос на своих, на последнее посещение князя Андрея, на голос Наташи, она остановилась на рассуждениях о свойствах сестры.

— Вы, я думаю, князь, часто удивлялись этой необыкновенной способности Наташи изменять свои пристрастия. То она любила французскую музыку, теперь слышать не может. И это у нее беспрестанно. Она способна так страстно привязываться ко всему и так же скоро забывать...

— Да. Я думаю, она очень сильно чувствует, — сказал князь Андрей таким тоном, как будто вопрос о свойствах Наташи ни в каком случае не мог интересовать его.

— Да, — с тонкой улыбкой сказала Вера. — Но вы, князь, так проницательны и так понимаете сразу характеры людей. Что вы думаете о Натали? Может она постоянно любить одного человека?

Князю Андрею стал неприятен этот разговор.

— Не имею повода думать ничего, кроме хорошего, о вашей сестре.

— А я думаю, князь, когда она полюбит действительно, — с значительным видом ска-

зала Вера, как бы давая чувствовать, что теперь она любит. (Вообще во всем этом разговоре Вера думала, что она желает добра Наташе.) — Но в наше время, — продолжала она, упоминая о нашем времени, как вообще любят упоминать ограниченные люди, полагающие, что они нашли и оценили особенности нашего времени и что свойства людей изменяются с временем, — в наше время девушка имеет столько свободы, что удовольствие иметь поклонников заглушает это чувство, и Натали, надо признаться, к этому очень чувствительна.

Князь Андрей не знал, что будет, но, слушая бестактные и неловкие слова Веры, он чувствовал внутреннее страдание, подобное тому, которое должен испытывать музыкант, когда слышит и видит своего лакея, передразнивающего его, играющего с значительным видом на инструменте, которого он не знает. Так самодовольно играла Вера на инструменте тонкого гостинного разговора.

— Да, я думаю, — отвечал Андрей сухо. — Вы были в последнем концерте Каталани?

— Нет, я не была, но, возвращаясь к Ната-



ли, я думаю, ни за кем столько не ухаживали, как за ней, но никогда, до самого последнего времени, никто серьезно ей не нравился, даже наш милый кузен Борис, которому очень тяжело было от нее отказаться.

Князь Андрей прокашлялся и, нахмурившись, молчал. Он испытывал враждебное чувство к Вере, которое он бы не удержался выразить, если бы она не была женщина. Она не замечала этого.

— Вы ведь дружны с Борисом? — сказала она.

— Да, я его знаю...

— Он, верно, вам говорил про свою детскую любовь к Натали. Последнее время он трогателен был, очень влюблен и, ежели бы он был богат...

— Разве он делал предложение? — спросил Андрей невольно.

— Да, знаете, это была детская любовь, вы знаете, между двоюродным братом и сестрой эта близость очень часто приводит к любви. Но, знаете, возраст, обстоятельства...

— Ваша сестра отказала ему или он отказал? — спросил князь Андрей.

— Да, знаете, это были детские интимные отношения, которые очень милы, когда они были детьми. Но, вы знаете, двоюродное родство — опасное соседство, и мама все это привела в порядок.

И тем лучше для Натали, не так ли?

Князь Андрей ничего не ответил и неучтиво молчал. Внутри его как бы оборвалось что-то. То, что было не только естественно, но необходимо при характере Наташи, то, что она любила кого-нибудь, что она целовалась с своим кузеном (как сам князь Андрей в отрочестве обнимался со своей кузиной), это никогда не приходило в голову князю Андрею, но всегда, когда он думал о Наташе, с мыслью о ней соединялась мысль о чистоте и девственности первого снега. «И что за вздор, чтобы я любил когда-нибудь эту девочку», — было первое, что подумал князь Андрей. И как заблудившийся ночью путешественник с удивлением на рассвете оглядывает местность, в которую занесло его, князь Андрей не мог понять сразу, какими судьбами занесло его за чайный стол молодых, наивных каких-то Бергов. И что ему за дело до Наташи, и

до сестры ее, и до этого наивного немца, рассказывающего, как хорошо в Финляндии делают серебряные корзиночки для хлеба и сухарей. Но как путешественник, захвативший в незнакомую местность, долго не может решиться выехать, не зная, где была его прежняя дорога, князь Андрей, не слушая, не отвечая, долго сидел у Бергов, удивляя и даже под конец тяготя их своим присутствием.

Выйдя от Бергов, князь Андрей, как только он остался сам с собою, почувствовал, что он не может уже вернуться на старую дорогу, что он любит, и ревнует, и боится потерять ее, несмотря на все, еще больше, чем прежде. Было еще не поздно. Он велел ехать к Пьеру, которого он, к удивлению, не видал все эти дни.

У освещенного подъезда Безуховых стояли кареты. У графини был раут, был французский посланник, но Пьер был один наверху, в своей половине. Он в выпущенной рубашке сидел в низкой, накуренной комнате и переписывал подлинные шотландские акты, когда вошел к нему князь Андрей.

Пьер со времени бала чувствовал на себе

приближение припадка ипохондрии и с отчаянными усилиями старался бороться против него. Опять все ему казалось ничтожно в сравнении с вечностью, опять представлялся вопрос: к чему? И он дни и ночи заставлял себя работать, трудом надеясь отогнать приближение злого духа.

— А, это вы, — сказал он ему нерадостно и с рассеянным видом. — А я вот работаю, — сказал он, указывая на тетрадь с тем видом спасения от невзгод жизни, с которым смотрят несчастливые люди на свою работу.

— Давно не видать тебя, милый, — сказал Андрей, — Ростовы спрашивали про тебя.

— А, Ростовы. — Пьер покраснел. — Вы были у них?

— Да.

— Мне некогда, вы знаете, я еду и вот кончаю работу...

— Куда? — спросил князь Андрей.

— В Москву. — Пьер вдруг тяжело вздохнул и повалился своим тяжелым телом на диван подле Андрея. — Правду сказать, мы с графиней не подходим друг к другу. Испытание сделано и... Да, да, я рано женился, но вам,

вам самое время.

— Ты думаешь? — сказал князь Андрей.

— Да, и я скажу вам, на ком, — опять покраснев, сказал Пьер.

— На младшей Ростовой, — улыбаясь, сказал Андрей. — Да, я скажу тебе, что я мог бы влюбиться в нее.

— И влюбитесь, и женитесь, и будете счастливы, — с особенным жаром заговорил Пьер, вскакивая и начиная ходить. — И я всегда это думал. Эта девушка такое сокровище, такое... Это редкая девушка. Милый друг, я вас прошу — вы не умствуйте, не сомневайтесь. Женитесь, женитесь и женитесь.

— Легко сказать! Во-первых, я стар, — сказал князь Андрей, глядя в глаза Пьеру и ожидая ответа.

— Вздор, — сердито закричал Пьер.

— Ну, ежели бы я и думал, хотя я за сто миль от женитьбы, у меня отец... который сказал мне, что моя новая женитьба была бы единственное могущее его поразить горе.

— Вздор! — кричал Пьер. — И он полюбит ее. Она славная девушка. Женитесь, женитесь, женитесь, и не будем об этом больше го-

ворить.

И, действительно, Пьер придвинул свои тетради и стал объяснять князю Андрею значение этих подлинных шотландских актов, но князь Андрей не слушал объяснения актов, не понимал даже все завистливое, скрываемое страдание Пьера и опять повел разговор о Ростовых и женитьбе. Где была его тоска, его презрение к жизни, его разочарованность? Он, как мальчик, мечтал, делал планы и жил весь в будущем. Пьер был единственный человек, перед которым он решался высказаться, но зато ему он уже высказал все, что у него было на душе. То наивно, как мальчик, рассказывал свои планы, то сам смеялся над собою.

— Да, ежели бы я женился теперь, — говорил он, — я бы был в самых лучших условиях. Честолюбие мое всякое похоронено навсегда. В деревне я выучился жить. Привез бы воспитателя Николушке. Маша, которой жизнь тяжела, жила бы со мной. Зиму я приезжал бы в Москву. Право, мне точно семнадцать лет.

Они проговорили до поздней ночи, и последние слова Пьера были: «Женитесь, жени-

тесъ, женитесь».

## XIV

**В** первый день после своего ночного объяснения с матерью, где они решили, что князь Андрей должен сделать предложение, Наташа ждала его со страхом, что наступит та решительная минута, которая лишит ее лучшего ее счастья — надежды ожидания любви от всех мужчин, которых она встречала, — тех испытаний, которые она любила делать над каждым мужчиной, — полюбить ее. Наступит то время, когда будут и другие радости — быть дамой, ездить ко двору и т. д., но надо будет отказаться от прежних, привычных, веселых радостей. Ей страшно было, что приедет этот князь Андрей, который один из всех мужчин более всех нравился ей, и сделает предложение. Но он не приехал, и на другой день она уже нетерпеливо и страстно ждала его и боялась, что он не приедет.

Ежели бы она умела сознавать свои чувства, то она увидала, что нетерпение это происходило не из любви, но из страха оказаться смешною и обманутою в глазах себя, и мате-

ри, и Пьера, и, ей казалось, всего света, который знал или узнает то, что было и как она надеялась.

В этот день она была тиха и пристыжена. Ей казалось, что все знают ее разочарование и смеются над ней или о ней жалеют. Вечером она пришла к матери и расплакалась, как ребенок, в ее постели. Сначала слезы ее были слезы обиженного, оскорбленного ребенка, который сам отыскивает свою вину и, не находя ее, спрашивает, за что он наказан, но потом она рассердилась и объявила матери, что она вовсе не любит и никогда не любила князя Андрея и не пойдет за него теперь, пускай он, как хочет, будет просить ее. Но будет ли он еще просить ее? Этот вопрос ни на минуту не оставлял ее, и с этим мучительным, неразрешимым вопросом она заснула.

«Он такой странный, такой непохожий на всех остальных. От него все может случиться, — думала она. — Но все равно, кончено. Теперь я об нем больше не думаю, а завтра надеваю папашино именинное голубое платье, любимое Бориса, и буду весела целый день».

Но, несмотря на твердое решение забыть



все и возвратиться к прежней жизни, несмотря на голубое папашино платье, несмотря на полосатое с кружевами, в котором, по приметам, бывало всегда еще веселее, Наташа не могла уже войти в прежний ход жизни. Все ее обожатели были у них за эти дни, и Борис, и еще другие, все они так же смотрели ей в глаза и восхищались ею, но все это было невесело, и при них еще живее вспоминался ей князь Андрей, и беспрестанно она краснела и раздражалась; ей все казалось, что они знают и жалеют ее. Мысль о возможности замужества и серьезный взгляд на все это матери незаметно для нее самой всю переродили ее. Ей в душе уже не могло быть весело по-прежнему.

Когда один раз вечером графиня стала успокаивать Наташу, говоря ей, что отсутствие князя Андрея очень естественно, что перед таким важным решением ему, вероятно, надо много сделать и обдумать, — что необходимо ему, вероятно, согласие отца, — Наташа, вслушивавшаяся сначала в слова матери, вдруг прервала ее.

— Перестаньте, мама, я и не думаю и не хо-

чу думать. Так, поездил и перестал, и перестал. — Голос ее задрожал, она чуть не заплакала, но опять оправилась и весело продолжала: — И совсем я не хочу выходить замуж. И я его боюсь. Я теперь совсем, совсем успокоилась...

На другой день после этого разговора Наташа в том самом голубом платье, которое было ей особенно известно за доставляемую им по утрам веселость, ходила по большой пустой зале, которую особенно любила за сильный резонанс, который был в ней, и, проходя мимо каждого из зеркал, всякий раз взглядывала в него и всякий раз, останавливаясь на середине залы, повторяла одну музыкальную фразу конца керубиновского хора, особенно понравившегося ей, прислушиваясь радостно к той (всякий раз как будто неожиданной для нее) прелести, с которой эти звуки, переливаясь, наполняли всю пустоту залы и медленно замирали. Она останавливалась, победительно улыбалась и продолжала свою прогулку, ступая не простыми шагами по звонкому паркету, но на всяком шагу переступая с каблучка (на ней были новые любимые башмаки) на

носок, и так же радостно, как и к звукам своего голоса, прислушиваясь к этому мерному топоту каблочки и поскрипыванию носка: ток — тип, ток — тип. И опять она, проходя мимо зеркала, заглядывала в него. «Вот она я! — как будто говорило выражение ее лица при виде себя. — Ну и хорошо». Лакей хотел войти, чтобы убрать что-то в зале, но она непустила его и, затворив за ним двери, продолжала свою прогулку.

Она находилась в то утро опять в том любимом ею привычном состоянии любви к себе и восхищения собою. «Что за прелесть эта Наташа, — говорила она опять про себя словами какого-то третьего собирательного мужского лица, — хороша — голос — молода, и никому она не мешает, оставьте только ее в покое. Тон-то-то-то», — пропела она и опять, как припев, затопали каблочки и заскрипели носочки. Она даже не могла удержаться и громко засмеялась своей радости.

В это время в передней отворилась дверь подъезда, кто-то спросил — дома ли? — и чьи-то шаги.

Наташа смотрела в зеркало, но она не ви-

дала себя. Она слушала звуки в передней. Когда она увидела себя, лицо ее было бледно и вдруг покраснело. Это был он, настоящий он. Она это верно знала, хотя чуть слышала звуки из затворенных дверей.

Она вошла в гостиную.

— Мама, Болконский приехал, — сказала она. — Мама, это ужасно, это несносно. Я все кончу, — проговорила она озлобленным голосом. — Я не хочу мучаться.

— Что ж, проси, — сказала графиня со вздохом вслед за Наташей вошедшему лакею и подтвердившему известие Наташи.

Князь Андрей вошел и с спокойным лицом поцеловал руки дам и стал говорить про мадемуазель Жорж. Князь Андрей говорил все это более спокойно, чем когда он говорил это в других гостиных. Он смотрел на Наташу, и взгляд его был так же холоден и спокоен, как когда он смотрел на Анну Павловну. Князь Андрей в своем житейском опыте умел усвоить себе то необходимое искусство говорить одним ртом и смотреть, не видя, то искусство, которое все мы прилагаем бессознательно, когда глаза наши останавливаются упорно на

одном предмете, и мы его не видим, или когда произносим заученные слова, не думая о них, и которое сознательно прилагается, когда мы хотим, не испугавшись, смотреть на что-нибудь страшное или произнести трогательные слова без дрожания голоса, — искусство, которое состоит в том, чтобы как будто раздвинуть два механизма — внешних проявлений и внутренней душевной жизни — так, чтобы тот вал, шестерня, ремень — та передача механизма, которая в нормальном состоянии существует между этими двумя механизмами, не существовала более. У князя Андрея были умышленно раздвинуты эти механизмы, когда он смотрел и говорил, и он чувствовал, что, ежели бы восстановилось это сообщение, он бы не мог так смотреть и говорить, и бог знает, что бы вышло. От этого он старательно не давал колесу от внешних проявлений цеплять за душевную жизнь, и оттого был так слишком неприятно прост и спокоен. Наташа в ту же минуту поняла, что тут что-то было неестественное и непонятное, и она с упорным и неучтивым любопытством и волнением смотрела, ни на секунду не спуская

глаз, на лицо князя Андрея. Графиня не слушала князя Андрея, не понимала, что он говорил ей (она не слыхала даже того, что он сказал о своем отъезде). Она беспрестанно вспыхивала, краснела, как девочка, и взглядывала на дочь. Графиня за эту неделю так много передумала и перечувствовала об этом предстоящем объяснении, что она теперь только думала о том, что неужели вот оно пришло уже, это страшное мгновение, и что вот надо или не надо встать и уйти под каким-нибудь предлогом, оставив их для объяснения. Поговорив о театре, графиня встала.

— Я пойду позову мужа, — сказала она. — Он занят, но будет очень жалеть, что не видал вас.

Когда она встала и вышла, Наташа испуганными, умоляющими глазами взглянула ей вслед, и князь Андрей почувствовал, что против его воли раздвинутый механизм опять сдвинулся, и что теперь уже он не в состоянии сказать ни одного спокойного слова, и что глаза его передают ему всю силу влияния на него этой девушки. Он улыбнулся ей и начал говорить ровно и спокойно.

— Вы знаете, зачем я приехал?

— Да... Нет... — поторопилась сказать она.

— Я приехал узнать о своей участи, которая зависит от вас.

Лицо Наташи просияло, но она ничего не сказала.

— Я приехал сказать вам, что я вас люблю и что мое счастье зависит от вас. Захотите ли вы соединить свою судьбу с моей?

— Да, — тихо-тихо сказала Наташа.

— Но знаете ли вы, что я вдовец, что у меня сын, что у меня отец, которого бы я желал получить согласие.

— Да, — все так же сказала Наташа.

Он взглянул на нее, и серьезная страстность ее выражения испугала его, как неожиданность. Он хотел все смотреть на нее, но такое новое счастье любви обхватило его, что он не мог этого сделать. Он улыбнулся и поцеловал ее руку.

— Но нужно время. Дадите вы мне год... — сказал он.

— Я ничего не знаю, не понимаю... Я только... Я очень счастлива. Я...

— Вы дадите мне год? Вы не разлюбите ме-

ня?

Наташа не могла отвечать. Внутренняя работа, происходившая в ней, измучила ее. Она громко вздохнула, другой раз, чаще и чаще, и зарыдала. Она ничего не могла выговорить. «Ну так что же», — говорили ее глаза, с детской нежностью смотревшие в лицо князя Андрея. Она села. Князь Андрей взял ее тонкую, худую руку и прижал к губам.

— Да? — сказал он, улыбаясь. Она улыбнулась тоже сквозь слезы, нагнулась над его головой, подумала секунду, как будто спрашивая себя, можно ли это, и поцеловала его.

— Нет, скажите...

Князь Андрей попросил видеть графиню и передал ей то же. Он просил руки ее дочери. Но так как дочь ее еще молода, имела привязанность к своему кузену, так как князю Андрею нужно получить согласие отца (который, конечно, за честь сочтет родство с Ростовыми, сказал князь Андрей), так как нужно ему, Андрею, лечиться за границей, он просит подождать год, во время которого он связывает себя, но не связывает Натали. Через год, ежели он будет жив, с согласием или без со-



гласия отца, он будет просить сделать его счастье, отдать ему Натали. Но, ежели Натали полюбит другого в это время, он просит ее только написать ему одно слово. Наташа улыбнулась, слушая его, и из всего, что он говорил, она понимала только то, что она, девочка Наташа, такой ребенок, недавно обиженный гувернанткой Марьей Эмильевной, над которой Николай смеялся, когда она рассуждала, с ней, с этой девочкой, так серьезно обращались как с равной, как с высшей и еще любимой, и кто ж? Князь Андрей, такой умный, такой рыцарь, такой большой, но такой милый человек. Это было лестно, это было счастливо, но и страшно вместе с тем. Страшно потому, что Наташа чувствовала, что теперь это не шутка, что нельзя играть больше с жизнью. В первый раз она чувствовала, что она большая и что на ней тоже лежит ответственность за каждое слово, которое она скажет теперь.

— От графини зависит решить, объявить ли это обязательство или оставить тайной.

Князь Андрей желал бы лучше именно для своего отца не разглашать его. Графиня согла-

силась оставить тайной. Но в тот же день, как тайна, это было сообщено всем домашним.

Князь Андрей был счастлив, хотя и менее того, как он ожидал, но он был счастлив. Он отошел к окну с Наташей.

— Вы знаете, что я с того времени, как вы были у нас в Отрадном, люблю вас, — сказала она.

Старый граф делал вид, как будто ничего не знал, но особенно радостно ласков был с князем Андреем. Ростовы уже должны были уезжать, но они остались еще несколько времени для Наташи и князя Андрея. Болконский бывал у них каждый день и, как домашний человек, в расстегнутом мундире, сидел за маленьким шахматным столиком, рисовал в альбомы, играл в мячик с Петей и оживлял их семейный кружок добродушной и простой веселостью. Сначала в семействе чувствовалась неловкость в обращении с ним. Он казался человеком из чуждого света; но потом привыкли к нему и, не стесняясь, говорили при нем о своих домашних делах и с ним говорили о пустяках, в которых он, как и все, принимал участие. Он им казался сперва гор-

дым и почему-то ученым, но скоро они убедились, что он про все мог говорить. Он про хозяйство умел говорить с графом и про тряпки с графиней и Наташей. Ему доверчиво рассказывали про Николая, про его решение мало брать денег и про его проигрыш.

— Это очень счастливо, что он раз и сильно проиграл, — сказал князь Андрей. — Это лучшее средство для молодого человека. Со мной то же было. — И он рассказал, как в первое время службы его обыграли в Петербурге и как он хотел застрелиться. Наташа смотрела на него.

— Это удивительно, как он все уже знает! — сказала Наташа. — Все и всех знает, все испытал, даже неприятно.

— Отчего же? — спросил князь Андрей, улыбаясь.

— Так, я не знаю.

— Ну, я не буду рассказывать.

— Нет, я люблю.

Иногда домашние Ростовы между собою и при князе Андрее удивлялись тому, как все это случилось и как очевидны были к этому предзнаменования. Все казалось им предзна-

менованиями: и приезд князя Андрея в Отрадное, и их приезд в Петербург, и сходство между Наташей и Андреем, которое заметила няня в первый приезд князя Андрея, и столкновение в 1805-м году между Андреем и Николаем, и то, что все это решилось в день Адриана и Натальи, Андрея и Наташи, говорили они.

В доме царствовала, однако, та поэтическая скука и молчаливость, которая всегда сопутствует жениху и невесте. Часто, сидя вместе, молчали. Иногда вставали и уходили, и жених с невестой все-таки молчали и не тяготились этим. Старый граф обнимал и целовал князя Андрея, спрашивал у него совета насчет воспитания Пети или службы Николая. Старая графиня вздыхала, глядя на них. Соня радостно глядела то на князя Андрея, то на Наташу. Наташа была тревожна и счастлива. Чем больше она была счастлива, тем больше ей недоставало чего-то. Когда князь Андрей говорил — он очень хорошо рассказывал, — она с гордостью слушала его; когда она говорила, она с страхом и радостью замечала, что он внимательно и испытующе смотрел на

нее. И она с недоумением спрашивала себя: «Чего он ищет во мне? Чего же он добивается своим взглядом?» Иногда она входила в свое безумно веселое расположение духа, и тогда она особенно любила слушать и смотреть, как князь Андрей смеялся. Он редко смеялся, но зато, когда он смеялся, то отдавался весь своему смеху, и всякий раз после этого смеха она чувствовала себя ближе ему.

Накануне их отъезда князь Андрей привез с собой Пьера. Пьер казался растерянным и смущенным. Он разговаривал с матерью. Наташа пошла и села с Соней у шахматного столика, приглашая этим к себе князя Андрея. Он подошел к ним.

— Вы ведь давно знаете Безухова, — спросил он. — Вы любите его?

— Да, он славный, но смешной ужасно.

И, как всегда, говоря о Пьере, стали рассказывать анекдоты о его рассеянности, которые даже выдумывали на него.

— Вы знаете, я все сказал ему, — сказал князь Андрей. — Я знаю его с детства. Это золотое сердце, Я вас прошу, Натали, — сказал он вдруг серьезно, — одно. Я уеду. Бог знает,

что может случиться. Вы можете разлю... Ну, знаю, что я не должен говорить об этом. Одно, что бы ни случилось с вами, когда меня не будет...

— Что же случится?...

— Какое бы горе ни было, — продолжал князь Андрей, — я прошу, Натали. Что бы ни случилось, обратитесь к нему одному за советом и помощью.

В конце февраля уехали Ростовы, и скоро после них, получив отставку, уехал и князь Андрей за границу, только на четыре дня заехав в Лысые Горы, куда к этому времени возвратились уже князь с дочерью, прожившие эту зиму в Москве.

## XV

Эту зиму 1809 и 10 годов князь Николай Андреевич Болконский с дочерью жили в Москве. Старику давно был разрешен въезд в столицу, и он все хотел воспользоваться им, но не выдержал жизни в Москве более трех месяцев и еще Великим постом возвратился в Лысые Горы. Здоровье и характер князя в этот последний год, после отъезда сына, очень ослабели. Он сделался еще более раздражителен, чем прежде, и все вспышки его беспрестанного гнева большей частью обрушались на княжну Марью. Он как будто старательно изыскивал все самые больные места ее, чтобы как можно жесточе нравственно мучить ее. У княжны Марьи были две страсти и потому две радости: племянник Николушка и религия, и обе были любимыми темами нападений и насмешек князя. О чем бы ни заговорили, он сводил разговор на суеверия старых девок или на баловство и порчу детей. «Тебе хочется его (Николушку) сделать такой же старой девкой, как сама, напрасно, князю Андрею нужно сына», — говорил он; или, обра-

щаясь к мадемуазель Бурьен, он спрашивал ее при княжне Марье, как ей нравятся наши попы и образа, и шутил...

Он беспрестанно больно оскорблял княжну Марью, но дочь даже не делала усилий над собой, чтобы прощать его. Разве мог быть больной слабый старик виноват перед нею, и разве мог отец ее, который (она все-таки знала это) любил ее, быть к ней несправедливым? Да и что такое справедливость? Княжна никогда не думала об этом гордом слове: справедливость. Все сложные законы и суждения человечества сосредоточивались для нее в одном простом и ясном законе — в законе любви и самоотвержения, преподанных нам Тем, который с любовью страдал за человечество, когда сам он был Богом. Что ей было за дело до справедливости или несправедливости других людей? Ей надо было самой страдать и любить, и это она делала.

Ранней весной в Лысые Горы приехал князь Андрей. Он взял отпуск и ехал за границу лечить свою открывшуюся рану и приискать своему сыну швейцарца-воспитателя, одного из таких наставников-философов, доб-



родетельных друзей, которых тогда привозили детям богатых людей. Князь Андрей был весел, кроток и нежен, каким его давно не видела княжна Марья. Она предчувствовала, что с ним случилось что-то, но он ничего не сказал княжне Марье о своей любви. Перед отъездом долго о чем-то беседовал с отцом, и княжна Марья заметила, что перед отъездом оба были недовольны друг другом.

Нравственный упадок старого князя особенно выказался после отъезда сына. Он выражался преимущественно в раздражении, сменявшемся только редкими минутами спокойствия, и странном, вдруг проявившемся пристрастии к мадемуазель Бурьен. Только она могла говорить и смеяться, не раздражая его, только она могла читать ему вслух так, чтобы он оставался доволен, и она постоянно служила для него образцом, на который он для подражания указывал своей дочери. Княжна Марья была виновата в том, что она не так весела и не имеет такого здорового цвета лица, не так ловка, как мадемуазель Бурьен. Большая часть разговора за обедом происходила с Михаилом Ивановичем о воспита-

нии и имела целью доказать княжне Марье, что она портила баловством своего племянника, и что женщины ни на что более не способны, как на то, чтобы производить детей, и что в Риме, ежели бы были старые девы, то, вероятно, их бы кидали с Тарпейской скалы, или с мадемуазель Бурьен о том, что религия есть занятие для праздных людей и что ее однокотомцы в 92-м году одно только сделали умное, уничтожив Бога. Проходили недели, что он не говорил ласкового слова с дочерью и старательно находил все больные места, где бы ужалить ее. Иногда (это случалось преимущественно до завтрака, время самого дурного расположения духа) он приходил в детскую, няньки и мамки с трепетом разбегались, он находил все дурным, все систематической порчей ребенка, раскидывал, ломал игрушки, бранил, даже толкал иногда княжну Марью и поспешно убегал.

В середине зимы князь безо всякой причины заперся в свою комнату, не видя никого, кроме мадемуазель Бурьен, и не принимая к себе дочь. Мадемуазель Бурьен была очень оживлена и весела, и в доме делались сборы

для отъезда куда-то. Княжна ничего не знала. Она не спала две ночи, мучилась и, наконец, решилась пойти и объяснить с отцом. Княжна Марья, неосмотрительно выбрав время до обеда, пришла к отцу, требуя свидания с ним для необходимого объяснения. Несмотря на всегдашний свой страх, она преодолела его на этот раз под влиянием чувства негодования за свое незаслуженное положение в доме. Эта мысль волновала ее так, что она допустила даже в себе подозрение против мадемуазель Бурьен, умышленно восстанавливавшей против нее отца. Но она осталась кругом виновата, дурно выбрав время для объяснения. Ежели бы она спросила у мадемуазель Бурьен, та бы объяснила ей, в какое время дня можно и нельзя говорить с князем. Но она с своею бестактностью тяжелыми шагами и с выступавшими красными пятнами на лице вошла в кабинет и, боясь, что ежели она замнется, то не достанет у ней более храбрости, прямо приступила к делу.

— Отец, — сказала она, — я пришла вам сказать одно, что, ежели я что-нибудь дурно сделала, скажите мне, накажите меня, но не

мучьте так. Что я сделала?

Князь был в одной из самых дурных минут. Он, лежа на диване, слушал чтение, он фыркнул, посмотрел на нее молча несколько секунд и, неестественно засмеявшись, сказал:

— Тебе что надо? Что надо? Вот жизнь, ни минуты покоя.

— Отец...

— Что тебе нужно? Мне ничего не нужно. У меня Бурьен есть, она хорошо читает, и Тихон камердинер хороший. Что же мне еще. Ну, продолжайте, — обратился он к мадемуазель Бурьен и опять лег.

Княжна Марья расплакалась и выбежала, но в истерике упала у себя в комнате.

Вечеру того же дня князь позвал ее к себе, встретил у двери — он, видно, дожидался ее — тотчас обнял ее, как только она вошла, заставил ее читать себе и все ходил, дотрагиваясь до ее волос. Мадемуазель Бурьен он не звал этот вечер и долго не отпускал от себя княжну Марью. Только она хотела уходить — и он выдумывал новое чтение и опять продолжал ходить. Княжна Марья знала, что он хочет говорить с ней об объяснении нынеш-

него утра, но не знает, как начать. Ей было невыразимо больно и совестно, что отец перед нею в виноватом положении и помочь ему она не могла, потому что не смела. Наконец, в третий раз она встала, чтобы уходить; его смягченное, просветленное детски-робким взглядом и детской улыбкой на морщинистых щеках лицо смотрело прямо на нее... Он быстрым движением схватил ее руку и, несмотря на все усилия отдернуть ее, поцеловал. Он никогда в жизни не делал этого. Закрыв ее обеими ладонями, вновь поцеловал, с тою же робкой улыбкой взглянул в глаза дочери, вдруг нахмурился, перевернул ее за плечи и толкнул ее к двери.

— Ступай, ступай, — проговорил он. В то время как он повертывал ее, он сам был так слаб, что пошатнулся, и голос, проговоривший «ступай, ступай», хотевший казаться грозным голосом, был слабый, старческий голос.

Как было не простить всего после этого.

Но минута умиления старого князя прошла, и на другой день прежняя жизнь пошла по-старому, и чувство тихой ненависти стари-

ка к своей дочери, выражавшееся ежеминутными оскорблениями, которые как бы против его воли делались им, стало проявляться по-прежнему.

С этого времени новая мысль стала входить в голову княжны Марьи. Эта мысль была для нее столь же темная и столь же дорогая, составлявшая сущность жизни мысль, как и мысль князя Андрея о дубе. Это была мысль о монашестве, и не столько монашестве, сколько странничестве. Года три тому назад княжна Марья сделала обыкновение два раза в год ездить говеть в Сердобскую пустынь и беседовать там с отцом Акинфием, настоятелем скита, и исповедоваться ему. Только ему, отцу Акинфию, она поверяла эту тайну, и он сначала отговаривал, а потом благословил ее. «Оставить семью, родню, родину, свое положение, все заботы о мирских благах для того, чтобы не прилепиться ни к чему, ходить в посконном рубище, скитаться под чужим именем с места на место, не делать вреда людям и молиться за них. Молиться и за тех, кто покровительствует им, и за тех, которые гонят их. Выше этой истины и жизни нет

истины и жизни, — думала княжна Марья. — Что же могло быть лучше такой жизни? Что может быть чище, возвышенней и счастливей?»

Часто, слушая рассказы странниц, она возбуждалась их простыми речами так, что она готова была вот-вот бросить все и бежать из дому (у ней уже был и костюм, приготовленный для этого), но потом, увидав отца и особенно маленького Коко, она, проклиная свою слабость, потихоньку плакала и чувствовала, что она, грешница, любила их больше, чем Бога. С ужасом и страхом находила княжна в своей душе еще худшее, по ее мнению: страх к отцу, зависть к Бурьен, сожаление о невозможности связать свою судьбу с таким простым, честным и милым человеком, каким ей представлялся Ростов. И потом опять и опять возвращалась к своей любимой мечте видеть себя с Пелагеюшкой, в грубом рубище, одной шагающей с палочкой и котомочкой по пыльной дороге, направляя свое странствие, без радости, без любви человеческой, без желаний, от угодников к угодникам и в конце концов туда, где нет ни печали, ни воздыхания о

вечной радости и блаженстве. «Нет, я обдумала это, я непременно это исполню», — думала княжна Марья, сидя у письменного стола и грызя перо, которым она писала в 1809 году свое обычное, привычное четверговое французское письмо своему другу Жюли.

*«Горести, видно, общий удел наш, милый и нежный друг, которого я, кажется, тем более люблю, чем более он несчастен, — писала княжна. — Ваша потеря после несчастий, которые Вам нанесла война, так ужасна, что я иначе не могу себе объяснить ее, как особенной милостью Бога, который хочет испытать, любя Вас и Вашу превосходную мать. (Письмо княжны Марьи было письмо соболезнования по случаю смерти от горячки третьего брата, тогда как два ее были убиты, один в кампанию 1805, а другой 1807 года. Так что из четырех сыновей Настасьи Дмитриевны теперь оставался только один.) Ах, мой друг, религия, только одна религия может нас уж не говорю утешить, но избавить от отчаяния, одна религия может объяснить нам то, что без ее помощи не*



может понять человек: для чего, зачем существа добрые, возвышенные, умеющие находить счастье в жизни, никому не только не вредящие, но необходимые для счастья других, призываются к Богу, а остаются жить злые, бесполезные и вредные или такие, которые в тягость себе и другим. Первая смерть, которую я видела и которую никогда не забуду, смерть моей милой невестки, произвела на меня такое впечатление. Точно так же, как Вы спрашиваете судьбу, для чего было умирать Вашему прекрасному брату, точно так же спрашивала я, для чего было умирать этому ангелу — Лизе, которая не только не сделала какого-нибудь зла человеку, но никогда, кроме добрых мыслей, других не имела в своей душе. И что ж, мой друг, вот прошло с тех пор пять лет, и я своим ничтожным умом уже начинаю ясно понимать, для чего ей нужно было умереть, и каким образом эта смерть была только выражением бесконечной благодати Творца, все действия Которого, хотя мы их большею частью не понимаем, суть только проявления

Его бесконечной любви к своему творению. Может быть, я часто думаю, она была слишком ангельски невинна для того, чтобы иметь силу перенести все обязанности матери. Она была безупречна как молодая жена, может быть, она не могла бы быть такою матерью. Теперь мало того, что она оставила нам, и в особенности Андрею, самое чистое сожаление и воспоминание, она и там, вероятно, получит то место, которого я не смею надеяться для себя.

Но, не говоря уже о ней одной, эта ранняя и страшная смерть имела самое благотворное влияние, несмотря на всю печаль, на меня, на Андрея и на моего отца. Тогда, в минуту потери, эти мысли не могли прийти мне. Тогда я с ужасом отгоняла бы их, но теперь это так ясно и несомненно. Пишу все это Вам, мой друг, только для того, чтобы убедить Вас в евангельской истине, сделавшейся для меня жизненным правилом: ни один волос с головы нашей не упадет без Его воли, а воля Его руководится только одной беспредельною любовью к нам, и потому все,

что ни случается с нами, все для нашего блага.

Вы спрашиваете, приедем ли мы в Москву и скоро ли? Несмотря на все желание Вас видеть, не думаю и не желаю этого. И Вы удивитесь, что причиной этому Бонапарт. И вот почему. Здоровье отца моего заметно слабеет и выражается особенной нервической раздражительностью. Раздражительность эта, как Вы знаете, обращена преимущественно на политические дела. Он не может перенести мысли о том, что Бонапарт ведет дела как с равными со всеми государями Европы и в особенности с нашим, внуком Великой Екатерины.

Как Вы знаете, я совершенно равнодушна к политическим делам, но, по словам моего отца и разговора его с Михаилом Ивановичем, я знаю все, что делается в мире и в особенности все почести, воздаваемые Бонапарту, которого, как кажется, еще только в Лысых Горах изо всего земного шара не признают ни великим человеком, ни еще меньше французским императором. И мой отец не может перено-

сильно этого. Мне кажется, что мой отец, преимущественно вследствие своего взгляда на политические дела и предвидя столкновения, которые у него будут вследствие его манеры, не стесняясь ни с кем, высказывать свое мнение, так неохотно говорит о поездке в Москву. Все, что он выиграет от лечения, он потеряет вследствие споров о Бонапарте, которые неминуемы. Мы видели образец этому в прошлом году. Во всяком случае, это решится очень скоро.

Семейная жизнь идет по-старому, за исключением присутствия Андрея. Он, как я уже писала Вам, очень изменился последнее время. После его горя он теперь только в нынешнем году совершенно нравственно ожил. Он стал таким, каким я его знала ребенком, кротким, добрым и нежным. Он понял, как мне кажется, что жизнь для него не кончена; но вместе с этой нравственной переменой он физически очень ослабел. Он стал худее, чем прежде, нервнее. И я очень боюсь за него и рада, что он предпринял эту поездку в Петербург. Я надеюсь, что это

поправит его. Он поехал в Петербург, где ему нужно окончить дела с тестем, и еще потому, что он обещал Ростовым быть на свадьбе их старшей дочери. Она выходит за какого-то Берга. Но я надеюсь, что эта поездка так или иначе оживит его. Я знаю, что князь Разумовский писал Андрею, приглашая его занять какое-то важное место по статской службе. Андрей сказал нет, но я надеюсь, что он раздумает. Ему нужна деятельность. Отец мой очень одобрил поездку Андрея. Он желает, чтобы Андрей служил. Как он ни бранит и ни презирает нынешнее правительство, хотя он и не выказывал этого, пятилетнее бездействие Андрея и то, что многие его товарищи перегнали его по службе, очень мучило моего отца; хотя и презираемо правительство, но он желает, чтобы Андрей занимал важное место и был на виду у государя, а не оставался бы век отставным полковником. Андрей же тоже в последнее время, я видела, не то чтобы тяготился бездействием, но праздней он никогда не бывал и не может быть с его огромными способ-

ностями и с его сердцем. Нельзя перечислить добро, которое он здесь сделал всем, начиная от своих мужиков и до дворян и т. д., и он не то чтобы тяготеет бездействием, а он чувствует себя настолько готовым на всякое государственное, важное дело и в военной и в гражданской сфере, что ему жалко видеть, как пропадает его способность, и что места, принадлежащие ему по праву, занимаются другими, ничтожными людьми. Я знаю, что он огорчен этим.

И так он уехал, хотя худой, больной и несколько кашляющий, но оживленный и нежный. Он не скрывал своих чувств, как прежде, когда считал стыдным показывать печаль, и поплакал, прощаясь со мной, с отцом и маленьким Коко. Удивляюсь, каким образом вообще доходят слухи из деревни в Москву, и особенно такие неверные, как тот, о котором Вы мне пишете, слухи о женитьбе Андрея на младшей Ростовской. Правда, что Андрей в последнее время видел общество только у них, у Ростовых, правда, что Ростовы, проезжая из деревни в Петербург со

всем семейством, заезжали к нам, пробыли у нас целый день, правда, что Натали Ростова есть одна из самых обворожительных девушек, которых я когда-либо видывала, правда, что Андрей очень ласков к ней, но ласковостью старого дяди к племяннице, правда, что он очень любит ее прелестный голосок, который даже и отца моего развеселил, но не думаю, чтобы Андрей когда-нибудь думал жениться на ней, и не думаю, чтобы это могло случиться.

И вот почему. Во-первых, я знаю, что, несмотря на то, что Андрей редко говорит о покойной жене, печаль этой потери слишком глубоко вкоренилась в его сердце, чтобы когда-нибудь дать ей приемницу и мачеху нашему маленькому Коко. Во-вторых, потому, что эта Натали совсем не из того разряда женщин, которые могут нравиться Андрею. Она привлекательна, обворожительна, но в ней нет того, что называется глубина. После того как она обворожит вас, и вы, без всякой причины улыбаясь, смотрите на нее, вы невольно себя спрашиваете: „Что

же в ней хорошего, за что я пленилась ею?“ — и не находите ответа. Она меня обворожила и всех нас, так что я только на второй день могла собраться с мыслями, чтобы обдумать ее характер. У нее два огромные недостатка: тщеславие, страсть к похвалам и кокетство, не имеющие границ и цели. Я не видала ничего подобного. Она кокетничала со всеми: с Андреем, со мной, с своим братом и, главное, с моим отцом. Она, видимо, слышала о его характере и решила победить его — и победила; через два часа времени она дошла до того, что позволяла себе с ним такие вольности, которые никто, я думаю, в жизни не позволял себе. Не думаю, чтобы Андрей выбрал ее своею женою, и откровенно скажу, я не желаю этого.

Что касается до Николая, то скажу вам откровенно, что он мне очень понравился, и, признаюсь, глядя на него, я мечтала о счастье Вашем с ним. Как бы я желала видеть такого милого человека мужем моего лучшего друга. Но я заболталась. Кончаю свой девятый листок. Прощайте, мой милый



*друг, да сохранит Вас Бог под своим  
святым могущественным покровом.  
Моя милая подруга Бурьен целует  
Вас».*

# ЧАСТЬ ПЯТАЯ

## I

Библейское предание говорит, что отсутствие труда — праздность — было условием блаженства первого человека до его падения. Любовь к праздности осталась та же и в падшем человеке, но проклятие все тяготеет над ним, и не только потому, что мы должны снискивать хлеб свой, — мы не можем быть праздны и спокойны. Какой-то червячок совет нас и говорит, что мы должны быть виновны за то, что праздны. Ежели бы мог человек найти состояние, в котором бы он, бывши праздным, чувствовал себя полезным и исполняющим свой долг, он бы нашел одну сторону первобытного блаженства. И таким состоянием обязательной и безупречной праздности в каждом благоустроенном государстве пользуется постоянно одно большое сословие — сословие военное. И в этой-то обязательной и безупречной праздности состоит блаженство и привлекательность военной

службы. Николай Ростов после 1807 года, продолжая служить в гусарском полку на мирном положении, испытывал вполне это блаженство.

Денисова уже не было в полку — он перешел. С утра вставал Ростов поздно — некуда было торопиться, выпивал чай, выкуривал трубки, беседовал с вахмистром, потом приходили офицеры, рассказывали о важной штуке, произведенной N.N., о том, как надо осадить этого нового молодчика, о вороном жеребце, проданном за бесценок, и о том, куда ехать вечером. В карты Ростов не играл, по службе был исправен, дрался раз на дуэли, деньги у него всегда были, пил много, не делаясь пьяным, и был щедр на угощенье. Он сделался загрубелым, добрым малым, которого московские знакомые нашли бы дурного тона, но который уважался товарищами и имел репутацию молодца и славного человека даже по дивизии.

Он был лихой ездок и постоянно менял, продавал, покупал лошадей и сам выезжал их, ездил верхом, гонял на корде, обедал дома, и у кого не было обеда, все знали, что у Росто-

ва найдут готовый прибор и радушный прием. После обеда он спал, потом призывал пессенников, сам учил их. Езжал и к полякам и волочился за паннами, но аффектировал грубого гусара, не дамского кавалера. Когда он оставался один, он редко брал книгу и, когда брал ее, читал, забывая то, что он прочел.

В последнее время, т. е. в 1809 году, он чаще в письмах из дома находил сетование матери на то, что дела расстраиваются хуже и хуже, что надо что-нибудь предпринять и что пора бы ему приехать домой. Читая эти письма, Николай испытывал беспокойное чувство и страх в том, что хотят вывести из этой ограниченной знакомой скорлупы военной службы, в которой он, так оградив себя от всей житейской путаницы, жил тихо и спокойно. Он чувствовал, что рано или поздно придется опять вступить в тот омут жизни с расстройством и поправлением дел, с отчетами управляющих (о чем ему в тот приезд намекал отец), с связями с обществом, с любовью Сони и обещанием ей. Все это было страшно трудно, запутанно, и он отвечал холодными классическими письмами на письма матери,

умалчивая о том, когда он намерен приехать. Так же он отвечал на письмо, извещавшее его о свадьбе Веры. О сватовстве князя Андрея ничего не писали ему, но только по письмам Наташи он чувствовал, что что-то с ней случилось и что-то от него скрывают. Это беспокоило его. Наташу он более всех любил дома.

Но в конце 1810 года он получил отчаянное письмо матери, писавшей тайно от графа. Она писала, что ежели Николай не приедет и не возьмется за дела, все именье пойдет с молотка и все пойдут по миру. Граф так слаб, так вверился Митеньке, и так добр, и так все его обманывают, что все идет хуже и хуже. «Ради бога, умоляю тебя, приезжай сейчас же, ежели ты не хочешь сделать меня и все твоё семейство несчастными», — писала графиня. Письмо это подействовало на Николая. У него уже был тот здравый смысл или инстинкт поведения, который показывал ему, что было должно.

Теперь было должно ехать, коли не в отставку, то в отпуск. Почему, он не знал: но, выспавшись после обеда, он велел оседлать серого Марса, давно не езженного и страшно

злого жеребца, и, вернувшись на взмыленном жеребце домой, велел Даниле своему укладываться и объявил, что подает в отпуск и едет домой. Как ни трудно и неприятно было ему думать, что он уедет и не узнает из штаба того, что особенно интересно было ему, произведен ли он будет в ротмистры или получит Анну за последние маневры; как ни странно было думать, что он так и уедет, не продав графу Голуховскому тройку саврасых, которых Ростов на пари бился, что продаст ему за две тысячи; как ни неприятно, что без него будет тот бал, который гусары должны были дать панне Пшизецкой в пику уланам, дававшим бал своей панне Бржозовской, он знал, что надо ехать из этого ясного, хорошего мира куда-то туда, где все было вздор и путаница.

Через неделю вышел отпуск, гусары-товарищи не только по полку, но и по бригаде дали обед Ростову, стоивший 15 рублей подписки, — играли две музыки, два хора песенников, Ростов плясал трепака с майором Басовым. Молодежь вся повалилась к восьми часам. Все были пьяны, качали, обнимали Ро-

стова, он целовался с своими гусарами-солдатами. Солдаты еще раз качали его, и после этого он уже ничего не помнил, как только то, что он на другое утро с головной болью и сердитый проснулся на третьей станции и крепко избил за что-то жида, содержателя станции. До половины дороги, как это всегда бывает, до Кременчуга или до Киева, все мысли Ростова были еще назади, в эскадроне, но, перевалившись за половину, уж он начал забывать тройку саврасых, своего вахмистра и панну Бржозовскую и беспокойно начал спрашивать себя о том, что и как он найдет в Отрадном. Чем ближе он подъезжал, тем сильнее, гораздо сильнее, как будто нравственное чувство было подчинено тому же закону ускорения падения тел обратно квадрату расстояния, — он думал о своем доме. И на предпоследней станции избил ямщика, у которого были плохие лошади, а на последней перед Отрадным дал три рубля на водку и, как мальчик, задыхаясь, вбежал на крыльцо дома.

После восторгов встречи и после того странного чувства неудовлетворения в срав-

нении с тем, что ожидал (все те же, к чему же я так торопился?), Николай стал вживаться в свой старый мир дома. Отец и мать были те же, они только немного постарели, но новое в них было какое-то беспокойство и иногда несогласие, которое происходило, как Николай скоро узнал, от дурного положения дел. Соне был уже двадцатый год. Она уже остановилась хорошеть, ничего не обещала больше того, что в ней было, но и этого было достаточно. Она вся дышала счастьем и любовью, с тех пор как приехал Николай, и верная непоколебимая любовь этой девушки радостно действовала на него.

На Наташу Николай долго удивлялся, и ужасался, и смеялся.

— Совсем не та, — говорил он.

— Что ж, подурнела?

— Напротив. Но важность какая-то.

Наташа в первый же день приезда Николая под секретом рассказала ему свой роман с князем Андреем и показала его последнее письмо. Николай был очень удивлен и мало обрадован. Князь Андрей был чуждый для него человек из другого, высшего мира.



— Что ж, ты рад? — спрашивала Наташа.

— Очень рад, — отвечал Николай. — Он отличный человек.

Что ж, ты очень влюблена?

— Как тебе сказать, — отвечала Наташа. — Мне покойно, твердо. Я знаю, что лучше его не бывает людей, и мне так спокойно, хорошо теперь. Совсем не так, как прежде...

Петя поразил всего больше. Это был совсем большой малый.

Первое время этого своего приезда Николай был серьезен и даже сердит. Его мучила предстоящая необходимость вмешаться в эти глупые дела расчетов и всей этой невоенной жизни. Чтобы скорее свалить с плеч эту обузу, в вечер того дня, как он приехал (он приехал утром), он сердито, не отвечая Наташе на вопрос, куда он идет, пошел с нахмуренными бровями во флигель к Митеньке и потребовал у него счета всего. Что такое были эти счета всего, Николай знал еще меньше, чем пришедший в страх и недоумение Митенька.

Разговор и учет Митеньки продолжался недолго. Староста, выборный и земский, дождавшиеся в передней флигеля, с страхом и

удовольствием слышали сначала, как загудел и затрещал как будто все возвышавшийся и возвышавшийся голос молодого графа, слышали ругательные и страшные слова, сыпавшиеся с быстротой одно за другим: «Разбойник, неблагодарная тварь. Изрублю собаку... не с папенькой... обворовал ракаля».

Потом эти люди не с меньшим удовольствием и страхом видели, как молодой граф, весь красный, с налитыми кровью глазами, за шиворот вытащил степенного Митеньку, ногой и коленкой с большой ловкостью в удобное время между своих слов толкнул Митеньку под зад и закричал: «Вон, чтоб духу твоего, мерзавец, здесь не было». Митенька стремглав слетел с шести ступень и убежал в клумбу. (Клумба эта была известным местом спасения преступников в Отрадном. Сам Митенька, приезжая пьяный из города, прятался от жены в клумбе. И многие жители Отрадного, прятавшиеся от Митеньки, знали спасительную силу этой клумбы.) Жена Митеньки и свояченицы с испуганными лицами высунулись в сени из дверей комнаты, где кипел чистый самовар и воздымалась приказчицкая

высокая постель под кусочками стеганным одеялом. На Митеньку граф, задыхаясь, не обращал никакого внимания, решительным шагом, звеня шпорами, прошел мимо них и пошел в дом.

Графиня, узнавшая тотчас же через девушек о том, что произошло во флигеле, с одной стороны, успокоилась — в том отношении, что теперь состояние их должно поправиться, но беспокоилась о том, как перенесет это Николай, и подходила несколько раз на цыпочках к его двери, слушая, как он курил трубку за трубкой.

На другой день старый граф отозвал в сторону Николая и с улыбкой сказал ему:

— А знаешь, ты, моя душа, напрасно погорячился! Мне Митенька рассказал все.

Николай покраснел, чего давно с ним не было. «Я знал, — подумал он, — что я никогда ничего не пойму здесь, в этом дурацком мире».

— Ты рассердился, что он не вписал эти семьсот рублей. Ведь они у него написаны транспортом, а другую страницу ты не посмотрел.

— Папенька, он мерзавец и вор, я знаю. И что я сделал, то сделал. И ежели вы не хотите, я ничего не буду говорить ему.

— Нет, знаешь, душа моя. — Граф был смущен тоже. Он чувствовал, что он был дурным распорядителем имения своей жены и виноват был перед своими детьми, но не знал как поправить это. — Нет, знаешь, он преданный человек. Я прошу тебя заняться делами, я стар, я...

Николай забыл о Митеньке и обо всем, увидев смущенное лицо отца, он не знал, что говорить, и чуть не заплакал. Так ужасно было думать, что отец его, старый, добрый, милый, мог считать себя виноватым.

— Нет, папенька, вы простите меня, ежели я сделал вам неприятное, я меньше вашего умею, простите меня, я ни за что не вступлюсь больше.

«Черт с ним, с этим транспортом, и мужиками, и деньгами, и со всем этим вздором», — подумал он. И с тех пор более не вступался в дела и имел сношение с Митенькой, который особенно был приятен и услужлив в отношении молодого графа только по распоряжени-

ям о псовой охоте, которая была огромная и запущенная у старого графа. Единственное хозяйственное распоряжение Николая за это время состояло в том, что однажды графиня сообщила Николаю свою тайну о том, что у нее есть вексель Анны Михайловны на двенадцать тысяч, и спрашивала у Николая, как он думает поступить с ним.

— А вот как, — отвечал Николай, вспомнив бедность Анны Михайловны, свою прежнюю дружбу к Борису и теперешнюю нелюбовь (это последнее обстоятельство более всего заставило его поступить так, как он поступил). — Вот как! — сказал он. — Вы мне сказали, что это от меня зависит, так вот как! — И он разорвал вексель, и слезами радости заставил этим поступком рыдать старую графиню.

Николай серьезно занялся делом охоты, так как была осень и самое лучшее охотничье время. Наташа смело ездил верхом, по своей охотничьей породе, как мужчина, любила, понимала охоту, и благодаря охоте эти два осенние месяца, которые провели Наташа и Николай в 1810 году в Отрадном, были счастливейшим в своем роде временем в их жиз-

ни, о котором они более всего любили вспоминать впоследствии. Соня не умела ездить верхом и оставалась дома, и вследствие этого Николай меньше виделся с ней. Он был с ней в простых, дружеских отношениях, любя ее, но считал себя совершенно свободным. Наташа, переставшая учиться, не имея никого, с кем бы она кокетничала, не тяготясь своим одиночеством, потому что она была уверена в будущем браке с князем Андреем, и не слишком нетерпеливо ожидая этого времени, тоже чувствовала себя вполне, как никогда, свободной, и с страстью, с которой она все делала, отдалась охоте и дружбе с братом. Благодаря ей Николай повеселел и нашел и здесь, в этом прежде страшном своей путаницей мире, свой замкнутый мирок существенных интересов дружбы с Наташей и охоты.

Это было 12 сентября. Уже были зазимки — утренние морозцы, заковывавшие смоченную осенними мгами землю, уже зеленя уклонились, и здоровыми, зелеными, огромными полосами отделялись от полос светло-желтого озимого жнивья и буреющего, выбитого скотом, ярового жнивья с изрезывавшими его красными полосами гречихи. Вершины и леса, в конце августа еще бывшие зелеными островами между черными полями озимей и жнивами, на которых еще были копны, теперь были темно-бурыми с золотистыми и ярко-красными отблесками и с устланым падшим мокнущим листом островами посреди ярко-зеленых озимей. Русак уже до половины затер портки и седел в спинке, лиса повыцвела, и выводки нынешнего года начинали разбредаться. Молодые волки уже были больше гончей собаки, и собаки горячего молодого охотника Ростова уже порядочно подбились, вошли в охотничье тело, и в общем совете охотников решено было три дня дать отдохнуть собакам, а 14 сентября идти в отъезд, на-

чиная с дубравы, где были волки.

В таком положении были дела 11 сентября вечером. Весь этот день охота была дома, и было морозно и колко, но с вечера стало замолживать, оттепелело, пошла мга, ветру не было никакого, и на другой день, когда Николай, проснувшись рано, в халате выглянул в окно, он увидел такое охотничье утро, лучше которого быть ничего не может для охотника, как будто небо таяло и спускалось на землю, и ежели было движение в воздухе, то, может быть, только сверху вниз. Николай вышел на крыльцо, пахло мокрым листом и собаками, которые тут лежали под навесом крыльца. Черно-пегая широкозадая хортая сука Милка с прелестными навывкате черными глазами, увидав хозяина, встала, потянулась назад и легла по-русачьи, потом неожиданно вскочила и лизнула хозяина прямо в нос и усы. Однопометник Милки красный кобель Ругай, увидав хозяина и завидуя Милке, с цветочной дорожки, по которой он, застричав, шел, выгибая спину, стремительно бросился к крыльцу и, подняв правло, удержался с разбегу и стал тереться об ноги Николая.



— О-гой! — послышался в это время тот неподражаемый охотничий подклик, соединяющий в себе и самый глубокий бас, и самый тонкий тенор, и из-за угла вышел Данила, по-украински в скобку обстриженный, седой, морщинистый охотник, с гнутым арапником со свинчаткой в руке и с тем выражением самостоятельности и презрения ко всему в мире, которое бывает только у охотников. Он снял свою черкесскую шапку перед баринном, но и в этом жесте было презрение к барину, и презрение это лестное для барина, потому что все-таки Николай знал, что этот все презирающий и превыше всех стоящий Данила все-таки его человек.

— Данила! — сказал Николай, поправляя усы и улыбаясь, чувствуя, что его уже обхватило то непреодолимое охотничье чувство, в котором человек забывает все прошедшее и будущее и все прежние намерения, как человек влюбленный в присутствии своей любовницы.

— Что прикажете, ваше сиятельство? — спросил протодиаконски охриплый от порсканья бас, и два черные блестящие глаза

хитро взглянули исподлобья на молчавшего барина. «Что, али не выдержишь?» — как будто сказали эти два глаза.

— Хорош денек, а? И гоньба, и скачка, а? — сказал Николай, чеша за ушами Милку.

Данила не отвечал и помигивал глазами.

— Уварку посылал, — сказал его бас после минутного молчанья, — послушать на заре. Сказывал, в Отрадненский заказ перевела.

Перевела значило, что волчица, про которую они оба знали, перешла с детьми в отрадненский лес, который был за две версты от дома.

— Что ж, не ехать ли? Приди-ка ко мне с Уваркой.

— Как прикажете. — И Данила скрылся за углом.

— Так погоди, не корми.

— Слушаю.

Через пять минут Данила с Уваркой стояли в большом кабинете и беседовали. Но как ни велик был кабинет Николая, страшно было видеть Данилу в комнате. Несмотря на то, что он был невелик ростом, видеть его в комнате производило впечатление подобное тому, как

когда видишь лошадь или медведя на полу, между мебелью и условиями людской жизни. Данила сам это чувствовал больше всех. Он обыкновенно, придя, становился на своих как будто каменных ногах, не двигался и старался говорить только тише. Ему все казалось, что он нечаянно все это разломает и попортит, и всегда как можно торопился выйти на простор из-под потолка под небо. Окончив расспросы и выпытав, что собаки ничего (Даниле и самому без памяти хотелось ехать), и сделав маршрут, Николай велел седлать. Но только что Данила хотел выйти, как в комнату вошла быстрыми шагами Наташа, еще не причесанная и вся окутанная в большой нянин платок с черным полем, на котором были изображены птицы.

Наташа была взволнована, так что она на силу удерживалась не раскрыть платок и не замахать при охотниках голыми руками. Она отчасти это и сделала.

— Нет, это гадость, это подлость, — кричала она. — Сам едет, велел седлать, а мне ничего не сказал...

— Да ведь тебе нельзя. Маменька сказала,

что тебе нельзя.

— А ты и выбрал время ехать, очень хорошо. — Она едва удержалась, чтоб не заплакать. — Только я поеду, непременно поеду. Что хочет мама, а я поеду. Данила, вели мне седлать, и Саша чтоб выезжал с моей сворой, — обратилась она к ловчему.

И так-то быть в комнате Даниле казалось неприлично и тяжело, но иметь какое-нибудь дело с барышней, — в этом уж он ничего не понимал. Он опустил глаза и поспешил выйти, как будто до него это не касалось, стараясь только как-нибудь нечаянно не повредить барышню.

Хотя и говорили, что Наташе нельзя было ехать, что она простудится, но еще меньше можно было помешать ей сделать то, что она хотела, и Наташа собралась и поехала.

Старый граф, всегда державший огромную охоту и изредка сам выезжавший в поле, теперь же передавший всю охоту в ведение сына, в этот день 12 сентября, развеселившись, собрался сам тоже выехать и послал жену, Сою, гувернантку, Петю ехать в линейке...

Через час вся охота была у крыльца. Нико-

лай, не дожидаясь никого, с строгим и серьезным видом, показывавшим, что некогда теперь заниматься пустяками, прошел мимо Наташи, с помощью своего стремянного Саши садившейся на лошадь, осмотрел все части охоты, послал вперед стаю и охотников в заезд, сел на своего рыжего донца и, подсвистывая собак своей своры, тронулся через гумно в поле, ведущее к Отрадненскому заказу. Лошадь старого графа, игреневого меринка, называемого Вифлянкой, вел его, старого графа, стремянный, сам же он должен был прямо, на оставленный ему лучший лаз, выехать в дрожечках. Всех гончих собак в охоте Ростовых было восемьдесят. Все одной старинной ростовской породы, костромки, низкие на ногах, сухие, паратые и голосистые, черные с подпалинами. Но много уже было подбившихся собак, так что вывели в стаю всего пятьдесят четыре собаки. Данила с Карпом Туркой ехали передом. Сзади ехало три выжлятника. Борзятников было четыре господских своры: графские (старого графа) в одиннадцать собак и два стремянных, графченкова (Николая) в шесть собак, Наташина в четы-

ре плохоньких собачки, на нее не надеясь, ей дали что было похуже, и Митенька с своей сворой, кроме того, было семь свор борзятников. Так что вышло в поле около 150 собак и 25 конных охотников. Каждая собака знала хозяина, кличку, каждый охотник знал дело, знал свое место и назначение. Весь этот хаос визжавших собак, окрикивающих охотников, собравшийся на дворе дома, без шума и разговоров равномерно и спокойно расплылся по полю, как только вышли за ограду. Только слышно было изредка подсвистыванье, храп лошади или взвизг собаки и, как по пушному ковру, шаги лошадей и побрякиванье железки ошейника. Едва выехали за Чепыж, как по полю показались еще пять охотников с борзыми и два с гончими, шедшие навстречу ростовским.

— А, дядюшка! — сказал Николай подъехавшему к нему красивому старику с большими седыми усами.

— Так и знал, — заговорил дядюшка (это был дальний родственник, небогатый сосед, исключительно посвятивший свою жизнь охоте), — нельзя вытерпеть, и хорошо, что

идешь, такая погода — чистое дело марш (это была поговорка дядюшки). Бери заказ сейчас, а то мой Гирчик мне донес, что Илагины с охотой в Карниках стоят, они у тебя, чистое дело марш, под носом выводок возьмут.

— Туда и иду. Что же, свалить стаи? — спросил Николай. Гончих соединили в особенности потому, что дядюшка утверждал, что без его Волтора, чистое дело марш, на волков хоть не ходи, и господа поехали рядом. К ним галопом подскакала и Наташа, неловко и уродливо закутанная и увязанная и перевязанная платками, которые все-таки не могли скрыть ее ловкой, уверенной посадки на лошади и ее оживленного, счастливого, с блестящими глазами, лица, высывавшегося из-под платка и мужской шапки. На ней сверх всего был, однако, рог, кинжал и сворка.

— Николай, какая прелесть Трунилы, он узнал меня, — заговорила она. — Здравствуйте, дядюшка. — Николай не отвечал, озабоченный соображениями и планами, чувствуя на себе всю ответственность предприятия и оглядывая свою армию. Дядюшка поклонился, но ничего не сказал и поморщился при ви-

де юбки. Он не любил, чтоб соединяли баловство с серьезным делом, как охота. Николай был того же мнения и строго взглянул на сестру, стараясь ей дать почувствовать то расстояние, которое их должно было разделять в эту минуту, как Генрих IV давал чувствовать Фальстафу, что, какая бы ни была между ними дружба прежде, теперь между королем и Фальстафом была пучина.

Но Наташа была слишком весела, чтобы заметить это.

— Николай, посмотри, какая Завидка моя стала худая, ее, верно, плохо кормят, — она подкликнула Завидку, старую-старую облезлую суку с шишками на кострецах. — Посмотри.

Николай дал эту суку Наташе потому, что некуда было девать ее, и теперь перед дядюшкой ему совестно было, что у него в охоте была такая собака.

— Ее повесить надо, — сказал он коротко и сделал распоряжение, которое передавать по скакал стремянной на рыжей лошади, брызгая грязью в Николая, Наташу и дядюшку. Но плохое положение Завидки не смутило Ната-



шу. Она обратилась к дядюшке, показывая ему свою другую собаку и хвастаясь ею, хотя и эта другая была очень плоха. Но уже остров Отрадненского заказа виднелся саженьях в ста, и доезжачие подходили к нему.

Николай, решив окончательно с дядюшкой, откуда бросать, указал Наташе место, подтвердив, где стоять ее стремянному, и сам поехал в заезд над оврагом, считавшимся вторым по достоинству лазом на матерого волка. Лучший лаз в такой перемычке к большому лесу предоставлен был старому графу.

— Николай, — прокричала Наташа, — я сама заколю...

Николай не отвечал и только пожал плечами на бестактность сестры.

— На матерого становишься, прогладишь, — сказал дядюшка.

— Как придется, — отвечал Николай. — Карай, фють, на, — крикнул он, отвечая этим призывом на слова дядюшки. Карай был огромный бурдастый кобель, не похожий на собаку, серьезный и уродливый, известный тем, что он в одиночку брал матерого волка.

Все разъехались.

Старый граф, зная охотничью горячку сына, поторопился не опоздать, и еще не успели доезжачие подъехать к месту, как Илья Андреич, веселый, румяный, позавтракав, с трясущимися щеками, на своих вороненьких подкатил по зеленым к лазу и, расправив шубку и надев охотничье снаряжье, взлез на свою гладкую, сытую, смирную и добрую, поседевшую, как и он сам, Вифлянку. Лошадей с дрожками отослал. Граф Илья Андреич, хоть и не охотник в душе, но знавший твердо охотничьи законы, забрался в опушку леса, от которого он стоял, разобрал поводья, выправил шубку и оглянулся, улыбаясь. Подле него стоял его камердинер и старинный ездок, но отяжелевший, Семен Чекмарь, державший на своре трех лихих, тоже заживевших, как хозяин и лошадь, волкодавов. Две собаки, умные, старые, улеглись без свор. Подальше в опушке стоял другой стремянный, маленький, краснорожий, всегда пьяный фореитор Митька Копыл, отчаянный ездок и страстный охотник. Граф, по своей старинной привычке, перед охотой выпил охотничьей запеканочки серебряный кубочек, закусил и запил полубу-

тылкой своего любимого бордо. Илья Андреевич был немножко красен от вина и езды, глаза его, подернутые влагой, особенно блестели, и он, прямо, укутанный в шубку, сидя на седле, оглядывался, улыбаясь, кругом и имел вид ребенка, которого собрали гулять.

Семен Чекмарь, пивший запоем, худой, с втянутыми щеками, имел грозный вид, но не спускал глаз с своего барина, с которым они жили тридцать лет душа в душу и, понимая его приятное расположение духа, ждал приятного разговора. Еще третье лицо подъехало осторожно (видно, уж оно было учено) из-за леса и остановилось позади графа. Лицо это был старик в седой бороде и в женском капоте и высоком колпаке. Это был шут Настасья Иваныч.

— Ну, смотри, Настасья Иваныч, — сказал ему, подмигивая, граф, — ты только оттопай зверя, тебе Данила задаст.

— Я сам... с усам.

— Ш-ш-ш, — зашипел граф и обратился к Семену. — Наталью Ильиничну видел? — спросил он у Семена. — Где они?

— Они от Жаровых кустов стали, — отве-

чал Семен, улыбаясь. — Так и норовят волка затравить...

— А ты удивляешься, Семен, как она ездит... а? — сказал граф.

— Хоть бы мужчине впору.

— Николаша где? Над Лядовским верхом, что ль? — спросил граф, все говоря шепотом.

— Так точно-с. Уж они знают. Так тонко ездут знают, что мы с Данилой другой раз диву даемся, — говорил Семен, зная, чем угодить барину.

— Хорошо ездит, а? А на коне-то каков, а?

— Картину писать. Как намеднишь они из Заварзинских бурьянов лисицу перескакивали, — страсть: лошадь тысяча, а седоку цены нет. Ну уж, такого молодца поискать.

— Поискать... — повторил граф, видимо, сожалея, что кончился так скоро разговор Семена. — Поискать? — сказал он, отворачивая полы шубки и доставая табакерку. Семен слез и, выпростав табакерку, подал.

— Намедни, как Михаил-то Сидорыч... — Семен не договорил, услышав ясно раздавшийся в тихом воздухе гон с подвыванием не более двух или трех гончих. Он поспешно

ухватился за стремя и стал садиться, кряхтя и бормоча что-то.

— На выводок натекли... — заговорил он, — вон она, во подвывает, вишь подвоивает. Но... прямо на Лядовской повели.

Граф, забыв стереть улыбку с лица, смотрел перед собой вдоль по перемычке и, не нюхая, в руке держал табакерку. Семен говорил правду. Послышался голос по волку в басистый рог Данилы. Стая напала на выводок, слышно было, как заревели с заливом голоса гончих с тем особенным подвыванием, которое служит признаком гону по волку, слышно было, как уж не порскали, а улюлюкали доезжачие, и из-за всех голосов выступал голос Данилы, то басистый, то пронзительно стальной, тонкий, которому мало было этих двухсот десятин леса, так и выскакивал наружу и звучал везде в поле. Прислушавшись несколько секунд, граф заметил, что гончие разбились на две стаи: одна, большая, ревевшая особенно горячо, стала удаляться (это были прибылые), другая часть стаи понеслась вдоль по лесу, мимо графа, и при этой стае было слышно улюлюканье Данилы. Оба эти

гона сливались, переливались, но оба удалялись. Семен вздохнул и нагнулся, чтоб оправить сворку, в которой запутался молодой кобель. Граф тоже вздохнул и машинально, заметив в своей руке табакерку, открыл ее и достал щепоть.

— Назад! — крикнул шепотом в это время Семен на кобеля, который выступил за опушку. Граф вздрогнул и уронил табакерку.

Семен хотел слезть поднять ее, но, раздумав, мигнул шуту. Настасья Иванович слез, подходя к табакерке, зацепился за сук и упал.

— Али перевесилась, — Семен и граф засмеялись.

— Кабы на Николашу вылез, — сказал граф, продолжая прерванный разговор. — Тот бы потешился, Карай возьмет...

— Ох, мертвый кобель... Ну, давай сюда, — говорил Семен, протягивая руку к табакерке графа и смеясь тому, что Настасья Иванович одной рукой подавал табакерку, а другой подбирал табак с сухих листьев. И граф и Семен смотрели на Настасью Ивановича. Гончие все гоняли, казалось, все так же далеко. Вдруг, как это часто бывает, звук мгновенно прибли-

зился, они услышали гон, как будто перед самими ими были лающие рты собак, и услышали улюлюканье Данилы, который, казалось, вот-вот задавит, скача на своем буром мерине. Оба испуганно и беспокойно оглянулись, но впереди ничего не было. Граф оглянулся направо на Митьку и ужаснулся. Митька с выкатывавшимися глазами, бледный, плачущий, смотрел на графа и, подняв шапку, указывал ею вперед на другую сторону.

— Береги! — закричал он таким голосом, что видно было, это слово давно уже мучительно просилось у него наружу. Митька поскакал, выпустив собак, к графу. Граф и Семен, сами не зная зачем, выскакали из опушки и налево от себя, шагах в тридцати, увидели седого лобастого волка с наеденным брюхом, который неуклюже, мягко переваливаясь, тихим скоком подскакивал левее их к той самой опушке, у которой они стояли. Злобные собаки визгнули, ахнули и, срываясь с свор, как стрелы, отбивая скачки по упругому, мягкому жнивью, понеслись к волку, мимо ног лошадей. Волк уже был у опушки; он приостановил бег, неловко повернул свою се-

дую голову к собакам, как больной жабой поворачивает голову, и, так же мягко переваливаясь, прыгнул раз, другой, мелькнуло полено, и скрылся в опушку. В ту же минуту, как граф, чувствуя свою ошибку, плачущим голосом заулюлюкал вслед волку, в ту же минуту из противоположной опушки с ревом и гоним, похожим на плач, растерянно вынеслась одна, другая, третья гончая, и вся стая взрячь понеслась по полю, по тому месту, где бежал волк. Но это бы было еще ничего, вслед за гончими расступились кусты орешника, и вылетела бурая, казавшаяся вороной от поту, лошадь Данилы. На длинной спине комочком, валясь вперед, сидел Данила, без шапки, с седыми встрепанными волосами над красным потным лицом, один ус насмешливо торчал кверху.

— Улю-лю-лю, — крикнул еще раз в поле Данила. — Береги рас... про... ж...а, — крикнул он, со всего размаха налетая с поднятым арапником на графа. Но и узнав графа, он не переменил тон.

— Про...ли волка-то. Охотники! — И как бы не достаивая графа дальнейшим разговором,



он со всей злобой на графа ударил по быстро ввалившимся мокрым бокам бурого мерина и, улюлюкая так, что ушам больно было, понесся за гончими. Граф, как наказанный, стоял, оглядываясь и стараясь улыбкой вызвать хоть в Семене сожаление к своему положению. Но Семен, увидавший наеденное брюхо волка, понял, что была надежда перескакать его, и несся по кустам, заскакивая волка от Засеки. С двух сторон также перескакивали зверя борзятники. Но волк пошел кустами, и ни один охотник не перехватил его.

Через полчаса Данила с гончими с другой стороны вернулся в первый остров, подваливая их к отбившейся части стаи, все еще гоняющей по прибылым.

В острову оставались еще два переярка и четыре прибылых. Одного прибылого затравил дядюшка, другого словили гончие и откололи выжлятники. Третьего затравили борзятники на опушке, по четвертому еще гоняли. Один из переярков слез лощиной к деревне и ушел нетравленным, другой переярочек полез по Лядовскому оврагу, тому самому, над которым стоял Николай.

Николай чувствовал охотничьим чувством (определить и сознать которое невозможно) по приближению и отдалению гона, по звукам голосов известных ему собак, по приближению, отдалению и возвышению голосов доезжачих, что совершалось в острове, что были прибылые и матерые, что гончие разбились, что где-нибудь травили и что что-нибудь случилось неблагоприятное. Сначала он наслаждался звуками варом варившей стаи, два раза проведенной мимо его по опушке, сначала он замирал, напрягая зрение и подбираясь на седле, с готовым криком отчаянного улюлюканья, стоявшим уже вверху его горла. Он держал во рту этот крик, как держат воду во рту, готовясь всякую секунду его выпустить. Потом он отчаивался, сердился, надеялся, несколько раз в душе молился Богу о том, чтобы волк вышел на него, — молился с тем страстным и совестливым чувством, с которым молятся люди в минуты сильного волнения, зависящего от ничтожной причины. «Ну, что Тебе стоит, — говорил он Богу, — сделай это для меня. Знаю, что Ты велик и что грех Тебя просить об этом, но, ра-

ди бога, сделай, чтобы на меня вылетел матерый и чтобы Карай на глазах у дядюшки, который вон оттуда смотрит, вlepился ему мертвой хваткой в горло». Но волк все не выбегал. Тысячу раз в эти полчаса упорным, напряженным и беспокойным взглядом окидывал Николай и опушку леса с двумя редкими дубами над осиновым подседом, и овраг с измытым краем, и шапку дядюшки, чуть видневшегося из-за куста направо, и Наташу с Сашей, которые стояли налево. «Нет, не будет этого счастья! — думал Николай. — И что бы стоило? Не будет, мне всегда во всем несчастье, и смотреть нечего». Он думал это и в это самое время, напрягая усталое зрение, весь зрение и слух, оглядывался налево и опять направо.

Направо, ложиной по Лядовскому верху, уже в шагах тридцати от опушки, в то время как Николай опять глянул направо, катил матерый, как ему показалось, волк, своей бело-серинной отличаясь от серой зелени травы по скату оврага. «Нет, это не может быть!» — подумал Николай, тяжело вздыхая, как облег-

ченно вздыхает человек при совершении того, что долго ожидаемо. Совершилось величайшее счастье — и так просто, без шума, без блеска, бежит серый зверь, как будто по своему делу, бежит вскачь, не шибко, не тихо, оглядываясь по сторонам. Николай не верил себе; он оглянулся на стремянного. Прокошка, пригнувшись к седлу, не дышал, устремляясь не только выкаченными глазами, но и всем наклоненным туловищем к направлению волка, как кошка, встречающая беззаботно бегущую к ней мышь. Собаки лежали, стояли, не видя волка, ничего не понимая. Сам старый Карай, завернув голову и оскалив желтый, старый клык, щелкал зубами, сердито отыскивая блоху в своем лесе комками висевшей на задних ляжках шерсти.

Бледный Николай строго и значительно оглянул их, но они не поняли взгляда. «Улюлюлю!» — шепотом, оттопыривая губы, проговорил он им. Собаки, дрогнув железками, вскочили, насторожив уши. Карай дочесал, однако, свою ляжку и только потом встал, насторожив уши и слегка мотнув хвостом, на котором висели войлоки. «Что ж, я готов, в

чем дело?» — как будто сказал он.

«Пускать, не пускать?» — все спрашивал себя Николай, в то время как волк подвигался к нему, отдаляясь от леса. Но вдруг вся физиономия волка изменилась: он вздрогнул, увидав человеческие глаза, устремленные на него, присел, задумался — назад или вперед — и пустился вперед, уже не оглядываясь, своим мягким, редким, вольным скоком, как будто он сказал себе: «Э, все равно! Посмотрим еще, как-то они меня поймают».

«А, ты так! Ну, держись!» — И Николай, заюлюкав, выпустил во весь мах свою добрую лошадь под гору Лядовского верха, впоперечь волку. Николай смотрел только на собак и на волка, но он видел и то, что напротив его в развевающейся амазонке неслась с пронзительным визгом Наташа, обгоняя Сашку, сзади спешил дядюшка с своими двумя сворами.

Волк летел, не переменяя направления, по лощине. Первая приспела черно-пегая Милка. Но, о ужас, вместо того, чтобы наддать, приближаясь к нему, она стала останавливаться и, подняв хвост, уперлась на передние ноги. Второй был Любим. Этот с разлета схватил

волка за гачи, но волк приостановился и, оглянувшись, оскалился. Любим спустил. «Нет, это невозможно. Уйдет», — подумал Николай.

— Карай! — Но Карай медленно, тяжело скакал наравне с его лошадьё. Одна, другая собака подоспели к волку. Собаки Наташиной своры были тут же, но ни одна не брала. Николай был уже в шагах двадцати от волка. Волк раза три останавливался, садился на зад, огрызался, встряхивался от хватавших его больше за задние ноги собак и с поджатым хвостом опять пускался вперед. Все это происходило на середине верха, соединяющего Отраденский заказ с казенным огромным лесом Засекой. Перейди он в Засеку, волк бы ушел.

— Караюшка, отец, — кричал Николай. Древний урод, калеченый Карай был немного впереди лошади и ровным скоком, сдерживая дыханье и не спуская глаз, спешил к опять на мгновение присевшему в это время волку. Муругий молодой, худой, длинный кобель своры Наташи с неопытностью молодости подлетел спереди к волку и хотел схватить

его. Волк быстро, как нельзя было ожидать от него, бросился к неопытному кобелю, лязгнул зубами, и окровавленный, с распоротым боком кобель, поджав хвост, бросился в сторону, отчаянно и неприятно визжа. Волк поднялся и опять двинулся вперед, между ног пряча полено. Но, пока происходило это столкновение, Карай, с своими мотавшимися на ляжках войлоками и нахмуренными бровями, был уже в пяти шагах от волка, все не изменяя свой ровный скок. Но тут, как будто какая-то молния прошла сквозь него, Николай видел только, что что-то сделалось с Караем: он двумя отчаянными прыжками очутился на волке и с волком вместе повалился кубарем. Та минута, когда Николай увидал голову волка с разинутой, лязгающей и никого не достающей пастью, поднятой кверху, и в первый раз всю фигуру волка на боку, с усилием цепляющегося толстыми лапами за землю, чтобы не упасть на спину, была счастливейшей минутой в жизни Николая. Николай был уже тут же над ним и заносил уже ногу, чтобы слезть принимать волка. Карай сам упал через волка. Шерсть его поднялась, он весь дрожал и

делал своими съеденными зубами отчаянные усилия, чтобы встать и перехватить из шивороты в горло. Но, видно, зубы его были уже плохи. На одном из этих усилий волк рванулся, справился. Карай упал и выпустил его. Как бы поняв, что шутить нечего, волк пустил во весь мах и стал отделяться от собак.

— Боже мой! За что! — с отчаянием закричал Николай.

Дядюшка, как старый охотник, скакал наперерез от Засеки и встретил опять и задержал волка. Но ни одна собака не брала плотно. Карай отстал далеко сзади. Охотники, Николай, его стремянный, дядюшка с своим, Наташа с своей, — все вертелись над зверем, улюлюкая, крича, не слыша друг друга, всякую минуту собираясь слезать, когда волк садился на зад. Но всякий раз волк встряхивался и медленно подвигался к Засеке, которая должна была спасти его.

Еще в начале этой травли Данила, услышав улюлюканье, выскочил на опушку и, так как это было дело не его и без гончих, остановился посмотреть, что будет. Он видел, как Карай взял волка, ждал, что сейчас возьмут его. Но,



когда охотники не слезли, волк встряхнулся, Данила крикнул.

— Отвертится, — сказал он и выпустил своего бурого не к волку, но прямой линией к Засеке, к тому месту, где, он знал, волк войдет в Засеку. Благодаря этому направлению, он подскакивал к волку в то время, как во второй раз его остановили дядюшкины собаки, прежде чем Карай успел второй раз приспеть к зверю. Данила скакал молча, держа вынутый кинжал в левой руке и, как цепом, молоча своим арапником по подтянутым бокам бурого. Николай не видал и не слышал Данилы до тех пор, пока мимо самого его не пропыхтел, тяжело дыша, бурый, и он не увидел, что Данила через голову лошади упал в середину собак, на зад волка. Но в то же мгновение те же собаки, которые не брали, уцепились с визгом за гачи волка, и Данила, кубарем падая вперед, добежал до остановленного зверя и, измученный, как будто ложась отдыхать, всей тяжестью повалился на волка, хватая его за уши. Данила не позволил колоть волка, а послал стремянного вырубить палку, засунул ее в рот волку, завязал сворой и взва-

лил на лошадь. Когда все было кончено, Данила ничего не сказал, а только, сняв шапку, поздравил молодого графа с красным полем и улыбнулся из-под усов своей детски-нежной, круглой и кроткой улыбкой.

Гончих вызвали, все съехались, желая поговорить; под предлогом рассказать друг другу все, что было, рассказали все то, чего не было, и тронулись дальше. Старый граф посмеялся Даниле об прозеванном волке.

— Однако, брат, ты сердит, — сказал граф.

Данила на это только улыбнулся своей приятной улыбкой. Старый граф и линейка поехали домой. Наташа, несмотря на уговоры и требования, осталась с охотой. Более всего хотелось Николаю захватить Зыбинскую вершину прежде Илагиных, которые стояли недалеко от нее, и потому он пошел дальше, чем предполагал.

Зыбинская вершина была глубокая, изрытая водой, поросшая чащею осинника котловина в зеленях, в которой всегда бывали лисицы. Только что бросили гончих, как услышали в соседнем острове рога и гон илагинской охоты и увидали охотника Илагина с

борзыми, стоявшего от Зыбинской вершины. Случилось так, что, в то время как из-под ротовских гончих побежала на перемычку от илагинского леса лисица, их охотник заезжал в заезд. Травить стали оба, и Николай видел, как расстилалась по зеленым красная, низкая, пушистая лисица, как кругами плавала она между собак, все чаще и чаще делая эти круги и обводя вокруг пушистой трубой, и как наконец налетела белая собака и вслед за ней черная, и все смешалось, и звездой, врозь расставив зады, чуть колеблясь, стали собаки и подскакали два охотника — один его, в красной шапке, другой чужой, в зеленом кафтане. Охотники эти долго не торочили, стояли пешие — около них на чумбурах лошади с своими выступами седел и собаки — и махали руками, и один махал лисицей и подал голос.

— Дерутся, — сказал стремянный Николаю.

Так гончие вышли за лисицей. Николай послал подзвать к себе сестру и шагом поехал на место драки. С другой стороны, тоже прекрасной лошастью и нарядом отличаясь от других, сопровождаемый двумя стремянными,

выехал навстречу Николаю толстый барин. Но прежде, чем съехались господа, дравшийся охотник с лисицей в тороках подъехал к графу. Он далеко снял шапку и старался говорить почтительно, но он был бледен как полотно, задыхался и был, видимо, в таком озлоблении, что не помнил себя. Глаз у него был подбит, но все он имел гордый вид победителя.

— Как же, из-под наших гончих он травить будет, да и сука-то моя половая поймала. Поди, судись. За лисицу хватает, я его лисицей-то по морде съездил. Отдай в тороках. А этого не хочешь, — говорил охотник, указывая на кинжал и, вероятно, воображая, что он все еще говорит с своим врагом.

Николай, не разговаривая с охотником, тоже взволнованный, поехал вперед к приближавшемуся барину. Охотник-победитель въехал в задние ряды и там, окруженный сочувствующими любопытными, рассказывал свой подвиг. Вместо врага Николай нашел в Илагине добродушного и представительного барина, особенно желавшего познакомиться с молодым графом. Он объявил, что велел строго

наказать охотника, очень жалеет о случившемся, просит графа быть знакомым, предлагал свои места и низко галантно снял бобровую шапку перед Наташей и сделал ей несколько мифологических комплиментов, сравнивая ее с Дианой. Илагин, чтобы загладить вину, настоятельно просил Николая пройти в его угорь, которую берег для себя и в которой было пропасть лисиц и зайцев. Николай, польщенный любезностью Илагина и желая похвастаться перед ним охотой, согласился и отвлекся еще дальше от своего маршрута.

Идти до илагинской угори было далеко и голыми полями, в которых было мало надежды найти зайцев. Они разровнялись и прошли версты три, ничего не найдя. Господа съехались вместе. Все взаимно поглядывали на чужих собак, тайком стараясь, чтобы другие этого не заметили, и с беспокойством отыскивали между этими собаками соперниц своим. Ежели разговор заходил о резвости собак, то каждый обыкновенно особенно небрежно говорил о достоинствах своей собаки, которых он не находил слов расхвали-

вать, говоря с своим охотником.

— Да, это добрая собака, ловит, — равнодушным голосом говорил Илагин про свою красно-пегую Ерзу, за которую он два года тому назад отдал три семьи дворовых соседу. Эта Ерза особенно смущала Николая, она была необыкновенно хороша. Чистопсовая, тонкая, узенькая, но с стальными на вид мышцами и с той драгоценной энергией и веселостью, которую охотники называют сердцем. Собака скачет не ногами, а сердцем. Всем охотникам без памяти хотелось померять своих собак, у каждого была своя надежда, но они не признавались в этом. Николай шепотом сказал стремянному, что даст рубль тому, кто подзрит, то же самое распоряжение сделал Илагин.

— У вас половой кобель хорош, граф, — говорил Илагин.

— Да, ничего, — отвечал Николай.

— Я не понимаю, — говорил Илагин, — как другие охотники завистливы на зверя и на собаку. Я вам скажу про себя. Меня веселит, знаете, проехаться, потравить, вот съедешь с такой компанией... Уж чего же лучше... — Он

опять снял свой бобровый картуз перед Наташей, — а это, чтобы шкуры считать, сколько привез, мне все равно.

— Ну да.

— Или чтоб мне обидно было, что чужая собака поймает, а не моя, — мне только бы полюбоваться, — не так ли, граф, потому я сужу...

Охотники ровнялись вдоль оврага. Господа ехали в середине правой стороной.

— Ату его! — слышался в это время протяжный крик одного из борзятников Илагина. Он заработал рубль, подозрел русака.

— А, подозрел, кажется, — сказал небрежно Илагин. — Что же, потравим, граф?

— Да, подъехать... да что ж, вместе? — отвечал Николай, вглядываясь в Ерзу и в красного кобеля дядюшки, не в силах скрыть волнения, что приходит минута поравнять своих собак с чужими, особенно с илагинскими, славившимися своей резвостью, и чего ему еще ни разу не удалось сделать.

— Ну, что как с ушей оборвут мою Милку?!

— Матерый? — спрашивал Илагин, подаваясь к месту и не без волнения оглядываясь и

подсвистывая Ерзу. — А вы, Михаил Никанорович? — обратился он к дядюшке.

Дядюшка ехал, насупившись.

— Что мне соваться, ведь ваши по деревне плачены собаки. Ругай, на, на, — крикнул. — Ругаюшка, — прибавил он, невольно этим уменьшительным выражая свою нежность и надежды, возлагаемые на этого красного кобеля. Наташа чувствовала то же, что и другие, и, не скрывая, волновалась и вперед уже чувствовала и выражала даже ненависть ко всем собакам, которые смеют поймать зайца вместо ее Завидки.

— Куда головой лежит. Отъезжай, отведи гончих, — крикнул кто-то; но не успели еще исполнить этих распоряжений, как русак, чуя мороз к завтрашнему утру, не вылежал и вскочил, сначала приложив одно ухо. Гончие на смычках, преследуемые доезжачими, понеслись за ним. Борзятники со всех сторон, так везде было, выпустили собак. Почтенный, спокойный Илагин под гору выпустил свою лошадь, Николай, Наташа и дядюшка летели, сами не зная как и куда, видя только собак и зайца и боясь только потерять хоть на мгно-



вание их из вида. Заяц попался матерый и резвый. Он лежал на жнивах, но впереди были зелены, по которым было топко. Нетерпеливая Наташа была ближе всех к зайцу. Ее собаки первые воззрились и поскакали. Но к ужасу ее, она заметила, что надежная ее Завидка стала мастерить, взяла в сторону, две молодые стали к ней придвигаться, но еще далеко не достали, как из-за них вылетела красно-пегая Ерза, приблизилась к зайцу и стала вилять за ним, вот-вот обещая схватить его. Но это продолжалось мгновение. С Ерзой сравнялся Любим и даже высунулся из-за нее.

— Любимушка! Батюшка! — слышался торжествующий крик Николая. Наташа только визжала без слов. Казалось, сейчас ударит Любим, и там и другие подхватят, но Любим догнал и пронесся. Русак отсел и отделился, опять надела красавица Ерза и повисла над хвостом русака, повисла, примеряясь как будто, как бы, не ошибаясь, схватить за заднюю ляжку.

— Ерза! Матушка! — слышался плачущий, не свой голос Илагина.

Но Ерза не вняла его мольбам, она на са-

мой границе зеленой дала угонку, но не крутую, русак вихнул и выкатил на зеленя; опять Ерза, как дышловая пара, выровнялась с Любимом и стала спеть к зайцу, хотя уже не так быстро, как по жнивам.

— Ругай, Ругаюшка! Чистое дело марш, — закричал в это время голос, и Ругай, утопая по колена, тяжелый, грузный, красный кобель, вытягиваясь и выгибая спину, стал с первыми двумя выступать из-за них, обогнал их, надал с страшным самоотвержением уже над самым зайцем, и только видно было, как он кубарем, пачкая спину в грязь, покатился, и звезда собак окружила его. Через минуту все стояли над зайцем. Один счастливец дядюшка слез и, отпазанчив и потряхая зайца, чтоб стекала кровь, тревожно оглядывался, бегая глазами и не находя положения рукам и ногам, говорил, сам не зная с кем.

— Вот это собака... вот вытянул — чистое дело марш, — говорил он, задыхаясь, как будто ругая кого-то, как будто все были его враги, все его обижали и наконец он оправдался. — Вот вам и тысячные, чистое дело марш. Ругай, на пазанку, — говорил он, кидая лапу с на-

липшей землей, — заслужил, — чистое дело марш. Что, прометался?

— Он вымахался, три угонки дал один, — говорил Николай, тоже не слушая никого и не заботясь о том, слушают его или нет, и забыв свое старание казаться всегда равнодушно-спокойным. -

А это что же впоперечь.

— Да как осеклась, так с угонки всякая дворняшка поймает, — говорил также в одно время Илагин, красный и задохшийся от скакания.

Наташа визжала в одно и то же время, не переводя духа, так, что в ушах звенело. Она не могла не визжать всякий раз, как при ней затравливали зайца. Она как какой-то обряд совершала этим визгом. Она этим визгом выражала все то, что выражали и другие охотники своими единовременными разговорами. Дядюшка сам второчил русака, перекинул его ловко и бойко, как бы упрекая всех этим перекидыванием, и с видом, что он и говорить ни с кем не хочет, поехал прочь. Все, кроме него, грустные и оскорбленные, разъехались и только долго после могли прийти в

прежнее притворство равнодушия, но долго еще поглядывали на красного Ругая, который с испачканной землей горбатой спиной, с спокойным видом победителя шел рысцой за ногами лошади дядюшки, слегка побрякивая железкой.

«Что ж, я такой же, как и все, когда дело не коснется до травли. Ну, а уж тут держись, всем очки вотру».

Когда, долго после, дядюшка подъехал к Николаю и просто заговорил с ним, Николай был польщен, что дядюшка после всего, что было, еще достаивает говорить с ним.

В угори нашли мало, да и было уже поздно. Охоты разъехались, но Николаю было так далеко идти домой, что он принял предложение дядюшки ночевать у него в его деревеньке Михайловке, бывшей от угори в двух верстах.

— И сами бы заехали ко мне, чистое дело марш, видите, погода мокрая, — говорил дядюшка, особенно оживляясь, — отдохнули бы, графиню бы отвезли в дрожечках.

Охота пришла в Михайловку, и Николай с Наташей слезли у маленького, заросшего садом, серого домика дядюшки.

Человек пять больших и малых дворовых мужчин выбежало на парадное крыльцо встречать барина. Десятки женщин, больших и малых, высунулись с заднего крыльца смотреть на подъехавших охотников. Присутствие Наташи, женщины, барыни, верхом, довело любопытство (как и везде, где в незнакомых местах проезжала Наташа) до тех пределов удивления, что многие, не стесняясь ее живым присутствием, подходили к ней самой, заглядывали ей в глаза и делали при ней свои замечания, как о показываемом чуде, которое не человек и не может слушать и понимать.

— Аринка, глянь-ка, на бочку сидит, а подол-то болтается. Вишь и рожок. Батюшки-светы, ножик-то... Вишь, татарка.

— Как же ты не перекувырнулась-то? — говорила самая смелая, прямо уж обращаясь к ней и отбегая.

Дядюшка слез у крыльца с лошади и, оглянув своих домочадцев, крикнул повелительно, чтобы лишние отошли и чтобы было сде-

лано все нужное для приема гостей и охоты, прибавив несколько раз, что делать. Все разбежалось и принялось за дело. Наташа, которая, несмотря на усталость или, может быть, вследствие усталости, находилась в раздраженном счастливом состоянии, где зеркало души особенно чисто и блестяще принимает все впечатления, наблюдала и замечала все до малейших подробностей. Она заметила, как лицо дядюшки преобразилось дома и стало спокойно, уверенно.

Послали за линейкой в Отрадное и вошли в дом. В сенях пахло свежими яблоками и висели волчьи и лисьи шкуры. Было не очень чисто — не видно было, чтобы цель живших людей состояла в том, чтобы не было пятен, но не было заметно запущенности. Там, где жили, было подмыто и подметено, но за углами чистилось лишь в светлый праздник. Дом был нештукатуренный с дощатыми полами, была маленькая зала. Гостиная с круглым столом и диваном. Но это были нежилые комнаты. Комната была кабинет с истасканным диваном и истасканным ковром, и портретом Суворова, и греческими богинями, и запахом

Жукова табачка и собаки. Ругай с невычистившейся спиной вошел в кабинет, лег на диван и обчищал себя языком и зубами. Милка и Завидка тоже введены были. Из кабинета шел коридор, в котором были прорванные занавески и шепот. Там, видно, начиналась женская половина, причем тайная женская половина, так как дядюшка был не женат.

Наташа и Николай разделись, сели на диван, оглядываясь (дядюшка ушел, очевидно, что-то приготавливать). Лица их горели, они были голодны, очень счастливы, и весь этот час, проведенный у дядюшки, они до конца своей жизни вспоминали с грустным наслаждением, как и многие минуты из этого периода отрадненской жизни, несмотря на то, что ничего особенно счастливого не случилось в этот день. Они поглядели друг на друга (после охоты, в комнате, Николай уже не считал нужным принимать важность перед сестрой), Наташа подмигнула брату, и оба удерживались недолго и звонко расхохотались. Расхохотались, не успев придумать предлога для своего смеха.

Немного погодя дядюшка вышел в казаки-

не, синих панталонах и маленьких сапогах. И Наташа почувствовала, что этот самый костюм, в котором она с удивлением и насмешкой видала дядюшку в Отрадном, был настоящим костюмом, и что фраки и сюртуки были смешны, так естественно и благородно дядюшка носил этот костюм. Дядюшка был тоже весел, он не только не обиделся смеху брата и сестры (ему в голову не могло прийти, чтобы могли смеяться над его жизнью), а сам присоединился к их смеху.

— Вот так графиня молодая, чистое дело марш, другой такой не видывал, — сказал он, подавая одну трубку Николаю, а другую закладывая привычным жестом между трех пальцев. — День отъездила, хоть мужчине впору, и как ни в чем не бывало. Вот бы, сударыня, кабы такая, как вы, в мое время была — чистое дело марш, сейчас бы женился.

Наташа ничего не ответила, а только закатилась смехом и сквозь смех проговорила:

— Что за прелесть этот дядюшка!

Недолго после дядюшки, очевидно, по звуку ног, босая девка отворила дверь, и в дверь с большим уставленным подносом в руках во-



шла полногрудая, толстая, румяная, русая красавица, баба лет сорока, с двойным подбородком, полными румяными улыбающимися губами; своей приятной представительностью и приветливостью в глазах и каждого движенья, несмотря на толщину, больше чем обыкновенную, заставляющую ее выставлять живот и назад держать голову, женщина эта (экономка дядюшки) ступала чрезвычайно легко, и чрезвычайно ловко своими белыми, пухлыми руками устала поднос, и поклонилась почтительно и ласково, и расставила с него бутылки, закуски и угощение по столу, и, отойдя к сторонке с улыбкой на лице, стала. «Вот она и я, теперь понимаете дядюшку», — как будто сказала она.

Как не понимать? Не только Николай, но и Наташа поняла дядюшку и значение нахмуренных бровей, и счастливую, самодовольную улыбку, которая чуть морщила губы, в то время как входила Анистья Федоровна. На подносе были травники, наливки, грибки, лепешечки черной муки на юраге, сотовый мед, мед вареный и шипучий, яблоки, орехи, сырые и каленые, и орехи в меду. Потом прине-

сено было Анисьей Федоровной и варенье на меду и на сахаре, и ветчина, и курица, только что зажаренная. Все это было хозяйства, сбору и варения и приготовления Анисьи Федоровны. Все это пахло, и отзывалось сочностью, чистотой, белизной и имело вкус Анисьи Федоровны.

— Покушайте, барышня-графинюшка, — приговаривала она, подавая Наташе то то, то другое.

Наташа потом всегда говорила, что подобных лепешек на юраге с таким букетом подобных варений, меду, орехов никогда уже не видала и не ела, как в этот раз у Анисьи Федоровны.

Анисья Федоровна вышла. Николай с дядюшкой, пробуя то ту, то другую наливку, разговаривали об прошедшей и будущей охоте, о Ругае и илагинских собаках. Наташа, выпив медку, вступила тоже в разговор. После наступившего случайно молчания, как это почти всегда бывает у людей, в первый раз принимающих в своем доме знакомых людей, дядюшка сказал, отвечая на мысль, которая, вероятно, была у его гостей.

— Так-то вот и доживаю свой век. Умрешь, чистое дело марш, ничего не останется. Что ж и грешить-то!

Лицо дядюшки было очень значительно и даже красиво, когда он говорил это, и Николай невольно вспомнил при этом все, что он хорошего слышал от отца и соседей о дядюшке. Дядюшка во всем околотке губернии имел репутацию благороднейшего и бескорыстнейшего чудака. Его призывали судить семейные дела, его делали душеприказчиком, ему поверяли тайны, его выбирали в судьи и другие должности, но он от всего упорно отказывался. Осень и весну проводя в полях на своем соловом мерине, зиму сидя дома, летом лежа в своем заросшем саду.

— Что же вы не служите, дядюшка?

— Служил, да бросил. Не гожусь, я ничего не разберу. Это ваше дело. А у меня ума не хватит. Вот насчет охоты другое дело. Отворите дверь-то, — крикнул. — Что ж затворили! — Дверь в конце коридора (который дядюшка называл колидор) вела в людскую охотничью. Там дверь отворили, и ясно стали слышны звуки балалайки, на которой играл,

очевидно, какой-нибудь мастер. Наташа уже давно прислушивалась к этим звукам и теперь вышла в коридор, чтобы слышать их яснее.

— Это у меня мой Митька-кучер. Я ему купил хорошую балалайку, люблю, — сказал дядюшка. У дядюшки был порядок, когда он приезжал с охоты, чтобы из людской слышались звуки балалайки.

— Отлично, превосходно, прелесть, — говорили Николай и Наташа, которым как грибки, мед и наливки показались лучшими в мире, так и эта залихватски отхватываемая «Барыня».

— Еще, и еще, — кричала Наташа в дверь. Дядюшка сидел и слушал, склонив голову набок с такой улыбкой, что он как будто говорил, что я вот и старик и сижу теперь смиренно с трубкой, а что, я и это могу, очень могу. Мотив «Барыни» повторился раз сто. Несколько раз игрок настраивал, и опять дребезжали те же звуки, и слушателям не наскучивало, а только хотелось еще и еще. Анисья Федоровна вошла и прислонилась своим тучным телом к притолке.

— Изволите слушать, графинечка, — сказала она Наташе с улыбкой, которая, так же как и улыбка дядюшки, говорила, что она может, — он у нас славно играет.

— Вот в этом колене не то делает, — вдруг с энергическим жестом, который уж очень показывал, что он может, сказал дядюшка. — Тут рассыпать надо, чистое дело марш.

— А вы разве умеете? — спросила Наташа. Дядюшка, не отвечая, улыбнулся.

— Посмотри-ка, Анисьюшка, что струны-то целы на гитаре, давно уж не трогал, бросил, чистое дело марш.

Анисья Федоровна, видно, с радостью пошла своей легкой поступью исполнить поручение своего барина и принесла гитару.

Дядюшка, ни на кого не глядя, сдунул пыль, костлявыми пальцами стукнул по крышке, настроился и, видимо, забыв все и всех, кто тут были в комнате, поправился на кресле, взял грациозно (несколько театральным жестом) повыше шейки гитары и, подмигнув Анисье Федоровне, начал не «Барыню». А взял один звучный, чистый аккорд и мерно, спокойно, но твердо начал весьма ти-

хим темпом отделявать «По у-ли-и-ице мостов-ой... — Обе двери загородили лица дворни. — Шла девица за водой». Враз, в такт, с тем степенным весельем (тем самым, которым дышало все существо Анисьи Федоровны) запело в душе у Николая и Наташи. Анисья Федоровна покраснелась и, закрывшись платочком, смеясь вышла из комнаты. Дядюшка продолжал чисто, старательно и энергически-твердо отделявать песню, продолжая вдохновенным взглядом смотреть на то место, с которого ушла Анисья Федоровна. Чуть-чуть что-то смеялось в его лице, с одной стороны, под седым усом; особенно когда дальше и дальше расходилась песня, ускорялся темп и в местах переборов отрывалось что-то. Так вот и ждалось, что дядюшка пойдет.

— Чудо, прелесть, восторг, дядюшка! Еще, еще! — кричала Наташа, вскочив, обнимая и целуя дядюшку, не помня себя от радости и оглядываясь на Николая, как бы спрашивая его: что ж это такое? Николай был тоже в восхищении. Дядюшка второй раз заиграл песню. Улыбающееся лицо Анисьи Федоровны явилось опять в дверях и из-за ней еще дру-

гие лица. «...За холодной ключевой — кричит, девица, постой», — сделал опять забирающий перебор дядюшка, оторвал и сделал энергичное движение плечом.

— Ну, ну, голубчик, дядюшка, — таким умоляющим голосом застонала Наташа, как будто жизнь ее зависела от этого. Дядюшка встал, и как будто в нем было два человека — один из них серьезно улыбнулся над весельчаком, а весельчак сделал наивную, но строго комическую выходку.

— Ну, племянница! — видимо, совершенно забывшись, взмахнул он к Наташе рукой, оторвавшей аккорд.

Наташа сбросила с себя платок, который был накинут на ней, выбежала вперед дядюшки и, подперши руки в боки, сделала движение плечами и стала.

Где, как, когда всосала в себя из того русского воздуха, которым она дышала, эта графинечка, воспитанная эмигранткой-француженкой, откуда взяла она эти приемы, но как только она стала, улыбнулась — весело, торжественно и гордо — и повела плечом, первый страх, который охватил было Николая и

всех присутствующих, страх, что она, барышня, не то сделает, страх этот прошел, и они уже любовались ею. Она сделала то самое и так точно, так полно это сделала, что Анисья Федоровна, которая тотчас подала графинечке необходимый для ее дела платок, Анисья Федоровна прослезилась, глядя на эту тоненькую, грациозную, такую чуждую ей, в шелку и в бархате воспитанную графиню, которая умела понять все то, что было и в Анисье, и в отце Анисьи, и тетке, и матери, и во всяком русском человеке.

— Ну, графиня, чистое дело марш, — радостно смеясь, сказал дядюшка, окончив пляску. — Ай да племянница! Вот бы только муженька бы тебе, молодца бы тебе выбрать, чистое дело марш!

— Уже выбран, — сказал, смеясь, Николай.

— О? — сказал удивленно дядюшка, глядя вопросительно на Наташу.

Наташа с счастливой улыбкой утвердительно кивнула головой.

— Еще какой!

— Вот важно! Чистое дело марш!

«После улицы мостовой» дядюшка по на-



стоятельному требованию племянницы проиграл ей еще некоторые песни и спел ей свою любимую охотницкую:

*Как завтра выпадала,  
Ах, пороша хороша.*

Дядюшка пел, как поет народ, с полным убеждением, что в песне все дело в словах, а что напев только так, для складу, и от этого-то этот бессознательный напев в его устах был необыкновенно хорош. Дядюшка пел хорошо, и Наташа была в восхищении. Она решила, что не будет больше учиться на арфе, а только на гитаре и тут же стала учиться подбирать аккорды. Однако за Наташей уже приехали, кроме линейки, дрожки и трое верховых, посланных ее отыскивать, — граф и графиня не знали, где она, и волновались и отчаивались от беспокойства. Наташа простилась с дядюшкой и села в линейку. Дядюшка укутывал Наташу и прощался с ней с совершенно новою нежностью. Он пешком проводил их до моста и велел с фонарями ехать впереди охотникам.

— Прощай, племянница дорогая! — крик-

нул из темноты его старческий размягченный голос.

Ночь была темная и сырая. Лошади шлепали по невидной грязи.

В деревне, которую проезжали, были красивые огоньки.

— Что за прелесть этот дядюшка — сказала Наташа, когда они выехали.

— Да, — сказал Николай. — Тебе не холодно?

— Хорошо. Отлично, отлично. Мне так хорошо, — с особенным чувством счастья сказала Наташа; и с той поры все молчала.

Что делалось в этой чистой, детски-восприимчивой душе, так жадно ловившей все разнообразнейшие стороны жизни, как это все укладывалось в ней, бог знает. Но она была очень счастлива.

Уже подъезжая к дому, она вдруг запела мотив песни «Как заутра выпадала», мотив, который она ловила всю дорогу и наконец поймала.

— Отлично, — сказал Николай.

— Ты об чем думал теперь, Николай? — спросила Наташа. Они любили это спраши-

вать друг у друга.

— Я, — сказал Николай, раздумывая, — а вот видишь ли, сначала я думал, что Ругай, красный кобель, похож на дядюшку, и что ежели бы он был человек, то он дядюшку все бы еще держал у себя за лады. Как он ладен, дядюшка, а? — Он захохотал. — Ну, а ты?

— А я ничего не думала, а только всю дорогу твержу про себя «Мой милый Пумперникель. Мой милый Пумперникель», — повторила она, и еще звучнее захохотала. — А знаешь, — вдруг сказала Наташа, — я знаю, что никогда уже я не буду так счастлива, спокойна, как теперь.

— Вот вздор, глупости, врешь, — сказал Николай и подумал: «Что за прелесть эта моя Наташа, такого другого друга и товарища у меня нет и не будет».

«Экая прелесть этот Николай», — думала Наташа.

— А, еще огонь в гостиной, — сказала она, указывая на окна отрадненского дома, красиво блестевшие в мокрой темноте ночи.

— Ну, уж зададут тебе. Мам«велела...

## IV

Поздней осенью получено было еще письмо от князя Андрея, в котором он писал, что здоровье его совсем хорошо, что он любит свою дорогую невесту больше, чем когда-нибудь, и считает часы до счастливой минуты свидания, но что есть обстоятельства, о которых не стоит говорить, которые мешают ему приехать раньше определенного срока. Наташа и графиня поняли, что эти обстоятельства было согласие отца. Он умоляет Наташу не забывать его, но с замиранием сердца повторяет прежнее, что она свободна и все-таки может отказать ему, ежели она разлюбит его и полюбит другого.

— Какой дурак! — закричала Наташа со слезами на глазах.

В письме он присылал свой миниатюрный портрет и просил Наташин. «Только теперь, после шести месяцев разлуки, я понял, как сильно и страстно я люблю Вас. Нет минуты, в которую бы я забыл Вас, нет радости, при которой бы я не подумал о Вас».

Несколько дней Наташа ходила с востор-

женными глазами, говорила только про него и считала дни до 15 февраля. Но это было слишком тяжело. Чем сильнее она любила его, тем страстнее отдалась она мелким радостям жизни и, как она говорила Николаю, никогда в жизни она не испытывала, ни прежде, ни потом, той свободы, того интереса в жизни, который она испытывала в эти восемь месяцев. Зная, что вопрос о замужестве, о счастье жизни, о любви решен, сознавая (хотя и умышленно не думая об этом), что есть мужчина, лучший из всех, который любит ее, — в ней исчезло это прежнее беспокойство, тревога при виде каждого мужчины и потребность нравственно присвоить себе каждого, и весь мир, с своими бесчисленными радостями, не заслоненный уже этой кокетливой тревогой, открылся перед нею.

Никогда не чувствовались ею так ни красоты природы, ни музыки, ни поэзии, ни прелесть семейной любви и дружбы с такой ясностью и простотой. Она чувствовала себя проще, добрее и умнее. Она редко вспоминала и не позволяла себе углубляться в мысли об Андрее и не боялась забыть его, — ей каза-

лось, что это чувство так сильно вкоренилось в ее душе. С приездом брата начался для нее совершенно новый мир — товарищеской, равной — дружбы, охоты и всего того коренного, природного и дикого, связанного с этого рода жизнью. Старый вдовец Илагин, пленившись Наташей, стал ездить и через сваху сделал предложение. Прежде бы это польстило Наташе, она забавлялась бы и смеялась, но теперь она оскорбилась за князя Андрея. «Как он посмел?» — думала Наташа.

Граф Илья Андреевич вышел из предводителей, потому что эта должность была сопряжена с слишком большими расходами, и, не имея больше надежды получить место, остался на зиму в деревне. Но дела все не поправлялись, часто Наташа и Николай видели тайные, беспокойные переговоры родителей и слышали толки о продаже богатого родового московского дома и подмосковной. Лучшие знакомые, соседи уехали в Москву, без предводительства не нужно было иметь такого большого приема, и жизнь отраденская велась тише, чем в прежние года, и от этого еще приятнее. Огромный дом и флигели все-таки

были полны, и за стол все-таки садилось больше двадцати человек, но все это были свои, обжившиеся в доме, почти члены семейства. Такими были музыкант Диммлер с женой, Иогель с семейством, барышня Белова, жившая в доме, и еще другие.

Не было приезда, но ход жизни велся тот же, без которого не могли граф с графиней представить себе жизни. Та же была, еще увеличенная Николаем, охота, те же пятьдесят лошадей и пятнадцать кучеров на конюшне, тот же сказочник слепой рассказывал на ночь графине сказки, те же два шута в золотых бахромах приходили к столу и чаю и получали полоскательные чашки с чаем, с сухарем, и так же говорили свои заученные, мнимо смешные речи, которым из снисходительности улыбались господа. Те же учителя и гувернеры для Пети, те же дорогие друг другу подарки в именины и торжественные на весь уезд обеды. Те же графские висты и бостоны, в которых он, распуская веером всем на вид карты, давал себя каждый день на сотни обыгрывать соседям, смотревшим на право составлять партию графа Ильи Андреевича

как на самую выгодную аренду. Берг настоятельно и холодно-учтиво с каждой почтой писал, что они находятся в затруднении и что нужно получить все деньги по векселю. Граф, как в огромных тенетах, ходил в своих делах, стараясь не верить тому, что он запутался, и с каждым шагом все более и более запутываясь и чувствуя себя не в силах ни разорвать сети, ни осторожно, терпеливо принятаться распутывать ее. Графиня никак бы не умела сказать, как она смотрит на это дело, но она любящим сердцем чувствовала, что дети ее разоряются, что граф не виноват, что он не может быть другим, что он сам страдает, хотя и скрывает это. Графиня искала средства и с своей женской точки зрения нашла только одно, женитьбу Николая. Она с своей апатией и ленью искала, думала, писала письма, советовалась с графом и наконец нашла, и нашла, по ее понятиям, такую счастливую, во всех отношениях выгодную партию для Николая, что она чувствовала, что лучше этого найти нельзя, и что ежели от этой откажется Николай, то надо навсегда отказаться поправить дела.

Партия эта была Жюли Корнакова, извест-



ного с детства Ростовым отличного семейства, дочь прекрасной, добродетельной матери и теперь богатая невеста по случаю смерти последнего из ее братьев. Графиня писала прямо к Анне Михайловне в Москву и получила от Анны Михайловны благоприятный ответ и приглашение Николая приехать в Москву. С этой стороны все было хорошо, но графиня чутьем понимала, что Николай, по его характеру, отвергнет с негодованием брак по расчету, и потому она, изоцряя всю свою дипломатическую способность, несколько раз со слезами говорила Николаю о ее единственном желании видеть его женатым, о том, как бы она легла в гроб спокойной, ежели бы это было, о том, какая есть прекрасная девушка у нее на примете. В других разговорах она хвалила Жюли и советовала Николаю съездить в Москву на праздники повеселиться. Николай догадался очень скоро, к чему клонились разговоры, он вызвал ее на откровенность, и когда она сказала ему, что вся надежда поправления дел теперь в его женитьбе, он с жестокостью, которую сам не понимал, спросил мать, неужели бы, ежели бы он любил девуш-

ку без состояния, она бы потребовала, чтоб он пожертвовал чувством и честью для состояния. Николай испытывал в это время то же чувство, как и Наташа, — спокойствия, свободы и отдохновения в несложных условиях жизни. Ему было так хорошо, что он ни в каком случае не желал менять своего положения и потому менее чем когда-нибудь мог спокойно думать о женитьбе. Мать ничего не отвечала и расплакалась.

— Нет, ты меня не понял, — говорила она, не зная, что сказать и как оправдаться.

— Маменька, не плачьте, а только скажите мне, что вы этого хотите, и вы знаете, что я всю жизнь свою, все отдам для того, чтобы вы были спокойны, — сказал Николай, но графиня, хотя и верила ему, чувствовала, что весь план ее рушился.

«Да, может быть, я и люблю бедную девушку», — говорил сам себе Николай, и с этого дня, хотя он прежде был совершенно равнодушен к Соне, стал более и более сближаться с ней.

«Пожертвовать своим чувством я всегда могу для блага своих родных, — говорил он

сам себе, — но чувству своему я не могу приказывать, коли я люблю ее».

После охоты начались длинные зимние вечера, но Николаю, Наташе и Соне было нескучно. Кроме волкобоев для Николая, для них всех: тройки, катанья, горы, затем музыка, дружеская болтовня, громкие чтения (они прочли «Corinne» и «Nouvelle Heloise») счастливо и вполне занимали их время. Николай сидел по утрам в своем накурленном кабинете с трубкой и книгой, хотя ему и нечего было делать отдельно, но так, потому что он был мужчина. И барышни с уважением нюхали этот запах табаку и судили об его этой отдельной, мужской жизни, во время которой он либо читал, либо, куря, лежал и думал то о будущей женитьбе, то о прошедшей службе, то о Карае и его будущих щенках и загривастой лошади, то о Матреше, сенной девушке, то о том, что Милка все-таки косолапа. Но зато тем веселее была их жизнь вместе, когда он к ним присоединялся и особенно когда за фортепьянами или просто в диванной с гитарой они засиживались за полночь за такими разговорами, которые для них одних имели

смысл. Обыкновенно у Наташи каждый день бывала какая-нибудь новая поговорка или шуточка, которой нельзя было не смеяться, то «ходовой цилиндр», то «остров Мадагаскар», которые она говорила с особенным чувством. Потом, когда расходилась, она вскакивала на спину Николая и требовала, чтобы он так нес ее наверх спать, и там задерживала его, сближая его с Соней, и радостно сощуренными, сонными глазками изредка поглядывала на их любовное шушуканье.

## V

Пришли святки. Кроме парадной обедни, на которой в первый раз пела Наташа с Николаем, дьячком и охотниками разученные духовные песни, торжественных и скучных поздравлений соседей и дворовых, ничего особенного, ознаменовывающего святки, не было. Так прошел тихо и грустно первый, второй и третий день праздников. А в воздухе, в солнце, в рождественском, безветренном, двадцатиградусном морозе, в холодном лунном свете, в блесках снега, в пустоте передней и девичьей, из которых отпрашивались погу-

лять и, запыхавшись и принося мороз, красные, прибегали из дворни, — во всем этом было то поэтическое требование ознаменования праздника, которое делает грустным тишину во время праздников.

После обеда Николай, ездивший утром к соседям, вздремнул в диванной. Соня вошла и вышла на цыпочках. Свечей не подавали, и в комнату отчетливо ложились тени и лунный свет рам. Наташа пела, после обеда посидела с задремывавшим папенькой, потом пошла ходить по дому. В девичьей никого не было, кроме старух. Она под села к ним и выслушала историю о гаданье и о том, как в баню подъехал суженый и при крике петуха рассыпался, потом пошла к Диммлерам в комнату. Музыкант с очками на носу читал что-то перед свечкой, жена шила. Только что они подвинули ей стул и выразили удовольствие ее видеть, она встала и ушла, внушительно проговорив: «остров Мадагаскар, остров Мадагаскар». Диммлеры не обиделись. Никто не обижался на Наташу. Потом она пошла в переднюю и послала одного лакея за петухом, другого за овсом, третьего за мелом, но как толь-

ко они принесли ей это все, она сказала, что не надо, и велела отнести. И лакеи, даже старики почтенные, с которыми старый граф обращался осторожно, никогда не сердились на Наташу, несмотря на то, что Наташа беспрестанно помыкала ими, мучила посылками, как будто пробуя: «Что, рассердится, надуется он на меня? Достанет у него духа?» Горничная Дуняша была самый несчастный человек: ни минуты она не имела покоя от своей барышни, которая, ежели не требовала то того, то другого, растрепывала Дуняше косу или портила ее платье, вместо того чтобы дарить ей, и, несмотря на это, Дуняша умерла бы с тоски, как она раз, заболев, прожила две недели на дворне без барышни, и пришла служить, еще слабая и больная. Из передней Наташа пошла в гостиную. Найдя там мать с барышней Беловой за круглым столом, раскладывающую пасьянс, она смешала ей карты, поцеловала в душку и пошла велеть подавать самовар, хотя это было вовсе не время. Самовар велели унести.

— Уж эта барышня, — сказал Фока, унося самовар, не в силах и желая рассердиться. На-

таша засмеялась, глядя в глаза Фоки, и за этот-то смех никто не сердился на нее.

— Настасья Ивановыч, что от меня родится? — спросила она, проходя, у шута.

— От тебя блохи, стрекозы, кузнецы, — отвечал шут. Наташа спросила только у шута, но не слушала его ответа, она редко смеялась шуту и не любила говорить с ним. Как будто обойдя свое царство, и испытав свою власть, и убедившись, что все покорны, Наташа пошла в залу, взяла гитару, села в темный угол и стала перебирать струны, выделявая фразу, которую она запомнила из одной оперы. Для посторонних слушателей на гитаре у нее выходило «ту-ить, ту-ить», не имевшее никакого смысла, но в ее воображении из-за этого «ту-ить» воскресал целый ряд воспоминаний. Она сидела в уголке и, с серьезной улыбкой устремив глаза, слушала себя и вспоминала — все вспоминала. Сначала звуки этой толстой струны напоминали ей целый ряд впечатлений из прошлого, но, когда она перевспоминала все из того времени, ей нечего было вспоминать, но все-таки хотелось находиться в этом полугрустном состоянии воспо-

минания. И вдруг ей представилось, что она вспоминает настоящее; что то, что она сидит теперь с гитарой в углу, и в щель буфетной двери падает свет, — что это было, и еще прежде было, и было, что она вспоминала, что это было. Соня зачем-то прошла в буфет, в конец зала. И это было точь-в-точь так же.

— Соня, что это? — крикнула Наташа, делая свое «ту-ить, ту-ить» на толстой струне. Соня подошла и прислушалась.

— Не знаю, — сказала она, как всегда, робея перед теми странными разговорами, которые бывали между Николаем и Наташей о разных бессмысленных тонкостях, которых она, Соня, не понимала. А ей особенно больно это было перед Николаем, который, она видела, особенно ценил эти непонятные разговоры. — Не знаю, — сказала она, робко угадывая, боясь ошибиться. Соня всегда, когда заходили такие разговоры, испытывала совсем особенное от Николая и Наташи поэтическое удовольствие. Она не понимала, в чем они находят удовольствие и в этих разговорах и в музыке, но она чувствовала и верила, что тут совершается что-то хорошее, и с любимым



Николаем и Наташей старалась усвоить себе это отражение.

«Ну вот, точно так робко она улыбнулась тогда, когда это уж было, — подумала Наташа, — и точно так же...»

— Нет, это хор, разве не слышишь: «ту-ить, ту-ить», — и Наташа допела, чтобы дать понять. — Ты куда ходила? — спросила она.

— Воду в рюмку переменить, я срисовываю узор мамаше. — Соня всегда бывала занята.

— А Николай где?

— Спит, кажется, в диванной.

— Поди, разбуди его, — сказала Наташа. — Я сейчас приду.

Она посидела, подумала, что это значит, что все это было, и, не разрешив этого вопроса и нисколько не сожалея о том, что не разрешила его: «Ах, поскорее бы он приехал. Я так боюсь, что этого не будет! А главное: я старею, вот что. Уж того, что теперь есть во мне...» Она встала, бросила гитару и пошла в гостиную. Все домашние сидели уж за чайным столом, из гостей был дядюшка. Люди стояли вокруг стола. Наташа вошла и остано-

вилаась.

— А, вот она, — сказал Илья Андреевич. Наташа оглядывалась кругом.

— Что тебе надо? — спросила мать.

— Мужа надо. Дайте мне мужа, мама, дайте мне мужа, — закричала она своим грудным голосом, сквозь чуть заметную улыбку, точно таким голосом, каким она за обедом ребенком требовала пирожного.

В первую секунду все были озадачены, испуганы этими словами, но сомнение продолжалось только одну секунду. Это было смешно, и все, даже лакеи и шут Настасья Ивановыч, рассмеялись. Наташа знала и злоупотребляла даже тем, что она знала, что не от того она будет мила и приятна, что она то или другое сделает, но что все будет мило, как только она что бы то ни было сделает или скажет.

— Мама, дайте мне мужа. Мужа, — повторила она, — у всех мужья, а у меня нет.

— Матушка, только выбери, — сказал граф. Наташа поцеловала отца в плешь.

— Нет, не надо, папа. — Она присела к столу (она никогда не пила чай и не понимала, зачем это притворяются, что любят чай) и по-

говорила рассудительно и просто с отцом и дядюшкой, но скоро ушла в диванную, в любимый их с Николаем уголок, в котором всегда начинались задушевные разговоры, принесла брату трубку и чай и уселась с ним.

Николай с улыбкой, потягиваясь, смотрел на нее.

— Отлично выспался, — проговорил он.

— Бывает с тобой, — начала Наташа, — что тебе кажется, что ничего не будет? Ничего. Что все, что хорошее, то было. И не то что скучно, а грустно?

— Еще как! — сказал он. — У меня бывало, что все хорошо, все веселы, и тут мне придет в голову, что ничего не будет и что все вздор. Особенно, когда я, бывало, в полку издали слышу музыку.

— Еще бы! Знаю, знаю, — подхватила Наташа. — Я еще маленькая была, так со мною это бывало. Помнишь, раз меня за сливы наказали. И вы все танцевали, а я сидела в своей классной и рыдала. Так рыдала, никогда не забуду. Мне и грустно было, и жалко было всех, и себя, и всех, всех жалко.

— Помню, — сказал Николай.

Наташа подумала (она все находилась в состоянии воспоминания).

— А помнишь ты, — сказала она с задумчивой улыбкой, — как давно-давно, мы еще маленькие были, папенька нас позвал в кабинет, еще в старом доме, и темно было, мы пришли, и вдруг там стоит...

— Арап, — докончил Николай с радостной улыбкой, — как же не помнить? Я и теперь не знаю, что это был арап, или это мы во сне видели или рассказали.

— Он серый был, помнишь, и белые зубы — стоит и смотрит на нас...

— Вы помните, Соня? — спросил Николай.

— Нет, не помню, — робко отвечала Соня.

— Я ведь спрашивала про этого арапа у папки у мам

— Как же, как теперь помню его зубы.

— Как это странно, точно во сне было. Я это люблю.

— А помнишь, как мы катали яйца в зале и вдруг — две старухи, и стали по ковру вертеться? Это было или нет? Помнишь, как хорошо было...

— Да, а помнишь, как папенька выстрелил

из ружья?

Они перебирали, улыбаясь, с новым для них наслаждением, воспоминания, не грустные, старческие, а поэтически-юношеские воспоминания, из того самого дальнего прошедшего, где сновидения сливаются с действительностью, и тихо смеялись, грустно радуясь чему-то. Соня, как всегда, отстала от них, хотя воспоминания их были общие. Она приняла участие, только когда они вспоминали первый приезд Сони. Соня говорила, как она боялась Николая, потому что у него на курточке были снурки, и ей няня сказала — и ее в снурки зашьют.

— А я думала, что ты капустаная дочь, мне сказали...

В диванную, в которой горела только одна нагоревшая сальная свеча, вошел Диммлер и подошел к арфе, стоявшей в углу. Он снял сукно, и арфа издала фальшивый звук.

— Эдуард Карлыч, сыграйте, пожалуйста, мой любимый ноктюрн Фильда, — сказал голос старого графа из гостиной.

Диммлер взял аккорд и, обратясь к Наташе, Николаю и Соне, сказал:

— Молодежь как смирно сидит.

— Да, мы философствуем, — сказала Наташа, на минутку оглянувшись, и продолжила разговор. Разговор шел теперь о сновидениях. Наташа рассказывала, как она прежде часто летала во сне, а теперь редко.

— Ты как, на крыльях? — спросил Николай.

— Нет, так, ногами. Усилиться надо немножко ногами.

— Ну да, ну да, — улыбаясь говорил Николай.

— Вот так, — сказала быстрая Наташа, вскочив на диван стоя. Она выразила в лице усилие, протянула вперед руки и хотела полететь, но спрыгнула на землю. Соня и Николай смеялись.

— Нет, постой, не может быть, непременно полечу, — сказала Наташа.

Но в это время Диммлер начал играть. Наташа соскочила, опять взяла свечу, вынесла ее и, вернувшись, тихо села на свое место. В их углу было темно, но в большие окна падал на пол холодный, морозный свет месяца.

— Знаешь, я думаю, — сказала Наташа ше-

потом, придвигаясь к Николаю и Соне, когда уже Диммлер кончил и все сидел, слабо перебирая струны, видимо, в нерешительности, оставить или начать что-нибудь новое, — что, когда этак вспоминаешь, вспоминаешь, все вспоминаешь, до того довспоминаешься, что помнишь то, что было еще прежде, чем я была на свете.

— Это метампсикоза, — сказала Соня, которая всегда хорошо училась и помнила историю. — Египтяне верили, что наши души были в животных и опять пойдут в животных.

— Твоя, я знаю, в кого пойдет душа.

— В кого?

— В лошадь?

— Да.

— А Сониная?

— Была кошка, а сделается собакой.

— Нет, знаешь, я не верю этому, чтоб мы были в животных, — продолжала Наташа тем же шепотом, хотя музыка и кончилась, — а я верю и знаю наверное, что мы были ангелами там где-то и здесь были, и от этого все помним...

— Можно мне присоединиться к вам? —

сказал тихо подошедший Диммлер и подсел к ним.

— Ежели бы мы были ангелами, так за что же мы попали ниже? Нет, это не может быть, — говорил Николай.

— Не ниже, кто же тебе сказал, что ниже... Почем я знаю, — горячо возражала Наташа. — Ведь ты же говорил, что души бессмертны.

— Да, но трудно нам представить вечность, — сказал Диммлер, подсев с презрительной улыбкой, но теперь, сам не зная как, чувствуя, что и он поддался влиянию диванной, серьезно принимая разговор.

— Отчего же трудно? Нынче будет, завтра будет, всегда будет! Я только не понимаю, отчего же началось вдруг...

— Наташа, теперь твой черед, спой мне что-нибудь, — послышался голос графини. — Что вы уселись, точно заговорщики?

— Мама, мне так не хочется, — сказала Наташа, но вместе с тем встала.

И всем им, даже и старому, черствому Диммлеру, почувствовавшему в этом уголке какое-то новое, свежее чувство, не хотелось уходить. Но Наташа встала и пошла. Николай



сел за фортепиано, и она начала петь, как всегда, становясь на середину залы и выбирая выгоднейшее место для резонанса. Она сказала, что ей не хотелось петь, но она давно прежде и долго после не пела так, как она пела в этот вечер. Граф Илья Андреич из кабинета, где он беседовал с Митенькой, слышал ее пенье и, как ученик, торопящийся идти играть, доканчивая урок, путался в словах и замолкал. Митенька изредка улыбался. Николай, не спуская глаз с сестры, и вместе с ней переводил дыханье. Соня, с ужасом слушая ее, думала о том, какая громадная разница между ею и ее другом и как невозможно ей быть любимой. Старая графиня сидела с счастливо-грустной улыбкой и слезами в глазах, изредка покачивая головой, и думала о том, как скоро ей придется разлучиться с Наташей и как хорошо и вместе как грустно ей будет отдать ее князю Андрею.

Диммлер подсел к графине и, закрыв глаза, слушал.

— Нет, графиня, — сказал он наконец, — это талант европейский, ей учиться нечего, этой мягкости, нежности, силы...

— Ах, как я боюсь за нее, как я боюсь! — сказала графиня, не помня, с кем она говорит. Ее материнское чутье говорило ей, что чего-то хорошего слишком много в Наташе и что страшно за нее. Чувство материнское не обманывало. Еще Наташа не кончила петь, как в комнату вбежал восторженный одиннадцатилетний Петя с известием, что пришли наряженные. Наташа вдруг остановилась.

— Дурак, — закричала она на брата, подбежала к стулу, упала на него и заплакала. Но тут же вскочила, поцеловала Петю и побежала навстречу наряженных: медведей, коз, турок, баринов, барыней, страшных и смешных. Дворовые с балалайкой ввалили в залу и начались песни, пляски, хороводы и подблюдные песни. Через полчаса в зале между другими наряженными появились еще: старая барыня в фижмах — Николай, ведьма — Диммлер, гусар — Наташа, черкес — Соня и турчанка — Петя. Все это было затеяно и устроено Наташей. Она и придумывала наряды и зарисовывала пробкой усы и брови. Она была теперь веселее и оживленнее, чем обыкновенно. После снисходительных удивлений,

неузнаваний и похвал со стороны ненаряженных, молодые люди нашли, что костюмы так хороши, что надо было их показать еще кому-нибудь. Николай, которому хотелось по отличной дороге прокатить всех на своей тройке, предложил, взяв с собой из дворовых человек шесть наряженных, ехать к дядюшке, который только что уехал к себе. Через полчаса были готовы четыре тройки с колокольцами и бубенчиками, и в неподвижном, морозном, пропитанном лунным светом воздухе, по не только скрипящему, но свистящему от двадцатипятиградусного мороза снегу тройки с наряженными покатали к дядюшке.

## VI

Наташа первая дала тон того святочного веселья, которое разгорелось теперь во всех, даже в Диммлере, плясавшем со своей метлой в костюме ведьмы. Веселье отражалось от одного к другому, все более и более увеличивалось, особенно когда все вышли на мороз и, переговариваясь, перекликаясь, смеясь и крича, расселись в сани.

Две тройки были разгонные, одна тройка старого графа с орловским рысаком в корню, другая собственная Николая с его низеньким вороным косматым коренником. Николай был очень весел. Он в своем старушечьем наряде, на который он надел гусарский подпоясанный плащ, стоял в середине своих саней, подобрав вожжи. Было так светло, что он видел отблескивающие на месячном свете бляхи и глаза лошадей, испуганно оглядывавшихся на седоков, шумевших у подъезда в таинственном свете месяца.

К Николаю сели Наташа, Соня, две девушки и няня.

— Пошел вперед, Захар, — крикнул он ку-

черу отца, с тем что-бы перегоняться с ними. Одна тройка тронулась вперед, свистя полочьями и звеня колокольчиками, которые были слишком звучные для этой ночи. Пристяжные жались на оглобли и увязали, выворачивая, как сахар, крепкий и блестящий снег.

— Ну, вы, милые, — крикнул Николай поямщицки, забывая свои фижмы, и тронулся за ними, сначала рысцой по узкой дороге мимо сада. Тени от оголенных деревьев ложились часто поперек дороги и скрывали яркий свет луны. Но вот выехали на сахарную, блестящую даже фиолетовым отблеском снежную равнину, толкнул — раз, раз — ухаб в передних санях; точно так же толкнул следующие, следующие.

— Вот след заячий, много следов! — прозвучал в морозном скованном воздухе голосок Наташи.

— Как видно, Николай! — сказал голосок Сони.

Николай оглянулся на них и пригнулся, чтоб рассмотреть какое-то совсем новое лицо, с бровями и усиками, которое выглядывало из соболей. «Это прежде была Соня», — подумал.

мал он. Он ближе взгляделся в нее и улыбнулся.

— Вы что, Николай?

— Ничего. — Он опять повернулся к лошадям, которые, выехав на торную большую дорогу по примасленному снегу, всю иссеченную следами шипов, стали натягивать. Левая пристяжная уже подергивала прыжками свои постромки. Коренной раскачивался, но упирался, как будто спрашивая: «Начинаться? Или рано еще?» Впереди, уже далеко отделившись и вдали звеня колокольцом, на ясно видной черной тройке на белом снегу катил Захар, покрикивая, и из его саней слышны были повизгивания дворовых и голос и хохот Диммлера.

— Ну ли вы, разлюбезные! — крикнула старушка в фижмах, с одной стороны поддерживая вожжи и наотмашь отводя с кнутом руку, и только по усилившемся как будто навстречу ветру и подергиванью натягивающих и все прибавляющих скоку пристяжных заметно было, как шибко летела тройка. Николай глянул назад.

С криком и визгом, маханием кнутом нав-

скочь коренных отставали другие тройки. Коренной стойко поколыхивался под дугой, но еще и не думал сбивать, обещая еще и еще наддать, когда понадобится. Сдерживая, они поравнялись с первой тройкой.

— Ну, Захар, равняйся.

Захар обернул свое уже обындевевшее по брови лицо.

— Ну, держись, барин.

Тройки понеслись, но Захар взял вперед. Николай стал равнять с ним.

— Врешь, барин, — закричал Захар и стал жать его вправо. Правая пристяжная скакала в непроезженном снегу и закидывала седоков мелким сухим снегом.

Николай не выдержал и выпустил вскачь всю тройку. Проехав с версту, он остановил и опять оглянулся, в санях все сидели какие-то чужие, с усиками, веселые лица.

— Посмотри, у него и усы и ресницы все белые, — сказал один с усиками.

«Этот, кажется, Наташа», — подумал Николай.

— Не холодно вам? — Диммлер что-то кричал смешное из тех саней. Его не расслыша-

ли, но все равно засмеялись.

Бог знает, рад ли был дядюшка всему этому веселью — даже первое время он казался смущен и ненатурален, но те, кто приехали к нему, и не замечали этого. После плясок и песен начались гаданья. Николай снял свои фижмы и надел дядюшкин казакин, барышни оставались в своих костюмах, и всякий раз Николаю надо было прежде вспомнить, что это Соня и Наташа, когда он смотрел на них с их пробкой начерченными усами и бровями. Особенно Соня поражала его, и, к радости ее, он беспрестанно внимательно и любовно смотрел на нее. Ему казалось, что он нынче только, благодаря ее усам и бровям, узнал ее в первый раз. «Так вот она какая, а я-то дурак», — думал он, глядя на ее блестящие глаза и счастливую, восторженную из-под усов улыбку, делающую ямочки на щеках, которые он не видал прежде.

После вынимания колец и петуха Анисья Федоровна предложила барышням пойти в амбар послушать. Амбар был около самого дома, и Анисья Федоровна говорила, что в амбаре верно всегда слышно, либо пересыпают,



либо стучат, а раз голосом заговорили оттуда. Наташа сказала, что она боится.

Соня, смеясь, накинула себе на голову шубку и, улыбаясь, выглянула из-под нее.

— Вот я ничего не боюсь, сейчас пойду.

Опять Николай увидел эту неожиданную улыбку из-под пробочных усов.

«Что за прелесть эта девочка! — подумал он. — И об чем я, дурак, думал до сих пор?» И только Соня вышла в коридор, Николай пошел на парадное крыльцо освежиться, в маленьком доме было жарко. На дворе был тот же неподвижный холод, тот же месяц, только еще светлее. Свет был так силен, и звезд на снеге так много, что на небо не хотелось смотреть, и звезд незаметно было. На небе было черно и скучно, на земле было весело.

«Дурак я, дурак. Чего я ждал до сих пор?» — подумал Николай и, сам не зная зачем, сбегал с крыльца и обошел угол дома по той тропинке, которая вела к заднему крыльцу. Он знал, что здесь пойдет Соня. На половине дороги стояли сложенные сажнями дрова. На них был снег, от них падала тень, через них и сбоку их, переплетаясь, падали тени на снег и

дорожку. Дорожка вела к амбару. Стена рубленого амбара, как высеченная из какого-то необыкновенного драгоценного камня, блестела на месячном свете. Было совершенно тихо. В саду треснуло дерево, и опять все затихло. Грудь дышала не воздухом, казалось, а какой-то вечно молодой силой и радостью.

Вдруг в девичьем крыльце застучали ноги по ступенькам, скрипнуло звонко на последней, на которую был нанесен снег, и голос Анисьи Федоровны сказал:

— Прямо-то вот, барышня. Только не оглядывайтесь.

— Я не боюсь, — отвечал голос Сони, и по дорожке, по направлению к Николаю, завизжали, засвистели ножки в тоненьких башмачках.

«Она, да. Ну что ж я? — подумал Николай. — Не знаю. Но она прелесть».

Соня была уже в двух шагах и увидела его. Она увидела его тоже не таким, каким она знала и всегда немного боялась его. Он был в дядюшкином казакине с спутанными волосами и насурмленными бровями, тоже с счастливой и новой для Сони улыбкой. Соня испу-

гальсаь того, что будет, и быстро подбежала к нему.

«Совсем другая и все та же», — думал Николай, глядя на ее лицо, все освещенное лунным светом. Он продел руки под шубку, прикрывавшую ее голову, обнял, прижал к себе и поцеловал в губы, над которыми были усы и от которых сладко пахло пробкой. Соня в самую середину губ поцеловала его и, выпростав маленькие руки, с обеих сторон взяла его за щеки.

— Соня, ждешь, видно, своего суженого, — сказал Николай. — Нечего и в амбаре слушать. Пойдем, увидят. — Они подбежали к амбару и вернулись назад каждый с своего крыльца.

Когда они возвращались назад, Наташа, всегда все видевшая и замечавшая, села в сани с Диммлером, а Соню посадила с Николаем. Николай, уже не перегоняясь, ровно ехал, все оглядываясь в этом странном лунном свете на Соню, отыскивал в этом переменяющем все свете и из-под бровей и усов свою ту прежнюю и теперешнюю Соню, с которой он положил не разлучаться. Вглядывался, вгля-

дывался и, когда узнавал все ту же и другую и вспоминал этот запах пробки, смешанный с поцелуем, молча отворачивался или иногда только спрашивал: «Соня, вам хорошо?» — и продолжал править.

На середине дороги он, однако, дал подержать лошадей кучеру и перебежал к Диммлерам. Он подбежал к саням Наташи и сел на отвод.

— Наташа, — сказал он ей шепотом по-французски, — знаешь, я решился насчет Сони.

— Ты ей сказал? — спросила Наташа, вся вдруг просияв от радости.

— Ах, какая ты странная с этими усами и бровями, Наташа! Ты рада?

— Я так рада, так рада! Я уже сердилась на тебя. Я тебе не говорила, но ты дурно с ней поступал. Это такое сердце, Николай, как я рада! Я бываю гадкая, но мне совестно было быть одной счастливою, без Сони, — продолжала Наташа. — Теперь я так рада. Ну, беги к ней.

— Нет, постой, ах, какая ты смешная! — говорил Николай, все всматриваясь в нее и в ней тоже находя что-то такое новое, необык-

новенное, чего он прежде не видал в ней. Именно не видал он в ней прежде этой сердечной серьезности, которая ясна была, в то время как она своими усами и бровями говорила, что он должен был это сделать.

— Кабы я прежде видел ее такую, какая она теперь, я бы давно спросил, что сделать, и сделал бы, что она бы велела, и все бы было хорошо... Так ты рада, и я хорошо сделал?

— Ах, так хорошо! Я недавно, знаешь, с мамашей поссорилась за это. Мама говорила, что она тебя ловит. Как это можно говорить? Я с мам побранилась. И никому никогда не позволю ничего дурного про нее сказать и подумать, потому что в ней одно хорошее.

— Так хорошо, — сказал Николай, опять взглядевшись в брови и усы, чтоб знать, правда ли это, и, скрипя сапогами, соскочил и побежал к своим саням. Все тот же счастливый, улыбающийся черкес, с усиками и блестящими глазами, смотревший из-под собольего капора, сидел там.

Вскоре после святок старая графиня настоятельно стала требовать от сына, чтоб он же-

нился на Жюли, и когда он признался ей в своей любви и в обещаниях, данных Соне, старая графиня стала упрекать перед сыном Соню и называла ее неблагодарной. Николай умолял мать простить его и ее, угрожая даже тем, что, ежели Соню будут преследовать, то он сейчас же тайно женится на ней, и, почти рассорившись с отцом и матерью, уехал в полк, обещая Соне устроить в полку свои дела и через год приехать жениться на ней.

Вскоре после отъезда сына Илья Андреевич собрался в Москву для продажи дома. Наташа утверждала, что князь Андрей уже, верно, приехал, и умоляла, чтобы отец взял ее с собою. После переговоров и колебаний решено было графине оставаться в Отрадном, а отцу с двумя девочками ехать в Москву на месяц и остановиться у тетушек.

## VII

Любовь князя Андрея и Наташи и их счастье было одной из главных причин происшедшего переворота в жизни Пьера. Ему не было завидно, он не ревновал. Он радовался счастью Наташи и своего друга, но после этого вся жизнь его расстроилась. Весь интерес масонства вдруг исчез для него. Весь труд самопознания и самосовершенствования пропал даром. Он поехал в клуб. Из клуба с старыми приятелями к женщинам. И с этого дня начал вести такую жизнь, что графиня Елена Васильевна сочла нужным сделать ему строгое замечание. Пьер, ничего не сказав ей, собрался в Москву и уехал.

В Москве, как только он въехал в свой огромный дом с засохшими и засыхающими княжнами, с громадной праздной кормящейся дворней, как только он увидал, проехав по городу, эту Иверскую с свечами, эту площадь с неизъезженным снегом, этих извозчиков, эти лачужки Сивцева Вражка, увидал стариков московских, все ругающих, ничего не желающих и, никуда не спеша, доживающих свой

век, увидал старушек, московских барынь и Аглицкий клуб, он почувствовал себя дома, в тихом пристанище. Со времени своего приезда в Москву он ни разу не открывал своего дневника, не ездил к братьям масонам, отдался опять своим главным страстям, в которых он признавался при принятии в ложу, и был ежели не доволен, то не мрачен и весел. Как бы он даже не ужаснулся, а с презрением бы не дослушал того, который семь лет тому назад, до Аустерлица, когда он только приехал из-за границы, сказал бы ему, что ему ничего не нужно искать и выдумывать, что его колея определена предвечно и давно пробита. Жениться на красавице, жить в Москве, давать обеды, играть в бостон, слегка бранить правительство, иногда покутить с молодежью и быть членом Аглицкого клуба.

Он и хотел произвести республику в России, он хотел быть и Наполеоном, он хотел быть и философом, и хотел залпом выпить на окне бутылку рому, он хотел быть тактиком, победителем Наполеона, он хотел переродить порочный род человеческий и самого довести себя до совершенства, он хотел учредить шко-



лы и больницы и отпустить на волю крестьян, и вместо всего этого он был богатый муж неверной жены, камергер в отставке и член московского Аглицкого клуба, любящий покушать, выпить и, расстегнувшись, побранить слегка правительство. Он был всем этим, но и теперь не мог бы, не в силах бы был поверить, что он есть тот самый отставной московский камергер, тип которого он так глубоко презирал семь лет тому назад. Ему казалось, что он совсем другой, особенный, что те совсем другие, те пошлые, глупые, а я и теперь все недоволен, все мне хочется сделать все это для человечества. Ему бы слишком больно было подумать, что, верно, и все те отставные камергеры так же бились, искали какой-то новой, своей дороги в жизни, и, так же как и он, силой обстановки, общества, породы, той стихийной силы, которая заставляет картофельные ростки тянуться к окну, — приведены были, как и он, в Москву — Аглицкий клуб, легкое фрондерство против правительства и отставное камергерство.

Он все думал, что он другой, что он не может на этом остаться, что это так, покаместа

(так, покаместа, уже тысячи людей входили со всеми зубами и волосами и выходили без одного из московского Аглицкого клуба), и что вот-вот он начнет действовать... Он и его друг Андрей в этом взгляде на жизнь были до странности противоположны один другому. Пьер всегда хотел что-то сделать, считал, что жизнь без разумной цели, без борьбы, без деятельности не есть жизнь, и всегда он ничего не умел сделать того, что хотел, и просто жил, никому не делая вреда и многим удовольствие. Князь Андрей, напротив, с первой молодости считал свою жизнь конченною, говорил, что его единственное желание и цель состоят в том, чтобы дожить остальные дни, никому не делая вреда и не мешая близким себе, и вместе с тем, сам не зная зачем, с практической цепкостью ухватывался за каждое дело, и увлекался сам, и других увлекал в деятельность.

Прожив год, Пьер сделался совсем московским жителем. Ему стало покойно, тепло, привычно и приятно в Москве, как в заношенном старом платье, которого нет причины когда-нибудь переменить, как бы оно ни

износилося. Как ни чужд был для него дом его жены, как ни неприятна была эта постоянная близость Элен, может быть, самое это озлобление на нее еще поддерживало и сдерживало его. Когда в конце апреля Элен уехала в Вильно, куда переехал двор, Пьер почувствовал себя страшно печальным и запутанным, главнее всего он чувствовал себя запутанным. Он впал, с разницей годов и опытности, почти в то же состояние, в котором он был семь лет тому назад в Петербурге.

В душе его с прежней силой поднялось сознание любви к добру, к справедливости, к порядку, к счастью, и, примеривая к этому сознанию и свою и чужую жизнь, он уже сам недоумевал перед несостоятельностью жизни, старался закрыть глаза от всей представлявшейся ему безобразной путаницы и не мог. Что такое сотворилось на белом свете, думал он постоянно, в душе имея идеал справедливости, счастья, порядка, целесообразности, что такое творится на свете? Я ненавижу, презираю эту женщину и навеки, как каторжник цепью, на которой висит ядро чести, имени, связан с ней и ее связываю. Ее любовник

Борис бросает ее для того, чтобы жениться на женщине скучной и глупой, и губит все хорошие чувства затем, чтобы быть неравным с женою (она богата, он беден). Старик Болконский любит дочь и за то мучит ее, а она любит добро, за то несчастна. Сперанский был дельный, полезный человек, его ссылают в Сибирь. Государь был друг Наполеона, теперь нам велят проклинать его. Масоны клянутся в любви и милосердии и не платят денег и интригуют Астрея против Ищущих Манны и бьются о фартук шотландской ложи. А я понимаю всю путаницу. Вижу, что узел накручен и перекручен, а как распутать его, не знаю. Не только не знаю, но знаю, что нельзя его распутать.

Пьер в этом положении особенно любил брать газеты и читать политические новости. «Лорд Пит говорит о хлебе, он этого не думает. Зачем Бонапарт говорит о дружбе, — все лгут, сами не знают зачем? Но мне-то куда, куда деваться», — думал Пьер. Он испытывал несчастье людей многих, особенно русских людей, — способность видеть и верить в возможность добра и правды и слишком ясно ви-

деть ложь и зло жизни. Поэтому умственное спасение от этого мучения — дело, работа — было отнято от него. Всякая область труда в глазах его соединялась с злом и обманом. Ежели он пробовал быть филантропом и либералом-служакой, ложь и зло скоро отталкивали его. А вместе с тем дело, специальность необходимы были Пьеру, как они двояко необходимы для каждого. С одной стороны — по справедливости — человек, пользующийся благами общества, должен сам работать, чтобы отдать обществу то, что он берет от него; с другой стороны — лично необходимо дело — специальность, потому что человек не делающий будет видеть всю безобразную путаницу жизни и сойдет с ума или умрет, глядя на нее. Как прикрытие под ядрами, как рассказывал Пьеру князь Андрей, все было занято — все, кто делал плетеночки из сухой травы, кто строил, кто городил домики, кто сапоги поправлял. Слишком страшно быть под ядрами, чтоб не делать чего-нибудь. Слишком страшно быть под жизнью, чтоб не делать что-нибудь. И Пьеру надо было делать.

И он делал. Удержав из масонства один

мистицизм, он читал и читал мистические книги, и от чтения и мыслей отдыхал болтовней в гостиных и клубе, к вечеру и после обеда большей частью уже много выпивал. В потребности пить вино для Пьера было опять то же совпадение двух противоположных причин, ведших к одному. Пить вино для него становилось все больше и больше физической потребностью. Он опрокидывал в свой большой рот, сам не замечая как, разом проглатывал стаканы «Шато Марго» (любимое его вино), и ему становилось хорошо, несмотря на то, что доктора предостерегали его с его корпуленцией от вина. И вместе с тем, когда он выпивал бутылку и две, тогда только узел, этот страшный, запутанный узел жизни представлялся ему нестрашным. Болтая, слушая разговоры или читая после обеда и ужина, ему беспрестанно мелькал в воображении этот узел какой-нибудь стороной его. И он говорил себе: «Это ничего. Это я распутаю — вот у меня и готово объяснение — но теперь некогда, а после я обдумаю — все ясно». Но после «это» никогда не приходило. А Пьер больше чем когда-нибудь боялся одиноче-

ства.

Он спасался от жизни вином, обществом и чтением. Иногда он сам думал о рассказе князя Андрея о солдатах, старательно занятых под ядрами, и ему все люди представлялись такими солдатами, спасающимися от жизни: кто спасался честолюбием, кто картами, кто писанием законов, кто женщинами, кто игрушками — лошадьми, охотой. «Только бы не видеть ее, эту страшную ее», — думал Пьер.

Таким был Пьер для себя в тайне своей души, о страданиях которой он никогда никому не говорил и которые никто не подозревал в нем, но для других, для общества, особенно московского, которое все, начиная от старух до детей, все как своего долгожданного гостя, которого место всегда было готово и не занято, приняло его как друга, для других Пьер был самым милым, добрым, умным, веселым, великодушным чудачком, разбитным и душевным русским, старого покроя баринном. Кошелек его всегда был пуст, потому что открыт для всех. Ежели бы не нашлись добрые люди, которые, пользуясь его богатством, с улыбкой, как с ребенком, обращались с ним, взяв

его в денежном отношении на свое попечение, он давно бы был нищим. Бенефисы, дурные картины, статуи, благотворительные общества, школы, церкви, книги — ничто не получало отказа, и ежели бы не два его друга, занявшие у него денег много и взявшие его под опеку, он бы все роздал. В клубе не было обеда, вечера без него. Как только он приваливался на свое место на диване после двух бутылок Марго, его окружали, и завязывались споры, толки, шутки. Где ссорились, он одной своей доброй улыбкой и кстати сказанной шуткой — мирил. На балах он везде был, недоставало кавалера — он танцевал. Старушек он дразнил и веселил. С молодыми барынями был умно любезен, и никто лучше его не рассказывал смешные истории и не писал в альбомы. На турнирах в буриме с В.Л.Пушкиным и П.И.Кутузовым всегда его буриме были прежде готовы и забавнее. «Он прелестен. Он не имеет пола», — говорили про него молодые дамы. Массонские столовые ложи были скучны и вялы, ежели его не было. Только в самой-самой тайной глубине души своей Пьер говорил себе, объясняя свою распущен-



ную жизнь, что сделался таким не оттого, что природа его влекла к этому, а оттого, что он влюблен несчастливо в Наташу и подавил в себе эту любовь.

В Москве жили очень весело эту зиму с 1810-го на 1811 год. Как и в Петербурге, Пьер знал всю Москву и бывал во всех самых разнообразных московских обществах и во всех ему было весело, и во всех ему были рады. Он ездил и по старикам и старушкам, которые все любили его, и в свет, на балы, где о нем было составившееся мнение чудака, рассеянного, очень умного, но смешного человека, и вместе с прежними кутежными товарищами, собравшимися в Москве, к цыганам и т. п. Товарищами его в этих экскурсиях были Долохов, с которым он опять сошелся, и шурин Анатолий Курагин.

## VIII

В начале зимы князь Николай Андреевич с дочерью опять приехали в Москву. По своему прошедшему, по своему уму и оригинальности, в особенности по тому времени ослабления восторга к царствованию императора Александра I и по тому враждебному французскому влиянию и патриотическому направлению, которое царствовало в то время в Москве, князь Николай Андреевич сделался тотчас же предметом особенной почтительности и преданности москвичей и центром московской оппозиции правительству.

Старый князь постарел в этот год и по наружности, и по самому грустному признаку старости, неожиданным засыпаниям, забывчивости ближайших по времени событий и забывчивости к давнишним и, главное, по тому детскому тщеславию, с которым князь принимал роль главы оппозиции и московские овации. Но, несмотря на то, когда старик, особенно по вечерам, выходил к чаю в своей шубке и пудреном парике и начинал затронутые кем-нибудь свои отрывистые рас-

сказы о прошедшем или еще более отрывистые и резкие суждения о настоящем, нельзя было не удивляться этой свежести ума, памяти и изложения.

Для посетителей весь этот старинный дом с огромным трюмо и дореволюционной мебелью, этими лакеями в пудре и сам энергичский старик с его кроткой дочерью и хорошенькой француженкой, которые благоговели перед ним, представлял величественное и приятное зрелище. Но посетители не думали о том, что, кроме тех двух-трех часов, во время которых они видели хозяев, был еще двадцать один час суток, во время которых шла тайная, внутренняя домашняя жизнь. И эта внутренняя домашняя жизнь в последнее время так тяжела стала для княжны Марьи, что она уже не скрывала от себя тяжесть своего положения, сознавалась в нем и молила Бога помочь ей. Ежели бы отец заставлял ее все ночи класть поклоны, ежели бы он бил ее, заставлял бы таскать дрова и воду, ей бы и в голову не пришло, что ее положение трудно, но этот любящий мучитель, самый жестокий от того, что он любил, и за то мучил себя и

ее, — он умышленно с хитростью злобы умел поставить ее в такое положение, что ей надо было выбирать из двух невыносимых положений.

Он знал, что теперь ее главная забота была получить его согласие на брак князя Андрея, тем более, что срок его приезда приближался, и на это-то самое больное место он направлял все свои удары с проницательностью любви-ненависти. Пришедшая ему в первую минуту мысль-шутка о том, что, ежели Андрей женится, и он женится на Бурьен, он видел, так больно поразила княжну Марью, что эта мысль понравилась ему и он с упорством последнее время выказывал особенную ласку к мадемуазель Бурьен и держался плана выказывать свое недовольство к дочери любовью к мадемуазель Бурьен. Один раз в Москве княжна Марья видела (ей казалось, что отец нарочно при ней это сделал), как князь поцеловал у мадемуазель Бурьен руку. Княжна Марья вспыхнула и выбежала из комнаты. Через несколько минут мадемуазель Бурьен вошла к ней, приглашая ее к князю. Увидав мадемуазель Бурьен, княжна Марья спрятала

слезы, вскочила, сама не помнила, что она наговорила своей французской подруге, и закричала на нее, чтоб она шла вон из ее комнаты. На другой день Лаврушка, лакей, не успевший вовремя подать кофе француженке, был отослан в часть с требованием сослать его в Сибирь. Сколько раз в этих случаях вспоминала княжна Марья слова князя Андрея о том, для кого вредно крепостное право, и князь при княжне Марье сказал, что он не может требовать почтительности от людей к своему другу Амелии Евгеньевне, ежели дочь его позволяет себе забываться перед нею. Княжна Марья просила прощенья у Амелии Евгеньевны, чтобы спасти Лаврушку. Утешения прежнего в монастыре и странницах не было. Друга не было. Жюли, которой она писала пять лет, оказалась совершенно чуждой ей, когда княжна Марья сошлась с нею. Жюли в это время, по случаю смерти братьев сделавшись одной из самых богатых невест Москвы, находилась во всем разгаре светских удовольствий. Она была окружена молодыми людьми, которые знали ее столько лет и, наконец, как она думала, оценили ее достоин-

ства. Жюли находилась в том периоде стареющей светской барышни, которая чувствует, что вот наступил последний шанс замужества — и теперь или никогда.

Княжна Марья с грустной улыбкой вспоминала по четвергам, что ей теперь писать не к кому, так как Жюли — Жюли, от присутствия которой ей не было никакой радости, — была здесь и виделась с ней каждую неделю. Она вспомнила, как старый эмигрант отказался жениться на даме, у которой он проводил вечера, потому что «где же тогда проводить свои вечера». Свет не существовал для княжны Марьи. (Все знали, что отец не пускает ее, и не звали.) Она говорила, что не может оставить больного отца. Все восхищались ее любовью и преданностью; многие засылали сватов для сыновей, так как она и Жюли были теперь две самые богатые невесты Москвы. Но с тех пор как они были в Москве, князь Николай Андреевич не одного молодого человека, приехавшего к нему в дом, отделал так и поднял на смех, что уж никто не ездил к нему.

Хуже всего было то, что поручение брата

не только не было исполнено, но дело было совершенно испорчено, и напоминание о графине Ростовой выводило из себя старого князя. Княжне Марье было очень тяжело в особенности потому, что только редко-редко, в самые тяжелые минуты, она позволяла себе думать, что она не виновата во всей тягости ее положения, большей же частью она твердо была уверена, что она сама дурна, зла и оттого виновата. Она думала это, во-первых, оттого, что последнее время, особенно здесь, в Москве, ожидая каждый день приезда брата, она была всегда в таком тревожном состоянии, что не находила в себе прежней способности мысли о будущей жизни и прежней способности любви к Богу. Она не могла молиться душою, как прежде, и чувствовала, что исполняла только обряд. Во-вторых, она чувствовала себя виноватой потому, что в своих отношениях с Коко, который был отдан на ее руки, она с ужасом узнавала в себе свойства раздражительности своего отца. Сколько раз она говорила себе, что не надо позволять себе горячиться, уча племянника, но почти всякий раз, как она садилась с указкой за

французскую азбуку, ей так хотелось поскорее, полегче перелить из себя свое знание в эту белую головку Коко, но, несмотря на весь любовный, лучистый свет ее глаз, устремленных на Коко, уже боящегося, что вот-вот тетя рассердится, Коко не понимал, она вздрагивала, торопилась, горячилась, иногда возвышала голос, дергала его за ручку и, ежели ставила в угол, то сама падала на диван, закрывалась прекрасными руками и рыдала, рыдала над своей злой, дурной природой, так что Коко, подражая ее рыданиям, подходил к ней и отдергивал от лица ее мокрые руки. Но более, более всего чувствовала она свою порочность и виноватость тогда, когда отец, которого она иногда упрекала, вдруг при ней или искал очки, ощупывая подле них и не видя их, или забывал то, что сейчас было, или делал ослабевшими ногами неверный шаг и оглядывался, не видал ли кто, или, что было хуже всего, когда он за обедом вдруг задремывал, выпуская салфетку, и склонялся трясущейся головой. Да, он был стар и слаб, был не виноват, она была виновата. Как бы она поддержала его голову, склонила бы ее на высокую ручку крес-



ла и нежно бы поцеловала в изрытый, морщинистый лоб, но она не смела этого и подумать, — это делала мадемуазель Бурьен, а княжна Марья только дрожала от страха, от мысли, что отец увидит, что она это видела. Старалась и не умела ни скрыть, ни показать того, что она хотела, и ненавидела и презирала себя за то.

## IX

**В** 1811 году в Москве был быстро вошедший в моду французский доктор, огромный ростом красавец, любезный, как всякий француз, необыкновенно ученый и образованный и, как говорили все в Москве, врач необыкновенного искусства. Метивье был принят в высших домах не как доктор, а как равный.

Князь Николай Андреевич, смеявшийся над медициной, последнее время стал допускать к себе докторов, как казалось, преимущественно с целью посмеяться над ними. В последнее время был призван и Метивье, и раза два был у князя, как и везде, кроме своих врачебных отношений, стараясь войти и в семейную жизнь больного. В Николин день,

именины князя, вся Москва была у подъезда его дома, но он никого не принимал, и лишь некоторых, список которых он дал княжне Марье, велено было звать обедать. Метивье, в числе других приехавший с поздравлением, нашел приличным как доктор силой нарушить приказ, как он сказал княжне Марье, и вошел к князю. Это именинное утро князь был в одном из самых дурных своих периодов. Он выгнал от себя княжну Марью, пустил чернильницей в Тихона и лежал, дремля, в своем вольтеровском кресле, когда красавец Метивье с своим черным хохлом и прелестным румяным лицом вошел к нему, поздравил, пощупал пульс и сел подле него. Метивье, как бы не замечая дурного расположения духа, развязно болтал, переходя от одного предмета к другому. Старый князь, хмурясь и не открывая глаз, как будто не замечая развязно-веселого расположения духа доктора, продолжал молчать, изредка бурча что-то непонятное и недоброжелательное. Метивье поговорил с почтительным сожалением о последних известиях неудач Наполеона в Испании и выразил условное сожаление в том, что

император увлекается своим честолюбием. Князь молчал. Метивье коснулся невыгод континентальной системы. Князь молчал. Метивье заговорил о последней новости введения нового свода Сперанского. Князь молчал. Метивье с улыбкой торжественно начал говорить о Востоке, о том, что направление французской политики, совокупно с русской, должно бы было быть на Востоке, что слова сделать Средиземное море французским озером...

Князь не выдержал и начал говорить на свою любимую тему о значении Востока для России, о взглядах Екатерины и Потемкина на Черное море. Он говорил много и охотно, изредка взглядывая на Метивье.

— По вашим словам, князь, — сказал Метивье, — все интересы обеих империй лежат в союзе и мире.

Князь вдруг замолк и устремил прикрываемые отчасти бровями злые глаза на доктора.

— А, вы меня заставляете говорить. Вам нужно, чтоб я говорил, — вдруг закричал он на него. — Вон, шпион! Вон! — И князь, войдя в бешенство, вскочил с кресла, и находчивый

Метивье ничего не нашел лучше сделать, как поспешно выйти с улыбкой, сказать на встречу бегущей княжне Марье, что князь не совсем здоров — «желчь и прилив к голове. Не беспокойтесь, я завтра заеду», — и, приложив палец к губам, он вышел, услышав шаги в туфлях князя, подходящего к гостинной. Вся сила гнева обрушилась на княжну Марью, она была виновата в том, что к нему пустили шпиона.

С ней он не мог иметь ни минуты покоя, не мог умереть спокойно.

— Нам надо разойтись, это вы знаете, — были его слова к дочери. И как будто боясь, чтоб она не сумела как-нибудь утешиться, он вернулся к ней и, стараясь принять спокойный вид, прибавил: — И не думайте, чтобы я это сказал вам в минуту сердца, а я спокоен, и я обдумал это, и это будет. — Но он не выдержал и с тем озлоблением, которое может быть только у человека, который любит, он, видно, сам страдая, потрясая кулаками, прокричал ей: — И хоть бы какой-нибудь дурак взял ее замуж!

Он хлопнул дверью, позвал к себе мадему-

азель Бурьен и, лежа, слушал ее чтение «AmJlie de Mansfeld», изредка прокашливаясь.

(С этого дня разошлась по Москве молва, которой верили и не верили, что Метивье — шпион Бонапарта.)

В два часа съехались избранные шесть персон к обеду, и князь Николай Андреевич в своем парике, пудре, кафтане и звезде вышел к гостям величаво-приветливым и спокойным. Гости были: известный граф Ростопчин, князь Лопухин с своим племянником, генерал Чатров, старый товарищ князя, и из молодых Пьер и Борис Друбецкой. Борис, адъютант важного лица, гвардии капитан, занимающий видное место в Петербурге, на днях приехав в Москву в отпуск и быв представлен князю Николаю Андреевичу, так умно, почтительно и независимо-патриотически умел держать себя перед ним, что князь для него сделал исключение из всех холостых молодых людей, которых он не принимал к себе. Дом князя был не то, что называется «свет», но это был такой маленький кружок, о котором не слышно было в городе, но в котором лестнее всего было быть принятым. Это по-

нял Борис с неделю тому назад, когда при нем главнокомандующий сказал Ростопчину, что он надеется видеть его у себя в Николин день, а Ростопчин ответил, что не может быть.

— В этот день я всегда еду прикладываться к мощам князя Николая Андреевича.

— Ах да, да, — отвечал главнокомандующий.

Обед был чопорен, но разговоры, и интересные разговоры, не умолкали. Тон разговора был такой, что гости, как будто перед высшим судилищем, докладывали князю Николаю Андреевичу все глупости и неприятности, делаемые ему в высших правительственных сферах. Князь Николай Андреевич как будто принимал их к сведению. Все это докладывалось с особенной объективностью, старческой эпичностью, все заявляли факты, воздерживаясь от суждений, в особенности когда дело могло коснуться личности государя. Только Пьер нарушал этот тон иногда, стараясь сделать выводы из напрашивавшихся на выводы фактов и переходя границу, но всякий раз был останавливаем. Ростопчина, видимо, все ждали, и, когда он начинал гово-

рить, все оборачивались к нему, но вошел он в свой удар только после обеда.

— Государственный совет, министерство вероисповеданий. Хоть бы свое выдумали, — закричал князь Николай Андреевич. — Изменники! «Державная власть»... Есть самодержавная власть, — говорил князь, — та самая, которая велит делать эти изменения.

— Хоть плетью гнать министров, — сказал Ростопчин больше для того, чтобы вызвать на спор.

— Ответственность! Слышали звон, да не знают, где он. Кто назначает министров? Царь, он их и сменит, взмылит голову, сошлет в Сибирь, а не объявит народу, что у меня такие министры, которые могут изнурить вас налогами, а потому виноваты.

— Мода, мода, мода, французская мода, больше ничего. Как мода раздеваться голыми барыням, как в торговых банях вывеска, и холодно и стыдно, а разденутся. Так и теперь. Зачем власти ограничивать себя? Что за идея на монетах писать Россия, а не царь? Россия и царь — все одно, и тогда все одно, когда царь хочет быть вполне царем.

— Читали вы, князь, записку Карамзина о старой и новой России? — спросил Пьер. — Он говорит...

— Умный молодой человек, желаю быть знакомым.

За жарким подали шампанское. Все встали, поздравляя старого князя. Княжна Марья тоже подошла к нему. Он подставил ей щеку, но не забыл и тут взглянуть на нее так, чтобы показать ей, что он не забыл утреннее столкновение, что вся злоба на нее остается по-прежнему во всей силе.

Разговор замолк на минуту. Старый генерал, сенатор, тяготившийся молчанием, пожелал поговорить.

— Изволили слышать о последнем событии на смотре в Петербурге?

— Нет, что?

— Новый французский посланник (это был Лористон после Коленкура) был при его величестве. Его величество обратил его внимание на гренадерскую дивизию, церемониальный марш, так он будто сказал, что мы у себя на такие пустяки не обращаем внимания. На следующем смотре, говорят, государь ни разу



не изволил обратиться к нему, — сказал генерал, как будто удерживаясь от суждения и только заявляя факт.

— Читали вы ноту, посланную к дворам и отстаивающую права герцога Ольденбургского? — сказал Ростопчин с досадой человека, видящего, что дурно делается то дело, которым он сам прежде занимался. — Во-первых, слабо и дурно написано. А нам можно и должно заявлять смелее, имея пятьсот тысяч войска.

— Да, с пятисоттысячной армией нетрудно владеть и хорошим слогом.

— А я спрашиваю, какие же законы можно писать для своего государства, какую справедливость можно требовать, после того как Бонапарт поступает, как пират на завоеванном корабле, с Европой...

— Войны не будет, — резко и сентенциозно перебил князь. — Не будет оттого, что у нас людей нет. Кутузов стар, и что он там в Рущуке делал — не понимаю. Что принц, как переносит свое положение? — обратился он к Ростопчину, который был на днях в Твери у принца Ольденбургского. Князь Николай Ан-

дреевич умышленно переменял разговор; в последнее время он не мог говорить о Бонапарте, потому что он постоянно о нем думал. Он начинал не понимать в этом человеке. После того как он в прошлом году женился на дочери австрийского кесаря, старый князь не мог уже более уверенно презирать его, не мог и верить в его силу. Он не понимал, терялся в догадках и был смущен, когда говорили о Бонапарте.

— Герцог Ольденбургский с твердостью и достойной покорностью переносит свое несчастье, — сказал Ростопчин. И продолжал о Бонапарте: — Теперь дело до папы доходит, — говорил он. — Что ж мы не перенимаем? Наши боги — французы, наше царство небесное — Париж, — он обратился к молодым людям, к Борису и Пьеру. — Костюмы французские, мысли французские, чувства французские. Ох, поглядишь на нашу молодежь, взял бы старую дубинку Петра Великого из кунсткамеры, да по-русски обломал бы бока... Ну, прощайте, ваше сиятельство, но не хворайте, не хандрите, Бог не выдаст, свинья не съест.

— Прощай, голубчик; гусли, заслушаюсь его, — сказал старый князь, удерживая его руку и подставляя ему для поцелуя свою щеку. С Ростопчиным поднялись и другие. Один Пьер остался, но старый князь, не обращая на него внимания, пошел в свою комнату. Борис, откланявшись и сказав княжне Марье, что он всегда, как на святыню, смотрит на ее отца, заслушивается его и потому не может наслаждаться ее обществом, вышел с другими, но просил позволения бывать у нее.

Княжна Марья сидела в гостиной молча во время разговора и, слушая эти толки и пересуды о столь важных государственных делах, ничего не понимала из того, что говорилось, а — странное дело, — только думала о том, не замечают ли они враждебных отношений ее отца к ней. С этим вопросительным взглядом она и обратилась к Пьеру, который перед отъездом с шляпой в руке повалился своим толстым телом подле нее в кресло. «Вы ничего не заметили?» — как будто говорила она. Пьер же находился в приятном послеобеденном состоянии духа. Он глядел вперед себя и тихо улыбался.

— Давно вы знаете, княжна Марья, этого молодого человека? — сказал он, указывая на уходящего Бориса.

— Я знала его ребенком, но теперь недавно...

— Что, он вам нравится?

— Да, отчего же.

— Что, пошли бы за него замуж?

— Отчего вы у меня спрашиваете? — сказала княжна Марья, вся вспыхнув, хотя она уже оставила всякую мысль о замужестве.

— Оттого что я, ежели езжу в свет, не к вам, а в свет, то забавляюсь наблюдениями. И теперь я сделал наблюдение, что молодой человек без состояния обыкновенно приезжает из Петербурга в Москву в отпуск только с целью жениться на богатой.

— Вот как, — сказала княжна Марья, все думая о своем.

— Да, — продолжал Пьер с улыбкой, — и этот юноша теперь себя так держит, что, где есть богатая невеста, там и он. Я как по книге читаю в нем. Он теперь в нерешительности, кого ему атаковать: вас или мадемуазель Жюли Корнакову.

— Правда? — А княжна Марья думала: «Отчего бы мне его не выбрать своим другом и поверенным и не высказать ему все? Мне бы легче стало. Он бы подал мне совет».

— Пошли бы вы за него замуж?

— Ах, боже мой, граф, есть такие минуты, что я пошла бы за всякого, — вдруг неожиданно для самой себя сказала княжна Марья с слезами в голосе. — Ах, коли бы вы знали, мой друг, — продолжала она, — как тяжело бывает любить человека близкого и чувствовать, что ничего не можешь для него сделать, кроме горя, когда знаешь, что не можешь этого переменить. Тогда одно — уйти, а куда мне уйти можно?

— Что вы, княжна?

Но княжна не договорила и заплакала.

— Я не знаю, что со мной нынче, — сказала она, оправившись. — Не слушайте меня, а поговорим лучше про Андрея. Скоро ли приедут Ростовы?

— Я слышал, что они на днях будут.

Княжна Марья, чтобы забыть о себе, сообщила Пьеру план, как она, ничего не говоря отцу, как только приедут Ростовы, постарает-

ся сблизиться с будущей невесткой, с тем чтобы князь привык к ней и полюбил ее.

Пьер вполне одобрил этот план.

— Одно, — сказал он ей, уезжая и с особенной теплотой глядя ей в глаза, — насчет того, что вы о себе сказали, помните, что у вас есть верный друг — я. — Пьер взял ее за руку.

— Нет, я бог знает что говорила, забудьте, — сказала княжна. — Только дайте мне знать, как приедут Ростовы.

В этот же вечер она сидела по обыкновению с работой у отца. Он слушал чтение и кричал сердито. Княжна Марья молча глядела на него и думала тысячу злых вещей: «Он ненавидит меня, он хочет, чтоб я умерла». Она оглянулась. Он оттопырил губу и клевал носом с старческим бессилием.

## Х

Предположения Пьера относительно Бориса были справедливы. Борис находился в нерешительности между двумя самыми богатыми невестами Москвы. Но княжна Марья, как ни дурна она была, казалась ему привлекательнее Жюли; он, однако, боялся и чувствовал, что с ней у него трудно поведется дело, и остановился на Жюли. Он сделался ежедневным у Ахросимовых. И Марья Дмитриевна, все такая же прямая, но убитая душевно потерей сыновей и презиравшая в душе столь непохожую на нее дочь, с нетерпением ждала случая сбыть ее. Жюли было 27 лет. Она думала, что она не только так же, но гораздо больше привлекательна теперь, чем была прежде. Она была, действительно, во-первых, потому, что она была богата, во-вторых, потому, что чем старше она была, тем безопаснее она была для мужчин и тем свободнее была с ними. Она сама принимала и одна ездила с каким-нибудь чепцом.

Мужчина, который десять лет тому назад побоялся бы каждый день ездить в дом, где

была 17-летняя барышня, чтобы не компрометировать ее, теперь ездил к ней смело на ужины (это были ее манеры). Она умела принимать, передразнивать всевозможные тоны и, смотря по людям, была то чопорная аристократка, фрейлина, то москвичка простодушная, то просто веселая барышня, то поэтическая, меланхолическая, разочарованная девица. Этот последний тон, усвоенный ею еще в молодости и употребляемый еще тогда, когда она кокетничала с Николаем, был ее любимым. Но все эти тоны она принимала так поверхностно, что людей, действительно бывших меланхолическими или просто веселыми, подделки поражали и отталкивали, но так как большинство людей только притворяется, а не живет, то ее окружало и ценило большинство людей. Ее приятелем был и Карамзин, в прежние времена бедняк, и Василий Пушкин, и Петр Андреевич Вяземский, который писал ей стихи. Всем весело было без последствий, пусто болтать с нею. В числе ее искателей Борис был для нее один из самых приятных, и она ласкала его и с ним нашла нужным принять любимый тон мелан-



холии. Покуда Борис был в нерешительности, он еще смеялся и бывал весел, но когда он твердо решил выбрать ее из двух, он вдруг сделался грустен, меланхоличен, и Жюли поняла, что он отдается ей. Весь альбом Жюли был исписан его рукою такими изречениями над картинками гробниц: «Смерть спасительна, и в могиле покой. И нет иного приюта от горестей». Или: «Деревья вековые, ваши темные ветви навевают на меня мрак и меланхолию. Меланхолии в роще приют. Отшельником хочу отдохнуть в ее тени». Или: «Чем ближе подхожу я к пределу, тем менее страшит он меня...» и т. д. Жюли играла Борису на арфе самые печальные марши. Борис вздыхал и читал ей вслух «Бедную Лизу».

Но положение это тянулось две недели и становилось тяжело. Оба чувствовали, что надобно выйти из ожиданий смерти, любви к гробнице и презрения к жизни. Жюли — для того, чтобы сделаться женой флигель-адъютанта. Борису — для того, чтобы с меланхолической невесты получить нужные 3000 душ в Пензенской губернии. Выход этот был очень тяжел, но надо было перейти его, и в

Один день после сознания в том, что, кроме мечтания о неземной любви, надо объяснить-ся, Борис сделал предложение. Предложение, к ужасу старой графини Ростовой и к досаде Наташи (она все-таки Бориса считала своим), было принято. И на другой день оба игрока не считали более нужным употребление меланхолии и весело стали ездить, показываться в театрах и на балах как жених с невестой, и по утрам в магазины, закупаая все для свадьбы. Устроившаяся свадьба Жюли с Борисом была свежей и капитальной светской новостью, когда Илья Андреевич Ростов приехал в конце зимы в Москву продавать свой дом и привез с собой повеселить Наташу.

В начале февраля приехали Ростовы. Когда Наташа не была так взволнована, так готова, зрела для любви и потому так женственно хороша, как в этот свой приезд в Москву. Перед отъездом своим из Отрадного она видела сон, что князь Андрей встречает ее в гостиной и говорит: «Зачем вы не едете? Я уже давно приехал». Наташа так страстно желала этого, так сильна была в ней потребность любить мужчину не в одном воображении, так тяжело ей становилось ожидание своего жениха, что она, приехав в Москву, твердо была уверена, что сон ее сбудется и что она найдет уже в ней князя Андрея.

Они приехали вечером. На другой день утром были посланы извещения Пьеру, Анне Михайловне и Шиншину. Прежде всех приехал Шиншин и рассказывал про московские новости. Главные новости были про то, что здесь теперь два молодые человека, Долохов и Курагин, которые свели с ума всех московских барынь.

— Это те, что медведя связали? — сказал

граф.

— Ну, тот самый, — отвечал Шиншин, — да добро бы Курагин, ну, отец известный человек, — и точно, красавец писанный. Ну, а Долохов-то что?! «Долохов-персиянин», так и прозвали барыни.

— Да откуда он взялся? — сказал граф. — Ведь он пропал куда-то года три назад.

— Нашелся; оказывается, что он у какого-то владетельного князя был министром в Персии где-то, гарем там имел, убил брата шахова. Ну и с ума все сходят московские наши барыни. Долохов-персиянин, да и кончено. А он шулер, вор. А у нас нет обеда без Долохова, на Долохова зовут — вот как... И что забавнее всего, — продолжал Шиншин, — помните, Безухов с ним на дуэли дрался, теперь друзья закадычные. Первый гость и у него и у графини Безуховой.

— Разве она здесь? — спросил граф.

— Как же, на днях приехала. Муж от нее сбежал, она сюда за ним приехала. А хороша, очень хороша, я понимаю, что и...

«Что за дело до них», — думала Наташа, рассеянно слушая.

— А Болконский здесь? — спросила она.

— Старик здесь, а молодого, увы, нет, милая моя кузина, не с кем пококетничать, — отвечал Шиншин насмешливо, ласково улыбаясь.

Наташа даже не улыбнулась на ответ Шиншина, едва удержалась, чтобы не заплакать.

Потом приехала Анна Михайловна и объявила со слезами на глазах о своей радости: о женитьбе сына на Жюли.

— Главное, это такое сердце золотое. И так страстно мой Боря любит ее. С детства еще, — говорила состарившаяся Анна Михайловна, повторяя фразу, которую она говорила всем, и не успевшая сообразить, что для Ростовых надо было изменить эту фразу.

Наташа вспыхнула, услышав это известие, и, не сказав ни слова, встала и вышла. Но только что она вышла, она поняла, как неуместна была ее досада. Что ей было за дело до Бориса, когда она сама была невеста, и кого же, князя Андрея, самого лучшего человека в мире! Но все-таки ей было больно и досадно и еще более досадно то, что она выказа-

ла свою досаду.

Пьер, который должен был сообщить ей последние известия о Андрее, все не приезжал. Он до поздней ночи прокутил накануне и потому встал только в третьем часу. К обеду и он приехал. Наташа, услышав о его приезде, бегом побежала к нему из задних комнат, где она молча и задумчиво сидела до тех пор.

Увидав Наташу, Пьер покраснел, как ребенок, чувствуя, что он глупо краснеет.

— Ну что? — говорила Наташа, удерживая руку, которую он у ней целовал. — Есть письма? Милый граф, все мне так противны, кроме вас. Есть? Давайте, — Наташа за руку повела Пьера к себе в комнату, не помня себя от радости. — Скоро ли он приедет?

— Должно быть, скоро, он пишет мне о паспорте для гувернера, которого он нашел.

— Покажите, покажите, — говорила Наташа, и Пьер подал ей письмо. Письмо было короткое, деловое, по-французски. Князь Андрей писал, что последнее его дело сделано. Швейцарец Laborde, умный, образованный, идеальный воспитатель, ехал с ним, — нужно было достать ему паспорт. Письмо было дело-

вое и сухое, как писал князь Андрей. Но Пьер по этому заключил, что он был в дороге.

— Ну, а еще? — спросила Наташа.

— Еще нет ничего, — улыбаясь, сказал Пьер.

Наташа задумалась.

— Ну, пойдете в гостиную.

Пьер еще сообщил ей о желании княжны Марьи видеться с ней, о том, что она приедет к Ростовым, и о том, что приятно бы было познакомиться с стариком, будущим свекром. Наташа согласилась на все, но была очень молчалива и сосредоточена.

На другой день Илья Андреевич поехал с дочерью к князю. Наташа с страхом и неудовольствием замечала, что ее отец неохотно согласился на эту поездку и робел, входя в переднюю и спрашивая, дома ли князь. Наташа заметила также, что после доклада о них произошло смятение между прислугой, что двое шептались о чем-то в зале, что к ним выбежала девушка и что только после этого доложили, что князь принять не может, а княжна просит к себе. Первая навстречу вышла мадемуазель Бурьен. Она особенно учтиво, но хо-

лодно встретила отца с дочерью и проводила их к княжне. Княжна с взволнованным, испуганным лицом и красными пятнами на лице встретила гостей, тщетно пытаясь казаться свободной и радушной. Кроме своей неопределимой антипатии и зависти к Наташе, княжна была взволнована еще тем, что при докладе о приезде Ростовых князь закричал, что ему их не нужно, что пусть княжна Марья принимает, если хочет, а чтоб к нему их не пускали.

Княжна Марья решилась принять Ростовых, но всякую минуту боялась, как бы князь не сделал какую-нибудь выходку. Княжна Марья знала о предполагаемом браке, Наташа знала, что княжна Марья знала это, но они ни разу о том не говорили.

— Ну вот, я вам, княжна милая, привез мою певунью, — сказал граф, — уж как хотела вас видеть... Жаль, жаль, что князь все нездоров, — и, сказав еще несколько общих фраз, он встал. — Ежели позволите, княжна, на четверть часика прикинуть вам мою Наташу, я бы съездил тут два шага в Конюшенную к Анне Дмитриевне и заеду за ней...



Илья Андреевич придумал эту дипломатическую хитрость для того, чтобы дать простор будущей золовке объясниться с своей невесткой. Княжна сказала, что она очень рада и просит только графа побыть подольше у Анны Дмитриевны.

Мадемуазель Бурьен, несмотря на беспокойные, бросаемые на нее взгляды княжны Марьи, не выходила из комнаты и держала твердо нить разговора о московских удовольствиях и театрах.

Наташа была оскорблена и огорчена и, сама того не зная, своим спокойствием и достоинством внушала к себе уважение и страх в княжне Марье. Через пять минут по отъезде графа дверь комнаты отворилась и вошел князь в белом колпаке и халате.

— Ах, сударыня, — заговорил он, — сударыня, графиня Ростова, коли не ошибаюсь... Прошу извинить, извинить... Не знал, сударыня. Видит Бог, не знал, что вы удостоили нас своим посещением. Извините, прошу, — говорил он так ненатурально, неприятно, что княжна Марья, опустив глаза, стояла, не смея взглянуть ни на отца, ни на Наташу, а Наташа,

встав и присев, тоже не знала, что ей делать. Одна мадемуазель Бурьен приятно улыбалась.

— Прошу извинить. Прошу извинить, — пробурчал старик и вышел.

Мадемуазель Бурьен первая нашлась после этого появления и начала разговор про нездоровье князя, но через пять минут вошел Тихон и доложил княжне Марье, что князь приказали ей ехать к тетушке. Княжна Марья до слез покраснела и велела сказать, что у нее гости.

— Милая Амелия, — сказала она, обращаясь к мадемуазель Бурьен, — подите скажите батюшке, что я нынче утром не поеду. Пожалуйста, — прибавила она тем тоном, который мадемуазель Бурьен знала за непременный, за такой, в котором княжна Марья, доведенная до последних границ терпения, уже не уступала. Мадемуазель Бурьен вышла. Княжна Марья, оставшись одна, встала и взяла за руки Наташу, и тяжело вздохнула, собираясь говорить.

— Княжна, — вдруг сказала Наташа, вставая тоже. — Нет, подите, подите, княжна, —

сказала она со слезами на глазах. — Я хотела вам сказать, лучше все оставить... лучше, — она заплакала.

— Полноте, полноте, душенька, — и княжна Марья тоже заплакала и стала целовать ее. В этом положении их застал старый граф и, получив обещание княжны быть у них завтра вечером, увез дочь.

## XII

**Н**аташа была весь день молчалива и сосредоточена.

В этот же вечер был бенефис любимицы московской публики, и граф Илья Андреевич, достав билет, повез своих барышень. Наташа неохотно поехала, потому что надо ж было как-нибудь проводить время, но когда она, одетая, вышла в залу, дожидаясь отца, и погляделась в большое зеркало, она увидела, что она хороша, очень хороша, и ей еще более стало грустно. Но грустно сладостно и любовно. «Боже мой, ежели бы он был! Как бы я не так, как прежде, с какой-то глупой робостью перед чем-то, а по-новому, просто обняла бы его, прижалась бы к нему, заставила бы его

смотреть на меня теми искательными любопытными глазами и потом заставила бы его смеяться, как он смеялся тогда, и глаза его... как я вижу эти глаза, — думала Наташа. — И что мне за дело до его отца и сестры, я люблю его, одного его, его с этим лицом и глазами и улыбкой, мужской и детской. Нет, лучше не думать о нем, не думать, забыть, совсем забыть на это время. А то я не вынесу этого ожидания, я сейчас зарыдаю», — и она отошла от зеркала, чтобы не зарыдать. «И как может Соня так ровно, спокойно любить и ждать, — подумала она, глядя на входившую, тоже одетую, с веером Соню. — Нет, она совсем другая...»

Наташа вошла, сняв шубу, в освещенный бенуар, в то время как музыка играла любимую ею увертюру, и при этих ярких звуках и свете она стала еще грустнее и еще влюбленнее. Она не думала о князе Андрее, но она чувствовала так, как когда она бывала в его присутствии. Она чувствовала себя размягченной и разнеженной. Ей хотелось припасть к кому-нибудь, ласкаться и любить... Она села впереди, куда ее посадили, и, положив руку

на рампу, стала оглядывать партер и противоположные ложи. Маленькая, в перчатке, рука ее невольно и незаметно для нее самой судорожно в такт увертюры сжималась и разжималась и комкала афишу. Две замечательно хорошенькие девушки Наташа и Соня, вошедшие с известным всей Москве графом Ильей Андреевичем, которого давно не видно было, обратили на себя общее внимание. Кроме того, все знали смутно про ее сватовство с князем Андреем, одним из лучших женихов, знали, что с тех пор они жили в деревне, и это обстоятельство еще более возбуждало интерес к ней. И внимание это особенно сосредоточилось на Наташе, которая в этот вечер, благодаря своему грустному поэтическому настроению, была особенно хороша, поражая своей полнотой жизни и красоты в соединении с равнодушием ко всему окружающему.

— Посмотри, вон Аленина, — говорила Соня, — с матерью, кажется.

— Батюшки! Михаил Кирилыч-то еще потолстел, — говорил старый граф. — Смотрите! Анна Михайловна наша в токе каком! Там и Борис с Жюли. Сейчас видно жениха с неве-

стой.

Наташа посмотрела по тому направлению, по которому смотрел отец, и увидела Жюли, которая декольте, в бриллиантах на толстой красной шее сидела с счастливым видом рядом с матерью. Позади их виднелась наклоненная ухом ко рту Жюли гладко причесанная, красивая голова Бориса. Он исподлобья смотрел на Ростовых и, улыбаясь, говорил что-то.

«Они говорят о нас, — подумала Наташа. — И он, верно, успокаивает ревность ко мне своей невесты». Сзади сидела в зеленом токе и со счастливым, праздничным лицом Анна Михайловна. В ложе стояла та атмосфера жениха с невестой, которую так знала и любила Наташа.

Она вздохнула и стала оглядывать другие знакомые и незнакомые лица. Впереди партера, в самой середине, облокотившись спиной к рампе, стоял Долохов с огромной, странно зачесанной кверху копной курчавых волос, в персидском костюме. Он стоял на самом виду театра, зная, что он обращает на себя внимание всей залы, так же свободно, как будто он

стоял в своей комнате. Около него, столпившись, стояла самая блестящая московская молодежь, и он видимо первенствовал между ними. Долохов, после истории с Николаем, не кланялся Ростовым. Он нагло и весело посмотрел прямо в глаза Наташе. Наташа с презрением отвернулась от него. Граф Илья Андреевич, смеясь, подталкивая краснеющую Соню, указывал ей на прежнего обожателя.

В соседнем бенуаре, в двух шагах от себя, Наташа видела задом к ней сидевшую даму с прелестными, очень оголенными плечами и шеей и с той особенностью туалета и прически, которая показывала высшую степень элегантности. Наташа, всегда и во всем, особенно в женщинах, любившая красоту и изящество, несколько раз оглядывалась на эту шею с жемчугом, плечи и прическу, и ей казалось, что она где-то уже любовалась этой красотой. Дама сидела одна. В то время, как Наташа второй раз вглядывалась в нее, дама оглянулась и, встретившись глазами с графом Ильей Андреевичем, кивнула ему головой и улыбнулась. Она была необыкновенно хороша, и Наташа помнила, что уже видела ее и где-то вос-

хищалась ею. Она вспомнила, что это была графиня Безухова, жена Пьера, когда Илья Андреевич, знавший всех на свете, перегнулся к ней.

— Давно пожаловали, графиня? — заговорил он. — Приду, приду, ручку поцелую. А я вот приехал по делам, да вот и девочек своих с собой привез. Бесподобно, говорят, Семенова играет. А где ваш муж?

Графиня Безухова улыбнулась своей прелестной улыбкой, сказала:

— Очень рада, муж хотел приехать, — и отвернулась от графа.

— Как хороша, — шепотом сказал граф.

— Чудо! — сказала Наташа, на которую в особенности женская красота всегда неотразимо действовала.

В это время зазвучали последние аккорды увертюры, застучала палочка капельмейстера, стоявшие сели, и поднялась занавесь.

На сцене были ровные доски посередине, с боков стояли крашеные картоны зеленым, долженствовавшие представлять деревья, из-за картонов, под лампами, высывались мужчины в сюртуках и девушки какие-то, по-



зади был очень дурно нарисован какой-то город — такой, какие всегда бывают на театре и никогда не бывают в действительности. Наверху были протянуты полотна. На досках сидели какие-то барышни в красных корсажах и белых юбочках, а одна в шелковом белом платье сидела особо, и все они были одеты, как никогда в действительности и всегда на театре. И все они пели что-то. Потом в белом девица подошла к будочке, и к ней подошел мужчина в шелковых в обтяжку панталонах, с пером и кинжалом и стал что-то ей доказывать, хватать за голую руку, перебирать пальцами по руке и петь. Наташа, как ни редко бывала в театре, знала, что все это так будет, и не интересовалась тем, что было на сцене. Она вообще мало любила театр, а теперь, после деревни и в том серьезном настроении, в котором она была, все это ей было скучно и неинтересно. В одну из самых тихих минут, когда любовник в обтянутых панталонах перебирал пальцами руку девицы в белом платье, очевидно выжидая такта начать, скрипнула дверь партера, и зазвучали шаги с легким поскрипыванием сапог по ковру партера

на той стороне, на которой была ложа Ростовых.

Элен обернулась и, улыбаясь, дружески кивнула входящему. Наташа невольно посмотрела по направлению глаз графини Безуховой. К ним подходил Анатолий Курагин, тот самый красавец, кавалергард, которого Наташа тогда заметила на петербургском бале. Он был теперь в адъютантском мундире с одним эполетом и аксельбантами. Он шел ухарски ускоренной, молодецкой походкой, которая была бы смешна, ежели бы он не был так хорош собой и ежели бы на прекрасном его лице не было бы такого выражения добродушного довольства и веселья. Не одни Элен и Наташа, но и многие дамы и мужчины оглянулись на него, когда он, не торопясь, слегка поскрипывая сапогами и побрякивая шпорами и саблей, шел по наклонному ковру коридора.

Несмотря на то, что действие шло, он не торопился сесть, а, оглядываясь кругом и заметив Наташу, на которую он два раза взглянул, подошел к сестре, тряхнул ей головой и, наклонясь, прошел опять, указывая на Ната-

шу. «Кто это?» И Наташа слышала или видела по движению его губ, что он сказал: «Прелестна!» Потом он прошел в первый ряд и сел подле Долохова.

— Как похожи брат с сестрой, — сказал граф. — Одна кровная порода! — сказал он.

В антракте все опять встали в партере, перепутались и стали ходить и выходить. Борис прошел в ложу Ростовых очень просто и учтиво принять поздравления и, приподняв брови, с рассеянной улыбкой передал Наташе и Соне просьбу его невесты, чтобы они были у нее на свадьбе. Еще несколько мужчин входили и выходили в ложу Ростовых. Ложа Элен заполнилась и окружилась самыми знатными и умными мужчинами, и Наташа слышала из нее урывки утонченных разговоров.

Анатоль Курагин, который интересовал Наташу, насколько интересуется всякую женщину мужчина, имеющий репутацию повесы, стоял весь этот антракт впереди у рампы и, глядя на ложу Ростовых, говорил с Долоховым, и Наташа знала, что он говорил про нее.

В середине рядов Наташа заметила большую толстую фигуру с очками, которая сто-

яла, оглядывая наивно ложи. Это был Пьер. Встретившись глазами с Наташей, он кивнул ей, улыбаясь. И в это же время Наташа увидела, что по направлению к Пьеру шел Анатолий, как по кустам, по толпе, раздвигая ее перед собою. Анатолий подошел к Пьеру и стал что-то говорить, глядя на ложу Ростовых. «Наверное, пари держу, просит Пьера, чтобы представить его нам», — подумала Наташа. Но Наташа ошиблась. Анатолий вышел один из партера и опять вернулся только тогда, когда уже сели на места. Проходя мимо их ложи, Анатолий небрежно повернул прямо к ней свою красивую голову, и ей показалось, что он улыбнулся. Потом она слышала его голос в ложе сестры, что-то шептавший ей.

Во втором акте были картоны, изображающие какие-то монументы, и дыра в полотне, изображающая луну, а абажуры ламп подняли, и стали играть в басу трубы и контрабасы, и в черных мантиях стали ходить люди, и пришло много справа и слева, и стали опять махать руками, а в руках у них было что-то вроде кинжалов, потом прибежали еще какие-то люди и стали тащить девицу прочь, но

не утащили сразу, а она долго с ними пела, а потом уже ее утащили, и за кулисами ударили три раза в кастрюльку, и все очень этого испугались и стали на колени и опять пели очень хорошую молитву.

Во время этого действия Наташа, всякий раз как взглядывала в партер, видела Анатоля Курагина, перекинувшего руку через спинку кресла, смотревшего на нее; ей становилось неприятно и беспокойно от этого взгляда.

Как только кончился акт, Элен встала, повернулась к ложе Ростова, пальчиком в перчатке поманила к себе старого графа и, не обращая внимания на вошедших к ней в ложу, начала, любезно улыбаясь, говорить с ним.

— Да познакомьте же меня с вашими прелестными дочерьми, — говорила она, — весь город про них кричит, а я их не знаю.

Наташа, краснея, присела ей. Ей приятно было знакомство и похвала этой блестящей красавицы.

— Я теперь тоже хочу сделаться москвичкой. И как вам не грех зарыть такие перлы в деревне?

Элен по справедливости имела репутацию

обворожительной. Она могла говорить то, чего не думала, а в особенности лезть, совершенно просто и натурально.

— Нет, милый граф, вы мне позвольте заняться вашими дочерьми. Я теперь здесь ненадолго, и вы тоже. И я постараюсь повеселить ваших. — Графиня Алена Васильевна спросила о князе Андрее Болконском, тонко намекая этим, что она знала отношения его к ним, и попросила, чтобы ей лучше познакомиться, позволить одной из дочерей посидеть остальную часть спектакля в ее ложе, и Наташа перешла в ложу Элен.

В третьем акте был представлен дворец и картины, особенно дурно нарисованные, так дурно, как только бывает на театре, и царица и царь, которые оба очень дурно пели, пропели что-то по сторонам и сели на трон. Она была, тоже и он, в дурном платье, и очень грустны. Но они сели. Справа вышли мужчины с голыми ногами и женщины с голыми ногами и стали танцевать все вместе, кружиться, а потом скрипки заиграли, одна отошла на угол, поправила корсаж худыми руками и стала прыгать и скоро бить одна об одну тол-

СТЫМИ НОГАМИ.

В это время Наташа заметила, что Анатоль смотрел в трубку на нее и хлопал и кричал. Потом один мужчина стал в угол, заиграли громче в цимбалы и трубы, и один этот мужчина с голыми ногами стал прыгать очень высоко (мужчина этот был Dupont, получавший шестьдесят тысяч рублей серебром за это искусство), семенить ногами, и все стали хлопать и кричать, и мужчина стал глупо улыбаться и кланяться. Потом еще плясали другие, и потом опять один из царей закричал что-то под музыку, и стали петь. Но вдруг, само собой разумеется, сделалась буря, и все побежали и потащили опять кого-то.

Еще не успело все это кончиться, как вдруг в ложе пахнуло холодом, отворилась дверь, и в ложу вошел Пьер, и за ним, нагибаясь и стараясь не зацепить кого-нибудь, улыбаясь, вошел красивый Анатоль. Наташа была рада Пьеру и с той же радостной улыбкой обратилась к Курагину; когда Элен представила его, он подошел к Наташе, низко пригибая к ней свою надушенную голову и говоря, что он желал иметь удовольствие это еще с бала На-

рышкиных 1810 года.

Анатоль Курагин говорил просто, весело, и Наташу странно и приятно поразило, что не только ничего не было такого страшного в этом человеке, про которого так много рассказывали, но что, напротив, у него была самая наивно-веселая и добродушная улыбка.

Курагин рассказывал ей про карусель, который затевался в Москве, и просил ее принять в нем участие.

— Будет очень весело.

— Почему вы знаете?

— Пожалуйста, приезжайте, право, — говорил он.

Он говорил чрезвычайно легко и просто, видимо, и не думая о том, что выйдет из его речей. Он, не спуская улыбающихся глаз, смотрел на лицо, на шею, на руки Наташи. Ей было это очень весело, но тесно и жарко и тяжело становилось. Когда она не смотрела на него, она чувствовала, что он смотрит на ее плечи, и она наивно перехватывала его взгляд, чтоб он уж лучше смотрел на ее глаза. Но, глядя ему в глаза, она с страхом чувствовала, что между им и ею нет той преграды



стыдливости, которую всегда она чувствовала между собой и мужчинами. Она сама не знала, как через пять минут чувствовала себя страшно фамильярно близкою к этому человеку. Когда она отвертывалась, она боялась, как бы он сзади не взял ее за голую руку, не поцеловал бы ее в шею. Они говорили о самых простых вещах, а она чувствовала, что они близки, как она никогда не была с мужчиной. И что ей странно было, это то, что он не только не робел перед нею, не старался понять что-то, а, напротив, он, как будто лаская, ободрял ее. Наташа оглядывалась на Пьера и отца, как оглядывается ребенок, когда его няни хотят увезти, но они не смотрели на нее. В числе вопросов учтивости Наташа спросила у Анатоля, как ему нравится Москва. Наташа спросила и покраснела: ей постоянно казалось, что что-то неприличное она делает, говоря с ним. Анатолий улыбнулся.

— Сначала мне мало нравилось, потому что делают город приятным — женщины, хорошенькие женщины. Но теперь очень нравится, — сказал он, улыбаясь и глядя на нее. — Поедете на бал? Пожалуйста, по-

едем, — сказал он и, протянув руку к ее букету, понижая голос, сказал: — Дайте мне этот цветок. — Наташа не знала, что сказать, и отвернулась, как будто не слышала. Но только что она отвернулась, она с ужасом подумала, что он тут, сзади, и так близко от нее, что он теперь сконфужен, рассержен, что надобно поправить это, и не могла удержаться, чтобы не оглянуться. Он поднял отпавший листик и, улыбнувшись, взглянул на нее. Хотела или не хотела рассердиться Наташа, она сама не знала, она прямо в глаза взглянула ему, и его близость, и уверенность, и добродушная ласковость улыбки победили ее. Она улыбнулась тоже, так же как и он, глядя прямо в глаза ему. — «Боже мой, что я? Где я?» — думала она, но, глядя на него, она, покоряясь ему, улыбалась и чувствовала, что между ним и ею нет никакой преграды.

Опять поднялась занавесь, и он ушел. В третьем акте был какой-то черт, который пел, махая рукою, до тех пор, пока не выдвинули под ним доски и он не опустился туда, но Наташа ничего этого не слышала и не видела, она хотела и не могла не следить за каждым

движением Анатоля. Проходя мимо их бенуара, он улыбнулся, и она ответила ему улыбкой. Когда они выходили, Анатолий провожал их до кареты. Он посадил Наташу и пожал ее руку выше локтя.

«Боже мой! Что это такое? — думала Наташа весь этот вечер и на другой день утром, невольно вспомнила про Анатоля и про свободу, с которою он обращался с ней. — Этого я никогда не испытывала. Что это такое? Хочу и не могу не думать о нем. Может быть, это то самое, что называют внезапной любовью. Нет, я не люблю его, но всякую минуту вспоминаю, думаю о нем. Что это такое? Что такое этот страх, который я испытываю к нему?» Старой графине, ей одной, Наташа в состоянии была ночью в постели рассказать все, что она думала. Соня, она знала, с своим строгим и цельным взглядом на жизнь только ужаснулась бы ее признанию, и она не сказала ей.

### XIII

**В** Москве в этом 1811 году жили очень весело. Царями, руководителями холостой молодежи были Долохов и Анатолий Курагин. Князь Андрей не приехал. Старый князь уехал в деревню. Пьер боялся Наташи и не ездил к ним.

Долохов в нынешнем году только опять появился в Москве, из которой он пропал вскоре после того, как обыграл Ростова. Рассказывали, что в том году он обыграл еще купца, и когда купец объявил, очнувшись на другое утро, что он был опоен дурманом и платить не намерен, то Долохов, ничего не сказав купцу, кликнул людей, велел приготовить вексельной бумаги и селенок в пустую комнату и запер туда купца.

— Он так погостит у меня, может, вздумает подписать.

Рассказывали, что через три дня, во время которых купцу не давали пить, вексель был подписан и купец выпущен. Но купец подал жалобу и, несмотря на сильную защиту, которую успел найти Долохов, он был выслан из

Москвы и ему угрожали разжалованием, ежели он не вступит в службу. Рассказывали, что он поступил капитаном в финляндскую армию. В Финляндии их полк не был в деле, и он, как всегда, умевший быть в связи с людьми высшими себе по состоянию и положению, жил вместе с князем Иваном Болконским, двоюродным братом Андрея. Оба стояли у пастора, и оба влюбились в его дочь. Долохов, прикидываясь только влюбленным, давно уже был любовником пасторской дочери. Болконский, узнав это, стал упрекать Долохова. Долохов вызвал его и убил. В тот же вечер пасторская дочь с упреками и угрозами пришла к нему. Долохов был в припадке своей жестокости, он избил ее. Сразу начались два новые дела. И в это время Долохов пропал, так что в продолжение двух лет никто ничего о нем не слышал. Последнее известие, полученное от него, было письмо к матери, таинственно переданное ей одним из прислужников и помощников по игре Долохова во время его блестящей жизни в Москве. Письмо это было короткое, но страстно-нежное, как и все письма Долохова к матери и

как его отношение к ней с того самого времени, как он стал на ноги.

Марья Ивановна Долохова ездила по Москве, показывая всем это письмо и прося защиты и милости своему обожаемому Феде. Письмо это, писанное из Финляндии, было следующее:

*«Бесценный ангел-хранитель мой, матушка. Жестокая судьба не перестает преследовать меня. Роковые обстоятельства увлекают меня в бурный поток жизни. Я опять несчастен, опять сужусь. Богу истинному и справедливому известна правда. Я бежал. Но о себе я не думаю. Одно горе, мучающее меня, это Вы, мой ангел, мой голубчик; обнимаю Вас, бесценная, и умоляю не печалиться, жалеть себя для лучших дней. Я не пропаду. Я чувствую, что буду опять видеть ясные очи, любви полные, материнской любви, которая дороже света для меня, и лобзать Ваши руки. Божественная натура говорит во мне сильнее других голосов. Прощайте, ангел, посылаю, что могу, и молю об терпении. Обожающий Вас сын Ф.Долохов».*

При письме было 5000 денег.

Марья Ивановна Долохова обливала слезами это письмо, упрекала весь свет за несправедливость к ее благородному сыну, и Безухова за его жестокость, и Ростова за его клевету, и этого гадкого купчишку, который, подлый, проиграв благородному человеку, — пошел жаловаться, и чухонку эту наглуую, и жестокое правительство.

Два года прошло без всяких известий, наконец, в 1810-м году, осенью, в домик к Марье Ивановне явился в странном персидском одеянии красно-загорелый и обросший бородой человек, который бросился к ногам матери. Это был Долохов. Рассказывали, что он все это время был в Грузии у какого-то владетельного князя министром, что он воевал там с персиянами, имел свой гарем, убил кого-то, оказал какую-то услугу правительству и был возвращен в Россию. Несмотря на это прошедшее, которое не только не скрывал, но с особенным цинизмом любил рассказывать сам Долохов, он понемногу не только был принят во всем высшем московском обществе, но он поставил себя так, что как бы делал особен-

ную милость тому, к кому он приезжал. В лучших московских домах для него делали обеды и звали гостей на Долохова-персиянина. Очень много молодых людей сгорали желанием сблизиться с Долоховым и стыдились своего прошедшего, в котором не было таких историй, какие были у Долохова.

Никто не знал, чем он жил в Москве, но он жил очень богато. Он продолжал носить персидский костюм, который очень шел к нему, и дамы и девицы наперерыв кокетничали перед ним. Но Долохов в это свое последнее пребывание в Москве усвоил себе тон презрительного донжуанства. В Москве повторялся и известен был его ответ Жюли Корнаковой, которая, так же как и другие, особенно желала приручить этого медведя. Она спрашивала его на бале, отчего он не женится.

— Оттого, — отвечал Долохов, — что не верю ни одной женщине, а еще меньше девушке.

— Чем же бы могла доказать вам девушка свою любовь? — спросила Жюли.

— Очень просто: тем, чтобы отдаться мне до свадьбы, — тогда женюсь. — Хотите?



Долохов в этом году в первый раз пустил в моду хороших цыган, часто угощал ими своих приятелей и говаривал, что ни одна барыня московская не стоит пальца Матрешки.

Анатолий был другим блестящим молодым человеком этого сезона в Москве, хотя и в другом несколько обществе, но друг и приятель Долохова.

Анатолию было 28 лет. Он был в полном блеске своей силы и красоты. Во все эти пять лет, со времени 1805 года, за исключением времени, проведенного в Аустерлицком походе, пробыл в Петербурге, в Киеве, где он был адъютантом, и в Гатчине в кавалергардском полку. Он не только не искал службы, но всегда избегал ее, и, несмотря на то, он не переставая служил на видных, приятных местах, не требующих никаких занятий. Князь Василий считал одним из условий приличия для себя, чтобы сын его служил, и потому не успевал сын напортить себе в одном месте, как он уже назначался в другое. Анатолию казалось, что это было необходимое условие жизни, и он, поступая в адъютанты, делал вид, что ока-

зывает милость, поступая. Впрочем, он часто и этого вида не делал. Он был для этого слишком всегда здоров и добродушно весел.

На деньги точно так же смотрел Анатоль. Он был инстинктивно, всем существом своим убежден, что ему нельзя было жить иначе, как он жил, т. е. проживать около двадцати тысяч, что это было одно из естественных условий его жизни — как вода для утки. Отец жаловался, упрекал его, но давал, отрывая от себя и принужденный выпрашивать у государя. Анатоль тем более был убежден, что ему проживать двадцать тысяч неизбежно, что он чувствовал, он не имел никаких дурных страстей. Он был не игрок, не проматывался на женщин (он был так избалован женщинами, что не понимал, как можно им платить за то, чего они сами так желают), был не честолюбив (он сто раз дразнил отца, портя свою карьеру, и смеялся над всеми почестями). Он был не скуп, и не копил, напротив, везде он сорил деньгами и был кругом должен.

Но как же ему было не иметь двух камердинеров, не иметь скаковой лошади, ежели вздумывалось скакать на призы, как не

иметь экипажа, не иметь счетов у портных, парфюмеров и поставщиков эпалет и т. п. А главное, как же ему было не выпить бутылку с приятелем, не угостить обедом или ужином друзей. Кажется, он этим никому вреда не делал. Нельзя не послать букета и браслетку хорошенькой женщине в благодарность за ее внимание, расставаясь с нею. У кутил, у этих мужских магдалин, есть темное чувство сознания невинности, такое же, как и у магдалин женщин, основанное на той же надежде прощения. «Ей все простится, потому что она много любила. А ему все простится, потому что он веселился и никому вреда не делал». Так думают — или, скорее, в глубине души чувствуют — кутилы, и чувствовал Анатолий, несмотря на свою неспособность соображать. И Анатолий это чувствовал более другого, потому что он был вполне искренний кутила, все пожертвовавший для добродушного веселья. Он не был, как другие кутилы, даже как Васяка Денисов, для которых двери честолюбия и высшего света, богатства, счастья супружества закрыты, и потому утрирующие свой кутеж, не был как Долохов, помнящий всегда

выгоды и невыгоду, — он искренно знать не хотел ничего, кроме удовлетворения своих вкусов, из которых главный был женщины и веселье. Оттого он так твердо веровал в то, что о нем должны были кто-то другие заботиться, помещать его на места и что для него должны были быть всегда деньги. А оттого, что он так твердо веровал в это, оттого это действительно так было, как это и всегда бывает в жизни. Последнее время в Петербурге, в Гатчине, он задолжал так много, что кредиторы стали, несмотря на свою особенную терпимость с ним, надоедать ему. (Кредиторы перед тем бывали обезоружены его открытой, красивой рожей, с выпученной грудью фигурой, когда он говорил им, улыбаясь: «Ей-богу, нет, что делать».) Но теперь стали приставать. Он поехал к отцу и, улыбаясь, сказал: «Папа, надо уладить все это. Мне покоя не дают».

Отец погудел и вечером придумал:

— Поезжай ты в Москву, я напишу, тебе там дадут место, и живи у Пьера в доме, — тебе ничего стоять не будет.

Анатоль поехал и весело зажил в Москве,

сойдясь с Долоховым и вместе с ним заведя какое-то масонство донжуанства.

Пьер принял Анатоля сначала неохотно, по воспоминаниям о жене, которые возбуждал в нем вид Анатоля, но потом привык к нему, изредка ездил с ним на их кутежи к цыганам, давал ему денег займы и даже любил его. Нельзя было не полюбить этого человека, когда ближе узнавали его. Ни одной дурной страсти не было в нем — ни корыстолюбия, ни тщеславия, ни честолюбия, ни зависти, ни еще меньше ненависти к кому-нибудь. (Никогда ни про кого Анатолю не говорил дурно и не думал дурно.) «Чтоб не скучно было покуда», — вот все, что ему было нужно.

Его общество в Москве было другое, чем общество Долохова. Главный круг Анатоля был свет с балами и актрисы французские, особенно мадемуазель Жорж.

Он ездил и в свет, и танцевал на балах, и участвовал в карусели в рыцарских костюмах, которую устраивали тогда в высшем обществе, и даже на домашних театрах, но планы князя Василия о его женитьбе на богатой были далеки от осуществления. Приятней-

шие минуты для Анатоля в Москве были те, когда с бала или даже от Жорж, с которой он был очень близок, он приезжал или к Тальма, или к Долохову, или к себе, или к цыганам и, сняв мундир, принимался за дело: пить, и петь, и обнимать цыганку или актрису. Бал и светское общество в этом случае действовало на него, как возбуждение стеснения перед ночным разгулом. Сила и сносность его в перенесении этих бессонных и пьяных ночей удивляли всех его товарищей. Он после такой ночи ехал на обед в свет такой же свежий и красивый, как всегда.

В отношениях их с Долоховым была со стороны Анатоля наивная и чистая товарищеская дружба, насколько он был в состоянии испытывать это чувство, со стороны Долохова был расчет. Он держал при себе беспутного Анатоля Курагина и настраивал его так, как ему нужно было.

Ему нужно было чистое имя, знатность связей и репутация Курагина для своего общества, для игорных расчетов, так как он опять начинал играть, но нужнее всего ему было настраивать Анатоля и управлять им

так, как он хотел. Этот самый процесс — управление чужой волею — было наслаждением, привычкой и потребностью для Долохова. Только в редкие минуты своих припадков буйства и жестокости Долохов забывал себя, обычно он был самый холодный, расчетливый человек, любивший более всего презирать людей и заставляя их действовать по своей воле. Так он управлял Ростовым, так теперь, кроме многих других, управлял Анатолем, забавляясь этим иногда без всякой цели, как бы только набивая руку.

Наташа произвела сильное впечатление на Курагина, но он не думал, потому что не мог думать о том, что выйдет из его ухаживанья за Наташей.

Он не ездил в дом к тетушке Ростовых, у которой они гостили, во-первых, потому, что был незнаком с нею, во-вторых, потому, что старый граф, весьма чопорный в отношении девиц, считал неприличным звать такого известного повесу, в-третьих, потому, что Анатоль не любил ездить в дом, где барышни. На бале он был дома, но в тесном домашнем кружку ему было неловко.

На третий день после театра он приехал обедать к сестре, недавно приехавшей из Петербурга.

— Я влюблен. Схожу с ума от любви, — сказал он сестре. — Она прелесть, — говорил он. — Но они никуда не ездят. А что я к ним поеду? Нет, надо, чтобы вы устроили мне это. Позови их обедать или, я не знаю, вечер сделай.

Элен радостно-насмешливо слушала брата и дразнила его. Она искренне любила влюбленных и следить за процессом любви.

— Вот и попался, — говорила она. — Нет, я не позову. Они скучные.

— Скучные?! — с ужасом отвечал Анатоль. — Она такая прелесть. Это богиня!

Анатоль любил это выражение. За обедом Анатоль молчал и вздыхал, Элен смеялась над ним. Когда Пьер ушел из гостиной (Элен знала, что он не одобрит этого), она сказала брату, что готова сжалиться над ним и завтра у нее будет декламировать мадемуазель Жорж, будет вечер, и она позовет Ростовых.

— Только знай, чтоб без проказ, я беру ее на свою ответственность, и, говорят, она неве-



ста, — сказала Элен, которой именно и хотелось проказ со стороны брата.

— Ты — лучшая из женщин, — кричал Анатоль, целуя сестру в шею и плечи. — Какая ножка. Ты видела? Прелесть.

— Прелестна, прелестна, — говорила Элен, которая искренно любовалась Наташей и искренно желала повеселить ее.

На другой день серые рысаки Элен подвезли ее к дому Ростовых, и, свежая с мороза, сияющая улыбкой из соболей, поспешно и оживленно она вошла в гостиную.

— Нет, это ни на что не похоже, мой милый граф. Как, жить в Москве и никуда не ездить? Нет, я от вас не отстану: нынче вечером у меня мадемуазель Жорж, и, ежели вы не привезете своих красавиц, которые лучше Жорж, я вас знать не хочу. Непременно, непременно, в девятом часу.

Оставшись одна с Наташей, она успела сказать ей:

— Вчера брат обедал у меня. Мы помирали со смеха. Он ничего не ест и вздыхает по вас, моя прелесть. Он сходит с ума, но сходит с ума от любви к вам.

Наташа покраснела. «К чему она говорит мне это! — подумала она. — И что мне за дело до тех, кто вздыхает, когда у меня есть один, избранный».

Но Элен, как будто догадываясь о сомнениях Наташи, прибавила:

— Непременно приезжайте. Повеселитесь. Из-за того, что вы любите кого-то, моя прелесть (она так называла Наташу), никак не следует жить монашенкой. Даже если вы невеста, я уверена, что ваш жених предпочел бы, чтобы вы в его отсутствие выезжали в свет, чем погибали со скуки.

«Что же это: она знает, и она же говорит мне про любовь Анатоля? Они с мужем, с Пьером, говорили и смеялись про это. И она такая великосветская дама, такая милая и, как видно, всей душой любит меня». (Наташа не ошибалась в этом: Элен искренно нравилась Наташа.) «Они лучше знают, — думала Наташа. — Кто же кому может запретить влюбляться? И отчего же не повеселиться?»

## XIV

Освещенная гостиная дома Безуховых была полна. Анатолий был тут и, видно, у двери ожидал входа Наташи и тотчас же подошел к ней и не отходил от нее в продолжение всего вечера. Как только его увидела Наташа, опять то же чувство страха и отсутствия преград неприятно охватило ее. Мадемуазель Жорж надела красную шаль на одно плечо и, став на середине гостиной, строго и мрачно оглянула публику и начала монолог из Федры, где возвышая голос, где шепча и торжественно поднимая голову. Все шептали: «Восхитительно, божественно, чудесно».

Но Наташа ничего не слышала и не понимала и ничего не видела хорошего, кроме прекрасных рук Жорж, которые, однако, были слишком толсты. Почти позади всех сидела Наташа, а сзади нее сидел Анатолий, и она испуганно ждала чего-то. Изредка встречала она глаза Пьера, которые всегда были строго устремлены на нее, но всякий раз опускались, когда встречались с ее взглядом.

После первого монолога все общество вста-

ло и окружило мадемуазель Жорж, выражая ей свой восторг.

— Как она хороша! — сказала Наташа, чтобы сказать что-нибудь.

— Я не нахожу, глядя на вас, — сказал Анатоль. — И теперь она толста, а вы видели ее портрет?

— Нет, не видала.

— Хотите посмотреть, вот в этой комнате.

— Ах, посмотрите, — сказала Элен, проходя мимо них. — Анатоль, покажи графине.

Они встали и прошли в соседнюю картинную, Анатоль поднял тройной бронзовый подсвечник и осветил наклоненный портрет. Он стал рядом с Наташей, держа высоко одну руку с свечой, и наклонил голову, глядя в лицо Наташи. Наташа хотела смотреть на портрет, но ей совестно было притворяться, портрет не интересовал ее. Она опустила глаза, потом взглянула на Анатоля. «Я не смотрю, мне нечего смотреть на портрет», — сказал ее взгляд. Он, не опуская руки с подсвечником, левой рукой обнял Наташу и поцеловал в щеку. Наташа с ужасом вырвала свою руку. Она хотела сказать что-то, хотела сказать, что она

оскорблена, но не могла и не знала, что ей сказать. Она готова была плакать и, красная и дрожащая, поспешно пошла из комнаты.

— Одно слово, только одно. Ради бога, — говорил Анатоль, следуя за ней.

Она остановилась. Ей так нужно было, чтобы он сказал это слово, которое бы объяснило то, что случилось.

— Натали, одно слово, только одно, — все повторял он. Но в это время слышались шаги, и Пьер с Ильей Андреевичем и дамой шли тоже смотреть галерею.

В продолжение вечера Анатоль Курагин успел сказать Наташе, что он любит ее, но что он несчастный человек, потому что не может ездить к ним в дом (почему — он не сказал, и Наташа не спросила его). Он умолял ее приезжать к сестре, чтобы изредка хотя они могли видеться. — Наташа испуганно глядела на него и ничего не отвечала. Она сама не знала, что делалось в ней.

— Завтра, завтра я скажу вам.

После этого вечера Наташа не спала всю ночь и к утру решила в самой себе, что она никогда не любила князя Андрея, а любит од-

ного его и так и скажет всем, и отцу, и Соне, и князю Андрею.

Внутренняя психологическая работа, поддельвающая разумные причины под совершившиеся факты, привела ее к этому. «Ежели я могла после этого, прощаясь с ним, улыбкой ответить на его улыбку, ежели я могла допустить до этого, то только оттого, что он благороден, прекрасен, что я всегда, с первой минуты, любила его и никогда не любила князя Андрея». Но какой-то страх обхватывал ее при мысли о том, как она скажет это.

На другой день вечером она через девушку получила страстное письмо Анатоля, в котором он спрашивал ее ответа на вопрос: любит ли она его, жить ему или умереть, хочет ли она довериться ему, и тогда он завтра вечером будет ждать ее у заднего крыльца и увезет, чтобы тайно обвенчаться с нею, или нет, и тогда он не может жить более.

Все эти старые, выученные, списанные с романов слова показались ей новыми, только к одному ее случаю относящимися. Но как ни казалось ей все уже решенным в ее душе, она ничего не отвечала и сказала девушке, чтобы

она ничего никому не говорила.

Но прежде, прежде всего надо было написать князю Андрею. Она заперлась в своей комнате и стала писать.

«Вы были правы, когда говорили мне, что я могу разлюбить вас. Память о вас никогда не изгладится во мне. Но... я люблю другого, люблю Курагина, и он любит меня». Тут Наташа остановилась и стала думать. Нет, она не могла дописать этого письма, все это было глупо — не так. Долго она думала потом.

Мучительное сомнение, страх, тайна, которую она никому не решалась сказать, и бессонная ночь сломили ее, и она, как была одетая, упала на диван и заснула с письмом Анатоля в руках.

Соня, ничего не подозревавшая, вошла в комнату и, на цыпочках, кошачьи, подойдя к Наташе, вынула из ее рук письмо и прочла его.

Соня не верила своим глазам, читая это письмо. Она читала и взглядывала на Наташу спящую, как будто на лице ее отыскивая объяснения. И не находила его. Лицо было милое, кроткое. Схватившись за грудь, чтобы не за-

дохнутья, Соня тихо положила письмо, села и стала думать.

Графа не было дома, тетушка была богомольная старушка, которая не могла подать помощи. С Наташей говорить было страшно: Соня знала, что противоречие только утвердило бы ее в ее намерении. Бледная и вся дрожащая от страха и волнения, Соня на цыпочках ушла в свою комнату и залилась слезами. «Как я не видала ничего? Как могло это зайти так далеко? Да, это Анатолий Курагин. И зачем он не ездит в дом? Зачем эта тайна? Неужели он обманщик? Неужели она забыла князя Андрея?» И что ужаснее было всего, ежели он обманщик, что будет с Николаем, с милым, благородным Николаем, когда он узнает про это? «Так вот что значило ее взволнованное, решительное и неестественное лицо нынче, — думала Соня. — Но нечего предполагать, надо действовать, — думала Соня. — Но как, но что?»

Как женщине, и особенно ей с ее характером, Соне тотчас пришли в голову средства окольные — хитрости. Ждать, следить за нею, выпытать ее доверие и помешать в реши-



тельную минуту. «Но, может быть, действительно они любят друг друга. Какое я имею право мешать им? Послать сказать графу? Нет, граф не должен ничего знать. Бог знает, что с ним будет при этом известии. Написать Анатолю Курагину, потребовать от него честного, правдивого объяснения, но кто же велит ему приехать ко мне, ежели он обманщик. Обратиться к Пьеру, единственному человеку, которому бы я смогла доверить тайну Наташи? Но неловко, и что он сделает?» Но так или иначе Соня чувствовала, что теперь пришла та минута, когда она должна и может отплатить за все добро, сделанное ей семейством Ростовых, спасая их от несчастья, которое грозит им. Она радостно плакала при этой мысли и горько при той, что Наташа готовит себе такое несчастье.

После многих колебаний она остановилась на решении. Она вспомнила слова князя Андрея о том, к кому обратиться в случае несчастья, пришла назад в комнату, где спала Наташа, взяла письмо и написала от себя записку Безухову, в которую вложила начатое письмо Наташи. Она умоляла Пьера помочь ей и ее

кузине объяснить с Анатолом и узнать причину тайных сношений и его намерения.

Наташа проснулась и, не найдя письма, бросилась к Соне с тою решительностью и нежностью, которая бывает в минуты пробуждения.

— Ты взяла письмо?

— Да, — сказала Соня.

Наташа вопросительно посмотрела на Соню.

— Ах, Соня, я так счастлива, — говорила Наташа. — Я не могу скрывать больше. Ты знаешь, мы любим друг друга. Он сказал мне, Соня, голубушка. Он пишет...

Соня, как бы не веря своим ушам, смотрела во все глаза на Наташу.

— А Болконский? — сказала она.

— Ах, Соня, то было не любовь, я ошибалась. Ах, коли бы ты могла знать, как я счастлива. Как я люблю его.

— Но, Наташа, неужели ты можешь променять на него Болконского?

— Еще бы. Ты не знаешь, как он любит. Вот он пишет.

— Но, Наташа! Неужели то все кончено?

— Ах, ты ничего не понимаешь, — с радостной улыбкой сказала Наташа.

— Но, душенька, как же ты откажешь князю Андрею?

— Ах, боже мой! Разве я обещала? — с сердцем сказала Наташа.

— Но, душенька, голубчик, подумай. Что ты меняешь и на что? Любит ли этот тебя?

Наташа только презрительно улыбнулась.

— Но отчего же он не ездит в дом? Зачем эта тайна? Подумай, какой это человек.

— Ах, какая ты смешная. Он не может объявить всем теперь, он просил меня.

— Отчего?

Наташа смутилась; видно, ей самой пришел в первый раз в голову этот вопрос.

— Отчего? Отчего? Не хочет, я не знаю. Отец, верно. Но, Соня, ты не знаешь, что такое любовь...

Но Соня не подчинялась выражению счастья, которым сияло лицо ее друга, лицо Сони было испуганное, огорченное и решительное. Она строго продолжала спрашивать Наташу.

— Что ж может мешать ему объявить свою любовь и просить твоей руки у твоего отца, —

говорила она, — ежели ты разлюбила Болконского?

— Ах, не говори глупости! — перебила Наташа.

— Какой отец может мешать ему, чем наше семейство хуже его? Наташа, это неправда...

— Не говори глупости, ты ничего, ничего не понимаешь, — говорила Наташа, улыбаясь с таким видом, что она уверена была: ежели бы Соня могла говорить с ним так, как она говорила с ним, то она бы не делала таких глупых вопросов.

— Наташа, я не могу этого так оставить, — испуганно продолжала говорить Соня. — Я не допущу до этого, переговорю с ним.

— Что ты, что ты? Ради бога, — заслоня ей дорогу, как будто Соня сейчас могла это сделать, закричала Наташа. — Ты хочешь моего несчастья, ты хочешь, чтоб он уехал, чтоб он...

— Я скажу ему, что благородный человек... — начала Соня.

— Ну, я сама скажу, нынче вечером скажу, как это ни гадко будет с моей стороны, но я

все переговорю с ним, я все спрошу его. Он неблагородный человек? Кабы ты знала, — говорила Наташа.

— Нет, я не понимаю тебя, — сказала Соня, не обращая внимания на Наташу, которая вдруг заплакала.

Разговор их прервали, позвав обедать. После обеда Наташа стала спрашивать письмо у Сони.

— Наташа, сердись на меня или нет, но я написала графу Безухову и отослала ему письмо, просила его объяснить с ним.

— Как глупо, как гадко, — закричала сердито Наташа.

— Наташа, или он объявит свои намерения, или откажется...

Наташа зарыдала.

— Откажется. Да я жить не могу. А коли ты так, — закричала она, — я убегу из дома, хуже будет.

— Наташа, я не понимаю тебя, что ты говоришь. Ежели ты уже разлюбила князя Андрея, вспомни о Николае, что с ним будет, когда он узнает это.

— Мне никого не нужно, я никого не люб-

лю, кроме него. Как ты смеешь говорить, что он неблагороден? Ты разве не знаешь, что я его люблю? — кричала Наташа.

— Наташа, ты не любишь его, — говорила Соня, — когда любят, то делаются добры, а ты сердисься на всех, ты никого не жалеешь, ни князя Андрея, ни Николая.

— Нет, душенька, Сонечка, я всех люблю, мне всех жалко, — добрыми слезами плача теперь, говорила Наташа, — но я так люблю его, я так счастлива с ним, я не могу с ним расстаться.

— Но должно ж. Пускай он объявит. Вспомни отца, мать.

— Ах, не говори, молчи, ради бога, молчи.

— Наташа, ты хочешь погубить себя. Безухов тоже говорит, что он неблагородный человек.

— Зачем ты говорила с ним, никто не просил тебя. И ты не можешь понимать всего этого. Ты мой враг — навсегда.

— Наташа, ты погубишь себя.

— И погублю, погублю, поскорее погублю себя, чтобы вы не приставали ко мне. Мне дурно будет, так и оставьте меня, — и Наташа,

злая и плачущая, убежала к себе, схватила начатое письмо, прибавила: «Я влюблена, простите и простите меня», — и, отдав девушке, велела отнести на почту. Другое письмо она написала Анатолю, в котором умоляла его приехать за ней ночью и увезти ее, потому что она не может жить дома.

На другой день ни от Анатоля, ни от Пьера не было известий. Наташа не выходила из своей комнаты и говорила, что она больна. Вечеру этого дня приехал Пьер.

## XV

После первого своего свидания с Наташей в Москве Пьер почувствовал, что он не свободен и не спокоен с ней, и решил не ездить к ним. Но Элен привлекла к ним в дом Наташу, и Пьер с чуткостью влюбленного мучался, глядя на их отношения. Но какое право он имел вмешиваться в это дело? Тем более, что он чувствовал себя небеспристрастным в этом деле. Он решился не видеть никого из них.

Получив письмо Сони, как ни стыдно ему было признаться в том, первое чувство Пьера

было чувство радости. Радости, что князь Андрей не счастливее его. Чувство это было мгновенное, потом ему стало жалко Наташу, которая могла полюбить человека, столь презираемого Пьером, как Анатолий, потом ему стало непонятно это, потом страшно за Андрея и потом больше всего страшно за ответственность, которая на него самого ложилась в этом деле. Мгновенно как утешение ему пришла мрачная мысль о ничтожестве, кратковременности всего, и он старался презирать всех: но нет, этого нельзя было оставить. Измена Наташи Андрею мучила его, как измена ему самому, больше, чем его мучила измена своей жены. Так же, как при известии об измене своей жены, он испытал какое-то отталкивающее, но кроткое чувство к тому, для кого изменили, и озлобление к той, которая изменила. Он ненавидел Наташу. Но надо было на что-нибудь решиться; он велел закладывать и поехал искать Анатоля.

Пьер нашел его у цыган веселого, красивого, без сюртука, с цыганкой на коленях.

В низкой комнате пели и плясали, был крик и гам. Пьер подошел к Анатолю и вы-



звал его с собой.

— Я от Ростовых, — сказал Пьер.

Анатоль смутился и покраснел.

— Что, что? А?

Но Пьер был еще более смущен, чем Анатолий. Он не смотрел на него.

— Мой милый, — начал он, — вы знаете, что Андрей Болконский, мой друг, влюблен в эту молодую девушку. Я друг семьи и желал бы знать ваши намерения...

Пьер взглянул на Анатоля и был удивлен выражением волнения и смущения, показавшегося на лице Анатоля.

— Да что ты знаешь, что? — говорил Анатолий. — Ах, все это так глупо. Это меня Долохов сбил.

— Я знаю то, что ты позволил себе написать вот это письмо и что оно попало в домашним.

Анатоль схватился за письмо и вырвал его.

— Что сделано, то сделано, вот и все, — сказал он, багровея.

— Это хорошо, но мне поручено узнать о твоих намерениях.

— Ежели меня хотят заставить женить-

ся, — заговорил Анатолий, разрывая письмо, — то знай, что меня не заставят плясать под свою дудку, а она свободна, она мне сама сказала. И ежели она меня любит, тем хуже для Болконского.

Пьер тяжело вздохнул. У него уже поднялось его метафизическое сомнение в возможности справедливости и несправедливости, этот его свинтившийся винт, и потом он вместе так завидовал и так презирал Анатолия, что он постарался быть особенно кротким с ним. «Он прав, — подумал он, — виновата она, а он прав».

— Все-таки прямо отвечай мне, я за тем приехал, — шепотом, не поднимая глаз, сказал Пьер, — что мне сказать им, намерен ты просить ее руки?

— Разумеется, нет! — сказал Анатолий, тем более смелый, чем робче был Пьер.

Пьер встал и вышел в комнату, где были цыганы и гости. Пьера знали цыганы и знали его щедрость. Его стали величать. Илюшка проплясал, размахнулся и поднес ему гитару. Пьер положил ему денег и улыбнулся ему. Илюшка не виноват был и отлично плясал.

Пьер выпил вина, поданного ему, и побыл более часа в этой компании. «Он прав, она виновата», — думал он. И с этими мыслями он приехал к Ростовым.

Соня встретила его в зале и рассказала ему, что письмо написано. Старый граф жаловался на то, что с девками беда, что он не понимает, что с Наташей.

— Как же, папа, вы не понимаете, я вам говорила, — сказала Соня, оглядываясь на Пьера. — Курагин делал предложение. Но она отказала, и все это расстроило ее.

— Да, да, — подтвердил Пьер.

Поговорив несколько времени, граф уехал в клуб. Наташа не выходила из комнаты и не плакала, а сидела, молча устремив прямо глаза, и не ела, не спала, не говорила. Соня умоляла Пьера пойти к ней и переговорить с нею.

Пьер пошел к Наташе. Она была бледна и дрожала, поглядела на него сухо и не улыбнулась. Пьеру жалко стало ее, но он не знал, как и что начать говорить. Соня первая начала.

— Наташа, Петр Кириллович все знает, он пришел сказать тебе...

Наташа оглянулась любопытным взглядом

на Пьера, как бы спрашивая, друг он или враг по отношению к Анатолю. Сам по себе он не существовал для нее, Пьер это чувствовал. Увидав этот переменившийся взгляд и ее похудевшее лицо, Пьер понял, что Наташа не виновата, и понял, что она больная, и начал говорить.

— Наталья Ильинична, — сказал он, опустив глаза, — я сейчас виделся с ним и говорил с ним.

— Так он не уехал? — радостно вскричала Наташа.

— Нет, но это все равно для вас, потому что он не стоит вас. Он не может быть вашим мужем. И я знаю, вы не захотите сделать несчастье моего друга. Это была вспышка, минутное заблуждение, вы не могли любить дурного, ничтожного человека.

— Ради бога, не говорите мне про него дурно.

Пьер перебил ее.

— Наталья Ильинична, подумайте, счастье ваше и моего друга зависит от того, что вы решите. Еще не поздно.

Наташа усмехнулась ему: «Разве это может

быть, и разве я думаю о Болконском, как он хочет?»

— Наталья Ильинична, он ничтожный, дурной...

— Он лучше всех вас, — опять перебила Наташа. — Если бы вы не мешали нам! Ах, боже мой, что это, что это? Соня, за что? Уйдите! — и она зарыдала с таким отчаянием, с которым оплакивают люди только такое горе, которого они чувствуют сами себя причиной.

Пьер начал было говорить. Но она закричала:

— Уйдите, уйдите!

И тут только Пьеру всей душой стало жалко ее, и он понял, что она не виновата в том, что с ней сделали.

Пьер поехал в клуб. Никто ничего не знал, что делалось в душе Пьера и в доме Ростовых. Все сидели по своим местам, играли, приветствовали его. Но Пьер не читал, не говорил и даже не ужинал.

— Где Анатолий Васильевич? — спросил он у швейцара, когда вернулся домой.

— Не приезжали. Им письмо принесли от Ростовых. Оставили.

— Сказать мне, когда приедут.

— Слушаю-с.

До поздней ночи Пьер, не ложась, как лев в клетке, ходил в своей комнате. И он не видал, как прошло время до третьего часа, когда камердинер пришел сказать, что Анатолий Васильевич приехали. Пьер остановился, чтоб перевести дыхание, и пошел к нему. Анатолий, до половины раздетый, сидел на диване; лакей стаскивал с него сапоги, а он держал в руках письмо Наташи и, улыбаясь, читал его. Он был красен, как всегда после попойки, но тверд языком и ногами и только икал. «Да, он прав, он прав», — думал Пьер, глядя на него. Пьер подошел и сел подле него.

— Вели ему уйти, — сказал он на лакея.

Лакей ушел.

— Я опять о том, — сказал Пьер. — Я бы желал знать...

— Зачем ты вмешиваешься? — спросил Анатолий. — Я тебе не скажу и не покажу.

— Я сожалею, мой милый, — сказал Пьер, — но необходимо, чтобы ты отдал мне это письмо. Это первое. — Он вырвал письмо, узнал почерк, скомкал, положил в рот и стал

жевать.

Анатоль хотел возражать, но не успел этого сделать и, заметив состояние Пьера, замолк. Пьер не дал ему договорить:

— Я не употреблю насилия, не бойтесь.

Он встал и взял на столе щипцы и стал судорожно гнуть и ломать их.

— Второе, ты должен уехать в эту же ночь, — сказал он, жуя бумагу и ломая.

— Но послушай, — сказал Анатоль, но робко.

— Это очень неучтиво с моей стороны, но не отсюда, не из моего дома ты должен уехать, а из Москвы и нынче. Да, да. Третье, ты никогда ни слова не должен говорить о том, что было между тобой и этой несчастной... и не должен ей попадаться на глаза.

Анатоль, нахмурясь и опустив глаза, молчал. И взглянул робко на Пьера.

— Ты добрый, честный малый, — вдруг дрожащим голосом заговорил Пьер, отвечая на этот робкий взгляд. — Это должно. И я не стану говорить почему, но это должно, мой милый.

— Да отчего ты так? — сказал Анатоль.

— Отчего? — крикнул Пьер. — Отчего? Да кто она, девка, что ль? Это мерзость. Тебе забавляться, а тут несчастье дома. Я тебя прошу.

Не слова, но тон слов убедил Анатоля. Он робко взглядывал на Пьера.

— Да, да, — сказал он. — Я говорил Долохову. Это он подбил меня. Он хотел увезти ее. Я ему говорил, что потом...

— Мерзавец! — сказал Пьер. — Он... — и хотел что-то сказать еще, и замолчал, и начал сопеть носом, выкатившимися глазами уставясь на Анатоля. Анатолий знал его это состояние, знал его страшную физическую силу, отстранился от него.

— Она прелесть, но ежели ты так говоришь, то кончено.

Пьер все сопел, как надуваемая волынка, и молчал.

— Это так, ты прав, — говорил Анатолий. — Не будем об этом говорить. И знай, мой дорогой, что ни для кого, кроме как для тебя, я не сделал бы этой жертвы. Я еду.

— Даешь слово? — спросил Пьер.

— Даю слово.

Пьер вышел из комнаты и прислал с лаке-



ем денег Анатолию на дорогу.

На другой день Анатоль взял отпуск и уехал в Петербург.

# ЧАСТЬ ШЕСТАЯ

## I

В 1812 году весною князь Андрей был в Турции, в армии, в которую после Прозоровского и Каменского был назначен тот же Кутузов. Князь Андрей, много изменившийся в своих взглядах на службу, отклонился от штабных должностей, которые ему предлагал Кутузов, и поступил во фронт, в пехотный полк, командиром батальона. После первого дела он был произведен в полковники и назначен командующим полком. Он достиг того, чего желал, — деятельности, т. е. избавления от сознания праздности и вместе с тем уединения. Несмотря на то, что он считал себя много изменившимся с Аустерлицкого сражения и смерти жены, несмотря на то, что он и действительно много изменился с тех пор, он для других, для сослуживцев, подчиненных и даже начальников представлялся тем же гордым, неприступным человеком, как и прежде. Только с той разницей, что гордость

его теперь не была оскорбительна. Подчиненные и товарищи знали, что он человек честный, храбрый, правдивый и чем-то особенный — презирующий все одинаково.

Он был в полку уединеннее не только, чем в своей деревне, но чем мог бы быть в монастыре. Только один Петр, его камердинер, был человек, знавший его прошедшее, его горести; все остальные были солдаты, офицеры — люди, которых нынче встретил, с ними дерешься, но, вероятно, никогда не увидишься, выйдя из полка. Они так смотрят на вас, и сам так смотришь на них — без соображения прошедшего и будущего, и оттого особенно просто, дружелюбно, человечески. Притом полковой командир поставлен положением в уединение. Его любили, называли наш князь, любили не за то, что он был ровен, заботлив, храбр, но любили, главное, за то, что не стыдно было повиноваться ему. Он — наш князь — так очевидно стоял выше всех. Адъютант, квартирьер, батальонный командир, робея входили в его всегда изящно убранную, чистую палатку, где он, чистый, сухой, спокойный всегда, сидел в обыкновенном крес-

ле, и робели докладывать ему о нуждах полка, как бы боясь отвлечь его от его важных чтений или соображений. Они не знали, что чтения — это был Шиллер, а размышления — мечты любви и семейной жизни. Он хорошо управлял полком и именно оттого хорошо, что главные силы его были направлены на мечты и он отдавал службе только ничтожное, небрежное, механическое внимание. Не слишком много усердия, оттого и хорошо было, как и всегда бывает.

1812 года 18 мая штаб его полка стоял в Олтенице, на берегу Дуная. Военных действий не было. С утра осмотрев пришедший батальон, он поехал верхом кататься, как он всегда делал, и, проехав верст шесть, подъехал к молдаванской деревне Будшеты. Там был праздник. Народ, сытый, отпоенный вином, южный, все в новых посконных рубахах, сидел празднично. Девки водили хороводы, на него посмотрели и продолжали играть. Напев веселый, мелодический, манерный. Одна цыганка с стоячими грудями из-под посконной белой рубахи, рябая и счастливая. Цыган корявый, нарядный малый. Они смутились во-

енного, прижались. Он купил им орехов, — не взяли. Ему было весело. Он улыбался. Но грустно стало, что его боятся. Он был в том состоянии яркого наблюдения, которое было с ним на Аустерлицком поле, у Ростовых. Он въехал в лес. Молодая листва дубов. Тень и свет колыхали теплый, душистый воздух. Офицеры думали, что он осматривает позицию, а он не знал, что с ним делается. Он ото-слал провожатого и поскорее уезжал, чтобы никто не видал его. Ему хотелось плакать.

«Есть же, — думал он, — истина и любовь и путь верный и счастливый в жизни. Где он? где он?» Он слез с лошади, сел на траву и заплакал. «Лес теплый, душистый. Цыганка с грудями. Небо высокое, и сила жизни и любви, и Пьер, и человечество, — Наташа. Да, Наташа — я люблю ее сильнее всего в мире. Я люблю тишину, природу, мысль». И вдруг, хотя прежде он не знал, что с собою сделать, он заторопился, встал и поехал, веселый, счастливый, домой. Приехав домой, он сел и написал две бумаги, одну на почтовом, другую на простом листе. Одна была прошение об отставке, другая — письмо к графу Ростову, в ко-

тором он официально просил руки его дочери, с вложенной запиской к Наташе по-французски. «Я вас люблю, вы это знаете. Я не смел предложить вам до сих пор свое разбитое сердце, но любовь к вам так оживила его, что я чувствую в себе силы посвятить всю жизнь нашему счастью. Я жду вашего ответа».

Как то, так и другое решение было самопожертвованием в понятии князя Андрея. Бросить службу, когда он был представлен в генералы и ему предлагаемо было место дежурного генерала, когда его репутация в войске была прекрасна, — это было лишение и отречение от всего прошедшего, но тем больше наслаждения доставляла ему мысль, что он бросает все это — из-за чего? Из-за мысли, над которой, слушая ее от Пьера, он не раз смеялся, что война есть зло, в котором могут участвовать только тупые орудия, а не самостоятельно думающие люди. Для человечества он жертвовал этим. И все это было в нем, но вдруг выпросилось наружу под впечатлением цыганки, покупавшей орехи, и теплой, колышавшейся тени листвы: да будет так. Другое жертвование было вступлением в дразги

родства жизни. Ежели бы она, как цыганка, была тут, это не было бы самопожертвовани-ем.

Его ужасало будущее, но он твердо решил пройти через все. Через пошлость ее родных, через неудовольствие своего отца. Она представлялась ему плачущей и кокетничающей с Пьером. «Нет, я не могу, не могу жить без нее». И цыганка в посконной рубахе связывалась со всеми этими решениями.

У него обедали всегда несколько офицеров. Разговор шел о войне с французами. После обеда пришли пакеты. О ремонте фур.

О производствах.

— Поздравляю вас, господа.

— Это вам обязаны, ваше сиятельство.

— Ну, а вам, князь?

— В генералы и назначение.

— Что же, вы нас оставите? — стараясь быть грустным, сказал батальонный командир.

— Я все равно бы оставил, — сказал князь Андрей. — Потрудитесь отправить конверт. Извините. — Он стал читать письмо. В нем рассказывалась история падения Сперанско-

го и всех планов конституции и писалось о предстоящей войне 1812 года.

«Наполеон подходит к Неману, война неизбежна. Кто будет начальствовать? Но теперь не шутка. Не возьмут же Москву. Я не могу представить себе, что будет. Вы счастливы, что служите. А я ничего. Ростовых не видел, они в деревне. Я надеюсь еще».

Письмо это взволновало князя Андрея так, что он задохнулся. Неужели он не примет участия в этом деле, решающем участь отечества, и с кем, с этим маленьким поручиком? Нет, он станет выше этого. У него есть обязанности в отношении себя. Он поехал в Букарешт и на бале застал Кутузова, завязывающего башмачок молдаванке. Холодно распростился и поехал в отпуск — в отставку не выпускали.



Граф был в отчаянии, он выписал жену, и оба ходили за Наташей как за больной. Доктора ездили к ней, но прямо говорили, что болезнь нравственная. Наташа мало ела, мало спала и, ничего не делая, сидела на одном месте, изредка говоря ничтожные вещи. Когда ей напоминали о князе Андрее или Анатоле, она сердито плакала. Больше всех она любила быть с братом Петей и с ним иногда смеялась. Другой человек, с которым она оживлялась иногда, был Пьер. Пьер целые дни проводил у Ростовых и с нежностью и деликатностью, которые одна Наташа вполне ценила, обращался с ней.

На Страстной неделе Наташа говела, но она не хотела говеть со всеми в приходской церкви. Она с няней отпросилась говеть особенно в известной няне особенной церкви Успенья на Плоту. Там особенный был священник, очень строгой и высокой жизни, как говорила няня. Няня была верный человек, и потому Наташу пустили с нею. Каждую ночь няня в три часа со свечой будила разоспавшу-

юся Наташу. Она испуганно — не проспала ли — вскакивала, озябшая, умывалась, одевалась и, взяв ковровый платок, — «дух смиренного мудрия», вспоминала каждый раз Наташа, — узлом завязывала его вокруг себя. И в одну лошадку, на пошевнях, они ехали к заутрене, иногда шли пешком по темным улицам и обледенелым тротуарам. В Успенье на Плоту, где уже дьячки, и священники, и прихожане признали Наташу, она становилась перед иконой Божьей матери, вделанной в зад клироса, освещенной ярким светом маленьких свечей, и, вглядываясь в кривое, черное, но небесно-кроткое и спокойное лицо Божьей матери, молилась за себя, за свои грехи, за свои злодеяния, за свою будущую жизнь, за врагов своих и за весь род человеческий и особенно за человека, которому она сделала жестокое зло.

Иногда к иконе, перед которой стояла Наташа и которая пользовалась большою верою прихожан, проталкивались, несмотря на сердитую защиту няни, не имевшей смиренного мудрия Наташи, проталкивались мещане, мужики, низкого сословия народ и, не призна-

вая Наташу за барышню, били ее по плечу, покрытому ковровым платком, свечой и шептали «матушка», и Наташа радостно, смиренно своими тонкими похудевшими пальцами бережно устанавливала все отлепляющуюся свечу и скромно, как дворовые, прятала свои без перчаток руки под ковровый платок. Когда читали Часы, Наташа старательно вслушивалась в молитвы и старалась душою следить за ними. Когда она не понимала, что бывало чаще, когда речь шла о лядвиях и поругании, она что-то поддумывала под эти слова, и душа ее в эти минуты еще больше исполнялась умилением перед своею мерзостью и перед благостью неведомого Бога и его святых. Когда дьякон, знакомый ей как друг близкий, дьякон с русыми волосами, которые он, всякий раз далеко отставляя большой палец, выправлял из-под ризы, когда дьякон читал «миром господу помолимся», Наташа радовалась, что она миром, со всеми одинаково, молится, и радостно крестилась и кланялась и следила за каждым словом о плавающих и путешествующих (тут она вспоминала ясно, спокойно всякий раз о князе Андрее только

как о человеке, и молилась за него). О любящих и ненавидящих нас — тут она вспоминала о своих домашних — любящих, и об Анатоле — ненавидящих нас. Ей особенно радостно было молиться и за него. Она знала теперь, что он был враг ее.

И постоянно ей все недоставало врагов, чтобы молиться за них. Она причисляла к ним всех кредиторов и всех тех, которые имели дела с ее отцом. Потом, когда молились за царскую фамилию, она всякий раз преодолевала в себе чувство сомнения: зачем так много молиться за них особенно, и низко кланялась и крестилась, говоря себе, что это гордость и что и они люди. Так же усердно молилась она и за синод, говоря себе, что она также любит и жалеет священствующий правительствующий синод. Когда читали Евангелие, она радовалась и ликовала, произнося предшествующие чтению слова «слава Тебе, Господи», и считала себя счастливою, что она слышит эти слова, имеющие каждое для нее особое значение. Но когда отворялись царские двери и вокруг нее шептали набожно «Милосердия двери», или когда выходил свя-

щенник с дарами, или слышны были таинственные возгласы священника за царскими дверями и читали «Верую», Наташа наклоняла голову и радостно ужасалась перед величием и непостижимостью Бога, и слезы лились по ее похудевшим щекам. Она не пропускала ни заутрени, ни часов, ни всенощной. Она падала ниц при словах «Свет Христов просвещает всех» и с ужасом думала о том святотатце, который бы выглянул в это время и увидал, что делается над их головами. Она помногу раз в день просила «Бога, владыку живота ее» отнять у нее дух праздности... и дать ей дух... Она с ужасом следила за происходившими на ее глазах страданиями Христа. Страшная неделя, как говорила няня, страсти, плащаница, черные ризы — все это смутно, неясно отражалось в душе Наташи, но одно было ей ясно: «да будет воля Твоя». «Господи, возьми меня», — говорила она со слезами, когда путалась во всей сложности этих радостных впечатлений.

В среду она попросила мать пригласить Пьера, и в этот же день, запершись одна в комнате, написала письмо князю Андрею. По-

сле нескольких брьюльонов она остановилась на следующем: «Приготовляясь к высокому таинству исповеди и причащения, мне нужно просить у вас прощения за зло, которое я сделала вам. Я обещала никого не любить, кроме вас, но я так порочна была, что я полюбила другого и обманула вас. Ради бога, для этого дня, простите меня и забудьте недостойную вас». Это письмо она передала Пьеру и попросила его передать князю Андрею, который, она знала, был в Москве.

Она отпросилась у матери, удивлявшейся и боявшейся за религиозную страстность дочери исповедоваться не дома, а в той же церкви у отца Анисима в Успенье на Плоте. Там она за ширмочками у клироса и исповедовалась между кучером и купцом и его женою. Священник Анисим, усталый от тяжелой службы, ласково и небрежно взглянул на Наташу, покрыл ее епитрахилью и грустно выслушал ее с рыданиями вырвавшиеся признания. Он отпустил ее с коротким и простым увещанием не грешить, которое Наташа поняла так, как будто каждое слово это выходило с неба. Она пришла домой пешком и, в пер-

вый раз со дня театра спокойная и счастливая, заснула.

На другой день она счастливее пришла после причастья, и с тех пор графиня с радостью заметила, что Наташа стала оживать. Она принимала участие в делах жизни, пела иногда, много читала из книг, которые ей привозил Пьер, сделавшийся домашним человеком в доме Ростовых, но уже никогда к ней не возвращалась прежняя живость и веселость. Она постоянно перед всеми имела вид и тон виноватой, для которой все было слишком хорошо по ее преступлениям.

История Наташи с Анатолом сильно поразила Пьера. Кроме своей любви к Андрею, кроме больше чем дружбы к Наташе, кроме того странного стечения обстоятельств, которые заставляли его принимать постоянно участие в судьбе Наташи, и его участие в их сватовстве, его поразила мысль, что он был виною этого столкновения, что он не предвидел того, что сделает Анатолий. Но мог ли он это предвидеть? В его понятии Наташа была такое высокое, неземное существо, отдавшее свою любовь лучшему человеку в мире —

князю Андрею, а Анатолю — такое глупое, грубое, лживое животное.

Несколько дней после происшествия Пьер не был у Ростовых и усердно ездил в свет и особенно в сплетничье, т. е. самое большое общество. Там действительно с радостным сожалением говорили про Наташу, и Пьер со всей силой своего умения удивлялся тому, как могли выдумывать нелепости, не имевшие никакого основания, и спокойно рассказывал, как его шурин влюбился в Ростову и как ему было отказано. Когда он в первый раз приехал к Ростовым, он особенно был весел с родными и с Наташей. Он не замечал как будто заплаканных глаз и исхудавшего лица и остался обедать. За обедом он во всеуслышание, не глядя на Наташу, рассказал, как по всей Москве говорят о том, что Анатолю делал предложение Наташе и как она отказала ему, и Анатолю, убитый горем, уехал. Он не заметил, ни как пошла при этом кровь носом у Наташи, и она вышла из-за стола, ни как Соня умиленно, набожно за это смотрела на него. Он остался на вечер и приехал на другой день. И каждый день стал ездить к Ростовым.



С Наташей он был, как прежде, весел и шутилив, но с особенным оттенком робкой почтительности, которая бывает у нежных людей перед несчастьем. Наташа часто улыбалась ему сквозь слезы, которые, хотя глаза были сухи, как будто всегда были в ее глазах. Соня после Николая теперь больше всех в мире любила Пьера за добро, которое он делал ее другу, и потихоньку говорила ему это.

Он ничего не говорил с Наташей ни о Анатоле, ни о князе Андрее, он только много говорил с ней и стал привозить ей книги, между прочим любимую свою «Новую Элоизу», которую Наташа прочла с увлечением и стала судить о ней, говоря, что она не понимает, как Абеляр мог любить Элоизу.

— Я бы мог, — сказал Пьер (Наташе странно показалось, что Пьер говорит про себя как про мужчину, который тоже мог любить и страдать. Он для нее не имел пола). — Мы разговаривали с одним моим другом, и решили, что любовь женщины очищает все прошедшее, что прошедшее не его... — Он смотрел на Наташу через очки.

Соня нарочно отошла. Она ждала объясне-

ния и желала его.

Наташа вдруг заплакала.

— Петр Кириллович, — сказала она. — Зачем нам скрываться? Я знаю, про что вы говорите. Этого никогда, никогда не будет... не от него, а от меня. Я слишком его любила, чтобы заставить его страдать.

— Одно скажите мне, любили вы... — он не знал, как назвать Анатоля, и краснел при одной мысли о нем, — любили вы этого дурного человека...

— Да, — сказала Наташа, — и не называйте его дурным, вы меня оскорбляете. Но я ничего, ничего не знаю. Теперь, — она опять заплакала, — ничего не понимаю.

— Не будем говорить, мой друг, — сказал Пьер.

Так странен вдруг для Наташи показался этот его кроткий, нежный нянюшкин тон с ней.

— Не будем говорить, мой друг, но об одном прошу вас, считайте меня своим другом и, ежели вам нужна помощь, совет, просто нужно будет излить свою душу кому-нибудь — не теперь, а когда у вас ясно будет на

душе, — вспомните обо мне.

Он поцеловал ее руку и, достав платок из кармана фрака, стал протирать очки. Наташа была счастлива этой дружбой и приняла ее. Ей и в мысль не приходило, что Пьер тоже мужчина, что дружба эта могла перейти в другое. Это могло бы быть, но не с этим милым Пьером. Она верно это чувствовала за себя, но не знала, что делалось в душе Пьера. Она оттого так чувствовала это, что та нравственная преграда между мужчиной и женщиной, отсутствие которой она так болезненно чувствовала с Анатолом, у Пьера была, казалось, непреодолимой. Пьер ездил каждый день к Ростовым, особенно последнее время, так продолжалось до самой весны, когда на Страстной неделе он получил от Наташи письмо, написанное перед исповедью, с просьбой передать князю Андрею.

Князь Андрей приехал не к Пьеру, а остановился в гостинице и написал записку Пьеру, прося его приехать к себе.

Пьер нашел его таким же, как всегда. Он был несколько бледен и нахмурен. Он ходил взад и вперед по комнате, ожидая, видимо.

Он слабо улыбнулся, увидав Пьера, и поскорее перебил его, чтобы не дать ему говорить шуточно и легко, когда предстояло совсем не легкое и не шуточное объяснение. Он провел его в заднюю комнату и затворил дверь.

— Я бы не заехал сюда (он так назвал Москву), я еду к Кутузову, в турецкую армию, но мне нужно передать тебе объяснения здесь на это письмо. — Он показал Пьеру каракули Наташи на сером клочке бумаги (эти каракули дошли по назначению). Там было написано: «Вы мне сказали, что я свободна и чтоб написала вам, когда я полюблю. Я полюбила другого. Простите меня. Н.Ростова».

Видно было, что письмо это написано в минуту нравственной болезни, и лаконическая грубость его была тем извинительнее, но тем тяжелее.

— Прости меня, ежели я тебя утруждаю, но мне самому трудно, — голос его дрогнул. И как будто рассердившись на эту слабость, он решительно и звонко, неприятно продолжал: — Я получил отказ от графини Ростовой, и до меня дошли слухи о искании ее руки твоим шурином или тому подобное. Правда ли

это? — Он потер себе лоб рукою. — Вот ее письма и портрет.

Он достал его со стола и, передавая Пьеру, взглянул на него. Губа его задрожала, когда он передавал его.

— Отдай графине...

— Да... Нет... — сказал Пьер. — Вы беспокойны, Андрей, я не могу говорить теперь с вами, у меня есть письмо к вам, вот оно, но я должен сказать вам прежде...

— Ах, я очень спокоен, позволь мне прочесть письмо. — Он сел, прочел и холодно, зло, неприятно, как его отец, усмехнулся. — Я не знал, что это зашло так далеко, и г-н Анатолий Курагин не удостоил предложить своей руки графине Ростовой, — сказал Андрей. Он фыркнул носом несколько раз. — Ну, так, так, — сказал он. — Передай графине Ростовой, что я очень благодарю ее за хорошее воспоминание обо мне, что вполне разделяю ее чувства и желаю всего лучшего. Это неучтиво, но ты, милый друг, извини меня, я не смею пани... — он не договорил, отвернулся.

— Андрей, разве ты не можешь понять это увлечение девушки, это безумство? Но это та-

кое прелестное, честное существо.

Князь Андрей перебил его. Он усмехнулся зло.

— Да, опять просить ее руки? Простить, быть великодушным и т. п. Да, это очень благородно, но я не способен идти по следам... Ах да, еще в дружбу. Где теперь находится... г-н... Где этот... ну... -

И страшный свет блеснул в глазах князя Андрея. — Уйди, Пьер, уйди, я умоляю тебя.

Пьер послушался его и ушел, ему слишком тяжело было, и он видел, что не может помочь. Он вышел и велел ехать к Ростовым, сам не зная зачем, но он хотел только увидеть Наташу, ничего не сказать ей и вернуться, как будто вид ее мог научить его, что делать. Но он не застал Ростовых и вернулся к князю Андрею.

Болконский, совершенно спокойный, сидел за столом и один завтракал.

— Ну, садись, теперь поговорим толком, — сказал он.

Но, сам того не замечая, князь Андрей не мог говорить ни о чем и не давал говорить Пьеру. На все, про что только они ни начина-

ли говорить, у Андрея было короткое, насмешливое, безнадежное словечко, которое для Пьера, столь близкого к такому состоянию, уничтожало весь интерес жизни и показывало во всей наготе этот страшный, нераспутываемый узел жизни. Такие слова и мысли могли выработаться только в пропитанной ядом отчаяния душе, хотя они иногда были даже смешны.

Заговорив об отце, Андрей сказал:

— Что делать, он любит, за то и мучает княжну Марью, так, видно, надо — пауку заесть муху, а отцу заесть жизнь княжны Марьи. И она довольна. Она съест бога своего с вином и хлебом, сколько б ни унижал и ни мучил отец. Так надо, видно. — О себе он говорил тоже: — Стоило мне только надеть генеральские эполеты, и все воображают, что я генерал и что-нибудь понимаю, а я никуда не гожусь, хотя другие все-таки еще хуже меня. Да, все к лучшему в этом лучшем из миров. Так я буду иметь удовольствие встретить твоего милого шурина в Вильно? Это хорошо. И твою милую супругу, мой дорогой, ты в выгоде, право, хорошая жена жила бы с тобою. Это

еще хуже. Ну, так, и прощай. Или ты посидишь? — сказал он, вставая, и пошел одеваться. Пьер ничего не мог придумать. Ему было едва ли не тяжелее своего друга. Он хотя никак не ждал, чтоб князь Андрей так больно принял это дело, но, увидав, как он его принял, Пьер не удивлялся.

«Однако я виноват, и во всем, во всем, я не должен этого так оставить», — думал он, вспоминая, каким легким представлял он себе примирение и как теперь оно казалось ему невозможно. «Однако, надо сделать все, что я хотел». Он вспомнил приготовленную наперед речь и пошел говорить ее князю Андрею, как бы она ни была некстати. Он вошел к князю Андрею. Болконский сидел и читал какое-то письмо, лакей укладывался на полу. Болконский сердито посмотрел на Пьера. Но Пьер решительно начал то, что хотел.

— Помните вы наш спор в Петербурге, — сказал он, — помните о «Новой Элоизе»?

— Помню, — поспешно ответил князь Андрей. — Я говорил, что падшую женщину надо простить, я говорил это, но я не говорил, что я могу простить. Я не могу.



— Андрей, — сказал Пьер.

Князь Андрей перебил его:

— Ежели ты хочешь быть моим другом, не говори со мной никогда про эту... про все это. Ну, прощай. Готово? — крикнул он на лакея.

— Никак нет-с.

— А я тебе сказал, чтоб было готово, мерзавец. Вон. — Прощай, Пьер, прости меня, — тотчас же после этого обратился он к Безухову, обнял, поцеловал. — Прости, прости... — И он выпроводил Пьера до передней.

Больше Пьер не видал его и не говорил Ростовым о своем свидании с ним.

Ростовы в эту весну из-за неулаживавшейся продажи дома все думали ехать и не уезжали из Москвы. Пьер тоже жил в Москве, каждый день бывая у Ростовых.

*«Государь брат мой! — писал весною 1812 года император Наполеон императору Александру. — Граф де Норбонн передал мне письмо вашего величества. Вижу с удовольствием, что вашему величеству памятни Тильзит и Эрфурт...»*

*«Государь брат мой! — писал Александр 12 июня, после того как войска Наполеона перешли Неман. — До меня дошло, что, несмотря на прямодушие... Ежели ваше величество не расположены проливать кровь наших подданных из-за подобного недоразумения... соглашение между нами будет возможно.*

*Ваше величество еще имеет возможность избавить человечество от бедствий новой войны».*

Таковы были два последние письма, два последние выражения отношений между этими двумя лицами.

Но, видно, несмотря на два раза вызывае-

мые Наполеоном в письме воспоминания Тильзита и Эрфурта, несмотря на подразумеваемое обещание, что он останется таким же обворожительным, каким он был в Тильзите и Эрфурте, несмотря на это желание сквозь все сложные международные и дипломатические тонкости отношений проникнуть к самому сердцу, к личным дорогим воспоминаниям о дружбе с Александром (как прежде любимая женщина говорит, усмиряя ожесточенного, охладевшего любовника: «А помнишь первую минуту признания, а помнишь минуту самозабвения — эту ночь при лунном свете»), несмотря на все это, видно, то, что имело совершиться, должно было совершиться, и Наполеон вступил в пределы России, т. е. должен был поступить, как он поступил, так же неизбежно, как падает с ветки созревшее яблоко.

Обыкновенно думают, что чем больше власти, тем больше свободы. Историки, описывая мировые события, говорят, что такое-то событие произошло от воли человека — Кесаря, Наполеона, Бисмарка и т. п., хотя сказать, что в России погибло 100 000 людей, убивая один

другого, потому что так хотел один или два человека, так же бессмысленно, как сказать, что подкопанная гора в миллион пудов упала потому, что последний работник Иван ударил под нее лопатой. Наполеон не привел в Россию Европы, но люди Европы привели его за собой, заставив его управлять собою. Для того, чтобы убедиться в этом, стоит просто подумать о том, что приписывают этому человеку власть заставить 100 000 людей убивать друг друга и умирать. Понятно, что может быть зоологический человеческий закон, подобный зоологическому закону пчел, заставляющему их убивать друг друга и самцов убивать один другого, и даже история подтверждает существование этого закона, но чтобы один человек велел убивать друг друга миллионам, — это не имеет смысла, потому что непонятно и невозможно. Отчего мы не говорим, что Аттила повел свои полчища, а уже понимаем, что это народы пошли с востока на запад. Но в новой истории мы еще не хотим понимать этого. Нам все еще кажется, что пруссаки победили австрийцев, потому что Бисмарк очень остроумен и ловок, тогда как все остро-

умие Бисмарка только подделывалось под историческое, неизбежно имевшее совершиться событие.

Этот обман наш происходит от двух причин: во-первых, от психологического свойства подделывания задним числом умственных причин тому, что неизбежно совершается, как мы подделываем сновидение в прошедшем под факт, совершившийся в минуту пробуждения, и, во-вторых, по закону совпадения бесчисленного количества причин в каждом стихийном событии; по тому закону, по которому каждая муха может справедливо считать себя центром и свои потребности целью всего мироздания, по тому закону, по которому человеку кажется, что лисица хвостом обманывает собак, а он только работает рычагом для поворота. Фатализм в истории столь же разумен, как неразумен в отдельном человеке. Недаром слово Соломона — сердце царевы в руке Божией — сделалось пословицей. Царь есть раб истории, стихийного события, и у него произвола менее, чем у других людей. Чем больше власти, чем больше связи с другими людьми, тем меньше произвола.

Есть действия произвольные, относящиеся к стихийной жизни человека, и есть действия произвольные, что бы ни говорили физиологи и как бы точно не исследовали нервы.

Один неотразимый аргумент против них есть тот, что сейчас я могу поднять и могу не поднять руку. Я могу продолжать писать и остановиться. Это несомненно. Но могу ли я в море знать, что я скажу, могу ли я на войне знать, что я сделаю, могу ли в столкновении с каким бы то ни было другим человеком, в таком действии, где вообще субъект моей деятельности не я сам, могу ли я знать, что я сделаю? Нет, не могу. Там действую я по стихийным, произвольным законам человечества. И чем больше власти, чем больше связи с другими людьми, тем меньше свободы. Действуя над самим собой, ученый, художник, мыслитель — свободен, действуя над людьми, полководец, царь, министр, муж, отец не свободен, подлечит стихийным законам и, подчиняясь им, с помощью воображения и ума бессознательно подделывает свою свободу и из бесчисленных совпадающих причин каждого стихийного явления выбирает те, которые

ему кажутся оправдывающими его свободу. В этом состоит все недоразумение.

Император Наполеон, несмотря на то, что ему, более чем когда-нибудь, теперь казалось, что от него зависело проливать или не проливать кровь своих народов, никогда более как теперь не подлежал тем неизбежным законам, которые заставляли его (полагая, что он действует по своему произволу) делать то, что должно было совершиться. Он не мог остановиться, не мог поступать иначе. Бесчисленные сложные исторические причины вели к тому, что должно было совершиться, а он был их вывеской, он, как лошадь в колесе, думал, что он бежит вперед для своих целей, двигая механизм, приделанный к колесу лошади. Войска, громадные и собранные в один центр, были собраны по стихийным, произвольным причинам. Этой силе нужна была деятельность. Первым предлогом, естественно представлявшимся, была Россия, и по закону совпадения причин подделались сами собою тысяча мелких причин, укоры за несоблюдение континентальной системы, герцог Ольденбургский, минута желчного настрое-

ния во время выхода, когда Наполеон сам не зная что наговорил Куракину, русскому послу в Париже. Потом двинулись войска в Пруссию, чтоб поддержать угрозу. Чтобы угроза была не шуточная, нужно было сделать и серьезные приготовления. Делая серьезные приготовления, тот, кто их делал, увлекался ими. Когда много их было сделано, был ложный стыд, чтобы они не пропали даром, — была потребность приложить их к делу. Были переговоры, которые, по взгляду современников, были делаемы с искренним желанием, направлены к достижению мира и которые только уязвляли самолюбие той и другой стороны и делали неизбежным столкновение. Не воля Александра, не воля Наполеона, еще менее воля народов, еще менее континентальная система, герцог Ольденбургский или интриги Англии, но бесчисленное количество совпадающих обстоятельств, из которых каждое могло быть названо причиной, вело к тому, что должно было быть, к войне, крови, к тому, что противно самому человечеству и потому не может происходить по его воле.

Когда созрело яблоко и падает, отчего оно



падает? Оттого ли, что тяготеет к земле, оттого ли, что засыхает стержень, оттого ли что сушится солнцем, что тяжелеет, что ветер трясет его, оттого ли, что стоящему внизу мальчику хочется съесть его? Ничто не причина. Все это только совпадение тех условий, при которых совершается жизненное органическое стихийное событие. И тот ботаник, который найдет, что яблоко падает оттого, что клетчатка... и т. п., будет так же прав и так же неправ, как и ребенок, стоящий внизу, скажет, что оно упало оттого, что ему хотелось съесть его. Как прав и неправ будет тот, который скажет, что Наполеон пошел в Москву, потому что он захотел этого, и оттого погиб, что Александр захотел этого.

В исторических событиях великие люди суть ярлыки, дающие наименование событию, но которые, так же как ярлыки, менее всего имеют связи с самым событием.

## IV

**11** июня в одиннадцать часов утра польский полковник Поговский, стоявший с полком улан у Немана, увидел скачущую прямо к нему коляску на шести взмыленных лошадях, сопровождаемую императорской свитой. В коляске сидел император Наполеон, в своей шляпе и мундире старой гвардии, и говорил с Бертье. Поговский никогда не видал императора, но тотчас узнал его и собрал свою команду для отдания чести.

Наполеон находился в это утро в том же состоянии, в котором он был в памятное утро Аустерлицкого сражения. Он был в том утреннем, свежем, ясном состоянии, в котором все трудное делается естественно легким и именно потому, что человек верит в себя, что он все может сделать, больше чем верит, — ни на минуту не сомневается и делает, как будто какая-то внешняя, не зависящая от него сила заставляет его действовать. Наполеон с утра находился в этом состоянии, еще более усиленном 15-верстной прогулкой на быстрых лошадях, мягких рессорах, по прекрасной до-

роге между покрытою ночным дождем зеленью, в трубку поднимающейся ржи и во всем блеске июня распутившейся зелени лесов.

Он выехал, как он думал, для того, чтобы осмотреть места для переправы на Немане. Он еще не решил в своем уме вопрос о том, перейдет ли он теперь Неман или подождет на нем ответа Лористона, но, в сущности, он поехал потому, что он в это утро был неизбежным исполнителем воли Провидения. Утро было прекрасное, он находился в том утреннем аустерлицком состоянии, в котором ему неизбежно нужно было предпринять что-нибудь, его веселила мысль, что он, несмотря на все свое величие, несмотря на последнее дрезденское пребывание, во время которого короли и императоры составляли его дожидющийся выхода двор, — он, сделавший милость Австрийскому дому, вступив в брак с его принцессой, — он, несмотря на это, сам едет осмотреть место переправы и отдать нужные приказания.

Поздоровавшись с польскими уланами, он, не опуская глаз с делавшего в этом месте крутого изгиба Немана, вышел из коляски и мах-

нул рукой к себе офицеров. Несколько генералов и офицеров подбежали к нему. Сухоржевский был одним из первых, и Наполеон обратился к нему с вопросами о дорогах к Неману и о расположении аванпостов. Не дослушав еще конца речей Сухоржевского, Наполеон, отпустив от глаз зрительную трубу, в которую он смотрел, сказал Бертье, что он намерен сам осмотреть Неман. Бертье поспешно спросил офицеров, не представляет ли такая рекогносцировка опасности для императора от казаков, и на утвердительный ответ доложил императору, что его особа и шляпа слишком известны всему миру и что было бы неблагоприятно ему выехать под выстрелы казаков. Наполеон оглянулся на офицеров, отыскивая между ними человека своего роста. Сознание своего небольшого роста всегда было неприятно Наполеону, и большой рост смущал его. Но это было счастливое утро, как оно всегда бывает счастливо для людей, находящихся в счастливом расположении духа. Или офицеры случились небольшого роста, или Наполеон заметил только малорослых, он сказал с улыбкой, что наденет польский

мундир.

Несколько офицеров подходящего роста поторопились скинуть свои мундиры, в том числе и Сухоржевский. Но он еще не успел открыть плечи, как строгий взгляд одного из свиты Наполеона остановил его. Наполеон, как Парис с яблоком, избирающий красавицу, не улыбаясь, оглянул раздевшихся офицеров и потому ли, что полковник Поговский был старше чином или что открывшееся из-под снятых мундиров белье было чище всех на Поговском, император выбрал его и, сняв свой серый сюртук с лентой, который тотчас же был подхвачен как реликвия, надел сюртук и фуражку Поговского. Бертье позади тоже поспешно наряжался в польского улана и отдавал приказание, чтобы императору была выбрана посмирнее верховая лошадь, так как Бонапарт был несмелый и нетвердый ездок. В сопровождении Бертье и майора Сухоржевского Наполеон верхом поехал к деревне Алексотен и оттуда к Неману, за которым вдалеке видны были русские казаки.

Увидав тот Неман, на котором был пять лет тому назад Тильзитский мир и, главное,

тот Неман, за которым начиналось то таинственно громадное скифское государство, подобное тому, в которое ходил Александр Македонский, за которым был этот Александр, дерзко требовавший отступления французских войск из Померании, тогда когда вся Европа преклонялась перед ним, владыкой Франции, за которым был этот азиатский город Москва с ее бесчисленными церквами и китайскими пагодами, увидав этот Неман, это прекрасное небо, далеко открывающие зелень поля, скрывающиеся там, надев раз польский мундир и сам выехав под выстрелы русских аванпостов, — он уже не мог не решить в своем уме, что завтра он наступает. Возвращаясь назад верхом к селению Ногаришки, Сухоржевский, ехавший сзади, слышал, как великий человек фальшивым голосом запел: «Мальбрук в поход собрался...» — и видел блестящий, светлый, веселый взгляд, который безучастно и безразлично останавливался на всем и говорил о счастливом легком состоянии в эту минуту великого человека. В Ногаришки послано вперед приказание перевести в них главную квартиру, и там про-

диктована Наполеоном диспозиция перехода через Неман и наступления. Кроме того, в Ногаришках же были в первый раз представлены императору Наполеону образцы выделанных на сто миллионов рублей фальшивых русских ассигнаций, сличены с настоящими и одобрены императором, и представлен к подписанию приговор расстреляния польского сержанта, сказавшего дерзость французскому генералу.

## V

Русский император с двором уже около месяца жил в Вильно, где была и главная квартира русской армии. После многих балов и праздников у польских магнатов, у придворных и у самого государя в июне месяце одному из польских генерал-адъютантов государя пришла мысль дать обед и бал государю от лица его генерал-адъютантов. Мысль эта была принята всеми. Государь изъявил согласие, генерал-адъютанты собрали по подписке деньги, особа, которая наиболее могла быть приятна государю, была приглашена быть хозяйкой бала. Бенигсен предложил

свой загородный дом, и 11 июня был назначен обед, бал, катанье на лодках и фейерверк. В тот самый день, как Наполеоном был отдан приказ к переходу через Неман, и передовые войска, оттеснив казаков, перешли через Неман, государь проводил вечер на даче Бенигсена, на бале, даваемом генерал-адъютантами.

Вечером, на другой день, был веселый блестящий праздник с графиней Лович. Было особенно весело и оживленно.

В числе польских красавиц графиня Безухова не уронила репутации русских красавиц и была замечена. Борис Друбецкой, через Элен Безухову получив приглашение, был тоже на этом бале.

В двенадцатом часу ночи еще танцевали. Государь, прохаживаясь перед танцующими, осчастливливал то тех, то других теми ласковыми словами, которые он один только умел говорить. Борис, как и все на бале, удостоенном императорским присутствием, душою все время стремился к государю и был при нем, хотя и танцевал и говорил с дамами. При начале мазурки он видел, что Балашов подо-



шел к государю, говорившему что-то польской даме, и остановился — непридворно остановился подле государя. Это что-нибудь значило. Государь взглянул вопросительно и понял, что Балашов поступил так только потому, что на то были важные причины, что ему нужно было говорить с государем. Поклонившись даме слегка в знак, что аудиенция кончена, государь обратился к Балашову и, взяв его под руку пошел с ним, бессознательно для себя расчищая с обеих сторон сажени на три широкую дорогу сторонившихся перед ним. Борис посмотрел на грубое и подло преданное лицо Аракчеева, который, заметив разговор государя с Балашовым, тянулся из толпы, но не смел подойти ближе. Борис, как и большинство порядочных людей, чувствовал инстинктивную антипатию к Аракчееву, но милость к нему государя заставляла его сомневаться в справедливости своих чувств. Балашов что-то с весьма серьезным лицом говорил государю. Государь быстро выпрямился, как человек оскорбленный и удивленный, и продолжал ласково и спокойно слушать. Борис, несмотря на ясное сознание, что то, что

говорилося, было очень важно, несмотря на страстное желание узнать в чем дело, поняв, что, ежели граф Аракчеев не смеет подвинуться ближе, ему и думать нечего, отошел в сторону. Совершенно неожиданно государь с Балашовым направились прямо к нему (он стоял у выходной двери в сад). Он не успел отодвинуться и слышал следующие слова государя, говорившего с волнением лично оскорбленного человека:

— Я помирюсь только тогда, когда ни одного вооруженного неприятеля не останется на моей земле.

При этих словах государь, заметив Бориса, взглянул на него гордо, решительно, и, как показалось Борису, государю приятно было высказать эти слова, — он был доволен формой выражения своей мысли и был доволен даже, что Борис восторженно и почтительно услышал его.

— Чтоб никто ничего не знал, — прибавил государь (Борис понял, что это относилось к нему).

И государь прошел.

Известие, сообщенное Балашовым на бале

государю, было без объявления войны переход Наполеона со всей армией через Неман, в одном переходе от Вильно. Неожиданное известие это было особенно неожиданно после месяца несбывающегося ожидания и на бале. Государь был в первую минуту возмущен и взволнован этим известием и нашел под влиянием этого минутного чувства то, потом сделавшееся знаменитым изречение, которое самому понравилось ему, выражая вполне его чувства. Возвратившись домой с бала, государь в два часа ночи послал за секретарем Шишковым и велел написать петербургскому военному губернатору и войскам, в котором он непременно требовал, чтобы были помещены слова о том, что он не помирится, пока хоть один вооруженный неприятель останется на русской земле.

На другой день было написано то письмо, начинающееся словами «Государь брат мой», которое выписано в начале предыдущей главы, и послан Балашов к Наполеону с последней попыткой примирения. На другой день новость, привезенная Балашовым, была известна всем. Императорская квартира пере-

ехала на станцию назад, в Свенцяны, и все войска отступали.

## VI

Отправляя Балашова, государь вновь повторил ему слова о том, что он не помирится до тех пор, пока останется хоть один вооруженный неприятель на русской земле, и приказал непременно передать их Наполеону, хотя, вероятно, именно потому, что государь чувствовал с своим тактом, что слова эти неудобны для передачи в ту минуту, когда делается последняя попытка примирения, именно потому он не написал их в письме и именно потому приказал Балашову передать их, т. е. чувствовал личную потребность выразить их.

Выехав ночью, Балашов к рассвету приехал на аванпосты и был остановлен французскими кавалерийскими часовыми. Гусары-солдаты в малиновых мундирах не пропустили его, не сделали ему чести, непочтительно, как и должно было быть, утрюмо в его присутствии переговаривались между собою и послали к офицеру. Необычайно странно

было Балашову, привыкшему издавна по своей службе к почестям, и после той близости к высшей власти и могуществу — разговора три часа тому назад с государем — видеть тут, на русской земле, это враждебное и, главное, непочтительное отношение к себе. Но, естественно, приходила мысль о ничтожестве этих людей, о том, что, несмотря на то, что они, кажется, такие же люди, как он, с руками, с ногами, с воспоминаниями, с мыслями, несмотря на то, что они грубой силой своей преграждают ему путь, — они относятся к нему, как относится зернышко молотого хлеба к одному из главных колес мельницы. Он не смотрел даже на них, в то время как ожидал в цепи. Он ожидал недолго. Французский гусарский полковник Юльнер выехал к нему на красивой, сытой, серой лошади с видом довольства и исправности, который был и на его солдатах, находившихся в цепи. Это было то первое время кампании, когда войска еще находятся в исправности, почти равной смотровой мирной деятельности, только с оттенком неформенной воинственности и с нравственным оттенком того веселья и раздра-

женности, предприимчивости, которые всегда сопутствуют началу кампании. Войска чистятся, щеголяют, как будто не зная того, что очень скоро они не только не будут успевать расчесывать хвосты лошадям, но и свои собственные волосы, как будто не знают, что скоро не только не будет веселья, но будет страх, ужас, страдания и смерть.

Полковник Юльнер был сдержанно и достойно учтив, видимо, понимая все значение посылки Балашова. Он провел его мимо своих солдат и с приятной улыбкой вступил с ним в разговор.

Не проехали они ста шагов, как навстречу им показался едущий король неаполитанский, тот самый Мюрат, который так бойко, один взял Венский мост и который за все свои услуги Наполеону теперь уже давно был королем Неаполитанского королевства. Когда Юльнер, указывая на блестящую группу, впереди которой ехал в красной мантии, облитой золотом и дорогими камнями, Мюрат, сказал, что это — неаполитанский король, Балашов, в знак согласия и уважения, слегка наклонил голову и поехал навстречу Мюрату,

который был теперь король, величавее и представительнее, чем он был в 1805 году на Венском мосту, где они с Бельяром эскамотировали другую половину Вены. Это был уже тот Мюрат, который назывался неаполитанским королем, во что все совершенно искренне верили. Это был тот Мюрат, который накануне того дня, когда, по требованию Наполеона присоединиться к его армии, он выезжал из Неаполя, прохаживался под руку с своей супругой и придворными по улицам Неаполя; и когда два пирожника-итальянца вскочили от своих мест и прокричали для того, чтобы развлечься от скучных занятий дня: «Да здравствует король!» — Мюрат с грустной улыбкой, которая тотчас же, как и всякая царская улыбка, отразилась на лицах придворных, сказал:

— Несчастные! Мне их жаль... Они не знают, что завтра я их покидаю.

Он, как немного разъевшийся, но все готовый на службу старый конь, ехал на арабском жеребце, разукрашенный золотом и драгоценными камнями, веселый, сияющий, оживленный прежним привычным делом

войны, подъехал навстречу Балашову, при-  
тронулся рукой к своей обшитой золотом и с  
страусовыми перьями шляпе и весело при-  
ветствовал генерал-адъютанта императора  
Александра. Он подъехал близко и положил  
руку на холку лошади Балашова. Его добро-  
душное, усатое лицо сияло самодовольстви-  
ем, когда Балашов, разговаривая с ним, подда-  
вал ему «вашему величеству, вашего величе-  
ства» — во всех падежах, с неизбежной аф-  
фектацией учащения титула обращаясь к ли-  
цу, для которого титул этот еще нов.

Понравилось ли Мюрату лицо Балашова,  
или вообще он был хорошо, весело располо-  
жен прекрасным утром и верховой прогул-  
кой, но он, слезши с лошади и взяв под руку  
Балашова, вступил в тон разговора вовсе не  
королевского и не вражеского, а в тон добро-  
душных, веселых слуг ссорящихся господ,  
которые останутся добрыми приятелями,  
несмотря ни на какие отношения между  
принципалами.

— Ну что ж, генерал, дело, кажется, идет к  
войне? — спросил Мюрат.

Балашов сознался, что это действительно



так, но заметил, что государь Александр не желал войны и что его посылка служит доказательством этого.

— Так вы считаете зачинщиком войны не императора Александра? — сказал Мюрат с добродушной улыбкой из-под своих усов.

Поговорив о причинах войны, Мюрат сказал, вероятно, то, что он и не желал сказать, но сказал под влиянием развеселения:

— Я желаю от всей души, чтоб императоры покончили дело между собой и чтобы война, начатая против моей воли, окончилась как можно скорее.

— Я вас не задерживаю более. Рад был познакомиться с вами, генерал, — прибавил Мюрат, и Балашов, откланявшись его величеству, поехал дальше, по словам Мюрата, предполагая весьма скоро встретить самого Наполеона.

Но вместо скорой встречи с Наполеоном часовые пехотного корпуса Даву опять задержали Балашова, и вызванный адъютант командира корпуса проводил его к маршалу Даву.

## VII

Сумрачный солдат Даву был совершенная противоположность Мюрату.

Это был Аракчеев императора Наполеона — Аракчеев не трус, но столь же исправный, жестокий и не умеющий выразить свою преданность иначе как жестокостью. В механизме государственного организма нужны эти люди, как нужны волки в организме природы, и они всегда есть, всегда являются и держатся, как ни несообразно кажется их присутствие и близость к главе правительства. Ежели бы не было этой органической необходимости, как бы мог жестокий, лично выдиравший усы гренадерам и не могущий нервами переносить опасность, необразованный, непридворный Аракчеев держаться в такой силе при рыцарски-благородном и нежном характере Александра. Но это должно было быть и было.

Балашов застал маршала Даву в сарае, на бочке, занятого письменными работами (он поверял счета). Возможно было найти лучшее помещение, но маршал Даву был один из

тех характеров, которые нарочно ставят себя в самые мрачные условия жизни для того, чтобы иметь право быть мрачными. Они для того же всегда поспешно и упорно заняты: «Где тут заниматься и думать о счастливой и любовной человеческой стороне жизни, когда, вы видите, я на бочке сижу в грязном сарае и работаю?» Первое удовольствие и потребность этих людей состоит в том, чтобы, встретив молодое, доброе оживление жизни, бросить этому оживлению в глаза свою мрачную, упорную деятельность. Это удовольствие доставил себе Даву, когда к нему ввели Балашова.

Он еще более углубился в свою работу, когда вошел русский генерал, и, взглянув через очки на веселое и представительное под впечатлением прекрасного утра и беседы с Мюратом лицо Балашова, еще больше нахмурился и усмехнулся.

«Вот еще фронт с любезностями, — подумал он, — теперь не до любезностей. Я был против этой войны, но раз уж война начата, то надо не любезничать, а работать». Заметив на лице Балашова неприятное впечатление,

Даву строго, холодно обратился к нему с грубым вопросом: что ему нужно? Предполагая, что такой прием мог быть сделан ему только потому, что Даву не знает, что он генерал-адъютант императора Александра и даже представитель его перед Наполеоном, Балашов поспешил сообщить свое звание и назначение.

В противность ожидания его, что это известие мгновенно переменит тон и обращение Даву на самый почтительный, как это обыкновенно бывает с людьми грубыми, Даву, выслушав Балашова, стал еще суровее и грубее.

— Где же ваш пакет? — спросил он. — Дайте мне его, я пошлю императору.

Балашов сказал, что он имеет личные приказания передать пакет самому императору.

— Приказания вашего императора исполняются в вашей армии, — грубо сказал Даву, — вы должны делать то, что вам говорят. — И как будто для того, чтобы еще больше дать почувствовать русскому генералу его зависимость от грубой силы, Даву высунулся из сарая и кликнул дежурного.

Балашов вынул пакет, заключавший пись-

мо государя, не глядя на Даву, положил его на стол, состоявший из двери, на которой торчали еще оторванные петли, положенной на две бочки.

Даву взял конверт и прочел надпись.

— Вы совершенно в праве оказывать или не оказывать мне уважение, — сказал Балашов, — но позвольте вам заметить, что я имею честь носить звание генерал-адъютанта его величества... Где я могу подождать ответа?...

Даву взглянул на него молча. Он, видимо, соображал, не ошибся ли он в самом деле, слишком удовлетворяя своей потребности показать, что он работник, а не любезник.

— Вам будет оказано должное, — сказал он и, положив конверт в карман, вышел из сарая. Через минуту вошел адъютант и провел Балашова в приготовленное для него помещение.

Балашов обедал в этот день с маршалом, в том же сарае, на той же доске на бочках, и еще три дня провел при главной квартире Даву, с нею вместе передвигаясь вперед по направлению к Вильно и уже не видя маршала,

а имея при себе неотлучно адъютанта — французского генерала.

## VIII

После четырехдневного уединения, скуки и сознания подвластности и ничтожества, особенно ощутительного после той среды могущества, в которой он так недавно находился, за Балашовым была прислана коляска, и он мимо французских войск, занимавших всю местность, был привезен в Вильно, в ту же заставу, из которой он выехал четыре дня тому назад. И к тому же самому лучшему в Вильне дому, в котором он получил последние приказания императора Александра. Четыре дня тому назад у дома этого стояли Преображенского полка часовые, теперь стояли два гренадера с распахнутыми синими мундирами и в мохнатых шапках. У крыльца дома толпились генералы и местные чиновники, из которых некоторые узнали Балашова и отворачивались от него. У крыльца же стояла верховая императорская лошадь, паж, мамелюк Рустан и блестящая свита адъютантов. Вероятно, ждали выхода самого Наполеона.

В первой комнате Бертье принял учтиво Балашова и, оставив его, прошел к Наполеону. Через пять минут он вышел и объявил, что императору угодно сейчас принять его.

Наполеон ждал Балашова и ждал с тем волнением, которое не оставляло его всегда, когда дело касалось сношений с аристократами царской крови, из которых блестящее всех, и физическими и нравственными качествами, представлялся ему Александр. Он знал, что всякое слово, движение его, все впечатление, которое он произведет на посланного, будут переданы Александру. Он выбрал самое выгодное свое время — утро, и самый, по его мнению, величественный свой костюм: открытый мундир с лентой Почетного легиона на белом пикейном жилете и ботфорты, которые он употреблял для верховой езды. Сбор блестящей свиты у подъезда был тоже рассчитан. Наполеон решил принять Балашова на выходе для верховой прогулки и принял его, стоя в своем кабинете. Он стоял у окна комнаты, облокотясь на маленький столик своей маленькой белой рукой, играя табакеркой, и слегка наклонил голову в ответ на по-

чтительный поклон Балашова.

«Буду спокоен и величествен. Выражение сознания силы есть спокойствие, — думал в это время Наполеон. — Оставлю его все высказать и покажу ему свою власть. Покажу ему, как дерзко было требовать выхода моих войск из Померании и как они наказаны за это требование вступлением моих войск в их пределы». Воспоминание о требовании очищения Померании в первую минуту, когда оно получено было, особенно оскорбило Наполеона по стечению разных обстоятельств и потому, что оно пришло к нему тогда, когда он был дурно настроен, и потому, что за час перед этим он говорил Бертье, что Россия предложит условия мира теперь, и потому воспоминание это начало было поднимать оскорбленное чувство в его душе. Но он сейчас же сказал себе: «Этого не будет. Теперь, занимая ту самую Вильну, из которой послан этот генерал-адъютант, я должен одним спокойствием показать свою силу».

«Ну, вы меня видите, не смущайтесь, придите в себя, успокойтесь и говорите, что вам нужно сказать», — говорил его взгляд.



— Ваше величество! Император, государь мой... — начал Балашов, немного смутясь, но с свойственной ему свободой и изяществом. Он передал Наполеону все, что ему было приказано. Передал, что император Александр удивлен вступлением французских войск в русские пределы, что не он начинает войну и не желает ее, что князь Куракин требовал свои паспорта без ведома императора Александра, что с Англией еще нет никаких сношений и что император Александр желает мира, но приступит к нему не иначе, как с тем условием, чтобы войска вашего величества отступили за Неман. Он сказал, чтобы войска французские отступили за Неман, а не сказал ту фразу, которая, очевидно, особенно нравилась императору Александру, которую он написал в письме, которую он непременно приказал вставить в приказ войскам и которую он приказал Балашову передать Наполеону. Балашов помнил про эти слова — «пока ни один вооруженный неприятель не останется на земле русской», — но какое-то необъяснимое, сложное чувство, называемое тактом, удержало его — он, глядя в глаза, не мог

сказать этих слов, хотя и хотел это сделать. Слишком личное чувство оскорбления слышалось в этих словах, и, вероятно, инстинкт, т. е. не один ум, а совокупность всех способностей, воспреещал Балашову сказать их. Наполеон выслушал все спокойно, но последние слова, хотя и смягченные, кольнули его. Кольнули еще более потому, что в них слышалось воспоминание о прежнем требовании очистить Померанию, «требованье, кончившееся тем, что я вступил в Россию», — подумал он.

— Я желаю мира не менее императора Александра, — начал он. — Я восемнадцать месяцев, — сказал он, — делаю все, чтобы получить его. Я восемнадцать месяцев жду объяснения. — Но он начал говорить, и уже одно слово, независимо от его воли, погоня другое, вырывалось из него, воспоминание о требовании очистить Померанию, кончившемся вступлением в Россию, представилось и тотчас же выразилось словами.

— Но для того, чтобы начать переговоры, чего же требуют от меня?

— Отступления войск за Неман.

Наполеон как будто не обратил на это вни-

мания и продолжал:

— Но для того, чтобы возможны были переговоры, нужно было, чтобы вы не были связаны с Англией.

Балашов передал в этом уверение императора Александра, что союза с Англией не было.

Наполеон еще раз вывел сообщение о требовании отступить за Неман, только за Неман. Это требование нужно было ему. Оно было и оскорбительно и успокоительно для него. Вместо требования четыре месяца тому назад отступить из Померании, теперь требовали отступить только за Неман, и тогда союз и вражда с Англией продолжались.

«Да, так и понимаю, — думал Наполеон и хотел сказать, что после теперешнего требования отступить за Неман скоро будут требовать от него только отступить от Москвы. — Но нет, я не скажу ничего лишнего, я не обрушу на него (на Александра через Балашова) это впечатление спокойного сознания силы». Но он уже начал говорить, и, чем больше он говорил, тем менее он становился в состоянии управлять своей речью. Все оскорбитель-

ные воспоминания о требовании очистить Померанию, о непризнании его императором в 1805-м и 1806-м годах, об отказе в руке великой княжны — все воспоминания эти восставали в нем по мере того, как он говорил. И вместе с каждым из воспоминаний этих унижений, против каждого из них вставало в его воображении воспоминание оплаты за унижение и торжества, как торжества Тильзита, Эрфурта, недавнего дрезденского пребывания. «Все они люди, ничтожные люди», — думал он и продолжал говорить, радовался логичной, казавшейся ему неоспоримой оскорбительности своих доводов. Он давно уже оставил свое положение и, то складывая руки на груди, то закладывая их за спину, ходил по комнате и говорил.

— Такие предложения, как то, чтобы очистить Одер и Вислу, можно делать принцу Баденскому, а не мне. Ежели бы вы мне дали Петербург и Москву, я бы не принял этих условий. И кто прежде приехал к армии? Император Александр, а не я. Хотя ему нечего делать при армии. Я другое дело, я делаю свое дело. И какое прекрасное царствование могло быть

его царствование, — говорил он, как будто жалея о мальчике, который вел себя дурно и не заслужил конфетку. — Я ему дал Финляндию, я бы ему дал Молдавию и Валахию. Говорят, что вы заключили мир?

Балашов подтвердил это известие, но Наполеон не дал ему говорить, особенно говорить то, что было неприятно ему (а это было очень неприятно). Ему нужно было говорить самому, одному, доказывать, что он прав, что он добр, что он велик, и он продолжал говорить с тем красноречием и невоздержанием раздраженности, к которому так склонны вообще балованные люди, и с тем красноречием невоздержания и раздраженности, с которыми он говорил в 1803 году с английским посланником и недавно с князем Куракиным.

— Да, — продолжал он, — я обещал ему и дал бы ему Молдавию и Валахию, а теперь он не будет иметь этих прекрасных провинций. Он бы мог, однако, присоединить их к своей империи и в одно царствование он бы расширил Россию от Ботнического залива до устьев Дуная. Катерина Великая не могла бы сделать более, — говорил Наполеон, все более и более

разгораясь, ходя по комнате и повторяя Балашову почти те же слова, которые он говорил самому Александру в Тильзите. — Всем этим он был обязан моей дружбе... О, какое прекрасное царствование, какое прекрасное царствование, — повторил он несколько раз и остановился, — какое прекрасное царствование могло бы быть царствование императора Александра! — Он с сожалением взглянул на Балашова, и только что Балашов хотел заметить что-то, как он опять поспешно перебил его.

В эту минуту Наполеону до озлобления непонятно было, как мог Александр отступить от блестящей (так казалось Наполеону) программы, начертанной ему. — Чего он мог желать и искать такого, чего бы он не нашел в моей дружбе?... Нет, он нашел лучшим окружить себя — и кем же? — продолжал Наполеон, перебивая Балашова. — Он призвал к себе Штейнов, Армфельдов, Винцингероде, Бенигсенов. Штейн, прогнанный из своего отечества, — повторил Наполеон с озлоблением, и краска бросилась в его бледное лицо.

Воспоминание о Штейне потому особенно

сильно оскорбило его, что он начал с того, что ошибся в Штейне, — сам считал его за ничтожного человека, рекомендовав его прусскому королю: «Возьмите Штейна, это умный человек», — и потом, узнав ненависть Штейна к Франции, подписал в Мадриде декрет, конфискующий все имения Штейна и требующий его выдачи. Оскорбительнее же всего было для Наполеона связанное с именем Штейна воспоминание о том, как он велел взять безвинно сестру Штейна и привезти ее судить в Париж. Этого уже не мог простить Наполеон, и он продолжал, еще более раздраженный и невластный управлять своим языком.

— Армфельд — развратник и интриган, Винцингероде — беглый подданный Франции, Бенигсен несколько более военный, чем другие, но все-таки неспособный, который ничего не умел сделать в 1807 году и который был должен возбуждать в императоре Александре ужасные воспоминания... Положим, ежели бы они были способны, можно бы употреблять, — продолжал Наполеон, едва успевая словами поспевать за беспрестанно воз-

никающими соображениями, показывающими ему его правоту, — но и того нет — они не годятся ни для войны, ни для мира. Барклай, говорят, дельнее их всех, но я этого не скажу, судя по его первым движениям. А они что делают? Что делают? — сказал Наполеон, еще более раздражаясь при мысли о том, что император Александр допускает в свою близость, которой так дорожил Наполеон, допускает тех лиц, которых он презирал больше всего на свете и немедленно бы повесил, ежели бы они попали в его руки. — Пфуль предлагает, Армфельд спорит, Бенигсен рассматривает, а Барклай, призванный действовать, не знает, на что решиться, и время проходит, ничего не делая. Один Багратион — военный человек, он глуп, но у него есть опытность, глазомер и решительность... И что за роль играет ваш молодой государь в этой безобразной толпе?! Его компрометируют и на него сваливают ответственность всего совершающегося.

Он замолк на мгновение и с выражением величавости прошелся.

— Государь должен находиться при армии



только тогда, когда он полководец! — сказал он, очевидно, посылая эти слова в форме великодушного совета прямо как вызов в лицо государя. Наполеон знал, как страшно желал император Александр быть полководцем. — Уже неделя, как началась кампания, и вы не сумели защитить Вильну, вы разрезаны надвое и прогнаны из польских провинций. Ваша армия ропщет...

— Напротив, ваше величество, — сказал Балашов, едва успевавший запомнить, что говорилось ему, и с трудом следивший за этим фейерверком слова, — войска горят желанием...

— Я все знаю, — перебил его Наполеон, — я все знаю и знаю число ваших батальонов так же верно, как и моих. У вас нет двухсот тысяч войска, а у меня втрое столько. Даю вам честное слово, — сказал Наполеон, забывая, что это слово никак не могло иметь значения и для него бессмысленное. — Даю вам честное слово, что у меня пятьсот тридцать тысяч человек по сю сторону Вислы. Турки вам не помощь, они никуда не годятся и доказали это, замирившись с вами. Шведы — их предопре-

деленье быть управляемыми сумасшедшими королями. Их король был безумный, они переменили его и взяли другого, который тотчас сошел с ума (Наполеон усмехнулся своей шутке), потому что только сумасшедший может заключать союз с Россией.

На каждую из фраз Наполеона Балашов хотел и имел, что возразить, беспрестанно он делал движение человека, желавшего сказать, но Наполеон перебивал его.

Например, о безумии шведов Балашов хотел сказать, что Швеция есть остров, когда Россия за нее, но он и не пытался теперь уже говорить, он, не рассуждая, не умом, но всем существом своим чувствовал, что Наполеон находился теперь в том состоянии, в котором бывают все люди в состоянии возбуждения нервов и происходящей от того потребности говорить, говорить и говорить только для того, чтобы самим себе доказать свою справедливость. С одной стороны, Балашову приятно было видеть это раздраженное состояние; он видел, что Наполеон поступает дурно, говоря ему все то, что он говорил. (Он это видел особенно по грустно-равнодушному выражению

лица присутствующего Бертье, очевидно, не одобрявшего слова Наполеона.) С другой стороны, Балашов боялся уронить свое достоинство пославшего его императора и всякую секунду был готовым на отражение.

— Да что мне эти ваши союзники? У меня союзники — это поляки. Их восемьдесят тысяч, и они дерутся как львы. И их будет двести тысяч. («Откуда будут эти 200 тысяч?» — подумал Бертье, грустно вздыхая.)

«Тоже писали протест о герцоге Ольденбургском», — подумал Наполеон, и, вспомнив это прежнее оскорбление, он продолжал:

— Ежели вы поколеблете Пруссию против меня, знайте, что я сотру ее с карты Европы, — сказал он, все более и более разгораясь, с энергическим жестом маленькой руки. — Да, я заброшу вас за Двину, за Днепр и восстаню против вас ту преграду, которую Европа была преступна и слепа, что позволила разрушить. Да, вот что с вами будет, вот что вы выиграли, удалившись от меня, — заключил Наполеон, начавший говорить с Балашовым с твердым намерением узнать взгляд императора Александра на дела войны и с наме-

рением выговорить настоящий мир.

Остановившись против Балашова, чувствуя потребность заключить чем-нибудь свою странную речь, дошедшую в конце до итальянской восторженности, он опять сказал с поддразнивающим сожалением: «Какое прекрасное царствование могло бы быть у вашего государя, могло бы быть...»

На доводы Балашова, который старался доказать, что со стороны России дела не представляются в таком мрачном виде, в каком они представляются Наполеону, что от войны генералы и союзники ожидают всего хорошего, Наполеон снисходительно кивал головой, как бы говоря: «Знаю, так говорить ваша обязанность, но вы сами в это не верите...»

— Уверьте от моего имени императора Александра, — перебил он, очевидно, и не слыхав того, что говорил Балашов, — что я ему предан по-прежнему, я знаю его совершенно и весьма высоко ценю высокие его качества.

— Какой черт занес его туда? — возвращался он все к сожалению о том, что Александр так испортил свою карьеру, и очевидно

было, что он только о себе думал это.

— Боже мой, боже мой, какое прекрасное царствование могло бы быть у вашего государя... Я не удерживаю вас более, генерал, вы получите мое письмо к императору. — И Наполеон в своих ботфортах решительным шагом пошел, предшествуемый пажамы, садиться, чтобы ехать на свою прогулку.

Балашов полагал, что он откланялся, но в четвертом часу он был приглашен к столу императора. На этом обеде, на котором присутствовали Бессьер, Коленкур и Бертье, Балашов был более настороже, при каждом вопросе Наполеона стараясь найти ту дипломатическую шпильку, ту тонкость Маркова платка, которая бы почтительно отразила надменный тон Наполеона. И две такие дипломатические шпильки были найдены им — одна была ответ на вопрос Наполеона о Москве, о которой он спрашивал как о городе, который с приятностью и любознательностью путешественника намерен посетить в скором времени.

— Сколько жителей, сколько домов, какие это дома? Сколько церквей? — спрашивал На-

полеон. И на ответ, что церковей более двухсот, заметил, что большое количество монастырей и церковей, которое он заметил и в Польше, есть признак отсталости народа. Балашов почтительно и радостно, найдя помещение своей дипломатической шпильке, позволил себе не согласиться с мнением французского императора, заметил, что есть две страны в Европе, где цивилизация не может истребить религиозного духа народа. «Страны эти — Россия и Испания», — пустил свой букет Балашов. Но как высоко был оценен этот букет дипломатического остроумия впоследствии, по рассказам Балашова, в кругах врагов Наполеона, так мало он был оценен за обедом и прошел незаметно. По равнодушным и недоумевающим лицам господ маршалов видно было, что они недоумевали, в чем тут состояла острота, на которую намекала интонация Балашова. «Ежели и была она, то мы не поняли ее или она вовсе не остроумна», — говорили выражения лиц маршалов. Другая шпилька, столь же мало оцененная, состояла в том, что на вопрос Наполеона о дорогах к Москве Балашов отвечал, что как вся-

кая дорога ведет в Рим, так всякая дорога ведет в Москву, и что в числе разных путей Карл XII избрал путь на Полтаву. Но это также показалось неостроумно, и не успел Балашов досказать последнего слова, Poltawa, как уже Коленкур заговорил о тяжести дороги из Петербурга к Москве и о своих воспоминаниях того времени.

После обеда перешли пить кофе в кабинет Наполеона, четыре дня назад бывший кабинетом императора Александра. Наполеон сидел, потрагивая кофе в севрской чашке, и указал на стул подле себя Балашову. Есть известное послеобеденное расположение духа человека, которое сильнее всяких разумных причин заставляет человека быть довольным собой и считать всех своими друзьями. Наполеон находился в этом расположении. Ему казалось, что он окружен людьми, обожающими его. Ему даже казалось, что и Балашов должен был быть после его обеда его другом и обожателем.

Это не заблуждение, а неестественно человеку, после того как они вместе сидели с другим за обедом, думать, что этот другой его

враг. Наполеон дружески, с приятной улыбкой, забывая, кто был Балашов, обратился к нему:

— Это та же комната, как мне говорили, в которой жил император Александр? Странно.

Балашов коротко, утвердительно ответил, грустно опустив голову.

— В этой комнате четыре дня тому назад совещались Винцингероде и Штейн, — вдруг опять вспыльчиво заговорил Наполеон, оскорбленный тоном ответа Балашова. — Чего я не могу перенести, — заговорил он, — это то, что император Александр приблизил к себе всех личных моих неприятелей. Вы не подумали, что я могу сделать то же? Да. Я выгоню из Германии всех его родных — Вюртембергских, Баденских, Веймарских, да, я выгоню их... — Наполеон опять стал ходить, как утром. — Пусть он готовит для них убежище в России.

Балашов встал и видом своим показывал, что он желал бы откланяться. Наполеон, не обращая на него внимания, продолжал:

— И зачем он принял начальство над вой-



ском, к чему это? Война — мое ремесло, а его дело царствовать, а не командовать войсками. Зачем он взял на себя такую ответственность?

Он замолчал, молча прошел несколько раз по комнате и вдруг неожиданно подошел к Балашову и с легкой улыбкой так уверенно, и быстро, и просто, как будто он делал какое-нибудь не только важное, но и благодетельное дело, он поднял руку к лицу Балашова и слегка тронул его за ухо. Быть выдраным за ухо императором считалось честью в французской империи.

— Ну, что ж вы ничего не говорите, почтитель и придворный императора Александра? Готовы ли лошади для генерала? — прибавил он, слегка наклоня голову в ответ на поклон Балашова. — Дайте ему моих, ему далеко ехать.

Письмо, привезенное Балашовым, было последнее от Наполеона, которое когда-либо прочел Александр. Все подробности разговора были переданы русскому императору, и война началась.

## IX

После своего свидания в Москве с Пьером, князь Андрей уехал в Петербург в надежде встретить там князя Курагина, которого он считал необходимым встретить. Но в Петербурге он узнал, что Курагин уехал по поручению военного министра в Молдавскую армию. В это же время в Петербурге князь Андрей узнал, что Кутузов, его прежний, всегда расположенный к нему генерал Кутузов, назначен в Молдавскую армию помощником к фельдмаршалу Прозоровскому. Князь Андрей подал прошение о зачислении его в Молдавскую армию и, получив назначение состоять при штабе главной квартиры, уехал в Турцию.

Пробыв около году в Турецкой армии, в начале 12-го года, когда Кутузов уже жил более двух месяцев безвыездно в Букареште с своей любовницей валашкой, ведя переговоры о мире, и когда доходили слухи о близкой войне с французами, князь Андрей опять попросился в русскую армию и по протекции Кутузова был причислен к главному штабу воен-

ного министра Баркляя де Толли.

Вскоре после того, как князь Андрей приехал в Турецкую армию, Курагин вернулся в Россию, и князю Андрею не удалось встретить его. Князь Андрей считал неудобным писать к Курагину и вызывать его. Не подав нового повода к дуэли, князь Андрей считал вызов с своей стороны компрометирующим Наталью Ростову, и потому он дожидался личной встречи, в которой он намерен был найти новый повод к дуэли.

Несмотря на то, что прошло более года со времени его возвращения из-за границы, решение князя Андрея не изменилось, как не изменилось и его общее настроение. Сколько бы ни прошло времени, он не мог, встретив его, не вызвать его, как не мог голодный человек не броситься на пищу. И сколько бы ни прошло времени, он не мог видеть в жизни ничего другого как сочетание пороков, несправедливостей, глупостей, которые могли быть занимательны только тем презрением, которое они возбуждали в нем. Рана его физическая совершенно зажила, но нравственная была все так же раскрыта. Не изме-

на невесты разочаровала его в жизни, но измена невесты была последним из его разочарований.

Единственное наслаждение его в жизни теперь было гордое презрение ко всему и ко всем, которое он любил выказывать очень часто таким людям, которые не могли понимать и которых он презирал так же, как и других. Он становился умным, но праздным и желчным болтуном, которыми так часто бывают холостые незанятые люди. Сын его не требовал его поддержки и деятельной любви — при нем был привезенный из Швейцарии *instituteur* м-г Laborde и тетка, княжна Марья. Да и потом, чем же мог быть этот мальчик при самых лучших условиях воспитания? Или таким же обманщиком или обманываемым, как все живущие и действующие в этом мире, или таким же несчастным, слишком ясно видящим всю тупость этого мира, презирающим все человеком, как и его отец. Так думал о нем князь Андрей. В Турции он получал редкие письма от отца, сестры, Лаборда и Николушки, который уже писал по линейкам. Видно было, что княжна Марья

страстно любит Николушку, что Laborde находится в восхищении перед княжной Марьей и что отец все такой же.

Прежде чем ехать в армию, находившуюся в мае в Дрисском лагере, князь Андрей заехал в Лысые Горы, которые были на самой его дороге, находясь в трех верстах от Смоленского большака. Последние три года в жизни князя Андрея было так много переворотов, так много он передумал, перечувствовал, перевидел (он объехал и запад и восток), что его странно и неожиданно поразило при въезде в Лысые Горы все точно то же, до малейших подробностей, устройство жизни. Он, как в заколдованный, заснувший замок, въехал в аллею и в каменные ворота лысогорского дома. Та же степенность, та же чистота, та же тишина были в этом доме, те же мебели, те же стены, те же пятна и те же робкие лица, только несколько постаревшие. Княжна Марья пополнила, но глаза ее потухли, и редко зажигался в них прежний лучистый свет, она как будто примирилась с своей жизнью. Бурьен тоже пополнила, похорошела и стала увереннее, как показалось князю Андрею. Laborde был одет в

русского покроя сюртук, коверкая язык, говорил по-русски с слугами, но был все тот же ограниченно-умный, образованный, добродетельный и педантический воспитатель. Старый князь переменялся только тем, что с боку рта у него стал заметен недостаток одного зуба. Один только Николушка вырос, переменялся, раздумячился, оброс курчавыми темными волосами и, сам не зная того, смеясь и веселясь, поднимал верхнюю губку хорошенького ротика точно так же, как ее поднимала покойница маленькая княгиня. Он один не слушался закона неизменности этого заколдованного спящего замка.

Князь Андрей намерен был прожить неделю, но пробыл только три дня. С первого взгляда он заметил, что, хотя по внешности все оставалось по-старому, внутренние отношения изменились. Члены семейства были разделены на два лагеря, чуждые и враждебные, которые сходились теперь только при нем, для него изменяя свой обычный образ жизни. К одному принадлежали старый князь, мадемуазель Бурьен и архитектор, к другому — княжна Марья и Laborde, Нико-

лушка и все няньки и мамки.

Вечером первого дня камердинер Петр, уложив барина и стоя со свечой, рассказал князю Андрею, что обыкновенно князь не выходит кушать в столовую, а им подают в кабинет с Амели Карловной и ахтитехтуром, а княжна кушают особо и иногда по недели не сходятся с папенькой.

Действительно, со времени сватовства князя Андрея старый князь сначала шутя, а потом уже серьезно все более приближал к себе Бурьен, которая читала ему вслух, и все менее и менее мог переносить присутствие своей дочери. Все в ней раздражало его и приводило к несправедливости, которую он чувствовал, и тем более тяготился. Именно потому, что он любил княжну Марью, он не мог переносить ее. Он хотел, чтобы она была совершенна, и видел, что не может переделать ее и не может примириться с нею такою, какая она есть. Бурьен же была для него только приятный предмет, до души и качеств которого ему дела не было. Ежели она льстила и притворялась, ему до этого и дела не было, только бы ему было приятно. Но в княжне ма-

лейшее отклонение от его идеала раздражало его. Внука он любил, но не одобрял его воспитания и потому старался не видеть его. Единственное занятие его теперь, кроме чтения, были постройки. Только что он отстроил оранжерею, он затеял огромный летний дом в греческом стиле в новом саду, где он копал пруды и сажал деревья. Только говоря об этом будущем парке и летнем доме, которые могли быть не раньше пятидесяти лет, старик оживлялся, как прежде. Об общих же делах политики он теперь говорил мало и не то что неохотно, а сдержанно. Князь Андрей несколько раз заметил, что, когда он, стараясь расшевелить старика, начинал рассказывать отцу о турецкой войне, о будущей кампании с Бонапартом, старик вслушивался, хотел что-то сказать и потом как будто раздумывал, как будто он знал что-то такое, что уничтожало весь интерес этих соображений и что не стоило говорить того, что он знает, потому что не могут понять его.

Во время его пребывания в Лысых Горах все домашние обедали вместе, но всем было неловко, и князь Андрей чувствовал, что он



гость, для которого делают исключение, что он стесняет своим присутствием. Во время обеда князь Андрей, невольно чувствуя это, был молчалив, и старый князь, заметив неестественность его состояния, тоже угрюмо замолчал и ушел к себе. Когда на другой день князь Андрей пришел к нему, старый князь неожиданно начал с ним разговор о княжне Марье, осуждая ее за суеверие, за ее нелюбовь к м-ль Бурьен, которая одна истинно предана ему.

Князь Андрей, само собой разумеется, ничего не мог сказать и помочь ему. Но старый князь говорил для того, чтобы сын мог выслушать и промолчать. Старый князь чувствовал до глубины души, что он виноват перед дочерью, что он мучает, как только можно мучить живое существо, но не мучить ее он не мог. Стало быть, надо было ее мучить, и он был прав, что мучил ее, и на то были причины. И он нашел эти причины. Смутно ему казалось, что князь Андрей не одобряет его образ действий. Он, верно, не понимает, и потому надо объяснить ему, надо, чтобы он выслушал. И он стал объяснять. Но князь Андрей в том ду-

шевном состоянии, в каком он находился, не мог спокойно слушать. Ему тоже нужно было бороться, и спорить, и делать других несчастными. «Что ж мне его жалеть, — подумал князь Андрей. — Он мне отец, пока он справедлив, «Платон мне друг, но истина дороже».

— Ежели вы спрашиваете меня, — сказал князь Андрей, не глядя на отца (он в первый раз в жизни осуждал своего отца). — Я не хотел говорить, но ежели вы меня спрашиваете, так я скажу вам: напротив, я нежнее и добрее существа княжны Марьи не знаю и не могу понять, за что вы ее отдаляете от себя. Ежели уж вы спрашиваете меня, — продолжал князь Андрей, раздражаясь, потому что он всегда был готов на раздражение это последнее время, и не соображая того, что он говорил, — то я одно могу сказать, что княжна Марья и так жалка мне. Маша такое добрейшее и невиннейшее существо, которое надо жалеть и лелеять, так что, — князь Андрей не мог договорить, потому что старик выпучил сначала глаза на сына, потом сардонически ненатурально захохотал и хохотом открыл главный недостаток зуба, к которому князь Андрей не

мог привыкнуть.

— Так ей надо дать волю мучить меня и твоего сына глупостью своей...

— Батюшка, я не могу быть судьей всего, но вы вызвали меня, и я сказал и всегда скажу, что не столько вы сами виноваты, сколько эта француженка.

— А! Присудил! Ну, хорошо, хорошо. Очень хорошо, — сказал он тихим голосом, потом вдруг вскочил и, с энергическим жестом указывая на дверь, закричал: — Вон! Вон! Чтобы духу твоего тут не было...

Князь Андрей вышел с грустной улыбкой. «Все это так и должно быть на этом свете», — подумал он.

Княжна Марья, узнавшая о ссоре князя Андрея с отцом, стала упрекать его за это.

Князь Андрей хотел тотчас же уехать, но княжна Марья упросила остаться еще день. В этот день князь Андрей виделся с отцом и не говорил о прежнем разговоре. Старый князь говорил своему сыну «вы» и особенно щедр и предупредителен был в награждении его деньгами. На другой день князь Андрей велел укладываться и пошел на половину сына.

Ласковый, по матери кудрявый мальчик сел ему на колени. Князь Андрей начал рассказывать ему сказку о Синей Бороде, но, не досказав, задумался и обратился к Лаборду.

— Так вы очень хороши с княжной? — сказал он ему. — Я очень рад, что вы сходитесь во взгляде на воспитание...

— Разве можно не сходитья с княжной, — восторженно сложив руки, сказал Laborde. — Княжна, это образец добродетели, ума, самоотвержения. Ежели Николая не выйдет прекрасным человеком, то это будет не вина окружающих его, — сказал он с наивным самохвальством.

Князь Андрей заметил это, но заметил, как и в прежних своих разговорах с Laborde, его искренний восторг перед княжной.

— Ну, рассказывай же, — говорил сын.

Князь Андрей, не отвечая, опять обратился к Laborde.

— Ну, а в религиозном отношении, как вы сходитесь с ней? — спросил он. — Вы ведь поборник протестантства.

— В княжне я вижу только одно: чистейшую сущность христианства и никакого при-

страстия к формам; и в религии, как и во всем, она совершенство.

— А ее странники, монахи, видели вы их? — спросил с улыбкой князь Андрей.

— Нет, не видал, но слышал про них. Княжна заметила, что князю это неприятно, и перестала принимать их.

Действительно, последнее время княжна так страстно привязалась к своему плану странствования и так очевидно убедилась, что она не сможет исполнить его иначе как после смерти отца, что мысль о возможности желания этой смерти ужаснула ее. Она отдала свое платье Федосьюшке и оставила эту мечту.

В середине разговора Андрея с Laborde княжна Марья испуганно вошла в комнату.

— Как? Вы едете? — сказала она. И на утвердительный ответ брата она увела его в свою комнату, чтобы переговорить с ним.

Как только она начала говорить об этом, губы ее задрожали и слезы закапали. Князь Андрей понял, что в противность ее словам, говорившим, что ей хорошо, слезы эти говорили, что он угадал, как она страдает, и что

она благодарна и любит его еще больше, ежели это возможно, за его заступничество.

— Не будем больше говорить об этом, это пройдет. Я постараюсь его успокоить (она знала, что это невозможно, что все при враждебной разлуке падет на нее же). Но вот что я тебе хотела сказать. — Она нежной рукой, грациозным, женственным жестом взяла его за локоть, подвинулась к нему, и в глазах ее, в которых еще стояли слезы, засветились прямо в лицо брата успокаивающие, поднимающие дух лучи любви, одной любви. Она забыла уже о себе. Так, как в пятом году ей нужно было надеть образок на Андрея, так теперь ей надо было дать ему совет, дать ему успокоение, утешение в его горе. Она знала обо всем по письмам Жюли Друбецкой, но никогда не говорила о том с братом.

«И не найдется человек, который бы понял и оценил всю нравственно женскую прелесть этой девушки, — подумал князь Андрей, глядя на нее. — И так погибнет, забитая и загнанная выживающим из ума старым отцом».

— Андрей, об одном я прошу и умоляю тебя. Ежели у тебя есть горе (княжна Марья опу-

стила глаза), не думай, что горе это сделали тебе люди. Люди — орудия Его. — Она взглянула немного повыше головы князя Андрея с уверенным, привычным взглядом, с которым смотрят на знакомое место портрета. Она, верно, видела Его, когда говорила это. — Горе послано Им, а не людьми. Люди Его орудие, — они не виноваты. Ежели тебе кажется, что кто-нибудь виноват перед тобой, забудь это и прости. Ради бога, Андрей, не мсти никому. Мы не имеем права наказывать. Мы сами наказаны.

Андрей, только увидав ее взгляд, понял все, понял, что она знала все, понял, что она знала его желание встретить и вызвать Курагина, который был в главной армии, и говорила об этом. Ему хотелось верить ей. Он чувствовал всю высоту ее чувства. Он хотел вступить на нее... «Простить что? — спросил он себя. — Чувственные поцелуи женщины, которую я любил выше всего? Кому простить? Этому... Нет, это нельзя вырвать из сердца».

— Ежели бы я был женщина, я бы это сделал, Мари. Это добродетель женщины, но ежели мужчину ударят в лицо, он не то что

не должен, он не может простить.

— Андрей...

— Нет, душа моя, нет, милый мой друг Маша, я никогда не любил тебя так, как теперь. Не будем говорить об этом. — Он обнял голову Маши, заплакал и стал целовать ее.

Послышались шаги няньки и Николаши. Брат и сестра оправились. Андрей посадил к себе на колени Николашу.

— Поедем со мной, — сказал князь Андрей.

— Нет, я не поеду. Я с тетей пойду завтра в сад и соберу шишки, знаешь шишки, и из шишек сделаю такой дом, знаешь, что все будут ехать по большой дороге. Знаешь большую дорогу...

Николаша еще не договорил своей истории, которой смысл заключался только в произношении новых слов, как Андрей встал, поднял его и опять со слезами припал к его хорошенькому личику. Князь Андрей совсем собрался и послал спросить отца, может ли он прийти к нему проститься. Посланный воротился с известием, что князь сказал, они уже простились, и желают хорошего пути. Княжна Марья умоляла Андрея подождать



еще день, говорила о том, что она знает, как будет несчастлив отец, ежели Андрей уедет, не помирившись с ним, но князь Андрей успокаивал сестру, что он, вероятно, скоро приедет опять из армии и непременно напишет отцу, а что теперь, чем дольше оставаться, тем больше растравится этот раздор.

— Это все пройдет, все пройдет, — говорил князь Андрей.

— Прощай, прощай. Помни, что несчастья происходят от Бога и что люди никогда не бывают виноваты, — прокричала княжна Марья, когда коляска тронулась. И последние слова, которые слышал, были «право наказывать», которые произнес полный слезами голос Марии.

«Так это должно быть, — думал князь Андрей. — Она — прелестное существо — остается на съедение прекрасному, но выжившему из ума старику. Я знаю, что она говорит правду, но сделаю противное. Мальчишка мой хочет поймать волка. А я еду в армию. Зачем? Не знаю. Так надо. И все равно, все равно».

## Х

Князь Андрей приехал в главную квартиру Армии 13 июля. Как ни мало занимали его теперь общие вопросы войны, он знал, что Наполеон перешел Неман, занял Вильно, разрезал надвое армию, что наши отступали к укрепленному лагерю на Дриссе, что были небольшие дела при отступлении, целью которых было только спасение армий и соединение их. Соединение еще не было достигнуто, и оно было сомнительно, как говорили. По слухам князь Андрей знал, что армиями командовал сам император Александр и что главным распорядителем был пруссак Пфуль, тот самый, который с другими учеными пруссаками сделал план прусской иенской кампании, и что Пфуль имел полное доверие государя. При армии находились: Румянцев — канцлер, бывший военный министр Аракчев, новый военный министр Барклай де Толли, Бенигсен без назначения, Армфельд — шведский генерал, Штейн — бывший прусский министр, Паулучи — знакомый князя Андрея по Турции, и вообще огромное коли-

чество иностранцев и сложный механизм штабных должностей. В случайных разговорах по дороге с военными чиновниками князь Андрей заметил общий характер недоверия к начальству и самые дурные предчувствия об исходе войны. Но об опасности нашествия в русские губернии никто не думал.

Князь Андрей был назначен состоять при штабе Барклая де Толли, там же, при этом штабе, должен был быть и Курагин. Князь Андрей нашел Барклая де Толли на берегу Дриссы. Войска располагались в укрепленном лагере по плану Пфуля. Так как не было ни одного большого села или местечка в окрестностях, то все огромное количество генералов и придворных расположилось в окружности десяти верст по лучшим домам деревень, по сю и по ту сторону реки. Барклай де Толли стоял в четырех верстах от государя. Он сухо и холодно принял Болконского и сказал своим немецким выговором, что он доложит о нем государю для определения ему назначения. Тут князь Андрей, не спрашивая о том, случайно узнал, что Анатолий находится в армии Багратиона, куда он был послан и где

остался. Князю Андрею было приятно это известие. Он не намерен был искать Курагина, он не торопился исполнить свое решение; он знал, что оно никогда не изменится.

Здесь же, несмотря на все его равнодушие к жизни, интерес центра производящейся огромной войны невольно привлек его. Тут в продолжение четырех дней, пока он не был никуда требуем, князь Андрей из разговоров с штабными успел узнать, что в управлении армиями происходила такая путаница, которой даже князь Андрей, в настоящем настроении своего духа находящийся все безобразное таким, каким оно должно было быть, не мог себе представить. Когда еще они стояли в Вильне, армия была разделена надвое, 1-я армия была под начальством Барклая де Толли, 2-я под начальством Багратиона. Государь находился при 2-й армии. В приказе не было сказано, что государь будет командовать, сказано только, что государь будет при армии. Кроме того, при государе лично не было штаба главнокомандующего, а был штаб императорской главной квартиры. При нем были начальник его императорской квартиры —

князь Волконский, и его чиновники, генералы и флигель-адъютанты и большое количество иностранцев, но не было штаба армии. Так что иногда надо было исполнять приказы князя Волконского, когда знали, что они идут от государя, иногда нет. Кроме того, без должностей находились при государе: Аракчеев, полный генерал, Бенигсен, старший всех, и великий князь. Хотя эти лица и находились без должностей, но по своему положению они имели влияние, и корпусной начальник часто не знал, в качестве кого спрашивает или советует то или другое Бенигсен, или великий князь, или главнокомандующий.

Но это была внешняя обстановка, существенный же смысл присутствия государя и всех этих лиц был ясен с придворной точки зрения (а в присутствии государя все делается придворными). Он был следующий: государь не принимал на себя звания главнокомандующего, но распоряжался той и другой армией. Аракчеев был верный исполнитель и блюститель выгоды и порядка, который всякую минуту мог понадобиться. Бенигсен, помещик виленский, в сущности, был хороший

генерал, полезный для совета, а может, и для того, чтобы заменить им Барклая. Великий князь был тут, потому что это было ему угодно. Министр Штейн был тут потому, что он был полезен для совета, и потому, что он был честный, умный человек, которого умел ценить Александр. Армфельд был злой ненавистник Наполеона и генерал, уверенный в себе, что имело всегда влияние на Александра. Паулучи был потому, что он был смел и решителен в речах. Генерал-адъютанты были тут потому, что они везде, где государь, и наконец, главное, Пфуль был тут, потому что он, составив план войны против Наполеона и заставив Александра поверить в целесообразность этого плана, руководил всем делом войны. При Пфуле был Вольцоген, который передавал мысли Пфуля в более доступной форме, чем сам Пфуль, резкий, самоуверенный до презрения ко всему и кабинетный теоретик.

Кроме этих поименованных лиц, русских и иностранных, при императорской квартире было еще много, особенно иностранцев, и каждый, особенно иностранец (с смелостью, свойственной человеку в деятельности среди

чужой среды), вносил свою лепту разномыслия в эту управляющую армией организацию.

Князь Андрей, не имея никаких личных интересов, был в самом выгодном положении для наблюдения. В числе всех мыслей и голов в этом огромном, беспокойном, блестящем и гордом мире князь Андрей видел следующие, более резкие подразделения направлений и партий.

Первая партия была Пфуль и его последователи, теоретики войны, верящие в то, что есть наука войны и что в этой науке есть свои неизменные законы, законы движения, обхода и т. п., и требующие отступления в глубь страны, отступления по точным законам, предписанным этой мнимой теорией войны, и во всяком отступлении от этой теории видели только варварство, необразованность или злонамеренность. К этим принадлежали Вольцоген, Армфельд и другие, преимущественно немцы.

Как и всегда бывает при одной крайности, были представители другой крайности. Это были те, которые еще с Вильно требовали на-

ступления в Польшу и свободу от всяких вперед составленных планов. Кроме того, что представители этой партии были представители смелых действий, они вместе с тем были представителями одной национальности, вследствие чего становились еще одностороннее в споре. Это были русские: Багратион, Ермолов и другие.

В это время была распространена известная шутка Ермолова, будто бы просившего государя об одной милости — производства его в немцы. Эти говорили, вспоминая Суворова и Румянцева, что надо не думать, не накалывать иголками карту, а бить и драться, не впускать неприятеля в Россию и не давать унывать войску.

Третья партия, к которой, как кажется, принадлежал и сам государь, были придворные делатели сделок между обоими направлениями. Эти думали и говорили, что говорят обыкновенно люди, не имеющие убеждений, но желающие казаться за таковых, тем более, что они как будто стоят выше обеих крайностей, обсудив и соединяя их, — эти говорили, что, без сомнения, война, особенно с таким



гением, как Бонапарт (он опять сделался Бонапарт), требует глубокомысленных соображений, глубокого знания науки (и в этом деле Пфуль гениален); но вместе с тем, без сомнения, теоретики односторонни, и потому мы прислушиваемся и к голосам, требующим энергического действия, соединим все и выйдет... каша, говорили их противники, но они говорили, что выйдет прекрасно.

Четвертое направление было направлением, которого самым видным представителем был великий князь, наследник, цесаревич, не могший забыть своего аустерлицкого разочарования, где он, как на смотр, выехал перед гвардией в каске и колете, рассчитывая молодецки раздавить французов, и попал неожиданно в первую линию и насилу ушел в общем смятении. Эти имели в своих суждениях и качество, и недостаток искренности. Они боялись Наполеона, видели в нем силу, в себе слабость, и прямо высказывали это. Они говорили: «Ничего, кроме горя, срама и гибели, из всего этого не выйдет. Вот мы оставили Вильно, оставили Витебск, оставим и Дриссу». «Все немцы — свиньи, — коротко и ясно гово-

рил великий князь. — Одно, что нам остается умного сделать, это заключить мир, и как можно скорее, пока не выгнали нас из Петербурга». Воззрение это, сильно распространенное в высших сферах армии, находило себе поддержку и в Петербурге, и в канцлере Румянцеве, по другим государственным причинам стоявшем также за мир.

Пятые были приверженцы Барклая де Толли, не столько как человека, сколько как военного министра и главнокомандующего. Они говорили: «Какой он ни есть (почти всегда так начинали), он честный, дельный человек, лучше его нет. Дайте ему начальника штаба и дайте ему власть, потому что война не может идти успешно без единства начальствования. Ну, хоть не Барклай, — говорили они, — только не Бенигсен, он уже показал свою неспособность в 7-м году, дайте хоть кого-нибудь, но кто бы имел власть, а так не может идти».

Шестые, бенигсенисты, говорили, напротив: все-таки нет никого дельнее и опытнее Бенигсена, и, как ни вертись, все-таки придешь к нему. Пускай теперь делают ошибки,

чем более наделают ошибок, тем лучше: по крайней мере скорее поймут, что так не может идти. И нужен не какой-нибудь Барклай, а человек как Бенигсен, который показал уже себя, которому отдал справедливость сам Наполеон и за которым бы охотно признавали власть.

Седьмые были лица, которые всегда есть, в особенности при молодых государях, и которых особенно много было при императоре Александре, — лица из генералов и флигель-адъютантов, страстно преданные государю не как императору, но как человеку, обожающие его, как его обожал Ростов в 1805 году, и видящие в нем не только все добродетели, но и все качества людские. Эти лица хотя и восхищались скромностью государя, но жалели о ней и желали одного, чтобы обожаемый государь, оставив излишнее недоверие к себе, объявил бы открыто, что он становится во главе войска, составил бы при себе штаб главной квартиры и, советуясь, где нужно, с опытными теоретиками и практиками, сам бы вел свои войска, которых одно это довело бы до высшего состояния воодушевления.

Восьмая, самая большая группа людей, которая по своему огромному количеству относилась к другим, как 99 к 1, состояла из людей, не желающих, — не желающих ни мира, ни войны, ни наступательной, ни ненаступательной, ни лагеря при Дриссе или где бы то ни было, ни Барклая, ни государя, ни Пфуля, ни Бенигсена, но желающих только одного, и самого существенного, — наибольших для себя выгод и удовольствий. В той мутной воде перекрещивающихся и перепутывающихся интриг, которые кишели при главной квартире государя, в весьма многом можно было успеть в таком, что немислимо бы было в другое время. Один, не желая только потерять своего выгодного положения, нынче соглашался с Пфулем, завтра с противником его, послезавтра утверждал, что не имеет никакого мнения об известном предмете, только для того, чтобы избежать ответственности. Другой, желающий приобрести выгоды, обращал на себя внимание государя своим матаморственным спором и кричал в совете, ударяя себя в грудь и вызывая несогласяющихся на дуэль и тем показывая, что он готов быть

жертвою общей пользы. Третий просто под шумок выпрашивал себе между двух советов и в отсутствие врагов единовременное пособие за свою верную службу, четвертый нечаянно все попадался на глаза государю, отягченный работой, пятый достигал давно желанной цели — обеда у государя, и для этого доказывал, что прав Пфуль или не прав, и приводил более или менее сильные доказательства.

Большинство ловило рубли, кресты, чины и в этом ловлении следило только за направлением флюгера царской милости, и только что замечало, что флюгер обратился в одну сторону, как все это трутневое население армии начинало дуть в ту же сторону, так что государю тем труднее было повернуть его в другую. Среди неопределенности положения, при угрожающей, серьезной опасности для армии, придававшей всему особенно тревожный характер, среди этого вихря интриг, самолюбий, столкновений, различных воззрений и чувств, при разноплеменности всех этих лиц, эта восьмая партия людей, занятых личными интересами, придавала большую

запутанность и смутность общему делу. Какой бы ни поднимался вопрос, уж рой этих трутней, не оттрубив еще над прежним, перелетал на новую тему и своим жужжанием заглушал и затемнял все искренние, спорящие голоса.

Из всех этих партий, в то самое время как князь Андрей приехал к армии, собралась еще одна, девятая, последняя партия, начинавшая поднимать свой голос. Это была партия людей старых, разумных, государственно-опытных и умевших, не разделяя ни одно из противоречащих направлений, объективно посмотреть на все, что делалось при штабе главной квартиры, и обдумать средства выхода из этой неопределенности, нерешительности, запутанности и слабости. Люди этой партии говорили и думали, что все дурное происходит от присутствия государя с военным двором при армии; что в армию перенесена та неопределенность, условная и колеблющаяся шаткость отношений, которая удобна при дворе, но вредна в армии; что государю нужно царствовать, а не управлять войском; что единственный выход из этого положения

есть отъезд государя с его двором из армии; что одно присутствие государя парализует пятьдесят тысяч войска, нужных для его обеспечения, что самый плохой, независимый главнокомандующий будет лучше самого лучшего, связанного присутствием и властью государя.

## XI

В то самое время как князь Андрей жил без дела на Дриссе, Шишков, государственный секретарь, бывший одним из главных представителей этой партии, написал государю письмо, которое согласились подписать Балашов и Аракчеев. В письме этом, пользуясь позволением, данным им государем, рассуждать об общем ходе дел, они почтительно и под предлогом необходимости для государя воодушевить к войне народ в столице, предлагали государю оставить войско.

Письмо это еще не было подано государю, когда Барклай за обедом передал Болконскому, что государю лично угодно видеть князя Андрея для того, чтобы расспросить его о Турции, и чтобы князь Андрей явился в квартиру

Бенигсена в шесть часов вечера.

В этот же день в квартире государя было получено известие о новом движении Наполеона, могущем быть опасным для армии. И в это же утро полковник Мишо, объезжая с государем Дрисские укрепления, доказывал государю, что укрепленный лагерь этот, устроенный Пфулем и считавшийся шедевром тактики, долженствующим погубить Наполеона, — что лагерь этот есть бессмыслица и гибель русской армии.

Князь Андрей приехал в квартиру генерала Бенигсена, занимавшего бывший помещичий дом на самом берегу реки. Ни Бенигсена, ни государя не было там; но Чернышев, флигель-адъютант государя, принял Болконского и объявил ему, что государь поехал с генералом Бенигсеном и с маркизом Паулучи другой раз в нынешний день для объезда укреплений Дрисского лагеря, в удобности которого начинали сильно сомневаться.

Чернышев сидел с книгой французского романа у окна первой комнаты. Комната эта, вероятно, была прежде залой, в ней еще стоял орган, на который навалены были ковры ка-



кие-то, и в одном углу стояла складная кровать адъютанта Бенигсена. Этот адъютант был тут. Он, видно, замученный пирушкой или делом, сидел на свернутой постели и дремал. Из залы вели две двери: одна прямо в бывшую гостиную, другая направо, в кабинет. Из первой двери слышались голоса разговаривающих по-немецки и изредка по-французски. Там, в бывшей гостиной, были собраны, по желанию государя, некоторые лица, которых мнение о предстоящих затруднениях он желал знать. Это не был военный совет, но как бы совет избранных для уяснения некоторых вопросов лично для государя. Тут был генерал Армфельд, швед, тут был генерал-адъютант Вольцоген, тут был Винцингероде, Мишо, Толь, вовсе не военный человек — граф Штейн и, наконец, сам Пфуль, который, как слышал князь Андрей, был главной пружиной всего дела. Князь Андрей имел случай хорошо рассмотреть его, так как Пфуль вскоре после него приехал и прошел в гостиную, остановившись на минуту поговорить с Чернышевым.

Пфуль, с первого взгляда, в своем русском

генеральском дурно сшитом мундире, который нескладно, как на ряжене, сидел на нем, показался князю Андрею как будто знакомым, хотя он никогда не видал его. В нем был и Вейротер, и Макк, и Шмит, и много других немецких теоретиков-генералов, которых он видел в 1805 году. Пфуль был типичнее всех их. Такого, соединявшего в себе все, что было в тех, еще никогда не видал князь Андрей.

Пфуль был невысок ростом, но ширококост, грубого, здорового сложения, но очень худой, с широким тазом и костлявыми лопатками. Лицо у него было очень морщинисто, с глубоко вставленными умными и блестящими глазами. Волоса его спереди, у висков, торопливо были приглажены щеткой, сзади наивно торчали кисточками. Он, беспокойно и сердито оглядываясь, вошел в комнату, как будто он всего боялся в большой комнате, куда он вошел. Он неловким движением, придерживая шпагу, обратился к Чернышеву, спрашивая по-немецки, где государь. Ему, видно, как можно поскорее хотелось пройти комнату, сесть на место и заняться делом. Он

поспешно кивал головой на слова Чернышева и иронически улыбался, слушая его ответ, что государь осматривает укрепления. «Есть кому и есть с кем рассматривать укрепления, — как будто говорил он, кивая головой и иронически посапывая, — когда я их заложил». И он что-то басисто и круто, как говорят самоуверенные немцы, проворчал про себя: «Дурацкая голова...» — или: «К черту все дело...» — или: «Из этого выйдет что-то безобразное...» — князь Андрей не расслышал. Чернышев познакомил князя Андрея с Пфулем, заметив, что князь Андрей приехал из Турции, где так счастливо кончена война. Пфуль чуть взглянул не столько на князя Андрея, сколько через него, и проговорил, смеясь: «Тот должно быть правильно — тактическая была война». — И, засмеявшись презрительно, прошел в комнату, из которой слышались голоса.

Видно, Пфуль, уже всегда готовый на ироническое раздражение, нынче был особенно возбужден тем, что осмелились без него осматривать его лагерь и судить о нем. Князь Андрей по одному короткому этому свиданию

с Пфулем, благодаря своим аустерлицким воспоминаниям, составил себе ясную характеристику этого человека.

Пфуль был один из тех безнадежно, неизменно, до мученичества самоуверенных немцев, какими только бывают немцы, и именно потому, что только немцы бывают самоуверенными на основании отвлеченной идеи — науки мнимой или действительной. Француз бывает самоуверен потому, что он почитает себя лично, как умом, так и телом, непреодолимо-обворожительным как для мужчин, так и для женщин, от этого он забавен. Англичанин самоуверен на том основании, что он есть гражданин благоустроеннейшего в мире государства, и как англичанин знает всегда, что ему делать нужно, и потому знает несомненно, что все, что он делает как англичанин, то хорошо. Итальянец самоуверен, потому что он взволнован и забывает легко и себя и других. Русский самоуверен именно потому, что он ничего не знает и знать не хочет. Немец самоуверен хуже всех и тверже всех, потому что он знает истину, науку, которую он сам выдумал, но которая есть для него аб-

солютная истина. Таков, очевидно, был Пфуль, у него была наука — теория движения, выведенная им из истории войн Фридриха Великого, и все, что встречалось ему в новейшей истории, не подходящим под эту теорию, казалось ему бессмыслицей и варварством. В 1806 году он был один из составителей плана войны, кончившейся Иеной и Ауерштетом; но в исходе этой войны он не видел ни малейшего урока или опыта; напротив, малые отступления от его теории были причиной всей неудачи, и он со свойственною ему радостною иронией говорил: «Ведь я же говорил, что все дело пойдет к черту». Пфуль был один из тех теоретиков, которые так любят свою теорию, что забывают цель теории — приложение ее к практике: он в любви к теории ненавидел всякую практику и знать ее не хотел. Он даже радовался неудаче, потому что успех, происходивший от неизбежного отступления в практике от теории, доказывал ему справедливость теории.

Он сказал несколько слов с князем Андреем и Чернышевым с выражением человека, который знает вперед, что все будет скверно

и что даже не недоволен этим. Торчавшие на затылке непричесанные кисточки волос и торопливо причесанные височки особенно красноречиво подтверждали это.

Он прошел в ту комнату, как мученик приходит на казнь, слышались басистые и ворчливые звуки его голоса.

Не успел князь Андрей проводить глазами Пфуля, как в комнату поспешно вошел Бенигсен и, не останавливаясь, прошел в кабинет, отдавая какие-то приказания своему адъютанту. Государь ехал за ним, и Бенигсен поспешил вперед, чтобы приготовить кое-что и успеть встретить государя. Чернышев и князь Андрей вышли на крыльцо. Государь с усталым, но твердым видом уже слезал с лошади. Маркиз Паулучи что-то говорил государю. Государь не заметил князя Андрея и, склонив голову, слушал Паулучи, говорившего с особенным жаром. Государь что-то сказал, тронулся вперед, видимо, желая окончить разговор, но покрасневшийся, взволнованный итальянец, забывая приличия, шел за ним, продолжая говорить:

— Что же касается того, кто присоветовал

Дрисский лагерь... — говорил Паулучи, в то время как государь, входя на ступеньки, заметил князя Андрея, кивнул ему головой и нахмурился на слова итальянца.

— Что же касается, государь, — продолжал с отчаянностью, как будто не в силах удержаться, — до того, кто советовал лагерь при Дриссе, — для него я не вижу иного выбора, как желтый дом или виселица.

Не дослушав и как будто не слышав слов итальянца, государь милостиво обратился к Болконскому:

— Очень рад тебя видеть, пройди туда, где они собрались, и подожди меня. — Государь прошел в кабинет. За ним прошел князь Волконский и барон Штейн, и за ними затворились двери. Князь Андрей, пользуясь разрешением государя, прошел с Паулучи, которого он знал еще в Турции, в гостиную, где собрался совет.

Князь Волконский вышел от государя и, принеся в гостиную карты, расположив их на стене, передал вопросы, на которые желал слышать мнение собравших господ государь. Дело было в том, что в ночь было получено

известие (впоследствии оказавшееся фальшивым) о движении французов в обход Дрисского лагеря. Государь желал, чтобы они спокойно в его отсутствие обсудили предмет, сам же он выйдет после.

Начались прения. Первый начал генерал Армфельд, неожиданно предложив совершенно новую, ничем, кроме как желанием показать, что он тоже может иметь мнение, позицию в стороне от Петербургской и Московской дорог. Это было одно из миллионов предположений, которые так же основательно, как и другие, можно было делать, не имея понятия о том, какой характер примет война. Его оспаривали и защищали весьма основательно. Потом Толь, молодой полковник, прочел свою записку, тоже весьма основательно предлагая еще новый план. Потом Паулучи предложил план атаки, при котором весьма громко и сердито заспорил с князем Волконским. Так заспорил, что было что-то похожее на дуэль. Пфуль во все время этих споров и его переводчик Вольцоген (его мост в придворном отношении) молчали. Пфуль только презрительно фыркал и отворачивался, пока-



зывая, что против того вздора, который он теперь слышит, он никогда не унижится до возражения. Но, когда князь Волконский вызвал его на изложение своего мнения, он только сказал:

— Что же меня спрашивать, господа? Генерал Армфельд предложил прекрасную позицию с открытым тылом или атаку этого итальянского господина, очень хорошо! Или отступление. Тоже хорошо. Что ж меня спрашивать? — говорил он. — Ведь вы сами знаете лучше меня.

Но когда Волконский, нахмурившись, сказал, что он спрашивает его мнения от имени государя, то Пфуль встал и, вдруг одушевившись, начал говорить:

— Все испортили, все спутали, все хотели знать лучше меня, а теперь пришли ко мне. Как поправить? Нечего поправлять. Надо исполнять все в точности по основаниям, изложенным мною. В чем затруднение? Вздор, детские игрушки. — Он подошел к карте и стал быстро говорить, тыкая сухим пальцем по карте и доказывая, что никакая случайность не может изменить Дрисского лагеря,

что все предвидено и что ежели неприятель действительно пойдет в обход, то он будет уничтожен.

Паулучи, не знавший по-немецки, стал спрашивать его по-французски. Вольцоген подошел на помощь своему принципалу и стал переводить, едва поспевая за Пфулем, который, с своими наивными височками и кисточками, быстро доказывал, что все, все, не только то, что случилось, но все, что только могло случиться, все было предвидено, и вся вина была только в том, что не в точности все исполнено. Он беспрестанно иронически смеялся, доказывал и, наконец, презрительно бросил доказывать, как бросит математик поверять различными способами раз доказанную верность задачи. Вольцоген заменил его, продолжая излагать по-французски, изредка говоря: «Не правда ли, ваше превосходительство?» Пфуль, как в бою разгоряченный человек бьет по своим, сердито кричал и на своего, на Вольцогена:

— Ну да, что еще тут толковать?

И Паулучи и Мишо в два голоса нападали на Вольцогена по-французски, Армфельд по-

немецки приставал к Пфулю. Толь по-русски объяснял князю Волконскому. Князь Андрей молча слушал и наблюдал.

Из всех этих лиц более всех возбуждал участие в князе Андрее озлобленный, решительный и бестолково-самоуверенный Пфуль. По тону, с которым с ним обращались придворные, по тому, что позволил себе сказать Паулчи императору, но главное, по некоторой отчаянности выражения самого Пфуля, видно было, что другие знали и он сам чувствовал, что падение его близко. И, несмотря на свою самоуверенность и немецкую ворчливую ироничность, он был жалок с своими приглаженными волосами на височках и торчавшими на затылке. Он один из всех здесь присутствовавших лиц ничего не желал для себя, ни к кому не питал вражды, а желал только одного — приведения в действие плана, выведенного из теории, выведенной им годами, и этот единственный случай ускользал от него. Он был смешон, был неприятен своей ироничностью, но вместе с тем он внушал невольное уважение своей безраздельной преданностью идее и был жалок.

Кроме того, во всех говоривших была, за исключением Пфуля, одна общая черта, которой не было на военном совете в 1805 году, — это был хотя и скрывааемый, но панический страх перед гением Наполеона, который высказывался в каждом возражении. Предполагали для Наполеона все возможным, ждали его со всех сторон и его страшным именем разрушали предположения друг друга. Один Пфуль, казалось, его считал таким же варваром, как и всех.

Князь Андрей молча слушал и наблюдал. Князь Андрей с удовольствием присутствовал при этой бестолковщине разноязычного говора и даже крика в двух шагах от императора, в комнате, куда он всякую минуту мог войти. Все это было так, как должно было быть, сообразно с его мрачным настроением, и он даже, как Пфуль, радовавшийся чему-то злomu, радовался тому, что все было очень скверно. Те, давно и часто приходившие ему во время его военной деятельности мысли, что нет и не может быть никакой военной науки и поэтому не может быть никакого так называемого военного гения, теперь получили для него со-

вершенную очевидность истины.

«Какая же могла быть теория и наука в деле, которого условия и обстоятельства неизвестны и не могут быть определены, в котором сила деятелей войны еще менее может быть определена? Никто не мог и не может знать, в каком будет положении наша и неприятельская армия через день, и никто не может знать, какая есть сила этого или того отряда. Иногда, когда нет труса впереди, который закричит: „Мы отрезаны!“ — и побежит, а есть веселый, смелый человек впереди, отряд в пять тысяч стоит тридцати, как под Шенграбеном, а иногда пятьдесят тысяч бегут перед восемью, как под Аустерлицем. Какая же может быть наука в таком деле, в котором, как во всяком практическом деле, ничто не может быть определено и все зависит от бесчисленных условий, значение которых определяется в одну минуту, про которую никто не знает, когда она наступит. Армфельд говорит, что наша армия отрезана. А Паулучи говорит, что мы поставили французскую армию между двух огней; Мишо говорит, что гибель Дрисского лагеря в том, что река позади, а

Пфуль говорит, что в этом сила. Толь предлагает позицию, Армфельд предлагает другую; и все хороши, и все дурны, и выгоды всякого предложения могут быть очевидны только в тот момент, когда совершится событие.

И почему все говорят: гений военный? Разве гений тот, который вовремя успеет велеть подвезти сухари и идти тому направо, а тому налево? Отчего же нет гения наживать деньги и хозяйничать? Оттого только, что военные люди облечены блеском и властью и массы подлецов льстят власти, придавая ей не свойственные ей качества гения. Напротив, лучшие генералы, которых я знал, — глупы или рассеянны. Лучший — Багратион, сам Наполеон признал это. Лицо глупо, самодовольно. Лицо Наполеона на Аустерлицком поле я помню. Не только гения и каких-нибудь особенных качеств не нужно хорошему полководцу, но, напротив, ему нужно отсутствие самых лучших, высших человеческих качеств — любви, поэзии, нежности, философского пытливого сомнения. Он должен быть ограничен, твердо верить, что то, что он делает, — очень важно, иначе у него не останется

терпения, и тогда только он будет хороший полководец. Избави Бог, коли он человек, полюбит кого-нибудь, пожалеет, подумает о том, что справедливо и нет. Понятно, что истари еще для них подделали теорию гениев, потому что они — власть».

Так думал князь Андрей, слушая толки, и очнулся только тогда, когда Паулучи позвали к государю и все расходились.

На другой день на смотре государь спросил у князя Андрея, где он желает служить, и князь Андрей навеки потерял себя в придворном мире, не попросив остаться при особе государя, попросив полк. На второй день после совета Болконский оставил главную квартиру, а государь уехал.

## XII

Ростов перед открытием кампании получил письмо родителей, в котором его умоляли выйти в отставку и приехать домой, тогда, когда уж полк был в походе и государя ждали в армии. О разрыве Наташи с Андреем ему писали кратко, объясняя причину его отказом Наташи. Николай ничего не знал о всем происшедшем. Он и не попытался проситься в отпуск, а написал родителям письмо, в котором говорил, что дела могут еще поправиться, но что ежели он теперь уедет от этой великой готовящейся войны, то он навсегда потеряет честь в своих собственных глазах, чего уже нельзя будет поправить. Соне он писал отдельно: «Обожаемый друг души моей. Нынешний год разлуки будет последним. Жди терпеливо и верь в мою вечную, неизменную любовь. После этой войны я бросаю все, беру тебя, ежели ты все будешь любить меня, и мы зароемся в тихое уединение, живя только для любви и друг для друга. Это последнее письмо мое. Следующее будет свиданье, когда я, как невесту, прижму тебя к моей пламенной гру-



ди». Николай, хотя и с старым оттенком романтизма, оставшимся в его тоне (но не в характере), писал то, что он искренно думал.

В полку ему было очень хорошо — еще лучше, чем прежде, но он уже видел, что всю жизнь невозможно прожить так. Отраденская осень и зима, с охотой и святками, открыли ему перспективу тихих дворянских радостей и спокойствия, которые манили его к себе. «Славная жена, дети, добрая стая гончих, лихие десять-двенадцать свор, а там можно и хозяйством заняться и по выборам послужить, — думал он. — Но все это после. Теперь же и здесь хорошо, да и нельзя — кампания».

Приехав из отпуска, радостно встреченный товарищами, Николай был скоро послан за ремонтом (за лошадьми) и из Малороссии привез отличный ремонт. В отсутствие его он был произведен в ротмистры и скоро получил эскадрон.

Больше, чем прежде, он был погружен весь в интересы полковой жизни, хотя уже знал, что рано ли поздно придется их покинуть. Но теперь начиналась кампания, полк был двинут в Польшу, выдавали двойное жалованье,

прибыли новые офицеры, новые люди, лошади и, главное, распространилось то возбужденно-веселое настроение, которое сопутствует началу войны, и Николай, сознавая свое выгодное положение в полку, весь предался удовольствиям и интересам военной службы.

Войска отступали от самой границы, и ни разу до 12 июля павлоградцам не удалось быть в деле, но это постоянное отступление нисколько не приводило в уныние гусаров. Напротив, весь этот отступательный поход в лучшую пору лета, с достаточным продовольствием был постоянным весельем. Унывать, беспокоиться и интриговать могли в главной квартире, а в глубокой армии и не спрашивали себя, куда, зачем идут, смутно слышали что-то про Дрисский лагерь и жалели, что отступают только потому, что надо было выходить из обжитой квартиры, от хорошенькой панны. Ежели и приходило кому-нибудь в голову, что дела плохи, то, как следует хорошему военному человеку, тот, кому это приходило в голову, тем более старался быть весел и не думать об общем ходе дел.

12 июля, ночь накануне дела, была силь-

ная буря; это лето вообще было замечательно своими бурями. Павлоградские два эскадрона стояли биваками за деревней, занятой начальством, среди ржаного, желтевшего, но выбитого дотла поля. Дождь лил ливнем, и Ростов с двумя офицерами, промокнув до костей, жались под огороженным на скорую руку шалашиком. Один офицер с длинными усами, продолжавшимися от щек, имевший привычку близко нагибаться к лицу того, с кем говорил, рассказывал Ростову известия о Салтановском сражении, слышанном им в штабе.

Ростов, пожимая шеей, за которую затекала вода, курил трубку и слушал невнимательно, изредка улыбаясь молодому офицеру Ильину, который жался около него и делал гримасы. Офицер этот, шестнадцати лет, недавно поступивший в полк, был теперь в отношении Николая то, что был Николай к Денисову семь лет тому назад. Ильин старался во всем подражать Ростову и, как женщина, был влюблен в него.

Офицер с двойными усами, Здржинский, рассказывал, что салтановская плотина была

Фермопилы, что на этой плотине был совершен генералом Раевским поступок, достойный древности. Здржинский рассказывал с польским акцентом и с польской восторженностью поступок Раевского, который вывел на плотину своих двух сыновей под страшный огонь и с ними рядом пошел в атаку. Ростов слушал рассказ и не только ничего не говорил в подтверждение восторга Здржинского, но, напротив, имел вид человека, который стыдится того, что ему рассказывают, хотя и не намерен возражать. Действительно, Ростов теперь, после Аустерлицкой и Прусской кампаний, был уже опытен. Он знал по своему собственному опыту, что, рассказывая военные происшествия, всегда врут, как и сам он врал, рассказывая, во-вторых, он имел настолько опытности, что знал, что все происходит на войне совсем не так, как мы можем воображать и рассказывать, и потому ему не нравился рассказ Здржинского. «Во-первых, на плотине, которую атаковали, была, верно, такая путаница и теснота, что ежели Раевский и вывел своих сыновей, то это ни на кого не могло подействовать, кроме на человек

десять, которые случились тут, около. Остальные и не могли видеть этого. Но и те, которые видели это, не могли очень воодушевиться, потому что чт\ им было за дело до нежных родительских чувств Раевского, когда тут дело шло о собственной жизни. Потом оттого, чтобы взять или не взять Салтановскую плотину, не зависела судьба отечества, как нам описывают это в Фермопилах, и потому зачем же было приносить такую жертву. И потом, зачем тут, на войне, мешать своих детей. Я бы не только Петю, брата, не повел, даже и Ильина, этого милого мальчика, постарался бы загородить чем-нибудь», — думал Николай. Но Николай не сказал своих мыслей: он и на это уже имел опыт. Он знал, что этот рассказ содействовал к прославлению нашего оружия, и потому надо было делать вид, что не сомневаешься в нем. Так он и сделал.

— Однако мочи нет, — сказал Ильин, улыбаясь. — И чулки, и рубашка, и под задницу протекло. Пойду искать...

Через пять минут Ильин, шлепая по грязи, прибежал к шалашу.

— Ура! Ростов, идем скорее. Нашел. Вот тут

шагов двести корчма и отлично. И Марья Генриховна там.

Марья Генриховна была жена полкового доктора, молодая, хорошенькая немка, на которой доктор женился в Польше. Доктор, или оттого, что не имел средств, или оттого, что не мог первое время женитьбы разлучаться с молодой женой, возил ее везде за собой при гусарском полку, и ревность доктора сделалась обычным предметом шуток между офицерами.

Ростов, вдвойне довольный отделаться от собеседника, пригибавшегося к самому его лицу, и возможности обсушиться, пошел с Ильиным по лужам воды, под проливным дождем, в темноте вечера, изредка освещаемой молниями.

— Вы где идете? — спрашивал Здржинский.

— В корчму. — И Ильин с Ростовым побежали, раскатываясь по лужам.

— Ростов, ты где?

— Здесь. Какова молния! — переговаривались они.

В корчме, перед которою стояла кибитка

доктора, находилось человек двенадцать офицеров с двух эскадронов. Некоторые в одном угле играли в карты, большинство сидели около улыбающейся, хорошенькой, раскрасневшейся, в кофточке и ночном чепчике Марьи Генриховны. Муж ее, доктор, спал позади ее на широкой лавке. Ростов с Ильиным, встреченные хохотом, вошли в комнату. Вода ручьями текла с них. Марья Генриховна уступила на время свою юбку, чтобы употребить ее вместо занавески, и за этой занавеской Ростов и Ильин с помощью Лаврушки, принесшего вьюки, переоделись и обсушились. В разломанной печке разложили огонь. Достали доску, утвердив ее на двух седлах, покрыли попоной, достали докторов самоварчик, погребец и полбутылки рому, и, попросив Марью Генриховну быть хозяйкой, улыбаясь, толпились все около нее. Кто предлагал ей чистый носовой платок, чтоб обтирать ручки, кто под ноги подкладывал ей венгерку, чтобы не было сыро, кто плащом завешивал окно, из которого дуло, кто обмахивал мух с лица ее мужа, чтобы он не проснулся.

— Оставьте его, — говорила Марья Генри-

ховна, счастливо улыбаясь, — он и так спит хорошо после бессонной ночи.

— Нельзя, Марья Генриховна, — отвечал с хмурой улыбкой офицер, — надо доктору прислужиться. Все может быть, и он меня пожалует, когда ногу или руку резать станет.

Стаканов было только три; и в самоваре воды было только на шесть стаканов, но чай казался крепким от того, что был из мутной дождевой воды, и тем приятнее было по очереди и старшинству получить свой стакан из белых ручек Марьи Генриховны. Все офицеры, казалось, действительно были в этот вечер влюблены в Марью Генриховну. Даже те офицеры, которые играли в другом углу, скоро бросили игру и перешли к самовару, подчиняясь общему настроению ухаживания за Марьей Генриховной. Все были очень веселы, а Марья Генриховна сияла счастьем, как ни старалась она скрывать это.

Ложка была только одна, сахару было больше всего, но размешивать его не успевали, и потому решено было по предложению Ростова, который был главным затейщиком в этом общем ухаживании за Марьей Генрихов-



ной, что она будет мешать сахар каждому. Ростов, получив свой стакан и подлив рому без сахару, попросил Марью Генриховну размешать.

— Да вы ведь без сахару? — сказала она, все улыбаясь, как будто все, что ни говорила она и ни говорили другие, было очень смешно и имело еще другое значение.

— Да мне не сахар, мне только, чтоб вы помешали своей ручкой.

Марья Генриховна согласилась и стала искать ложку.

— Вы пальчиком, Марья Генриховна, — сказал Николай, — еще приятнее будет.

— Горячо, — сказала Марья Генриховна, еще счастливее улыбаясь. Услыхав это, Ильин схватил ведро с водой и, капнув туда рому, просил Марью Генриховну помешать пальчиком.

— Это моя чашка, — говорил он.

После чая Николай взял карты от игроков и предложил играть в короли с Марьей Генриховной. Кинули жребий, кому составлять партию Марьи Генриховны. Ростова без жребия допустили к игре. Правилами игры, пред-

ложено было Ростовым, чтобы тот, кто будет королем, имел право поцеловать ручку Марьи Генриховны, а чтобы тот, кто останется прохвостом, шел бы ставить новый самовар для доктора, когда он проснется.

— Ну, а ежели Марья Генриховна будет королем? — спросил Ильин.

— Она и так королева! И приказания ее — закон!

Всем было очень весело. Но в середине игры из-за Марьи Генриховны поднялась вспутанная голова доктора. Он давно уже не спал и прислушивался к тому, что говорилось, и, видимо, не находил ничего веселого, смешного или забавного во всем, что говорилось и делалось. Лицо его было грустно и уныло. Он поздоровался со всеми офицерами, почесался, попросил позволить ему выйти и, вернувшись, сообщил Марье Генриховне, которая перестала уже так счастливо улыбаться, что дождь прошел и что надо идти ночевать в кибитку, а то все растащат.

— Да я вестового пошлю... двух, — сказал Ростов.

— Я сам стану на часы, — сказал Ильин.

— Нет, господа, вы выпались, а я две ночи не спал, — сказал доктор и мрачно сел подле жены, ожидая окончания игры. Офицерам стало еще веселее, и многие не могли удержаться от смеха, которому они поспешно старались приискивать благовидные предлоги.

Веселый безвредный беспричинный хохот без помощи вина, потому что нечего было пить в этот вечер, звучал всю ночь, до третьего часа утра. Некоторые легли, но не спали, то переговариваясь, смеясь, вспоминая испуг доктора и веселье докторши, то пугая корнета тараканами, то представляя живые картины. Веселый дух нашел на эту молодежь. Несколько раз Николай завертывался с головой, хотел заснуть, но опять одно замечание, сделанное кем-нибудь, развлекало его, опять начинался разговор, и опять смеялись, как дети.

В третьем часу еще никто не заснул, как явился вахмистр с приказом выступать к местечку Островно. Все с тем же говором и хохотом офицеры поспешно стали собираться; опять поставили самовар на грязной воде. Но Ростов, не дождавшись чаю, пошел к эскадро-

ну. Уже светало; дождик перестал, тучи расходились. Было сыро и холодно, особенно в непросохшем платье. Выходя из корчмы, Ростов и Ильин оба в сумерках рассвета заглянули в глянцевитую от дождя кожаную докторскую кибиточку, из-под фартука которой торчали ноги доктора и в середине виднелся чепчик докторши и слышался чей-то сонный свист.

— Что, влюблен? — сказал Ростов Ильину, выходявшему с ним.

— Не влюблен, а так, — отвечал Ильин.

Ростов отошел от коновязи делать нужные распоряжения, и через полчаса подъехал адъютант, скомандовали «Садись», солдаты перекрестились, то же сделал и Ростов, и два эскадрона, вытянувшись в четыре человека, тронулись по большой, обсаженной березами дороге, вслед за какой-то пехотой и батареей.

Разорванные сине-лиловые тучи, краснея на восходе, быстро гнались ветром. Становилось светлее и светлее. Уже ясно виднелась курчавая травка, которая засекает всегда по проселочным дорогам, еще мокрая от вчерашнего дождя; висячие ветви берез, тоже

мокрые, качались от ветра. Яснее и яснее обозначались лица окружавших солдат. Николай ехал с Ильиным, не отстававшим от него, стороной дороги, между двойным рядом березок и, ни на минуту не останавливаясь на мысли о том, что ему предстоит сражение, только радовался утру, ходу своей доброй лошади и воинственному красивому виду двигавшегося подле него своего эскадрона.

Николай в кампании позволил себе вольность ездить не на фронтовой лошади, а на казацкой. И знаток, и охотник, он недавно достал себе лихую донскую, крупную и добрую игреневую лошадь, на которой никто не обскакивал его. Ехать на этой лошади было для Николая наслаждение. Он думал о лошади, об утре, о докторше и не думал об опасности. Но прежде он все портил сам себе своим беспокойством, теперь пришло время, и он был совсем другим, корнет любовался его небрежно-спокойным и изящным видом и каждым движением, когда он либо обрывал листья ракиты, либо дотрагивался тонкой ногой до паха лошади, либо отдавал, не поворачиваясь, докуренную трубку ехавшему сзади гусару.

Только что солнце стало выходить на чистой полосе из-под тучи, как ветер стих, как будто он не смел портить этого прелестного после грозы летнего утра. Капли воды падали, но все затихло, птицы запели, и Николай указал на бекаса, который высоко где-то гоготал в воздухе.

— Коли простоим тут, надо будет сходить в это болото, — сказал Ростов. — А утро какое, прелесть!

Солнце вышло, покачалось на горизонте и исчезло. Уже не видно его стало, а только все засветилось и заблестело. И вместе с этим светом, как будто отвечая ему, раздались впереди выстрелы орудий.

И не успел еще Николай обдумать и определить, как далеки эти выстрелы, как от Витебска прискакал адъютант графа Остермана-Толстого с приказанием идти на рысях по дороге. Ростов весело подъехал к эскадрону и отдал команду. Попрашивая поводья, его донец стал вытягиваться на полных рысях впереди эскадрона. Они обошли пехоту, встретили раненых, спустились под гору, прошли через деревню, поднялись на гору. Лошади ста-

ли взмыливаться, люди раскраснелись.

— Стой, равняйся! — слышалась впереди команда дивизионера, и потом шагом, левое плечо вперед, их провели по линии войск, по которой уже гудели орудия, пуская голубые дымки, и вывели на левый фланг в лощину. Впереди видна была наша цепь, пускавшая дымки и весело перещелкивающаяся с невидимым неприятелем.

Николаю весело, как при звуках самой веселой музыки, стало от этих звуков, которых он не слышал уже четыре года. Трап-та-тап! — хлопали вдруг два-три выстрела, замолкали на мгновение и опять налаживались, точно молотьба цепями. Николай стал осматриваться: справа стояла наша пехота густой колонной — это были резервы, слева, на горе, видны были на чистом, чистом воздухе в утреннем косом и ярком освещении, на самом горизонте, наши пушки с копошившимися около них людьми, застилавшимися дымом, спереди наша густая цепь отстреливалась с неприятелем, который, приближаясь, стал тоже виден.

Граф Остерман с свитой проехал сзади эс-

кадрона и, остановившись, поговорил с командиром полка и отъехал к пушкам на гору. Эскадрон Ростова стоял во второй линии. Впереди были еще уланы. Вслед за разговором Остермана с полковым командиром у улан слышалась команда построения в колонну к атаке, и Николай заметил, что пехота впереди сдвоила взводы, чтобы пропустить уланы. Уланы тронулись, колеблясь флюгерами пик, и вслед за тем гусар выдвинули в гору, в прикрытие к батарее. Николай теперь не находился, как прежде, в тумане, который мешал ему наблюдать все, что делалось перед ним. Напротив, он внимательно следил за всем. Уланы пошли влево в атаку на неприятельскую кавалерию, и в это же самое время по гусарам, выходявшим на их место, из цепи пролетели, визжа и свистя, далекие, не попадавшие пули. Звук этот, давно не слышанный, еще радостнее и возбуждательнее подействовал на Николая, чем прежние звуки стрельбы. Он, выпрямившись, разглядывал поле сражения, открывшееся с горы. Уланы близко налетели на французских драгун, что-то спуталось там в дыму, и через пять минут уланы



и драгуны вместе понесли назад к той ложине, в которой прежде стояли гусары. Уланы бежали. Драгуны то впереди, то сзади их перемешивались с ними, махая саблями. Ростов поскакал к полковнику с просьбой атаковать. Полковник ехал к нему.

— Андрей Севастьяныч, велите...

Полковник начал говорить, что не было приказания, но в это время пуля ударила его в ногу, и он, охнув, схватился за шею лошади. Ростов повернул лошадь, рысью выехал вперед эскадрона и скомандовал движение. Ростов сам не знал, как и почему он это сделал. Все это он сделал, как он делал на охоте, не думая, не соображая. Он видел, что драгуны близко, что они скачут, расстроены; он знал, что они не выдержат, он знал, что была только одна минута, которая не воротится, ежели он упустит ее. Пули так возбуждительно визжали и свистели вокруг него, лошадь так горячо просилась вперед, и потом, главное, он знал, что еще минута, еще такое зрелище, как то, как вскрикнул жалобно полковник, хватаясь за ногу, и чувство страха, которое уже близко, возьмет верх. Он скомандовал, тронул ло-

шадь и в то же мгновение услышал за собой звук топота своего развернутого эскадрона. На полных рысях он сошел под гору. И, оглянувшись на своих, крикнул: «Марш, марш», — и выпустил лошадь.

В ту минуту, как он оглянулся, он увидел испуганное лицо Ильина и, сам не зная почему, сказал себе: «Верно, что убьют сейчас». Но думать некогда было, драгуны были близко. Передние, увидав гусар, стали поворачивать назад, задние приостанавливаться. С чувством, с которым он несся наперерез волку, Ростов скакал наперерез расстроенным рядам французских драгун. Один улан остановился, один пеший припал к земле, чтоб его не раздавили, одна лошадь без седока замешалась с гусарами. Драгуны стали поворачиваться и поскакали назад. Николай, выбрав себе одного на серой лошади, вероятно, офицера, пустился за ним. По дороге он налетел на куст; добрая лошадь перенесла его через него, и, едва справясь на седле, Николай увидел в пяти шагах своего офицера, только что пустившегося скакать назад за своими драгунами. Через мгновенье лошадь Николая ударила гру-

дью в зад лошади офицера, чуть не сбила ее с ног, и в то же мгновенье Николай, сам не зная зачем, ухватив за перевязь, не столько сбил его с лошади, сколько, упершись об него, удержался на своей лошади. Офицер свалился с лошади и зацепился за стремя. Тут Николай взглянул в лицо своего врага, чтобы увидеть, кого он победил. Драгунский французский офицер стоял на земле одной ногой, другой держался, запутавшись в своем стремени. Он, испуганно щурясь, как будто ожидая всякую секунду удара, смотрел снизу вверх на Ростова. Лицо его было бледно, и пыльные волосы прилипли от пота. Но лицо белокурое, молодое, с дырочкой на подбородке и светлыми голубыми глазами, — не для поля сражения лицо, а самое простое комнатное лицо. Еще прежде, чем Николай решил, что он с ним будет делать, вероятно, из запаса старых детских воспоминаний, Николай закричал: «Сдавайтесь». И офицер и рад бы, но не мог выпутаться из стремени и достать, чтоб отдать свою прижатую лошадыми саблю. Подскочившие гусары взяли пленного офицера, и Ростов тут взглянул. Гусары с разных сторон вози-

лись с драгунами, один был ранен, но с лицом в крови не давал свою лошадь, другой, обняв гусара, сидел на крупе его лошади. Третий влезал, поддерживаемый гусаром. Несколько драгун было взято, другие ускакали.

Впереди бежала, стреляя, французская пехота. Гусары повертели, поехали назад. Только поднимаясь назад в гору, Ростов с ужасом вспомнил о том, что он без приказа атаковал неприятеля, и со страхом увидел ехавшего ему навстречу Остермана. «Беда, — подумал Ростов, — и черт меня дернул, стояли бы на своем месте». Но кроме этого страха, Ростов испытывал еще какое-то неприятное чувство, что-то неясное, запутанное, что открылось ему взятием в плен этого офицера, чего он не мог успеть объяснить себе. Граф Остерман-Толстой не только благодарил Ростова, но объявил, что он представит государю о его молодецком поступке, будет просить для него Георгиевский крест и будет иметь в виду как блестящего храброго офицера. Хотя и неожиданно, но похвалы эти были очень приятны Ростову. Но что-то мучило его. Ильин?

— Где корнет? — спросил он.

— Ранены, Топчинко их отвели.

«Ах, жалко», — подумал Ростов. Но все не то, что-то другое мучило его, что-то такое, чего он никак не мог объяснить себе. Он подъехал, еще посмотрел на офицера с дырочкой на подбородке и голубыми глазами, поговорил с ним, заметил его притворную улыбку, и все ничего не мог понять. Весь этот день и следующие дни друзья и товарищи Ростова заметили, что он не скучен, не сердит, но молчалив, задумчив и сосредоточен. Он неохотно пил, старался оставаться один и о чем-то все думал.

Ростов все думал об этом своем блестящем подвиге, который, к удивлению его, его чрезвычайно прославил и приобрел ему Георгиевский крест, и все ничего не мог понять. «Так и они еще больше боятся нашего, — думал он, — а я их боялся. И что за глупость, и гораздо опаснее быть сзади, чем спереди. Так только-то и есть всего то, что называется героизмом и подвигом за веру, царя и отечество? И разве я это делал для отечества? И в чем он виноват с своей дырочкой и голубыми глаза-

ми? А как он испугался! Он думал, что я убью его. За что ж мне убивать его? А отчего же Георгиевский крест и потом мало ли какую карьеру можно сделать. Ничего, ничего не понимаю!»

Но пока Николай перерабатывал в себе эти вопросы и все-таки не дал себе ясного отчета в том, что так смутило его, колесо счастья по службе, как это часто бывает, повернулось в его пользу. Его выдвинули вперед, дали ему батальон гусаров, поручили ему аванпосты, и там он еще больше убедился в том, что чем ближе к неприятелю, тем безопаснее и выгоднее по службе. И Николай понемногу вошел в свою роль храбреца известного и не обсуждал больше всего того, что смутило его сначала, а, забыв даже эти сомнения, утешался своим новым лестным положением.

### XIII

Прошло более года с того времени, как Наташа отказала Андрею и из своей вечно счастливой, радостной жизни вдруг перешла к тупому отчаянию, которое смягчила, но не рассеяла религия.

Лето 1811 года Ростовы провели в деревне. В Отрадном были жгуче-живые воспоминания о том времени, когда Наташа чувствовала себя в этом Отрадном столь беззаботно-счастливой и столь открытой ко всем радостям жизни. Теперь она не ходила гулять, не ездила верхом, не читала даже, а молча сидела по целым часам в саду на скамейке, на балконе или в своей комнате.

С самого того страшного времени, когда она написала князю Андрею письмо и поняла всю злобу своего поступка, она не только избегала всех внешних условий радости: балов, катаний, концертов, театров, но она ни разу не смеялась так, чтобы из-за смеха ее не видны были слезы, она не могла петь. Как только начинала она смеяться или петь, слезы душили ее — слезы раскаяния, слезы воспомина-

ния о том невозвратимом, чистом времени, слезы досады, что так задаром погубила она свою молодую жизнь, которая могла бы быть так счастлива. Смех и пенье особенно казались ей кощунством над прошлым горем.

О кокетстве она и не думала. Никогда ей не приходилось даже воздерживаться. Она говорила — и это было совершенно справедливо — все мужчины были для нее совершенно то же, что шут Настасья Иванович.

Внутренний страж твердо воспрещал ей всякую радость. Да и не было в ней всех прежних интересов жизни из того девичьего, беззаботного, полного надежд склада жизни. Как часто (и чаще всего) вспоминала она эти осенние месяцы, когда она была невеста, проведенные с Николаем на охоте. Что бы она дала, чтобы вернуть хоть один день из них. Но уж это навсегда кончено было. Предчувствие не обманывало ее тогда, что это состояние свободы и открытости для всех радостей никогда уже не возвратится больше. Но жить надо было, и это было всего ужаснее. Одно время жизнь ее была наполнена религией, которая открылась ей стороной смирения, от



которой так далека она была в прежней жизни.

В начале июля в Москве распространялись все более и более тревожные слухи о ходе войны: говорили о воззвании государя к народу, о приезде самого государя из армии в Москву. И так как до 11 июля манифест и воззвание не были получены, то о них и о положении России ходили преувеличенные слухи. Говорили, что государь уезжает потому, что армия в опасности, говорили, что Смоленск сдан, что у Наполеона миллион войска и что только чудо может спасти Россию.

11 июля, в субботу, был получен манифест, но еще не напечатан, и на другой день, в воскресенье, Пьер, бывший у Ростовых, обещал приехать обедать и привезти манифест и воззвание, которое он достанет у графа Ростопчина. В это воскресенье Ростовы, по обыкновению, поехали к обеду в домовую церковь Разумовских. Был жаркий июльский день. Уже в 10 часов, когда Ростовы вылезали из кареты перед церковью, в жарком воздухе, в криках разносчиков, в ярких и светлых летних платьях толпы, в запыленных листьях де-

ревьев бульвара, в громе мостовой, в звуках музыки и белых панталонах пришедшего на развод батальона, в ярком блеске жаркого солнца было то летнее томление, довольство и недовольство настоящим, потребность желания невозможного, которое особенно резко чувствуется в ясный жаркий день в городе. В церкви Разумовских была вся знать московская, все знакомые Ростовых (в этот год, как бы ожидая чего-то, очень много богатых семей, обыкновенно разъезжающихся по деревням, остались в городе). Проходя позади лифрейного лакея, раздававшего толпу подле матери, Наташа слышала шепот обращавших на нее внимание друг другу.

— Это Ростова, — та самая...

— А как хороша!

Она слышала, или ей показалось, что были упомянуты имена Курагина и Болконского. Впрочем, ей всегда это казалось. Ей всегда казалось, что все, глядя на нее, только и думают о том, что с ней случилось. Страдая и замирая в душе, как всегда в толпе, Наташа шла в своем лиловом шелковом с черными кружевами платье так, как умеют ходить женщины, —

тем спокойнее и величавее, чем больше и стыднее у ней было на душе. Она знала и не ошибалась, что она хороша, но это не радовало ее, как прежде. Напротив, это мучило ее больше всего последнее время и в особенности в этот яркий, жаркий летний день в городе. «Еще воскресенье, еще неделя, — говорила она себе, вспоминая, как она была тут в то воскресенье, — и все та же жизнь без жизни, и все те же условия, в которых так легко бывало жить прежде. Хороша, молода, и знаю, что я добра, — думала она, — а так даром, даром проходят лучшие, лучшие годы». Она стала на обычное место, перекинулась с близко стоявшими знакомыми. Наташа по привычке рассмотрела туалеты дам, осудила манеру держаться и неприличный способ креститься на малом пространстве, но, услышав звуки службы, она вспомнила о грехе осуждения, о своей мерзости душевной, и прежние воспоминания умиления охватили ее, и она стала молиться.

Редко, даже в лучшие минуты прошлого поста она находилась в таком умилении, в каком она находилась этот день. Все эти знако-

мые, непонятные звуки и еще более непонятные торжественные движения были то самое, что было нужно ей. Она старалась понимать и счастлива была, когда она понимала некоторые слова: «Миром Господу помолимся» или: «Сами себя и друг друга Христу Богу предадим». Она понимала их по-своему. Миром — значит, наравне со всеми, со всем миром, — не я за себя, а мы все просим тебя, Боже. «Сами себя Богу предадим» она понимала в смысле отрицания всякой воли и желаний и мольбы к Богу руководить мыслями и желаниями. Но когда она, вслушиваясь, не понимала, ей было еще сладостнее думать, что желать понимать есть гордость, что понять нельзя, а надо только верить и отдаваться. Она крестилась и кланялась сдержанно, стараясь не обратить на себя внимание, но старая графиня, не раз оглядываясь на ее строго-сосредоточенное неподвижное лицо, с блестящими глазами, вздыхала и отворачивалась, чувствуя, что что-то важное творится в душе дочери, сожалея, что не может принять участия в этой внутренней работе, и моля Бога, чтоб он помог, дал утешение ее бедной

невинно несчастной девочке.

Певчие пели прекрасно. Благообразный, тихий старичок служил с той кроткою торжественностью, которая так величаво, успокоительно действует на души молящихся. Царские двери затворились, медленно задернулась завеса; таинственный тихий голос произнес что-то оттуда. Непонятные для нее самой слезы стояли в груди Наташи, и радостное и томительное чувство давило ее.

«Научи меня, что мне делать, как мне быть с моей жизнью», — думала она.

Дьякон вышел на амвон, прочел о трудящихся, угнетенных, о царях, о воинстве, о всех людях, и опять повторил те утешительные слова, которые сильнее всего действовали на Наташу: «Сами себя и живот наш Христу Богу предадим».

«Да, возьми же меня, возьми меня», — с умиленным нетерпением в душе говорила Наташа, не крестясь уже, а бессильно и преданно опустив свои тонкие руки и как будто ожидая, что вот-вот невидимая сила возьмет ее и избавит от себя, от своих сожалений, желаний, укоров и надежд.

Неожиданно, в середине и не в порядке службы, который Наташа хорошо знала, дьячок вынес скамеечку, ту самую, на которой читались коленопреклоненные молитвы в Троицын день, и поставил ее перед царскими дверьми. Священник вышел в своей лиловой бархатной скуфье, оправил волосы и стал на колени. Все сделали то же, хотя с некоторым недоумением. Это была молитва, только что полученная из синода, молитва о спасении России от вражеского нашествия.

Священник читал тем ясным, ненапыщенным и кротким голосом, которым читают только одни духовные славянские чтецы и который так неотразимо действует на русское сердце.

Наташа всей душой повторяла слова общей молитвы и молилась о том, о чем молились все, но как это часто бывает, она, слушая и молясь, не могла удержаться, чтоб в то же время не думать. При чтении слов: «Сердце чисто созижди в нас, и дух прав обнови во утробе нашей; всех нас укрепи верою в Тя, утверди надеждою, одушеви истинною друг к другу любовью», — при этих словах ей вдруг

мгновенно пришла мысль о том, что нужно для спасения отечества. Так же как в вопросе о долгах отца ей пришло на ум простое ясное средство исправить все дело тем, чтобы жить умереннее, так теперь ей представилось ясное средство победить врага. Средство это состояло в том, чтобы действительно всем соединиться любовью, отбросить корысть, злобу, честолюбие, зависть, любить всем друг друга и помогать, как братьям. Надо всем просто сказать: «Мы в опасности, давайте отбросим все прежнее — отдадим все, что у нас есть, — жемчужное ожерелье (как в „Марфе Посаднице“), не будем жалеть никого — пускай Петя идет, так как он этого хочет, — и все будем покорны и добры, и никакой враг ничего не сделает нам. А ежели мы будем все ждать помощи, ежели будем спорить, ссориться, как вчера Шиншин с Безуховым, то мы погибнем».

Наташе это казалось так ясно, просто, несомненно, что она удивлялась, как прежде это никому не пришло в голову, и она душою радовалась тому, как она передаст эту мысль своим и Пьеру, когда он приедет. «Только Без-

ухов не поймет. Он такой странный. Я никак не пойму его. Он лучше всех, но он странный».

## XIV

К обеду по обещанию приехал Пьер прямо от графа Ростопчина, у которого он списал манифест и воззвание и от которого узнал положительное известие, что завтра приедет в Москву государь. Пьер, за год еще более потолстевший, пыхтя, вошел на лестницу. Кучер его уже не спрашивал, дожидаться ли. Он знал, что когда граф у Ростовых, то до двенадцатого часу. Лакеи Ростовых радостно бросились снимать плащ. Пьер, по привычке клубной, и палку и шляпу оставлял в передней. В зале его встретил красивый, румяный широколицый 15-летний мальчик, похожий на Николая. Это был Петя. Он готовился в университет, но в последнее время с товарищем своим Оболенским они тайно решили, что пойдут в гусары. Петя выскочил вперед к своему тезке, чтобы переговорить о деле. Он просил его узнать, примут ли его в гусары.

— Ну что, Петрухан, — сказал Пьер, весело



показывая свои порченые зубы и дергая его вниз за руку. — Опоздал?

— Ну что мое дело, Петр Кирилыч? Ради бога. Одна надежда на вас, — говорил Петя, краснея.

— Нынче скажу все. Уж я устрою, — отвечал Пьер.

Соня, увидав Пьера, только присела ему и сказала:

— Пьер, Наташа у себя, я пойду позову ее.

Пьер не только был свой, домашний человек, но такой домашний человек, который был дружен преимущественно с одним из членов семьи — с Наташей, и все это знали.

— Ну что, мой дорогой, ну что, достали манифест? — спросил граф. — А графинюшка были у обедни у Разумовских, молитву новую слышали. Очень хорошая, говорят.

Пьер охлопывал карманы и не мог найти бумаг и, продолжая охлопывать карманы, целовал руку у графини.

— Ей-богу, не знаю, куда я его дел, — говорил он.

— Ну уж вечно растеряет все, — говорила графиня.

Соня и Петя улыбались, глядя на растерянное лицо Пьера. Наташа вошла в том же лиловом платье. Несмотря на свою заботу отыскать бумаги, Пьер тотчас заметил, что с Наташей произошло что-то особенное. Он поглядел на нее пристальнее.

— Ей-богу, я съезжу... я дома забыл. Непременно.

— Ну, уж и так опоздали обедать.

— Ах, и кучер уехал.

Все стали искать и, наконец, бумаги нашли в шляпе Пьера, куда он их старательно заложил за подкладку.

— Ну что ж, все правда? — спросила его Наташа.

— Все правда. Дело нешуточное... вот прочтите.

— Нет, после обеда, — сказал старый граф, — после.

Но Наташа выпросила бумагу и вся красная, взволнованная пошла читать, сказав, что не хочет обедать.

Пьер подал руку графине, и пошли в залу.

За обедом Пьер рассказывал городские новости о снятии Дрисского лагеря, о болезни

старой грузинской княгини, о том, что Метивье исчез из Москвы, и о том, что к Ростопчину привели какого-то немца и объявили ему, что это шампиньон, — так рассказывал сам граф Ростопчин Пьеру, и как Ростопчин велел шампиньона отпустить, сказав, что это просто старый гриб и немец.

— Хватают, хватают, — сказал граф, пережевывая пирожок, — я графине и то говорю, чтоб поменьше говорила по-французски. Теперь не время.

— И то, — сказал Пьер. — Князь Дмитрий Голицын русского учителя взял — по-русски учится. Действительно, становится опасным говорить по-французски на улицах.

— Что ж, и очень хорошо написано воззвание? — сказал граф, предвкушая удовольствие послеобеденного чтения. — Ну что, Наташ?

Наташа ничего не отвечала из гостиной.

— Наташа моя в восторге от молитвы, — сказала графиня.

— Ну, что ж, граф, как ополчение-то собирать будут, и вам придется на коня, — сказал граф, обращаясь к Пьеру.

Пьер засмеялся.

— Какой я воин? Я и на лошадь не влезу, и после обеда спать нельзя... — сказал он.

— Вот я не понимаю, — заговорила вдруг горячо Наташа, вышедшая в столовую, опять краснея, — зачем вы этим шутите? Это не шутка. Ведь я знаю, что вы первый всем пожертвуете, зачем вы шутите? Я вас никак не понимаю.

Пьер улыбнулся и, подумав немножко и ласково, внимательно поглядев на Наташу, сказал:

— Да я и сам не понимаю! Я не знаю, я так далек от военных вкусов, и мне кажется, так легко человеку, разумному существу, обойтись без войны...

— Нет, пожалуйста, не шутите так, — сказала Наташа, ласково улыбаясь Пьеру, и села за стол, но есть не хотела.

— Вот патриотка-то... — сказал старый граф. Графиня только покачала головой.

После обеда подали кофе. Граф уселся покойно в кресла и с улыбкой на лице попросил Соню, славившуюся мастерством чтения, читать: «Неприятель вступил в пределы России.

Он идет разорять любезное наше отечество...»

Несколько раз граф прерывал чтение и просил повторить. Когда прочли о знаменитом дворянстве, граф проговорил:

— Так, так.

Наташа во время чтения сидела вытянувшись, испытующе и прямо глядя то на отца, то на Пьера, отыскивая на их лицах выражения того чувства, которое было в ней.

— Да, еще бы, мы все отдадим, все, все пойдем! — закричал граф, когда кончилось чтение. — Как же, очень испугались!

Наташа неожиданно вскочила и, обняв отца, стала целовать.

— Что ж это такое! Какая прелесть этот пап

Этот восторг Наташи оживил еще более графа. Он сам, надев очки, прочел еще раз воззвание, несколько раз прерываясь от сопения, как будто к носу ему подносили склянку с крепкой уксусной солью.

Едва только граф кончил, как Петя, еще прежде вставший и махавший сам для себя сжатыми кулаками, подошел к отцу и весь красный, но твердым, хотя то грубым, то тон-

КИМ ГОЛОСОМ СКАЗАЛ:

— Ну, теперь, папенька, я решительно скажу, и маменька тоже, как хотите, — я решительно скажу, что вы пустите меня в военную службу, потому что я не могу... вот и все...

Графиня только с ужасом пожала плечами и ничего не сказала, но граф в ту же минуту оправился от волнения и тотчас же насмешливо обратился к Пете:

— Ну, ну, — сказал он. — Глупости-то оставь.

— Это не глупости, папенька. Оболенский Федя моложе меня и тоже идет, а главное, что все равно я не могу ничему учиться, и теперь, когда... — Петя остановился, покраснел до поту и проговорил-таки, — когда отечество в опасности.

— Полно, полно, глупости.

— А я вам говорю. Вот и Петр Кирилыч скажет, и Наташа скажет.

— Я тебе говорю — вздор! И то сердце изболело за одного, а тут ребенок, молоко не обсохло... Ну, ну, я тебе говорю, — и граф, взяв с собой бумаги, вероятно, чтобы еще раз прочесть в кабинете перед отдыхом, пошел из

комнаты.

— Петр Кирилыч, что ж, пойдем поку-  
рить...

Безухов встал, задумчиво покачивая голо-  
вой. Петя выбежал за ним и, схватив за руку,  
шепотом проговорил:

— Петр Кирилыч, голубчик, уговорите, ра-  
ди Христа.

Пете было решительно отказано. Он ушел  
один в свою комнату и там, запершись от  
всех, горько плакал. Все сделали вид, как буд-  
то ничего не заметили, когда он к чаю при-  
шел молчаливым и мрачным, с заплаканны-  
ми глазами.

После чаю, как обыкновенно, когда Пьер  
оставался на вечер у Ростовых, он составил с  
Ириной Яковлевной и доктором партию гра-  
фине. Пьер ездил к Ростовым для Наташи, но  
он очень редко бывал с нею и говорил с нею  
отдельно. Ему нужно было только, чтобы ему  
было радостно и покойно чувствовать ее при-  
сутствие, смотреть на нее, слушать ее. И она  
знала это и всегда бывала там же, где он, ко-  
гда он бывал у них. Ей самой было приятней  
всего в его присутствии: он только один не тя-

жело, а напротив, утешительно напоминал ей о том мрачном времени.

После игры Пьер остался у стола, рисуя на нем фигуры. Надо было уезжать. И как всегда, именно когда надо было уезжать, Пьер чувствовал, как ему хорошо было в этом доме. Наташа и Соня подошли к нему и сели у стола.

— Что это вы рисуете?

Пьер не отвечал.

— Однако, — сказал он Наташе, — вы не на шутку заняты войной, — я этому рад. — Наташа покраснела. Она поняла, что Пьер рад ее увлеченью, потому что увлечение это заслонит ее горе. — Нет, — отвечая на ее мысль, сказал Пьер, — я люблю наблюдать, как женщины обращаются с мужскими вопросами, у них все выходит ясно и просто.

— Да и что ж может быть неясно, граф? — сказала Наташа оживленно. — Нынче, слушая молитву, мне так все ясно стало. Надо только смириться, покориться друг другу и ничего не жалеть, и все будет хорошо.

— А вот вы жалеете же Петю.

— Нет, не жалею. Я бы его ни за что не по-



слала, но ни за что бы не удерживала.

— Жалко, что я не Петя, а то меня вы посылаете, — сказал Пьер.

— Вас, разумеется. Да вы и так пойдете.

— Ни за что, — отвечал Пьер и, увидав недоверчиво-добрую улыбку Наташи, продолжал: — Удивляюсь, за что вы обо мне такого хорошего мнения, — сказал он. — По-вашему, я могу все хорошо сделать и все знаю.

— Да, да, все. А теперь самое главное — защита отечества, — опять слово «отечество» задержало Наташу, и она поторопилась оправдаться в употреблении этого слова. — Право, я сама не знаю отчего, но я день и ночь думаю, что с нами будет, и я ни за что, ни за что не покорюсь Наполеону,

— Ни за что, — серьезно повторил ее слова Пьер и стал писать. — А это вы знаете, — сказал он, пиша ряд цифр. Он объяснил, что все цифры имеют значение букв и что по этому счислению написать 666 — выйдет: L'empereur и 42. И рассказал предсказание Апокалипсиса. Наташа долго с горячно устремленными глазами смотрела на эти цифры и поверяла их значение.

— Да это страшно, — говорила она, — и комета. — Наташа так была взволнована, что Пьер раскаивался даже в том, что сказал ей это.

## XV

**12**-го числа государь приехал в Москву, 13-го с раннего утра слышался благовест во всех церквях, и толпы праздничного народа шли по Поварской мимо дома Ростовых к Кремлю.

Несколько человек дворовых отпросились пойти посмотреть царя. Петя после своего объяснения с родителями продолжал иметь таинственный и обиженный вид. В это утро Петя долго один одевался, причесывался, все устраивал воротнички так, как у больших. Он хмурился перед зеркалом, делал жесты, пожимал плечами и, наконец, никому не сказавшись, надел шляпу и, стараясь не быть замеченным, вышел с заднего крыльца на улицу. Петя решил идти прямо к государю, сказать какому-нибудь камергеру (Пете казалось, что государя всегда окружают камергеры) и прямо объяснить, что он, граф Ростов, желает

служить отечеству, что молодость не может быть препятствием для преданности, и много еще прекрасных слов приготовил Петя в то время, как он собирался, рассчитывая, что успех его прошения к государю должен зависеть от того, что он ребенок (Петя думал даже, как все удивятся его молодости), а вместе с тем он хотел казаться стариком и так устроил свою одежду и наружность и с самым строгим степенным видом, медленным шагом шел по улице; но чем дальше он шел, тем больше он развлекался все прибывающим и прибывающим у Кремля народом. Потом уже стал заботиться о том, чтоб его не затолкали, и решительно, с угрожающим видом выставил по бокам локти. Но в Троицких воротах, несмотря на всю его решительность, люди, которые, вероятно, не знали, с какой патриотической целью он идет в Кремль, так прижали его, что он должен был покориться и остановиться, пока в ворота проезжали экипажи. Около Пети стояли баба с лакеем, два купца и отставной солдат. На веснушках покрытом лице бабы, и на сморщенном с седыми усами лице солдата, и на чиновнике, худом и горба-

том, было одно выражение ожидания и торжественности, когда говорили о том, где государь, чего никто не знал.

Постояв несколько времени в воротах, Петя прежде других хотел тронуться дальше и начал решительно работать локтями, но баба, стоявшая против него, на которую он на первую направил свои локти, сердито крикнула на него:

— Что, барчук, толкаешься, видишь, все стоят! Что ж лезть-то?

Петю поразило, что эта баба, за минуту перед этим так нежно говорившая о том, что «не прошли ли уж батюшка-то наш», тотчас же так ворчливо напустилась на него. Он остановился, не в силах достать платка, в тесноте руками отер пот, покрывавший его лицо, и поправил размочившиеся от пота воротнички, которые он так хорошо устроил дома. Петя чувствовал, что он имеет непрезентабельный вид, и боялся, что если таким он теперь представится камергерам, его не допустят до государя. Но оправиться и перейти в другое место не было возможности от тесноты. Хуже всего было, когда в ворота проезжал

с гудящим под сводами звуком какой-нибудь генерал с плюмажем, тогда Петю затискивали в вонючий угол. Один генерал был знакомый. Петя хотел просить его помощи, но счел, что это было бы противно мужеству. Он иронически улыбался на слова окружающих, которые принимали генерала за государя.

Но вот толпа хлынула и вынесла и Петю на площадь, которая была вся занята народом. Не только по площади, но и на крышах арсенала, на пушках, — везде все были разноцветные фигуры и головы, головы, головы, головы. Только что Петя очутился на площади, как вдруг все головы открылись, все бросилось еще куда-то вперед. Петю сдавили так, что он не мог дыхнуть, и все закричало: «Ура, ура, ура!» Петя поднимался на цыпочках, но видел только движущихся толпами генералов и один плюмаж, который он принял за лицо государя.

Та баба, которая в воротах так сердилась на него, стояла рядом с Петей и рыдала, и слезы текли у ней из глаз.

— Отец. Ангел. Батюшка. Ура! — кричали все, и многие плакали. Петя, сам себя не пом-

ня, стиснув зубы и зверски выкатив глаза, бросился вперед, работая локтями и крича «ура», как будто он готов был и себя и всех убить в эту минуту, но с боков лезли точно такие же зверские лица с такими же криками «ура».

«Так вот что такое государь, — подумал Петя. — Нет, нельзя мне самому подать ему прошение. Это слишком смело». Петя остановился, но в это время толпа заколебалась назад (спереди жандармы оттапывали надвигавшихся слишком близко к шествию), государь проходил из дворца в Успенский собор. Петя неожиданно получил в бок такой удар по ребрам и так был придавлен, что он завизжал от боли, и священник или дьячок, стоявший подле, сжалившись над ним, подхватил его под руку.

— Барчонка задавили, — сказал дьячок. — Что ж так, легче.

Толпа опять разровнялась, и дьячок вывел Петю, бледного и не дышащего, к пушкам. Несколько лиц пожалели Петю, и вся толпа обратилась вдруг к нему, и уж вокруг него давили друг друга. Те, которые стояли ближе,

прислуживали ему, расстегивали его сюртук, усаживали на пушку и укоряли кого-то, тех, кто раздавил его.

— Этак до смерти раздавить можно. Что ж это? Душегубство делать. Вишь, сердечный, как скатерть белый стал, — говорили голоса.

Петя скоро опомнился. Краска вернулась ему в лицо, боль прошла, и за эту временную неприятность он получил место на пушке, с которой он уже наверное увидит проходящего назад государя. Петя уже не думал теперь о подаче прошения. Уж только ему бы увидеть его, и то он бы считал себя счастливым.

Во время службы в Успенском соборе — соединенного молебствия по случаю приезда государя и благодарственного молебствия за заключение мира с турками, толпа пораспространилась, и слышались обыденные разговоры. Одна купчиха показывала свою разорванную шаль и сообщала, как дорого она была куплена; другая говорила, что нынче все шелковые материи дороги стали. Дьячок, спаситель Пети, разговаривал с чиновником о том, кто служит с высокопреосвященным. Два молодые мещанина шутили с дворовыми

девушками, грызущими орехи. Все эти разговоры, в особенности шуточки с девушками, для Пети в его возрасте имевшие особенную привлекательность, все эти разговоры теперь не занимали Петю; он сидел на своем возвышении — пушке, все так же волнуясь при мысли о государе и о своей любви к нему. Совпадение чувства боли и страха, когда его сдавили, с чувством восторга еще более усиливало в нем сознание важности этой минуты.

При выходе из церкви Пете удалось с пушки видеть государя, хотя из-за слез он не мог ясно рассмотреть его лицо, и, увидав его, он закричал «ура» неистовым голосом и решил, что завтра же, что бы это ни стоило, будет военным. Хотя было уже поздно, и Петя ничего не ел, и пот лил с него градом, он не уходил домой и вместе с уменьшившеюся толпой, хотя и поредевшей, но еще огромной, стоял перед дворцом, любовно глядя в окно и с трепетом счастья ожидая еще чего-то и завидуя одинаково и сановникам, подъезжавшим к крыльцу — к обеду государя, и камер-лакеям, служившим за столом и мелькавшим в ок-



нах. Два раза в окно видна была голова государя, и подняли крик «ура».

За обедом государя Валуев сказал, оглянувшись в окно:

— Народ все еще надеется увидеть ваше величество.

Обед клонился к концу. Государь встал и, доедая бисквит, вышел на балкон. Народ, с Петей в середине — а Пете казалось, что он, окруженный народом, — бросился к балкону.

— Ангел! Отец! Ура! Батюшка! — кричали народ и Петя, и опять бабы и некоторые мужчины послабее, в том числе и Петя, показали слезы на глазах. Государь велел подать себе тарелку бисквитов и стал кидать бисквиты с балкона. Глаза Пети налились кровью, опасность быть задавленным еще более возбуждала его, он бросился на бисквиты. Он не знал зачем, но нужно было взять один бисквит из рук царя, и нужно было не поддаться. Он бросился и сбил с ног старушку, ловившую бисквит. Но старушка не считала себя побежденною, хотя и лежала на земле. Петя коленкой отбил ее руку и схватил бисквит и, как будто боясь опоздать, опять закричал «ура» уже

охриплым голосом.

Государь ушел, и после этого большая часть народа стала расходиться.

— Вот я говорил, что еще подождать, — так и вышло, — с разных сторон радостно говорили в народе.

Как ни счастлив был Петя, но ему все-таки грустно было идти домой и знать, что все наслаждение этого дня кончилось. Из Кремля Петя, совершенно эпатировавшись, пошел не домой, а к своему товарищу Оболенскому, которому было 15 лет и который тоже поступал в полк. Вернувшись домой, он решительно и твердо объявил, что ежели его не пустят, то он убежит. И на другой день, хотя и не совсем еще сдавшись, но граф Илья Андреевич поехал узнавать, как бы пристроить Петю куда-нибудь побезопаснее.

15-го числа, утром, на третий день после этого, у Слободского дворца стояло бесчисленное количество экипажей, и опять Петя между ними, но на этот раз с Соней и Наташей и душой спокоен.

Залы были полны. Первая была полна дворян в мундирах, вторая купцами с медалями,

в бородах и синих кафтанах. По всем залам шел гул и движение. Были центры у столов, но большинство ходило по залам. Все дворяне, большей частью старики, подслеповатые, беззубые, плешивые, оплывшие жиром, те самые, которых каждый божий день видал Пьер то в клубе, то в их домах, — все были в мундирах большей частью екатерининских, и этот общий мундир придавал что-то странное виду этих знакомых лиц, как будто в одинаковые бумажки завернул какой-нибудь шутник самые разнообразные товары мелочной лавки. Особенно поразительны были старики. Они больше сидели и молчали, а ежели ходили и говорили, то пристраивались к кому-нибудь помоложе. Так же, как на лицах толпы на площади видел Петя, на всех лицах была поразительная черта противоположности общего тупого ожидания чего-то торжественного и обыденного вчерашнего — бостонной партии, Петрушки-повара, здоровья Зинаиды Дмитриевны и французского табаку.

Пьер с раннего утра, затянутый в неловком, сделавшемся ему узким, дворянском мундире, был в залах. Он был в волнении:

необыкновенное собрание не только дворянства, но и купечества вызвало в нем целый ряд давно оставленных, но глубоко врезавшихся в его душе мыслей про «Общественный договор» и о французской революции. Он ходил, присматривался, прислушивался к говору, но нигде не находил чего-нибудь похожего на выражение тех мыслей, которые занимали его.

Был прочтен манифест государя, и потом разбрелись, разговаривая. Кроме обыденных интересов, он слышал толки о том, где стоять предводителям, когда дать бал государю, и изредка намеки о общем положении военного дела, о выгодах и невыгодах милиции. Но война, как скоро дело касалось войны и того, для чего было собрано дворянство, толки были нерешительны и неопределенны. Все больше желали слушать, чем говорить.

Один мужчина средних лет, полный, мужественный, красивый, в отставном морском мундире, говорил в угле залы, и около него столпились. Пьер подошел к образовавшемуся кружку около говоруна и стал прислушиваться. Граф Илья Андреевич в своем екате-

рининском воеводском кафтане, ходивший с приятной улыбкой между всеми, со всеми знакомый, подошел тоже к этой группе и стал слушать с своею доброй улыбкой, как он всегда слушал, в знак согласия с говорившим одобрительно кивая головой. Отставной моряк говорил очень смело (это видно было по выражению лиц, его слушавших, и по тому, что известные Пьеру за самых покорных и тихих людей неодобрительно отходили от него или противоречили); очевидно, говоривший был либерал, и потому Пьер, протискавшись поближе, стал слушать. Действительно, моряк был отчаянный, бойко говоривший сангвиник, либерал, но совсем в другом смысле, чем думал Пьер. Он говорил тем особенным звучным, певучим дворянским баритоном, от которого так и слышатся привычные слова: «чеаек», «трубку», «кобель помай», «спой, коварница», «девку тебе» и т. п. Он говорил с привычкой разгула и власти в голосе.

— Что ж, что смоляне предложили ополчение государю. Разве нам смоляне указ? Ежели благородное дворянство Московской губернии найдет нужным, оно может выказать

свою преданность государю другими средствами. Разве мы забыли ополчение в 7-м году? Только нажились кутейники да воры.

Граф Илья Андреевич, сладко улыбаясь, одобрительно кивал головой.

— А что же, разве наши ополченцы помогли что-нибудь, только разорили наши хозяйства. Лучше еще набор, а то вернется к вам ни солдат, ни мужик, только один разврат. Дворяне не жалеют своего живота, мы сами поголовно пойдем, возьмем еще рекрут, и всем нам только клич кликни гусай (он так поддворянски выговаривал слово «государь»), мы все умрем за него, — прибавил оратор, одушевляясь.

Илья Андреевич проглатывал слюни от удовольствия и толкал Пьера, но Пьеру захотелось также говорить; он выдвинулся вперед, не зная еще, что скажет. В это время один сенатор, без зубов совершенно, но с умным лицом, стоявший близко, с видимой привычкой вести прения и держать вопросы сказал тихо, но слышно:

— Я полагаю, мы призваны сюда не для того, чтобы обсуждать, что удобнее для государ-

ства в настоящую минуту — набор или ополчение. Мы призваны для того, что государь удостоил нас сообщением о состоянии, в котором находится государство, и желает слышать наш отзыв... А судить о том, что удобнее, набор или ополчение, мы предоставим судить высшей власти... — И, не dokonчив еще эти слова, сенатор повернулся и вышел из круга.

Но Пьер вдруг ожесточился против сенатора, вносящего эту правильность и узкость воззрений на предстоящую цель занятия дворянства, и, выступив, остановил его. Он сам не знал, что он будет говорить, но начал оживленно, изредка прорываясь французскими словами и книжно выражаясь по-русски.

— Извините меня, — начал он, — но, хотя я не согласен с господином... которого я не имею чести знать, но я полагаю, что сословие дворянства, кроме выражения своего сочувствия и восторга (это слово понравилось Пьеру), призвано также для того, чтобы обсудить те меры, которыми мы можем помочь отечеству. Я полагаю, — говорил он, воодушевляясь, — что государь был бы сам недоволен,

ежели бы он нашел в нас только владельцев мужиков, которых мы отдаем ему, и пушечное мясо, которое мы из себя делаем, но не нашел бы в нас совета.

Многие поотошли от кружка, заметив презрительную улыбку сенатора и то, что Пьер говорит лишнее, только Илья Андреевич был доволен, как он бывал доволен всегда тем, который говорил.

— Я полагаю, что, прежде чем обсуждать эти вопросы, мы должны спросить у государя, почтительнейше просить его величество сообщить нам, сколько у нас войска, в каком положении находятся наши войска и армии, и тогда...

Но Пьер не успел договорить, как с трех сторон вдруг напали на него. Сильнее всех напал на него давно знакомый ему, всегда хорошо расположенный к нему приятный игрок в бостон, Степан Степанович Апраксин. Степан Степанович был в мундире, и, от мундира ли, или от других причин, Пьер увидал перед собой совсем другого человека. Степан Степанович, с вдруг проявившейся старческой злобой на лице, закричал на Пьера:



— Во-первых, доложу вам, что мы не имеем права спрашивать об этом государя, а, во-вторых, ежели было бы такое право у русского дворянства, то государь не может нам ответить. Войска движутся сообразно с движениями неприятеля — войска убывают и прибывают...

Другой голос, среднего роста человек, лет сорока, которого Пьер тоже видал у цыган и знал за нехорошего игрока в карты и который теперь тоже изменился в мундире, — этот голос перебил Апраксина.

— Да и не время рассуждать, — говорил этот голос, который часто слышал Пьер подпевающим бойко цыганам и кричавшим «ва-банк», от него запахло вином. — Не время рассуждать, а нужно действовать: война в России, враг наш идет, чтобы погубить Россию, чтобы поругать могилы наших отцов, чтоб увезти жен, детей. — Дворянин ударил себя в грудь. — А все встанем, все поголовно пойдем, все за царя-батюшку! — Некоторые отвернулись, как будто чувствуя неловкость при этих словах.

Пьер начинал и не мог сказать ни слова.

Он только чувствовал, что звук его слова, независимо от того, какую оно заключало мысль, был менее слышен, чем звук слов крикуна.

Илья Андреевич сдабривал. Сзади кружка некоторые бойко поворачивались плечом к оратору при конце фразы и говорили:

— Вот так, так! Это так!

Пьер хотел сказать, что он не прочь ни от жертвований, ни деньгами, ни мужиками, ни собой, но что надо бы знать состояние дел, чтобы помогать ему, но он не мог говорить. Много голосов кричало и говорило вместе, так что Илья Андреевич не успевал кивать всем; и группа увеличивалась, распадалась, опять сходилась и двинулась вся, гудя говором, в большую залу к губернскому столу. Многие молодые и неопытные люди с умилением и трепетным уважением смотрели на эту волнующую толпу. В ней-то мужчины решали судьбу России. Пьеру не только не удавалось говорить, но его грубо перебивали, отталкивали, отворачивались от него, как от общего врага. Это не оттого происходило, что недовольны были смыслом его речи, — ее и

забыли после большого количества речей, последовавших ей, — но для одушевления толпы нужно иметь осязательный предмет любви и осязательный предмет ненависти. Пьер сделался этим последним. Много ораторов говорило, все в смысле кутилы с запахом вина, и говорили многие прекрасно и оригинально.

Издатель «Русского вестника» Глинка, которого узнали («Писатель, писатель», — слышалось в толпе), сказал, что он видел ребенка, улыбающегося при блеске молнии и при раскатах грома, но что мы не будем этим ребенком.

— Да, да, при раскатах грома! — повторяли одобрительно в задних рядах, предполагая, что гром относился только к Наполеону.

Толпа подошла к губернскому столу, у которого, в лентах, седые, плешивые, в мундирах сидели семьдесят вельмож — стариков, которых почти всех, по домам с шутами и в клубах за бостоном, видал Пьер. Толпа подошла, не переставая гудеть. Один за другим, и иногда два вместе, подходили к столу, прижатые сзади к высоким спинкам стульев налега-

ющей толпой, говорили. Стоявшие сзади замечали, чего не сказал говоривший оратор, и торопились сказать это пропущенное. Другие, в этом жаре и тесноте, шарили в своей голове, не найдется ли какая мысль, и торопились говорить ее. Знакомые Пьеру старички сидели и оглядывались то на того, на другого, и выражение большей части из них говорило только, что им очень жарко. Пьер, однако, чувствовал себя взволнованным, и общее чувство желания показать, что нам все нипочем, выражавшееся больше в звуках и в выражениях, чем в смысле, сообщалось и ему. Он не отрекся от своих мыслей, но чувствовал себя в чем-то виноватым и желал оправдаться.

— Я сказал только, что нам удобнее было бы делать пожертвования, когда мы будем знать, в чем нужда...

Один ближайший старичок оглянулся на него, но был прерван криком, начавшимся в другой стороне стола.

— Да, Москва будет сдана. Она будет испу-  
дительницей, — кричал один.

— Он враг человечества! — кричал дру-

гой. — Позвольте мне говорить... Господа, вы меня давите...

В это время быстрыми шагами перед расступившимися дворянами, в генеральском мундире, с лентой через плечо, с своим высунутым подбородком и быстрыми глазами, которые не казались озабоченными, вошел граф Ростопчин.

— Государь император скоро будет, — сказал граф Ростопчин, — я сейчас оттуда. Я полагаю, что судить много нечего в том положении, в котором мы находимся. Государь удостоил собрать нас и купечество, — сказал граф Ростопчин. — Оттуда польются миллионы, а наше дело выставить ополчение и не щадить себя... Как вы полагаете, господа?

Начались тихие совещания, которые весьма скоро окончились предложением графа Ростопчина выставить каждого десятого, на что все согласились, и обмундировать, на что также изъявлено было согласие с короткими замечаниями некоторых лиц о том, кому будет поручено и как избежать злоупотреблений, вкравшихся в прежнее ополчение. Замечания эти были устранены графом Ростопчи-

ным тем, что об этом подумаем после. Все совещание прошло более чем тихо, оно даже казалось грустно, когда по одиночке были слышны старые голоса, говорившие один: «согласен», другой для разнообразия: «и я того же мнения» и т. д., после всего прежнего шума.

Граф Ростопчин велел секретарю писать постановление дворянства. И господа заседавшие встали, как бы облегченные, загремели стульями и пошли по зале разминать ноги, забирая кое-кого под руку и разговаривая.

— Государь, государь, — вдруг разнеслось по залам, и вся толпа бросилась к выходу, но государь прошел сначала в залу купечества. Он пробыл там около десяти минут. Пьер в числе других увидал государя, выходящего из залы купечества с слезами умиления на глазах. Как потом узнали, государь только что начал речь купцам, как слезы брызнули из его глаз, и он дрожащим голосом договорил ее. Когда Пьер увидал государя, он выходил сопутствуемый тремя купцами. Один был знаком Пьеру, толстый откупщик, другой — голова, с худым, узкобородым желтым лицом.

Оба они плакали.

У худого стояли слезы, но толстый откупщик рыдал как ребенок и все твердил: «И жизнь, и имущество возьми, ваше величество».

Толпа отхлынула и унесла с собой Пьера в залу дворянства. И тут, как только вошел государь с своим красивым растроганным лицом, с стоящими на глазах слезами, все лица изменились, и Пьер сзади себя услышал рыдания. Пьер стоял довольно далеко и не разобрал, что говорил Ростопчин государю (Ростопчин сообщил постановление дворянства), но он ясно слышал столь приятно человеческий и тронутый голос государя, который говорил:

— Никогда я не сомневался в усердии русского дворянства. Но в этот день оно превзошло мои ожидания. Благодарю вас от лица отечества. Господа, будем действовать — время всего дороже...

— Да, всего дороже... царское слово, — рыдая, говорил сзади голос Ильи Андреевича, ничего не слышавшего, но все понимавшего по-своему.

Пьер не чувствовал в эту минуту уже ничего, кроме желания показать, что все ему ни почем и что он всем готов жертвовать. Как упрек ему представлялась его речь с конституционным направлением. Он искал случая загладить это. Узнав, что граф Мамонов жертвует полк, Безухов тут же объявил графу Ростовчину, что он отдает тысячу человек и их содержание. Старик Ростов без слез не мог рассказать жене того, что было, и тут же согласился на просьбу Пети и сам свез его к Мамонову в его будущий полк.

На другой день государь уехал. Все собранные дворяне сняли мундиры, опять разместились по домам и клубам и, побряхтывая, отдавали приказания управляющим о ополчении и удивлялись тому, что они наделали.

Пьер был членом комитета приема пожертвования. Петя надел казачий мундир. Старый граф окончательно решил продать весь дом с движимостью, которая была ценнейшею, и ждал только приезда Разумовского.



# ЧАСТЬ СЕДЬМАЯ

## I

Что должно было совершиться, то должно было совершиться. Как Наполеон думал, что он начал войну с Россией потому, что он захотел всемирной монархии, а начал ее потому, что не мог не приехать в Дрезден, не мог не отуманиться почестями, не мог не надеть польского мундира и не поддаться предприимчивому впечатлению июньского утра и не начать переправу через Неман, так думал и Александр, что он ведет отчаянную войну, в которой он не помирится, хотя бы ему дойти до Волги, только потому, что не мог поступить иначе.

Лошадь, поставленная на покато колесо рушилки, думает, что она совершенно свободно, произвольно ступая с левой или с правой ноги, поднимая или опуская голову, идет потому, что ей хочется взойти наверх; так точно думали все те неперечислимые лица, участники этой войны, которые боялись, тщесла-

вились, горячились, негодовали, думая, что они знают, что они делают, а все были только лошадьми, мерно ступавшими по огромному колесу истории, производившими скрытую от них, но понятную для нас работу. Такова неизменная судьба всех практических деятелей, и тем несвободнее, чем выше они стоят в людской иерархии, чем выше, тем более они связаны, чем круче колесо, тем быстрее и несвободнее идет лошадь. Стоит ступить на это колесо, и нет свободы, нет понятной деятельности, и чем дальше, тем быстрее идет колесо и тем меньше свободы до тех пор, пока не сойдешь с него.

Только Ньютон, Сократ, Гомер действуют сознательно и независимо, и только у тех людей есть произвол, который против всех доказательств о нервах доказывает моя сейчас поднятая и опущенная рука.

Не спор материалистов и идеалистов занимает меня. Что мне за дело до их спора. Но этот самый спор во мне, в вас, во всяком человеке. Есть у меня свобода воли, это старое, столь дорогое мне понятие, или нет его, и все, что я делаю, совершается по законам неиз-

бежным? Он говорит, что нервы мои аффектированы так, что я не могу не сделать этого движения; но кроме того, что он запутался сам, когда дошел до объяснения понятия, из которого никто ничего понять не может, он не ответил и никто не ответит на главный аргумент, простой и неоспоримый, как колумбово яйцо: я сижу и пишу, подле меня лежит гирия гимнастическая и собака. Могу я или не могу сейчас перестать писать? Попробовал — могу, а теперь могу я продолжать писать? — могу. Стало быть, есть произвол. Но спрашиваю себя дальше, могу я поднять гирию и сделать так и так движение? — могу. А могу я сейчас с высоты руки бросить гирию на собаку? Попробовал — нет, не могу. Оно можно в другие минуты, а теперь нет — тысяча соображений: глупо, жалко, можно сделать другой опыт. Нет, не могу.

А! Так вот есть поступки, как махать рукой во всех направлениях, как писание и воздержание от него, которые могу, и такие, которые не могу.

Продолжу испытание. Могу пойти поцеловать спящего ребенка? Могу пойти в безик

сыграть с тетушкой? — могу. Могу пойти ударить лакея, или пойти поцеловать кухарку? — нет, не могу, теперь не могу. Могу ли я не спать нынче ночью? Мог ли я не согнать муху с глаза? Нет, не могу и не мог. Я просил других отвечать мне на такие же вопросы, и все отвечали то же. Есть вещи, которые можно сделать и не сделать (разумеется, в области физически возможного). Есть вещи, которые нельзя сделать и нельзя не сделать. Это ясно. И ежели не только запутается, как до сих пор в доказательствах, что нет ничего кроме нервов, а что такое нервы, он не знает, но даже если он мне, как  $2 \times 2 = 4$  докажет это, то я не поверю, потому что я могу сейчас протянуть руку, а могу не протягивать ее.

Главный источник людских заблуждений состоит в отыскивании и определении причин явлений жизни человеческой — тех органических жизненных явлений, которые вытекают из совокупности бесчисленного количества необходимостей. Вольтер, кажется, сказал, что не было бы Варфоломеевской ночи, ежели бы у короля не было запора. Это столько же справедливо, как и то, что ежели

бы не было всех тех волнений, предшествующих Варфоломеевской ночи, то у короля же лудок действовал бы исправнее. Столько же справедливо, как и то, что причина Варфоломеевской ночи был фанатизм средних веков, была интрига католиков и т. д. и т. д., о чем можно справиться во всех историях. Факт Варфоломеевской ночи есть одно из тех жизненных явлений, которое совершается неизбежно по предвечным законам, свойственным человечеству: убивать в среде своей лишнее число людей и подводить под это совпадающие с этим убийством свои страсти.

Статистика преступлений показывает, что человек, думающий, что он убивает свою жену потому, что она изменила ему, исполняет только общий закон, по которому он должен пополнить число убийц в статистическом отчете. Самоубийца, лишаящий себя жизни по самым сложным философическим соображениям, исполняет только тот же закон. Это относится до личности человека. Но общество человеческое, все человечество, кроме законов, управляющих их личностью, подлежат ее законам, управляющим обществами, груп-

пами человечества (группами, определяемыми не по государственному различию, так что Баден не составляет отдельной группы, но по управляемости ими одними началами) и всем человечеством.

В этих обществах есть такая же необходимость больших убийств — войны, как и необходимость убийств для отдельных лиц; и точно так же, как и для самоубийства и убийства, — частью ум и воображение человека подделывают причины, частью совпадают обстоятельства, принимаемые за причины, — так и в обществах совершается то же.

Человек, как пчела и муравей, не могут быть рассматриваемы только как личность. Только общества людские есть целый организм, подчиненный таким же законам, как организм улья и муравейника. Для того, чтобы яснее понять это, посмотрите на мелкие общества людей, стоящих на низкой степени развития (там легче видеть от несложности условий и дальше от нас, вследствие чего мы независимее можем смотреть на них), посмотрите на любое село. Каждый дом, двор, чулан, лавка, образ, чашка, нож, одежда,

еда — все устроено точно так же у одного, как у другого. Весенний день вы видите из одного двора, из другого точно так же, с теми же орудиями выезжают мужики сеять. Они не сговаривались, не думали об этом, но точно так же, как одна пчела, за ней другая из другого улья, как будто говоря «ребята на работу», уже полетели, вылетели пчелы и возвратились с колошкой, точно так же выехали и вернулись мужики, или бабы, пошли брать замашки или мыться к празднику. Как после 19 февраля мы, все помещики, углубились в новые условия жизни, вникали, отыскивали, думали, что мы только разумным путем доходим до вступления в новые условия.

И что же? Из Пензенской губернии встречались с Тульскими и, перебивая один другого, говорили все то же, одно и то же, как сыновья, нечаянно, все подарили по зонтику матушке. Все говорили, что на сходках надо быть требовательнее, а никак не великодушными, — что лучше всего в исполу, что батраки разорительны, что надо уменьшать запашки и т. д. и т. д. Все это есть муравейная сторона, стадная сторона жизни.

Для того, чтобы вполне понять возможность заблуждаться в непризнании этих общих стихийных законов, управляющих человечеством, необходимо понять свойства человека.

1. Закон подделывания воображения с быстротой, исключаящей понятие времени, под неизбежную необходимость, сложные умственные доводы, убеждающие нас в том, что то, что мы делаем, неизбежно делается по нашему произволу.

2. Закон, лишаящий человека в минуту совершения стихийного поступка видеть способность, стихийность его и необходимость видеть его личную выгоду (праздники — посты).

3. Закон совпадения жизненных явлений внешних с соответствующими ему душевно нравственными или умственными проявлениями.

Вы спите и видите сон, что шли на охоту, и длинную историю, предшествующую охоте; наконец, вылетает дичь, вы стреляете и просыпаетесь. Звук выстрела был действительный звук — звук хлопнувшего ветром ставня.



В момент пробуждения воображение подделало всю историю охоты. Сумасшедший ничему не удивляется. Его сажают в карету и везут, он не знает зачем и куда. Он не только не удивлен, но говорит, смотря по своему пункту помешательства, почему он ждал этого, и рассказывает целую историю, вследствие которой должны были за ним приехать.

Дети сидят, им целый день не позволяют бегать. Они сидят и играют в тихую игру, представляя больную мать, доктора, и мужа, и няню. Вдруг им позволено бегать. Слуга бежит за лекарством тридцать раз вокруг стола, муж тоже, больная тоже. А для того, чтобы удовлетворить потребности движения, воображение мгновенно подделало им предлог посылки за доктором. Ребенку хочется спать или есть. Он плачет и сердится и всегда о чем-нибудь плачет и о чем-нибудь сердится.

Это примеры (и таких миллионы) того действия воображения, где ум слабый не успевает разумно выбрать и обставить подделку воображения. Но процесс тот же самый.

Вы сельский хозяин, вы не в духе, вы идете туда и обращаете внимание на то, что может

дать вам предлог сердца, и искренно убеждены, что не вы выбрали предлог хозяйство, а что хозяйство мучит вас, что, не будь хозяйства, вы были бы спокойны. Вам необходимо по законам стихийным все верить, вы увидели сон, и вы под него подделываете будущее и лжете, не признаваясь себе. Вертящиеся столы, которые вертели все в мире и спорили, и говорили, и писали о магнетизме только потому, что стихийный закон — желание проникнуть в будущее. «Да, вот вы не верите в гомеопатию, а он воскрес после белладонны, да и без исключения всем помогаю», — говорит алопат, здоровый и ученый, обладающий логичной способностью человек. Вас тронул мороз по спине, вы содрогнулись, читая книгу, — это впечатление у вас бывало, когда вас тронуло что-нибудь и вы тронуты книгой. Вы вспоминаете, вам нечего вспоминать, и вы вспоминаете, что вы вспоминали. Бисмарк убежден, что из сложных, хитрых и глубоких государственных соображений его возникла победоносно кончившаяся последняя война. Члены Vaterland'a думают, что это сделал патриотизм. Англичане ду-

мают, что они перехитрили Наполеона, а все, что они все думают, подделало им их воображение с помощью ума, — подделало под потребность кровопускания европейскому обществу. Такую же потребность, как потребность желтых и черных муравьев истреблять друг друга и по известной вечно одной форме строить свой муравейник.

Еще можно бы было в какой-нибудь другой общественной деятельности человека оспаривать его зависимость от общих и произвольных причин, но не в военной, потому что военная есть одна из самых противных деятельностей другой — нравственной стороне человека. Мы привыкли говорить о войне как о благороднейшем деле. Цари носят военный мундир. Военные люди называются так же, как и благодетели рода человеческого, — гении, и так же, и более, несравненно более Сократа и Ньютона, прославляются. Мечта мальчика есть война. Высшая почесть военная. А что нужно для успешного ведения войны? Для того, чтобы быть гением, нужно:

1. Продовольствие — организованный гра-

беж.

2. Дисциплина — варварский деспотизм, наибольшее стеснение свободы.

3. Уменье приобретать сведения — шпионство, обман, измена.

4. Уменье прилагать военные хитрости, обман.

5. Что самая война? — Убийство.

6. Какие занятия военного? — Праздность.

7. Нравы — разврат, пьянство.

Есть ли один порок, одна дурная сторона человеческой природы, которая бы не вошла в условия военной жизни? Отчего же уважается военное звание? Оттого, что оно есть высшая власть. А власть имеет льстецов.

Так вот почему военное дело более всего подлежит муравейным, неизбежным законам, руководящим человечество, и исключает всякий личный произвол и знание своей цели тем более, чем более лица связаны с общим ходом дела. Как тем быстрее вертится то колесо последней передачи, чем больше под ним передач. Теперь двигатели колес 12-го года давно сошли с своих мест, колеса уничтожились и преобразовались, а результаты пе-

ред нами, и потому нам ясно, как ни один человек, чем выше он был (ни Наполеон, ни Александр), не имел ни малейшего чаяния о том, что будет, а что вышло именно то, что должно было быть. Наполеон с Вильны все ждал мира, Александр не мог допустить, чтобы Смоленск был отдан, не только Москва. Теперь нам ясно, что было причиной успеха 12-го года. Я думаю, никто не станет спорить, что успех зависел от заманивания Наполеона в глубь России, от сожжения городов и возбуждения ненависти к врагу. И не только никто не видел этих средств. (Я не говорю о разных намеках в письме Александра к Бернадоту и разных намеках современников, которые, естественно, задним числом собирают из всего, что было думано и говорено, и забывают, что эти намеки — один на сто тысяч противоположных — не упоминают о противоположных, а говорят о подтверждающих свершившийся факт. Это прием, которым оправдываются и подтверждаются предчувствия и предсказания.)

Итак, не только никто не видел этого тогда, напротив, все силы были направлены на

то, чтобы помешать этому, — то есть входу неприятеля в глубь России и возбуждению народному. И силы, направляющиеся против, сами не сознавая того, обращались в пользу. Наполеон входит в Россию с 500-тысячной армией. Он страшен своим умением давать решительные сражения. Мы раздробляем на маленькие кусочки свою слабейшую армию и держимся плана Пфуля. Армии наши разрезаны. Мы стремимся соединить их и для соединения принуждены отступать. И невольно, описывая острый угол обеими армиями, заводим Наполеона до Смоленска. Мы намерены дать сражение впереди Смоленска и сами обойдены и принуждены защищать Смоленск. Смоленск мы защищаем, но не настолько, чтобы подвергнуть армию опасности, и не настолько, чтобы не обмануть жителей, которые погибают в стенах Смоленска и Смоленск зажигают. Все это делается противно распоряжениям свыше, все это вытекает из сложнейшей игры, интриг, целей, планов, желаний, противоположных друг другу и не угадывающих того, что должно быть, и того, что есть единственное спасение. Пфуль уез-

жает, ругаясь, говорит, что вся история идет к черту, и не может понять бессмыслицы раздробить армии сообразно с его планом и потом оставить этот план. Император уезжает от армии по письму Шишкова, Аракчеева и Балашова, в котором они как за довольно удобный предлог ухватываются за необходимость воодушевить столицу своим присутствием, а в этом вся сущность дела. Генералы в отчаянии, что армии раздроблены и что нет единства начальства, что Багратион старше чином, а Барклай военный министр, но из этой путаницы и раздробления вытекает нерешительность и избежание сраженья, от которого нельзя бы было удержаться, ежели бы армия собралась вместе. Избрание ненационального ничтожного Барклая главнокомандующим кажется ошибкой и горем, а оно то спасает армию и возбуждает дух...

Все ведется для очевидной для нас, потомков, цели, но скрытой, как жернов, от ходящей на круге лошади. И все для исполнения предназначенной цели употребляется невидимым машинистом и берется во внимание: и пороки, и добродетели, и страсти, и слабо-

сти, и сила, и нерешительность — все, как будто стремясь к одной своей ближайшей цели, ведет только к цели общей.

После отъезда государя из армии положение начальства армии еще более запуталось, хотя это и казалось невозможно. Тогда, хотя неопределенно, неясно, но чувствовался всеми центр власти. Теперь и этого не было. Барклай мог (и то сомнительно) отдавать приказания именем государя, но Багратион поставлен независимо, был старше чином и мог его не слушаться; точно так же надо было просить Чичагова и Торماسова. Весь рой лишних и потому вредных людей, генерал- и флигель-адъютантов, все судивших и все путавших, был тот же. Пфуль уехал, и Армфельд, но Бенигсен, старший генерал, и цесаревич были при армии. Цесаревич вернулся к Смоленску из Москвы и высказывал свою ненависть к Барклаю, и теперь, когда нельзя было уже говорить о мире, не было брата, которому он противоречил, он противоречил Барклаю во всем. Барклай стоял за осторожность, цесаревич намекал на измену и требовал генерального сражения. Любомирский, Браницкий,



Влодский и т. п. так раздували весь этот шум, что Барклай вынужден был поручить им бумаги для доставления государю в Петербург и приготавливал еще нужнейшие бумаги для Бенигсена и великого князя. Каждый даже из тех, которые не прямо противоречили главнокомандующему, каждый имел свой план и проект и делал все возможное, чтобы план противника не удался. Один предлагал сражение, другой ехал как будто для рекогносцировки и вместо рекогносцировки ехал в гости к корпусному командиру около того места и говорил, что он осмотрел и место не годится. И ему точно казалось, что оно не годится, тогда как его противнику оно казалось единственно возможным. Остроты, шутки, насмешки, ссоры перекрещивались, как плутонговая пальба. Багратион долго не присоединялся, хотя это была главная цель всех начальствующих лиц, так как ему казалось, что он на этом марше ставил в опасность свою армию и что выгоднее всего для него было бы отступить левее и южнее и, беспокоя с фланга и тыла неприятеля, комплектовать свою армию в Украине. Он так думал, а в сущности

он только выдумывал невозможности и придумывал выгоды для того, чтобы не подчиниться ненавистному и младшему в чине немцу Барклаю.

В Смоленске, наконец, соединились армии. Багратион в карете подъезжал к дому, занимаемому Барклаем. Барклай (за что редкие поклонники и превозносили его) надел шарф и вышел навстречу и рапортовал Багратиону. Багратион был доволен и подчинился Барклаю. Но, подчинившись, еще меньше был согласен. Багратион лично доносил государю. И когда оба главнокомандующие свиделись, они как будто сошлись, но рой Браницких, Винцингероде и т. п. еще больше отравил их сношения, вышло еще меньше единства. Хотели, собирались атаковать, и вынуждены были принять неожиданное сражение в Смоленске, чтобы спасти свои сообщения. Так надо было.

Высший же машинист заставлял его топтаться в этом колесе для того, чтобы он соединился только под Смоленском, и для того, чтобы зажжен и избит был Смоленск. Это надо было для того, чтобы поднялся народ.

Мы с первых чисел августа искали сражения впереди и правее Смоленска, два раза ходили войска туда и назад, но во время этой нерешительности и споров французы — о чем мы не знали, — хотели обойти нас с правого фланга и, заняв Смоленск, отрезать от Московской дороги. Совершенно неожиданно 3-го августа дивизия Неверовского наткнулась, была атакована всем авангардом Мюрата, должна была отступить, билась целый день и, отступая, привела французов к самому городу Смоленску, который не только уступить французам, но до которого допустить французов за день до этих событий никто и не мог подумать. На защиту Смоленска послан корпус Раевского. Целый день 4-го августа шло сражение, но французы не стреляли по городу, 5-го корпус Дохтурова и Евгения Вюртембергского послан на смену Раевского, и 5-го числа Наполеон сказал: «Этот городишко будет взят или вся армия погибнет там», — и началась канонада из 150 орудий по войскам и городу, и начались атаки французов. Но городишко взят не был, и армия тоже не погибла. На другой день Барклай де Толли велел Дох-

турову отступить, и тут-то Бенигсен и великий князь поехали к Барклаю внушать, что армия недовольна и что нужно дать сражение, и тут, наконец, нашлись в главной квартире Барклая такие важные бумаги, которые главнокомандующий не мог поручить никому для доставления в Петербург, кроме самого брата государя.

## II

Старый князь после отъезда сына слабел с каждым днем, как замечала это его дочь, но на глаза равнодушной прислуги и знакомых он казался еще мужественней и энергичней, чем когда-либо. Он начинал изменять все свои привычки.

Следующую ночь по отъезде сына он долго ходил по кабинету, потом в одиннадцатом часу отворил дверь в официантскую и стал ходить по гостиной зале. В зале, у шкафчика, он сел, отворил окно и смотрел в сад, потом велел подать свечу и тут читал и потом тут же в зале велел Тихону разбить себе походную кровать. На другой день днем он спал и много ходил и делал беспрестанные распоряжения,

вечером и ночью опять стал ходить по комнатам и опять велел себе разбить постель уже не в зале, а в галерее. Так он жил, беспрестанно переменяя ночлеги, очевидно, не зная, что и когда и где он будет делать, но постоянно торопясь и не успевая всего обдумать и обделать. С княжной Марьей за все это время совсем не было ссор, но была к ней постоянная холодность, которую княжна Марья объясняла себе только приличием. Ему неловко было перейти от прежнего озлобления к ласке. А княжна Марья думала, что он бы хотел и не смел сам перед собой это сделать. В конце июля он получил письмо о занятии Витебска и сражении под Островно. Прочтя письмо, он напился чаю с княжной Марьей и Бурьен и разговаривал оживленно о сражении на Дунае. В конце разговора он к чему-то сказал, что как скоро дошло письмо князя Андрея от границы. Княжна Марья взяла письмо и, осмотрев его, прочла: «местечко Градник Витебской губернии».

— Они теперь должны быть перед Вильно. Бонапарт пойдет влево. Ах, ничего-то никто не заботится.

Князь встал и велел Тихону разложить географические карты и стал делать расчеты о движении неприятеля в окрестностях Вильны. Он старческими корявыми руками водил по карте и позвал архитектора. Все было так ясно обдуманно, что он говорил, но все относилось к прошедшему. Он не понял и не мог понять, что Наполеон уже был в Витебске. Давно уже замечала княжна Марья, что последнее время князь не понимал того, что ему говорили, что у него были свои мысли, и ежели он спрашивал или узнавал о чем-нибудь, то он узнанное подводил под свои мысли. Княжна Марья попробовала напомнить ему о Витебске, но он сердито, презрительно и так самоуверенно посмотрел на нее, что она пришла в сомнение, не ошибалась ли она. Во время занятий над картами пришел Алпатыч. Князь поспешно пошел в кабинет, заметив иголками места на карте, и сел за бюро. Отправляемому Алпатычу надо было дать так много инструкций, и князю казалось, что никто заменить его не может.

— Почтовой бумаги. Смотри же, этой золотобресной — вот образчик, чтобы непременно

но по нем была. Потом протоколисту, этому мерзавцу, скажи, чтоб он записи мне выдал все.

«Они все запутают без меня, — думал он. — Лысые Горы чресполосны будут».

Потом была нужна покупка флера для портрета, потом ящик переплетный надо было заказать для укладки завещания. Алпатыч принимал приказания, но удивлялся: никогда князь так подробно, мелочно, торопливо не доходил до всего. Отпустив Алпатыча, князь раскрыл завещание свое, которое он вынимал для мерки, и стал читать, надев очки. «Ах да, еще надо приписать статью о том случае, коли у внука не будет потомства». Но, затворив дверь, князь устал и стал перечитывать прежнее и писать вновь. Завещание было очень пространное и обстоятельное, и князь испытывал успокаивающее чувство заниматься этим делом, которое будет иметь действие, когда его самого не будет. Тогда все будет ясно, спокойно, представлялось ему, и он с особенным удовольствием обращался к тому времени. Уже было поздно, когда князь встал от стола, и спать ему хотелось, но он

знал, что не заснет и что самые дурные мысли приходят ему в постели, — он вспомнил еще поручение Алпатычу: к именинам Коли купить лошадь, позвал Алпатыча и подробно рассказал — какую.

Погуляв потом по комнатам и примеривая всякий уголок, хорошо ли тут будет спать, ему все казалось нехорошо; хуже всего был привычный диван в кабинете, — диван этот был страшен, ужасен — вероятно, по тяжелым мыслям, которые он передумал, лежа на нем. Нигде не было хорошо, но все-таки лучше всех был уголок в диванной, за фортепиано, он никогда еще не спал тут. Тихон принес с официантом постель и стал уставлять.

— Не так, не так, — закричал князь и сам подвинул на четверть подальше от угла и потом опять поближе.

«Ну, наконец, все переделал. Теперь отдохну», — подумал князь. Но едва он лег, как вдруг вся постель равномерно заходила под ним вперед и назад, как будто тяжело дыша и толкаясь. Он открыл закрывшиеся было глаза.

«Тяжело, больно! Нет покою телу, а духу



еще, еще тяжелее. Не могу, не могу понять и запомнить все, что надо. Да, да еще что-то приятное было, очень что-то приятное я приберег себе на ночь в постели. Лимонад? Нет, что такое, что-то в гостинной было. Княжна Марья что-то врала. В кармане что-то... Не вспомню».

— Тишка! Об чем за обедом говорили?...

— Об князе Михаиле.

— Молчи, молчи. — Князь захлопал рукой по боковому карману камзола. — Знаю, письмо князя Андрея. Княжна Марья что-то про Витебск говорила, теперь прочту.

Он достал письмо и положил на придвинутый к кровати столик с лимонадом и витушкой восковой свечкой. Он стал раздеваться. Боже мой, боже мой, как тяжело было стигать измученные, засохшие, 70-летние его плечи в то время, как Тихон снимал кафтан, как тяжело опустился он на кровать, как не хотела подняться нога, которую разували, и как она, худая, сухая, желтая, упала вниз. А надо было еще поднять их, передвинуться на кровати. «Ох, как тяжело, ох, хоть поскорее, поскорее кончились эти труды и вы бы отпустили ме-

ня», — думал он. Он сделал, поджав губу, в двадцатый раз это усилие и лег с письмом в руке. Письмо сына было записано в его памяти чем-то утешительным и приятным, но оно подействовало обратно. Тут только, в тишине ночи, при слабом свете из-под зеленого колпака, он, прочтя письмо, понял все его значение. «Что же это? Французы в Витебске. Так они через четыре перехода могут быть у Смоленска. Может, они уже там? Что ж это? Нет, нельзя мне успокоиться».

Он завертел своей трещоткой. Тихон вскочил.

— Пошли Алпатыча. Дай халат и посвети в кабинет.

Надо было внушить Алпатычу, как ему поступить, ежели он встретит неприятеля, надо было заpastись оружием и порохом (ружей, мушкетенов было много) на случай нападения мародеров. В два часа ночи он отпустил Алпатыча, но только что он отпустил его, как ему вспомнились еще необходимые, несделанные распоряжения. Надо было написать письмо сыну, надо было здесь, в Лысых Горах, распорядиться постановкой пикетов на доро-

гах, надо было укрепить усадьбу, внушить мужикам, написать предводителю. Не снимая халата, до рассвета князь Николай Андреевич не ложился. Утром он оделся, пошел в кабинет и послал за дочерью и за кофе. Но, когда пришли, он спал в кресле, склонившись на ручку, и на цыпочках унесли кофе.

Так же, как и прежние дни, в неперемежающихся хлопотах и заботе, прошли и эти три дня отсутствия Алпатыча, и целые дни князь Николай Андреевич распорядился шитьем платьев военных для всех дворовых и обучением их стрельбе, которое он поручил архитектору.

Лысые Горы, имение князя Николая Андреевича Болконского, находились в 60 верстах от Смоленска, позади его, и в тридцати верстах только от Московской дороги. Второго числа, после медового Спаса, Яков Алпатыч по поручениям князя отправился в Смоленск.

Яков Алпатыч, несмотря на то, или именно потому, что имел честь и счастье часто подпадать под удары суковатой палки старого князя, был по своему положению в той среде, в

которой он действовал уже 36 лет, такой властный вельможа, какой теперь есть, может быть, только на востоке, такой вельможа, каким был какой-нибудь кардинал Ришелье и вообще полномочный любимец самодержавного государя. Не говоря о уездном городе, Смоленск находился еще в районе власти Алпатыча. В Смоленске Алпатыч, как с равными и даже низшими, обращался с губернскими секретарями и почтмейстерами. И купцы наперерыв просили его сделать честь посещения. Алпатыч под Очаковым мальчишкой был с князем и потому имел несколько воинственный и аккуратный вид старого служаки. В войне он считал себя таким же непреложным судьей, как и своего барина, и так же, как князь, считал, что под Очаковым действительно была война, а все, что теперь называли войной, было так, детская забава: «Так, притворялись — тоже мы воюем», — говорил Алпатыч. Как всегда говорящие с чужого голоса, Алпатыч был увереннее в этом, чем сам князь.

На зорьке прекрасного летнего дня второго августа, с вечера получив все приказания, на-

пившись чайку, Алпатыч, провожаемый домашними, в белой пуховой шляпе — княжеский подарок, — с палкой, так же, как у князя, вышел садиться в кожаную кибиточку, заложенную тройкой сытых саврасок. Колокольчик был подвязан, и бубенчики заложены бумажками. Князь никому не позволял в Лысых Горах ездить с колокольчиком, и один становой был собственноручно избит за это. Но Алпатыч любил колокольчики и бубенчики в дальней дороге. Придворные Алпатыча: земский, конторщик, кухарки, черная и белая, две старухи, мальчик-казачок, кучера и разные дворовые провожали его. Горничная прибежала, прося божескую милость сделать, купить ей вот точно таких иголочек. Дочь укладывала за спину и под него ситцевые пуховые подушки. Свояченица-старушка тайком сунула узелок (Алпатыч не любил бабьи сборы), кучер подсадил его под руку.

— Ну, ну, бабьи сборы. Бабы, бабы, — пыхтя, проговорил Алпатыч, точно так, как говорил князь, садясь в кибиточку. Отдал последние приказания о работах земскому и, в этом уж не подражая князю, снял с лысой головы

шляпу и перекрестился троекратно.

— Вы, ежели что, вы вернитесь, Яков Алпатыч, ради Христа, нас пожалейте, — прокричала ему жена, намекавшая на слухи о войне и неприятеле.

— Бабы, бабы, бабьи сборы, — проговорил Алпатыч про себя и поехал холодком зори, оглядывая вокруг себя покрытые росой поля и соображая свои распоряжения о посеве и уборке и о том, не забыто ли какое княжеское приказание. Алпатыч не только словами и приемами, он даже лицом был похож на старого князя.

К вечеру второго дня Алпатыч приехал в город и остановился у Ферапонтовых. Ферапонтовы были купцы, пять братьев, у отца которых еще стоял Яков Алпатыч и с которым игрывал в шашки тридцать лет тому назад точно так же, как играл теперь в мучной лавке с старшим братом.

По дороге Алпатыч встречал и обгонял обозы и войска, но в городе еще было тихо. Ферапонтовы сообщили ему, что некоторые по глупости собираются из Смоленска и боятся.

— А по нашему делу разве соберешься, да и

губернатор объявил, что опасности нет и войска наши далеко впереди.

Ферапонтов еще рассказал некоторые военные новости, как Платов Матвей Иванович крепко бьет французов и на реке Марине (хотя никакой похожей по имени реки не было) восемнадцать тысяч французов в одну ночь утопил. Яков Алпатыч невнимательно слушал рассказы Ферапонтова. Он так же, как князь, презирал бабьи толки и был убежден, что, кроме князя, хотя он и за 60 верст, никто вернее не знает хода дел. На другой день Алпатыч надел камзол, который он надевал только в городе, и пошел по делам. Все его знали, все кланялись ему весело. Он зашел в лавки, на почту и в присутственные места, где пробыл весьма долго. Алпатыч считал себя большим мастером ходить по делам и писать прошения с такими периодами, где далеко-далеко от всех обстоятельств глагол стоял на самом конце.

Дело в присутствии было самое пустое, подача ревизских сказок, но Яков Алпатыч с другом своим протоколистом долго, тонко обсуждали предмет и решили сделать так, что-

бы вышло как можно сложнее и хитрее, хотя в хитрости надобности не было. Потом Алпатыч с протоколистом выпил дрей-мადеры, поговорил о политике и пришел, несколько покрасневшийся, в лавку к Ферапонтову. (Яков Алпатыч, что было большая редкость в то время, был так крепок насчет вина, что он не скрывал от князя и в добрую минуту говаривал ему: «Вы изволите знать, я пить не пью, окромя как другой раз дрей-мадеры придется с приказным выпить, я ее люблю».)

Проиграв несколько партий и побив кучера, который, как всегда, напился в городе, Яков Алпатыч рано, по своему обыкновению, лег спать на дворе, на сене. Но едва он заснул, как толстый Ферапонтов в одной рубахе, поправляя поясок с ключиком, пришел к нему и объявил, что дело плохо. Слышны были выстрелы недалеко за Смоленском и, говорят, неприятель близко. Алпатыч усмехнулся и объяснил, как военный человек, купцу, что это бабьи толки, что чего не соврут, что выстрелы могут быть ученье и что до Смоленска ни за что не допустят, и заснул. А Ферапонтов не ошибался: в этот день, 3-го августа, было



нападение на Неверовского и отступление его к Смоленску.

На другой день рано Алпатыч разбудил пьяного избитого кучера и, заложив лошадей и собравшись ехать, вышел на крыльцо. Действительно, по улице шли войска. Только что выехала Алпатычева тройка саврасых, как один офицер, ехавший верхом, указал на кибиточку и что-то сказал. Двое солдат вскочили в кибитку и велели ей ехать в Петербургский форштат за раненым полковником. Алпатыч учтиво, но строго снял шляпу и, махнув рукой кучеру, чтоб он не ехал, подошел к офицеру, желая объяснить ему его ошибку.

— Ваше благородие, господин интендант, — сказал он, — как кибитка, так лошади, и кучер, и я сам, — сказал он с улыбкой, — принадлежат его сиятельству генерал-аншефу князю Болконскому, равно и я, потому...

— Пошел, пошел, — крикнул офицер солдатам. — Ступай с ними, им по дороге, — и офицер поскакал, стуча по камням мостовой.

Алпатыч остановился в недоумении.

— Это мило! — сказал он иронически, тоже повторяя слова своего барина. Он пожал пле-

чами. — Вещи-то выложи, — крикнул он кучеру.

Кучер исполнил его приказание, и с узелками и подушками Алпатыч вернулся к Ферাপонтову и тотчас же стал сочинять прошение против офицера «неизвестного имени и чина, но, вероятно, вином до беспамятства доведенного, не мою, но принадлежащую Его сиятельству генерал-аншефу князю Болконскому повозку взявшего». Написав и перебелив прошение и напившись чайку, Яков Алпатыч понес его к главнокомандующему. Узнав, что в городе, за рекою, находился старший генерал Раевский, он пошел к нему. Проходя улицами, Яков Алпатыч видел везде шедшие войска и, не дойдя до места, услышал близкую перестрелку. Раевский был за мостом и не принял Алпатыча. Он постоял. За мостом несли раненых. Улицы были запружены народом, и несколько человек посоветовали Алпатычу вернуться назад. Офицер, с которым нашел нужным посоветоваться Алпатыч, засмеялся ему в лицо и сказал, что Раевского он не найдет теперь. Алпатыч вернулся. Возвращаясь, он услышал близкую канонаду, и проходящие

солдаты объяснили ему, что французы на стены лезут. Несколько раз Алпатыч останавливался, оглядывая то раненых, то пленных, которых вели мимо его, и неодобрительно покачивал головой.

Когда он вернулся, Ферапонтовы подтвердили ему дурные слухи, но, несмотря на это, пригласили обедать, так как было уже за полдень. За обедом, во время которого подрагивали стекла в окнах, Алпатыч, бывший почетным гостем, начал разговор о Очаковской войне и с подробностями рассказал, что он там видел и как князь действовал и три тысячи турок забрал. Ферапонтовы внимательно слушали его, но как только он кончил, как будто бы то, что они говорили, было ответом на его слова, начали рассказывать о том, что некоторые уезжают, что разбойники мужики дерут теперь по три рубля серебром за подводу, и про то, что Селиванов купец угодил в четверг, продал муку в армию по семь рублей за куль, а что Марья-пряничница и та села на мосту с квасом и с солдат выручила шесть рублей в день за квас. И квас-то дрянной, потому — жара.

К вечеру стрельба затихла. Одни говорили, что французов прогнали, другие говорили, что на завтра опять большое сражение будет за городом. Старший брат Ферапонтов ушел со двора. Братья ходили, растерянные, по двору и лавкам. Алпатыч как сел с вечера на лавочку у ворот, так и сидел молча, глядя на проходившие войска. Повозка Алпатыча не возвращалась. Он не ложился. Всю короткую летнюю ночь он сидел на лавочке, разговаривая с кухаркой и дворником, расспрашивая о том, что делалось, у беспрестанно проходивших войск и прислушиваясь к говору и звукам. В соседнем доме убирались и уезжали. Ферапонтов вернулся, и тоже не ложились и к утру стали укладываться.

В ночь повозка вернулась. Кучер рассказывал, что его угнали за мост, что побоище было страшное и что его не выпускали. Лошадей надо было кормить. Алпатыч, только что рассвело, пошел к собору и в соборе нашел неспящий народ. Против Смоленской божьей матери, не переставая, по очереди служили молебны. Отслужив молебен и за себя, Алпатыч вместе с знакомым купцом вошел на ко-

локольную, с которой, как ему говорили, видны были французы. Французы ясно видны были за Днепром. Они все двигались и подходили. Еще не успел Алпатыч слезть, как опять началась канонада за Днепром, но в город не попадали ядра.

«Что же это будет?» — думал Алпатыч, ничего не понимая и возвращаясь к дому.

Навстречу ему еще больше, чем вчера, с озабоченными, измученными лицами шли войска через город к тому месту, где была стрельба. Яков Алпатыч искал между ними своего молодого князя, но не находил. Один офицер сказал ему, что Перновский полк уже там, — он указал на предместья, откуда, сливаясь, гудели выстрелы и откуда везли и несли беспрестанно раненых. Яков Алпатыч вздохнул и перекрестился, ему надо было ехать. Он, раб и верный исполнитель воли князя по праву и по сердцу, знал, как мучился князь его отсутствием, но он не мог уехать. Он слушал этот страшный гул орудий, нюхал запах пороха, доносимый ветром в самый город, смотрел на раненых и стоял на месте. Вид бесчисленного количества наших солдат,

проходивших к месту сражения, радовал Алпатыча. Он, умиленно улыбаясь, смотрел на них и не двигался с места.

Мимо него проехали три телеги, полные ранеными и мертвыми, и один молодой офицер, который остановился против Алпатыча. Офицер кричал, чтоб его бросили, что он не доедет. Офицер бился головой и кричал: «Возьмите! Возьмите!»

Алпатыч подошел к нему.

— Голубчик ты мой! — сказал он и хотел помочь ему выйти, но телега опять двинулась, и опять навстречу шли солдаты. Алпатыч вдруг смягчился. Он стал креститься и кланяться проходящим солдатам, приговаривая:

— Отцы родные, голубчики, защитите Россию православную.

Некоторые из проходивших оглядывались на этого благообразного старика и, не переменив строгого выражения лиц, проходили. Несколько подвод ехало навстречу войскам. Это уезжали жители. Алпатыч вспомнил, что ему тоже надо ехать, и пошел к дому. Еще не дойдя до дома, он услышал знакомый ему

свист, который он слышал в Турции; это было ядро, которое влетело в город. Но вот другое, третье, и по мостовой, по крышам, по воротам стали бить снаряды. На дворах и в домах поднялся женский визг и беготня. Алпатыч прибавил шага, чтобы поспеть к Ферапонтовым. У монастыря укладывались монахини; баба с квасом сидела все на перекрестке; из дома выбежал мужик и кричал:

— Держи вора!

Пьяные два прошли. Он подошел к своему дому. Ферапонтов, один брат, был дома и поспешно укладывался, другие с бабами сидели в погребе. Кучер рассказывал, что на соседнем дворе убило бабу, и спрашивал, не пора ли закладывать. Но Алпатыч ничего не ответил ему и сел опять на лавочку против ворот. Ядра все еще летали и попадали через улицу. Стало смеркаться. Канонада стала стихать, но в двух местах показалось зарево. На соседнем дворе выли бабы.

Ферапонтовы все повылезли из погреба и суетились, запрягая, укладывая и торопливо бегая из дома к подводам. Солдаты, как муравьи из разоренной кочки, разных мунди-

ров, но с одинаковым то робким, то наглым видом, бегали по улицам и дворам. Два с мешками и хомутом пробежали из дома Ферапонтова. По улице хлынул народ, и слышалось духовное пение.

— Матушку Смоленскую понесли! — прокричала баба.

Алпатыч вышел на перекресток и увидал, как проносили священники в ризах икону и редкая толпа шла за ними. Какой-то полк шел назад от предместья.

— Позвольте спросить вашего благородия, — сказал Алпатыч, открывая лысую голову, — побежден ли неприятель?

— Сдают город, — коротко отвечал офицер и тут же обратился с криком к солдатам. — Я вам дам по дворам бегать! — крикнул он на выбежавших из рядов и заворачивающих в двор Ферапонтовых солдат. Солдаты, однако, проскочили в двор, другие в лавку.

Алпатыч вошел на двор, велел выезжать кучеру и увидал Ферапонтова, подошедшего и остановившегося у открытых дверей лавки. В лавке человек десять солдат с громким говором насыпали мешки и ранцы пшеничной



мукой и подсолнухами.

Ферапонтов вошел в лавку, хотел крикнуть что-то, но вдруг остановился и, схватившись за волосы, захохотал рыдающим хохотом.

— Тащи, все бери, ребята. Не доставайся дьяволам! — закричал он.

Некоторые солдаты, испугавшись, выбежали, некоторые продолжали насыпать.

Полк все еще тянулся по улице Ферапонтовых. Было уже совсем темно, и звезды зажглись на ясном небе. У угла дома Ферапонтова, под амбаром, толпилась кучка солдат, и начинало светлеть, точно заря занималась. Это был заряд пороха, который зажгли солдаты. Алпатыч подошел посмотреть. Угол амбара загорался благодаря тесинам, которые подкладывали солдаты. Ферапонтов выбежал к горящему углу.

— Распаливай, тащи все, все... все. Туда ей дорога! — кричал Ферапонтов, армяком раздувая огонь. Около пожара все больше и больше собиралось народа.

— Важно. Пошла драть. Вот пошла, — слышались голоса.

— Пропадай все! — кричал голос Ферापонта.

Алпатыч долго не мог оторваться от вида этого пожара и стоял тут, не в толпе. Чей-то знакомый голос окликнул его:

— Алпатыч!

— Ваше сиятельство, — отвечал Алпатыч, узнав голос князя Андрея. Князь Андрей в плаще, верхом на серой лошади стоял на перекрестке и оживленным взглядом смотрел на Алпатыча.

— Ты как здесь?

— По приказанию его сиятельства, сейчас возвращаюсь. Ваше сиятельство, что же, или уж пропали мы?

Князь Андрей, не отвечая, достал записную книжку и, приподняв колено, стал писать карандашом на вырванном листе. Он писал сестре. «Смоленск взят, — писал он. — Лысье Горы будут заняты неприятелем через неделю. Уезжайте сейчас в Москву. Отвечай мне тотчас, когда вы выедете, прислав нарочного в Горки». Написав и передав листок Алпатычу, он на словах передавал, как распорядиться отъездом князя, княжны и маленького

князя с мусью и как и куда отвечать ему тотчас же. Еще не успел он окончить эти приказания, как верховой штабной начальник, сопровождаемый свитой, подскакал к нему.

— Вы, полковник? — кричал штабной начальник с немецким акцентом знакомым князю Андрею голосом. — При вашем присутствии зажигают дома, а вы стоите? Что это значит такое! Вы ответите, — кричал Берг, который был теперь начальником штаба начальника левого фланга пехотных войск.

Князь Андрей с любопытством посмотрел на него и ничего не сказал.

— Так скажи, — продолжал он, обращаясь к Алпатычу, — что до десятого я жду ответа, а ежели десятого не получу известий, что все уехали, я сам должен буду все бросить и ехать в Лысые Горы.

— Я, князь, только потому говорю, — оправдывался Берг, узнав князя Андрея, — что я должен исполнять приказания, потому что я всегда точно исполняю...

— Уруру! — вторя завалившемуся потолку амбара, из которого несло запахом лепешек от сгоревшего хлеба, заревела толпа. Пламя

ярко вспыхнуло и осветило худое, желтое, но с блестящими глазами лицо князя Андрея. Громче всех, подняв кверху руки, кричал Ферапонтов.

— Это сам хозяин, ваше сиятельство, — сказал Алпатыч.

— Ну, хорошо. Ступай, ступай! — сказал князь Андрей. Сам, поклонившись Бергу, тронул лошадь вперед за полком, который уже прошел почти.

До княжны Марьи доходили слухи о сражении под Смоленском, и она скрывала эти известия от отца, но приезд Алпатыча и письмо Андрея и его требование уехать в Москву нельзя было скрыть от князя. Князь спокойно выслушал его. «Да, да, хорошо, хорошо», — приговаривал он на все слова княжны и Алпатыча и, отпустив их, сам тотчас же заснул на своем кресле. Проснувшись ввечеру, он приказал позвать княжну Марью, которая и без того все время провела в официантской, прислушиваясь к его двери.

— А, что? Старый дурак отец из ума выжил! А? Так, что ли? — встретил он дочь. —

Что я говорил? А?...

— Да, вы правы, отец, но... — Княжна Марья хотела сказать, что надо ехать, но не успела.

— Ну, теперь слушай, княжна Марья, — (князь казался особенно свеж в этот день), — слушай, теперь время терять нечего. Надо действовать. Садись, пиши.

Княжна Марья видела, что надо покориться, она села к его столу, не могла найти хорошего пера.

— Пиши, это уполченному главнокомандующему: «Ваше превосходительство...»

Но княжна еще не нашла пера. Он дернул ее за плечо.

— Ну, рыба. «Ваше превосходительство, известившись...» Постой, раз навсегда — я к тебе бывал дурен, зол, несправедлив. Да, да, — говорил он сердито, отворачиваясь от ее обороченного к нему испуганного лица, — да, да, — и он своим неловким жестом гладил ее по волосам, — так, я стар, я устал жить и против воли — зол, несправедлив. Прошу простить, княжна Марья, — закричал князь, — раз навсегда, прошу простить, прошу, прошу,

прошу, шу-кх, шу-шу! — кричал он и кашлял. — Ну, пиши: «известившись о близости врага...» — и он, ходя по комнате, твердо диктовал целое письмо, в котором говорил, что он не оставит Лысых Гор, в которых он родился и умрет, что будет защищаться в них до последней крайности и что, ежели правительство не боится стыда, чтоб один из старших генералов русских попал в плен французам, то пусть не присылают никого, в противном же случае он просит только роту артиллерии и триста человек милиционеров с кадровым унтер-офицером.

— Михаил Иваныч, — крикнул он. — Печатай, и чтоб кипело. Княжна Марья, пиши другое. К губернатору Смоленска: «Г-н барон... Известившись...»

В середине диктовки этого письма, мягко ступая и соболезнующе улыбаясь, вошла мадемуазель Бурьен, спрашивая, не угодно ли князю чай...

Князь, не отвечая, подошел к ней.

— Сударыня! Благодарю за услуги, не считаю возможным удерживать вас. Извольте ехать в Смоленск к губернатору.

— Княжна, — обратилась Бурьен к княжне Марье.

— Вон, вон! — закричал князь. — Михаил Иваныч, позвать Алпатыча и распорядиться отправить ее в город немедля.

Он подошел к бюро, вынул деньги, старательно отсчитал.

— Передашь ей... Пиши дальше: «Известившись, господин барон, что неприятель...» — Он опять остановился, вспоминая что-то, и опять подошел к княжне Марье. — Да, раз навсегда, я был жесток с тобой, княжна Марья, несправедлив. Прошу, прошу, прошу, — пиши, пиши...

Написав еще два письма с половиной и, вероятно, забывая, что он уже сказал то, что хотел, княжне Марье, он, несколько раз еще повторив свое: «Прошу, раз навсегда», — он в середине четвертого письма остановился, сел в кресло, сказал «иди» и тотчас же заснул.

Княжна Марья, несмотря на страх, чтоб он не проснулся, поцеловала его в лоб и еще более испугалась того, что он не проснулся, что он так странно и крепко спал.

Был уже первый час ночи. Княжна Марья

пошла к себе, но по дороге она встретила Алпатыча, который в первый раз в ее жизни обратился к ней за советом и приказанием, за разъяснением вопроса, в какой степени нужно теперь исполнять приказания князя:

— В своем сомнении осмелюсь прибегнуть к вашему сиятельству, прикажете ли отослать француженку и послать в Богучарово за мужиками, как распорядились их сиятельство князь Николай Андреич, или?...

Алпатыч сказал это, но княжна Марья поняла совсем другое, она поняла теперь в первый раз, что отец ее, тот отец, для которого она перенесла столько, что этот отец умер или умрет скоро, что его не будет скоро. Княжна Марья остолбенела и вопросительно, почти с ужасом смотрела на Алпатыча.

— Ваше сиятельство, ежели бы не было необходимости, я бы не осмелился докладывать этих слов вашему сиятельству. Но князь Андрей Николаевич настоятельно объясняли об опасности оставаться в здешнем имении и изволили приказать ехать в Москву и их о том уведомить.

— Я не знаю, — сказала княжна Марья, —



но одно: Амалию Федоровну нельзя отправить в Смоленск, ты сам говоришь...

— Не прикажете ли, ваше сиятельство, отправить их в Богучарово, там Дронушке приказать сделать им всякую приятность, но не выпускать из дома. А от князя покаместа скрыть. Но насчет лично князя и вашего отправления в Москву как прикажете? Лошади и экипажи готовы. И князь, вероятно, в теперешнем положении изволят согласиться; потому покаместа...

— Да, да, пожалуйста, я переговорю завтра, — разрыдавшись, проговорила княжна Марья, которая словом «покаместа» лишилась последнего присутствия духа, и она ушла своими тяжелыми шагами сначала в свою комнату, потом к Бурьен, которую она не могла забыть именно потому, что она-то в жизни ей сделала наиболее зла. Она вошла к плачущей француженке и, как виноватая, умолила ее простить и успокоиться и ехать в Богучарово. Во втором часу неслышными шагами княжна Марья вернулась к себе в комнату, посмотрела на образа и не могла молиться. Она чувствовала, что ее призывал теперь

другой, трудный мир житейской деятельности, совершенно противоположный нравственному миру молитвы, она чувствовала, что, предаваясь последнему, она потеряет последние силы действовать. Она не могла и не стала молиться. Проходя в свою комнату, она слышала шаги отца по галерее. Едва она успела раздеться, как шаги эти стали приближаться к ней, к ее двери и остановились, и опять зашевелился князь и опять остановился. Он прислушивался. Он хотел и не смел войти. Княжна Марья кашлянула. Он вошел в ее комнату. Никогда этого не бывало с тех пор, как себя помнила княжна Марья.

— А я все хожу, не спится, — сказал старик измученным, усталым голосом, которому он хотел придать небрежные интонации. Он сел в кресло под образа. — Так-то я не спал раз в Крыму. Там теплые ночи. Все думалось. Императрица прислала за мной... Я получил назначение... — он оглянулся на стены. — Да, уж так не построят теперь. Ведь я начал строить, как приехал сюда. Тут ничего не было. Ты не помнишь, как сгорели. Нет, где тебе. Так не построят, нынче тят да ляп — и корабль. По-

живу я, отсюда обведу галерею, и там будут Николаше покои. Там, где невестка жила, — добрая бабенка была, добрая, добрая, добрая. А его надо будет послать прочь — надо будет, да и тебе... Ах, забыл, забыл, эка память становится. Ну, спи, спи.

Он ушел. Княжна слышала его трещотку и шаги и перестала слышать только тогда, когда заснула. Она проснулась поздно.

По первому взгляду на лицо девушки она заметила, что что-то случилось в доме. Но ей было так страшно, что она не спросила. Она поспешно оделась и сошла вниз. Алпатыч, стоя в официантской, с любопытством и сожалением посмотрел на нее. Княжна Марья не остановилась спросить его, она подошла прямо к двери кабинета. Тихон высунулся из двери. Княжна Марья заметила, что гардины были спущены.

— Карл Иваныч сейчас выйдут, — сказал он. Карл Иваныч был доктор. Он вышел на цыпочках.

— Это ничего. Княжна, ради бога, успокойтесь, — сказал доктор, — небольшой удар правой стороны.

Княжна Марья тяжело переводила дыхание. Она сделала, как будто все знала...

— Можно мне видеть его?

— После лучше, — и доктор хотел затворить дверь, но княжне Марье было страшно оставаться одной, она поманила его к себе и увела в гостиную.

— Это не могло не быть. Он так принимал к сердцу, он так страдал нравственно, что силы не вынесли. Нынче поутру, получив письма от губернатора и князя Андрея Николаевича, он пошел смотреть делать ополченцам — дворовым, сам все показывал. Он хотел ехать, и карета была заложена, как вдруг с ним случилось...

Княжна Марья не плакала.

— Может ли он ехать до Москвы? — спросила она.

— Нет. Мое мнение — лучше ехать в Богучарово...

— Могу я видеть его?

— Пойдемте.

Княжна Марья вошла в темную комнату и в темноте сначала ничего не видала, потом на диване ей обозначилось что-то. Она подо-

шла ближе. Он лежал на спине с согнутыми ногами, покрытыми одеялом. Он весь был такой маленький, худенький, слабый. Она нагнулась над ним, лицо его было прямо уставлено в противоположную стену, левый глаз, очевидно, не видел, но когда правый глаз увидал лицо княжны Марьи, все лицо задрожало, он поднял правую руку и схватил ее за руку, и лицо его задергалось с правой стороны. Он заговорил что-то, чего не могла понять княжна Марья, и, заметив, что она не понимает, сердито засопел. Княжна Марья кивала головой и говорила «да», но он все фыркал сердито, и княжну Марью отвел доктор.

«Так долго мы не понимали друг друга, — подумала княжна Марья, — и теперь тоже».

Посоветовавшись с доктором и с городничим, княжна Марья решила вместо Москвы ехать с больным, разбитым параличом отцом не в Москву, а в Богучарово, которое было в 40 верстах от дороги, а Николушку с Laborde отправить в Москву к тетке. Чтобы успокоить Андрея, она написала ему, что она едет с отцом и племянником в Москву.

От Смоленска войска продолжали отступать. Неприятель шел вслед за ними. 10 августа Перновский полк проходил по большой дороге через Лысые Горы. Жара и засуха стояла более трех недель. Каждый день ходили курчавые облака, изредка заслоняя солнце, но к вечеру опять расчищало, и солнце садилось в бурю красную мглу, и только сильная роса ночью освежала землю. Оставшийся на корню хлеб и травы сгорали. Болота пересохла. Скотина редела от голода по сбитым парам и отавам. Только ночью с росой и в лесах, пока держалась роса, было прохладно. Но по дороге, по большой дороге, по которой шли войска, не было никогда и этой прохлады. Роса незаметна была по песочной пыли дороги, втолченной больше чем на четверть. Как только рассветало, начиналось движение. Обозы, артиллерия беззвучно шли по ступицу, а пехота по щиколку в мягкой, душной, не остывшей за ночь жаркой пыли, которая поднималась и стояла облаком, вливая в глаза, в волосы, в уши, в ноздри и, главное, в легкие. Чем выше поднималось солнце, тем выше поднималось облако пыли, и на солнце мож-

но было смотреть простым глазом сквозь эту тонкую жаркую пыль: оно представлялось багровым шаром.

Князь Андрей командовал полком и, как солдаты, строгающие шомпол, с страстью строгал свою палочку — устройство полка, благосостояние его людей, облагороженье офицеров, готовность к бою. После Смоленска он еще более увлекся этим делом и начинал забывать свое. Он бывал кроток и добр с своими офицерами и солдатами. Его называли «наш князь», им гордились и его любили. Но добр и кроток он был с своими полковыми, с Тимохиным и т. п., с людьми совершенно новыми и чужой среды, которые не могли знать и понимать его прошедшее, но как только он сталкивался с кем-нибудь из своих прежних, из штабных, он тотчас опять ощетикивался, делался злобен, насмешлив, презрителен. Все, связывающее его воспоминания с прошедшим, отталкивало его, и потому он старался только в отношении этого прежнего мира не быть несправедливым и исполнять свой долг. Это слово и понятие долг был сильнее боли в нем теперь, когда он боялся под влиянием

озлобления как-нибудь изменить ему. Прежде все в темном свете представлялось князю Андрею — особенно после того, как оставили Смоленск, как отец больной должен был бежать в Москву и бросить на расхищенные столь любимые, обстроенные, им сделанные Лысые Горы. Но несмотря на то, благодаря полку, князь Андрей мог думать о другом, совершенно не зависимом от общих вопросов предмета, — о своем полку.

10 августа колонна, в которой был его полк, поравнялась с Лысыми Горами. Князь Андрей два дня тому назад получил известие, что его отец, сын и сестра уехали в Москву, — это было то обманное письмо, которое написала ему с целью успокоить его княжна Марья перед отъездом в Богучарово.

«Да, я должен поехать, — подумал князь Андрей, хотя ему и очень не хотелось этого, — это мой долг распорядиться в имении, посмотреть по крайней мере». Он велел оседлать двух лошадей и поехал с Петром верхом. В деревне, через которую они проехали, было все то же, но дома были старики, все остальные были на работах, мужики пахали, бабы



мыли на пруде белье и кланялись испуганно и низко. Князь Андрей подъехал. В сторожке у каменных ворот въезда никого не было и дверь была отперта. Дорожки сада уже заросли, и телята и лошади ходили по английскому парку. Какая-то женщина и мальчик увидели его и побежали через луг. Петр поехал на дворню. Князь Андрей подъехал к оранжерее: стекла были разбиты и деревья в кадках некоторые повалены, некоторые засохли. Он окликнул Тараса — садовника. Никто не откликнулся. Обогнув оранжерею на выставку, он увидел, что забор тесовый весь изломан и фрукты сливы обдерганы с ветками. Старый мужик — Андрей видел его у ворот в детстве — сидел и плел лапоть на зеленой скамейке. Он был глухой и не услышал подъезда Андрея. Ему было ловко сидеть на кадке, и около него так аккуратно развешано лычко на сучках обломанных и засохших магнолий. Он сидел тут так же безучастно, как мухи ходят по лицу дорогого мертвого человека. Князь Андрей подъехал к дому. Несколько лип в старом саду были срублены, лошади ходили тут между розанами. Дом был заколо-

чен ставнями. Одно окно внизу было открыто. Алпатыч в очках, застегиваясь, выбежал из дома. Алпатыч услал семью и один остался в доме. Он сидел дома и читал Жития. Он подбежал к князю и, ничего не говоря, заплакал, целуя князя Андрея в коленку. Потом он отвернулся с сердцем на свою слабость и, пригласив князя слезть, стал докладывать ему положение дел. Все ценное и дорогое было отвезено в Богучарово, хлеб до ста четвертей тоже был вывезен, сено и урожай нынешнего года взят и скошен зелеными войсками. Мужики разорены, но некоторые ушли тоже в Богучарово, малая часть остается. Князь Андрей, не дослушав его, спросил, когда уехали отец и сестра, разумея, когда уехали в Москву. Алпатыч отвечал, полагая, что спрашивают об отъезде в Богучарово, что уехали 7-го, и опять распространялся о делах хозяйства, спрашивая распоряжений. Князь Андрей опять перебил его вопросом о состоянии отца, и тут Алпатыч объяснил князю Андрею о болезни старого князя.

— Прикажете ли отпускать под расписку командам овес? У нас еще шестьсот четвер-

тей осталось, — спрашивал Алпатыч.

«Что отвечать ему»? — думал князь Андрей, грустно глядя на лоснящуюся на солнце плешивую голову старика и в выражении лица его читая сознание того, что он сам понимает несвоевременность этих вопросов, но спрашивал так, чтобы заглушить и свое горе.

— Ежели изволили заметить беспорядки в саду, — говорил Алпатыч, — то невозможно было предотвратить — три полка приходили и ночевали, в особенности драгуны, я выпи-сал чин и звание для подачи прошения.

— Ну что ж ты будешь делать? Останешь-ся, ежели неприятель займет? — вдруг спросил его князь Андрей.

Алпатыч повернул свое лицо к князю Андрею, посмотрел на него и вдруг торжественным жестом поднял руку кверху.

— Он мой покровитель. Да будет воля Его.

Толпа мужиков и дворовых шла по лугу, с открытыми головами, приближаясь к князю Андрею.

— Прощай, старый друг! — сказал князь Андрей, обнимая Алпатыча. Алпатыч при-жался к его плечу и зарыдал. — Уходите все, и

зажигай дом и деревню, — сказал князь Андрей Алпатычу тихим голосом. — Здравствуйте, ребята. Вот я Якову Алпатычу все приказал. Его слушайте. А мне некогда, некогда. Прощайте.

— Батюшка, отец, — слышались голоса.

Он поднял лошадь в галоп и поехал вниз по аллее. На выставке все так же сидел старик и стучал по колодке лаптя, и две девочки с сливами в подолах перешли ему через дорогу.

Князь Андрей освежился немного, выехав из района пыли большой дороги, по которой двигались войска. Но недалеко за Лысыми Горами он выехал опять на дорогу и догнал свой полк на привале у плотины небольшого пруда. Был второй час после полдня. Солнце, красный шар в пыли, невыносимо пекло и жгло спину сквозь черный сюртук, пыль немного реже, но стояла над говором гудевшими остановившимися войсками. Ветру не было. Проезжая по плотине, на князя Андрея пахнуло тиной и свежестью пруда. Ему захотелось в воду, какая бы грязная она ни была. Он оглянулся на пруд, с которого неслись кри-

ки и хохот. Небольшой мутный с зеленью пруд, видимо, поднялся четверти на две, заливая плотину, потому что он был полон солдатами, голыми, барахтавшимися в нем белыми телами, с кирпично-красными руками, лицами и шеями. Все это голое белое человеческое мясо с хохотом и гиканьем барахталось в этой грязной луже, как караси, набитые в лейку. И беззаветным весельем отзывалось это барахтанье, и оттого оно особенно было грустно. Один молодой белокурый солдат — еще князь Андрей знал его, — третьей роты, с ремешком под икрой, одной рукой закрываясь, другой крестясь, отступал назад, чтоб хорошенько разбежаться и бултыхнуться в воду, другой, черный, всегда лохматый унтер-офицер, по пояс в воде, подергивая счастливо мускулистым станом, радостно фыркал, поливая себе голову черными по кисти руками. Слышалось шлепанье друг по другу, и визг, и уханье. Другая рота раздевалась и тоже лезла туда же. С другой стороны купалась кавалерия. На берегах, на плотине, в пруде, — везде было белое, здоровое, мускулистое мясо. Офицер Тимохин с красным носиком обти-

рался на плотине и застыдился, увидав князя, однако решился обратиться к нему.

— То-то хорошо, ваше сиятельство, вы бы изволили, — сказал он.

— Грязно, — сказал князь Андрей, поморщившись.

— Мы сейчас очистим вам, — и Тимохин, еще не одетый, побежал очищать. — Князь хочет.

— Какой? — Наш князь, — заговорили голоса, и все заторопились так, что насилу князь Андрей успел их успокоить...

### III

**В** числе бесчисленных подразделений, которые можно сделать в явлениях жизни, можно подразделить их все на такие, в которых преобладает содержание, другие — в которых преобладает форма. К числу таковых, в противоположность деревенской, земской, губернской, даже московской жизни, можно ставить жизнь петербургскую, в особенности салонную. Эта жизнь неизменна. С 1805 года мы мирились и ссорились с Бонапартом, мы делали конституции и разделявали их, а са-

лон Анны Павловны и салон Элен были точно такие же, какие они были один семь лет, другой пять лет тому назад. Точно так же у Анны Павловны говорили с недоумением о успехах Бонапарта и видели во всем единственную цель Антихриста побеспокоить императрицу Марию Федоровну, точно так же у Элен, которую сам Румянцев удостаивал своим посещением и считал весьма умной женщиной, со вздохом сожаления говорили о печальном разрыве с великой нацией и великим человеком.

В последнее время, после приезда государя из армии, произошло некоторое волнение в этих противоположных кружках салонов и некоторые демонстрации, но направленность осталась та же. В кружке Марии Федоровны, как бы в доказательство того, до чего ужасен был Бонапарт, были отданы приказания укладывать тяжести и готовиться к отъезду в Казань придворным и женским институтам, находившимся под ведением императрицы-матери, и принимались только закоренелые легитимисты французы и выражалась патриотическая мысль о том, что не надо ездить во

французский театр и что содержание труппы стоит столько же, сколько содержание целого корпуса. За военными событиями следилось жадно, и распускались самые выгодные для нашей армии слухи. В кружке Элен и румянцевско-французском высказывали особенную самоуверенность и спокойствие и опровергались слухи о жестокости врага и войны. Вообще все дело представлялось пустыми демонстрациями, которые весьма скоро кончатся миром. И царствовало мнение Билибина, бывшего теперь в Петербурге и домашним у Элен (всякий умный человек должен был быть у Элен), что не порох, а те, кто его выдумали, решат дело. В этом кружке иронически и весьма умно, хотя весьма осторожно, осмеивали московский восторг, известие о котором прибыло вместе с государем в Петербург.

В кружке Анны Павловны восхищались этими восторгами и говорили о них, как говорит Плутарх о древних; князь Василий, занимавший все те же важные должности, составлял звено соединения между двумя кружками. Он ездил к хорошему другу Анне Павловне и в дипломатический салон своей дочери



и часто, при беспрестанных переездах из одного лагеря в другой, он путался и говорил у Анны Павловны то, что надо было говорить у Элен, и наоборот.

Вскоре после приезда государя князь Василий разговорился у Анны Павловны о делах войны, жестоко осуждая Барклая де Толли и находясь в нерешительности, кого бы назначить главнокомандующим. Один из гостей, известный под именем «человек с большими достоинствами», рассказал о том, что он видел нынче Кутузова, заседающего в казенной палате для приема ратников, и слушал толки о том, что вот человек, кого бы назначить.

Анна Павловна грустно улыбнулась и заметила, что Кутузов, кроме неприятностей, ничего не делал государю.

— Я говорил и говорил в дворянском собрании, — перебил князь Василий, — но меня не послушали. Я говорил, что избрание его в штаб ополчения не понравится государю. Они меня не послушали.

— Все какая-то мания фрондировать. И перед кем? И все оттого, что мы хотим обезьянничать глупым московским восторгам, — го-

ворил князь Василий, спутавшись на минуту, но тотчас же поправляясь. — Но неприлично Кутузову, самому старому генералу в России, заседать в палате, хлопоты его пропадут даром! Разве возможно назначить главнокомандующим человека, который не может верхом сесть, засыпает на совете, человека самых дурных нравов! Хорошо он себя зарекомендовал в Букареште! Я уже не говорю о его качествах как генерала, но разве можно в такую минуту назначить человека дряхлого и слепого, — просто слепого. Хорош будет генерал слепой. Он не видит ничего. В жмурки играть... ровно ничего не видит!

Никто не возражал на это.

4 августа это было совершенно справедливо. 10 августа Кутузову пожаловано княжеское достоинство. Но княжеское достоинство могло означать и то, что от него хотели отделаться, и потому суждение князя Василия продолжало быть справедливо, хотя он и не торопился его высказывать теперь. Но 15 августа, в самый день Смоленской битвы, был собран комитет из генерал-фельдмаршала Салтыкова, Аракчеева, Вязьмитинова, Лопу-

хина и Кочубея для обсуждения дел войны. Комитет решил, что неудачи происходили от разноначалий, и предложил назначить Кутузова главнокомандующим. И в тот же день Кутузов был назначен полномочным главнокомандующим армии и всего края, занимаемого войсками.

17 августа князь Василий встретился опять у Анны Павловны с человеком с большими достоинствами, который ухаживал за Анной Павловной по случаю желанья назначения попечителем женского учебного заведения императрицы Марии Федоровны. Князь Василий вошел в комнату с видом счастливого победителя, человека, достигшего цели своих желаний.

— Ну-с, вы знаете великую новость, князь Кутузов — фельдмаршал. Все разногласия кончены. Я так счастлив, так рад! — говорил князь Василий. — Наконец, вот это человек!

Человек с большими достоинствами, несмотря на свое желание получить место, не мог удержаться, чтобы не напомнить князю Василию. (Это было неучтиво и перед князем Василием в гостиной Анны Павловны, и Ан-

ной Павловной, которая так же радостно приняла эту весть; но он не мог удержаться.)

— Но, говорят, он слеп, князь, — сказал он.

— Э, вздор, он достаточно видит, — сказал князь Василий своим басистым, быстрым голосом с покашливанием, тем голосом и покашливанием, которыми он разрешал все трудности. — Э, вздор, он достаточно видит, — повторил он и, не обращая более внимания на это, продолжал: — И чему я рад, это то, что государь дал ему полную власть над всеми армиями, над всем краем, — власть, которой никогда не было ни у какого главнокомандующего. Это другой самодержец.

— Дай Бог, дай, — сказала Анна Павловна.

Человек с большими достоинствами, еще новичок в придворном обществе, желая польстить Анне Павловне, выгораживая ее прежнее мнение из этого суждения, сказал:

— Говорят, что государь неохотно передал эту власть Кутузову. Говорят, что он покраснел, как барышня, которой бы прочли «Жюконду».

— Может быть, сердце его не вполне участвовало, — сказала Анна Павловна.

— О нет, нет, — горячо заступился князь Василий. Теперь уже он не мог никому уступить Кутузова. Не только он был сам хорош, но и все обожали его. — Нет, это не может быть, потому что государь так умел прежде ценить его.

— Дай Бог только, чтобы князь Кутузов, — сказала Анна Павловна, — взял действительно власть и не позволял бы никому вставлять себе палки в колеса.

Князь Василий тотчас понял, кто был этот никому. Он шепотом сказал:

— Я верно знаю, что Кутузов как непременно условие выговорил, чтоб наследник цесаревич не был при армии. Он сказал: «Я не могу наказать его, ежели он сделает дурно, и наградить, ежели он сделает хорошо». О, это умнейший человек, Кутузов, какой характер! О, я его знаю давно.

— Говорят даже, — сказал человек с большими достоинствами, не имевший еще придворного такта, — что он непременно условием поставил, чтобы государь не приезжал к армии.

Как только он сказал это, в одно мгнове-

ние князь Василий и Анна Павловна отвернулись от него и грустно, со вздохом о его наивности, посмотрели друг на друга.

## IV

В то время как это происходило в Петербурге, французы уже давно прошли Смоленск и все ближе и ближе приближались к Москве. Историк Наполеона Тьер говорит, стараясь оправдать своего героя, потому что все другие историки обвиняли его в этом, что Наполеон был привлечен к стенам Москвы невольно. Он прав, как и правы другие французские историки, ищущие объяснения событий исторических в воле одного человека, он прав так же, как и русские историки, которые утверждают, что Наполеон был привлечен к Москве искусством русских полководцев. Здесь, кроме закона ретроспективности, представляющего все прошедшее приготовлением к совершившемуся факту, есть еще взаимность, путающая все дело. Хороший игрок, проигравший в шахматы, искренне убежден, что его проигрыш произошел от его ошибки, и он отыскивает эту ошибку в начале игры,

но забывает, что в каждом его шаге, в продолжение всей игры, были такие же ошибки, но ошибка заметна ему только потому, что противник воспользовался ею. Насколько же более сложна эта игра войны, происходящая в известных условиях времени, где не одна только воля руководит безжизненными машинами, а где все вытекает из бесчисленного столкновения различных произволов. В деле, где действуют много людей вместе, все совершается не по воле людей, а по зоологическим разным законам, которые не дано предугадать человеку.

После Смоленска Наполеон искал сражения за Дорогобужем у Вязьмы, потом у Царева-Займища; но выходило, что, по бесчисленному столкновению обстоятельств, до Бородина, в 60 верстах от Москвы, русские не могли принять сражения. От Вязьмы было сделано распоряжение Наполеоном для движения прямо на Москву.

Москва, азиатская столица этой великой восточной империи, священный город народов Александра, Москва — с своими бесчисленными церквями в форме китайских пагод!

Эта Москва не давала покоя воображению Наполеона. На переходе из Вязьмы к Цареву-Займицу Наполеон верхом ехал на своем соловом англазированном иноходчике, сопровождаемый гвардией, караулом, пажами и адъютантами. Бертье отстал, чтобы допросить взятого кавалерией русского пленного. Он галопом догнал Наполеона и с веселым лицом остановил лошадь.

— Ну что? — сказал Наполеон.

— Это платовский казак, говорит, что корпус Платова соединяется с большой армией, что Кутузов назначен главнокомандующим. Очень умный и болтун.

Наполеон улыбнулся и велел дать этому казаку лошадь и привести его сюда, он сам желал поговорить с ним. Несколько адъютантов поскакало, и через час крепостной человек в денщицкой куртке, на французском кавалерийском седле, с плутовским и пьяным, веселым лицом, подъехал к Наполеону. Наполеон велел ему ехать рядом с собой и начал спрашивать.

— Вы казак?

— Казак-с, ваше благородие.



«Казак, не зная того общества, в котором он находился, потому что простота Наполеона не имела ничего такого, что бы могло открыть для восточного воображения присутствие государя, разговорился с чрезвычайной фамильярностью об обстоятельствах войны», — говорит Тьер, рассказывая этот эпизод. Действительно, Лаврушка, лакей Денисова, перешедший к Ростову, напившийся накануне пьяным и оставивший барина без обеда, был высечен и отправлен в деревню на мародерство, где и был взят французами. Лаврушка был один из тех грубых, наглых лакеев, видавших всякие виды, которые считают долгом делать все с подлостью и хитростью, которые готовы служить всякую службу своему барину и которые хитро угадывают барские дурные мысли, в особенности тщеславие и мелочность.

Попав в общество Наполеона, которого личность он очень хорошо и легко признал, Лаврушка нисколько не смутился и только старался от всей души послужить новым господам. Он очень хорошо знал, что это сам Наполеон, и присутствие Наполеона не могло

смутить его больше, чем присутствие Денисова или вахмистра с розгами, потому что не было ничего у него, чего бы не мог лишить его ни вахмистр, ни Наполеон. Он врал все, что толковалось между денщиками. Много из этого была правда. Но когда Наполеон спросил его, как же думают русские, победят они Бонапарта или нет, Лаврушка прищурился и задумался. Он увидел тут тонкую хитрость (как всегда во всем видят ее глубоко развращенные люди) и хитро насупился и помолчал. И сказал хитросплетенно-неопределенно народную шпильку.

— Оно значит: коль быть отраженью, так значит в скорости ваша возьмет. Это так точно, ну, а коли пройдет три дня опосля того самого числа, ну, тогда, значит, власть Божия.

Наполеону перевели это так:

«Ежели сражение произойдет прежде трех дней, то французы выиграют его, но ежели после трех дней, то бог знает, что случится», — улыбаясь передал толмач. Но Наполеон не улыбнулся, хотя он, видимо, был в самом веселом расположении духа. Лаврушка заметил это и, чтобы развеселить его, сказал, при-

творяясь, что не знает, кто он:

— Знаем, у вас есть Бонапарт, он всех в мире побил, ну да об нас другая статья... — сказал он, сам не зная как и отчего под конец проскочил в его слова хвастливый патриотизм. Переводчик передал эти слова Наполеону без окончания, и Бонапарт улыбнулся.

«Молодой казак заставил улыбнуться своего могущественного собеседника», — говорит Тьер.

Проехав несколько шагов молча, Наполеон обратился к Бертье и сказал, что он хочет испытать действие, которое произведет на это дитя Дона известие, что он сам император.

Известие было передано. И Лаврушка, поняв, что это делается, чтоб озадачить его, и что Наполеон думает, что он испугается, тотчас же притворился ошеломленным, выпучил глаза и сделал такое же лицо, какое ему привычно было, когда его водили сечь.

«Едва переводчик Наполеона сказал это казаку, как казак, охваченный каким-то остолбенением, не произнес более ни одного слова и продолжал ехать, не спуская глаз с завоевателя, имя которого достигло до него че-

рез восточные степи. Вся его разговорчивость вдруг прекратилась и заменилась наивным и молчаливым чувством восторга. Наполеон, наградив казака, приказал дать ему свободу, как птице, которую возвращают ее родным полям».

«Через три дня Москва, восточные степи...» — думал Наполеон, подвигаясь к Вязьме.

Да не упрекнут меня в подборании тривиальных подробностей для описания действия людей, признанных великими, как этот казак, как Аркольский мост и т. п. Ежели бы не было описаний, старающихся выказать великими самые пошлые подробности, не было бы и моих описаний. В описании жизни Ньютона подробности о его пище и о том, как он спотыкнулся, не могут иметь никакого влияния на значение его как великого человека — они посторонние; но здесь, наоборот, бог знает, что осталось бы от великих людей, правителей и воинов, ежели перевести на обыденный язык всю их деятельность.

«Птица, возвращенная родным полям», поскакал влево, выехал к казакам, расспросил, где был Павлоградский полк, состоявший в отряде Платова, и к вечеру же нашел своего барина, Ростова, стоявшего в Янкове и только что севшего верхом, чтобы с Ильиным сделать прогулку до Богучарова. Он дал другую лошадь Лаврушке и взял его с собой.

Богучарово не вполне хорошо было выбрано убежищем от французов. Правда, что здоровье старого князя было так слабо, что он не доехал бы до Москвы. Князь в Богучарове, несмотря на помощь доктора, оставался более двух недель все в том же положении. Уже поговаривали о французах, в окрестностях показывались французы, и у соседа в 25 верстах, Дмитрия Михайловича Телянина, стоял полк французских драгун. Но князь ничего этого не понимал, а доктор сказал, что нельзя ехать в таком положении.

На третьей ночи после приезда в Богучарово князь лежал, как и прежние дни, в кабинете князя Андрея. Княжна Марья ночевала в

соседней комнате. Всю ночь она не спала и слышала его кряхтенье и ворочанье с помощью доктора и Тихона, но не смела войти к нему. Она не смела потому, что все эти дни, как только наступал вечер, князь выказывал признаки раздражения и знаками выгонял ее, приговаривая: «Спать мне, хорошо мне...» Днем он допускал ее и левой, здоровой, рукой держал и жал ее за руку и успокаивался до тех пор, пока что-нибудь не напоминало ему о том, что его выгнало из Лысых Гор. Тогда, несмотря ни на какие средства доктора, он начинал кричать, хрипеть и метаться. Он, видимо, очень страдал и физически, и нравственно. Княжна страдала не меньше его. Надежды на исцеление не было.

Он мучился... «Не лучше ли был бы конец, — совсем конец», — иногда думала княжна Марья. И странно сказать, она день и ночь, почти без сна, следила за ним, и часто она следила за ним не затем, чтобы найти признаки облегчения, но следила, желая найти признаки приближения к концу, к великому горю, — но к успокоению. После четвертой бессонной ночи, проведенной в напряжении

слуха, в сухом ожидании и страхе у его двери (княжна Марья не плакала и удивлялась самой себе, что она не могла плакать), она утром вошла в его комнату. Он лежал высоко на спине, с своими маленькими костлявыми ручками на одеяле и уставленными прямо глазами. Она подошла и поцеловала его руку, левая рука сжала ее, и так, что, видно, долго не хотел он ее выпустить.

— Как вы провели ночь? — спросила она.

Он начал говорить, с комическим трудом ворочая язык (что ужаснее всего было княжне Марье). Он говорил лучше нынче, но лицо его похоже стало на птичье и очень измельчало чертами, как будто ссохлось или растаяло.

— Ужасную ночь провел, — выговорил он.

— Отчего, отец? Что особенно вас мучило?

— Мысли! Погибла Россия... — он зарыдал.

Княжна Марья, боясь, что он опять озлобится при этом воспоминании, спешила навестить его на другой предмет.

— Да, я слышала, как вы ворочались... — сказала она. Но он нынче не озлобился, как прежде, при воспоминании о французах, на-

против, он был кроток, и это поразило княжну Марью.

— Все равно теперь конец, — сказал он и, помолчав: — Не спала? Ты?

Княжна Марья отрицательно покачала головой; невольно подчиняясь отцу, она теперь так же, как он, говорила, стараясь говорить больше знаками и как будто тоже с трудом ворочая язык.

— Нет, я все слышала, — сказала она.

— Душенька (или «дружок», — княжна Марья не могла разобрать, но да, как ни странно это было, это, наверно, по выражению его взгляда, было нежное, ласковое слово), зачем не пришла ко мне?

К княжне Марье вдруг воротилась способность слез и рыданий. Она нагнулась к его груди и зарыдала. Он пожал ее руку и замал головой, чтоб она шла к двери.

— Не послать ли за священником? — сказал шепотом Тихон.

— Да, да.

Княжна Марья обратилась к отцу. Она еще ничего не успела сказать, как он проговорил:

— Священника, да.



Княжна Марья вышла, послала за священником и побежала в сад. Был жаркий августовский день, тот самый, в который князь Андрей заезжал в Лысые Горы. Она выбежала в сад и, рыдая, побежала вниз к пруду по молодым, засаженным князем Андреем, липовым дорожкам.

«Да, я, я, я. Я желала его смерти. Да, я желала. Вот она пришла. Радуйся. Пришла (я знаю), радуйся, ты будешь покойна...» — думала княжна Марья, падая на засохшую траву и руками давя грудь, из которой судорожно вырывались рыдания. Но надо было идти назад.

Она облила водой голову и вошла в большое крыльцо. Священник при ней вошел в его комнату. Она выходила и вернулась, когда ему утирали рот. Он смотрел на нее. Когда священник ушел, он опять указал княжне Марье дверь и закрыл глаза. Она вышла в столовую. На столе был накрыт завтрак. Княжна Марья подошла к его двери. Он кряхтел. Она вернулась в столовую, подошла к столу, села и положила себе на тарелку котлету с картофелем и стала есть и пить воду.

Тихон вошел в дверь и поманил ее. Тихон неестественно улыбался. Он, видно, что-то хотел скрыть этой улыбкой.

— Зовут, — сказал он.

Княжна Марья, не торопясь, дожевывая котлету, подошла к двери. Она остановилась у двери, чтобы проглотить и отереть рот. Наконец взялась за ручку, скрипнула и отворила. Он лежал все так же, только лицо его еще больше растаяло. Он поглядел на нее так, что видно было, он ждал ее. И рука его ждала ее руки. Она схватилась за нее... Сначала это была его рука, это было его лицо, но через несколько минут не только это было не его лицо, которое лежало на подушках, и не его рука, которая держала ее, но это было что-то чуждое, страшное и враждебное. И эта перемена вдруг произошла в княжне Марье в ту минуту, как доктор, не ступая более на цыпочки, а всей ступней подошел к окну и поднял штору. Был уже вечер. «Вероятно, я более двух часов сидела тут, — подумала княжна Марья. — Нет, не может быть, чего мне страшно? Это — он». Она поднялась и поцеловала его в лоб. Он был холоден. «Нет, нет его

больше. Его нет, а есть, тут же, на том месте, где был он, какая-то страшная, ужасающая тайна...»

В присутствии доктора и Тихона женщины обмыли то, что был он, повязали голову, чтобы не заостенел открытый рот, и связали другим платком расходившиеся ноги, одели в мундир с орденами и положили на стол под парчой в гостиной. Как лошади шарахаются и толпятся и фыркают над мертвой лошадью, так в гостиной толпился народ, чужой и свой, с остановившимися глазами, крестился и заботился о ельнике, который насыпали на полу, о парче, о свечах, о венчике...

Княжна Марья сидела с уставленными прямо сухими глазами на сундуке в своей комнате, бывшей спальне князя Андрея, и с ужасом думала о том, что она желала этого...

Мадемуазель Бурьен, не показывавшаяся до того времени и жившая в доме приказчика, опять пришла в дом, и княжна Марья слышала ее рыдания, слова «благодетель», и видела, как она, с испуганным лицом глядя на него, по-католически всей рукой крестилась.

На похороны приехало много народа: го-

родничий, исправник, соседи, даже незнакомые, желавшие отдать честь праху генерал-аншефа. В числе этих соседей был и Телянин. Капитан-исправник почтительно сообщил княжне Марье, что опасно оставаться долее и надо поспешно уезжать, потому что в уезде показываются французские мародеры. Но княжна Марья решительно не поняла его.

В числе собравшихся на похороны был и Алпатыч, приехавший в тот же день из Лысых Гор. Княжне Марье в эти минуты горя утешительнее всего было видеть Алпатыча и Тихона, двух людей, бывших ближе других к покойнику, больше других страдавших от него и больше всех убитых горем. Особенно Алпатыч, со своим подражанием манерам старого князя, более всего трогал ее. Он стоял во время службы, прямо держась, нахмурясь, с рукой за пазухой, видимо, желая соблюсти почтительно представительность, и вдруг лицо его падало, как будто обрывались пружинки, поддерживающие его, и он, как женщина, трясясь головой, начинал рыдать. И зажженный Смоленск, и разоренные Лысые Горы, занятые французскими драгунами, и минутный

приезд князя Андрея, и теперь смерть старого князя — все последовало так скоро одно за другим — и все после ровной, торжественной тридцатилетней жизни, что иногда Алпатыч чувствовал, как рассудок его начинал теряться. Одно, что поддерживало его силы, это была княжна, на которую он не мог смотреть. Он чувствовал, что для нее он необходим и необходима вся его твердость. Как только вернулись с кладбища и княжна Марья увидела тот опроставшийся кабинет, где он лежал больной, и ту опроставшуюся залу, где он лежал мертвый, она почувствовала в первый раз, как это всегда бывает, и всю тяжесть, все значение утраты и вместе с тем требования жизни, не остановившейся, несмотря на то, что его уже не было.

Гости собрались за поминками. Алпатыч тихо отворил дверь и вошел к княжне Марье. Несколько раз в продолжение этого утра княжна Марья начинала плакать и останавливалась, принималась за какое-нибудь дело и бросала его. В ту минуту, как вошел Алпатыч, она решилась прочесть, наконец, письмо, которое перед похоронами с почты при-

вез ей Алпатыч. Оно было от Жюли, и его-то и читала княжна Марья. Жюли писала из Москвы, где она жила одна с матерью, так как муж ее был в армии. Из сотен писем, которые получала от нее княжна Марья, это первое было писано по-русски и все наполнено военными новостями и патриотическими фразами.

*«Я вам пишу по-русски, мой добрый друг, — писала Жюли, — потому что я имею ненависть ко всем французам, равно и к языку их, который я не могу слышать, говорить... Мы в Москве все восторженны через энтузиазм к нашему обожаемому императору. Бедный муж мой переносит труды и голод в жидовских корчмах, но новости, которые я имею, еще более воодушевляют меня. Вы слышали, верно, о героическом подвиге Раевского, обнявшего двух сыновей и сказавшего: „Погибну с ними, но не поколеблется“. И действительно, хотя неприятель был вдвое сильнее нас, мы не колебнулись. Мы проводили время, как можем, но на войне как на войне. Княгиня Алина и Софья сидят со мной целые дни, и мы, несчастные вдовы живых мужей, за*

*корпией делаем прекрасные разговоры, только вас, мой друг, недостает», — и т. д.*

Княжна Марья знала по-русски не лучше своего друга Жюли, но русское чутье говорило ей, что что-то не так в этом письме. Она перестала его читать и думала об этом, когда вошел Алпатыч. Увидав его, рыдания опять подступили ей к горлу. Несколько раз она поднималась, удерживая слезы, против него, ожидая, что он скажет, несколько раз он, хмурясь, прокашливался, желая начать, и всякий раз они оба не удерживались и начинали рыдать.

Наконец Алпатыч собрался с силами:

— Осмелюсь доложить вашему сиятельству, что, по наблюдениям моим, опасность пребывания в здешнем имении становится настоятельнее, и я бы предложил вашему сиятельству ехать в столицу.

Княжна Марья посмотрела на него.

— Ах, дай мне опомниться.

— Необходимо, потому, ваше сиятельство.

— Ну, делай, как знаешь. Я поеду, я сделаю все, что ты скажешь.

— Слушаю-с. Я сделаю распоряжения и ве-

чером приду за приказаниями, ваше сиятельство.

Алпатыч ушел и, призвав старосту Дроношку, отдал ему приказания о приготовлении двадцати подвод для подъема из дома и княжнинных постелей, и девушек.

Имение Богучарово было всегда заглазное до поселения в нем князя Андрея, и мужики богучаровские имели совсем другой характер от лысогорских. Они отличались от них и говором, и одеждой, более грубой, и нравами, и недоверием, и недоброжелательством к помещикам. Они назывались в Лысых Горах степными, и их хвалил старый князь за их сносливость в работе, когда они приезжали подсоблять уборке в Лысых Горах или копать пруды и каналы, но не любил их за их пьянство и грубость нравов. Последнее пребывание в Богучарове князя Андрея с его нововведениями — больницы, школы — и облегчением оброка, как и всегда было и будет, только усилило в них их недоверчивость к помещикам. Между ними ходили толки о перечислении их всех в казаки, то о новой вере, в которую их обратят, то о царских листах каких-то,



то о присяге Павлу Петровичу в 1796 году, которую помнили многие, говоря, что тогда еще воля выходила, да господу отняли. Лет тридцать Богучаровом управлял староста Дрон, которого старый князь звал Дронушкой и который всякий год после поездки в Вязьму на ярмарку привозил оттуда вяземские пряники. Княжна Марья еще с детства помнила его; впечатление Дронушки, высокого, красивого, худого, с римским носом и с выражением необыкновенной твердости во всей фигуре мужика, соединялось в ней с приятным впечатлением пряников. Дронушка был один из тех крепких физически и нравственно мужиков, которые, как только войдут в года, обрасут бородой, так, не изменяясь, живут до шестидесяти-семидесяти лет без единого седого волоса или недостатка зуба, такие же прямые и поворотливые в шестьдесят лет, как и в тридцать.

Дрон двадцать три года тому назад, уже бывши старостой, вдруг начал пить; его строго наказали и сменили из старост. Вслед за тем Дрон бежал и пропадал около года, обходил все монастыри и пустыни, был в Лаврах и

Соловецких. Вернувшись оттуда, он объявился. Его опять наказали и поставили на тягло. Но он не стал работать и тотчас же пропал. Через две недели он, изнуренный и худой, едва таща ноги, пришел к себе в избу и лег на печь. Потом узнали, что эти две недели Дрон провел в пещере, которую сам вырыл в горе в лесу и которую сзади себя заложил камнем, смазанным глиной. Он без еды и питья девять дней пробыл в этой пещере, желая спастись, но на девятый день на него нашел страх смерти, он с трудом откопался и пришел домой. С тех пор Дрон перестал пить вино и браниться дурным словом, сделан опять старостой и в этой должности ни разу не был ни пьян, ни болен, никогда не устав ни от какого труда, ни от двух бессонных ночей, никогда не запамятовав ни одной десятины, сколько было на ней копен, ни одного пуда муки, который он выдал двадцать лет назад, и пробыл безупречно двадцать три года старостой. Никогда и никуда не торопясь, никогда и ни в чем не опаздывая, без поспешности и без отдыха, Дрон управлял имением в тысячу душ так же свободно, как хороший ямщик

приезженной тройкой.

На приказание Алпатыча собрать семнадцать подвод к среде (был понедельник) Дрон сказал, что этого нельзя, потому что лошади под казенными подводами, а остальные без корма по голым полям ходят. Алпатыч удивленно посмотрел на Дрона, не понимая смелости его возражения.

— Что? — сказал он. — С ста пятидесяти дворов семнадцати подвод нету?

— Нету, — тихо отвечал Дрон, и Алпатыч с недоумением заметил опущенный и нахмуренный взгляд Дрона.

— Да ты что думаешь? — сказал Алпатыч.

— Ничего не думаю. Что мне думать.

Алпатыч по методе, по которой князь не считал удобным тратить много слов, взял Дрона за аккуратно запахнутый армяк и, потрясая его из стороны в сторону, начал говорить.

— Нету, — начал он. — Нету, так ты слушай. Я к вечеру буду, ежели у меня подводы готовы не будут завтра к утру, с тобой то сделаю, что ты и не думаешь. Слышишь?

Дрон равномерно и покорно раскачивался

туловищем вперед, стараясь угадывать движения руки Алпатыча, ни в чем не изменяя ни выражения своего опущенного бессмысленного взгляда, ни покорного положения рук. Он ничего не ответил. Алпатыч покачал головой и поехал за лошадьми лысогорскими, которых он вывел за собой и оставил в 15 верстах от Богучарова.

## VI

**В** этот день, в пятом часу вечера, когда уж Алпатыч давно уехал, княжна Марья сидела в своей комнате и, не в силах заняться ничем, читала Псалтырь, но она не могла понимать того, что она читала. Картины близкого прошедшего — болезнь и смерть — беспрестанно возникали в ее воображении. Дверь ее комнаты отворилась, и в черном платье вошла та, которую она менее всего бы желала видеть: мадемуазель Бурьен. Она тихо подошла к княжне Марье, со вздохом поцеловала ее и начала речь о печали, о горе, о том, что в такие минуты трудно и невозможно думать о чем-нибудь другом, в особенности о себе самой. Княжна Марья испуганно смотрела на

нее, чувствуя, что речь была предисловием чего-то. Она ждала сущности дела.

— Ваше положение вдвойне ужасно, милая княжна, — сказала мадемуазель Бурьен. — Я о себе не думаю, но вы... Ах, это ужасно! Зачем я взялась за это дело?...

Мадемуазель Бурьен заплакала.

— Коко? — вскрикнула княжна Марья. — Андрей?

— Нет, нет, успокойтесь, но вы знаете, что мы в опасности, что мы окружены, что французы нынче-завтра будут здесь.

— А, — успокоенно сказала княжна Марья. — Мы завтра поедем.

— Но, я боюсь, это поздно. Я даже уверена, что это поздно, — сказала мадемуазель Бурьен. — Вот, — и она, достав из ридикюля, показала княжне Марье объявление на нерусской необыкновенной бумаге французского генерала Рамо о том, чтобы жители не покидали своих домов, что им оказано будет должное покровительство французских властей.

Княжна Марья, не дочтя, остановила свои глаза на мадемуазель Бурьен. Молчание продолжалось около минуты.

— Так что вы хотите, чтоб я... — заговорила, вспыхнув, княжна Марья, вставая и своими тяжелыми шагами подходя к мадемуазель Бурьен, — чтоб я приняла в этот дом французов, чтоб я... Нет, уйдите, ах, уйдите, ради бога.

— Княжна, я для вас говорю, верьте.

— Дуняша! — закричала княжна. — Уйдите.

Дуняша, румяная русая девушка, двумя годами моложе княжны, ее крестница, вбежала в комнату. Мадемуазель Бурьен все говорила, что это трудно, но что больше делать нечего, что она просит простить, что она знала...

— Дуняша, она не хочет уйти. Я пойду к тебе. — И княжна Марья вышла из комнаты и захлопнула за собой дверь.

Дуняша, няня и все девушки ничего не могли сказать о том, в какой мере справедливо было то, что объявила мадемуазель Бурьен. Алпатыч не возвращался. Княжна Марья, возвратившись в свою комнату, из которой ушла мадемуазель Бурьен, с высохшими, блестящими глазами ходила по комнате. Потребованный ею Дронушка вошел в комнату

и с выражением тупого недоверия твердо стал у притолоки.

— Дронушка! — сказала княжна Марья, видевшая в нем несомненного друга, того самого Дрона, который из Вязьмы привозил и с улыбкой подавал ей всегда свои особенные пряники. — Дронушка, правда ли мне говорят, что мне и уехать нельзя?

— Отчего же не ехать? — вдруг с доброй усмешкой сказал Дронушка.

— Говорят, опасно от французов.

— Пустое, ваше сиятельство.

— Ты со мной поезжай, пожалуйста, Дронушка, завтра.

— Слушаю-с. Только подводы приказывали Яков Алпатыч к завтрашнему дню, то никак невозможно, ваше сиятельство, — все с той же доброй улыбкой сказал Дрон. Эта добрая улыбка невольно выходила ему на уста в то время, как он смотрел и говорил с княжной, которую он любил и знал девочкой.

— Отчего же невозможно, Дронушка, голубчик? — сказала княжна.

— Эх, матушка, время такое, ведь изволили слышать, я чай, Бог наказал нас, грешных.

Всех лошадей под войско разобрали, а который был хлебушко — стоптали, стравили на корню. Не то что лошадей кормить, а только бы самим с голоду не помереть. И так по три дни не евши сидят. Нет ничего, разорили вконец...

— Ах, боже мой! — сказала княжна Марья. «А я думаю о своем горе», — подумала она. И счастливая тем, что ей представился предлог заботы такой, для которой ей не совестно забыть свое горе, она стала расспрашивать у Дрона подробности бедственного состояния мужиков, изыскивая в голове своей средства помочь им.

— Что же, нашего хлеба разве нет, ты бы дал мужикам? — сказала она.

— Что раздавать-то, ваше сиятельство, все туда ж пойдет. Прогневили мы Бога.

— Так ты раздай им хлеб, какой есть, Дро-нушка, да постарайся, чтоб так не разоряли их. Может быть, нужно написать кому-нибудь, я напишу.

— Слушаю-с, — сказал Дрон, видимо не желая исполнять приказания княжны, и хотел идти. Княжна воротила его.



— Но как же, когда я уеду, как же мужики останутся? — спросила она.

— Куда же ехать, ваше сиятельство, — сказал Дрон, — когда и лошадей нет, и хлеба нет.

Княжна Марья вспомнила, что Яков Алпатыч говорил ей, что лысогорские мужики почти все уехали в подмосковную деревню. Она сказала это.

— Что же делать, — сказала она, вздыхая, — не мы одни, собирайтесь все и поедем, уж я, я... все свое отдам, только чтоб вы все были спасены. Ты скажи мужикам, все вместе поедем. Вот Яков Алпатыч приведет лошадей, я наших велю дать, кому не достанет. Так ты скажи мужикам. Нет, лучше я сама пойду к ним и скажу им. Так ты скажи.

— Слушаю-с, — сказал, улыбаясь, Дрон и вышел.

Княжну Марью так заняла мысль о несчастьи и бедности мужиков, что она несколько раз посылала спрашивать, пришли ли они, и советовалась с людьми — прислугой, как и что ей делать. Дуняша, вторая горничная, бойкая девушка, упрашивала княжну не ходить к мужикам и не иметь с ними дела.

— Все обман один, — говорила. — А Яков Алпатыч приедут и поедем, ваше сиятельство, а вы не извольте...

— Какой же обман? Какая ты...

— Да уж я знаю, только послушайте меня, ради бога.

Но княжна не слушала ее. Она, вспоминая самых близких людей, призвала еще Тихона.

Совет с Тихоном был еще менее утешителен, чем совет с Дроном. Тихон, лучший камердинер в мире, до необычайной проницательности доведший свое искусство угадывать волю князя, выведенный из своего круга деятельности, никуда не годился. Он никого не мог понять, ничего сообразить. Он с бледным и изнуренным лицом пришел к княжне и на все ее вопросы отвечал одними словами «как прикажете» и слезами.

Несмотря на отговаривания Дуняши, княжна Марья надела свою с длинными полями шляпу и пошла к амбару, у которого собрались мужики. Именно потому, что они отговаривали ее, княжна Марья с особенной радостью, своими тяжелыми шагами путаясь в юбке, пошла к деревне. Дрон, Дуняша и Ми-

хаил Иваныч шли за нею. «Какие тут могут быть расчеты, — думала княжна Марья, — надо все отдать, только спасти этих несчастных людей, поверенных мне Богом. Я им буду обещать мясину в подмосковной, квартиры, что бы это ни стоило нам. Я уверена, Андрей еще больше бы сделал на моем месте», — думала она, подходя.

Толпа раскрылась полукругом, все сняли шапки, и оголились лысые, черные, рыжие и седые головы. Княжна Марья, опустив глаза, близко подошла к ним. Прямо против нее стоял старый, согнутый, седой мужик, опершись обеими руками на палку.

— Я пришла, я пришла, — начала княжна Марья, глядя невольно только на старого мужика и обращаясь к нему. — Я пришла... мне Дрон сказал, что вас разорила война. Это наше общее горе, и я ничего не пожалею, чтобы помочь вам. Я сама еду, потому что уже опасно здесь и неприятель близко, потому что... и я вам советую, мои друзья... и прошу вас собрать лучшее все имущество и ехать со мной, и все вместе поедem в подмосковную, и там вам будет все от меня. И вместе будем делить

нужду и горе. Ежели вы хотите оставаться здесь, оставайтесь — это ваша воля, но я прошу вас от имени покойного отца, который был вам хорошим барином, и за брата, и его сына, и за себя. Послушайте меня и поедемте все вместе. — Она помолчала. Они молчали тоже, но никто не смотрел на нее. — Теперь, ежели вам нужда, я велела раздать всем хлеба, и все, что мое, то ваше...

Опять она замолчала, и опять они молчали, и старик, стоявший перед нею, старательно избегал ее взгляда.

— Согласны вы?

Они молчали. Она оглянула эти двадцать лиц, стоявшие в первом ряду, ни одни глаза не смотрели на нее, все избегали ее взгляда.

— Согласны вы? Да что ж, отвечайте, что ль? — сзади спросил голос Дрона.

— Согласен ли ты? — в это же время спросила княжна у старика.

Он зашамкал губами, сердито отворачиваясь от взгляда княжны Марьи, которая ловила его взгляд.

Наконец она поймала его взгляд, и он, как бы рассердившись за это, опустил совсем го-

лову и проговорил:

— Чего соглашаться-то. Что ж нам все бросать-то.

— Не согласны, — раздалось сзади. — Нет нашего согласия. Поезжай сама, одна...

Княжна Марья начала говорить, что они, верно, не поняли ее, что обещается поселить их, вознаградить, но голоса ее заглушили. Рыжий мужик кричал больше всех сзади, и баба кричала что-то. Княжна Марья взглянула на эти лица, опять ни одного взгляда она не могла поймать.

Ей стало странно и неловко. Она шла с намерением помочь им, облагодетельствовать тех мужиков, которые так преданы были ее семейству, и вдруг эти самые мужики враждебно смотрели на нее. Она замолчала и, опустив голову, вышла из круга.

— Вишь, научила ловко, за ней в крепость иди, — слышались голоса в толпе. — Дома разори да в кабалу и ступай. Как же!

И хлеб, мол, отдам, — с ироническим хохотом проговорил старик с дубинкой.

В ночь приехал Алпатыч и привел две шестерни лошадей. Но на посылку его за Дроном

ему ответили, что староста на сходке, которая опять собралась с раннего утра, и что он велел сказать: «Пускай сам придет». Через преданных ему людей, в особенности через Дуняшу, Алпатыч узнал, что не только мужики отказались дать подводы, но кричат все у кабака, что они не выпустят господ, потому что им объявлено, что их разорят, ежели они будут вывозиться. Лошадей, однако, велели закладывать, и княжна Марья с бледным лицом в дорожном платье сидела в зале.

Еще лошади не подъехали к крыльцу, как толпа мужиков приблизилась к господскому дому и остановилась на выгоне.

От княжны Марьи скрывали враждебные намерения крестьян, но она, притворяясь даже для самой себя, что не знает, в чем дело, понимала свое положение. Яков Алпатыч с расстроенным и бледным лицом, тоже в дорожном одеянии — панталоны в сапоги, вошел к ней и с осторожностью доложил, что, так как по дороге могут встретиться неприятели, то не угодно ли княжне написать записку к русскому воинскому начальнику в Яньково (за 15 верст) с тем, чтобы приехал кон-

вой.

— Зная звание вашего сиятельства, не могут отказать.

Княжна Марья поняла, что конвой нужен для разогнания мужиков.

— Ни за что, ни за что, — с жаром и решительностью заговорила она, — вели подавать и поедем.

Яков Алпатыч сказал: «Слушаю-с», — и не уходил.

Княжна Марья ходила взад и вперед по комнате, изредка заглядывая в окно. Она знала, что у ее свиты, у лысогорских дворовых, были ружья, и ее более всего страшила мысль о кровопролитии.

— Для чего они тут стоят? — сказала княжна Марья самым простым голосом Алпатычу, указывая на толпу.

Яков Алпатыч замялся.

— Не могу знать. Вероятно, проститься желают, — сказал он.

— Ты бы сказал им, чтобы они шли.

— Слушаю-с.

— И тогда вели подавать.

Уже был второй час дня, мужики все сто-

яли на выгоне. Княжне Марье доносили, что они купили бочку водки и пьют.

Было послано за священником, чтобы уговорить их. Из окна передней их видно было. Княжна Марья сидела в дорожном платье и ждала.

— Французы, французы, — вдруг закричала Дуняша, подбегая к княжне Марье. Все бросились к окну, и действительно, к толпе мужиков подъехали три кавалериста, один на игреневой, два на рыжих, и остановились.

— Всевышний перст! — сказал торжественно, поднимая руку и палец, Алпатыч. — Офицеры русской армии.

Действительно, кавалеристы — Ростов с Ильиным и только что вернувшимся Лаврушкой — въехали в Богучарово, находившееся последние три дня между двумя линиями неприятельских армий, так что так же легко мог зайти туда русский арьергард, как и французский авангард. Из авангарда французского уже приезжали, привезли вперед фальшивых бумажек за провиант и объявили волю всем крепостным и требование, чтобы никто не вывозился, которое и смутило богу-



чаровских мужиков.

Николай Ростов с эскадроном остановился в 15 верстах, в Янькове, но, не найдя достаточно фуража в Янькове и желая прогуляться в прекрасный летний день, поехал с Ильиным и Лаврушкой поискать побольше овса и сена в несколько даже опасное по тогдашнему положению армии Богучарово, — Николай Ростов был в самом веселом духе. Дорогой он расспрашивал Лаврушку о Наполеоне, заставлял его петь будто бы французскую песню, сами пели с Ильиным и смеялись мысли о том, что они повеселятся в богатом помещичьем доме в Богучарове, где должна быть большая дворня и хорошенькие девушки. Николай и не знал, и не думал о том, что это имение того самого Болконского, который был женихом его сестры.

Они подъехали к бочке на выгоне и остановились. Мужики некоторые сняли шапки, смутившись, некоторые, смелее, и поняв, что два офицера не опасны, не снимали шапок, некоторые же, пьяные, не снимая шапок, продолжали свои разговоры и песни. Два старых, длинных мужика, с сморщенными лицами и

редкими бородами, вышли из толпы и оба, сняв шапки, с улыбкой, качаясь и распевая какую-то нескладную песню, подошли к офицерам.

— Молодцы! — сказал, смеясь, Ростов.

— И одинакие какие, — сказал Ильин.

— Развесе-оо-ооо-лая бисе... бисе... — распевали мужики с счастливыми улыбками. Ростов подозвал мужика, который показался ему трезвее.

— Что, брат, есть овес и сено у господ ваших под квитанции?

— Овса — страсть, — отвечал, — сена — бог весть.

— Ростов, — по-французски сказал Ильин, — смотри, в барском доме прекрасного пола-то сколько. Смотри, смотри, это — моя, чур не отбивать, — прибавил он, заметив красневшую, но решительно подвигавшуюся к нему Дуняшу.

— Наша будет, — подмигнув, сказал Ильину Лаврушка.

— Что, моя красавица, нужно? — сказал он ей, улыбаясь.

— Княжна приказала узнать, какого полка

и ваши фамилии.

— Это — граф Ростов, эскадронный командир, а я — ваш покорный слуга. Да какая хорошенькая, — сказал он, взяв ее за подбородок.

— Ай, Ду... ню-шка-ааа, — все распевали оба мужика, еще счастливее улыбаясь, глядя на Ильина, разговаривающего с девушкой. Вслед за Дуняшей подошел к Николаю Алпатыч, еще издали сняв свою шляпу. Он уже узнал его фамилию.

— Осмелюсь беспокоить, ваше сиятельство, — сказал он с почтительностью, но с пренебрежением к юности этого офицера. — Моя госпожа, дочь генерала-аншефа князя Николая Андреевича Болконского, находясь в затруднении по случаю невежества этих лиц, — он указал на мужиков, — просит вас пожаловать... Не угодно ли будет, — с грустной улыбкой сказал Алпатыч, — отъехать несколько, а то не так удобно при... — Алпатыч указал на двух мужиков, которые сзади так и носились около самого его, улыбаясь и еще радостнее распевая и приговаривая:

— А, Алпатыч? А, Яков Алпатыч? Важно?

Николай посмотрел на пьяных стариков и

улыбнулся.

— Или, может, это утешает ваше сиятельство, — сказал Яков Алпатыч с степенным видом, с заложенной рукой, указывая на стариков.

— Нет, тут утешенья мало, — сказал Ростов и отъехал. — Скажи, что сейчас буду, — сказал он Алпатычу и, приказав вахмистру Лаврушке разузнать о овсе и сене и отдав ему лошадь, пошел к дому.

— Так приволокнемся? — сказал он, подмигивая Ильину.

— Смотри, какая прелесть, — сказал Ильин, указывая на мадемуазель Бурьен, выглядывавшую из другого окна. — Этак и заночуешь. Только бы эта княжна прелестная дала бы котлеток, как вчера у городничего, а то подвело.

В таких веселых разговорах они вошли на крыльцо и в гостиную, где княжна в черном платье, раскрасневшаяся и испуганная, встретила их.

Ильин, тотчас же решив, что в хозяйке дома мало интересного, посматривал на щели дверей, из которых выглядывал, он наверное

знал, глаз хорошенькой Дуняши. Николай, напротив, как только увидал княжну, ее глубокие, кроткие и грустные глаза и услышал ее нежный голос, тотчас же весь переменялся (хотя он и не вспомнил, что она была сестра князя Андрея), и в позе, в выражении лица его выразилась нежная почтительность и робкое участие. «Моя сестра, мать завтра могут быть в таком же положении», — думал он, слушая ее робкий сначала, но простой рассказ. Она не говорила, что мужики ее не выпускают и не давали подвод, но говорила о том, что запоздала здесь по случаю смерти отца и теперь боится попасться неприятелю, тем более, что в народе даже стали заметны беспорядки.

Когда она заговорила о том, что все это случилось на другой день после похорон отца, ее голос задрожал и слезы навернулись на глаза.

— Вот вам мое положение, и я надеюсь, что вы не откажетесь помочь мне.

Николай тотчас же встал и, почтительно поклонившись, как кланяются дамам царской крови, объявил, что он сочтет себя счаст-

ливым, ежели будет в состоянии оказать услугу, и сейчас отправляется, чтобы исполнить ее приказания.

Почтительностью своего тона Николай показывал как будто то, что, несмотря на то, что он за счастье бы счел свое знакомство с нею, он не хотел пользоваться случаем ее несчастья для сближения с нею. Княжна Марья поняла и оценила этот тон.

— Наш управляющий видит все в черном свете, не очень слушайте его, граф, — сказала ему княжна, тоже вставая. — Я только желала бы, чтобы мужики эти разошлись и оставили меня ехать без проводов.

— Княжна, ваши желания для меня приказ, — сказал Николай, кланяясь, как маркиз двора Людовика XIV, и вышел из комнаты.

— Я не знаю, как благодарить вас.

Выходя, Николай думал о двух мужичках, певших ему песни, и о других, не снявших шапок. Он покраснел, поджал губы и поторопился идти распорядиться, отказываясь от чая и обеда, которые предлагали ему. В передней Алпатыч доложил Ростову всю сущность дела.

— Ну, брат, что же ты это ушел, — говорил Ильин, — а я девочку эту ущипнул-таки... — но, взглянув на лицо Николая, Ильин замолк. Он видел, что его герой и командир находился совсем в другом строе мыслей.

— Вот какие несчастные бывают существа, — проговорил он, нахмурясь. — Эти мерзавцы...

Он подозвал Лаврушку, велел отдать лошадей кучерам княжны, а с ним вместе направился к выгону.

Два веселых мужичка лежали один на другом, один храпел внизу, а верхний все еще добродушно улыбался и пел.

— Эй! Кто у вас староста тут? — крикнул Николай, быстрым шагом войдя и останавливаясь в толпе.

— Староста-то, — сказал мужик, — на что вам?

Но не успел он договорить, как шапка его слетела и голова мотнулась набок от сильного удара.

— Шапки долой, изменники! — крикнул полнокровный голос Николая. Все шапки соскочили с голов, и толпа сдвинулась плот-

нее. — Где староста?

Дронушка неторопливой походкой, издали, почтительно, но достойно сняв шапку, с своим строгим римским лицом и твердым взглядом подходил к Ростову.

— Я староста, ваше благородие, — сказал он.

— Ваша помещица требовала подвод. Отчего вы не поставили? А?

Все глаза смотрели на Дронушку, и Николай не совсем спокойно говорил с ним, так внушительна была представительность и спокойствие Дрона.

— Лошади под войсками все в разброде, извольте посмотреть по дворам.

— Гм. Да. Хорошо. А для чего вы все здесь, все на выгоне, и для чего вы приказчику сказали, что не выпустите княжну?

— Кто говорил, не знаю. Разве можно так господам говорить? — сказал Дрон с усмешкой.

— А зачем сбор, водка? А?

— А так, старички в мирском деле собрались.

— Хорошо. Вы все слушайте меня. — Он об-



ратился к мужикам. — Сейчас марш по домам и вот этому человеку, — он указал на Лаврушку, — с пяти дворов по подводе, чтоб сейчас были. Слышишь ты, староста?

— Как не слышать.

— Ну, марш, — Николай обратился к ближайшему мужику, — марш, веди подводу.

Мужик рыжий смотрел на Дрона. Дрон мигнул мужику. Мужик не двигался.

— Ну? — крикнул Ростов.

— Как Дрон Захарыч прикажут.

— Видно, новое начальство оказалось, — сказал Дрон.

— Что? — закричал Николай, подходя к Дрону.

— Э, пустое-то говорить, — вдруг махнув рукой, сказал Дрон, отворачиваясь от Ростова. — Будет болтать-то. На чем старики порешили, тому и быть.

— Тому и быть, — заревела толпа, шевелясь, — много вас начальства тут. Сказано — не вывозиться.

Дрон было, повернувшись, пошел прочь.

— Стой! — закричал Николай Дрону, поворачивая его к себе. Дрон нахмурился и прямо

угрожающе двинулся на Николая. Толпа заревела громче. Ильин, бледный, подбежал к Николаю, хватаясь за саблю.

Лаврушка бросился к лошадям, за поводья которых хватали мужики. Дрон был головой выше Николая, он, казалось бы, должен смять его. Презрительным ли, решительным ли или угрожающим жестом сжав кулак, он отмахнул назад правой рукой. Но в тот же момент Николай ударил его в лицо один, другой, третий раз, сбил его с ног и, не останавливаясь ни мгновения, бросился к рыжему мужику.

— Лаврушка! Вяжи зачинщиков.

Лаврушка, оставив лошадей, схватил Дрона сзади за локти и, сняв с него кушак, стал вязать его.

— Что же, мы никакой обиды не делали. Мы только, значит, по глупости, — слышались голоса.

— Марш за подводами. По домам.

Толпа тронулась и стала расходиться. Один мужик побежал рысью, другие последовали его примеру. Только два пьяные лежали друг на друге и Дрон с связанными руками, с тем же строгим, невозмутимым лицом, оста-

лись на выгоне.

— Ваше сиятельство, прикажите! — говорил Лаврушка Ростову, указывая на Дрона. — Только прикажите, только этого, да рыжего уж так взбузую, по-гусарски, только за Федченкой съездить.

Но Николай не отвечал на желания Лаврушки, велел ему помогать укладываться в доме, сам пошел на деревню с Алпатычем выгонять подводы, а Ильина послал за гусарами. Через час Ильин привел взвод гусар, подводы стояли на дворе, и мужики особенно заботливо укладывали господские вещи, старательно затыкая сенцом в углах и под веревками, чтобы не потерялись.

— Ты ее так дурно не клади, — говорил тот самый рыжий мужик, который грознее всех кричал на сходке, принимая из рук горничной шкатулку. — Она ведь тоже денег стоит. Что ж ты ее так-то вот бросишь, а она потеряется. Я так не люблю. А чтоб все честно, по закону было, вот так-то, под рогожку-то и важно. Любо!

— Ишь, книг-то, книг-то, — приговаривал добродушно другой, выносивший библиотеч-

ные шкапы князя Андрея. — Ты не цепляй. А грузно, ребята. Книги здоровые.

— Да, писали, не гуляли, — говорил третий, указывая на толстые лексиконы, лежавшие сверху. Дрон, сначала запертый в амбар, но выпущенный по желанию княжны Марьи, вместе с Алпатычем внимательно распоряжался нагрузкой подвод и отправкой их.

Николай Ростов, доложив о положении княжны Марьи своему ближайшему начальнику, получил разрешение конвоировать ее эскадроном до Вязьмы и там же, направив ее на путь, занятый нашими войсками, простился с нею почтительно, в первый раз позволив себе поцеловать ее руку.

## VII

Приняв командование над армиями, Кутузов вспомнил о князе Андрее и послал ему приказание прибыть в главную квартиру. Князь Андрей приехал в Царево-Займище в тот самый день и в то самое время дня, как Кутузов делал первый смотр войскам. Князь Андрей остановился в деревне у дома священника, у которого стоял экипаж главнокомандующего, и сел на лавочке у ворот, ожидая светлейшего, как все называли теперь Кутузова. Вдали слышны были то звуки полковой музыки, то рев огромного количества голосов солдат, вероятно, кричавших «ура!» Кутузову. Тут же у ворот, пользуясь отсутствием князя и прекрасною погодой, стояли два денщика, казак, курьер и дворецкий. Черноватый, обросший усами и бакенбардами, маленький гусарский подполковник подъехал к воротам и спросил, здесь ли стоит светлейший и скоро ли он будет?

Это был Васька Денисов. Он незнаком был с князем Андреем, но подошел к нему и, тотчас же назвав себя, разговорился. Князь Ан-

дрей знал Денисова по рассказам Наташи о ее первом женихе, и это воспоминание и сладко и больно вдруг перенесло его к тем злым и больным мыслям, о которых он последнее время давно уже не думал. В последнее время столько других и таких серьезных впечатлений — оставление Смоленска, его приезд в Лысье Горы, недавнее известие о смерти отца — было испытано им, что эти воспоминания уже давно не приходили ему и, когда пришли, далеко не подействовали на него с прежней силой.

— Тоже дожидаетесь главнокомандующего? — заговорил Денисов. — Говорят, он доступен. Славу богу. А то с колбасниками беда. Недаром Ермолов в немцы просился. Теперь, авось, и русским говорить можно будет. А то черт знает, что делали. Вы ведь видели все отступления.

— Имел удовольствие, — отвечал князь Андрей, — не только участвовать в отступлении, но и потерять в этом отступлении все, что имел дорогого, отца, который умер с горя... Я смоленский.

— А!.. Вы князь Болконский. Очень рад по-

знакомиться, — сказал Денисов, пожимая его руку и с особенно добрым вниманием взглядываясь в лицо Болконского. — Да, вот и скифская война. Это все хорошо, но не для тех, кто своими боками отдувается...

Но и для Денисова тот ряд воспоминаний, которые вызвало имя Болконского, было далекое, прошедшее, и он тотчас же перешел к тому, что страстно и, как всегда, исключительно занимало его в эту минуту. Это был план кампании, который он придумал, служа во время отступления на аванпостах, который представлял Барклаю де Толли и который он теперь намерен представить Кутузову. План основывался на том, что операционная линия французов слишком растянута и что вместо того, или вместе с тем, чтобы действовать с фронта, загоразживая дорогу французам, нужно было действовать на их сообщения.

— Они не могут удержать всей этой линии. Это невозможно. Я отвечаю, что разорву их. Дайте мне пятьсот человек, я разорву их. Это верно. Одна система — партизанская — помните.

Денисов приступил ближе к Болконскому и хотел доказывать ему, но в это время крики армии, более нескладные, более распространённые и сливающиеся с музыкой и песнями, слышались на месте смотра.

— Кончился смотр, — сказал казак. — Вон сам едет.

Действительно, Кутузов, сопровождаемый толпой офицеров, с криками «ура» бежавшими за ним, подъезжал к воротам. Впереди его проскакали адъютанты и слезли с лошадей, ожидая. Князь Андрей с Денисовым вошли тоже в ворота, с тем чтобы встретить Кутузова в то время, как он слезет с лошади. Кутузов остановился у ворот, раскланиваясь с генералами, провожавшими его.

Кутузов, с тех пор как не видал его князь Андрей, еще потолстел, обрюзг и оплыл жиром. Знакомые ему белый глаз и рана первые бросились ему в глаза. Он был одет в мундирный сюртук с плетью на ремне, через плечо, в белой кавалерийской фуражке, грузно и тяжело расплываясь и раскачиваясь на белой лошади, бойко несшей его.

— Фю, фю, фю... — засвистал он чуть слыш-



но, подъезжая к дому и выражая на своем лице радость успокоения человека, намеревающегося отдохнуть в простоте после представительства. Он вынул ноги из стремян и с трудом занес правую. Он оправился, оглядываясь своими сощуренными глазами и, видимо, не узнав князя Андрея, зашагал своею ныряющею походкой к крыльцу.

— Фю, фю, фю, — опять по-домашнему зашвыстал он, но оглянулся и, узнав князя Андрея, позвал его к себе. — А, здравствуй, князь, здравствуй, голубчик, пойдем, устал. — Он вошел на крыльцо, расстегнул сюртук и сел на лавочку. — Ну, что отец?

— Вчера получил известие о его кончине, — сказал князь Андрей. — Он не перенес всего этого.

Кутузов испуганно посмотрел, потом снял фуражку и перекрестился:

— Царство небесное! Грустно. — Он тяжело, всей грудью вздохнул и помолчал. — Очень жаль. Я его любил и уважал и сочувствую тебе всей душой. — Он обнял князя Андрея и прижал его к себе. Когда он отпустил его, князь Андрей на глазах его заметил сле-

зы. — Пойдем, пойдем ко мне, поговорим, — прибавил Кутузов, но в это время Денисов, так же мало робевший перед начальством, как и перед неприятелем, несмотря на то, что у крыльца адъютанты сердитым шепотом останавливали его, смело, стуча шпорами по ступенькам крыльца, подошел к Кутузову и, назвав себя, объявил, что он имеет сообщить его светлости дело большой важности для блага отечества. Кутузов равнодушно, усталым взглядом, прямо посмотрел на Денисова и досадливым жестом, махнув рукой, повторил:

— Для блага отечества? Ну что такое? Говори.

Денисов покраснел, как девушка (так странно и мило было видеть краску на этом усатом, старом лице), и смело начал излагать свой план разрезания операционной линии неприятеля между Смоленском и Вязьмой. Денисов ходил полтора месяца в тех местах с летучим отрядом и знал местность, и план его казался несомненно хорошим, в особенности по тону убеждения, который был в его словах. Кутузов смотрел себе на ноги и изред-

ка оглядывался на двор к соседней избе, как будто он ждал чего-то оттуда. Из избы, на которую он смотрел, действительно скоро показался офицер с портфелем под мышкой, направляясь к крыльцу.

— Что, уже готово? — крикнул он офицеру с видом досады. И, покачав головой, как бы говоря: «Как это все успеть одному человеку?»

Денисов все говорил, давая честное благородное слово русского офицера, что он разорвет сообщения Наполеона.

— Тебе Кирилл Андреевич Денисов, оберинтендант, — как приходится? — перебил его Кутузов.

— Дядя родной, ваша светлость.

— О! Приятели были! Хорошо, хорошо, голубчик, оставайся тут при штабе, завтра я поговорю. — И он протянул руку к бумагам, которые принес ему дежурный генерал.

— Не угодно ли вашей светлости пожаловать в комнаты, — сказал дежурный генерал, — необходимо подписать, план рассмотреть...

— Все готово, ваша светлость, — сказал адъютант. Но Кутузову, видимо, хотелось вой-

ти в комнаты уже свободным.

— Нет, вели подать, голубчик, сюда столик, я тут посмотрю, — сказал он. — Ты не уходи, — прибавил он к князю Андрею. Довольно долго князь Андрей молча наблюдал этого давно знакомого ему старика, на которого теперь были возложены все надежды России, присутствовал при подписании бумаг, при докладе дежурного генерала. Одним из важнейших предметов этого доклада был вопрос о избрании позиции для сражения и критика позиции, избранной до Кутузова Барклаем при Царево-Займище.

Во время доклада за входной дверью князь Андрей слышал женское шептание и хрустение женского шелкового платья. Несколько раз, взглянув по тому направлению, он увидел за дверью разряженную в розовом грезетовом платье и лиловом шелковом платке полную, румяную и красивую женщину с блюдом. Адъютант Кутузова шепотом объяснил князю Андрею, что это была хозяйка дома, попадья, которая намеревалась подать хлеб-соль его светлости. Муж ее встретил его с крестом в церкви, а она дома. «Очень хоро-

ша», — прибавил адъютант.

Кутузов слушал доклад дежурного генерала и критику позиции при Царево-Займище так же, как он слушал Денисова. Он слушал только оттого, что у него были уши, которые не могли не слышать; но очевидно было, что ничто из того, что могли сказать ему, не могло не только удивить или заинтересовать его, но что он знал все, что ему скажут, и слушает все это только потому, что надо прослушать, как надо прослушать поющийся молебен. Все, что говорил Денисов, было дельно и умно. То, что говорил дежурный генерал, было еще дельнее и умнее, но очевидно было, что Кутузов презирал и знание и ум и знал что-то другое, что должно было решить дело, что-то другое, независимое от ума и знания. Князь Андрей внимательно следил за выражением его лица, и единственное выражение, которое он мог заметить в нем, было выражение скуки, необходимость соблюсти приличие и любопытство к тому, что такое означал женский шепот за дверью и мелькание и шуршание розового платья. Очевидно было, что Кутузов презирал ум, и знание, и даже патриотиче-

ское чувство, которое выказывал Денисов, но он презирал все это не умом, не чувством, не знанием, потому что он и не старался выказывать их, а он презирал их желанием успокоиться, пошутить с попадьей, заснуть, презирал своей старостью, своею опытностью жизни и знанием того, что что должно совершиться, то совершится.

— Ну теперь все? — сказал Кутузов, подписывая последнюю бумагу, и, тяжело поднявшись и расправляя складки своей пухлой белой шеи, направился к дверям.

Попадья, с бросившеюся кровью в лицо, схватилась за блюдо, которое, несмотря на то, что она так долго приготавливалась, она все-таки не успела подать вовремя, и с низким поклоном поднесла Кутузову. Глаза Кутузова прищурились, он улыбнулся, рукой взял ее за подбородок и сказал:

— И красавица какая! Спасибо, голубушка!

Он достал из кармана шаровар несколько золотых и положил ей на блюдо. Попадья, провожая дорогого гостя, улыбаясь ямочками на румянном лице, прошла за ним в горницу. Князь Андрей остался, дожидаясь, на крыль-

це. Через полчаса его позвали опять к Кутузову. Кутузов лежал на кресле в том же расстегнутом сюртуке, но в чистом белье. Он держал в руке французскую книгу и при входе князя Андрея, заложив ее ножом, свернул. Это был роман *m-me de Genlis*, как увидал князь Андрей на обертке.

— Ну, садись, садись тут, поговорим, — сказал он. — Грустно, очень грустно. Но помни, дружок, что я тебе отец, другой отец...

Я тебя вызвал, чтоб оставить при себе...

— Благодарю вашу светлость, — отвечал князь Андрей, — но я боюсь... что не гожусь больше для штабов, — сказал он с улыбкой, которую Кутузов заметил и при которой вопросительно посмотрел на князя Андрея. — Главное, — прибавил князь Андрей, — я привык к полку, полюбил и офицеров, и людей. Ежели я отказываюсь от чести быть при вас, то поверьте...

Умное, доброе и тонкое выражение светилось в лице Кутузова. Он перебил Болконского.

— Мне жаль тебя, а ты прав, ты прав. Нам не сюда люди нужны. Советчиков всегда мно-

го, а людей нет. Не такие бы полки были, если бы все советчики служили там. Я тебя с Аустерлица помню... Помню, помню с знаменем. — Кутузов притянул его за руку и поцеловал, и опять на глазах его князь Андрей заметил слезы. Хотя и знал князь Андрей, что Кутузов слаб на слезы и что он теперь особенно ласкает его, жалея о его потере, князю Андрею было радостно и лестно это воспоминание об Аустерлице. — Иди с Богом своей дорогой. Ну, про Турцию, про Букарешт расскажи... — вдруг переменял он разговор. Поговорив о Валахии, расспросив о Калафате, которые особенно интересовали его, Кутузов опять возвратился к советчикам, как он называл штабных, и которые, видимо, занимали его. — Там советчиков не меньше было. Если бы я слушал, мы бы еще теперь воевали в Турции. Все поскорее хотят. А скорое на долгое не выходит. Если бы Каменский не умер, он бы пропал. Он с тридцатью тысячами штурмовал крепости. Взять крепость нетрудно, трудно кампанию выиграть. А для этого не нужно штурмовать и атаковать, а нужно терпение и время. Каменский на Руцук сол-



дат послал, а я их одних (терпение и время) посылал и взял больше, и лошадиное мясо турки ели. И французы тоже будут.

— Однако должно ж будет принять сражение, — сказал князь Андрей.

— Должно будет, если все этого захотят, а тогда... Нет сильнее тех двух воинов — терпение и время, те все сделают, да советчики этим ухом не слышат, вот что плохо. Ну, прощай, дружок; помни, что я всей душой несу с тобой твою потерю и что я тебе не светлейший князь и не главнокомандующий, а отец. Прощай.

Как и отчего это случилось, князь Андрей не мог бы никак объяснить; но после этого свидания с Кутузовым он вернулся к своему полку успокоенный насчет общего хода дела и насчет того, кому оно вверено было. Чем более он видел отсутствие всего человеческого в этом старике, в котором оставались одни привычки страстей, тем более он был спокоен, что этот-то и нужен. У него не будет ничего своего, и он не испортит общих дел. Он все запомнит, выслушает, разочтет, будет бояться осрамиться и потерять командование, ко-

торое забавляет его, и сделает нечаянно все, что нужно для общего дела. Он та тяжелая лошадь, избитая, старая, которая не побежит на колесе, не соскочит, не будет дергать и ломать, а пойдет ровно настолько, насколько падает колесо, что и нужно. На этом же чувстве, которое более или менее смутно испытывали все, и основано было то единомыслие и общее одобрение, которое сопутствовало избранию Кутузова в главнокомандующие.

Князь Андрей был очень мрачен и грустен в этот день. Накануне только он получил известие о смерти отца. Последний раз, как он видел отца, он поссорился с ним. Он умер скоропостижно и мучительно. Сестра и его сын с гувернером, чувствительным, идеальным другом ребенка, но никуда не годным для помощи в России, оставались одни без покровительства. Как надо было поступить князю Андрею? Первое чувство сказало ему, что надо все бросить и скакать к ним, но потом ему живо представился общий характер мрачного величия, в котором он находился, и он решил, подчиняясь этому характеру, остаться.

Отечество в опасности, все надежды личного счастья уничтожены, жизнь никуда не нужна, один человек, понимавший его, — отец, умер в несчастье. Еще что есть близкого в опасности? Что остается ему делать? Мало-душно бежать из армии искать помощь своим близким, но самому выйти из опасности и долга — или в темных рядах войска искать смерти, исполняя долг и защищая отечество? Да, последнее надо было выбрать. Долг и смерть. Побывавши у Кутузова, он с еще большим мрачным настроением погрузился в темные ряды армии после приглашения Кутузова и своего отказа.

## VIII

24 августа камергер императора француз-зов de Beaussset и полковник Fabvier приехали, первый из Парижа, второй из Мадрида, в штаб-квартиру императора Наполеона, в его стоянку у Бородина. Переодевшись в камергерский мундир, господин Beaussset приказал нести впереди себя привезенный им императору ящик с портретом и вошел в приемную дома, занимаемого императором. Это был дом помещика Можайского уезда И.Г.Дурова. Император Наполеон ночевал в бывшем кабинете Дурова, в котором на окнах стояли еще тарелки с исполинской рожью, вазой и висел портрет отца Дурова в золотой рамке.

В приемной, бывшей зале, уже толпился военный двор. Приезжий господин Beaussset, отшучиваясь, отвечал на вопросы о парижских дамах. Полковник Fabvier рассказывал о испанских делах и расспрашивал о ходе московского похода. Некоторые, смеясь, рассказывали о странностях Московии, один генерал шепотом у окна сообщил, что поход слишком длинный, что линия слишком рас-

тянута, что в армии беспорядки, обозы огромны и что третьего дня у Гжатска многие маршалы представляли Наполеону необходимость остановиться и зимовать в Смоленске, но судьба, видно, решила иначе. Император сказал, как бы загадывая: «Ежели завтра дурная погода — я слушаю вашего совета и остаюсь в Смоленске, ежели хорошая погода, то вперед»; погода была отличная, и вот мы у ворот Москвы. «Бог знает, бог знает, что из этого будет», — говорили генералы, видевшие все в дурном свете, но в это время к Fabvier подошел другой его знакомый и как веселую шутку рассказал вчерашнее происшествие с повозками начальника авангарда.

Император несколько раз приказывал, чтобы не было лишних экипажей, и вчера он наткнулся на прекрасный экипаж, весь нагруженный вещами генерала Жубера, — прелестную маленькую польскую карету, которую генерал отправлял в Вильно. «И представьте себе, мой милый, император приказал поджечь карету со всем хламом... Надо было видеть лицо бедного генерала... Но это было комично».

В это время император Наполеон, оканчивая свой туалет, был в башмаках и коротких чулках, обтягивающих его толстые икры, и без рубашки, с выпущенным толстым животом, над которым висели как бы женские груди, обросшие волосами. Камердинер брызгал одеколоном на жирное выхоленное тело, другой растирал щеткой спину его величества. Волоса недлинные были мокры и спутаны на лоб. Наполеон фыркал и приговаривал: «Ну еще».

— Скажите г-ну Боссе, а также Фабвье, чтобы меня подождали.

Два камердинера быстро одели его величество, и он вышел веселый, оживленный, твердыми быстрыми шагами. Господин Beausset торопился с помощью других господ руками раскрыть свою посылку. Это был портрет сына императора, Римского короля (слово, которое так любят повторять о сыне Наполеона и которое так присвоилось ему, вероятно, именно оттого, что оно не имеет никакого смысла), сделанный Жераром. Надо было приготовить его на стульях (на тех стульях, на которых в лошадки играли дети Дурова) прямо

перед выходом императора.

Но император так неожиданно скоро оделся, что придворные боялись, что не успеют этого сделать. Наполеон был в самом хорошем духе. Он, выйдя, заметил, что они делали, но не хотел их лишить удовольствия сделать ему сюрприз. Как будто их не видав, он обратился к Fabvier, подозвал его к себе, стал расспрашивать о подробностях сражения при Саламанке. Наполеон слушал молча, хмурясь, то, что говорил ему Fabvier о храбрости и преданности его войск, дравшихся на другом конце Европы и имевших только одну мысль — быть достойными своего императора и один страх — не угодить ему. Результат сражения был печальный. «Это не могло быть иначе без меня, — думал он. — Все равно. Из Москвы мы поправим это».

— До скорого свидания, — сказал он Fabvier и подозвал Beausset.

Боссе низко поклонился тем французским придворным поклоном, которым умели кланяться только старые слуги Бурбонов, и подошел, подавая конверт. Наполеон был в хорошем духе, потому что русские, очевидно, при-

нимали сражение, и он был весел, как человек, который долго ждет случая поставить карту, и не спрашивая, выиграет ли карта или нет, уже рад, что думает, что выиграл, что пришло время поставить карту. Кроме того, самое поле сраженья было на берегу реки Москвы, Москвы с бесчисленными церквами, в которой, Наполеон знал, что он будет. Наполеон весело обратился к Beausset, подрал его за ухо.

— Очень рад. Ну, что говорит Париж?

— Париж сожалеет о вашем отсутствии, — как и должно ответил Beausset. Но это было давно известно Наполеону, об этом не стоило говорить.

— Очень жалею, что так далеко заставил вас проехать.

— Я и ожидал найти вас, государь, у ворот Москвы, — сказал Beausset.

Наполеон улыбнулся и протянул руку. Один из важнейших адъютантов подскочил с золотой табакеркой и подставил ее. Наполеон взял щепотку и понюхал.

— Да, хорошо случилось для вас, — сказал Наполеон, — вы же любите путешествовать,



вы увидите Москву через три дня...

Beausset наклонился с благодарностью за эту к нему внимательность.

— А! Это что? — сказал Наполеон, заметив, что все придворные смотрели на яркий портрет Римского короля, напоминавший мальчика Мурильо в соединении с Христом Рафаэля и в маленьком соединении с лицом того мальчика, с которого он был списан. Наполеону хотелось еще поговорить с Beausset и похвастаться ему своим походом и завоеванием Москвы, азиатского города с бесчисленными церквами. Но нельзя было, все ждали действия сюрприза. Наполеон должен был обратиться к портрету, и с свойственной итальянцам способностью изменять произвольно выражение лица, он подошел к портрету и сделал вид задумчивости и нежности. Он чувствовал, что то, что он скажет и сделает теперь, есть история, и почувствовал, что лучшее, что он может сделать теперь, — он, с своим величием, великий император, великая армия, пирамиды, Москва и ее степи, — лучшее, что он может сделать, это выказать, в противоположность величию, самую простую

отеческую нежность. Глаза его отуманились, он подвинулся, оглянулся на стул, стул подскочил под него, и он сел на него против портрета. Один жест его, и все на цыпочках вышло, предоставляя самому себе и его чувству великого человека. Посидев несколько времени и дотронувшись, сам не зная для чего, рукой по шероховатости блика, он встал, позвонил и вышел завтракать. За завтраком, как всегда, принимал и отдавал приказания.

После завтрака он поехал верхом и пригласил к своей прогулке Fabvier и Beausset, любившего путешествовать.

— Ваше величество, вы слишком добры, — сказал Beausset, которому хотелось спать и который не умел и боялся ездить верхом.

Наполеон выехал на Бородинское поле.

Русские войска видны были за рекой и в редуте у деревни Шевардино. Никаких не нужно было Наполеону делать распоряжений. Русские войска без всякой хитрости расположились на открытом поле, работая над укреплениями и ожидая сражения. Нынче было уже поздно, чтобы начинать сражение. Кроме того, войска еще не все собрались, и

приказание о их приближении уже было давно отдано. Предпринимать и приказывать было нечего. Вопрос о том, как атаковать русских с фронта, с фланга или обходом, еще не был и не мог быть решен в уме Наполеона, так как не было еще верных сведений о позиции русских и их силах, и потому приказывать и начинать в этот вечер было нечего, но все ждали приказаний. Многие предлагали свои мнения, на которые вызывал их Наполеон. Погода была прекрасная, и расположение духа Наполеона хорошее. Он посмотрел на Шевардинский редут и сказал:

— Этот редут нетрудно будет взять.

— Вам стоит только приказать, государь, — сказал маршал Даву, и Наполеон, оглянувшись на Боссе и прочтя восторг к себе в его взгляде, приказал тотчас же атаковать редут и слез с лошади, чтобы спокойнее любоваться зрелищем.

## IX

**Ш**евардинский редут был атакован 24-го вечером, и убито и ранено около десяти тысяч человек с обеих сторон. Когда стало смеркаться, паж подал лошадь Наполеону, другой поддержал стремя, и он шагом поехал ужинать в дом Дурова.

24-го было сражение при шевардинском редуте, 25-го не было пущено ни одного выстрела ни с той, ни с другой стороны, 26-го произошло Бородинское сражение, которое историки называют великим событием, — великая битва под Москвой, годовщину которого празднуют теперь и в благодарность за которое тогда служили молебны как в русской, так и во французской армии, благодаря Бога за то, что много убили людей, — и про которое Кутузов писал государю, что он его выиграл, а Наполеон объявлял по своей армии и своему народу, что он его выиграл; сражение, про которое до сих пор происходят споры о том, чьи распоряжения были лучше и гениальнее (это слово особенно любят). Для нас же, потомков событий, это представляется

столь же печальным событием, как единичное убийство, только настолько интереснее, насколько восемьдесят тысяч убийств, совершенных в один день и в одном месте, интереснее одного, и таким событием, за которое мы не видим предлога ни благодарить, ни укорять Бога, как за всякое неизбежное событие, — за весну, лето и зиму. Событие это представляется нам неизбежным явлением, которое не могли произвести воли частных людей, Кутузова и Наполеона, и в котором их воли участвовали так же мало, как и воля каждого солдата, событием, которого эти военачальники не только не произвели, но не предвидели, не руководили и не понимали. Их действия — этих гениев — были, как и всегда бывает в войне, так же бессмысленны, как действие того солдата, который в упор стрелял в другого неизвестного и чуждого ему человека.

Мы бы не останавливались на анализе действий полководцев, ежели бы не существовало в кровь и плоть перешедшее убеждение о гениальности полководцев.

Действия Наполеона и Кутузова в Бородин-

ском сражении были произвольны и бессмысленны. Для чего, во-первых, было дано Бородинское сражение? Ни для французов, ни для русских оно не имело смысла. Результатом ближайшим этого убийства было и должно было быть для русских то, что они приблизились к гибели Москвы, чего они боялись больше всего в мире, а французы — к гибели всей армии, чего они тоже боялись больше всего в мире. Ежели бы полководцы руководились разумными причинами, то, казалось, ясно должно было быть для Наполеона, что, зайдя за две тысячи верст и теряя четверть, он, принимая сражение, шел на верную гибель. И насколько ясно должно было бы казаться Кутузову, что, принимая сражение, он наверное теряет Москву. Это было математически ясно, как ясно то, что ежели в шашках у меня меньше шашек и я буду меняться, я наверное проиграю, и потому не должен меняться. Когда у противника шестнадцать шашек, а у меня четырнадцать, то я только наполовину слабее его, а когда я поменяюсь тринадцатью шашками, то он будет втрое сильнее меня. Это казалось бы ясно, но ни На-

полеон, ни Кутузов этого не видели, и было сражение.

До Бородинского сражения наши силы относились к французским как 5 к 6, а после сражения как 1 к 2, т. е. до сражения 103 тысячи к 130, а после — 50 к 100. И Москва была отдана. Наполеон же еще менее показал гениальности, теряя армии и еще более растягивая свою линию.

Если скажут, что, заняв Москву, он думал, как занятием Вены, кончить кампанию, то против этого есть много доказательств. Сами историки Наполеона рассказывают, что еще от Гжатска он хотел последовать совету возвратиться и знал опасность своего растянутого положения; знал, кроме того, то, что занятие Москвы не будет конец кампании: он от Смоленска видал, в каком положении оставляли ему русские города, и сам в Смоленске говорил Тучкову, что ежели занятие Москвы и не решит судьбы кампании, то оно будет непоправимо тяжело для русских, что занятие неприятелем столицы, сказал он с своей тривиальностью мысли, подобно девке, раз потерявшей свою невинность и которую воз-

вратить уже невозможно.

Давая и принимая Бородинское сражение, Кутузов и Наполеон поступили непроизвольно и бессмысленно. А историки под совершившиеся факты уже потом подвели хитро-сплетенные доказательства предвидения и гениальности полководцев, которые из всех непроизвольных орудий мировых событий были самыми рабскими и непроизвольными деятелями.

Древние оставили нам образцы героических поэм, в которых боги управляли поступками героев, решали их судьбу, плакали о них, вступались за них, и долго мы продолжали эту форму поэзии, хотя уже давно никто не верил в героев. Древние оставили нам тоже образцы героической истории, где Ромулы, Киры, Кесари, Сцеволы, Марии и т. д. составляют весь интерес истории, и мы все еще не можем привыкнуть к тому, что для нашего человеческого времени история такого рода не имеет смысла.



## Х

После отъезда государя из Москвы, когда прошла эта первая минута восторга, московская жизнь потекла прежним, обычным порядком, и течение этой жизни было так обычно, что трудно было вспомнить о этих бывших днях увлечения, и трудно было верить, что действительно Россия в опасности и что члены Аглицкого клуба суть вместе с тем и сыны отечества, готовые для него на всякую жертву. Одно, что напоминало о бывшем во время пребывания государя в Москве общем восторженно-патриотическом настроении, было требование пожертвований людьми и деньгами, которые, как скоро они были сделаны, облеклись в законную, официальную форму. Старики, покрехтывая, делали распоряжения о выдаче ратников и рекрутов и о исправлении брешей, которые эти пожертвования делали в их хозяйствах. И опасность от врага, и патриотические чувства, и сожаление о убитых и раненых, и жертвования, и страх приближающегося врага, все в обыденной общественной жизни теряло свое строгое

и серьезное значение и получало в разговорах за бостонными столами или в кругу дам, беленькими ручками щипавшими корпию, характер ничтожности и часто было предметом споров, шуток или тщеславия.

И с приближением врага и опасности взгляд на свое положение не только не делался серьезнее, но еще легкомысленнее, как это всегда бывает с людьми, которые видят приближающуюся опасность. При приближении опасности два голоса одинаково сильно всегда говорят в душе человека: один весьма разумно говорит о том, чтобы человек обдумал самое свойство опасности и средства для избавления от нее; другой еще разумнее говорит, что слишком тяжело и мучительно думать об опасности, тогда как предвидеть и спастись от общего хода дела не во власти человека, и потому лучше отвернуться от тяжелого до тех пор, пока оно не наступило, и думать о приятном. В одиночестве человек большей частью отдается первому голосу, в обществе, напротив, второму. Так было теперь с жителями Москвы.

Новости о том, что наша армия отступила

еще на марш к Москве и что было еще сражение, рассказывалось вперемежку с новостями о том, что княжна Грузинская очень занемогла и прогнала всех докторов, а лечит ее какой-то делающий чудеса, и что Катиш, наконец, поймала жениха, а князь Петр совсем плох. Афишки графа Ростопчина о том, что ему государь поручил сделать большой шар, на котором полетят куда захотят, и по ветру и против ветра, и о том, что он теперь здоров, что у него болел глаз, а теперь он глядит в оба, и о том, что французы народ жидкий, что одна баба может трех французов вилами закинуть, и т. п., эти афишки читались и обсуживались наравне с последними буриме П.И.Кутузова, В.Л.Пушкина и Пьера Безухова. Некоторым нравились эти афишки, и в клубе, в угловой комнате, собирались читать их и смеялись жидким французам. Некоторые не одобряли этот тон и говорили, что это пошло и глупо. Рассказывали о том, что французов и даже всех иностранцев Ростопчин выслал из Москвы, что между ними шпионы и агенты Наполеона; с такой же старательностью не забыть рассказывали, что Ростопчин, отправ-

для их на барке, сказал: «Я желаю, чтоб эта лодка не сделалась для вас лодкой Харона», — рассказывали, что выслали уже из Москвы все присутственные места и тут же прибавляли шутку Шиншина, что за это одно Москва должна быть благодарна Наполеону. Рассказывали, что Мамонову его полк будет стоить восемьсот тысяч, что Безухов еще больше затратил на свой батальон, но что лучше всего в поступке Безухова то, что он сам оденется в мундир и поедет верхом перед батальоном и ничего не будет брать за места с тех, которые будут смотреть на него.

— Вы никому не делаете милости, — сказала Жюли Друбецкая, собирая и прижимая кучку наципанной корпии тонкими пальцами, покрытыми кольцами. — Безухов так добр, так мил. Что за удовольствие быть так злоязычным

— Штраф в пользу раненых за злоязычие, — сказал тот, кого обвиняли.

— Другой штраф за галлицизм, — прибавил другой. — Вы никому не делаете милости, — вы никому не оказываете уважения.

— За злоязычие виновата, — отвечала

Жюли — и плачу, за удовольствие сказать вам правду я готова еще заплатить, но за галлицизм не отвечаю, у меня нет времени, как у князя Голицына, взять учителя и учиться по-русски.

Для Пьера приезд государя, собрание в Слободском дворце, чувство, испытанное там, сделались эпохой жизни. То, что составляло горе и страх для большинства людей его круга, эта опасность, это расстройство обычного хода дел и угроза разорения, то делало счастье Пьера, освежив и переродив его.

«А мне-то и хорошо и приятно, — думал он, — что пришло время, когда этот надоевший мне правильный, охвативший меня порядок жизни изменится и что пришло время для меня показать, что все это вздор, пустяки и ничтожество». Пьер, подобно Мамонову, тогда же затеял выставить батальон стрелков, который должен был стоять дорожке мамоновского, и, несмотря на то, что управляющий доказывал Пьеру, что с его расстроенными делами он разорится этой затеей, он говорил своему управляющему: «Ах, делайте только. Разве не все равно?» Чем хуже шли его де-

да, тем ему было приятнее. Пьер испытывал радостное беспокойное чувство, что изменяется наконец этот ложный, но всемогущий быт, который приковал его. Он то сидел в своем комитете, то ездил по городу, жадно узнавал новости и всеми силами души призывал скорее ту торжественную минуту, когда все рухнет и когда ему можно будет не то что торжествовать, а просто бросить не только богатство, но и всю свою жизнь, столь же ненужную, как и богатство.

Несмотря на то, что всем своим знакомым Пьер, краснея, одно и то же говорил, что он не только никогда не будет командовать своим батальоном, но что он ни за что в мире не пойдет на войну, что он и по корпуленции своей представляет слишком большую мишень и слишком неловок и тяжел, Пьер давно уже волновался мыслью о том, чтобы поехать к армии и самому, своими глазами увидеть, что такое война.

25 августа, получив от адъютанта Раевского известие о приближении французов и вероятном сражении, Пьеру еще больше захотелось ехать в армию, посмотреть, что там де-

лалось, и с этой целью, чтоб сдать свою должность по комитету пожертвований и быть свободным, он поехал к Ростопчину. Проезжая по Болотной площади, он увидел толпу у Лобного места и, остановившись, слез с дрожек. Это была экзекуция французского повара за обвинение в шпионстве. Экзекуция только что кончилась, и палач отвязывал от кобылы жалостно стонавшего толстого человека в синих чулках и зеленом камзоле, с рыжими бакенбардами. Другой преступник, худенький и бледный, стоял тут же.

С испуганным болезненным видом, подобным тому же, какой имел худой француз, Пьер проталкивался сквозь толпу, спрашивая: «Что это, кто, за что?» — и не получал ответа. Толпа чиновников, народа, женщин жадно смотрела и ждала. Когда толстого человека отвязали, и он, видимо, не в силах удержаться, хотя и хотел этого, заплакал, сам сердясь на себя, как плачут взрослые сангвинические люди, толпа заговорила, как показалось Пьеру, для того, чтобы заглушить в самой себе чувство жалости, и слышались слова:

— То-то теперь запел: «патушка, перьяславные, ни пуду, ни пуду», — говорил один, вероятно, кучер господский, подле Пьера.

— Что, мусью, видно, русский соус кисел, француз набил оскомину, — подхватил шутку кучера приказный. Пьер посмотрел, покачал головой, сморщился и, повернувшись, пошел назад к дрожкам, и решил, что он не может более оставаться в Москве и едет к армии.

Ростопчин был занят и через адъютанта выслал сказать, что очень хорошо. Пьер поехал домой и отдал приказание своему всезнающему, всемогущему, умнейшему и известному всей Москве дворецкому Евстратовичу о том, что он в ночь поедет в Татаринову к войску.

Пьер к утру 25-го, никому не сказавшись, выехал и приехал к вечеру к войскам в дрожках на подставных. Лошади его ждали в Князькове. Князьково было полно войсками и до половины разрушено. По дороге у офицеров Пьер узнал, что он выехал в самое время и что нынче или завтра должно было быть генеральное сражение. «Ну что ж делать? Ведь я этого хотел, — сказал сам себе Пьер, — те-



перь кончено».

Пьер было проехал своих, но берейтор, узнав, окликнул его, и Пьер обрадовался, увидав свои знакомые лица после бесчисленного количества чужих солдатских лиц, которые он видел дорогой. Берейтор с лошадьми и повозкой стоял в середине пехотного полка.

Для того, чтобы иметь менее обращающий на себя общее внимание вид, Пьер намерен был в Князьково переодеться в ополченский мундир своего полка, но, когда он подъехал к своим, — переодеваться надо было тут, на воздухе, на глазах солдат и офицеров, удивленно смотревших на его пухлую белую шляпу и толстое тело во фраке, — он раздумал. Он отказался также от чая, который приготовил ему берейтор и на который завистливо смотрели офицеры. Пьер торопился скоро ехать. Чем дальше он отъезжал от Москвы и чем глубже погружался в это море войск, тем больше им овладевало беспокойство. Он боялся и сражения, которое должно было быть, и еще более боялся того, что опоздает к этому сражению.

Берейтор привел двух лошадей. Одну ры-

жую, англизированную, другую — вороного жеребца. Пьер давно не ездил верхом, и ему жутко было влезать на лошадь. Он спросил, какая посмирнее. Берейтор задумался.

— Эта мягче, ваше сиятельство.

Пьер выбрал ту, которая была помягче, и, когда ему ее подвели, он, робко оглядываясь — не смеется ли кто над ним, — схватился за гриву с такой энергией и усилием, как будто он ни за что в мире не выпустит эту гриву, и влез, желая поправить очки и не в силах отнять руки от седла и поводьев. Берейтор неодобрительно посмотрел на согнутые ноги и пригнутое к луке огромное тело своего графа и, сев на свою лошадь, приготовился сопровождать.

— Нет, не надо, оставайся, я один, — прошептал Пьер. Во-первых, ему не хотелось иметь сзади себя этот укоризненный взгляд на свою посадку, а во-вторых, не подвергать берейтора тем опасностям, которым он твердо намерен был подвергать себя. Закусив губу и пригнувшись наперед, Пьер ударил обоими каблуками по пахам лошади, этими же каблуками уцепился за лошадь, натянул и дернул

неровно на сторону взятыми поводьями и, не отпуская гриву, пустился по дороге неровным галопом, предавая свою душу Богу.

Проскакав версты две и едва держась от напряжения в седле, Пьер остановил лошадей и поехал шагом, стараясь обдумать свое положение: куда и зачем и к кому он едет. Из Москвы его выгнало то же чувство, которое он испытывал в Слободском дворце во время приезда государя, то приятное чувство сознания, что все то, что составляет счастье людей, удобства жизни, богатство, даже самая жизнь есть вздор, который приятно откинуть, в сравнении с... чем-то. С чем?

Пьер не мог себе дать отчета, да и не старался уяснить себе, для кого и для чего он находит особенную прелесть пожертвовать и всем своим имуществом, и своей жизнью. Его не занимало то, для чего он хочет жертвовать, но самое жертвование составляло для него новое радостное, обновляющее чувство. Вследствие этого чувства он приехал теперь из Москвы в Бородино с тем, чтобы участвовать в предстоящем сражении. Участвовать в сражении казалось ему в Москве делом совер-

шенно простым и ясным, но теперь, увидав эти массы людей, расчисленных по разрядам, подчиненных, связанных, озабоченных каждый своим делом, он понял, что нельзя так просто приехать и участвовать в сражении, а надо для этой цели к кому-нибудь присоединиться, кому-нибудь подчиниться, получить какой-нибудь интерес более частный, чем вообще участвовать в сражении.

Пьер оглядывался на обе стороны дороги, отыскивая знакомое лицо, и везде встречал только незнакомые военные лица разных родов войск, одинаково то с удивлением, то с насмешкой смотревшие на его белую шляпу и зеленый фрак. Проехав две разваленные и покинутые жителями, но наполненные войсками деревни, он подъезжал к третьей, когда встретил, наконец, знакомого человека и радостно обратился к нему, чтобы посоветоваться о том, что ему с собой делать. Знакомый этот был один из начальствующих докторов армии. Он в бричке ехал, сидя рядом с молодым доктором, догнал Пьера и, узнав его, остановил своего казака, сидевшего на козлах вместо кучера.

— Ваше сиятельство, вы как тут? — спросил доктор.

— Да вот, хотелось посмотреть...

— Да, да, будет что посмотреть...

Пьер слез и, остановившись, разговорился с доктором, спрашивая его совета, как ему поступить, к кому обратиться и где найти Перновский полк, которым командовал князь Андрей. На последний вопрос доктор ничего не мог ответить, но на первый присоветовал Безухову обратиться прямо к светлейшему князю.

— Что ж вам бог знает где находится во время сражения и без помощи и без известности, — сказал он, переглянувшись с своим молодым товарищем, — а светлейший все-таки знает вас и примет милостиво... Так, батюшка, и сделайте, — сказал доктор.

Доктор казался усталым и спешащим. И Пьера поразила в нем фамильярность, с которой он обращался с ним, в противность прежнему приторно-почтительному обращению.

— Вот как въедете в эту деревню — кажется, Бурдино называется, Бурдино или Бородино, не помню, — так вот от того места, видите,

там где копают, возьмите по дороге вправо, прямо в Татаринову и приедете, в квартиру светлейшего.

— Но ему некогда, может быть.

— Всю ночь не спали — готовятся, ведь не шутка эту громаду обдумать, — я был. Ну да вас примет.

— Так вы думаете...

Но доктор перебил его и подвинулся к бричке.

— Я бы вас проводил, за честь бы счел — да, ей-богу, — вот, — доктор показал на горло, — скачу к корпусному командиру. Ведь у нас, как вы знаете, граф, — завтра сражение на сто тысяч войска, малым числом на двадцать тысяч раненых считать надо, а у нас ни носилок, ни коек, ни фельдшеров, ни лекарей и на шесть тысяч нету. Как хочешь, так и делай...

Та странная мысль, что из числа тех тысяч людей живых, здоровых, молодых и старых, которые с веселым удивлением смотрели на его шляпу, были, наверное, двадцать тысяч обреченных на раны и смерть (может быть, те самые, которых он видел), так поразила

его, что он, не отвечая доктору ни на его слова, ни на его прощанье, долго стоял на месте, не переменяя страдальческого и испуганного выражения лица.

С помощью услужливого фурштата, подержавшего ему лошадь, чтоб он влез, Пьер поехал в эту деревню, которая была перед ним и которую доктор называл неопределенно Бурдино или Бородино. Небольшая улицей деревня эта, так же, как и другая, с домами без крыш и с колодезем по улице, была полна мужиками с крестами на шапках, которые с громким говором, в одних рубахах, с лопатами на плечах шли ему навстречу. На самом конце улицы такие же мужики копали какую-то гору, возили по доскам землю в тачках. Два офицера стояли на горе и распоряжались мужиками. Удушливо-противная человеческая вонь охватила Пьера, как только он подъехал к этому строящемуся ополченцами укреплению.

— Позвольте спросить, — обратился Пьер к офицеру, — это какая деревня?

— Бородино!

— А на Татаринову как проехать?

Офицер, видимо, довольный случаем поговорить, сошел с возвышения и, зажав нос, пробежал мимо работавших в пропотевших рубахах ополченцев.

— Фу, проклятые, — проговорил он и, подойдя к Пьеру, облокотился рукой на его лошадь. — Вам в Татаринову? Так вам назад, — а тут вы прямо к французам ехали. Ведь они вон видны.

— Простым глазом видно.

— Да, вот, вот.

Офицер из-за лошади показал рукой на чернеющие массы. Оба помолчали.

— Да, неизвестно, кому завтра живым быть. Много недосчитаются. Ну да, славу Богу, один конец. — Унтер-офицер подошел сказать, что за турами ехать надо. — Ну да посылай третью роту опять, — сказал офицер неохотно. — А вы кто же? — спросил он. — Не из докторов?

— Нет, я так, — отвечал Пьер.

— Так вот назад по улице и влево второй поворот, вон где колодезь с палкой-то.

Пьер поехал по указанию офицера и, еще не выехав из деревни, увидел впереди себя по



той дороге, по которой ему надо было ехать, стройно идущую ему навстречу пехоту с снятыми киверами и ружьями, опущенными книзу. Позади пехоты слышалось церковное пение, и, обгоняя его, без шапок бежали навстречу идущим солдаты и ополченцы.

— Матушку по войску несут!

— Заступницу — Иверскую!

— Смоленскую матушку, — поправлял другой, на бегу говорили ополченцы, и те, которые были в деревне, и те, которые работали на батарее и теперь, побросав лопаты, бежали навстречу церковному шествию. За батальоном, шедшим впереди, шли в ризах священники, один в клобуке с крестом и певчими, за ним солдаты и офицеры несли большую, с черным ликом в окладе икону, за иконой и кругом нее, впереди и со всех сторон шли, бежали и кланялись в землю с обнаженными головами толпы военных. В деревне икона остановилась, священники зажгли вновь кадило и начали молебен.

Пьер, слезши с лошади и сняв шляпу, постоял несколько времени и поехал дальше.

На всем протяжении дороги он направо и

налево видел те же войска с теми же сосредоточенными лицами, принимавшими одинаковое выражение удивления при взгляде на него. «И эти, и эти в числе тех двадцати тысяч, для которых уже заготавливают на завтра носилки и койки», — думал он, глядя на них. Несколько адъютантов и генералов проехало навстречу ему. Но все были незнакомые. Они любопытно оглядывали его и проезжали мимо. На повороте в Татаринову двое дрожек парю с двумя генералами, сопровождаемые большим количеством адъютантов, встретились ему. Это был генерал Бенигсен, который ехал осматривать позиции. В числе свиты, ехавшей за Бенигсеном, было много знакомых Пьера. Его тотчас же окружили, стали спрашивать его о Москве, о том, зачем он здесь, и, к удивлению его, весьма мало удивились, узнав, что он приехал участвовать в сражении. Бенигсен, заметив его фигуру и остановившись у копаемого укрепления, пожелал познакомиться с ним, подозвал к себе и предложил ехать с собой вместе по линии.

— Вам это будет интересно, — сказал он.

— Да, очень интересно, — сказал Пьер.

— Что же касается до вашего желания участвовать, то я думаю, вам лучше сказать светлейшему, он очень рад будет...

Больше Бенигсен не говорил с Пьером. Он, очевидно, был слишком чем-то взволнован и раздражен в этот день так же, как и большая часть окружающих его. Бенигсен осматривал всю передовую линию размещения наших войск, делал некоторые замечания, объяснял кое-что бывшим с ним и подъезжавшим к нему генералам и изредка отдавал приказания. Пьер, слушая его, напрягал все свои умственные способности для того, чтобы понять сущность предстоящего сражения и выгоды и невыгоды нашей позиции; но он ничего не мог понять из того, что он видел и слышал. Он не мог понять оттого, что в расположении войск перед сражением он привык отыскивать что-то утонченно глубокомысленное и гениальное, здесь же он ничего этого не видел. Он видел, что просто здесь стояли такие-то, здесь такие-то, а здесь такие-то войска, которые точно с такою же пользою можно было поставить правее и левее, ближе и дальше. И оттого-то, что это ему казалось так

просто, он подозревал, что он не понимает сущности дела, и старательно вслушивался в речи Бенигсена и окружавших его.

Они проехали по фронту линии назад, через окапываемое бруствером Бородино, в котором уже был Пьер, потом на редут, еще не имевший и потом получивший название редут Раевского, на котором устанавливали пушки. Потом они поехали к Семеновскому, в котором солдаты растаскивали последние бревна изб и овинов. Потом под гору и на гору они проехали через поломанную, выбитую, как градом, рожь по вновь проложенной артиллерией по колчам пашни дороге на флешах, тоже тогда еще копаемые и памятные Пьеру только потому, что здесь он, слезши с лошади, во рву позавтракал с Кутайсовым у полковника, предложившего им битков.

Бенигсен остановился на флешах и стал смотреть на неприятелей — напротив, в бывшем нашим еще вчера Шевардинском редуте, он был версты за полторы, и офицеры уверяли, что там группа — это Наполеон или Мюрат. Когда Пьер подошел опять к Бенигсену, он говорил что-то, критикуя расположение

этого места и говоря:

— Надо было подвинуться вперед.

Пьер внимательно слушал, дожевывая битки.

— Вам, я думаю, неинтересно, — вдруг обратился к нему Бенигсен.

— Ах, напротив, очень интересно, — повторил Пьер фразу, повторенную им раз двадцать в этот день и всякий раз не совсем правдиво. Он не мог понять, почему флешам надо было быть впереди, чтобы их обстреливала Раевского батарея, а не Раевского батареи быть впереди, чтобы ее обстреливали флеша.

— Да, это очень интересно, — все говорил он.

Наконец они приехали на левый фланг, и тут Бенигсен еще более спутал понятия Пьера своим недовольством помещения корпуса Тучкова, долженствовавшего защищать левый фланг. Вся позиция Бородина представлялась Пьеру следующим образом. Передовая линия, несколько выгнутая вперед, простиралась на три версты от Горок до позиции Тучкова. Почти посередине линии, ближе к лево-

му флангу, была река Колоча с крутыми берегами, разрезавшая всю нашу позицию надвое.

Выступающим пунктом справа налево были: 1) Бородино, 2) редут Раевского, 3) флеша, 4) оконечность левого фланга — леса березника в оглоблю, у которого стоял Тучков.

Правый фланг был сильно защищен рекою Колочею, левый фланг был слабо защищен лесом, за которым была старая Калужская дорога. Корпус Тучкова стоял почти под горой. Бенигсен нашел, что корпус этот стоит нехорошо, и приказал подвинуться ему вперед на версту расстояния.

Почему лучше было стоять впереди без подкреплений, почему не подвинуты были другие войска, ежели левый фланг слаб, почему Бенигсен сказал полковнику, который с ним был, что об этом распоряжении его не нужно было докладывать Кутузову, и почему сам не сказал Кутузову? Потом Пьер слышал, как он, встретив Кутузова, прямо сказал, что он все нашел в исправности и не нашел нужным ничего изменять, — это не смог понять Пьер, и все это было ему еще более интересно.

В шестом часу Пьер за Бенигсеном приехал

в Татаринову, где стоял Кутузов. Одна большая изба в три окна была занята Кутузовым. Рядом на плетне была прибита доска: «Канцелярия главного штаба». Напротив, с фургонами у подъезда, была изба, в которой жил Бенигсен.

Перед самой деревней Пьера обогнал знакомый ему Кутайсов, он верхом возвращался откуда-то с двумя офицерами. Кутайсов дружески обратился к Пьеру, не в силах удержать насмешливые взгляды, которые обегали всю фигуру Пьера, и улыбнулся на вопрос Пьера о том, как ему просить главнокомандующего о разрешении участвовать в сражении.

— Поедемте со мной, граф. Князь (Кутузов), верно, в саду под яблоней. Я вас проведу к нему. Ну, что Москва, волнуется? — И, не дожидаясь ответа, Кутайсов подъехал к навстречу ему ехавшим генералам на дрожках, и по-французски что-то горячо поговорил с ними. «Позиция ненадежна... Надо быть сумасшедшим», — слышал Пьер.

— Кто это? — спросил Пьер.

— Это принц Евгений едет на левый фланг

осматривать позицию, которая невозможна. Хотят, артиллерия чтоб действовала из-под горы... Ну, да вам неинтересно...

— Ах, напротив... мне очень интересно. Я видел все.

— А, — сказал Кутайсов, и они подъехали к плетню, на котором была вывеска. Кутайсов слез и приказал казаку взять лошадь Пьера, а Пьеру сказал, куда идти и где потом найти свою лошадь.

В сарае на соломе спал один офицер, накрывшись рубашкой от мух, другой у дверей обедал подовыми пирогами и арбузом.

— Светлейший в саду? — спросил Кутайсов.

— В саду, ваше сиятельство.

И Кутайсов через сарай прошел в яблочный мужицкий сад с теми переливами тени и света, которые бывают только в густых яблочных садах. В саду было прохладно, и вдалеке виднелись раскинутые палатки, ковер и воротники мундиров и эполеты. Яблоки еще оставались на деревьях, и у плетня мальчишка босиком влез на дерево и тряс. Девчонка подбирала внизу. Они испуганно замерли,



увидав Пьера. Им казалось, что цель всех людей, а потому и этих, состояла в том, чтобы помешать им рвать яблоки. Кутайсов прошел вперед, мелькая между деревьями, к блестящему ковру и эполетам. Пьер, не желая развлекать главнокомандующего, остался сзади.

— Ну, хорошо, поезжай сам да пришли его ко мне.

Кутузов, засмеявшись чему-то, встал и пошел к избе переваливающейся, ныряющей походкой, руки назад. Пьер подошел к нему. Но еще прежде главнокомандующий остановился перед ополченным офицером, знакомым Пьеру. Это был Долохов. Долохов говорил что-то горячо Кутузову, который через голову его кивнул Пьеру. Пьер подошел. Долохов говорил:

— Все сражения наши были проиграны от слабости левых флангов. Я осмотрел нашу позицию, и наш левый фланг слаб. Я решил, что ежели я доложу вам, ваша светлость может прогнать меня или сказать, что вам известно то, что я докладываю, и тогда у меня не будет.

— Так, так.

— А ежели я прав, то я принесу пользу отечеству, для которого я готов умереть.

— Так, так.

— А ежели вашей светлости нужно человека, который бы пошел в неприятельскую армию убить Бонапарта, то я готов быть таким.

— Так, так... — сказал Кутузов, смеющимися, сузившимися глазами глядя на Пьера, и тут же обратился к Толю, шедшему за ним. — Сейчас иду, не разорваться мне. Хорошо, голубчик, благодарю тебя, — обратился он к Долохову, отпуская его. И к Пьеру: — Хотите пороку понюхать? Да, приятный запах. Имею честь быть обожателем вашей супруги. Здорова она? Мой привал к вашим услугам. -

И Кутузов прошел в избу.

Пообедав у Кутайсова и попросив у него лошадь и казака, Пьер поехал к Андрею, у которого и намерен был отдохнуть и провести ночь до сражения.

Князь Андрей в этот ясный августовский вечер 25-го числа лежал в разломанном сарае деревни Князьково на разостланном ковре. Сарай этот был на задворках деревни, над скатом выгона, по которому стояли солдаты его батальона. Крыша с сарая вся была стащена, и одна сторона, выходящая над обрывом, отломана так, что князю Андрею открывался далекий и прекрасный вид, оживленный видом войск, лошадей и столбов дыма, поднимавшихся с разных сторон из котлов. На задворках около сарая был виден остаток овина, и между овинами и сараями была полоска осин и березок тридцатилетних, у которых сучья были обрублены, одна срублена и некоторые зарублены. Князь Андрей застал своих солдат, рубивших этот лесок или садок, видимо, насаженный старательным хозяином-мужиком, и запретил им рубить, предоставляя таскать сарай и бревна. Зеленые еще березки с кое-где ярко желтеющими листьями стояли веселые и курчавые над его головой, не шевелясь ни одним листком в тишине вечера.

Князь Андрей жалел и любил все живое и радостно смотрел на эти березки. Желтые листья обсыпали место под ним, но это они обсыпали прежде, теперь ничего не падало, они блестели ярким светом, вырвавшимся из-за туч, — блестящим светом. Воробьи слетали с берез на оставшееся звено забора и опять влетали на них.

Князь Андрей лежал, облокотившись на руку и закрыв глаза. Распоряжения все были сделаны, завтра должно было быть сражение. У начальника его колонн он уже был, с ротным и батальонным командирами обедал — и теперь хотел побыть один и подумать — подумать так же, как он думал накануне Аустерлица. Как ни много времени прошло с тех пор, как ни много пережито было с тех пор, как ни скучна и никому не нужна и ни тяжела ему казалась его жизнь, теперь точно так же, как и семь лет тому назад накануне сражения, страшного сражения, которое ему предвиделось назавтра, он чувствовал себя взволнованным и раздраженным и испытывал необходимость, как и тогда, сделать счеты с самим собою и спросить себя, что и за-

чем я?

Ничего похожего не было в нем, каким он был в 1805-м и каким он был в 1812 году. Все очарования войны не существовали уже для него. Откидывая и откидывая прежние заблуждения, он дошел до того, что война ему представлялась уже самым простым и ясным, но ужасным делом. Он несколько недель тому назад сказал себе, что война понятна и достойна только в рядах солдат, без ожидания наград и славы, — воевать в товариществе Тимохиных и Тушиных, которых он так глубоко презирал прежде, к уважению которых он не пришел и теперь, но которых все-таки предпочитал Несвицким, Кутайсовым и Чарторижским и т. п. на том основании, что, хотя Тимохины и Тушины были почти животные, но честные, нелживые простые животные, а те были обманщики и лгуны, загребающие жар чужими руками и над смертью и страданиями людей вырабатывающие себе крестики и ленточки, которых им и не нужно.

Но даже и эта война в самом упрощенном виде теперь слишком ясно, всей своей ужас-

ной бессмысленностью представлялась князю Андрею. Он был раздражен, ему хотелось думать, он чувствовал, что находится в одной из тех минут, когда ум так пронизателен, что, откидывая все ненужное, запутывающее, проникает в самую сущность вещи, и именно от этого ему страшно было думать. Он удерживался и все-таки думал. Он вызывал в себе тот ряд мыслей, которые бывали у него прежде, но ничего похожего не шевелилось в нем. «Чего же я хочу? — спрашивал он сам себя. — Славы, власти над людьми? Нет, зачем? Я бы не знал, что с нею делать. Не только не знал бы, что делать, но знаю наверное, что людям ничего нельзя желать, не к чему стремиться». Он посмотрел на воробьев, слетевших роем с забора на выгон, и улыбнулся: «Что ж, они (люди) могут решать. Все идет по тем вечным законам, по которым этот воробей отстал от других и подлетел после. Так чего же я хочу? Чего? Умереть, чтоб меня убили завтра? Чтоб меня не было — чтобы все это было, а меня бы не было?»

Он живо представил себе отсутствие себя в этой жизни с плетнем (он отломил палочку)

и дымом котлов, и мороз подрал его по коже. «Нет, я этого не хочу, я боюсь еще чего-то. Чего же я хочу? Ничего, но живу потому, что не могу не жить и боюсь смерти. Вот эти все, — думал он, глядя на двух солдат, которые, стоя у пруда, голыми ногами в воде, вытягивали с бранью друг у друга доску, на которой они хотели стоять, чтобы мыть белье, — вот эти и этот офицер, который так доволен, что прискакал верхом, — чего они хотят, из чего хлопчут? Им кажется, что и эта доска, и эта его лошадка, и это будущее сражение, — что все это очень важно, и живут... И там где-то моя княжна Марья и Николушка тоже боятся, хлопчут, и бог знает, кому лучше — им или мне? И я так же, как они, недавно еще верил во все. Как же я делал поэтические планы о любви, о счастье с женщинами?»

— О, милый мальчик! — с злостью вслух проговорил он. — Как же! Я верил в какую-то идеальную любовь, которая должна была мне сохранить ее верность за целый год моего отсутствия. Как нежный голубок басни, она должна была зачахнуть в разлуке со мной и не полюбить другого. Как же я боялся того,

что она зачахнет с тоски по мне. — Краска бросилась ему в лицо, он встал и начал быстро ходить.

«А все это гораздо проще. Она самка, ей нужен муж. Первый самец, который встретился, и стал хорош для нее. И непонятно, как можно не видеть такую простую и ясную истину. Отец тоже строит в Лысых Горах и думает, что это его место, его земля, его воздух, его мужики, а пришел Наполеон и, не зная об его существовании, как щепку с дороги, оттолкнул и развалил его Лысые Горы и всю его жизнь. А княжна Марья говорит, что это испытанье, посланное свыше. Для чего это испытанье, когда его уж нет и не будет, никогда больше не будет. И я буду думать, что мне послано испытанье. Очень хорошо испытанье. Что это меня готовит к чему-то. А завтра меня убьют, и не француз даже, а свой, как вчера разрядил солдат ружье около моего уха, и придут французы, возьмут меня за ноги и за голову и швырнут в яму, чтоб я не вонял им под носом, завтра придут в Москву и, как в Смоленске, поставят лошадей в собор, а на раку святителя насыплют овса и сена, и лошади будут очень



покойны... Кому же это испытание? Испытание человеку, который все не понимает того, что над ним смеются. Глупо, когда не понимаешь, мерзко, когда понимаешь всю эту шутку».

Он вошел в сарай, лег на ковер, закрыл глаза и перестал ясно думать. Одни образы сменялись другими. На одном на чем-то он долго радостно остановился, когда его развлек какой-то близко знакомый пришепетывающий голос, говоривший за сараем: «Да, я и спрашиваю не Петра Михайловича, а князя Андрея Николаевича Болконского». Князь Андрей пропустил мимо ушей этот голос и стал спрашивать себя, о чем он так долго и радостно думал: «О чем последнем? Да, вот о чем! Я вошел в заднюю дверь нашей комнаты. Наташа сидела перед трюмо и чесала волосы. Она услышала мои шаги и оглянулась. Оглянулась, держа пряди волос в руке и прикрывая ими румяную свежую щеку, и смотрела радостно-благодарно на меня. И я был ее счастливый муж, и она была да, Наташа. Да... Да, в эти самые щеки, в эти плечи, может быть, целовал ее этот человек. Нет, нет, никогда, вид-

но, никогда я не прощу, не забуду этого».

Князь Андрей почувствовал, что слезы душишат его. Он приподнялся и перевернулся на другой бок. «И могло, могло это не быть. Нет, я одно хочу, хочу еще. Это убить этого человека и видеть ее».

«И зачем он не женился на ней? Он не удостоил ее. Да, то, что для меня верх моих желаний, для него — презренно. Таких есть царство земное. Что же мое?... Что-то есть, и все-таки не хочу я быть ими».

У входной двери слышались шаги и голоса. Он знал, что это были батальонные командиры, которые шли к нему пить чай, но кроме них был знакомый голос, который сказал: «Кой черт!» Андрей оглянулся. Это был Пьер, который в своей пуховой шляпе, входя вместе с офицерами, не нагнулся и стукнулся головой в жердь, остававшуюся сверху ворот сарая.

Пьер с первого взгляда на своего друга заметил, что, ежели он переменялся с последне-го их свидания, то только в том, что за это время он еще дальше ушел на том пути мрачного озлобления.

Андрей с насмешливой и скорее неприязненной улыбкой встретил Безухова. Князю Андрею вообще неприятно теперь было видеть людей из своего мира, в особенности же Пьера, с которым он почему-то чувствовал необходимость всегда быть откровенным, и еще более потому, что вид Пьера напоминал ему живее всего их последнее свидание, и угрожало ему повторение тех объяснений, которые были при последнем свидании. Князь Андрей, сам не зная почему, испытывал неловкость смотреть ему прямо в глаза. Неловкость эта тотчас же передалась Пьеру, и он боялся остаться с ним с глазу на глаз.

— А, вот как, — сказал он, подходя к нему и обнимая его. — Какими судьбами? Очень рад.

Но в то время, как он говорил это, в глазах его и выражении всего лица была больше чем сухость, — была враждебность, как будто он говорил: «Ты очень хороший человек, но оставь меня, мне тяжело с тобою».

— Мой милый. Я приехал... так... знаете... приехал... мне интересно, — сказал Пьер, краснея. — Полк мой еще не готов.

— Да, да, а братья масоны что говорят о

войне? Как предотвратить ее? — сказал Андрей, улыбаясь.

— Да, да.

— Ну, что Москва? Что мои, приехали ли, наконец, в Москву? — спросил князь Андрей.

— Не знаю. Жюли Друбецкая говорила, что она получила письмо из Смоленской губернии.

— Не понимаю, что делают. Не понимаю. Войдите, господа, — обратился он к офицерам, которые, увидав гостя, замялись у входа в сарай. Впереди офицеров был Тимохин с красным носом, который, хотя теперь за убылью офицеров был уже батальонный командир, был такой же добрый и робкий человек. За ним вошли адъютант и казначей полка. Они были грустны и серьезны, как показалось Пьеру. Адъютант почтительно сообщил князю, что в один батальон не достало калачей, присланных из Москвы. Тимохину тоже что-то передал по службе.

Раскланявшись с Пьером, которого князь Андрей назвал им, они разместились на полу вокруг поданного самовара, и младший из них занялся разливанием. Офицеры не без

удивления смотрели на толстую громадную фигуру Пьера и слушали его рассказы о Москве и о расположении наших войск, которые ему удалось объездить. Князь Андрей молчал, и лицо его так было неприятно, что Пьер уж обращался более к добродушному батальонному командиру Тимохину.

— Так ты понял все расположение войск? — перебил его князь Андрей.

— Да, то есть как, — сказал Пьер, — как невоенный человек я не могу сказать, чтобы вполне, но все-таки понял общее расположение.

— Ну, так ты больше знаешь, чем кто бы то ни было, — сказал князь Андрей.

— То есть как? — сказал Пьер с недоумением, через очки глядя на Андрея.

— Да никто ничего не понимает, как и должно быть, — сказал князь Андрей. — Да, да, — отвечал он на удивленный взгляд Пьера.

— То есть как же ты это понимаешь? Ведь есть же законы. Ведь, например, я сам видел, как на левом фланге Бенигсен нашел, что войска стоят слишком далеко назади для вза-

имного подкрепления, и двинул их вперед.

Князь Андрей сухо, неприятно засмеялся.

— Он выдвинул вперед корпус Тучкова. Я был там — я видел.

А ты знаешь, зачем он выдвинул? А затем, что глупее этого уж ничего нельзя сделать.

— Ну как же, однако? — возражал Пьер, избегая взгляда своего бывшего друга. — Все обсуживали этот вопрос. И в такую минуту, я думаю, нельзя быть легкомысленным.

Князь Андрей захохотал так же, как смеялся его отец.

Пьера поразило это сходство.

— В такую минуту, — повторил князь. — Для них, — для тех, с которыми ты там объезжал позицию, эта минута только такая минута, в которую можно подкопаться под врага и получить крестик и звездочку лишнюю. Расставлять и переставлять нечего, потому что всякая диспозиция не имеет смысла, а так как им за это платят, им надо притворяться, что они что-нибудь делают.

— Однако всегда успех и неуспех сражения объясняют неправильными распоряжениями, — сказал Пьер, оглядываясь на Тимохина

за подтверждением и на лице его находя согласие с своим мнением точно такое же, какое находил в нем князь Андрей, когда случайно взглядывал на него.

— А я тебе говорю, что все это вздор и что ежели бы что-нибудь зависело от распоряжений штабов, то я бы был там и делал бы распоряжения, а вместо того я имею честь служить здесь, в полку, вот с этими господами и считаю, что от нас действительно будет зависеть завтрашний день, а не от них...

Пьер молчал.

Офицеры, напившись чаю и не понимая того, что говорилось, ушли.

— Но трудно тебе дать понять всю пучину этой лжи, всю отдаленность понятия о войне до действительности. Я это понимаю, во-первых, потому, что я испытал войну во всех видах, во-вторых, потому, что я не боюсь прослыть трусом, — я это доказал. Ну, начать с того, что сраженья, чтобы войска дрались, никогда не бывает, и завтра не будет.

— Это я не понимаю, — сказал Пьер. — Идут же одни на других и сражаются.

— Нет, идут, стреляют и пугают друг друга.

Головнин, адмирал, рассказывает, что в Японии все искусство военное основано на том, что рисуют картины изображения ужасов и сами наряжаются в медведей на крепостных валах. Это глупо для нас, когда знаем, что это наряженные, но мы делаем то же самое. «Опрокинул русских драгун... сошлись в штыки». Этого никогда не бывает и не может быть. Ни один полк никогда не рубил саблями и не колол штыками, а только делал вид, что хочет колоть, и враги пугались и бежали. Вся цель моя завтра не в том, чтобы колоть и бить, а только в том, чтобы помешать моим солдатам разбежаться от страха, который будет у них и у меня. Моя цель только, чтобы они шли вместе и испугали бы французов и чтобы французы прежде нас испугались. Никогда не было и не бывает, чтобы два полка сошлись и дрались, и не может быть. (Про Шенграбен писали, что мы так сошлись с французами. Я был там. Это неправда: французы побежали.) Ежели бы сошлись, то кололись бы до тех пор, пока всех бы перебили или переранили, а этого никогда не бывает. В доказательство тебе скажу даже, что суще-



ствует кавалерия только для того, чтобы пугать, потому что физически невозможно кавалеристу убить пехотинца с ружьем. А ежели бьют пехотинца, то когда он испугался и бежит, да и тогда ничего не могут сделать, потому что ни один солдат не умеет рубить, да и самые лучшие рубаки самой лучшей саблей не убьют человека, который бы даже не оборонялся. Они только могут царапать. Штыками тоже бьют только лежачих. Поди завтра на перевязочный пункт и посмотри. На тысячу ран пульных и ядерных ты найдешь одну холодным оружием. Все дело в том, чтобы испугаться после неприятеля, а неприятеля испугать прежде. И вся цель, чтобы разбежалось как можно меньше, потому что все боятся. Я не боялся, когда шел с знаменем под Аустерлицем, мне даже весело было, но это можно сделать в продолжение получаса из двадцати четырех. А когда я стоял под огнем в Смоленске, то я едва удерживался, чтобы не бросить батальон и не убежать. Так и все. Стало быть, все, что говорится о храбрости и мужестве войск, все вздор.

Теперь второе: распоряжений никаких

главнокомандующий в сражении никогда не делает, и это невозможно, потому что все решается мгновенно. Расчетов никаких не может быть, потому что, как я тебе говорил, я не могу отвечать, чтобы мой батальон завтра не побежал с третьего выстрела и тоже чтобы не заставил побежать от себя целую дивизию. Распоряжений нет, но есть некоторая ловкость главнокомандующего: солгать вовремя, накормить, напоить вовремя и опять, главное, не испугаться, а испугать противника и, главное, не пренебрегать никакими средствами, ни обманом, ни изменой, ни убийством пленных. Нужны не достоинства, а отсутствие честных свойств и ума. Нужно, как Фридрих, напасть на беззащитную Померанию, Саксонию. Нужно убить пленных и предоставить льстецам, которые во всем совершившемся и давшем власть найдут великое, как нашли предков Наполеону. Ведь ты заметь, кто полководцы у Наполеона, и нас уверяют, что это все гении: зять, пасынок, брат. Как будто могло это так случайно совпасть: родство с талантом военным. Не родство совпало, а для того, чтобы быть полководцем, нуж-

но быть ничтожеством, а ничтожных много. Ежели бы кинуть жребий, было бы то же.

— Да, но как же установились такие противоположные мнения? — спросил Пьер.

— Как установились? Как установилась всякая ложь, которая со всех сторон окружает нас и которая, очевидно, должна быть тем сильнее, чем хуже то дело, которое служит ей предметом. А война есть самое гадкое дело, и потому все, что говорят о войне, — все ложь и ложь. Сколько сот раз я видал людей, которые в сражении бежали или, спрятавшись, сидели, ждали позора и вдруг узнавали по реляции, что они были герои и прорвали, опрокинули или сломили врагов, и потом твердо и от всей души верили, что это была правда. Другие бежали от страха, натыкались на неприятеля, и неприятель бежал от них, и потом уверялись, что они, влекомые мужеством, свойственным сынам России, бросились на врага и сломили его. А потом оба неприятеля служат благодарственные молебны за то, что побили много людей (которых число еще прибавляют), и провозглашают победу. Ах, душа моя, последнее время мне ста-

ло тяжело жить. Я вижу, что стал понимать слишком много. А не годится человеку вкушать древа познания добра и зла.

Они ходили теперь перед сараем, солнце уже зашло, и звезды выходили над березками, левая сторона неба была закрыта длинными тучами, поднимался ветерок. Со всех сторон виднелись огни наши и вдалеке огни французов, казавшиеся в ночи особенно близкими.

По дороге недалеко от сарая застучали копыта трех лошадей и послышались гортанные голоса двух немцев. Они близко ехали, и Пьер с Андреем невольно услышали следующие фразы:

— Война должна быть перенесена в пространство. Это воззрение я не могу достаточно восхвалить

— Почему же нет, даже до Казани, — сказал другой.

— Так как цель состоит только в том, чтоб ослабить неприятеля, то нельзя принимать во внимание потери частных лиц

— О, да, — послышался басистый, в себе самоуверенный немецкий голос, и Клаузевиц

с другим немцем, важные люди при штабе, проехали.

— Да, перенести в пространство, — повторил, смеясь, князь Андрей. — В пространстве-то у меня остался отец, и сын, и сестра в Лысых Горах. Ему это все равно.

— И все — немцы, и в штабе все немцы, — сказал Пьер.

— Это — море, в котором редкие острова русские. Они всю Европу отдали ему и приехали нас учить, славные учителя. Одно, что бы я сделал, ежели бы имел власть, это — не брать пленных. Что такое пленные? Это рыцарство. Они враги мои, они преступники все, по моим понятиям. Надо их казнить. Ежели они враги мои, то не могут быть друзьями, как бы Александр Павлович ни разговаривал в Тильзите. Это одно изменило бы всю войну и сделало бы ее менее жестокой. А то мы играли в войну — вот что скверно, великодушничали и т. п. И все это великодушные от того, что мы не хотим видеть, как для нас бьют теленка, а кушаем его под соусом. Нам толкуют о правах, рыцарстве, о парламентарстве, щадить несчастных и т. д. Все вздор! Я видел в

1805 году рыцарство, парламентарство. Нас надули, мы надули. Грабят чужие дома, пускают фальшивые ассигнации, да хуже всего — убивают моих детей, моего отца и говорят о правилах и разумности. Одна разумность в том, чтобы понять, что в этом деле одна скотскость моя призвана. На ней и строить все. Не брать пленных, и кто готов на это, как я готов теперь, — тот военный, а иначе — сиди дома и ходи к Анне Павловне в гостиную разговаривать.

Князь Андрей остановился перед Пьером и остановил на нем странно блестящие, восторженные глаза, смотревшие куда-то далеко.

— Да, теперь война — это другое дело. Теперь, когда дело дошло до Москвы, до детей, до отца, мы все, от меня и до Тимохина, мы готовы. Нас не нужно посылать. Мы готовы резать. Мы оскорблены, — и он остановился, потому что губа его задрожала. — Ежели бы так было всегда: шли бы на верную смерть, не было бы войны за то, что П.И. обидел М.И., как теперь. А ежели война, как теперь, так война, и тогда интенсивность войск была б не та, как теперь. Мы бы шли на смерть, и им

бы невкусно это было — вестфальцам и гессенцам в т. д. А в Австрии мы бы и вовсе драться не стали. Все в этом — откинуть ложь, и война так война, а не игрушка. Меня не Александр Павлович посылает, а я сам иду. — Однако ты спишь — ложись, — сказал князь Андрей.

— О нет! — отвечал Пьер, испуганно, соболезнующими глазами глядя на князя Андрея.

— Ложись, ложись, перед сраженьем нужно выспаться, — повторил князь Андрей.

— А вы?

— И я лягу.

И действительно, князь Андрей лег, но не мог спать, и, как только он услышал звуки храпения Пьера, он встал и до рассвета продолжал ходить перед сараем. В шестом часу он разбудил Пьера.

Полк князя Андрея, находившийся в резерве, выстраивался. Впереди слышно и видно было усиленное движение, но канонада еще не начиналась. Пьер, желавший видеть все сражение, простившись с князем Андреем, поехал вперед по направлению к Бородину, где он надеялся встретить Бенигсена, предло-

жившего ему накануне причислить его к своей свите.

## XII

В шесть часов было светло. Утро было серое. «Может быть, и вовсе не начнут, может быть, этого не будет», — думал Пьер, подвигаясь по дороге. Пьер редко видел утро. Он вставал поздно, и впечатление холода и утра соединялось в его впечатлении с ожиданием чего-то страшного. Он ехал и чувствовал, что как будто он не проснулся еще, что будто он все еще с князем Андреем лежит на его турецком ковре, и говорит, и слушает его говорящим, и видит эти страшно блестящие, восторженные глаза и безнадежные, сдержанно-разумные речи. Он ничего не помнил из того, что говорил князь Андрей, он только помнил его глаза, лучистые, блестящие, далеко смотрящие куда-то, и одно только вводное предложение из всех его речей живо осталось в памяти Пьера: «Война теперь — это другое дело, — сказал он, — теперь, когда дошло до Москвы, нас не нужно посылать, а все, от Тимохина до меня, в хорошие или дурные мину-



ты готовы резать. Мы оскорблены». И губа князя Андрея дрогнула при этом. Пьер ехал, пожимаясь от свежести и вспоминая эти слова. Он проехал уже Бородино и остановился у батареи, где он был вчера. Пехотные солдаты, которых не было вчера, стояли тут, и два офицера смотрели вперед влево. Пьер посмотрел тоже по направлению их взгляда.

— Вот оно, — сказал один офицер.

Впереди показался дымок, и густой, звучный одинокий выстрел пронесся и замер среди общей тишины. Прошло несколько минут, войска, стоявшие тут, так же как и Пьер, вглядывались в этот дымок и вслушивались в этот звук и вглядывались вдвигающиеся французские войска. Второй, третий выстрелы заколебали воздух, четвертый и пятый раздались близко и торжественно где-то справа, и как будто от этого выстрела проскакал кто-то мимо Пьера, и тоже от этого выстрела мерно задвигались солдаты, заслоняя батарею. Еще не отзвучали эти выстрелы, как раздались еще другие, еще, и еще, сливаясь и перебивая один другой. Уже нельзя было ни считать, ни слышать их отдельно. Уже слы-

шались не выстрелы, а с грохотом и громом катились со всех сторон громадные колесницы, вместо пыли распространяя голубоватый дым вокруг себя. Только изредка вырывались большие резкие звуки из-за равномерного гула, как будто встряхивало что-то эту невидимую колесницу.

Лошадь Пьера стала горячиться, настораживать уши и торопиться. С Пьером сделалось то же самое. Гул орудий, торопливые движенья лошади, теснота полка, в который он заехал, и, главное, все эти лица, строгие, задумчивые, — все слилось для него только в одно общее впечатление поспешности и страха. Он спрашивал у всех, где Бенигсен, но никто не отвечал ему, все были заняты своим делом, которого не видно было, но присутствие которого видел Пьер.

— И что ездит тут в белой шляпе, — услышал он голос сзади себя. — Поезжайте куда вам надо, а здесь не толкайтесь, — сказал ему кто-то.

— Где генерал Бенигсен? — спрашивал Пьер.

— А кто ж его знает.

Пьер, выехав из полка, поскакал налево, к тому месту, где была самая сильная канонада. Но только что он выехал из одного полка, как попал в другой, и опять кто-то крикнул ему: «Что едешь перед линией?» И опять везде он видел те же озабоченные лица, занятые каким-то невидимым, но важным делом. Один Пьер был без дела и без места. Дым и гул выстрелов все усиливался. Летали ли над ним ядра, Пьер не замечал, он не знал этого звука и был так встревожен, что не был в силах отдавать себе отчет о причинах разнообразия звуков. Он торопился скорее поспеть куда-то и найти себе дело.

Раненых и убитых он не видал (по крайней мере он думал так, хотя он проехал уже мимо сотни таковых). Дело началось канонадой против флеш Багратиона и потом атакой на них. К ним-то и ехал Пьер, с страхом чувствуя, что беспокойство и бесцельная поспешность все больше и больше овладевают им. Все у него перед глазами слилось в туман дыма и пальбы, из которых он редко натыкался на оазисы человеческих лиц, и все эти лица носили один и тот же отпечаток озабоченно-

сти и недовольства, и упреки тем, что заехал сюда без дела этот толстый человек в белой шляпе.

Пьер ехал от Бородина по полю к флешам, полагая, что там только будет сражение. Но в то время, как он был уже в двухстах шагах от флешей и в дыму видел прогалопировавшего вперед генерала со свитой (это был Багратион) и видел надвигавшиеся массы синих солдат с штыками, он вдруг услышал, что сзади его, в Бородине, откуда он выехал, тоже началась стрельба и канонада. Он поскакал к тому месту, где видел генерала со свитой; но генерала уже не было, и опять сердитый голос закричал на него:

— И чего вертится тут под пулями!

Тут только Пьер услышал звуки пуль, свистевших уже вокруг него. Пьер остановился, отыскивая место, куда бежать, и, потерявшись, не узнавая, где были свои, где неприятель, поскакал вперед. Но пули, которых он прежде не замечал, свистали со всех сторон, и на него нашел ужас.

Пьер был так уверен, что каждая попадет в него, что он остановился, пригнулся к седлу,

мигал, почти не открывая глаз. Но вдруг на него наскочили наши кавалеристы, бывшие впереди, и его лошадь, повернув назад, поскакала с ними. Он не помнил, долго ли он скакал, но, когда он остановился, то заметил, что страшных звуков пуль уже не было вокруг него, и что он весь дрожит, и что зубы его щелкают друг об друга.

Вокруг него слезали с лошадей уланы, много их было, раненых, в крови. Один в двух шагах от Пьера упал с лошади, и лошадь, фыркнув, отбежала от него. Лица всех этих людей были страшные. Пуль не слышно было, но над головами еще летали ядра. Пьер содрогался от звука каждого ядра: каждое ему казалось направленным в его голову. Он подъехал к упавшему с лошади и увидал, что у него оторвана рука выше локтя, что на вздрагивающих жилах в крови висит что-то, и услышал, что улан плачет и просит водки.

— Некогда разбирать, веди на перевязочный, — слышался сзади строгий и сердитый командирской голос.

— Батюшки! Кормильцы, — плакал улан. — Смерть моя. Не дайте умереть.

— Полковник, — сказал Пьер распоряжавшемуся офицеру, — прикажите помочь этому.

— Этот готов. Мне этих свезти на перевязочный пункт, и то не знаю где.

— Не могу ли я вам быть полезен? — сказал Пьер.

Полковник попросил его съездить отыскать перевязочный пункт, который должен был быть вправо, у рожи. Пьер поехал туда и не переставал с замиранием сердца слушать продолжающуюся пальбу, долго отыскивал перевязочный пункт, и хотя после многих встреч и противоречивых известий о ходе сражения и нашел его, но не нашел уже того места, где были уланы. Отыскивая их, Пьер ехал по тому короткому пространству, которое отделяло в Бородинском сражении первую линию от резервов. Вдруг сзади стрельба и канонада усилились до отчаянности, как человек, который, надрываясь, кричит из последних сил. Толпа солдат, раненых и здоровых, нахлынула на Пьера, проскакали офицеры и войска, бывшие впереди его, — резервы тронулись вперед.

Навстречу ему рысью ехали пушки и ящи-

ки, облепленные солдатами, другие солдаты цеплялись, соскакивали и бежали кругом, впереди скакал офицер. Это был князь Андрей...

Он узнал Пьера.

— Ступай, ступай, тебе здесь не место. Не отставать! — пронзительно крикнул он на своих солдат, лепившихся и бежавших вокруг орудий.

### XIII

Князь Андрей был в резервах, которые били без движения ядрами до третьего часа и которые тронулись к батарее Раевского в третьем часу. Князь Андрей устал от волнения опасности в бездействии, и теперь задыхался от волнения и радости, подвигаясь вперед.

Да, сколь ни глупое дело было война, он чувствовал себя ожившим, счастливым, гордым и довольным теперь, когда чаще и чаще слышались свисты пуль и ядер, когда он, оглядывая своих солдат, видел их веселые глаза, устремленные на него, слышал удары снарядов, вырывавших его людей, и чувствовал, что эти звуки, эти крики только больше

выпрямляют ему спину, и выше поднимают голову, и придают непонятную радость его движению.

«Ну, еще, — думал князь Андрей, — ну, еще, еще». — И в ту же минуту почувствовал удар выше соска.

— Это — ничего, ну его, — сказал он сам себе в первую секунду удара. Еще бодрее он стал духом, но вдруг силы его ослабели и он упал.

«Это — настоящая. Это — конец, — в ту же минуту сказал он себе. — А жалко. Что теперь? Еще что-то, еще что-то было хорошего. Досадно», — подумал он. Солдаты подхватили его.

— Бросьте, ребята. Не выходи из рядов, — сказал еще князь Андрей, сам не зная, зачем он говорил это, но в ту же минуту дрожа, что они исполнят его приказание. Они не послушались и понесли его.

«Да, что-то нужно было еще».

Солдаты принесли его к лесу, где стояли фуры и где был перевязочный пункт.

Перевязочный пункт состоял из трех раскинутых с завороченными полами палаток



на краю березника. В березнике стояли фуры и лошади. И лошади в хрептугах ели овес, и воробьи слетались к ним и подбирали просыпанное точно так же, как будто ничего не было особенного в том, что происходило вокруг палаток. Вокруг палаток больше, чем на две десятины места, лежали окровавленные тела живых и мертвых; вокруг лежащих с унылыми и испуганными лицами стояли толпы солдат-носильщиков, которых нельзя было отогнать от этого места. Они стояли, куря трубки, опираясь на носилки. Несколько начальников распоряжалось порядками, восемь фельдшеров и четыре доктора перевязывали и резали в двух палатках. Раненые, ожидая по часу и более своей очереди, хрипели, стонали, плакали, кричали, ругались, просили водки и бредили. Сюда же принесли князя Андрея и как полкового командира, шагая через перевязанных раненых, пронесли его ближе к палатке и положили у ее края. Он был бледен, съежился весь и, стиснув тонкие губы, молчал, блестящими, открытыми глазами оглядываясь вокруг. Он сам не знал отчего, оттого ли, что сражение было проиграно, оттого ли,

что он желал жить, и оттого ли, что так много было страдающих, но ему хотелось плакать, и не слезами отчаяния, а добрыми, нежными слезами. Что-то жалкое и детски-невинное было в его лице. И, вероятно, от этого его трогательного вида доктор, еще не окончив делаемую операцию, два раза оглянулся на него.

До князя Андрея не скоро дошло дело. Шесть человек докторов в фартуках, все в крови и в поту, работали. Офицер какой-то отгонял солдат, приносивших раненых.

«Разве не все равно теперь? — думал князь Андрей. — А может быть...» — И он смотрел на того, которого перед ним резали доктора. Это был татарин, солдат с коричневой голой спиной, из которой ему вырезали пулю. Татарин страшно кричал. Доктор отпустил ему руки и накинул на него шинель и подошел к князю Андрею. Они переглянулись друг с другом, и что-то оба поняли. Князю Андрею стыдно и холодно было, когда, как с маленького, с него снимали панталоны. Его стали зондировать и вынимать пулю, и он почувствовал новое чувство холода смерти, которое было сильнее, чем боль.

Его положили на землю. Доктора, которые отпускали, переглянулись и сказали, что ему надо отдохнуть, прежде чем везти его в Можайск. Один из них, с добрым лицом, хотел что-то сказать князю Андрею, но в это время мимо самого его несли, так же как раньше и князя Андрея, шагая через раненых, какого-то на носилках. Из-за носилок виднелась, с одной стороны, голова с черными нежными вьющимися волосами, с другой — лихорадочными трепетаниями ходившая нога, из-под которой сочилась кровь. Князь Андрей равнодушно смотрел на этого нового раненого, потому что он первый был тут перед глазами.

— Клади тут! — крикнул доктор.

— Кто такой?

— Адъютант, князь какой-то.

Это был Анатолий Курагин, раненый осколком в коленку. Когда его сняли с носилок, князь Андрей слышал, как он плакал, как женщина, и видел мельком его красивое лицо, сморщенное и покрытое слезами.

— Боже! Убейте меня! О! О!.. О!.. Это не может быть! О, боже, mon Dieu, mon Dieu! Боже мой! Боже! Боже мой!..

Доктор неприятно поморщился на эти женские вопли, но князю Андрею жалко было слушать его. Доктора осмотрели его и что-то поговорили. Подбежали два фельдшера и потащили отбивавшегося и до хрипа кричавшего, закатывающегося, как ребенок, Анатоля в палатку. Там слышались увещания, тихие голоса, на минуту все замолкло, и вдруг ужасный крик слышался из груди Анатоля; но такой крик не мог продолжаться долго, он слабел. Князь Андрей смотрел уставшими глазами на других раненых и слышал, как пилили кость. Наконец силы оставили Анатоля, он не мог кричать больше, и работа была кончена. Доктора что-то бросили, и фельдшера подняли и понесли Анатоля. Правой ноги его не было. Анатолий был бледен и только изредка всхлипывал. Его положили рядом с князем Андреем.

— Покажите мне ее, — проговорил Анатолий. Ему показали белую красивую ногу. Он закрыл лицо руками и зарыдал.

Князь Андрей закрыл глаза, и ему еще более хотелось плакать нежными любовными слезами над людьми, над собой и над своими

заблуждениями. «Любовь, состраданье к братьям, к любящим и ненавидящим нас, да, та любовь, которую проповедовал Бог на земле, которой меня учила княжна Марья, — вот то, что еще оставалось мне, ежели бы я был жив».

Его осторожно подняли, понесли и положили в лазаретную фуру.

В пятом часу Пьер чувствовал, что, шляясь с места на место, он устал, устал физически и нравственно. Лошадь его была ранена и не шла с места. Он слез на дороге и сел на брошенную ось. Он ослабел совершенно и не мог ни двигаться, ни думать, ни соображать. На всех лицах, которые он видел, одинаково на тех, которые шли туда и которые возвращались, была видна такая же усталость, упадок сил и сомнение в том, что они делали. Стрельбы уже не слышно было, но канонада продолжалась, хотя и она начинала ослабевать.

Собрались тучки, и стал накрапывать дождик на убитых, на раненых, на испуганных и на изнуренных и на сомневающихся людей, как будто говорил: «Довольно, довольно, лю-

ди, перестаньте, опомнитесь, что вы делаете?» Но нет, хотя уже к вечеру сражения люди чувствовали весь ужас своего поступка, хотя они и рады бы были перестать, уже истощив свою потребность борьбы, поданный толчок еще двигал этим страшным движением, запотелые, в порохе и крови оставшиеся по одному на три артиллериста, хотя и спотыкаясь от усталости, приносили заряды, заряжали, наводили, прикладывали фитили, и злые холодные ядра так же прямо, и быстро, и жестоко перелетали с обеих сторон и расплюскивали человеческое тело. Русские отступали с половины позиции, но стояли так же твердо и стреляли остающимися зарядами.

Наполеон с покрасневшим от насморка носом выехал за Шевардинский редут на соловой арабской лошадке.

— Они все еще держатся, — сказал он, хмурясь и сморкаясь, глядя на густые колонны русских. — Они хотят еще — ну, и задайте им, — сказал он, и триста пятьдесят орудий продолжали бить, отрывать руки, и ноги, и головы у столпившихся и неподвижных русских.

Пьер сидел на оси, скулы его прыгали, и он смотрел на людей, не узнавая их. Он слышал, что Кутайсов убит, Багратион убит, Болконский убит. Он хотел заговорить с знакомым адъютантом, проехавшим мимо, но слезы помешали его говорить. Берейтор нашел его ввечеру, прислоненного к дереву с устремленными вперед глазами. Пьера привезли в Можайск, там ему сказали, что в соседнем доме лежит раненый князь Андрей, но Пьер не пошел к нему, оттого что ему слишком хотелось спать. Он лег в своей коляске, задрал ноги на козлы, и спал бы до другого вечера, ежели бы его не разбудили с известием, что войска выходят. Пьер проснулся и увидал продолжение вчерашнего. Та же была война.

## XIV

Тотчас после Бородинского сраженья истина о том, что Москва будет оставлена неприятелю, мгновенно стала известна.

Тот общий ход дела, состоящий в том, во-первых, что в Бородинском сражении, несмотря на самопожертвованье войска, ставшего поперек дороги, неприятель не мог быть удержан, во-вторых, что во все время отступления до Москвы происходило колебание в вопросе о том, дать или не дать еще сраженье, и, в третьих, наконец, что решено было отдать Москву, — этот ход дел, без всяких непосредственных сообщений от главнокомандующего, совершенно верно отразился в сознании народа Москвы.

Все, что совершилось, вытекало из сущности самого дела, сознание которого лежит в массах.

С 29 августа в Драгомиловскую заставу ввозили каждый день по тысяче и более раненых, а в другие заставы выезжали до тысячи и более раненых. И в другие заставы выезжали до тысячи и более экипажей и подвод,



каждый день увозя жителей и их имущество.

В тот день как армия стягивалась и происходил военный совет в Филях и как безобразная толпа черни выходила на Три Горы, ожидая Ростопчина, в этот день к графу Илье Андреевичу Ростову приехали тридцать шесть подвод из подмосковной и рязанской, чтобы поднимать богатства поварского, так и не проданного дома. Подводы приехали так поздно, во-первых, потому, что граф до последнего дня надеялся на продажу, во-вторых, потому, что граф, пользуясь своим всемирным знакомством, не слушался общего голоса и верил графу Ростопчину, к которому он ездил всякий день справляться. А в третьих, и главное, потому, что графиня слышать не хотела об отъезде до возвращения сына Пети, который был переведен в полк Безухова и был ожидаем всякий день в Москву из Белой Церкви, где формировался его прежний полк казаков Оболенского.

30 августа приехал Петя, и 31 августа пришли подводы.

На огромном дворе и на улице видна была тонкая, худая фигурка Наташи с черной голо-

вой, повязанной белым носовым платком. Много зрителей было прежде около раненых, но раненых было так много и все были так заняты своими делами, что помочь чем-нибудь никому и не приходило в голову; но как только Наташа с охотником взялась переносить раненых в дом, кормить, поить их, так из всех домов и от толпы высыпались люди и последовали ее примеру.

Когда граф Илья Андреевич с женою увидели Наташу, она надевала спавшую назад фуражку на солдата, которого Матюшка с Митькой несли в охапке на двор, она шла сзади, ни на кого не оглядываясь, и делала руками жесты, как будто собою поддерживая равновесие за раненого, чтобы ему было легче. Граф, увидав это, засопел, как собака стучит чутьем, принюхиваясь к странному запаху, и упорно глядел в окно, не поворачиваясь к графине. Но с графиной происходило то же, что и с графом, она не дождалась его и потянула к себе за рукав камзола. Граф оглянулся и встретил ее мокрые виноватые глаза. Он бросился к ней, обнял ее, прижал подбородком ее плечо и зарыдал над ее спиной.

— Мой милый — надо... — сказала графиня.

— Правда... яйца курицу... учат... — сквозь счастливые слезы проговорил граф. — Спасибо им... Ну так пойдём...

— Матюшка, — закричал граф громко, весело. — Швыряй все к черту с подвод, накладывай раненых.

Соня была счастлива. Ей ни раненые, ни Москва, ни отечество не нужны были ни на грош. Ей нужно было счастье семьи, дома, в котором она жила. Ей хотелось теперь смеяться и прыгать. Она побежала в свою комнату, разбежалась, завертелась, быстрее и быстрее, села, раздувши балоном свое платье, и тихо засмеялась. Потом уже, удовлетворив этой потребности, она побежала к Наташе и стала помогать ей, соображая и делая все гораздо лучше самой Наташи.

Как будто выплачивая за то, что не раньше взялись за это, все семейство с особенным жаром взялось за одно и то же дело. Постоянно прибывали раненые и постоянно находили возможность сложить еще то и то и отдать подводы. Никому из прислуги это не казалось

странным.

На другой день прибыли еще раненые, и опять они остановились на улице. В числе этого последнего транспорта было много офицеров, и в числе офицеров был князь Андрей.

— Четверых еще можно взять, — говорил дворецкий, — я свою повозку отдаю, а то куда же их еще?

— Ну, отдайте мою гардеробную, — говорила графиня. — Дуняша со мной сядет в карету.

Отдали еще и гардеробную повозку и в нее-то решили поместить князя Андрея и Тимохина. Князь Андрей лежал без памяти. Когда их стали переносить, Соня заглянула в лицо тому, который казался мертвым. Это был князь Андрей. Соня помертвела так же, как и лицо раненого, и побежала к графине.

— Мама, — говорила она, — это нельзя. Наташа не перенесет этого. Ведь надо же такую судьбу.

Графиня ничего не отвечала, она подняла глаза к образам и молилась.

— Пути Господни неисповедимы, — говорила она себе, чувствуя, что во всем, что делалось теперь, начинала страшно выступать

эта всемогущая рука, скрывавшаяся прежде от взгляда людей. — Видно, так надо, мой друг. Вели отнести его в бильярдную, во флигель, и не говори Наташе.

Целый день еще этот не выехали. Наташа и Соня как барышни не ходили во флигель, где были раненые офицеры, потому что это было неприлично, и Наташа не знала, кто лежит, умирая, около нее.

Тридцатого Пьер проснулся и увидел, что вокруг него все укладывается, и в его доме тоже. Он сел и стал считать 666, l'Empereur Napoleon и l'Russe Besuhoff было тоже 666. Долго он сидел, передумывая и передумывая, и когда он встал, он твердо решил остаться в Москве и убить l'Empereur Napoleon, виновника всех злодеяний. «Все страдают и страдали, кроме меня... Теперь уезжать уже поздно, дворецкий и люди мои, стало быть, и я могу остаться. Один Бонапарт причиной всего несчастья. Я должен пожертвовать всем, хоть жизнью, для того, для чего пожертвовали другие... 666... Я останусь в Москве и убью Бонапарта», — решил Пьер.

Он позвал дворецкого, объявил ему, что

ничего ни укладывать, ни прятать, ни приготавливать не нужно, что он остается в Москве, и, велев себе заложить дрожки, поехал по Москве узнать, в каком положении находилось дело. Не найдя никого, кроме толпы у дома графа Ростопчина, он поехал домой и, проезжая по Поварской, увидел в доме Ростовых выдвинутые экипажи.

— Теперь ничего нет прежнего, теперь, когда я уверен, что никогда больше не увижу ее, я должен заехать к ним.

Он вошел к Ростовым.

— Мадемуазель Натали, мне нужно с вами переговорить, подите сюда.

Она вышла с ним в залу.

— Так вот, — сказал он, и все по-французски, — я знаю, что я вас больше не увижу, я знаю... теперь время... Не знаю зачем, я не думал, что я это скажу вам, но теперь время такое, что мы все на краю гроба, и меня стесняют наши приличия. Я вас люблю и люблю безумно, как никогда ни одну женщину. Вы мне дали счастье, какое только я испытывал. Знайте это, может быть, вам это будет приятно знать, прощайте.

Не успела еще Наташа ответить ему, как он уже убежал. Наташа рассказала Соне, что ей сказал Пьер, и, странно, в этом доме, набитом ранеными, с неприятелем у заставы Москвы, с неизвестностью о двух братьях, в первый раз после долгого времени у них возвратился тот задушевный разговор, какие бывали в старину. Соня говорила, что она это давно замечала и удивлялась, как он мог не сказать этого прежде, что теперь он как сумасшедший.

Наташа не отвечала. Она поднялась.

— Где он теперь? — спросила она. — Дай Бог ему счастья и помилуй его.

Она разумела Андрея. Соня поняла это, но, с своею способностью скрывать, она спокойно сказала:

— Ежели бы он был ранен или убит, мы бы знали.

— Знаешь, Соня, я всей душой, всей внутренностью никогда не любила его, — того я совсем не любила, это было другое, — но его я не любила, и в этом, в первом, я виновата перед ним. Ежели бы я знала, что он счастлив, и я бы могла жить, а теперь нет... Мне все чер-

но, все темно на свете. Прощай. Ты спать хочешь. Да.

## XV

На другой день Наполеон стоял на Поклонной горе и смотрел на Москву, этот азиатский город с бесчисленными церквами, и говорил:

— Так вот он, наконец, этот знаменитый город... Давно пора привести ко мне бояр. — И он, слезши с лошади, смотрел на этот город, которому на другой день предстояло быть занятым неприятелем, стать подобным девушке, потерявшей невинность, по его собственному выражению.

Этому узкому уму ничего не представлялось, кроме города, добычи и его великого завоевательства, — Александр Македонский и т. д., и он с хищной и пошлой радостью смотрел на город и поверял на разостланном перед ним плане подробности этого города.

— Да, — говорит разбойник, готовящийся изнасиловать женщину, — мне говорили: красавица, так, и косы, и груди, все, как они говорили мне.



Бояре не пришли, и с шумом, и криком «Да здравствует император!», и звоном бросились войска через Драгомиловскую заставу.

В это время Пьер в мужицкой свитке, но в тонких сапогах, которые он забыл снять, шел по пустынному Девичьему Полю, ощупывая пистолет под полою и остановившимися близорукими глазами без очков глядя под ноги. Пьер сжег свои корабли и вышел из черты, занимаемой нашими войсками, и торопился скорее войти в черту французов. Он испытывал новое для него счастливое чувство независимости, похожее на то, которое испытывает богатый человек, оставляя все прихоти роскоши и отправляясь с сумкой путешествовать в горы Швейцарии. «Чего мне нужно? Вот я один, и все у меня есть, и солнце, и силы». Чувство это еще более усилилось случившимся с ним на Девичьем Поле событием у Алсуфьева дома. Он услышал крик и песни в доме и зашел в ворота. Пьяная солдатская голова выглянула из окна гостиной.

— Опоздал, брат... не хочешь ли? А, черт, пришел, услышал.

Другой человек, видимо, дворовый, высу-

нулся.

— Что ругаешь? — И, поглядев на него, сошел вниз. Он, шатаясь, подошел к Пьеру и взял его за полу. — Что, брат, дожили до времечка, вот они! — И он потряс в руках два мешка с чем-то. — Иди, друг, люблю. — И он дергал его. Пьер хотел идти прочь и оттолкнул его. — Что толкаешься? И, Петро, барин. Ей-богу, барин, — сапоги-то.

Еще три человека обступили Пьера.

— Барин кошку ошпарил. В мужика нарядился. Твой дом, что ль? — нагло глядя в глаза, спросил его один.

— Вон, бездельники! — крикнул Пьер, толкнув переднего. Все отступились от него, и он пошел дальше, намереваясь тотчас же выстрелить в Наполеона. Но войска, которые он скоро встретил и от которых он спрятался в ворота дома, оттеснили его на левую сторону Девичьего Поля, тогда как Наполеон проехал Драгомиловским мостом.

В это же время в Гостином дворе и на площади происходили неистовые крики солдат, растаскивающих товары, и офицеров, старающихся собрать их. Подальше, в улицах, веду-

щих к Владимирской заставе, толпились войска, повозки с кладью и ранеными. На Яузском мосту толпились повозки и не пропускали шедшую сзади артиллерию. Впереди повозок была одна, парой, с горой наложенных вещей, стульчик детский, перины торчали, наверху сидела баба, придерживая кастрюли, сзади, между колес, жались четыре борзые на ошейниках, рядом с ней, сцепившись колесом, была мужицкая телега с шифоньеркой, обвязанной рогожами, и на ней был денщик, сзади коляска, потом три купеческие фуры. Кирасир обгонял с одной стороны.

— Что, батюшка, идет, что ль, сзади-то? — спросила баба.

— Как она моя Касатинка была, — вдруг закричал кирасир, желая запеть и палашом ударяя худую лошадь, и, качаясь, проскакал мимо.

— Держи его! — слышалось сзади, и два казака, смеясь, проскакали с шубой в руках.

— Тепло, так согреешься. С возу утащил. Что ж. Это хуже хранцуза. Да трогай, что ль.

Вдруг сзади, ломая, поперла толпа: палить будут. Паника. Кто под мост, кто за перила.

Это был Ермолов, который велел артиллерии сделать пример, что стреляют, чтоб очистить мост.

В другом месте Ростопчин подскакал к Кутузову и много и сердито начал говорить ему.

— Мне некогда, граф, — отвечал Кутузов и отъехал далее и, став на дрожках, положи старую голову на руку, молча пропускал войска.

За Москвой, по Тамбовской дороге, цугами тянулись в два-три ряда экипажи, тем гуще, чем ближе к Москве, и тем реже, чем дальше. Только отъехав верст за десять, люди едущие начинали опоминаться от страха, тесноты, крика, которые были в городе, начинали переговариваться между собой, осматривать, все ли и все ли цело, и начинали дышать менее пыльным воздухом. В числе этих счастливых был и обоз Ростовых. Они выбрались за город, но ехали все-таки шагом; шесть подвод с ранеными отправились от них отдельно. С ними же ехали те повозки с ранеными, которые они отделили уже от своего личного поезда. Таких было две, из которых в одной лежал князь Андрей с Тимохиным. Эта повозка ехала впереди. За ними ехала большая ка-

рета, где сидели: графиня, Дуняша и доктор, Наташа и Соня, сзади коляска графа — граф с камердинером, потом бричка с девушкой и людьми. Вдруг поезд остановился от передних повозок, и, высунувшись, Соня и Наташа из двух окошек увидали, что что-то возятся около передней брички с офицерами. Соня услышала слово: «Кончается. Он умрет сейчас», — которое сказал один из людей, и, дрожа от страха, чтоб Наташа не услышала того же, вернулась головой в карету и стала говорить что-то Наташе. Но Наташа тоже слышала это и с обычной быстротой отперла дверцу, откинула подножку, сбежала и побежала вперед.

В передней повозке на ситцевой подушке лежал лицом кверху князь Андрей с закрытыми глазами и, как рыба, открывал и закрывал рот, ловя воздух. Доктор стоял уже на подножке и щупал пульс.

Наташа ухватилась за колесо повозки, почувствовала, как бьются одна о другую ее колени. Но она не упала.

— Что вам, графиня, тут делать, — сказал доктор сердито. — Извольте идти, ничего!

Она пошла покорно.

— Скажите лучше графу, что нельзя ли ему уступить рессорный экипаж.

Наташа пошла к отцу, но граф Илья Андреевич уже шел навстречу, и передала ему то, что сказал доктор. Больного перенесли в коляску, а Наташа молча села в карету. Ни Соня, ни мать старались не смотреть на нее. Мать сказала только:

— Доктор говорил, что он будет жив.

Наташа посмотрела на нее и опять отвела глаза в окно. На станции был вперед посланный задержать постоялый двор для Ростовых. Они остановились в нем ночью. Одну комнату заняли они все вместе, другую, лучшую, отдали раненым офицерам. Было уже темно, когда сели обедать. Доктор пришел от раненых и объявил, что Болконскому лучше, что он может поправиться и доехать. Главное, доехать.

— Он в памяти?

— Теперь совершенно.

Доктор ушел спать к больному, граф — в коляску. Наташа легла к матери. Когда свечи потушили, она прижалась к матери и зарыда-

ла.

— Он будет жив...

— Нет, я знаю, что он умрет... я знаю. —

Они вместе плакали.

И ничего не говорили. Соня с своего сена на полу несколько раз поднимала голову, но ничего не слышала, кроме слез. Уж петухи пропели несколько раз близко на дворе и все заснуло, но Наташа не спала. Она не могла ни спать, ни лежать, она тихо встала, не обуваясь, надела материну кацавейку и, перешагнув через храпевшую девушку, вышла в сени. В сенях спали какие-то мужчины и забурчали что-то при звуке отворившейся двери. Она нашла скобу другой двери и отворила ее. В комнате был свет нагоревшей сальной свечи. Что-то зашевелилось, это и был Тимохин с своим красным носом, который испуганными глазами смотрел на графиню, поднявшись на локоть. Узнав барышню, он, не переставая смотреть, стал закрываться стыдливо плащом. Против него лежал еще раненый на кровати, спустив маленькую белую руку. Наташа неслышными босыми шагами подошла к нему, но он услышал, тяжело открыл глаза и

вдруг радостно, детски улыбнулся. Наташа ничего не сказала, она упала неслышно на колени, взяла его руку, прижала к вдруг вспухнувшему от слез губам и нежно прильнула к ней. Он делал движения пальцами, он чего-то хотел. Она поняла, что он хотел видеть ее лицо. Она подняла свое детски-изуродованное всхлипываньями мокрое лицо и посмотрела на него. Он все так же радостно улыбался. Тимохин, стыдливо закрывая голову и желтую руку, дернул доктора, заснувшего рядом, и доктор и Тимохин испуганно смотрели, не шевелясь, на Наташу и Андрея. Доктор стал кашлять. Они не слышали его.

— Можете ли вы простить?

— Все, все, — тихо сказал Андрей. — Идите.

Доктор еще громче закашлял и зашевелился. Тимохин, ожидая, что она обернется, скрыл все до подбородка, хотя и высунулась босая нога.

Наташа вздохнула тяжело и легко и вышла из комнаты.



## XVI

**И**з дома Пьера две княжны (третья давно вышла замуж) были выпровожены, многое было увезено. Что именно, Пьер не знал хорошенько.

Главное чувство, владевшее им, было то русское чувство, которое заставляет загулявшего купца перебить все зеркала, — чувство, выражающее высший суд над всеми условиями истины жизни, на основании какой-то другой, неясно сознанной истины. Одно, о чем и не думал Пьер, но что инстинкт дал понять ему и что было уже решенный вопрос, как только он задумал оставаться в Москве, было то, что он будет оставаться в Москве не под своим именем и званием графа Безухова и зятя одного из главных вельмож, а в качестве своего дворника. Он перенес свою постель и книги во флигель и поместился там за перегородкой комнатки, в которой жил дворецкий с старухой-тещей, женой и свояченицей, вдовой, бойкой, худой, красивой бабой, когда-то бывшей первой любовью Пьера и потом испытавшей много превратностей и

радостей и бывшей близко знакомой со многими из богатейших московских молодых людей. Теперь она была уже немолода, повязана платочком, с косичками, румяными чахоточными щеками, мускулистыми, худыми, сильными членами и блестящими, прекрасными, всегда веселыми глазами. Отношения, кончившиеся весьма приятно для Мавры Кондратьевны, со стороны Пьера теперь были забыты. Мавра Кондратьевна была с Пьером почитательно фамильярна и веселила весь их кружок своей находчивостью и бойкостью.

Она нарядила Пьера в армяк Степки (сначала выпарив его), и сама, принарядившись, пошла с Пьером навстречу французам.

В кабаке был крик, их остановили и через поляка спросили: «Где жители? Кто он? Какой это собор?» Мавра Кондратьевна, смеясь, советовала Пьеру ласковее быть с ними.

И страшно и весело было Пьеру подумать, что он уже обхвачен и корабли сожжены. Он все ходил, смотрел разные войска и вблизи видел живые, добрые, усталые, страдальческие, человеческие лица, которые жалко ему симпатичны были. Они кричали «Да здрав-

ствует император!» — и были минуты, что Пьеру казалось, что так и должно быть и что они правы. Ему даже захотелось самому закричать.

Они узнали, что Наполеон стоял в Драгомиловском предместье, и вернулись. Мавра Кондратьевна, в розовом платье и лиловом шелковом платке пошла одна, нисколько не робея, подмигивая французам.

Пьер пошел один в Старую Конюшенную к княжне Чиргазовой, старой-старой москвичке, которая, он знал, не выезжала из Москвы. Пьер пошел к ней, потому что некуда было деваться, и он рад был, что пошел к ней. Как только он вошел в ее переднюю, услышал привычный запах старого затхла и собачек в передней, увидел старика лакея, девку и шутиху, увидел цветочки на окнах и попугая, — все по-старому, так он опять попал в прежнее свое русское состояние

— Кто там? — слышался старухин ворчливо-визгливый голос, и Пьер невольно подумал, как посмеют войти французы, когда она так крикнет. — Царевна! (так звали шутиху) подите же в переднюю.

— Это я, княжна. Можно?

— Кто я? Бонапарт, что ль? А, ну здорово, голубчик, что ж ты не убежал? Все бегут, отец мой. Садись, садись. Это что ж, в кого нарявился, или святки уж, ха-ха. Царевна, поди погляди... А что ж они тебе сделают? Ничего не сделают. Что ж, пришли, что ль? — спрашивала она, точно как спрашивала, пришел ли повар из Охотного ряда. Она или не понимала или не хотела понимать. Но, странно, ее уверенность была так сильна, что Пьер, глядя на нее, убеждался, что действительно ничего нельзя ей сделать.

— А соседка-то моя, Марья Ивановна Долохова, вчера уехала, — сынок спровадил, так же, как ты, наряжен, приходил меня уговаривать уехать, а то, говорит, сожгу. А я говорю: сожжешь, так я тебя в полицию посажу.

— Да полиция уехала.

— А как же без полиции? У них, небось, своя есть. Я, чай, без полиции нельзя. Разве можно людей жечь? Пускай едут, мне выгода: я на двор к ним прачечную перевела, мне простор...

— А что ж, не приходили к вам?

— Приходил один, да я не пустила.

В это время послышался стук в калитку, и скоро вошел гусар. Очень учтиво, прося извинения за беспокойство, он попросил поесть. Грузинская княжна посмотрела на него и, поняв, в чем дело, велела отвести его в переднюю и покормить.

— Поди, голубчик, посмотри, дали ли ему всего — от обеда вафли хорошие остались, а то ведь они рады, сами сожрут...

Пьер подошел к французу и поговорил с ним.

— Граф Петр Кирилыч, поди сюда, — закричала старуха, но в это время француз, отзывая в переднюю Пьера и показывая черную рубаху, краснея, просил дать ему чистую, ежели можно. Пьер вернулся к старухе и рассказал.

— Хорошо, дать ему полотна десять аршин, да сказать, что я из милости даю. Да скажи ему, чтоб он своему начальнику сказал, что, мол, вот я, княжна Грузинская, Марфа Федоровна, живу, никого не трогаю и чтоб они мне беспокойства не делали, а то я на них суд найду, да лучше самого бы ко мне послал. Хо-

рошо, хорошо, ступай с Богом, — говорила она французу, который расшаркивался в дверях гостиной, благодаря добрую госпожу...

Выходя от княжны, Пьер в темноте лицо с лицом наткнулся с человеком в таком же армяке, как он сам.

— А, Безухов! — сказал человек, которого Пьер тотчас узнал за Долохова. Долохов взял его за руку, как будто они всегда были друзья. — Вот что, ты остался, и хорошо. Я запалил уже Каретный ряд, мои молодцы зажгут везде, да вот как мне с старухой быть, жалко; а материн дом я зажгу.

Пьер тоже забыл в это время, что Долохов был его враг, он без предисловия отвечал ему.

— Нельзя, за что же ее жечь? — сказал он. — Да кто ж распорядился жечь?

— Огонь! — отвечал Долохов. — А свой дом зажжешь?

— Да лучше, чем угощать в нем французов, — сказал Пьер, — только сам зажигать не стану.

— Ну, я тебе удружу. Завтра сделаю визит с красным петухом, — сказал Долохов, близко приставляя свое лицо к лицу Пьера, и, засме-

явшись, пошел прочь. — Ежели меня нужно будет, спроси у Данидки под Москворецким мостом.

Вернувшись домой во флигель, Пьер встречал везде французских солдат; некоторые спрашивали его, кто он, и, получая ответ: «дворник из такого-то дома», пропускали его. У его дома стояли часовые, и в доме, как он узнал, стоял важный французский начальник. В галерее сделали спальню, перестановили все и спрашивали, где хозяин, и с Маврой Кондратьевной заигрывали. Слышно было тоже про пожары.

На другой день Пьер пошел опять ходить и невольно толпой народа привлечен был к Гостиным рядам, которые горели. Здесь от дыма он пошел к реке и у реки наткнулся на толпу около мальчика пяти лет. Чей он был — никто не знал, и взять его никто не решался. Пьер взял его и пошел домой. Но горела уже и Покровка, и его дом. Толпы народа и солдат грабили и сновали по городу. У своего входа он встретил Мавру Кондратьевну, она бежала и кричала, что все сторело и разграблено. Они вместе с ней пошли к церкви. По дороге ви-

дели, как убил улан пикой купца. В церкви нечего было есть. Мавра Кондратьевна пошла на добычу и достала чаю, и сахару, и водки, а водку променяла на хлеб.

Пьер пошел на добычу, но по дороге был остановлен солдатом, который снял с него кафтан и велел нести мешок. По дороге они зашли на Подновинское Поле, там Пьер видел, как дворнику, старику, велел солдат сесть и разуться. Старик заплакал, мародер отдал ему сапоги и ушел. Потом отпустил Пьера. Когда Пьер вернулся голодный, он заснул.

Поутру пришли два офицера в церковь. Один подошел к Пьеру, спрашивая, кто он. Пьер сделал ему масонский знак, которого не понял офицер, но обратился с вопросом, что ему нужно. Пьер рассказал свое положение. Они пошли вместе с найденышем на квартиру француза в доме Ростовых, пообедали и выпили. Пьер рассказал свое положение и свою любовь. Он говорил, как духовнику: француз был милый, умный человек.

Пьер, чтобы не подводить француза, давшего ему слово, ушел к княжне Грузинской. У



нее начальник, присылавший ей кофе. На дворе тихо, дети стреляют из палок в французов. На дворе соседей событие: убийство кухарки за то, что вымыла панталоны с ассигнациями. Пьер пошел отыскивать Долохова, чтоб найти средство уйти. Встретил Долохова и зашел в подвал. Вдруг Долохов ударил француза ножом и выскочил. Пьера взяли и повели на Девичье Поле к Даву. При нем расстреляли пятерых. Его посадили в часовню — часовня для них была ведь только место.

Масонские знаки сначала не помогают.

## XVII

**В** Петербурге после приезда государя из Москвы многое было уложено и готово к отправке. В высших кругах с большим жаром, чем когда-нибудь, шла сложная борьба партий: Румянцева, французов, патриотическая Марии Федоровны, оскорбленной самим государем, и бестолковая цесаревича, заглушаемая и усиливаемая трубением трутней; но спокойная, роскошная, тщеславно-пустая жизнь, озабоченная только признаками жизни, шла по-старому, из-за хода этой жизни на-

до было делать большие усилия, чтобы сознать опасное и трудное положение государства. Те же были выходы, даже балы, французский театр, интересы двора, интрижки службы и торговли. Только в самых высших кругах делались усилия напоминать то положение, в котором находилось государство.

Так, у Анны Павловны 26 августа, в самый день Бородинского сражения, был вечер, цветком которого должно было быть чтение письма преосвященного, посылавшего государю образ Сергия. Письмо это почиталось образцом патриотического духовного красноречия. Прочесть его должен был сам князь Василий, славившийся своим искусством чтения, он читывал еще у императрицы. И искусство чтения считалось в том, чтобы громко, певуче, лавируя между отчаянным завыванием и нежным ропотом, переливать слова, совершенно независимо от их значения, т. е. совершенно все равно было, на какое слово попадало завывание, на какое ропот. Чтение это, как и все вечера Анны Павловны, имело политическое значение. Было собрано много народа и таких, которых надо было устыдить за их

поездки во французский театр и воодушевить.

Анна Павловна еще не видела в гостиной всех, кого нужно было, и потому заводила общие разговоры. На одном конце говорили о Элен, рассказывали с соболезнованием о ее болезни. Она выкинула, и доктора отчаивались в ее излечении. Злые языки в стороне говорили, что странно ей выкинуть теперь, когда она девять месяцев как в разлуке с мужем.

— Ну, положим, — говорил другой, — это секрет комедии. — Он назвал очень важное лицо, находящееся больше в армии. — Но дело в том, что скандальная хроника говорит, что она и этому лицу не осталась верна и что неожиданное возвращение и приезд, когда другой, молодой гусар был тут, были причиной ее испуга.

— Жалко. Необыкновенно умная женщина!

— Это вы о бедной графине говорите, — сказала, подходя, Анна Павловна. — Ах, как мне ее жаль. Мало что умная женщина, какое сердце! И как необыкновенно она сформиро-

валась. Мы с ней много спорили, но я не могу не любить ее. Неужели нет надежды?! Это ужасно. Ненужные люди живут, а цвет нашего общества... — Она не договорила и обратилась к Билибину, который в другом кружке, подобрав кожу и, видимо, собираясь распустить ее, чтобы сказать словечко, говорил об австрийцах.

— Я нахожу, что это прелестно, — говорил он про сообщение, при котором отосланы в Вену австрийские знамена, взятые Витгенштейном.

— Как, как это? — обратилась к нему Анна Павловна, возбуждая молчанье для услышания словечка, которое она уже знала.

— Император отсылает австрийские знамена, дружеские и заблудившиеся знамена, которые он нашел вне настоящей дороги, — докончил Билибин, распуская кожу.

— Прелестно, прелестно — сказал князь Василий, но в это время уже вошло то, недостаточно патриотическое лицо, которое ждала для обращения Анна Павловна, и она, пригласив князя Василия к столу и поднося ему две свечи и рукопись, попросила его начать.

Все замолкло.

— Всемилоостивейший государь император, — строго провозгласил князь Василий и оглянул публику, как будто спрашивая, не имеет ли кто сказать что-нибудь против этого. Но никто ничего не сказал. — Первопрестольный град Москва, новый Иерусалим приемлет Христа своего, — вдруг ударил он на слове своего, — яко мать во объятія усердных сынов своих и, сквозь возникающую мглу провидя блистательную славу твоея державы, поет в восторге: Осанна, благословен грядый! — взвыл он и оглянул всех. Билибин рассматривал внимательно свои ногти, многие, видимо, робели, как бы спрашивая, в чем же они виноваты. Анна Павловна повторяла уже вперед, как старушка перед причастием: «Пусть наглый и дерзкий Голиаф...»

— Прелестно! Какая сила! — слышались похвалы чтецу и сочинителю. Воодушевленные этой речью, гости Анны Павловны долго еще говорили о положении отечества и делали различные предположения о исходе сражения, которое на днях должно было быть дано.

— Вы увидите, — сказала Анна Павловна, — что завтра, в день рождения государя, мы получим известие. У меня есть хорошее предчувствие.

Предчувствие Анны Павловны действительно оправдалось. На другой день, во время молебствия во дворце по случаю дня рождения государя, князь Волконский был вызван из церкви и получил конверт от князя Кутузова, который писал, что русские не отступили ни на шаг, что французы потеряли гораздо более его, что он пишет второпях с поля сражения, не успев еще собрать последних сведений. Стало быть, это была победа. И тотчас же по выходе из храма была воздана творцу благодарность за его помощь и за победу.

Предчувствие Анны Павловны оправдалось, и в городе все утро царствовало радостно-праздничное настроение духа. Вдали от дел и среди условий придворной жизни весьма трудно, чтобы события отражались во всей их полноте и силе. Невольно события общие группируются около одного какого-нибудь частного случая. Так, теперь главная радость заключалась в том, что мы победили, и

известие о победе пришлось именно в день рождения государя. Это было как удавшийся сюрприз. В известии Кутузова сказано было тоже о потерях русских, и в числе их названы Тучков, Багратион и Кутайсов. Также и печальная сторона событий невольно в здешнем петербургском мире сгруппировалась около одного события — смерти Кутайсова. Его все знали. Государь любил его, он был молод и интересен. В этот день все встречались с словами:

— Как удивительно случилось! В самый молебен. А какая потеря Кутайсов! Ах, как жаль!

— Что я вам говорил про Кутузова, — говорил князь Василий с гордостью пророка.

Но на другой день не получилось известий из армии, и общий голос стал беспокоиться, а придворные страдать за страдание неизвестности государя.

— Каково положение государя, — говорили все. Упрекали Кутузова, и князь Василий уже помалкивал о своем протезе. Кроме того, к вечеру этого дня присоединилось еще печальное городское событие: узнали, что Элен ско-

ропостижно умерла, а на третий день общий разговор был уже о трех печальных событиях: неизвестность государя, смерть Кутайсова и смерть Элен. Наконец, приехал помещик из Москвы, и по всему городу распространилось известие о сдаче Москвы. Это было ужасно! Каково было положение государя! Кутузов был изменник, и князь Василий, во время визитов сочувствия, которые ему делали, говорил (ему простительно было в печали забыть то, что он говорил прежде), говорил, что чего же хотели от слепого и дурного нрава старика.

Наконец приехал Мишо, француз, к государю и имел с ним знаменитый разговор, в котором, сделав государю игру слов, состоящую в том, что он оставил русских в страхе, но страхе не боязни французов, а боязни, чтобы государь не заключил мира, он вызвал государя на выражение знаменитых слов, заключающихся в том, что государь готов отпустить бороду до сих пор (он показал, докуда) и есть один картофель из всех овощей, а не заключать мира.



## XVIII

Первого октября, в Покров, на Девичьем Поле звонили в монастырские колокола, но звонили не по-русскому. Пьер вышел из шалаша, построенного на Девичьем Поле, и поглядел на колокольню. Это звонили два французские улана.

— Каршо? — спросил улан у Пьера.

— Нет, скверно, — сказал Пьер и по-французски прибавил, что звонить надо умеючи.

— Каково, он говорит по-французски, этот человек, скажите пожалуйста!

Но часовой, стоявший у балагана, проходя мимо него с ружьем, сказал, не поворачиваясь: «Вернитесь». И Пьер вошел назад в балаган, где кругом стен сидели и лежали человек пятнадцать русских пленных.

— Дяденька, — сказал ему мальчик пятилетний, толкая его за ногу, — пусти.

Пьер поднял ногу. Он наступил нечаянно на тряпку, которую разостлал мальчик. Пьер поднял ногу и посмотрел на нее. Ноги его были босые, высывавшиеся из серых чужих панталон, завязанных по совету его товарища

по плену — солдата — веревочкой на щиколотках. Пьер поставил ровно свои босые ноги и задумчиво стал смотреть на их грязные и толстые большие пальцы. Казалось, что созерцание этих босых ног доставляло Пьеру большое удовольствие. Он несколько раз сам с собой улыбался, глядя на них, и потом пошел к своей шинели, на которой лежала деревянная чурочка и ножик, и стал резать ее. Солдат-сосед посторонился, но Пьер прикрыл его шинелью. А другому старику, видно, чиновнику, который сидел рядом с ним и шил что-то, Пьер сказал:

— Что, Михаил Онуфриевич, пошло на лад?

— Да что, и руки отнимаются.

— Э, ничего, все пройдет — мука будет, — сказал Пьер, улыбаясь и жуя язык, что он имел привычку делать, работая, и принялся резать будущую куклу.

Мальчик подошел к нему. Пьер вынул кусок булки и усадил мальчика на шинель.

Пьер давно не видел себя в зеркало, и ежели бы увидал, то очень бы удивился, так он стал непохож на себя и так он, к выгоде своей,

переменился. Он похудел значительно, особенно в лице, но, несмотря на то, в плечах его и членах видна была та сила, которая наследственна была в их породе. Волосы, которые он постоянно из какой-то оригинальности и страха казаться занимающимся собой, портя себя, стриг в скобку, теперь обросли и курчавились так же, как курчавились все волосы его отца. Борода и усы обросли его нижнюю часть лица, а в глазах была свежесть, довольство и оживленность такие, каких никогда прежде не было. На нем была рубашка, остаток прежнего величия, тонкая, но разорванная и грязная, сверху шубка, женская, вероятно, как гусарский ментик внакидку, солдатские серые штаны, обвязанные у щиколоток, и замозоленные босые ноги, на которые он все радостно поглядывал.

В этот месяц плена в Москве Пьер много пережил. Много пострадал, как казалось бы, но он чувствовал, что он столько насладился и узнал и себя, и людей, как не узнал во всю свою жизнь. И все, что он узнал, в его понятии соединялось с понятием и ощущением босых ног. Казалось, босиком и легче, и по-

воротливее, и приятнее: «По крайней мере знаю, что это мои ноги». Пьер испытал много счастливого, но он не сказал бы этого теперь, напротив, он всякую секунду думал о том счастье, которое будет, когда он избавится от этого плена, и желал этого всеми силами души.

Но в глубине души он, взглядывая на свои босые ноги, чувствовал себя счастливым. И это происходило преимущественно оттого, что в первый раз в жизни он лишился полной свободы и излишеств, которыми он пользовался всю жизнь, — никогда он прежде не знал радости поестъ и согреться; во-вторых, ему было чего желать; в-третьих, он чувствовал, особенно благодаря ребенку, который попался ему, что в тех тесных рамках свободы, в которых он действовал, что он поступил наилучшим образом; в-четвертых, потому, что, глядя на уныние всей этой толпы, его окружающей, он говорил себе, что не стоит унывать, и действительно не унывал, а радовался теми радостями жизни, которые ни у кого отнять нельзя; пятое, главное, что за свободу он чувствовал теперь с своими босыми ногами, что за море предрассудков соскочило с него, когда

думал, что у него нет предрассудков, как далеко от него были и чужды понятия войны, полководцев, геройства, государства, управления или наук философских и как близки были ему понятия человеческой любви, сострадания, радостей, солнца, пенья.

В часовне он пробыл пять часов, и это были самые тяжелые его минуты. Он видел, что все горело, что все уходит и что его забыли. Ему физически страшно стало, и он, высунувшись в решетку, закричал:

— Коли хотите сжечь меня живого, так и скажите, а коли это нечаянно, так я вам имею честь о себе напомнить.

Офицер, проходивший мимо, ничего не сказал, но скоро пришли и взяли его, и, присоединив к другим, повели через город на Покровскую гауптвахту. Потом его два раза водили в какой-то дом, где допрашивали о его участии в пожарах, и отвели на Девичье Поле. Там его привели к Даву. Даву писал что-то и, оборотившись, посмотрел на Пьера пристально и сказал:

— Я знаю этого человека, я видал его, — расстрелять.

Пьер похолодел и по-французски заговорил:

— Вы не могли меня знать, потому что я никогда не видал вас.

— А, так он говорит по-французски, — сказал Даву и еще раз посмотрел на Пьера.

Они минуту смотрели друг на друга, и этот взгляд спас Пьера. В этом взгляде, помимо всех условий войны и суда, между этими двумя людьми установились человеческие отношения. Оба они в эту одну минуту смутно перечувствовали бесчисленное количество вещей и понятий: что они оба дети человеческие, что у каждого из них есть или была мать, что их любили, они любили, что они увлекались, и делали зло и добро, и гордились, и тщеславились, и раскаивались. Пьер понял в различии этого второго взгляда от первого свое спасение. В первом взгляде он видел, что для Даву, приподнявшего только голову от отчетов по корпусам, где людские дела и жизни назывались номерами, что для Даву, который был методист дела и который был жесток не потому, что любил жестокость, а любил аккуратность дела и любил, тщесла-

вась своей любовью к делу, показывать, что все нежности сострадания ничто в сравнении с делом, он понял, что после первого взгляда Даву застрелил бы его, не взяв на совесть свою дурного поступка, но теперь уж он имел дело не с ним, а с человеком.

— Почему вы не сказали, что вы знаете наш язык?

— Я не нашел нужным.

— Вы не то, что говорите.

— Да, вы правы. Но я не могу сказать, кто я.

В это время вошел адъютант Даву, и Даву велел отвести Пьера на экзекуцию. Это было сказано неясно. Пьер чувствовал, что можно было понять это так, чтобы расстрелять его, и так, чтобы ему присутствовать при экзекуции, про приготовления к которой он слышал. Но он не мог переспросить. Он обернул голову и видел, что адъютант переспрашивал что-то.

— Да, да, — сказал Даву.

Но что «да», Пьер не знал.

Двое часовых привели его к самой реке. Там была толпа народа вокруг столба и ямы. Толпа состояла из малого числа русских и

большого числа наполеоновских войск вне строя, и немцев, и итальянцев, и испанцев, которые поражали своим говором. Справа и слева столба стояли фронты французских войск. Два взвода, имея в середине пять человек русских, подошли к столбу. Это были обличенные поджигатели. Пьер близко остановился подле них.

Командир взвода спросил грустно: «И этого тоже?» — слегка взглянув на Пьера. (Пьеру непонятно было, как его, графа Безухова, жизнь могла быть так легка на весах этих людей.)

— Нет, — сказал адъютант, — только присутствовать.

И они шепотом что-то стали говорить. Забили барабаны, и русских выдвинули вперед.

Пьер всех рассмотрел их. Для него, для русского, все они имели значение — он сейчас по лицам и фигурам узнал, кто и кто они были. Два человека были из тех, которые с детства возбуждали ужас Пьера: это были бритые острожные, один высокий, худой, другой, черный, мохнатый, мускулистый, с приплюснутым носом, третий был фабричный, желтый,



худой малый лет восемнадцати, в халате, четвертый был мужик, очень красивый, с окладистой русой бородой и черными глазами, пятый либо чиновник, либо дворовый, лет сорока пяти, с седеющими волосами и полным, хорошо откормленным телом.

Пьер слышал, что французы совещались, как стрелять, не по два ли вдруг, и сожалели, что нечет. Но несмотря на это, он видел, что им очень неприятно было исполнять эту обязанность, и они заботились только о том, как бы кончить дело поскорее. Решили по два. Взяли двух колодников и повели к столбу. Чиновник француз в шарфе подошел к столбу и прочел по-французски и по-русски приговор. Колодники смотрели вокруг себя молча, разгоряченными глазами, как смотрит подбитый зверь на подходящего охотника. Один все крестился, другой чесал спину и складывал впереди, перед животом, сильные, корявые руки. Наконец чиновник отошел, стали завязывать глаза, и выбежали стрелки — 12 человек. Пьер отвернулся, чтобы не видать. Но выстрел, показавшийся ему ужасно громким, заставил его оглянуться. Был дым, и что-то де-

лали у ямы французы с бледными лицами и дрожащими руками. Потом так же повели других двух, и эти двое смотрели на всех, тщетно, одними глазами, молча, прося защиты и, видимо, не понимая и не веря тому, что будет. Они не могли верить. Они, они одни знали, что такое была для них их жизнь, и поэтому не понимали и не верили, чтобы можно было отнять ее. Пьер решился опять не смотреть, но опять, как будто ужасный взрыв, выстрел заставил его поглядеть. Он увидал то же: дым, кровь, бледные испуганные лица и дрожащие руки. Пьер оглядывался, тяжело дыша, и волнение его еще более усиливалось тем, что вокруг себя, на лицах русских, на лицах французских солдат, офицеров — всех без исключения — он читал большой испуг, ужас и борьбу, чем на своем лице. «Да кто же это делает, наконец? — думал Пьер. — Даже и Даву, и тот, я видел, пожалел меня, а эти все страдают так же, как и я».

— Стрелки 86-го, вперед! — прокричал кто-то.

Повели пятого. Это был фабричный в халате. Только что до него дотронулись, как он в

ужасе отпрыгнул и закричал диким голосом, но его схватили за руки, и он вдруг замолк. Он как будто вдруг что-то понял. То ли он понял, что напрасно кричать, или то, что сказал ему охвативший его ужас, что невозможно, чтобы его убили. Он пошел так же, как и другие, подстреленным зверем оглядываясь вокруг себя блестящими глазами. Пьер уже не мог взять на себя отвернуться и закрыть глаза. Любопытство и волнение его и всей толпы при этом пятом убийстве дошло до высшей степени. Так же, как и другие, этот пятый казался спокоен, неся в руке шапку, запахивая халат, шагая ровно, и только глядел — спрашивая. Когда стали ему завязывать глаза, он поправил сам узел на затылке, видно, резал ему, потом, когда прислонили его к окровавленному столбу, он завалился назад, и неловко ему было, так он поправился и, ровно поставив ноги, покойно прислонился. Пьер все так же пожирал его глазами, не упуская ни малейшего движения. Должно быть, послышалась команда, после команды выстрел двенадцати ружей, но никто, как после он узнал, ни он сам не слышали ни малейшего звука от

выстрела, видели только, как опустился на веревках фабричный, как показалась кровь в двух местах и как самые веревки от тяжести повисшего тела распустились и фабричный, неестественно опустив голову и подвернув ногу, повис. Кто-то крикнул, подбежали к нему бледные лица. У одного тряслась челюсть, когда он его отвязывал, и потащили его страшно неловко, торопливо за столб и стали сталкивать в яму, как преступники, скрывающие следы своего преступления. Пьер заглянул в яму и видел, что фабричный лежал там колени кверху, близко к голове, одно плечо выше другого. И это плечо судорожно и равномерно опускалось и поднималось. Но уже лопатины земли сыпались на это плечо. Часовой сердито, злобно и болезненно крикнул на Пьера, чтоб он вернулся. Послышались шаги уходивших. 12 человек стрелков примыкали к ним бегом в то время, как роты проходили. Они уже присоединились к своим местам, но один молодой, белокурый солдат, стрелок в кивере, свалившемся назад, бессильно спустив ружье, с разинутым ртом и ужасом, с раскрытыми глазами стоял еще

против ямы, у того места, с которого он стрелял, и, как пьяный, шатался, делая то вперед, то назад несколько шагов, чтоб поддержать свое падающее тело. Он бы упал, ежели бы капрал не выбежал из рядов и, схватив его за плечи, не втащил в роту.

Все стали расходиться с опущенными головами и пристыженными лицами.

— Они узнают, как поджигать, — сказал кто-то, но видно было, что он сказал это только так, чтоб похрабриться, но что он точно так же, как другие, был ужаснут, и огорчен, и пристыжен тем, что было сделано.

С этого дня Пьера содержали в плену. Сначала ему было дано особое помещение и его хорошо кормили, но потом, в конце сентября, его перевели в общий балаган и, видимо, про него забыли.

Тут, в общем балагане, Пьер роздал другим все свои вещи и сапоги и жил, ожидая спасения, в том положении, в котором и находился теперь, первого октября. Ничего особенно Пьер не делал здесь, но неволью сделалось между всеми пленными так, что все обращались к Пьеру. Кроме того что Пьер говорил

по-французски и по-немецки (были караулы и баварские), кроме того что он был ужасно силен, кроме того что он — никто не знал почему, ни пленные, ни он сам, ни французы, — пользовался большим уважением даже от французов: его звали волосатый великан, не было человека из его товарищей, который бы не был ему обязан чем-нибудь: тому он помог работать, тому отдал платье, того развеселил, за того похлопотал у французов. Главное же его достоинство состояло в том, что он всегда был ровен и весел.

Не дострогав еще свою палочку, Пьер лег в свой угол и задремал. Только что он задремал, как за дверью послышался голос:

— Большой весельчак. Мы его волосатым великаном прозвали, должно быть, он и есть, капитан.

— Покажите мне его, капрал, — сказал нежный женский голос. И, нагибаясь, вошли капрал и офицер, маленький красавчик брюнет с прелестными, полузакрытыми, меланхолическими глазами. Это был Пончини, тайный друг Пьера. Он узнал о плене и положении Пьера и наконец добрался до него. У Пон-

чини был сверток, который нес солдат. Пончини подошел, оглядывая пленных, к Пьеру, тяжело вздохнув, кивнул головой капралу и стал будить Пьера. Как только Пьер проснулся, выражение нежного сострадания, бывшее на лице Пончини, вдруг исчезло, он, видимо, боялся этим оскорбить его. Он весело обнял его и поцеловал.

— Наконец-то я разыскал вас, мой дорогой Пилад, — сказал он.

— Браво! — закричал Пьер, вскакивая, и, взяв под руку Пончини, с тем самоуверенным приемом, с которым он хаживал по балам, стал ходить с ним по двору.

— Ну, как не дать мне знать? — упрекал Пончини. — Это ужасно, — положение, в котором вы находитесь. Я потерял вас из вида, я искал. Где, что вы делали?

Пьер весело рассказал свои похождения, свое свидание с Даву и расстреляние, на котором он присутствовал. Пончини бледнел, слушая его. И останавливался, жал его руку и целовал его, как женщина или как красавец, каким он был и который знал, что поцелуй его всегда награда.

— Но надо это кончить, — говорил он. — Это ужасно. — Пончини посмотрел на его босые ноги.

Пьер улыбнулся.

— Ежели я останусь жив, — поверьте, что это время будет лучшим в моей жизни. Сколько добра я узнал и как поверил в него и в людей.

— Надо вашу силу характера, чтобы так переносить все это, — говорил Пончини, все поглядывая на босые ноги и на узел, который он сложил. — Я слышал, что вы в ужасном положении, но не думал, что до такой степени... Мы поговорим, но вот что...

Пончини, смутившись, взглянул на узел и замолчал. Пьер понял его и улыбнулся, но продолжал о другом.

— Рано ли, поздно кончится — так или иначе кончится война, а два-три месяца в сравнении с жизнью... Можете ли вы мне что сказать о ходе дела, о мире?

— Да. Нет, лучше я ничего не скажу вам, но вот мои планы. Во-первых, я не могу вас видеть в таком положении, хотя вы выглядите хорошо. Вы молодчина. И я желал бы, чтобы



вас увидела в этом положении та... Но вот что... — И Пончини, опять взглянув на узел, замолчал. Пьер понял его и, схватив снизу за руку, потянув, сказал:

— Давайте, давайте ваш узел благодетельный. Мне не стыдно принять от вас сапоги после того, как я не знаю, кто взял от меня, в моих домах, по крайней мере на восемь миллионов франков, — не мог он удержаться, чтобы не сказать, но добродушно-веселой улыбкой смягчая выражение своих слов, могущее показаться упреком французам. — Одно только, что вы видите, — сказал он, обращая внимание Пончини на жадные глаза пленных, которые были устремлены на развязываемый узел, из которого виднелись хлебы, ветчина, и сапоги, и платье. — Надо будет разделить с моими товарищами по невзгоде, а так как я крепче их всех, я имею наименьшее право на все это, — сказал он, не без тщеславного удовольствия, видя восторженное удивление на лице меланхолического, доброго, милого Пончини. Чтобы не мешал вопрос узла разговору, которым дорожили оба, Пьер роздал содержание узла товарищам, и оста-

вив себе два белых хлеба с ломтем ветчины, из которых один он тотчас же стал есть, пошел с Пончини на поле ходить перед балаганом.

План Пончини состоял в следующем. Пьер должен был объявить свое имя и звание, и тогда не только он будет освобожден, но Пончини брался за то, что Наполеон сам пожелает его видеть и, весьма вероятно, отправить его с письмом в Петербург. Как это и было... Но, заметив, что он говорит лишнее, Пончини только просил Пьера согласиться.

— Не портите мне всего моего прошедшего, — сказал Пьер. -

Я сказал себе, что не хочу, чтобы знали мое имя, и не сделаю.

— Тогда надо другое средство; я похлопочу, но я боюсь, что мои просьбы останутся тщетными. Хорошо, что я знаю, где вы. Будьте уверены, что мои узлы будут так изобильны, что вы оставите и себе, что вам нужно.

— Спасибо! Ну, что княжна?

— Совершенно здорова и спокойна... Ах, мой дорогой, что за ужасная вещь — война, что за бессмысленная, злая вещь.

— Но неизбежная, вечная, — говорил Пьер, — и одно из лучших орудий для проявления добра человечества. Вы мне говорите про мои несчастья, а я так часто бываю счастлив в это время.

В первый раз я узнал себя, узнал людей, узнал мою любовь к ней. Ну что, имели ли вы письма?

— Да, но можете себе представить, что моя мать все не хочет слышать о моей женитьбе, но мне все равно.

Поговорив до вечера, уже месяц взошел, друзья расстались. Пончини заплакал, прощаясь с Пьером, и обещался сделать все для спасения его. Он ушел. Пьер остался и, глядя на дальние дома в месячном свете, еще долго думал о Наташе, о том, как в будущем он посвятит всю жизнь свою ей, как он будет счастлив ее присутствием и как мало он умел ценить жизнь прежде.

На другой день Пончини прислал подводу с вещами, и Пьеру достались валеные сапоги.

На третий день их всех собрали и вывели по Смоленской дороге. На первом переходе один солдат отстал, и французский солдат, от-

ставши тоже, убил его. Офицер конвойный объяснил Пьеру, что надо было идти, а пленных так много, что те, кто не хотят идти, будут расстреляны.

## XIX

В половине сентября Ростовы с своим транспортом раненых приехали в Тамбов и заняли приготовленный для них вперед купеческий дом. Тамбов был набит бежавшими из Москвы, и каждый день прибывали новые семейства.

К князю Андрею прибыли его люди, и он поместился в том же доме, где Ростовы, и понемногу оправлялся. Обе барышни ростовского семейства чередовались у его постели. Главная причина тревоги больного — неизвестность о положении сестры и сына — кончилась. Получено было письмо от княжны Марьи, в котором извещался князь Андрей, что она едет с Коко в Тамбов, благодаря Николаю Ростову, который спас ее и был для нее самым нежным другом и братом.

У Ростовых очистили еще часть дома, пожавшись и уничтожив гостиную, и каждый

день ждали княжну Марью.

20 сентября князь Андрей лежал в постели. Соня сидела и читала ему вслух «Corinne».

Соня славилась хорошим чтением. Певучий голосок ее мерно возвышался и понижался. Она читала про выражение любви большого Освальда и, невольно сближая Андрея с Освальдом и Наташу с Кориной, взглянула на Андрея. Андрей не слушал.

В последнее время у Сони явилась новая тревога. Княжна Марья писала (Андрей вслух читал это письмо Ростовым), что Николай был ей другом и братом, что она ввек сохранит ему нежную благодарность за его участие в тяжелые минуты, пережитые ею. Николай писал, что он на походе случайно познакомился с княжной Болконской и старался быть ей полезным, насколько мог, что было ему особенно приятно, так как он никогда не встречал, несмотря на отсутствие красоты, такой милой и приятной девушки.

Из сопоставления этих двух писем графиня, как заметила Соня, хотя графиня ничего не сказала об этом, вывела заключение, что княжна Марья была именно та невеста, бога-

тая и милая, которая нужна была ее Николаю для поправления дел. Отношения с Андреем оставались для всего семейства в неизвестности. Казалось, они были по-прежнему влюблены друг в друга, но Наташа объявила матери, на вопрос ее о том, что из этого будет, что отношения их только дружеские, что Наташа отказала ему и не изменяла своего отказа, и не имеет причины изменять его.

Соня знала это и знала, что поэтому графиня лелеяла тайно мысль женить Николая на княжне Марье, от этого и так радостно хлопотала о устройстве для нее помещения; и этот-то план графини и был новой тревогой Сони. Она не сознавала этого и не думала о том, что ей хотелось бы поскорее женить Андрея на Наташе преимущественно для того, чтобы по-том, по родству, для Николая уже не было возможности жениться на княжне Марье; она думала, что она желает этого только из любви к Наташе, другу, но она желала этого всеми силами и кошачьи хитро действовала для достижения этой цели.

— Что вы смотрите на меня, мадемуазель Софи? — сказал ей Андрей, улыбаясь доброй,

болезненной улыбкой. — Вы думаете о аналогии, которая есть между вашим другом. Да, — продолжал он, — но только графиня Наташа в миллион раз привлекательнее этого скучного синего чулка Корины...

— Нет, я ничего этого не думаю, но я думаю, что очень тяжело для женщины ожидать признания мужчины, которого она любит, и видеть его колебания и сомнения.

— Но, милая мадемуазель Софи, есть, как и у лорда Невилля, соображения, которые выше собственного счастья. Понимаете ли вы это?

— Я? То есть как вас понимать?

— Могли ли бы вы для счастья человека, которого вы любите, пожертвовать своим обладанием им?

— Да, наверное...

Князь Андрей слабым движением достал письмо княжны Марьи, лежавшее подле него на столике.

— А знаете, мне кажется, что моя бедная княжна Марья влюблена в вашего кузена. Эта такая прозрачная душа. Она не только видна вся лично, но в письмах я вижу ее. Вы не знаете ее, мадемуазель Софи.

Соня покраснела страдальчески и проговорила:

— Нет. Однако у меня будет мигрень, — сказала она и, быстро встав, едва удерживая слезы, вышла из комнаты, миновав Наташу.

— Что, спит?

— Да, — она побежала в спальню и, рыдая, упала на кровать. «Да, да, это надо сделать, это нужно для его счастья, для счастья дома, нашего дома. Но за что же? Нет, я не для себя хочу счастья. Надо...»

В этот же день в доме все зашевелилось, побежало к князю Андрею и на крыльцо. К подъезду подъехали огромная княжеская карета, в которой он обычно ездил в город, и две брички. Из кареты вышли княжна Марья, Бурьен, гувернер и Коля. Княжна Марья, увидав графиню, покраснела и, хотя это было первое их свидание, бросилась в открытые ее объятия и зарыдала.

— Я вдвойне обязана вам: за Андрея и за себя, — говорила она.

— Дитя мое! — сказала графиня. — Теперешнее время как счастливы те, которые могут помогать другим.



Илья Андреевич поцеловал руку княжны. Он представил ей Соню.

— Это племянница.

Но княжна Марья все искала с беспокойством кого-то. Она искала Наташу.

— А где Наташа?

— Она у князя Андрея, — сказала Соня.

Княжна улыбнулась и побледнела, вопросительно поглядев на графиню. Но на вопросительный взгляд ее, спрашивающий о том, возобновились ли прежние отношения, ей ответили непонятной, грустной улыбкой.

Наташа выбежала навстречу княжне, почти такая же быстрая, живая и веселая, какой она бывала в старину. И княжну, как и всех, она поразила неожиданностью простоты и прелести. Княжна ласково поглядела на нее, но слишком невольно проникательно, и стала целовать.

— Я вас люблю и знаю уже давно, — сказала она.

Наташа смутилась и молча отошла и занялась Коко, который ничего не понимал, кроме того, что она, Наташа, была веселее и приятнее всех, и сразу больше всех полюбил ее.

— Он совсем поправляется, — говорила графиня, провожая княжну к князю Андрею. — Но вы, моя бедняжка, сколько вы перестрадали.

— Ах, я не могу вам рассказать, как это было тяжело, — сказала княжна Марья (еще румяная и оживленная от холода и радости. «Со всем она не так дурна», — думала графиня). — И ваш сын спас, решительно спас меня не столько от французов, сколько от отчаяния.

Слезы показались на прекрасных лучистых глазах княжны Марьи, когда она говорила это, и графиня поняла, что слезы эти относились к любви к ее сыну. «Да, она будет его женою, это прелестное создание», — и она обняла княжну Марью, и обе еще поплакали радостно, потом улыбнулись, отирая слезы и приготавливаясь войти к князю Андрею.

Князь Андрей, приподнявшись на кресле, сидел, встречая княжну Марью с исхудавшим, переменившимся, виноватым лицом, с лицом ученика, просящего прощения, что он никогда не будет, с лицом блудного, возвратившегося сына. Княжна Марья плакала, целовала его руки, приводила ему его сына. Ан-

дрей не плакал, мало говорил и только сиял преобразованным счастьем лицом. Он мало говорил об отце и его смерти. Всякий раз, когда нападали они на воспоминание об этом, то старались умалчивать. Говорить об этом было слишком тяжело. Они оба говорили себе: «После, после». А не знали они, что после они никогда и не будут говорить. Только одного не могла не рассказать княжна Марья — последних слов, которые, когда она ночью, накануне его смерти, сидела у его двери, не смея войти, и на другой день сказала ему это, он — он, суровый князь Николай Андреевич, — сказал ей: «Зачем ты не вошла, душенька! Да, душенька! — Мне так тяжело было».

Князь Андрей, услышав это, отвернулся, нижняя челюсть его вся запрыгала, и он поскорее переменял разговор. Он спросил ее об ее отъезде и о Николае Ростове.

— Кажется, пустой малый, — сказал Андрей с хитрой звездочкой во взгляде.

— Ах нет, — испуганно вскрикнула княжна, как будто ей физически больно сделали. — Надо было видеть его, как я в эти страшные

минуты. Только человек с таким золотым сердцем мог вести себя так, как он. О нет.

Глаза князя Андрея засияли еще светлее.

«Да, да, это надо, надо сделать, — думал он. — Да. Вот оно то, что еще оставалось в жизни, о которой я жалел, когда меня несли. Да, вот что. Не свое, а чужое счастье».

— Так он добрый малый?! Ну, я очень рад, — сказал он.

Княжну Марью позвали обедать, и она ушла, чувствуя, что не сказала самого важного: не узнала о теперешних отношениях с Наташей, но она почему-то, как бы чувствуя себя виноватой, боялась спросить о них. Сейчас после обеда брат избавил ее от этого труда.

— Ты удивляешься, я думаю, мой друг, нашим отношениям с Ростовой?

— Да, я хотела...

— Препрежнее все забыто. Я искатель, которому отказано, и я не тужу. Мы дружны и навсегда останемся дружны, но никогда она не будет для меня ничем, кроме младшей сестры. Я никуда не гожусь.

— Но как она прелестна, Андрей! Хотя я понимаю, — сказала княжна Марья и подумала,

что гордость князя Андрея не могла ему позволить вполне простить ее.

— Да, да, — сказал князь Андрей, отвечая на ее мысли.

Жизнь в Тамбове продолжалась с приходом княжны Марьи еще счастливее, чем прежде.

Известия из армии были самые благоприятные, оба молодые Ростовы были целы, старший — в полку, меньшей — в партизанском отряде Денисова.

Только старый Ростов, разоренный совершенно отдачей Москвы, был грустен и озабочен, писал письма ко всем сильным знакомым, прося денег и места. Один раз Соня застала его в кабинете рыдающим над написанным письмом. «Да, ежели бы это только было!» — думала она. Она заперлась у себя и долго плакала. К вечеру она написала письмо Николаю, в котором отсылала ему кольцо, освобождала от обещания и просила просить руки княжны Марьи, которая сделает счастье его и всего семейства. Она принесла это письмо графине, положила на стол и убежала. С

следующим курьером письмо было послано с прибавлением письма такого же содержания от графини.

— Позвольте мне поцеловать вашу великодушную ручку, — сказал ей вечером князь Андрей, и они долго дружески разговаривали о Наташе.

— Любила ли она кого-нибудь сильно? — спрашивал Андрей. — Я знаю, что меня она никогда не любила совсем. Того еще меньше. Но других, прежде?

— Один есть, это Безухов, — сказала Соня. — Она сама не знает этого.

В тот же вечер князь Андрей при Наташе рассказывал о Безухове, о известии, которое он получил от него. Наташа покраснела. Оттого ли, что она думала о Безухове больше, чем о другом, или оттого, что с своим чутьем она чувствовала, что на нее смотрели, говоря это. Известие, полученное князем Андреем, было от Пончини, который в числе других пленных был приведен в Тамбов. На другой день Андрей рассказывал о чертах великодушия и доброты Пьера из своих воспоминаний и из того, что говорил этот пленный. Соня тоже го-

ворила о Пьере. Княжна Марья делала то же.

«Что они со мной делают? — думала Наташа. — А что-то они делают со мной». И она беспокойно оглядывалась вопросительно. Она верила в то, что они, Андрей и Соня, лучшие друзья, и делают с ней все для ее добра.

Вечером князь Андрей попросил Наташу спеть в другой комнате, и княжна Марья села аккомпанировать, и два года почти не троганный голос, как будто сдерживая за все это время всю свою обаятельность, вылился с такой силой и прелестью, что княжна Марья расплакалась, и долго все ходили как сумасшедшие, неожиданно сблизившись, бестолково переговариваясь. На другой день были приглашены пленные, которыми восхищались все в Тамбове, и в том числе Пончини. Два из них, генерал и полковник, оказались грубыми мужиками, но один, понравившийся всем, тонкий, умный, меланхолический Пончини, особенно понравился тем, что он без слез не мог говорить о Пьере, и, рассказывая о его величии души в плену, с ребенком, доходил до такого итальянского красноречия, которому нельзя было не поддаться.

Наконец пришло письмо Пьера, что он жив и вышел с пленными из Москвы. И Пончини, признавшийся Андрею в признаниях Пьера и не перестававший удивляться случаю, сведшему его именно с той особой, был подослан к Наташе, чтобы сделать ей это признание, которое теперь, когда было получено известие о смерти Элен, не могло иметь дурных последствий.

Старый граф видел все это. Ему это не было радостно. Ему было тяжело и грустно, — он чувствовал, что он при всем этом не нужен, что он отжил свою жизнь, сделал свое дело: наплодил детей, воспитал, разорился, и теперь они ласкают, жалеют его, но им его не нужно.



После вступления неприятеля в Москву и доносов на Кутузова, и отчаяния в Петербурге, и негодования, и геройских слов, и опять надежды кончилось тем, что войска наши перешли за Пахрой с Тульской на Калужскую дорогу.

Почему военные писатели, да и все на свете, полагают, что этот фланговый марш (это слово любят очень) есть весьма глубокомысленное движение, спасшее Россию и погубившее Наполеона, весьма трудно понять для человека, не принимающего все на веру и думающего своим умом. Можно было сделать более ста различных переходов и на Тульскую, и на Смоленскую, и на Калужскую дороги, и результат был бы тот же. Точно так же, подходя к Москве, уже дух войска Наполеона упал, разбегались солдаты, и еще больше упал вследствие пожаров и грабежей московских. Это говорится только потому, что трудно людям видеть всю совокупность причин, изменяющих события, и так и хочется все отнести к действиям одного человека. Тем более, что

это делает героя, которого мы так любим. Должно было быть так, и так было.

Пробыв месяц в Москве, Наполеон и каждый человек его войска смутно чувствовали, что они погибли, и, стараясь скрывать это сознание, они, расстроенные, голодные и обрванные, пошли назад. Месяц тому назад под Бородином они были сильны, а теперь, после месяца спокойных и удобных квартир и продовольствия в Москве и ее окрестностях, они, испуганные, побежали назад. Трудно поверить, что все это сделал фланговый марш за Красной Пахрой. Были другие причины, которые я не берусь перечислять, но зато и не выставляю одной, недостаточной, говоря, что только от этого.

После отчаяния в русской армии и в Петербурге опять ожили. Из Петербурга часто стали ездить курьеры, и немцы, и генералы от государя, так — погостить в армии, и Кутузов особенно ласкал этих гостей. Третьего числа, когда Кутузову сказали, что французы выступили из Москвы, он захлипал от радостных слез и, перекрестясь, сказал:

— Уж заставлю же я этих французов есть

лошадиное мясо, как турок.

Это изречение часто повторял Кутузов. Но Кутузову прислали план действий из Петербурга, ему надо было атаковать очень хитро, с разных сторон. Кутузов, разумеется, восхищаясь этим планом, находился в затруднении в исполнении его. Бенигсен доносил государю, что у Кутузова девка одета в казака.

Бенигсен подкапывал под Кутузова, Кутузов под Бенигсена, Ермолов под Коновницына, Коновницын под Толя, опять под Ермолова, Винцингероде под Бенигсена и т. д. и т. д. в бесконечных сочетаниях и перемещениях, но все они весело жили под Тарутином с хорошими поварами и винами, и песенниками, и музыкой, и даже женщинами. Наконец явился гордый Лористон с письмом от Наполеона, в котором император писал, что он особенно рад случаю засвидетельствовать свое глубокое уважение фельдмаршалу. Князь Волконский хотел один принять его, но Лористон отказался — это было низко ему — и потребовал свидания с Кутузовым. Нечего делать, Кутузов надел занятые эполеты у Коновницына и принял. Генералы толпились около. Все боя-

лись, как бы не изменил Кутузов. Но Кутузов, как всегда, отложил все, отложил и Лористона, и Наполеон остался без ответа.

Между тем Мюрат с Милорадовичем щеголяли глупостью под парламентарским флагом, и в один прекрасный день русские напали на французов, и французы побежали стремглав и удивлялись, что их всех не забрали, потому что они уже не могли драться по-прежнему. Не забрали же всех потому, что Кутузов поручил дело Бенигсену, и потому, чтобы подкатить Бенигсена, не дал ему войск и тем озлобил Бенигсена, но и, кроме того, опоздал — и оттого, что вне цепи, в целом помещичьем доме был кутеж у Шепелева и до ночи веселились и даже плясали сами генералы. Все были хорошие генералы и люди, и рука бы не поднялась рассказывать их пляски и интриги, но досадно, что сами они все писали державинским слогом о любви к отечеству и царю и т. п. вздор, а в сущности, думали преимущественно о обеде и ленточке, синенькой, красненькой. Стремление это человеческое, и его осуждать нельзя, но так и говорить надо, а то это вводит в заблуждение юные по-

колениа, с недоумением и отчаянием глядящие на слабости, которые они находят в своей душе, тогда как в Плутархе и отечественной истории видят только героев.

Французы после Тарутинского сражения, как растерянный заяц, пошли вперед на выстрел, а Кутузов, как промышленный стрелок, жалея заряда, не стал стрелять и отступил назад. Дойдя вправо до Малого Ярославца, однако, после небольшого нечаянного сражения заяц побежал назад в таком положении, что дворняжка догнала бы его. И действительно, в эту пору один дьячок взял девяносто пленных и убил тридцать человек. Партизаны побрали десять тысяч пленных. Французские войска только ждали предлогов положить оружие и убраться подобру-поздорову. Беспорядок, в сущности, в армии был невероятный: забывали целые депо, коменданты не знали, кто где находится. Каждый генерал тащил свой обоз украденного, каждый офицер, солдат тоже. И, как обезьяна, захватившая в кувшине горсть орехов, не выпускала ее и скорее сама отдавалась в плен. Куда они идут и зачем — никто не знал, еще менее сам вели-

кий гений Наполеон. Около него еще соблюдался кое-какой декорум, писались приказы, письма, рапорты, порядок дня, называли еще друг друга «Государь!» «Государь мой кузен, принц Экмюльский, король Неаполитанский». Но все чувствовали, что они бедные и гадкие люди, нажившие себе горя, упреков совести и безвыходное несчастье. Приказы и рапорты были только на бумаге, в сущности был хаос. Ужас казаков: гикнет кто, и колонны бегут без причины. Дисциплина рушилась. Нищета была страшная, и требовать дисциплины нельзя было. Но потом, разумеется, все жизненное, не укладывающееся в рамки человеческого понятия бедствия трехсот тысяч, — из трехсот тысяч поймет сто человек, — подведено под мнимые распоряжения по воле гениального императора. А кто был на войне, тот знает, что только бегущего раненого медведя можно безобидно убить рогатиной, а не целого и смелого. Кутузов один знал это. Он не знал, как было дело, но знал, как знают это старые, жизненно умные люди, знал, что все сделает время — все само делается. И в исторических событиях само делает-

ся лучше всего.

## XXI

В эту пору, когда французы только того же-  
В лали, чтобы их поскорее взяли в плен, а  
русские, занимаясь разными забавами, кура-  
жились около них, в это время Долохов был  
тоже одним из партизан. У него был отряд из  
трехсот человек, и он жил с ним по Смолен-  
ской дороге.

Денисов был другим партизаном. И у Дени-  
сова, теперь полковника, в партии находился  
Петруша Ростов, непременно желавший слу-  
жить с Денисовым, к которому он получил  
страстное обожание еще со времен приезда  
его в 1806 в Москву.

Кроме этих партий, рыскали в этом же  
пространстве, недалеко, партия одного поль-  
ского графа в русской службе и немца, и гене-  
рала.

Денисов ночью лежал на полу, на коврах, в  
разваленной избе, с бородой, в армяке и с об-  
разом Николая чудотворца на цепочке, и пи-  
сал, быстро треща пером, изредка попивая из  
стакана, налитого половиной рома и чая.

Петя с широким своим добрым лицом и худыми отроческими членами сидел в углу на лавке, обожательно, набожно поглядывая на своего Наполеона. Петя был тоже в фантастическом костюме: армяке с патронами, вроде черкески, и синих кавалерийских панталонах и в шпорах. Как только Денисов кончил одну бумагу, Петя взял ее, чтобы запечатать.

— Можно прочесть?

— Можно, посмотри их...

Петя прочел, и чтение это увеличило его восторг к гению своего Наполеона. Бумаги, которые писал Денисов, были ответом на требование двух командиров отрядов, дипломатически приглашавших Денисова соединиться с ними, то есть, так как Денисов был моложе чином, поступить под их начальство для атаки большого кавалерийского депо Бланкара, на которое точили зубы все начальники партий, желая приобрести славу этой добычи. Депо же Бланкара, загроможденное ранеными, пленными, голодными, главное, обзом, забытое штабом Наполеона, давно только ждало того, чтобы кто-нибудь из казаков взял его. Денисов отвечал одному генералу,



что он поступил уже к другому под начальство, а другому писал, что он уже поступил к одному, каждому подпуская шпильки формальности, на которые он был великий мастер, и таким образом отделялся от обоих и намеревался сам захватить депо, и славу, и чин, и крест, может быть.

— Отлично отделал, — сказал Петя в восторге, не понимая всей дипломатии и цели ее.

— Посмотри, кто там, — сказал Денисов, слышав мягкие шаги в сенях.

— Слушаю-с, — старательно проговорил Петя, особенно счастливый играть с своим Наполеоном в службу.

В домашней жизни он был на «ты» с Денисовым, как и все, но как до службы, так он был адъютант. Денисов, склонный играть в службу и в Наполеона, еще более был поощрен к этому твердой верой Пети в его наполеонство.

Шаги принадлежали Тихону Шестипалому, которого ввел Петя. Тихон Шестипалый был мужик из Покровского. Когда при начале своих действий Денисов прибыл в Покров-

ское, ему жаловались на двух мужиков, принимавших французов, — Прокофия Рыжего и Тихона Шестипалого. Денисов тогда же, пробуя свою власть и свое умение управлять ею, предварительно разгорячившись, велел расстрелять обоих. Но Тихон Шестипалый пал в ноги, обещая, что будет служить верно, что он только по глупости, и Денисов простил его и взял в свою партию.

Тихон, сначала исправлявший черную работу раскладки костров и доставания воды, скоро оказал необыкновенные способности в партизанской войне. Он раз, идя за дровами, наткнулся на мародеров и убил двух, а одного привел. Денисов шутя взял его с собой верхом, и оказалось, что не было человека, способного больше перенести трудов, видеть, подлезть неслышно дальше и менее понимать, что такое опасность, как Тихон Шестипалый; и Тихон был зачислен в казаки, в урядники, и получил крест.

Тихон Шестипалый был мужик длинный, худой, с низко опущенными, с мотавшимися как будто бессильно руками, но которые в своем мотании ударяли крепче самых силь-

ных, и мотавшимися ногами, но которые, мотаясь, огромными шагами проходили по семьдесят верст, не уставая. Шестипалый он был, потому что действительно у него были на руках и ногах приросточки около пятого пальца, и ворожея сказала ему, что ежели он отрубит один из этих пальцев, то пропадет, и Тихон берет эти уродливые кусочки мяса больше головы. Лицо у него было изрытое чем-то, длинное, с повисшим набок носом и средкими, кое-где выбивающимися на бороде длинными волосьями. Он улыбался редко, но очень странно, так странно, что, когда он улыбался, то все смеялись. Он несколько раз был ранен, но все раны скоро заживали, и он не ходил в лазарет. Ему только нужно было остановить кровь, которую он не любил видеть. А боль он не понимал, так же как не понимал страха. Одет он был в красный французский гусарский мундир с шляпой пуховой казанской на голове и в лаптях. Эту обувь он предпочитал всем другим. У него был огромный мушкетон, который он один умел заряжать, насыпая туда сразу три заряда, и топор и пика.

— Что, Тишка? — спросил Денисов.

— Да привел двух, — сказал Тихон. (Денисов понял, что двух пленных. Он посылал его туда, где стоит парк, разведать.)

— О! Из Шамшева?

— Из Шамшева. Вот тут, у крыльца.

— Что же, много народа?

— Много, да плохой, всех побить можно разом, — сказал Тихон. — Я сразу трех взял за околицей.

— Что же двух привел?

— Да так, ваше высокоблагородие, — Тихон засмеялся, и Денисов и Петя невольно тоже.

— Что ж, третий-то где? — смеясь, спросил Денисов.

— Да так ты, ваше высокоблагородие, не серчай, так...

— Да что так?

— Да так, плохонькая такая на нем одежда... — он замолчал.

— Ну, так что ж?

— Да что ж его водить-то, так — босой.

— Ну, ладно, ступай, я сейчас выйду к ним.

Тихон ушел и вслед за ним в комнату во-

шел Долохов, прискакавший за пятнадцать верст к Денисову все с тем же, чем занят был и Денисов, — желанием отвести его от депо и самому взять его. Долохов поговорил с Тихоновыми пленными и вошел в комнату. Долохов был одет просто, в военный гвардейский сюртук без эполет и в бальные щегольские ботфорты.

— Что же это мы стоим, моря караулим? — заговорил Долохов, подавая руку Денисову и Пете. — Что же ты не возьмешь их из Ртищева, ведь там триста пленных наших, — говорил он.

— Да я жду помощи на депо напасть.

— Э, вздор, депо не возьмешь, там восемь батальонов пехоты, спроси-ка, вот твой привел.

Денисов засмеялся.

— Ну, понимаем, понимаем вас, — сказал он. — Хочешь пуншу?

— Нет, не хочу, а вот что: у тебя пленных набралось много, дай мне человек десять, мне натравить молодых казачков надо.

Денисов покачал головой.

— Что ж ты не бьешь их? — просто спро-

сил Долохов. — Вот нежности...

Долохов обманул всех, и двух генералов, и Денисова. Он, не дожидаясь никого, напал на другой день на депо и, разумеется, взял все то, что только дожидало случая отдаться.

## XXII

**П**ьер находился в этом депо в числе пленных. С первого перехода от Москвы с него сняли валенки, и есть им ничего не давали, кроме лошадиного мяса. Ночевали они под открытым небом. Становились заморозки. На втором переходе Пьер почувствовал страшную боль в ногах и увидел, что они растрескались. Он шел, невольно припадая на одну ногу, и с этого времени почти все его силы души, вся его способность наблюдения сосредоточилась на этих ногах и этой боли. Он забыл счет времени, забыл место, забывал свои опасения и надежды, он желал не думать о ней, думал только о этой боли.

Когда и где это было, он не помнил, но одно событие поразило его: за повозками, в которых везли картины, за каретами, из кото-

рых одну он узнал свою (это теперь принадлежало, как ему сказали, герцогу Эттингенскому), шли они, пленные. Подле Пьера шел старый солдат, тот самый, который научил его подвязывать ноги и мазать их. Справа от Пьера шел солдат, француз молодой, с острым носом и черными круглыми глазами. Старый русский солдат стал хрипеть и просился отдохнуть.

— Вперед! — кричал сзади капрал.

Пьер повел его под руку, сам хромя. У солдата болел живот. Он был желт.

— Скажите ему, вы, который понимает, — сказал француз, — что нельзя тех, кто отстает, оставлять. Есть приказ пристреливать отставших.

Пьер сказал это солдату.

— Один конец, — сказал солдат и упал назад, крестясь. — Прощайте, православные, — говорил он, крестясь и кланяясь. И, как корабль, уносила все дальше и дальше Пьера окружавшая его толпа. А серый старик сидел на грязной дороге и все кланялся. Пьер смотрел на старика и услышал повелительный крик сержанта на того рядового с вострым но-

сом, который шел справа.

— Исполняйте приказ, — крикнул сержант и толкнул за плечо молодого солдата. Солдат побежал сердито назад. Дорога за березками заворотила, и Пьер, оглядываясь, видел только дым выстрела, и потом бледный солдат, испуганный, как будто он увидал привидение, прибежал и, ни на кого не глядя, пошел на свое место.

Старика пристрелили, и так пристрелили многих из толпы в триста человек, шедших с Пьером. Но, как ни ужасно это было, Пьер не обвинял их. Им самим было так дурно, что едва ли бы некоторые не согласились быть на месте солдата. Лихорадочные, щелкая зубами, садились на краю дороги и оставались. Все разговоры, которые он слышал, шли о том, что положение их безвыходно, что они погибли, что стоит только казакам броситься, и ничего не останется. Несколько раз все бросалось бежать от вида казака и иногда просто от ошибки. Пьер видел, как ели сырое лошадиное мясо. Но все это Пьер видел как во сне. Все внимание его постоянно было направлено на свои больные ноги, но он все шел, сам



удивляясь себе и этой усиливаемости страдания и сносности страдания, вложенного в человека. Почти каждый вечер он говорил: «Нынче кончено», — и на другой день опять шел.

Общее впечатление деморализации войск отразилось, как во сне, на Пьере во время этих переходов, число которых он не знал, но впечатление вдруг сгруппировалось в весьма простом, в сущности, но его весьма поразившем случае. На одном из переходов шли, жалуюсь, около него три француза; вдруг послышались слова: «Император», — все подбодрилось, вытянулось, сдвинулось с дороги, предшествуемая конвоем, шибко проехала карета и остановилась немного впереди. Генерал у окна, выслушав что-то, снял шляпу. Раздались отчаянно счастливые крики: «Да здравствует император!» — и карета проехала.

— Что он сказал?

— Император, император, — слышались со всех сторон ожившие голоса. Как будто и не было страдания. — Вот он каков! Молодчина! О, наш маленький капрал не даст себе наступить на ногу, — слышались восторженные,

уверенные голоса. А все было то же: тот же холод, голод и труд, бесцельный, жестокий, и тот же страх, который не оставлял войска.

Вечеру одного дня Пьера, которого все-таки отличали от других, офицеры пустили к костру, и, угревшись, Пьер заснул. Спасение Пьера в эти тяжелые минуты была способность сильного, глубокого сна. Вдруг его разбудили. Но он потом не знал, было ли то наяву или во сне, что он видел. Его разбудили, и он увидал у костра французского офицера с знакомым, мало что знакомым, но близким, с которым он имел задушевные дела, лицом. Да, это был Долохов, но в форме французского улана. Он говорил с офицерами на отличном французском языке, рассказывая, как его послали отыскивать депо и он заехал навыворот. Он жаловался на беспорядок, и французский офицер вторил ему и рассказывал то, что Долохов, казалось, не слушал. Увидав поднявшуюся курчавую голову Пьера, Долохов не удивился, но слегка улыбнулся (по этой улыбке не могло быть сомнения — это был он) и небрежно спросил, указывая на Пьера:

— Казак? — Ему ответили. Долохов заку-

рил трубку и раскланялся с офицерами. — Покойной ночи, господа. — Он сел на лошадь и поехал.

Пьер все смотрел на него. Ночь была месячная, и далеко видно. Пьер видел с ужасом, но с утешением, что это сон, как он подъехал к часовым цепи и что-то говорил. «Слава Богу, благополучно проехал», — подумал Пьер, но в это время Долохов вдруг повернул назад и рысью подъехал к костру. Его улыбающееся, красивое лицо видно было в свете огня.

— Чуть не забыл, — он держал записку карандашом, — не скажет ли мне кто-нибудь из вас, что значит по-русски: Безухов, будь готов с пленными, завтра я вас отобью. — И, не дожидаясь ответа, он повернул лошадь и поскакал.

— Держи! — крикнули офицеры, в цепи раздались выстрелы, но Пьер видел, как Долохов ускакал за цепь и скрылся в темноте.

На другой день была дневка в Шамшеве, и, действительно, ввечеру послышались выстрелы, мимо Пьера пробежали французы, и первый вскакал в деревню Долохов. Навстречу ему бежал офицер с парламентар-

ским белым платком. Французы сдались. Когда Пьер подошел к Долохову, он, сам не зная отчего, зарыдал в первый раз за время своего плена. Солдаты и казаки окружили Безухова и надавали ему платья и свели ночевать в избу, в которой ночевал генерал французский, а теперь Долохов. На другой день пленные проходили мимо подбоченившегося Долохова, громко болтая.

— Словом, так или иначе, император... — сливались голоса.

Долохов строго смотрел на них, прекращая их говор словами: «Проходи, проходи...»

Пьера направили в Тамбов, и, проезжая через Козлов, первый город, не тронутый войной, который он видел за два месяца, Пьер во второй раз заплакал от радости, увидав народ, идущий в церковь, нищих, калачника и купчиху в лиловом платочке и лисьей шубе, самодовольно, мирно переваливающуюся на паперти. Пьер никогда в жизни не забывал этого. В Козлове Пьер нашел одно из писем Андрея, везде искавшего его, нашел деньги, дождался людей и вещей, и в конце октября он приехал в Тамбов.

Князя Андрея уже не было там, он опять поехал в армию и догнал ее у Вильны.

## XXIII

Одно из первых лиц, которое он встретил там, был Николай. Николай, увидав Андрея, покраснел и страстно бросился обнимать его. Андрей понял, что это было больше, чем дружба.

— Я счастливейший человек, — сказал Николай, — вот письмо от Марии, она обещает быть моею. А я приехал в штаб, чтобы проситься на двадцать восемь дней в отпуск: я два раза ранен, не выходя из фронта. А еще жду брата Петю, который партизанит с Денисовым.

Андрей пошел на квартиру к Николаю, и там долго обо всем рассказывалось друг другу. Андрей был твердо намерен проситься опять — и только в полк. К вечеру приехал и Петя, не умолкая рассказывающий о славе России и Василии Денисове, завоевавшем целый город, наказывавшем поляков, облагодетельствовавшем жидов, принимавшем депутации и заключавшем мир.

— У нас геройская фаланга. У нас Тихон. — Он и слышать не хотел ни о какой другой службе.

Но, к несчастью, это самое завоевание города, которым так счастлив был Петр, не понравилось немцу-генералу, желавшему тоже завоевать этот город, и так как Денисов был под командой немца, то немец распек Денисова и отставил его от его геройской партии. Впрочем, это узнал Петя после, теперь же он был в полном восторге и, не умолкая, рассказывал о том, как Наполеона прогнали, каковы мы, русские, и как особенно у нас — все герои...

Андрей и Николай радовались на Петю и заставляли его рассказывать. Утром оба новые родные пошли вместе к фельдмаршалу просить каждый своего, и фельдмаршал был особенно милостив и согласился на то и на другое, но, видимо, хотел еще поласкать Андрея, но не успел, потому что в гостиную вошла панна Пшезовска с дочерью, крестницей Кутузова, когда он был губернатором в Вильне. Пани была хорошенькой девочкой, и Кутузов, сузив глаза, пошел к ней навстречу и,

взяв за щеки, поцеловал ее. Князь Андрей дернул за полу Николая и повел его вон.

— Будьте на смотре оба, — сказал Кутузов им в дверь.

— Слушаю, ваша светлость.

На другой день был смотр; после церемониального марша Кутузов подошел к гвардии и поздравил все войска с победой.

— Из пятисот тысяч нет никого, и Наполеон бежал. Благодарю вас, Бог помог мне. Ты, Бонапарт, волк, — ты сер, — а я, брат, сед, — и Кутузов при этом снял свою без козырька фуражку с белой головы и нагнул волосами к фронту эту голову...

— Ураа, аааа! — загремело сто тысяч голосов, и Кутузов, захлебываясь от слез, стал доставать платок. Николай стоял в свите, между братом и князем Андреем. Петя орал неистово «ура», и слезы радости и гордости текли по его пухлым детским щекам. Князь Андрей чуть заметно добродушно, насмешливо улыбался.

— Петруша, уже перестали, — сказал Николай.

— Что мне за дело. Я умру от восторга, —

кричал Петя и, взглянув на князя Андрея с его улыбкой, замолчал и остался недоволен своим будущим сватом.

Обе свадьбы сыграны были в один день в Отрадном, которое вновь оживилось и зацвело. Николай уехал в полк и с полком вошел в Париж, где он вновь сошелся с Андреем.

Во время их отсутствия Пьер, Наташа (графиня теперь), Марья с племянником, старик, старуха и Соня прожили все лето и зиму

1813 года в Отрадном и там дождались возвращения Николая и Андрея.

**К О Н Е Ц**



# Примечания

При подготовке этого издания использованы тексты, опубликованные Э.Е.Зайденшнур в 94-м томе «Литературного наследства», рукописные материалы к роману из томов 13–16 юбилейного 90-томного собрания сочинений Л.Толстого, а также 3-е прижизненное издание романа, опубликованное в 4-х томах в 1873 году

[^^^]